Прокляты и убиты

Художественная литература 2024

Прокляты и убиты

Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.

Святой апостол Павел

Книга первая. Чертова яма

Часть первая

Глава первая

Поезд мерзло хрустнул, сжался, взвизгнул и, как бы изнемогши в долгом непрерывном беге, скрипя, постреливая, начал распускаться всем тяжелым железом. Под колесами щелкала мерзлая галька, на рельсы оседала белая пыль, на всем железе и на вагонах, до самых окон, налип серый, зябкий бус, и весь поезд, словно бы из запредельных далей прибывший, съежился от усталости и стужи.

Вокруг поезда, спереди и сзади, тоже зябко. Недвижным туманом окутано было пространство, в котором остановился поезд. Небо и земля едва угадывались. Их смешало и соединило стылым мороком. На всем, на всем, что было и не было вокруг, царило беспросветное отчуждение, неземная пустынность, в которой царапалась слабеющей лапой, источившимся когтем неведомая, дух испускающая тварь, да резко пронзало оцепенелую мглу краткими щелчками и старческим хрустом, похожим на остатный чахоточный кашель, переходящий в чуть слышный шелест отлетающей души.

Так мог звучать зимний, морозом скованный лес, дышащий в себе, боящийся лишнего, неосторожного движения, глубокого вдоха и выдоха, от которого может разорваться древесная плоть до самой сердцевины. Ветви, хвоя, зеленые лапки, от холода острые, хрупкие, сами собой отмирая, падали и падали, засоряли лесной снег, по пути цепляясь за все встречные родные ветви, превращались в никому не нужный хлам, в деревянное крошево, годное лишь на строительство муравейников и гнезд тяжелым, черным птицам.

Но лес нигде не проглядывался, не проступал, лишь угадывался в том месте, где морозная наволочь была особенно густа, особенно непроглядна. Оттуда накатывала едва ощутимая волна, покойное дыхание настойчивой жизни, несогласие с омертвелым покоем, сковавшим Божий мир. Оттуда, именно оттуда, где угадывался лес и что-то еще там дышало, из серого пространства, слышался словно бы на исходном дыхании испускаемый вой. Он ширился, нарастал, заполнял собою отдаленную землю, скрытое небо, все явственней обозначаясь пронзающей сердце мелодией. Из туманного мира, с небес, не иначе, тот отдаленно звучавший вой едва проникал в душные, сыро парящие вагоны, но галдевшие, похохатывающие, храпящие, поющие новобранцы постепенно стихали, вслушивались во все нарастающий звук, неумолимо надвигающийся непрерывный звук.

Лешка Шестаков, угревшийся на верхней, багажной, полке, недоверчиво сдвинул шапку с уха: во вселенском вое иль стоне проступали шаги, грохот огромного строя — сразу перестало стрелять в зубы от железа, все еще секущегося на трескучем морозе, спину скоробило страхом, жутью, знобящим восторгом. Не сразу, не вдруг новобранцы поняли, что там, за стенами вагона, туманный мерзлый мир не воет, он поет.

Когда новобранцев выгоняли из вагонов какие-то равнодушно-злые люди в ношеной военной форме и выстраивали их подле поезда, обляпанного белым, разбивали на десятки, затем приказали следовать за ними, новобранцы все вертели головами, стараясь понять: где поют? кто поет? почему поют?

Лишь приблизившись к сосновому лесу, осадившему теплыми вершинами зимний туман, сперва черно, затем зелено засветившемуся в сером недвижном мире, новобранцы увидели со всех сторон из непроглядной мглы накатывающие под сень сосняков, устало качающиеся на ходу людские волны, соединенные в ряды, в сомкнутые колонны. Шатким строем шагающие люди не по своей воле и охоте исторгали ртами белый пар, вослед которому вылетал тот самый жуткий вой, складываясь в медленные, протяжные звуки и слова, которые скорее угадывались, но не различались: "Шли по степи полки со славой громкой", "Раз-два-три, Маруся, скоро я к тебе вернуся", "Чайка смело пролетела над седой волной", "Ой да вспомним, братцы вы кубанцы, двадцать перво сентября", "Эх, тачанка-полтавчанка — все четыре колеса-а-а-а".

Знакомые по школе нехитрые слова песен, исторгаемые шершавыми, простуженными глотками, еще более стискивали и без того сжавшееся сердце. Безвестность, недобрые предчувствия и этот вот хриплый ор под грохот мерзлой солдатской обуви. Но под сенью соснового леса звук грозных шагов гасило размичканным песком, сомкнутыми кронами вершин, собирало воедино, объединяло и смягчало человеческие голоса. Песни звучали бодрее, звонче, может, еще и оттого, что роты, возвращающиеся с изнурительных военных занятий, приближались к казармам, к теплу и отдыху.

И вдруг дужкой железного замка захлестнуло сердце: "Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой..." — грозная поступь заняла даль и близь, она властвовала над всем остывшим, покорившимся миром, гасила, снимала все другие, слабые звуки, все другие песни, и треск деревьев, и скрип полозницы, и далекие гудки паровозов — только грохающий, все нарастающий тупой шаг накатывал со всех сторон и вроде бы даже с неба, спаянного с землею звенящей стужей. Разрозненно бредущие новобранцы, сами того не заметив, соединились в строй, начали хлопать обувью по растоптанной, смешанной со снегом песчаной дороге в лад грозной той песне, и чудилось им: во вдавленных каблуками ямках светилась не размичканная брусника, но вражеская кровь.

Солдаты, угрюмо несущие на плечах и загорбках винтовки, станки и стволы пулеметов, плиты минометов, за ветви задевающие и снег роняющие пэтээры с нашлепками на концах, похожими на сгнившие черепа диковинных птиц, шли вроде бы не с занятий, на бой они шли, на кровавую битву, и не устало бредущее по сосняку войско всаживало в колеблющийся песок стоптанные каблуки старой обуви, а люди, полные мощи и гнева, с лицами, обожженными не стужей, а пламенем битв, и веяло от них великой силой, которую не понять, не объяснить, лишь почувствовать возможно и сразу подобраться в себе, ощутив свое присутствие в этом грозном мире, повелевающем тобою, все уже трын-трава на этом свете, все далеко-далеко, даже и твоя собственная жизнь.

И когда новобранцев ввели в полутемный подвал, где вместо пола на песок были набросаны сосновые искрошившиеся лапы, велели располагаться на нарах из сосновых неокоренных бревешек, чуть стесанных с той стороны, на которую надо было ложиться, в Лешке все не смолкало, все надломленно-грозно произносилось: "Вставай на Смертный бой..." Покорность судьбе овладела им. Сам по себе он уже ничего не значит, себе не принадлежит — есть дела и вещи важней и выше его махонькой персоны. Есть буря, есть поток, в которые он вовлечен, и шагать ему, и петь, и воевать, может, и умереть на фронте придется вместе с этой все захлестнувшей усталой массой, изрыгающей песню-заклинание, призывающей на смертный бой одной мощной грудью страны, над которой морозно, сумрачно навис морок. Где, когда, как

выйдешь из него один-то? Только строем, только рекой, половодьем возможно прорваться к краю света, к какой-то совсем иной жизни, наполненной тем смыслом и делом, что сейчас вот непригодны да и неважны, но ради которой веки вечные жертвовали собой и умирали люди по всей большой земле.

Душу Лешки посетило то, что должно поселяться в казарме и в тюрьме, — вялое согласие со всем происходящим, и когда его назначили в первый наряд: топить печь в казарме сырыми сосновыми дровами, — он воспринял это назначение без сопротивления. Выслушав наказ: не спать, не спалить карантин, следить, чтоб новобранцы ходили по нужде подальше в лес, бить палкой тех, кто вздумает мочиться в казарме, шариться по котомкам или, тем паче, пить горючку, — он покорно повторил приказание и громче повторил слова старшего сержанта Яшкина, что, если кто нарушит, с тем разговор будет особый.

У сержанта к рукаву шинели была привязана повязка, какие нацепляют людям, стоящим в почетном карауле. Он и назвался старшим караула по карантину. Яшкин уже побывал на фронте, имел орден, в запасном полку он оказался после госпиталя, с маршевой ротой вот-вот снова уйдет на передовую из этой чертовой ямы, чтоб она пропала, провалилась, сгорела в одночасье — так заявил он.

Был Яшкин малорослый, худ, зол. Борода у него почти не росла, реденько торчало что-то на прогнутых непробритых санках челюсти, да сорно лепилась редкая поросль под носом, глаза желтые, унылые, кожа под ними мелко сморщенная, на лбу тоже желта. Он грелся, налегши грудью на печку, толсто заваленную перекаленным песком, ежился спиной, со щенячьим скулежом втягивал воздух, спрашивал табаку, хлеба, сала. Табак у Лешки хороший, хлеба еще маленько было, сала не велось. Лешка кивнул на толстобрюхие сидора угрюмых людей из старообрядческих таежных краев, обнимавших те сидора обеими руками, будто богоданную бабу, — эти асмодеи не обеднеют, если поделятся припасами.

Яшкин прошелся по карантину, обшарил кошачьими глазами лепившихся на нарах новобранцев — многие уже спали, блатняки из золотишных забоев Байкита, Верх-Енисейска, с Тыра-Понта, как они говорили о других, секретных районах, сложив ноги калачом, сидели крутом, резались в карты. Один картежник пребывал уже в кальсонах, проиграв с себя все остальное, и, оттесненный за круг, тянул шею, издаля давал игрокам советы и указания: чем бить, каким козырем крыть. В темном, дальнем углу карантинной казармы, которую в двух концах освещали две первобытные сальные плошки да лениво горящая чугунная печка без дверец, на краю нар лепились тесно, будто ласточки на проводах, уже неделю назад прибывшие новобранцы и терпеливо ждали своего часа. Яшкин знал, чего они ждали, прошелся по рядам упреждающим взглядом, но его в полутьме словно бы даже и не заметили.

На нижних нарах, в притемненной глубине, кто-то молился: "Боже милостив, Боже правый, избави меня от лукавого и от соблазна всякого..."

— Отставить! — на всякий случай приказал Яшкин и последовал дальше, отпуская замечания тем, кто чего-то не так и не то делал.

Поскольку все население карантина ничего не делало, то и замечания скоро иссякли.

Яшкин вернулся к штабному месту, к печке, назначив по пути две команды пилить и колоть дрова на улице, сам опять устроился на чурбаке против квадратно прорубленного горячего отверстия, снова распахнул руки, приблизил к печке грудь, вбирал тепло, все не согреваясь от него.

В казарме было не совсем тепло и не совсем холодно, как и бывает в глубоком земляном подвале. Печка лишь оживляла зажатую в подземелье, тусклую жизнь со спертым, неподвижным воздухом глухого помещения, да и то изблизя лишь оживляла. По обе стороны печи жердье нар было закопчено, но на торцах, упрямо белеющих костями, как бы уже побывавшими в могиле, выступала сера. Чуть слышный запах этой серы да слежавшейся хвои на нарах — вместо постели тоже настелены жесткие ветки — разбавляли запахи гнили, праха и острой молодой мочи.

Старообрядцы, уткнувшись смятыми бородами друг в дружку, что-то побубнили, посовещались, и один из них, здоровенный, в нелепом картузе без козырька, состроенном в три этажа, пригибаясь, подошел к печи и положил на колени Яшкина круглый каравай хлеба с орехово темнеющей коркой, кусок вареного мяса, две луковицы, берестяную зобенку с солью, сделанную в виде пенала. Яшкин достал из кармана складник, отрезал горбушку хлеба себе, подумал, отрезал еще ломоть и, назвав фамилию — Зеленцов, — сунул в тут же возникшие руки хлеб, комок мяса и принялся чистить луковицу.

— Сохатина! — раздался голос Зеленцова с нар, скоро и сам он сполз вниз, принюхался широкими, будто драными ноздрями, зыркнул маленькими, но быстро все выхватывающими глазами и потребовал у гостя закурить.

— Некурящие мы, — потупился старообрядец.

— И непьющие?

— По святым праздникам коды. Пива...

Лешка протянул кисет Зеленцову, тот закурил, взвесил кисет на руке и, не спросив, отсыпал в горсть табаку. Яшкин неторопливо, безразлично жевал, двигая скобками санок, ловко, издаля кидая пластины нарезанной луковицы в узкий, простудой обметанный рот. Поел, поискал кого-то глазами, дернул за ноги с верхних нар двоих храпящих новобранцев, велел принести воды. Сверху грохнулись два тела. "Че мы да мы?" — заныли парни и, брякая посудиной, удалились. Дверь казармы тяжело отворилась, сделалось слышно ширканье пилы, в казарму донесло стылую, сладкую струю воздуха. Все время, пока в железном баке на жерди, продернутой в дужку, не принесли воду, в дверь свежо тянуло, выше притвора далеко, недостижимо серела узкая полоска ночного света.

Бак, ведра на три объемом, был поставлен на печку, в печке зашипело. К воде потянулись жаждущие с кружками, котелками, банками. Дежурные не то в шутку, не то всерьез требовали за воду хлеба и табаку. Кто давал, кто нет. Дежурные тоже начали жевать и, получив от кого-то плату картошкой, закатили ее ближе к трубе, в горячий песок. В помещении запахло живым духом, забившим кислину и вонь.

На запах картошки из темных недр казармы являлся народ, облепляя печку, накатывал от себя картошек, будто булыжником замостив плоское пространство чугунки, не имеющей дна и дверки, наполовину уже огрузшей в песок.

— Па-аа-абереги-ы-ы-ысь! — послышалось в казарме, и от двери, весело брякая, покатились рыжие чурки, было еще принесено несколько охапок колотого сухого сосняка, может, и какой другой лесины, уведенной откуда-нито находчивыми пильщиками.

Яшкин отодвинулся от устья печки, в дыру натолкали поленья, да так щедро, что торцы их торчали наружу. Печка подумала-подумала, пощелкала, постреляла да и занялась, загудела благодарно, замалинилась с боков. Народ, со всех сторон родственно ее объявший, ел

картошку, расспрашивал, кто откуда, грелся и сушился, вникал в новое положение, радовался землякам-однодворцам и просто землякам, еще не ведая, что уже как бы внял времени, в котором родство и землячество будут цениться превыше всех текущих явлений жизни, но паче всего, цепче всего укрепятся и будут царить они там, в неведомых еще, но неизбежных фронтовых далях.

Старообрядец в знатном картузе назвался Колей Рындиным, из деревни Верхний Кужебар Каратузского района, что стоит на берегу реки Амыл — притоке Енисея. В семье Рындиных он, Коля, пятый, всего же детей в дому двенадцать, родни и вовсе не перечесть.

Над Колей начали подтрунивать, он добродушно улыбался, обнажая крупные зубы, тоже пытался шутить, но когда к печке подлез парнишка в латаной телогрейке, из которой торчала к тонкой шее прикрепленная голова, и выхватил с печи картофелину, Коля ту картофелину решительно отнял.

— Я ж тебе, парнишша, говорил: покуль от еды воздержись, от картошки, да еще недопеченной, разнесет тебя ажник на семь метров против ветру… — Коля приостановился и гоготнул: — Не шшытая брызгов! — И далее серьезно, как политрук, повел мораль: — Понос штука переходчивая, а тут барак, опчество — перезаразишь народ. — Он достал из своего сидора желтый холщовый мешочек, насыпал в кружку горсть серой смеси, поставил посудину на уголья и назидательно добавил; — Скипятится, и пей — как рукой сымет.

Весь народ и сержант Яшкин тоже с интересом уставились на старообрядца.

— Что это? Что за лекарство? — расспрашивал народ, потому что не одному Петьке Мусикову — так звали парнишку-дристуна — требовалась медицинская подмога: дорогой новобранцы покупали и ели что попадя, напились сырого молока, воды всякой, вот и крутило у них животы.

— Сушеная черемуховая кора с ягодой черемухи, кровохлебка, змеевик, марьин корень и ешшо разное чего из лесного разнотравья, все это сушеное, толченое лечебное свойство освящено и ошоптано баушкой Секлетиньей — лекарем и колдуном, по всему Амылу известным. Хотя тайга наша богата умным людом, но против баушки… — Коля Рындин значительно взнял палец к потолку. — Она те не то что понос, она хоть грыжу, хоть изжогу, хоть рожу — все-все вплоть до туберкулеза заговорит. И ишшо брюхо терет.

— Брюхо-то зачем? Кому? — веселея, уже дружелюбно спросил Колю Рындина старший сержант Яшкин.

— Кому-кому! Не мне жа! Жэншынам, конешно, что-бы ребеночка извести, коли не нужон.

Народ сдержанно хохотнул, раздвинулся, уступая Коле Рындину место подле главного командира — Яшкина. Петьку Мусикова и еще каких-то дохлых парней почти силком напоили горячим настоем. Петьке сухарей кто-то дал, он ими по-собачьи громко хрустел. Тем временем картежники подняли драку. Яшкин, взяв Зеленцова и еще одного парня покрепче, ходил усмирять бунтовщиков.

— Если не уймететесь, на мороз выгоню! — фальцетом звучал Яшкин. — Дрова пилить!

— Я б твою маму, генерал…

— Маму евоную не трожь, она у него целка.

— Х-хэ! Семерых родила и все целкой была!..

— Одного она родила, но зато фартового, гы-гы!..

— Сказал, выгоню!

— Хто это выгонит? Хто? Уж не ты ли, глиста в обмороке?

— Молчать!

— Стирки не трожь, генерал! Пасть порву!

— У пасти хозяин есть.

— Сти-ырки не рви, пас-скуда!

Из-под навеса нар на Яшкина метнулся до пояса раздетый, весь в наколках блатной и тут же, взлаяв, осел на замусоренный лапник. Яшкин, вывернув нож, погнал блатного пинками на улицу. Лешка, Зеленцов, дежурные с помощниками двоих деляг сдернули с нар и заголившимися спинами тащили волоком по занозистым, искрошенным сучкам и тоже за дверь выбросили — охладиться. Зеленцов вернулся к печке с ножиком в руках, поглядел на кровоточащую ладонь, вытер ее о телогрейку, присыпал пеплом из печи, зажал и, оскалившись редкими, выболевшими зубами, негромко, но внятно сказал в пространство казармы:

— Шухер еще раз подымете, тем же финарем...

Блатняки утихли, казарма присмирела. Коля Рындин опасливо поозирался и с уважением воззрился на Зеленцова, на Яшкина: вот так орлы — блатняков с ножами не испугались! Это какие же люди ему встретились! Ну, Зеленцов, видать, ходовый парень, повидал свету, а этот, командир-то, парнишка парнишкой, хворый с виду, а на нож идет глазом не моргая — вот что значит боец! Поближе надо к этим ребятам держаться, оборонят в случае чего. Зеленцов уютно приосел на корточки, покурил еще, позевал, поплевал в песок и полез на нары. Скоро вся казарма погрузилась в сон.

Яшкин приспустил буденовский шлем, на подбородке застегнул его, поднял мятый воротник шинели, засунул руки в рукава, прилег в ногах новобранцев, на торцы нар, спиной к печи, и тут же запоскрипывал носом, вроде бы как обиженно.

— Хворат товариш сержант, — заключил Коля Рындин и, посидев, добавил, обращаясь к Лешке: — Я те помогать стану, дежурить помогать. Че вот от желтухи примать? Каку траву? Баушка Секлетинья сказывала, да не запомнил, балбес.

— Да он с фронта желтый, со зла и перепугу.

— Да но-о!

Дежурные до утра не продержались. Лешка, привалившись к столбу нар, долго боролся со сном, клевал носом, качался и наконец сдался: обхватив столб, прижался к шершавой коре щекою, приосел обмякшим телом, ровно дыша, поплыл в родные обские просторы. Коля Рындин сидел-сидел на чурбаке и замедленно, словно бы тормозя себя в полете, свалился на засоренный окурками теплый песок, наощупь подкатил чурку под голову, насадил глубже картуз — и казарму сотряс такой мощный храп, что где-то в глубине помещения проснулся новобранец и жалким голосом вопросил:

— 0-ой, мама! Че это такое? Где я?

Утром карантин плакал, стонал, матерился, исходил истерическими криками — все пухлые мешки новобранцев были порезаны, содержимое их ополовинено, где и до крошки вынуто. Блатняки реготали, чесали пузо, какие-то юркие парни шныряли по казарме, отыскивая воров, одаривая оплеухами встречных-поперечных. Вдали матерился Яшкин: несмотря на его приказ и запрет, нассано было возле нар, подле дверей, в песке сплошь белели солью свежие лунки. Запах конюшни прочно наполнил подвал, хотя сержант и распахнул настежь тесовую дверь, в которую виден сделался квадрат высветленного пространства.

Яшкин пытался выдворить народ на улицу на умывание, несколько человек, среди них и Лешка Шестаков, вышли и нигде никаких умывальников или хоть какой-нибудь воды не нашли. В прореженном, стройном, или как его еще любовно называют — мачтовом, сосняке сплошь дымило. Из земли, точнее из бугров и бугорков, меж сосен горбящихся, чуть припорошенных снегом, игрушечно торчали железные трубы. Под деревьями рядами стояли пять подвалов со всюду распахнутыми воротами-дверями, толсто белел куржак над входами — это и был карантин двадцать первого стрелкового полка, его преддверие, его привратье. Мелкие, одноместные и четырехместные, землянки принадлежали строевым офицерам, работникам хозслужб и просто придуркам в чинах, без которых ни одно советское предприятие, тем более военное подразделение, никогда не обходилось и обойтись не может.

Где-то далее по лесу были или должны быть казармы, Клуб, санслужбы, столовая, бани, пекарни, конюшни и штаб полка, но карантин от всего этого отторжен на порядочное расстояние, чтоб новобранцы заразу какую в полк не занесли, чтоб в карантине прошли проверку, санобработку, баню, затем оформлены и распределены были по ротам. От бывалых людей, уже неделю, где и две ошивавшихся в карантине, Лешка узнал, что в баню их поведут ли, еще неизвестно, но вот в казармы, к месту, скоро определят — полк снарядил маршевые роты на фронт, и как только их отправят, очередной призыв, на этот раз ребята двадцать четвертого года заполнят казармы, начнется настоящая армейская жизнь. За три месяца молодняк пройдет боевую и политическую подготовку и тоже двинется на фронт — дела там шли не очень важно, перемалывались и перемалывались машиной войны полки, дивизии, армии, фронту, как карантинной печке дрова, требовались непрерывные пополнения, чтобы поддерживать хоть какой-то живой огонь.

Пока же было приказано раздеться до пояса и мыться снегом. Но того, что зовется снегом, белого, рассыпчатого или нежно-пухового, здесь, возле Бердска, не было. Все вокруг испятнано мочой, всюду чернели застарелые коричневые и свежие желтенькие кучи, песок превращен в грязно-серое месиво, лишь подальше от землянок, под соснами, еще белелось, и из белого сквозь пленку снега светилась красная брусника.

Лешка хотел было сунуться в отхожее место, огороженное жердями и покрытое тоже жердями, но вокруг этого помещения и в самом помещении, где было сколочено из жердей седалище с прорубленными в жердях дырками, так загажено, так вонько и скользко, что отнесло его далеко от карантинных казарм, тем более что возле землянок, помеченных трубами, люди в подштанниках, в сапогах махали руками, ругались и отгоняли народ подальше, хватаясь за поленья и палки.

Лешка отбежал так далеко, что в сосняке появился подлесок и под ним тонкий слой снега, мало тронутый и топтанный. За плотно сдвинувшимися вдали сосняками чудилась река. "Уж не Обь ли?" — подумал он с тоской и начал набирать в горсти снегу, соображая: высаживались на станции Бердск, вроде бы это недалеко от Новосибирска, на Оби же... "Ах ты, родимая же ты моя!" — вздрогнул губами Лешка и начал скорее тереть лицо снегом, не давая себе расчувствоваться и все же думая, какая она здесь, Обь-то. Широкая ли? Там, в низовьях, в его родных Шурышкарах, она, милая, летами как разольется — другого берега не видать, в море

превращается, до самого Урала доходит с одной стороны, в надгорья упирается, если бы не хребет, дальше бы разлилась, как разливается бескрайно у правого берега по тундре, открывая устье вширь до такой большой воды, что и не знаешь, где Обская губа соединяется с морем, а море с нею.

Вспоминая родную северную местность, Лешка наскреб из-под снега горсть брусники и, услышав, что у землянок кличут людей, высыпав мерзлую ягоду в рот, поспешил к карантину. Там уже сбивалось что-то наподобие строя, только никак не могли выжить из подвала старообрядцев да каких-то еще больных или придуривающихся людей.

Подле каждой карантинной землянки колотилась, дрожала на утреннем холоду, присматриваясь и прислушиваясь к окружающей действительности, стайка плохо одетых, уже грязных парней с закопченными ликами. Они приплясывали, махали руками, кляли тех, кто прятался в казарме. Возникшие возле подвалов командиры в сером, сами тоже серые, сплошь костлявые, как щенят за шкирку, выбрасывали из землянок новобранцев.

Старообрядцы, пока не зашили мешки, из казармы не вышли. Начальник карантина, старший лейтенант в мятой, воробьиного цвета шинели с блестящими пуговицами, дождался, пока вызволят всех служивых из помещений, сбил старообрядцев в отдельную небольшую стайку и, обходя угрюмо насупившийся пестрый строй карантина, уделил правофланговым особое внимание:

— Пока не сожрете харчи, сидора оставлять на нарах... (Старообрядцы уважительно глядели на светлые пуговицы и ремни командира. Что на брюхе ремень — они понимали, у них у самих опояски на брюхе, но вот еще зачем два ремня через плечи? Ежели б штаны держали, тогда понятно.) Н-на нарах! — повторил старший лейтенант, — назначайте своего дежурного, чтоб вас совсем не обшмонали. Остальным завтракать. Не все так богато запаслись провиантом? Не все?

Получив подтверждение, командир приказал вести людей в столовую, сказав на прощание: днями новичков распределят по казармам, там всякая вольница и разброд кончатся, наступят напряженные дни службы. Пока же всем бородатым бороды сбрить, всем волосатым волосы состричь, всем, у кого расстроены животы, кто простудился в пути, отправляться в санчасть, остальным заготавливать дрова, потому как приближаются настоящие сибирские морозы, после завтрака не бродить по расположению полка, в землянке будет политчас и личные знакомства с представителями строевых подразделений — с командирами рот и батальонов.

Следуя в столовую по расположению полка, с любопытством и тревогой смотрели новобранцы на строения военного городка, состоявшего все из тех же подвалов-казарм, только еще более длинных, плоских, не с одной, а с несколькими трубами и отдушинами, как в доподлинном овощехранилище, с двумя широкими раскатанными входами в подземелье, из которого медленно ползла иль постоянно над входом плавала пелена испарений, даже на отдаленный взгляд нечистых, желтушных. От морока и сырости над входом в казармы намерз не куржак, а многослойная ребристая пленка, под нею темнела раскисшая, большей частью уже развалившаяся лепнина ласточкиных гнезд. Среди этих отчужденно темнеющих казарм высилось вширь расползшееся, в лес врубленное, никак не спланированное сооружение, еще не достроенное, с наполовину покрытой крышей и с невставленными окнами. Просторное и престранное помещение — если его распилить повдоль, то получилось бы два, может, и три барака, — будущая столовая полка. Чуть на отшибе, разбегшись по молоденькому сосняку, белела стайка тесовых и бревенчатых домов, огороженных продольным заборчиком из пиленых брусков. На домах и меж домов имелись щиты, на них лозунги, плакаты, портреты руководителей государства и армии. С крыши большого, тоже неуклюжего помещения,

осевшего углами в песок и начавшего переламываться, сплошь облепленного плакатами, призывами, кинорекламой, звучало радио (клуб, смекнули новоприбывшие), а вокруг него все эти свежо желтеющие домики — штаб полка. Но догадались об этом не все. Старообрядцы и всякий таежный люд, коего средь новичков было большинство, глядели на штаб, точно праздные заморские путешественники на Венецию, суеверно притихнув, пытались угадать, откудова исходит музыка — с крыши какой или уж прямо с небес.

У парней посасывало в сердце, всем было тревожно оттого, что незнакомое все кругом, казенное, безрадостное, но и они, выросшие не в барской неге, по баракам, по деревенским избам да по хибарам городских предместий собранные, оторопели, когда их привели к месту кормежки. За длинными, грубо сколоченными из двух плах прилавками, прибитыми ко грязным столбам, прикрытыми сверху тесовыми корытами наподобие гробовых крышек, стояли военные люди, склоненные как бы в молитве, — потребляли пищу из алюминиевых мисок. Столы-прилавки тянулись длинными, надсаженно-прогнутыми рядами, упираясь одним концом в загаженный полуободранный лес, другим — в растоптанный пустырь, в этакое жидкое, никак не смерзающееся, растерзанное всполье военного городка, по которому деловито ходили вороны, чего-то вышаривали клювами в грязи, с криком отлетали из-под ног людей, на ходу заглатывающих пищу и одновременно сбивающихся среди грязи в терпеливый строй.

Крестьянского роду парни по им известным приметам усекли — среди леса не песок, а грязь оттого, что были эдесь прежде огороды, может, и пашни. Меж столов и подле раздачи грязь вовсе глубока и вязка. Питающийся народ одной рукой потреблял пищу, другой цепко держался за доску стола, чтобы не соскользнуть в размешанную жижу, не вымочить ноги. Впереди день строевых и прочих занятий на сибирском, все круче припекающем морозе. Деловитый гул, прерываемый выкликами и руганью, ходил над обширной площадкой, называемой летней столовой, продлившейся до зимы. Звяк посуды, звон тазов, бренчанье ковшиков о железо, выкрики типа: "Быстренько! Быстренько! Н-не задерживай очереди!", "Сколько можно прохлаждаться?", "Пораспустили пузы!", "Минометная рота! Минометная рота!", "Отойди от окошка, отойди, сказано, не мешай работать!", "З-з-заканчивай прием пищи!", "Поговори у меня, поговори!", "А пайка где? Па-айку-у спе-орли-ы-ы!", "Взвод, на построение!", "Быстренько! Быстренько! Освобождать столы!", "Жуете, как коровы! Пора закругляться!", "Э-эй, на раздаче, в рот вам пароход, в жопу баржу! Вы когда мухлевать перестанете? Когда обворовывать прекратите?", "А-атставить!", "Поторапливаемся! Поторапливаемся!". "Да сколько можно повторять? Сказано, значит, все!".

Мест здесь, как и во всех людских сборищах, как и везде в Стране Советов, не хватало. Люди толпились у раздаточных окон кухни, хлеборезки, заняв стол-прилавок, держали за ним оборону. Получив кашу в обширные банные тазы из черного железа, стопки скользких мисок, служивые с непривычки не знали, куда с ними притиснуться, где делить хлеб, сахар, есть варево.

"Сюда! Сюда! Эй, карантинные, сюда!" — послышалось наконец из-за крайних столов от лесу, и новобранцы, пытаясь обогнуть грязь, мешковато потрусили на зов. Пока не сложились команды, не разбились люди на десятки, карантинный контингент, еще не связанный расписаниями, режимом, правилами, кормили в последнюю очередь, и насмотрелись, наслушались ребята всего. Вася Шевелев, успевший уже вдосталь "накомбайнериться" в колхозе, как он с усмешкой пояснил, глядя на здешние порядки, покачал головой и с грустным выдохом внятно молвил: "И здесь бардак".

Возникали стычки, перекатно гремел мат, сновали воришки, больные, изможденные люди подбирали крошки, объедки со столов и под столами. Там, куда не доставала обувь стесанными подошвами, на ничейном месте, украдчиво выросшая, кучерявилась стылая мокрица,

засоренная рыбьими костями.

Военный люд рассеялся, за столами сделалось просторно, однако никак не могли парни приспособиться одновременно есть и держаться за нечистые, обмерзлые плахи. Бывалые бойцы, уже одетые в новое обмундирование, на занятия не спешившие, позавтракав, облизав ложки и засунув их за обмотки иль в карманы, посмеивались над новичками, подавали им добродушные советы, просили закурить, которые постарше бойцы, значит и подобрей, наказывали: Боже упаси стоять в грязи меж столами или оплескаться похлебкой — сушиться негде, дело может кончиться больницей, а больница здесь...

Покуривши, сделав оправку в лесу, со взводами и ротами уходили и эти мужики, а так хотелось еще с ними поговорить, разузнать про здешнюю жизнь, да что же разузнавать-то, сами не слепые — видят все.

Снова наполнился сосновый сибирский лес строевыми песнями. Снова сцепило покорностью и всепоглощающей стужей зимнюю округу. Еще сильнее скрючило, сдавило там, внутри, у молодых парней, тяжкие предчувствия вселял небольшой, не в братстве нажитый опыт: поздней осенью здесь будет еще хуже.

А раз так, скорее бы уж на фронт вслед за этими основательными дяденьками, которые где уберегли бы от беды, где подсказали чего, где и поругали бы — уцелеешь, не уцелеешь в бою, не от тебя только одного зависит, на войне все делают одно дело, там все перед смертью равны, все одинаково подвержены выбору судьбы. Так близко и так далеко-далеко от истины были в этих простецких, бесхитростных думах только начавшие соприкасаться с армейской жизнью молодые служивые.

С новобранцев, которые были нестрижены, снимали волосье. Старообрядцы с волосами расставались трудно, однако стоически, крестились, плакали, а потом хохотали друг над другом, не узнавая голые морды свои и товарищев, один старообрядец плакал особенно безутешно, даже и на обед не пошел. Закрывшись полами шабуров, каких-то лишь нашим людям известных тужурок, телогреек, пальто и им подобных одежд, водворив вместо подушки сидора под головы, ребята пробовали спать, однако день выдался суматошный, их то и дело сгоняли с нар, выдворяли из помещения, выстраивали, осматривали, переписывали, разбивали по командам, не велели никуда разбредаться, ждать велели, но чего ждать — не сказали. Уже тут, в полужилом подвале, на подступах к военной службе, парням внушалась многозначительность происходящего, веяние какой-то тайны, все тут насквозь пронзившей, должно было коснуться даже этого пока еще полоротого, разномастного служивого пролетариата.

Многозначительность, важность еще больше возросли, когда началась политбеседа. Не старый, но, как почти все здешние командиры, тощий, серый ликом, однако с зычным голосом капитан Мельников, при шпалах и ремнях, оглядел внесенную за ним двумя новобранцами в помещение треногу, пошатал ее для верности, пришпилил к доске кнопками политическую изношенную карту мира с една видными синенькими, желтыми, коричневыми и красными странами и материками, среди которых раскидисто малинилось самое большое на карте пятно — СССР, уверенно опоясавшее середину земли.

Одернув гимнастерку, причесавшись расческой, капитан Мельников продул ее, из-подо лба наблюдая за рассаживающимися по краям нар новобранцами, провел большими пальцами под ремнем, сгоняя глубокие, бабьи складки на костисто выгнутую спину, сосредоточиваясь на мыслях, кашлянул, уже скользом оглядел публику, плотно рассевшуюся в проходе, но не вместившуюся ни на плахах, ни на нарах, по-куриному приосевшую на корточки спиною к

коленям сидящих сзади, — сцепка людей была всеобщая, по казарме никто не смел бродить, курить тоже запрещалось.

— Наши доблестные войска, перемалывая превосходящие силы противника, ведут упорные кровопролитные бои на всех фронтах, — начал неторопливо, как бы взвешивая каждое слово, капитан Мельников, — Враг вышел к Волге, и здесь, на берегах великой русской реки, он найдет свою могилу, гибельную и окончательную…

Голос политотдельца, чем дальше он говорил, делался увереннее, напористей, вся его беседа была так убедительна, что удивляться только оставалось — как это немцы умудрились достичь Волги, когда по всем статьям все должно быть наоборот и доблестная Красная Армия должна топтать вражеские поля, попирать и посрамлять фашистские твердыни. Недоразумение да и только! Обман зрения. Напасть. Бьем врага отчаянно! Трудимся героически! Живем патриотически! Думаем, как вождь и главнокомандующий велит! Силы несметные! Порядки строгие! Едины мы и непобедимы!.. И вот на тебе — враг на Волге, под Москвой, под Ленинградом, половину страны и армии как корова языком слизнула, кто кого домалывает — попробуй разберись без пол-литры.

Однако слушать капитана Мельникова все одно хорошо. Пусть обман, пусть наваждение, блудословие, но все ж веровать хочется. Закроешь глаза — и с помощью отца-политотдельца пространства такие покроешь, что и границу не заметишь, в чужой огород перемахнешь, в логове окажешься, и, главное дело, время битвы сокращается с каждой минутой. Что как не поспеешь в логово-то? Доблестные войска до тебя домолотят врага? Тогда ты с сожалением, конечно, но и с облегчением в сердце вернешься домой, под родную крышу, к мамке и тятьке.

Под звук уверенного голоса, под приятные такие слова забывались все потери, беды, похоронки, слезы женские, нары из жердинника, оторопь от летней столовой, смрад и угарный дым в казарме, теснящая сердце тоска. И дремалось же сладко под это словесное убаюкивание. Своды карантина огласил рокот — не иначе как камнепад начался над казармой, кирпичная труба рассыпалась и рухнула, покатилась по тесовой крыше. Капитан Мельников и вся ему внимавшая публика обмерли в предчувствии погибели. Рокот нарастал.

— Встать!

Рокот оборвался. Все ужаленно вскочили. Коля Рындин, мостившийся на конце плахи, упал в песок на раздробленное сосновое месиво, шарился под нарами, отыскивая картуз, который он только что держал на коленях.

— Кто храпел?

Коля Рындин нашел картуз, вытряхнул из него песок, огляделся.

— Я, поди-ко.

— Вы почему спите на политзанятиях?

— Не знаю. — Коля Рындин подумал и пояснил; — Я завсегда, коль не занят работой, сплю.

Народ грохнул и окончательно проснулся. Капитан снисходительно улыбнулся, велел всем сесть, но нарушителю приказал стоять, пообещав, что как перейдет новоприбывшее войско на казарменное положение, так просто никому не спишется срыв важнейшего воспитательного предмета, каким являются политические занятия, такому вот моральному отщепенцу, храпуну, кроме своих прихотей ничего не уважающему, уделено будет особое, самое пристальное

внимание. Коля Рындин напугался обличительных слов важного капитана, потому что быть моральным отщепенцем ему еще не доводилось, пнем горелым торчал среди полутемной казармы, на всякий случай, пригнувшись под потолком, изо всех сил старался слушать политбеседу, но непобедимая дрема окутывала его, размягчала, уносила вдаль, качала-убаюкивала, и, боясь рухнуть наземь средь почтительной беседы, он принял меры безопасности.

— Ширяй меня под бок, если што, — шепнул он рядом сидящему парню.

— Чего, если что?

— Под бок ширяй, да пошибче, а то погибель.

Политбеседа закончилась обзором мировых событий, уверением, что не иначе как к исходу нынешнего года, но скорее всего по теплу союзники — Англия и Америка — откроют второй фронт, капитан попросил, чтоб бойцы показали на карте, где находится Англия, где располагается Америка. Нашлись два-три смельчака, отыскали дальние страны союзников на карте. Коля Рындин, которому наконец-то позволили сесть, вытянул шею, глядел на деревянную указку, шепотом спрашивал:

— Какой оне веры?

— Бусурманской.

— Я так и думал. Потому оне и не отворяют другой фронт, чтобы мы надорвались, обессилели. Тоды они нехристей на нас напустют.

Ребята, удивленно открыв рты, внимали Коле Рындину. Капитан сворачивал карту в трубочку, удаленно глядел мимо разношерстных новобранцев, мучал заморенное сознание, сосредотачиваясь перед новой беседой — ему предстояло побывать во всех казармах карантина да еще провести, уже вечером, последнее, наставительное занятие с младшими командирами одного из маршевых батальонов. Работал капитан Мельников так много, так напряженно, главное, так политически целенаправленно, что ему не только пополнять свои куцые знания, но и выспаться некогда было. Он считал, что так оно и должно быть: сгорать на партийно-агитационной работе дотла во имя любимой Родины и героического советского народа — его назначение, иначе незачем было в армию идти, в политучилище маяться, которое он уже забыл, когда закончил, да и себя мало помнил, потому как себе не принадлежал, зато числился не только в полку, но и во всем Сибирском военном округе одним из самых опытных, пусть и слабообразованных политработников.

Карантинная жизнь густела и затягивалась. Маршевые роты отчего-то не отправлялись по назначению и не освобождали казармы. В карантинных землянках многолюдство и теснота, драки, пьянки, воровство, карты, вонь, вши. Никакие дополнительные меры вроде внеочередных нарядов, лекций, бесед, попыток проводить занятия по военному делу не могли наладить порядок и дисциплину среди шатучего людского сброда. Давно раскурочены котомки старообрядцев и их боевых сподвижников, давно кончился табак, но курить-то охота и жрать охота. Промышляй, братва! Ночами пластаются котомки вновь прибывших, в землянках идет торг и товарообмен, в столовке под открытым небом кто пожрет два раза, кто ни разу. Лучше, чем дома, чувствовали себя в карантине жулики, картежники, ворье, бывшие урки-арестанты. Они сбивались в артельки, союзно вели обираловку и грабеж, с наглым размахом, с неуязвимостью жировали в тесном, мрачном людском прибежище.

Были и такие, как Зеленцов, добычу вели особняком, жили по-звериному уединенно. Правда,

для прикрытия Зеленцов сгрудил возле себя несколько бойких парнишек — двух бывших детдомовцев Хохлака и Фефелова, работяг Костю Уварова и Васю Шевелева, — за песни уважал и кормил Бабенко, не отгонял от себя Зеленцов и Лешку Шестакова, и Колю Рындина — пригодятся.

Хохлак и Фефелов — бывшие беспризорники, опытные щипачи — работали ночами, днем спали. Если их начинали будить и назначать в наряд, компания дружно защищала корешей, крича, что они всю ночь дежурили. Костя Уваров и Вася Шевелев ведали провиантом — занимали очереди в раздаточной, пекли на печи добытую картошку, свеклу, морковь, торговали, меняли вещи на хлеб и табак, где-то в лесных дебрях добывали самогонку. Лешка Шестаков и Коля Рындин пилили и таскали дрова, застилали искрошенный лапник на нарах свежими ветками, приносили воду, вырыли в отдалении и загородили вершинами сосняка персональный нужник. Лишь Петька Мусиков уединенно лежал в глубине нар, вздымаясь только по нужде и для принятия пищи. Зеленцов сидел на нарах, ноги колесом, руководил артелью, "держал место", наливал, отрезал, делил, насыпал, говоря, что с ним ребята не пропадут и что здесь припеваючи можно просидеть всю войну.

Однажды вечером новобранцам велели покинуть казармы. Мятые, завшивленные, кашляющие, не строем, разбродным стадом пришли они в расположение рот. Их долго держали на пронизывающем ветру. В потемках уже, под тусклыми пятнышками света, желтеющими над входами в казармы, туда-сюда бегали, суетились командиры, мерзло стуча сапогами, выкрикивали поименно своих бойцов, ругались, подавали команды. Важные лица до самой звездной ночи считали и проверяли маршевые роты в полном снаряжении, готовя их к отправке. Маршевики были разных возрастов, ребятишкам-новобранцам, превратившимся в доходяг, обмундированные, подтянутые солдаты казались недоступными, они звали их дяденьками, раболепно заискивали перед старослужащими, делились табачишком, у кого остался. Невзирая на строгую военную тайну, маршевики уже знали и говорили, что направляют их на Сталинград, в дивизию Гуртьева, в самое пекло. Подточенные запасным полком, бледные, осунувшиеся, костистые, были бойцы угрюмы и малоразговорчивы, но табачок да землячество сближали их с ребятишками.

Ночь уже была, мороз набирал силу. Перемерзшие люди начали разводить костерки, ломая на них пристройки, отдирая обшивку с тамбура казармы, наличники от дверей, мгновенно была разобрана и сожжена загорожа ротного нужника. Отобравши у новобранцев все, что было с ними из жалкого имущества, в карантин ребят не возвращали, а им уже раем казался душный темный подвал.

Поздней ночью поступила команда войти в расположение первой роты первого батальона сперва маршевикам, затем новобранцам.

Началась давка. В казарме, настывшей без людей, выветрился и живой дух. Вонько было от карболки и хлорки — успели уже провести дезинфекцию, повсюду на склизлый, хлябающий пол, настланный прямо на землю и сгнивший большей частью, был насыпан белый порошок, на нары, под нары, даже и вокруг громоздких небеленых печей, толсто облепленных глиной, слоем навален порошок. Мало стоит, видно, этот порошок, вот и навалили его без нормы — не жалко.

Маршевые роты смели рукавицами с нар порошок, заняли свое место. Ребятам-новобранцам велено было находиться в казарме, ждать отправки маршевиков и тогда уж располагаться на нарах. Известно, что солдат всегда солдат и была бы щель — везде пролезет, находчивость проявит. Так и не дождавшись никакого подходящего момента до самого утра, парни совались на нары к маршевикам, те их не пускали, ребятишки-то во вшах, уговаривали, урезонивали

ребят, однако те упорно лезли и лезли в людскую гущу, в тепло. Тогда их начали спинывать, сшибать с нар, дубасить кулаками, стращать оружием.

Та злобная, беспощадная ночь запала в память как бред. Лешка Шестаков вместе с Гришей Хохлаком примазывался на нары, хотя бы нижние, хотя бы в ногах спящих, но маршевики молча их спинывали не стоптанными еще жесткими ботинками на холодный пол. Один дядек все же не выдержал, в темноте проскрежетал: "Ат армия! Ат бардак! Да пустите парнишшонок на нары. Пустите. Черт с ними, со вшами! Че нам, привыкать? До смерти не съедят".

Зеленцов чувствовал себя и здесь как дома. Он растопил печку какими-то щепками, обломками пола, когда к теплу потянулись доходяги, сказал, что подпускать к печи будет только тех вояк, которые с дровами. Затрещали половицы, облицовка нар, в проходе ступеньки хрустнули, скрежетали гвозди. Лешка с Хохлаком сходили на улицу, собрали возле давешних костерков куски досок, сосновые сучья, бодро грохнули беремце топлива к дверце печки. Зеленцов приблизил их к себе. "Главное, братва, не ложиться на пол, прежь всего боком не вались — простудите ливер", — увещевал он.

Парни держались героически. Печка постепенно и нехотя разгоралась, от нее поплыло волглое, глиной пахнущее, душное тепло. Перемерзлых ребят одного за другим валило на пол к сырому боку печи. Лешка с Хохлаком еще и еще ходили за дровами к карантину, к офицерским землянкам, где могли их и пристрелить. Коля Рындин приволок из тайги на плече долготьем сухостоину, положил ее концом на возвышение крыльца и, дико гакая, прыгая, крушил сосну ногами. Но и этого топлива не хватило до утра. Разогнавшись что паровоз, печка не знала устали, с гулом, аханьем пожирала жалкую древесную ломь, огненная ее пасть делалась все красней, все яростней и слопала наконец, испепелила все топливо, пожрала силы бойцов. Они пали вокруг печки, будто на поле брани. Зеленцов, Бабенко и Фефелов, дождавшись бесчувственного сна войска, напослед очищали карманы и сидора маршевиков, но тем еще не выдали дорожный паек, личных вещей у них почти не осталось, издержались, проели, променяли цепкое имущество дядьки за месяцы службы в запасном полку. С пяток ножей-складников, пару портсигаров да несколько мундштуков и сотню-другую бумажных денег добыли мародеры и от разочарования, не иначе, тоже уснули, прижавшись спинами к подсохшему горячему боку печки.

Лешке тоже удалось притиснуться, и когда, как он от печки отслонился или его отслонили — не помнил. Наяву иль во сне мелькнуло, как его, вывалянного в порошке, пинали, загоняли куда-то. Не открывая глаз, он вскарабкался наверх и, нащупав твердое место, провалился в зябко его окутавший сон.

Маршевую роту наутре все же подняли и отправили на станцию Бердск. Усатый старшина первой роты по фамилии Шпатор, жалея ребятишек, которые отныне поступали в его распоряжение, затаскивал их вместе с дежурным нарядом на нары. Когда отгрешились, стругались, пинками забивая служивых на спальные места, старшина, тяжело дыша, выдохнул:

— Н-ну, с этими вояками будет мне смех и горе!

Спальные места — трехъярусные нары с железными скобами в столбах. Посередке сдвоенных нар точно по шву шалашиком прибиты доски — изголовье, оно две службы сразу несло: спать как на подушке позволяло и отделяло повзводно спящих головами друг к другу людей — с той стороны второй взвод, с этой первый, не спутаешь при таком удобстве.

Половина мрачной, непродышливой казармы с выходом к лесу и к нужнику, с тремя ярусами нар — это и есть обиталище первой роты, состоящей из четырех взводов. Вторую половину

казармы с выходом к другой такой же казарме занимала вторая рота, все вместе будет первый стрелковый батальон двадцать первого резервного стрелкового полка.

Плохо освещенная казарма казалась без конца, без края, вроде бы и без стен, из сырого леса строенная, она так и не просохла, прела, гнила, была всегда склизкой, плесневелой от многолюдного дыхания. Узкие, от сотворения своего немытые оконца, напоминающие бойницы, излаженные меж землей и крышей, свинцовели днем и ночью одинаково мертво-лунным светом. Стекла при осадке в большинстве рам раздавило, отверстия были завалены сосновыми ветвями, на которых толстыми пластушинами лежал грязный снег. Четыре печи, не то голландки, не то просто так, без затей сложенные кирпичные кучи, похожие на мамонтов, вынутых из-под земли иль сослепу сюда нечаянно забредших, с одним отверстием — для дверцы — и броневым листом вместо плиты, загораживали проходы казармы. Главное достоинство этой отопительной системы было в тяге: короткие, объемистые, что у парохода, трубы, заглотав топливо, напрямую швыряли в небо тупыми отверстиями пламя, головешки, уголья, сорили искрами густо и жизнерадостно, чудилось, будто над казармами двадцать первого полка каждый вечер происходит праздничный фейерверк. Будь казармы сухими, не захороненными в снегу — давно бы выгореть военному городку подчистую. Но подвалы сии ни пламя, ни проклятье земное, ни силы небесные не брали, лишь время было для них гибельно — сопревая, они покорно оседали в песчаную почву со всем своим скудным скарбом, с копошащимся в них народом, точно зловещие гробы обреченно погружались в бездонные пучины.

Из осветительного имущества в казарме были четыре конюшенных фонаря с выбитыми стеклами, полки с жировыми плошками, прибитые к стене против каждого яруса нар, к стене же прислонен стеллаж — для оружия, в стеллаже том виднелись две-три пары всамделишных русских и финских винтовок, далее белели из досок вырубленные макеты. Как и настоящие винтовки, они пронумерованы и прикручены проволокой к стеллажу, чтоб не стащили на топливо.

Выход из казармы увенчан дощатыми, толсто обмерзшими воротами, к ним пристройки: по левую руку — каптерка ротного старшины Шпатора, зорко оберегающего необременительное ротное имущество, справа — комната дневальных с отдельной железной печью, подле которой всегда имелось топливо, потому как дежурка употреблялась для индивидуального осмотра контингента роты по форме двадцать, а также для свиданий с родными, которые отчего-то ни разу еще сюда не приезжали, ну и вообще для всяких разных нужд и надобностей.

Более ничего примечательного в этом помещении не было. Казарма есть казарма, тем более казарма советская, тем более военной поры, — это тебе не дом отдыха с его излишествами и предметами для интересного досуга. Тем более это не генеральские апартаменты — здесь все сурово, все на уровне современной пещеры, следовательно, и пещерной жизни, пещерного быта.

Лешка просыпался долго, еще дольше лежал, вслушивался в себя, привыкая к гулу, ко климату заведения, в котором ему предстояло жить и служить. С нар, с самого их верха — во куда во сне занесло! — ему был виден краешек продолговатой темной рамы. Стеклышки в ней искрошены и отчего-то не вынуты, так осколками и торчат, придавленные хвойной порослью — для тепла, догадался Лешка и отметил про себя: "Будто в берлоге", но смятения не испытал, только тупая покорность, в него вселившаяся еще с карантина, угнетала и поверх этого томили еще два желания — хотелось до ветру и поесть.

Кто как, кто где спали ребята, которые проснулись, Покуривали, переговаривались, подавленно глазели на окружающую действительность. Справа и слева от Лешки разместилась

компания Зеленцова. Широко распахнув рот, подобрав под шабур локтистые руки, спал, не давая себе разойтись в храпе, Коля Рындин. "Во дает..." — Лешка не успел докончить вялую мысль, как бодрый, почти веселый, не по-стариковски звонкий голос старшины Шпатора взвился в казарме:

— А, па-а-ааадье-омчик, служивые! Па-а-ааадье-ооом-чик! Па-адъем-чик! Служба начинаится, спанье кончаится! Будем к порядочку привыкать, к дисциплиночке!

Да не шибко-то отреагировали на этот призыв служивые, мало кто шевельнулся. Старшина вынужден был кого-то дернуть за ногу.

— Тебе, родной, отдельную команду подавать, памаш? Тут вам не у мамки на печи! Тут армия, памаш.

В этот день прибывших из карантина новобранцев кормили разом завтраком и обедом, да еще и от маршевых рот, рано угнанных на станцию, хлебово в котлах осталось — наелись от пуза, повеселели молодые воины, решили, что так оно и дальше будет. Когда отобрали из первой и второй рот по десятку ребят и послали те команды топить баню — еще веселее сделалось. В казарме разговоры пошли о том, что там, в бане, обмундируют их, белье и амуницию новые выдадут, говорили, будто бы уже видели, как на подводе полушубки, валенки и еще чего-то повезли, и совсем уж обнадеживающие для жизни новости докатились до рот: пока служивые моются, обмундировываются, им приготовят сюрприз — старшина с дежурными разложат по нарам постельные принадлежности: на каждого служивого по одеялу, наволочке и по одной, может, и по две простыни — отдыхай, набирайся сил и умения для войны, молодой человек, страна и партия о тебе думают, заботятся, помогают готовиться для грядущих битв.

В глуби казармы, в земных ее недрах, возник и зазвучал высокий, горя не знающий голос:

Ревела буря, дождь шумел...
Во мраке молнии блистали...

Лешка по голосу узнал Бабенко, подтянул ему, не ведая еще, что долго он теперь в этом месте, в этой яме, называемой и без того презренным словом "казарма", никаких песен не услышит.

Глава вторая

С того самого дня, со вселения в расположение первого батальона, ребята из первой и других рот все время ждали изменения к лучшему в своей жизни и службе. Новое обмундирование им не дали, всех переодели в б/у — бывшее в употреблении. Лешке Шестакову досталась гимнастерка с отложным воротником, на которой еще были видны отпечатки кубиков, — командирская попалась гимнастерка, зашитая на животе. Не сразу узнал он, отчего гимнастерки и нательные рубахи у большинства солдат зашиты на животе. Нелепость какая-то, озорство, тыловое хулиганство, думал он.

Баня новая, из сырых, неокоренных бревен, печи в ней едва нагрелись, воды горячей обошлось лишь по тазу на брата. В парной каменка чуть шипела. Коля Рындин, вознамерившийся похлестаться веником, где-то подобранным, хлобыстнул на гору камней таз воды, каменка отозвалась слабым, исходным сипением, чахоточно кашлянула, потрещало что-то в каменных недрах, будто парнишки сперли у отца горсть пистонов и набросали в каменку, и все сконфуженно утихло. Держа обеими ручищами своего ребенка, Коля Рындин постоял, подождал еще звуку и пару и боязно, будто от покойника, упятился из мокрой парилки к народу, в моечную.

Пока обмундировывались, совсем продрогли парни. Особенно досталось Коле Рындину и солдату Булдакову, недавно присланному в роту: все обутки, вся одежда в ворохах и связках была рассчитана на среднего человека, даже на маломерков, но для двухметрового Коли Рындина и такого же долговязого Лехи Булдакова ничего подходящего не находилось. Едва напялили они на озябшее сырое тело опасно трещавшее белье, гимнастерки, штаны же застегнуть не могли, шинели до колен, рукава едва достигали локтей, на груди и на брюхе не сходилось. Коля Рындин и Леха Булдаков насунули в ботинки до половины ноги, ходили на смятых задниках, отчего сделались еще выше, еще нелепей, да и стоять приловчиться не могли — шатало. Старшина Шпатор, выстроив роту, горестно глядел на гренадеров этих, сокрушенно качал головой, сулился поискать на складе амуницию, привести в порядок чудо-богатырей Советской Армии, но сулился вяло, не веря в успех. Коля Рындин терпел тычки и поношения, но вот Булдаков, споткнувшись раз-другой, спинал ботинок сначала с левой ноги, затем с правой, стиснул портянки в горсти и пошел по морозу босиком. Старшина Шпатор открыл рот. Рота смешала строй, остановилась. Вулдаков удалялся.

— Э-эй! — подал голос старшина Шпатор. — Ты это, памаш, че? Простудисся…

Булдаков шел по дороге, незастегнутые кальсоны вместе с брюками сползли с живота, мели тесемками снег. Время от времени Булдаков подхватывал тряпицы, поддергивал их до живота и топал дальше.

Сделав небольшой крюк, Булдаков сравнялся со штабом полка и, шагая вдоль брусчатой ограды, рявкнул, рубя босыми ногами по стылой дороге:

Взвейся, знамя коммунизьма,

Над землей трудящих масс…

— Эй, эй, — держа старые, скореженные ботинки в руках, бежал следом старшина Шпатор, — эй, придурок! Эй, товарищ боец! Как твоя фамилия?

Булдаков продолжал рубить строевым шагом, да так с песней и удалился в глубь казарм, там бегом рванул в расположение, взлетел на верхние нары, принялся оттирать ноги сукном шинели.

Военный чиновный люд, высыпавший из штаба полка на крашеное крылечко, который удивить вроде бы уж ничем было невозможно, все же удивился. Один штабист совсем разнервничался, подозвал старшину:

— Что за комедия? Что за бардак?

— А бардак и есть! — выдохнул старшина Шпатор, указывая ботинками на бредущую из бани первую роту — оне вон утверждают, памаш, весь мир — бардак, все люди — бляди. И правильно, памаш! Правильно! Вы вот, — увидев, что штабист собрался читать ему мораль, — вместо лекции две пары ботинок сорок седьмого размера мне найдите, а энти себе оставьте либо полковнику Азатьяну подарите на память. — И, поставив сморщенные ботинки на крашеное крылечко, дерзко удалился, издаля крича что-то первой роте, какие-то команды подавая и в то же время горестный итог подводя от знакомства со свежим составом роты: ежели в нее угодило с пяток этаких вот бойцов-богатырей, артистов, как тот, что показал строевую неустрашимость, ему при его годах и здоровье долго не протянуть.

Не выдали служивым ни постелей, ни пожиток, ни наглядных пособий, ни оружия, ни патронов, зато нравоучений и матюков не жалели и на строевые занятия выгнали уже на

другой день с деревянными макетами винтовок, вооружив — для бравости — настоящими ружьями лишь первые две четверки в строю. И слилась песня первой роты с песнями и голосами других взводов, рот, чтобы со временем превратиться во всеобщий непрерывный вой и стон, от темна до темна звучащий над приобским широким лесом. Лишь голос Бабенко, сам себе радующийся, перекрывал все другие голоса: "Распрягайте, хлопцы, коней тай лягайте опочивать..." — и первый взвод первой роты. со спертым в груди воздухом в ожидании припева замирал, карауля свой момент, чтобы отчаянно выдохнуть: "Раз-два-три, Маруся!.."

Шли первые дни и недели службы. Не гасла еще надежда в сердцах людей на улучшение жизни, быта и кормежки. Еще пели в строю, еще радовались вестям из дому, еще хохотали; еще про девок вспоминали красноармейцы, закаляющиеся в военной однообразной жизни, втягивающиеся в казарменный быт, мало чем отличающийся от тюремного, упрямо веруя в грядущие перемены. На таком краю человеческого существования, в таком табунном скопище, полагали они, силы и бодрость сохранить, да и выжить, — невозможно. Ребята — вчерашние школьники, зеленые кавалеры и работники — еще не понимали, что в казарме жизнь как таковая обезличивается: человек, выполняющий обезличенные обязанности, делающий обезличенный, почти не имеющий смысла и пользы труд, сам становится безликим, этаким истуканом, давно и незамысловато кем-то вылепленным, и жизнь его превращается в серую пылинку, вращающуюся в таком же сером, густом облаке пыли.

Колю Рындина и Леху Булдакова на занятия не выводили по причине некомплектности — чтоб не торчали они чучелом над войском, не портили ротной песни, блажа чего попало, потому как старообрядец ни одной мирской, тем более строевой песни не знал, вставлял в такт шага свои слова: "Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас..." Леха Булдаков малой обувью швырялся, вел себя мятежно. Эту пару заставляли таскать воду в ротный бачок, мыть пол, если набросанные на землю горбылины и полусгнившие плахи можно было назвать полом, пешней и лопатой скалывать снег у входа в казарму, залитый мочой, чистить нужник, пилить и колоть дрова, топить печи в казарме и в дежурке да в каптерке старшины.

Булдаков от работы уклонялся, бессовестно эксплуатировал Колю Рындина. Коля же работал добросовестно, ему перепадало за труды кое-что из приварка за счет больных и темных лиц, не являющихся ко двору, даже в дежурку за едой, для них принесенной, не спешащих. Да и Булдаков порой тоже исчезал куда-то, приносил съестное в карманах и под полою — воровал, поди-ко, Господь его прости, но добычей делился, добрый и отчаянный он человек.

Дома, в Верхнем Кужебаре, Коля Рындин утром съедал каравай хлеба, чугунок картошки или горшок каши с маслом, запивал все это кринкой молока. За обедом он опоражнивал горшок щей, сковороду драчены на сметане, или картошки с мясом, либо жаровню с рыбой и на верхосытку уворачивал чугун паренок из брюквы, свеклы и моркови, запивал все это крепкое питанье ковшом хлебного кваса либо простоквашей. На ужин и вовсе была пища обильной: капуста, грибы соленые, черемша соленая, рыба жареная или отварная, поверху квас, когда и пиво из ржаного сусла, кулага из калины.

В посты, особенно в Великий пост, страдал парень от голода сильно, случалось, и грешил, тайком чего-нибудь съевши, но и каялся, опять же молился. А здесь вот ни тебе молитвы, ни тебе покаянья, воистину антихристово пристанище, бесовское ристалище.

Коля Рындин родился и рос на изобильных сибирских землях возле богатой тайги и реки Амыл. Нужды в еде никогда не знал, первые месяцы войны пока еще губительно не отозвались на крестьянском пропитании, не пошатнули их вековечного рациона, но в армии, после того как опустела котомка, старообрядец сразу почувствовал, что военное время — голодное время. Коля Рындин начал опадать с лица, кирпичная каленость сошла с его квадратного загривка,

стекла к щекам, но и на щеках румянец объявлялся все реже и реже, разве что во время работы на морозе. Брюхо Коли Рындина опало, несмотря на случайные подкормки, руки вроде бы удлинились, кость круче выступила на лице, в глазах все явственней сквозила тоска. Коля Рындин не раз уж замечал за собой: забывает помолиться на сон, перед едою, пусть молчком, про себя, но Господь-то все равно все ведает и молитву слышит, да и молитвы стал он путать, забывать.

Перед великим революционным праздником наконец-то пришли специальной посылкой новые ботинки для большеразмерных бойцов. Радуясь обновке, что дитя малое, Коля Рындин примерял ботинки, притопывал, прохаживался гоголем перед товарищами. Булдакову Лехе и тут не уноровили, он ботинки с верхотуры нар зафитилил так, что они грохнули об пол. Старшина Шпатор грозился упечь симулянта на губу, и когда служивый этот, разгильдяй, снова уклонился от занятий, явился в казарму капитан Мельников, дабы устранить недоделки здешних командиров в воспитании бойца. Симулянт был стащен с уютных нар, послан в каптерку, из которой удален был хозяин — старшина Шпатор.

Комиссар, как ему и полагается, повел с красноармейцем беседу отеческим тоном. Как бы размякнув от такого отечески-доверительного обращения, Булдаков жалостливо повествовал о себе; родом из окраинного городского поселка Покровки, что на самой горе, на самом лютом ветру по-за городом Красноярском, туда и транспорт-то никакой не ходит, да там и народ-то все больше темный-претемный живет-обретается; с раннего детства среди такого вот народа, в отрыве от городской культуры, в бедности и труде. Кулаков? Нет, никаких кулаков в родне не водится. Какие кулаки в городу? Элементу? Элементу тоже нет — простая советская семья. Кулаки же, паразиты, — это уж на выселках, по-за речкой Качей, там, там, за горами, оне кровь из батраков и пролетариата сосут. В Покровке же рабочий люд, бедность, разве что богомолки докучают. Кладбище близко, собор в городу был, но его в конце концов рванули. Богомолок тоже отлавливают, и церкву надо прикрыть в Покровке, чтоб не разводился возле нее паразитирующий класс. Насчет сидеть? Тоже как будто все чисто.

О том, что папаня, буйный пропойца, почти не выходит из тюрьмы и два старших брата хорошо обжили приенисейские этапные дали, Булдаков, разумеется, сообщать воздержался, зато уж пел он, соловьем разливался, повествуя о героическом труде на лесосплаве, начавшемся еще в отроческие годы.

О том, что сам он только призывом в армию отвертелся от тюрьмы, Булдаков тоже умолчал. А вот о том, что на реках Мане, Ангаре и Базаихе грудь и ноги застудил, повествовал жарко и складно, да что ноги, в них ли дело, зато познал спайку трудового народа, энтузиазм социалистического соревнования ощутил, силу рабочего класса воочию увидел, крепкую закалку прошел, вот отчего, рассердившись на вещевой склад, по снегу босиком прошел и не простудился. С детства ж, с трех лет, зимой и летом, как и полагается пролетарью, на ветру, на холоду, недоедая, недосыпая, зато жизнь героическую изведал и всем сердцем воспринял. Нет-нет, не женат. Какая жена! Какая семья! Надо на ноги крепко встать, бедной маме помогать, папу издалека дождаться, да и уцелеть еще на войне надо, урон врагу нанести, преж чем о чем-то всяком другом думать.

Мельников начал впадать в сомнение — уж не дурачит ли его этот говорун, не насмехается ли над ним?

— Придуриваетесь, да? Но я вам не старшина Шпатор, вот велю под суд вас отдать…

Булдаков поманил пальцем Мельникова, вытянул кадыкастую шею и, наплевав сырости в ухо комиссару, шепотом возвестил:

— Гром надломится, но хер не сломится, слыхал?

Капитан Мельников отшатнулся, лихорадочно прочищая мизинцем ухо.

— Вы! Вы... что себе позволяете?

Булдаков вдруг увел глаза под лоб, зашевелил ушами, перекосоротился.

— У бар бороды не бывает! — заорал припадочным, срывистым голосом. — Я в дурдоме родился. В тюрьме крестился! Я за себя не отвечаю. Меня в больницу надо! В психи-атрическу-у-у!.. — И брякнулся на пол, пнув по пути горящую печку, сшиб трубу с патрубка, дым по каптерке заклубило, посуда с полки упала, котелок, кружка, ложки, пол ходуном заходил, изо рта припадочного повалила пена.

Капитан Мельников не помнил, как выскочил из каптерки, спрятался в комнате у дежурных, где сидел, поскорбев лицом, все слышавший старшина Шпатор.

— Может, его... может, его в новосибирский госпиталь направить... на обследование?.. — отпив воды из кружки дежурных, вопросил нервным голосом Мельников.

Старшина дождался, когда дежурные подадут капитану шинель и шапку, безнадежно махнул рукою.

— Половину роты, товарищ капитан, придется направлять. Тут такие есть артисты... Ладно уж, я сам их обследую. И рецепт пропишу, памаш, каждому, персонально.

С тех пор, проводя в казарме политзанятия, капитан Мельников опасливо косился в сторону Булдакова, ожидая от него какого-либо подвоха. Но красноармеец Булдаков вел себя примерно, вопросы задавал только по текущей политике, интересуясь в основном деятельностью Даладье и Чемберлена да кто правит ныне в Африке — черные иль все еще белые колонизаторы-капиталисты.

Бойцы уважали Леху Булдакова за приверженность к чтению газет, за политическую грамотность. Мельников с опаской думал: "Чего это он насчет Даладье и Чемберлена-то?.."

На 7 ноября открыли зимнюю столовую. В зале, напоминающем сельский стадион, за столами, не по всей еще площади закрепленными на укосинах, сидя на еще не убранных опилках, на полу и на скамейках, полк слушал доклад товарища Сталина из Москвы. В столовой, свежо пахнущей пиленым тесом, смолистой сосною, раздавался негромкий и неторопливый голос, с перебивами, порой с нажимом оратор выговаривал русские слова: "В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня двадцать пятую годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны... Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы". Говорил Сталин заторможенно, с остановками, как бы обдумывая каждое слово, взвешивая сказанное. От давней, как бы уже старческой усталости, печальны были не только голос, но и слова вождя. У людей, его слушавших, сдавливало грудь, утишало дыхание, жалко делалось вождя и все на свете, хотелось помочь ему, а чем поможешь-то? Вот и страдает, мучается за всех великий человек, воистину отец родной. Хорошие, жалостливые, благодарные слушатели были у вождя, от любого, в особенности проникновенного, слова раскисающие, готовые сердце вынуть из груди и протянуть его на ладонях: возьми, отец родной, жизнь мою, всего меня возьми ради спасения Родины, но главное, не печалься, не горюй — мы с тобою, мы за тебя умрем все до единого, только не горюй, лучше мы отгорюем за все и за всех, нам не привыкать.

Коля Рындин, задержавшийся по хозяйственным делам, опоздал к началу доклада, с трудом отыскал свою роту; плюхнулся на пол, задышливо спросил:

— Кто говорит-то?

— Сталин.

— Ста-алин? — Коля Рындин вслушался, подумал и на всякий случай от себя лично ввернул: — Он завсегда правильно говорит...

— Тих-ха, ты!

"...Трудности удалось преодолеть, и теперь наши заводы, колхозы и совхозы... наши военные заводы и смежные с ними предприятия честно и аккуратно снабжают Красную Армию... наша страна никогда еще не имела такого крепкого и организованного тыла".

Кто-то захлопал на этом месте, и все хотели захлопать, но раздалась команда: "Не аплодировать отдельно от Москвы", — столовая снова замерла, дыша с приглушенной напряженностью.

"...Люди стали более подтянутыми, менее расхлябанными, более дисциплинированными, научились работать по-военному, стали сознавать свой долг перед Родиной... — Сталин остановился, передохнул, послышалось бульканье, осторожный звяк. посудины — докладчик попил воды. — Военные действия на советско-немецком фронте можно разбить на два периода — это по преимуществу зимний период, когда Красная Армия, отбив атаку немцев на Москву, взяла инициативу в свои руки, перешла в наступление, погнала немецкие войска и в течение четырех месяцев прошла местами более четырехсот километров. Немецко-фашистские войска, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, собрали все свои свободные резервы, прорвали фронт в юго-западном направлении и, взяв в свои руки инициативу..."

Как наши войска взяли инициативу в свои руки и прошли четыреста верст, слушать было приятно, но вот как немцы взяли инициативу в свои руки и прошли пятьсот верст — хотелось пропустить. Да куда же денешься-то? Радио звучит. Сам Сталин смело говорит горькую правду своему народу — надо слушать.

"В ноябре прошлого года немцы рассчитывали ударом в лоб по Москве взять Москву, заставить Красную Армию капитулировать... Этими иллюзиями кормили они своих солдат..."

— Хераньки ихим иллюзиям! — выдохнул кто-то в первой роте, скорее всего Булдаков, кто же еще на такое способен?! Народ одобрительно шевельнулся, коротко всхохотнул.

"...Погнавшись за двумя зайцами: и за нефтью, и за окружением Москвы, — немецко-фашистская стратегия оказалась в затруднительном положении".

— За двумя за заяйцами погонишься, ни одного за яйца не поймаешь! — звонко врубил патриотическую остроту все тот же Булдаков, но тут не выдержал капитан Мельников:

— Первая рота! Еще раз нарушите, удалю из помещения.

Поднялся командир первой роты Пшенный, обвел молодяг тяжелым взглядом, сделавшимся просто леденящим, поводил крупным, с ведро величиной лицом туда-сюда и, ничего не сказав, сел обратно на скамейку, но долго еще гневно тискал в руках шапку со звездой. Своего командира роты ребята мало видели, совсем еще не знали, но уже боялись — фигура!

Зато заместителя командира роты младшего лейтенанта Щуся, раненного на Хасане и там получившего орден Красной Звезды, приняли и полюбили сразу. Ладно скроенный, голубоглазый, четко и вроде даже музыкально подающий команды, как он приветствовал старших по званию, вскидывая руку к виску, щелкнув при этом сапогами, — балет! Щусь стоял, прислонившись спиной к стене, с шапкой в руке, гладко причесанный по пробору, в белом шарфике, в серой новенькой шинели, так всюду пригнанной, что и палец под ремень не просунешь!

Доклад продолжался, и тоже, как на политзанятиях, проводимых капитаном Мельниковым, выходило, что враг-фашист по какому-то совершенно непонятному недоразумению топчет нашу священную землю. Ага, вот маленько и прояснилось, почему фашист-ирод так далеко забрался в наши пределы:

"...Главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом году состоит в том, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность бросить на наш фронт все свободные резервы..."

У всех полегчало на душе — ясное и понятное объяснение всех наших прорух, бед и отступлений. Открылся бы второй фронт, и... "Красная Армия стояла бы в этом случае не там, где она стоит теперь, а где-нибудь около Пскова, Минска, Житомира, Одессы. Немецкая же стояла бы перед своей катастрофой".

К концу доклада голос Сталина окреп, сделался выше, уверенней и даже звонче. Вождь уже почти не кашлял, разогрелся или окончательно поверил, что враг на ладан дышит и стоит собраться с духом, сплотиться, нажать — как нечистая эта сила тут же окажется в собственной берлоге, где ее и следует добить, уконтрапупить. Сталин ставил для этого три задачи. Первая: "...уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей". Вторая задача: "...уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей". Третья задача: "...разрушить ненавистный "новый порядок" в Европе и покарать его строителей".

Перечисление всех этих задач сопровождалось бурными аплодисментами, океанным валом накатывающими через радиоприемник из Москвы до самой до столовой двадцать первого стрелкового полка. Когда Сталин дошел до приветствий, аплодисментам уже ни конца, ни удержу не было. "Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза! Да здравствует освобождение народов Европы от гитлеровской тирании... Проклятие и смерть немецко-фашистским захватчикам, их государству, их армии, их "новому порядку" в Европе! Нашей Красной Армии — слава!"

Когда закончился доклад товарища Сталина, у красноармейцев и командиров двадцать первого стрелкового полка сплошь по лицу текли слезы. Коля Рындин плакал навзрыд, утирая лицо ручищей.

— Что же вы плачете, товарищ боец? — утираясь платочком, сморкаясь в платочек, с просветленным будто после причастия ликом подошел и спросил капитан Мельников.

— Мне товарища Сталина жалко.

— Не жалеть его надо, — складывая белый платочек уголком и запихивая его в карман брюк, растроганно назидал капитан Мельников, — а любить, гордиться тем, что в одно время нам выпало счастье жить и бороться за свободу своего Отечества и советского народа. — Капитан Мельников начал привычно заводиться на беседу, но окоротил себя — время позднее. — Так я говорю, товарищи красноармейцы?

— Та-ак! Правильно!

В этот вечер роты и взводы расходились по казармам с дружной песней, грозный грохот рот, взводов, многих ног в мерзлых ботинках сотрясал городок, отдавался в пустынно-пестрой земле, с которой недавним проливным дождем смыло почти весь снег. Трудно было не то что идти маршевым шагом — невозможно, казалось, и просто передвигаться по льду, однако бойцы маршировали ладно, главное дело, по своей воле и охоте маршировали и пели. Если кто норовил упасть, поскользнувшись, товарищи ловили его в воздухе.

До самого отбоя, до позднего часа небо и удивленно на нем мерцающие звезды, отграненные морозом, тревожила яростная песня: "Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет..."

"Кажин бы день товарищ Сталин выступал по радио, вот бы дисциплина была и дух боевой на высоте..." — вздыхал старшина первой роты Шпатор, слушая ночное пространство, заполненное грохотом шагов, и ничего доброго врагу не обещающую бравую песню.

Увы, на другой, считай, день, как только повылазили служивые из казарм, едва нагретых дыханием многих людей, теплом многих тел, праздничное настроение роты прошло, бодрость духа испарилась. Дневальные отогнали табуны оправляющихся в глубь сосняков, где еще сохранился под деревьями белый снег, и командир роты приказал стянуть гимнастерки, умываться до пояса снегом. За утренним туалетом бойцов наблюдал Пшенный сам лично, и если какой умелец хитрил, не до конца стягивал гимнастерку, делал вид, что утирается снегом, он рывком сдирал с него лопотину. Уронив наземь симулянта, зачерпывал ладонью снег и остервенело тер им раззявленное, страхом охваченное лицо, цедя сквозь зубы: "Пор-рас-спустились!.. Пор-развольничались! Я в-вам покажу-уу! Вы у меня узнаете дисциплину..." Когда рота сбилась в растерянный, мелко дрожащий табунок, у нескольких красноармейцев красно текло из носа, кровенели губы. Оглядев неподпоясанных, с мокрыми, расцарапанными лицами своих подчиненных, взъерошенный, сипло дышащий командир роты с неприкрытой ненавистью, сглатывая от гнева твердые звуки, пролаял:

— Все пояли? (Табун подавленно и смято молчал.)

Пояли, я сашиваю?

— Поняли, поняли, — высунувшись вперед, за всю роту ответил откуда-то возникший старшина Шпатор и, не спрашивая разрешения командира роты, от бешенства зевающего, пытающегося еще что-то сказать: — Бегом в казарму! Бегом! На завтрак опаздываем. — И приотстав от россыпью рванувшего из леса войска, поджав губы, проговорил: — Заправились бы, товарищ лейтенант.

— Шо?

— Заправились бы, говорю. В таком виде перед строем... — И когда Пшенный, весь растрепанный, со съехавшей пряжкой ремня, свороченной назад звездой на шапке, начал отряхиваться от снега, подтягивать ремень, старшина кротко вопросил: — У вас семья-то была когда?

— Шо?

— Семья, дети, спрашиваю, у вас были когда?

— Твое-то какое дело? — уже потухнув взором, пробурчал командир роты. — Догоняй вон их,

этих… — махнул он мокрой рукой вослед осыпающимся в казарму красноармейцам, сам, решительно хрустя снегом, пошел прочь.

"Э-ээх! — покачал головой старшина Шпатор. — И откуда взялся? Уж каких я зверей и самодуров ни видывал на войне да по тюрьмам и ссылкам, но этот..."

В казарму парни вкатились, клацая зубами от холода и страха, толкаясь, лезли к печке, но она, чуть теплая с ночи, уже не грела. Так, не согревшись, потопали на завтрак в новую столовую.

Столовка возбужденно гудела. В широкие, низко прорубленные раздаточные окна валил пар. Поротно, повзводно получали дежурные кашу, хлеб, сахар. Помощники дежурных схватывали тазы с кашей, другие помощники дежурных тем временем, изогнувшись в пояснице, тащили одна в другую лесенкой составленные миски, со звяком, бряком разбрасывали их по столам, шлепали в них кашу, рассыпали ложкой сахар, пайки хлеба раздавали уже тогда, когда бойцы приходили в столовую и рассаживались по местам.

Каши и сахара было подозрительно мало, довески на пайках хлеба отсутствовали, и по тому, как рвались в дежурные и в помощники связчики Зеленцова, заподозрено было лихое дело. Однажды бойцы первого взвода первой роты перевешали на контрольных весах свою пайку и обнаружили хотя и небольшую, но все же недостачу в хлебе, в каше, в сахаре. Зеленцов обзывал крохоборами сослуживцев, его, Фефелова и Бабенко собрались бить, но вмешался старшина Шпатор, определил троице по наряду вне очереди, заявил, что отныне раздача пищи будет производиться в присутствии едоков и если еще найдется кто, посягающий на святую солдатскую пайку, он с тем сделает такое, что лихоимец, памаш, до гроба его помнить будет.

Усатый, седой, худенький, еще в империалистическую войну бывший фельдфебелем, старшина Шпатор ел за одним столом с красноармейцами, полный при нем тут был порядок, никто ничего не воровал, не нарушал, каждый боец первой роты считал, что со старшиной ему повезло, а хороший старшина, говаривали бывалые бойцы, в службе важней и полезней любого генерала. Важнее не важнее, но ближе, это уж точно.

Недели через две состоялось распределение бойцов по спецротам. Зеленцова, за наглое рыло, не иначе, забрали в минометчики; кто телом и силой покрепче, того отсылали к бронебойщикам — пэтээр таскать. Хотели и Колю Рындина увести, да чего-то испугались, — то ли его вида, то ли прослышали, что он Богу молится, стало быть, морально неустойчивый, мимо танка стрельнет. Булдаков снова притворился припадочным, чтоб только пэтээр ему не всучили, и его тоже оставили на месте. Коля Рындин все еще маялся в куцей шинели, в тесных кальсонах и штанах, приделал к ним тесемки вроде подтяжек — не свалились чтобы на ходу. Новые ботинки зорко стерег, протирал их тряпицей каждый вечер, клал на ночь под голону, накрыв пустым домашним мешком, получалось что-то вроде подушки. Булдаков все пошвыривал ботинки, все пробовал соответствующее его фигуре обмундирование. Дело кончилось тем, что ботинки пропали с концом. Навсегда. "Украли!" — припадочно брызгая слюной, орал пройдоха, но чего-то жевал втихомолку, ходил к Зеленцову пить самогонку, значит, обувь променял. Старшина Шпатор изо всех сил старался сбыть Булдакова в другие подразделения, но там такого добра и своего было вдосталь. Никуда его не брали, даже в пулеметную роту не брали, где бы самый раз ему станок "максима" на горбу таскать, в химчасть, на конюшню, в продовольственно-фуражное отделение и в другие хорошие, сытные места орлов с пройдошистыми наклонностями, с моральным изъяном вообще не допускали, а этот еще и припадочный, еще и артист.

Сидя на нарах босой, не глядя на холод, до пояса раздетый — закаляюсь, говорит, — артист читал больным и таким же, как он, симулянтам старые газеты, устав гарнизонной службы,

иногда объяснял и комментировал прочитанное.

— "В Москве состоялось очередное совещание по вопросам улучшения политико-просветительной работы". Та-ак, просвещайтесь, а мы пошли дальше: "Молодежный лыжный кросс в честь дня рождения любимого вождя". Та-ак, это уж совсем хорошо, совсем славно. "Фашизм истребляет молодежь" — вот чтоб не истреблял, надо хорошо на лыжах бегать! Во! "Лаваль формирует отряды французских эсэсовцев..." — во блядина! Это куда же Даладье-то смотрит? Прогулял Францию, курва, и на тебе...

— Ле-ох! Это кто такие Лаваль да Ладье?

— Да мудаки такие же, как у нас, прое...ли, прокутили родину, теперь вот спасают... Стой! Во, самое главное наконец-то написали: "Из выступления Бенеша: "Гитлеровская Германия непременно и скоро рухнет"...

— Ле-ох, а кто это — Бенеш-то?

— Да тоже мудак, но уж чешский, тоже родину продал и теперь вот в борцы-патриоты подался.

— Ле-ох, ну их, этих борцов! Че там, на фронте-то?

— На фронте-то? На фронте полный порядок. Заманили врага поглыбже в Россию и здесь его, суку, истребляем беспощадно. Во, сводка за второе декабря: "В течение ночи на второе декабря в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши войска продолжали наступление на прежних направлениях. В районе Сталинграда наши войска вели огневой бой и отражали атаки мелких групп противника. В заводской части города артиллерийским огнем разрушено девять немецких дзотов и блиндажей, подавлен огонь двух артиллерийских и четырех минометных батарей. На южной окраине города минометным огнем рассеяно скопление пехоты противника. Северо-западней Сталинграда наши войска вели наступление на левом берегу Дона. Бойцы энской части атаковали с фронта немцев, оборонявшихся в укрепленном населенном пункте. В это же время другие наши подразделения обошли противника с фланга. Под угрозой окружения гитлеровцы в беспорядке отступили, оставив на поле боя триста трупов, большое количество вооружения и различного военного имущества. На другом участке артиллеристы под командованием тов. Дубровского уничтожили девятнадцать немецких дзотов и блиндажей и подавили огонь трех артиллерийских батарей противника. Наши летчики за первое декабря сбили в воздушных боях семь и уничтожили на аэродромах двадцать немецких самолетов. Юго-западнее Сталинграда наши войска закреплялись на достигнутых рубежах". А вот тут же, в газете "Правда", вечерняя сводка за второе декабря: "Частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено и подбито двадцать немецких танков, до ста пятидесяти автомашин с войсками и различными грузами..."

— Шиш с ними, с грузами. Давай про бой.

— Есть про бой! "В заводском районе Сталинграда наши войска вели огневой бой и разведку противника, артиллеристы энской части разбили три вражеских дзота, два блиндажа и подавили огонь трех батарей".

— Эк мы их, сволочей, крушим!

— Крушим, крушим! Заткнитесь, слушайте дальше. "На южной окраине города отбиты атаки мелких групп пехоты и танков. Уничтожено до роты немецкой пехоты. Юго-западней Сталинграда..."

— Ну со Сталинградом все ясно — крошим гада... Про другие фронта че пишут?

— Че пишут? Че пишут?.. Два пишут, ноль в уме... Во! "Восточнее Великих Лук части энского соединения, отражая многочисленные атаки немцев, продвинулись вперед. Противник потерял убитыми свыше двух тысяч солдат и офицеров. Подбито девятнадцать немецких танков, захвачено двенадцать орудий, восемь танков, десять автомашин, четыре радиостанции..."

— А котелков сколько?

— Чего?

— Котелков сколько захвачено?

— Про котелки в другой раз сообщат. В этой "Правде" места не хватило.

— А наши-то че, заговорены?

— Само собой, заговорены, закопаны, зарыты. Все чисто, все гладко. Мы ж из породы...

— Кончай трепаться, информатор тоже нашелся! Придет время, все, че надо, скажут, — вмешивался в беседу Яшкин. — У тя, Булдаков, язык как помело, и за это ты пойдешь дрова пилить.

— Есть дрова пилить. Конешно, лучше бы чай пить. Но раз родина требует...

И Булдаков набирал команду на дрова, заставлял ребят ширыкать сырые сосны, и они добросовестно ширыкали, потому что промышлявший в это время Булдаков всем добытым поделится по-братски, честно, и вообще он пилить не должен, он не какой-то там чернорабочий, он... да лешак его знает, какой он, чей он, но что друг и брат всех угнетенных людей — это уж точно.

"Стариков", оставшихся от прошлых маршевых рот и действовавших на молодую братву положительным примером, мало-помалу разобрали, взамен их помкомвзвода Яшкин привел целое отделение новичков, среди которых был уже дошедший до ручки, больной красноармеец Попцов, мочившийся под себя. По прибытии в казарму он сразу же залез на верхние нары, обосновался там, но ночью сверху потекло на спящих внизу ребят. Новопоселенца стащили вниз, напинали, сунули носом на нижний ярус — знай свое место, прудонь тут, сколько тебе захочется.

Увидев бедственное положение новобранца, Булдаков, повествовавший бойцам о ходовой своей жизни, в основном удалой и роскошной, о том, как он плавал по Енисею на "Марии Ульяновой", шухерил с пассажирками, был за пьянку списан на берег, однако не пропал и на берегу, наставлял воинство:

— Требовайте! Обутку требовайте, лопоть, постелю, шибче требовайте. Союзом наступайте на их. Насчет строевой и прочей подготовки хера имя! Сами пущай по морозу босиком маршируют...

— Сталин че говорил? — подавал голос издалека Петька Мусиков, кадровый уже симулянт. — Крепкай тыл... А тут че?

Коля Рындин робко, с уважением глядел на сотоварищей — не боятся! Ни колодок, ни тюрьмы, ни Бога, а ведь они его одногодки, такие же, как он, человеки.

Заскорузлая военная мысль и житуха, ее практика и тактика от веку гибкими не бывали, все мерили по спущенному сверху параграфу и нормативу, не терпящему никаких отклонений, тем более обсуждений: есть устав, живи по нему, не вылезай, не рыпайся, и что, что у тебя ножищи, будто у слона, отросли — блюди норму, держи ранжир. Когда старшина Шпатор петухом налетел на Булдакова, на Колю Рындина, новопоселенец первой роты Попцов, уже истаскавшийся но помойкам, оборвавшийся на дровах, измылившийся на мытье полов и выносе нечистот, перешел вдруг в наступление:

— Босиком да нагишом никто... никака армия не имет права на улицу.

— Это есть извод советского бойца! — подхватил Булдаков и зашевелил ушами, начал закатывать глаза.

— Сталину, однако, надо писать, — снова издалека подал голос Петька Мусиков.

Старшина качал головой, глядя на синюшного парнишку Попцова с нехорошим отеком на лице, псиной воняющего, дрожащего от внезапной вспышки зла, от жизни, совсем его обессилившей, и выдохнул: "О Господи..."

Булдаков залез на нары, помог туда забраться Мусикову и Попцову, опершись на руки сыто лоснящейся рожей, вещал сверху:

— Сохранение здоровья и боевого духа бойца советского для грядущих боев с ненавистным врагом социализьма есть наиважнейшая задача работников советского тыла, главный политический момент на сегодняшний день.

Совсем затосковал старшина Шпатор: не зря, ох не зря всучили данного вояку и не зря, ох не зря этот герой не ушел в другие роты — там не напридуриваешься, там заставят минометную плиту таскать — самый Булдакову подходящий предмет, и про себя постановил: он в лепешку разобьется, до Новосибирска пешком дойдет, на свои гроши купит делягам обмундирование, но уж тогда попомнят они его, не забудут до самого скончания века своего. В прошлую, империалистическую войну фельдфебель Шпатор легче управлялся с солдатней, те в Бога веровали, постарше были, снабжали и одевали их как надо, а эти уж ни в Бога, ни в черта не веруют, да угроз не шибко-то боятся, живут — хуже собак.

Старшина добился своего, в самом деле командирован был в Новосибирск и на каких-то центральных спецскладпх сыскал для удальцов-симулянтов обмундирование. Новое. Деваться некуда Булдакову и Коле Рындину. Вступили в строй. Правда, закаленный, старый филон Булдаков неустанно искал всяческие моменты и причины для увиливания от занятий: то у него насморк, то расстройство желудка, то мать давно не пишет, то припадок, то вдруг с утра пугает народ словами: "У бар бороды не бывает... у бар бороды не бывает..."

— С-ссподи Сусе... С-ссподи Сусе... — крестился Коля Рындин.

Но старшину Шпатора, перемогающего вторую мировую войну и перемогшего пять лет заключения, голой рукой не возьмешь.

— Н-на занятия, н-на занятия! Мы и не таких артистов видывали, не с такими героями управлялись, памаш.

На занятиях тоже фокусы: Булдаков возьмет и учебную гранату куда-то аж за версту зазвездит — ищи ее; испортил он, испластал ножиком финского штыка чучело до бедственного состояния — чинить надо чучело; спор с командирами заведет насчет текущего момента, да

такой бурный, что все занятия побоку. И все время смекает Булдаков, где и как добыть еду. Любую. Вынюхал чьи-то коллективные огороды недоубранные. "Набилизуй меня на заготовки, набилизуй, ну?!" — пристал он к Яшкину.

Чтобы отвязаться от Булдакова, чтобы он не портил строй и лад занятий, убирался бы ко всем чертям, сила нечистая, помкомвзвода посылал его подальше, желал громко, чтобы он, этот обормот, вовсе сгинул, исчезнул. Рожа, на которой не горох, а бобы молотили, скалится, гогочет, ребятам подмигивает — и, глядишь, куль мерзлой брюквы, свеклы иль капусты волокет, тут же с ходу излаживает костер в сосняке, кличет к нему побратимов: кушать подано!

Младший лейтенант Щусь, как бывалый воин, чаще других командиров выводивший взвод на занятия, скоро понял, что Булдакова ему не укротить, и нашел способ избавить себя, старшину Шпатора, помкомвзвода и народ от типа, разлагающего коллектив, — назначил в свою землянку дежурным.

Булдаков на новом посту хорошо себя почувствовал, перезнакомился с дневальными из соседних землянок, на конюшню сходил, кого-то оболгал, обманул, чего-то наобещал или сбыл — к землянке привезли воз сухих дров. Днем Булдаков дрыхнул в землянке у взводного, явившись в казарму, на всю роту орал: возьмет вот и подастся к минометчикам — там землянки суше, коллектив не столь доходной, "занятия антиллерией — техника", не то что здесь, во вшивой пехтуре, топай да топай, памаш, чучело с соломой деревянным макетом коли...

— Да хоть к минометчикам, хоть к летчикам, хоть к бабам в прачечную, сгинь только, нечистая сила! — подняв глаза к потолку, молитвенно сложив руки, взывал к небесам старшина Шпатор.

Булдаков переводиться не торопился, глянулось ошиваться на почетной, на добычливой должности дежурного в офицерской землянке. Железная печка в землянке Щуся новая, с печкой не пропадешь, на ней можно варить, печь все, что раздобудешь.

Была Булгакову дикая удача: упер с кухни аж цельного барана! Затесался в компанию дежурных по кухне, картошку чистил не чистил, котлы мыл не мыл, все командовал: "Давай, братва, давай! Действуй, памаш!" — и когда пришла машина, доверху груженная тушками баранов, он еще активней взялся за дело: "Давай-давай, навались, братва! Аллюром!" — наторевший на погрузке дров в "Марию Ульянову", когда матросом еще по Енисею ходил, он такой разворот делу дал, такой темп в разгрузке задал, что все закрутилось, замелькало, где живые люди, где мертвые бараны, где старшие, где младшие, где рядовые, где командиры — не разберешь. Счетчики не успевали следить за туда-сюда бегающей братией, считать туши баранов, ставить на бумаге палочки, Булдаков вовсе их запутал, таская на горбу по две, по три, когда и по четыре бараньи туши, орал весело: "У бар бороды не бывает", — и в какой он момент изловчился поставить на дыбки за распахнутую створку дверей мерзлого барана — никто не заметил. Разгрузка закончилась. Булдаков, прихватив казенные рукавицы, запрыгнул в кузов, пошатал машину: "Все, кажись" — и махнул рукавицей дежурному по кухне: закрывай, мол, двери, кончен бал.

— Я за дровами поеду, — обнадежил он кухню, восхищенную его умелым трудом и организаторскими способностями.

Дверь заперли изнутри, на себя, баранчик стоял на обрубочках-лытках, плененно подняв вверх тоже обрубленные передние лапки. Отъехав немного, Булдаков спрыгнул с машины, вернулся, сказав ласково: "Пойдем, дорогой, пойдем в землянку, там ты нужнее, тут, гляжу я, совсем ты

сирота одинешенькая, околел вон весь..." — и, взяв под мышку тушку, завернутую в шинель, лесом потопал к землянке.

Взводный вернулся с занятий — по помещению плавают такие запахи, сдохнуть можно! Булдаков в офицерской столовке наворовал лаврового листа, перца, затушил барашка с картошкой, получилось не хуже, чем у настоящих поваров, может, даже лучше.

В офицерской столовой готовили вкусней и культурней, нежели в общей полковой, в офицерской были даже клеенки и солонки на столах, подавались ложки, иной раз даже вилки, но продукции на столующегося отпускалась та же норма, что и в большой столовой, воровали же и объедали командиров вольнонаемные да разные приближенные к общепиту чины гораздо больше, чем в столовой для рядового и сержантского состава. День-деньской топающему в лесу да в поле, на холоде, на ветру строевому командиру питание нужно было крепкое. Понимая, что пройдохе Булдакову мясо выдали отнюдь не на продовольственном складе, Щусь, укрощая себя, умылся, подсел к столу, засунул руку под топчан, выудил оттуда вывалянную в песке зеленую поллитровку, знаком велел распечатать и наливать.

Булдаков разом возбудился, глаза его заблестели, прихватив рукав, он хлопнул по бутылке так, что пробка вместе с брызгами шлепнулась в стену, дунул в немытые кружки, удаляя лишний песок, налил сразу по половине емкой посудины, коротко стукнулся о кружку Щуся, выпил и какое-то время сидел, блаженно вслушиваясь в себя.

— Я ить видел ее, поллитровку-то, — черпанув раз-другой ложкой из котла, хрустя бараньим ребрышком, молвил Булдаков. — Но вишь, сдюжил — такой я человек. Ни об чем не беспокойся, полководец. Ежели попугают, пусть шкуру сдерут — не выдам!

Он разлил остатки водки по кружкам, придвинулся ближе к взводному, махнул рукой, чтобы тот ел, ему же еда ни к чему, он уже закусил, да и стряпка, говаривала мать, живет тем, что нанюхается, толковал, чтобы при отправке на фронт Щусь не выписывал его из своего взвода, тама — Булдаков показал пальцем вдаль — он тоже никого не бросит, раненого вытащит из любого огня и дыма. Булдаков уперся взглядом в пустую кружку, посидел, подумал, за подбородок подержался и, глядя в сторону, сказал решительно:

— А из землянки меня удали. Всешки не по мне холуйничать, печки топить, посуду мыть. Надо — еды, горючки всегда добуду, но прислужничать стыжуся. Колю Рындина возьми сюда. Его надо беречь. Таких великих, порядочных людей на развод надо оставлять. Выводятся оне в нашей державе, их и в тюрьму, и на войну в перву очередь... Э-эх, у бар бороды не бывает — усы! Пойду-ка я еще где-нито пузырек какой промыслю — че-то душа раскисла.

Щусь лежал на нарах. Лицо его рвало с мороза каленым жаром, руки горели, ноги, освобожденные от тесных сапог, возвращались сами к себе, каждая косточка прилегала к месту и успокаивалась. Лежал, ковырял спичкой в белых, плотно сбитых зубах и неторопливо думал о Булдакове, о своих подчиненных, тоже отужинавших и располагающихся на неуютный свой ночлег, обо всем разом, ни на чем, однако, мыслями не задерживаясь — идет и идет себе жизнь заданным ходом, своим чередом, не он тот ход налаживал, не он черед определял. "Груньку позвать, что ли?" — подумал он об одной столовской девке, которая была в него страстно влюблена и жила неподалеку в землянке вместе с другими вольнонаемными девчонками, Но мысль, вялая, не наступательная, мелькнула и улетела, он уснул, не осуществив намерения, не утолив вожделенного позыва.

Булдаков — союзный человек. Отправляясь на ночь в казарму, завернул в газетину два куска мяса, один кусок занес Зеленцову, тот ему отсыпал табаку, выпивки посулил. Другой кусок

Булдаков сунул Коле Рындину за то, что тот занял для него место на верхнем ярусе нар. Коля по-собачьи рвал мясо зубами, чавкал. Сотоварищи, чуя пищу, начали пробуждаться, вздымать головы. Споро управившись с бараниной, старообрядец нащупал в потемках ручищу такого находчивого товарища-добытчика, благодарно ее стиснул. Но Булдаков уже крепко спал, время от времени производя обстрел казармы, что не давало заснуть старшине Шпатору — он все слышал в каптерке, бешено возился на топчане, зверел: "Упер ведь, упер чего-то, нажрался, обормот, попердывает на всю арьмию. Ох, ох, займуся я им, однако, вплотную займуся!"

А где-то через ряд, может, через два, швыркая носом, плакал Вася Шевелев — с почтой пришло ему известие: погиб на войне отец. Коле Рындину захотелось пожалеть Васю Шевелева, сказать ему какие-нибудь ласковые слова. Да чего же скажешь-то, как утешишь и утишишь горе, коли его так много кругом. Пусть Главный Утешитель этим займется, он Его попросит: "Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси..." — на этом месте Коля Рындин глубоко и умиротворенно уснул, совершенно уверенный, что Бог услышал его и успокоит горе русского человека Васи Шевелева. Но тот все плакал и плакал, один, втихомолку, никому не досаждая и не жалуясь.

Глава третья

Год служи да десять лет тужи — говаривалось в старину. Сибирская зима, хозяйкой широко расположившись по большой этой земле, входила в середину. В казарме становилось все холодней и разбродней. Сырые дрова горели плохо, да и не давали им разгореться. Парни, где-то промыслившие картошки, свеклы, моркови, пихали овощи в огонь, не дожидаясь, когда нагорит уголье. И, почадив, посопев, печка угасала от перегрузки сырьем. Налетал старшина Шпатор либо помкомвзвода Яшкин, выбрасывал чадящие головни, картошку, приказывал затоплять вновь. Сооружение, зовущееся печью, не светилось даже угольком. Тогда старшина Шпатор плескал на дрова керосин, принеся лампу из каптерки, либо выдавал масляную ветошь, оставшуюся после чистки оружия, — и печка оживлялась, к вечеру тянуло от нее чахоточным теплом, но четыре печки казарму нагреть уже не могли.

С той и с другой стороны ворота батальонной казармы обмерзали льдом — ночью обитатели ее не успевали или не хотели выбегать на улицу, мочились на лестнице, в притвор. Их ловили, били, заставляли отдалбливать желтый лед в притворе, но все равно в дверь тянуло так, что до самых нижних нар первого взвода лежала полоса изморози и накопыченный обувью снег здесь не таял.

Давно уже отменено навязанное ротным командиром Пшенным закаливающее обтирание снегом, но все равно многие бойцы успели простудиться, казарму ночами разваливал гулкий кашель. Умывались служивые теперь только в бане, потому что в корыто умывальника, поставленного в дежурке, и вокруг него мочились блудни, бак с водой, выставляемый по утрам возле входа в казарму для умывания, так и замерзал невостребованный. Лишь компанейские ребята Шестаков, Хохлак, Бабенко, Фефелов да привыкшие к работе на ветру бывшие механизаторы Шевелев да Уваров, ну иногда еще и Булдаков, поливая друг дружке, умывались по утрам, иной раз с мылом. Дивились славяне тому, что старик Шпатор умывался до пояса в дежурке, даже зубы или остатки их чистил, сапоги тоже каждый день до блеску доводил. В каптерке, куда поселился и Яшкин, поддерживался, пусть и убогий, порядок, тощий, изможденный помкомвзвода тоже следил за собой, вставал раньше всех, вместе со старшиной, и не ради одного только положительного примера, но чтобы не опуститься, не заболеть, как Попцов. Тот уже не выходил из казармы, лежал серым, мокрым комком на нижних нарах, под холщовым мешком, которым укрыл его жалостливый Коля Рындин. Поднимался лишь затем, чтобы принять котелок от дежурных, похлебать варева да съесть пайку хлеба. В санчасть

Попцова не брали, он там всем надоел, на верхние нары не пускали — пообмочит всех, мокрому да на занятия кому охота?

Все более стервенеющие сослуживцы били Попцова, всех доходяг били, а доходяг с каждым днем прибавлялось и прибавлялось. На нижних нарах, клейко слепившихся, лежало до десятка скорченных скулящих тел. Кто-то, не иначе как Булдаков, додумался выдернуть скобы из столбов, чтобы доходяги не могли лезть наверх, но если они все же со дня, когда рота была на занятиях, взбирались туда, занимали место, их беспощадно сталкивали вниз, на пол, больные люди не сопротивлялись, лишь беспомощно ныли, растирая по лицу слезы и сопли.

Как водится, в бедствии, в запустении на служивых навалилась вша, повальная, беспощадная. И куриная слепота, по-ученому гемералопия, нашла служивых. По казарме, шарясь руками по стенам, бродили пугающие всех тени людей, что-то все время ищущих. В бане красноармейцев насильно мазали дурно пахнущей желтой дрянью, похожей на солидол. Станут двое дежурных по обе стороны входа в моечную с ведрами, подвешенными на шею, и кудельными мазилками, реже грязной ватой, намотанной на палку, — ляп-ляп-ляп по голове, по пугливо ужавшемуся члену, руки задрать велят, чтоб и подмышки намазать. Отлынивать начнешь либо сопротивляться — в рожу мазилкой; мази не жалко.

С утра наряд, человек двадцать, уходил пилить дрова, нозить воду, готовить вехотки, тазы, но та же картина, что и в подразделениях, — половина делом занимается, половина харч промышляет.

В тот год овощехранилища двадцать первого полка ломились от картошки и всякой другой овощи. Там, в овощехранилищах, работали, перебирали плоды земные такие же орлы, что и баню топили, — за сахар, за мыло, за табак, за всякий другой провиант они насыпали картошки, брюквы, моркови, дело было за небольшим — сварить или испечь овощь. Кочегарка бани, землянки офицеров и всякие другие сооружения с очагами осаждались и использовались на всю мощь. Вот, стало быть, намажут солдатикам башки, причинные и всякие другие места, на которых волос растет, будь они прокляты, где вошь гнездится и размножается, а в бане горячей воды нет, чтобы смыть хотя бы мазут. "Мать-перемать!" — ругается помкомвзвода Яшкин, мечется, ищет виноватых старшина Шпатор.

— Когда я подохну? Когда я от вас избавлюсь!.. — вопит он, схватившись за голову.

В отличие от Яшкина, он никогда по-черному не ругался, тем более в мать, в бога. "Веровающий потому что", — уважительно говорил Коля Рындин про старшину и чтил его особо за то, что тот носил медный крестик на засаленной нитке, даже политрук Мельников ему не указ.

Нажравшийся от пуза картошки, наряд едва шевелился, работал лениво, размеренно, топил печи с безнадежной унылостью — все равно не нагреть воду в таких обширных баках-котлах. До ночи канитель тянется. Сиди дрожи в бане нагишом, намазанный, жди — хоть чего-нибудь да нагреется, хоть немножко каменка зашикает, пар пойдет. В парилку сбивалась вся голая публика, до того продрогшая, что даже на возмущение сил и энергии не хватало, постылая казарма из той бани казалась милостивым приютом. Уж на что содомный старшина Шпатор, но и его гнев иссякал, сидел и он на полке, прикрывшись веником, с крестиком на груди, отрешенно смотрел вдаль, аж жалко его делалось. "Володя! — наконец взывал он к своему помощнику Яшкину. — Поди и поленом прикончи старшего в наряде. Я в тюрьму снова сяду, не замерзать же здесь всем, памаш..."

С грехом пополам побанив роту, к полуночи сам он для себя, для наряда да для Яшкина

добивался прибавки пара, без энтузиазма, но по привычке стеная, поохивая, шумел мокрым веничком, затем в шинеленке, наброшенной на белье, в подшитых валенках разбито волочился в казарму, так и не понежив по-настоящему мягкой горячей листвой свое неизбалованное солдатское тело, и поздно, уж совсем ночью спрашивал в казарме у дежурных, как тут дела. Получив доклад, незаметно ото всех бросал щепоть по груди: "Ну, слава Богу, еще сутки прожили. Может, и следующие проживем".

Непостижимыми путями, невероятной изворотливостью ума добивались молодые вояки способов избавиться от строевых занятий, добыть чего-нибудь пожевать, обуться и одеться потеплее, занять место поудобнее для спанья и отдыха. Ночью и днем на тактических и политических занятиях, при изучении оружия — винтовки образца одна тысяча восемьсот затертого года — мысль работала неутомимо. Кто-то придумывал вздевывать картошки на проволоку, загнув один конец крючком, всовывать эту снизку в трубы жарко попыхивающих печей в офицерских землянках. Пластуны же залегали неподалеку за деревья и ждали, когда картофель испечется. Изобретение мигом перенималось, бывало, в трубы спустят до четырех проволок с картофелинами, забьют тягу, не растапливается печь, дым в землянку валит — пока-то офицеры, большей частью взводные, доперли, в чем дело, выбегая из землянок, ловили мешковато утекающих лазутчиков, пинкарей им садили, когда и из пистолетов вверх палили, грозясь в другой раз всадить пулю в блудню-промысловика.

Но были офицеры, и среди них младший лейтенант Щусь, которые не преследовали солдат, позволяли пользоваться печкой, — только где же одной печке целое войско обслужить? Вот и крадется, вражина, к землянке, бережно, мягко ступает на кровлю, крытую бревешками, лапником, засыпанную песком, осторожней зверя малого ступает, чтоб на голову и в кружку хозяина не сочился песок, которого тот и так наелся досыта: песок у него на зубах хрустит, в белье, в постели пересыпается. Добрался лазутчик до трубы, не звякнув о железо, спустил снизку в цылающий зев, зацепил проволоку за обрез трубы. Унес Бос добытчика перышком, залег он в дебрях сибирских камешком, спертый воздух из груди испустил, можно бы и вздремнуть теперь, да ведь надо оберегать "свою" землянку от другого лазутчика-промысловика. Истомится весь пареван, изнервничается, брюхо у него аж заскулит от истомы, пока он скомандует себе: "Пора!" — и снова по-пластунски движется к землянке, по-кошачьи взойдет на сыпкую крышу — и вот она, светящаяся нижними, в уголь изожженными картофелинами, это уж неизбежная потеря, жертва несовершенной техники, зато в середине жигала овощь в самый раз, испеклась, умякла, родимая, рот горячит, по кишкам раскаленным ядром катится, и, пока в брюхо упадет, глаза выпучатся, слеза из них выдавится. Верхние ж картофелины лишь дымом опахнуло, закоптились они, и надо снова тонкую тактику применять, чтобы изойти на крышу, сунуть проволоку в трубу, беззвучно ее подвесить да снова в тревоге и томлении дожидаться удачи. На третьем-то или на четвертом броске и засекут тебя, изловят. Ну пусть и пнули бы, облаяли, бросили б только проволоку вслед — люди мы негордые, подберем, битую задницу почешем, хитрое изделие припрячем и скорей в казарму. Но иные хозяева землянок не только пинкаря подвесят, еще и проволоку истопчут. Вместе с картохой. Э-эх, люди, будто не в одной стране родились, бедовали, будто не одну землю защищать готовимся...

Лупит добытчик обжигающую картошку, брюхо ликует от горячего духа, но опять никакой сытости — по кишкам картоха размазалась. Что за брюхо, что за кишки такие у солдата?! Булдаков, пройдоха, говорит, что на полтора метра длиньше кишки у русского человека против англичанина иль того же немца, потому как продукция у наго питательней, у нас же все картошка, хлеб, паренка, родька с квасом, отрубь. Выгрызает солдатик остатние крохи из угольков-картофелин и думает, чего же сегодня на ужин дадут, хорошо бы кашу — она ляжет сверху картофеля, и вот уж полон ненасытный желудок, ну, может, и не совсем полон, да все

же набит. Может, попробовать верхнюю картофелину? Она вон горяча, но тверда. Нет, нельзя, не дай Бог дезинтухой в этой чертовой яме заболеть — пропадешь, лес-то вон из края в край обгажен, меж казарм долбить и чистить не успевают. И спрятать картофель негде — старшина сделает шмон, а видит он, змей подколодный, будто щука в пруду, любую малявку под любой корягой узрит — и в наряд тебя внеочередной, на холод, на ветер, за водой с баком, в нужнике долбить, оружие чистить, в каптерке и в казарме пол мести. А кому охота горбатиться, когда в казарме идут политзанятия и полтора часа, пока капитан Мельников рассказывает о наших победах на фронте и трудовых достижениях в тылу, можно преспокойно блаженствовать.

Ничего другого не остается, как полусырую, недопеченную картофель дневальным отдать — они ее в дежурке до ума доведут и, глядишь, половину отделят, если, конечно, у них совесть есть, а то такие попадаются, что все до кожурки слопают и делают вид, будто им ничего, никакой картошки допечь не давали...

А тут еще невидаль: первую роту и первый взвод пополнили двумя новоявленными личностями — Васконяном и Боярчиком. Оба они были смешанной национальности: один полуармянин-полуеврей, другой — полуеврей-полурусский. Оба по месяцу пробыли в офицерском училище, оба за месяц дошли до ручки, лечились в медсанчасти и оттудова их, маленько оживших, но неполноценных, в училище не вернули, свалили в чертову яму — она все стерпит.

Васконян был долговяз, тощ, ликом бледен, бровями черен. Боярчик так себе, парнишка и парнишка, с сереньким лицом, "умным" лбом и маломощным телом. Но у обоих новобранцев были огромные карие глаза с давней печалью, не то по роду-племени они у них были такие, не то в армии успели в печаль глубокую погрузиться.

На первом же политзанятии Васконян сумел испортить работу и настроение капитана Мельникова, также и отдых слушателям во благостном казарменном уюте. Капитан Мельников что-то показывал на политической карте мира и рассказывал, но что он рассказывал, вояки не слышали, что показывал — не видели: они спали. Время от времени лектор командовал: "Встать!", "Сесть!", "Встать!", "Сесть!" — севши, слушатели тут же, не теряя времени попусту, привычно засыпали. Комиссар привычно молотил наклепанным языком, спеша охватить воспитательным словом и другие подразделения, как вдруг услышал:

— Буэнос-Айгес, между пгочим, не в Афгике находится.

Капитан Мельников забуксовал в лекции, сбился с мысли.

— А где он находится? — растерянно спросил капитан.

— Буэнос-Айгес — столица Аггентины. Аггентина всегда находивась в Южной Амегике.

— Ага, столица! Ар-ген-тины! Встать! — рявкнул капитан.

Первый взвод вскочил, уронив с доски на пол Колю Рындина.

— Вы слышали? — сощурясь, спрашивал капитан Мельников очумевших от сна солдат. — Вы слышали?

— Чего, товарищ капитан?

— Вы слышали, что Буэнос-Айрес находится не в Африке, а в Южной Америке?

— Да нам-то че?

— Ага-а! Вам-то че? Вам только спать на политзанятиях! А умнику вон не спится. Он бдит! — Ну, этот умник, говорил весь вид капитана Мельникова, узнает у меня, где находится не только Буэнос-Айрес, но и Лиссабон, и Париж, и Амстердам, и Лондон, и все столицы мира!..

С первого дня пребывания в первой роте на Васконяна обрушились репрессии: для начала его тут же на занятиях истыкали кулаками в спину сослуживцы, лишившиеся из-за него блаженного политчаса. Освирепевший капитан Мельников без конца орал: "Встать — сесть!" — и вместо полутора часов гнал теперь всю свою важную просветительную работу за час, когда и за сорок минут.

Было Васконяну в стрелковой роте еще хуже, чем в офицерском училище, где курсантов гоняли на занятиях по десять часов в сутки. Туда Васконян попал по причине изменения военной ситуации. Отец его был главным редактором областной газеты в Калинине, мать — замзавотделом культуры облисполкома того же древнего города. Васконяна возили в школу на машине, по утрам он пил кофе со сливками, иногда капризничал и не хотел есть макароны по-флотски, приготовленные домработницей тетей Серафимой, которая была ему и нянькой и мамкой, так как родители его, занятые ответственной работой, дома почти не бывали, воспитанием Ашотика, по существу, не занимались. Однажды бывший курсант офицерской школы сообщил ошарашенной пехоте, что у них, Васконянов, в областном театре была отдельная "ожа". Парни-простофили долго не могли допереть, что это такое.

Быть бы Васконяну смятым, уничтоженным за одну неделю, от силы за две, загибаться бы ему рядом с Попцовым на нижних нарах в ожидании места в санчасти, но к нему, грамотею и разумнику, доверчивому чудаку, прониклись почтением имеющий тягу к просветительству Булдаков и, как и всякие детдомовцы, сострадающие всякому сироте, тем более обиженному, Бабенко, Фефелов и вся их компания. Они не давали забивать Васконяна, да и парни крестьянского рода, от веку почитающие грамотеев, тоже не позволяли уворовывать от его пайки крохи, занимали для него место на нарах вверху, заставляли разуваться, расстилать портянки под себя, чтоб к утру они высохли, непременно снимать шинель, расстегивать хлястик — тогда шинель делается что одеяло, — повязывать носовым платком голову, класть шлем под щеку, подшлемник же надевать на голову, дотянув его до рубахи, сцепить булавкой — тепло дольше держится. Наказывали не лениться ходить до ветру подальше от казармы, иначе дневальные поймают и — "ах вы, сени, мои сени!.." — сыграют на ребрах. Утром ни в коем разе не нежиться, валиться с нар и борзым кобелем рвать в дежурку, чтоб захватить согретой в помещении воды, иначе старшина или Яшкин выгонят к только что принесенному баку (там вода со льдом), воды не хватит — принудят тереть рыло снегом.

Жизнью тертые, с детства закаленные в боях за свое существование, корешки по роте часто употребляли слова "захватить", "беречь", "стеречь", "рот не разевать" — они не позволяли Васконяну съедать хлеб раньше чем будет получена горячая похлебка; коли сахарку перепадет — сохранять его до раздачи кипятка, но лучше всего копить сахар в жестяной банке да сменять на картошку. Ребята прятали грамотея Васконяна от старшины, командира роты Пшенного; но прежде всего от капитана Мельникова, Вид Васконяна раздражал всех, кто его зрил, да и досаждал он старшим чинам своей умственностью, прямо-таки одергивал с неба на землю тех самоуверенных командиров, особо политработников, которые думали, что все про все знают, потому как никогда никаких возражений своим речам и умопросвещению не встречали. Крепче всего их резал, с ног валил Васконян, когда речь заходила о свободе, равенстве, братстве, которое хвастается своим гуманизмом, грозился Международным Красным Крестом, который в конце концов доберется до сибирских лесов и узнает обо всех "безобгазиях, здесь твогящихся". "Молчи ты, молчи, — шипели на Васконяна ребята, дергали его за рубаху, когда тот вступал в умственные пререкания со старшими по званию, — опять воду таскать пошлют, обольешься — где тебя сушить? На занятиях мокрому хана..."

Умника из первой роты, дерзкого, непреклонного, прямого в суждениях, несгибаемого упрямца, вызывали в особый отдел, где он, видать, не особо-то дрейфил, и предписано было командиру батальона капитану Внукову провести со строптивым красноармейцем воспитательную беседу. Васконяна затребовали в каптерку старшины роты, где на топчане кособоко сидел, морщась от боли, капитан.

— По вашему пгиказанию пгибыл! — махнув рукой возле застегнутого шлема, буркнул Васконян и стоял, согнувшись под низким потолком каптерки, утирал мокрой рукавицей немыслимой величины мокрый нос.

Капитан Внуков, поглядев на нелепо согнутого, нелепо одетого, худо запоясанного и застегнутого солдата, со вздохом молвил:

— Ну, чего воюешь-то? Перед кем бисер мечешь? На кого умные слова тратишь? Ты чего, не понимашь, где находишься? — И отвернулся, погрел руки над печкой. — Умный, а дурак. Иди. На фронте, на передовой душу отведешь. В окопах полная свобода слова и ум не перегружен, одна мысль постоянно томит сердце и голову: как сегодня выжить? Может, и завтра повезет… Иди! Не мути башку ребятам, не лезь им в душу — не то время и не то место. Ступай!

Капитан Внуков был болен, и не его словам, а виду его страдальческому больше внял Васконян и в конце концов согласился, что жизнь сложна, жестока, несправедлива к малым мира сего, и не то чтобы смирился со своей участью, но не так уж рьяно лез на рожон, перестал досаждать капитану Мельникову, чем тот остался очень доволен, думая, что перевоспитал еще одного красноармейца.

В особенно мглистый длинный вечер, когда ребята отделили Васконяну вареных картошек, луковицу и маленький кубик сала — где-то они украли эти богатства, может, выменяли, — Васконян уже не подвергал товарищей моральному осуждению. Изжевав пищу, он облизался, утерся рукавом и выдал признание:

— Нет, я не пгав. Жизнь не бывает неспгаведливой. Жестокой, подвой, свинской бывает, неспгаведливой — нет. Откуда бы я узнав вашу жизнь, гебята, если б не попав сюда, в эту чегтову яму? Как бы я оценив эту вот картофелину, кусочек дгагоценного сава, все, что вы отогвали от себя? Из своей квагтигы? Где я не ев макагоны по-фвотски, где в гостиной в вазе постоянно засыхали фгукты? Кого бы и что бы я увидев из пегсональной машины и театгальной ожи. Все пгавильно. Если мне и суждено погибнуть, то с любовью в сегдце к людям.

— Пшенный и Яшкин — тоже люди?

— Люди. Люди. Они не ведают, что твогят, они — габы обстоятельств. Они — бваженные. А бваженным — Господь Судья.

— Да ну тя, Ашот. Суки они. Рассказывай лучше.

Отчетливо сознавая, что с этими ловкими, пощады и ласки не знавшими в жизни ребятами расплатиться ему нечем, кроме рассказов о сказочной и увлекательной жизни героев разных книг, Васконян, угревшись меж собратьями по службе, затертый телами в нарном пространстве, повествовал о графе Монте-Кристо, о кавалере де Грие, о королях и царях, о принцах и принцессах, о жутких пиратах и благородных дамах, покоряющих и разбивающих сердца возлюбленных. Дети рабочих, дети крестьян, спецпереселенцев, пролетариев, проходимцев, воров, убийц, пьяниц, не видевшие ничего человеческого, тем паче красивого в жизни, с благоговением внимали сказочкам о роскошном мире, твердо веря, что так оно, как в книгах писано, и было, да все еще где-то и есть, но им-то, детям своего времени и, как Коля

Рындин утверждает, Богом проклятой страны, все это недоступно, для них жизнь по Божьему велению и правилу заказана. Строгими властями и науками завещана им вечная борьба, смертельная борьба за победу над темными силами, за светлое будущее, за кусок хлеба, за место на нарах, за... за все борьба, денно и нощно.

Старшина Шпатор обожал сказку "Конек-горбунок", которую Ашот, к удивлению всей казармы, лупил наизусть. Когда чтец, войдя в раж, брызгая слюною, размахавшись руками, даже почти и не картавя, заканчивал сказку: "Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют!.." — все какое-то время лежали не шевелясь, а старшина Шпатор тихо ронял:

— Вот голова-то у тебя, Ашот, какая золотая! А ты все с начальством споришь, памаш. Лучше бы винтовкой овладевал. Писем домой не пишешь, мать командованию звонит: "Жив ли мой Ашотик?" Ничего ты, памаш, не сознаешь...

Шпатор задумчиво шевелил усами, махал рукой возле галифе, незаметно призывая Васконяна следовать за ним в каптерку. Там он подкладывал солдатику огрызок химического карандаша, книгу с накладными, заставлял на обратной, чистой стороне накладной писать письмо под диктовку: жив, мол, здоров, служба идет своим ходом, нормально, горю мечтой поскорее попасть на фронт, чтоб сразиться с врагом. В заключение старшина Шпатор совал Васконяну сухарь либо горбушку хлеба. Утянув кусочек в рукав, Васконян упячивался из каптерки, задом открывал дверь и по крошке делил меж своими товарищами тот сухарь, ту горбушку, радуясь тому, что и он может в чем-то отблагодарить своих благодетелей, быть ровней в боевом добычливом коллективе.

Глава четвертая

После праздников, в декабре, двадцать первый полк доукомплектовывался — прибыло пополнение из Казахстана. Первой роте поручили встретить пополнение и определить его в карантин. То, что увидели успевшие уже хлебнуть всякой всячины красноармейцы, ужаснуло даже их. Ребята-казахи были призваны по теплу, содержались на пересылке или в каком-то распределителе в родном краю в летнем обмундировании, в нем и прибыли в Сибирь. Толкались они на пересылке или в распределителе, должно быть, долго, приели домашние запасы, успели оголодать. Дорогой молодые степняки промышляли топливо и какую-никакую еду. Где-то в Казахстане или за его пределами надыбали поезд с овощами и вскрыли вагон со свеклой. Пекли свеклу в печурках, поставленных среди телячьего вагона, грызли полусырую овощь. И без того смуглые, волосом темные, казахские жолдасы сделались черны что головешки. Глаза слезятся, от кашля, стона и хрипа содрогались вагоны. Выглядывая из приоткрытых дверей, сплошь осопливевшие молодые казахи завывали, роняя какие-то слова или заклинания:

— Астарпала!

— Бызды кайдаэкелди? (Куда нас привезли?)

— Буч не, манау не? (Что это такое?)

— Сибирь, — откликнулся кто-то из встречающих, разумевших по-казахски.

— Сибир! Тайга! Ой-бай! Бул жэрде быз биржола куримыз! (Мы тут совсем пропадем!) Апа! Эке! Кайдасы-низдар? (Мама! Папа! Где вы?)

— О алла!

— Молчать! Надо терпеть! Привыкать. Вон солдаты такие же, как вы, да терпят.

На станцию Бердск был вызван полковник Азатьян. Увидев, в каком состоянии прибыло пополнение из Казахстана, командир полка схватился за голову и долго бегал вдоль состава, скрипя бурками. Рукою, обтянутой черной кожаной перчаткой, он открывал вагоны, заглядывал в них, надеясь хоть где-либо увидеть ребят в лучшем состоянии, но всюду вокруг полуостывших печек на корточках пеньками торчали грязно-серые фигурки в неумело намотанных обмотках, в натянутых на уши пилотках. Молча вперивались они простудно слезящимися глазами в форсистого полковника. Под нарами скомканно валялись серенькие фигурки, полковник сперва подумал — шинели, по тут же сообразил: откуда шинелям быть — все натянуто на себя. "Мертвые! Что будет?"

Дойдя до конца состава вместе с начальником эшелона, полковник Азатьян растерянно потоптался, утер лицо платком и угасшим голосом приказал своим командирам добыть дров, топить печи в вагонах, сам сел в кошевку, запряженную гнедым рысаком, забросил ноги седой медвежьей полостью и умчался в расположение полка.

Кузов хромой полуторки, прибывшей к эшелону, был дополна нагружен старыми манатками. Ребятишек-казахов выгнали из вагонов на холод, они торопливо выдергивали из вороха тряпья одежонку, тащили ее на себя. Призывники, прибывшие в полк по осени, особенным изяществом в одежде не блистали, надевали дома что подряхлей да похуже, самую уж рухлядь после обмундирования сожгли в полковой кочегарке. Но среди призывников немало было и тех, у кого дом заменяли общежитие, училище, исправительно-трудовые колонии, ну и всякие другие воспитательно-трудовые организации, где мены одежды не существовало, как и разнообразия труда. В чем работали, жили, пребывали на гражданке, в том и в армию отправились. Вот эту-то разномастную одежонку прожарили от вшей и сохранили на складах.

Ребята-казахи радовались, как дети, и этакой одежке, да они и были еще детьми, стайными, полудикими, лопотали что-то по-своему признательное, пробовали знакомиться с русскими жолдасами, помогавшими им поскорее одеться, чтобы новоприезжие не поморозились, их бегом гнали в карантин. Когда казахи вваливались в карантинные землянки, натопленные по приказу командира полка, они, словно моряки, потерпевшие кораблекрушение и попавшие на берег, бурно ликовали, радуясь своему спасению.

В день прибытия пополнения из Казахстана на градуснике, приколоченном к столбу возле штаба полка, было минус тридцать семь. Парнишек-казахов этим не удивишь, они терпели морозы и посильнее, да еще и с ураганными ветрами, но все-таки переполненная медсанчасть работала с перенапряжением, так как многие казахские жолдасы не смогли подняться с карантинных нар. Воспаление легких, тяжелые бронхиты, застуженные почки... Больных разбрасывали по ближним больницам и новосибирским перегруженным госпиталям, остальных же немедля разбили по батальонам и ротам — боевая подготовка стрелковых частей шла ускоренным ходом.

В первую роту было определено человек пятнадцать призывников из Казахстана, трое из них тут же присоединились к "попцовцам". Верховодил над казахами здоровенный парень с крупным мясистым лицом монгольского типа, которого товарищи называли Талгатом. Талгат был немногословен, суров в отличие от глазастых, подвижных товарищей своих, ходил неторопливо, говорил медленно, в лицо не смотрел, да и нечем ему было смотреть: там, где быть глазам, у него щелки, по которым раскосо катались черные картечины, над глазами перышком взлетали бровки, уголком восходя к неожиданно высокому лбу мыслителя. Нос у Талгата был по-ребячьи вздернутым, кругленьким, но с широкими, чуткими, словно у степной зверушки, ноздрями, рот узкогубый, злой. Древней лютостью, могуществом, может, и

мудростью веяло от этого жолдаса с непримиримо всегда сжатым, широко разрезанным ртом. Талгат немножко знал русский язык, потому его назначили командиром отделения.

Трудно обживались казашата в роте и казарме. Им сочувствовали, помогали чем могли, выводили "в люди".

Первый батальон тем временем бросили на выкатку леса из Оби. В устье речки Бердь в лед вмерзли плоты, предназначенные двадцать первому полку для строительных и хозяйственных нужд. Но прежние роты, заготовив и сплавив лес, не успели его выкатить на берег, потому как спешно были отправлены на фронт. Молодцы из первой и второй рот, знакомые с лесной работой, отдалбливали пешнями и ломами плоты, разрубали деревянные скрепы, цепляли удавкой троса или цепи конец бревна, к цепи привязывали длинную веревку, тягловая команда, крича: "Взяли! Взяли! Взяли!" — волокла обледенелое бревно на берег, к яру, скатывала бревна в штабеля, откуда на лошадях они увозились в военный городок.

Выгрузкой из реки и погрузкой леса на сани-передки руководил Щусь, ему помогал Яшкин. В песчаном яру под оголенно свисающими кореньями сосен построена землянка с окном и печью. Осенью здесь была пристань, на нее принимали грузы и новобранцев, прибывавших по реке в полк, тогда в землянке дневалил военный наряд. Ныне на дощаных нарах по ту и другую сторону резво гудящей печки валялись взводный и помкомвзвода.

Землянка не пустовала. Первым в ней оказался Леха Булдаков. Он в резиновых бродняx работал черпалом, так он себя именовал, — цеплял бревна цепью и привязывал к цепи веревку. Выполнив эту ответственную работу, Булдаков блажил на всю реку: "Взяли! Взяли! Взяли! Хоп, симбирбумбия!" Действо это скоро его утомило, он нечаянно оступился в полынью, черпанул в бродни ледяной воды, сказал: "Закуривай, курачи, кто не курит, тот дрочи!" — пришлепал в землянку, разулся, выбросил бродни на улицу. Их на лету подхватил Бабенко. Скосоротив лицо, черпало сушил штаны, портянки и кальсоны, повествуя о том, как он ишачил на "Марии Ульяновой", сколько дров перетаскал, вина выпил и пассажирок поудовольствовал. Булдаков против многих своих юных сослуживцев, будучи им ровесником, когда-то успел прожить большую, насыщенную жизнь, тогда как те прыщи, как их обзывал Булдаков, жизнь еще и не распочали.

Рассказ Булдакова, трепотня его шли как бы поверху, слов своих он сам не слушал, скорее, не придавал им значения, поскольку мысль его работала в совсем другом направлении: где бы чего бы раздобыть пожрать, может, и выпить, тем более что печка полыхает, расходуя впустую полезную тепловую энергию. Придумал Булдаков собрать деньжонок у командиров и "прыщей", да и подался на бердский базар, откуда вскоре приволок в солдатском мешке картох. "Но что такое, памаш, ведро картох на работящую арьмию? — вопросил Леха Булдаков и почесал затылок с двумя макушками, что считается средь русских людей признаком башковитости. — У бар бороды не бывает", — бубнил Булдаков в глубочайшем раздумье или изгальном розыгрыше. На первый случай предложил товарищам командирам оставить его и Бабенко с Фефеловым на пристани дежурить, иначе штабеля леса да и землянку бердские граждане за ночь растащут на дрова.

Утром под топчанами в землянке обнаружились два мешка картошек, мерзлый гусь, брус сала, сетка с луком, туес с солью. На печке в эмалированном ведре клокотало запашистое варево, добытчики же, братски обнявшись, чтобы не упасть с топчана, спали на узеньких лежанках. Щусь почесал затылок, хмыкнул и, замотав проволокой дверь, навалил себе и помкомвзвода котелок тушеной картошки с луком и свининой. Ведро отослали трудящимся на берег. Вставши на колени вокруг ведра, трудяги леса и сплава поочередно черпали ложками горячее варево, восхищались находчивостью товарищей по службе и сами себя обнадеживали: с такими

ловкими героями и на фронте не пропадешь.

Все, что хорошо начинается, непременно и очень скоро худо кончается — такая вот древняя хилая истина существует средь народа. Бердские жители, а также обитатели окрестных деревень, обнаружив утечку овощей из погребов, продуктов из кладовок, объединенно поднялись на оборону дворов и хозяйств с дробовиками, топорами, кольями. Выстрел произвели в ночное время по здоровенному увертливому налетчику; прячась в кустах малины, крыжовника, ушел лесом в сторону Оби вражина, не иначе как дезертир или беглый арестант. Крови на следах не обнаружилось. Кто из жителей Приобья радовался этому обстоятельству, кто сожалел, что не порешили злоумышленника. Приток харчей на берег иссяк, зато симулянтов и сачков прибавлялось с каждым днем, подвоз леса в полк затормозился. Взявшись за веревку, работяги во всю глотку орали: "Взяли! Взяли! Взяли! Ой да поехали!.." — но бревно ни с места. Яшкин смотрел-смотрел на эту картину в окошко землянки, изругался, выскочил, схватился за веревку и попер бревно так, что часть тружеников от быстрого темпа и неожиданности маневра попадала в песок, весь перепаханный обувью и бревнами.

— В казарму захотели? — звенел Яшкин — К старшине Шпатору под крылышко? Я вам покажу и крылышко, и перышко!

На берегу Оби щадящий режим. Никакой муштры, шагистики, горели костры вдоль берега, у кого деньги велись, тот мог сбегать на бердский базар за семечками, картофельными оладьями, табаком и за всяким другим провиантом иль на утаенный сахар чего-то выменять, главное дело; здесь можно было топить печь, варить картошку, чай с малинником и мерзлой брусникой, свесившейся из-под снега вдоль осыпанного яра, — конечно, из такого рая в расположение роты да на строевые занятия кому захочется. Работали, понукая друг дружку, где и пинком подсобляли, потому как везде есть такой народ, у которого никакой сознательности нет и никакая ругань не действует, — развольничались молодцы, добра не понимали. Яшкина выслали на берег с палкой: контуженному, нутром поврежденному только доверь лихое дело — уж постарается, заставит волохать так, что даже и на морозе жарко сделается.

Выгрузка леса в первой роте пошла быстрее. Вторая рота тут же переняла передовой опыт — там тоже по связке кто-то бегал с палкой, лупил волокущих бревно братьев по классу, будто колхозных кляч, люто матерясь. Эта вот особенность нашего любимого крещеного народа: получив хоть на время хоть какую-то, пусть самую ничтожную, власть (дневального по казарме, дежурного по бане, старшего команды на работе, бригадира, десятника и, не дай Бог, тюремного надзирателя или охранника), остервенело глумиться над своим же братом, истязать его, — достигшая широкого размаха во время коллективизации, переселения и преследования крестьян, обретала все большую силу, набирала все большую практику, и ой каким потоком она еще разольется по стране, и ой что она с русским народом сделает, как исказит его нрав, остервенит его, прославленного за добродушие характера.

Под вечер первая рота шлепала ордою, отдаленно напоминающей строй, в расположение полка. Умотанные тяжелой работой, едва волоклись красноармейцы вдоль крутого песчаного берега великой сибирской реки. Перед ними празднично сверкала искрами, солнечно переливалась недавно вставшая, белая, утомленно отдыхающая река. По стрежи Оби громоздились, золотом вспыхивали под закатным солнцем глыбы торосов, меж которых беспокойно кружило темную воду. Дальний заречный лес бархатистой каймою тянулся по-над яром, песчаные берега и косы разукрашенным оранжевым кушаком опоясывали заречный мыс, далеко-далеко впахавшийся в реку. Пляшущим солнцесветом приподнимало темную тучку пойменных лесов к голубеющему небосклону. Чистая, святочная тишина простиралась по земле, молитвенно усмирись, мир поднебесный ждал рождения Сына Божия — впереди были

рождественские праздники, а с ними приходила привычная, но всегда новая пора, сулящая долгую морозную зиму, неторопливое, сытое житье под крышами, толсто придавленными снегом. Многие из ребят, бредущих в казарму, не успели изведать той обстоятельной крестьянской жизни, не знали, что близится великий праздник, потому как приступила, притиснула к холодной стене их безбожная сила и порча, были они еще в младенчестве вместе с родителями согнаны со двора в какую-то бессмысленную, злую круговерть, в бараки, в эшелоны, в тюрьмы, в казармы, но все-таки близкой памятью что-то их тревожило, чего-то в сосущем сердце трепетало и вздрагивало, из-за той вон белоснежной дали ждалось пришествие чуда, могущего переменить всю эту постылую жизнь, избавить людей от мук и страданий. Не может же такой пресветлый, так приветно сияющий мир, который еще недавно звался Божьим, быть ко всему и ко всем недобрым, безразличным, пустым, почему в нем должно быть все время напряженно, тревожно, зло, ведь он не для этого же замышлялся и создавался...

"...Страшно и грозно место имам пройти, тела разлучився, и множество мя мрачное и бесцеловечное демонов срящет, и никто же в помощь сопутствуяй и избавляяй", — жутко было слушать Колю Рындина даже и вполуха, но хотелось слушать, хотелось мучиться Божьими муками, да не казармой, казарма — она уж точно от дьявола, хотелось Бога почитать, а не Яшкина бояться. "И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляй нечистые во мне силы... И да будет благодать Твоя на мне..." — утешил себя и товаришшев старообрядец.

— Где это ты так навострился-то? — спросили его тоже шепотом.

— Навострисся, брат, ковды усердие проявишь — баушка Секлетинья на колени попереди себя поставит, чуть посеред молитвы отвлекся — по затылку вмажет... Кроме тово, баушка Секлетинья сказывала, что Бох для молитвы головы очищат, память укреплят, оттого даже совсем неграмотные хресьяне завсегда молитвы помнят...

— Молитвы составляли лучшие умы и поэты земли, — втесался в разговор Васконян, — поэтому они достигают сердца...

— Скоро ведь, ребята, Рождество...

— Вот комиссар Мельников узнает про эти разговорчики...

— Да што Мельников? Што комиссар? Тожа человек.

Белая тишина, еще не опетая ветрами, свистящим песком, гулом лесов, не стиснутая трескучими морозами, не скрюченная заречным волчьим воем, обещала долгий покой, сказку, праздники с сытой едой, гулянкой во всю ширь, с ворожбой, с молитвами, с желанием всех прощать и самому быть прощенным. Лишь тонкий звон оторвавшейся от тороса льдинки, падающей и на ходу разбивающейся в хрустальные осколки, да треск и скрежет остроуглой глыбы, оторванной от нагромождений торосов, несомой нижним течением под броней реки, внезапно выкинутой в полынью, слепо кружащейся по кругу, бурлящей воду, бьющейся о хрупкий припай, сминающей его, нарушали эту беспредельную и все же отчего-то опечаливающую сердце тишину. Птицы не кружились и не кричали над рекой, боялись ее черных полыней, внезапных подвижек и падений не укрепившегося льда, вороны лепились по прибрежному сосняку, сомлело дремали, подобрав под себя лапы; чем-то или кем-то вспугнутые голуби выпрыснули искрящейся стайкой на свет и тут же, сделав полукружье, вернулись в лес, расселись в глуби его.

— Что за команда? — раздалось откуда-то сверху. Забывшиеся при виде земной красоты,

заслушавшиеся умиротворительного молитвенного шепота, сплошь думающие о доме, о родных местах, о родителях, намаявшиеся за день парни вздрогнули всей толпою, подняли свои головы.

Доставая папахой нижние ветви сосен, на красивом гнедом жеребце, имеющем светлую проточину на морде, надменно и ладно сидел в новеньком кожаном седле моложавый генерал, похожий на франтоватого жениха. Передние ряды в растерянности остановились, задние ряды их подперли, войско смешалось, сбилось в табунок, шедшие в отдалении Щусь и Яшкин, почуяв неладное, заспешили к месту происшествия. Вторая рота, с большим интервалом бредшая за первой, заметив смятение в боевых рядах, мигом сделала тактический маневр и углубилась в лес.

Форсисто, как это мог делать только он, младший лейтенант Щусь вскинул к виску руку, сжатую в горсть, музыкально, можно сказать, по-дирижерски качнув ею возле головы, выбросил из горсти пальцы. Держа пальцы у виска в строгом единении, в то же время выстроив их как бы в вежливом, почтительном, но и лихом полупоклоне, командир взвода доложил, что первая рота возвращается в расположение двадцать первого стрелкового полка после выполнения трудового задания.

Генерал, не ответив на приветствие, тронул лошадь из-под сосны, объехал столпившихся красноармейцев. Чуть в отдалении за генералом двигался щеголеватый, тоже на жениха смахивающий сержант с карабином за спиной, в новой шапке с алеющей на ней звездою, в бушлатике, стянутом комсоставским ремнем.

— А ну, товарищ младший лейтенант, скомандуйте своим бойцам умыться. — Генерал повелительно показал коротким, перчаткой сжатым ременным хлыстом вниз, под Яр, на реку.

Никогда нигде не видавшие генерала парни так перепугались его, что, давя друг дружку, сыпанули вниз с песчаного яра кто на заднице, кто кубарем, кто как. Под сыпучим песчаным яром из земных глубин, нежно воркуя, струился чистый ключик. Летом он был студенее обской воды, сейчас вода в нем теплее обской. Прорыв узенькую полоску в забереге, ключик желтой ленточкой покачивался среди ледяного пространства, желтым он был оттого, что струился по песчаной косе, за долгие годы своего уединенного существования им же и намытой.

Красноармейцы сняли шлемы, рукавицы, встали на колени вдоль промоинки и увидели свое отражение в воде отчетливо, как в зеркале. Никто из парней сам себя не узнал. Из воды глядели на них осунувшиеся, чумазые лица, сплошь подернутые пушком, у всех слезились глаза, сочилось из носа, появились ранние, немощные морщины у губ и на лбу. Если к этому добавить, что на лесодобытчиках были порваны и прожжены шинеленки, размотались, съехали вниз неумело намотанные мокрые обмотки, ботинки от воды и сушки были скороблены, шлемы от соплей на застежках белые, то сделается понятно, в какое удручение впал форсистый генерал на коне, когда, умывшись, солдатики предстали перед ним, выпростав из тряпья шлемов сросшиеся с ними бледные, испитые мордахи. Один вояка выдрал из снега мерзлый капустный лист и, не успевши изжевать овощь, сжимал зеленый лоскуток в горсти, утянув его в рукав. Генерал спешился, попросил служивого показать, что это там у него. Парнишка покорно разжал ладонь с огрызком капустного листа. Генерал, разом потерявший всю свою бравую осанку, удрученно спросил:

— Зачем вы это едите? Разве вам не хватает военного пайка?

— Хватает, — потупясь, тускло прошелестел губами паренек.

— Так зачем же вы кушаете отбросы? Лист мерзлый. Вы ж простудите желудок.

— Не знаю зачем. Так.

— Бросьте. Пожалуйста, бросьте.

Служивый с сожалением разжал ладонь, уронил к ногам огрызок листа. Генерал заметил, что в тот листок уперлось сразу множество голодных глаз, еще раз оглядел неровный и неладный строй, состоящий из дрожащих от умывания холодной водой, ободранных солдат, напоминающих скорее несчастных арестантов из дореволюционного времени, так обличительно изображаемых на живописных полотнах и в кинокартинах передового советского искусства.

— Ведите, пожалуйста, людей в расположение, товарищ младший лейтенант, — негромко приказал генерал и, легко взнявшись в седло, опустивши голову, поехал вдоль берега Оби, так ни разу и не оглянувшись.

Щусь и Яшкин, как только рота вошла в лес, погнали ее бегом. Парни россыпью рванули по сосняку, запинались за корни и валежины, падали. Яшкин визгливо матерился, беспощадно пинал по-козлиному блеющего красноармейца, того самого, что выцарапал из-под снега капустный лист и не сумел им распорядиться.

Еще не познали солдаты наяву, что такое отступление и паника, но вели себя в лесу точно так же, как на войне во время массового драпа.

Кто был он, тот форсистый генерал на коне? Зачем он приезжал на Обь? — солдатам пока не дано было знать, но встреча с ним не прошла бесследно.

В полковой столовой появился еще один генерал, но совсем не похожий на того красавца, гарцевавшего на коне, пришельца из какого-то простым смертным неведомого сословия. Этот генерал тоже был в каракулевой папахе, в шинели стального цвета, с яркими петлицами, с желто-красными угольниками на рукавах, звезда на папахе была вделана в золотого жука. Словом, все как у настоящего генерала, но бросалось в глаза — человек ровно бы перешиблен стягом в пояснице. Лицо у него вытянутое, обескровленное, с глубокими складками и морщинами, руки худые, с синюшно светящимися ногтями. По столовой он не шел, а плыл, судорожно гребя руками. Ноги в начищенных ботинках, выше которых краснели нарядные лампасы, впрочем, едва пламенем занявшиеся, они тут же гасли под стальной твердью длиннополой шинели, — ноги далеко отставали от согнутого туловища, которое от согбенности да еще оттого, что отсутствовали выразительный генеральский зад и брюхо, походило на доску, скорее даже на узкую крышку гроба. Там, где быть генеральскому телу, полному вельможного достоинства, вообще ничего не было, никакого тела — скелет, обтянутый шинелью, двигался по столовой. Едоки замирали по мере того, как от стола к столу, качаясь, переплывал генерал. Он останавливался возле торца каждого стола, за которым питалось два десятка бойцов, протягивал руку, если ему не догадывались подать ложку, сам брал ближнюю к нему, набалтывал ею в тазу суп, приподнимал с железного дна посудины кашу, будто нерастребленную овчину, взвешивал на руке пайки хлеба и, молвив голосом, совсем не похожим на начальственный: "Продолжайте обед, товарищи", следовал дальше, в прелый туман, в полутьму столовой.

Так вот, словно бы неся гроб на спине, обитый серебристой серой материей, пронзил живую плоть столовой генерал и исчез в противоположных дверях — такая уж впускательновышибательная архитектурная система о двух входах-выходах была у этого всегда

полутемного, всегда волглого, под модный барак строенного помещения. Потолки в этом сооружении подпирались шеренгой полуокоренных стволов; вверху наподобие опавшего доисторического цветка, упершегося н потолок тычинками брусьев, издали стояки напоминали непроходимый, бурей ободранный лес. Уныло, бездушно, зато удобно — кушать народ входил в одни ворота, отстоловавшись, вываливал в другие — никакой толпы, никакой толкотни, во всем армейский порядок.

Покатился слух: общепит двадцать первого полка проверял сам начальник здравоохранения Сибирского военного округа. Начальство ждало нагоняя, народ — улучшения питания. Но ничего этого не последовало да и не могло последовать — командование и хозяйственники двадцать первого полка, исправляя многие ошибки и сбои военной машины, предпринимали сверхусилия, чтобы накормить, напоить, одеть, обуть и хоть как-то сохранить, подготовить к сдаче на фронт десять тысяч молодых парней двадцать четвертого года рождения и наскребенных после госпиталей, по пересылкам, по углам огромного государства да по пригревным хитрушкам резервистов других призывов и годов.

Бедственное время страшно еще тем, что оно не только угнетает — оно деморализует людей. Полк, успешно занимающийся подготовкой разновозрастного состава, людей, уже хвативших в жизни всего и всякого, готовых к любым испытаниям, неожиданно столкнулся с проблемой, которую решать надо было всем миром и собором еще во время призыва в армию, может, и до этого. Встретившие войну подростками, многие ребята двадцать четвертого года попали в армию, уже подорванные недоедом, эвакуацией, сверхурочной тяжелой работой, домашними бедами, полной неразберихой в период коллективизации и первых месяцев войны.

Страна не была готова к затяжной войне не только в смысле техники, оружия, самолетов, танков — она не настроила людей на долгую, тяжкую битву и делала это на ходу, в судорогах, в спешке, содрогаясь от поражений на фронтах, полной бесхозяйственности, расстройства быта и экономики в тылу. Сталин привычно обманывал народ, врал напропалую в праздничной ноябрьской речи о том, что в тылу уже полный порядок, значит, и на фронте тоже скоро все изменится.

Все налаживалось, строилось и чинилось на ходу. К исходу сорок второго года кое-что и кое-где и было налажено, залатано, подшито и подбрито, перенесено на новое место и даже построено, однако всевечное российское разгильдяйство, надежда на авось, воровство, попустительство, помноженное на армейскую жестокость и хамство, делали свое дело — молодяжки восемнадцати годов от роду не выдерживали натиска тяжкого времени и требований армейской жизни.

Испугавшись, что начмед военного округа, пронзивший узким туловищем насквозь столовую и уплывший в морозную густую наволочь, наведается в казармы, в помещениях подняли панику, шла уборка, и не уборка — прямо сказать, штурм казарменного черного быта: скоблились нары, намачивались полы, подбеливались стены дежурок и каптерок, всюду произведена была дезинфекция, толсто насыпан порошок, с испугу начищено было оружие, упрятаны деревянные макеты с обломанными лучинными штыками.

Вонь хлорки и карболки смешивалась с давно устоявшимся в казарме запахом мочи, нечистого, потного тела, смоченной грязи на полу, запах конюшни был так густ и сногсшибателен, что старшина Шпатор, крепко подумав, отрядил в дальний лес на речку Бердь за лапником целое отделение солдат — пихтовые, еловые и сосновые лапы, набросанные на пол, подвешенные в виде гирлянд на нары, в выбитые окна, свежо веяли по глинисто воняющему, от сумерек глухому подвальному пространству казармы духом древней, вечно зеленой тайги и скрытой под снегами пашенной земли.

Кормежка в столовой скудела, нормы закладок в котлы убывали, животные жиры и мясо все чаще заменялись комбижиром, какой-то химической смесью, именуемой нездешним словом "лярд". Каша становилась по виду все ближе к вареву, именуемому на Руси размазней. В жидком супе уже не рыбий кусок плавал, какое-то бурое крошево то ли из рыбы и серой разварившейся крупы или картошки.

Нарастал ропот, увеличивалось количество доходяг в ротах, теперь уже чаще и чаще в казарме первого батальона зычный, остервенелый раздавался мат, обещания навести в первой роте такой порядок, что все кругом ахнут от того порядка, — то командир роты Пшенный вплотную приступил к исполнению своих обязанностей.

Глава пятая

В совсем какое-то дохлое, промозглое утро командир первой роты лейтенант Пшенный приказал всем до единого красноармейца вверенного ему подразделения выйти из помещения и построиться. Подняли даже больных. Попцова стянули с нар за ноги, заправили его, дрожащего, мокрого, мятого, дико вытаращившего гноящиеся глаза, вытолкали на улицу. Думали, командир роты увидит, какие жалкие эти нижненарники, которых старшина Шпатор и даже помкомвзвода Яшкин не трогали, боясь слез и стонов, пощадит их, вернет обратно в казарму. Но Пшенный скомандовал:

— Довольно придуриваться! С пес-сней шагом арш на занятия!

Голос Бабенко откликнулся, зазвенел в зимней сутеми, в трескучем, морозом пронзенном пространстве военного городка.

Довольно часто случалось, что и звенел-то теперь один Бабенко, рота лишь открывала рты, клубила пар отверстиями и не издавала ни звука. Старшину Шпатора не проведешь.

— Бабенко на месте! — командовал он. — Остальным песельникам на снег и по-пластунски вперед!

Раз проползешь, взад-вперед два проползешь, поцарапаешь брюхо об мерзлый снег, мочой и разным дерьмом напичканный, — запоешь как миленький.

У Пшенного морда, на ведро величиной и формой похожая, гладко выбрита, новый подворотничок светится, сапоги блестят, глазки оцинковело сереют на емкости. "Где подлый враг не проползет, пройдет стальная наша рота!" — завели сначала, как водится вразброд, но постепенно разогрелись боевые стрелки, осилили песню.

Васконяна и Колю Рындина, портивших порядок, снова отогнали взад строя. Булдакова же куда-то отрядили, в какую-то контору пол мыть — будет он пол мыть! — у особняков этот пройдоха на крючке, брешет там, чего в его удалую башку взбредет, правду-то не скажет, правда сделалась страшнее лжи, да и пусть стучит, пусть сексотничает — дальше фронта не пошлют, хуже, чем здесь, содержать не будут, некуда хуже-то, и жопа не по циркулю у их замордовать всех-то. Вон Колю Рындина как ломали! Всей политической и сексотной кодлой, мракобесием его веру называли, сулились в бараний рог согнуть старообрядца из далеких Кужебар, а он как молился, так и молится, не зря, стало быть, учили в школе, да и везде и всюду, особо по переселенческим баракам, арестантским поселениям, — быть несгибаемым, не поддаваться враждебным веяньям, не пасовать перед трудностями, жить союзом и союзно с коммунистами. Вот и живут союзно, кто кого сомнет, кто у кого кусок упрет иль изо рта выдернет, тот, стало быть, и сильный, тот и в голове союза. А старообрядец Коля Рындин — молодец, не пасует перед трудностями, хер положил он на все увещевания и угрозы

агитаторов-ублюдков.

Он и есть несгибаемый человек. Гнется он только перед Богом в молитве — вот это положительный пример для всех его собратьев по казарменному несчастью. Так думали красноармейцы каждый по отдельности, каждый из тех, кто еще не совсем разучился думать, сопротивляться тому, что навалилось на него тяжким недугом или злой несправедливостью жизни и судьбы.

Строй между тем все время сбивался с шага. Пшенный останавливал роту, ровнял ряды, орал все громче, отдавая команды, чеканя шаг красноармейцев под свой счет, который у него напоминал удар дровяной колотушки по пустой бочке: "Р-ра-аз — два, р-раз — два, р-раз — два!" Клячам колхозным, не военному подразделению шагать под такой счет.

Вести строй и шагать в строю — большое это, оказывается, искусство. Интересно было наблюдать, как ходят и ведут подразделения командиры.

Внуков — капитан, комбат, несколько бабистый, тяжеловатый фигурой, он еще из кадровых, маялся в боях сорок первого года в тех же местах, где и Яшкин, получил осколочные ранения в таз, будто бы и в позвоночнике у него минный осколок торчал, а кровь-то играет, зовет, охота себя прежнего вспомнить — пойдет с батальоном сперва ладно, шаг держит, подошвами сапог землю клеит, видно, что и себе, и людям удовольствие от такого марша, но вот начал с шагу сбиваться, ногу тянуть, каблуками песок вспахивать, отставать — отваливал на сторону, роняя командирам рот: "Ведите батальон на занятия" — и, махнув рукой возле шапки, возвращался в расположение.

Щусь ходил как гусь, шутили служивые: грязь не взобьет, сучка не переломит, ни травинки, ни хвоинки не сомнет, одно слово — балет! Молодой еще, необстрелянный командир второй роты лейтенант Шапошников обожал Щуся, подражал ему во всем, хоть тот и был младше его званием, и многого достиг в обиходе, в марше, но такого форса, такой выправки, такой строевой отточенности, как у Щуся, достичь, конечно, не мог. "Тут талант надо иметь и еще чего-то", — утверждал старшина Шпатор. Он и сам, Аким Агафонович Шпатор, был когда-то не последний ходок в строю, но нынче маршировал, будто мазурку танцевал: идет-идет ладно, складно — и подпрыгнет, пробежку сделает — и ручками, ручками все больше марширует, не ножками, точь-в-точь устаревшая, скрывающая переутомленность балерина.

Яшкин ходил как жил, непостоянен был его характер и шаг такой же: то идет без всяких затей и напряжения, топает себе, делает строевую работу, то весь избегается, издергается и роту издергает, мечась вдоль строя, считая невпопад, сбивая шаги и от этого злясь еще больше на себя и на всех.

И воистину по шагу, по строю без осечки можно определить, каков есть человек. Тот же командир первой роты Пшенный не со строем, не с народом шел, ровно бы одинокий медведь по бурелому пер: сапоги бухают, терзают, мордуют матушку-землю, комья грязи летят, песок попадется под сапог — вихрем взвивается, снег визжит под копытами, сук трещит, дорога воет. Булдаков-згальник, если его принуждали выйти на занятия, подпевал в шаг ротному: "Пшенный топает по грязи, а за ним начальник связи. Э-эх, Дуня, Дуня-я, Дуня — ягодка моя!.."

Упрятанные от посторонних глаз в середину строя, Попцов и его друзья по несчастью — сонарники, как их называл старшина Шпатор, — сбивали шаг, и чем дальше топала рота, тем хуже у нее получалось дело. В военном городке, в заветрии и в лесу рота еще более или менее правила шаг под звучную команду помкомроты Щуся:

"Р-рыс — два, р-ррыс — два!" Пшенный, поняв, что его голос не совсем музыкален, от счета отступился. Щусь чеканил шаг сбоку иль забегал вперед и показывал пример лихого строевика, способного ходить без музыки и барабана вроде как под музыку и барабан, ходить так, что поварихи в комсоставской столовой варить переставали, липли лицами к стеклам. "Есть же еще мушшыны на свете!" — вздыхали, и официантка по имени Груня победно оглядывала товарок: мой!

Конечно в расшлепанных ботинках, подобранных на размер-два больше, чтоб намотать тряпья, газет, да и в обмотках, мерзло сползающих на щиколотки, в едва зашитом рванье, в наглухо застегнутом шлеме, бело обдыханном, приноровиться к младшему лейтенанту трудно, да и шагать и выглядеть браво не очень-то получается. Но ребята старались изо всех сил, двоили шаг как можно четче, хорошо сделали пробежку из леса к плацу — так тут назывались поля, на которых осенью росла капуста, свекла и брюква. После уборки урожая на поле установили чучела, набитые соломой, чтоб колоть их штыком, как лютого врага, козлины разные, чтоб прыгать через них, лестницы, турники, деревянных коней понаставили, сосен понавалили сучковатых — препятствия, окопов и щелей в земле нарыли — штурмовать их чтобы или прятаться от танков, метнув перед этим мерзлый чурбак, вроде как гранату иль бутылку с горючей смесью.

Доходяги с мокрыми втоками испортили боевую работу. Попцов во время пробежки упал. Яшкин, вернувшись, поднял хнычущего доходягу, тащил его за ворот на плац, в боевые ряды. Попцов падал, скрючивался на снегу, убирая под себя ноги, пытался засунуть руки в рукава, утянуть ухо в воротник.

— Встать, негодяй! — рявкнул командир роты и с разгона раз-другой пнул доходягу, распаленный гневом, не мог уже остановиться, укротить яростный свой припадок. — Встать! Встать! Встать! — со всего маху понужал он узким носком каменно блестевшего сапога корчащегося на снегу парнишку, на каждый удар отзывавшегося коротким взмыкиванием, слюнявым телячьим хлюпаньем. Побагровевшее лицо ротного, глаза его налились неистовой злобой, ему не хватало воздуху, ненависть душила его, ослепляла разум, и без того от природы невеликий. — Пораспустились! Симул-лянты! — вылаивал он. — Я вам покажу! Я вам покажу! Я вам...

Попцов перестал мычать, с детской беззащитностью тонко вскрикнул: "Ай-ай!" — и начал странно распрямляться, опрокидываясь на спину, руки его сами собой высунулись из рукавов шинели, раскинулись, стоптанные каблуки скоблили снег, ноги, костляво обнажившиеся выше раструбов ботинок, мелко дрожали, пощелкивали щиколотками. Вся подростковая фигурка разом обнажилась, сделалось видно грязную шею, просторно торчащую из воротника, на ней совсем черные толстые жилы, губы и лицо в коросте, округляющиеся глаза, в которых замерзали остановившиеся слезы, делались все прозрачней. С мученическим облегчением Попцов сделал короткий выдох и отвернулся ото всех, зарывшись носом в носок со снегом.

Опытный вояка Яшкин, всего насмотревшийся на смертельных полях сражений, почувствовал неладное, нагнулся над Попцовым, схватил его за кисть, сжал пальцами запястье.

— Готов... — растерянно прошептал он. Рота молча обступила мертвого товарища. С немой оторопью смотрели ребята на умершего — к смерти они еще не привыкли, не были к ней готовы, не могли ее сразу постигнуть, значение происшедшего медленно доходило до них, коробило сознание ужасом.

Попцов, ко всему уже безразличный, лежал на перемешанной серой каше в куцей шиненленке, с как попало накрученными обмотками, меж витков обстеганных обмоток светились голые, в

кость иссохшие ноги, на груди разошелся крючок шинели, обнажив залоснившуюся нижнюю рубаху. Гимнастерки на Попцове не было, он ее променял на картошку, когда рота ходила после октябрьских праздников на стрельбище. Зубы Попцова, давно, может и никогда не чищенные, неровные, наполовину сгнившие зубы обнажились. Из-под шлема серенькой пленкой начали выплывать вши.. Они суетились на остывающем лице, тыкались туда-сюда. Яшкин вспомнил, как его, тяжело раненного, в походном лазарете зараженного желтухой, везли по холмистой Смоленщине, и, видимо, вши пошли уже с него, но он чуял одну лишь, крупную, как лягуша, липкую, — она никак не могла сползти с лица, все опускала мягкую, бескостную лапу вниз, во что-то кипящее, и, ожегшись, отдергивала лапу.

— Это он убил! — послышался возглас Петьки Мусикова. (Яшкин вздрогнул, приходя в себя.) — Он! Он, подлюка! — Петька Мусиков тыкал пальцем в тяжело дышащего, растрепанного командира роты Пшенного.

Молчаливая, не всегда покорная, но все же управляемая рота обступила ротного, смыкаясь вокруг, и совсем не так, как ее учили-наставляли, вскинула винтовки, деревянные макеты с заостренными концами, в полной тишине начала сдвигаться. Раз и навсегда усвоивший, что он, командир, начальник, может повелевать людьми, но им повелевать никто не смеет, кроме старшего по званию, если нападать, то он вправе нападать, на него же нельзя, — Пшенный не осознавал надвигающейся беды, пытался что-то сказать, скомандовать, губы его шевелились резиново, смятенно выбрасывая; "Шо? Шо?" — лицо сделалось серым и без свалившейся шапки казалось еще крупнее.

— Ребята! Ребятушки! — оказавшись в кругу, хватался за стволы винтовок, за обломки макетов Яшкин, загораживая своей тщедушной фигурой неповоротливое тело ротного. — Нельзя, братцы! Погубите! Себя погубите!

Яшкин осознавал: пробудившиеся в этих людях сила и неистовство, о которых никто, даже сами они не подозревали, уже неподвластны никому, эта сила волокла помкомвзвода на винтовках, сваливала на грузную тушу командира роты. Быть бы им обоим поднятыми на штыки, но кто-то выкинул руку, невероятно длинную, схватил Яшкина за ворот, бросил в сторону.

— Прр-ровались!

— С-споди Сусе! С-споди Сусе! Спаси и помилуй… — крестился Коля Рындин. — Ребятушки… Братики!.. Смертоубийство… Смерто… — И пытался собою задержать товарищей. Но они обтекали его, сталкивали, роняли. — Товарищ младший… Лексей Донатович! — заблажил на весь лес Коля Рындин.

Щусь терпеть не мог, тем более смотреть, как истязает ротный подчиненных, орет на них, будто на безрогое стадо, он ушел от греха подальше на плац, толкался меж куривших командиров, поджидая свой первый взвод. Но что-то его обеспокоило, и он еще до вопля Коли Рындина почуял неладное, помчался к сгрудившейся роте, крича издали:

— Отставить! Кому сказал — стой! — Ворвавшись в круг, схватился за штыки, повис на винтовках, крича в затверделые, безумные лица бойцов: — Сто-ой! Сто-ой!.. Ребята, вы что?! — И вдруг рванул шинель на груди, обнажил красный орден: — Колите! Коли-ите, вашу мать!.. Н-ну-у!

Крик младшего лейтенанта достиг людей, достал, пронзил их слух. Один по одному бойцы замедлили, затормозили тупое движение на цель, роняли винтовки, макеты. Обхватив лицо

руками так, что обнажились красные запястья, зашелся в рыданиях Коля Рындин:

— С-споди, Мать Пресвятая Богородица! Милосердная...

Пшенный все глядел набыченно на остывающую, в себя приходящую толпу подчиненных, было видно, намеревался что-то предпринять поперечное, противоборствующее. Надо было сбивать напряжение.

Щусь деловито, почти спокойно скомандовал:

— Мусиков, Рындин, Васконян — ко мне! — И когда бойцы подошли, сказал: — Отнесите своего товарища в санчасть. Вам, — вперился он в Пшенного, застегивая шинель пляшущими пальцами, — вам... — Нужна была разрядка, нужно было произвести какое-то наказующее злодея действие, и, превышая власть, заместитель командира роты непреклонным тоном приказал ротному: — Вам — отправляться в штаб полка и честно, честно — повторил Щусь, — дос-ко-наль-но, — со значением добавил он, — доложить командиру полка о случившемся.

Пшенному подали шапку, он ее нахлобучил, подтянул пояс, по всему виделось, не хотел просто так отступать, но весь вид помощника молил его, подталкивал: да уходи ты, уходи, ради Бога...

Рука у Щуся, поцарапанная штыком финской винтовки — штык у нее пилой, — кровоточила. Он достал обвязанный шелком батистовый платок, зажал его в горсти, затягивая зубами концы платочка на запястье, не замечая больше Пшенного, кивнул Яшкину:

— Веди роту в расположение.

Сам свернул в лес и напрямую по снежному целику побрел к своей землянке, в отдалении уже обернулся: разбито, разбродно брело войско первой роты в военный городок, почти все парни утираются рукавицами, кто и жесткими рукавами шинелей. Отпустило. "Пусть лучше здесь умоются слезами с горя, чем в штрафной роте кровью".

Крепкий телом и нервами Щусь не страдал бессонницей, но в эту ночь не мог уснуть почти до рассвета.

Навалилось! Больше всего он не любил копаться в чужих жизнях, в своей и подавно — она хоть и коротка еще, но уже перенасыщена. Но это у Алексея Донатовича Щуся — просто гражданина, просто человека, у командира же Советской Армии жизнь, как ей и положено, пряма, проста, без зизгагов, как он любил шутить, понятная, небесполезная, как он уверял себя, принимая ее на каждый день и час такой, какова она есть, тащил без особой натуги свой воз по земле, не заглядывая за тын, из-за которого тянул шею, выглядывал лупоглазый белобрысый парнишка, молча взывая не забывать его. Парнишку того звали не Алексеем, а Платоном, и не Донатовичем, а Сергеевичем, и фамилия у него была Платонов. Не эта нынешняя фамилия, похожая на удар хлыста или порыв ветра, поднявшего ворох остекленелого от мороза северного снега. Фамилию эту никто не передавал ему по наследству, по родственной линии. Она образовалась от фамилии Щусев, вписал ее в военные списки писарь Забайкальского военного округа из хохлов-переселенцев, пропускавших по холодному, ветром продутому сараю парней, записанных в курсантскую роту. Плохо ли писарь слышал, курсант ли будущий околел до того, что губы одеревенели и все звуки произносились со стылым свистом. Раза три повторял он: "Щусев, Щусев, Щусев". Писарь клонил к нему голову, раздраженно переспрашивал: "Як? Як?" — и вписал как слышал: Щусь. Коротко и ясно. В жизни русского народа, давно сбитого с кругу и хода, произошла еще одна ошибочка, да и не ошибочка, всего лишь опечаточка. Эка невидаль! Кругом такое творилось, что и вовсе могли из всяких списков вычеркнуть человека, не заметив того.

Но еще раньше, когда он был не Щусевым и не Щусем, а просто Платошкой Платоновым, понимал он так, что жизнь — это беспрерывное движение, все ехали, все шли куда-то люди, кони, коровы, всякий мелкий скот, в память вонзилось и застряло Семиречье, казаки. Затем голая степь. Юрты, палатки, шалаши, кони, снова скот, много скота и неуклюжие животные с горбами под названием верблюды. После — глухая, черная, жутко гудящая тайга. Нет уже коней, скота нет, одни собаки воют по ночам. Люди черные, молчаливые, живущие по-звериному — в земляных норах, называемых землянками. Запах кедрового леса, масленая сладь ореха, горечь черемши, кислятина ягод, колючая, из овса слепленная лепешка, от нее горит во рту, першит, засаживает горло.

Время идет. Крепнет память. Народу вокруг становится все меньше, меньше. Остается Платошка рядом с молодой женщиной, одетой в черное, — это его тетка, монашка, трудолюбивая, многотерпеливая женщина необыкновенной красоты. Красивей ее он никогда никого не встречал, не видел, разве что на напечатанной в журнале копии с картины Сурикова "Меншиков в Березове" видел такую же. Она там в отдалении написана, рукой подпершись, слушает чтение. Старшая дочь Меншикова, на отца похожая, самая умная из троицы, понимающая всю трагедию свою и опальной семьи. Впоследствии он с удивлением узнал, что побывали они в ссылке тоже под Березовом — там он и лишился родителей, остался с теткой-вековухой. Пока что казаков гоняли вдоль родных рек Иртыша и Оби, изводили и закапывали их, слава Богу, в родную землю. "Эх, казаки, казаки, ряженые мудаки! — не раз и не два про себя говаривал в рифму Щусь. — Что же вы так бесславно погинули-то? Гордое сословие, мужественное войско — на такую тухлую наживку клюнули!.."

Последнее переселение он помнит уже отчетливо. Плыли вниз по большой реке. Трубастый, крикливый пароходик тащил связанные гуськом баржи, набитые народом, уже истощенным, больным. Тетушка тут и сестра милосердия, и Божий утешитель, помогала больным, молилась по умершим, которых ночью сами же ссыльные под доглядом конвойных вытаскивали на палубу и сбрасывали за борт.

К тетушке внимателен был конвойный начальник, человек при нагане, в кожанке, подбитой овечьей подкладкой, в галифе с малиновыми полосками, в папахе со звездой, из-под которой русым ворохом выбивался чуб. Он приносил в кармане кожанки пряники и конфетки, ночью лепился на деревянный мат, предназначенный под мешки с зерном, пробовал подлизаться к тетушке, она не давалась, обещала: "Потом, потом", выпрашивала под "потом" вместо конфет лекарства, мыло, горячей каши. Однажды, когда усталый пароходишко, едва хлопая побитыми плицами по воде, тянул уже баржи на таком просторе, что и берега-то виделись желтыми соломинками, тетушка сказала: "Ладно, хорошо", взявши слово с начальника, что он не оставит Платошку здесь, возьмет его с собою, назовет сыном, коли женится иль что с ним случится, отвезет мальчишку в Тобольск, передаст в семью еще дореволюционных ссыльных по фамилии Щусевы — их в Тобольске знают все.

Начальник конвоя на все был согласен. Он припал к тетушке, она со стоном раскинулась, обхватила мужика руками. Притиснув мальчишку к борту, они стали сильно толкаться, колотить малого о мокрые брусья, тыкать его носом в занозистую клепку. Ему бы заорать, но было так жутко от яростно свершающейся тайности, что он не решился даже пикнуть.

Переселенцев выгрузили аж за Обдорском, на пустынном пологом берегу. Вдали, упираясь в небо каменным иродом, горбатился горный хребет. "Вот здесь наша последняя пристань, здесь мы все, Богом забытые, и погибнем", — прошептала тетушка, крестясь.

Спецпереселенцы дней десять пожили в баржах и на пароходике, дожидавшемся подвозки дров. На берегу Оби вырыли землянки, потолки застелили деревянными щитами, вынутыми из

барж, стены утеплили тальником да стелющейся по тундре плесневело-белой ивой. Из склизкой, мертвенносерой глины начали лепить кирпич для печей, заготавливать топливо, ловить слопцами и петлями птицу, добывать удами и колоть острогой рыбу — ни ружья, ни сабельки к той поре у казаков не осталось, да и топоров, и пил по счету, один дырявый баркас на всех и гнилая, железом по дну исчиненная долбленка, выловленная еще в пути караванщиками.

Когда пароход, боявшийся зазимовать на Севере, не у Притона, уводил из гиблого места баржи, то гудел, гудел прощально, тревожно. Все население нового, пока еще безымянного поселка высыпало на берег, иные бедолаги в воду забредали, тянули руки, а на руках дети. Такой рев и плач людской огласил северный обской берег, что капитан давил и давил на ручку гудка парохода, чтобы заглушить тот рев. В отдалении на низком, подмытом берегу стояла одинокая тонкая фигура в черном, размашисто крестила караван, все прощая людям, но, может, его, мальчишку, крестила. Узнай теперь! Ни слуху ни духу о Семиреченских семьях, высадившихся за Обдорском на обской берег. Сколько Щусь ни расспрашивал Лешку Шестакова, оказавшегося с низовьев Оби, бывавшего даже в самой губе, ничего тот ему вразумительного сказать не мог: "Знаете, сколько их там было, спецпереселенческих-то поселков, и ничего-ничего не осталось. Говорят, которые в Салехард, бывший Обдорск, убегли спасаться. У нас в Шурышкарах тоже спецпереселенцы есть. А вам зачем, товарищ младший лейтенант? Там родственники, да?" — "Да нет, один мой сослуживец интересуется, тетушка там у него жила". — "А-а, может, у мамки спросить? Она тамошняя, она у меня наполовину русская, наполовину хантыйка". — "Да не надо. Чего уж там, разве найдешь человека на такой большой земле?" Чем дольше жил на свете Щусь, тем больше он тосковал по тетушке. Со временем это сделалось болезнью, ото всех скрываемой. Тетушка Елизавета — тоска, мать, сестра, женщина женщин, прекрасней, добрей, лучше ее не было и нет никого на свете.

Начальник слово сдержал и, как догадался Щусь, всю жизнь сох по своей монашке, не женился, будто бы искал даже Елизавету — для него, мол, для Платошки. Он был не только боевой командир, тот начальник, присушенный монашкой, но и добрый, в общем-то, человек. Как смутно сделалось в Тюмени, как сами большевики начали садить и выбивать старые боевые кадры, тут же сбагрил подростка в Тобольск, и так хорошо, так ловко это сделал, что за парнишкой не осталось никаких хвостов. Щусевы, местный художник Донат Аркадьевич и преподавательница литературы одной из тобольских школ Татьяна Илларионовна, были бездетны, мальчика приняли в своем доме родным, они знали тетушку его Елизавету, она даже и жила какое-то время у них, но события, происходившие в гражданскую войну и после нее, чем-то и где-то зацепили красавицу, пришлось ей искать монастырскую обитель для уединения.

Вместе с Платоном в ученической сумке прибыл пакет для Щусевых. В конверте том была фотография девушки такой красивой, что глаз не оторвать. Тетушка — ученица губернской гимназии. Еще в конверте было письмо и бумажки-бланки какие-то с печатями. Платон без проволочек был не только усыновлен Щусевыми, но и переименован в Алексея, да и не просто переименован, но крещен в ночное время выгнанным из храма попом, тайно справлявшим требы и службы.

Время начиналось страшное, тюменского начальника расстреляли, пробовали таскать Доната Аркадьевича, но его, как ни странно, спасала дореволюционная ссылка. Вон он когда еще боролся за землю, за волю, за лучшую долю! Борец-то, между прочим, вместе с братией из художественной академии побегал по улицам столицы, потряс красным флагом в 1905 году и поехал бесплатно в Сибирь на бесплатное житье, за ним, уж добровольно, ринулась и возлюбленная его, Татьяна Илларионовна, — все как в лучших революционных романах! Люди тогда старомодные были, в Бога веровали, не бросали друг дружку в беде, не предавали

походя.

И еще спасло Щусевых безупречное, скромное житье, всеобщее уважение тобольчан. Цеплялись насчет мальчишки большевистские непримиримые и неистовые борцы за чистоту рядов совграждан. Супруги Щусевы взяли грех на душу, по письменному наущению начальника соврали: дескать, это сын девушки, заброшенной ветром войны из казачьего Семиречья, но казак погиб, мать была, по слухам, в монастыре, но как монастырь разогнали, она где-то в вихре революционных бурь затерялась. Простоватый с виду провинциальный интеллигент Донат Аркадьевич был уже крепко бит и трепан жизнью, голой рукой его не так-то просто ухватить — с фотографии тетушки Елизаветы он написал портрет маслом и придал ему черты сходства с Алешей. Отдаленно-то по породе они и были немножко схожи, художник это сходство где штришком, где мазком усугубил. Он же, Донат Аркадьевич, видя кровавый разгул в стране, начал править Алексея на военную стезю, наверное, полагал мудрый старик, что уж военных-то, силу-то свою и мощь, большевики подрывать не будут, не совсем же они остолопы, чтобы сук под собой рубить.

Ах, Донат Аркадьевич, Донат Аркадьевич, папашка старенький, какой ты все же наивный был, как ты все же мерил новый мир по старому аршину, как светло заблуждался насчет новых людей, нового мира и в особенности насчет текущего момента. Молодость, духовная недозрелость да смелость натуры и ладность фигуры помогли и помогают спасаться приемышу и от бурной жизни, и от собственной дури.

Все шло по заведенному плану: школа, экзамены, посылка документов в Забайкальское военное училище — к документам приложены аттестат с круглыми отметками "отлично" и справка военрука тобольской школы о безупречной военной подготовке в пределах десятилетки, копии удостоверений "Ворошиловский стрелок", постоянного члена МОПРа, донорской станции и характеристики одна хвалебней другой. "Нам иначе нельзя, мы всегда в подозрении", — лепетала Татьяна Илларионовна. И Алексей с туманного детства понимал, что только отличной учебой, безупречным поведением, безукоризненной боевой выучкой, беззаветной храбростью он сможет снять с себя, со Щусевых, со своей святой тетушки вечную вину. Понять бы еще: в чем та вина? Не видел он бела света ни в детстве, ни в юности, ни в школе, ни в военном училище — все выправлял себя: показательный, передовой гражданин передового в мире общества. А как уж радовались ему, его покладистости, радению Донат Аркадьевич и Татьяна Илларионовна, из кожи лезли они, чтобы получше его одеть, послаще накормить. Что там говорить, благоговели они от счастья, что Бог послал им в награду любимого всеми мальчика, ну и он старался платить им любовью — уж на что писать ленив, а из училища слал им письма каждомесячно.

Первый проблеск в слепом сознании, первый урок, первое отрезвление в безупречно выстроенной жизни, в вышколенном, целенаправленном умишке образцового ученика, гражданина и курсанта произошел на озере Хасан, в боях за сопки Безымянную и Заозерную.

Курсантскую роту спешно пригнали к местам боев 1 августа, 2-го весь день продержали под дождем. — слишком много скопилось возле сопок умных комиссаров и наставников, сил не жалеющих на боевое слово, призывающих вдребезги разбить зарвавшихся самураев, неувядаемой славой покрыть славные знамена. Ораторы стояли в затылок, добросовестно отрабатывая свой сдобный хлеб. В результате не отдохнувших, голодных, с ног валившихся курсантов, к бою негодных, выдвинули под крутой склон сопки, придав роту выбитому с высот сто двадцатому стрелковому полку.

На склонах сопок Безымянная и Заозерная копнами чернели застрявшие в грязи танки, скособоченно стояли орудия, всюду там и сям на земле виднелись замытые дождем бугорки —

убитые, догадались курсанты, но духом не пали, просто решили они, да им и помогли это решить речистые комиссары: тем передовым красноармейцам не хватило храбрости и умения в бою. Вот они, курсанты, пойдут, уж они этим дохлым самураишкам дадут. И шли на крутой склон в лобовую атаку, и расстреливали их японцы с высоты, так и не пустив наверх, не доведя дело до штыковой схватки.

Отброшенные в очередной раз назад, курсанты лежали в размешанной грязи и отдыхивались, ничего не понимая. Как же так? Они ж орлы, герои, а их косят, как траву, какие-то зачуханные японцы в очках? Наконец пришло озарение: надо думать, надо уметь, надо хитрить, надо тактику применять на практике. Командир отделения Щусь подполз к командиру роты, попросил в сумерках пошуметь, хорошо пошуметь, сделать полную видимость атаки, он с остатками своего отделения попробует обойти пулеметчиков. Пригодилось все: и выучка, и ловкость, и выдержка, — он помнит, как, уже бросившись на хорошо окопанный расчет пулемета, судорожно всаживая нож в живое тело, почти обезумев, стиснутым ртом вырыгивал чапаевское из кино: "Р-ррре-ошь, не возьмешь! Р-рре-ошь..." — потом с фланга пластал из пулемета японцев, гасил огневые точки, и когда рота, остатки ее, наконец-то достигнув японских окопов, зарычала, завизжала, увязнув в рукопашном бою, он ринулся в человеческую кашу, что-то тоже крича, вытирая слюняво раззявленный рот соленым кулаком, не понимая, чья это кровь, его или того японца, которого он колол ножом.

Во тьме окопной ямы, залитой грязной, вязкой жижей, он вроде бы кого-то ткнул штыком, отбросил, и откуда-то возник перед ним низенький солдат в каске, он так и не успел уразуметь — откуда. Забыв все правила штыкового боя, бросился дуром на врага и был умело поддет штыком "под зебры". Молнией полоснула боль, оглушающий удар по голове — и все...

Очнулся утром на пути в госпиталь с забинтованной башкой и лицом так, что один только глаз из белого светился. Он был уверен, что сопку они все-таки взяли, японцев разбили, искромсали, да так оно и подтвердилось в сводках: взяли, разгромили, неповадно будет самураям нарушать священные наши рубежи.

С горестным смущением узнал он потом: сопку-то они всю так и не взяли, только положили уйму народу, так как стреляли из орудий и из танков по своим — связь была аховая, гранаты не взрывались, автоматические винтовки заедало. На переговорах о возвращении сопок и восстановлении закрепленных границ на Хасане японцы куражились над самодурствующими советскими правителями, требовали компенсации, получили все, что требовали, так что вторую половину сопки брали уже "застольными" боями наши униженные дипломаты.

В госпитале Щусю вручили орден Красной Звезды, после госпиталя подержали еще в училище и не столь уж гоняли, сколь показывали новобранцам — герой. Выпустили наконец-то, присвоив звание младшего лейтенанта, послали в распоряжение Сибирского военного округа, оттуда в двадцать первый полк, в первую роту, куда прибыл из госпиталя Яшкин и рассказывал про фронт почти как про Хасан: порядка нет, связь никудышняя, по своим как стреляли, так и стреляют, комиссары как болтали, так и болтают, командиры как пили, так и пьют, танки как вязли, так и увязают. Одно утешение: немцы ввиду стремительного продвижения и при своей-то образцовой дисциплине и связи тоже по своим лупят, бомбят своих за здоровую душу.

А родители, Донат Аркадьевич и Татьяна Илларионовна, меж тем покинули сей неспокойный свет, один за другим отплыли к тихим берегам лучшего мира. Тетушка потерялась в миру — нет ни дома, ни семьи, ни любимой женщины. Военный человек. Спец. Экая должность! Экая дурь! Какой смысл в такой жизни? Чтобы топтать других? Ломать судьбы? Готовить людей на убой? Но они и без подготовки погибнут на такой войне, с подготовкой такой вот, что в двадцать первом полку, которые погибнут и до фронта. Мальчишек растят, спасают от зла,

добру учат, чтобы они творили еще большее зло в битве за добро? "О Господи! Что за жизнь! Что за дурацкая путаница в башке! И разламывается башка, и выпить нечего, да и не хочется". Хотелось бы, разбудил бы Груньку, помял, она деваха разбитная, добыла бы из-под земли...

А мальчишек жалко. И этого доходягу Попцова... Может, и хорошо, что он отмучился? Добил его дубарь, помог ему. Да он бы все равно скоро умер. И списали бы его, в тайные отчеты незаметно внесли. Он, слава Богу, уже не познает ужаса боя, никто не подденет его на штык, не всадит пулю ему в грудь. "Царство тебе Небесное, парень. Лежишь вот сейчас в полковом морге, в ямине глубокой на полу валяешься, и ничего-то тебе не больно, жрать уже не хочется, братья-солдаты не рычат, не бьют тебя, мокрого". Щусь почувствовал на лице мокро, неторопливо, как милая тетушка Елизавета учила, перекрестился в темноте и утих, жалея себя, людей, весь свет жалея и радуясь тому, что такого вот раскисшего, жалостливого его никогда никто не видел, не знает и не узнает, — забылся беспокойным сном, облегченный слезами и молитвой, которой его обучила опять же тетушка и которую он уже даже и не помнил до конца: "Упокой, Господи, души усопших раб Своих... и прости им все согрешения, вольные и невольные..."

Старшина Шпатор завел было нотацию насчет несвоевременного явления в казарму подразделения, но Яшкин громко, чтобы всем было слышно, объявил:

— Первая рота сегодня отдыхает! — Понизив голос, добавил: — Не гомони, старче, хотя бы в этот страшный день.

Лейтенант Пшенный более в расположение роты не являлся. Кто-то уверенно заявлял, что его судили, отправили в штрафную роту, кто-то заверял, что он осел в штабе полка и принял роту в третьем батальоне. Щусь насчет Пшенного ничего не говорил, да его особо и не донимали расспросами, радуясь, что другого командира роты не присылают и правит в подразделении младший, привычный всем лейтенант, все последнее время отсутствующе глядящий куда-то выше их и дальше их.

Происшествие в первой роте отозвалось где надо: красноармейцев из первой роты одного за другим вызывали в особый отдел полка, где главным был старший лейтенант Скорик.

Но прежде своих подчиненных побывал у Скорика младший лейтенант Щусь.

Они когда-то учились в одном военном училище в Забайкалье, из которого и была брошена курсантская рота на Хасан. Курсант Щусь, как написано было в наградном листе, в штыковой атаке заколол трех самураев, отбил вражеский пулемет, обернув его в сторону противника, приземлил наступающую цепь врага. Когда пулеметные ленты кончились, курсант снова ринулся на врага, получил штыковое ранение, но все же на сопку Заозерную взобрался, где и подобрали его санитары. В читинском госпитале ему вручили орден, после чего молодой герой поистребил вина не меньше бочки и восхищенных девок больше, чем самураев в бою.

Лева Скорик в бою не бывал, но в званиях и по службе продвигался успешней героя хасанских боев, аж вот куда додвинулся — до начальника особого отдела стрелкового полка, количеством штыков, точнее едоков, равного дивизии. Большинство командиров двадцать первого полка терпеть не могли бывшего сокурсника Левы Скорика, давно бы его схарчили, но Щусь был любимцем командира полка Азатьяна, тот, не иначе как стремясь поглумиться над ожиревшими, самодовольными тыловикамиштабниками, поручил выщелку-орденоносцу раз в неделю проводить с ними строевые занятия.

Младший лейтенант Щусь, к общему удовольствию рядового и младшего состава, гонял

майоров, капитанов, старших лейтенантов и лейтенантов до седьмого пота, да еще в заключение заставлял пройти строевым шагом по расположению полка, чтобы все видели, что возмездие в Божьем миру еще существует. С насмешкой, не иначе, кричал нескладному капитану с древней дворянской фамилией Дубельт, култыхающему вразнопляс со строем:

— А ну-ка, полковой меломан, пе-эссню-ууу! И-и-ы, рысс-два! Рысс-два!

Капитан Дубельт не знал современных строевых песен, отказать, однако, строевому командиру, их истязающему, не решался и под шаг запыхавшихся тыловых чинов затягивал таким же тощим, как он сам, тенором: "Солдатушки, бравы ребятушки, где же ва-аши жо-о-оны?" "Наши жо-о-оны — пушки заряжены, вот кто на-аши жо-оны!" — чуть озоруя, однако и потрафляя лихому строевику, рявкали штабники.

— Ррыс-два! Рр-рыс-два! — так ли ладно, так ли складно вторил младший лейтенант Щусь. — Выше ногу! Шире шаг! Подобрать животы! Р-рас-спрямить спины! Рр-рысс-два! Рррыс-два!

Не забыл Щусь и про своего соратника по училищу. На первом же занятии въедливо поинтересовался:

— А что, старший лейтенант Скорик не служит в нашем доблестном полку?

— Служит, служит! — мстительно откликались истязателю тыловики, давно уже никого, кроме себя, не уважающие. — Поблажку сам себе выдает. В строй его! На цугундер!

И оказался особняк Скорик в строю. Бывший его сокурсник уделил ему особое внимание:

— Старший лейтенант Скорик, подтянитесь! Не сбивайте шаг. Не тяните ножку, или я займусь с вами индивидуально строевой подготовкой. Вечерко-о-ом! После отбоя!

— Зараза! — кипел Скорик. — Достал, достал! Ну ты дождешься! Ну я тебя куда-нибудь упеку!..

Упечь было бы просто, поводы подавал сам младший лейтенант Щусь: он напивался, а напившись, являлся к штабу полка, митинговал:

— Эй вы, тыловые крысы, отправляйте меня на фронт, иначе я вас всех до смерти загоняю. Рожи ваши видеть не могу! Войско обжираете!

Младшего лейтенанта хватали патрули, волокли на офицерскую гауптвахту. Но его оттуда непременно вызволял полковник Азатьян и подолгу увещевал, обещая: скоро, может, уже с нынешним составом бойцов, двадцать первый стрелковый полк целиком и полностью, вместе со своим штабом, отправится на фронт. С кем тогда он, командир полка, пойдет в бой? С этими, как совершенно точно их называет неустрашимый герой, болванами, да? И что будет в полку с ребятишками-красноармейцами, если его покинут такие люди, как командир первого взвода? Они останутся на растерзание держиморд пшенных, да?

— Иди, дорогой мой, в роту, иди, береги парней, учи их бою, терпению и сам терпи. Я ж терплю! Мне, боевому командиру, совсем от тебя недалеко, на Халхин-Голе, получившему награду и ранение, каково? Ты все осознал, да? Иди, дорогой мой, иди! И не напивайся больше. Я бы тоже вместе с тобой напился, побунтовал бы, перебил все окна в штабе, да что окна, я бы весь этот штаб перебил, но нельзя, дорогой, нельзя-а-а. От нас родина требует врага бить, не окна, врага, врага, дорогой мой.

Начальник особого отдела вдоль и поперек изучил выписку из личного дела младшего

лейтенанта Щуся — никакой зацепки в бумагах не нашел. Родом Щусь из русско-немецкого иль казачьего поселения, что в Семиречье, под Павлодаром. Зацепка малая, чтоб упечь куда надо героя Хасана. Скорик запросил павлодарский гражданский архив, тобольский райвоенкомат запросил, который призывал Щуся в армию и направлял в военное училище. Хоть советскую икону пиши со Щуся — настолько чист он и безупречна его биография. Ма-ахонькая, совсем крохотная зацепка в бумагах была: род казаков Щусей где-то на уровне прадедов сплетался с немецкой ветвью, и не отсюда ли странное и непривычное уху отчество — Донатович? Да и фамилия Щусь? И эти голубые глаза с водянистой размытостью, заключенной в резко обрисованный двумя кружками серый зрачок, и эта невиданная аккуратность во всем. Сколько помнил Скорик Щуся, ни одной он волосинки лишней не переложил с четко расчерченного расческой пробора, ничего лишнего на темечке не нагромоздил. И как, как из Щусева превратился он в Щуся? Накуролесил Щусь достаточно для суда, разжалования и штрафной роты, да никак его не выдернуть из объятий полковника Геворка Азатьяна. Обожает его полковник, грудью заслоняет. Но вот, кажется, и полковнику скоро на дыбу идти: в полку полный разлад дисциплины, воровство, истязания, драки, много больных и наконец всему венец — смерть красноармейца в строю, нападение на офицера.

— Что у вас там произошло, Алексей, расскажи-ка мне подробней, — по-свойски, небрежно обратился Скорик к Щусю.

Но тот не принял его тона.

— Здесь, — помотал он рукою над головой, — не школьный класс, не клуб с танцами и девочками. Вызвали, так извольте обращаться, как положено в армии, по званию.

— Да-а, звание, звание. Что-то оно у тебя...

— Я все в жизни приучен добывать трудом и в бою, поэтому мне звания и награды даются не так легко, как некоторым.

Старший лейтенант Скорик понял тонкий намек, привыкший к покорности собеседника, помрачнел, помолчал.

— Всякому свое, — молвил он и со вздохом добавил: — Надо кому-то нести и эту неблагодарную службу, — выразительно пошлепав по столу ладонью, заключил он.

— Вот и неси, а в свояки не лезь!

— По-нят-но! — раздельно и четко произнес Скорик и повторил: — Ясненько. Ну так что ж, бойцы твои вознамерились поднять на штыки советского офицера?

— Они столь же мои, сколь и ваши. Но вы удобно устроились. Отдельно от них живете, а родину любите вместе. И правильно бы ребята сделали, если б это быдло запороли. Я не дал. Жалко парнишек. Ты обрадуешься работе. Одряб вон от безделья, паутина по углам. — И понимая, что подзашел, что хватанул лишку, сбавил пыл. — Да таким обалдуям, как Пшенный, самое подходящее место на штыке.

— Уж больно вы того, товарищ младший лейтенант, резковаты. И, простите, дерзки. У меня тут не положен подобный тон...

— Да мне начхать, что тут положено, что не положено. Экая церковная исповедальня, где говорят только шепотом. А меня не это занимает. Мне вот спросить хочется: давно ли вы были в солдатских казармах? Совсем не были? Так я и знал. Побывали б там, так не ублюдком

Пшенным интересовались бы — интересовались бы тем, что умер боец не на фронте, не в бою, для которого призван государством.

— Здесь не меня спрашивают. Я спрашиваю. И государство не троньте. Не по плечу вам эта глыба. А вот как человек погиб, расскажите, пожалуйста, подробней.

— Чего ж рассказывать-то? — протяжно вздохнул Щусь. — Какой-то прохиндей, тыловая крыса какая-то спас себя или сыночка своего, взятку ль получил, сунул в армию непригодного. Попцов прибыл в роту больной. И кабы он был один такой. Морока одна с ними. В пути, на пересылках, в карантине Попцов совсем дошел. В роте он ни одного дня в строю не был, два раза в санчасти лежал. Его бы комиссовать, домой отправить, подладить, подкормить. Да много тут таких, а медсанчасть одна...

— Все это я знаю и без хождения в казармы. На вот, распишись. — Скорик бросил Щусю листок, напечатанный типографской краской, — ну там о неразглашении разговора, в особенности военной тайны, и т. д. и т. п. — Щусь черкнул в конце листа наискось свою короткую фамилию, отшвырнул бумагу брезгливо. Скорик небрежно сгреб ее в ящик стола. — Объяснительную писать все равно придется. И вот еще что... — Он помолчал, подумал. — Беседовал я тут с твоими орлами из первого взвода. Каждому из них давал листочек, где написано: обязуюсь, мол, сообщить о сговорах, вредных влияниях, намерениях дезертировать и так далее и тому подобное. Обязан. Служба у меня такая. Так один из твоих орлов, по фамилии Шестаков, чуть мне голову чернильницей не расколол...

— Во молодец!

— И я так же думаю. Так вот. Чтоб этот добрый молодец был и на фронте боец, скажи ему: не на всякого офицера можно со штыком да с чернильницей бросаться — обратно прилетит и ушибет до смерти. Скажи ему, чтоб не болтал об этом происшествии в роте. И тому громиле, что припадочного изображает, ну, который "у бар бороды не бывает" глаголет, скажи, чтобы не заигрывался.

— Это уж сам ему скажи. Наедине. Скорик спрятал свои глаза, открыл стол, что-то в нем перебирая.

— И это вы знаете. Но на всякий случай тоже не разглашайте. Да и врет он, сочиняет, деляга, всякую чушь, безвредно для товарищей сочиняет. Есть такие, придурками живут, на придурков рассчитывают. Немцем тебя посчитал, — Скорик смотрел в упор, испытующе, — за аккуратность. Не допускает мысли, что офицер из русской армии может быть прибран.

— Оттого что настоящего русского офицера он не видал, больше шпану зрел, — подхватил Щусь. Отвернувшись к окну, постукивая пальцами по столу, он силился уразуметь: зачем Скорик все это ому сообщил? Зачем такую гнусную подробность доверил? Чтоб знал Щусь, что не все бросались на старшего лейтенанта Скорика с чернильницей, не все припадочных изображали, были и те, что бумажки о доносительство подписали, время от времени они исчезают из расположения роты по вызову в штаб полка: полы, мол, мыть, баню топить, иль за почтой, иль наглядные пособия капитану Мельникову поднести — тонкая политика н армии, памаш!

Скорик поднялся, давая понять, что беседа окончена, и, глядя в стол, произнес:

— Не ломай голову, не дури и не дерзи лишку. Сломают. А ты на фронте нужен. — Подал руку. — Держи! Все же дважды однополчане. И здесь, Алексей Донатович, о родине иногда тоже думают. Враг-то на Волге.

Глава шестая

В столовую ходили поротно, соблюдая очередность. Горе народу, когда первая рота должна идти на завтрак первой, на ужин — последней. Во-первых: надо было подниматься раньше всех и ложиться после отбоя. Кроме того, как ни болтай черпаком в котлах — первым все равно наливается жиже, последним же, случается, достанутся хорошие охлебки в котлах. Если же кухонный отряд просчитается или крохоборы дежурные закусочничают, объедать начнут, может шпик с постным маслом на дне котлов остаться.

Лучше всего ходить в столовую в середочке — тогда суп гуще, на хлебе все довесочки целы, да и попромышлять можно до конца обеда или отбоя.

Большого совершенства в делении пайки, в промысле добавки и всякого дополнительного пропитания достигли бойцы двадцать первого стрелкового полка. С осени хлеб делили, выбирая от десятка едоков полномочного человека, и не одного, двух. Один полномочный человек отворачивался от стола, другой полномочный человек, положив руку на пайку, спрашивал; "Кому?" Отворотившийся выкрикивал: "Петьке! Сашке! Ваньке!" Сомнения вкрадывались в души солдатиков, подтачивали доверие к полномочным людям — в сговоре они, им и связчикам ихним не случайно же достаются одни горбушки да пайки с довесками. Пустили в ход хитрейшую тактику. В каждом подразделении свою. В зависимости от пристрастий данного контингента едоков употреблялось название либо кинокартин, либо машин, либо воинских званий, либо городов. Советских. Но и здесь чудились происки. Хотя откуда быть обдуваловке: хлеб нарезается и взвешивается в хлеборезке, каждая пайка отдельно. Да в хлеборезке-то тоже люди — где промахнутся ножом, где перевесят, где недовесят.

В первом взводе мысль работала недосягаемо сложно, деление паек достигло такого ухищрения, какого небось и просвещенная Европа не знала: по предложению Васконяна в ход пошли названия стран. "Кому пайка?" — спрашивал распределитель. И следовал выкрик: "Абиссинии! Греции! Аргентине! Англии! Сэсээру! Везло отчего-то больше всего Абиссинии — ей всегда доставалась горбушка. Так же и кашу, и суп делить стали. Зачерпнет кашу дежурный, замахнется поварешкой: "Кому?" — и специалист по странам названия выдает, но уже иные, чем при делении хлеба, благо стран на земле много, на всю роту названий хватает. Хлоп в скользкую миску черпак каши — Польше, бульк поварешку супу — Венгрии. Радуйся, Европа, кушай на здоровье!

Дележка была столь тщательна, занимала так много времени, что едоки часто не укладывались в срок, отпущенный на завтрак или на обед, хлебали и жевали харч на ходу, суп допивали через край миски, пайку хлеба совали за пазуху и берегли воистину пуще глаза, отщипывая по крошке. Слабовольные людишки страшно завидовали тем, кто обладал терпением, выдержкой, не сжирал пайку как попало, не заглатывал мимоходом, живьем, ел с супом или с чаем, потреблял продукт бесценный с чувством, с толком, с расстановкой, с пользой для здоровья и для тела, и духа поддержания.

С каждым месяцем, неделей, днем прибывало и прибывало в полку доходяг. Овладев порожней миской, доходяги толкались возле раздаточных окон, канючили, ныли, выпрашивали добавки, мешая старшим десятка получать тазы с похлебкой, с кашей, с чаем, если мутную, банным веником пахнущую жижу можно было назвать чаем, но, намерзшись на занятиях, вечерами пили того чаю много, пили жадно, мочились ночью, биты бывали эти соколики нещадно.

Меж столов сновали серые тени опустившихся, больных людей — не успеет солдат выплюнуть на стол рыбью кость, как из-за спины просовывается рука, цап ту кость, миску вылизать

просят, по дну таза ложкой или пальцем царапают. Этих неприкаянных, без спроса ушедших из казармы людей ловили патрули, дневальные, наказывали, увещевали. Но доходяги утратили всякое человеческое достоинство, забыли, где они и зачем есть, дошли даже до помоек, отбросных ларей, что-то расковыривали там палками, железом, совали в карманы, уносили в леса к костеркам.

Казахи, а их в первой роте закрепилось человек десять, во главе с Талгатом, которого из-за трудности выговора бойцы кликали Толгаем, презирали доходяг, плевались: "Адрем кал!" (Фу на тебя!) — брезгливо выбрасывали из супа или из толченой картошки комочки свинины. Начался обмен: казах русскому — кроху мяса, русский казаху — ложку картохи либо корочку хлеба. Но и неистовые азиаты, больше других страдающие от холода и недоеда, один по одному сдавались: сначала начали хлебать суп, сваренный со свининой, потом и мясо, отвернувшись, украдчиво бросали в рот. Кругом дразнятся: "У-у, чушка поганая! Хрю-хрю, чушка!.." — чтобы забрезговали, не ели мяса казахи. И пришел срок, когда Талгат повелительно сказал:

— Сайтын алгыр! (Черт бы тебя побрал!) Ешьте все! Ешьте! Аллах разрешил из-за трудности момента. Ослабеете, будете, как они, — презрительно махнул он ложкой на сзади толпящихся, ждущих подачки доходяг.

Давясь, плача, казашата ели суп со свининой. Наевшись, выкрикнув: "Астапрала!" — отбегали от стола в угол столовой — поблевать.

Дисциплина в полку не просто пошатнулась — с каждым днем управлять людьми становилось все труднее. Парнишки в заношенной одежде, в обуви хрустящей, точнее по-собачьи визжащей, тявкающей на морозе, ничего уже не боялись, увиливали от занятий, шныряли по расположению полка в поисках хоть какой-нибудь еды. Утром их невозможно было поднять, вытолкать из казармы.

Начиналось все довольно бодро. Дневальные первой и второй рот одновременно заводили громко, песенно: "Па-аа-адъем! Па-ааа-адъем!" — но никто в казарме не только не поднимался, даже не шевелился. Тогда второй дневальный, спаривая голос с первым, орал: "Подъем! Сколько можно спать?"

Постепенно расходясь в праведном гневе, накаляясь, дежурный по роте, им чаще всего был Яшкин, тоже шибко сдавший, совсем желтый, начинал сдергивать бойцов с нар, которые оказывались поближе. Всех ближе на нижних нарах ютились горемыки больные, на которых дуло из неплотно закрытой двери, тянуло от сырого пола, и как им ни запрещали, как их ни наказывали, они волокли на себя всякое тряпье, вили на нарах гнезда. Стащенные за ноги, сброшенные на пол, снова и снова упрямо заползали на нары, лезли в грязное, развороченное, но все же чуть утепленное гнездо — только бы не на улицу, только бы не на мороз в мокрых, псиной пропахших штанах, побелевших от мочи на заду и в промежности.

Не лучше дело обстояло и на третьем ярусе. Тех, наверху, за ногу не стащить — лягаются. Их били макетами винтовок, били без выбора, случалось, попадали даже в голову, крепко ушибали человека, тогда он подскакивал, спинывал дневального вниз. Дневальный хватался за столб, вопил:

— Товарищ старшина! Товарищ старшина! Оне дерутся!

И тут на свет казарменной лампады выскакивал из каптерки старшина Шпатор в солдатском бельишке, в серых валенках, обутых на босу ногу, сухонький, с искрящейся редкими волосами стриженой головой, с крылато раскинутыми усами.

— Это арьмия, памаш? — нервно вопрошал он. — Арьмия?.. А ну встать! Встать!!.. Не то я вас...

Старшина для примера сбрасывал со второго или третьего яруса первого попавшегося бойца. Тот, загремев вниз, ударившись об пол, вопил, ругался; осатаневшие дневальные лупили уже всех подряд прикладами макетов, с боем сгоняли служивых с третьего яруса нар на второй, где они, сгрудившись, пробовали дремать дальше, со второго их спихивали на первый, с первого вытесняли серую массу в коридор, затем к дверям, на лестницу, никто не торопился открывать двери. Наконец, благословясь, тычками, пинками, выдворяли на мороз разоспавшихся вояк, и тут же начинался отлов симулянтов: их вытаскивали из-под нар, выковыривали из казарменных щелей, где и таракану-то не спрятаться.

Выжитые из казармы служивые тем временем пританцовывали на морозе, ругались, грозились, когда очередного симулянта выбрасывали на улицу, встречали его в кулаки.

Щусь, как всегда подтянутый, ладный, но тоже недоспавший, явившись из землянки, терпеливо ждал в стороне результатов.

— Р-равня-айсь! Х-хмиррна! — наконец взлетал над сбившимися в строй красноармейцами вызвеневший голос помкомвзвода Яшкина. Скользя, спотыкаясь, поддерживая на боку кирзовую сумку, доставшуюся ему еще на фронте, в которой было все личное имущество помкомвзвода, он подбегал к Щусю и докладывал: — Товарищ младший лейтенант, первая рота для следования на занятия выстроена!

— Здравствуйте, товарищи бойцы! — щелкнув сапогами, поставив ногу к ноге, бодро выкрикивал Щусь. В ответ следовало что-то невнятное, разбродное. — Не слышу! Не понял! Здравствуйте, товарищи бойцы! — подпустив шалости в голос, громче кричал Щусь.

Так иногда повторялось до четырех раз, иногда и до пяти, пока не раздавалось наконец что-то гавкающее:

— Здрас тыщ-щий лейтенант!

— Вот теперь, чувствую, проснулись. Р-рота, в столовую для приема пищи шагом арш!

Перед тем как спуститься в каптерку к старшине, чтоб обсудить с ним план занятий и жизни на сегодняшний день, Щусь смотрел еще какое-то время вослед качающемуся под желтушно светящимися фонарями, пар выдыхающему, отхаркивающемуся, не очень-то ровному и ладному строю. И снова подступала, царапала сердце ночная дума: "Ну зачем это? Зачем? Почему ребят сразу не отправили на фронт? Зачем они тут доходят, занимаются шагистикой? На стрельбище, как и прежние роты, побывают два-три раза, расстреляют по обойме патронов — не хватает боеприпасов. Копать землю многие из них умеют с детства, штыком колоть, если доведется, война научит. Зачем? Зачем здоровых парней доводить до недееспособного состояния?" Ответа Щусь не находил, не понимал, что действует машина, давняя тупая машина, не учитывающая того, что времена императора Павла давно минули, что война нынче совсем другая, что страна находится в тяжелейшем состоянии, и не усугублять бы ее беды и страдания, собраться бы с умом, сосредоточиться, перерешить многое. То, что годилось для прошлой войны или даже для войны с Наполеоном, следовало отменить, перестроить, упростить, да не упрощать же до полного абсурда, до убогости, нищеты, до полной безнравственности, ведь бойцы первой роты по одежде, да и по условиям жизни и по поведению мало чем отличаются от арестантов нынешних времен. И Попцов, да что Попцов, разве он один, разве его смерть кого образумит, научит, остановит?

Между завтраком и выходом на занятия была пауза, небольшая по времени, но достаточная

для того, чтобы служивые снова позабирались на нары, присели возле печки, привалились к прелой стене, но лучше, выгодней всего к ружейной пирамиде. Тонкий стратегический расчет тут таился: как только раздавалась команда "разобрать оружие!", у пирамиды поднималась свалка — каждый норовил схватить деревянный макет, потому как он был легок и у него не было железного затыльника на прикладе, от которого коченела ладонь и уставала рука. С меньшей охотой разбирались настоящие, отечественные винтовки, и никто не хотел вооружаться винтовками финскими, из железа и дерева сделанными. Как, для чего они попали в учебные роты — одним высокоумным военным деятелям известно.

Финские тяжеленные винтовки всегда стояли в дальнем конце пирамиды, там и оставались они после расхватухи, никто их не замечал, учено говоря, бойцы игнорировали плененное оружие. С ножевыми штыками, пилой, зазубренной по торцу, — "чтобы кишки вытаскивались, когда в брюхо кольнут, — заключали ребята и добавляли возмущенно: — Изуиты! Вон у нашего винтаря штык как штык, пырни — дак дырка аккуратна".

Тем бойцам, которые в боях сразу не погибнут и поучаствуют в рукопашной, еще предстояло узнать, что ранка от нашего четырехугольного штыка — фашисту верная смерть, заживает та рана куда как медленней, чем от всех других штыков, сотворенных человеком для человека. Остается благодарить Бога за то, что в этой войне рукопашного боя было мало, редко он случался.

А пока по казарме угорело носился старшина Шпатор с помкомвзвода Яшкиным.

— Кому сказано — разобрать оружие! — заполошно орали.

Дело кончалось всегда тем, что самых бесхитростных, неизворотливых бойцов силой подгоняли иль за шкирку подтаскивали к пирамиде. Будто в революционном Питере, красноармейцу лично вручалось грозное оружие. Наглецы и ловкачи, расхватавшие оружие по уму и таланту, между тем толпились у выхода из подвала, гогоча поддавали жару:

— Вооружайсь, вооружайсь, товарищи красные бойцы!

— Стоим на страже всегда, всегда, но если скажет страна труда.

— Скажет она.

— Рыло сперва умой!

— Рыло сперва умой, потом иди домой!

— Поэт нашелся, еп твою мать!

— Поэт не поэт, а лепит!

— Какая курва там дверь открыла?

— Да старшина это, на прогулку приглашает.

— Пущай сам и гуляет!

— Эй, доходяги, сколько можно ждать?

— Кончай волынить, товарищ младший лейтенант на улице чечетку в сапогах бьет.

— Шесто колено исполняет.

— Раньше выдем, раньше с занятий отпустят.

— Отпустят, штаны спустят!

— Поволыньте еще, поволыньте, заразы, так мы сами возьмемся вас на улку выгонять! Не обрадуетесь!

— Сами с усами! — лаялся Яшкин. — Чего тут столпились? Кто разрешил курить?

— Сорок оставь, Вась!

— Скоро уж посрать нельзя будет без твоего разрешения.

— Разговорчики, памаш! — врезался в толпу старшина. — Марш на улицу! Ну арьмия, ну арьмия! Помру я скоро, подохну от такой арьмии.

— От такой не сдохнешь, от такой...

— Р-разговорчики!

Кто с оружием, кому повезло, кто без оружия, доходяги, больные, симулянты, дневальные, промысловики, разгильдяи, шлявшиеся по расположению полка и по общепитам, переловленные патрулями иль с вечера еще надыбанные докой Шпатором, получившие от старшины по наряду вне очереди — больше он не может, на большее его власти не хватает, — дрогнут на дворе, ждут и знают: старшина так просто, без внимания никого не оставит, он, прокурор в законе, попросит у старшего командира добавки к уже определенному нарушителям наказанию.

Но вот и строй какой-никакой сотворен, вся рота наконец-то в сборе. Старшина семенит вдоль рядов поплясывающего воинства, под сапогами его крякает снег, крошатся ледышки. Натуго застегнутый и подпоясанный, в шапке со звездою, в однопалых рукавицах, в яловых сапогах, должно быть еще с империалистической войны привезенных, усохший, в крестце осевший, но все еще пряменький, чисто выбритый, старшина в желтушном свете двух лампочек, горящих над входом в расположение первой роты — для второй роты существует другой вход, со своими лампочками, — кажется подростком, как эти вот орлы двадцать четвертого года рождения, заметно исхудавшие, телом опавшие за каких-нибудь неполных два месяца прохождения службы. Но только этот вот шебутной подросток — главная самая власть над ними, от нее, от этой власти, вся досада и надсада, от нее, как от болезни, ни откреститься, ни скрыться.

— Попцовцы, шаг вперед!

Умер бедолага Попцов, тайком его в землю зарыли, в мерзлую казенную могилу поместили, но дело его живет И кличка к доходягам первой роты приклеилась. Круг попцовцев с каждым днем в роте ширился, старшина особо к ним пристрастен, смотрит каждому в лицо, в глаза, щупает лоб, цапает за втоки, больно мнет промежность, унижая и без того съежившиеся от холода и неупотребления мужские достоинства. "В казарму!", "В строй!", "В казарму!", "В строй!" — следует приговор.

— Товарищ старшина, да я жа совсем хворай, — начинаются обычные жалобы. — Мне в санчасть... — Голос на самом последнем издохе, тоньше волоска голос, дитяшный голос.

— Болеть в арьмию приехал, памаш? Не выйдет! Не выйдет! — Спровадив больных в казарму и чуя, с какой завистью вслед им, гремящим вниз по лестнице, смотрят оставшиеся в строю, старшина громко, чтобы всем было слышно, оповещает: — У меня не забалуешься! Кто старшину Шпатора проведет, тот и дня на свете не проживет! Те симулянты, кои в казарме остались, еще позавидуют, памаш, честным бойцам, от занятий не уклоняющимся, воинский долг исполняющим, как надлежит воину Красной Арьмии. — Многозначительно сощурившись, повелительно похлопывая себя рукавицей по сапогу, старшина выпевал: — Зло-остные сси-ым-мулянты сами об себе заявят, иль выявлять? — Старшина Шпатор все так же похлопывая себя рукавицей, вперялся в строй, в самую его середку, доставая прозорливым взглядом каждого служивого до самого до сердца, сверля взглядом насквозь все содрогнувшееся нутро.

И сердце самого робкого злоумышленника не выдерживало, понурив голову, выходил он из строя, сознавался, что рукавицы не потерял, а спрятал, надеясь покантоваться в казарме хоть денек. И самый справедливый на эту тяжкую минуту командир Советской Армии, поиспытав молчанием неопытного симулянта, оглашал приговор: за честное признание прощает человека, но делает это в последний раз. Пусть сей же секунд разгильдяй бежит в казарму, наденет рукавицы, припасенные заботливым старшиной, и явится как положено и куда положено, однако на заметку он его все же берет и так просто задуманное им служебное злодеяние все равно не сойдет, вечером после занятий и ужина старшина каждому из симулянтов уделит особое внимание, каждым из них займется индивидуально.

— Тэ-экс! Часть работы, самая ответственная, памаш, благополучно завершена. Пора и на занятия. Вот уже дисциплинированные роты идут и поют. Мы же еще канителимся, разгильдяев ублаготворяем, товарищ младший лейтенант в землянке сидят и нервничают.

Последнее время Щусь не выходил на построение, надоела ему вся эта комедия, на морозе торчать лишний час в хромовых сапогах на одну портянку не подарок тоже, хоть он и закален службой, боями, да и устал смертельно.

— Тэ-экс! — повторял старшина, проходя вдоль уже подзамерзшего, пляшущего на морозе строя. — Может, у кого просьбы есть, жалобы, обрашшенья?

В строю происходило движение, перед старшиной представали те, у кого действительно пришла в негодность обувь, совсем одряхлели и требовали починки шинель, гимнастерка, штаны, кому требовалось освобождение часа на два, чтобы сходить на почту за посылкой или за чем-то в штаб полка… "За чем-то!" — фыркал, умственно шевелил усами старшина. Куда путь лежит осведомителю, старшина не ведает — он первый день на службе! За утро старшина вылавливал и изобличал от двух до пяти ухарей, повредивших обувь: наступят на подошву, рванут — и готово, подметка отлетела.

— А шпилечки-то, шпилечки-то, голубчик ты мой, свеженьки-и-и, бе-елень-ки-и-и, — напевал старшина, — у истлелой обуви, голубок, подметочки не враз отрываются, они поднашиваются, грязнятся, гнию-ют… — Сделав паузу, старшина грустно спрашивал у потрошителя казенного имущества: — И что мне с тобой делать? — Злодей сам себе наказание придумать был не в состоянии, тогда, обращаясь к иззябшему строю, старшина качал головой. — Вот люди честные, порядочные мерзнут, памаш, из-за тебя, негодяя. Я их и спрошу, что с тобой делать.

— Сортир долбить! — как правило, следовал единодушный приговор.

— Во! — Старшина поднимал вверх перст и качал им и воздухе. — Народ зря не судит, народ завсегда справедлив. Взя-ать л-лом, л-лопату и прямиком на работку, на чистеньку, на запашистеньку-у! Меня кто проведет?

— Никто-о-о-о! — единым выдохом давала дружный ответ первая рота.

— И ведь знают, знают, но пробуют, — сокрушался старшина. — Шестаков, в землянку дневальным, поскольку животом маешься. Днем сходишь в лес, лекарств для себя и для всех дристунов насобираешь.

— Е-эсть, товарищ старшина! — голосом совсем не больного человека откликался Шестаков и бегом мчался в землянку Щуся — самое теплое, самое оздоровительное было там место.

— Знай службу, плюй в ружье, да не мочи дуло! — наконец-то звонко выкрикивал старшина Шпатор стародавнюю, мало кому уже понятную ныне мудрость.

Щусь получал в свое распоряжение роту. Взводных и командира роты так до сих пор еще не прислали.

— Н-напрр-рыво! Ш-шыгом а-ар! З-запевай! — резко, бодряще командовал он.

К этой поре каждая рота уже определилась со своей строевой песней, каждая пела именно ту песню, которая данному сообществу почему-либо подходила, а почему она подходила — никто еще на всем белом свете не угадал и едва ли угадает, это есть глубокая тайна могущественной природы.

В первой роте любимых песен было две. Одну, жизнерадостную, запевал после обеда и перед отбоем, будучи по природе и сам жизнерадостным, боец Бабенко. Звенело тогда в морозном пространстве над притихшим зимним сосняком, над меланхолично дымящими казармами, над землянками, над карантином, над штабом, над всеми служебными помещениями военного городка:

Солнце льется, сердце бьется,

И отрадно дышит грудь.

Над волнами вместе с нами

Птица-песня держит путь.

И случалось, какая-нибудь гражданка из вольнонаемных, навестить жениха или сына приехавшая иль из Бердска зачем прибредшая, приостанавливалась, приоткрыв рот, слушала эту неожиданную, вроде бы для времени и места непригодную песню. Бабенко, выпятив грудь, изливался громче того, и рубил, рубил строй первой роты скособоченными ботинками мерзлую сибирскую землю, долбил звучными каблуками территорию запасного стрелкового полка.

Но утром, сумеречным, серым, когда казалось, что вечно так и будет, никогда уж и не рассветет, насупленно-строгий строй, покачивая винтовки и макеты на плечах, выбрасывая клубы пара из кашляющих, хрипящих ртов, топал за лес, в поля, занесенные, заснеженные, истолченные ногами солдат, — утром "птица-песня" не годилась. Гриша Хохлак, прибывший в полк из-под Ишима, почти не имеющий голоса, но хорошо чувствующий ритм шага, речитативом начинал подходящее:

Мы идем за великую родину

Нашим братьям по классу помочь.

Каждый шаг, нашей армией пройденный,

Прогоняет зловещую ночь.

И недружным пока, но все же спетым, слаженным за прошедшее время хором первая рота подхватывала:

Украина золотая, Белоруссия родная,

Наше счастье на грани-иыце

Мы штыками, штыками оградим!

Младший лейтенант Щусь, чеканя вместе с ротой шаг, в лад ей, в ногу подпевал, поддакивал, бодрости поддавал:

— И-ы ррыс-два! Р-ррыс-два! Рррры с-два-трри-четыр-ре! Рррры с! Рррры с!

Щусь был все-таки прирожденным талантом, на постылых занятиях ему удавалось расшевелить, даже увлечь этих ко всему уже, кроме еды и спанья, равнодушных людей, за короткий срок превратившихся в полубольных, согбенных старичков с потухшими глазами, хрипящим от простуды дыханием, все гуще по лицу обрастающих пухом, все тупее воспринимающих окружающую действительность.

Младший лейтенант сам показывал пример лихости, ловкости на занятиях, лазал по лестницам, прыгал через барьеры, понимая, однако, пусть и по короткому участию в боях да по рассказам фронтовиков, что едва ли все это ребятам пригодится на войне, но так она, милая, разнообразна, что, может, чего и пригодится. Свалка первых дней войны, когда отбивались кто как, кто чем, все же кончилась. Война обретает контуры той войны, какая может быть только в двадцатом веке, война техники, артиллерии, авиации, танков, реактивных установок. Едва ли штык-молодец понадобится, но чем черт не шутит. Главное, чтоб парнишки эти совсем не пали духом. И пороли бойцы первой роты, потрошили чучела, набитые соломой, ходили друг на друга и на младшего лейтенанта "в штыковую", делали выпады, отбивали штык прикладом, "поражали противника" ударом в грудь, прикладом били по его башке, набитой, по заверениям капитана Мельникова, идеями мирового господства, слепого поклонения фюреру, жадностью до русского сала и до невинных советских женщин.

За время службы совсем дошел, отупел от постоянной муштры, от недоеданий Коля Рындин. Поначалу такой бойкий на язык, смекалистый в хозяйственных и боевых делах, он замкнулся, умолк, смотрел исхлестанными снегом и ветром глазами, все время подернутыми слизью, сочащейся по щекам и оставляющей на них белые соленые следы, смотрел куда-то поверх голов и сосен, за каэармы, за армию, шевелящуюся внизу, на земле. Был он уже ближе к небу, чем к земле, постоянно пляшущие ссохшиеся его губы шептали "божественное" — никто уж ничего не мог с ним сделать, даже индивидуальные беседы капитана Мельникова не оказывали никакого воздействия. Слова о том, что все эти молитвы, обращенные к Богу, есть кликушество и мракобесие, что только научный коммунизм и вера во всемогущество товарища Сталина могут спасти страну и народ, вбивали Колю Рындина в еще большее опустошение, в бесчувственность. Он согласно кивал головой товарищу капитану, поддакивал, но слова Мельникова — не его собственные слова, казенные слова, засаленные, пустопорожние, в уставе и в газетах вычитанные, — не достигали сознания красноармейца. Поначалу споривший с многоумным человеком, обвинявшим старообрядца в отсталости, толковавший капитану о том, что старая вера есть истинная вера, все остальное — бесовское наваждение, что лишь там, в лесу, сохранились еще истину знающие, ход жизни и небесных сил ведающие чистые люди,

что сам он и его семья, как и многие старообрядческие семьи, давно вышедшие с Амыла, Казыра, Большого и Малого Абакана да и с других таежных рек и спустившиеся с гор, обмирщились, записавшись в колхоз, соединясь с деревенскими пролетарьями, вовсе испоганились, но даже в сношении с самим диаволом они не вовсе еще погрязли в грехах, многие, многие в миру диавола в себя запустили, до безверья дойдя, сами себе подписали приговор на вечные муки, и вот глядите, чем это кончилось, иначе и не могло кончиться, — страшной казармой, озверением, — ныне он вот, Коля Рындин, и пытается вспоминать, Бога попросить о милости к служивым, но Тот не допускает его молитву до высоты небесной, карает его вместе со всеми ребятами невиданной карой, голодью, вшами, скопищем людей, превращенных в животных. Так это еще не все. Не все. На этом Он, Милостивец, не остановится, как совершенно верно сказано в Божьем Писании, бросит еще всех в геенну огненную, и комиссаров не забудет, их-то, главных смутителей-безбожников, пожалуй что, погонит в ад первой колонной, первым строем, сымет с их красные галифе да накаленными прутьями пороть по жопе примется. И поделом, и поделом — не колебайте воздуху, не сбивайте народ с панталыку, не поганьте веру и чистое имя Господне.

Упершись в несокрушимую стену, встретив впервые этакие бесстрашные убеждения, понял замполит, что всего его марксистского образования, атеистического лепету, всей силы не хватит переубедить одного красноармейца Рындина, не может он повернуть его лицом к коммунистическим идеалам. Что же тогда думать про весь народ, на его упования, а все кругом одно и то же, одно и то же: партия — Сталин — партия…

— Не распространяйте хотя бы своего темного заблуждения на товарищей своих, не толкуйте им о своем Боге. Это, уверяю вас, глубокое и вредное заблуждение. Бога нет.

— А што есть-то, товарищ капитан?

— Н-ну, первичность сознания, материя…

— Ученье — свет, неученье — тьма.

— Во-во, совершенно правильно!

— У меня вот баушка Секлетинья неученая, но никогда не брала чужого, не обманывала никого, не врала никому, всем помогала, знала много молитв и древних стихир, дак вот ей бы комиссаром-то, духовником-то быть, а не вам. Знаете, какую стихиру она часто повторяла?

— Какую же? Любопытно, любопытно, — снисходительно улыбался капитан Мельников.

— Я точно-то не помню, вертоголовый был, худо молился, вот и не могу теперь отмолиться… А стихира та будто бы занесена в Сибирь на древних складнях оконниками.

— Это еще что такое?

— Оконники молились природе. Придут в леса, построят избу, прорубят оконце на восход и на закат солнца, молятся светилу, звезде, дереву, зверю, птахе малой. Икон оне с собой из Расеи не приносили, только складни со стихирами. И на одной стихире, баушка Секлетинья сказывала, писано было, что все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут Богом прокляты и убиты.

— Какая ерунда! — заламывал руки отчаявшийся комиссар. — Кака-а-ая отсталость, Господи!

— Вот и вы Господа всуе поминаете, не веря в Него, — это есть самый тяжкий грех, Господь вас

накажет за пустословие, за омман.

Капитан Мельников удрученно молчал, щелкая пальцами, перебирал руками шапку и утратившим большевистскую страсть, угасшим голосом увещевал:

— Еще раз прошу: вы хоть среди бойцов не распространяйтесь. Вас ведь могут привлечь за антипартийную пропаганду к ответственности. Обещаете?

— Ладно. Только против Бога никто не устоит. Вы тоже. Мне вас жалко, заблудший вы человек, хотя по сердцу навроде бы добрый. Вам бы в церкву сходить, отмолить бы себя...

— Я вас прошу...

— Ладно, ладно. Обешшаю.

Коля Рындин и не агитировал. Он долгое время рассказывал о том, как ездил с баушкой Секлетиньей из Верхнего Кужебара в Нижний Кужебар к тетке в гости. Теткин муж на Сретенье как раз свинью заколол, и тетка нажарила картошки со свежей убоиной в семейной сковородище. Мужики пиво домашнее пили, потом на вино перешли, капустой, огурцами, груздями и рыбой закусывали. Коля допхался до картошки со свежатиной и налопался же-е! Но сковородища что ушат, Коля в силу и тело еще не вошел, жаренину не одолел, съел картошек всего с половину сковороды и шибко страдал ныне: почему он не доел жареную картошку, со дна и по бокам сковороды запекшуюся, хрустящую, нежным жиром пропитавшуюся? Зачем, зачем вот он ее, картошку-то, дурак такой, тогда оставил?

Колю просили замолчать, даже пробовали достать в потемках. Но Коля Рындин изо дня в день, из вечера в вечер повторял и повторял рассказ о жареной картошке. Слушая его, и другие бойцы вспоминали о еде: как, чего, когда и где они ели. Жизнь этих людей в большинстве была убога, унизительна, нища, состояла из стояния в очередях, получения пайков, талонов да еще из борьбы за урожай, который тут же изымался в пользу общества. Поведать о чем-то занятном, редкостном ребята не могли, выдумывать не умели, поэтому просили Васконяна рассказать о его роскошной жизни, и он охотно повествовал о себе, о еде, какую имел: "Кекс и пастивка, тогт "Наполеон", кагтофель фги, гыба с польским соусом, шашвык с подпочечной баганиной..."

Ребята о таких яствах и не слышали, однако последнее время Коля Рындин не повествовал больше про жареную картошку, и Васконян засыпал на полуслове. Коля Рындин плачет ночами, громко втягивая казарменный тухлый воздух носищем, ежится от страха надвигающейся беды. Соседи по нарам, слыша тот плач угасающего богатыря, утыкались в шинели, грызли сукно. Васконян иной раз двигался ближе к Коле, нашаривал его в потемках рукой, гладил по шинели:

— Не свабейте духом, Никовай, не пвачьте, все гавно ского все довжно пегемениться.

— Я ведь бригадиром был, Ашотик, а теперь че? — гудел в ответ Коля Рындин. — Смеются все. Комедь имя.

— И надо мной смеются. Что же девать? Может, им утешенье? Может, облегченье?

— Людей мучать утешенье? Господь не велел ближних мучать.

— Что ж Господь? Не пгисутствует Он здесь. Пгоклятое, поганое место. И Попцова пгостить не может.

— Да, ужо нам.

С особенным удовольствием ближние потешались над Васконяном и Колей Рындиным на полевых занятиях, отчего старообрядец путался еще больше, не мог исполнить точно повороты направо и налево. Ему кричали: "Сено-солома!" С сеном-соломой старообрядец разбирался скорее, команды воспринимал доходчивей. Еще большее удовольствие ребята получали, когда младший лейтенант Щусь учил Колю Рындина встречному штыковому бою.

— Товарищ боец! Перед тобой враг, фашист, понятно? — Щусь показывал на себя. Коля Рындин, открыв рот, растерянно внимал. — Фашист идет в атаку. Если ты его не убьешь, он убьет тебя. Н-ну!

Младший лейтенант, ловко перехватив винтовку, пер на Колю Рындина. Шумно дыша, раздувая ноздри, Коля Рындин несмело двигался на командира с макетом винтовки, в его руках выглядевшей лучинкой. Шаг красноармейца замедлялся, бесстрашие слабело, он останавливался, в бессилии опускал свою винтовку.

— Коли фашиста, кому говорю!

— Да што ты, товарищ младший лейтенант? Какой ты фашист? Господь с тобою. Я жа вижу, свой ты, русскай, советскай афыцер.

"Постой-постой, товарищ, винтовку опусти, ты не врага встречаешь, а друга встретил ты", — припоминал кто-то из веселых изгальников стих из школьного учебника.

Щусь в бешенстве отбрасывал винтовку, ругался, плевался, кривил губы, пытался разозлить Колю Рындина, но тот никак не мог поднять в себе злобы, и, глядя на совсем обессилевшего, истощавшего великана, командир уныло говорил:

— Тебя же вместе с твоими святыми в первом бою прикончат.

— На все воля Божья.

— Ладно. Отправляйся в казарму, — махал рукой Щусь. Перехватив взгляд Петьки Мусикова, живо говорящий: а я что, рыжий, что ли?.. — отпускал и его да и Васконяна заодно, поясняя бойцам свою слабость, чтобы строй не портили: — Перехватят у штаба, сами знаете...

Да, знали, все бойцы первой роты знали: не раз уж их застопоривали какие-то чины — что за строй? Что за чучела волокутся в хвосте войска? В боевом подразделении Советской Армии разве допустимо такое? И непременно заставляли маршировать допоздна, добиваясь единства шага, монолитности строя. Ругались же потом изнуренные, перемерзшие парни, кляли навязавшихся на первую роту орясин, начинали их поталкивать, кулаками тыкать в спину. Стоило Коле Рындину тряхнуться — и, считай, полторы этой мелкоты сшиб бы, но он покорно гнулся под тычками. Булдакова бы вон, филона, ширяли, так тот сам кого угодно зашибет либо толкнет так, что весь строй с ног повалится.

И все же завидовали полноценные бойцы доходягам, когда тех отпускали с занятий, по-черному, злобно завидовали, зная, что в казарме они не усидят, что тот же Булдаков начнет смекать насчет провианта. Коля Рындин и Ашот Васконян на стройке стружек и щепок соберут, печку растопят, картошки напекут, может, и супец спроворят. Булдаков по добыче провианта такой дока, что даже крупы на кашу упрет, не обсечется.

В казарме свои порядки, свои занятия. Забрав тех бойцов, которые могли еще что-то таскать,

катать, долбить и мыть, старшина Шпатор со словами: "Вы, симулянты проклятые, до скончания дней меня помнить будете, памаш!" — уводил их за собой, в загривок толкал, заставляя заниматься хозделами, прибираться в казарме, топить печи, носить воду, пилить и колоть дрова, ходить куда-то и зачем-то. Но самое проклятое во все века во всех армиях мира — чистить вечно ломающееся, моментом стареющее заведение под благозвучным названием отхожее место, нужник, давно, однако, на Руси великой презрительно и непринужденно именуемое сортиром. Да иного-то названия наши столь необходимые людям отечественные сооружения и не заслужили.

Сортиры двадцать первого полка задуманы и попервоначалу строены были добротно, с уважением к архитектуре. Из досок, внахлест набитых, с односкатной тесовой крышей, чтоб клиента не поддувало с боков, не вьюжило снизу, не мочило сверху. Внутри все тоже тонко продумано: длинный постамент из крепких плах, на нем сотами в ряд круглые дырки, довольно обширные, чтоб и при шаткости не мазал стрелок, палил в самое очко. Перед постаментом против большой дырки в полу прорублены малые, продолговатые, на полураскрытые раковины похожие и чего-то еще служивому напоминающие. Сиди, с вожделением отгадывай: чего? Плюнуть вздумаешь — плюй, брызнешь далеко или криво — все стечет в дырку, лишь разводы соленой воды наверху заплесневеют.

Очень любили служивые те полумрачные, мочой пропахшие, ветром не продуваемые, дождем не проливаемые помещения, засиживались в их уединенной уютности, вспоминая дом, родителей, деревенские вечерки, думали о всяких разных житейских разностях. Так и говорили, перед тем как отправиться на опушку леса в дощатое строение с тамбуром, с одним входом и выходом, с одной-единственной буквой М, раскоряченно углем начерченной, потому как в другой букве надобности не было: "Пойду, подумаю".

Как изменилась, как посуровела жизнь! Вместо добротно срубленного, рассудительно излаженного помещения торчат колья вразбежку — гуляй, ветер, свисти в щели, коробь голос, беззащитное тело служивого сибирская лютая зима. Снег, мерзлая крупа, обломки сучьев, хоть камни на него вались — никакой тебе защиты, никакого уюта, одно небо со звездами прикрытие. Ни дверей, ни тамбура, сколочено из жердочек подобие загона, вместо устойчиво-усидчивого трона четыре жерди со щелью посередке, того и гляди скатишься с них, рухнешь в щель, а то и глубже, завязишь ботинок, прищипнешь ногу в сучковатом стройматериале, да еще и покалечишься. В таком заведении уж не подремлешь, не повспоминаешь свою прошлую жизнь, не понаслаждаешься свободой, да служивые и не доносили до этого жалкого сооружения добро, сами же потом долбили, лопатами скребли вокруг, вперебор ругаясь, обещая переломать шеи и ребра тем, кого застигнут на непотребном месте при непотребных действиях.

Старшина Шпатор вовсе с круга сошел, почти умом повредился из-за нужного заведения, потому как колья, чуть обветренные, подсохшие, с отхожего места постоянно расхищались на топливо. В казармах это дело пресекалось, там сразу дневальные к допросу: "Где грабанули сухие жерди?" В казарме-то можно допрос учинить, расправу содеять. А офицерские землянки? А вспомогательные службы? Какая на них управа? Дневальные там страшно наглые оттого, что угодили на теплую службу. Старшина Шпатор наказывал:

— Ребята, хоть кого поймаете, пусть даже унтера, — этими же жердями бейте, чтобы воровать неповадно было, памаш...

— А афицера?

— Чего афицера? Афицер в наш туалет никогда не пойдет. Если уж край приспичит — тут

сознавать ситуацию надобно.

И ловили, и били — ничего не помогало! Стояло на опушке из колышков сотворенное, всеми презренное, со всех сторон ветрами пробиваемое, с воронкой посередке будто от прямого попадания авиабомбы, само себя стесняющееся помещение. Разгильдяи, воры, проныры, нарушители военного устава, получившие наряды вне очереди, ежедневно ремонтировали, подновляли обитель на опушке леса, вбивая в снег и в землю новые колья, связывали их проволокой, потому как гвозди в мерзлое дерево не шли, — все одно лиходеи не унимались, выворачивали колья вместе с проволокой.

Даже такой льготы, даже такой роскоши, как путный туалет, лишены были красноармейцы сорок второго года.

Помкомвзвода Яшкин собирал вокруг себя на занятия больных бойцов, способных сидеть и двигаться, делая исключение лишь тем, кто маялся гемералопией и у кого был постельный режим. Доподлинно больные и неистребимые хитрованы блаженствовали на третьем ярусе нар под потолком до тех пор, пока не возвращалась в казарму рота, — скорее тогда долой сверху, иначе сбросят без разговоров озверевшие на морозе бойцы, страдающие из-за своей полноценности.

Яшкин подробно изучал с доходным контингентом русскую винтовку Мосина образца 1891/1930 года, все ее внутренности и внешние особенности, но самое пристальное внимание уделял затвору.

Еще в школах, в военных кружках при сельских и рабочих клубах парни, изучавшие эту самую винтовку, бойко сперва разбирали и винтовку, и затвор, без ошибок называли все эти упоры, отсечки, отверстия, ушки, щели, пазы, каналы, скосы, выемы, отражательные выступы и даже отсекающий зуб. Толково объясняли назначение всех деталей, но спустя время начали путаться и теперь вот, по истечении двух месяцев службы, ничего уже ни разобрать, ни собрать не могли.

Потея от внутренней нервности, укрощая свое изношенное сердце, помкомвзвода терпеливо пояснял ко всему равнодушным людям военные премудрости, делая намеки, стуча по своим частям тела.

— Ну что это, что? — теребил себя за ширинку Яшкин И, не дождавшись ответа, выстанывал: — Да это ж спусковой механизм, спуско-вой ме-ха-низм!.. Понятно?

— Я-а-а-а, — сонное и вялое слышалось в ответ одобрение.

— А вот это? — стучал себя по губам ладонью командир.

— Едало.

— Еда-алоооо! — злился Яшкин. — У кого едало, а у нас... Шептало это. Шептало!

— Я-а-а-а, — выдавливали в ответ подчиненные, про себя думая, однако, что уж шептало-то к визгливому помкомвзвода никакого отношения не имеет.

Яшкин вешал на шею чью-то обмотку, вязал ее на груди узлом, ему тут же выдавали радостный ответ:

— Удавка!

— Жопа ты с ручкой, — ругался Яшкин. — Хому-утик! Запомнили? А ну повторите — хому-утик. Прицельный.

Старший сержант, еще месяц назад думавший, что его дурачат, издеваются над ним, с удручением смотрел теперь на этих действительно больных людей. Мокрые, пушком обросшие губы у всех отвисли, глаза склеиваются, ни думать, ни соображать не могут, дремота и слабость долят их в сон. Затвор со всеми этими стеблями, гребнями, личинками, каналами, венчиками, лопастями и пружинками да вилками кажется ребятам такой непостижимой технической премудростью, что они и не пытаются его постичь, вознестьсяна недосягаемые умственные высоты.

— Не спать! Не спа-ать! Я вас, блядство, все одно научу владеть оружием! Не спа-ать!

Вверху совсем дохлые, но зла не утратившие доходяги, от забитости и презрения к ним всей казармы много в себе мстительной пакости скопившие, выбирают самых крупных вшей из гимнастерок, из кальсон, кидают их вниз на командира Яшкина, на ребят, старательно постигающих военную технику.

Мысль не просыпалась. Яшкин переходил к прямым действиям: завезя по спине ближнему доходяге и доставая его, сшибленного, из-под нар, он свистящим уже шепотом выдавал:

— Понял, что такое ударник? Понял? А еще есть боек! Есть боевая пружина! Кому наглядно пояснить, что это такое? — Помкомвзвода сгребал доходяг к дощатому столу, на котором разложен, будто труп в анатомичке, железный затвор русской винтовки. — Когда я сдохну, — на пределе дребезжал голос Яшкина, — или вы сами все передохнете? Я же вас когда-то перебью!.. Спят, курвы! Встать! Командир обращается к ним как к людям, а они жопы отвесили, губы расквасили! Че? Стоя спите? Н-ну блядство, н-ну бы-ляд-ство! — Задохнувшись от бешенства, помкомвзвода быстро собирал затвор, остервенело совал его в пазуху винтовки, свирепо тыкал ею в слушателей. — У-ух! Мне б сейчас обойму. Хоть одну! — И, водворив винтовку на место в пирамиду, бегом бросался в каптерку старшины Шпатора.

В зеленой пол-литре была у него настояна трава тысячелистника с подорожником — от печени и желудка. Яшкин отпивал из горла глоток-другой, валился за железную печку, где на неструганых досках было свито у него гнездо с коротким, почти детским одеялом, со старыми валенками в головах, накрытыми вещмешком, обернутым лоскутом новых портянок.

Отдыхивается, приходит в себя командир. Перекипев маленько, продолжает боевую работу, гоняя вокруг казармы запыхавшихся доходяг, имеющих нахальство не слушать ничего на занятиях, сам задохнувшийся, дрожит, грозится:

— Спать приехали? Спать? Я вас научу родину любить!..

Парни чувствуют: старший сержант остыл, отошел, сочувствует им, жалеет их, виноватым себя ощущает, грозится уж по привычке, просто для страху.

— Не-э-э-э!

— Чего — не? Чего — не-э-э-э? Четко, как положено в армии, отвечайте!

— Не будем больше спать на занятиях.

— Вот это другой разговор. А ну би-их-хом в казарму! И шевелить, шевелить у меня мозгами. Тяжело в ученье, лехко в бою, Суворов говорил…

Кто такой Суворов, бойцы эти тоже позабыли, думали, какой-нибудь комиссар важный из Новосибирска или из штаба полка.

К ночи боль становилась слышней. Старшина Шпатор мазал Яшкину бок мурашиным спиртом, делал теплый компресс, боль чуть унималась, но спать Яшкин не мог, однако старался не стонать, не ворочаться, чтобы не тревожить умотавшегося за день старика.

Жизнь Володи Яшкина, названного вечными пионерами — родителями в честь Ленина, была не длинна еще, но и не коротка уже, если учесть тяжкие дни боев под Смоленском и отступления к Москве, бедствия окружения под Вязьмой, ранение и кошмарное время в каком-то лагере окруженцев вместе с сотнями, может, тысячами раненых, больных, деморализованных отступлением и голодом людей, их перевозку через фронт сперва в полевой, затем в эвакогоспиталь в Коломну — выйдет жизнь совсем длинная, перенасыщенная горечью и страданием.

Его и в госпитале, и по-за госпиталем, и здесь в полку расспрашивали, как он там, немец-фашист, силен? Или, как в нашем кино показывают, труслив, безмозгл и жаден до русских яек-курок? Яшкину и рассказать нечего. Ни одного немца, ни живого, ни мертвого, он в сражении, по существу, и в глаза не видел, потому как и не было его, сражения-то.

Под Смоленском свежие части, опоздавшие к боям за город, смела лавина отступавших войск. Она, эта лавина, вовлекла их в бессмысленное, паническое движение. В первый день Яшкин еще думал: "Зачем же так-то? Ведь если б все это войско остановилось, уперлось, так, может, противника бы и остановили". Но одно-единственное, редкое, почти не употребляемое в мирной жизни, роковое слово "окружение" правило несметными табунами людей, бегущих, бредущих, ползущих куда-то без всяких приказов, правил, по одному лишь ориентиру — на восход солнца, на восток, к своим. Лавина, будто речка среднерусских земель в половодье, увеличивалась, полнела, ширилась, хотя ее и бомбили с воздуха непрерывно, сгоняли с больших дорог снарядами, минами, танками в какие-то неезжалые, непролазные овражистые места, но и там доставали с воздуха и с земли.

В первые дни артиллерия еще пробовала отстреливаться, била куда-то отчаянно и обреченно. На артиллерийские позиции тут же коршуньем набрасывались самолеты с выпущенными лапами, летели вверх земля, железо, клочья какие-то. Пробовали закрепиться на слабо, наспех кем-то подготовленных оборонительных рубежах, но тут же настигало людей это проклятое слово "окружение" — и они снова кучами, толпами, табунами и россыпью бежали, спешили неизвестно куда, к кому и зачем.

Сухой, слабосильный, с детства заморенный кочующими по ударным стройкам страны в поисках фарта, жаждущими трудовых подвигов родителями, Яшкин не так уж остро страдал от бескормицы и без воды. Съест картоху-другую, попьет раз в день из колодца иль из лужи — и готов к дальнейшей борьбе за жизнь, но сон, сон, права детская загадка, сильнее всего он на свете. От недосыпа, нервности, постоянного напряжения слабела воля, угасал дух, притупилось чувство опасности и страха. Когда его, лежащего в канаве, оплеснуло придорожной грязью, ослепило огнем, задушило дымом, который ему увиделся вовсе и не дымом, а сизой поволокой, сально, непродыхаемо засаживающей горло и нос, он еще до того, как почувствовал боль в боку и ощутил ток горячей крови, слабо и согласно всхлипнул: "Ну вот и я..."

Очнулся он в повозке. Нечесаная, грязная, с санитарной сумкой, болтающейся под грудью, девушка, держась за повозку, волоклась куда-то. Конь, запряженный в повозку, часто останавливался, пробовал губами выдрать из земли смятые, грязные растения, жевал их

вместе с кореньями, иной раз, старчески согнув ноги, закинув хомут до загорбка, почти задушенный, пил из лужи. Девушка разговаривала с конем, о чем-то его просила. С ранеными она сперва тоже разговаривала, потом плакала, потом кричала: "Навязались на мою голову!"

Однажды ночью кто-то выкинул Яшкина из повозки и занял его место. Так распорядился Бог, по разумению Коли Рындина, — Он, Он, Милостивец, отпустил ему еще какой-то срок жизни, Он удалил его из повозки, сколоченной на манер гроба. Он видел, как той же ночью в преисподней, освещенной грохочущим огнем с земли, фонарями с неба, метались очумелые люди, летели колеса, щепки от повозок, бились сваленные наземь лошади, раскидывая землю копытами, ринувшиеся в прорыв бойцы с оружием в руках, но больше без оружия, стаптывали вопящих раненых, молча вырывались от тех, кто хватался за ноги, за полы шинелей, за обмотки. Девушка, оставшаяся в горящем селе вместе с ранеными, кричала сорванно, почти безумно: "Я с вами, с вами, миленькие!.." Потом появилась еще девушка, бросилась на шею подруге: "Фа-а-айка! Фа-аечка! Что там делается! Что там!.. Я с тобой буду, я с тобой!.."

Сколько их, брошенных, лежало на соломе в сарае и по уцелевшим избам деревушки, Яшкин, впадавший во все более глубокое забытье, не знал. Кажется, тогда вот сквозь тот сизый, сальный, все больше, все сильнее удушающий туман видел он немца, единственного, — немец стоял в дверях открытой избы и о чем-то разговаривал с хозяйкой, затем ушел и увел с собой санитарок Фаю и Нелю. Думали, на расстрел. Но девушки вернулись со свертками, принесли хлеба, соли, сала, полную сумку бинтов, ваты, флягу спирта и флакон йода.

Этот немец был, видать, из полевых, окопных, уже познавших, что такое страдание, боль, что такое доля солдатская. Его тоже потом чохом зачислят в прирожденные злодеи, смешают, спутают с фашистскими карателями, эсэсовцами, разными тыловыми костоломами, абверами, херабверами, как наши энкаведешники, смершевцы, трибунальщики — вся эта шушваль, угревшаяся за фронтом, ошивавшаяся в безопасной, сытой неблизости от него, окрестит себя со временем в самых резвых вояк, в самых справедливых на свете благодетелей, ототрут они локтями в конец очередей, а то и вовсе вон из очереди выгонят, оберут, объедят доподлинных страдальцев-фронтовиков.

Когда и как прорвались наши войска, вывезли раненых, выручили бедных девчонок, Яшкин уже не помнил. Ныне он чувствовал: скоро, совсем скоро предстоит ему снова туда, в пекло. И он не то чтобы боялся этого пекла, он примирился с судьбой, понимая всю неизбежность с ним происходящего — ему не словчить, не зацепиться по состоянию здоровья в тылу. С его прямотой в отношениях с людьми, неуживчивым характером, при полном неумении подхалимничать, пресмыкаться самое подходящее ему место там, на передовой, где все же есть справедливость, пусть одна — разъединственная, но уж зато самая высшая справедливость, — равенство перед смертью.

Кроме того, там, на передовой, все мирные, домашние хвори куда-то деваются или на время утихают. Может, на фронте перестанет ныть в боку, давить тошнотной мутью, оплетать зев горечью эта клятая печень, о которой до войны Яшкин не знал, где она находится, и даже не подозревал, что она у него есть.

Глава седьмая

И вот этот тягучий, изморный ход армейской жизни встряхнули три больших, можно сказать, невероятных события. Произошли они почти все подряд.

Сперва в двадцать первый стрелковый полк приехал какой-то командующий, может, и Сибирского военного округа, — кто до служивых снизойдет, скажет об этом? Все, начиная от

старослужащих солдат и кончая строевыми командирами, говорили: "Ну теперь наведут порядок! Дадут жару!"

Жару-то генерал и в самом деле дал, хотя был немолодым он, но все еще очень бодрым. Коренастенький, телом справный, как и полагается генералу, чуть кривоногий, на ходу скорый, в подпоясанном бушлате, в шапке-ушанке, он влетел в столовую в сопровождении всего лишь единственного чина неопределенных родов войск, вынул из-за голенища разрисованную бордовыми, золотистыми цветочками новую ложку, взятую, видать, по экстренному случаю со склада или в магазине, и пошел от стола к столу, запуская ту нарядную ложку в тазы с похлебкой, ворочал ею, взбаламучивая, поднимая со дна гущину, главное содержимое солдатского хлебова. По тазу вместе с белыми семечками жабами всплывали зеленые разопрелые помидоры, ошметки капусты, в слизь разварившиеся, мясные иль какие-то другие жилы и белесая муть картошки. Никому ничего проверяющий не говорил, поворошив в тазу, кивал головой, мол, действуйте, товарищи, и следовал дальше. На середине просторного помещения, на пересечении главных путей от раздаточных окон-бойниц к столам, он приостановился, заинтересовавшись, отчего это дежурные по столам мчатся с тазом стремглав, закусив губу, поохивая, постанывая, и навстречу им так же стремительно бросаются два или три красноармейца с протянутыми мисками, подставляют их под таз, бережно, нога в ногу с разносчиками шагают к столу.

Сметливый человек, приезжий генерал усек и разгадал-таки происходящее: у всех почти тазов, слепленных малолетними жестянщиками ремесленных училищ, снялись заклепки и отвалились ручки, вот дежурные и зажимали дырки по ту и другую сторону таза голыми руками, сохраняя до капельки продукт питания, взятый с бою у раздаточного окна. Живыми телами, можно сказать, закрывали бойцы амбразуры, похлебка сочилась по ладони, сквозь пальцы, отчего и бежали бойцы с чашками навстречу, чтоб ничего из них не вылилось, не пропало понапрасну, Достигнув стола, плюхнув таз на доску столешницы, дежурные по столу трясли ошпаренными руками, дули на пальцы.

Отметив эту стойкость и самоотверженность, генерал все стремительней шел от стола к столу, накалялся лицом, сжимал ложку в кулаке так, что нарядная та ложка вот-вот должна была треснуть и переломиться. Нос генерала по-звериному завалисто работал ноздрями, красно их вывертывал, ноги подогнулись в коленях, словно у хищника перед броском. Генерал рвался к какой-то цели.

Народ в столовой перестал хлебать, брякать железом, буркотить, молотить языками, видя, как генерал, раскаленный до последнего градуса, направился в кухню, где спросил старшого. Вперед выступил наряженный в чистую куртку и в белый колпак мужик с толстой шеей, должно быть, старший по кухне, начал чего-то докладывать.

— Солдат обворовывать? — резко прервал докладчика генерал.

Старшой продолжал что-то говорить, показывая на котлы, на дрова, на людей, и ляпнул, видать, лишнее или чего-то невпопад, генерал схватил ведро и звонко зазвездил по башке собеседника. Он, пожалуй что, всю кухонную челядь перебил бы ведром, но сломалась дужка ведра, и улетела посудина куда-то, генерал сжимал и разжимал руку в поисках какого-либо убойного предмета. Персонал кухни, заметив, что генерал воззрился на железную клюку, на всякий случай сгруппировался возле двери, готовый драпануть в случае чего. В переполненный зал столовой набралось, набилось народу дивно, вторая очередь подперла первую — отобедавший народ не уходил, ожидая дальнейших событий. Но генерал, к великому сожалению, уже остыл, чего-то пеняя кухонным делягам, расступающимся перед ним и рассеивающимся по недрам кухни, пошел вон. Говорили потом, что в подсобке столовой

начальник принимал лекарство, запивая его из фляжки.

— Водкой лекарство запивает! Во лихой вояка!

— Ага, разбежался, будет тебе такой чин с горькой вонючкой знаться!

— Коньяк! — оспорил простака Булдаков, большой знаток напитков и жизни, сразу все служивые заткнулись, они не знали, что такое коньяк, но уважали незнакомое слово.

Совсем недолго пробыл в подсобке генерал. Вернувшись в столовую, он вышел на середину зала, дождался затишья.

— Все!.. — Генерал, сделав паузу, подышал. — Все безобразия исправим. Питание постараемся улучшить насколько это возможно. Только служите ладом, ребятушки, на позиции ведь готовитесь, врага бить, так не слабейте духом и телом, слушайтесь командиров. Плохое обращение будет — жалуйтесь... — Генерал еще подышал и добавил: — В военный округ, по инстанциям, ребятушки, по инстанциям... Иначе нельзя! Иначе порядок совсем нарушится.

Народ был разочарован и речью, и визитом генерала. Разве это нагоняй! Да эти мордовороты-тыловики отряхнутся и по новой жировать начнут.

Служивые гадали потом, куда девалась знаменитая генеральская ложка. С кухонной челядью что они хотели теперь, то и делали, дразнили ее, обзывая ведерком битыми, помоями мытыми, коли попадало совсем жидко в таз, грозились писать самому генералу. Дело кончилось тем, что дежурным и доходягам работники кухни перестали давать добавку. На виду у алчущих добавки масс, толпящихся у раздаточного окна, как у царских врат иль "жадною толпою у трона", выскребут остатки картох из баков, вычерпают самые жоркие одонки похлебки и хлесь это добро в отходы для свиней. Не у раздаточных окон, на помойках, возле служебного входа толпились теперь из казарм ушедшие доходяги с консервными баночками в руках, чтоб наброситься на свиньям предназначенные отбросы. Битые генералом, развенчанные толпой, кухонные деятели глумились над ними: "Благодарите товаришшев своих за услугу..."

А уж в раздаточное окно сытые эти мордовороты бросали тазы с хлебовом, кашей, будто снаряды в казенник орудия, норовя хоть немножко да расплескать бесценного продукта, не воспринимали никаких замечаний. "Талончик, талончик! — кричали да еще добавляли хари бесстыжие; — Пошевеливайся, служивые, пошевеливайся!.."

Талончики введены были один на роту, на талончике означено время приема пищи, номера столов, слова на талончике напечатаны: "Просим посетить пищеблок номер один" — знай, курвы тыловики, наших, выучил вас товарищ генерал вежливости! Талончики поменьше размером, уже безо всяких приветственных слов, выдавались на десяток — по ним-то и получали дежурные варево-парево — сунешь в окошко прожженному выжиге с наеденной ряшкой талончик, он тебе хрясь таз с едой. Забушует дежурный, покажется ему мало содержимого в тазу, пойдет вояка грудью на широкую амбразуру раздаточного окна, а ему вежливо так, с улыбочкой — извольте пожаловать к контрольным весам. Взвешивают таз с харчем, двигая скользкий балансир по стальной полосе с цифрами, — всегда чика в чику! Подделали, конечно, весы-то, кирпич либо железяку споднизу подвесили, высказывается всеобщее сомнение, — уязвленный в самое свое честное сердце кухонный персонал предлагает обратиться представителям стола к контролеру, назначаемому ежедневно теперь на кухню из офицерского состава, либо писать жалобу самому командующему Сибирским военным округом.

Да разве правду найдешь, отстоишь в этакой крепко повязанной банде?

Пока дежурный мытарится, таскаясь с тазом по столовой, по кухне, пока добьется этой самой злосчастной правды, о которой грамотей Васконян баял, что ее не только на земле нету, но и выше она не ночевала, каша или драчена в тазу остынет, поубудет супу — самый пользительный слой утечет в дырки оторванных ручек, и выходит себе дороже сражение с кухней за эту самую правду. Всем ясно, что ручки тазов специально оторваны кухонной ордой, чтобы жглось и лилось, чтобы не задерживались дежурные у раздаточного окна, не заглядывали в недра кухни, пытаясь узреть, чего там и как. Офицер же, дежуривший сегодня по пищеблоку номер один, конечно, подкупленный, с утра накормлен от пуза картошкой, кашей, в которую линули не лярду сраного, а скоромного масла без всякой нормы, чаю с сахарком ему в стаканчике поднесли, сухариков на тарелочке. И что? Будет он после такого ублажения стоять за солдатскую правду? Проверять закладку? Раскладку? Весы? Бабушке Николая Евдокимовича Рындина, Секлетинье Христофоровне, это лучше расскажите, но не тертым воякам. Знают они здешние порядки!

Через неделю никто уж никакого недоверия кухне не выражал, с тазами к весам не бегал, роптали вояки в своем кругу, терпя и стойко смирясь с судьбой. Да и порядку в столовой все-таки стало заметно больше: мылись столы горячей водой, сделалось снова видно, что они из свежего дерева, струганы даже были, подметали с опилками пол, вделана в стенку кухни вентиляция, почти исчез серый туман, мешавшийся с дыханием солдат, отдут он был самолетно гудящей трубой в углы и под потолок, оседал каплями на стенах, рубленных из непросушенного дерева, сделалось даже видно лозунги, одрябшую, полинялую от сырости красную материю с полусмытыми буквами, одни только знаки восклицания стойко держались.

Но самое главное изменение произошло в рационе питания строевого состава полка — отменена была чистка картошки. При этой самой чистке в отходы пускалась добрая четверть картофеля, основного, можно сказать, солдатского, да и крестьянского продукта в России. Наряд, попавший на кухню, шакалил, до кропотливости, до бережной ли работы ему. А попадут на чистку картошки казахи или узбеки? Они-то как раз чаще всего и назначаются на грязную, малоответственную работу. Что им картошка? Они барана жрать привыкли, целиком, с головою, рис едят, лепешки и еще чего-то, картошку они презирают, "сайтан алгыр" говорят, дерут с картофелины кожу в палец толщиной. Вот и прекратили чистку овощи.

На каждого едока выходило теперь по две крупных картофелины, разрезанных пополам, мясо и рыба варились теперь кусочком, положено десять кусочков рыбы в таз, будь любезен, кухонный пират, чепляй черпаком и вали в таз десять кусков! Идем дальше — четырежды десять сколько будет? Че, думаете, мы всякую грамоту позабыли? Про девок от такой жизни, может, и позабыли, но про шамовку всегда помним. Кидай в таз сорок половинок картошин безо всякого разговору, лук выдавай по головке на брата, как товарищем генералом предписано! То-то, рыло хищное, кое с похмелья не обвалишь, кончилась комедия, закрылся клуб, капитан Дубельт какать пошел — ныне мы наши права знаем и прижмем вас, кровопивцев, и будет с вами, как на сатирическом листке талантливым советским поэтом написано: "Боец поднимет автомат — из немца потечет томат!" Правда, там про фашистов написано, да чем вы-то, внутренние-то кухонные враги, лучше фашистов?

Такие вот лихо-торжественные мысли будоражили головы дежурным черпалам и всему остальному войску, способность критиковать, презирать всякую сволочь вселяла уверенность в победу справедливости, придавала красноармейцам силы, бодрее они себя чувствовали.

Старый генерал, наверное, был добрым человеком и желал ребятушкам добра, но сам нечищеного картофеля не ел, разве что в детстве, в давние голодные годы. Подзабыл генерал, что эту самую спасительницу русского народа, картошку, как ни мой, сколько в воде ни болтай, ни гоняй по кругу бачка, все равно в глазках ее, в извилинах, неровностях, на шершавой

кожице остаются земляные крохи — по-научному частицы. Не учитывал еще товарищ генерал того, что ждать такой же добросовестности от дежурных, что и от домашней хозяйки, царящей на своей домашней кухне, — дело напрасное, все равно служивые будут отлынивать от грязного труда, мокрой работы, картофель ладом не вымоют.

Словом, супчик в эмалированных мисках был мутным; поскольку миски привезли в пищеблок номер один совсем новенькие, зелененькие, с еще не отбитой белой эмалью внутри, особенно заметно было, что суп грязный, тем не менее с холода, с улицы, бросались его, горяченький, наваристый, хлебать с ходу, с лету.

— Товарищи! Братцы! Не ешьте картофель с очистками! Братцы! — заклинал бойцов старшина Шпатор. — Хлопчики, выньте из супа картошку, облупите, растолките ложкой и хлебайте на здоровье. Шестаков! Шевелев! Хохлак! Бабенко! Фефелов! Булдаков! Вы люди бывалые, покажите, как надо. Покажите... Иначе понос, дизентерия... Хлопчики...

Поняли даже казахи, не знающие русского языка, всю надвинувшуюся опасность, бережно чистили картофель, толкли его в супе, крошили туда луковку. Вот тебе и похлебка в три охлебка — суп приглядней, белей, главное, вкусней. Но на опустившихся людей уже никакие уговоры не действовали, мало что сожрут всю картошку в супе неочищенной, так еще и подберут очистки по столам. Опустился бы до очисток и Коля Рындин, но тут, обратно от того заботливого генерала, не иначе, вышло решение: бойцам, что ростом под два метра и выше, давать дополнительно по супу и по каше.

Коля Рындин стеснялся привилегий, пробовал делиться с товарищами подпайком, да и Васконян с Булдаковым испытывали неловкость, тогда было придумано чьей-то умной головой, скорей всего Шпатора, — сбивать богатырей в отдельную команду и кормить ее после всей роты. Коля Рындин услужливый человек, работяга с младых лет, после ужина передвигал на кухне бачки, поднимал, носил мешки, воду, соль, крупу, овощь на завалку в котлы, колол и таскал дрова, мыл в котлах. Видя, что он не шакалит, не рвет, не шаромыжничает, лишь шепчет молитвы да крестится украдкой, кухонный персонал проникался к этому богобоязненному чудаку все большим доверием и расположением, позволял ему выедать остатки варева из котлов, от себя подбрасывал кое-что, насмехаясь, конечно, награждая всяческими прозвищами, и наперед всего богоносцем, да смех на вороте, как известно, не виснет. "По мне хоть горшком назови, только в печку не суй..." — посмеивался про себя Коля Рындин. Иногда ему так много перепадало на кухне, что он не съедал дополнительного харча, если оставался кусок хлеба, он, взобравшись на верхние нары, на спасенное для него место, разламывал хлеб в потемках, совал по кусочку, по корочке в протянутые руки. "Сам бы ел", — говорили ему, и, радуясь своей удачливости, себе и своему радушию радуясь, Коля Рындин великодушно гудел: "Че уж там! Вы завсегда мне помогали".

Нежданно-негаданно выступил на вид Петька Мусиков, человек, про которого старшина Шпатор говорил: "Живет не тужит, никому не служит". Заморыш с шустрыми, злыми глазенками, линялый парнишка из архангельского лесозаготовительного поселка с неприличным, считай что, названием Маньдама, был он в семье пятым ребенком — заскребышем, слетком, как звала его мать. Нечаянно сотворенный и не по желанию рожденный после большого перерыва, когда предпоследнему парню в семье Мусиковых было уже лет пятнадцать, первый уже тянул второй срок в тюрьме, Петька путался под ногами взрослого народа не то в качестве внука, не то приблудного малого, никому не нужного, всем надоевшего. Мать его, единственная, поди-ко, мать на всем русском Севере, молила у Бога смерти "малому паршивцу", не боясь никакого греха, говорила вслух, когда Петька подрос: "Хоть бы нибилизовали куда. В ремесленно аль на годичны курсы пильшыков и вальшыков лесодревесины".

Единственно куда годился Петька Мусиков, так это в магазинные очереди, которые никогда в Маньдаме не переводились. Тощий, наглый Петька был там в родной стихии, мог кого угодно переорать, переспорить, облапошить, пробить в народе дыру острыми локтями, пролезть меж ног, под прилавком проползти, по головам ходить тоже умел, ну и тырил, конечно, что плохо лежит, первым делом съестное. Без этого как в Маньдаме вырастешь, как проживешь?

Отец у Петьки Мусикова пьяница и разбойник. Весь изрисованный наколками, блатной, буйный, он бывал дома гостем, пил, дрался, кидался на людей с ножом. Во дни коротких каникул, будучи в "отпуску", изладил он и Петьку. Двое из пяти сыновей Мусиковых пошли по дорожке отца, старший, как уже сообщалось, отбывал срок за грабеж, другой неизвестно за что и почему сидел, на всякий случай, мать говорила — "политической", сама она работала кочегаром на пекарне, привычно ждала мужа и детей из тюрьмы, привычно же собирала и развозила передачи по тюрьмам. Петька мешал ей хлопотать, отлучаться. Отродьем звали в Маньдаме семейство Мусиковых, хотя, в общем-то и целом-то, поселок и состоял из этакого вот "отродья" и еще из спецпереселенцев, все прибиваемых и прибиваемых крутой волной на здешние болотистые берега.

Интересно, что Петька Мусиков не только управлялся в магазине, на толкучке, на базаришке, но еще и в школу ходил, и еще интереснее, что не оставался на второй год, хотя никогда не учил заданные уроки, да и учебников-то не имел, на тетради деньги сам где-то раздобывал. Как подрос Петька, то дома уж почти не бывал, разве что зимой, когда спать в дровянике становилось холодно. Как он рос, чем лечился, когда и где приобретал себе одежонку, обутки, где ел, где пил, с кем дружил, у кого бывал — ни мать, ни братья не знали да и знать желания не испытывали. Украл однажды папиросы у брата, уже работавшего на лесозаводе, тот его отстегал ремнем, и Петька курить бросил, но не потому, что больно было от порки, облевался он от противного табака. Попробовал Петька и водку, но тоже облевался, и от водки его отворотило. Уже перед армией попробовал он и бабу в женском общежитии, пьяная баба была, растелешенная спала, на нее наслал Петьку братец, сказав: "Хватит в штаны дрочить. Пора и тебе, однако, причаститься". Хотя Петька ничего не понял, да и баба не проснулась, и пахло от нее дурно — он чуть было тоже не облевался, но к бабе с тех пор его тянуло, и он стал подглядывать за ними в щели, прорезанные в барачном нужнике. Этим поганым грешком занимались все поселковые парнишки.

Так вот Петька, глядишь, нечаянно и семилетку добил бы, нечаянно и пить, и с бабами валандаться научился бы, нечаянно и курсы кончил бы, специальность приобрел, из дому ушел, в общежитии бы постоянную шмару завел — все в жизни его неуклонно двигалось к самостоятельности. Но тут эта война началась. Блатных его братьев сразу подмели, которого в трудармию, которого на фронт, пришлось Петьке багор брать и вместе с поселковой знакомой братвой становиться на сортировочные сплавные ворота, толкать багром любимой Родине древесину. И не много он ее потолкал, как пришла пора и ему сидор в дорогу собирать.

Мать наладила на стол, пригласила знакомых и соседей, напилась первая, принялась зачем-то выть и целовать Петьку, заставляя и его пить. И он выпил, и на этот раз уже не облевался, и с девкой из пекарни, матерью приведенной, всю ночь проваландался и не убегал, как раньше, стыдясь чего-то.

И вот турканый-перетурканый, битый-недобитый новобранец Мусиков с тремя булками хлеба, унесенными матерью из пекарни, с холщовым мешком из-под муки за спиною сложными кружными путями, сперва водным, затем железнодорожным, затем автотранспортом, добрался до запасного двадцать первого полка — готовиться защищать Родину. К трем булкам хлеба мать, икавшая с похмелья, сунула в котомку Петьке еще бутылку постного масла, тоже из пекарни добытого, — там, на пекарне, давно уже смазывали железные формы автолом, масло

же растительное, для этого предназначенное, работники пекарни делили меж собой. Проявив сметку, Петька вылил из ружейной масленки смазку — ружье все равно уже было братьями пропито, — насыпал в ту емкость крупной серой соли и, молча выслушав наставления матери: "Слушайся старших-то, на дорожку папани свово да братцев не сворачивай", отправился на пристань и, как только попал на сплавщицкий катер, отвозивший призывников из леспромхоза до ближней пристани, отворотил от булки горбушку, облил ее маслом, посолил, зачерпнул кружкой за бортом воды, засоренной корьем, пахнущей керосином, ел хлеб, глядел на пейзаж, на берег, размичканный тракторами, на реку, забитую сплавным мусором, чувствуя, как щиплет солью объеденные девкой губы, вспомнил ее явственно и, сладко, плотоядно потягиваясь, зачерпнул еще водички — дальше вода пошла чище — и, думая про девку, распахнул навстречу ветру телогрейку. Грудь холодит, брюхо сытое щекочет, и все остальное, ночью столь горячее, что девка, обжигаясь, выла, остудилось. "Свобода! Прощай, бля, Маньдама! Прощайте все ханурики!.." Но с масла постного да с маньдамовской поганой воды Петьку прошибло. В карантин он прибыл, когда его несло, по выражению Коли Рындина, на семь метров против ветра, не считая брызгов.

Снадобьями и молитвами Коли Рындина боец Мусиков был возвращен в строй, но снова чего-то нажрался, снова его пронесло, да на лесовытаске простудился, да, переняв богатый опыт Булдакова, наловчился придуриваться, на занятия совсем перестал ходить. В жизни роты, в работе и деятельности армии Петька Мусиков не участвовал, на почту за письмами и посылками не ходил, потому как никто ему не писал, никаких посылок не присылал, сам себя такими пустяками, как письма, он не утруждал. Наряды вне очереди Петьке давать было бесполезно, он никого, в том числе и старшину Шпатора, за власть не признавал, никому не подчинялся. Его били, дневальные пробовали стаскивать за ноги с нар — напрасный труд: к битью Петька приучен с детства, климатом северным закален, скудостью жизни засушен до бессмертия, правил поведения и всяких там норм дисциплины он сроду не знал и знать не хотел. Он жил всегда по самому себе определенным правилам. Пробовали Мусикова сажать на гауптвахту. Ему там поглянулось — на гауптвахте топили, еду туда приносили, дисциплиной и работой шибко не неволили.

Едва выдворили Петьку с гауптвахты. Он пришел "домой" распоясанный, завалился на верхние нары, спускался вниз лишь для того, чтобы сходить до ветру, да если баня иль выпадало дежурство на кухне, ну еще когда картошек в овощехранилище спереть, испечь их, пока рота не занятиях.

Как и в прежней жизни, ни друзей, ни товарищей у Петьки Мусикова здесь не было, в первой роте он признавал лишь одного Леху Булдакова да почитал Колю Рындина за умение пользовать людей от поноса и за набожность, пугавшую его.

— Какое сегодня число? — спрашивал Петька Мусиков иной раз у дневальных. — Ага, шешнадцатое. Баня ковды будет? Ага, двадцатого, — Петька соображал, подсчитывал, загибая пальцы, — значит, через три дня на четвертый. — Разбудите, ковды в баню идти. — С этими словами Петька Мусиков глубже погружал голову в просторный шлем, натягивал на ухо ворот шинели и лежал на полном просторе нар один, думал, дремал, может, и спал — никто этого знать не мог.

Старшина Шпатор давно и окончательно отступился от этого пропащего, потерянного для Родины бойца, не воспитывал его, работой не угнетал, никакого внимания на него не обращал. И забыли бы в роте про Петьку Мусикова, но он ежедневно вечерами напоминал о себе. На завтрак и обед, как бы делая кому-то снисхождение, Петька с ротой ходил, но на ужин вставать ленился, может, и боялся, что займут его место на верхних нарах. Без артели с его силенками место не отбить.

И вот рота сжита с нар, вышиблена из помещения — идет подбор последних симулянтов, прикорнувших за печками, на нарах и под нарами.

— Товарищ Мусиков, вы в столовую, конечно, идти не изволите? — интересовался старшина Шпатор.

— Не изволю.

— Учтите, сегодня ужин будет принесен только дневальным и больным.

— Я тожа хворай.

— Вы — отпетый симулянт, и никакого вам ужина принесено не будет!

— Поглядим.

Если выпадало роте ужинать в последнюю очередь, это уж после одиннадцати, после отбоя, старшина строгости строя не требовал, петь не заставлял, почти никаких правил не соблюдал. Ели неторопливо, сонно, старшина из своего котелка вываливал в таз бойцов свою порцию каши или картошки, ломал на кусочки пайку хлеба и тоже раздавал, сам швыркал чай с сахаром, смотрел утомленно куда-то в ночь, за которой у него никого и ничего не было, ни семьи, ни дома — всю жизнь в армии. Его садили за что-то в тюрьму, подержавши, выпустили живого, он снова прижился в армии, начинал с конюшни, с обоза, рядовым, с годами рос в званиях, но дальше старшины никак не тянул, прежде не хватало на офицера образования, ныне ж он и сам не захотел бы в командиры, в строевые, стар годами, почтения не больно много, да и привык хозяйничать и канителиться в хлопотной должности ротного старшины, вдобавок на подозрении, как старый, дореволюционный кадр, к тому же подежуривший в арестантах на тюремных нарах, зря в Стране Советов не садят, тем паче в армии, — раз старшиной был, сбондил небось казенное имущество и прокутил, может, и в политике прокол вышел (царской же, старорежимной армии слуга), и хотя старшина Шпатор был совершенно непьющим, некурящим, бескорыстным человеком — никто этому все равно не верил, коль все старшины плуты, выпивохи и бабники, значит, и этот таков.

— Товарищ старшина, мы дневальным и больным отделили кашу в котелки, как с пайкой Петьки Мусикова быть? — прервали его неспешные раздумья дневальные по роте.

— Хлеб этому паразиту отнесите, пайка — дело святое, кашу сами съешьте, — следовал приказ. — Нечего с ним церемониться. Я его вообще скоро из роты выкурю, памаш.

— Куда, товарищ старшина?

— Куда, куда? Куда-нибудь да вытурю. Может, на конюшню сплавлю, может, в артиллерию на лямке гаубицу таскать, может, вовсе под суд да в штрафную роту его, сукиного сына, чтоб не разлагал арьмию.

Тихо-мирно вернулась рота с ужина, распределилась по местам, улеглась на нарах. Прижавшись друг к другу, служивые угрелись маленько, сон наваливается — натоптались, намерзлись, еще один день позади. Мороз и ночь на дворе, звезды над казармами в кулак величиной, другой раз сразу и не поймешь, лампочка то или звезда, луна из ущербу выходит, блестит что банный таз, стало быть, еще морозу прибудет, но и этого уж лишка при аховой-то одежонке да в едва натопленной казарме, скорей бы уж на фронт, к одному концу, что ли, надоело все до смерти. Дома сейчас тоже отужинали, спать ложатся, кто на полати, кто на кровать, кто и на печь на русскую. Бока пригревает, тело распускается, нежится, на душе

покой, никуда идти не надо, раз не хочешь, не иди, пусть даже у клуба иль в избе какой гармошка звучит зазывно и девки поют иль хохочут. Самое интересное, что над казармой и над деревней родной те же звезды, та же луна светит, но жизнь совершенно другая и по-другому идет.

— А где мой ужин? Пайка моя солдатская, кровная где? — врастяг, капризно начинал нудить Петька Мусиков, свесившись с верхних нар и на всякий случай держась за столб.

Дневальные молчат, хлебая из котелков кашу. На печке в дежурке греется чай, подгорая, липнет коркой к горячей плите золотая паечка хлеба, распространяя ржаной, овинный дух. Старшина Шпатор затаился в каптерке, ни гугу.

— Че сурлы воротите? Сожрали мою пайку? — наседает на дневальных Петька Мусиков. — И не подавились? Товаришшы, называется, ишшо и концамольцы небось, бляди! Пизделякнули пайку, и хоть бы что!

— Скажи спасибо — хлеб принесли.

— Хлеб? Принесли? А кто корку всю с пайки обкусал? Кто? Я больной, но не слепой…

— Ты поори, поори. С нар стащим, на улицу вышибем, долаешься!

— Меня-а? С на-ар? А этого не хотите? — тряс Петька Мусиков штаны. — Эй ты, усатый таракан! — уже на всю казарму орал озлобившийся, собачонкой скалящийся заморыш, вперившись сверкающим взором в дверь каптерки. — Тебе Попцова мало? Угробили человека! Убили! Уморили! Отдай мою пайку! Притаился! Нажрался чужой каши, наперся чужого хлеба! Воняешь теперя на всю казарму! Так полагается в Советской Армии? Самой сознательной. Сталин че говорит?..

Что говорит Сталин и говорит ли вообще, в последнее время что-то не слыхать, но никто переспрашивать не решался, страшась и того уже, что имя вождя, будто Божье имя, так вот запросто поминается всуе отпетым скандалистом.

Петька же расходился все больше, брызгая слюной, визгливо кричал, что в голову взбредет, глядишь, из второй роты с противогазовой сумкой на боку дежурный мчится:

— Това-арищи! Первая рота! Отбой был. Люди ведь отдыхают.

— А ты че приперся? Те че тут надо, бздун? — орал на него сверху Петька, да еще и плевался, норовя попасть в лицо. — Тут советского красноармейца обокрали!

— Кого? Кто обокрал?

— Миня! Старшина обокрал! Пайку мою сбондил!

— Ка-ак? Какой старшина?

— Известно какой! Один он тут усатый таракан!

Разбуженные злые бойцы уговаривали Петьку, кричали на него, начинали спинывать его с нар, требуя от дневальных избавить их от бунтаря, иначе они его измордуют, как бог черепаху. Но унять и удалить Петьку Мусикова с нар не так-то просто. Он обхватывает столб руками и ногами, будто паук лапами, и вопит пронзительно:

— Убива-а-ау-ю-ут! Карау-у-ул!

Заканчивается это всегда тем, что старшина Шпатор выскакивает из каптерки в полусъехавших, спузырившихся на коленках кальсонишках, в валенках с кожаными заплатами на запятках, в шинели, брошенной на плечи, то и дело спадающей. Хватаясь за сердце, звякая своим старомодным котелком, с перерывами в голосе старшина взывает:

— Дневальные!.. Товарищи!.. Люди добрые!.. Кто-нибудь... Кто-нибудь... в счет моего завтрака... милостью прошу... прошу...

Дневальный мчался на кухню, благо была она неподалеку от расположения первой роты, приносил котелок с кашей, совал его наверх.

— Подавись, сатана!

— Сам сатана! — Приняв котелок, Петька Мусиков шарился в нем ложкой, хныкал: — А жиров-то — хер ночевал! Слизали! Еще и обзываются! Где вот справедливость? Сталин че говорит?

— Ты хоть товарища Сталина не цепляй, гнида! Иначе мы тебя в самом деле вытащим и кишки выпустим на обоссаном снегу!

— Вам че? Дай над больным человеком поизгалятца! Попцова вон уханьдехали, закопали.

Поевши, заскребя в котелке, Петька никогда не отдавал посудину просто так, он ее непременно запускал со звоном, норовя угодить дневальному в голову.

— Это армия? — долго потом еще всхлипывал Петька. — Товаришшество? Имя что больной, что не больной. Попить бы лишь бы кровь из человека. Попцова извели, скоро всех во гроб покладут. Сталину буду писать...

Глава восьмая

На рекламных щитах клуба, на казармах и даже на заборах появились объявления, писанные чернилами по газете "Правда", в коих извещалось, что 20 декабря 1942 года в помещении клуба состоится показательный суд военного трибунала над Зеленцовым К. Д. Бойцы в полку, особенно в первой роте, где Зеленцова еще помнили, пытались угадать, что же наделал этот пройдоха, что натворил — порешил ли кого, украл ли чего? Слух докатился, будто обчистил он офицерскую землянку, да и не одну.

А началась беда не с Зеленцова, началась она с художника Феликса Боярчика. Отец когда у него был и был ли вообще, Феликс не знал, но вот фамилию ему свою на память оставил. Мама, Степанида Фалалеевна, задуманная и поначалу творимая как девка, где-то с половины задела пошла в мужика, должно быть, отец ее на мельницу ездил, неделю там гулял, когда снова за дело принялся, о первоначальном замысле запамятовал. Получилась по естеству своему, по частям и по деталям — Степанида, но по внешности и по всему остальному — Степан. Звали это существо Степой. Всю жизнь мать Феликса, железная большевичка, нарекшая сына, конечно же, в честь непобедимого наркома Дзержинского, обреталась в области того советского искусства, которое скорее и точнее назвать бы бесовством. Изрыгая слова под бойкий топот местных самородков, поборники местной культуры, деятели передовой и боевой пропаганды вроде бы совсем не слыхивали о великой русской музыке, живописи, литературе, брезговали родным, в первую голову деревенским, наследием в силу его полного и непоправимого отставания, идейной невооруженности, лишенной накала классовой непримиримости к врагам партии и советской власти. Новоявленные творцы сами сочиняли

свое слово, искусство, скетчи, пьесы, программы с чтением вслух, с выкрикиванием лозунгов, шагом на месте под барабанный бой, под звук трубы, с построением пирамид, с зажигательными коллективными переплясами, изображающими выплавку стали, бег паровоза, сбор небывалого урожая. Да все в темпе, в темпе! Выше! Дальше! Вперед! До полной победы коммунизма!

Надев белую мужскую рубаху с галстуком, Степа ступала по подмосткам по-боевому четко и, как ей казалось, даже грациозно. Начинала она любой вечер, любое торжественное собрание с чтения:

И я, как весну человечества,
Рожденную в трудах и в бою,
П-пай-айю-у-м-майе от-теч-чество-о-о,
Р-рес-спублику м-майю!

Заряженное парадным вступлением, будто орудие гремучим порохом, действо грохотало, улюлюкало, свистело, с визгом вело беспощадный огонь по врагам, вдохновляло народ на трудовые подвиги, поднимало на борьбу с пережитками капитализма, звало, влекло, настигало. Степа пробовала себя переименовать согласно историческому моменту в Электрину, тоже Феликсовну, но ничего с народом поделать не могла, на сцене Электрина, в жизни же Степа да Степа.

Когда и как у нее получился мальчик, она, захваченная вихрем революционного искусства, почти не заметила. Пресмыкался в районном Доме культуры ссыльный музыкант Боярчик, играл боевые марши на звонкой медной трубе, вертелся вокруг нее, что-то с нею делал. Закруженная общественной работой, она так и не поняла, что Боярчик с нею делал. Откуда и как получился мальчик? Такая досада!

Обжитую с пионерского возраста сцену районного Дома культуры, где на разных парадных торжествах Степа с младенческих лет еще кричала; "Будь готов! Всегда готов!" — пришлось оставить. В этом же Доме культуры она какое-то время работала завхозом. Но разве это работа? Где тут творческое начало? Вдохновение? Гром оваций? Клубное имущество у Степы частью разворовали, частью она его растеряла. Пришлось идти в общежитие воспитателем молодого поколения, дабы получить жилой угол для себя и для дитя, чтоб оно...

Оттуда ее забрали в методисты-инструкторы самодеятельного искусства и физкультуры опять же при районном Доме культуры.

Заброшенный, некормленый, немытый Феликс был во младенчестве кормим из клубного буфета бутербродами, серыми котлетами, жесткими ирисками, черствыми булками. Его тетешкали, щекотали, подбрасывали под потолок какие-то взвинченно-веселые тетеньки, наряженные в галстуки дяденьки с блудливыми глазками и с оглушающим запахом сивухи изо рта. От грохота, от воя, от песен, от хохота Феликс полуоглох. От страшных отвратительных запахов и нечистот он сделался чистюлей, не переносящим ничего хмельного, но главное — навсегда ушел в тихую, уединенную работу. Он все время рисовал на клочках бумаги, на оборвышах плакатов, реклам, лозунгов, рано овладел оформительским искусством, ничем он почти, как и Петька Мусиков, не связывал родную мать, рос хоть неподатливо, поскольку был заморен, однако бурной деятельности Степы не мешал.

Быть бы Степе снова заправилой народного искусства, кричать в Доме культуры про весну человечества, но в это время трубач Боярчик, о котором Степа давно и думать-то забыла, где-то чего-то натворил-таки и загремел в тюрьму, скорее всего за длинный язык, за безобразное

отношение к передовому искусству, к властям, может, и за алчную похоть. Степу взяли за холку, порасспрашивали маленько и поняли: ничего, никакой правды от этой особы не добиться — она пребывает в недосягаемых высотах, по этой причине плохо помнит, чего сегодня ела и ела ли вообще, где и с кем спала да и спала ли, на кого оставила горемычное дитя свое.

Куда такого человека девать? В лес! И кинули Степу в Новолялинский леспромхоз. И жила она там в бараке вместе с семейными бабами. Это было удобно: сунешь бабам Фелю — они его накормят, напоят, в корыте вымоют, спать вместе со своими ребятишками уложат. Когда и побранят маму, не без того. Да с нее как с гуся вода, тронутая, да и только, побранят-побранят да и накормят — куда ее денешь? Больше всех жалела Фелю вислобрюхая от многорождаемости ходовая спекулянтка и отпетая кулачка Фекла Блажных. Среди ее ребятишек Феля и жил, ел, спал, труду учился, дрова и воду таскал, валенки подшивал, катался, дрался, материться выучился, рисовал картинки. Деревенские, эстетически слабо развитые чада Блажных те картинки приколачивали сапожными гвоздями к стенам барака. Особенно удавалась Феле картинка, где парнишка с девчонкой ехали верхом на волке. Весь, почитай, барак обколочен был такими картинками.

Биясь денно и нощно за новую, пролетарскую культуру в леспромхозовском бревенчатом клубе, Степа сделалась заслуженным работником, грамоту с красным знаменем получила. В середке грамоты знамя с кисточками золотыми, в кружочке Ленин — Сталин помещаются, посередке герб с колосьями, с другого боку, тоже в кружочке, — Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Фекла Блажных грамоту тряпочкой обтянула и в свой кулацкий сундук спрятала: оборони Бог ребятишки порвут — в тюрьме все семейство сгноят. И хитрая ж, отпетая баба, все талдычила героической труженице на ниве культуры:

— С эдакой грамотой, с эдакими достижениями тебе, Степа, фатеру надо просить, заслуженному человеку жить в бараке не полагатся. — И прозрачный намек вдогонку: — Дома в леспромхозе сдают о две половины, в одной половине куфня и комната, в другой — куфня и комната, дак ты бы просила для себя и для нас — нам Феля как родной, мы б его доглядывали...

Степа попросила, и от удивления, не иначе, — никогда ж ничего и ни у кого она не просила, — домик ей и семейству Блажных вырешили. Может, еще и потому вырешили, что сам Блажных — отпетый, конечно, элемент и контра неисправимая — показывал тем не менее в лесосеке чудеса трудовой доблести, да и ребятишек у Блажных шестеро, седьмой на улицу просится. Да еще выселены вместе с хозяином в лес старики, хотя и в нагрузку они социалистической лесоиндустрии, тоже где-то век доживать должны.

Степа только ахала, видя, что делают радостные и счастливые спецпереселенцы Блажных с домиком на окраине поселка, на улице Карла Либкнехта: вход один они заколотили, сохранили одну печь с плитой и духовкой, увеличив ее в объеме, вторую плиту разобрали и на месте ее слепили русскую печь, чтобы ребята сушились на ней, придя с улицы, и спали. Получился дом о четырех комнатах, и одну из них они выгородили для Степы с Фелей, оборудовав по всем доступным возможностям культуры, считай что почти по-городскому: купили розовый абажур для электролампы, над угловикомполкой приколотили рамку со Степиной грамотой, втолкнули сюда еще старое, из деревни вывезенное зеркало с выкрошившимся в дороге низом, Фекла сама застелила угловик вязаной скатеркой и на казенную железную кровать приладила прошву, на пол постелила половики и прослезилась, глядя на всю эту благодать:

— Светелка! Ты к нам, Степа, приветная, мы добро помним и завсегда готовы тебе послужить.

Вокруг домика номер девятнадцать по улице Карла Либкнехта, которая все наступала и наступала, тесня стандартными домами лес, выросли баня, сараи, свинарник, дровяник, нужник, на двери которого выпилено сердечко, погреб. Само собой, и огород появился. Как же без огорода крестьянской семье? В общем, живи — не тужи.

Степа подивилась живучести, приспособляемости кулацкого отродья и совсем, считай, забыла, что у нее есть сын. Феля же о матери никогда не забывал, тайно любил ее, гордился ею, одна она такая подкованная культурой, на весь леспромхоз одна, стихи читает, на баяне играть может, надо, так станцует любой танец, пляску, смотр, кросс или демонстрацию организует в лучшем виде. Леспромхозовский клуб по культурно-массовой работе был всегда первым в области среди всех остальных клубов, премии получал от профсоюза лесной промышленности, случалось, и от партийных органов кое-что отламывалось.

Расширялся леспромхоз, богатела культура. На дальние участки все везли и везли народ под конвоем и без конвоя. Вместе с Новолялинским поселком глубоко в лес врубалось кладбище некрашеными крестами и просто холмиками безо всяких знаков. Быстро затягивало мохом, брусничником широкий погост, зияющий дырами изнутри обвалившихся могил, местами уже проткнутый кустарниками, спешно зарастающий сосенками, елками, пихтами.

Феля с ребятишками Блажных ходил в лес по грибы, ягоды, боязливо огибая кладбище, потом начал его рисовать. Фекла обрызгивала мальчика святой водой, рисунки с крестами бросала в печку. Степа же все кричала про весну человечества, добавляя смешные куплеты, соответствующие тематике — про лесорубов, про их неустанный ударный труд: "Утром морозным сквозь синий туман сотни рабочих спешат по цехам, каждый с любовью к родному станку, к молоту, топке, зубилу, сверлу. Глухо удар за ударом о свар, брызгает искрами каждый удар".

Как Феля подрос, мать и его стала учить орать со сцены. Но в малолетстве напуганный шумом, выросший в семье спецпереселенцев Блажных, Феля не мог на виду у народа шуметь, высказываться, давать сдачи. Когда мал и глуп был, под водительством братьев Блажных дрался, но потом засмирел, одомашнился, лишь виновато всем улыбался да рисовал, рисовал. Фекла любила Фелю больше своих родных детей за кучерявенькую голову, за печальные глаза, за кроткий нрав, всех уверяла сраженным шепотом, что парень уж непременно в художники выйдет.

— Альбо в комиссары, ежели в маму удастся. Башковитай! — Подумав, решала: — Может, и в богомольцы, может, вину-то человечью перед Богом ему вот и суждено отмолить?

В комиссары Феля не вышел — не столь башковит получился, в богомольцы же ему и выйти негде было, но писать плакаты, вывески, картины в леспромхозовском Доме культуры умел с малых лет, помогая матери в ее агитационно-массовой работе, а дому Блажных каким-никаким заработком. Пожалуй, в художники-оформители вышел бы, да тут война.

Провожая в армию Фелю, Фекла Влажных, заливаясь слезами, громче всех баб причитала:

— Да Фелюшка! Да родимай ты мой! Да сохрани тебя Господи! Носки-то теплые взял ли? Метрику, метрику-то?.. Не надо метрику? А че надо? Скажи, скажи, ничего не пожалею... Да пиши ты, пиши почаще. Да не подставляй свою разумную головушку под всякую пулю... Кабы я могла бы, дак за тебя бы на позиции пошла. Какой из тебя солдат? Да помни об нас, горемышных, помни. Чем обидели-прогневили тебя — прости и о Боге, о Боге небесном не забывай...

Налетела запыхавшаяся мать Степа на леспромхозовскую площадь, среди которой раскоряченно громоздилась дощатая трибуна в сохлых, с Первомая приколоченных еловых ветках. Придерживая мужицкую шапку на голове, тормозя себя мужицкими сапогами, чуть было не торкнулась в сына, он ее на лету поймал, прижал ко груди. Дыша табачищем, мать лупила сына в грудь:

— За Родину!.. За Сталина!.. Смерть врагу!.. Гони ненавистного врага! Гони и бей!.. Гони и бей...

Фекла, поджав губы, качала головой, утирала мокрое лицо концом пуховой шали, которую и надевала лишь по святым да революционным праздникам. Весь вид ее говорил: "Тронутая и есть тронутая! Че с ее возьмешь!.. Нет чтоб ребенку человеческое слово сказать, Божецкое ему напутствие сделать... Стыдно перед людям..." Когда подошло время прощаться, Феля обнял тетку, совсем ослабевшую, обмякшую в его руках, рыхлую тетку Феклу, лепя солеными губами его в лицо, тоже ослезенное, не голосом, изболелым бабьим нутром она выстанывала:

— Касатик ты мой!.. Касатик ты мой!..

Степа стояла в стороне, хмуро курила махорку, плевалась в пыль. Любил Феля мать, любил естественной, мучительной любовью, но помнил-то тетку Феклу Блажных, письма в Новолялинский леспромхоз всегда начинал с одних и тех же слов: "Здравствуйте, дорогие мои тетя Фекла, дядя Иван, дедушка и бабушка, Аниска, Валентина, братья мои Иван Иванович, Архип Иванович..." И лишь в конце письма, будто спохватившись, мелко, сбоку листка передавал привет маме, спрашивал про ее здоровье.

Писала ответы Феле под диктовку матери самая шустрая в семье грамотейка Аниска: "Здравствуй, братец наш Феля! Кланяется тебе мама твоя Степа, Фекла Архиповна, сестры Аниска, Валентина, братья твои Иван Иванович да Архип Иванович, а от Митрея Ивановича привету уж тебе не будет во веки вечные — сложил свою головушку на войне наш старшенькой, и не просыхают мои слезоньки об ем..."

Феля и сам всплакнул, узнав о смерти старшего сына Блажных, — много он добра всем сделал, этот русский парень, в детстве еще превращенный в лесоруба-мужика, в помощника отцу. Хозяйственный, в работе хваткий, с обожанием относившийся ко грамотным людям, он с открытым ртом внимал Степе, умевшей наизусть кричать стихи, восхищался игре ее на баяне так, что и по дому ходил босиком, когда она репетировала, храпеть на печи воздерживался, а ведь с морозу, с работы человек, самый бы раз храпануть во всю ширь.

Баню еще шибко любил Митрий Иванович, которую сам вместе с отцом и срубил. Запаривался до беспамятства. Строго следил и он, и отец Иван, чтоб ни едой, ни обновой Фелю не обделили, хотя мать и забывала давать на него деньги, бросит иногда на кухонный стол скомканные рублишки, так Фекла ей тут же оправдание:

— Питатца в столовке да по участкам мотатца. Везде плати, везде отдай копейку. А зарплатишка кака? На один табак.

Зла не помнящие, забитые российские люди — деликатности-то где же они выучились? Материно имя всегда в письме наперед ставят. Почитай, человек, родителей своих, каких Бог дал, таких и почитай.

Однажды по ротам было объявлено: кто умеет рисовать и писать плакаты, пусть явится в клуб. Пришло народу дополна — всем в тепле поошиваться охота. Но званых, как известно, много, да избранных мало. Капитан Дубельт из массы талантов выделил лишь Феликса Боярчика — этот

соответствовал!

Феликс старательно писал афиши кино и постановок, рисовал стенгазету, плакаты, карикатуры на отдельных листах, смешно изображая гитлеровцев, заимствуя кое-что из газет и журнала "Крокодил".

Поначалу Боярчик приходил ночевать в казарму, на завтрак и на обед топал с ротой, но ужинал отдельно вместе со все множащейся и множащейся челядью полковой обслуги. Потом и завтрак и обед Боярчик стал получать порознь с ротой, после и жить в клуб перешел — там было теплее.

В клубе особой работы не велось, не до нее было, но фильмы для офицеров и их семей демонстрировались, жены офицеров и штабники собирались вечерами в хор, репетировали, и давно уже, под руководством капитана Дубельта "Женитьбу" Гоголя; разучивали кантату "От края до края по горным вершинам..."; танцевальный кружок готовил к Новому году обширное представление под назанием "Победители торжествуют!".

Пообжившись в клубе, Феля начал делать вылазки в расположение полка и в овощехранилище. За газету на раскур, за бумажку на письмо, за огрызок карандаша ему давали маленько картошки. Нарезав картошку пластинками, Феля пек ее на железной печке, стоявшей за сценой. Была в клубе еще одна печь — огромная, что баржа, осадившая помещение на корму. Чтоб ту печь натопить, требовалось не меньше двух, в морозы и до трех кубометров дров, поэтому Феля весь сосредоточился возле железной печки за кулисами.

Сюда на запах печеной картошки в тепло явилась однажды девушка. Первое, что поразило Фелю, — салатного цвета глаза. На лице девушки они не умещались, выплеснулись аж на виски, уперлись в берега приспущенных на уши волос, и волосы, и брови, и ресницы — все, все было золотисто, и, может, поэтому иль еще почему другому лицо девушки представало как бы в легком сиянии, вот только бледно было лицо и, как на старых картинках или как у солдат в казармах, в налете каком-то давнем, с сероватой бледностью, губы девушки, сморенные иль испеченные жаром, сморщились, вроде от обветренности шелушились — так вот мгновенно и разом увидел Феля всю девушку: художник же, хоть и леспромхозовский.

— Здравствуйте, — сказала девушка и, вынув руку из солдатской рукавички, подала ее Феле. — Вы новый художник? А я билетная кассирша и контролер. Эвакуированная с Украины, меня зовут Софья, чаще — Софочка.

Феля ничего не мог сообщить в ответ. Он стоял истуканом возле печки и покрывался влагой, по всему телу пот у него выступил, язык отнялся, все члены обмерли. Молчание затягивалось. Наступала неловкость. Софочка двумя пальчиками взяла с печки пластик картошки, зажаристый, хрусткий, с лопнувшими от жара пузырьками посерединке, откусила, пожевала.

— Ой как вкусно! Можно, я еще возьму?

— Пожалуйста! — Кинувшись к печке, Феля подавал Софочке в протянутые ручки пластик за пластиком, она бросала те пластики с ладони на ладонь, восторженно взвизгивая;

— Ую-ю-юй! Горячие! Да горячо же! Ой! Ой! Ой! Сами-то, сами кушайте!..

Кто не верит в любовь с первого взгляда, тот Фелю с Софочкой не встречал, ничего о них не слышал и вообще в любви нисколько не разбирается.

Уже назавтра с самого утра Феля измаялся весь, и сердце у него изнылось — придет Софочка

иль не придет? А если придет, то скоро ли? Оказалось, она квартирует в Бердске, простудилась и болела, потому и не знал Феля ничего о ее существовании. Капитан Дубельт послал в Бердск записочку, спрашивая, заменять ему кассиршу или ждать. Совмещать работу кассира-контролера и начальника культотдела полка ему невозможно, несолидно, он уже получил замечание из политотдела. Вот и вышла Софья, недолечившись, на работу. И правильно сделала.

Теперь из Бердска она летела на крыльях, ворвавшись в клуб, кричала: "Феликс! Вы здесь?" Он соловьем откликался, вылетал навстречу, брал ее озябшие руки в свои, долго-долго отогревал их под шинелью у сердца, иногда дышал на эти маленькие, исхудалые руки и готов был еще что-нибудь хорошее сделать для Софочки, да не знал что. Неожиданно было все: встреча, отношения, восторг, желание скорее, скорее быть ближе, успеть узнать друг друга до конца, до донышка, ведь надвигалась разлука, хотя они и забыли о том, где и почему находятся. Но военная жизнь, жизнь казарм, суровая зима, голодуха настойчиво и каждодневно напоминали о себе.

Однажды после затянувшегося концерта Софья побоялась одна идти через лес — говорили, за Обью ночами воют волки, будто бы они утащили и съели уже собаку из какой-то деревни иль из самого Бердска, будто бы и детей, из школы идущих, попугали, будто бы на помойках стрелкового полка их уже видели.

— Но где же мы будем спать? — пролепетал Феля Воярчик, глядя на жалкое гнездышко, свитое из бутафорской рухляди на досках, положенных на поленья, не иначе как тем художником, которого сменил Феля в клубе полка и который давно уже воевал или рисовал что-нибудь на фронте.

— А здесь, — решительно указала Софочка на Фелино гнездышко и, подумав, добавила; — По очереди.

По очереди не вышло. Феля топил печку, Софья спала, укрывшись его шинелью да своей телогрейкой, плотно завязав голову и уши деревенской серенькой шалюшкой. Лицо девушки, обрамленное этой бедной шалюшкой и выбившимися из-под нее желтенькими волосами, было еще прекрасней, еще милей, еще беззащитней, чем если бы она была в дорогом наряде. Феля мог сколько угодно смотреть на лицо Софьи и не уставал от этого занятия. Хорошо и странно было ему оттого, что так она близко, что он услуживает ей, согревает ее, однако к утру он сморился, присел возле дверцы печки, которую все время подшуровывал, да и заснул.

— Милый Феля! Зачем ты не разбудил меня? Зачем не соблюдаешь очереди?..

Она подошла сзади, обняла его, прижалась лицом к стриженой, но упрямо из последних сил пыльновьющейся голове. Он щекой защемил ее руку на плече. Долго они были неподвижны, ничего не говорили, еще не зная, не ведая, что это были самые великие, самые светлые минуты в их жизни, те самые минуты, которыми Господь изредка одаривает добрых людей, не подбирая для этого подходящего места и времени.

И случилось то, что должно было случиться. Неумело, беспамятно, обморочно они сблизились, стали мужем и женой, нигде не расписанные, никому о тайне своей не поведавшие. Они принадлежали друг другу, и никто, даже всесветная война, не могла им помешать быть счастливыми.

Софья забеременела. Боярчик написал письмо любимой тетушке Фекле: так, мол, и так, любовь настигла, соединились два горячих сердца, что теперь делать? Скоро на позиции.

Неграмотная, мудрая от жизни баба все сразу поняла насчет горячих сердец, продиктовала Аниске, дескать, по себе знает, от любви, как от кори, спасения нет, болесть эта сжигающая, прилипнет так уж прилипнет, однако не испепелит, проходчива болесть. Тетка Фекла велела Софье собирать манатки да и ехать в Новолялинский леспромхоз, благо ехать не так уж и далеко. Тут ее примут и доглядят как родную, потому как Феля им заместо сына. В конце письма Фекла сообщила: "Что касаемо Степы, матери твоей, Фелечка, дак не опасайся и об ней не тужи — она совсем забегалась, родному дитю написать некогда, хоть и намекивали ей, письма твои на тумбочку подкладывали — не прочитат даже, разе что ночью. Сказывали, закончила она санитарные курсы, собиратца на войну, дак и ехала бы с Богом — баба работой физицкой не уезжена, глядишь, какого бедолагу ранетого на горбе с поля боя выташшыт. Да ведь и там при клубе каком-нито устроицца, будет стишки со сцены декламирывать, на бой товаришшев призывать. Вот ты теперь сделаешься родителем-мушшыной, дак матери-то не подражай, дитя свово не забывай. И береги себя. Ты теперь не один"...

Скис, потерялся Боярчик после отъезда Софьи, писал плакаты, стенгазету и объявления с пропусками, ошибками, бродил по расположению полка, но чаще всего по лесной дороге на Бердск, кого-то там отыскивая, писал каждый день письма, рисовал на конверте голубка с письмом в клюве, с потугой на юмор изображал пронзенное копьем сердце. Софья от того юмора заливалась слезами и тоже каждый день писала Феле, что распалил пожар ее чувств, но южную сжигающую страсть в ней не утолил и наполовину, даже и на четвертинку — разлука невыносима, но что поделаешь: война. Тем жарче, тем желанней будет неизбежная встреча, о которой мечтает она дни и ночи и никогда не устанет мечтать и ждать. Феля по письму такому понимал, что живется Софье в семействе Блажных неплохо и кормят ее досыта.

Степа-таки умотала на фронт. Софья жила в комнате мужа — работала на месте свекрови в Доме культуры Новолялинского леспромхоза. В смысле быта и жизнеустройства Феликс был за нее совершенно спокоен, семейство Блажных скорее само все перемрет, в землю костьми ляжет, но Фелиной жене погибнуть не даст.

И все же Боярчик бродил и бродил по земле, искал чего-то. И нашел!

— Привет художнику-безбожнику! — услышал Боярчик и, остановившись, вглядывался в приземистого, натужно улыбающегося красноармейца в довольно чистой, хорошо прилаженной к корпусу шинели. Весь он, этот человек, был белобрыс, стриженые волосы лишь при очень пристальном взгляде различались на висках — заедино с кожей, — такие же белесо-смазанные брови и ресницы, шрамы, множество мелких шрамов на лице, на лбу смотрятся выявленно, четко, на правую бровь фасонисто сдвинута шапка.

— Пр-риве-эт! — неуверенно отозвался Феликс и спросил: — Вы кто?

— Хxха-ха-ха! Забыл, н-на мать, карантин, перву роту!..

— А-а, вы Зеленцов! Вас вроде в минометную роту перевели.

— Мать бы ее растуды, эту минометку, — там ни дохнуть, ни охнуть. Дис-цип-лина! Но настоящий человек нигде не пропадет! Слушай, ты, говорят, в клубе пристроился, шмара у тебя шиковая завелась. Молодец! Слушай, нельзя ли у тебя там погреться? Сообразить насчет картошки дров поджарить?..

Феликс еще ничего ответить не успел, как Зеленцов уволок его в клуб, осмотрелся там и сказал:

— Рас-с-скошная хаза! Слушай, Боярчик, возьми меня истопником, а? Возьми!

И, опять же не давши Феле не только ответить, но даже подумать, уже орудовал Зеленцов возле печки-баржи. Добыв из-за пазухи веревочку-удавочку, Зеленцов притащил вязанку дров, с грохотом обрушив поленья на пол, ходко принес еще вязанку и так раскочегарил печку, так согрел помещение клуба, что изо рта людей больше пар не клубился. Такого здесь не наблюдалось со дня сотворения культурной точки, она ставлена так и в таком месте, что в ней даже летом бревна были мокры и плавал по помещению едкий пар.

Феликс обрадовался трудовому порыву неожиданного работника, решил поговорить с капитаном Дубельтом по поводу использования Зеленцова в качестве постоянного истопника, потому как присылаемые из рот наряды ничего тут не пилили, не топили, рыскали по закромам строевого полка, добывая себе дополнительное пропитание, норовя в клубе чего-то сварить и сожрать.

Но что-то или кто-то задерживали вечно занятого, перегруженного хлопотами, замороченного творческими замыслами и отчетами начальника культуры, да и трудовой энтузиазм Зеленцова пошел на спад — за печкой и по углам клуба, сидя на корточках, шуршали по-мышиному, почти неслышно возились скользкие текучие тени, громко хлопали чем-то об ящик из-под посылки, свирепо выражаясь при этом.

Картежники! В заведении, руководимом капитаном Дубельтом, в заведении, где Боярчик дни и ночи писал лозунги и всякие другие бумаги с призывами честно трудиться на благо Родины, не щадя жизни сражаться с ненавистным врагом, темные людишки занимались азартными играми!

Они не просто играли в карты, они обосновались в клубе капитально, понанесли котомки, варили чего-то на печи и в печи, в клубе пахло вареной картошкой, даже мясным пахло и, о Боже! — самогонкой воняло! Феликс робко сказал Зеленцову, что не надо бы в культурном заведении заниматься темными делами.

— Че те, жалко, че ли, этой камары? — ему ответ. — Ешь вон картоху с концервой и помалкивай. Слушай, может, те денег надо? Ну, выпить когда, бабе послать. Она с брюхом, усиленное питание требуется, то да се…

Феликс кое-как отбился от Зеленцова и от денег его, старался подальше быть за кулисами, в своей каморке, которую соорудил по приказу Дубельта. Узнавши про вспыхнувшую любовь между художником и кассиром клуба, капитан помог создать влюбленной паре условия — в каморочке-то не видно и почти ничего не слышно, а то ведь завистливые офицерские жены, искусства поклонницы, быстро донесут куда надо чего надо и не надо, назвав при этом святое чувство предосудительной связью.

Зеленцову только того и надо было, чтоб всякий надзор исчезнул, чтоб свобода. Какие-то шустрые люди, скорее всего проигравшиеся, батрачили на него, пилили, таскали дрова, другие овощь перли, мясо, сало, чай, сахар, пачки денег мелькали в руках картежников; за печкой и под печкой катались пустые бутылки; уже и драка не раз вспыхивала, уже слышалось:

— Бубны-черр-вы, бабы-стер-рвы, сахар за щеку, перо в бок! Блефуй, но не мухлюй, а то я тя на эту печку голой жопой посажу!

Феликс уже не знал, с какой стороны к печке и к Зеленцову подступиться. Увидел однажды за сценой Зеленцова, мокрого от пота, вином налитого, прячущего деньги за пояс штанов, под гимнастерку, ножик, завернутый в грязную тряпку увидел, хороший, острый ножик с костяной ручкой, и взмолился:

— Слушай, Зеленцов, уходи ты отсюда, уходи!.. Мне попадет из-за тебя.

Зеленцов смотрел на него мутно, непонятно было: просыпается или засыпает — глаза его приоткрывались и тут же истомленно закрывались, сырая губа неприбранно отвисла, непробритый подбородок тоже оттягивал губу, губа долила голову все ниже и ниже.

— А-а? Феликс? Все! Все-все! Порядок. Еще пару хопков — и атанда, понял? Атан-да!

Ничего Феликс не понял. Спрятал Зеленцова подальше с глаз в своей каморке. Тот проснулся и куда-то исчез. Боярчик подумал; осознал человек свое недостойное поведение, совесть в нем пробудилась, и он оставил его клуб в покое. Но тот появился снова, раскочегарил печку, каши с салом наварил, бутылкой побрякал и крикнул:

— Эй, Феликс! Покажись, красно солнышко! Я у тя тут еще ночь поошиваюсь, забью козла, коп мешок схвачу и-и-и-ы-ы...

Зеленцов спал за печкой, высунув ноги, тут его и обнаружил капитан Дубельт, вытребовал наружу, спросил кто таков, почему здесь валяется. Зеленцов, не узнавая со сна капитана, в свою очередь спросил:

— А кто ты такой? И хули тебе надо?

— Молчать! — топнул ногой капитан Дубельт. — Ты с кем разговариваешь, мерзавец?!

— Не ори! — Зеленцов ему в ответ. — А то геморрой оторвется!

Капитан Дубельт совсем рассвирепел, попытался схватить Зеленцова за шкирку и вывести с позором из клуба, но боец ему не давался. Поднялась возня возле печки, схватка случилась, в результате которой Зеленцов поддел на кумпол капитана Дубельта, разбил ему очки и нос, да хорошо еще, что не прирезал капитана, не успел — по вызову Феликса Боярчика подоспел полковой патруль, буяна скрутили и увезли.

И вот тебе суд! Показательный! И вот тебе: вместо того чтобы порицать преступника, пригвоздить его к позорному столбу, дело повернулось неожиданной стороной — в ротах сочувствовали Зеленцову, хвалили его за храбрость, за непокорность, говорили, что он резал какого-то офицерахлыща, да, жалко, недорезал. Потом подтвердилось: одного Зеленцов-таки запорол, вроде бы Пшенного, за другим гнался до самого штаба полка, в помещение ворвался, но тот успел спрятаться под стол.

В воскресенье по случаю важного мероприятия первый батальон и минометная рота были освобождены от занятий. После обеда роты с песнями протопали в клуб, где должен был состояться показательный суд над Зеленцовым.

Прослужив два с лишним месяца в полку, многие красноармейцы, кроме карантинных землянок, казармы-подвала, столовой и бани, никаких более заведений не видели, в других помещениях не бывали. Клуб украшен лозунгами со лба, выписками из военного устава по дверям и по стенкам, старыми красочными кинорекламами, плакатами типа "Родина-мать зовет!", карикатурами на немцев и строго написанным барельефом вождей мирового пролетариата. Еще в детстве Боярчик с почетной грамоты научился срисовывать упряжку из вождей Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. Клуб с вождями над крыльцом, с плакатами ребятам казался совершенно райским местом, к тому ж хорошо натопленным. О тепле как в прямом, так и в переносном смысле служивые двадцать первого полка начали уже забывать. Скамеек всем воякам не хватало, не дожидаясь команды, по деревенской привычке,

доставшейся с детства, народ удобно расположился на полу. Подшучивая и подталкивая друг друга, бойцы спрашивали, какое после суда будет кино или постановка.

Одна короткая скамейка была чуть вынесена вперед. Над сценой был тот же барельеф, та же упряжка с вождями мирового пролетариата, на сцене высился длинный стол. накрытый недочиста отстиранным от белых букв красным лозунгом. По-за столом стоял один стул с ребристой, что у стиральной доски, спинкой, в середке которой был вырезан герб, наверху по дуге крупные буквы: СССР. Стул привезен вместе с судьями-трибунальщиками из Новосибирска, уважительно сообщил Феликс Боярчик. Ему тут же возразили знатоки еще более тонкие: в трибунале судей не бывает, в трибунале — председатель трибунала, обвинитель и пара заседателей от воинской части — тут тебе не до церемоний, тут строго.

И правда, появились сперва двое солидных мужчин с нашивками на рукавах и с малиновыми петлицами. У того, который вошел первым и угнездился на стуле, в петлицах было по четыре шпалы, у второго всего лишь две. Но оба, несмотря на разницу в званиях, были тучны, через широкие, туго затянутые ремни переваливались животы, в груди, по-бабьи пышные, врезались наплечные ремни с пряжками. Взгляды, которыми обвели эти двое зал клуба, не просто были строги, они были устрашающи, в них так и сквозило: погодите, мы и до вас доберемся!..

Ой не зря говорилось в прежние времена: "От вора беда, от суда скуда!"

Начавши борьбу за создание нового человека, советское общество несколько сбилось с ориентира и с тропы, где назначено ходить существу с человеческим обликом, сокращая путь, свернуло туда, где паслась скотина. За короткое время в селекции были достигнуты невиданные результаты, узнаваемо обозначился облик советского учителя, советского врача, советского партийного работника, но наибольшего успеха передовое общество добилось в выведении породы, пасущейся на ниве советского правосудия. Здесь чем более человек был скотиноподобен, чем более безмозгл, угрюм, беспощаден характером, тем он больше годился для справедливого карательного дела.

Сидящие в клубе ждали явления квадратного в плечах громилы с головой, стриженной под ежик, прямо на плечах сидящей. У этого громилы всегда загорелая иль непромытая кожа лица, спина, минуя ворот гимнастерки, переходит прямо в затылок, дровяным колуном взнимающимся к тупому острию, острие это, минуя то место, где быть лбу, сваливается прямо в переносье, переносье же, не успев организоваться в нос, завершается двумя широкими дырами, из которых щетиною торчит волос, срастаясь с малоприметными усами, нависающими над щелью безгубого рта, коий не имеет ни начала, ни конца, расползается от уха до уха. Такой безразмерный рот, способный заглотить жертву шире себя, бывает только у змей. Самое выдающееся на этом лице, самое приметное — подбородок с ямой посередине, напоминающий обвислую бабью жопу.

Но природа же не терпит однообразия и делает иногда снисходительные поблажки тому или иному обществу, льстя роду человеческому, и в правосудие вводит нечто особенное. Совсем противоположное тому типичному, устрашающему облику скоточеловека на сцену клуба двадцать первого стрелкового полка после крика секретаря трибунала: "Встать! Суд идет!" — мелконько перебирая ножками в хромовых сапогах, в гимнастерке, почти достающей подолом до сапог этих, украшенное медалью и красивыми, начищенноблестящими знаками, ступило улыбчивое, румяненькое, как бы даже и кланяющееся народу существо, у него и военное-то звание отступало в сторону, замечалось не вдруг. Мимолетным прикосновением расчески существо это в звании полковника, имеющее совсем мирное, свойское прозвание — Анисим Анисимович, тронуло седую прядку, спадающую на лоб, которая, впрочем, расческе не подчиняясь, снова упала сверху вниз. Председатель трибунала, сощурясь, стал вглядываться в

зал, вид и голосок у него были ласковые, как бы отечески говорящие: эх, ребята, ребята, чем занимаемся? страна кровью обливается, а мы… Только при внимательном пригляде замечалось, что не так уж прост этот дядя. Глубоко отпечатавшаяся скоба спускалась от раскрыльев носа до самого подбородка, в которой залегло уже утомление, имеющее презрительное превосходство над всем остальным людом. Дано будет той скобе на старости лет перевоплотиться в брезгливо-плаксивую гримасу. Простодушный этот, вкрадчивый человек во время суда играть будет в братишку, в этакого уже много горя повидавшего, из-за горя того поседевшего, настрадавшегося от неразумности людской дедушку не дедушку — рановато в дедушки, но уже и не папа и тем более не дядя он, когда расположит к себе людей, окутает обаянием, рассолодит и до слез доведет подсудимого, нанесет короткий разящий удар, и даже не удар, этакий почти незаметный небрежный тычок, от которого валятся с ног самые оголтелые враги и трясут потом головой, соображая, кто его вдарил, может, он сам упал и об пол ушибся.

Но Зеленцов не таких деятелей повидал и улыбочки, шуточки Анисима Анисимовича не принял, не отреагировал на них. Анисим Анисимович усек — работа предстоит нелегкая, не та, на которую он рассчитывал, отправляясь в какой-то занюханный полк перевоспитывать пакостника солдатишку.

Он согнал со своего лица улыбку и, пока секретарша записывала и говорила вечные эти унылые судебные формальности, переходя взглядом с лица на лицо, как бы пролистывая бледные, стертые, трудноразличимые страницы и, несмотря на похожесть, серость армейской массы, этого вроде однородного человеческого материала, находил лица, отмеченные юношеской красотой, умом, дерзостью, нахальством, покорностью, безразличием, озорством. Однако на всех этих лицах, как и всегда, как и везде, где он работал, прочитывались уже привычная настороженность, неприязнь, даже и ненависть. Анисим Анисимович понимал; не к нему лично ненависть, к тому делу, которое он исполнял, была, есть и всегда пребудет она, ибо еще Он — Он! — завещал: "Не судите да несудимы будете!" Но что нынче Он? Да ничто! Отменили Его в России, выгнали, оплевали, и суд здесь не Божий идет, а правый, советский, по которому выходит, что все людишки, наполняющие эту страну, всегда во всем виноваты и подсудны.

Анисим Анисимович свел лопатки под гимнастеркой, поежился и распрямился, выпятил грудь, готовый исполнять свой долг, не Богом, но властью ему предназначенный.

Клуб оробел, утих. Всякий служивый старался спрятаться за спину сидящего товарища, всякий смиренно опускал, прятал глаза от Анисима Анисимовича, покаянно вспоминая, что он успел натворить в армии, сколько, чего и где стибрил. И выходило, что каждого здесь сидящего можно сей момент брать и судить по всей строгости военного времени. Не зря, ох не зря гневаются эти дяди в комсоставской форме — видят они, видят каждого шаромыжника насквозь, дело только в занятости их большой, но наступит срок — разоблачат они, разоблачат всех преступников, подвергнут, осудят, чтоб даже и другим поколениям неповадно было от занятий отлынивать, картошку с морковкой воровать. Председатель трибунала сделал повелительный знак рукой — и в клуб ввели Зеленцова, распоясанного, недавно еще раз под ноль стриженного, да под такой ноль, что белобрысая голова подсудимого сделалась будто вот только что в лоханке до блеска вымытой. Обмоток на Зеленцове не было, в носках он был, добротных, вязанных из козьей шерсти. Молодой боец из минометной роты удрученно вздохнул — из дому в посылке прислала те носки мать, Зеленцов, чтоб ему ни дна ни покрышки, выиграл в карты. Красуется!

С руками за спиной ступил Зеленцов в зал клуба, прошелся до середины зала, остановился, приподняв голову, приветливо улыбнулся всем, стиснув по три морщинки в уголках рта;

— Здорово, ребята!

— Здра-а-асс… — разбродно и неуверенно откликнулся зал, и кто успел прикемарить, начал просыпаться, шевелиться.

— Ну как? — кивнул Зеленцов в сторону трибунала, все не переставая улыбаться, только уже криво, в одном углу рта у него образовалось уже четыре складки, в другом осталось две. — Ну как жизнь, ребята? Не всех еще уморили?

— Ч-что такое? Прекратить р-разговоры! Подсудимый, сесть на место! — вскочила со стула строгая секретарша, и один из конвойных толкнул подсудимого к скамейке.

— Э-э, комсомолец! — зароптал подсудимый. — Обижаешь!..

— Я кому сказала! Товарищи, прекратите смех. Подсудимый, сесть на место! — снова взвилась секретарша.

Анисим Анисимович все так же безмолвно и неподвижно восседал на председательском стуле.

— Лан, лан, не пыли, тетя!.. Без тебя закон знаю, — обернулся к конвоиру Зеленцов.

Зал начал оживляться, предчувствуя веселое представление, служивые совсем проснулись, суд им начинал нравиться. Они надеялись в дальнейшем получить от суда и судей еще большее удовольствие. И не ошиблись. Зеленцов вел себя мятежно. В награду за мужество ему передали из зала зажженную цигарку. Пока председатель трибунала за столом нудил чего-то, пока конвоир догадался вырвать изо рта подсудимого цигарку, он и накурился.

Самое веселое и забавное началось, когда в качестве пострадавшего стал давать показания капитан Дубельт.

— Я тебя? Ударил? Докажи, чем? — гневался Зеленцов.

Бойцы, знающие всю историю наизусть, даже с прибавлениями, замерев, ждали, как капитан с чудной фамилией — уж не немецкой ли? — будет ответствовать о том, как блатняга Зеленцов посадил его на кумпол.

— Мне кажется, он, этот негодяй, ударил меня своей головой.

— Кажется, дак крестись! — посоветовал Дубельту Зеленцов. — Стану я свою умную голову об такую поганую рожу портить!

По залу шевеление, хохоток. Зеленцов обернулся, подмигнул свойски ребятам: то ли еще будет, друзья мои, ждите и обрящете.

— Я прикажу вывести публику из зала! — стукнул по столу вдруг вспыливший председатель трибунала.

— И кого ж ты, дядя, судить будешь? Себя, че ли? — поинтересовался Зеленцов. — Суд-то показательный. Вот и показывай, если есть че.

Феликс Боярчик, призванный в суд в качестве свидетеля, сидел за кулисами, вроде как изолированно от суда, он караулил шинели и шапки приезжего начальства, но все слышал и видел. Оробев вначале от присутствия важных чинов и начавшегося суда, он вовсе пришел в ужас, когда подсудимый начал дерзить, нагличать, но вот словно пронесло над ним волну или

будоражащую тучу, и сам он непокорно, дерзко, правда, про себя и молча, поддержал бунтаря: "Правильно, Зеленцов, молодец, это они понаехали, чтобы окончательно подавить ребят, здешние держиморды уже не справляются со своей задачей, так им в помощь этого вот румяненького... А-а, привык судить забитых, безропотных. Не на того попал!.."

— Правильно, Зеленцов! Правильно! Люди умирают! Довели! — послышалось в зале как бы в продолжение того, что смел Боярчик произнести про себя. Феликс высунулся из-за кулис и увидел, что ребята, наклонившись, чтоб незаметно было, кто из них кричит, ведут полемику с судом.

— Эт-то еще что такое? Эт-то что за базар? — вскинулся полковник. — А ну, товарищи командиры, наведите порядок в зале!..

Зал немного еще погудел и под грозные крики засуетившихся чинов угнетенно, но непокорно утих. Чувствуя, что публика в зале вся сплошь на стороне подсудимого, настроена взрывчато, сжав пальцами виски, какое-то время Анисим Анисимович сидел и думал; что делать? выдворить служивых из клуба? прекратить суд, перенести в другое место? Да суд-то не простой, показательный, имеющий воспитательное действие. Но он столько уже пересудил и пересадил всякого народу, столько его на тот свет отправил, эта казарменная вшивота каши столько не съела, и чтобы перед каким-то уркой, с которым он по самонадеянности своей не познакомился лично до суда, чтобы перед ним и этой серой шпаной, молокососами этими, он, старый, закаленный большевик, спасовал, уронил достоинство родного суда?

— Товарищи командиры! Я прошу вас встать в проходы и крикунов выдергивать. Место их рядом с преступником, на позорной скамье.

Публика разом присмирела, однако Зеленцов не сдавался, вступал в пререкания и твердо доказал, что не садил на кумпол капитана Дубельта, что советский офицер, пусть он и из клуба, не имеет права так себя вести, он вел себя грубо, нетактично.

— А очки? Он же разбил мои очки!

— Я-а? Разбил? Ха-ха! Ты ж сам на них наступил сослепу.

— Может быть, может быть, — жалко лепетал капитан Дубельт, желая, чтобы его поскорее отпустили, не мучали вопросами, поскольку он никогда ни с кем не то чтобы судиться, даже не ссорился. — Я действительно допустил... по отношению...

Зал снова начал оживляться.

"Эх, капитан, капитан, — покачал головой Анисим Анисимович, — добрый ты человек, а обедню портишь. Среди такой сволочи тебе, культурному человеку, существовать..." Анисим Анисимович попросил капитана Дубельта сесть, сам же, встав из-за стола, слезши со своего стула, массивной спиной его подавляющего, и он хорошо это знал, терпеливо ждал полной тишины, дождавшись ее, храня скорбное выражение на лице, заговорил:

— Так-так! Бушуем, значит? Беззаконие творим? — Еще более поскорбев лицом, Анисим Анисимович многозначительно помолчал. — Отчего враг топчет нашу священную землю? — Он снова прервался, и уже надольше, выражение лица его из скорбного перешло в гневное. — Отчего немец этот, фашист проклятый, дошел до Волги? Почему он занял значительную часть нашей территории, сжег села и города, попирает наше достоинство, пьет кровь из наших жен, дочерей, матерей, гонит на виселицы братьев наших и отцов? Да потому, товарищи дорогие, что не прониклись мы высокой сознательностью, не поняли до конца всей опасности, нависшей

над нашей страной, над нашим народом. Вот почему в такой момент, в такое ответственное время особо нетерпимы должны мы быть ко всякого рода нарушениям нашей морали, жизни нашей, порядка, особые же претензии, я повторяю — пре-тен-зии, должны быть к самому себе, прежде всего к самому себе: так ли я себя веду в столь сложное, смертельное для страны время? думаю ли я денно и нощно о защите Родины и своего народа? все ли я отдал? помыслы, силы свои все ли положил на алтарь отечества?

В клубе двадцать первого стрелкового полка наступила гробовая тишина, растерянность, может, даже раскаяние посетило слушателей. Анисим Анисимович потряс чубчиком.

— С-се-ерьезней, товарищи, серьезней надо жить, готовить себя к защите от врагов не только внешних, но и внутренних, серьезней надо относиться к обязанностям своим, а обязанность у нас одна: служить Родине, победить врага... Так-то, мои дорогие... Ну, этот... — мотнул он головой в сторону подсудимого. — Этот... — Анисим Анисимович небрежно махнул рукой и задом упятился к стулу, утомленно водрузился на него.

Речь председателя трибунала возымела именно то действие, на которое он и рассчитывал, — публика была усовещена, подавлена, особенный упор на "алтарь" и на "мы" произвел впечатление, выходило — и он, большой человек, и все маленькие люди, сидящие в зале, объединились одной виной, одной ответственностью перед великой бедой и Родиной, они, выходит, единомышленники, братья, а этот...

"Этот" так ничего и не осознал, никакого братства между собой и председателем трибунала не почувствовал, его не раз еще унимали, предупреждали, усовещивали. Анисим Анисимович уже давно понял, что никакого воспитательного значения суд, как задумывалось умными головами в штабе Сибирского военного округа, иметь не будет, даже наоборот, все разгильдяи в полку приободрятся, разложение будет еще большее, но это уже не его, председателя трибунала, дело. Его забота поскорее и с честью, хоть и поруганной, вынести справедливый приговор, наказать по заслугам более чем дерзкого блатняка, ранее судимого и уже отсидевшего срок, в документах указано — в чем Анисим Анисимович позволил себе усомниться, наметанным глазом отмечая, — нет, не один раз и даже не два бывал за решеткой сей архаровец, возможно, и фамилия Зеленцов не его фамилия, года указаны неправильно, все у него неправильно, надо было следственное дело на доследование вернуть, покопаться в биографии молодого человека, да дел-то, дел невпроворот, хоть по двадцать часов в сутки работай. Молоднячок-то не очень покладистый оказался и так ли развернулся, так ли себя показал! На фронте тоже борьба не ослабевает, садят, садят, садят, стреляют, стреляют, стреляют, но кто же воевать-то будет? Так ведь можно и без кадров остаться. На фронт побыстрее, на фронт, в дело, в мясорубку — там из этого человеческого фарша пельмень, котлета, из кого и боец получится.

Здесь же...

— Именем Советской Социалистической Федеративной Республики...

Стоят — все одинаково серые, с плоскими головами, как бы посыпанные цинковой пылью, смотрят исподлобья, старые, обсопливленные шлемы с тряпичными звездами в руках затиснуты — какая тупая монолитная сила! Какое молчаливое, но остервенелое неприятие всего, что с ними и вокруг них происходит! Это же сколько с ней, с контрой, боролись, расправлялись, увещевали, гоняли, гноили, а она все еще есть, стоит вон, смотрит, дышит — согнуть, заломать, лишить всякой воли, всякой надежды на сопротивление любыми способами, всеми доступными средствами.

— Именем Советской Социалистической...

Блатарь удалой презрительно лыбится. Складки у рта, ранние морщины на лице, в них осела мгла, может, и пыль от дальних дорог и этапов прикипела, не отмывается, — бунтарь-одиночка, разгильдяй, враг! С врагами же в стране Советов еще не разучились управляться, с врагами один у нас разговор:

— К высшей мере...

— А-ах! — волна по залу. Ударилось стоном, эхом в стену, в дверь, в потолок и снова обрушилось на стриженые головы служивых, стиснуло сердце, сделавшееся единым в сочувствии к своему собрату.

"А вы что же думали?! — торжествовал в себе Анисим Анисимович, уже не пытливым, не упрекающим, а открытой ненавистью отяжеленным взглядом окидывая зал. — Ваша взяла? За вами сила и правда? Да пока я жив..."

"Эх, Зеленцов, Зеленцов! Кореш, товарищ, друг, что ж ты на рожон-то лезешь? Разве ты не знаешь, не ведаешь, где живешь? Разве плетью обух перешибешь? Разве тебе неведома доля-участь наших дедов, отцов? Изведут они, изведут эти хозяева жизни кого хочешь, да все по правилам своим, по советским законам, и пуль не пожалеют. Патронов только на врага-фашиста не хватает, на извод же своих соотечественников у Страны Советов всегда патронов доставало, не хватит — у детей последнюю крошку отымут, на хлеб выменяют пули и патроны" — такие вот мысли тревожили, стучались под стрижеными коробками и оседали вглубь, на сердце, на русское давно надсаженное, перенатруженное сердце.

Полковник держал паузу, перебирал бумаги на столе, видно было, как, себя перебарывая, подавляя заматерелую ненависть ко всем и всему против своей воли, наконец он поднес к глазам бумажку.

— Но, проникнутые идеями гуманизма, наша партия, наше правительство, наш самый справедливый в мире суд дают преступнику возможность искупить вину кровью и заменяют расстрел штрафной ротой... десять лет...

Какие-то благородные формальные судебные слова еще читал полковник, но зал уже не слушал его, зал воспрянул, зашевелился, где-то пробно хлопнули, будто на концерте иль на торжественном празднике, тут же шквал шума, рукоплесканий, радостных выкриков сокрушил окаменелую еще минуту назад тишину. "Ура!" — в кулак ухнул Булдаков, но "ура" всеобщего не получилось. Выкрики: "Пор-ря-док, Зеленцов!", "Живы будем — не помрем!..", "В гробу их видели!.." — заглушили все остальное. Зеленцов встал со скамьи и, подняв руку, будто вождь на трибуне, поинтересовался у трибунала:

— Так вы что, десять лет воевать собираетесь?

— Почему вы так решили? Или привыкли к червонцам?

— Или сам воевать пойдешь?

Будь моя воля, я б тебе! — говорил весь вид председателя трибунала. Чувствуя, что не надо бы ввязываться в пререкания с этим отпетым человеком, которому теперь совсем терять нечего, однако не в силах сдержаться, усмирить свой благородный гнев, полковник высокомерно молвил, ткнув перстом в стол:

— Я здесь Родине нужен.

— Р-родине?! Ну-ужен?! — передразнил его Зеленцов. — Как хер кобыле между ног! — И неожиданно сорвался на крик: — Ребятишек судишь! Погоди-и-ы, гнида, погоди-и-ы, еще тебя судить будут...

— Не ты ли?

— И я! И я! Меня не убью-ут, не-эт! Я выживу, выживу! И найду тебя, найду!..

Конвой тащил, пинал, волок из клуба Зеленцова, он, парень цепкий, знавший попок полапистей и построже, вырывался.

— Ты почему здесь? Где фашист, где, где? Их судишь? Их? — тыкал он пальцем в зал и кричал, брызгая пеной, вскипавшей на губах.

— Пра-авильно! Х-ха-ады! — раздался одинокий голос в зале.

На голос рванулись какие-то чины, должно быть, из особого отдела, но тут же упали, запнувшись за ноги. Незаметно, подло их выставляли меж скамьями парни, и что ты с ними со всеми-то сделаешь. Они вон все рожи понаклоняли, спрятались, угляди, кто орет, кто бунтует.

Полковник вместе с судебной обслугой поскорее ретировался за сцену, скрылся за упряжку из четырех вождей. Трясясь от гнева, он на всякий случай грозил и без того полумертвому капитану Дубельту, с которого то и дело сваливались новые, в спешке подобранные очки:

— Н-ну, знаете! Н-ну, знаете! Я этого так не оставлю!

Чтобы поскорее спасти капитана от напастей, Феликс Боярчик, потрясенный судебным действом, бросился подавать шинели военным чинам, и не они ему, а почему-то он им скороговоркой ронял: "Благодарю вас! Благодарю вас!" Анисим Анисимович, приняв шинель и шапку, воззрился на Боярчика, хотел что-то сказать, но тут подскочил адъютант командира полка, козырнул судебному начальству и повел его за собой через запасной выход из клуба. Боярчик подумал, что надо будет все-все описать Софье и как-то приободрить, утешить дорогого своего начальника, капитана Дубельта, разбитого судом.

Выбравшись из клуба, служивые не строились, не расходились, они оттеснили конвой от подводы, хлопали Зеленцова по плечу, совали ему в карман горстью табачишко, бумагу, спички, говорили разные бодрящие слова, на фронте, мол, непременно встретимся, фронт-то ребятам представлялся не шире бердского военного городка.

Зеленцов, как в зале клуба, так и на улице, держался гоголем. Приступ психопатии у него прошел, он шутил, по древнему русскому обычаю приободрял товарищей своих, тоже желал встречи на фронте, скорой встречи, пока совсем не довели их здесь до смерти. Конвой, состоящий из двух человек, слюнявых еще, молодых красноармейцев, топтался возле подводы:

— Ну ребята! Ну дайте уехать! Передать надо подсудимого. Попадет же нам.

Первая и вторая роты возвращались в казарму россыпью, разбродно, не строем.

— З-запевай! — крикнул один из молодых командиров второй роты, организуя строй и шаг.

Но орлы первого батальона, вкусившие вольности, брели смешанно, непокорной толпой, обменивались репликами, и, когда командиришко принялся настаивать насчет песни, из солдатского сборища раздалось:

— Сам пой!

Часть вторая

Глава девятая

Нежданно-негаданно в землянку младшего лейтенанта Щуся пожаловал Скорик. Поздним вечером пожаловал, когда большинство землянок не дымило уже горлышками железных труб, командиры, покинув свои роты, взводы и службы, отогревались чаем, поевши чего Бог послал, где и выпивши водчонки, отдыхали от муштры, забот, пустого рева и бесполезного времяпрепровождения на строевых занятиях, на полигоне, на марш-бросках. Хлопчики двадцать четвертого года, за две недели выучившиеся ходить строем, колоть штыком, окапываться, ползать по-пластунски, делать марш-броски, все более и более охладевали к этим занятиям, понимая, что нигде и никому они не нужны. Пострелять бы им, полежать в окопах под гусеницами, побросать настоящие гранаты и бутылки с горючей смесью. Но вместо подлинной стрельбы щелканье затвором винтовки, у кого она есть, вместо машин и танков макеты да болванки, вот и превращается красноармеец в болвана, в доходягу, поди им командуй, наведи порядок — всюду молчаливое сопротивление, симуляция, подлая трусость, воровство, крохоборство. Люди слабеют — условия в казармах-то невыносимые, скотина не всякая выдержит, больных много, слухи, пусть и преувеличенные, о жертвах и падеже в ротах ходят по полку.

А слухи — это первый признак неблагополучия в хозяйстве. Появилась и стремительно распространяется по казармам ошеломляющая болезнь гемералопия, попросту, по-деревенски — куриная слепота. Не хватает молодым организмам витаминов, главного для глаз витамина А. Чтобы она, слепота эта, не угнетала человека, что казарменная вша, нужно масло, молоко, рыбий жир, морковь, зелень. А где все это добро взять? Кто его припас? Вот и бродят по казармам, держась за стены, человеческие тени, именуя свою болезнь приближенно к месту и времени гемералопией, бродят, словно по текущим облакам, высоко поднимая ноги, шатаясь, падая. И шлялись бы по казармам, лежали бы, что ли! Так нет же, выберутся на улицу, тащатся к помойкам, нащупывают в них очистки, кожуру, жуют грязные отбросы — организм защищается, требует той пищи, которая ему необходима. Иной раз шарясь где-либо, чего-то отыскивая, прячась, ослепленные болезнью люди нечаянно сталкивались друг с другом, не уступая дороги один другому, и вдруг с визгом, плачем схватывались драться, да с такой дикой осатанелостью, что дневальные по казарме или патрули едва их растаскивали.

Ну, конечно, в первую голову гемералопией этой позаболели казарменные артисты, Булдаков бродил, выставив руки, и, возводя очи к небу, твердил: "У бар бороды не бывает". Старшина Шпатор научился быстренько симулянтов разоблачать: "В какой стороне столовая — забыл, памаш?" — и покажет доходяга столовую безошибочно. Да разве всех изобличишь? Переловишь?..

Понимая, что так просто начальник особого отдела полка в землянку взводного не заглянет, Щусь пристально всмотрелся в лицо Скорика, спросил:

— Разговор? Длинный?

Скорик кивнул утвердительно, разделся, попробовал пальцем сучок, оставленный в бревне плотниками, и повесил на него шинель, неторопливо заправил гимнастерку. Убожество землянки, этого еще первобытными людьми придуманного жилища, скрашивал угловик над кроватью, на котором был бритвенный прибор, флакон одеколона и разная мелочишка, необходимая в житье.

Над кроватью висел и чуть колыхался от печного жара соломенный коврик со взлетающими из камышей коричневыми журавлями, с кругляшком на небе, тоже коричневого цвета, быть может, солнышко, быть может, луна. Коврик привезен и как-то еще сохранен с озера Хасан, догадался Скорик. За ковриком, почти уже в углу, была гвоздями пришпилена к бревнам артистка Серова. Была она срисована цветными карандашами на картинку, с гитарой, грустно и доверительно улыбающаяся. Артистка эта украшала почти все офицерские землянки — сим искусством промышлял художник, творивший в клубе еще до Боярчика.

— Водку будешь?

— Немножко.

Щусь откинул приспущенное на койке одеяло. Скорик услышал, как с постели на пол сыплется песок. Под койкой один на другом стояли ящики с посылками. Щусь приподнял фанерную крышку на одном из ящиков, вынул из него поллитровку, кусок вяленого мяса и несколько домашних печенюшек.

— Красноармейские посылки?

— Да. На сохранении. В казарме раскрадут.

— Водкой расплачиваются?

— Да, — ловко, бесшумно выбивая пробку из бутылки, сказал Щусь. — Сами ребята почти не пьют, им пожрать чего, да многие, слава Богу, и не успели научиться. Ну так за что мы пьем? — налив по половине кружки водки, крупно нарезав на газету мяса, спросил младший лейтенант.

— За победу. За чего же еще нам пить-то?

— Ну, за победу так за победу, — согласился Щусь и небрежно, даже с форсом выплеснул водку в рот, размял черствую печенюшку, понюхал сперва, потом стал жевать, наблюдая, как неторопливо, степенно пьет Скорик, все выше и дальше откидывая голову.

— А-ах! — передернулся он и, пожевав мясо, спросил:

— Медвежатина?

— Она. Бойцу Рындину бабка прислала. С этого мяса мускул крепнет. Мужик звереет.

— Спасибо. Звереть дальше уж некуда. Ты на суду был?

— Нет, не был, но наслышан. Парни дня три про еду не говорили, все про суд. Поломали комедию! Перевоспитали народ! Теперь с ними управься попробуй! 0-о-о-ох, му-даки-ы, о-о-о-ох, мудаки-ы!

Скорик, отвернувшись от стола, грел руки над печуркой. В печурке прогорело, гнездом лежал жар, и в гнезде том шевелилась, трепетала, билась подстреленно голубокрылая красавица сойка, в зимнюю пору слетающаяся из лесов на полковые помойки. Самая красивая и самая базарная, драчливая, вороватая птаха в пух и перья бьется со своей более скромной соседкой сорокой, тоже не последнего ума и достоинства птица. Вот и пойми сей бренный Божий мир, осмысли его, полюби. Внезапно потолок землянки захрустел, сверху струями посыпался песок на стол, на печку, на командиров.

— И я вот вам, так вашу мать! — закричал Щусь, грозя в потолок кулаком. От землянки затопали.

— Картошку в трубе пекут, — пояснил Скорику Щусь. — Работает сообразиловка солдатская. Жива армия, еще жива, как показал суд. А что дальше с ребятишками будет?

— Да-а, работает. Удальцы! — Скорик шомполом от винтовки, загнутым в виде крючка, загреб в кучу головешки в печке. — Вот я и пришел поговорить про дальше. Плесни-ка еще по глотку, если не в разор. — И щелкнув пальцами под потолком: — Не пьянства ради, а удовольствия для.

— Я и не думал, что ты пристрастишься.

— Да мало ли о чем мы не думали. О многом мы не думали. А о главном не только думать не научились, но и не пытались научиться. За нас там, — показал Скорик в потолок землянки, — все время думали, ночей не спали.

Стукнувшись кружками, гость и хозяин выпили, пожевали молча, и, чувствуя неловкость от затянувшегося молчания, Щусь начал рассказывать, что медведя завалила в берлоге тетка Коли Рындина, — с детства охотничает тетка, живет одна в тайге, пушнину добывает, зверя бьет, племянник же ее здесь доходит. Его бы дома оставить на развод, как племенного жеребца, чтоб род крепить, народ плодить, но попадет на фронт, если здесь совсем не дойдет, мужик видный, богатырь, — его какой-нибудь плюгавенький немчик и свалит из пулемета или из снайперской винтовки.

— Если раньше не свалит дизентерия. Иль эта самая, как ее, ну, куриная слепота. Вот ведь генерал-заботничек порадел о том, чтобы в желудок бойца больше попадало пищи, а обернулось это для ребят бедой — весь полк задристан. Он что, от роду такой, — посверлил пальцем висок Щусь, — иль недавно у него это началось?

— Он ведь хотел как лучше.

— Все хотят как лучше, но выходит все хуже и хуже. Что это, Лева, почему у нас везде и всюду так?

— Ты думаешь, я про все знаю.

— Должен знать. В сферах вращаешься. Это мы тут в земле да в говне роемся.

— Да, да, в земле и в говне… Вот что, Алексей… — Скорик помолчал, отрезал еще кусочек медвежатины, изжевал. — Ты так и не куришь? С детства не куришь? Вот молодец! Долго проживешь. А я закурю, ладно?

Щусь кивнул и, опершись на обе руки разгоревшимися щеками, не глядящимися в этом первобытном жилище, ждал продолжения разговора.

— Значит, так. Скоро, совсем скоро тебе и первой роте станет легче, значительно легче. Но, — Скорик отвернулся, выпустил дым, покашлял, — но я прошу, предупреждаю, заклинаю тебя, чтоб в роте никаких разговоров, никаких отлучек, драк, сопротивления старшим. Главное, самое главное, чтоб никаких разговоров. Уймите бунтаря Мусикова: что он комсомол цепляет, имя Сталина поганым языком треплет? Это ж плохо кончится. Васконяну скажите, чтоб не умничал — не то место, здесь его сверхграмота, знание жизни руководящих партийцев ни к чему. Шестаков все-таки рассказал ребятам, что кидал в меня чернильницей. Герой! Храбрец!

Не понимает, дурак, что и меня под монастырь подводит. Алексей! — Скорик бросил искуренную папироску в печурку, закурил вторую, ближе придвинулся к Щусю, налег грудью на столик. — Алексей! И до нас докатились волны грозного приказа номер двести двадцать семь. В военном округе начались показательные расстрелы. По-ка-за-тель-ные! Вос-пи-та-тельные! Рас-стре-лы! Понял?

— Что за чушь? Как это можно расстрелами воспитывать?

— Воспитывать нельзя, напугать можно. Средство верное, давно испытанное и белыми, и красными. С этим средством в революцию вошли, всех врагов одолели.

— Та-ак! Дожили!

— Да, да. Дожили!

Гость и хозяин помолчали. Щусь неслышно разлил по кружкам остатки водки, подсунул посудину гостю. Выпили и долго сидели неподвижно. Лампа, стоявшая на деревянной полочке, было запыхавшая от жары и отсутствия кислорода, успокоилась, светила теперь ровно, струя унылый свет сверху, но в землянке с белым пятнышком окошка в стенке, под потолком, все равно было глухо, сумеречно и душно.

— Ты всем командирам предупреждения?

— Только тем, кому доверяю.

— Спасибо.

— Не за что,

— Рискуешь, Лева. В нашей армии насчет доверия в последние годы…

— Дальше фронта не пошлют, больше смерти не присудят. Я ведь тоже прошусь туда, только не так, как ты, другими способами. Пишу рапорты. Четыре уже написал.

— Чего тебе здесь-то не сидится?

— Да вот не сидится. Думаю, что после суда этого дурацкого, многих происшествий в полку, твоих пьяных выходок и демонстраций у штаба полка просьбу мою все же удовлетворят.

— И пошлют в особый отдел фронтовой части. Мешками кровь проливать?

— Необязательно, Алексей Донатович, необязательно. Да и какое это имеет значение?

— Имеет, имеет. Уже в трех километрах от передовой полегче, в тридцати совсем легко.

— Боюсь, что там, под Сталинградом, война совсем другая, чем на озере Хасан.

— Да, пожалуй.

— Боюсь, что ты, Алексей Донатович, мало про меня знаешь, несмотря на давнее знакомство. Боюсь, что неприязнь твоя ко всем тыловикам, и ко мне в частности, не совсем обоснованна. Ты вот даже отчества моего не знаешь. Не знаешь ведь?

— Не знаю? Хо, правда ведь не знаю.

— Соломонович мое отчество. Лев Соломонович, ваш покорный слуга. — Скорик слегка наклонил голову, и как бы давно не чесанные волосы съехали на его массивный, далеко к темени взошедший лоб. — Сирота Скорик по собственной воле, сирота-одиночка, ни родителей, ни жены, ни детей. Родителей предал, жену не завел, детей пробовал делать, может, где-то они и есть, да голосу не подают. Слушай, больше водки нет?

— Нету. Но я могу достать. Живет тут одна...

Не дожидаясь позволения, Щусь голоухом выскочил на улицу. Скорик смахнул с подушки песок, прилег на койку и поглядел на мило улыбающуюся артистку.

— Ну что, товарищ Серова? Как твоя жизнь молодая протекает? Лучше нашей ай нет?

Сообразительный младший лейтенант решил, что ради одной пол-литры бродить поздно вечером по земляному городку и тревожить людей не стоит, занял две. Они со Скориком постепенно обе бутылки прикончили и, по-братски обнявшись, спали на единственной узкой койке.

Щусь по привычке строевого командира проснулся на рассвете, стал готовить себя к дальнейшей жизни. Скорик, получив простор, раскинулся на постели вольготней, похрапывал себе, забыв про службу.

Бреясь безопаской возле печки, макая бритву с лезвием в кружку с горячей водой, Щусь все посматривал на Скорика, все перебирал и перебирал в своей памяти ночной рассказ гостя, еще и еще удивляясь превратностям судьбы.

Папа Скорика, Соломон Львович, всю жизнь возился с пауками. У него была даже маленькая лаборатория, примыкавшая к квартире, в лаборатории той плодились пауки, которых мать Левы Анна Игнатьевна Слохова, урожденная на уральском железоделательном заводе и угодившая замуж за Скорика в смутные и грозные годы гражданской войны, звала мизгирями. И мать, и сын мизгирей боялись, в лабораторию Соломона Львовича заходить брезговали, она была вся в паутине, пахло там тленом, пещерной сыростью и все там было пугающе-таинственно.

Папа писал книгу про пауков, пачками получал труды из-за границы, журналы с переводами его статей, иногда и таинственные пакеты из столицы получал, их почему-то посылали не по почте, приносил их военный с наганом на боку и отдавал только папе лично под расписку.

Деньги за труды папа тоже получал лично, через сберкассу. Анна Игнатьевна, женщина аккуратная, смирная, много читающая, вообще-то не очень вникала в дела мужа, она занималась воспитанием сына, следила за его физическим развитием и всячески оберегала от наук про пауков и прочих тварей — на ниву просвещения она направляла Леву. Он учился на втором курсе университета, на филфаке, когда пришли двое военных и увели папу. Анна Игнатьевна думала, что он через день-другой вернется, так уже не раз было: исчезнет на два-три дня, когда и на неделю, вдруг позвонит из Москвы, просит, чтобы ни о чем дома не беспокоились.

Но вот исчезла из дома и мама, Анна Игнатьевна, потом потянули в строгую областную контору и Леву. Там с ним вели странные разговоры, расспрашивали насчет работы отца, насчет жизни матери и под конец разговора показали записку матери, в которой она сообщила, что оба они с отцом, Соломоном Львовичем, преступники, враги народа, и "ему следует" — мать дважды подчеркнула это слово — отречься от них и выбрать себе любую подходящую фамилию. "Бог даст тебе лучшей доли. Левочка! — писала в конце записки мать.

— Будь достойным человеком. Пусть тебя не мучает совесть. Ты не предатель".

Комнатный мальчик, выросший в достатке, в тишине городской просторной квартиры, не имевший никаких родственников и друзей, он совсем потерял голову и подписал отречение.

А через полгода в столице сместили одного наркома и назначили другого. Леву вызвали в ту же строгую контору и сообщили, что произошла роковая ошибка. Папа его, Соломон Львович, был ученым, работал на военное ведомство, усовершенствуя прицелы пулеметов, полевых и зенитных орудий, был одним из крупнейших специалистов в отечественной и мировой оптике. Он был так засекречен, что вновь всплывшие местные органы, выбившие старые кадры, хорошо учившие их непримиримости и принципиальности, оказались "непосвящены" и не составили себе труда связаться с Москвой, хотя Соломон Львович Скорик требовал этого, топал на органы ногами.

Его быстренько без суда и следствия расстреляли вместе с другими врагами народа. И вдруг строгий запрос: где такой-то? Чтобы жена Соломона Львовича не сказала где, забрали и ее, быстренько увезли и скорей всего тоже расстреляли или так надежно упрятали, что не скоро найдешь. Молодому Скорику объяснено было, что и в местное энкавэдэ просочились враги народа, но они понесли суровое наказание за совершенную акцию против кадрового работника вооруженных сил Скорика Соломона Львовича, приносят извинения его сыну. Если он пожелает, пусть вернет себе прежнюю фамилию, отцовскую, и, как все юноши-патриоты его факультета, целиком поступившего в военное училище, так же беспрепятственно может поступать куда угодно, желательно, однако, в училище особого свойства, где так нужны такие умные и грамотные парни. Что касается матери, Анны Игнатьевны Слоховой, то будут приложены все силы, чтобы вернуть ее домой.

Мать Левы Скорика так до сих пор и не нашли, да и искали ль?

— Но чувствую, чувствую, что она живая и где-то совсем недалеко! — плакал Лева, в отчаянии обхватив голову, все еще лохматящуюся с затылка. — И пока я ее не найду, нет мне жизни. Она где-то здесь, здесь, в Сибири где-то...

Щусь побрился, помылся, прибрал на столе, тронул Скорика за плечо.

— Лева, а Лева! Тебе пора!

Когда Скорик подскочил и протер глаза, объяснил ему:

— За мной скоро дневальный придет. Я подумал, ни к чему посторонним тебя здесь видеть.

— Да, да, конечно, — согласился Скорик и стал обуваться. — Ну и гульнули мы с тобой вчера! — Скорик снизу вверх испытующе смотрел на Щуся.

Тот покивал головою — все, мол, в порядке, ни о чем не беспокойся.

Глава десятая

Лешка Шестаков залег на нары с больными доходягами и постоянными, уже злостными симулянтами вроде Петьки Мусикова и Булдакова.

Кухня! Благодетельница и погубительница загнала Лешку на голые нары, в постылую казарму. Дежурства на кухне солдаты ждали как праздника законного, хотя в святцах и не написанного, но почти святого. Каждой роте выпадало дежурство примерно раз в месяц, тем дороже еще

был праздник, что редок он. Но второй батальон, размещавшийся в соседних казармах, угнали куда-то на ученья или работы, и выпало счастье первой роте дежурить на кухне вне очереди.

Лешку назначили старшим на самый боевой и ответственный участок, в картофелеочистительный цех. Для солдатской похлебки картошку по-прежнему не чистили, но для картофельного пюре овощь снова начали чистить, да не ножами, как прежде, — машинкой с барабаном. Барабан этот состоял из огромной чурки, обитой железом, протыканным гвоздем или пробитым керником. И вот, значит, надо этот дыроватый барабан крутить за ручку, будто точило. Бедная картошка, вертящаяся в цинковом ящике, натыкаясь на заусенцы, должна была терять кожу тоненько-тоненько, чтобы продукт без потерь попадал в котел. Картошка получалась исклеванная, в дырках вся, с одного бока чищенная, с другого нет, крахмал ведрами скапливался на дне корыта.

Повращав сей хитрый прибор часа два, дежурные спросили у старшего сержанта Яшкина, ответственного за дежурство на кухне:

— Кто эту херню придумал?

Яшкин не мог назвать имени изобретателя, не знал его. Полагая, что паршивцы придуриваются, волынят, понарошку неправильно обращаются со сложным агрегатом, чтоб его повредить, сам повертел ручку — результат был еще более удручающим, потому что ребята вертели барабан вдвоем в две руки, резвее гоняли картофель по кругу, от вмешательства Яшкина механизм вовсе заклинило, помкомвзвода велел переходить на обработку картошки старинным способом, стало быть, ножом.

Пока-то нашли ножи, пока-то их наточили; пока-то чистильщиков изловили, шарясь по столовой, назначили на грязную работу из разных команд, время ушло. Головной кухонный отряд из поваров, дежурных командиров дал первое предупреждение: "Если к завалке в котлы картошка не будет вымыта и начищена — Яшкину несдобровать, с него шкуру спустят".

У Яшкина ничего, кроме шкуры, и нету, да и шкура-то никуда негодная, на фронте продырявленная, от болезни желтая. Полевая фронтовая сумка, хворое тело и слабая внутренность, едва прикрытая тлелой, должно быть, еще на позициях нажитой шинеленкой, — вот и все имущество помкомвзвода. И чтобы не утратить последнее свое достояние, помкомвзвода сулился в свою очередь содрать шкуру с работяг, если они, негодники такие, сорвут ответственное задание. А работягам с кого шкуру снимать?

Тем временем опытные, уже участвовавшие в кухонных битвах и боевом промысле, бойцы шныряли по кухне, тащили кто чего, прятали, вели обмен продукции. Воровство начиналось с разгрузки и погрузки. Если разгружали мясо, старались на ходу отхватить складниками или зубами кусочек от свиной, бараньей, бычьей, конской туши — все равно какой. Если несли в баке комбижир, продев лом под железную дужку, сзади следующий грузчик хлебал из бака ложкой, потом головной переходил на корму и хлебал тоже, чтобы не обидно было.

— Да что же вы делаете? — возмущались, увещевали, кричали на ловких работников столовские. — Обдрищетесь же! Вы уже каши поели, из котлов остатки доели, ужин свой управили, маленько подюжьте, картошка сварится, всем по миске раздадим, по полной, с жирами...

Никакие слова и уговоры не действовали на ребят, они балдели от охватившего их промыслового азарта. Ослепленные угаром старательского фарта, они рвали, тащили что и где могли, пытались наесться впрок, надолго. К середине ночи половина наряда бегала к

столовскому нужнику, блевала, час от часу становясь все более нетрудоспособной.

Самое главное начиналось под утро, когда с пекарни привозили хлеб в окованной железом хлебовозке. Хлеборезы, работники столовой, дежурные командиры, помощники дежурных выстраивались коридором, пропуская по нему в столовую вниз по лестнице до самых дверей хлеборезки людей, разгружающих хлеб. В протянутые руки работника складывались свежие караваи с бело выступившей по бугру мучной пылью, с разорвавшейся на закруглениях хлебной плотью, соблазнительно выпятившейся хрусткой корочкой. Пахучая хлебная лава, еще теплая, только-только усмиренная огнем — великое чудо из всех земных чудес, — вот оно, близко, против глаз, выбивающее слюну, желанное, мутящее разум, самое сладкое, самое нежное, самое-самое.

Но украсть никак нельзя, отломить корку нечем — караваи накладывают на вытянутые руки так, чтоб было под самое аж рыло. Откинув голову, тащит булки оглушенный близостью счастья человек. У самого носа хлеб! Сытным духом валит, всякой воли, всякого страха лишает. И никаких окриков не слыша, никаких угроз не страшась, рвет парняга по-собачьи каравай зубами, его в затылок кулаком лупят, пинкарей отвешивают, но он рвет и рвет — вся пасть в крови от острых твердых корок, иной возьмет да еще и упадет, раскатав караваи по лестнице. Что тут сделается! Схватка и свалка, бой начинается. Спохватятся дежурные, соберут буханки, глядь-поглядь — нету разгильдяя, сотворившего поруху, и вместе с ним утек каравай. И горько, конечно, обидно, конечно, бывает, когда начальник хлеборезки — самое главное лицо в полку — надменно объявит:

— Кто шакалил, пасть кровавая у кого, тому в роту отправляться. Кто вел себя по-человечески — добрая горбушка тому! — И сам лично длиннющим ножом-хлеборезником раскроит хлебушек, кушайте на здоровье.

Лешка заработал на разгрузке добрую горбушку хлеба, отломил кусочек художнику Боярчику, согнанному после суда над Зеленцовым с теплого творческого места и тяжело переживающему в одиночестве эту утрату. А тут еще лютая тоска по Софочке. Боярчик поблек и почемуто перед всеми ребятами испытывал чувство вины, залепетал вот слова благодарности, глаза у него как-то повлажнели — воспитанный в забитой, навеки запуганной семье спецпереселенцев Блажных, он ни ширмачить, ни украсть не умел. Лешка хлопнул Фелю по спине: "Да лан те. Че ты? Все свои..." Казахи, четверо их на кухне было по главе с Талгатом, которого не то в насмешку, не то всерьез соплеменники стали звать киназом, получив хлебца, оживились:

— Пасиб, Лошка, болшой пасиб, са-амый замечательный продухция килэп. — Они упорно учились понимать и говорить по-русски, поднаторев, готовы были болтать без конца, потому как "нашалник Яшкин" им внушал: все команды на войне подаются на русском языке, вдруг случится так, что им скомандуют "вперед", они побегут назад — хана тогда им. Слово "хана" ребята-казахи запомнили сразу, Яшкинанашалника звали они Хана. Чуть чего — начнут себя хлопать по бедрам, будто птицы крыльями: "Ой-бай хана! Псыплет нам нашалник Ха-на".

Хлеба поели и усекли: жолдас Лошка Шестакоб, старший по наряду в овощном отсеке, варит картошку в топке "с-селое ведро!", — и запели ребятишки-казахи, довольно выносливый и компанейский народ, искренне и бурно радующийся дружеству, умеющий ценить внимание к себе и всегда готовый отвечать тем же: "Ортамызда Толеген коп жил отти. Нелер колип бул баска, нелер кетти агугай..." Пели казахи в сыром, полутемном кухонном полуподвале, усердно при этом трудясь, нашалник Хана, разъяренно примчавшийся на звук песни, готовый давать всем разгон за безделье, прислонясь к дверному косяку, измазанному, исцарапанному носилками с картошкой, усмиронно думал: "Вот тоже люди, поют о чем-то своем, работают исправно, послушными и толковыми бойцами на войне будут. Вон как они быстро вошли в

армейскую жизнь, болеть перестали..."

Тут жолдас Лошка Шестакоб жару поддал, приободряя, крикнул:

— Громче пойте! Скоро картошка сварится! Ребята-казахи рады стараться;

Ай-ын тусын онынан

Жулдызын тусын солын-нан...

На картошке той распроклятой, самим же сваренной, Лешка и погорел. Хорошо сварилась картошка, прямо в ведре истолкли ее круглым сосновым полешком; какой-то делягапромысловик, завернувший на огонек, налил работягам полный котелок жиру под названием лярд, не за так, конечно, налил, в обмен на картофельную драчену. В толченую картошку всяк лил жиру сколько душе угодно, песельники-казахи пожадничали было, но киназ Талгат рыкнул на них, и отвалили песельники от котелка с жиром, стоявшего на чурке.

Лешка плеснул разок-другой в картошку лярда — ни запаху от него, ни вкуса, главное, не видно, есть, нет жир в картошке, какое свойство этого продукта, никто толком не знал. Лешка взял котелок за дужку и вылил остатки лярда, схожего с закисшим березовым соком, в свою миску с картошкой.

— 0-ох, Лошка! — предостерег его киназ Талгат. — Мал-мал жадничать, много-много в сартир бегать.

— Да ниче-о-о-о! У северян брюхо закаленное, строганину едим, рыбу иль мясо мороженое настрогаем и с солью, с перчиком. Мужики еще и под водочку — только крякают.

И закрякало! Узнал северянин с закаленным брюхом свойства хитрого химического продукта: которые сутки днем и ночью, штаны не успевая застегнуть, соколом носится на опушку леса к редко вбитым кольям.

Почти весь наряд, бывший на кухне, носится, и он не отстает.

— О, пале! — всплескивал руками киназ Талгат. — Шту я тибе, Лошка-жолдас, говорил? На вот, жуй трава, полын называется, от всякой болезн трава, хоть шыловек, хоть баран лечит...

Лярд этот самый клятый, объяснили Лешке знатоки, делается из каменного угля, никакой от него пользы и прибыли в организме нету, обман один и только, одна видимость питательного продукта.

Раскорячась, сходил Лешка на речку Бердь, настрогал черемуховой коры, чагу отрубил; к разу в посылке Коле Рындину бабушка Секлетинья прислала корней змеевика и листья зверобоя — полк-то вселюдно несло с нечищеной картошки, ребята укреп требовали с тыла. Целое ведро травяной горечи и коры напарил в дежурке Лешка. Полегче стало, но еще скулило в животе, на улку потягивало — хорошо подежурил на кухне, славно пошакалил!.. Чего это он? Тоже опустился, сжадничал? Дома мать бескишочным звала, есть-пить насильно принуждала — плохо растет.

Да этот еще, нашалник Хана, помкомвзвода-то! Не разозли он Лешку, так, может, ничего бы и не было. Приперся в овощецех среди ночи. Там после сытной еды все сморились, спят, согревшись картохой горяченькой, — кто в углу на картошке, кто на скамейке, казахи так даже подобие юрты из ящиков соорудили, сопят себе, кочуя во сне по родным казахским степям,

поспали бы — так горячее за дело взялись, справили бы работу ладом. Лешка, понимая, что всем поголовно спать нельзя, как старший наряда крутил барабан, иль его барабаном крутило — шлеп-шлеп-шлеп, шлеп-шлеп-шлеп, так и ведет в сон эта музыка, так бы вот и лег на пол, но лучше на дрова возле печки, там тепло, сухо.

— Эт-то что такое? Мать-перемать! — налетел Яшкин. Ну и голос у человека! Пикулька и пикулька из медвежьей дудки — дома такие вырезали, с дыркой у рта и с одним отверстием для пальца: дунешь — она и запищит, воды нальешь — брызгается. — Шестаков, почему у тебя люди спят?

— Хотят, вот и спят.

— А завалка?

— Какая? Куда завалка?

— В котлы. Я, что ли, обеспечивать буду завалку?

— Да успеем мы, успеем! Поспят ребята да как навалятся...

Лешка при этих словах так сладко, так широко, да еще с подвывом зевнул, что психопат Яшкин принял это за насмешку, за издевательство над старшим по званию и толкнул Лешку. Полусонный от сытости, утомленный работой жолдас Шестаков плохо держался на ногах, полетел по подсобке, ударился грудью о бочку, угодил руками в грязь, намытую с картошки, в лицо ему плеснуло, глаза едкой жижей залило. Утерся Лешка рукавом, прозревая, видит: Яшкин казашат пинками будит, матерится, визжит. Те в углы спросонья ползут, в картошку норовят закопаться.

— Зашым дырошса, нашалник? Зашым жолдаса обижашь? Советскым армиям так нелзя! Закон ни знать?! — просыпаясь, вопили ребята-казахи, по-русски вопили, сразу в них знание русского языка пробудилось.

— Так вы еще и пререкаться, бляди!

— Сам ты билядь! — почти по-казахскому тонко, сорванно завопил окончательно очнувшийся Лешка и, схватив черпак из бочки, ринулся на Яшкина да и огрел его по башке черпаком.

Все бы ничего, да Лешка скользом по морде "нашалнику Хана" угодил, расцарапал его шибко, потому что черпак тоже с дырочками был, с заусенцами железными.

Яшкин умылся холодной водой, остановил кровь и, уходя, пообещал:

— Ну погодите, шакалы, погодите! Я вас... Законы они знают...

Работяги-казахи чистили картошку, виновато вздыхая, качали головами:

— Ой-бай! Ой-бай! Хана, сапсым хана. Мы виноваты, Лошка, сапсым спали, картошкам чистить прекратили.

— Сгноит он тебя, Лешка! — сказал вовсе оробевший Феликс Боярчик. — В штрафную роту загонит, как Зеленцова.

— Лан, лан, не дрейфь, орлы! Живы будем — не помрем! — хорохорился Лешка.

Ребята-казахи вместе с киназом Талгатом, с жалостно глядящим Боярчиком ходили по кухне за Яшкиным, в угол его прижимали:

— Не пиши бумашка, нашалник Хана, на Лошку. Нас штрафной посылай. Куроп проливат.

— Да отвяжитесь вы от меня, ради Христа! — взмолился Яшкин. — Спать надо меньше в наряде. Снится вам всякая херятина. Я на дрова упал в потемках, мать ее, эту кухню!..

— Прабылно, прабылно! Свыт подсобка сапсым плохой, дрова под ногами. Ха-ароший нашалн-иик Хана, са-апсым хароший. Как нам барашка присылают, мы половина отдаем тебе.

— Да пошли вы со своим барашком знаете куда?

— Знаим, знаим, харашо-о знаим, са-амычательно русским язык обладиваим.

Никогда у Лешки не было столько подходящего времени, чтобы жизнь свою недолгую вспомнить, по косточкам ее перебрать. Случалось, возле чучел, карауля уток, часами сидел, вроде бы где и думать про жизнь, где и вспоминать, но то ли жизни еще не накопилось, то ли одна мысль была, про уток, да пальбы по птице ожидание, ничего в голове не шевелилось, ни о чем думать не хотелось, скользило все над головой, кружилось, как те табуны крякшей над заливными лугами — жди, когда сядут.

И вот дождался! Сели!

Отец у Лешки был из ссыльных спецпереселенцев, большой, угрюмый мужик, из хлебороба переквалифицировавшийся в рыбака. Как и многие спецпереселенцы, потерявшие место свое на земле, детей, жен, борясь со своей губительной отсталостью, неистребимой тягой к земле, ко крестьянскому двору, к труду, имеющему смысл, в конце концов он устремился к оседлой жизни здесь, на Оби, начав ее с приобретения хозяйки, высватав жену простым и древним способом: поставил в Казым-Мысе ведро вина и увез с собой совсем еще плоскую телом девчонку полухантыйского-полурусского роду-племени. Сначала они жили в Шурышкарах, в рыбкооповском бараке. Затем долго, в одиночку, отец рубил избу на отшибе от поселка, возле илистого Сора, потом баню рубил — в общественной бане не хотел мыться из-за креста, который он никогда не снимал, за что порицался передовой общественностью. Срубив избу, баню, стайку и загородив подворье жердями, отец на этом посчитал свои хозяйственные обязанности исполненными. С рыболовецкой бригадой он месяцами пропадал на Оби. Возвращался еще более угрюмый, съеденный комарами, в коросте на лице от гнуса; зимой на подледном промысле знобился, нос и щеки в черных бляхах. Если зимой вернется, вывалит среди избы из мешка мерзло стучащих муксунов; если летом — просунув пальцы в трубой вытянутый рыбий рот, прет через плечо матерого осетра и с хрястом бросает его тоже среди избы. У осетра хлопаются жабры, шевелятся вьюнами обвислые щупы-усы, смотрит он мутнеющим, пьяным взором укоризненно: что, дескать, с вами сделаешь? попался — ешьте, на то я и рыба. Влезши за пазуху под олубенелую телогрейку, отец нашаривал там грязную тряпицу с завязанным в ней комом бумажных денег и бросал узел на стол. И все это молчком, ни на кого не глядя, одно слово — кулак, мироед, чуждый идеям пролетариата, как говорили в школе и на собраниях в сельсовете.

В доме сразу становилось тяжело, опасливо. Лешка, чернявый волосом, с природной смуглостью, с беззаботным характером — от матери, — потихоньку-полегоньку смывался из дому и появлялся уж в тот момент, когда надо идти с отцом в баню. Матери, Антонине, достались от северного климата слабые легкие, она не выдерживала жаркой бани.

Хотя отец не жаловался на хвори и вообще ни на что не жаловался, ни о чем ни с женой, ни с

сыном не говорил, в бане, однако, не скрывал боли, лаял неизвестно кого и за что, гнул его ноги, бугрил, уродовал кости вечный спутник северных рыбаков — ревматизм. Поначалу он растирал ноги горячим жидколистным веником, бросал на каменку пробный ковш воды, сидел, ждал, когда расшипится, будто боец, сосредоточивался перед атакой, готовился к схватке, затем хлопал ковша три-четыре подряд на охающую, взрывами вскипающую каменку и, заорав: "А-а-а в кожу мать!" — бросался ныром на полок и начинал истязать себя двумя вениками до того, что терял всякий контроль над собой, улюлюкал, завывал, охал, крякал, выражался при этом столь громко и виртуозно, что черный потолок бани вот-вот должен был обрушиться на осквернителя слова, веры, материнской чести. От чернословья, от робости, его охватившей, да чтоб совсем не задохнуться, Лешка приотворял дверь, высовывал наружу голову, ловил мокрыми губами сладкий воздух. Но с полка раздавался приказующий рык, и Лешка со всех ног бросался к кадушке с водой, слепо тыкая в нее, на ощупь попадал в воду, сдавал на каменку, думая, что, наверное, конца этому действу никогда не будет.

Но постепенно могучая стихия сдавала, отец сникал на полке, два-три раза пускал храп, от которого в керосиновой лампе гнуло огонек, затем, по-детски всхлипнув, ощупью спускался с полка на нижнюю ступеньку, разводил в шайке воду. Костлявый, с клешнястыми руками, как бы в надетых на них кожаных рукавицах, облепленный листом, пахнувший березой и дымом, отец натирал Лешку вехтем, старался делать это полегче, но все равно больно драл кожу чугунными мозолями, словно царапал ногтями оголившиеся кости, проходя по ребрам что по стиральной доске.

— Ты че такой худой-то? — осоловело-отмякло гудел он. — Ты ешь, парень! Ешь, крепче будешь. — И обработав мальчишку, окатив его мягкой водой, спокойно, но грустным уже голосом добавлял: — Расейскому мужику надо быть крепким. Ево такая сила гнет, што слабому не устоять.

Однажды отец не вернулся домой в урочное время. Его ждали до зимы. С севера, с Обской губы, возвратились рыбацкие катера с лихтерами, принесли весть: была буря, утонула целая бригада рыбаков и вместе с нею бригадир Павел Шестаков. Отца в широкой воде так и не нашли — замыло его и связчиков-рыбаков вязким обским илом, иссосали его шустрые обские налимы иль выбросило на один из бесчисленных островов и там расклевали его птицы. Что унес в своей скрытной душе отец — вызов, бунт, непокорность или так никому и не высказанную доброту? Но Лешка помнил редкую ласку отца и слова его о том, чтоб больше ел и крепче был, тоже помнил, ныне вот и осознавать их глубокий смысл начал — припекло. Да чтоб он хоть еще одну осечку сделал!..

Лешка подрастал, шастал по тайге за ягодой, кедровыми шишками, лежал день-деньской на мосточках, ловя проволочной петелькой шургаев-вертешек, чтобы тут же их бросить собакам, ждущим подачек от своих мучителей и союзников. Мать поступила работать в рыбкооп. Дом теперь стоял на Лешке — не до игрушек стало. Меж делами Лешка вдруг обнаружил, что мать помолодела, вроде бы даже и похорошела. Неужто радовалась гибели отца и тому, что гнет кончился? От такой мысли морочно на душе Лешки становилось — это ж предательство, может, и того хуже...

В дом зачастил приемщик рыбы, известный по всей Нижней Оби шалопай с прозвищем Герка-горный бедняк, получивший свое знатное прозвище за то, что однажды на спор будто бы выпил он десять бутылок настойки "Горный дубняк" — и не помер.

"Из дому уйду!" — пригрозил Лешка матери.

Но на нее уже ничего не действовало. Она ошалела — девчонкой отдали ее замуж, не погуляла

она, не помиловалась, почти пропустила, извела понапрасну молодость и вот наверстывала упущенное, в двадцать семь лет брала от жизни ей жизнью и природой положенное.

Зимой Герка-горный бедняк работал экспедитором в рыбкоопе, на засольно-коптильной фабричонке, по совместительству преподавал военное дело в школе. Кроме того, ухорез этот, погубитель женского рода, писал стихи на чередующиеся праздничные темы, к патриотическим датам, про любовные дела и чувства тоже не забывал. Его стихи печатали в районной газете, и они потрясали сердца шурышкарцев, школьники-старшеклассники, учительницы, которые помоложе, заучивали их наизусть. "Я у знамени стою и присягу охраняю" — патриотическое стихотворение это было поставлено на сцене в виде спектакля-монтажа, с барабанным боем, с ревом горна и развевающимся над головами пионеров красным знаменем. Стихотворение "Мне видишься ты темными ночами зарницей яркою на алом небосводе" шурышкарцы пели на мотив "Здравствуй, мать, прими привет от сына". Сверх всего этого Герка-горный бедняк участвовал в художественной самодеятельности в качестве конферансье и солиста. Дивились шурышкарцы на разностороннее развитие человека — по одной земле ходит, в одной столовке ест, даже деревянный туалет, накренившийся над Обью, один и тот же посещает, но вот поди ж ты! Угостить вином, пригреть в избе, да и просто пообщаться с Геркой-горным бедняком всяк шурышкарец почитал за большую честь. По нынешним временам у такого молодца-вундеркинда поклонниц было бы не меньше, чем у восточного богдыхана, так что и работать бы он в конце концов вовсе бросил, только бы наслаждался жизнью. Однако до войны бестолковей люди, что ли, были, малоизворотливы, совестливы, все пытались жить не песнями, а своим полезным трудом, иные не без успеха. Что касаемо душевных дел и привязанностей, тут лишь сама душа имела решающее значение. Сама она, страдалица, направляла чувства в надлежащую сторону.

Конечно, у Герки-горного бедняка поклонницы водились, большей частью дамочки из культурной среды либо приезжие на лето студентки, но на веки вечные и полностью суждено было ему заполнить сердце Лешкиной матери Антонины. Стоило шурышкарской зимней ночью появиться Герке-горному бедняку на позарями освещенной, заснеженной улице с баяном на груди и почти по-заграничному загадочно в нос выдать сценически отточенным тенорком:

Х-хэх, у меня е-эсть сэ-эрдце,

Ха-а у сэ-эрдца ие-эс-ня-а-а,

Ха у пе-эс-ни та-ай-на-а-а...

Х-хочешь, отгада-ай... —

как мать теряла всякий рассудок, бегала из угла в угол, вороша содержимое кладовки и сундука, не зная, во что бы ей нарядиться, чтобы выглядеть всех красивей. В конце концов горный этот бедняк прочно обосновался в крепко рубленной избе за Шурышкарами, которые, впрочем, бурно разрастаясь, почти уже достигли окраинного дома, сделали загиб от берега Оби улицею вдоль сора и вместе с сором уходящей в клюквенное болото.

Герка-горный бедняк принес с собою в ящике из-под консервов пару модных штиблет, запутанные рыбацкие снасти, флакон с духами, несколько патефонных пластинок, под мышкой мандолину. В доме сделалось шумно, музыкально. Антонина, почти не имеющая слуха, летала по избе, подпевая Герке, беспечно-удалая стала она, всем все прощала и в самом деле помолодела, сняв с себя этот вечный хантыйский платок, ровно бы век копченный над огнем и сделавшийся неопределенного цвета. А глаза с искрой, с бесом, пляшущим в зрачках, скулы продолговатые обнажились, губы бруснично заалели, под ситцевым платьишком, топыря его

спереди и сзади, обозначилось небольшое, но ладное тело.

Явившись домой, Лешка часто заставал такую картину — сидят Герка-горный бедняк с матерью обнявшись, веселенькие, от людей отъединенные, всем на свете довольные и во всю-то головушку ревут: "И в двух сердцах открылась эта тайна, и мы влюбились крепко, не шутя..."

В избе было три комнаты, разделенных дощатыми перегородками. Одна из них сама собой отошла Лешке. Перейдя из дневной в вечернюю школу, пристроившийся учеником в узел связи, с выпрыснувшими по щекам пупырышками и крылатыми усиками под носом, прыщавый, злой Лешка ворочался в смятой постели, слыша, как, задушенная совершенно невероятными силами, мать грозила своему кавалеру, иль невенчаному мужу.

— Я тебя и себя запласну! Разделочным ножом.

— Эй, молодые, — стучал грубо и громко в заборку Лешка, — дайте покой людям!..

Утром мать, строча по сторонам раскосыми хантыйскими глазами, из ореховых перекрасившихся в задымленные, ладилась разговориться с Лешкой, подсовывала ему послаще еду, а Герка-горный бедняк, вертясь перед зеркалом с бритвой, как ни в чем не бывало кричал из передней:

— Эй, сынуля! Подкинь папироску. Я свои искурил.

Весной молодые ушли по Оби на рыбоприемочном плашкоуте, Герка-горный бедняк приемщиком, мать резальщицей, разделочницей рыбы. И стали они на весь сезон где-то на Оби, притулив свое суденышко к подмытому, комарами опетому берегу, возле летнего стойбища хантов. С тех пор летами Лешка хозяйничал в доме сам один, пристрастился читать книжки, полюбил связистское дело и начал потихоньку от родителей отвыкать. Родители же, предоставленные сами себе в маленькой беленькой каюте с кирпичной печуркой и занавесочками на окнах, кушали хорошую рыбку, икру, песенки на всю Обь орали и под песни сотворили сестер, за один сезон одну — Зойку, за второй сезон вторую — Веру. Сотворили было и третью, но очень трудно было уже и с этими двумя девчонками, не считая Лешку, и та, третья сестра, не увидав света, уплыла в верхний мир, объяснили Лешке родители.

Девочек, Зою и Веру, беспечные родители сбыли-таки в Казым-Мыс к деду и бабке, и они явились под крышу родного дома уже "поставленные на ноги". Белобрысые — в папу, темноглазенькие — в мать, чего-то лепечущие, игровитые, до удивления дружные существа эти вызывали в Лешке какие-то неведомые, должно быть, родственные чувства. Девочки тоже любили Лешку, но больше всего на свете любили они добродушных, лохматых северных псов. Отец Антонины держал в Казым-Мысе свору псов — для охоты и для упряжки. Девчушки, привыкшие к своим собакам, лезли к любому псу с обниманиями. Овчарка начальника райотдела милиции чуть не загрызла до смерти Зою, попортила ей лицо. Лешка и сейчас помнит, да что помнит — вживе ощущает, как, прижавши ко груди, носит он по избе существо с забинтованным лицом, из ссохшихся бинтов с упреком и страданием спрашивают его, пронзают насквозь детские опухшие глаза: "За что? Что это такое? Это такая жизнь?" С того вот несчастья, от того взгляда пробудилась в Лешке жалость к сестрам, да и они, нуждающиеся в его помощи и защите, хоть и малые, тоже чего-то понимали, тянулись к нему и друг к другу. Изгрызенная собакой девочка вскочит ночью, закричит... другая девочка уж тут как тут, приложит ладошку ко лбу болезной и сидит, сидит у кровати, безропотно ей прислуживая. Родители ж ничего, дрыхнут. Встанет заспанная мать, посмотрит на малышку и, зевая, скажет: "Ниче-о-о, отойдет".

Махнул Лешка рукой на родителей — худая на них надежда, собой заняты. Папаша сделал одно-единственное важное дело — сразил озверелую овчарку из винтовки школьного военного кружка и посулился сделать то же с самим хозяином, если он сей момент не покинет Шурышкары. Начальник милиции не покинул Шурышкары, но и в суд, как сулился, не подал за незаконное применение огнестрельного оружия. Два боевых человека, два важных чина распили где-то литруху-другую — и дело завершилось миром. А в остальном Герка-горный бедняк не испытывал никаких тревог и неудобств, также и семейных оков на себе не ощущал. Антонина устала терзаться ревностями, бегать за мужем по поселку. Лицо ее снова погасло, сделалось похожим на деревянную маску, какие встречались в лесу на северных становищах, снова курила, когда папиросы, когда и трубку, снова завесила лицо пологом дымно-коричневого платка, старалась быть ближе к дочкам, но те ее долго дичились, льнули к Лешке.

На войну Герка-горный бедняк ушел не сразу, как военрука его задержали на время, на сборы, на фронт он угодил уже в зимнюю кампанию, под Москву, где получил орден Красного Знамени. Прислал карточку, на которой стоял он, облокотившись на деревянную тумбочку, в казацкой кубанке, с орденом, полученным на фронте, и со значком БГТО, завоеванным еще в Шурышкарах. В петлице его прилепился ярким светлячком кубарик. Очень любил Герка-горный бедняк разные железки, знаки, значки. Глаза героя глядели ясно, прямо и приветливо. Мать измусолила всю карточку, уверяя девочек, но больше всего себя, что такой человек, отец, стало быть, ихний, такой красавец, никогда и нигде не пропадет, а как вернется домой, так всех любить будет после окопных страданий и невзгод, что и сказать невозможно.

"Папа наш! Папа наш!" — вперебой с мамкой целуя карточку, умилялись девчушки и норовили утащить от матери ту карточку под свою подушку. Полагая, что война, как и сулили большие люди, скоро и победно кончится, мать бросила курить, чтоб посвежеть к приезду знатного супруга. Ведь сам герой в редких своих, зато стихами писанных письмах заверял коротко, но твердо: "Бьем врага без всякой пощады!"

Уразумев, что не все еще его уму доступно на этом путаном свете, Лешка, перешедший на пушной промысел в тайгу, написал первое письмо Герке-горному бедняку, шутливое, непринужденное письмо. Только в одном письме Герка-горный бедняк перешел со стихов на прозу:

"Мать не бросай и не обижай. Она и от меня обид много поимела. Она у нас совершенно чудесный человек, но понял я это лишь в пучине жестокой огненной битвы... Надеюсь, что и Зою с Верой ты никогда не оставишь".

И заныло у Лешки в груди, и только теперь, после этого письма, понял он, что война идет нешуточная, когда она кончится — одному Богу известно, и вернется ли с войны Герка-горный бедняк, родитель их непутевый, никто не знает.

Школьницы Зоя и Вера писали крупными тараканьими буквами на тетрадных четвертушках: "Дорогой наш братик! Мы живем хорошо. Учимся хорошо. Койра ощенилась. Белянка отелилась. Кот-бродяга имает пташек. Мама на работе. Дома все хорошо. В Шурышкарах стоит холодная зима. Мы возим на санках воду с Оби. А какая погода у вас? Целуем крепко-крепко, твои сестры — Зоя и Вера, да еще мама велела целовать!"

Господи, что бы он только не сделал, чтобы повидать сестренок и мать! Кажется, как прижал бы к груди и не отпускал бы, воды бы им полную бочку навозил. Какие они еще работники? Совсем вроде бы по сроку, по дням-то и месяцам, недавно из дома, но кажется — век прошел. Кажется все прожитое и пережитое в далеких милых Шурышкарах таким дивным, таким обворожительным сном. Ему почудилось даже, что последнее письмо имело запах, ощутимо

пахло детским теплым дыханием, слабым молочным духом веяло, и Лешка, отвернувшись, тайно поцеловал письмо, два раза поцеловал там, где писано было — "Зоя и Вера", поцеловавши, почувствовал мокро на глазах и тайно же поругал себя: "Ну вот, раскис! Чего и особенного-то, в самом-то деле? Все служат. У всех семьи дома остались, матери, сестры, может, и братья есть. Кабы не расхвораться совсем, не ослабнуть. Отец, тот, настоящий, свой, чего говорил? Какой завет давал?"

Мать прислала в наспех кем-то сколоченном ящике мороженых сигов, туесок с икрой, табачку и орехов мешочек. Письма же никакого, даже записки не было — "что, если сестренки заболели? Корью? Кашлем? Не дай Бог, поносом?" — встревожился Лешка.

Лежа на жестких нарах с ноющим животом, пытался представить он себе родные Шурышкары, широкую Обь, объятую белой тишиной, пересыпающейся искрами. Больших морозов еще нет, неглубоки еще снега, еще бывает красная заря вечерами, проступает в небе тяжелой глыбой из жуткой, запредельной отдаленности голокаменный Северный Урал. Но к середине декабря не станет зари, неба над головой, все займет собой морозная ночь, только сполохи на небе будут напоминать, что есть верхотура над землею, не укатился шарик в сумрачный, безгласный угол, который дышит недвижным холодом из мироздания. Огоньки в окнах шурышкарцев едва светят сквозь мерзлые окна, и на те огоньки движутся на яр, тащат-везут две маленькие фигурки лагуху с водой, привязанную к салазкам.

Видел как-то Лешка в хрестоматии на картинке детей, везущих кадушку с водой, лица бледные, испитые, сил нет, лишь собачонке, бегущей вослед возу, весело. Под картинкой подпись: "Так было в проклятом прошлом". Какую же подпись ставить под картинкой, если нарисовать Зою и Веру, взбирающихся на гору, на голос динамика, надышавшегося холодом, обмерзшего изнутри, железным ртом шебаршащим о наших грядущих победах на войне и о героическом труде в тылу.

В разжиженной сполохами темноте только динамик да треск дерева и слышны, только они и подтверждают, что в студеном мороке есть дома, живут там люди, говорит радио, — корова Белянка ждет воды на пойло, кот-бандит — молока, собака Койра, прикрыв животом щенят, припавших к сосцам, больно их перебирающих, ждет остатков еды со стола.

Среди шурышкарских парней считалось хорошей затеей сходить на кладбище, посидеть на одной из могил, выкурить трубку табака, в завершение еще всадить в бугорок нож.

Если учесть, что на кладбище этом, притулившемся у истока сора, средь болотного сосняка, затянутого голубикой, багульником и морошкой, однажды всю ночь ходил светящийся "шкелет" и каждый раз, как заляжет ночь в округе, среди крестов начинает что-то ухать, завывать, красный мрак мерещится, пронзая тьму, то станет ясно, что на шурышкарское кладбище сходить решался не всякий.

Лешка сходил, нож воткнул. Правда, не с первой попытки сходил, зато спугнул средь могил шлявшуюся с железной плошкой, полной раскаленных углей, местную колдуньюхантыйку Соломенчиху. В зубах у нее трубка, седые волосы выпущены на оленью комлайку. "У-ух! — стала она пугать Лешку, тыча в нос ему светящейся плошкой. — У-у-ух! Комытай-топтай-болтай!" — и закрутилась на одном месте, трясла лохмотьями, соря искрами с плошки...

Соломенчиха бесшумной тенью вползла в казарму первого батальона, взнялась на нары первой роты, села, ноги колесом. Лешка потянул руку к трубке. Она шлепнула его по руке: "Неззя, — заскрежетала зубами, — беркулезница я". Сплюнула, высморкалась в подол юбки. Кости Соломенчихи брякнули, будто кибасья сетей. Лешка вспомнил — Соломенчиха-то давно

померла, сюда, в расположение первой роты, на нары, пробрался только "шкелет", но трубка у нее еще та, с медным ободком, которую положили с колдуньей вместе в могильный сруб. Еще ей туда положили три папухи листового табака, пачку денег, чтобы Соломенчиха могла сходить в сельпо, когда ей захочется опохмелиться, в изголовье, где было прорублено окошечко, — ханты в могильном срубе делают окошечки, чтоб видно было охотников, идущих с добычей, слышался бы лай собак, — поставили стакан водки. К березкам, невысоко, но густо поднявшимся над кладбищем хантов, прислонили старые нарты, повесили медный чайник, бутылку с дегтем, чтобы Соломенчиха могла намазаться, когда начнет подниматься мошка, от комаров же спасения нет и на том свете.

Ребята пробрались на кладбище хантов. Водка в стакане была почти выпита. Соломенчиха в коричневом платье, в истлелом платке, сквозь который проткнулись седые космы, лежала спокойно, трубку крепко держала на груди в почерневших пальцах.

"Ты зачем пришла сюда? — спросил Лешка Соломенчиху. — Здесь военная казарма. Нечего тебе здесь делать". Соломенчиха вынула трубку из беззубого рта, сплюнула, сиплым от табака голосом сказала: "Ха! Мне ничего не страшно. Я — колдунья. Это тебе страшно. Ты — живой!.." Она потянула из гаснущей трубки — одуряюще сладко запахло табаком. "Деляги впритырку курят на нижних нарах", — ответил Лешка, и ему тоже неистребимо захотелось курить. "Ну дай ты мне, Соломенчиха, хоть разок потянуть. Никакого туберкулезу я не боюсь. Тут вон и похлеще болезнь пристала!" — не дает старуха потянуть. Он попытался вырвать трубку из зубов старухи, начал бороться со скелетом, оторвал с трубкой костлявую голову. Но тут Соломенчиха изловчилась, трубку выдернула из зубов своей головы, спрятала руку за спину. "Че делаешь, сатана? Отдай час же башку мою! Мне говорить нечем..." Взяла Соломенчиха голову, приставила куда надо, смежила глаза, начала раскачиваться, петь заунывно-тоскливым голосом северной пурги. Из воя, хлопанья и порывов ветра складывались внятные звуки: "Ох, Олексей, Олексей! Зачем ты украл звезду с могилы Корнея-комиссара? Ты дразнил меня вместе с шурышкарскими парнишками, напущал собак, они меня драли. Я старая, хворая, червяк точит мою середку..." "Я больше не буду, — принялся каяться перед горькой старухой Лешка, поднялись у него слезы, закупорили горло, дышать нечем. — Звезду я не сламывал. На меня свалили. Скажи, кто взял звезду дяди Корнея?" — "Сторож с причалу. Он враг народа был, долго звезду ломал. Искры летели, огонь сыпался. Припадки бить его начали. Корней-то все ходил за ним: "Отдай мою звезду! Отдай! Не тебе, а мне партия на могилу звезду прикрепила..." Без звезды могила потерялась. Все кладбище со звездами и крестами потерялось. Темно в Шурышкарах. Электричество не работает. Карасин берегут. На детях малых воду возят".

Вернулся с войны безногий брат покойного Лешкиного отца, который прежде работал шкипером на дебаркадере. Это мать в письме сообщает. Она приняла его в дом. Он жил в Лешкиной комнате, сапожничать выучился, пьяный в бане запарился, по обмыленным доскам скатился с полка на каменку, ожегся, умирая, кричал; "Пусть звезду мне на могилу выстрогают..."

— Доходяги! Хворыя! Симулянты! Весь честной народ, подъем на ужин!..

"О-оо, матушки! — очнулся Лешка. — Такой хороший сон прервали, обалдуи!"

Первой военной зимой Лешка с бригадой охотниковпромысловиков ушел в тайгу добывать дикое мясо и пушнину. К пушнине утратился интерес, она упала в цене, однако ее все же принимали, сказывали — для Америки, там все еще наряжаются в дорогие меха.

Бригада уехала в глубь материка, поселилась в заброшенном станке возле речки Ох-Лох.

Промысловики поставили сети и на другой день едва их вывели из-подо льда — так много попалось рыбы. Использовали рыбу на накроху в ловушках, иначе говоря — на приманку зверей.

Удача сопутствовала бригаде. Пока снег был неглубок, промысловики свалили два десятка оленей, пару сохатых, медведя в берлоге застрелили. В загороди, в петли, поставленные в лесу, дико лезла птица — куропатка, глухарь, в пасти — песец, лиса, горностай. Зверь ровно чуял войну, жил неспокойно, много бродил в эту зиму по тайге. Охотники же были на войне, никто тайгу не тревожил.

В январе бригада снарядила олений оргиш на приемный пункт. Нарты были тяжело нагружены мясом, шкурами, рыбкой едовой — чира, пелядки, сига тоже взяли мужики "на закусь". Сдав мясо и пушнину, давно не видевшие людей промысловики, еще не хватившие военной голодухи, загуляли по древнему обычаю — широко, разудало. В ту первую военную зиму водилась еще водка в бутылках по здешним городкам и селениям, нужды еще большой ни в чем не было — северный завоз, сделанный весной, до начала войны был, как и в прежние годы, без раскладок, ограничений, однако карточки на хлеб появились и здесь.

На приемный пункт заготпушнины мужики отправили Лешку. Молодого еще, костью жидкого, они не неволили его тяжелой работой и пока ворочали, таскали на горбу мясные туши, парень из сум и мешков выкладывал пушнину на жиром сверкающий прилавок с облупившейся краской.

Красивая, но отчего-то унылая деваха в беличьей шапке, в сером свитере, кутающаяся еще и в пуховую шаль, безучастно смотрела, как он перед ней потряхивал богатствами, такими плавучими, воздушными. Не считая беличьих связок, приемщица ставила цифры на бумагу, кивком указывала, куда, в какой угол швырять это руку радующее добро.

Лешке сделалось обидно: знала бы, ведала эта краля, сколько труда и пота надо употребить, чтобы отыскать, добыть и обиходить шкурки, которые обратятся золотом, на то золото оружие купят, продуктов, снарядов, амуниции. Но хотя он и сердился, на душе было все равно празднично оттого, что вышел из тайги на люди, что сдает пушнину, — результат труда целой бригады, что электричество горит в бревенчатом лабазе, еще пронырливыми тобольскими купцами построенном.

— Тебя хоть как зовут-то?

— Томой.

— А меня Лешкой.

Девица зевнула, потянулась, под мышками на свитере обнаружились у нее дырки, в дырки видно голенькое тело в пупырышках, со скатавшимися на них волосиками.

— У меня в пушном техникуме друг был, — хлопая ладошкой но зубастому рту с вялыми, резиново растянувшимися губами, сообщила деваха и, подышав на руки, стала выписывать квитанцию. — Тоже Лешей звали.

— Ты бы хоть одежду-то зашила.

— Что?

— Свитру б зашила, говорю. Обленилась тут и мышей не ловишь.

— А-а, свитр? Я на фронт хочу! — вдруг сердито заявила приемщица и громко хлопнула штемпелем по квитанции. — Что мне свитр? Что мне это заведение? В медсестры хочу! Раненых с поля боя...

— В кино не хочешь?

Сразу оплывая, успокаиваясь, деваха снова зазевала.

— Десятый раз "Трактористов" смотреть? Да я уж и левшу Крючкова и белоглазую Ладынину возненавидела! А прежде обожала... — Она пристально и, как ему показалось, оценивающе — так пушнину бы глядела! — всмотрелась в него. — Знаешь что, работник-охотник! Приходи-ка ты ко мне в гости. Чайку попьем, разговоры поразговариваем. Ты мне свитру... зашьешь, а? — Она подмигнула ему, дурашливо засмеявшись при этом.

Жила приемщица здесь же, в теплой половине лабаза, где прорублено два окна, одно на восход, другое на полдень. Окна обросли непроницаемо-толстым ледяным панцирем. Теплушка была чисто побелена, пол выскоблен, на алеющей плите шипела сковородка, подпрыгивала крышка на чайнике, с подоконника в подвешенные бутылки текла натаявшая вода.

Тома, в ситцевом коротком платьишке, в оленьих унтах, расшитых голубыми и вишневыми полосками да стеклянным бисером, хлопотала в своем жилье. Настороженного, напряженно-скованного гостя Тома встретила приветливо:

— Ну, раздевайся, охотничек-работничек, чего стоишь? В ногах правды нет. Пить будем и гулять будем, а смерть придет — отдыхать будем! — притопнула Тома красивым унтом.

"Она тоже стесняется", — догадался Лешка, но бывала Тома на людях больше, все же в городе училась, друга, говорит, имела, постарше все ж его, шурышкарского паревана.

Накрепко закрючив дверь на железный кованый крюк, Тома достала из-под занавески настенного шкафчика бутылку спирта с наклейкой, попросила Лешку распечатать напиток и развести. Лешка быстро сделал то и другое, опасливо подсел к столу, довольно богато заставленному: здесь были овощные консервы, копченый омуль и стерлядка, вяленая обская селедочка, жареная картошка с мясом, брусника и морошка моченая. "На фронт захотела! — усмехнулся Лешка. — Кто тебя кормить там эдак станет?!.."

Они чокнулись, и, задержав свой стакан возле его стакана, волоокая чернобровая Тома вновь ему подмигнула:

— За все хорошее, охотничек-работничек! — Выплеснув в рот спирт, как бы вдохнув его в себя, Тома охотно пояснила: — В пушном техникуме к таежным испытаниям готовилась. — И опять ему подморгнула.

Она играла с ним, ровно бы заманивала его в потаенное местечко. Еще не попав туда въяве, но зная, чего там его ждет, Лешка уже трудно дышал, терялся, оттого и утратил словоохотливость, мысли его куда-то ускользали, не задерживаясь на месте.

В Шурышкарах не считалось предосудительным давать детям вино, натаскивать их в этом деле уже году на десятом, так что к шестнадцати-семнадцати годам шурышкарский пареван умел уже все: ходить на лодке, управляться с сетями и на сенокосе, промышлять в тайге, пить водку, любить и бить бабу. Оттого и жил шурышкарский мужик на белом свете недолго, но уж зато наполненно, в большом удовольствии.

Лешку как-то миновала всеобщая шурышкарская зараза. Ну не совсем миновала, покойный отец приневоливал его, заставлял отведать горючки, хвалил за храбрость, называл настоящим мужиком, но отец бывал дома два-три раза в год. Герка-горный бедняк, слава Богу, не обращал на пасынка внимания, он сам выпивал все, что можно было выпить, оттого-то Лешка к вину по-настоящему не обвык. Приняв у Томы враз полстакана спирту, он поплыл по волнам в гибкое, шатучее пространство, тошнотным теплом его обволакивающее.

— Ты ешь, ешь, — слышалось издалека сквозь навязчиво зудящую препону.

Вместо того чтобы есть, Лешка, притопнув, воскликнул:

— Я петь хочу! Плясать хочу!

— Мамочка моя! — послышалось снова издалека, — Да с чего плясать-то?

— Мы будем петь и смеяться, как дети!.. — звонким фальцетом затянул Лешка и, намерясь снова притопнуть ногой, повалился со скамейки.

— Э-э, охотник-работник! Да ты еще совсем сеголеточек! — помогая подняться кавалеру, качала головой Тома. — А ну поди сюда, поди, маленький! Поди, хорошенький! Поди, черноглазенький!

Она подвела гостя к кровати, села на постель, положила его голову на колени и, перебирая жесткие хантыйские волосы, шарясь в них, покачивала гостя, наговаривала певуче-нежное: "На горе во лесу хуторочек стоит, как во том хуторочке красна девица спит..."

Лешке было хорошо, душа его в те минуты жила такой покойной жизнью, так была переполнена свойским уютом, домашностью, что он, никакого усилия над собой не делая, протянул руку и погладил по волосам певунью, показалось ему, коснулся беличьего меха, теплого, хвоей пахнущего.

И все, что произошло у них потом, было так же хорошо, естественно, никакого чувства омерзения Лешка не испытал, проснувшись рядом с Томой в чистой постели, под одеялом, на которое сверху был брошен еще толстый олений сокуй.

Тома спала, приоткрыв розовые губы, дышала ровно, на шее запутались ее пышные волосы. Почувствовав его взгляд, она дрогнула губами, открыла глаза, полежала, подышала. "Полежи, охотник-работник, понежься", — похлопав по одеялу, сказала она, скользнула из-под одеяла, передернулась от холода, сунула босые ноги в унты, набросила на рубашку сокуй, прихватила его возле горла и стала растапливать плиту.

Он украдчиво, в один глаз следил за ней, не мог еще поверить, что с ним свершилось то, о чем много болтают мужики, чем тревожится во сне и бредит наяву всякий здоровый подросток. Свершилось так вот просто. По-новому, радостно живет его душа, облегченно, успокоенно тело. Чувством торжественной победы пронизана каждая клеточка, каждая кровинка в нем. И все это дала ему неизвестно за что вон та женщина, то создание, обернутое в оленьи шкуры, которое, растопив печь, сидит на кукорках, смотрит в огонь и думает о чем-то своем, сощурив, в общем-то, совсем не волоокие, скорее печальные и усталые глаза.

Надо было что-то сделать, куда-то увести девушку от глухой задумчивости, прихватившей ее у печки, отвлечь, приласкать. Лешка ступил босыми ногами на холодный пол, подкрался и схватил Тому сзади за теплую мягкую шею. Сняв его руки с шеи, она поместила их под сокуем на груди.

— Пусть согреются, — прошептала.

Было благоговейно тихо, даже таинственно. Лешка начинал постигать в ту минуту высокий смысл естественной жизни — весь он, этот смысл, состоит в ожидании таких вот встреч, есть в ней, в жизни, незыблемо-вечное, и все может сотворить только женщина. Счастье, добро — все, все на свете в ее жертвенности, в ее разумности, приветной нежности.

— Спасибо тебе! — едва слышно прошелестел он, коснувшись губами маленького уха Томы.

Еще два дня и две ночи пировали промысловики, еще двое суток уюта и счастья было у Лешки. Распрощались они с Тамарой так же, как и встретились, без лишних слов, без вздохов и обещаний. Она проводила его до зимника, сбегающего на Обь. Он отодвинул прорезь сокуя с лица, улыбнулся ей, помахал рукой — белая пыль заклубилась следом за нартами, навсегда запорошив девушку, которая подарила ему лучшие в его жизни дни.

Он пробовал ей писать отсюда, из запасного полка, она отозвалась. Но в письмах Тома была скучна, жеманна, складно-вымученна, совсем, совсем не такая, как на самом деле. Первоначально, пока не дошли парни до ручки, рассказывали они, у кого и как было в первый раз, некоторые успели жениться, но все, и женатики, и холостяки-удальцы, и вольные кавалеры, почему-то говорили о первой близости с женщиной как о поганом грехе, со срамцой, непременно употребляя какое-нибудь скотско-грубое сравнение.

Большинству парней рассказывать было не о чем, не случилось у них еще первого раза, у многих уже и не случится.

У Лешки хватило ума и северного характера, склонного к потаенности, не оскорбить словом того, что летучим облачком коснулось его жизни, отлетело в тот уголок памяти, где должны храниться у человека личные ценности. Ничего плотского, телесного Лешка уже не помнил. Тело, оно, как и составная его часть — брюхо, добра не помнит, однако в памяти, в уголке том дальнем таилось сделавшееся частью его воспоминание, и суждено ему было сохраниться навсегда. Но для того, чтобы до конца это осознать, понадобится нахлебаться досыта грязи, испытать гнетущий груз одиночества, походить под смертью, чтоб после наверняка уж себе сказать: у мужчины бывает только одна женщина, потом все остальные, и от того, какая она будет, первая, зависит вся последующая мужичья судьба, наполненность души его, свойства характера, отношение к миру, к другим людям, и прежде всего к другим женщинам, среди которых есть мать, подарившая ему жизнь, и женщина, давшая познать чувство бесконечности жизни, тайное, сладостное наслаждение ею.

Глава одиннадцатая

Как ни береглись в ротах, как ни наказывали разгильдяев, как ни убеждали людей проникнуться ответственностью времени — ничего не помогало, дисциплина в полку падала и падала. Множилось количество больных гемералопией и еще больше тех, кто симулировал болезнь. Люди устали от казарменного скопища, подвальной крысиной жизни и бесправия, даже песня "Священная война" больше не бодрила духа, не леденила кровь и пелась, как и все песни, поющиеся по принуждению, уныло, заупокойно, слов в ней уже не разобрать, лишь завывания "а-а-а-а" и "о-о-ой" разносились по окрестным лесам и по военному городку.

Дожили до крайнего ЧП: из второй роты ушли куда-то братья-близнецы Снегиревы. На поверке перед отбоем еще были, но утром в казарме их не оказалось. Командир второй роты лейтенант Шапошников пришел за советом к Шпатору и Щусю. Те подумали и сказали: пока никому не завлять о пропаже, может, пошакалят где братья, нажрутся, нашляются и опять же глухой

ночью явятся в роту.

— Ну я им! — грозился Шапошников.

На второй день, уже после обеда, Шапошников вынужден был доложить об исчезновении братьев Снегиревых полковнику Азатьяну.

— Ах ты Господи! Нам только этого не хватало! — загоревал командир полка. — Ищите, пожалуйста, хорошо ищите.

Братьев Снегиревых, объявленных дезертирами, искали на вокзалах, в поездах, на пристанях, в общежитиях, в родное село сделали запрос — нигде нету братьев, скрылись, спрятались, злодеи.

На четвертый день после объявления братья сами объявились в казарме первого батальона с полнущими сидорами. Давай угощать сослуживцев калачами, ломая их на части, вынули кружки мороженого молока, растапливали его в котелках, луковицы со дна мешков выбирали. "Ешьте, ешьте! — по-детски радостно, беспечно кричали братья Снегиревы. — Мамка много надавала, всех велела угостить. Кого, говорит, мне кормить-то, одна-одинешенька здесь бобылю".

— Вы где болтались? — увидев братьев, обессиленный, все ночи почти не спавший, серый лицом, как и его шинель, без всякого уже гнева спросил у братьев Снегиревых командир второй роты.

— А дома! — почти ликующими голосами сообщили братья Снегиревы. — Че такого? Мы ж пришли... Сходили... И вот... пришли... А че, вам попало из-за нас?

— Но в сельсовет села был сделан запрос.

— А-а, был, был, — все ликуя, сообщили братья. — Председатель сельсовета Перемогин тук-тук-тук деревяшкой на крыльце, мамка лопоть нашу спрятала, обутки убрала, нас на полати загнала, старьем закинула, сверху луковыми связками, решетьем да гумажьем забросала.

— Чем-чем? — бесцветно спросил Шапошников.

— Ну гумажьем! Ну решетьем! Ну это так у нас называется всякое рванье, клубки с тряпицами, веретешки с нитками, прялки, куделя...

"Пропали парни, — вздохнул Шапошников, — совсем пропали..."

— Потеха! Председатель Перемогин спрашивает у мамки: "Где твои ребята?" — "Служат где-то, бою учатся, скоро уж на позиции имя..." — "Ага, на позиции, — согласился председатель сельсовета Перемогин. — Вот только на какие?" Мы еле держимся на полатях, чтобы не прыснуть.

В особом отделе у Скорика братья Снегиревы были не так уж веселы, уже встревоженно, серьезно рассказывали и не вперебой, а по очереди о своем путешествии в родное село, но вскоре один из братьев умолк.

— Корова отелилась, мамка пишет: "Были бы вот дома, молочком бы с новотелья напоила, а так, что живу, что нет, плачу по отце, другой месяц нет от него вестей, да об вас, горемышных, всю-то ноченьку, бывает, напролет глаз не сомкну..." Мы с Серегой посовещались, это его

Серегой зовут в честь тятькиного деда, — ткнул пальцем один брат в другого. — Он младше меня на двадцать пять минут и меня, как старшего, слушается, почитает. Да, а меня Еремеем зовут — в честь мамкиного деда. Именины у меня по святцам совсем недавно, в ноябре были, у Сереги еще не скоро, в марте будут. До дому всего шестьдесят верст, до Прошихи-то. И решили: туда-сюда за сутки или за двое обернемся, зато молока напьемся. Ну, губахта будет нам... или наряд — стерпим. Мамка увидела нас, запричитала, не отпускает. День сюда, день туда, говорит, че такого?

— Вы откуда святцы-то знаете?

— А все мамка. Она у нас веровающая снова стала. Война, говорит, така, что на одного Бога надежда.

— А вы-то как?

— Ну мы че? — Еремей помолчал, носом пошвыркал и схитрил: — Когда мамка заставит — крестимся, а так-то мы неверовающие, совецкие учащие. Бога нет, царя не надо, мы на кочке проживем! Хх-хы!

"О Господи! — схватился за голову Скорик и смотрел на братьев на моргая, ушибленно, а они, полагая, что он думал о чем-то важном, не мешали. — О Господи!" — повторил про себя Скорик и подал братьям два листка бумаги и ручку.

— Пишите! — выдохнул Скорик. — Вот вам бумага, вот вам ручка, вот чернила, по очереди пишите. И Бог вам в помощь! — Отвел глаза, отвернулся к окну от присадисто-крепких рыжеватых братьев, различия у которых при пристальном взгляде все же имелись: старший был погуще цветом, и черты лица у него немножко крупнее, выразительней, на кончике правого уха махонькой сережкой висела бородавочка. Шрамов еще штуки на три было больше у старшего: лоб рассечен — падал с коня или с качели, порезался головой о стекло, катаясь по траве, губа рожком — в драке или в игре досталось.

Пока братья писали по очереди и старший, покончив свое дело, вполголоса диктовал младшему, говоря: "Че тут особенного? Вот бестолковый! Пиши: "Мамка, Леокадия Саввишна, прислала письмо с сообчением, отелилась корова..." — Скорик глядел в окно, соображая, как защитить братьев этих, беды своей не понимающих детей, как добиться, чтобы суд над ними был здесь, в расположении двадцать первого полка. Здесь ближе, в полку-то, здесь легче, здесь можно надеяться на авось. Может, полковник Азатьян со своим авторитетом? Может, чудо какое случится? И понимал Скорик, что бред это, бессмысленность: что здесь, в полку, что в военном округе в Новосибирске — исход будет один и тот же, заранее предрешенный грозным приказом Сталина. И не только братья — отец пострадает на фронте, коли жив еще, мать как пособница и подстрекательница пострадает непременно, дело для нее кончится тюрьмой или ссылкой в нарымские места, а то еще дальше.

Серега сосредоточенно, напряженно работал, прикусив кончик языка, добросовестно под диктовку Еремея излагая свое злодеяние. За окном шла обыденная полковая жизнь, ходили строем и без строя солдаты, окуржавелые, неестественно мохнатые кони на подсанках везли обледенелый лес с реки, следом, держа ослабленно вожжи, шли, курили, сморкались солдаты в полушубках, велось строение новых казарм, на одном срубе ставили стропила, по-домашнему распоясанный крупный солдат с усами пошатал стропилину, наклонившись, что-то подколотил топором. Из кухни на помойку дежурные пара за парой выносили грязные бачки, выливали помои на темносерую островерхую гору. Мутное, по-весеннему бурное мокро катилось вниз, подшибая птиц, чего-то клюющих в месиве; грязным потоком тащило капустные листья,

переворачивало ржавую бочку без дна, трепало тряпье, рваный ботинок, стекло блестело, жесть. Над помойкой на сосняке грузно висели старые вороны, чистили клювы и лапы о сучья. Молодые же все подлетали, подскакивали, чего-то выхватывали из потока. Пестрые сороки и нарядные сойки тут же безбоязненно вертелись, отпархивая от воронья, тоже чего-то излавливали и, шустро отпрянув с добычей в сосняк, клевали с бою взятое.

Двое обношенных, на бродяг больше похожих, но не на строевых солдат, вели под руки третьего по направлению к санчасти. Капитан Дубельт, скользя хромовыми сапогами по утоптанной, стекольно-гладкой дорожке, спешил куда-то, посторонился, пропуская солдат, покачал головой и заскользил дальше, придерживая одной рукой все еще не обмененные очки, другой рукой взмахивая в воздухе, чтоб не упасть.

— Все, товарищ старший лейтенант. Написали мы. — Скорик вздрогнул. Еремей, аккуратно сложив две бумажки, тянул их через стол, угодливо, через силу улыбался. — Уработались! Аж спотели! — И все улыбался Еремей, все искал глазами глаза Скорика. — Непривышные мы к бумажной работе, нам вилы, лопаты да коня бы.

— Хорошо. Посидите. — Скорик пробежал по бумаге, с ошибками, неуверенным, школьным почерком исписанной, потянулся было к ручке, чтоб исправить совсем уж явные ошибки, и тут же отдернул руку: там, в высоких, строгих инстанциях, поймут, что писали малограмотные, несмышленыши еще, люди, не понимающие ни грозности времени, ни своего положения в нем, вчерашние школьники писали, деревенские люди, газет не читающие, никаких приказов не знающие. Может, проникнутся… — Распишитесь вот здесь, — ткнул пальцем старший лейтенант в бумагу ниже куцего, на четвертушке бумаги уместившегося текста.

Братья старательно расписались, сидели, праздно положив крупные жилистые руки, так не совпадающие с доверчивыми, простодушными лицами, подернутыми цыплячьим пушком. Скорик убрал бумагу в конверт, заклеил его, написал адрес военного округа, номер отдела, куда надлежало отправить этот конверт вместе с братьями. Они сидели, все так же чинно держа руки на коленях. Скорик вдруг бросил конверт, схватил через стол братьев Снегиревых, стиснул руками их головы, тыкался в их лица своим лицом.

— Что же вы наделали, Снегири?.. Ах, братья, братья! Ах, Снегири, Снегири!.. Ах…

Их приговорили к расстрелу. Через неделю, в воскресенье, чтобы не отрывать красноармейцев от занятий, не тратить зря полезное, боевое время, из Новосибирска письменно приказали выкопать могилу на густо населенном, сплошь свежими деревянными пирамидками заполненном кладбище, выделить вооруженное отделение для исполнения приговора, выстроить на показательный расстрел весь двадцать первый полк.

"Это уж слишком!" — зароптали в полку. Командир полка Геворк Азатьян добился, чтобы могилу выкопали за кладбищем, на опушке леса, на расстрел вели только первый батальон — четыреста человек вполне достаточно для такого высокоидейного воспитательного мероприятия — и присылали бы особую команду из округа: мои-де служивые еще и по фанерным целям не научились стрелять, а тут надо в людей.

Братьев Снегиревых привезли в полк вечером и определили в помещение гауптвахты. Служивые из первой и второй рот, обуянные чувством братства и виноватости, пытались проникнуть к арестантам, погутарить с ними, развеять их тягостное настроение, съестного сунуть — табаком и выпивкой братья Снегиревы еще не баловались. Но охрана приехала исчужа, в новое одетая, орет, свирепо затворами винтовок клацает. Бойцы двадцать первого полка к этой поре обрели уже большой опыт пронырливости и непослушания. Пока великий

мастер всевозможных обдуваловок Леха Булдаков ругался с охранниками, заговаривал им зубы, ребята с другой стороны землянки выдавили рукавицей стекло, закатили в окно пяток вареных картошин, забросили завернутый в бумаге кусочек сала да и поговорили маленько с братьями: мол, спите спокойно, дурачат вас, никакого расстрела не будет, пострашают, помучают, а как же иначе-то? И пошлют в штрафную роту, как Зеленцова...

Скорик стоял чуть поодаль, среди командиров батальона и представителей штаба полка. Сам батальон, построенный буквой "П" подле мерзлой учебной щели, строя не держал, разбивался на стайки, поплясывая, покуривая. Видно было, что ни командиры, ни батальон не прониклись чувством беды, потому и могилу наряд не выкопал, прошакалил, у костра прогрелся, слегка оцарапав стены щели, сдал ее в пользование все в той же уверенности, что братьев Снегиревых подержат возле щели, холостыми пальнут да и отправят на фронт. Зачем же и за что убивать людей, да таких еще зеленых? От них может польза быть на войне и дома, в крестьянстве.

Был тут один человек, который твердо знал, что братьев пустят в расход, — это помкомвзвода Владимир Яшкин, но и чином и ростом он так мал, что ни Скорик, ни другие командиры не обращали на него внимания и тем более не догадывались ни о чем его спросить. Яшкин и топтался-то поодаль, в стороне, и одно-единственное чувство владело им: все равно не миновать братьям Снегиревым кары, не в том месте они находятся, не в то время живут, когда царь-батюшка миловал приговоренных к смерти государственных преступников уже на помосте, с петлями, надетыми на шею. А раз так, то скорее бы все и кончалось, шибко холодно на дворе да и неможется что-то, знобит с вечера, не расхвораться бы. В этой большой могиле, беспечно именуемой Чертовой ямой, запросто пропадешь.

Яшкин повидал кое-что пострашнее, чем расстрел каких-то сопливых мальчишек. Под Вязьмой или под Юхновом — где упомнишь? — свалка по всему фронту шла, видел он выдвинувшуюся за неширокую, но глубокую пойменную речку танковую часть, которой надлежало обеспечить организованный отход и переправу через водную преграду отступающих частей, дать им возможность закрепиться на водном рубеже. Яшкин да и все отступающие войска очень обрадовались броневой силе, поверили, что наконец-то дадут настоящий бой фашисту, остановят его хотя бы на время, а то так с самого прибытия на фронт мечутся да прячутся, бегают по земле, стреляют куда-то вслепую. Танки, занимая позиции за рекой ночью, все сплошь завязли в пойме, и утром, когда налетела стая самолетов и начала прицельно бить и жечь беспомощные машины, командир полка или бригады со штабниками и придворной хеврой бросили своих людей вместе с гибнущими машинами, удрали за речку. Танки те заскребены были, собраны по фронту, большинство машин чинены-перечинены, со свежими сизыми швами сварки, с царапинами и выбоинами на броне, с хлябающими гусеницами, которые, буксуя в болотной жиже и в торфе, посваливались, две машины оставались и после ремонта с заклиненными башнями. Танкисты, через силу бодрясь, заверяли пехоту: зато мол, боекомплект полный, танк может быть использован как вкопанное в землю забронированное орудие.

Но с ними, с танкистами и с танками, никто не хотел сражаться, их били, жгли с неба. Когда черным дымом вастелило чахло заросшую пойму и в горящих машинах начал рваться этот самый полный боекомплект, вдоль речки донесло не только сажу и дым, но и крики заживо сгорающих людей. Часть уцелевших экипажей вместе с пехотою бросились через осеннюю речку вплавь. Многие утонули, а тех, что добрались до берега, разгневавшийся командир полка или бригады, одетый в новый черный комбинезон, расстреливал лично из пистолета, зло сверкая глазами, брызгая слюной. Пьяный до полусмерти, он кричал: "Изменники! Суки! Трусы!" — и палил, палил, едва успевая менять обоймы, которые ему подсовывали холуи, тоже готовые праведно презирать и стрелять всех отступающих.

И вообще за речкой обнаружилось: тех, кто жаждал воевать не с фашистом-врагом, а со своими собратьями по фронту, гораздо больше, чем на противоположном берегу боеспособных людей.

Под покровом густого кислого дыма от горящего торфа и машин разбродно отступившим частям удалось закрепиться за речкой. Володя Яшкин из окопчика, уже выкопанного до колен, видел, как примчался к речке косячок легковых машин, как из одной машины почти на ходу выскочил коренастый человек в кожаном реглане, с прискоком, что-то крича, махая рукой, побежал к берегу речки, нервно расстегивая кобуру. Он застрелил пьяного командира танкистов тут же, на месте. И с ходу же над речкой, на яру, чтобы видно всем было, сбили, скидали в строй остальных командиров в распоясанных гимнастерках с пятнами от с мясом выдранных орденов и значков отличников боевой и политической подготовки. Этих расстреляли автоматчики из охраны командира, одетого в реглан. Успевшие попрятаться в пехотные щели танкисты, увидев, какая расправа чинится над предавшими их командирами, без понуканий оказались на другом берегу речки, чинили машины и под покровом ночи увели за водный рубеж, вкопали в берег три танка. Кажется, на сутки удалось возле речки обопнуться, приостановить противника, но потом, как обычно, оказалось, что их уже обошли, окружили и надо с этих гарью затянутых, горелым мясом пропахших, свежими холмами могил помеченных заречных полей сниматься, военные позиции оставлять.

Знатоки сказывали, что командир танковой бригады, оказалось, все-таки бригады, так храбро воевавший со своими бойцами, был пристрелен командующим армией, который метался по фронту, пытаясь организовать оборону, заштопать многочисленные прорехи во всюду продырявленном фронте, уже на подступах к Москве имея приказание подчинять своей армии без руля и без ветрил отступающие части, и тут уж не щадил никто никого и ничего.

Повалявшись в госпиталях, поошивавшись на всевозможных пересылках, распределителях, послужив почти полгода в двадцать первом полку, Яшкин отчетливо понимал, что порядок в этой армии и дальше будет наводиться теми же испытанными способами, как и летом сорок первого года на фронте, иначе просто в этой армии не умеют, неспособны, и что значат какие-то парнишки Снегиревы? Таких Снегиревых унесет военной бурей в бездну целые тучи, как пыль и прах во время смерча уносит в небеса.

Яшкин высморкался, потуже затянул пояс на просторной шинели и заприплясывал, застучал обувью вместе с бойцами первой роты, те, подталкивая друг друга, ворковали, сморкались, кашляли, даже и всхохотнули. Есть еще, значит, у солдатиков бодрость в теле, прыть в душе, могут еще смеяться, тем тяжелее, тем страшнее им будет…

У Скорика поплясывали губы. Он беспрестанно тер потеющие руки, забыв перчатки в кармане, не чувствуя холода, и все время почему-то спадывала шапка с головы его, веселя командиров.

Стоял морозец градусов за двадцать. Солнечно было и ясно в миру, с сосен струилась белая пыль, вспыхивая искристо в воздухе. Радужно светящиеся нити с неба тянулись над лесами и в поле, вились над дорогой, соединялись в клубок и катились по зеркально сверкающей полознице.

— Лева, надень перчатки, — услышал Скорик голос младшего лейтенанта Щуся. — И спусти уши у шапки, ум отморозишь.

— Да, да, спасибо, Алексей. Что же они там? Холодно ж бойцам.

— Привычное. — Щусь понизил голос. — Лева, неужели этих пацанов расстреляют? Или опять комедия?..

— Не знаю, Алексей, не знаю. Случались чудеса во все времена...

И снова ожидание, толкотня, но уверенность в том, что все это томление может окончиться, как желалось бы сердцу, отчего-то слабела с каждой минутой. Тут еще воронье налетело из городка с помоек, шайкой закружилось над полянами, над учебным плацем, каркает, орет. Пойми вот, отчего веселится черная птица, возможно, и бесится, накликает беду.

— Едут, едут! — послышались голоса.

Построение качнулось, зашевелилось, начало сбиваться в кучу, смешивая и вовсе нестрогий военный порядок, угодливо освобождая саням дорогу, люди тянули головы, переспрашивали тех, кто повыше, кто спереду, ближе к дороге: — Как?

— Батальон! Поротно стоять! — крикнул командир первого батальона Внуков, одетый в полушубок, обутый в валенки.

Подъехало три подводы. На передней, в кошевке командира полка, прикрытый полостью, сидел очкастый майор в длинной шубе. Очки у него от дыхания подернулись изморозью, он пытался глядеть сверху очков, и заметно было — ничего не видит, часто слепо моргает.

За кошевкой подкатили розвальни хозвзвода, спиной к головке саней на коленях стояли, плотно прижавшись друг к другу, братья Снегиревы, сверху прикинутые конской попоной, обутые в ботинки на босу ногу. Между штанами и раструбами незашнурованных ботинок виднелись грязные посиневшие щиколотки. Против братьев, тоже на коленях, стояли два бойца, держа на сгибах рук новые карабины не со съемными, а с отвернутыми на ствол штыками. На третьей подводе ехали еще три бойца с карабинами, во главе с лейтенантом, легко и ладно одетым в ватные брюки, в новые серые валенки, бушлат на нем был плотно подпоясан, сбоку, чуть оттянув ремень, висела кобура, из нее пугающе поблескивала истертая ручка многажды в употреблении бывавшего пистолета.

На ходу легко, как бы даже по-ухарски спрыгнув с подводы, лейтенант привычно, умело начал распоряжаться. Для начала заглянул в земляную щель, поморщился, но тут же махнул рукой, сойдет и так, тренированно избегая взглядов командиров и сбитого в подобие строя батальона, лейтенант не обращал вроде бы никакого внимания ни на военный люд, ни на осужденных, указывал, кому куда идти, кому где стоять, кому что делать.

Минут через пять по велению лейтенанта все было слажено как полагается, братья Снегиревы стояли спиной к щели-могиле, на мерзло состывшихся песчаных и глиняных комках. Песок пепельно рассыпался под ногами, братьям то и дело приходилось переступать, отыскивать ботинками более твердую опору. Лейтенант указал:

— Стоять! Спокойно стоять!

Слева и справа от братьев встали сопровождавшие их бойцы, все так же держа наизготовку на сгибах локтей карабины, строго и непроницаемо глядя перед собой. Затворы карабинов стояли на предохранителях, значит, в патронник заслан патрон, попробуй бежать — стрельнут.

За могилой, приставив карабины к ноге, отдаленно маячили хмурые приезжие стрелки.

Лейтенант осмотрелся, еще раз буркнул: "Стоять как положено!" — махнув рукой возле уха, доложил майору о готовности.

Майор выпростался из-под меховой полости, по-стариковски долго и неловко взбирался на

дощаной облучок, взобравшись, начал тщательно протирать белым платочком очки, совал дужки очков под шапку, не попадая за уши, пальцем дослал их к переносице, обвел внимательным взглядом напряженно замерший строй. Пока он производил все эти действия личного характера, лейтенант отодвинулся в сторону, закурил папиросу, сразу сделался незаметным, как будто его и вовсе здесь не было, — давно работает мужик при какой-то карательной команде, приучен к строгому обиходу и дисциплине.

Батальон, правда, не обращал на лейтенанта внимания, все, от вконец застывшего Петьки Мусикова и до командира батальона Внукова, не отрываясь смотрели на осужденных, готовые в любое мгновение помочь им, дать рукавицы, шапку, закурить ли, но никто не делал и не мог сделать к ним ни малейшего шажка, и от этого было совсем неловко, совсем страшно. Ведь вот же, рядом же, совсем близко обреченно стоящие парнишки, наши, российские парнишки, братья не только по классу, но и по Богову завету, — так почему же они так недосягаемо далеко, почему нельзя, невозможно им помочь? Да скажи бы сейчас, что все это наваждение, все это понарошке, весь батальон заорал бы, рассыпался бы по снежному полю, не глядя на мороз разулся, разделся бы, обул, одел, на руках унес бы этих бедных ребят в казарму и уж никогда бы, никогда, никогда никто бы…

Братья Снегиревы выглядели худо, лица у них даже и на висках ввалились, обнажив жестянки лбов, глаза у братьев увело вглубь, пригасило их голубое свечение, оба они сделались большеносы и большеухи, были они какого-то неуловимого цвета, тлелого, что ли, такого цвета и в природе нет, он не смывается, этот цвет, он стирается смертью. Готовя братьев к казни или борясь со вшивостью, их еще раз остригли, уж не под ноль, а по-за ноль, обозначив на голове шишки, раздвоенные макушки, пологие завалы на темечках, белые скобочки шрамов, давних, детских, приобретенных в играх и драках. Вперед всего замечались эти непокрытые головы, на которые бусило снежной пылью, и пыль не то чтобы таяла, она куда-то тут же исчезала, кожей впитывалась, что ли. Совсем замерзли, совсем околели братья Снегиревы, уже простуженные в тюрьме или в дороге. У Сереги текло из носу, он его натер докрасна. Не смея ослушаться старшего команды, лейтенанта, стараясь ему изо всех сил угодить, надеясь, что послушание непременно им зачтется, осужденные стояли как полагается, не утирая даже рукавами носов, лишь украдчиво подбирали языком натекающие на верхнюю губу светленькие, детски-резвые сопельки да часто шмыгали засаженными носами, не давая особо этим сопелькам разгуляться.

Осмотревшись, шире расставив ноги, чтоб не упасть, отстранив далеко от очков бумагу, майор начал зачитывать приговор. Тут уж Серега с Еремеем и носами швыркать перестали, чтоб не мешать майору при исполнении важного дела ничего не пропустить. Текст приговора был невелик, но вместителен, по нему выходило, что на сегодняшний день страшнее, чем дезертиры Снегиревы, опозорившие всю советскую Красную Армию, подорвавшие мощь самого могучего в мире советского государства, надругавшиеся над честью советского бойца, нет на свете.

— Однако ж, — буркнул командир батальона. "Хана ребятам, хана", — окончательно порешил Яшкин. "Умело составлена бумага, ничего не скажешь, так бы умело еще воевать научиться", — морщился Скорик.

— Они че? — толкнул его в бок Щусь. — Они в самом деле распишут ребят?..

— Тихо ты… Подождем.

Чудовищные прегрешения и преступления этих двух совсем окоченевших парнишек самих их так ошеломили обвинительными словами, до того ударили, что у них перестало течь из носов, да еще каким-то, последним, видать, внутренним жаром опахнуло так, что на лбах у обоих

заблестела испарина, но, несмотря ни на что, они и батальон ждали: вот скоро, вот сейчас свершится то, чего они ждут. Сейчас, сейчас...

В ботинках стиснуло босые ноги, пальцы сделались бесчувственно стеклянными, братья же твердили себе, убеждали себя: "Потом отойдем, потом..."

Батальон, не переступая, не шевелясь, во все глаза глядел, всем слухом сосредоточился — вот скоро, сейчас вот пожилой, в общем-то, старенький уже, такой симпатичный майор еще раз протрет очки, водрузит их, покашляет, помурыжит народ и со вздохом облегчения: "...но движимая идеями гуманизма, учитывая малолетство преступников и примерное их поведение в мирное время, наша самая гуманная партия, руководимая и ведомая отцом и учителем к полной победе..."

Володя Яшкин, нареченный патриотическими родителями в честь бессмертного вождя, ничего уже не ждал и хотел одного; чтобы все-таки как можно скорее все кончилось. Кажется, и Скорик ничего не ждал, но пытался обмануть себя, да и все, пожалуй, кроме самих осужденных и зеленых красноармейцев вроде Коли Рындина, ожиданиям своим уже не верили, но очень хотели верить.

Майор и в самом деле протер очки, всадил их глубже на переносице и тем же сохлым от мороза голосом дочитал:

— "Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет немедленно приведен в исполнение".

Все равно никто не шевелился и после этих слов, все равно все еще чего-то ждали, но майор никаких более слов не произносил, он неторопливо заложил листок бумаги в красную тощую папочку, туже и туже затягивал на ней тесемки, как бы тоже потерявшись без дела или поражаясь тому, что дело так скоро закончилось. Одну тесемку он оборвал, поморщился, поискал, куда ее девать, сунул в карман.

— Вот я говорил, я говорил! — вдруг закричал пронзительно Серега, повернувшись к брату Еремею. — Зачем ты меня обманывал? Зачем?!

Еремей слепо щупал пляшущей рукой в пространстве, братья уткнулись друг в друга, заплакали, брякаясь головами. Распоясанные гимнастерки, мешковато без ремней висящие штаны тряслись на них и спадывали ниже, ниже, серебряная изморозь все оседала на них и все еще гасла на головах.

— Да что ты? Что ты? — хлопал по спине, поглаживал брата Еремей. — Оне холостыми, как в кине... попугают... — Он искал глазами своих командиров, товарищей по службе, ловил их взгляд, требуя подтверждения своим надеждам: "Правда, товарищи, а?.. Братцы, правда?.." Но Еремей видел на всех лицах растерянность или отчуждение — относит его и брата, относит от этого берега, и ни весла, ни шеста, ни потеси нет, чтоб грестись к людной земле, и никто, никто руки не протягивает. "Да что ж это такое? Мы же все свои, мы же наши, мы же..."

"Неужели он и в самом деле не понимает? Неужели же еще верит?.." — смятенно думал не один Скорик, и Щусь думал, и бедный комроты Шапошников, совсем растерзанный своей виной перед смертниками, многие в батальоне так думали, по суетливости Еремея, по совершенно отчаянному, кричащему взгляду разумея: понимает старшой, все понимает — умный мужик, от умного мужика рожденный, он не давал брату Сереге совсем отчаяться, упасть на мерзлую землю в унизительной и бесполезной мольбе. Брат облегчал последние минуты брата — ах, какой мозговитый, какой разворотливый боец получился бы из Еремея, может, выжил бы и на

войне, детей толковых нарожал...

Между тем трое стрелков обошли могилу, встали перед братьями, двое охранников подсоединились к ним, все делалось привычно, точно, без слов.

"Пятеро на двух безоружных огольцов!" — качал головой Володя Яшкин, и недоумевал Щусь, ходивший в штыковую на врага. Помкомвзвода видел под Вязьмой ополченцев, с палками, ломами, кирками и лопатами брошенных на врага добывать оружие, их из пулеметов секли, гусеницами давили. А тут такая бесстрашная сила на двух мальчишек!..

— Во как богато живем! Во как храбро воюем! — будто услышав Яшкина... отчетливо и громко сказал командир первого батальона Внуков. — Че вы мешкаете? Мясничайте, коли взялись...

— Приготовиться! — ничего не слыша и никого не видя, выполняя свою работу, скомандовал пришлый, всем здесь чуждый, ненавидимый лейтенант. Вынув пистолет из кобуры, он взял его, поднял вверх.

— Дя-аденьки-ы-ы! Дя-аденьки-ы-ы! — раздался вопль Сереги, и всех качнуло в сторону этого вопля. Кто-то даже переступил, готовый броситься на крик. Шапошников, не осознавая того, сделал даже шаг к обреченным братьям, точнее, полшага, пробных еще, несмелых. Лейтенант-экзекутор, услышав или заметив это движение наметанным глазом, резко скомандовал: "Пли!"

И было до этого еще мгновение, было еще краткое время надеяться, обманывать себя, была еще вера в чудо, в пришествие кого-то и чего-то, способного избавить братьев от смерти, а красноармейцев и их командиров от все тяжелее наваливающегося чувства вины и понимания, что это навсегда, это уже неповторимо, но как взметнулась вверх рука с плотно припаявшимся к спуску крепким пальцем, закаменело в груди людей всякое чувство, всякое время остановилось, пространство опустело. "Все!" — стукнулось тупой твердью в грудь, рассыпаясь на какие-то тошнотные пузырьки, покатилось в сердце, засадило его той удушливой слизью, которая не пропускала не только дыхание, но даже и ощущение боли. Только непродыхаемое мокро сперлось, запечаталось в груди.

И был еще краткий миг, когда в строю батальона и по-за строем увидели, как Еремей решительно заступил своего брата, приняв в грудь почти всю разящую силу залпа. Его швырнуло спиной поперек мерзлой щели, он выгнулся всем телом, нацарапал в горсть земли и тут же, сломившись в пояснице, сверкнув оголившимся впалым животом, вяло стек вниз головою в глубь щели. Брат его Сергей еще был жив, хватался руками за мерзлые комки, царапал их, плывя вместе со стылым песком вниз, шевелил ртом, из которого толчками выбуривала кровь, все еще пытаясь до кого-то докричаться. Но его неумолимо сносило в земную бездну, он ногами, с одной из которых свалился ботинок, коснулся тела брата, оперся о него, взнял себя, чтоб выбиться наверх, к солнцу, все так же ярко сияющему, золотую пыльцу изморози сыплющему. Но глаза его, на вскрике выдавившиеся из орбит, начало затягивать пленкой, рот свело зевотой, руки унялись, и только пальцы никак не могли успокоиться, все чего-то щупали, все кого-то искали...

Лейтенант решительно шагнул к щели, столкнул Серегу с бровки вниз. Убитый скомканно упал на старшего брата, прильнул к нему. Лейтенант два раза выстрелил в щель, спустил затвор пистолета и начал вкладывать его в кобуру.

— Отдел-ление-э! — властно крикнул он стрелкам, направляясь к саням.

Заметив ботинок, спавший с Сереги, вернулся, сопнул его в могилу.

— Мерзавец! — четко прозвучало вослед ему, но лейтенант на это никак не отреагировал.

Кружилось над поляной и орало воронье, спугнутое залпом, спешно улетающее в глубь сосняка. Отделился от роты и как-то бочком, мелким шажком семенил к лесу помкомвзвода Яшкин. "А ты куда? — хотел остановить его Щусь. — Кто взвод поведет? — И увидел, как следом за Яшкиным к лесу, скользя на ходу, придерживая шапку, спешил Лева Скорик. — И этот смывается! — раздражился Щусь. — Выполнил боевую задачу, доклад пошел писать о блестяще проделанной работе..."

— Убийцы!

Костлявый, ободранный, с поморожеными щеками человек, отчетливо схожий ростом, статью да, наверное, и голосом с незабвенным заступником за всех бедных и обиженных, всевечным рыцарем Дон Кихотом. Вместо таза на голове его был островерхий буденовский шлем с едва багровеющей звездою на лбу, наглухо застегнутый на подбородке, толсто обмерзший мокротой, копья вот не было и Санчо Пансы не было.

— Убийцы!

Вздев руки к небу, с голыми, красными, куриной кожей покрывшимися запястьями, сотрясался и сотрясал воздух нелепый человек в нелепой одежде. Батальон, не дожидаясь команды, рассыпался, разбегались ребята от свежей могилы. Их рвало, Коля Рындин, такой же большой и нелепый, как Васконян, рокотал между наплывами рвоты, шлепая грязным слюнявым ртом:

— Бога!.. Бога!.. Он покарат! Покарат!.. В геенну!.. Прокляты и убиты... Прокляты и убиты! Все, все-э...

— Убийцы!

— Кончай, кончай блажить! — крикнул на Васконяна Щусь. — Шагом марш в казарму!

Васконян послушался, запереставлял ноги в сторону леса. Но все так же сотрясал руками над головой и все так же поросячьи-зарезанно вопил: "Убийцы!".

"Все, с катушек, видно, съехал один мой боец!" — не успел это подумать младший лейтенант, как услышал плач казахов, сбившихся вокруг Талгата.

— Малчик, сапсем малчик убили... — уткнувшись в грудь своего старшого, тряслись казашата. — Мы картошкам воровали...

Талгат глядел в небо, задирал голову выше, чтобы не видно было лица, он не вытирал слез, он ожесточенно бил себя по оскаленному рту, перекатывая звуки:

— О Алла! О Алла! О Алла!

Ребята-красноармейцы, и казахи и русские, совсем оробели, глядя на Талгата, потерянно жались друг к дружке.

— Товарищи командиры, что это? Что за спектакль? Наведите порядок! Прикажите закопать расстрелянных, уводите людей в расположение.

— Мы уж как-нибудь без ваших советов тут обойдемся, — подал голос командир первого батальона Внуков.

— Я вынужден буду… — отвердел лицом майор.

— Жене своей не забудьте доложить, как тут детей расстреливали…

— Шапошников! Прикажите закапывать! Лопаты-то хоть не забыли?

От батальона отделилась команда, человек семь с лопатами, и торопливо, словно избывая вину, желая выслужиться перед братьями Снегиревыми, начала грести на них мерзлые комки, песок со снегом.

— Чего не уезжаете-то? — все не глядя на майора, буркнул комбат. — Закопаем. Не вылезут…

— Ну знаете, — развел руками майор и начал устраиваться в кошевке, — у всякого своя работа. Мой долг…

— Харитоненко! — чувствуя, что комбат заводится (красноармейцы уши навострили, и до беды недалеко), перебил разгорающуюся полемику представитель из штаба полка, так как Азатьян сказался больным. — Давай! Давай! — скомандовал он коновозчику и, чтобы потрафить настроению людей или от собственной дерзости, добавил: — Да не растряси ценный кадр!

Майор сделал вид, что ничего более не слышит, уткнул лицо в шинель, зарылся носом в шарф, соединил плотнее ноги под полостью, коротко вздохнул; "Эх народ, народ, ничего-то не хочет ни понимать, ни ценить!.." — и пробовал думать дальше про жизнь, про судьбу свою, про ответственную, но неблагодарную работу, однако скоро задремал, согревшись в удобной покачивающейся кошевке, под цоканье копыт лошадей, под музыкально звучащие полозья кошевки, о братьях Снегиревых, о только что проделанной работе он сразу же забыл.

Командир двадцать первого стрелкового полка Геворк Азатьян своей властью отменил на понедельник все занятия и работы.

В казармах было сумрачно, прело и еще более уныло. Нехорошей тишиной объята казарма: никто не шастал по расположению, не орали дежурные, не маячил старшина, не показывались из землянок командиры. Дымилась лишь кухня трубою, да и то истомленно, изморно дымилась.

В землянке лейтенанта Шапошникова, ожидавшего суда и разжалования, молча пили горькую и не хмелели командиры первого батальона. К ним подсоединились обитатели соседних землянок. Ночью, уже глухой, напившийся до бесчувствия Щусь рвался к штабу полка и кричал:

— Ах, армяшка! Ах, отец родной! Стравил ребятишек! Стравил! И под койку!.. Я те глаз выбью!..

Никуда его не пустили.

В своей комнате, украшенной портретами Ленина и Сталина, одиноко пил старший лейтенант Скорик. Он знал, что командиры полка где-то пьют, горюют, ему хотелось к ним, да как пойдешь-то, ведь морду набьют, чего доброго, и пристрелят.

Бойцам-красноармейцам пить было негде, не на что и нечего. Горевали всяк поодиночке, завалившись на нары, закрывшись шинелью. Лишь старообрядцы объединились. Нарисовали карандашом на бумажке крест и лик Богоматери — на него и молились за оружейной пирамидой. Коля Рындин чего-то божественное бубнил, несколько парней не на коленях, а стоя все за ним повторяли. Ребята, свесившиеся с нар, боязно слушали, никто не смеялся, не

галился над божьими людьми.

Старшина Шпатор подошел к молящимся: шепотом попросил их перейти в помещение дежурки. Старообрядцы послушно отлепили бумажку от пирамиды, перешли в дежурку и всю ночь простояли на молитве, замаливая человеческие грехи.

"Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих, Еремея и Сергея, в месте светлом, в месте злачном, в месте покойном, идеже несть болезни, печали, ни воздыхания, всякое согрешение, содеянное ими делом, или словом, или помышлением, яко благ и Человеколюбец Бог, прости, яко несть человек, иже жив будет, и не согрешит. Ты бо Един без греха, правда Твоя, правда вовеки, и слово Твое истинно. Яко Ты еси воскресение, и живот, и покой усопших раб Твоих, Еремея и Сергея, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцом и Пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Помяни, Господи, новопреставленных рабов Божиих Еремея и Сергея и даруй им Царствие Небесное".

Уважая веру и страдание за убиенных, даже Петька Мусиков не нагличал в этот день. Иные красноармейцы потихоньку незаметно крестились. И старшина Шпатор, забывший все мирские буйства, все окаянство жизни, пробовал молиться, хотел воскресить в себе божеское, крестясь в своей каптерке. Получалось это у него неуклюже, да вроде бы и опасливо.

— Че ты, Аким Агафонович? — спросил из-за печки Володя Яшкин.

— Ничего. Про все вот забыл. Пытаюсь покреститься, ан не вспомню ни креста, ни молитвы. А ты?

— А я и не умел. У меня родители комсомольцыдобровольцы, атеисты-активисты.

— Где они?

— Да х... их знает. Все по стране мотались, по стройкам. Все лозунги орали, песенки попевали. А я у бабушки рос — тоже каторжница и матершинница. Лупила меня, когда и поленом.

— Да-а, живем!

— Ты не переживай, Аким Агафонович. И не молись. Нету Бога. Иль не слышит Он нас. Отвернулся. — Яшкин притих за печкой, ровно бы для себя начал рассказывать про фронт, про отступление и в заключение молвил: — Был бы Бог, разве допустил бы такое?

Выползши из-за печки, Яшкин подбросил дров в железку и, забывшись, стоял на коленях перед дверцей. Какие видения, какие воспоминания томили и мучили его душу?

"Хоть бы никто не пришел. Мельникова бы черти не принесли", — вздохнул Шпатор и пошарил щепотью сложенными пальцами по груди. И только подумал он так, дверь в каптерку распахнулась и, захлопываясь, ударила в зад вошедшего комиссара, неусыпно трудящегося на ниве воспитания и поддержания боевого духа в подразделениях двадцать первого стрелкового полка. "Накликал, накликал окаянство", — загоревал старшина Шпатор.

— Что у вас здесь творится? — щупая зад, зашипел капитан.

— Солдаты об убиенных молятся. Верующие которые.

— И вы… И вы… позволили?

— А на веру позволения не спрашивают… даже у старшины. Дело это Богово.

— Н-ну знаете! Н-ну знаете!

— Ничего я не знаю, не дано. Пусть молятся. Не мешайте им.

— Я немедленно прекращу это безобразие.

— И сделаешь еще одну глупость. Десяток солдат молятся. Батальон их слышит. Вас вот не слышат. Спят на политзанятиях. А тут вон молитвы какие долгие помнят, оттого помнят, что к добру, к милости молитвы взывают, а у вас — борьба… Вечная борьба. С кем, с чем борьба-то?

Капитан Мельников начал оплывать, на нем, как на взъерошенном петухе, стали оседать и укладываться перья.

— Но в нашей армии нельзя, недопустимо!

— Кто вам это сказал? Где это записано? — подал голос из-за печки Володя Яшкин. Он сидел там как за бровкой окопа в засаде, трофейным складничком перевертывал на печке пластинки картошки.

— Они что, и на фронте будут молиться? — будто не слыша Яшкина, пошел в наступление комиссар.

— Если успеют, — валяя горячую картошку во рту, не унимался Володя Яшкин, — непременно взмолятся. Там раненые Боженьку да маменьку кличут. Но не политрука. И мертвенькие сплошь с крестиками лежат. Перед сражением в партию запишутся, в сраженье же крестик надевают…

— Интересно, где это они их берут? — усмехнулся капитан Мельников.

— Научились в котелках из пуль отливать, из консервных банок вырезать. Коли уж русский солдат умел суп из топора варить…

— То-то воюют с Богом и крестом так здорово, аж до Волги.

— Еще и с непобедимым знаменем красным, со звездой и…

— Неприятностей-то не боитесь? — все строжась, предостерег Мельников, не желая больше слушать этих двоих из ума выживших тыловиков. Заменить бы их надо, а некем. Совсем редко в полку появляются люди из кадровой армии — полегли, видно, да в плен угодили.

— Чего их бояться? На передовой, товарищ капитан, одни только неприятности и происходят. — Яшкин поскоблил ножом по печке и снес в рот рыжую картофельную скорлупу, захрустел ею.

— Я не про те неприятности.

— А-а, вон вы на что намекиваете. — Яшкин приподнял кончиком ножа задымившийся пластик картошки. — Есть, есть. И там. На каждого воюющего по два-три воспитателя, так у нас вежливо стукачей называют. В атаку идти некому. Все воспитывают, бдят, судят и как можно дальше от окопов это полезное дело производят.

— Как вы можете? Бывший фронтовик!

— Потому и могу, что уже ничего не страшно после того, что там повидал. Да и под пули опять мне же, потому как вояки вроде вас уже выпрямили линию фронта, дальше некуда выпрямлять.

— Яшкин, прекрати! — зыкнул старшина Шпатор и обратился к Мельникову: — Идите, товарищ капитан. Ступайте любить Родину и народ в своем кабинете. Здесь вы сегодня не к месту... Идите, идите. Мы вас не видели, вы нас не слышали. С Богом, с Богом!..

"Ему бы на фронт, к людям, пообтесался бы, щей окопных похлебать, землю помесить да покопать. Сколько же он голов позамутит, сколько слов попусту изведет", — думали старшина Шпатор и старший сержант Яшкин. И маялись они душевно, не себя, не ребят в казарме жалеючи, а капитана Мельникова, который столько еще пустопорожней работы сделает, веря, может, и не веря в слово свое, в передовое учение, зовущее в борьбу, в сражение, считая слово важнее любого сражения.

В дежурке все рокотал, все жаловался голос Коли Рындина, и единым вздохом, нараспев повторяли и повторяли за ним складные молитвы единоверцы:

— Боже милостивый! Боже правый! Научи нас страдать, надеяться и прощать врагам нашим...

"Да-а, эти, пожалуй, устоят. При всех невзгодах и напастях устоят", — подумал старшина Шпатор и плотно закрыл глаза. Володя Яшкин, напившись из бутылки лекарственного настоя, все ждал, когда пройдет нытье в боку и скулеж в сердце — разбередил его, разбередил этот тупой, глупый иль очень ловкий и хитрый обормот, спасающийся в тылу посредством передового идейного слова.

Глава двенадцатая

Землянку Щуся снова посетил Скорик. Поздоровался, разделся, подошел к столу, выставил из портфеля две бутылки водки, булку хлеба, достал селедки, завернутые в пергамент, и половину вареной рыбины.

— Вот, — сказал он, оглядывая стол. — Не люблю оставаться должником. Нож, газету, вилки давай.

— Газеты и вилок нету. Нож на. — откликнулся Щусь, наблюдая за гостем отстраненно и встревоженно.

— Садись, Алексей, садись. Я на весь вечер затесался. И прогнать ты меня не посмеешь, ибо имею новости. Важнецкие. Терпи и жди. — Скорик налил в кружку водки, посидел и спросил вдруг: — Ты креститься умеешь? Не разучился?

— Если поднатужиться... У меня тетка была...

— Из монашек, — подхватил гость, — давай креститься вместе. — Скорик сложил в щепоть пальцы и медленно, ученически аккуратно приложил пальцы ко лбу, к животу, плечам. Щусь, смущаясь и кривя недоуменно губы, сделал то же самое. — Царство Небесное невинным душам братьям Снегиревым, не успевшим пожить на этом свете, твоей тетушке, отцу и матери. Царство Небесное.

Как бы не обращая более внимания на озадаченного хозяина землянки, Скорик трудно выпил

водку, всю, до капли, сделал громкий выдох, посидел с закрытыми глазами, подняв лицо к потолку.

— Ах ты, разахты! — встряхнулся он и отщипнул вареной рыбы. Пожевал без всякой охоты. — А помогли нам несчастные Снегири, помогли! И тебе, и мне.

— Как?.. Чего городишь?

— Все, Алексей Донатович, все! Мой рапорт удовлетворен, в округ вызывают, замена движется, более качественная. Особняк как особняк, а что я? Сын гнилого интеллигента, пауков любившего… Н-на фронт, на фронт. В любом качестве. А ты, дважды однополчанин мой, судя по всему, со своей ротой…

— Быть не может! А Геворк? Азатьян?

— Про него не знаю. Но командир первого батальона, первой и второй рот, как не оправдавший доверия…

— Какого доверия? Ты че?

— Родной партии, родного народа.

— А, оправдаем еще, оправдаем.

— Знаю я, знаю все, даже про тетку твою.

— Этого хотя бы не трогай. Но раз все знаешь, жива она или нет?

— Вот этого как раз не знаю, но думаю, не жива. Из тех краев не возвращаются.

— Но она — святая.

— Места-то окаянные. Ну, если тебе так хочется думать, думай, что жива. Я ж думаю про маму… — Скорик потер обеими руками лоб, словно омыл его. — Ладно, на минор не сворачивай, не за тем я пришел. Налей-ка вина хмельного. Разговор будет долгий…

Поздней ночью, обнявшись, шли они по расположению двадцать первого полка, на окрик часовых и патрулей в два горла откликались:

— Свои! Че те вылезло?!

Они уже ничего не боялись.

Прощаясь возле штабного дома, Щусь долго тряс руку Скорика, растроганно бормотал:

— Ну, спасибо, Лева! Вот спасибо! Вот ребята-то… Вот обрадуются. А им нужно, нужно перед фронтом подкрепиться, в себя прийти. Вот спасибо, вот…

Скорик сообщил "тайну": сразу после Нового года в советской армии введут погоны и реабилитируют народных и царских времен полководцев. Первый же батальон по распоряжению свыше будет брошен на хлебоуборку и останется в совхозах и колхозах до отправления на фронт. Там, на этих небывалых работах — на зимнем обмолоте хлеба, — уже находится вторая, проштрафившаяся рота. В управлении военного округа боятся, что представители действующих армий не примут истощенных, полубольных бойцов из резерва, а

это трибунал, стенка — Верховный же сказал на торжественном собрании в Кремле: "У нас еще никогда не было такого надежного и крепкого тыла" — и не потерпит, чтобы его слова не оправдались, вот и нашелся выход из положения.

Щусь благодарил Скорика, тряс его руку. Тот добродушно отталкивал младшего лейтенанта:

— Да я-то при чем? Порадело руководство, самое мудрое, самое находчивое, самое любимое, самое, самое... Да ну тебя, Алексей! Не туда лезешь целоваться! Дуй-ка лучше в заветную землянку. Удачи тебе! И до встречи там где-нибудь, на войне...

Дивное диво! Уборка хлеба среди зимы. Воистину все перевернулось в этом мире. Не зря, не зря переворот был, не зря Господь отвернулся и от этих землю русскую населяющих людей, от земли этой, неизвестно почему и перед кем провинившейся. А виновата-то она лишь в долготерпении. От стыда и гнева за чад, ее населяющих, от измывательства над нею, от раздоров, свар, братоубийства пора бы ей брыкнуться, как заезженной лошади, сбросить седока с трудовой, седлами потертой, надсаженной спины.

Она и сейчас ровная, пространственно-тихая, в чем-то виноватая, девственно-чистая, после спертого, гнилого духа казармы сахарно-сладким воздухом наполненная, сияла из края в край белыми снегами, переливалась искрами, и веяло от нее покоем, отстраненностью от мирской суеты, от всех бед, стенаний и горя. Губами чмокали казахи: "Степ! Наш степ! Шыстый-шыстый!" Ребята черпали снег грязными рукавицами, пробовали его на язык, когда подана была команда на остановку, вдруг наступило замешательство, не могли они запакостить белый снег, возле казармы могли, но здесь... Нашли наконец рытвину, выбитую трактором, отлили в нее, да и загребли валенками желтые пятна.

В начале января 1943 года солдатам двадцать первого полка после торжественного митинга на плацу выдали погоны и велели пришивать их к тлелым гимнастеркам, пропотелым, грязным шинелям, сукно которых не протыкалось, ломались об него иголки. Никто почему-то не удивлялся, никто не говорил, что вот-де кляли царских белопогонников, внушали к ним отвращение, ненависть, а ныне налепляли на плечи этакую проклятую пакость.

Никакие слова, беседы, наставления комиссарского сословия на этих ребят уже не действовали. И реабилитация Суворова, Кутузова, Ушакова и Нахимова не вдохновляла их. Ладно хоть не к голому телу, не к коже велено было пришивать погоны. Мрачно шутили: теплее, мол, с погонами-то, если на выкатку леса иль на заготовку дров пошлют — не так сильно давить плечо будет, какая-никакая подкладка.

Иглой орудовали неумело, многие — неохотно. Старый вояка старшина Шпатор всем сноровисто помогал, потом утомился, из себя вышел, орать принялся:

— Где вы росли, памаш? Чему вас учили, памаш? Ты у меня еще одну иголку сломай, так до скончания жизни будешь меня помнить, памаш!

Все осталось позади: и казарма, и старшина вместе с нею, и до осатанения обрыдлый полк с его порядками, рожами и муштрой, визгуна Яшкина в окружной госпиталь лечиться направили. Все, все уже за холмами. Ехали поездом до станции Искитим. Спали, угревшись, ничего и никого не видели. Куда едут, зачем едут, никто никому не объяснял, все та же военная тайна, все тот же секрет, люто охраняемый целой армией дармоедов, хитро, как им кажется, укрывающихся от окопов войны.

Но вышли в поле, Щусь передал по "цепи": направляются на хлебозаготовки в совхоз имени товарища Ворошилова, можно не торопиться, курить, не придерживаться строя и вообще

забыть про казарму, вечером во втором отделении совхоза ждет всех сюрприз...

Щусь видел, Щусь чувствовал, как отходит на воле, млеет душой его войско. Только Петька Мусиков, засунувший руки в рукава шинеленки, рукавицы у него куда-то делись, да равнодушный к природе Васконян волоклись вдали от народа. Петька частил ногами, Васконян, втянув голову в ворот шинели, наклоняясь, будто в молитве, тащился, далеко отстав от товарищей, приободрившихся, оживленно переговаривающихся, отхаркивающихся, выбивающих из себя казарменную грязь и сажу от жировых светильников, выветривающих стадную вонь.

Внезапно впереди сверкнуло и разлилось без волн, без морщин, без какого-либо даже самого малого движения и дыхания желтое беззвучное море. Скорбное молчание сковало это студеное затяжелевшее пространство. Сжалось у всех сердце, замедлился шаг — Боже, Боже, что это такое? Неужто хлебное поле, неужто со школы оплаканная несжатая полоса въяве? Смолкли, онемели, остановились. Шелестит немое поле, никаких звуков живых, никакого живого духа, одно шелестение, один предсмертный немощный выдох сломавшихся соломинок, по которым струится снежная пыль.

От толпы отделилась долговязая, неуклюжая фигура, глубоко проваливаясь в снегу, наметенном меж смешанных сломанных стеблей, громко кашляя, забрел Коля Рындин в это мертвым сном наполненное море.

— Господи! Хлеб! — Коля Рындин хватал пальцами, мял выветренные колоски, сдавливал их ладонями, пытаясь найти в них хоть зернышко, но море было не только беззвучно, оно было пустое, без зерен, без жизни, оно отшумело, отволновалось, перезрело и осыпалось — всему свой срок и время всякому делу под небесами, время не только собирать и разбрасывать камни, но и время сеять и собирать зерна!

Коля Рындин взлаивал, углубляясь и углубляясь в спутанную гущу пустых желтых хлебов, быть может, впервые ощутив до самого края, до самой глубины всю гибельность того, что зовется войной. Перестоялые, перемерзлые стебли хлебов хрустели под его тяжелыми ботинками, крошились останки колосьев в его могучих, грубых руках — ни зернышка, ни следочка, все брошено, все устало от ненужности, бездолья, покинутости своей.

— Да что же это делается? Хлеба не убраны! Господи! Да как же так? Зачем тогда все? Зачем?

— Война, — раздалось с дороги.

Роту, двигавшуюся в совхоз, догнал в кошевке пожилой человек, который тут же представился директором совхоза Тебеньковым Иваном Ивановичем. Из-за поворота, скрипя санями, подбегали, громко фыркая, еще две лошади, впряженные в дровни, набитые соломой.

— Этих двух ко мне в кошевку, — показал на Петьку Мусикова и Васконяна директор. — Кто подмерз в ботиночках, в лопотине этой аховой — в дровни. Остальным — шире шаг. В столовой суп и каша — пища наша, в деревне бани топятся... Девки окна носами выдавили — кавалеров выглядывают. Да кавалеры-то... Ох-хо-хо-о-о-о. А тот, — махнул он в поле, по которому все брел, все искал зерно Коля Рындин, — крестьянин, видать? Э-эй! Товарищ боец! Идите суда! Иди! Поехали, милай! Поехали! Хлеб не воскресишь. Слезьми нашу землю не омоешь. Больно широка.

Иван Иванович увез Колю Рындина, Васконяна и Петьку Мусикова. С десяток ослабевших и подмерзших бойцов расселись в дровни. Две молчаливые, еще молодые бабы, укутанные в шерстяные шали с таким расчетом, чтоб из-под них было видно нарядные платки и

любопытные глаза, решили было поиграть с пассажирами, одна наддала бойцу плечом, боец снопом свалился из саней в снег. Вздымая его, отряхивая, устраивая в сани, бабенка жалостно всхлипнула:

— Вот и моего Гришаньку эдак же ухайдакали где-нибудь.

Хотя прошли ребята до второго отделения совхоза имени товарища Ворошилова двадцать три километра, надышались свежего морозного воздуху до головокружения, все же хватило еще духу перед деревней Осипово строй изладить, песню хватануть, пусть и на пределе сил. Не надо было и команду пять раз подавать, до надсады в горле призывать грянуть покрепче, лишь показались дома отделения совхоза, огрузшие в крутые, к вечеру посиневшие курганы снега, над которыми ровно и тихо струились дымки, небо достающие, тоже синее, лишь крикнул младший лейтенант Щусь: "Бабенко!" — как тут же зазвенело: "Чайка смело пролетела над седой волной" — и хрястнула дорога под ногами воспрянувших бойцов, и загромыхали стоптанные солдатские ботинки, взвизгнула придавленной зверушкой железно укатанная полозница, и в самом деле расплющили носы об окошки местные девчонки, за которыми бледно гляделись сивые бороды дедов и белые платочки бабок.

Ну-ка, чайка, отвечай-ка,

Друг ты или нет?

Ты возьми-ка, отнеси-ка

Милому прив-ве-эт!

Ошарашивал, сотрясал усопшую в снегах деревню Осипово армейский строй, обещая ей взбудораженные, развеселые дни и всяческое жизнепробуждение.

Тебеньков Иван Иванович был, как в деревнях говорят, битый руководитель. В соседнем районе работали солдаты второй роты, он наведался туда, посмотрел, понюхал и понял: в том виде и в той одежде, что прибыли к нему трудовые военные силы, ждать от них трудовых, тем более боевых побед не приходится; съездил в Новосибирск: прорвался в штаб военного округа, до самого главного генерала добрался — и вот результат: ночью прибыла машина с подшитыми валенками, старыми шубенками, бушлатами, рукавицами, портянками.

Весь день устраивались солдаты в Осипове, распределялись по домам, пододевались, парились в банях, ели, много ели, без устали ели и бегали за снеговые бугры да по стайкам.

Питание солдатам было такое — половина пайка из родной военной кладовой, половина из совхоза. Крупы, горох, мясо, молоко — всего вдосталь валилось из совхоза, соль и хлеб — из полка: в Осипове ни пекарни, ни маслобойки не было.

В совхозе осталось три саманных барака под сезонный люд. Какой же советский поселок и без бараков? Один барак уже пустовал из-за нехватки жильцов, два других населяли беженцы из западных земель. Девки, присланные "на прорыв" вместо ушедших на фронт парней и мужиков, да поовдовевшие молодые бабенки из сезонниц.

В первом бараке в двух комнатах, соединенных свежепрорубленной дверью, обитала с ребенком и нянькой начальница отделения Валерия Мефодьевна Галустева, дочь бухгалтера совхоза, работавшая после сельхозтехникума по линии налаживания производства ранних овощей. Но влиятельного отца и молодого мужа отправили на фронт, как и многих трудоспособных мужиков, тылы совхоза оголились, работать на ранних овощах сделалось

некому, вот Иван Иванович Тебеньков своей властью и назначил Валерию Мефодьевну начальником второго отделения.

Женщина молодая, при хорошем, совсем еще не изношенном теле, характером решительная, она определила жить военную трудсилу по барачным комнатам и по избам деревни Осипово, где просторно зимогорили вдовы и старики, ладного же и складного командира, как и положено в руководящих верхах — брать себе самое сладкое и красивое, поселила во второй своей комнате, называемой горницей, сама же перебралась в переднюю, ближе к кухне, к кроватке ребенка. Тут и гадать, и сомневаться нечего — порешили служивые — не допустит несправедливости командир, чтоб такая гордая и видная женщина маялась на топчане вместе с нянькой, полководец же спал бы на пуховиках, покличет он, непременно покличет хозяйку свет потушить иль сам в полуночь сделает боевой бросок куда надо.

Лешка Шестаков с Гришей Хохлаком угодили жить в еще крепкую, светленькую избенку стариков Завьяловых — к Корнею Измоденовичу и Настасье Ефимовне. Солдатикам тоже, как важным персонам, была выделена под жилье "светлая половина", но они от горницы наотрез отказались, углядев в запечье лежанку, широкую, что нары, да и полатики были крашеные под потолком — тоже заманчиво.

Участник далекой, империалистической войны с германцем, Корней Измоденович истосковался по "опчеству", по умственной беседе, велел Настасье Ефимовне наладить стол, гостей же проводил в баньку, над которой попрыгивала истомно дрожащая пластушинка жара, банная изгорелая трубенка нетерпеливо дрожала в накаленном воздухе. И когда солдатики, исхлестав друг дружку вениками, явились из баньки неузнаваемо чистые, свежо дышащие, в хрустящем белье — от Ванечки и Максимушки, бедующих на войне, оставшееся, всплакнула Настасья Ефимовна. Старый солдат укротил ее строгим, упреждающим взглядом. Промокая лицо ушком платка, хозяйка распевно пригласила дорогих гостей за стол. Стесняясь почестей, себя, таких легких телом, стесняясь, в чужое исподнее переодетых — Корней Измоденович настоял, чтоб "амуницию" свою гости оставили на деревянных вешалах над каменкой — "потому как тварь эта не разбирацца: царский ты гусар аль сталинский енерал — ест всех".

— Старуха замочит амуницию в корыте да с мылом и золою санитарию проведет.

На столе в эмалированных мисках, керамических и фарфоровых тарелках, горой наваленная, ошеломляюще пахла горячая картошка со свининой и луком, огурцы тут были, калачи в муке, капуста, грузди и еще чего-то, и еще что-то, но картошка замечалась раньше всего. Лешка с Хохлаком и не заметили средь тарелок, в снедь эту богатую впаянную, зеленоватую бутылку под сургучом.

Старый солдат, судя по его уверенной деловитости, был когда-то большой специалист по части застолий, налил сразу по половине граненого стакана и быстренько управился б со своей нормой, но одному ж пить-гулять непривычно, он приневоливал ребят.

— Ой! — замахал руками Хохлак. — Мы схмелеем сразу! Непривычные.

— Што за русские солдаты? Што за бойцы? Как оборону держать будете?..

— Да какие они те бойцы! — Робятишки и робятишки, — потащила опять платок к глазам Ефимовна. — Извиняйте, детушки, чем богаты… Ты постопори с вином. Дорвался! Ешьте! Ешьте! — И сама накладывала в тарелки солдатикам картошку, солонину.

Они ели неторопливо, изо всех сил стараясь жадность не проявлять. Не дождавшись никаких предложений насчет дальнейших действий, Корней Измоденович, вовсе истомившийся от

многотерпения, поднял свой стакан, мотнул им над столом:

— Ну, дорогие гости! — и не в силах дальше продолжать тост, чендарахнул водочку до дна, до капельки, дирижируя сам себе свободной рукой, зажмурясь посидел, вслушиваясь в себя, как там она, родимая, шляется по сложному человеческому нутру, благостно грея чрево, тряхнул все еще кудлатой с боков головою: — А-ах, хороша, блядина!

— Ты хоть при детях-то окоротись!

— При детя-ах! — передразнил Настасью Ефимовну хозяин и повел прочувствованную речь о том, что сии дети еще покажут курве Гитлеру, где раки зимуют, еще пощупают русским штыком, где у немца слабко, у немки крепко, помнут им брюхо и под жопу напинают: — Помяни мое слово, Фимовна! Помяни! На исходе немец. Быть ему биту, быть ему к позорному столбу приставлену, потому как лесурс его совсем не тот, что наш. Взять хотя бы тот же лесурс человеческий… А ну-ко, братки-солдатики, подняли, подняли — за погибель проклятущего врага, подняли!..

И подняли! Куда денешься-то? Напор хозяина был неотразим. И захмелели сразу, тоже руками замахали, заговорили про лесурс, сколько, мол, их, и сколько нас, да взять просторы наши…

— Не наливай больше! — прикрикнула Ефимовна на "самого". — Они, как вакуированные с Ленинграду, истошшены. Ешьте, детушки, ешьте! Этого балабона не слушайте — он любо собранье переговорит.

Но как ни сторожилась, ни бдила Настасья Ефимовна, владеющий маневром старый солдат, "уговорив" из бутылки остальное, стоило Настасье Ефимовне отлучиться — обиходить и закрыть на ночь скотину, не глядя, уверенно сунул руку под кровать, заправленную пышными подушками, вышитым покрывалом, и выкатил из-под нее весело булькающую бутылку. Сноровисто раскрошив на поллитровке сургуч, подтянув на ладонь рукав рубахи — для "мартизации", хлопнул по донышку так, что пробка чуть не выбила промерзлое окошко, водка пузырями взвихрилась в горлышке.

Безвольные, расслабленные ребята выпили "по мере души", как сказал хозяин — у него-то душа была куда как обширна! После чего Хохлак потребовал баян.

— Ты че? Играешь?! — удивился Лешка.

— Громко сказано, — махнул рукой Хохлак, — так, пилю.

— А гармошка? Гармошка не годится? — поинтересовался Корней Измоденович.

Хохлак строптиво стукнул кулаком по столу:

— Баян!

Старик покачал головой, у-у, мол, какой настырный воин-то! Посоображал маленько.

— Баян есть. У завклуба Мануйловой, но она его никому не доверяет, пятьсот рублев стоит вещь, играть на ем в Осипово никто не умеет, сама Мануйлова — тоже. Бабье! — сокрушенно потряс головой старый солдат, но тут же сорвался с места, надернул подшитые валенки, держа шапку за ухо в зубах, натягивая телогрейку, прокричал уже на ходу — Чичас, робятушки!

— Куда ты, оглашенный? Куда на ночь глядя?! — всплеснула руками возвернувшаяся в избу

Настасья Ефимовна, отстраняясь с пути шустряги мужа.

Корней Измоденович по-мальшически боднул ее в грудь и был таков. Настасья Ефимовна покачала головой — вот посмотрите, дескать, люди добрые, с каким золотом я век домаиваю.

Минут через двадцать в избе Завьяловых оказались баян и сама Мануйлова, баба молодая, но крепко истертая сельской и всякой другой культурой. Пока баян "согревался" на печи, она недоверчиво оглядывала компанию, отстраняясь от стола, отпихивая граненую стопку. Потребовав полотенце, Хохлак постелил его на колени, начал бережно протирать кнопки, меха, все драгоценное тело лакового инструмента. Дом Завьяловых благоговейно притихнул. Мануйлова расстегнулась.

— Этот может! — хлопнув стопку водки, тыкая вилкой в тарелку, которая поближе, заключила она и зашарила в кармане шубы, отыскивая курево.

— В нашей избе табашников отродясь не велось, — упредила культурную даму хозяйка, — я и робят, прежде чем пустить, опросила нашшот курева,

— Наливайте тогда еще стопку, — приказала гостья. Корней Измоденович мигом откликнулся, плеснул ей, и себя тоже не забыл. Настасья Ефимовна в это время наступила ногой на пустую бутылку-поллитру под столом, вынула ее из-под нависшей скатерти и навалилась на "самово":

— Ты ковды это сообразил? Другу-то где добыл?

Корней Измоденович начал вертеть пятерней над головой, вспоминая, где и когда он разжился бутылочкой, и как бы он выкрутился — неведомо, но тут подоспела помощь: Хохлак, пробуя баян, извлек первые звуки, разведочно пробегая пальцами по белым перламутровым пуговкам, и хозяин отстраняюще повел рукой в сторону своей старухи, отвяжись, дескать не мешай, не та минута. Сейчас тут такое начнется!.. И ждал, ждал, приоткрыв рот, не дыша, веря и не веря в приближение музыки, ноги его сами собой нервно дрыгались, перебирали одна другую под столом.

Сперва тихо, плавно, вкрадчиво, зато сразу задушевно поплыла по крестьянской светленькой избе музыка, заполняя ее от пола до потолка, от стола и до печки, от дверей и до окон, и дальше, дальше, сквозь окна с почти замерзшими на них простоватыми, полуопавшими деревенскими цветами, сквозь двойные рамы, и дальше, дальше плыла она, распространялась над сугробами, над домами, над плавными, пустынно мерцающими снегами, все шире, все полней разливалась та нечаянная, негаданная музыка. Дрогнула деревня. Кто еще не спал, замер с подушкой в руках, кто пеленал ребенка, заслушался, скомкав в горсти пеленку, кто рубаху на ночь сымал, так и остановился, не досняв ее, кто вышел нужду справить, забыл про нужду, кто с поля иль с воли шел в деревню, замедлил шаги, приостановился, кто скотине корм давал, на вилы навалился, чтоб сено не шумело, кто печь топил — у чела печи замер, глядя в огонь, кто ужинал — ложку на стол положил, кто простудой маялся, кашель в груди утишил, а кто уже спал, тот думал, что ему снится что-то давно-давно слышанное, такое сердцу близкое, нежное… И не один, не два человека, притихнув в себе, горько плакали про себя от занявшейся в груди сладкой боли, вроде бы давно и навсегда забытой, непонятной печали. В избе же Завьяловых, утирая слезы, Настасья Ефимовна повторяла и повторяла, глядя на портреты приемных сыновей:

— Ванечка! Максимушка! Че у нас в избе-то деется…

Сжав до боли виски пальцами, трудную вел умственную работу Корней Измоденович, воскрешая в памяти то, что играл молодой гость. Слышал же, слышал он где-то, когда-то

мелодию эту, помнил и слова к ней. Давно, правда, это было, в окопах, в госпитале ль, в каком-то исходном месте жизни, средь степу, под самыми ль звездами….

Спи-ишь, ты спишь, моя родная,

Спи-ишь в земле сы-ы-ыро-ой…

Прошептал Корней Измоденович и вопросительно глянул на Хохлака. Тот кивком головы подтвердил — правильно, давай дальше, и, обретая уверенность, старый воин повел:

Я-а пришел к тебе, родная,

С горем и тоской…

Тут уж Настасья Ефимовна совсем улилась слезами. Мануйлова наливала себе сама, стукалась стопкой о стакан Лешки Шестакова и почему-то гнусаво требовала:

— Солда-ат! Пожалей одинокую женщину!

Лешка не хотел ее жалеть — разлохмаченная, сырая с головы, была она, однако, с сохлыми морщинами у рта, бледно-синяя, шибко она ему напоминала шурышкарских брошенок, курящих, пьющих, меры ни в чем не знающих. Ответно стукнувшись стаканом о стопку гостьи, Лешка отставлял посудину в сторону — баян он любил. Эх, как разведет его, бывало, отчим Герка-горный бедняк… И зачем он на него сердился, зачем уши затыкал, на мать с кулаками кидался, требовал выдворить гулевого и ветреного мужа из дому. Глупое мальчишество, неразумная юность, дурная молодость… Стоп! А где она, молодость-то? Когда была? Да вся с собой, вся в изнурительной муштре, вся в промысле, в битве за дратву, за место ни верхних нарах, за…

Но тут началось!

Разогретый застольем, не останавливая музыки, как это умеют делать лишь гармонисты, распаленный баянист хватанул водки и бодрым голосом выкрикнул:

Даль-леки от нас огни кремлевские…

Корней Измоденович радостно подхватил:

А впереди бескрайные расейские снега…

Дальше пошла, как потом объяснял старый солдат, "разножопица". Хохлак пел; "В бой идут полки могучие, советские", — старый солдат кричал: "В бой идут полки гусарские, московские…" И когда дело дошло до припева, оба певца уже ехали в одной упряжке в разные стороны;

С нашим знаменем, с нашим Сталиным

До конца мы врага разобье-оо-ом!

С царем-батюшкой, за отечество,

Как один, живо-оты покладе-о-ом!

— Старик, ты больше не примай! — заметив, как подбила мокрые губы и насторожилась

Мануйлова при словах — "с царем-батюшкой, за отечество", — упредила Настасья Ефимовна и дала распоряжение: — Всей команде отдыхать! С дороги робятки. Самому на печь — плясать чичас вскочит, ночью ему ноги в обруч вязать начнет. Натирай его. Тебе, дорогая гостья, за музыку спасибо. Натапливай клуб шибчее, завтра солдатики те таку музыку дадут, что все девчонки в клуб слетятся.

Уже погасив лампу, в потемках, с печи, до которой едва добрался хозяин и ублаженно засвистел носом, устраиваясь рядом с ним, Настасья Ефимовна дала последнее распоряжение:

— По малой нужде, робятушки, можно в таз, под рукомойник. Пили всеш-ки. По большой прижмет — в огород не бегайте — испростынете. Борьке в свинарник цельте — у его тепло, и он не кусатца.

"Господи! — засыпая, умилился Лешка Шестаков. — Вот что это такое".

— Ты спишь? — ткнул его в бок Хохлак. — Давай завтра дрова им исколем, по двору поможем.

— Давай. — Лешка помолчал, послушал и сонно зевнул: — Повезло нам с избой...

— Да уж, не у всякой мамы так.

— Это верно, — еще успел вслух подумать Лешка, — у моей мамы тоже весело, да не собрано... — И на этом всякие мысли его иссякли, чистый сон сошел на него.

Утром, пряча глаза от Настасьи Ефимовны, служивые вяло позавтракали, промыли нутро чайком. Корней Измоденович кротким взглядом вопрошал супругу о дальнейшем существовании. Она не сострадала болезному человеку, отсекала его поползновения:

— Чего глядишь, как петух на вешнюю курку? Оттоптал, оттоптал! Помощница по клубу не привыкла че-то на завтре оставлять. Ох, ох, робятки, молочка бы вам, сметанки, творожку. Корова в растеле. Постимся.

Хозяин бунтующе изругался, плюнул, вышел из-за стола, опоясался, прибил рукавицей шапку на голове и, хрястнув дверью так, что из трубы на шесток русской печи потекла сажа, в рамах задребезжали стекла, удалился.

— Эко его ломат, эко его гнет! — проворчала Настасья Ефимовна.

Лешка и Хохлак потянулись за хозяином.

Чистое, морозное утро простерлось над белой степью и над деревушкой Осипово, затерявшейся в снежном пространстве, осиянном ослепительным солнцем. Небо было высоко и не по-зимнему прозрачно, даже сголуба. Даль казалась бескрайней, и снова желтела, плыла в бесконечность золотистая полоса выветренных, но стойких хлебов, за которыми рябили березовые колки и стригучие перелески. Над желтыми полями кружилось воронье, грузно опадая в поруганное поле, на прогнутые спины стогов, беспризорно плывущих по степи.

В деревне заливались собачонки, где-то брякнуло, звякнуло, от двора ко двору стреляли девчонки, каркало воронье, трещали сороки у колодца, плескалась вода в бадье, возле колоды отфыркивались мокрыми губами лошади, молитвенно-тихо, неутолимо сосали воду изнуренные работой быки и, налив брюхо, равнодушно стояли, глядя в пустоту. Над бараками, как над многотрубными крейсерами, дымило бойко и густо, глуша мирно струящиеся сизыми дымками низенькие избы. Все было вроде как было, и все же брожение, беспокойство, знобящее

ожидание жутких перемен, охватившее Осипово, витало над ним и тревожило его.

Корней Измоденович бродил по колено в снегу подле ломкой березовой городьбы, гнутым ломиком выворачивал из сугроба пестрые хлысты с лохмато растопорщившейся драной корой. Парни выволокли из-под навеса козлину, сняли пилу со стены и начали в охотку пилить дрова, отваливая в снег чурку за чуркой.

Вышла Настасья Ефимовна, постояла, покачала головой и, ничего не сказав, выпустила во двор пеструю, осторожно ступающую корову, вытолкала ядреного подсвинка Борьку, который, осмотревшись на воле, взвизгнул от радости, принялся бегать по двору, взбрыкивая розовеньким задом.

— Весь в хозяина! — заметила Настасья Ефимовна и принялась вилами вычищать навоз из стайки. Корова стояла неподвижно, клубила пар из теплых ноздрей, смотрела на Божий мир, о чем-то грустно думая, вслушиваясь в себя. Настасья Ефимовна погладила ее, легонько похлопывая по боку, направила обратно в теплую, всю внутри окуржавелую стайку.

Борька бегал, бегал по двору, вдруг притормозил возле пильщиков, уперся в них взглядом школьного хулигана, завинтив аж в два кольца веревочку хвоста, хрюкнул. Бросив пилу, Лешка и Хохлак начали гоняться за подсвинком, имали его за ноги, свалили наконец, опрокинули на спину и начали почесывать ему брюхо. Борька-бунтарь, только что, словно пьяный мужик, валявшийся в снегу, дергавший ногами, умиротворенно захуркал, отдаваясь блаженству.

— Вот бухгалтер! Разнежился! Распустил брюхо. Теперь его в стайку не загнать.

Настасья Ефимовна, выскребавшая лопатой в Борькином хлеву и вдосталь нахохотавшаяся над расшалившимися парнями да над Борькой, со вздохом сказала, уходя в избу:

— Дети. Совсем еще дети, — и наказала "самому": — Ты долго парней не сплатируй. Наволохаются еще за жись-то свою.

В русских селах не принято говорить о смерти, другое дело — оплакивать мертвого, помолиться за него. Некогда. Умирать собирайся, а жито сей, вот и Настасья Ефимовна не понимала и понимать не захотела, что может оборваться жизнь этих парней на войне.

До обеда парней не тревожили. В обед собрали роту в столовой. Посветлевший взглядом и без того прозрачных глаз, чисто выбритый, подтянутый, исторгающий благодушие, струящийся ароматами одеколона, командир роты провел собрание с личным составом, к поре подоспевший Тебеньков Иван Иванович произнес короткую речь, из которой следовало, что патриотизм советского народа все нарастает и нарастает. О грани этого патриотизма не может не разбиться фашистский дредноут, вся фашистская нечисть в конце-концов пойдет ко дну, найдет могилу в российских пространствах. Труженики совхоза имени товарища Ворошилова приветствуют молодых патриотов, прибывших на прорыв, питание обеспечено, одежонка какая-никакая выдана.

— Ну а девчата наши, — заключил речь директор совхоза, — не дадут скучать молодым бойцам, бойцы же не поранют сердца наших девчат, а если и поранют, дак только любовным орудьем, но не до смерти.

Хорошо, речисто говорил Иван Иванович.

Вечером в осиповском клубе скрипели половицы, ломились скамейки. Отмытая в банях, приободрившаяся армия грудилась, пошучивала, уже и анекдоты пошли, хохоток местами

всплескивался.

Все напряженно ждали Мануйлову. Она пришла расфуфыренная, накрашенная, в цветном платке, в коротеньком полушубке, отороченном на рукавах и по отворотам бортов. Посмотрела на народ критически, постучала ключом по ладошке и, махнув рукой, куда, дескать, вас денешь, открыла красный уголок, выдала баян.

В кладовку, увидев там газеты, брошюры и книги, просочились Васконян и Боярчик. Заметив, как бережно относятся они ко всякой бумаге, как трепетно берет Васконян в руки книгу, Мануйлова сунула ему ключ и сказала, что вот он и будет ответственный за красный уголок, сама же поспешила на голос баяна, на ходу ему подпевая: "ляй-ляй-ля-ля-аа, ляй-ляй-ля-а-а!" На лету же подхватила какого-то красноармейца, мотанула его в вальсе. Кто умел танцевать, тоже начали распределяться попарно, со смешками, с подковыром, неуверенно пробуя переступать, кружиться невпопад.

Но затаенные ожидания ребят не оправдывались, буйного веселья не наступало. В давно не топленном, запущенном клубе села Осипово было и холодно, и серо, и сыро — для подогрева всеобщего тепла, бодрости и веселья здесь недоставало главного двигателя — девчат.

Феля Боярчик тренированной рукой мигом нарисовал цветными карандашами на обороте старого плаката портрет Сталина и еще жизнерадостного, упитанного красноармейца со знаменем в руке среди колосящихся хлебов да зелени шумящих берез. Отозвав в сторону тенора Бабенко под видом помочь прибить свои творения к бревнам, пошептал ему что-то, кивая головой на неплотно прикрытую, холод и пар струящую дверь клуба.

Бабенко был да не был в клубе.

Смело черпая снег загнутыми для форса голенищами валенок, ротный запевала обошел клуб и обнаружил стайку девчат, жмущихся к стене, внимающих музыке. Две или три при появлении тенора Бабенко с визгом сыпанулись сверху, в снег; девчонки, которые повыше и покрупнее, подсаживали подружек на плечи, те заглядывали в окно в чуть вытаявшую дырку, с замиранием сердца сообщали, что делается в клубе, какое там коловращение военных кавалеров происходит.

— Дэ-вчатку-у! — запел тенор Бабенко. — Милы вы наши дивчатку! Мы шукаем, томымсь, а вас нема и нема! Та що ж вы в окно заглядываете? Ласкаво просимо! — не очень-то длиннорукий, не очень-то крупный собою Бабенко сгреб, однако, целую охапку девчат, вежливо поволок их в клуб. За короткий путь он выяснил, что есть среди девчат его землячки, и пел, пел им соловьиным голосом, называя неньками, коханенькими, душечками, даже разглядел у одной вочи и выдал: "Темные вочи, чернии бровы, век бы дывытись тильки на вас". Бабенко до Сибиру доставлен был еще в малом возрасте, ридну мову энал худенько, однако ж и того было достаточно, чтоб снять напряжение с девчат.

Одна из дивчин, в новых валенках, в белом кожухе, была круглолица, глазами быстра. Ее-то и выделил Бабенко, наудалую назвав Оксаной.

"Ба-а, дывысь! — изумлялась дивчина. —Як же ж ты?!"

"Сорочьи яйца ив, сорочьи яйца пыв!" — затрещал Бабенко и подцепил дивчину под руку. Она ему за находчивость тайну выдала, указав на барачные, слишком ярко сверкающие окна: "Там дуже много гарных дивчин, горилка е, но воны стесняются..."

Затащив первую партию девчат в клуб, рассадив их по скамейкам, среди кавалеров,

напрягшихся лицом и телом, Бабенко, подмигнув, взмахнул рукою, что дирижер, грянул удалую, в лихо распахнутой шинели пошел на призывно светящееся окно, ведя за собой наиболее активных бойцов, для затравки, под баян выдавал совершенно приличные частушки с любовным уклоном: "Милочка-картиночка, дорогая Зиночка, я иду из-за реки попросить твоей руки!", "Эх, сад-виноград, зеленая роща, у меня была жена, значит, была теща". Услышав про тещу, кто-то из эвакуированных в Сибирь "курских соловьев", вдруг не к разу и невпопад, дурным голосом проорал совсем дурное: "Хорошая теща, на себя затаще, а плохая и с жены сопхае..."

Компания с нарочитым изумлением, смехом, топотом и гомоном ввалилась в барак, где навстречу была уже распахнута дверь, чтоб, Боже упаси, гости в темноте не убились. "Сюда! Сюда! Пожалуйте!.."

Хохлак рванул баян, Бабенко из себя выходил, демонстрируя культуру, затопало, захлопало, завертелось, где-то залился перепуганный ребенок, — лейтенант Щусь ушам своим и глазам своим не верил: неужели это те самые солдаты, еще вчера за крошку хлеба готовые вырвать глаз у сотоварища, трясущиеся, едва живые в строю, парни так преобразились, так взорлили?! Поносом белые снега пятнают, кашляют, сморкаются, плачут, дерутся — эти, что ли? Да не-эт, то отдельные симулянты и доходяги, остальная ж рота — орлы! Музыкой вон село будоражат, девчат в трепет вбивают, к себе зовут. Молодость, во веки непобедимая, непоборимая молодость напоминает о себе. Значит, повоюем. Дадим фрицу жару! Заломал он нас? Нет. Смял?! А ты на моих орлов подивуйся!.. Погляди на них!

Приняв по чарочке, скромно куснув от огурца, посланники повели за собой целую толпу визжащих, взбудораженных, разом взвинтившихся девчат, толкающих друг дружку в сугробы, где парней зацепят, в свалку вовлекут, не без этого. Из дворов, из ворот выскакивают, на ходу застегиваясь, девчонкишкольницы и тоже взвизгивают, обморочно вопят, к старшим девчатам льнут. Гурьбой веселой и бесшабашной ввалилась компания в клуб. Сразу в нем сделалось шумно, тесно, весело, и уже случилась общая для военной поры нехватка всем девчатам кавалеров в пару на танцы, да многие из вояк и танцевать не умели. Тут же с ходу, конфузясь, краснея, отшучиваясь, учились тонкому искусству парни, притирались в танцах друг к дружке. За вечер и распределились дамы и кавалеры сообразно своим вкусам, кто и по велению сердца. Посообразительней и поазартней бойцы, имеющие пусть и малый опыт в сердечных делах, правились провожать напарниц, но держались пока сдержанно и даже чопорно, имея в виду дальнейшее развитие отношений более тесное и активное.

Вынув руку из-под шеи нежно и ублаженно дышащей Валерии Мефодьевны, командир роты глянул на именные, на Дальнем Востоке заработанные часы, висевшие на гвоздике, — был первый час, но в ночи еще звучал баян. Щусь быстро оделся, осторожно задернул занавеску на двери горницы, однако Валерия Мефодьевна шевельнулась, встревоженно вопросила: "Куда?" — "Ч-шш! — Приложил палец к губам младший лейтенант. — Спи. Я скоро..."

В клубе совсем мало осталось народу, Хохлак на исходе сил перебирал пальцами по баяну, подвыпившие парни и девчата сидели в обнимку, однако пьяных не было. "Не дай Бог поддаться этой заразе..." — подумал командир и негромко сказал:

— Хлопцы! Завтра, нет, уже сегодня рано вставать. На работу. По домам, по домам, ребята, — и пообещал притихшим девчонкам: — Они никуда от вас не денутся. Завтра здесь будут, и послезавтра.

Смолк баян в клубе, и тут же начали гаснуть одно за другим окна в деревушке Осипово. Лишь одно окно, в первом бараке, горело еще настойчиво и долго. За тем негасимым окном сидел

возле детской качалки Васконян, байкал ребенка Аньки-поварихи, читал, время от времени, бережно положив книгу, срывался в бег, к дощаному сооружению за бараком.

Чутко, как и всякая кормящая мать, спавшая и чего-то напряженно ждавшая молодая хозяйка, разочарованно вздыхала, постепенно доходя умом, что такому увлеченному читателю все мирское ни к чему, баловство всякое тем более, и надо как-то вытеснять книгочея из барачной комнаты, а заселить сюда пусть и малограмотного, отсталого, но практически подкованного, строевого бойца.

Глава тринадцатая

Вблизи степь не выглядела так сказочно красиво, как с первого, мимоходного пригляда. Да, там, возле мглистого березового колка, где из белой мякоти выпутывалось заспанное солнце, золотело, пробужденно отливало, сверкало под солнцем, волнами перекатывалось бесконечное желтое поле. Но возле покинуто стоящих комбайнов, завязившихся в снегу, в смятой кошенине, все было в лишайных проплешинах, все прибито, разворошено, от всего веяло тленом, и комбайны походили на допотопных животных, которые брели, брели по сниклым хлебным волнам, но нет нигде берегов, нет на земле никакой пристани, никуда им не добрести, и остановились они, удрученно опустив хоботы.

Хлебное поле, недокошенное, недоубранное, долго сопротивлялось ветру и холоду, ждало своего сеятеля и пахаря до снегов. Ветер делался все пронзительней, все злее, безжалостно трепал он нескошенные стебли с поникшими колосьями, и завеяло занозистой остью в воздухе, серой пылью покрыло пашенное пространство, заструилось из колосьев зерно на стылую землю. Однажды налетел вихрь с дождем, со снегом, доделал гибельную работу, опустошил хлебные колосья, покрыл подножья стеблей мокрым снегом, захоронил под ними плотно слипшееся зерно, растрепал, пригнул, спутал меж собой облегченные стебли. Соломинки, что посуше, хрупко сломались, что погибче, полегли возле дороги вразнохлест, каждая сломанная трубочка стебля, налитая дождем, держала в узеньком отверстии застывшую каплю, и словно бы тлели день и ночь поминальные свечки над усопшим хлебным полем, уже отплакавшим слезами зерен. Бисерные, негасимые огонечки, сольясь вместе, сияли тихим, Божьим светом из края в край, и совсем почти неслышный стеклянный шелест, невнятный звон землеумирания звучал над полем прощальным молитвенным стоном.

О, поле, поле, хлебное поле, самое дивное творение человеческих рук! Тысячи, может быть, миллионы лет прошло, прежде чем нашла себе щелку на берегу моря-океана, комочек остывшей лавы меж скал и пронзила его корешком живая травинка на планете, все еще с высот сорящей пеплом, охваченной огнем и дымом на грозно опаленных вершинах.

И еще много, много лет и зим минуло, покуда вырастила травинка в пазушке стебелька махонькое зернышко, а из него возникло невиданное творение природы: хлебный, рисовый, маисовый колосок или кукурузный початок. Будут еще и еще произрастать под солнцем плоды земные, и кусты бобов, и клубни картофеля, и кисточки проса, и хлебное дерево, и всякие другие чудеса, но колосок, сам по себе являющий такую красоту, такое совершенство природы, матери-земле удалось сотворить только раз. Извергнувшись огнем и смерчем, приуготавливаясь к жизни, природа должна была сотворить чудо, и она сотворила его, выполнив предназначение судьбы, веление Бога, для жизни на земле. Будет еще и пламень, ее изжигающий, и лед, ее сковывающий, и смерч, ее разметающий. Но снова и снова воскресало на ней не смытое морской волной, диким камнем не раздавленное, холодом не умертвленное зернышко. Цеплялось корешком за сушу, исторгалось оно долгожданным колоском, чтобы кормить тех, кто возникнет на земле и прозреет для жизни. Пшеница та была невзрачная на вид и звалась полбой.

Много раз пройдет по кругу своему Земля, много раз повернется боком к живительному солнцу, покуда существо под названием человек, размножаясь и расселяясь по земле в поисках хлеба насущного, наткнется на тот колосок, выделит его из многочисленных уже трав и растений, разотрет клыками и почувствует в малом зернышке такое могущество, которое способно вскормить не только род человеческий, но и скот, и птиц, и малых зверушек. Однажды, зажав в когтистой темной горсти зернышко земного злака, человек попытается понять его назначение. Глядя на осыпающиеся пылинки трав, на кружащиеся в воздухе крылатые семена, на прорастающее новой травою, новым колосом с наливающимися в нем зернами цветение, человек поковыряет сучком землю, высыплет из горсти в черную ранку дикий злак.

И восстанет перед двуногим существом маленькое поле колосьев. И с того околышка-пашни начнет совершаться по планете под названием Земля победное шествие пшеничного, просяного, ржаного, рисового семечка и многих-многих растений, не дошедших до нас из утренних времен Земли. Организуясь в хлебное поле, прорастающее зернами ржи, овса, ячменя, риса, кукурузы, гречки, неряшливо-хламная, где болотистая, где огнем оплавленная планета начнет приобретать обжитой, домашний вид, росточком прикрепит человека к земле, а каждый год спелыми хлебами шумящая пашня наградит его непобедимой любовью к хлебному полю, ко всякому земному растению, ко всякой живой душе. Пробудит в нем потребность перенять из природы звуки, превратить их в музыку, зачерпнуть краски земные и небесные и перенести на доску, на камень, выткать узоры на холсте — так создавалась душа человеческая.

Творя хлебное поле, человек сотворил самого себя.

Век за веком, склонившись над землей, хлебороб вел свою борозду, думал свою думу о земле, о Боге, тем временем воспрянул на земле стыда не знающий дармоед, рядясь в рыцарские доспехи, в религиозные сутаны, в мундиры гвардейцев, прикрываясь то крестом, то дьявольским знаком, дармоед ловчился отнять у крестьянина главное его достояние — хлеб. Какую наглость, какое бесстыдство надо иметь, чтобы отрывать крестьянина от плуга, плевать в руку, дающую хлеб. Крестьянам сказать бы: "Хочешь хлеба — иди и сей", да замутился их разум, осатанели и они, уйдя вослед за галифастыми пьяными комиссарами от земли в расхристанные банды, к веселой, шебутной жизни, присоединились ко всеобщему равноправному хору бездельников, орущих о мировом пролетарском равенстве и счастье.

Выродок из выродков, вылупившийся из семьи чужеродных шляпников и цареубийц, до второго распятия Бога и детоубийства дошедший, будучи наказан Господом за тяжкие грехи бесплодием, мстя за это всему миру, принес бесплодие самой рожалой земле русской, погасил смиренность в сознании самого добродушного народа, оставив за собой тучи болтливых лодырей, не понимающих, что такое труд, что за ценность каждая человеческая жизнь, что за бесценное создание хлебное поле.

Какой же излом, какое уродство, какие извращения, какие чудовищные изменения произошли в человеческом сознании, когда пахарь и сеятель начал терять уважение к хлебному полю, перестал ему молиться, почитать его, дошел до того, что начал предавать его огню, той самой силе, которая до него не раз уже разрывала и испепеляла земную плоть.

Начавши завоевательный поход, степняки-кочевники, дикие и полудикие племена, пускали впереди себя пал, двигались, укрытые дымными тучами, вослед ревущему, все пожирающему огню.

И все современные походы, все современные революции, затеянные провозглашателями

передовых идей, начаты с того же, с чего начинали войны полудикие косматые орды, — с огня, уничтожающего труд человеческий. На Руси великой всякого рода борцы за правду и свободу, унижая историю и разум человеческий, называли это дело с издевкой — пустить петуха. Революция и революционеры зажгли русскую землю со всех сторон, и до сих пор она горит с запада на восток, и нет сил у ослабевшего народа погасить тот дикий огонь, вот снова катится огненным валом по русской земле, по русским полям, бушует по всей Европе, перехлестываясь аж за океан, дикое пламя войны.

Тот, кто не бывал в огне, не бежал от огня, пожирающего хлеб, настоящего страха не знал.

Над полем выгорает воздух, удушливым смрадом исходит чадящий хлеб. Зерно накаляется, могучая плоть струит сине-сизый дым, прежде чем взорваться и затмить огнем и смрадом все вокруг. Рвет кашлем грудь пораженного ужасом человека, слезятся его глаза, останавливается удушенное дыхание — то силы небесные карают чадо Божье за самый тяжкий грех: предание огню и гибели хлеба насущного.

Выронив или выбросив из горсти колосок, взрастивший его крестьянин потерял связь с пашней и утратил смысл своего существования. Перестал уважать и всякий другой труд, отбросил себя на миллионы лет назад, обрек на очередное умирание, на многомиллионнолетнее забвение. Как мать, убившая свое дитя, не смеет называть себя матерью, так человек, убивший хлеб, значит, и жизнь на земле, не смеет называть себя человеком…

Осиповское хлебное поле, разоренное, убитое, — как оно похоже сейчас на смутой охваченную отчизну свою, захиревшую от революционных бурь, от преобразований, от братоубийства, от холостого разума самоуверенных вождей, так и не вырастивших ни идейного, ни хлебного зерна, потому как на крови, на слезах ничего не растет — хлебу нужны незапятнанные руки, любовно ухоженная земля, чистый снег, чистый дождь, чистая Божья молитва, даже слеза чистая.

Хлебное поле едино в своем бедствии и величии, оно земной бороздой соединено со всеми полями Земли, и воспрянет, воспрянет, засияет хлебное поле на западе и на востоке, и в искитимской стороне, на сибирском приволье воспрянет. Земле-страдалице не привыкать закрывать зеленями и деревьями гари, раны, воронки — война временна, поле вечно, и во вражьем стане, на чужой стороне оно отпразднует весну нежными всходами хлебов, после огня и разрухи озарится земля солнечным светом спелого поля, зазвучит музыкой зрелого колоса, зазвенит золотым зерном. И пока есть хлебное поле, пока зреют на нем колосья — жив человек и да воскреснет человеческая душа, распаханная Богом для посевов добра, для созревания зерен созидательного разума.

И осиповское поле воскреснет. Сеятель, вернувшись к нему из огня войны, воспрянет для труда и проклянет тех, кто хотел приручить его с помощью оружия да словесного блуда отнимать хлеб у ближнего брата своего. И когда нажует жница по имени Анна или Валерия в тряпочку мякиша из свежемолотого хлеба, сунет его в розовый зев дитя, и, надавив его ребристым небышком, ребенок почувствует хлебную сладость, и пронзит его тело живительным соком, и каждая кровинка наполнится могущественной силой жизневоскресения — тогда вот только и кончится воина.

Комбайны были откопаны из снега, под ними горел огонь, и в где-то отысканных комбинезонах на брошенных старых телогрейках под комбайнами лежали, подвинчивали гайки, стучали по болтам, натягивали шкивы и широкие ремни Вася Шевелев и Костя Уваров. С детства лепившиеся рядом с отцами на тракторных и комбайновых сиденьях, в школьные еще годы обучившиеся нелегкому машинному делу, привыкшие чинить и вдохновлять на непосильный

труд аховую колхозную технику, парни вдыхали жизнь в остывшие железные груди машин, и, кроме них, никто не верил, что этакое может сотвориться, что поседелые от пыли и снега, унылые машины могут согреться и начать работать.

Комбайны должны были использоваться как молотилки: две скирды скошенного хлеба, задавленные толстым слоем снега, уже раскопали и растеребили веселые вояки с не менее веселыми девчатами.

Прямо от деревни Осипово по ту и другую сторону слабо прикатанного зимника аж до горизонта белели две широкие полосы. Сплошь они были в бугорках, и если б не белехонький, нежностью исходящий снег, поле было бы похоже на сухое болото, покрытое снежными кочками, но вместо кочек под снегом таились копны скошенного хлеба. Примерзшие к земле сысподу, слежавшиеся, они трудно давались вилам, и, пока подъехало начальство в поле — Иван Иванович Тебеньков, Валерия Мефодьевна Галустева и Щусь Алексей Донатович, — охваченные трудовым энтузиазмом бойцы переломали большую часть черенков вил и лопат, жгли возле скирды костер из обломков сельскохозяйственного инструмента и соломы, грелись, заигрывали с девчатами.

— Ах вы, так вашу мать! — захлопал себя рукавицами Иван Иванович Тебеньков. — Из таежных мест, видать. Руби, не береги! Да здесь дерево-то на вес золота...

В это время хакнул густым дымом комбайн, хлопнул винтовочным выстрелом патрубок, содрогнулся всем неуклюжим телом полевой истукан и, чихая, охая, всасывая воздух, набирая чадного дыхания, согреваясь изнутри, как бы не совсем веря себе, пробно зарокотал, зашумел самоваром комбайн, шлепая еще сырым, к железу прилипающим ремнем, важно называемым трансмиссией. Костя Уваров прибавил газу, маховик закружился резвее, громоздкая машина закачалась утицей, окуталась осенней, пахотной пылью и мякиной, легкая хлебная ость запорхала над комбайном, откуда-то из недр его, из самой утробы, высыпались на снег горсть-другая стылой, на залежалое золото похожей пшеницы.

Народ, затаив дыхание, все еще не верящий в жизненные возможности остылой машины, опустил выдохом грудь, загалдел возбужденно, кто-то пробовал на зуб зерно, механики паклей чего-то подтирали в машине, гладили ее черными руками, подлаживали, подвинчивали, подстраивали, и не было сейчас на поле людей важнее и главнее их.

— Ах ты, ах ты! — забегал, засеменил вокруг машины Тебеньков Иван Иванович. — Живой! Живой! — И, шумя, гладил комбайн, не веря еще, что заработал орел степной, хотя и кашлял от пыли и застоя непрочищенным нутром, давился остью, захлебывался дымом, но рокотал уже ровнее.

Иван Иванович Тебеньков пробовал перекричать гром машины, команды подавал, указующим перстом тыкал туда-сюда. Вася Шевелев и Костя Уваров — работяги-молодцы, механики-удальцы — лишь снисходительно улыбались, оголяя белые зубы на чумазых лицах: они без начальника знали, что надо делать, куда чего лить, где чего подмаслить и как действовать дальше. Переведя машину на медленный ход, чтобы не рвались мерзлые ремни трансмиссии, они спустились на землю, сказали Ивану Ивановичу: "С тебя пол-литра, товарищ начальник!" — "Будет, будет, — радостно откликнулся директор, — и пол-литра, и закуска. Как же без разгонной-то дело начинать?" Понимали даже те, кто вином не баловался: механики должны требовать то, что другим заказано, на то они и механики — отдельно и высоко существующий народ, рано для взрослой жизни созревший, к ним и девки смелее льнут. Где остальным до них!

"Ах, если бы мне в совхоз пару таких орлов, — тараторил и в то же время грустно думал Иван Иванович. — Что я с бабьем-то?" Но чтобы просто так, без напоминаний о власти от народа не уйти, на всякий случай погрозил механикам пальцем:

— У меня не балуй!

— Лан, лан, не пыли, начальник! Дак про поллитру-то не забудь!

Щусь подозвал к себе Шестакова, Рындина, умеющих запрягать лошадь, велел вернуться в Осипово, брать подводы и ехать в дальний лес за черенками для вил и лопат.

— Это вам не подошвы отрывать у казенных ботинок. Здесь симулянтов не будет. Я даже вояке Мусикову работу по душе найду! — спокойно высказался он.

Мусиков в тот же день был определен на зерновые склады — провеивать зерно. Но пока зерна не было, он лежал на горячей русской печи, надеясь, что все время такая лафа и будет ему, про него, может, забудут. Хорошо бы и всю войну на печке пролежать — сходил в столовку, поел и обратно на печь, ну уж если совсем невмочь, до ветру еще сбегал, и вся тут тебе война и работа.

Из деревни потянулись быки с телегами и березовыми волокушами. Пару медленных, на ходу спящих быков вел Васконян. Взяв веревочный повод под мышку, он вяло плелся впереди тягловой силы, засунув руки с рукавицами в карманы, и время от времени дергал плечом, понукая быков:

— Н-ну, несчастные животные! Идите! Или же я вас удагю.

Подремывая на ходу, Васконян не видел, как, взявшись за животы, хохочут ребята, девчата, Иван Иванович, Валерия Мефодьевна, а командир войска устыженно хмурится. Мимо поля, мимо комбайнов, мимо всего народа проследовал Васконян с быками. Его окликнули — далеко ли? уж не на врага ли походом двинулся?

— Вот именно! — состывшимися губами ответствовал Васконян и, свернув в поле, бросил быков, подлез к огню, весь в нем растопорщился, распластался над пламенем, будто северный шаман. Огонь был соломенный, дикий, вспыхивал и тут же гас, шевелил темные былки в прогорелом снегу. Васконян опалил в огне свои черные, сросшиеся на переносице брови, на нем затлела шинель, с криками свалили его в снег, гасили загоревшиеся полы шинели, рукава. Даже шлем со звездою вояка умудрился подпалить. Хорошо хоть нашлись валенки по нему. Коле Рындину валенок по размеру не сыскалось, выдали вояке из клубного уголка обороны противоипритные мокроступы. Привычный к кожаным ичигам, Коля Рындин надел диковинные бахилы поверх ботинок, обмоток, умело подвязал их и чувствовал себя куда с добром, и вообще старообрядец, попав в сельскую местность, разом воспрянул духом и до такого дошел уровня бодрости, что даже пихнул плечом девчонок, те кучей свалились в снег.

— У-у, дубина стоеросовая! — ругались девчонки.

Коля поднимал девчат из снега по одной, галантно их отряхивал и каждой напоследок отвешивал по заду громкий шлепок. Девчонки взвизгивали, ойкали, но с этих же пор и выделили воина, прониклись к нему свойскими чувствами.

К вечеру Коля Рындин с Лешкой Шестаковым привезли воз черенков. В совсем уж заглохшем, снегом захороненном сельце Прошихе честно заработали они себе обед и полную аптечную бутыль самогонки. Лешка Шестаков проявил пролетарскую смекалку, подвез бабенкам соломы

с поля и дровишек из лесу. Коля Рындин смотрел на своего разворотливого, мозговитого связчика с уважением — так в деревне на десятника смотрят, — но выпивать не стал, зато, прежде чем сесть за стол, размашисто перекрестился двумя перстами на какого-то сумрачного угодника с копьем. То копье напоминало макет винтовки из родимой бердской казармы, и ребятам грустно подумалось об оставшихся там сотоварищах — казахах, Алехе Булдакове, того вместе с начальником "хана" Яшкиным отправили в новосибирский госпиталь: Яшкина лечиться взаправду, ну а Леху придуриваться.

За столом парни еще раз переспросили название села — Прошиха и, затихнув в себе, поинтересовались: не отсюда ли родом братья Снегиревы? Им ответили, что в Прошихе Снегиревых половина селения, что касаемо братьев Снегиревых, близнецов, то семья эта разом вся загинула, изба Леокадии Саввишны была заколочена, нынче ж ее расколотили, заселили туда эвакуированных.

Ребята тяжело затихли, пряча виновато глаза, поели и после обеда, уже в лесу, спросили у дедка, их провожавшего:

— А куда же саму Снегиреву-то?

— А увезли. На подводе. Че-то сынки ее натворили. Покатила беда — открывай ворота, уж после отбытия хозяйки похоронка на хозяина пришла. Сама-то Леокадия Саввишна, слышно, в тюрьме умом тронулась.

Вроде бы по волосу и голосу старенький, но еще крепенький, ловко управляющийся с подводой житель деревни Прошиха, назначенный бабами в помощь солдатикам, сообщив все эти новости, для многих в селе уже сделавшиеся привычными, раскурил трубку, надев рукавицы и хлопая вожжами по бокам лошаденки, горестно вздохнул:

— Вот так вот. Была расейская хрестьянская семья, от веку трудовая, и не стало ее. Без дыму сгорела.

Местность свою прошихинскую помощник знал хорошо, завел сани в смешанный лес, где было густо елового подлеска. Коля Рындин выбрал и срубил себе черенок с оглоблю толщиной. Лешка Шестаков с дедом быстро навалили, обрубили елушек — потому что береза на морозе хрустка, пояснил дед, — и, пока кони, топтавшие снежный целик, отдыхали над охапкой сена, служивые успели еще и у костерка посидеть, картошек напекли, мерзлой рябиной полакомились. Продолжая наставления — на то он и дед, чтобы малых наставлять, да не на кого, видать, знание было обратить, — заключил:

— В печи жарче березы нету дров. На черенок, на шест, на очеп для зыбки руби молодую елку — гибкая лесина и вечная. Желательно на всякое изделие, на избу, на баню, робята, всякое дерево валить в декабре, коды в дереве сок замрет, вся сила в ем для борьбы с морозом соберется под корой.

На обратном пути, когда топтали дорогу, прямо из-под ног, взрываясь белыми ворохами снега, вылетали косачи. Затрещит, захлопается птица в одном месте, застреляло вокруг: которые птицы мчатся дуром сквозь лес, которые щелкают о мерзлые ветки крыльями, которые тут же и усядутся на березы, головой дергают оконтуженно, таращатся на людей.

— Эк обсяли лес-то! Эк выставились! Ровно ведают, что охотников нету. А вы че, робятишки, приуныли-то? Че носы повесили?

— Да так...

Тихим миром веяло от леса, от работы в лесу, от дедовых поучений на жизнь, на знание жизни, а в сердце томливо, виной сердце угнетено, видно, на все оставшиеся дни та вина за убиенных братьев Снегиревых, мать их и отца, за всех невинно погубленных людей.

Коле и Лешке, раз они черенки привезли, велено было и насаживать их на вилы и лопаты. Провозились до глухого вечера. Тут уж сноровка была за Колей Рындиным, ловко он орудовал топором, рубанком, но и Лешка лишним в деле не был, тоже в свои года кой-какую работу испытывал, и связчик одобрителен к нему был, словоохотливо рассказывал про деревню Верхний Кужебар, про бабушку Секлетинью и вообще про все, что было ему памятно и казалось достойно воспоминаний. Поздним вечером ввалились в барачную комнату, где Васконян читал книгу, все продолжая байкать сморенного, на маму характером вовсе непохожего ребенка в качалке. Хозяйка квартиры, повариха Анька, побрасывала кастрюли, пнула кошку, бросила дрова на пол с артиллерийским громом.

Колю Рындина Анька усмотрела вчера вечером, когда он по своей воле остался замывать котел, они хорошо повечеровали. Анька порешила заменить квартиранта, но днем это дело провернуть не успела из-за большой занятости, от этого сердилась.

Анька и Валерия Мефодьевна жили через стенку, на двоих содержали одну няньку, войной поврежденную девчонку из эвакуированных, за еду, угол и обноски. Наголодавшаяся, что курица, дергающая шеей от военного испуга, девчонка такой должности и сытому столу была рада, но боялась разговаривать с людьми, старалась никому ничем не мешать, на глаза хозяйке не попадаться.

Увидев Колю Рындина и Лешку, Анька оживилась, захлопотала, забегала, защебетала:

— Ах, работники! Ах, ударники! Намерзлись, сердечные. Счас… счас… — И в совершенный пришла восторг, когда со словами: "Вот, заработали!" — Лешка выставил тяжелую, на крупнокалиберный снаряд похожую бутыль. — Вот парни трудятся, промышляют, — застрожилась Анька, глядя в сторону Васконяна, впившегося в книжку. — А некоторым курорт.

Васконян швыркал огромным носом с давно обмороженным и уже незаживающим кончиком, на слова хозяйки никак не реагировал, будто и не слыша их.

— Людям некогда книжечки читать. — И вздохнула как о человеке конченом или Божьем: — Он, видать, и в военном окопе читать способен. А че, в политотдел угодит, дак…

— Я не угожу в политотдев, — на минуту оторвавшись от книжки, перестав качать ребенка, заявил Васконян. — Я слишком честен для политотдева. — И как ни в чем не бывало продолжал свою работу — качал ребенка, снова впившись в книжку, на обложке которой виднелись слова "Былое и думы".

— Тошно мне, тошнехонько, че говорит-то? Че он говорит?

— Ашот, иди за стол. Потом со мной к старикам Завьяловым потопаешь. Мы там с Хохлаковым квартируем, изба теплая, старики мировые. А тут, как мой отчим говорит, альянц. — Лешка развел руками, усмехаясь.

Коля смутился, опустил голову, чего-то пробовал бубнить оправдательное. Анька, видя такое состояние бойца, готовое перейти в раскаяние, прикрикнула:

— Лан, лан те альянц! У нас в Осипове это дело по-другому называется.

Лешка налил самогона в четыре посудины. На "не пью" Васконяна и на "не могу" Коли Рындина, твердея смуглыми северными скулами, отстраненно молвил:

— Мы ведь в Прошиху попали, Ашот. Погибла семья Снегиревых. Выкорчевали благодетели еще одно русское гнездо. Под корень.

Васконян подошел к столу, сделал глоток, утерся рукавом и вернулся к кроватке, поник с зажмуренными глазами над ребенком. Коля Рындин, отвернувшись, истово перекрестился на мерзлое окно, прошептал какое-то молебство, разобралось лишь "и милосердия двери отверзи", но и этого достало, чтобы Аньке оробеть.

— Че дальше-то будет? Когда эта война клятая кончится? — попробовала она запричитать.

— Когда чевовечество измогдует себя, устанет от гогя, нахлебается кгови... — не открывая глаз, раскачиваясь в лад люльке, непривычно зло и громко произнес Васконян и внезапно в пустоту, во мрак изрек страшное: — Смоют ли когда-нибудь дочиста слезы всего чевовечества кговь со всего чевовечества? Вот что узнать мне хочется.

Парни испуганно открыли рты, Анька, видя, что весь план ее нарушается, встряхнулась первая:

— Ой, ребятушки, уже поздно. Скоро Гринька проснется. Спокойной вам ночи. Бежите, бежите, я самогонку спрячу...

Коля Рындин, оробев от возникшей ситуации, начал искать рукавицы.

— Дак, ребята, я, это... стало быть... утресь на работу...

— Я разбужу, — решительно снимая с Коли шапку, заявил верный связчик его Лешка Шестаков.

— Все ж таки неловко как-то, — вытащившись в коридор, оправдывался Коля Рындин, видя, как непривычно напряглась хозяйка.

— Я тебе, помнишь, говорил, что неловко? — посуровел Лешка. — Говорил?

Коля Рындин напрягся памятью:

— Ковды?

— Ковды, ковды! Когда бабушка твоя Секлетинья в невестах ходила. Завтра напомню че да ковды. — И, круто повернув Колю Рындина, Лешка поддал ему коленкой в зад, провожая по направлению Анькиной комнаты, да так ловко поддал, что Коля свалился на руки хозяйки, и та подморгнула Лешке благодарно.

"Знает только ночь глубока-а-а-ая, ка-ак поладили они, р-расступи-ы-ысь ты, рожь высокая, та-айну свя-то сохра-ани-ы-ы-ы", — пел теперь на всю деревню Осипово народ, потому как Анька-повариха убыстрила ход, нарядная, бегала к ребенку из кухни и от ребенка в кухню, громко на все село хохотала, но главное достижение было в том, что качество блюд улучшилось, кормежка доведена была до такой калории, что даже самые застенчивые парни на девок начали поглядывать тенденциозно.

— Спасибо тебе, Коля, дорогой, порадел! — вставая из-за столов, накрытых чистыми клеенками, кланялись Коле Рындину сыто порыгивающие работники.

— Да мне-то за што? — недоумевал Коля Рындин, но, разгадав тонкий намек, самодовольно реготал: — У-у, фулюганы!

На работе мало-помалу все определилось и выстроилось. Парни выковыривали копешки из-под снега, свозили их к комбайну, машина, захлебываясь всем железом, почти замолкая от смерзшихся хлебных пластов иль бодро попукивая, пускала синие кольца дыма, пожирала навильники сухого, из середины копны валимого, мало осыпавшегося хлеба, неутомимо бросала и бросала мятую, на морозе крошащуюся солому за спину себе, под ноги отгребалыциков с вилами. Шустрые служивые волокли солому на вилах и в беремени к огню и почти всю сжигали, грея себя и девчонок, сплошь почти уже распределившихся на работе по зову сердца.

Коля Рындин, волохавший за полвзвода, изладил себе противень из ржавого железа, отжег его и на том противне жарил пшеницу, щедро угощал "товаришшэв". Закинувшись назад, пригоршней сыпал он в рот горячее зерно, хрустел так, что иногда молотильщики-комбайнеры озирались на машину — уж не искрошились ли железные шестеренки. Подкормившись на совхозном и Анькином харче, жуя горячую пшеницу, Коля Рындин, притопывая, орал частушки:

Все татары, все татары, а я русскай человек.

Всем по паре, всем по паре, а мне парочки-то нет!..

Коля Рындин прокатывался насчет Васконяна, который так и не обзавелся дамой сердца, так и маялся с двумя волами, которые, волоча кучу копен, вдруг останавливались, глубоко о чем-то задумавшись. Васконян дергал повод, требовал движения. Стронувшись наконец с места по своей воле и охоте, быки роняли своего поводыря в снег низко опущенными головами, протаскивали по нему охвостье березовой волокуши.

— Да они ж его изувечат, насмерть затопчут! — ахнул Иван Иванович Тебеньков. — Нарядите человека на другую работу.

Щусь отрядил быков с Васконяном, помощником ему бывалого лесоруба Лешку Шестакова, в березовый лесок, щеточкой выступающий за желтым полем в ясную погоду, по дрова. Всю солому труженики полей сжигают, на совхоз же, кроме всех бед, надвигается бескормица, весною солома понадобится как спасительница скота, да и с топливом в деревне, особенно в семьях эвакуированных, плохо, в бараках люди мерзли и бедствовали, везде нужда, везде нужна помощь, а рабочих рук на селе все меньше и меньше.

Тем временем подошла пора веять намолоченный хлеб, и утром, приворотив воз березника к конторе, где его пилили на дрова распоясанные вояки, Васконян и Лешка определились в совхозный амбар, там на веялке работал редкостного усердия труженик Петька Мусиков да четыре женщины — две молодые, но уже смертельно усталые детные вдовы и две егозистые, недавно окончившие школу сибирские девки. Эти, не глядя на военную беду, по зову природы и возраста все норовили потолкаться, поиграть, в уголках пошушукаться, не было игры у них заманчивей, как, свалив служивого на ворох хлеба, насыпать ему в штаны холодного зерна.

— Да что вы, девочки, мивые! — взмолился Васконян, без того весь околевший, мерзлые сопли на рукавицу размазавший, выгребая через ширинку пшеницу из штанов.

Петька Мусиков матерился, кусался, отбиваясь от неистовых сибирячек.

Игруньи от него и от Васконяна отступились. Неперспективные. Лешке ж доставалось. Он едва

справлялся с двумя матереющими халдами, как их называли бабенки-вдовы, наставляя Лешку им самим насыпать пшеницы под резинку трусов, что он в конце концов и сделал. Визг поднялся, беготня по риге. Бабы, поддавая жару, кричали поощрительное. Весело сделалось, даже Васконян сморщил рот в улыбке.

На этот трудовой шум явилась Валерия Мефодьевна.

— Весело у вас тут,сказала и увела с собой одну бабенку.

— Вот, доигрался! — сверкая глазищами, укорили Лешку девки-предательницы.

Тем временем в поле нарастал трудовой напор.

— Десять копен на брата, — определил упряг командир, — и как сделаете норму, хоть до обеда, хоть до ночи прокопаетесь, — так и домой, в тепло.

Никакой еще хитрой тактики в молодых беспечных головах не велось, навалятся дружно, пошел, пошел молотить, чтоб побыстрее домой, под крышу, затем в клуб. Девки тоже ударно трудятся, пластаются, сгребая снег с копен, тоже в клуб поскорее охота.

Коля Рындин обходился без волокуш — наворочает на свои вилищи две копны (три не выдерживали навильники), взвалит на загривок и, двигаясь под этим возом к комбайну, орет что-то героическое, ведет себя, словно отчаянный таежный ушкуйник, весь осыпанный крошевом грязной соломы, землею, снегом. Отряхнется у костра труженик, всыплет горстищей в рот поджаренной пшеницы, наденет рукавицы — и снова за дело.

"Мне бы такого работника в совхоз", — снова и снова вздыхал Иван Иванович Тебеньков, наблюдая, как играючи управляется с тяжелой ношей могучий чалдон, да и все труженики из красного войска сплошь управлялись с нормой до обеда, еще и в свежей, холодной соломе успевали с девчатами поваляться, потискать их, повеселить. Всем на все хватало сил. Шагая по селу Осипово с вилами через плечо, молодые, хваткие работники и песню совместно деранут, да не строевую обрыдлую песню, а свою, деревенскую, но не по понуждению старшины, по доброй воле и охоте споют.

"Рано пташечка запела, кабы кошечка не съела!" — съязвила однажды Анька-повариха. Волохая на кухне с темна до темна да неугомонно ночью с Колей Рындиным трудясь, она до того уставала, что ноги у нее дрожали и подсекались. И накаркала, накаркала ведь, нечистая сила, усек полководец свою промашку и, вспомнив еще в Тобольске слышанную пословицу: "Это не служба, а службишка. Служба будет впереди", молвил войску: "Э-э, орлы! Пользуетесь моей хозяйственной безграмотностью. Шаляй-валяй норму делаете!.." — да и добавил сперва по две, потом по пять копен на брата. Норму осиливали уже тяжелее. Вечером возвращались домой без песен, длинно растянувшись по сумеречной пустынной дороге.

В риге на веянье зерна начали работать две машины. Работы прибыло. Лешка уже не мог отпускать Васконяна домой "на часок" — погреться. Тот, схватившись за ручки веялки, мотался, мотался — не понять было: он ли машину крутит, она ли его. И девчонкам уже совсем не до игр сделалось.

Высушенное зерно ссыпали в мешки, буртовали их возле стен. Тут уж подставляли спину Лешка и молодая, но заезженная жизнью вдова — девок под мешки не поставишь, Мусиковтрудяга падал под мешком. Девчонки сердешные вкалывали, отгребая навеянное зерно от веялок, стаскивая его на носилках наверх в сушильное отделение, рассыпая по полатям. У Лешки руки отламывало, кости на спине, в плечах саднило, думал: придет домой,

сунется на лежак за печку и не пошевелится. Но, полежав после ужина на топчане, он разламывался, иссиливался, спешил в клуб и, к удивлению своему, заставал там своих юных веяльщиц — они из другой деревни родом, но вместе росли, в школе сидели за одной партой, привыкли все делить пополам и ныне ревниво следили друг за дружкой, натанцевавшись, неразъемной парой волоклись домой, ведя Лешку, будто больного, под ручки. С обеих сторон подцепившись, в теплой серединке держа его, девки незаметно то слева, то справа прижимались к нему. Потоптавшись возле ворот, одна из подруг наконец роняла: "Ну, я пошла" — и стояла, стояла, переминаясь с ноги на ногу, тогда и вторая со вздохом объявляла: "И я пошла" — и раскатом во двор. Из-за ворот раздавался приглушенный смех, стукала дверь в сенках, скрежетал в петлях железный засов, затем отодвигалась занавеска на окне, сквозь мутное стекло Лешке видно — машут ему вослед, если бы виднее было, так кавалер разглядел бы: ему еще и язык показывают, толстущий, бабий.

У одной юной труженицы по имени Дора в Осипове жила тетка, и брошенные на прорыв с центральной усадьбы девки у нее и квартировали. Тетка не держала квартиранток строго. Она и сама в молодости удалой считалась, повольничала, набегалась с парнями вдосталь, потому и понимание жизни имела, потребности молодого сердца ведала.

— Че парня на улке морозите? Созовите домой, да не одного, а двух, чтоб по-человечески было. Может статься, Бог послал вам первых и последних кавалеров...

"Все! Пускай сами с собой танцуют и сами себя провожают! Зачем мне дрыгать на холоду? — негодовал Лешка Шестаков. — Нашли громоотвод!.."

Отступили морозы. Пригрело не пригрело, но метели тут как тут из-за дальних перелесков на рысях вынеслись, зашумели, закружили снег, засвистели в проводах, загудели в трубах.

У Завьяловых в одну из метельных ночей благополучно отелилась корова. Как положено суеверным чалдонам, хозяева потаились два дня, после чего хозяйка размякшим голосом пропела:

— Н-ну, робятушки! Лехкое у вас сердце, глаз неурочлив. Телочку Бог дал! И раз вы квартировали у нас при ее явлении, быть вам и крестными.

— Как это?

— А именем телочку нареките.

Дед Завьялов тут как тут с поллитровкой, с законной по случаю благополучного исхода в хозяйстве, хозяйкой выданной, — дело-то ответственное, как его без градуса обмозгуешь? И приговорка у хозяина к разу и к месту готова: "За Богом молитва, за царем служба не пропадет".

Имя телке придумал Васконян, да такое, что уж красивей и выдумать невозможно, — Снежана. Впрочем, хозяин с хозяйкой имя то распрекрасное тут же переиначили в Снежицу, потому как во дворе мело-порошило, снегом в окно бросало, сугробы на дворе намело, да и привычней крестьянскому языку и двору этакое подлаженное корове прозвище-имя.

Несмотря на метель и ветер, к Завьяловым, черпая катанками снег, следовали и следовали из клуба посыльные — нужен был Григорий Хохлак, без него остановилась культурная жизнь. Пилит, правда, на басах Мануйлова, которая за два года учебы в областном культпросветучилище успела заиметь двух мужиков, сделала от них два аборта, но больше никакой другой культуре и искусству не научилась.

— Неча, неча, — махали на посыльных руками Завьяловы. — Пущай хоть раз робята выспятся, вон уж поосунулись от работы на ветру да от ваших танцев-шманцев.

Было явление двух юных веяльщиц. Лешка на них ноль внимания. Надо Хохлака, зовите Хохлака, вожжаться же с вами попусту — дураков поищите в другом месте.

— Ладно уж, жалко уж! — заныли от порога девчонки. — А еще солда-аты: народа защитники! И ты, дед, хорош, и ты, баба! Завладели-иы-ы-ы…

Васконян, человек, культуре обученный, смущенно пригласил напарниц по веялке раздеваться, составить компанию.

— Че нам ваша компания? Мы другу соберем!

Но ничего у плакальщиц не выревелось, не собрали они компанию на этот раз, поздно хватились, и шибко метельно было. Назавтра в клубе ничего не происходило из-за отсутствия дров — убродно, метельно, подводы к лесу не пробились. Мануйлова куда-то уехала или спряталась, заперев баян под замок.

День в томлении и скуке прошел. Опустив глаза, девчонкивязальщицы, виноватые во всем, Шура и Дора, вежливо, даже церемонно пригласили Лешку с друзьями посидеть у тетки Марьи, попить чаю, поскольку клуб снова не топлен. Вызнав про компанию и про чай, сердитая оттого, что ее не позвали, Мануйлова самоглавнейший предмет местного искусства — баян — унесла домой и заперла в ящик.

Ходили посыльные на квартиру главной начальницы, Валерии Мефодьевны, жаловались на руководителя культуры.

— Она, эта министерша, бездельница эта, добьется у меня! — взвилась начальница и вопросительно поглядела на еще более высокую власть.

Щусь решительно, как командир орудия перед выстрелом, махнул рукой:

— Ломайте замок на сундуку. Гуляйте. Но не до утра. Метель утихнет, наверстывать будем упущенное.

— Будем, будем! — сулились военные весело и стремглав бросились на штурм сундука Мануйловой.

Но Дора и Шура до штурма дело не допустили, они под ручку привели в дом завклубом и баян, завернутый в половичок, принесли, на колени его Грише Хохлаку поставили со словами: "Вот, владей! Все!.."

Хоть и набилось народу к тетке Марье полный дом, Шура и Дора стойко держались "своих": Шура танцевала и сидела только с Лешкой, Дора, не зная, с какого боку подступиться к музыканту, подносила выпить и закусить, накоротке обнадеживающе мяла грудь о его плечо, ласково теребя за ухо, поскольку волосы на голове воина еще не отросли.

Хохлак так играл, как никогда в жизни еще не играл. Дорина тетка и хозяйка избы Марья, до глубины души пронзенная страстной и зовущей музыкой, напелась, наревелась, но, понимая ситуацию, вовремя удалилась ночевать к куме, чтоб не стеснять собою молодежь.

— Ну, девки, хозяюйте тут, распоряжайтесь, я с ног валюсь, — пропела тетка Марья,

промазывая ногой мимо валенка, и, снаряжаясь, наказывала: — Карасин долго не жгите, карасин ноне кусатца. А ухажер, он что охотник, нюхом должен дичь чуять, в потемках ее имать беспромашно.

Во сколько часов, как разошлись гости — неизвестно, потому что Шура наладилась утягивать Лешку в боковушку, где они обитали с Дорой, обнимала его там, целовала неумело, но так яростно, что кавалер почувствовал на губах соленое, догадался — кровь, и, поверженный напором женской страсти, оторопело слизывал ее. Шура нежно сцеловывала кровь с Лешкиных губ, захмелело, сонно воркуя: "Милый солдатик. Раненый мой солдатик", — и тянула его на довольно пышную, совсем не по-квартирантски заправленную кровать, уверяя, что никто не зайдет, что Дора — подруга верная, все соображает, все как надо сделает. Задушенный поцелуями Лешка спрашивал: что же ты так-то, зачем же за нос человека водить? Да еще и насмехаться?

—А как же? Сразу и в дамки? Пусть и война, пусть и томленье. Но надо честь девчоночью блюсти...

— Ну и блюди. Я домой пойду! — ворохнулся Лешка. Шура попридержала кавалера, мечтательно глядя вдаль, попророчествовала и вздохнула.

— Мы будем вместе, будем. Только не сейчас. — И вдруг всхлипнула. — Ты хоть обними меня, скажи хоть: жди, мол, Шура, жди после победы...

Лешка сжался в себе, примолк: он слишком много знал на Крайнем Севере, в родных Шурышкарах обманутых и покинутых не только женщин, но и детей. В память навсегда вклеилась привычная шурышкарская картина — в мужицкое одетая, мужиковато шагающая, курящая, пьющая баба, ведущая дом и хозяйство, в доме у нее выводок детей недогляженных, растущих, что в поле трава, куда-то потом навсегда исчезающих, словно в бездонный человеческий омут заныривающих. Он выпростал руку из-под головы подруги, погладил ее по раскосмаченным волосам. Она выловила его руку во тьме, прижалась к ней губами.

— Вот и хорошо! Вот и хорошо!.. Спи теперь, спи. Скоро утро. Скоро нам на работу.

Лешка лежал неподвижно. За окном все еще шумело, шуршало, что-то подрагивало на крыше или во дворе. Шура разом ослабела, напряженное тело ее распустилось, по-детски протяжно, со всхлипом вздохнув, она опала в сон, Лешка незаметно для себя отдалился от нее и от всего на свете, перестал слышать ветер за окном и тоже с протяжным вздохом, которого не почувствовал, усталый, измотанный, заснул с тяжестью в растревоженном теле, с шумом в хмельной голове, успев еще подумать о Тамаре, как с той было хорошо, просто — э-эх!..

Глава четырнадцатая

Унялась, залегла в снегах степная просторная метель. Лишь слабеющие порывы ветра, занявшись за околицей села, завихрят, завертят ворох снега, донесут белую полоску до деревушки и расстелют ее на низком плетне огородов, рассыплют по сугробам белую сечку, а коли прорвется вихорек по совсем уж заметенной дороге в улицу деревушки, завертится на ней, поскачет белым петушком, вскрикнет, взвизгнет и присядет на жердочку иль на доски крылечка, сронит горстку пера в палисадник — не ко времени прилетел, но в самую пору отгостился.

Лениво поднималось, раскачивалось, валило в степь трудовое войско с лопатами, вилами на плечах. За служивыми, по свежетоптанной тропке покорным выводком тащились, попрыгивали подчембаренные, как в Сибири говорят, стало быть, в длинные штаны под юбками сряженные,

девчата. До бровей закутанные, все слова, всю, учено говоря, энергию истратившие за время простоя, они не разговаривали меж собой, лишь зевали протяжно, даже не вскрикивали, если в дреме оступались со следа, проложенного тоже изнуренным войском, с досадой пурхались в снегу. Предстояло им разламываться в труде, преодолевая оплетающую тело усталость.

Комбайн захоронило в снежном кургане, копешки совсем завеяло, замело, где, как искать их — неизвестно. Коля Рындин развел костер, нажарил пшеницы, похрустел, погрелся, подтянул пояс на шинели и пошел ворочать копны. За ним потянулась в поле вся армия. Девчонки, обсевшие костерок, неохотно, с трудом отлипали от огонька и, настигнув Колю Рындина, тыкали в его несокрушимую спину, в загривок, считая, что, если б он не вылазил со своим трудовым примером, не высовывался поперед всех, так и сидели бы, подремывали люди у костерка.

Механики отогревали и заводили двигатель комбайна, возчики широко обложили машину охапками соломы, в которой негусто темнели, где и светились желтенько сплющенные колоски.

Щусь тащился верхом на коне по убродному снегу и видел, что войско его не спит, не простаивает, барахтаясь в сугробах, в наметах, расковыривает, таскает и возит навильники хлеба к комбайну. Он слез с лошади и, ведя ее за повод, думал о том, что надо просить у директора совхоза Тебенькова трактор и перетаскивать комбайн дальше в поля — сделалось далеко доставлять копны на обмолот. Второй комбайн, как ни старались собрать и завести, — не получилось: не было запчастей в совхозе. Но главное: забрали из совхоза на войну самого нужного человека — кузнеца, и тогда смекалистые механики начали разбирать второй комбайн на запчасти: снимали с него шкивы, ремни, отвинчивали гайки, вынимали шестеренки, словом, подзаряжали, подлаживали машину, чтобы не рассыпалась она вовсе, и думали не только механики, не только директор и начальница Валерия Мефодьевна, но и весь еще не совсем разучившийся шевелить мозгами трудовой народ: что же будет тут весною? на чем пахать? на чем и что сеять? Ведь уже сейчас, чтобы держать вживе хоть один комбайн, на него кроме деловых механиков отряжают порой целую бригаду ремонтников.

Бойцы-молодцы, такие жалкие, вредные, заторможенные умом в казарме, на плацу, здесь, на сельском поле, распоряжений не ждали, команд тем более, пинков и подзатыльников не выхлопатывали, и ладно, и хорошо, что Яшкин не попал на хлебоуборку. Визгу от него много, толку мало. Но откуда, где взять совхозу этакую бригаду потом, ведь подметают по России последних боеспособных мужиков, а враг на Волге, а конца войне не видать.

Необъяснимая тоска томила младшего лейтенанта Щуся, тревога доставала сердце. Во время метели он просмотрел газеты, прослушал радио: Сталинград изнемогал, но держался; на других фронтах кое-где остановили и даже чуть попятили немца. Но отдали-то, но провоевали такие просторы.

"На фронт скоро, вот в чем дело", — решил Щусь, и когда случалось быть вместе с Валерией Мефодьевной, а случалось это нечасто — занятой она человек, — смотрел на нее пристальным, тревожным взглядом. Немало знал он женщин, похороводился с ними, но эта вот, с продолговатыми скулами, с оттесненными от переносицы спокойными глазами, всегда ясными, всегда со вниманием распахнутыми навстречу другому взгляду, женщина с крепко сидящей на совсем некрепкой шее головой, увенчанной забранными с висков и от затылка густыми волосами, которые держал со лба роговой ободок, на затылке гребенка и множество заколок, заняла в его сердце и сознании вроде бы отдельное место. Он долго не мог найти объяснения влечению своему, и вдруг как удар! — тетушка! Вечная его мать, венок с названием — женщина, она, она предстала ему во плоти и лике здесь, в сибирском глухом краю. Вечная по

тетушке-матери тоска, любовь и нежность, ни с чем не соизмеримые, должны же были найти где-то свое воплощение, свой образ, свой источник, всеутоляющий жажду любви.

Именно отсюда, из Осипова, он написал в Тобольск письмо и попросил художника Обдернова, ученика Доната Аркадьевича, схоронившего своего учителя, доглядевшего одинокую старость Татьяны Илларионовны, по праву занявшего дом Щусевых со всем имуществом и картинами, прислать копию с фотографии своей тетушки, выкорив себя за черствость, попутно попросил фотографию своих родителей, повелел распорядиться имуществом по своему усмотрению, сам он, Щусь, уже представлял, что такое нынешняя война, при вбитой в него военной добросовестности выжить на ней не надеялся. Если б не офицерский, не мужской кураж, какая буря чувств обрушилась бы на нечаянно и негаданно встреченную в Осипове женщину. Но умение владеть собой, стойкость походного сердцееда, ответственность, наконец, за свои поступки, но главное — пример родителей Доната Аркадьевича, Татьяны Илларионовны, пример святого отношения мужчины к женщине, верный до гроба их союз должен же был когда-то и где-то отозваться. А тут что же? Завтра покличут в полк, снарядят на фронт. Зачем рассиропливаться? Зачем втягивать женщину, которой и без того тоже живется сложно и трудно, в какие-то многообязывающие отношения, обманывать надеждами...

Валерия Мефодьевна перед сном неторопливо вынимала из волос гребешок, заколки, складывала на столик перед зеркалом все эти принадлежности и, тряхнув головой, сбрасывала на спину волну волос. Почувствовав облегчение от этой вольности, какое-то время сидела перед зеркалом, не видя в нем себя и не веря наступившему покою. На Щуся накатывала такая волна чувств, что он, не выдержав, обнимал ее сзади, целовал в шею, и, чувствуя нежное тепло тонкой кожи, казалось, сейчас утонет, умрет в ней. Валерия Мефодьевна, очнувшись, прижималась подбородком к его рукам и какое-то время не двигалась, не открывала глаз. Наконец, коснувшись губами его руки, шептала: "Пора! Отдыхать пора" — и еще какое-то время сидела не шевелясь, не произнося слов.

Щусь с каждым днем все острее чувствовал смущение оттого, что в первый раз он обошелся с ней по-военному просто и грубо, толкнул на кровать, разнял руки, придавил...

"Ну что, укротитель, ладно тебе?" — спросила она затем в темноте. Не зная, что ответить, он припал губами к ее губам, обращая всю свою растроганность в мужскую грубую страсть.

Щусь побывал у Валерии дома, на центральной усадьбе. Дом этот был не только крепко и просторно рублен, но и обихожен заботливо, обшит в елочку кедровой дощечкой, наличники и ставни крашены, ворота с точеной рамой. На верху крыши излажен боевой петух с хвостом-флюгером. В самой избе обиход на полпути к городскому: прихожая, куть по обиходу деревенские, зато горница с коврами над кроватями, со шкафом, с круглым столом посередине, патефон на угловике, радио на стене, зеркало, флакончики. В ребячьей, как вскоре уяснил гость — комнате Валерии, есть полка с книгами, и стол отдельный, и тумбочка у кровати со светильником — все-все городское.

Старший брат Валерии, сестра и мать держались к гостю почтительно и сдержанно, сразу же разгадав нехитрую ситуацию, возникшую меж женщиной и мужчиной, не уяснив, впрочем, до конца, почему он, форсистый, ладненький офицерик, так быстро оказался при ней, при Валерии, — всякого-то якова она и не приблизит, и в дом родной не привезет, хоть и нету с прошлой осени вестей от мужа, однако же это не значит, что можно уже и другого заводить, по родне напоказ возить. Подождать бы вестей с фронта, потерпеть, пострадать...

Брат Валерии затеял стол и разговор. Мать с удовольствием отметила, что гость на вино не жаден, хотя и управляется с водкой лихо. Но вот ест как-то без интереса, не выбирая, чего

повкуснее. Спросила младшего лейтенанта, чего это он такой. Валерия, скосив глазищи, ждала, что скажет Щусь, чуть заметная усмешка шевельнула пушок на ее губе.

— А я, Домна Михайловна, ничего не понимаю в еде. К военной столовке смолоду привык. — И тише добавил, уводя глаза: — Да к бродячей жизни.

— Знаю, военная жизнь — ненадежная жизнь, сказала мать, твердо глядя на дочь и как бы говоря это для нее отдельно, однако ж и гость чтобы разумел глубокий смысл ею сказанного.

Брат Валерии, рассеивая возникшую неловкость, спросил насчет ордена, где, мол, и как заработан. Когда узнал, что еще на Хасане, предложил выпить за это дело. Разговор ушел в сторону, заколесил по окрестностям военных полей, по крутым горам жизни, а Домна Михайловна все более тревожилась, поглядывая на дочь да на гостя. "Ой, Царица Небесная, кажется, у них сурьезные дела-то! Ой, че будет? Война кругом..."

После обеда Валерия Мефодьевна засобиралась по делам в контору, спутнику своему предложила на выбор три удовольствия: поспать на печи, почитать — отец был большой книгочей, когда попадал в город, непременно покупал книги, Щусь уже отметил: в доме этом обитал сельский интеллигент, знавший городской обиход, устройство городское и не желавший отставать от передовой культуры, — либо посмотреть альбом с фотографиями.

Гость листал альбом и видел, что Валерия была с детства в семье выделена: красивая, уже в подростках независимая, на карточках смотрелась она как-то на отшибе, вроде бы городская особь, случайно затесавшаяся в деревенский круг. Щусь не без улыбки предположил, что Валерия была в школе отличницей.

— Круглой, круглой. С первого по десятый класс, — Подтвердила Домна Михайловна и, словно удивляясь самой себе, подсев к гостю, заглянула в альбом, в который давно не было поры заглянуть, продолжала: — Шестеро их у нас. Трое парней и девок три. Два парня на войне, во флоте. Дочка середняя по мобилизации на военном летчицком заводе в Новосибирске. Все оне люди как люди. Учились кто как, помогали по дому и двору, в лес бродили, дрались, фулюганничали, погуливали, по огородишкам лазили, из речки летом не вылезали, ни один, кроме нее, десятилетку не вытянул. А она, милый ты мой, и шпарит, и погонять ее никто в учебе-то не погонял. Накинет мою старую шаленку на плечи, сядет за стол за отцовский в горнице, не позови поесть, так и засохнет над книжкой. Да это еще чего-о! — Домна Михайловна, существо все же деревенское больше, хотя хозяин, поди-ко, изо всех сил тянул ее на городской обиход, суеверно перекрестилась на окно — сам икон в доме не держал. — Она и в житье-то блаженная была. Надо идти на улицу, ко мне в куть: "Мама, разрешите мне сходить поиграть..." Меня аж оторопь возьмет; Го-осподи, откуль че? Что за порча на ребенка напущена? К родителям на "вы". В городе, в техникуме-то, из общежития не выходила, все книжечки, все книжечки... На практике в поле перед самой войной познакомилась с одним, да тот тоже ее стеснялся, тоже с нею на "вы". Отец уж перед отъездом на войну, лезервист он, уговорил уважить его, чтоб союз семейный у дочери завелся, мол, на душе спокойней будет. Все дети при месте, и ты, мое самое дорогое дитя, тоже устроена.

Домна Михайловна вздохнула, побросала мелкие крестики на грудь, тут же испуганно убрала руку.

— Сам-то запрещал молиться. Все партия, все партия... Вот те и партия! Где она? Где он? Ты уж не обессудь меня, молюсь потихонечку нонче за всех за вас, и за него, безбожника, тоже. Скажу те по секрету — он меня за отсталость чуть не бросил с детями. Городску атеистку подцепил, и если бы не Валерия... Ох-хо-хо-о-о-о, грехи наши тяжкие!.. Ну вот, слушай дальше...

Уважила наша барыня отца, пожила сколько-то с мужем в Новосибирске. Того призвали в первую же неделю войны. Она домой в тягости. Худая, зеленая, глазишшы светятся попреком: "Ну што, довольны теперь?" Боже мой, Боже мой! Што за человек?! Токо-токо родила, ребенка под бок и в другу деревню, на самостоятельный хлеб. Будто в родной избе места нету, будто бабушке внученька не в радость. Сама мается и ребенка мает...

Тепло ли в комнатенке-то? Молоко-то хоть есть?

— Тепло, тепло, Домна Михайловна, и молоко приносят, и нянька — девочка славная.

— Нянька! — всхлипнула Домна Михайловна. — Чужой человек... Я бы и съездила другой раз, Иван Иваныч в подводе не откажет, да боюсь. Все мы ее чтим, но боимся. А вы-то как? Временно это у вас?

— Война, Домна Михайловна.

— Во-ойна-а-а, — подхватила Домна Михайловна. — И как она вас к себе подпустила? Вот в чем мое недоуменье.

"Как? Как? Обыкновенно. — Щусь смотрел на семейную, может, и свадебную фотографию. Нездешнего, не деревенского вида деваха, неброско, но ладно одетая, с косой, кинутой на грудь. К девахе приник, прилепился совершенно смирный, блеклый парень с пролетарской осанкой, большеносый, широколицый, аккуратно причесанный перед съемкой, в галстуке, явно его задушившем. — А вот так! И вам, и ему, да и мне, пожалуй, Валерия за что-то выдает..."

— Клопов-то хоть нету?

— Что вы сказали, Домна Михайловна?

— Клопов-то, говорю, в бараке хоть нету? А то съедят ребенчишка... Сам-то в каждом письме только об ней да о внучке спрашивает, будто других детей и внуков у него нету.

— Клопов нет...

— Ну-ну, — не поверила Домна Михайловна и, поджав губы, спросила еще: — Вы с ночевой или как?

— Это уж как Валерия Мефодьевна решит.

— Во-во, и ты туда же: "Как Валерия Мефодьевна решит". Всю жизнь этак, все в доме по ней равняйтесь, по ее будь. Ей бы мужиком родиться — в генералы б вышла, дак того фашиста в его огороде, как Ворошилов сулился, и доконала бы...

Валерия вернулась домой поздно. Приторочила лошадь к воротам, бросила ей охапку сена, дома, не раздеваясь, налила в кружку молока, отрезала ломоть хлеба и, приспустив шаль с чуть сбившихся волос, подсела в кути к столу.

— Куда это на ночь глядя? — насторожилась Домна Михайловна. — Ночуйте. — И, отвернувшись, тише добавила: — Я в горнице постелю, никто не помешает, с рассветом разбужу.

— Дела, мама, дела. Завтра с утра хлеб сдавать. Намолотили зерна солдатики.

— Дак и сдавай, кто мешает? Девок, говорят, у тя полно отделение, солдатики намолотят,

детский сад в Осипове понадобится...

— Хорошо бы, — устало улыбнулась Валерия Мефодьевна и сомлело потянулась. — Везде закрываются детсады да ясли — детей нет, а я бы с радостью открыла.

— А волки! — не сдавалась мать. — Говорят, дороги кишат имя. Ниче не боятся. Война. Мужиков нету. Подводы и коновозчиков дерут...

— Да мало ли чего у вас тут говорят. У нас вот поют! — и, словно стряхивая с себя что-то, повела плечами, подмигнула младшему лейтенанту.

"А-а, беэ-эс, баба-а-а, затейница, а-а, ведьма, сибирская!" — восхитился Щусь и сейчас только понял, что не знает ее, нисколько не постиг, и постигать, наверное, времени уже не хватит, да и зачем?

— Тебе че! Тебе хоть волки, хоть медведи, — собирая кошелку, ворчала Домна Михайловна. — У тя, Лексей Донатович, наган-то есть? А то ведь нашей пролетарье всех стран соединяйтесь никто не страшен...

— Есть, есть, Домна Михайловна. Простите, если что не так.

— Заезжайте ковды, хоть один, хоть с ей, — хмурясь, вежливо пригласила хозяйка и ткнулась в щеку дочери губами. — Ребенка-то хоть побереги, ребенка-то пожалей. Отец вон в каждом письме о тебе и о нем... Напиши хоть ему ответ, если недосуг матери вниманье уделить... Занята... — мимоходом, но значительно ввернула она и уперлась глазами в младшего лейтенанта.

— Напишу, напишу как-нибудь — отстранилась Валерия от матери и, кинув на ходу: "До свиданья!" — вышла из дому.

Ехали молча, не торопясь. Валерия сидела, откинувшись в угол кошевки, закрыв глаза, плотно запахнувшись, повязанная по груди шалью — кормящая мать, бережется. Щусь, не опуская вожжей, валенком прикопал ее ноги в солому. Она покачала головой — спасибо.

В степи было тихо и лунно. Лишь вешки, обозначавшие дорогу, да телеграфные столбы, бросая от себя длинные тени, оживляли белую равнину, загадочно мерцающую искрами, переливающуюся скользящим лунным светом. Полоски переломанного бурьяна раскосмаченно помаргивали в лунном свете, в приветствии упрямо клонились к дороге татарники, лебеда, чертополох — все еще пытались сорить где-то упрятанным, ветром не выбитым семечком из дребезжащих коробочек; густо ветвилась полынь в степных неглубоких ложбинках, доверху забитых снегом, похожих под луной на переполненные, через края льющиеся речки. В ложбинках вязли сани, трещал сухой бурьян под полозьями, конь утопал по брюхо в снегу, заметно напрягался, но, вытащив кошевку из наметов, фыркал освобожденно и, отряхнувшись, без понуканий переходил на легкий бег. Тень дуги, оглобель, коняги, даже пара, клубящегося из его ноздрей, скользила рядом, мотала хвостом, шевелила ушами — такая славная, такая милая картина, совершенно успокаивающая сердце, уносящая память не только за кромку этих снежных полей, но еще дальше, в какое-то убаюканное ночью и временем пространство, где не только о войне, но даже о какой-либо тревоге помина нет.

И если бы не эти всхолмленные поля, не эти "несжатые нивы", уходящие в ночную лунную бесконечность, в неверным светом рдеющие дали, которые там и сям коротким, робким росчерком ученического карандаша означали березовые перелески, краса и радость лесостепных земель, — все воспринималось бы, как в древней сказке с хорошим, мирным

концом.

Мертвые хлеба в который раз унизило, придавило метельными снегами, но они, израненные, убитые, все равно клочковато выпрастывались, горбато вздымались из рыхлых сугробов, трясли пустыми колосьями, мотали измочаленными чубами. Темной тучкой наплывала погибшая полоса на холме, выдутая до земли, тенями ходила под луной, все еще чем-то пылилась, позванивала, шуршала — сердцу становилось тесно в груди при виде этих сиротских полей, словно непохороненный, брошенный покойник неприкаянно маялся без креста, без домовины и тревожил собою не только ночную степь, но и лунное студеное небо. От них, от этих заброшенных, запустелых полей, отлученно гляделись и редкие перелески, и остатние низко осевшие скирды, и приземистые, безголосые домики степных деревень, продышавших в сугробах норочки, из которых светилось, теплом дышало одинокое оконце.

Хотелось встряхнуться, заорать или заплакать, исхлестать лошадь, такую бодрую, такую безразличную ко всему, такую... "Эк тебя, Алексей Донатович, рассолодило! Баба рядом, степь кругом, метель унялась, война далеко — такая ли идиллия..."

И только он так подумал, от перелеска, проступившего впереди, донесло голос заблудшего пьяного человека и тут же подхватом поскребло уши одинокое рыдание. "Да это ж волки! Накаркала, накликала Домна Михайловна..."

— У тебя наган-то заряжен ли? — не открывая глаз, насмешливо спросила Валерия.

— Он у меня завсегда, товарищ генерал, взведен.

— Если б тем наганом волков бить — все зверье повывелось бы.

— А другого у меня нет.

— Зачем старую женщину обманываешь? — Валерия открыла забеленные морозом, пушистые ресницы и скосила на него глазищи, в лунном свете обрамленные куржаком, совсем они были по солдатской уемистой ложке.

Лошадь встревожилась, запрядала ушами. Щусь крепче намотал на руку вожжи.

— Не боись, — пошевелилась Валерия и потуже затянула шаль на груди, — они постоянно тут поют, но на людей не нападают, на подводы тем паче, — овчарен и деревенских собачонок хватает. Чистят их умные звери, чуют людскую беду, плодятся. Дедок из Прошихи, тот, кто помог солдатам черенки для вил заготовить — мой крестный, — он сказывал, прошлым летом все выводки были полны. Волки — звери настолько приспособленные, что могут регулировать рождаемость в зависимости от урожая, падежа скота, засухи, недорода...

— Ты что, всерьез?

— Всерьез, всерьез. Я все делаю всерьез, товарищ командир. И говорю всерьез. Хлеба наши спозаброшенные, спозабытые — людям бедствие, птицам, мышам — раздолье, зверю — прибыток: плодятся, множатся, поют, токуют. Знаешь, — помолчав, продолжала уже без насмешки Валерия Мефодьевна, — волчица если в недородный год опечатку сделает, родит лишнего волчонка, — самого хилого начинает от сосцов отгонять, морду от него воротит, семейка в угол лежбища неугодное дитя загоняет, волчонок хвостом виляет, морды братьям облизывает, к маме ластится, та зубы ему навстречу и... однажды бросается весь выводок, рвет и съедает лишнего щенка, брата своего.

— Это тебе тоже крестный?

— Он. И он же сказал, что у вас в полку братьев Снегиревых со свету свели. Хуже волков, Господи прости!.. Дай мне вожжи. Под ногами в соломе берданка заряженная, вытащи — на всякий случай. Через лесок поедем.

Щусь пошевелил ногами в соломе, нащупал валенком оружие, это был карабин. Младший лейтенант обдул его, передернул затвор — на колени ему выпал патрон с острой пулей. "Да-а, с этой бабой не соскучишься!" — покосился он на спутницу, загоняя патрон в патронник и ставя затвор на предохранитель.

— Какая тебе бердана? Это ж карабин. Старый, правда, но боевой.

— А мне что?

— Так ведь узнают, привлекут. Где взяла-то?

— Не узнают. Не привлекут. Из клуба он, вместо учебной винтовки. Учебный военный кружок у нас. Как вы, героически сокращая линию фронта, до Искитимских степей дойдете, мы, бабы, обороняться начнем от фашиста, станем по очереди палить из этого единственного на три деревни оружия. — Она пошевелила вожжами, сказала внятно: — Давай, Серко, поддавай ходу, конюшня скоро, там тебе кушать дадут и волки не задерут... — Щусю после долгого молчания бросила: — Надеюсь, хоть ты-то в Снегирят не стрелял?..

— Не стрелял... — эхом откликнулся он и, повременив, добавил: — Да не легче от этого. — И, еще помолчав, покрутил головой. — Что в народе, то в природе — едят друг дружку все.

Лесок, занесенный по пояс, пробуровленный в середке подводами, миновали благополучно, оглянулись как по команде — вдоль облачно клубящихся по опушке кустов, заваленных сугробами, будто насеяно густой топанины. После метели отмякло в лесочке, по опушке, по каждой былочке, по каждой ветке пересыпались синеватые слюдяные блики. Щусю вспомнилось несжатое поле в скорбном свечении, шелестящее, воздыхающее, когда в гущу смятой соломы оседал снег. От дороги полого уходила в лес полоса — волоком вывозил кто-то лес или сено на волокушах. На волоке черные кляксы и рваные полосы. "Кровь", — догадался Щусь. Белый поток исцарапало на всплеске, накрошило кухты с деревьев, где-то близко, совсем рядом таятся, спят в снегу отжировавшие волки. Щусь собрался выстрелить в утихший под луной нарядно-белый лесок, чтобы пугнуть зверье. Валерия остановила его, положив на карабин рукавицу, отороченную на запястье собачьим мехом.

— Не надо. Настреляешься еще. Так тихо.

Она почмокала губами, поговорила с Серком, еще раз заверила его насчет сытой конюшни и полной безопасности. Щусь понял, что ей привычно ездить по степи, разговаривать с лошадью как с самым близким другом, он снова впал в умиление от ночной тишины, от мирных сельских картин и как бы нечаянно прислонился боком к рядом сидящей женщине. Она пристально взглянула на него и вдруг обхватила его руками.

— А ты знаешь, что Донат с латинского переводится как подаренный, а Алексей — это, кажется, хозяин. Донат подарил мне тебя или Господь?

Он нашел губами ее пушистые глаза и бережно прикоснулся сначала к одному, потом к другому глазу, куржак, собранный с ее ресниц, был солоноватый. Щусь начал догадываться, что дни, прожитые им в Осипове, и женщина эта — надолго. Все, вроде бы так мимоходно и

понарошке начатое, оборачивается в серьезное дело. И тут же вспомнил: "А я все делаю серьезно".

"Чего это я? А-а, чует сердце, скоро уезжать. И все, что было сегодня, сделается воспоминанием. Скоро..."

— А Валерия как будет? — шепнул он под шаль в ухо. — Подаренная или встреченная?

— Подцепленная будет, — сказала спутница внятно и отстранилась от него, заправляя шаль под полушубок.

В завозне, увешанной под крышей, по слегам и укосинам ласточкиными и осиными гнездами, по края набитыми белым снегом, будто чашки, наполненные молоком, шла привычная, размеренная работа; провеивалось, сушилось, затаривалось в мешки зерно. Из конторы совхоза приказано было довеять и подготовить к сдаче все остатки хлеба.

До обеда на совхозных складах обреталась Валерия Мефодьевна, негромко, но со значением и знанием дела распоряжалась погрузкой зерна да бросала взгляды на Васконяна, уныло вращающего ручку веялки, вроде бы собираясь ему что-то сказать. Завязанный по шлему старой шалюшкой, в наглухо застегнутой шинели с поднятым воротником, перепоясанный ремнем, но скорее перехваченный скрученной подпругой по плоской фигуре, воин этот напоминал пленного невольника, обреченного на изнурительный труд. Старик Завьялов отвалил Васконяну меховую безрукавку. Настасья Ефимовна зашила изодранную шинель, выданы были постояльцу подшитые валенки с кожаными запятниками, отчего-то простроченные ненасмоленной, белой дратвой. И все равно Васконян стыл изнутра, угнетен был и подавлен холодом, одиночеством, заброшенностью.

Давно уже девчонки перестали его задирать, заигрывать с ним, сыпать ему в штаны холодную, что свинцовая картечь, пшеницу, но ребята, наряженные на сегодняшний день работать на склады, насыпать зерно в мешки, сносить их в угол, скучать девкам не давали, мяли их на ворохах хлеба, залазили в сугревные места рукой. Девчонки перевозбужденно и ошалело взвизгивали, лишь Шурочка не принимала участия в заманчивоазартных играх, издали поглядывала на Лешку, поставленного за старшего на складах, о чем-то спрашивала глазами его так настойчиво, что парень кивнул ей. Шура, вспыхнув, отвернулась. "Э-э, да тут никак роман налаживается, — отметила Валерия Мефодьевна, — успеет ли действие развернуться?" — и увидела в распахнутых воротах мангазины, словно на белом экране, женщину, одетую в новый полушубок, в новые, не растоптанные еще валенки, в солдатскую шапку, из-под которой выбивались крупные завитки черных волос. Она не отрываясь смотрела на уныло раскачивающуюся вместе с колесом нелепую фигуру Васконяна, на узкую и плоскую спину его, на которой даже под шинелью угадывались россыпь угластых костей, остро двигающиеся лопатки. Валерия Мефодьевна заторопилась вниз по лестнице, чтоб успеть предупредить о чем-то Васконяна, но в это время женщина, стоявшая в проеме ворот, чуть слышно позвала:

— Ашо-от! Ашотик!

Васконян раз-другой еще крутнул ручку колеса веялки и медленно отступил от агрегата. Разогнанное колесо веялки продолжало вертеться само собой, машина, ослабевая зудящим нутром, продолжала выбрасывать из утробы своей через решетчатое жерло пыль, мякину, пустые зерна, а в другое отверстие на чисто подметенный пол струилась еще желтая полоска зерна. Но утихла веялка, струйка уже не шла, лишь прыскало на исходе россыпи зерно. Васконян все еще не двигался с места, смотрел на женщину, стоящую в светлом проеме ворот. Но вот он начал суетливо прибираться, вытер рукавицей губы, стер, смахнул с носа пыль,

мятую ость, попытался повернугь съехавшую набок пряжку ремня на шинели и вдруг, нелепо воздев руки, спотыкаясь, ринулся от веялки к воротам:

— М-ма-а-а-ма-а-а!

Васконян едва не уронил женщину, сбил с нее шапку на заснеженный въезд в завозню, что-то еще неладное, нескладное, суетливое сделал, пока женщина не привлекла его к себе, не принялась его со стоном целовать.

Со второго, сушильного этажа, легши на пол, свесивши головы в широкие люки, глазели ребята. Угадав в Валерии Мефодьевне начальницу, женщина, не выпускающая трясущегося от нервного припадка сына, все повторяющего: "Мама! Мама! Мама!" — подала ей руку, представилась:

— Васконян. Генриэтта. Его мать, — и, виновато улыбнувшись, показала на не отлипающего от нее, повисшего на шее сына. — Разрешите нам...

— Конечно, конечно. Мы тут управимся. Ты где живешь, Ашот?

— Что? Живу?.. А-а, это недавеко, совсем недавеко.

Так, прильнув друг к другу, в обнимку дошли сын и мать до кошевки, которую Васконян сразу узнал — подвода полковника Азатьяна. Парни и девки, глядевшие в открытые отдушины, от которых полосами настелилась на снег серая пыль, притихли, проникаясь большим почтением к матери сотоварища, да и к нему самому; в головах служивых шевельнулась тень раскаянья — обижали вот человека, насмехались над ним, тычки ему в спину давали, а он вот в полковничьей кошевке к Завьяловым поехал.

Старики Завьяловы сразу определили: гостья к ним пожаловала важная, — засуетились, замельтешили, как и всегда все деревенские люди мельтешили перед городскими гостями. Но мать Васконяна не знала этого, засмущалась, заизвинялась, скоро, однако, поняла, что не от униженности это, а от почтения "к имя", к городским, значит, да еще и нации неизвестной. Была тут же затоплена баня, гостья состирнула амуницию сына, чем приблизила к себе и расположила хозяйку. Самого бойца после бани переодели в деревенское белье — рубашку, штаны Максимушки, который вместе с братом ссадился у Завьяловых на пути в ссылку все из той же достопамятной Прошихи, где разорена была и отправлена на поселение родная сестра Настасьи Ефимовны.

Высылаемые крестьяне ехали на станцию Искитим через Осипово, здесь кормили лошадей. Ссыльные горемыки расползлись по родственникам — обогреться, повидаться, поплакать, и, чувствуя, что из каторжанских лесов Нарыма им уже не вернуться, старшая "богатая" сестра попросила свою бедную младшую сестру взять из большого выводка двух младших парнишек, спасти их. Спасли, оберегли, полюбили, на фронт проводили. Товарищи комиссары из военкоматов, из энкавэдэшных, партийных и других военных контор как-то сразу запамятовали, что это есть дети "смертельной контры", гребли всех подряд, бросали в огонь войны, будто солому навильниками, отодвигаясь от горячего на такое расстояние, чтоб их самих не пекло.

Пока непривычно чистый, прибранный постоялец беседовал в горнице с матерью, Завьяловы собрали на стол. Корней Измоденович только венцом серым мелькал, опускаясь то в подполье, то в погреб. Настасья Ефимовна тоже вся исхлопоталась.

— Гляди-ко, гляди-ко! — шепотом позвала она "самово" на кухню, выкладывая из нового

солдатского вещмешка продукты, привезенные матерью Васконяна. — Колбаса, концерва, сахар, нездешна красна рыба, белый хлеб, поллитровка.

Выставив все это богатство на приступок кухонного шкафчика, Настасья Ефимовна взыскующе глядела на мужа, будто уличая его в чем-то. Как, старый? Живут люди! Не тужат? Корней Измоденович лишь коснулся глазом продуктового изобилия. Его истомленный взор выделил главным образом отпотелую бутылку с сургучом на маковке, он даже почувствовал судорогу в горле, ощутил томление в животе и во всем теле.

— И не облизывайся, и даже не мечтай! — дала ему отлуп хозяйка. — Пока робяты с работы не придут, не выставлю.

— Дак я че? Я без робят и сам… — И, выходя из кухни, покрутив головой, хозяин внятно молвил, угождая жене: — Век так! Кому война, кому х…евина одна.

— Да не матерись ты, — очурала его хозяйка, — еще услышут.

— Пушшай слушают!

В горнице, в уединении шел напряженный разговор между матерью и сыном. Ашот долго не писал родителям. Мать и отец забеспокоились. Очень он напугал их историей с офицерским училищем, госпиталем и всем, что с ним происходило в военной круговерти. Вот она и решилась ехать в часть, познакомилась с командиром полка, узнала, что войско на хлебозаготовках, и, как вообразила свое чадо среди зимних сельских нив, так ей совсем не по себе сделалось.

— Полковник был очень любезен, дал своего рысака и ямщика, продуктами снабдил…

Ашот, захватив ладонью бледный высокий лоб, будто жар сам у себя слушал, внимал матери не перебивая.

— Ямщик Харитоненко знакомых солдат встретил, в совхозную столовую с ними ушел… Хотя и мимоходом видела я ваши казармы, да как представила тебя в этом царстве…

— Тебе никогда не пгедставить до конца сие цагство, как бы ты ни напгягава свое богатое воображение.

Мать отняла его ладонь ото лба, погладила сухие пальцы и прижалась щекой к смуглой руке сына.

— Мальчик мой! В полку идет подготовка маршевых рот. Вас вот-вот отправят на фронт.

— Чем скогей, тем вучше.

Она ловила его взгляд, хотела что-то уяснить для себя.

— Полковник Азатьян дал мне понять: армяне, разбросанные по всему свету, потому и живы, что умеют помогать друг другу…

Ашот отвернулся, угасло глядел в белое окно, на замерзшие в росте, усмиренные зимние цветы на подоконнике.

— Какой я агмянин? Дед мой в агмянском селе годився, отец — в Твеги, ты и я госли и жили уже в Калинине. Да если бы и быв я тгижды агмянином, не воспользовався бы такой

возможностью. Я в этой яме пгозгев, товагищей, способных газделить последнюю кгошку хлеба, пгиобгев...

— Но они бьют тебя, смеются над тобой.

— Пусть бьют, пусть смеются. У идеалистов-фивософов в умных книжках сказано: смеясь, чевовечество гасстается со своим пгошвым. С позогным пгошвым, добавлю я от себя ценную, своевгеменную мысль.

— Да-да, не просто смеясь. Непременно смеясь жизнерадостно. Слова, лозунги, заповеди, нами придуманные для того, чтобы им не следовать: "Коммунист с котелком в кухне — последний, в бой — первый..." Ты думаешь, на фронте не так?

— Нет, не думаю. Я стагаюсь, больше смотгеть, свушать. Может быть... Может быть, я хоть один газ успею выстгелить по вгагу, хоть чуть-чуть гаспвачусь за свадкий хлеб моего детства. — Ашот еще сильнее побледнел, глядя в глаза матери, устало и вроде бы машинально произнес: — Узок их кгуг, стгашно далеки они от нагода... Это пго нас, мама, пго нас. Неужели столько кгови, столько слез пголито для того, чтобы создавась новая, подвая агистокгатия, под названием советская?

— Полуобразованная, часто совсем безграмотная, но свою шкуру ценящая больше римских патрициев, — подхватила мать, комкая платочек в горсти. — Ох, как много я увидела и узнала за дни войны. Бедствия обнажили не только наши доблести, но и подлости. — Мать помяла платочек, пощелкала пальцами. — Все так, все так, но...

— Нет, мама, нет. Я еду с гебятами на фгонт, я не могу иначе. Уже не могу.

— Я понимаю... я понимаю.

— Что девает сейчас папа?

— Редактирует какую-то шахтерскую "Кочегарку". А я? Я теперь при обкоме и снова на букву "ке" — был Калининский, теперь Кемеровский, в отделе агитации и пропаганды, — мать усмехнулась, развела руками, — я умею только агитировать, пропагандировать — на это ведь ни ума, ни сердца не надо.

— Всякому свое, — подхватил Ашот. — Женщинам и детям в забой вместо мужиков, комиссагам — призывать их к тгудовым подвигам. — Он пристально и неприязненно поглядел на свою еще моложавую мать, привыкшую к белым накрахмаленным блузкам, к черной юбке, и, заметив, как она нервно перебирает воротничок этой самой блузки, протянул руку, погладил ее по жестким черным завиткам. — Пгости, пожавуйста. Давай пгекгатим этот газговог. Ни вы с папой, ни я уже не сможем жить отдельно от той жизни, котогая нам выпава. — Ашот прислушался. — Гебята с габоты пгишли, в гогнипу ни они, ни хозяева не сунутся — пойдем к ним.

Он приобнял мать, вывел ее в прихожую и, виновато улыбаясь, сказал Грише Хохлаку и Лешке Шестакову:

— Вот моя мама. Добгавась в такую даль.

В столовку работников не отпустили. Ужинали все вместе.

— Неча, неча казенной кашей брюхо надсажать. Угощайтесь, чем Бог послал.

Мать Васконяна ела опрятно, поглядывая на парней, на хозяев, сама и первую рюмку подняла:

— За добрых людей!

Ашот расхрабрился, выпил до дна, закашлялся, забрызгался.

— Ну, Ашотик, ну, воин! — с потерянной, извинительной улыбкой вытирала она платочком губы сына, и ребята подумали, что и в детстве мать так же вот обихаживала сына на людях, стесняясь и любя. Им-то ни губы, ни попу никто не вытирал, своими силами обходились.

— Пгостите, пожавуста! — вытирая слезы с глаз, повинился Васконян.

— Непривышный, — пояснил матери Корней Измоденович и авторитетно обнадежил: — Однако на позициях всему научится, холод и нужда заставят.

— Хорошо бы.

— Изнежен он у вас, вот ему и трудней середь людей, да ишшо в тако время.

— Да, да, конечно.

— Бывали хуже вгемена... — вмешался в разговор Васконян. — Ничего, Когней Измоденович, ничего, как вы говогите: Бог не выдаст, свинья не съест... Я уже самогонку пгобовав — и удачно. Вон гебята подтвегдят.

— Ашо-от!

— И не один я такой и пегеэтакий, в пегеплет попал, — будто не слыша мать, громко уже говорил Васконян, моментом захмелевший, и вдруг грянул: — "Мм-ы вага встгечаем пгосто, били, бьем и будем бить!"

Мать Васконяна махнула рукой:

— Тоже мне Лемешев!..

Все с облегчением засмеялись, попробовали подхватить песню. Васконян решительно потянулся ко второй рюмке.

— Ашо-от!

— Мама, не мешай! Гечь буду говогить! — в рубашечке с отлинялыми полосками, с промытым до бледности лицом, на котором чернели каторжно брови, ночным блеском отливали глаза, утопив в бездонной глубине своей свет лампы, Васконян смотрелся только поднявшимся с больничной койки человеком. — За мою маму и за ваших матегей, Леша, Ггигогий! Мама, это замечательные гебята! С ними на фгонте... — Он трудно высосал рюмку до половины и, сам себе удивляясь, воскликнул: — Не идет! Но ты, мама, не обижайся... А как, мама, Ггигогий иггает на баяне, как иггает!.. Вы вот меня на фогтепьяно насильно тащили. Ггиша учився тайком. Ггише в пионегы нельзя. Вгаг! Кому — вгаг, кому? Тетка-убогщица, вечегней погой тайком его во Двогец пионегов. В пионегы ему нельзя. Баян советский довегить ему нельзя, винтовку пожавуста. Комиссагы — моводцы — все ему вгедное его происхождение пгостили... Ггиша, Ггиша, дай я тебя, бгат, поцевую.

Васконян сдавил костлявыми руками шею смущенно улыбающегося Хохлака, обмусолил ему ухо и щеку, Настасья Ефимовна начала промокать глаза платком. Мать Ашота, уставившись в

стол, постукивала пальцами о скатерть, ребята, от неловкости снисходительно улыбаясь, переглядывались.

— Ничего, робяты, ничего. Мы фашисту-блядине все одно кишки выпустим! Потом и тута разберемся, — погрозив кулаком в потолок, звонким голосом возвестил Корней Измоденович.

Вскоре Хохлак с Лешкой подхватили совсем сомлевшего Васконяна, отволокли его в горницу, сами же торопливо снарядились в клуб, где, знали они, призывно мерцало пятнышко лампы. В протоптанную под окном избы Завьяловых щелку уж не раз вежливо стучали, вытребывая музыканта.

— Порешат стекла, порешат! — Настасья Ефимовна, понарошке сердясь, повысила голос. — Халды! Бесстыдницы! Сами, сами к парням так и лезут. Мы раньше...

— Обходили, обегали парней! По степу не гуляли с имя, на полатях да на вечерках не тискались, — тут же подхватил Корней Измоденович. — Война, Тася, война. Молодым последняя радость. Ступайте, ступайте, робятушки. Солдат идет селом, глядит орлом! Мы тут ишшо посидим. Гражданочка уложит своего вояку спать, мы дале поведем с ей беседу про политику и про всякую другую хреновину.

Мать Васконяна уезжала наутре, спать не ложилась. Она сидела возле спящего сына, тяжело, со свистом и писком дышащего простуженной грудью, стирала проступающий на лбу его, высоком и чистом, пот — Завьяловы подтопили в избе и в горнице, дров не жалея, — смотрела на сморщенное у рта, гиблым пухом обросшее костлявое лицо, неслышно плакала. Ей не принадлежащим, может, еще от зверей-самок доставшимся чутьем или инстинктом мать угадывала — видит она свое дитя в последний раз...

В предутренний час Харитоненко вежливо постучал в окно кончиком деревянной рукоятки кнута. Все повскакивали в избе, даже парни, совсем недавно домой вернувшиеся, проснулись, лишь Ашот спал безмятежно-младенческим сном, мать припала ухом к его груди, послушала сердце, коротко ткнулась губами в высокий лоб и вышла быстро из избы, отворачивая лицо, уже на ходу одевая рукавицы.

— Спасибо! Спасибо! — уже открыв дверь, обернулась, сверкнула слепыми от слез глазами в сторону Лешки и Гриши, которым постелено было на полу. Парни сидели в ворохе шуб, дох, со сна ничего не соображали. — Ребята, миленькие, поберегите его там, поберегите!

Войско, перемешанное с гражданским людом, неровной цепью вело наступление на чуть всхолмленную снежную целину, оставляя после себя густую топанину, соломенный сор и воронки, точно как от взрывов мин на том месте, где таилась под снегом, но была выковыряна и увезена хлебная копешка. Позади цепей, как бы поддерживая пехоту, стоял наподобие танка комбайн и целился пустым железным дулом хлебоприемника в пространство. За "танком" пылило, чуть дымясь, ворохами валилось тут же рассыпающееся соломенное месиво. Мирная картина привычного уже труда под привычным зимним небом, бугристым на горизонте от недвижно лежащих, снегом набитых облаков, в любую минуту готовых двинуться по высоким просторам, заполнить собою небо, вывалить весь белый груз на зимнюю землю, да и понестись налегке вдаль, в вечное странствие, во всегда им открытые небесные дали.

У костра, горящего средь поля, сидел на ведре, опрокинутом вверх дном, полководец, курил, жмурился, морщился, отворачивался от шатучего жара и дыма, думая обо всем сразу и о братьях Снегиревых тоже, так некстати помянутых Валерией Мефодьевной...

Два противоречивых чувства боролись в нем — одно: прикинуть еще две-три копешки на брата,

уж больно наловчились солдатики управляться с копнами, больно уж наступательную стратегию тонко продумали: впереди авангардом идут девки с лопатами, разгребают снег на копешках, да и тут их мудрые воины научили не пыхтеть, не скрести лопатою поверху, но разрубать на три-четыре пласта плотно слежавшийся снег, разъять пласты, разбросать их на стороны — и вся недолга. Маковка смирной копнушки светится младенческим темечком или как плешь деда Завьялова, прелью пышет, слабеньким теплом курится, движения, шороху, употребления, обмолоту жаждет.

Следом движется войско, составленное из крепких забойщиков с вилами. Шестеро вил всаживаются по черенок в хрустящую копешку, под самый под теплый соломенный подол забраться бойцы норовят, поддеть ее, опрокинуть, будто бабу, ну и... плюнули, дунули, хо-хо! — и вот лежит кверху бледной задницей копешка-матрешка, зернышки из нее на снег высыпаются, ость пылится, обнажившиеся, на свету ослепшие, тучами расплодившиеся, мечутся ожиревшие мыши. Допревать бы по весне под жарким солнцем, среди снежных луж копнам, затем гореть, освобождая землю для плуга, бороны и сеялок. Однако назначение пусть и у занесенных снегом копешек было совсем другое: сколько ни есть колосьев под снегом — сохранить, зернышками людей, скот и птичек питать.

Следом за ударниками-молодцами с волокушами наступает Коля Рындин, сам себе конь, он в чембарах, в химических скороходах, с оглоблей на плече вышагивает, наевшись досыта столовской пищи, наверхосытку полный противень до хруста зажаренной пшеницы срубавший, по-конски грохает на всю округу, вилами поддевает копны, точно оладьи вилкой в масленицу за столом у бабушки Секлетиньи, прет на горбу целый воз к сыто урчащему комбайну, да еще и песню орет, совсем не стихирную, не божецкую: "Распустила Анька косы, а за нею все матросы". Зазноба его, Анька, обучила Колю Рындина песне этой вольной. Услышь бабушка Секлетинья такую срамотищу, теми же вилами по хребту внучка отходила бы и епитимью велела б на него наложить, и бил бы добрый молодец лбом об пол, замаливал грехи. Армия, конечно, не сахар, но в ней то хорошо, что от утеснений веры полная свобода, да и "товаришшэв" много, как поется в одной кужебарской песне.

Дополнительный отряд трудящихся у комбайна копошится, словно боевой расчет возле орудия, вилами копны растеребливает, рыхлит солому, граблями к подавальщикам подгребает, те на полок вороха подают. Мчится солома под гремящий барабан в пасть молотилке. Оно, конечно, сухие бы снопы туда, в молотильный-то зев, да кто снопы нынче вяжет? Сжать, в снопы хлебушек связать — времени и сил у народа не хватило. Вот она, желтая, поникшая нива, до самого горизонта, до лесов самых сиротски плачет, сердце рвет и все ниже и ниже клонится, бумажно шуршит пустой колос — ветру и снегу добыча.

"Нет, придется набросить копешку-другую на брата, придется, каждая горсть зерна — спасение. Вон в Ленинграде голод, да какой! Провоевали половину страны! Гитлер, гад, нарочно, видать, под урожай войска двинул, не дал хлеб убрать", — думает, но не успевает довершить думу полководец. По дороге галопом скачет серый конь, из-под копыт его сыплется ледяное крошево. Не из Осипова скачет конь, от центральной усадьбы совхоза скачет. "Отра-або-ота-ались!" — падает сердце у полководца. Видит он, как во поле, на белых пространствах замирает наступление по мере приближения всадника, как охнул и заныл на холостом ходу все пожирающий, душной гарью дышащий комбайн.

"Отрабо-о-тались!" — повторяется в приглохшем звуке машины.

Как быстро! Васконяниха, мельком видевшаяся с Азатьяном, говорила, что ведется подготовка к отправке маршевых рот. Иван Иванович Тебеньков, по делам бывший в полку, наметанным хозяйским взглядом тоже кое-что предпоходное отметил, но все думалось: сборы да сборы,

может, недельку-другую еще потрудятся красноармейцы в совхозе, поокрепнут, погуляют. Ну да чему быть, того не миновать. Уже и войско с поля разбродно потянулось вслед за вестникомвсадником к костру, к полевому штабу, уже и комбайн, хокнув, замолк, но еще какое-то время крутилось в нем, чуть завывая, маховое колесо да слышнее сделалось, как чиненыеперечиненые ремни шлепаются, ударяясь швами о маховик.

Комбайнер Вася Шевелев, вытирая руки ветошью, дает распоряжения помощнику Косте Уварову: собрать инструменты, снять ремни, слить горючее обратно в бочку, воду — наземь. А в ушах все слышен звук работающей машины, все еще он по зимним полям разносится, тревожит глухостью объятое пространство.

Собралось войско в кучу, обступило костер, ждет, когда командир роты прочтет записку из совхоза и даст руководящее распоряжение насчет дальнейшего существования.

"Алексей Донатович! Дорогой мой! — писал Иван Иванович Тебеньков остро заточенным карандашом. — Пришла в совхоз телеграмма, и звонок был — немедленно возвращаться вам в расположение полка. Домой, значит. Сегодня же и отправляться, чтобы вечером пригородным поездом уехать в Бердск. Я подъеду на станцию Искитим. Скажи Валерии Мефодьевне, чтоб хорошо накормили бойцов и в дорогу сухим пайком снабдили. Ну да она сама женшына с умом, сообразит. Ах, ты, Господи! Как подумаешь, куда вы отправляетесь и с кем мы остаемся… Ну да ничего не поделаешь.

До встречи, дорогой мой! Ив. И. Тебеньков".

Щусь свернул записку, глядя в затухающий огонь. Бойцы выжидательно и напряженно молчали. Девчонки, отступившие на второй план и как бы сразу отделившиеся от своих соартельщиков, в растерянности и испуге таращили глаза.

— Все, товарищи! — хлопнув себя по коленям, поднялся с сиденья своего Щусь. — Кончилась страда. Все! Всем быстро в деревню, в столовую на обед и… — Он подумал, прикинул что-то. — И-и двадцать минут на сборы, на расставанья. Ночью надлежит нам быть в полку. Все.

С полей по снежной дороге тащились в Осипово, будто невольники, разбродной унылой толпою, за ними — сами, без поводырей, опустив головы, мели пустыми волокушами снег лошади и быки. В просторном безгласном поле сиротским серым дымком сочился догоревший костерок в вытаявшей до земли, плотно вокруг обтоптанной воронке да бугром чернел заваленный со всех сторон соломою угрюмый, умолкший комбайн.

Было краткое, но душу рвущее расставание с деревушкой Осипово. За две недели сделалось оно таким родным, таким необходимым, с такой привычной уже работой, пусть нелегкой, пусть на холоду, на ветру, в пыли, в мякине, в ости, да где он, труд-то и хлеб, легким бывает?

Может, пряники легкие, а хлеб…

Как ни отнекивались, как ни отказывались Хохлак, Шестаков и Васконян, старики Завьяловы все-таки снарядили их в дорогу, набили съестным продуктом холщовый мешок. Настасья Ефимовна поплакала, Корней Измоденович на нее покрикивал, покашливал, кряхтел, пытался шутить.

— Конь копытом бьет, удила грызет — ох-хо-хо! Ничего, робятушки, ничего. Главное дело, держитесь друг дружки да здоровье берегите, коли воин занеможет, всяк его переможет, говаривали в старину, друг дружки держитесь, еще раз говорю…

Особо трогательно прощались старики с Васконяном. После приезда его матери они уяснили, что он не пролетарского полета птица, из "грамотеев" он, к которым веки вечные была и пока не извелась почтительность в русской деревне. Но после того как Валерия Мефодьевна приблизила к себе Васконяна, поручила ему писать всякого рода бумаги, в основном квитанции, уважением этим прониклась вся деревня. Васконян сперва путался в деловых бумагах, цифирь у него не сходилась, но Завьяловы-то этого не знали. Да если б им и сказали о том, не поверили б — такой лютый книгочей в бумагах каких-то конторских осиповских может дать промашку? Чепу-ха!

Сысподтиха подъехали они к постояльцу с просьбой написать командиру части, в которой воевал с флота на сушу ссаженный и тут же запропавший старший приемыш, да и самому приемышу написать с намеком, что-де война войной, но родителей не следует забывать и хоть две строчки, хоть поклон...

На сколько хватило бумаги, на столько Васконян и размахнулся, была бы длинная бумага — длиньше бы написал. Вроде бы и диктовку-то рассеянно слушал, но так проемисто, так складно, так жалостно все прописал, что Настасья Ефимовна пускала слезу при слушании письма, за сердце держалась. Вот что делает грамота! — сраженно удивлялись старики, вот до чего может дойти умная голова, ведь даже то, чего старики не умели сказать, лишь подумали, и то обозначилось на бумаге, все вравноступ, все с ходом мыслей наравне, с ладом деревенским, неспешным, всем во всем понятным. "Это-то вот наше-то, деревенское-то, как постиг грамотей за шшытанные дни?" — поражались старики. Улучив минутку, Настасья Ефимовна незаметной отмашкой позвала Хохлака и Шестакова в куть, шепотом наказала беречь такого редкостного человека, в обиду его не давать, на позициях остерегать от огня и пуль. Ребята дружно сулились остерегать. Корней Измоденович выразил свое напутствие более открыто и прямо, чем это свойственно бабам:

— Тебе, Ашот, прямой путь в писаря. Служба, конешно, тоже не подарошна, а все-ш-ки не всяка пуля твоя. Вы, робятки, Лешка, Гриша, коли он по интеллигентной учености поскромничает, подскажите кому надо, в лазарете или ишшо где, любу, дескать, бумагу в ладном виде и содержании может составить человек, хоть на нашем, хоть на заморском языке.

Васконян от такого внимания оконфузился и на пути к конторе, отворачиваясь от резкого навечернего хиуса, молвил:

— Гебята! Надеюсь, вы всегьез не пгиняви стагика. Я едва ввадею немецким, ну и немножко читаю по-фганцузски...

— Ты?! Так че же ты молчишь-то? Че волов за веревки тягал? Тебя в штаб, переводчиком, либо в отдел какой... секретный...

— Да вадно вам! Чушь всякую бовтаете.

Разом обернулись, возле низеньких ворот рядышком стояли и смотрели вослед им старики Завьяловы.

— Такой нагод, такой нагод! За такой нагод и умегеть не стгашно...

— Умереть, умереть... Не ляпал бы языком своим, да еще к ночи!

Войско выстроилось возле конторы. Все почти красноармейцы с мешками, поставленными возле ног. А приехали-то с голыми руками. Вот будет работа в казарме! Вот повеселятся зимогоры! Вот пошерудят котомочки доходягипромысловики.

Завязывая на ходу шаль, на крыльцо конторы вышла Валерия Мефодьевна, в накинутой на плечи телогрейке, под которой белела кофточка, бугристо округленная набрякшими грудями.

— Ну, ребята! Ну, дорогие работники! Спасибо! Еще бы дней десяток вам тут побыть, но и на том, что сделали, спасибо! — Валерия Мефодьевна обвела строй из глуби печально освещенными глазами, скользнула взглядом по девчатам, сиротливой кучкой сбившимся в отдалении. — Останетесь живы, приезжайте! Крестьянская работа не кончится до тех пор, пока есть земля. Она и войны не признает. Как мой папа говаривал: "Рать кормится, мир жнет". А девочки наши будут ждать вас... Ну, с Богом!

— Вещи на подводу! — скомандовал Щусь и, когда снова сколотился строй, звонко, отчетливо, стосковавшись, видать, по привычным командам, почти как песню вывел: — Нн-на-пр-рыв-во! Ш-го-ом... З-за-певай!

Где подлый враг не проползет,

Там пролетит стальная рота.

Где танк железный не пройдет,

Промчится грозная пехота!

Умный парень, талантливый парень Гриша Хохлак понимал, какая тут песня к месту — боевая, грозная, надежду в мирное население, веру в несокрушимость родного войска вселяющая.

Украина золотая, Белоруссия родная...

Рявкнула рота единой грудью, кто-то и подсвистнул, Коля Рындин рокоту подбавил. Только вот Анька, семенившая за строем, петь ему мешала, толкалась, обнимала при всем честном народе, губами шлепала куда попало. Девушки не висли на войске, стеснялись, частью на почтительном расстоянии тащились за строем, частью уж у конторы в кучу сбились да так и остались закаменелые. Ребятишки малые спешили по обочинам, вязли, барахтались в сугробах — большенькие-то в школе, на центральной усадьбе, а этим, сеголеткам, возбуждение, шум, праздник. Высыпавшие за ворота, прижавшие к окнам расплющенные носы осиповские жители, крестясь, утирая слезы, все же отрицательно влияли на песню. За околицей она начала разлаживаться, пока не развалилась на отдельные голоса, а там и вовсе угасла.

Полководец, назначив старшим над войском комбайнера Васю Шевелева, наказав не сбавлять темп движения, вернулся в деревушку, сказав, что нагонит роту на подводе.

Тут уж воля вольная! Разломился солдатский строй, разбрелся. Шли кто как, кто с кем, побоевитее и посмелее которые воины, среди них технический спец и командир над машинами Вася Шевелев, — в обнимку с зазнобами. До комбайна дошли, замедлили шаг, останавливаться начали, поглядывая на кучи соломы. Вася Шевелев, угадав здоровые намерения, повелительно крикнул: "Отставить!"

Тоже еще один начальник выискался. Все так и норовят покомандовать, так и лезут в руководящий состав. Скоро совсем некому воевать и работать будет, совсем рядовых не останется.

Как ни отдаляй, но пришла, приспела пора прощаться среди широкой степи. Шурочка приникла к Лешке, Дорочка — ко Грише, все уединились парами. Анька в замок взявши шею Коли Рындина, повисла на нем, плакала и за щеку воина кусала. Он увертывался, пытался

успокоить свою зазнобу, но она была безутешна.

— Так и не стали мы мужем и женой, — сонно утопив в раскрылье Лешкиной шинели лицо, Шурочка сдерживала слезы. — Все некогда… Может, к лучшему? Я буду тебя ждать. Ты адрес мой не забыл? Да как его забудешь? Одно Осипово на свете! Пиши, ладно? И не обижайся на меня. В разлуке чувства проверяются… Крепчают. Я глупая, глупая… Ты не слышишь меня? Вот она какая, разлука-то…

Девушки остались средь белого широкого поля, на белой, едва накатанной дороге. Красноармейцы спотыкались, оглядывались, махали нечаянным подружкам, махали и они вослед, по пророчеству тетки Марьи, первым, кто знает, возможно, и последним в жизни ухажерам. Бежала следом, голосила на всю степь Анька. Коля Рындин отставал, прижимал ее к груди, гладил по спине, отпускал, но через какое-то время Анька, неистовая женщина, снова припускалась вдогон, волоча цветастый полушалок по снегу.

В виновато стихшей степи тоже умолкшие, поникшие, разбито убредали все дальше и дальше молодые бойцы. Неубранная мертвая полоса поглотила наконец нечаянных, негаданных тружеников своих, прикрыла их нищими лохмотьями. Воронье, кормившееся зерном под комбайном и вокруг машины, клубясь и каркая, катилось поверху вослед спугнувшему его войску. Что было в том крике: сожаление, радость, торжество? — пойми у воронья. Горластая стая начала рассеиваться, отваливать в сторону березовых колков, только канюк, возникший из неубранных хлебов, забравшись высоко, все валился и валился косо на разбродно двигающееся воинство, и почти до станции Искитим сопровождала ребят зловещая птица.

Пронзенный стрелой старообрядческого суеверия, потрясенный разлукой с первой в жизни женщиной, Коля Рындин голосил про себя: "Не к добру так визгливо вскрикивает пташка, ох не к добру!.. Пушшай безвредная, мышью питающаяся пташка — все одно не к добру, ох не к добру…" Правясь на почти уже унявшийся огненный эакат, под которым и над которым властно, по-хозяйски уверенно занимала земную и небесную ширь тяжелой мутью налитая темнота, понуро бредущие парни думали и плакали всяк о своем. Недоброе, ввечеру леденеющее небо еще и напоминало о том, что они, кто они, куда и зачем двигаются. И каждый заключал, что та мраком налитая, огнем запекшаяся по окоему даль — и есть войной объятая, фронтовая сторона.

Глава пятнадцатая

По возвращении была суматоха.

Не успели вернуться и казарму, сразу баня, совсем не та баня, которой уже замучили в полку служивых. По-настоящему потопленная, с настоящими машинками для стрижки, мыло вдосталь, вода нагретая. Все хламье с себя поснимали, оставили в рубленом предбаннике, было велено лишь бумажки да носовые платки взять в руки. Когда ребята вышли из мойки до синевы остриженные, грязь с себя смывшие, распаренные, их заставили мчаться с захваченным в горсть грешишком по коридору и в конце его завернуть в пристройку. Там опытный командир старшина Шпатор и двое помощников, пофамильно выкликнув, бросали к ногам маршевика узел, обвязанный новым солдатским ремнем.

А в узле-то! Батюшки-светы, чего только нету! Полушубочек желтый с белым отворотом, к нему брючным ремнем пристегнуты новые валенки, две пары портянок, гимнастерка, брюки-галифе, две пары белья, шапка, уже со звездой, и не жестяной, настоящей, эмалевой, подшлемник и даже пара носовых платков с пометкой в углу — аленьким цветочком.

Бойцы не сразу и узнали друг друга, переодевшись и выйдя на улицу. Первый раз за дни и месяцы службы видели они себя на человеков похожими, чувствовали себя людьми. Ну и, конечно же, начали поталкивать друг дружку, пошучивать, мечту высказывать насчет того, чтобы сняться бы на карточку в таком боевом виде да домой бы фотку послать и, само собой, в Осипово бы, и вообще сейчас в таком наряде да в осиповский клуб завалиться — что было бы, что было!

Казарма вонючая, темная, почти уже сгнившая, могилой отдающая, подавила праздничное настроение красноармейцев. Позалезали на нары бойцы, спрятались в углы, письма пишут под плошками. Возле трех ламп, где-то раздобытых Шпатором, столпотворение. Корячились, корячились орлы, пришивая погоны, подшивая подворотнички и на одной лампе разбили стекло. Старшина ор поднял, кого-то обругал, кого-то взашей из казармы вытурил, кому-то вгорячах наряд вне очереди отвалил.

Все последние дни он был в хлопотах, почти не спал, получая, пересчитывая, охраняя ценное имущество. С карандашом, нацеленным на книгу накладных или раскладных, готовился чего-то вычеркнуть, что-то списать, носился по казарме как борзой, не ругатель по природе своей, разок-другой матюгнулся, чем шибко позабавил ребят. А тут еще помощник не является, Яшкин-то Володя-то, — понравилось ему, памаш, на казенной госпитальной коечке прохлаждаться. Ну он ему задаст! Он ему рецепт пропишет, до скончания века не забудет...

Старшина Шпатор шумел, бегал, но и доволен был ротой — подкормились орлы в совхозе, здоровым воздухом и волей подышали, переоделись в новую амуницию, и куда тебе с добром ребята, хоть на парад их выставляй. За все время переобмундирований не пропало ни одной вещи — сами бойцы взялись охранять имущество, строгость и сознательность проявили, попытки пэфээсовцев-прохиндеев обсчитать старшину на складах, обмишулить на комплект-другой обмундирования успеха не имели, потому как Шпатор есть Шпатор. Не напрасно он две войны и тюрьму обломал, набрался ума-разума, сквозь землю зрит, бойца своего, как родное дитя, бережет и любит. Еще хорошо и то, что Булдакова в роте нет, припадочный этот плут непременно стибрил бы что-нибудь из вещей и на самогонку променял.

Однако хоть и любил и лелеял своих бойцов старшина Шпатор, гонял и муштровал он их, крушил руганью, как самых злостных недругов, жизнь его заевших. Кто-то чего-то потерял, кто-то криво погон пришил, опять урон в иголках — ломают их похорукие неумехи, на верхнем ярусе визгливо лаялся Петька Мусиков, его привычно лупили, на этот раз новым валенком. Дневальный из грамотеев газету где-то раздобыл, перекрывая шум, громко читает: "Сыны казахского и русского народов Сеитов Дюсекей и его командир Сахаров Борис здесь, в окопах, готовятся навсегда покончить с фашизмом и просят Джамбула-акына прислать им песню в подмогу. Джамбул немедленно откликнулся..."

— Да тише вы! — крикнул кто-то с верхних нар.

— Уймете сегодня или нет? — грозно вопросил дневальный.

— Казахский акын не слушаешь? Джамбул не уважаешь? — подал голос кто-то из казахов.

— Давай! Дуй!

Казах Сеитов Дюсекей
И русский Сахаров Борис,
Ваш клич достиг моих ушей,
Он тучей над врагом навис.

Залегши в снежной тишине,
Готовя извергам разгром,
Вы обращаетесь ко мне
С коротким пламенным письмом.
Вы заявляете: "Сведем
С фашистом счеты мы сполна".
Вы пишете: "Мы песен ждем,
Джамбул поможет нам".
Я время лет откину прочь,
Чтоб спеть о празднике весны.
Есть песню спеть! Есть вам помочь.
Народов доблестных сыны!

— Астапрала! — воскликнул казах на верхних нарах. — Джамбул наш ба-а-алшой шылавек, иво Сталин любит.

Казарма из конца в конец загудела, будто в ней снова окно в живой, звучащий мир открылось, — говорили кто о чем. А Васконян, читавший Данте в лучших переводах, Верхарна и Бодлера — без перевода, знавший Пушкина, Тютчева, Лермонтова, тихой, юношеской почтительностью проникшийся к Баратынскому, смотрел на ребят с любопытством: неужели они восприняли все это словесное варево всерьез? — и уяснил наконец: да, всерьез. Они здесь и жизнь свою в этой казарме, будущую судьбу, свою и родины своей — все, все, пусть неосознанно, воспринимали всерьез.

Отужинали маршевики, на нары, воняющие в этот вечер особенно удушливо, взгромоздились, лежат, думу думают, мечтают кто о чем. Слабаки засыпать начали, но в это время под прелыми сводами казармы, в недрах этого наспех вырытого и слепленного под людей подвала негромко и внятно раздалось:

Ревела буря, дождь шумел...

Казарма, приглушенно, ровно гудевшая предсонным, постепенно замирающим гулом, смолкла, вовсе унялась. Врасплох захваченная казарма не сразу, не вдруг, как бы пробно, как бы для себя поддержала серебряно-звонкий голос Бабенко:

Во мраке молнии блистали...

Вот тогда-то, в последний вечер перед отправкой на фронт, во второй раз услышал Лешка Шестаков песню в постылой, совсем прокисшей от смрадного испарения казарме первого стрелкового батальона... Ротного певца подбодрил его друг Гриша Хохлак. Сразу радостно, сразу высоко взнялся, взлетел голос из второй роты. И вот уж весь батальон, пока еще пробно, подхватил песню, ротный запевала второй роты соединил свой голос с запевалой первой роты. Все бережнее, все аккуратнее ровняли под них голоса бойцы, всяк свой голос встраивал, будто ниточку в узор вплетал, всяк старался не загубить песенный строй, и Лешка норовил приладиться к соседу, сосед к другому соседу, и вся изматеренная, оплеванная, Богом и людьми проклятая казарма во всю грудь, во всю мощь четырьмя сотнями голосов сотрясала подвал:

И беспрерывно гром греме-э-эл,
И ве-этры в дебря-ах бушева-а-али-и-и-ы...

Старшина Шпатор, спустивши босые ноги с топчана, сидел, полуоткрыв рот, ошарашенно

слушал мощно гремевшую многоголосую армию, слушал свою роту, свой первый батальон и ничего не мог понять — он не ведал такого батальона, такого праведного, душу разрывающего восторга и гнева. Нет, он знал, все знал, он угадывал сокрытое в этих юных ребятах могущество, понимал этот подлый казарменный быт, повседневно унижающий и даже убивающий того, что послабей, размельчил людей, поднял наверх самое отвратительное, зверское, блудное, мелочное, и боялся, что там говорить, боялся: душу-то живую не убили ль? не погасило ли в ней быдловое существование свет добра, справедливости, достоинства, уважения к ближнему своему, к тому, что было, что есть в человеке от матери, от отца, от дома родного, от родины, России, наконец, заложено, передано, наследством завещано?

В прежних служивых, ушедших на фронт в маршевых ротах, Шпатор не имел оснований сомневаться, то в большинстве своем были люди с устоявшейся жизнью и характером, среди них попадались, конечно, и отребье, и бродяги, и ворье, и симулянты, и ветрогоны, но костяк роты, как остров среди реки, всегда был надежной пристанью, крепкой площадью, вокруг которой плещись, волнуйся, суетись, пузырись — все она тверда, все устойчива, все неразмывна.

Но эти вот восемнадцатилетние ребятишки-то с неустоявшейся жизнью и судьбой, иные и характером-то еще не сформировавшиеся, они-то, они-то как же будут бедовать, в самом-то начале сознательной жизни как устоят, как вынесут испытания во фронтовой обстановке, коя не всем взрослым, стойким и крепким людям по плечу? Порой отчаяние охватывало старого вояку, познавшего не только самое войну, но и все прелести, сопутствующие ей, не раз, не два хватался он за голову: "Погибнут! Все как один погибнут, сгорят в том неразборчивом, всепожирающем огне войны, не оставив за собой ни следочка в жизни, ни памяти никакой, потому как и жизни-то у них не было".

Но вот каждый голосишко норовит пристроиться к другому, поддержать его, подпереть, силы всему хору прибавить, и ощущал сердцем, чуял кожей своей старшина Шпатор: каждый его боец, как и он сам, в восторженном ознобе сейчас, холодок у каждого течет под рубаху, проникает внутрь, покалывает сердце, и ощущает каждый в себе незнаемую силу, полнящуюся другой силой, которая, слиясь с силой товарищев своих, не просто отдельная сила, но такая великая мощь, такая сокрушительная громада, перед которой всякий враг, всякое нашествие, всякие беды, всякие испытания — ничто!

В эти минуты старшина Шпатор твердо поверил: его ребята, юные эти шпанята, заломают врага и живы будут, все-все живы.

— Вот, значит... песня, памаш... как поют, памаш! — отерпшими губами шевелил он.

Когда песня отделилась от этой темной гнилой дыры, не давши казарме задушить ее, но скорее замерла в груди солдатской, высвобожденно дышащей, старшина Шпатор услышал странные звуки за печкой. Это, уже, видать, в потемках, вернулся Володя Яшкин и тоже слышал песню. С головой укрывшись куцей шинеленкой, помкомвзвода плакал. Маленькое худое тело его дергалось, шинель помахивала рукавом. Сердце старшины сжалось, заныло — недавний фронтовик Яшкин зря может ругаться, визжать, шуметь, но плакать зря не станет. Яшкин лучше Шпатора знал, что ждет тех певцов на войне, в окопах. А может, лекарства так подействовали на помкомвзвода, думал старшина Шпатор и какое-то время сидел еще, вслушиваясь в унимающуюся жизнь казармы.

Там, в казарме, на верхних нарах, кутаясь в теплый мех нового полушубка, костлявым пальцем утирая глаза, человек, совершенно не умеющий петь и все же соединившийся в песне со всеми товарищами, расслабленно вздохнул: "Дант Дантом, Бодлер Бодлером, но жизнь такова, что

ныне ей нужнее Джамбул..." — и, всхлипнув, уснул столь покойно и глубоко, что едва ли спал так дома, на барских пуховиках.

Генерал Лахонин, представитель Воронежского фронта, тот самый, что повстречался когда-то бредущим с лесовытаски красноармейцам, и его давний друг, соратник еще по полковой школе — майор Зарубин, только что выписавшийся из госпиталя и поступивший в распоряжение Сибирского военного округа, вместе с представительной комиссией принимали маршевые роты во вновь формирующуюся Сибирскую дивизию, в том числе и роты, подготовленные в двадцать первом стрелковом полку.

На первый взгляд войско выглядело совсем недурно. В новом обмундировании, туго запоясанные, браво заправленные, в новых шапках-ушанках с ярко горящими на лбу звездочками, боец к бойцу, нога к ноге, пара к паре — в две шеренги стоят. Лишь несколько орясин по два метра ростом нарушали строй и портили ранжир. Но хоть на этот раз учли обстоятельство: подбирали обмундирование по красноармейским книжкам, где все размеры, группа крови и даже иммунологические и социологические данные, пусть в кратком изложении, значились. Верзилам шили одежду по заказам, а то ведь карикатуры — не солдаты.

Все вроде бы нормально, поворачивай роты направо и шагом арш грузиться в эшелоны. Но въедливый педант майор Зарубин, уже набедовавшийся на фронте, хотел досконально знать, кто, в каком качестве, в каком виде, в каком состоянии едет не щи хлебать, но воевать, и воевать не с тем вероломством своим и трусостью своей смущенным, запуганным, даже шороха куста боящимся врагом, какого изображают в родном кино и на газетных карикатурах, а с врагом, хорошо обученным, воевать умеющим не только храбро, но и расчетливо, не дуром, не прихотью одной, не только самоуверенным нахрапом пропоровшим половину советской страны, с боями в сражениях, порой невиданно кровопролитных, достигшим и упершимся в Волгу, забуксовавшим на берегу ее, в Сталинграде. Надо было противостоять организованной, крепкой военной силе такой же или еще лучше и крепче организованной, боеспособной силой.

Просмотрев в медсанчасти санитарные карты боевого состава, как попало, наспех заполненные, майор Зарубин заключил, что в полном здравии народу в полку достаточно много, но хватает и таких людей, что переболели или болеют дизентерией, бронхитом, их мучает кашель, малокровие и эта самая гемералопия — куриная слепота, из редкой смешной болезни превратившаяся в массовую эпидемию, порожденную наплевательским отношением к "человеческому материалу", как привычно и бездумно именовали тыловые деятели рядовых воинов в разного рода военных отчетах, донесениях и во всевозможных бумагах, которых, чем дальше шла война, чем хуже становились дела на фронте и в тылу, тем больше и больше плодилось. Канцелярия, от веку на Руси защищавшаяся от войны видимостью бурной деятельности, рожала потоки бумаг, море пустопорожних слов.

Двадцать первый полк расположен недалеко от городов, почти на берегу реки, в сосновом лесу, годном хоть на сырое, да топливо, на всяческие, столь необходимые человеку нужды. Полковник Азатьян со своими помощниками извлек из выгодного стратегического расположения своего полка все, что можно извлечь, надсадил нервы военным чинам в штабе округа, себя изодрал в клочья, но все же поголовного мора, сокрушительного разгула болезней не допустил, а эта инициатива самим себе заработать хлеб на зимней уборке, подкрепить на сельской работе здоровье ребят, дать им дохнуть перед отправкой на фронт хоть маленько волей и чистым воздухом родины просто неоценима.

Если командиры полков, батальонов, рот в прифронтовой полосе получат время и возможность подзаняться бойцами из вновь прибывших соединений и пополнений, в условиях, приближенных к боевым, научат стрелять, не жалея патронов и мин, поутюжат их танками,

погоняют, из пареньков этих, пытающихся браво выглядеть, и на деле получатся бравые воины. Но, к сожалению, давно гонят, бросают и бросают в бушующую ненасытную утробу войны этот самый "человеческий материал", чтобы хоть день, хоть два продержаться в Сталинграде, провисеть на клочке волжского берега, а в Воронеже — не отдать больницу, стоящую на отшибе, потому как пока есть они — клочок берега и больница, можно докладывать Верховному Главнокомандующему и сообщать народу, что города эти не сданы, а Главнокомандующий будет делать вид, что верит этому, и уверять надсаженный народ его помощники будут: мол, стоят, уперлись доблестные войска, борются с выдыхающимся врагом, с его превосходящими силами. Под Великими Луками вон начали наступление в честь дня рождения великого вождя и полководца. По фронтовым сусекам заметенные, с жиденькой огневой поддержкой и оснащенностью, выполняя патриотический священный долг, доказывая нежную любовь к вождю и учителю, войска залезли в болота и не знают теперь, как из них выбраться, несут огромные потери. "Бьют нас, бьют, учат нас, учат немцы воевать и никак не могут научить", — досадливо морщился генерал Лахонин, встретив своего друга и беседуя с ним наедине за чашкой чая.

Майор Зарубин и генерал Лахонин настояли на том, чтобы самых слабых, ослепленных гемералопией, пораженных переходчивыми болезнями бойцов оставили в полку, подлечили и тогда уж отправляли бы вдогонку дивизии с пополнением на фронт. Воронежскому фронту, скрытно готовящемуся к наступлению, нужны были резервы, крепкие, хорошо подготовленные. Деятелям же двадцать первого полка не хотелось иметь брака в работе, получить втык от командования, а сбыть всех вояк подчистую, да и двадцать пятый год с остатками двадцать четвертого, с подметенными по лесам и весям резервистами и разным бедовым народом, укрытым от войны, где хитрыми чинами, где тюрьмами, уже катил в эшелонах, на подводах, в машинах по направлению к Новосибирску и Бердску. Скоро-скоро — открывай ворота. Начинай все сначала.

Мудрые руководители заскребали остатки мужичков по Руси, переложив их непосильные обязанности, надсадную работу на женщин, стариков и детей. Войне еще и конца не видно, но российская деревня почти опустела, в надорванном государстве разом все пошатнулось, захудало, многие казармы в полку были уже непригодны даже для содержания скотины. Санчасть ютится все в том же обветшалом, тесном помещении, хорошо хоть столовая есть, рядок новых, на жилье похожих за счет самообслуживания казарм срублено, разросся конный парк, есть на чем вывозить строевой лес, поставлять солому, дрова, фураж, продукты, амуницию. Много чего требуется людям, пусть они всего лишь служивые, пусть ко всему привычные и притерпевшиеся люди.

После большой ругани в штабе, горячего спора с Азатьяном в полку осталось около двухсот бывших призывников, из них половина неизлечимо больных будет комиссована и отослана домой — помирать.

Легко отделался двадцать первый стрелковый полк. Генералу Лахонину доводилось бывать в Гороховецких лагерях в Горьковской области, в Бершедских лагерях под Пермью, в Чебаркуле за Челябинском — везде дела обстояли из рук вон плохо, везде был провал, наплевательское, если не преступное отношение к людям. Но то, что он увидел в Тоцких лагерях в Оренбуржье, даже его, человека, видавшего виды, повергло в ужас.

Тоцкие лагеря располагались в пустынной степи. Весь строительный материал здесь состоял из ивняка и кустов, растущих по берегам реки, и дерна. Из ветвей сплетались маты, были они потолком, полом, стенами, нарами, а травяным дерном крылись верха землянок вместо крыши. Сушеные прутья и степной бурьян употреблялись на топливо, на палки, заменявшие учебное оружие, на указки, которыми политруки во время политбеседы водили по картам, показывая

"героически" оставленные наши города и земли, на костыли, на опорные трости для доходяг — на все, на все шли приречные ивняки, в смятении все дальше и дальше отступающие от зачумленного военного городка.

Ивовые маты кишели клопами и вшами. Во многих землянках пересохшие маты изломались, остро, будто ножи, протыкали тело, солдатики, обрушив их, спали в песке, в пыли, не раздеваясь. В нескольких казармах рухнули потолки, сколько там задавило солдат — никто так и не потрудился учесть, уж если наши потери из-за удручающей статистики скрывались на фронте, то в тылу и вовсе бог велел ловчить и мухлевать.

Песчаные пыльные бури, голод, холод, преступное равнодушие командования лагерей, сплошь пьющего, отчаявшегося, привело к тому, что уже через месяц после призыва в Тоцких лагерях вспыхнули эпидемии дизентерии, массовой гемералопии, этой проклятой болезни бедственного времени и людских скопищ, подкрался и туберкулез. Случалось, что мертвые красноармейцы неделями лежали забытые в полуобвалившихся землянках, и на них получали пайку живые люди. Чтобы не копать могил, здесь, в землянках, и зарывали своих товарищей сослуживцы, вытащив на топливо раскрошенные маты. В Тоцких лагерях шла бойкая торговля связочками сухого ивняка, горсточками ломаных палочек. Плата — довесок хлеба, ложка каши, щепотка сахара, огрызок жмыха, спичечный коробок махорки.

Много, много пятен, язвочек от потайных костерков вдоль полувысохшей реки, под осыпистыми ярами, издырявленными ласточками-береговушками. По костеркам и остаткам пиршества возле них можно было угадать, что люди дошли до самой страшной крайности: как-то умудрялись некоторые уходить из лагеря, хотя тут все время их всех занимали трудом и видимостью его, в степях и оврагах раскапывали могильники павшего скота, обрезали с него мясо. И уж самый жуткий слух — будто бы у одного из покойников оказались отрезаны ягодицы, будто бы их испекли на потаенных костерках...

Никто из проверяющих чинов не решался доложить наверх о гибельном состоянии Тоцких и Котлубановских лагерей, настоять на их закрытии ввиду полной непригодности места под военный городок и даже для тюремных лагерей не подходящего. Все чины, большие и малые, накрепко запомнили слова товарища Сталина о том, что "у нас еще никогда не было такого крепкого тыла". И все тоцкие резервисты, способные стоять в строю, держать оружие, были отправлены на фронт — раз они не умерли в таких условиях, значит, еще годились умирать в окопах.

"Не-эт, здесь хлопцы ничего, с этими еще повоюем", — взбодряя себя, думал майор Зарубин, сразу же после госпиталя выхлопотавший себе направление на фронт с резервными подразделениями.

В сформированные части срочно отправлялось оружие, боезапас, письменным приказом под ответственность командиров частей в пути следования и в эшелонах изучение транспортной и боевой техники не должно было прекращаться.

"Сожгли безоружное ополчение под Москвой, сгубили боеспособные армии под Воронежем и в Сталинграде, с колес, необстрелянных, плохо обученных людей бросая в бой, теперь вот спохватились, уразумели, нельзя так дальше воевать. России может не хватить на многолетнее истребление, всеобщий убой, и она, родимая, не бездонный колодец!" — толковал генералу Лахонину майор Зарубин. Генерал радовался, что отыскал старого друга, въедливого, непреклонного в своих действиях и решениях командира, которых так не хватало в армии, полегли они на западных рубежах страны во время боев и отступления в сорок первом году, попали в плен, да и поныне, уже во глубине России, на окраинах ее гибнут в наших

концлагерях.

Со своими ротами на позиции отсылалось все командование первого батальона, себя скомпрометировавшее в тылу нападением солдат на командира, дезертирством братьев Снегиревых, дезорганизацией суда над Зеленцовым, воровством, разгильдяйством и многими-многими другими позорными деяниями, недопустимыми в передовых рядах эркака. В штабе военного округа не могли позволить, чтобы командиры непобедимой Советской Армии, допустившие такие промахи, продолжали заниматься подготовкой кадров для героически сражавшегося фронта, тем более в таком достославном полку, как двадцать первый, не раз отмеченном благодарностями местного и главного командования. Где гарантия, что впредь эти командиры не допустят упущений в ответственной работе? Не-эт, пусть уж лучше будут там, где им хочется быть. С Богом! Здесь вон орлы в очередь стоят, в затылок друг другу горячо дышат, глазами "сиятельств" пожирают, готовые проявлять денно и нощно всяческое усердие и послушание и отличиться, чтобы только не в пекло, не на этот всех и вся пожирающий фронт. Выжить, любым способом выжить, уцелеть, продлить свои достославные дни. И шныряли по тылам, докладывали, обманывали, доносили, предавали служивых бесовски ловкие ярыжки с лицами и ухватками дворовых холуев, всегда готовых быть и придворным, и палачом, и лизоблюдом, и хамом.

Скорик уже уехал. Пшенного тоже куда-то девали, и хорошо сделали — ребята из первой роты собирались "потолковать" с ним на прощание, а если такие основательные парни, как Костя Уваров и Вася Шевелев, потолкуют да им поможет псих Булдаков — лекарств в санчасти не хватит лечить товарища Пшенного...

Не только командиры проштрафившихся рот, но и участвовавшие в боях, минометная рота, взвод пэтээрщиков, полурота пулеметчиков с новыми "максимами", со своим конным обозом из двадцати подвод тоже уходили на фронт. Все добро сколочено, смолочено, выхлопотано, вырвано из глотки, завезено, выстроено не без участия и энергии командира полка. Командование округа было довольно его деятельностью, и хотя полковник Азатьян целился уйти со своим полком на фронт, настаивал, ругался, рапорты писал — все его просьбы остались без удовлетворения.

Крестьянину на базар снарядиться — и то мороки сколько, хлопот, а тут ведь не на базар, не к теще на блины снаряжались люди — на войну. Ребята, помогавшие грузить и сопровождать грузы на станции Бердск и Новосибирск, поражались, как много всего надо боевому соединению, начиная с топлива, с досок, с гвоздей для сколачивания нар в вагонах и кончая оружием, боеприпасами, лошадьми, провиантом, приборами для разведки и наблюдений. Говорили, что это лишь малая часть добра и оружия, что довооружение произойдет уже в прифронтовой полосе, в армии, в которую вольется Сибирская стрелковая дивизия. И все это добро стоило денег, труда, ведь только чтобы сутки пропитать один лишь двадцать первый полк, десять его тысяч человек, — не одному району, не одной фабрике надо сутки, может, и неделю работать. А ведь еще и обуть, и одеть, и обогреть, и вооружить надо, да и дармоедов содержать надо, их в армии, дармоедов-то, столько, что на колхозных счетах и не сосчитаешь. Какое же это разорительное дело — война, начинали понимать молодые парни и рассуждать на эту тему пробовали.

Меж тем майор Зарубин метался между Новосибирском и Бердском, чтобы все предусмотреть, предвидеть, лишний раз перепроверить. Повидавший в прах разбитые, на все стороны разогнанные войска, побросавшие добро свое, лошадей и повозки, оружие, людей, он знал дорогую цену военному имуществу, с надсадой изготовляющемуся мирным народом, разоренной стране нужны еще будут и добро и люди, ох как нужны. Хватит уж сорить людьми, хватит сорок первого года, когда лучшие бойцы погибали, не увидав врага, не побывав даже в

окопах, под бомбежками в эшелонах, на марше; не дойдя до передовой, целые соединения оказывались в котле, в окружении, все их обучение военной науке, вся их жизнь полуголодная, многотрудная, часто чудом сохранившаяся в надломленно живущей стране, — все-все это шло насмарку. Напрасная гибель, бесполезная жизнь — ах, как горько это знать.

И дай Бог, чтобы там, под Сталинградом, полк этот, вливающийся в свежую дивизию, закрепился, повоевал, закалился в боях, принес бы ту пользу фронту и облегчение стране, ради которой, напрягая все силы, изнемогая, работает народ, ради чего, наконец, эти ребята перенесли все лишения, вытерпели гнилые казармы, подлый быт учебного подразделения. Эти вот самые ребята, строго подобравшиеся в напряженном строю, разом посерьезневшие.

Полковнику Азатьяну было предоставлено слово. Он легко взбежал по трем ступенькам на крохотную праздничную трибуну, краска на которой не подновлялась с 7 ноября, облупилась от морозов, обвел плотно стоящих поротно бойцов, слившихся в сплошные кремовые полосы — полушубки, воротники, загнутые рукава и шапки с белой оторочкой смотрелись ранними сибирскими подснежниками с чудным названием сон-трава, которыми скоро, совсем скоро засияют берега Оби, оживится просторный бердский сосняк, но эти парни уже не увидят вешнего цветения.

— Товарищи! — негромко произнес командир полка и замолк, сдавил перила трибуны руками в черных перчатках. — Это какое же сердце надо иметь, чтобы все время отправлять и отправлять вас туда. Вы же... вы же все мне дети! Мои дети! Ах, Господи, лучше бы мне с вами, может, я бы пригодился вам, кому помог, кого уберег... Какие вы все еще молодые!.. И какие красивые!.. А война все идет, все идет! Мы пытались делать для вас добро. С добром в сердце отправляйтесь на фронт и вы. Выполняйте честно свой долг! Бейте врага! За матерей, за сестер, за Родину, за Сталина и... за меня маленько! — Полковник Азатьян слабо улыбнулся, строй чуть шевельнуло. — За меня, за всех нас! Мы вам желаем жизни, скорого возвращения домой с победой! Ура, товарищи!

Негромкое и недружное "ура" последовало в ответ — не привыкли в двадцать первом полку кричать "ура", да и учиться незачем было, на фронте его тоже не кричат — в кино только, в военном, героическом, кричат и дурачат врагов, крушат их весело и забавно, порой даже поварским черпаком.

Крикнув "смирно!", полковник Азатьян сбежал с трибуны и, перейдя на размеренный торжественный шаг, приблизился к генералу Лахонину, красиво вскинул руку к каракулевой папахе.

— Товарищ генерал-лейтенант! Маршевые роты двадцать первого стрелкового полка готовы следовать по назначению!

Генерал Лахонин принял рапорт, пожал руку полковнику, они встали в ряд — генерал, полковник и майор.

— Товарищи командиры и красноармейцы! Благодарю за службу! — подобравшись, внятно и четко сказал генерал Лахонин.

В ответ выдано было: "Служим-совску-су-зу!"

— Вольно! После десятиминутного перерыва всем снова в строй.

Бойцы толкались, смеялись чему-то, все возбужденно радовались, охотно табаком, у кого он велся, делились, в полку его так ни разу и не выдали, кто незнаком, знакомились, ведь теперь

они все родня друг другу — фронтовики. Все надеялись, что попадут в одно место, в одну часть, и твердо верили — там-то пропасть не дадут! Никакого зла, остервенения, никаких придирок друг к другу, словно бы все прошли чистилище, одновременно и от скверны душевной избавились, однако дальней какой-то частью ума и притихшего сердца чувствовали: идут они все-таки в окопы, на смерть, — изо всех сил пытались представить, да и Бог с ними, с окопами, пока вот волнительно все, дружно, торжественно, как бы и празднично даже, оттого ребята веселы, компанейски спаяны. Бесшабашность их посетила: да мы, да там, да так дадим! Не надсаженные еще окопной жизнью, не битые, чистые пока, здоровые, настоящих житейских бурь и страданий не испытавшие, да и сердца не надсадившие, сердце за них надсаживали, страдание и смерть принимали родители, силясь в голодные годы, при разгуле бесовства, в царстве юродивого деспота — выкормить, поднять и сохранить их для служения земле родной, для битвы, которая им предстояла.

Среди шума, сбора, собора, смеха, шуток так и позывало к кому-то прислониться, выговориться, выплакаться, может, на что-то и пожаловаться.

Русские люди, как обнажено и незлопамятно ваше сердце! Можно рукой потрогать его под полушубком, услышать ладонью его тревожный стук, его доверчивое тепло почувствовать. А тут еще старшина Шпатор со своим прощанием! Обходя строй первой роты, он обнимал каждого красноармейца, повторяя:

— Простите меня, дети, простите!.. Чем прогневал... чем обидел... Не уносите с собою зла... — Дошел до командира роты, утерся большим серым платком, полюбовался Щусем и развел руками. — Ну вот что тут сделаешь, памаш? Будто родился в военной форме! Ну, Алексей Донатович, родной мой, себя береги, ребяток береги. С Богом!

Они обнялись, старшина троекратно расцеловался с ротным. Яшкина Володю, своего постояльца по каптерке, тоже обнял, похлопал рукой по спине и тут же замельтешил, заплясал вокруг роты:

— Все взяли? Никто ничего не забыл? Если кто чего забыл, весть дайте, я здесь остаюсь. Дальше маяться с вашим братом...

Старшина Шпатор дошел с ротой до учебного поля, с подбегом попадая в ритм, пытался чеканить шаг, но скоро выдохся, на краю соснового бора отстал, напалком рукавицы вытирая мокрые усы.

Полк, растянувшийся версты на две, головной колонной достал дальний конец дороги, повернул к станции, и вместе с другими ротами первая родная рота-мучительница первой вступила в дымчатый лес, растворилась в морозной мари.

Старшина Шпатор, опустив голову, разбито побрел в опустевшую казарму, в свою казенную, обрыдлую до смерти дощатую каптерку.

В военном городке Новосибирска, за речкой Каменкой, в старых, дореволюционных еще царских казармах сводились маршевые роты стрелковой дивизии. У людей подвальных казарм и землянок появилась возможность убедиться в том, что "прогнивший строй" умел тем не менее строить на века. Кирпичные казармы с толстыми стенами, да еще и с вензельками карнизными, сухие, теплые, просторные, со множеством служебных комнат, в том числе с умывальными и туалетными местами внутри помещения.

Здесь, в казармах, перед отправкой на фронт разрешено было служивым после занятий повстречаться с родственниками и подружками, у кого они имелись. Сюда же, за речку

Каменку, продвинулся небольшой подвижный базарчик с мешками табака, семечек, с картофельными лепешками и варенцом в банках. Вместе с базаром явились говорливые шустрые фотографы, способные не только быстро заснять на карточку хоть одного, хоть группу бойцов, но уже через сутки вручить им сырые, зато очень хорошие фотографии, на которых каждый человек выглядел хоть немножко красивей и бравей, чем был на самом деле.

Эта-то вот особенность искусства больше всего радовала военный люд, ребята уже знали, у какого фотографа получаются карточки красивше, к нему и очереди выстраивались. Молодые нарядные бойцы еще не ведали, что многим из них и суждено будет остаться в родном доме в самодельной рамочке, в альбоме ухажерки иль невесты единственной той предфронтовой фотографией. Забыв живой образ сына, брата иль жениха, его и вспоминать будут по карточке, называя красавцем ненаглядным.

В каптерках казарм, в красном уголке, в служебном помещении комбатов, командиров рот, пригорюнясь, сидели усталые женщины с красными от ветров и морозов лицами, приспустив шалюшки, смотрели, как дитя, стриженое, худое, бледное, шибко с осени повзрослевшее, ест домашнюю стряпню, привычное наказывали, говорили то, что век и два века назад говорили уходившим на битву людям: беречь себя, не забывать отца-мать, чаще писать с фронта, — крестя украдкой служивого, вознося молчаливую молитву Богу, вновь в сердце вернувшемуся, о спасении и о бережении дитя родного.

Ребята, непривычно томясь и смущаясь, выслушивали наказы старших, кивали, соглашались, не зная еще, что сердце отца-матери уже угадало вечную разлуку, не понимали, отчего родители плачут, хмурились и даже осаживали родителей, когда замечали, что те крестятся и их крестят. Облегченно себя чувствовали, когда родители наконец уходили с нудного свидания. Глянув в затемненный угол, где при царе стояли иконы над лампадой и где вместо икон ныне в ряд лепились вожди мирового пролетариата, женщины взваливали на плечи пустые холщовые мешки, в которых гремели кринки, бидоны или банки из-под молока, редко-редко стеклянная поллитровка — на фронт уходило поколение, не пораженное еще российской пагубой, не успевшее научиться пьянству. Ах, как потом, на фронте, в крайнюю минуту иль сгорая на госпитальной койке, жалеть будет сибирский парень о том, что не обласкал мать, не прижался к ее груди в последние минуты, не сказал те самые нежные, самые важные слова, которые должен был сказать, да еще и креститься запрещал.

Подружки-девушки стеснялись на людях, которые еще и побаивались заходить в старые, пусть и не зловещие, но все же казенные помещения. Парочки лепились по скамейкам вокруг казарм, сидели, обнявшись, прижавшись друг к другу, вроде бы никого и ничего вокруг не замечая. Иные парочки пробовали уединиться, прятались по углам, отыскивали всевозможные ухоронки за деревьями, за поленницами — да где же на все-то войско наберешься укромных мест?

Много-много лет спустя молодой русский поэт, угадывая состояние своих давних сверстников, будто впаяет в ранние солдатские могилы, в несуществующие надгробья литые слова:

Мы с тобой не играли в любовь,
Мы не знали такого искусства.
Просто мы за поленницей дров
Целовались от странного чувства.

В первую роту, спаянно и родственно державшуюся после сельхозработ в селе Осипове, нагрянула Валерия Мефодьевна. Она обхватывала нарядных бойцов обветренными руками, пыталась целовать тех, кого узнавала, — такая серьезная, такая видная женщина, и вот...

Валерия Мефодьевна привезла красноармейцам не только пламенные поцелуи и приветы от осиповских зазноб, но и поклоны от хозяев, в избах которых квартировали служивые, да и не одни только пустые поклоны. Из холщового мешка, набитого под завязку, она принялась извлекать узелки, торбочки, кошелки со всякой разной продукцией. Бойцы что дети сбились вокруг, ждут, нетерпеливо приплясывая, радуются, получив подарочек, отбегают в уединение — читать записки. Начальница — баба битая, еще и драматичности добавила в это массовое действие;

— А где это у нас тут Коля-Николай, по фамилии Рындин? Где этот сердцеед-негодник, под корень подрубивший нашу замечательную повариху? — будто не видя до краски смущенного молодца, вопрошала хитрющая женщина.

Коля Рындин вынужден был подать голос из толпы: "Тута я, тута. Чего надо-то?"

Бойцы-товарищи, упираясь, словно в тяжелый воз с соломой, толкали сердцееда в спину, подвигали ближе к гостье. Потомив немножко человека, гостья выдала сердцееду белый мешочек, завязанный розовой ленточкой, в петельку которой вдета записка, на записке крупнущими буквами обозначено: "Любимому моему Количке". Коля Рындин аж зашатался, принимая стафет: "Ну, к чему это? У самой робенок..."

Но его уже никто не слушал, и он удалился читать записку да придумывать ответ, поскольку Валерия Мефодьевна сказала, что без ответов не уедет, да никто ее домой без ответов и не пустит.

Посылка Васконяну, Хохлаку и Шестакову от стариков Завьяловых. В посылке письмецо, писанное Корнеем Измоденовичем при участии Настасьи Ефимовны. "Государь ты наш Ашот, как по батюшке — не запомнили. Дорогие вы наши Леша и Гриша! Посылаем мы вам подарочек, а также пожелания всем вам доброго здоровьица..." Оно и небольшое было, письмецо-то, но обстоятельное, трогательное, в конце письма сообщалось, что Дора и Шура вернулись домой, на центральную усадьбу, но все равно и от них следуют приветы.

К троим этим красноармейцам на свидание никто не приезжал, у всех троих капиталов не велось, и посылка стариков Завьяловых, их доброе письмо заменили ребятам домашние приветы и посылки. Они делились гостинцами с теми, к кому вовсе никто не приезжал, никто ничего не присылал. В других ротах ахали и удивлялись, завидовали товарищам своим, сподобившимся так отличиться и такое внимание завоевать у мирного населения, потрудившись на сельхозработах! Петька Мусиков, шнырявший по базарчику, снова объелся, снова почту гонял. Леха Булдаков на базаре отыскал банду картежников, объегоривал доверчивых простаков-чалдонов.

Понимая ситуацию — не за тем ехал человек в такую даль, чтобы всех перецеловать, — дневальные бросились отыскивать ротного и нашли его в помещении для командиров. Он, рожа наодеколоненная, гордыню проявил, характер показал — на восторженное сообщение отреагировал холодно:

— Чего раздухарились-то? Как навидаетесь с дорогой начальницей, сюда ее проводите.

Валерия Мефодьевна тоже не вдруг-то поспешила к командиру в уединение, пока не обласкала всех своих парнишек, пока не обсказала все о делах совхозных, в особенности подробно о тоскующих зазнобах, с места не сдвинулась.

— Ну и панику ты на сибирское войско навела! — поднимаясь навстречу гостье, рассмеялся Щусь.

— Я вот всех девчат из Осипова обозом сюда доставлю. Такая ли еще паника будет! — Валерия Мефодьевна обняла Щуся, отступила на шаг, оглядела с ног до головы. — Ты вот один не сохнешь. Совсем бравый кавалер сделался в новой-то амуниции. Есть хочешь?

— Хочу.

— А выпить?

— Как всегда.

— А-а...

— Ну, это само собой разумеется!

— Хулиган.

— Командование так не считает.

— А что оно, командование, в людях понимает? Да еще в таких самоуверенных, как ты?

"Ночевать останется", — шелестел шепот в первой роте. "Ага, ночевать! — осаживал служивых Коля Рындин. — А коня куды? Я вот сходил, супонь и чересседельник распустил, из кошевки сена коню бросил..." — "До коня ли тут, ковды сердце в клочья?!" — "Все одно коня кормить и поить надобно..." — "Вот и напои, помоги родному командиру. Он родину потом спасет!.."

Однако дружба дружбой, но служба — службой. Поздним вечером Валерия Мефодьевна тихомирно убралась из казармы, прикрывая шалью растерзанные губы, и, к удивлению своему, обнаружила совхозную лошадь обихоженной, напоенной и бдящего возле лошади солдата в кошевке под сеном нашла.

— А-а, это ты, Коля?

— Я, я, Валерия Мефодьевна. Щщас запрягу. На всякий случай при коне был. Тут ведь народ-то хват на хвате, ой-е-ей, оторвы! Токо моргни — ни хомута, ни шлеи, ни седелки — на подметки утартают, после и подметки оторвут.

— Спасибо, Коля. По Аньке-то тоскуешь?

— Да как те сказать? С одной стороны, навроде тоскую, с другой стороны, и нековды. Сборы-соборы, суета, не забыть бы чего думаешь, команду в срок и ладом сполнить норовишь.

— С одной стороны! С другой стороны! Я вот возьму да привезу девчат. Плачут они, дуры, по вас. — Валерия Мефодьевна чуть было не проговорилась, что Анька получила похоронку на мужа и теперь плачет по нему, а может, по Коле, может, и по обоим сразу — баба она сердобольная.

— Дак че тут сделаешь? — развел руками Коля Рындин. — Отродясь так было: бабы плачут, мужики скачут! — Обрядив лошадку, вежливо подтыкав под сиденье остатки сенной объеди, Коля Рындин со вздохом добавил: — Насчет девчат, пожалуй что, не успеешь. Робята сказывали — завтре отправка. А солдаты от веку больше царя знают. Ну, спасай тебя Бог!

— Спасет, спасет, если вы спасете, — отстраненно глядя куда-то, вздохнула Валерия Мефодьевна и, тронув вожжи, вроде бы как сердито добавила:Аньку-то не забывай. Верная баба, истинно — русская баба, хоть и нраву бурного.

Полк по боевой тревоге вывели из казарм на рассвете. Пока собирались, пока выстроились, пересчитались, перепроверились, отыскали засонь и самовольщиков, собрали разгильдяев, среди которых, конечно же, скрывался и Петька Мусиков, и закаленный в борьбе со всякими порядками бес Булдаков. Петька Мусиков успел уже толкнуть вторую пару белья, новые портянки, подшлемник, обожрался картофельными лепешками и скандально доказывал, что все это лоскутье ему в походе не нужное, кушать же охота, потому как заморили его в запасном полку, обожрало его в роте советское командование. Дневальные заволокли Петьку обратно в каменную казарму, надавали пинкарей. Он орал и матерился на весь военный городок. Но вот наконец-то унялся и Петька Мусиков, стоит в строю вроде как вместе со всеми, слушает напутственную речь какого-то важного комиссара, на самом деле дремлет, порыгивая, пуская горячий дух в новые валенки.

У оратора рожа по габаритам мало чем отличается от старорежимных казарм, из алого кирпича сложенных. В разъеме комсоставского полушубка видны золотистые, празднично сверкающие звезды, в остальном же политический начальник одет во все походное, боевое, хотя ни в каких походах он не бывал и ходить, тем более ездить, не собирался, однако всем своим видом, полевой амуницией показывал, что сердцем и телом, распирающим форменную одежду, он там, в сражающихся рядах, да что в рядах, он, как на плакатах, — впереди их, с обнаженной саблей в одной руке и со знаменем в другой. И вдохновленные его пламенным словом, идут за ним патриотические массы в кровавый бой и готовы умереть за него, за Родину все до единого.

"Шкура! — очнувшись от сладкой дремоты, икнул Петька Мусиков. — На тебе бы, на курве, бревна возить, а ты языком молотишь..."

И кабы один разгильдяй, кабы только несознательный элемент Петька Мусиков так думал — так думали многие бойцы, однако большинство и думать-то себе не разрешало, полагая, что так оно и должно быть: одним морды в тылу наедать, другим умирать в боевых окопах.

Пока, надсаживаясь, все более багровея от словесных усилий, выбрасывая пар из свежеобритой пасти, кричал оратор про Родину, про партию, про долг, про родного отца всех народов, но в первую голову про героические сражения, кипящие там — указывал он на запад, — с обратной стороны, с востока, выкатилось солнышко и, проморгавшись со сна, начало пялиться на многолюдный военный строй.

Наконец торжественное напутственное слово иссякло. Настроил бойцов на подвиги политический начальник, заработал еще один орден, прибавку в чине и добавку в жратве.

— Н-ннн-на-пр-ря-о! — совсем близко раздался голос командира первой роты. — Ш-ш-ш-шшшго-ом!

И в это время неожиданно и звонко ударил впереди оркестр. В строю у всех разом сжалось сердце от старинного, со времен Порт-Артура звучащего по русской земле военного марша. Под него, под этот марш, сперва не вступ ногой, но с каждым шагом все уверенней, все слаженней двинулась первая рота, колыхая над собой пар дыхания, вытягивая за собой колонну. За нею, топающие на месте, как бы разгон набирающие, сдвинулись, приняли движение другие ротные ряды. И когда первая рота уже спустилась к речке Каменке, ступила на старый, тоже при царе излаженный мостик, последняя рота била шаг возле казарм, только еще намереваясь попасть в лад отдаленно звучащему оркестру, готовясь сделать шаг вслед людской колонне.

Солнце, вкатившись горячим колобком на крыши закаменских деревянных домов, выглядывало

из-за дымящихся труб, приостановило свой ход, как бы заслушалось походной музыкой, но изнутра все же разогревалось, плавилось, струя горячий металл во дворы, палисадники, в безлюдные улицы, плеснуло и войску под ноги горячей лавы. И слился небесный огонь с сиянием медных труб, и такой ли яркий свет полился, что уж за ним не угадывалось и не виделось ничего — только звук оркестра, только грохот шагов, только ахающее дыхание и пар, плавающий над колонной, свидетельствовали о том, что в этом ослепляющем, холодном сиянии двигается рать, не ведающая конца пути своего, догадываясь о предназначении свыше лишь объединенным сознанием: там, там, за этим яростно и отчужденно сияющим солнцем, есть сила столь могущественная, что перед нею все земное слабо и беспомощно, только оркестр да грохающие шаги достигают той высоты, той всеми владеющей и повелевающей силы, от предопределения которой судорожит, сжимает сердце. Может быть, впервые так близко, так осязаемо подступило к парням, идущим в строю, сознание неизбежного конца, может быть, впервые они ощутили прикосновение судьбы, роковой ее неотвратимости. И, значит, что? Значит, рать должна льнуть к другой рати, объединиться с миллионами таких, как он, подвластный судьбе и команде человек. Надо тверже ставить ногу, но слышать могучую поступь за тобой и рядом с тобой идущего народа.

Ы-ыр-р-рас, рры-ыс, рыс! — шагали ноги в лад ударам барабана, под аханье труб, под рулады легкомысленной флейты, и соединялся со строем крепнущий шаг.

Повсюду просыпались собаки и незлым, настойчивым лаем провожали строй. Умные сибирские лайки уже начали привыкать к такого рода беспокойствам.

Техника, кони, кухни, питание были развезены по эшелонам и погружены в ночное время. Маршевые же роты из-за нежелания беспокоить трудовой люд, но скорее всего все по той же причине строгой военной тайны вели к станции кружным путем, глухими окраинными улицами. Окна домов всюду были еще закрыты ставнями, глухие сибирские ворота со всевозможными резными штучками заложены, снег толсто лежал на крышах, черемухи и рябины в палисадниках обреченно опустили в сугробы ветви. Зоркий глаз северного человека ухватил в одном, в другом месте из-под пластушин снега выступившие по крыше натеки, застывшие в виде мышиного хвостика иль гребешком, они были еще едва заметные, эти отметины солнца, повернувшего на весну. И не от оркестра, сверкающего под солнцем начищенной медью, а от этих вот, может, от неисправной горячей трубы накипевших нечаянных сосулек ломалось сердце, чуя пока еще далекое тепло, вешнюю траву, цветы, победу — все-все ворожеи в Осипове, и в первую голову главная ворожея тетка Марья, предсказывали победу скорой весной.

Щипнуло в груди при воспоминании об осиповских полях, об осиповских девчонках, о стариках Завьяловых, обо всем хорошем, что происходило в жизни, закипало в горле, слепило глаза. И все же, пусть и сквозь слепящую пленку, Лешка Шестаков заметил впереди на безлюдной улице бабу в клетчатом полушалке, в валенках, насунутых на босую ногу, с коромыслом и ведрами на плечах. Она появилась из ворот крепко рубленного дома, легко одетая, в мужичьем пиджаке, надернутом на ситцевую кофту, добежала до середины дороги, но тут же запнулась, на мгновение обмерла, закрыла вскрикнувший рот ладонью и, круто повернувшись, хватила обратно, со звоном бросила ведра, коромысло во двор, брякнула створкой ворот, охлопала себя, отряхнула подол, ничего, дескать, не было, никаких пустых ведер, спиной прислонясь к доскам ворот, распластавшись на них, — женщина оберегала воинство от лихих напастей. Через минуту Лешка обернулся: выйдя на дорогу, баба размашисто, будто в хлебном поле сея зерно, истово крестила войско вослед — каждую роту, каждый взвод, каждого солдата осеняла крестным знамением русская женщина по обычаю древлян, по заветам отцов, дедов и Царя Небесного, напутствуя в дальнюю дорогу, на ратные дела, на благополучное завершение битвы своих вечных защитников.

1990—1992.
Овсянка — Красноярск

Вы слышали, что сказано древним:
"Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду".
А Я говорю вам, что всякий, гневающийся
на брата своего напрасно, подлежит суду...От Матфея, 5, 2122

Книга вторая. Плацдарм

Накануне переправы

В прозрачный осенний день, взбодренный первым студеным утренником, от которого до высокого солнца сверкал всюду иней и до полудни белело под деревьями, за огородами частоколов, в заустенье хат, передовые части двух советских фронтов вышли к берегу Великой реки и, словно бы не веря себе, утихли возле большой воды — самой главной преграды на пути к чужим землям, к другим таким же рекам-преградам. Но те реки текли уже за пределами русской земли и до них было еще очень-очень далеко.

Главные силы боевых фронтов — армии, корпусы и полки — были еще в пути к Великой реке, они еще сбивали по флангам группировки и сосредоточения фашистских войск, не успевших уйти за реку, дающим возможность отступившим частям закрепиться там, построить очередной непреодолимый оборонительный вал. В редких полуистребленных лесках и садах, боязливо отодвинувшихся от оловянно засветившейся осенней воды, опадали листья, с дубов они сползали, жестяно звеня, скоробленные, лежали вокруг деревьев, шебуршали под ногами. Где-то урчали голуби и, гоняясь друг за другом, выметывались из кущи леса, искрами вертелись в прозрачном воздухе, вернувшись в лес, весело и шумно усаживались на ветви, ворохами спуская с них подмороженный, начинающий на солнце волгнуть, истомленный лист. За издырявленной огнем, полуразрушенной деревенькой-хуторком, разбежавшимся по берегу реки, в мятых, полуубранных овсах вдруг зачуфыркал припоздалый тетерев; семеня ножками, ровняя по-пехотному шаг, петух направился к воде, пятная заиндевелый, сверкающий берег крестиками следов. Прячась за камешками, комочками, суетливо скатился на берег табунок отяжелевших куропаток, что-то домашнее, свое, птичье наговаривая. Пересыпая звуки, пощелкивая клювами, куропатки попили воды из реки и здесь же, у кромки берега, сомлело задремали под солнцем, припав пуховыми брюшками к обсыхающей мелкой траве.

Пришедший к реке Лешка Шестаков, стараясь не спугнуть птиц, начерпал в котелки водички, пил из посудинки, кося глазом на уютно прикорнувших куропаток, почти вдвое увеличившихся, потолстевших от того, что растопорщили они короткие крылья и перо, пуская в подпушек, к телу бодрящую прохладу.

Река оказалась не такой уж и широкой, как это явствовало из географии и других книжек: "Не каждая птица долетит до середины…" Обь возле родных Шурышкар куда как шире и полноводней, в разлив берегов глазом не достанешь.

Противоположный берег реки, где располагалось вражеское войско, пустынен и молчалив. Был он высок, оцарапан расщелинами, неровен, но тоже сверкал инеем, уже обтаявшим и обнажившим трещины, провалы и лога, вдали превращающиеся в ветвистые, пустынные овраги. Перерезая тонкие и глубокие жилы оврагов, вершинами выходящие в поля, к селениям и садам, овраги с шерсткой бурьянов, кустарников и отдельных, норовисто и прямо растущих ветел, да по косогору разбежавшемуся приземистому соснячку, выделялся точно линейкой отчеркнутый рыжий ров. К нему из жилых мест, меж растительной дурнины и кустарника

тянулись линии окопов, вилючие жилы тропок, свежо пестрели по брустверам, накрытым опавшей листвой, огневые позиции, пулеметные гнезда, щели, ячейки, сверкнула и на мгновение зажглась лешачьим глазом буссоль, или стереотруба, взблеснула каска, котелок ли, может, и минометная труба, по заросшей тропке цепочкой пробежали и скрылись в оврагах люди. На пустеющих, недоубранных полях появились кони, у самого почти берега отчетливо заговорило радио на чужом языке, затопилась кухня. Веселый дым — топят кухню сухой сосновой ломью — заполнял ветвистый распадок какой-то речушки, дым шел не вверх, не в небо, он вместе с вилючей речкою стелился по извилистой пойме и вытекал потоком из широко распахнутого, зевастого распадка к реке, скапливаясь над большой водой, густел, превращаясь в одинокую, неприкаянную тучку.

Там, на далекой, такой далекой, что и памятью с трудом достанешь, на родной Оби, по низкобережным просторам, к осени, когда пойдет "в трубу вода", — так же вот обнажаются земные жилы и жилочки, наполненные водой, и такой они образуют узор, такое дерево из множества загогулин, отводок, проточек, русел и просто луж, что не дай тебе Бог по неопытности забраться в глубь материка с лодкой: можешь так заплутаться, что и не выплывешь назад, к тому, единственному стволу этого многоверстного дерева, которое, объединив и срастив ветви все вместе, корнем, стволом ли глубоко проламывает берег Оби. Вся разбредшаяся по земле вода единой массой, объединенной силой сливается с родительницей, вволю погулявшей на просторах, и вот перед зимою, успокоенная, мутная, — все это водяное дерево, коих тысячи тысяч, — вся вилючая вода ручьями и ручейками, стекающими сорами, подпячивает к Оби на пригретое мелководье, покрытое пыреем и осокой, да кое-где высоким, на бамбук похожим тальником и цепким смородинником, вольно все лето на просторах жировавшую рыбу. Кишит, толкается, кипит в осенних сорах рыба, спеша до заморозков, до льда выйти в Обь, залечь на глубины. Много беспечной молоди обсыхает и гибнет осенями, но еще больше успевает скатиться на зимовальные, сонные места, залечь в глубинах.

В эту пору, в сентябре, в низовьях Оби начинается сенокос и жирование птицы, сбивающейся в табуны. Грязь непролазная, гибельная грязь по берегам, островам и опечкам. Без лодки, без трапа, без досок, без прутяных матов и настилов на берег не сунешься. Птице же — самое раздолье, по вязкой пульпе бродят, роются, будто в черной икре, лебеди, гуси, утки, болотные курочки, кулики и чайки, выбирают клювами из клейкой жижи корм, вороны и чайки бандами налетают на луга, выедая в мелких лужах, в обсыхающих сорах рыбью мелкоту. Корма так много, что отяжелевшие птицы порой не могут взлететь, сытой усталостью объятые, тут же, в грязи, но чаще в траве, на кустах дремлют, набираясь сил и тела перед отлетом в далекие страны.

Покосники по берегам Оби валят тугую траву-пырей, плавят ее в спаренных лодках домой, попутно ведя промысел рыбы, запасаясь на зиму едой, не успевая вытряхивать сети, солить рыбу. Час-два простоит сеть в горловине сор — полтонны отборного муксуна, чира, нельмы заваливается в бочки, вкопанные в берег. Пальба по птице не умолкает, по сидячей птице стрелки почти не бьют, поднимают ее на крыло, садят в черную лохматую тучу — дробь не пролетает мимо, сыплется, шмякается в грязь ожирелая птица. В эти же короткие дни осенней страды надо набить кедрового ореха, набрать ягод: смородины, черемухи, по болотам — клюквы и брусницы — знай разворачивайся! Какая возбужденная жизнь наступает, какое бессонное, азартное время добытчика охватывает северное население. Один раз, вернувшись домой с реки, отец проспал двое суток беспробудно. Отдохнув, нахлеставшись веником в бане, широко и опойно гуляют обские мужики, да и бабы за компанию водку пьют, песни поют, дерутся, мирятся.

На этой реке, чужой, настороженной, ничего похожего на Обь нет. Ничего! Недаром засосало под ложечкой, как только вышел Лешка к воде и глянул на тот берег. На враждебный. На Оби-

то, на Оби, бывало, еще малого Лешку закутают в плащ, в нос лодки, точно в гнездо, засунут и поплывут, поскрипывая лопашнями. Благодарно притихнет в груди сердчишко — он тоже участник в осеннем празднике, в сенокосной, рыбацкой и охотничьей страде. От просторов мутной воды, от шири реки, где-то сливающейся с небом и утекающей в него, захватывает дух.

Нет, нет, нет! Здесь тесно, здесь бездушно, здесь отчужденно, хотя и ярко. Лишь птички домовито переговариваются. Но вот косач, защелкав крыльями, снялся с берега и, черным снарядом вонзившись в лес, взорвался там ворохом пестрого листа.

Захрустели сохлые травы, загремел камешник. Разве оглоеды эти, солдатня неугомонная, дадут посидеть наедине, повспоминать!

Явились вояки шайкой, растелешились, давай играть водой, брызгаться. Один бледнотелый славянин, на колхозной пище возросший, — ребра, что у одра, на шее желоб — ладонь войдет, — начал блинчики печь каменными плиточками по воде.

— Немцы по воду придут — не вздумайте стрелять, — на всякий случай предупредил Лешка.

— А че? Появится какой — херакнем! — заявил тот, что "пек" блинчики. На гимнастерке у него краснел комсомольский значок, на цепочке болтался значок "Ворошиловский стрелок".

— Одного херакнете, потом никому нельзя будет за водой прийти.

— Х-хе! Мы приехали воевать или че?

— Навоюетесь еще, навоюетесь, — пообещал Лешка, а про себя добавил: "Если успеете", — и пошел с полными котелками к лесу, все оглядываясь на реку, все шаря глазами по противоположному, деловито и спокойно существующему берегу.

Над Иванами-славянами скопились чайки, кружились, пикировали, норовя спереть мыло. "Ворошиловский стрелок", тщательно целясь, пулял в чаек камнями, птицы, играя, взвизгивали, подпрыгивали, увертывались.

"Что с ними, с этими вояками, будет завтра или послезавтра?" — вздохнул Лешка. По всему было видно, что дело с переправой не задержится: новые части, свежие подразделения выносило и выносило к водной преграде, густо прибивало к берегу Великой реки. Берег распирало силою.

А ребятишки... Что ж ребятишки?.. Смешно!

Лешка вспомнил, как под Харьковом, в каком-то лесу бежал по своей линии связи и, соединив порыв, проверившись с промежуточной, неторопливо шагал "домой". Видит: в соснячке два обезжиренных бойца в новых гимнастерках обнялись и плачут.

— Че вы?

— Ой, пропали мы, насовсем пропали, дяденька!.. Оказалось, связисты соседней части попали под обстрел, нитку порвало, и они никак не могут найти второй конец провода. Командир же роты — зверь. Чего доброго — и пристрелит. "Так вот сразу и пристрелит!" — усмехнулся Лешка.

— А че ему стоит?

— Давайте искать конец вместе.

— Давайте. Не уходите, дяденька, не уходите!

Разрывы от мин неглубоки. Прошлись вокруг одной, другой воронки — нету конца. Поднял Лешка голову — а конец-то вот он! Над головой, на сосенке висит — забросило взрывом. Пуще прежнего заплакали парни-связисты:

— Ой, спасибо, дяденька!

— Да я ж ровесник вам!..

— Нет, мы с двадцать пятого года!..

У войны свой счет делам, годам и дням.

Самое интересное, что и сам Лешка попривык к свежакам-воякам относиться, как "дядька". На Брянском фронте, сказывал Финифатьев, прибыли они на передовую, там, едва окопанный, полк стоит, растянувшись вдоль Оки на восемь километров. Траншеи по колено, блиндажики и ячейки, отекшие от вешних вод, с одним накатиком, но больше и вовсе без прикрытия, глина ногами растоптана, брустверы травой заросли. В траншеях, запущенных, давно не чищенных, — подсохло, неровности, комки, ископыть от обуви. А пылищи! А вонищи! Всю зиму после боев под Москвой, на берегу Оки просидел стрелковый полк, недоукомплектованный после декабрьского наступления. Заспавшийся, полуголодный полк никуда и ни в кого не стрелял, ни с кем не воевал. А немцы с ним воевать не хотели. Они укреплялись, строили оборону аж в три линии. Первая по берегу Оки с бетонированным покрытием на огневых точках, с бетоном укрепленными стенами траншей, дотами со всем обеспечением, даже с электричеством, дзотами, блиндажами, с отлаженной связью, системой огнеметов, химической службой. Вторая и третья линии тоже укреплены и оборудованы по всем правилам военной науки. Приедут наши проверяющие чины из близкой столицы, поглядят в бинокли, в стереотрубы на вражеский берег, сверят данные авиационной разведки по картам и еще какие-то сведения, отважными советскими контрразведчиками добытые, — и в штабной блиндаж — пировать. "Ни хуя! — слышится из блиндажа, — мы им дали под Москвой и еще дадим! Артиллерия наша, бог войны, всю эту ихнюю оборону в прах расщепает..."

Пока она, наша славная артиллерия, не расщепала врага, фрицы и иваны ходили за водой на Оку, подштанники и портянки полоскали, перекликались:

— Эй, Иван! — кричали из-за реки фрицы, — переплывай на нашу сторону — у нас шестьсот граммов хлеба дают!

— А пошел ты, дорогой фриц, сам знаешь куда! У нас кило хлеба дают, да и то не хватает.

Шутки шутили до тех пор, пока не начали прибывать свежие части и кто-то из комсомольцев-добровольцев, начитавшийся книг, допрежь всего бестселлера соцреализма "Как закалялась сталь", и внявший воплям неистового публициста: "Хочешь жить — убей немца!", "Где увидишь, там и убей!" — завидевши на другом берегу врага, спустившегося с ведром за водой, схватил винтовку и подстрелил его. А по лесам-то, по окрестным уже густо-прегусто набилось войска — для наступления. И войско все шло, все летело, больше ночами, тайно, как казалось нашим хитрым стратегам. И все они, войска-то, хотят пить, морду мыть, пищу варить. Вечерами, дождавшись потемок, цепями бредут и едут к Оке за водой, нескончаемые вереницы военных, неся на жердях ведра, баки, термоса, катят кухни на конной и машинной тяге, заезжают прямо в реку, повара котлы моют, кони воду пьют, отфыркиваясь, солдаты портянки полощут. Ока —

всем спасение и отрада, потому как в лужах, с весны в лесах и в полях оставшихся, головастики кипят, ручьи пересохли, ближайшие колодцы вычерпаны до дна, прудики загажены.

Бредут, едут люди к воде безо всякой опаски и не знают, что, вняв зову патриотических идеологов, комсомолецдобровolец долбанул врага, за что уже и награду получил — командир роты по фамилии Щусь лично морду набил, командир взвода товарищ Яшкин за такое усердие компостер поставил сапогом в зад.

Сошлись, съехались беспечные братья-славяне массой к реке. Немцы, не умеющие размениваться на мелочи, осветили берег, да ка-ак жахнули из минометов, да как подчистили бережок из пристреленных пулеметов... И залилась, запела, завопила передовая сотнями голосов — всю ночь раненых с берега увозили, трупы собирали. За водой к Оке сделалось ни проехать, ни пройти. Посты на пути к ней выставлены. Черпали воду из луж с головастиками, из загаженных прудов, процеживали сквозь рубахи и новые портянки. Заботливая военная санитарная служба всюду листовки поразвесила: "Не пейте сырой воды!". А ее ни сырой, ни вареной. Народу же и работы с каждым днем все больше — начали, наконец, строить глубокую оборону, прознав, что "вражеско" войско намеревается наступать на курском выступе, так, не ровен час, и брянский фланг прихватит.

Силы Гитлер согнал — видимо-невидимо. Наша же копающая, пилящая, рубящая сила к самому времени наступления противника, к летней жаре, сплошь обдристалась, переполнила госпиталя и больницы. Копали колодцы, доставляли воду из глубинных тылов, где бдительные санслужбы столь щедро сыпали в ту воду вонючей, обезвреживающей заразы, что ни супу похлебать, ни картошки поесть — все химией провоняло.

И на берегу Великой реки будет всякое. Немец примолк, притаился, но все зрит, соображает, ждет. Слава Богу, хоть здесь пока не слышно: "Да мы их расхерачим, распиздячим!" — хоть гонор-то этот, самоуверенность-то дурацкая в крови и слезах утонули, уже и пузыри вонючие вечного блудословия и хвастовства лопнули.

Артиллерийский полк, приданный стрелковой дивизии, которой до недавнего времени командовал генерал Лахонин, ныне назначенный командиром стрелкового корпуса, прибыл к реке ночью и ночью же рассредоточился по прибрежным лесам. Где-то поблизости располагался ранее притопавший стрелковый полк, которым командовал пожилой полковник со странной, но сразу запоминающейся фамилией — Бескапустин. В полку том первым батальоном командует капитан Щусь, тот самый, что муштровал первую роту в Бердском резервном полку. Двигаясь по войне, он споро продвигался в званиях, в должностях, не придавая, впрочем, никакого тому значения. И нумерация-то прежняя, в Сибири прилипшая, сохранилась — первый батальон второго стрелкового полка, первая рота, которой нынче командовал лейтенант Яшкин. Помощником и заместителем комбата тоже бердский офицер — Барышников. Еще здесь командирами рот были старые, кадровые сибиряки: казах Талгат, лейтенант Шапошников, которого из-за отправки на фронт не успели разжаловать, но и в чины не выводили — какая-то графа встала на его боевом пути. Взводами командовали тоже по Бердску знакомые ребята: Вася Шевелев, Костя Бабенко; Гриша Хохлак в звании сержанта командовал отделением, был помощником помкомвзвода. Однако весной ранило Гришу Хохлака. Прибыв в Поволжье, сибиряки длительное время стояли в наспех заселенных, но больше в пустых разграбленных селах в одночасье погубленной и выселенной в Сибирь и Казахстан республики немцев Поволжья.

В добротных домах, в аккуратно и даже нарядно строенных селах хорошо пожилось солдатикам неподалеку от клокочущего фронта. Здесь многие бойцы прошли боевую подготовку, здесь же

были организованы краткие курсы для младших командиров, и солдаты, которые посообразительней, сделались младшими командирами, некоторые, в боях уже, приняли боевые взводы, и, съездив в Саратов на переаттестацию, "унтера" вернулись оттудова со званиями, пусть и невысокими, но все ж офицерскими. Тогда же дивизия и доукомплектовывалась, в приданные ей артиллерийские и минометные части отбирались "спецы". Лешка как опытный связист, был переведен в гаубичный артдивизион, но ребят из своей роты не забывал, часто виделся с ними. Многие уже успели пасть в боях, позатеряться в госпиталях, отстать от фронта на кривых, ухабистых дорогах войны. Одним из первых погиб так здорово работавший в осиповском совхозе на комбайне на пару с Васей Шевелевым надежный, основательный парень — Костя Уваров. Все он сожалел, что не попал к танкистам, — водителем танка ему уж очень хотелось быть. Кто знает, угоди он в водители, так, может, дольше и жил бы.

Первый бой дивизия генерала Лахонина приняла в Задонской заснеженной степи, встав на пути немецких войск, прорвавших фронт и стремящихся на выручку еще одной окруженной армии, кажется, итальянской или румынской. Дивизия Лахонина была крепко сбита, отлажена и с честью выполнила задание, остановив какие-то, слепо уже, визгливо, на исходном дыхании, наступающие части врага.

Потери в дивизии были малоощутимы. Командующему армией дивизия генерала Лахонина — боевой, собранно действующий "кулачок" — шибко приглянулась, и он держал ее в резерве — на всякий случай. Такой случай наступил под Харьковом, где наши бойко наступавшие войска, влезли в мешок, специально для них немцами приготовленный. Начав ретиво наступать, еще ретивей драпали доблестные войска, сминая все на своем пути, прежде всего свои же штабы, где высокомудрые начальники наторели уже наступать сзади, отступать спереди. Слух по фронту катился: замкнув кольцо, немцы разом заневодили косяк высшего офицерства, взяв в плен сразу двадцать штук советских генералов, и вместо одной шестой армии Паулюса, погибшей под Сталинградом, задушили в петле, размесили в жидких весенних снегах шесть советских армий — немец математику знает.

На стыке двух армий с разорванной обороной, куда противник наметил главный удар, встала свежая дивизия Лахонина. Пропустив через себя орду драпающих иванов, дивизия встретила и задержала более чем на сутки тоже разрозненно, почти беспечно, нахрапом наступающие части противника. Немцам бы, как обычно, пойти в обход, окружить упорный кулачок советской обороны, но они начали перегруппировку с тем, чтобы нанести сокрушительный удар дерзкой стрелковой дивизии и приданным ей частям. Если удастся сбить этот заслон — путь для дальнейшего наступления открыт. Но, по согласованию с командующим армией, генерал Лахонин силами одного полнокровного полка нанес встречный удар по сосредоточению фашистской группировки. Не ожидавшие этакого нахальства от русских, немцы запаниковали было, однако, выяснив малосильность шального по ним удара, отогнали русский полк, но с наступлением задержались. Тем временем генерал Лахонин отвел все еще боеспособную дивизию на подготовленную в тылу линию обороны. На ходу пополняясь, дивизия перешла к жесткой, активной обороне. И фашистское, вялое уже, из последних сил ведущееся наступление, окончательно выдохлось. Обескровленная непрерывными боями с превосходящими силами противника дивизия Лахонина снова отведена была в резерв, штопалась, лечилась, пополнялась, стояла вдали от фронта, вплоть до очередного ЧП — под Ахтыркой. Гвардейская армия умного генерала Трофименко зарвалась-таки и тоже залезла в очередной мешок.

Противник нанес стремительный, отсекающий удар от Богодухова из Харьковской области и из-под Краснокутска Полтавской области с тем, чтобы отрезать, окружить и наказать в очередной раз за беспечность и неосмотрительность русскую армию. Командующий фронтом

приказал полуокруженной армии оставить Ахтырку, соседней же, резервной армии обеспечить более или менее организованный отход войск.

Наторевшая на "затыкании дырок" дивизия Лахонина снова вводится в действие, бросается в коридор, в пекло и несколько часов, с полудня до темноты, стоит насмерть среди горящих спелых хлебов, созревшей кукурузы и подсолнухов. Девятая бригада тяжелых гаубиц образца 1902-1908 года, оказавшаяся на марше в самом узком месте коридора, поддерживала пехоту, сгорая вместе с дивизией Лахонина в пламени, из края в край объявшем родливые украинские поля. Казалось бойцам, в те жуткие, беспамятные часы они отстаивали, заслоняли собою всю землю, подожженную из конца в конец. Под ярким, палящим солнцем спелого августа, до самой ночной тьмы, которая родилась из тьмы пороховой, из смолью горящих хлебов и земли, тоже выгорающей, части, угодившие на так называемую наковальню, принимали смерть в тяжком, огненном сражении.

Бившиеся почти весь день бойцы и командиры из стрелковой дивизии Лахонина и из девятой гаубичной бригады, оставшиеся в живых, разрозненно, по одному, по двое выходили ночью из дыма и полымя на какой-то полустанок.

У девятой бригады, которая была на автомобильной тяге, осталось два орудия из сорока восьми. Одно орудие на сгоревших колесах выволок с разбитых позиций колхозный трактор. У артиллерийского полка, приданного стрелковой дивизии, не осталось ничего — здесь орудия все еще были на конной тяге, кони пали и сгорели в хлебах вместе со своими расчетами. Орудия либо втоптаны в землю гусеницами танков, либо тоже сгорели в хлебах и долго маячили по полям черными остовами, словно бы крича раззявленными жерлами стволов в небо.

Тем, кто остался жив и в полубезумном состоянии прибрел на полустанок, казалось, что не только артиллерия, но и вся дивизия, весь свет Божий сгорели в адском пламени, соединившем небо с землею, которое бушевало весь день и нехотя унималось в ночи.

Обожженные, черные от копоти люди попили воды, попадали на землю. Весь полустанок и окрестности его за ночь заполнились вышедшими из полымя бойцами. Уцелело и несколько коней. Нещадно лупцуя садящихся на зад, падающих на колени животных, вывозили раненых людей, подбитые орудия с избитыми, расщепанными люльками, с пробоинами на щитах, обнажившими серый металл, загнутый вроде лепестков диковинного железного цветка.

Лешка доныне помнит, как его, спавшего после боя в каком-то огороде, под обгорелыми подсолнухами, на мягкой, как оказалось, огуречной гряде, среди переспелых, ярко-желтых огурцов, разбудил Коля Рындин. Командир роты, старший лейтенант Щусь оставил Колю при кухне — ворочать бачки, таскать носилки с картошкой, мешки с крупой, с хлебом, ящики с консервами, возить воду, пилить дрова. "После боя накормишь всех нас". — "Конешно, конешно", — торопливо соглашался огрузший, начавший седеть Коля Рындин, которого, как только круто становилось на передовой, командир непременно отсылал на кухню. Все понимая, стесняясь "льгот", Коля Рындин ломил, будто конь, неблагодарную работу. Ротный повар лучшего себе помощника и не желал. Словом, Коля Рындин лез из кожи, чтобы "потрафить товаришшам". И Васконяна Щусь берег, как умел и мог, прятал, изловчившись, пристраивал его в штаб дивизии переводчиком и делопроизводителем одновременно.

Полковник Бескапустин, старый служака, ограниченный в культурном смысле, но цельный земным умом, к Васконяну относился снисходительно. Когда Васконян был писарем и толмачом при нем, дивился его образованности, похохатывал, как над существом неземным и редкостным чудиком. В штабе Васконяну сделалось не до шуток. Мусенок — начальник

политотдела дивизии, считавший себя грамотней и важней всех не только в пределах дивизии, но и куда как дальше, терпеть непоколебимого грамотея не мог, а уж когда Васконян сказал об истории ВКП(б), что это не что иное, как "филькина грамота", "документ тотального мышления, рассчитанный на не умеющих и не желающих мыслить рабов", политический начальник чуть не опупел от страха, смекнув, что такую крамолу может позволить себе только такой товарищ, у которого за спиной имеется надежный щит, поэтому при первой же возможности начальник политотдела выпер опасного грамотея из штабного рая, опасаясь, однако, заводить "дело" — не сдобровать бы Ашотику.

Щусь рычал на Васконяна, когда тот явился обратно в роту, а тому горя мало. Он и корешки его — осиповцы вместе себя чувствовали уверенней и лучше. Понимая, что от дури ему всех не спасти — много ее, дури-то, кругом, — Щусь держал при себе грамотея писарем, потому как в писари он только и годился, да и писарь-то — морока одна; путается в бумагах, отсебятину в наградных документах несет, но уж похоронки пишет — зареветься — сердце истязает, кровью, можно сказать, своей пишет.

Коля Рындин с Васконяном и наткнулись на оборванного, исцарапанного, закопченного Лешку, спящего на гряде, на переспелых разжульканных огурцах. Растрясли, растолкали товарища. Лешка не может глаза разлепить — загноились от воспаления, конъюнктивитом назвал Васконян Лешкину болезнь. Круглая, яркая, многоцветная радуга, словно в цирке, кружится перед Лешкой, и в радуге две безликие фигуры вертятся, плавают, причитают голосом Коли Рындина: "Да это ты ли, Лешка?"

"Я, я!" — хотел сказать Шестаков, но распухший, шершавый язык во рту не ворочался, зев опекся, горло ссохлось. Протягивая руки, Лешка мычал, не то пытаясь обнять товарищей своих, не то просил чего-то. Ребята поняли — воды. Протянули ему котелок с чаем, а он не может принять посудину — полные горсти у Лешки ссохшейся, черной крови — острыми узлами проводов до костей изрезаны ладони связиста. Коля Рындин поднес к губам болезного котелок с теплым чаем, но запекшиеся черные губы никак не ухватывали ободок котелка, и тогда человек принялся лакать воду из посудины, что собачонка. Коля Рындин совсем зашелся от горя. Васконян взнял лицо к небу, бормоча молитву во спасение души и тела. Молитвам научил Ашота по пути на фронт, да когда кантовались в Поволжье, неизменный его друг Коля Рындин.

Красавца, обугленного, с красно-светящимися глазами, друзья притартали к командиру роты. Щусь, тоже черный, оборванный, грязный, сидел, опершись спиной на колесо повозки и встать навстречу не смог. Коля Рындин причитал, докладывая, что вот, слава Богу, еще одного своего нашли.

— Ранен? — прохрипел старший лейтенант.

— Не знаю, — чуть отмякшим языком выворотил Лешка, постоял, подышал, — все болит… — смежив ничего не видящие глаза, со стоном ломая поясницу, Лешка нащупал землю под колесом, присел рядом с командиром. — Вроде как молотили меня… или на мне… как на том комбайне…

— А-а, — вспомнил командир.

Вместе со своими уцелевшими бойцами и командирами артиллеристы на машинах свезли пехоту к сельскому, кувшинками и ряской покрытому ставку — мыться, бриться, воскресать. Сказывали, собралось народу аж две сотни — из нескольких-то тысяч.

Когда их, чуть отмывшихся, оклемавшихся, выстроили, командир дивизии, генерал Лахонин упал перед ними на колени, силясь чего-то сказать, шевелил судорогой сведенным ртом: "Братцы-товарищи!.. Братцы-товарищи!.. На веки веков... На веки веков..."

"Экой спектакль, ей-богу! Артист из погорелого театра..." — морщился давний друг генерала майор Зарубин, но, увидев, что у форсистого молодого еще генерала голову просквозило сединой, тоже чуть было не расчувствовался.

Генералу Лахонину за тот бой присвоили звание Героя Советского Союза, посмертно еще двум артиллеристам, командиру третьей стрелковой роты и одному замполиту артдивизиона — забывать нельзя партию. Все остальные бойцы и командиры, оставшиеся в живых, также отмечены были высокими наградами. Командир спасенной армии, генерал Трофименко, умел благодарить и помнить людей, делающих добро.

Лешка за Ахтырку получил второй орден "Отечественной войны", на этот раз — Первой степени. Ротный Щусь вместе с ним получил аж два ордена сразу: за бои под Харьковом — "Отечественной войны", и за Ахтырку — "Красного знамени".

Дивизия и девятая артбригада попали вместе на переформировку и с тех пор, считай, не разлучались.

После двухмесячного блаженства в недалеком тылу боевые соединения прибыли по назначению в передовые порядки, сосредоточиваясь для форсирования Великой реки, влились в стрелковый корпус генерал-лейтенанта Лахонина.

Уцелив глазом дымок в полуопавшем дубовом лесу, сильно уже переделом, сдобно желтеющем свежими пнями, Лешка вышел к кухне и увидел распоясанного Колю Рындина, крушащего толстые чурки.

— Здорово, вояка!

Коля не спеша обернулся, забряцав двумя медалями, смахнул с подола гимнастерки опилки:

— А-а, землячок! Жив, слава Господу, — подавая руку, произнес он. — А наши все тут, по лесу, и Алексей Донатович, и Яшкин, и Талгат. И знаш ишшо кака радость-то — Гриня Хохлак из госпиталя вернулся!

— Да ну-у?

— Тут, тут. Счас они все спят. Наутре притопали. Дак ты потом приходи повидаться.

— Обязательно. Ну, а ты, Коля, как?

— Да вот, Божьими молитвами, жив, — помолчал, поворочал в топке кухни кочергой, подбросил дров в топку и присел на широкий пенек. — Надо, чтоб хлебово и чай сварились до подъема людей.

— А повар-то че?

— Повар спит и еле дышит, суп кипит, а он не слышит, — улыбнулся Коля Рындин.

— Хорошо ему. Нашел батрака.

— Да мне работа не в тягость. Не пил бы только.

— А че, закладывает?

— Кажин день, почитай. Вместе с нехристем-старшиной Бикбулатовым нахлещутся, фулиганничают, за бабами гоняются...

— Что, и бабы тут есть?

— А где их, окаянных, нету? Попадаются. Товарищ старший лейтенант, Алексей Донатович, бил уж в кровь и повара, и старшину. Он очень даже нервенный стал, навроде ба пожилым мушшыной сразу сделался. Из вьюношей без пересадки в мушшыны. Чижало ему с нашим братом. В Сибире было чижало, не легче и на фронте. Да вон он, как всегда, ране всех подымается... Товарищ капитан! Алексей Донатович! Ты как до ветру сходишь, суда заверни — гость у нас.

Вскоре из-за деревьев, в распоясанной гимнастерке, приглаживая волосы ладонью, появился Щусь, издали приветливо заулыбался:

— Здоров, Шестаков! Здорово, тезка! Рад тебя видеть живым. Как идут дела?

— Да ничего, нормально. Старшим телефонистом назначили вот, — и хмыкнул: — Сержанта сулятся дать. Глядишь, я и вас обскакаю в званиях, в генералы выйду...

— А что? Тот не солдат... А ну-ка, полей-ка, Николай Евдокимович.

Щусь стянул с себя гимнастерку и рубаху, сердобольный Коля Рындин лил ему на спину из котелка, стараясь не попадать струей в глубокий шрам, в середке багровый, по краям синюшный, цветом и формой похожий на бутон медуницы, ровно бы помеченный когтями дикого зверя — следы от швов. На Дону попало. Комиссован он был на три месяца. В Осипово съездил и сотворил Валерии Мефодьевне второго ребенка, на этот раз парня, Василия Алексеевича. Побывал он и в двадцать первом полку, в гостях у своего высокого попечителя, полковника Азатьяна. Дела в полку в смысле жилья маленько подладились, построено несколько казарм-бараков, подвалы совсем раскисли и развалились, с едой же обстояло еще хуже, чем в прошлые времена, муштра и холод все те же, мается под Бердском народ уже двадцать пятого года рождения — Россия не перестает поставлять пушечное мясо. Отмаялся старшина Шпатор, кончились земные сроки Акима Агафоновича. Умер он неловко, в вагоне пригородного поезда — ехал зачем-то в Новосибирск, сел в уголке и тихо помер, на повороте качнуло вагон, мертвый свалился на пол, валялся в грязи, на шелухе от семечек, средь окурков, плевков и прочего добра. Не поднимали, думали, пьяный валяется, и катался старшина до тех пор, пока ночью вагоны не поставили в депо, уборщицы, подметающие в них, и обнаружили мертвого старика. За всю службу, за всю маету, за тяжелую долю, выпавшую Акиму Агафоновичу, явлена была ему льгота или Божья милость — полковник Азатьян велел привезти из городского морга старого служаку и похоронить со всеми воинскими почестями на полковом кладбище. Была заминка с похоронами — в кармане гимнастерки Шпатора с обратной стороны военной накладной написано было химическим карандашом завещание, в котором старшина Шпатор просил не снимать с него нательный крест и похоронить его рядом с мучеником — солдатом Попцовым либо с убиенными агнцами, братьями Снегиревыми. Но к той поре щель, в которой покоились братья Снегиревы, уже сровнялась с ископыченным военным плацем, а где закопан Попцов, никто не помнил.

Похоронили старшину возле лесочка, среди могил, в изрядном уж количестве здесь расселившихся, несмотря на то, что в учебном полку, как и прежде, не хватало боеприпасов, все же дали залп над могилой, пусть и жиденький, из трех винтовок.

Под Харьковом, куда после излечения прибыл Щусь, ему присвоили звание старшего лейтенанта, а вот когда он сделался капитаном, Лешка и не ведал — редко все же видятся, хоть и в одной дивизии воюют.

— Ну, что там, на берегу? Мы ничего еще не видели, в потемках притопали, — спросил капитан, вытираясь сухим, застиранным рушником, услужливо поданным Колей Рындиным.

— Пока все тихо, — ответил Лешка, — но на другом берегу немец шевелится, готовится встречать.

— Н-на… Но мы же секретно, тайно сосредотачиваемся.

— Ага, тайна наша вечная: куда едешь? Не скажу. Че везешь? Снаряды. Надо бы, товарищ капитан, как ребята выспятся, чтоб сходили вымылись, искупались. Хорошо на реке. Пока. Думаю, что фриц не выдержит тутошнего курорта, начнет палить. Ну, я пошел. Потом еще зайду — охота с Хохлаком повидаться.

— Зарубину привет передавай.

— Сами передадите. Я думаю, он когда узнает, что вы прибыли, придет посоветоваться, как дальше жить. Основательный он мужик, вежливый только чересчур, не матерится даже. Я первого такого офицера встречаю в нашей армии.

— Думаю, и последнего.

* * *

Заместитель командира артиллерийского полка, Александр Васильевич Зарубин, все еще в звании майора, с малым количеством наград — два ордена и медаль, правда, полученная еще в финскую кампанию, будь она трижды неладна, та подлая, позорная война, — снова полновластно хозяевал в полку, потому как чем ближе становилась Великая река, тем больше в рядах Красной армии делалось воинов, не умеющих плавать. Вроде бы родились люди и выросли в стране, сплошь покрытой сушей, в пространствах пустынь и степей, навроде как бы в Сахаре иль в пустыне Гоби, а не в эсэсэре, изрезанном с севера на юг, вдоль и поперек многими мелкими и малыми реками, испятнанном озерами, болотными прудами, имеющем в нутре своем два моря и по окраинам упирающегося в моря, а с дальнего боку омываемом даже океаном под названием Тихий. И больных объявилось изрядно — просто армия недомогающих масс. Но еще больше суетилось тех мудрецов и деляг, кои так заняты, так заняты: чинят, шьют, паяют, химичат, какие-то подписи собирают, бумаги пишут, деньги подсчитывают, советуют их в фонд обороны сдавать, пляшут и поют, заседают, проводят партийные, комсомольские конференции и все азартней агитируют пойти за реку и умереть за Родину.

За фронтом тучей движется надзорное войско, строгое, умытое, сытое, с бабами, с музыкой, со своими штандартами, установками для подслушивания, пыточными инструментами, с трибуналами, следственными и другими отделами под номерами 1, 2, 6, 8, 10 и так далее — всех номеров и не сочтешь — сплошная математика, народ везде суровый, дни и ночи бдящий, все и всех подозревающий.

Командир артполка Ваня Вяткин снова залег с обострением язвы желудка в санбат. Там у него свой врач — богоданная жена, никак не могут, ни она, ни вся остальная медбратия одолеть ту проклятую язву.

Зарубин уже привык к роли затычки, да, по правде сказать, не придавал особого значения

этакой повальной симуляции — выполнял неукоснительно свой воинский долг и делал это без лишнего шума и бесполезных потерь — на войне и без того шумно и гибельно.

Наблюдениями и мыслями своими майор Зарубин поделился со своим давним другом и нечаянным родственником — Провом Федоровичем Лахониным. Дружба и родство у них были более чем странные, если не сказать — чудные. Познакомившись в военном санатории в Сочи со своей будущей женой Натальей, тоже происходившей из военной семьи, произведя ребеночка "на водах", чопорный, лупоглазенький лейтенантик, на грешные дела вроде бы и неспособный, предстал пред грозны очи родителя Натальи, начальника замшелого, в забайкальских просторах затерянного гарнизона. Начальник спросил своего подчиненного: "Ты спортил мою дочь?" — "Я", — пикнул лейтенантик.

Что кавалер не смылся от оплошавшей девушки, не юлил, не отпирался по распространенному обычаю армейских сладколюбцев — располагало.

Родитель поинтересовался дальнейшими намерениями молодых:

— Чего делать будете?

— Пожалуй... если надо?

— Как это понимать: "если надо?"

— В буквальном смысле.

— Ты дурака-то не валяй! Молодчиков полон гарнизон... Тут только девка рот открой — ее как галушку хап — и нету!

Грозный обликом, в мундир облаченный командир, отстегал свою родную дочь широким ремнем. Жену, бросившуюся защитить единственное дитя, тоже хотел по старорежимному правилу отстегать за то, что не укараулила дочь, но, поразмыслив, намерением попустился — жалел он свою жену, истасканную им по военным клопяным баракам, по дальним гарнизонам, даже в сражение с японцами на Хасане ее втянул, в качестве санитарки. Едва живые они из того сражения вышли, сразу и зарегистрировались и вскоре ребенка сотворили. Где? Да там же, "на водах" в Сочи, может, в том же самом греховодном военном санатории.

Одним словом, отправились на реку Чикой начальник гарнизона с лейтенантиком, с ходу поймали пудового тайменя — и душа помягчела. Когда похлебали ушки, под ушку-то дернув хорошо, песню боевую запели, обниматься начали. У матери Натальи любимейшим произведением был рассказ Бунина "Солнечный удар", который она еще в молодости, до запрещения и изъятия из обихода Бунина, прочла будущему супругу вслух. Так вот тут тоже солнечный удар. Сочинский. Против великой литературы не попрешь. Военный санаторий не закроешь. Сотворили ребенка — воспитывайте. Растили Ксюшку, однако, дед с бабой, нежили и баловали ребенка, потому как зятя перевели в еще более отдаленный район, чуть ли не в дикую Монголию сунули. К этой поре супруги Зарубины как мужчина и женщина испепелили любовный пыл, более вместе делать было нечего, связывала их лишь военная нуждишка, боязнь гарнизонного одиночества, самого волчьего из всех одиночеств.

Как молодого вдумчивого артиллериста Зарубина Александра Васильевича отослали изучать особенности новейшей баллистики в саму академию, аж в Москву. Наука оказалась тонкая и длинная. Когда Зарубин вернулся в гарнизон с дипломом и со званием старшего лейтенанта, то застал в доме своем заместителя, чином и годами гораздо старше его. Ксюшка зимогорила у бабки и дедки, а здесь, держась за лавку, по комнате шлепал голозадый пареван с

выразительным петушком наголо, раскладывал лепехи на пол и нежно их ладошкой размазывал. Влетевшая в дом Наталья, увидев, как Александр Васильевич обихаживает будущего воина столичной газетой "Красная звезда", отрешенно молвила:

— Вот… куем кадры… — положила кошелку с хлебом на стол, потискала ладонями лицо, — для Красной Армии… — начерпывая в кухне воду из кадки в таз, громче добавила: — Не переводя дыхания второй уже лягается в животе, да так, что с крыльца валюсь, боец тоже…

— Молодец!

— Кто молодец-то? — проходя мимо Александра Васильевича с цинковым тазом в руках, мимоходом полюбопытствовала Наталья.

— Все молодцы! Ксюшка-то у бабки с дедкой?

— Та-ама!

— Не приезжал отец пороть ремнем?

— Приезжал. Да как пороть-то? Я пустая почти не была. Законом советским защищена. Вот в кого такая уродилась, спрашивал.

— Ну и чего ты ответила?

— Ответила-то? В твоего деда, в моего прадеда, ответила. Он же казаком был. Бабку-бурятку из кибитки украл. Турчанки да персиянки далеко… Так он бурятку свистанул.

— Понятно, — вздохнул мой папа. — Кочевой, вольный ветер! Дикая кровь.

— Она, она, проклятая, — подтвердила я. — Собрал папа Ксюшку и был таков!

— Стало быть, и мой путь прямичком к деду с бабкой.

— Обопнись! Вон заместитель по боевой подготовке на обед топает. Обскажи ему, где был, чему научился. А он тебе поведает, как тут воинский долг исполнял.

Лахонин Пров Федорович, моложавый, красивый, не глядя на забайкальскую глушь, на пыльные бури, весь начищенный — куда Зарубину против такой сокрушающей силы. Да и Наталья вроде бы чем-то уже надломленная, сказала: дуэли не будет — она недостойна того, чтобы один из блистательных советских офицеров ухлопал другого, да и учтено пусть будет уважительное обстоятельство — скоро станет она многодетной матерью, родители ж ее в возрасте, замуж с таким приданым ее не возьмут, да и не хочется ей больше замуж.

— Мама меня маленькую все пугала замужем: такой, мол, он большой замуж-то, лохматый, зубы у него кривые, лапа с когтями… — повествовала Наталья. — А я вот бесстрашная удалась.

С чем всегда у Натальи в порядке, так это с юмором.

Обедали вместе: два мужа и одна жена. Наталья поллитру мужикам выставила, себе — бутылку молока — она все еще кормила ребенка и вроде бы не должна была забеременеть, "замена" какая-то должна быть. "На меня никакой биологический процесс не действует! — махнула Наталья рукой, — из кочевников происхожу".

Когда-то еще школьницей, затем студенткой Наталья подвизалась на ниве искусства в

гарнизонных клубах и приносила оттуда забористые анекдоты. Например, о том, как в тридцатые годы на общем колхозном собрании постановлено было: к каждой советской бабе прикрепить по два мужика. Один отсталый старик возмутился таким постановлением, но старуха, подбоченясь, заявила: "И че такова? И будете жить, как родные братья..."

Угощая мужиков винегретом и жареной рыбой, Наталья всхлипнула:

— Господа офицеры, я не хочу, чтобы вы жили как родные братья, чтоб остались друзьями — хочу, — вы ж у меня разумники-и! — и горстью нос утерла.

Редкий случай: соперникам удалось остаться друзьями.

Родители Натальи один за другим скоро покинули земной гарнизон, переселились в мирное небесное место. Ксюшка веревочкой металась за отцом по военным гарнизонам. Наталья в письмах писала, где, мол, два, там и трое, вывезет — воз-то свой не давит. Но Ксюшка уж больно строптива, плечиком дергает: "Не хочу!"

Но приспела война, и, хочешь не хочешь, отправляйся, дочь, в Читу к маме. Как они там, в далекой Сибири, в студеном Забайкалье? Александр Васильевич часто писал дочери, увещевал ее, на путь наставлял. Она ему в ответ:

"Привет из Читы! Здравствуй, любимый мой папочка!" О мамочке ни слова, ни полслова, будто ее на свете вовсе нет. Вот ведь оказия! Он, взрослый человек, давно простил жене все, да и чего прощать-то? "Без радости была любовь, разлука без печали". А девчушка-соплюха характер показывает.

"Ничего, ничего, — успокаивал Зарубина Пров Федорович. — Тут главное, которому-то уцелеть. На малых детей у моторной Натальи силы и юмора достанет, а вот на взрослых..."

Встретясь, боевые командиры первым делом интересовались друг у друга, давно ли были письма из дому? На этот раз оказалось — давно. Продвинулись к реке стремительно, тылы поотстали, военные почты с громоздкой, сверхбдительной военной цензурой — тоже.

— Слушай! — словно впервые видя Зарубина, спохватился генерал, — ты все майор и майор?

— Да вот забываю звездочки в военторге прикупить.

— Постой, постой! Ты юмором-то меня не дави. Все равно Наталью не переплюнешь! Она, брат, в письмах как напишет про деток да про себя. Обхохочешься.

— Боюсь, что не до юмора сейчас ей.

— Конечно. Но не одной ей. Слушай, кумовья-политотдельцы-сексоты тебя грызут. Отчего? Ну... Ну, в общем-то, понятно. Характерец! Не ко времени ты и не к месту, что ли?

— Тебе лучше знать. Да и не беспокоит меня личное мое благополучие.

— Не беспокоит, не беспокоит... Они сидели в горенке белой хаты, в совершенно не тронутом немцем лесном хуторке. Здесь, по окраинам березановских болот добрые люди в сорок первом году прятали и спасали раненых советских бойцов и до недавнего времени располагался штаб партизанской бригады, которая переместилась за реку и готовилась ко встречным, вспомогательным действиям. И еще Лахонин сказал, должна быть выброшена в помощь партизанам десантная бригада. Отборная, С начала войны в тылу сидела да с учебных

самолетиков сигала, готовилась к ответственной операции.

— Вроде бы все затевается грандиозно и ладно. Силы громадные сосредоточены, переправившись через реку, хорошо бы с первого же плацдарма рвануть на простор, к границе, а там и до логова недалеко.

— Отчего в совсем неподходящем месте готовится переправа? Опять врага обманываем, опять хотим врасплох его застать?

— Я пока еще всего плана операции не знаю, но догадываюсь, что первый удар здесь не будет главным. Великокриницкий плацдарм — скорее всего вспомогательная операция.

— Удар, еще удар! — так запутаем врага, что самим потом дай Бог распутаться. И такие понесем потери, что без запутывания обошлось бы вдвое, может, и втрое легче.

— Да, да, хотим хитро и сложно воевать. К хотенью побольше бы ума и уменья, да вспомогательные службы отладить.

— У нас же вон как отлажены карательные службы, столько средств и людей на них тратится, что больше никуда не хватает.

— Слушай, тезка Суворова, ты хоть там-то, среди своих-то укрощай себя. Ведь на каждого вояку по два стукача, на командира до пяти.

— Ничего, как-нибудь обойдется. Всех не перебреешь, как говорит нами вскормленный дивизионный парикмахер.

— Вот он-то, болтун, вроде недотепа, — и есть главный информатор начальника политотдела. Ты знаешь, Мусенок в тридцать седьмом, будучи корром "Правды", пересадил весь челябинский обком.

— Как не знать. "Незаметно доводится до сведения". Он, Мусенок — друг и чуть ли не родственник Мехлиса. Они неустанно боролись и борются с врагами народа. У Мусенка ж заместителей и бездельников — толпа, они, будто тунгусы, подбрасывают и подбрасывают топливо в костерок.

— Мехлис, Мехлис. Притих он после того, как погубил три армии под Керчью. Манштейн двумя танковыми корпусами и несколькими полевыми дивизиями, подчинив их себе на ходу, показал Мехлису, что редактировать газету, пусть и "Правду", в каждом номере вознося под облака бога своего, и воевать с фашистами — две большие разницы. За подобный позор, за неслыханные потери любого из нас к стенке прислонили бы, но Мехлис и адмирал с красивой фамилией Октябрьский — выскочка и жулик — малым испугом отделались. Слушай, да ну их к аллаху! Снова предлагаю тебе должность начальника оперативного отдела.

— И я снова отказываюсь. Нечего семейственность на фронте разводить.

— Вот гляжу я на тебя и удивляюсь: вроде неглупый мужик, но не понимаешь, что мне умные, свои люди здесь нужны.

— Из дивизии возьми. Ты там такую селекцию провел.

— Ага, ага, пусть в дивизии одни ханыги останутся. А я вот возьму и приказом тебя переведу.

— Ладно. Так и быть. Но после того, как я сплаваю за реку. Не морщись, не морщись. У меня разряд по плаванию.

— Небось в бумагах записал?

— Записал. А что?

— А то, что умный, но тоже дурак. Только с обратной стороны, — махнул рукой Лахонин и, выйдя на низкое, из каменной плиты излаженное крылечко, где возле порога у земли веселым хороводом выпорхнули и кружились беззаботные цветы маргаритки, сложив руки, прокричал в лес: — Эй, Алябьев! Пора! — и пояснил весело, потирая руки. — Этот композитор, умеющий играть подгорную на балалайке, мужик надежный.

— Оттого, что надеется подле тебя уцелеть.

— Ох и язва ж ты! Слушай, тезка Суворова, по всем правилам мне бы тебя надо ненавидеть, а я вот… Слушай, — приобнял он Зарубина, — побереги ты себя там, а?

— Ты вроде как избываешь меня, а я начальнику штаба Понайотову сказал, что ночевать у тебя останусь.

— И ночуй. Отдохни ладом. В этаких кущах. Я отлучусь до ночи. Потом с тобой наговоримся. Ругаться больше не будем. Эй, товарищ старший сержант! — снова покричал он в кущи. — Подать начальству умыться!

Из кущ нарядной горлинкой выпорхнула с кувшином, тазом, с вышитым рушником на плече лучезарно улыбающаяся девица с ямочками на спело алеющих щеках, с погонами старшего сержанта на плечах. Поливая генералу, она все косила глазом на хмуро стоящего в стороне майора. Полила и ему. Лахонин, утираясь, хмуро буркнул:

— Радистка Ульяша. Вот переведешься ко мне, я тебе трех копировальщиц подкину. Царицы!

— Благодарствую. Уцелеть еще надо. И вообще… Зарубин чуть не ляпнул про Наталью. Но что Наталья? Наталья есть Наталья, одна она на этом свете, детьми обложенная, ульяш же — связисток, машинисток, копировальщиц — в корпусе не перечесть.

"Вот то-то и оно, — говорил весь вид генерала Лахонина, — а я мужчина еще молодой и пока еще живой…" Ели молча, старательно, из глубоких тарелок с цветочками — приборы на столе, ложка суповая с вензелем на черенке, нож и вилка тоже с вензелем, все серебряное.

— Сталин выдал. Чтобы аппетит у генералов лучше был, — пошутил Пров Федорович.

"Если операция сорвется, выдаст он вам еще по вилке да по ножу, кому и веревку в придачу". — Но вслух Зарубин сказал, дождавшись, когда Алябьев отойдет:

— Композитор где-то украл. Ловкость рук и никакого мошенства, как говорил наш любимый герой Мустафа.

— Н-да, — думая о чем-то своем, произнес генерал. — А ты знаешь, слышал я где-то, что чуваш-артист тот, что играл Мустафу, оказался на фронте и погиб.

— Чего хитрого? Если академиков в ополчение загоняли, артистов и вовсе не жалко. Их у нас — море. Вот сам говоришь, штаб сплошь из комиков состоит.

— Ох, Александр Васильевич! Александр Васильевич! — помотал головой Лахонин, — пропадешь ты со своим язычком. Вовсе чина лишишься. Погоны заношенные сымут. Кстати, пока я езжу по делам, ты тут побанься. Композитор воды нагреет, выдаст на время штаны и гимнастерку, все твое выстирают.

— Может, еще и новое белье прикажешь выдать… перед переправой. Тогда всей дивизии выдавай.

Генерал пристально посмотрел на Зарубина, удрученно покачал головой и прокричал в пространство: "Спасибо!". Из пустого лесного пространства мужской и женский голос дуэтом ответили: "На здоровьичко!"

Лахонин возвратился поздно, велел подать ужин и вина. "Водку жрать не будем. С водкой какой разговор? Пьяный разговор. А с винца рассудок яснеет, мысль искристей становится. Да и работы у меня завтра…"

Размягченные вином и покоем, устав от разговора, улеглись командиры в кровати, накоротке вернулись все к той же фронтовой теме — недаром же говорится, что язык всегда вокруг больного зуба вертится.

— Показали мне тут недавно бумаги о настроении военных масс на передовой. Одну особо выделили. Солдат по фамилии Пупкин или Пипкин, у которого язык, как и у его командира, — Лахонин прокашлялся, помолчал, сделав многозначительный намек. — Так вот, этот солдат глаголет среди своих собратьев: мол, тот враг, что перед нами, ясен, как светлый день, а вот другой — вечный враг… Словом, вышел солдат-мудрец на вечную тему.

— Ну, а ты что думал? Русский человек сплошь и совсем подавлен? Он, солдат, — тоже из народа русского, а народ наш горазд и дураков, и мудрецов рожать.

Тянется и тянется по истории, и не только российской, эта вечная тема: почему такие же смертные люди, как и этот говорун-солдат, посылают и посылают себе подобных на убой? Ведь это ж выходит, брат брата во Христе предает, брат брата убивает. От самого Кремля, от гитлеровской военной конторы, до грязного окопа, к самому малому чину, к исполнителю царской или маршальской воли тянется нить, по которой следует приказ идти человеку на смерть. А солдатик, пусть он и распоследняя тварь, тоже жить хочет, один он, на всем миру и ветру, и почему именно он — горемыка, в глаза не видавший ни царя, ни вождя, ни маршала, должен лишиться единственной своей ценности — жизни? И малая частица мира сего, зовущаяся солдатом, должна противостоять двум страшным силам, тем, что впереди, и тем, что сзади, исхитриться должен солдатик, устоять, уцелеть, в огне-полыме, да еще и силу сохранить для того, чтобы в качестве мужика ликвидировать последствия разрушений, ими же сотворенных, умудриться продлить род человеческий, ведь не вожди, не цари его продляют, обратно мужики. Цари и вожди много едят, пьют, курят и блядуют — от них одна гниль происходит и порча людей. За всю историю человечества лишь один товарищ не посылал никого вместо себя умирать, Сам взошел на крест. Не дотянуться пока до Него ни умственно, ни нравственно. Ни Бога, ни Креста. Плыви один в темной ночи. Хочется взмолиться: "Пострадай еще раз за нас — грешных, Господи! Переплыви реку и вразуми неразумных! Не для того же Ты наделил умом людей, чтобы братьям надувать братьев своих. Ум даден для того, чтобы облегчить жизнь и путь человеческий на земле. Умный может и должен оставаться братом слабому. Власть всегда бессердечна, всегда предательски постыдна, всегда безнравственна, а в этой армии к тому же командиры почти сплошь хохлы, вечные служаки, подпевалы и хамы…"

Христос воскрес! — поют во храме,
Но грустно мне... Душа молчит.
Мир полон кровью и слезами
И этот гимн пред алтарями
Так оскорбительно звучит.
Когда б Он был меж нас и видел,
Чего достиг наш славный век,
Как брата брат возненавидел,
Как опозорен человек!..
И если б здесь, в блестящем храме,
"Христос воскрес!" — Он услыхал,
Какими б горькими слезами
Перед толпой Он зарыдал.

Долго лежали во тьме товарищи по оружию, слушая себя и ночной лес. Шуршит по крыше и стене падающая листва, и, словно пули, тюкают в черепицу плоды лесных дичков, желуди. После щелчка в крышу в деревьях поднималась возня, ночующие горлинки взлетали с испуга и снова долго шебутились, устраиваясь на ночлег, успокаивая себя голосом, бусинками пересыпающимся в нежном горлышке. Листья легкими тенями мелькали на сереньком стеколке окна, и электродвижок, жужжащий в лесу, в расположении штаба корпуса, делался слышнее — спят птицы, кабаны чавкают за хатой, вздумаешь выйти по нужде, потопай прежде.

— Чьи стихи-то? — подал голос Лахонин. — Мережковского? Так его вроде бы повесили или расстреляли?

— Не успели. Убег за границу,

— А не убег бы, непременно за такие стишки голову.

— Его наши идеологи и атеисты пробуют уничтожить, называя реакционным писателем-символистом, проповедником утонченной поповщины и мистики.

— М-на, это ж легче, чем стишок запомнить. Я вот не помню, когда книгу в руки брал, а ты вот...

— Да тоже помаленьку дичаю. Мережковского я, брат, еще в академии читал, под одеялом. Между прочим, слова эти на музыку положены, великие певцы поют, у наших идеологов руки коротки всем рот заткнуть. Я, Пров Федорович, часто теперь стал вспоминать Бога и божественное, да куцы мои познания в этой области.

— Чего же тогда обо мне говорить? Ох-хо-хо-ооо! Как обезображена, искажена наша жизнь... — Лахонин нащупал папиросы на столе, закурил и вместе с дымом выдохнул: — А гвозди вбивать в руки и ноги Христа посланы были все-таки рабы. И на страшном суде их командиры с полным основанием могут заявить, что непричастны к кровавому делу.

— Да, да! Во всех мемуарах почти все полководцы заявляют, что они прожили честную жизнь. Взять моего тезку, Александра Васильевича. Истаскал за собою по Европе, извел тучи русских мужиков, в Альпах их морозил, в чужих реках топил, в Оренбургских степях пугачевский мужицкий мятеж в крови утопил и — герой на все времена... Русские вдовы и сироты до сих пор рукоплещут, Россия поклоняется светлой памяти полководца и надевает цепи на музыкантов, шлет под пули поэтов.

Снова слушали ночь и лес. Тишина потревожилась самолетом. Ночное небо зеленым огоньком

прочертило где-то не так уж и далеко, вроде как с испугу выстрелило орудие, и, словно в другом мире, безразлично прозвучал взрыв. Горлинок подбросило, и они снова слепо кружились за хатой, снова сами себя успокаивали, и плыла черно, мелькала на окне осенняя листва.

— М-на-а-а, воевать с такими мыслями...

— Оно и пню понятно, без мыслей всюду легче.

— Надо уснуть. Во что бы то ни стало уснуть. Завтра... Нет, уже сегодня, раб-бо-о-о-о-оты-ы-ы!

— Мы уже все это называем работой! А что, вечный командир Пров Федорович, людишки наши немножко поучились в школах, пусть и замороченных, а вон уж какие вопросы задают. Немцы ж печатают листовки в расчете все на того сивобородого мужика, коих мой тезка по Европам волочил.

— Научим мы, научим и наших, и ихних трудящихся на свою голову.

— Не знаешь, того вшивого мыслителя успели извести, чтобы фронт не колебал?

— Не знаю. А что, с собою за реку взять хочешь?

— И взял бы.

— Не знаю, не знаю. Не до того. Мне бы переправу с меньшими потерями провести.

— Переправа, переправа, — вздохнул Зарубин. — Слушай, мы ж все-таки мужики военные. Ты, если что...

— Ты мне это брось! — вскинулся на кровати Лахонин и отбросил окурок, заискривший на полу. — Наталья мне вовек не простит, скажет, нарочно подставил... Я тебе еще раз предлагаю...

— Нет, нет и нет1 Вот рассветает, надо будет тебе и людям в глаза глядеть. Кто в полку останется? Пошлешь нового командира, он людей не знает, полк отдельный, норовистый. Я меньше людей подставлю. Надеюсь, меньше.

— Ах, уснуть бы!

— И усни.

— Уснешь с тобой.

— Зачем звал?

— Затем и звал, чтоб разбередиться. Человеческим словом перемолвиться. — И, отвернувшись к стене, генерал буркнул:

— Ты все же побереги себя, Наталья ж...

— Не надо про Наталью, Пров Федорович. Мы — военные, перед своими женами вечно виноваты. Я вот о Наталье сейчас больше думаю, чем прежде. Тебе-то что? У тебя Ульяши.

— Язва! Я тоже не заговоренный. Если что, падай в ноги Наталье и кайся за двоих, нет, за всех

нас, за дураков военных, нам бы, как монахам, запретить жениться.

Лахонин поднялся раньше Зарубина. "Пусть его!" — расслабленно подумал майор и снова уснул, и не слышал, когда уехал генерал.

На столе, под стаканом, по края наполненным черным вишневым вином, белела вдвое сложенная записка: "Если сумеешь, появись до переправы, если нет — с Богом! Пусть нас надолго хватит. Пров".

Увидел своего генерала Зарубин уже издалека, когда тот вместе с командующим армией и многочисленной высокочиновной свитой объявился на берегу реки. Обычно чиновные люди на передовой появляются в пилотках, плащ-палатках, а тут, как на параде, блестят золотом, сверкают звездами погон, шеборшат красными лампасами — сразу появилась в небе "рама". Чуть погодя зазвенели в небе два "фоккера", следом за ними на горизонте нарисовалась пятерка немецких штурмовиков. Но из-за леса шустрой стайкой выскочило до десятка краснозвездных истребителей, завертелись они, запрыгали кузнечиками в небе, застрочили, завыли, сбили штурмовика, и он, к радости густо расселившегося на берегу войска, упал вместе с боезапасом и взорвался на противоположном берегу. Остальные машины побросали бомбы куда попало и повернули восвояси. Очистив небо над рекой, истребители, волоча за собою радостные дымы, газовали на аэродром, довольные, что на глазах у высокого командования свалили штурмовика и все уцелели при этом.

Минометы, орудия, все огневые средства противника так и не показывали себя, хотя, конечно же, немцы видели толпу золотопогонников на левом берегу и пальнуть им, конечно же, по ним очень хотелось.

Поглядев в стереотрубы и бинокли на правый берег, коротко и важно о чем-то посовещавшись, высокое начальство уехало, выполнив, как догадался Зарубин, важную миссию по дезориентации противника, упорно убеждая его в том, что именно здесь, в этой речной неудоби, в непроходимом почти месте будет нанесен главный удар.

Капитан Щусь и Лешка Шестаков, его на берег приведший, сидели на розовато-бурых камнях, до самой воды устлавших берег плитами и плитками того же цвета. Чем ближе к воде, тем острее и мельче раскрошен камешник, по урезу и вовсе в дресву и песок растертый. Чубчиками и полосками росла здесь осока, поджарая, шипуче-острая. Щусь в природе вообще не разбирался. Лешка же с пойменно-тихой реки родом и не догадывался, что камни эти есть останки древних утесов, кои там, на дне реки еще не стерты, и вода на дне скоблится о гряды шиверов. На каменные подводные выступы веками натаскивало песок-курумник, смытую земельку с полей — и получился остров с тремя-четырьмя ветлами тополей, обломанных бурями, росшими вширь с одного боку. Под тополями вихрились кустарники, как бы подстриженные садовником. Растительность эту обгрыз, подровнял скот, зимние зайцы, дикие косули.

Под "своим", левым берегом, меж островком и берегом протока обмелела, почти пересохла. Остров сплошь ископычен, на самом левобережном островке растительность вовсе выедена до основания, только татарники, ядовитый коровяк, белена да сорная полынь сорили семенем по воде, отоптанные, костяно белеющие кустарники украдкой пускали низко по земле ползучие ветви, леторосные отводки, сейчас вот, к осени обрадованно зазеленевшие. По острову, в лунках засохшей ископыти, словно в каменных сахарницах, белел иней. Жители прирезали или угнали весь скот, что уцелел, много скотины подорвалось на минах. По округе устойчиво плавала тяжкая, всюду проникающая вонь.

Странные и нелепые вещи происходили и происходят на войне. Немцы, отступая за реку, свалили столбы, поистребили лодки, корыта, сожгли или переплавили все, что называется деревом и может плавать, но загородь загона на островке цела — хотели убрать или сжечь напослед, понадеялись друг на друга иль "не заметили", оттого что на самом виду дерево, некорыстное, из кривых, огрызенных ветел и жердей, но дубовые столбы прочны, сухи.

"Та-ак, — сказал бедняк, — отметил Щусь, — на безрыбье и это рыба". И еще раз прошелся стеклянными оками бинокля по реке, по островам. На приверхах, между островками, ширина реки не более двухсот-трехсот сажен, но течение здесь стремительное и на стреже бурливое. Место для переправы выбирали толковые ребята, самое узкое, самое удобное, на течение, на эти вот, грозно ворочающиеся, пенисто вьющиеся буруны они внимания не обратили — им-то здесь не плавать, они по карте стрелы нарисуют: кому где плыть и куда высаживаться — прокукарекано, а там хоть не светай!

Берег противника жил притаенно и почти мирно. Пропылит вдали машина, займется дымок, сверкнет на солнце остроклювый шпилек церкви с уцелевшим, искрящим на солнце крестиком, спустится от заречной деревни подвода с повозкой, похожей на гроб, в овраги или к речке, и снова все шито-крыто.

Щусь видел в бинокль все гораздо подробней, чем Лешка своими раскосыми, полухантыйскими глазами. Деревни и хуторки угадывались по-за берегом и земным всхолмлением, от которого по оврагам же и зеленым разломам уютно гуляла, вилась петлями речушка. К ней подступали садики-огородики села Великие Криницы. Внизу кустились, красно и желто догорали кустарники осенним листом, там и сям пробитые деревьями, похожими на косматые взрывы снарядов. В синей, едва уж различимой дали, за рыжим берегом, за холмами усталым бугаем лежала угрюмая седловина, почти голая, на карте означенная высотой под номером сто. По речке, на карте название — Черевинка, двигались, делали свои необходимые дела военные, люди ловко сообщались со всем берегом через устья и вывалы оврагов, ветвисто спускавшихся в пойму речки, зевасто, голо открытые взрытыми разломами в самую Великую реку.

За седловиной-горой угадывалась лесистая местность, которая желтыми волнами катила к едва различимой, рябящей вдали моросью фруктовых садов. Угадывались хутора, от которых на склон седловины выскочили игрушечные хатки, клуня — место от наземных наблюдений скрытое. Ближе к реке, по скату седловины, прибавилось темных полос и пятен — заметил Лешка, — то там, то тут взблескивало оружие, мелькали лопаты, темные полосы свежей земли — это новые траншеи, ходы сообщений; вдруг возникла и игрушечно покатилась колобком круглая каска, возле реки копошились люди, вытаскивали темное туловище из воды. Вытащили, перевернули на камни, будто большую рыбу, бледным брюхом кверху, теперь уж точно видно — лодка, до левого берега донесло стук и треск, лодка развалилась, днище, борта и все остальные обломки люди, будто муравьишки, поволокли за обрывистый мыс, в пойму речки.

Раскурочили на глазах лодку фрицы для того, чтоб знали иваны — плыть им будет не на чем. Немцы пробовали выпилить даже прибрежные зеленые леса, как вырубили они их возле железнодорожных линий, сгоняя на работы мирных селян. Но украинцы — пильщики никудышные, да и спешили немцы за рекой укрыться, вот и не успели свести подчистую леса, спалить хутор, убрать загон с острова.

Чем же, чем же все-таки прельстило наших стратегов это гиблое место? — ломал голову командир батальона. — Безлюдностью? Глушью? Узкой водой? Островами. Нет и нет. Чего-то есть тут, закавыка какая-то. Протоки у пологих островков, на каменистом месте, не очень глубоки и не вязки — острова и протоки, конечно, выгодно, но какой-то есть еще дальний

прицел? Левый берег реки на большом протяжении лесист, допустим, подъезды, подходы удобные в расчет брались, и сами деревья, дубняки, клены, ясени-верболазы — при нужде и сырое бревно на плоты пойдет, если его спаровать с сухим — уже плотик, или, как в Сибири говорят, салик. В хуторке пока еще не разобранная до конца стоит рига с деревянными столбами, перекрытиями и крепкой, в замок увязанной, щелястой матицей — все сгодится, все в дело пойдет...

Солдатики весь день плюхались в реке, пробовали баловаться. Булдаков взревел; "У бар бороды не бывает, усы!" — шумно ахнулся в воду, трактором ее взбуровил, призывая воинство следовать его примеру. Васконян, зажав в горсть добришко, со страху, не иначе, сделавшееся сиреневого цвета, перебирал тощими ногами на камешнике, повизгивал и вдруг, бросив на произвол судьбы добро свое, ринулся к реке, все члены его тела заболтались, как бы отделившись от костей, но в воду вошел он легко, без брызг и тесаным клином ходко поплыл, со щеки на щеку перекладывая лицо. Думая, что вояка этот тут же пустит пузыри, ко дну пойдет, народ восхищенно примолк. Вылезши на берег за мылом, Васконян охотно пояснил изумленной публике, что в детстве еще учился плавать, в бассейне и когда бывал в черноморских санаториях, стиль, которым он сейчас пользовался, называется "бгас".

"Слава Богу, хоть этот отчаюга не утонет!" — усмехнулся комбат.

Булдаков бренчал от холода зубами, однако балаболил насчет сибиряков, которым холодная вода — родная стихия. "У нас в Анисее тепле и не бываt, — врал он напропалую. — Мы ишо в заберегах начинаем купаться и, покуль лед не станет, из воды не вылезам".

Верный его спутник, сержант Финифатьев, годами самый старший в первой роте, как всегда, внимал Булдакову с открытым ртом, все более и более поражаясь причудам его характера. Сам Финифатьев, намылившись, стоял в воде чуть выше коленок и горсточками хватал воду, повторяя: "О-о-о, мамочка моя! Хоть вымыться перед смертью-то!.." — "Каркай больше!" — орали на него.

Мылись солдатики, натирались, употребляя платочки и какие-то тряпки вместо вехтя. Финифатьев нарвал на берегу пучок оранжево-желтой осоки, драл ею спину Булдакова, и тот выл от боли и сладости — не грязь, вроде бы кожа черная сдиралась со спины. И солдатики начали тереть друг дружке спины травой, завывая от облегчительной боли. Тела солдатские бледны. Вымывшись, шагают они по берегу боязно — любой камешек, корешок, даже соломинка больно колют изнеженные в обуви ноги.

Лешка тоже помылся и вопросительно глянул на Щуся. — "Я потом, потом", — отмахнулся капитан. Не купался лишь Гриша Хохлак — его из ближайшего полевого госпиталя высунули на фронт со свищом на ране. Из незакрытой раны белым червячком выползали мелкие осколки костей и оборвыши лангеток. Сказали — скоро пройдет. Госпиталь же готовился к большому потоку раненых, так и говорили — "потоку". Встретив своего соквартиранта по Осипову, Хохлак отчего-то засмущался, поднимаясь с камешника: "0-ой, Лешка!"

Шестаков обнял давнего дружка, по спине его похлопал. Но скоро Хохлак освоился, не чувствовал уже себя гостем среди солдат, чего-то тоже выкрикивал, ковылял к воде, кому-то бросал обмылок, кому-то помогал натянуть на мокрое тело белье — снова среди своих солдат, снова домой явился. А как он воссиял, когда Щусь сказал, что побывал в Осипове и что его, знатного баяниста, там помнят, Дора так вся иссохла по нему. "Я знаю, — потупился Хохлак, — мы переписываемся с нею. Редко, правда".

Сборище солдатское все густело на берегу, ревело, брызгалось и выло от студеной воды. Враг

не выдержал людской радости. Воду бело вспороло пулеметной очередью, сыпко защелкали по камням пули, взрикошетив, выбили пыль на речном спуске, берег быстренько обезлюдел, припоздалый звук пулемета смел с него остатки людей.

— Булдаков! — окликнул Щусь самого большого специалиста в окружающем войске по всяческим хитроумным операциям. — Тебе задание — занять ригу на окраине хутора, снести к ней с острова и закопать, снести и закопать! — раздельно повторил капитан, — все дерево со скотного загона. И никого! Никого! Я понятно говорю!

— Чего тут не понять? — отозвался Булдаков. Бойцы, жаждущие разогрева после купания, побежали разбирать загородь на островке, В мирной жизни это деревянное барахло никакого значения не имело, но сейчас этот обмылок земли, затопляемый веснами, и дерево, в него вкопанное, ох как много значили! Сто, где и полтораста метров можно без горя идти до огрызенных тальников, прятаться в колючей дурнине — дальше, если память не потеряешь, шуруй на приверху, от нее, именно от нее бросайся вплавь на пониз по течению. Ухватившись за жалкие обрубки дерев, за бревешки, за доски от спиленного загона и, если судьба тебя не оставила и Господь Бог не забыл, — подхваченный струей, ты через каких-нибудь двадцать, может, и через пятнадцать минут окажешься на приверхе заречного острова, почти уже и под укрытием правобережного яра, далее — ходом, ходом через протоку — и ноги сами вынесут тебя под навес яра, в развалистые ямы, в ущелья оврагов...

"Ах, как все славно! Какая угаданная дорога! Спланированные действия. Но немцы острова-то пристреляли, каждый метр берега огнем разметили, они все и всех там смешают с сохлым коровьим говном, и на песке замесят тесто из человеческого мяса".

— Шестаков, тебе будет особое задание. Тебе придется держать связь с родным батальоном и артиллеристами. С Зарубиным согласовано. Соображай! Крепко соображай, понял?!

— По-о-нял! — протянул Лешка и про себя уныло сбалагурил, "чем дед бабу донял..."

— Переправляться, как всегда, на подручных плавсредствах, товарищ майор? — спросил Лешка у майора Зарубина, оставшись с ним вдвоем в штабном блиндаже.

— Да, как всегда, — сухо отозвался Зарубин.

— Ясно, товарищ майор! Кто на ту сторону?

— Я, вычислитель, командир отделения разведки Мансуров, один из комбатов, командир взвода управления дивизиона с группой прикрытия, ты и твой сменщик.

— Он плавать не умеет, товарищ майор. Еще утром разучился.

— Многие разучились, но плыть придется... Ты где-нибудь форсировал водяной рубеж?

— Приток Дона, название не помню. И ерик один. Увяз, помню, в нем, едва выбрался на берег, а там в ежевичнике ужи кишмя кишат, лягухи по берегам с лапоть величиной... Я как заору и обратно в ерик... Пузыри пускал. Ребята вытащили... — Майор пошевелил углом рта, улыбнулся. — На подручных средствах по этакой реке несерьезно, товарищ майор. Это не ерик.

* * *

Лешка прибыл в артиллерийский полк из госпиталя, где валялся половину зимы с разбитой голенью правой ноги. После госпиталя, как водится, болтался по резервным частям и

пересылкам, и до того там дошел, что ни о чем уж не мог думать, кроме еды. В первую же ночь по прибытии в артполк, заступив на пост, нюхом резервного доходяги и бердского промысловика учуял он в хозвзводовской машине съестное, запустил руку под брезент, нащупал мешок с сухарями. Долго не думая, складником распластал один мешок, добыл три крупно резаных сухаря и тут же принялся их грызть. Но и половины сухаря не изгрыз, как поднялась тревога. Ворюга был схвачен за ворот и отведен в штабной блиндаж.

Это уж вечно так. Где бы и когда бы Лешка ни попытался смухлевать или сжульничать — тут же и попадется. В школе, бывало, все курят, но как только дадут ему зобнуть — вот он, учитель! В двадцать первом полку, правда, малость напрактиковался, но забылся ж тот боевой опыт.

В штабной блиндаж он шел покорно и только на свету обнаружил, что за ворот его, как кутенка, вел маленький человечек в гимнастерке до колен, зато с большим чином. Во, влип! Вечером Мусенок проводил партсобрание или политбеседу в полку. На Лешкину беду, шофер Мусенка, разгильдяй Брыкин угнал "газушку" на техосмотр и не вернулся к сроку. Мусенок задержался в полку допоздна и определился спать в хозвзводовской машине. Спал он чутким сном пугливого тыловика, попавшего "на передок", и услышал, как хрустит что-то под ним. Подумал, враг тут орудует, хотел закричать, но догадался, что немцы за сухарями к русским едва ли полезут, и с ликующим облегчением изловил злодея. Лешка вознамерился поддеть на кумпол человечка, как Зеленцов когда-то поддел капитана Дубельта, но план осуществить не успел, увидев погоны со звездами.

Майор Зарубин и начальник штаба Понайотов спросонья долго не могли уяснить, отчего разбушевался политический начальник. Когда поняли, Понайотов сразу начал зевать, на соломенную постель обратно полез: "Стоило будить!" Майор Зарубин не имел права лезть на постель, хозяин, отец-командир, терпеливо слушал он Мусенка и в общем-то согласен был — воровать советскому солдату позорно, тем более у своих товарищей. За такое дело не только перед строем надобно злодея поставить и дать возможность коллективу строго его осудить, но при повторении подобного — и под трибунал его, голубчика, подвести...

"Ну, это уж слишком!" — морщился майор. Стащив шинель с постели, набросил ее на себя — сейчас Мусенок начнет говорить о голодном тыле, работающем дни и ночи, о матерях и женах, отдающих последние крошки фронту. Зарубина долил сон, а Понайотову не спалось. Хмурясь, он свернул цигарку из легкого табака, приткнулся к коптилке и, пригнув затяжкой огонек, уже внимательней присмотрелся к новенькому солдату, безропотно выслушивающему воспитательную проповедь. Тощенький, косолапый солдат в мешковато осевшем на нем ветхом обмундировании, стоял, переместив тяжесть на здоровую ногу, крепко сжав в руке целый и надгрызенный сухари. И Понайотов, и майор догадывались: солдат этот думает только об одном: отымут в конце беседы у него сухари или не отымут. Понайотов, почесываясь, ухмылялся, слушая Мусенка, нервно бегающего по блиндажу: два шага вперед, два шага назад. Махонький человечек тем не менее катил огромные булыжины слов насчет законов советского общежития, про долг каждого советского гражданина, про исторический этап.

Между тем солдатик, к полному удовольствию Понайотова, изловчился и разика два уже куснул от волглого сухаря, и когда, бегая, Мусенок оказывался к нему спиной, торопливо, безо всякого звука жевал.

"Во, умелец! Во, ловкач!" — восхитился начальник штаба, дернув за рукав шинели Зарубина. Крепенький, бойкий парень был, когда прибыл в резервный полк, а из него доходягу сделали. Майор поражался, и не раз, тому, как парней, взятых в армию из деревень, от рабочих станков, с фабрик и заводов, подвижных, здоровых, сообразительных, в запасных полках за два-три

месяца доводили до полной некондиционности, ветром их шатало, тупели они так, что и ту боевую подготовку, которую получали в школьных военных кружках, совершенно забывали. Не одна неделя потребуется, чтобы вернуть бойцу его собственный облик, чтоб он воевал и сам соображал, как надо лучше делать работу, чтоб не ждал указаний по каждому пустяку, не заглядывал бы в рот командиру и не мел хвостом перед ним — не щенок все-таки — воин.

— Что это такое? — перекрывая голос Мусенка, заорал вдруг майор так, что вычислитель Корнилаев, спавший вместе с командирами, подскочил с постели и зарапортовал: "Репера пристреляны! Репера пристреляны!" — Что это такое, спрашиваю?

Мусенок споткнулся на полуслове, постоял среди блиндажа и упятился в темноту. Зарубин взял со столика котелок, поболтал:

— С супом сухари доешь. Затопи печку и ложись. — Пока укладывался, шурша соломой в углу, возвышал голос, чтобы слышал Мусенок. — Будете наказаны! Строго!

Понайотов уже уснул, но ухмылка шевельнула его губы: "Не за то отец сына бил, что он воровал, а за то, что попадался..."

Услышав, как удалился негодующий Мусенок, майор, стукая себя по рту кулаком, произнес:

— Сон нарушил, идиот, как там тебя? — спросил из-под шинели.

— Шестаков.

— В порядке наказания подмени телефониста, потом на кухню — отъедаться. И что это, ей-богу, такое, чуть чего — воровать,

— Социалистическое добро нерушимо! — подхватил телефонист, копируя начальника политотдела, и майор смолк, уснул, видать.

Надев привычные вязки от трубок телефонов, солдатик Шестаков метал ложкой супчик, стараясь не бренчать котелком, мочил в хлебове сухарь и радовался удачному завершению лихого дела.

Кухня надоела Лешке быстро — каторга, да и крепче он себя почувствовал, головокружение прекратилось, искры из глаз перестали сыпаться, шум в ушах приутих. Явился на наблюдательный пункт, к майору уже человек человеком: ботинки зашнурованы не через дырку, обмотки плотно, даже форсисто сидят на голенях, гимнастерка постирана, с подворотничком, туго подбит, подпоясан боец, на левой стороне груди медаль, боевой орден, на правой значок гвардейский алеет.

— Ну вот и славно! Вот и хорошо! — Зарубин знал, что боец этот будет верный и преданный делу. Если бы тогда дать его Мусенку схарчить, пропала бы еще одна, уже бессчетная человеко-единица на фронте. — На гражданке связистом были?

— Да, товарищ майор.

— Поэтому к Щусю не отпущу. У меня связистов не хватает. Не больно-то на эту должность стремятся.

Скоро майор выделил Лешку: проворен парень, слух хорош, память острая. Посадил его рядом с собой на телефон в штабе полка. Понайотов, работающий на планшете, протянул портсигар

— из дружеского расположения.

— Не курю. Мать за меня накурилась.

— Отцепите орден. И медаль тоже отцепите. Бумаги какие, книжку красноармейскую — все здесь оставьте, — приказал Понайотов.

— Хорошо.

— И вот что, Шестаков, — вступил в разговор Зарубин. — Если мы доберемся до того берега без связи — толку от нас никакого. Стрелять без связи мы еще не научились. А радиосвязь наша… Э-эх! Да и радист-паникер утонет и рацию утопит.

— Товарищ майор, опыт в таких делах — какой опыт? На севере я вырос. С детства на воде. Вот и посоветую: как и во всяком трудном деле, понадежней подберите людей, пусть теплое белье с себя снимут, но не бросают, сдадут пусть старшине. Так. Сапоги и ботинки тоже надо снять. Но как без обуви воевать? Прямо не знаю. Вы, товарищ майор, диагоналевую гимнастерку смените — намокнет — рукой не взмахнете… Всего не предусмотришь, товарищ майор. В кашу, главное, не лезьте — схватят, на дно утянут.

— А ты что ж…

— Мне, товарищ майор, придется отдельно от вас. Со связью надо отдельно.

— Делайте, как лучше.

— И машину мне надо.

— Зачем? — уставился Понайотов.

— Лодку надо раздобыть. Подручные средства — это несерьезно. Река большая. Вода осенняя. Катушку со связью можно использовать вместо кирпича на шее.

— А если лодки не будет? — построжел Зарубин.

— Тогда безнадежно.

— Ну, а другие? Другие части как же на подручных собираются? — спросил Понайотов, пристально глядя на солдата.

— Они погибнут. Доберется до цели самая малость. Кто везучий да кто ничего не понимает. Только сдуру можно одолеть такую ширь, на палатке, набитой сеном, или на полене. Памятки солдату и инструкции о преодолении водных преград я читал, их сочинили люди, которые в воду не полезут. Ничего не выйдет по инструкциям. Ну, я пошел. К вечеру, может, управлюсь.

— Давайте, Шестаков, давайте, — в голосе майора сквозило смятение. Многие, и он тоже, не до конца сознавали серьезность операции. Правый берег так близок, день такой мирный, задание такое простое: переправиться, закрепиться, прикрыть огнем пехоту…

По обережью реки, по уже прореженным военной ордой лесам и кустарникам рассредоточилась туча людей, но плавсредств около войска почти не видно. Снова надежда на авось, на находчивость и храбрость людей, на их неиссякаемую самоотверженность — заместитель командующего армией, хиленький такой, с детства заморенный мужичок, с детства ненавидящий "сплататоров", потому что они его угнетали, выдвинувшийся из полевых

командиров на место репрессированных образованных специалистов, бахвалился тем, как он своей дивизией брал город Истру, одержал первую блистательную победу под Москвой, положив начало приостановлению немцев на столицу, Сталин щедро вознаградил оставшихся в живых спасителей, дивизия была названа Истринской, на груди рассказчика два ряда орденов, медалей и поверх багрового иконостаса Золотая Звезда с уже потускневшей красной колодочкой. И по делу награды — остановить врага в критический момент, отбросить его от крыльца белокаменной — это ли не заслуга?!

"По горло в воде Истру переходили, меж разбитого льда двигались, на льдинах, ровно на плотах плыли. Изрядно ребятушек погибло, изря-адно. На край льдины насядет народ, льдина на ребро, которая перевернется синим исподом и накроет бедолаг. Много там, в энтой ракитной Истре, народу подо льдом, о-ой, много. Да и на берегу усеяно".

"Но ведь Истра рядом с Москвой — столбы вдоль дорог сухие, в деревнях избы деревянные, заборы, хлева, в Москве — лесозаводы, всюду лес, плахи, пиломатериалы на стройках".

"А кто мне время на подготовку отпушшал? — сердился новоиспеченный полководец. — Прямо с эшелону в бой кидали, в Истру энту говенную, бездонную. Я летось в Кремель по делам ездил, дак попросился Истру посмотреть. Че, если русский солдат покруче выпьет, с похмелья перессыт".

В лесу шуршали пилы, смертно скрипя и охая, валились деревья. Бойцы таскали бревешки в укрытия, связывали их попарно старыми проводами, веревками и даже обмотками. Будь дерево сухое — такой вот легкий плотик надежной бы опорой на воде стал. Но сухого сплавматериала пока нет. Были загоны на островке, но орлы из батальона Щуся перетаскали в ригу, укрыли, нарисовали на подпиленных столбах череп и кости. Кто-то из весельчаков-хохлов крупно написал: "Не чипай, бо ибане!"

Кружилась и кружилась, словно бы в маятном, заколдованном сне, "рама" над рекой, над берегом, над лесом, залетала в тылы. Там по ней лупили зенитки, усыпая чистое осеннее небо барашками веселых облачков-взрывов. Завтра, с утра пораньше жди небесных гостей. Наземные же огневые средства противника как молчали, так и молчат, пристреляет орудие-другое репера, сделает привязку — и молчок. А славяне и рады нечаянному осеннему миру, шляются толпами, повсюду кухни дымят, кино в лесу вечерами показывают, прямо на воздухе. Прибывший из госпиталя боец Хохлак из щусевского батальона баян развернул, играет раздольно, красиво, вокруг него уже пары топчутся, откуда-то и военные девушки возникли, нарасхват идут.

Хватился Зарубин проверить наблюдательные пункты — поручено разведчикам непрерывно смотреть за реку, засекать скопления противника, огневые точки — явился на наблюдательный пункт полка, а там ни командира отделения Мансурова, хорошего, но кавалеристого человека нету, ни телефониста, один наблюдатель остался, да и тот в глубокой, прогретой щели уютно дремлет, примотав стереотрубу проволокой за ногу, чтоб не украли.

По хуторам, по окрестным деревням рыскают бригады мародеров, гребут из погребов и ям картофель, кукурузу, подсолнечник — чего подвернется. Днями бойцы-молодцы из соседнего полка завалили в ближнем селе свиноматку редкостной породы, голову, кишки и прочее выкинули, ноги связали, жердь продернули — прут тушу килограммов на двести-триста "домой". И попались. Строгие чины, поддерживаемые партвоспитателем Мусенком, настаивают двоих мародеров на виду у войска расстрелять — для примера, но кончится это скорее всего штрафной ротой, которая где-то на подходе или уже подошла, и ее спрятали в глуби лесов.

Еще когда ехали к реке, Лешка верстах в двух от берега заметил обмелевшую, кугой заросшую бочажину. Бочажина была кошена по берегам и на скатах к воде. В самой бочажине все смято, полосы поперек и наискось по черной траве. Осока объедена, в заливчиках, под зеленью кустов белел живучий стрелолист и гречевник, среди смородины и краснотала плавали обмыленные листья кувшинок. Над кустами подбойно темнел черемушник, ольховник, мелколистый вяз и вербач. Все это чернолесье, стоявшее вторым этажом, завешано нитями плакучего ивняка, повилики и опутано сонной паутиной. Топорщился можжевельник, навечно запомнившийся Лешке еще по ерику, где клубились ужи, очень даже могло быть, что кущи эти тоже набиты змеями. Прибрежные заросли укрывали когда-то красивое потайное озерцо-старицу, летами расцвеченную белыми лилиями. Возле таких озер всегда обитает и скромно кормится нехитрой, полусонной рыбешкой какой-нибудь замшелый дедок, воспетый в стихах и балладах, как существо колдовское, но отзывчивое, бескорыстное, хотя и совершенно бедное. У дедка такого обязательно водится такой же, как он, замшелый древний челн. Колдун прячет его в кустах от ребятни и забредающих в тенек парочек, от веку любящих кататься на лодках, выдирать из воды лилии, чтобы, полюбовавшись ими, в лодке и забыть их, потому как у парочек срывание цветов — лишь красивая запевка перед делами еще более заманчивыми.

Обской парнечок-дождевичок, Лешка Шестаков, в жизни, может, еще и не разбирался, но природу знал. Продираясь сквозь густые кущи, из которых все время что-то взлетало, шуршало, уползало, замирал он от страха, боясь змей и вепрей, — более, говорят, на этой земле ничего злого не водилось. Разом открылась ему тенистая, пахнущая гнильем старица, по узкому лезвию которой беспечно плавал и кормился табунок уток-чирушек. Лешка схватился за автомат, но вспомнил, что он на войне, да и утки, всплеснув крыльями, снялись с воды, взмыли над сомкнутыми кущами и, уронив на воду пригоршню легкого листа, исчезли с глаз.

Лешка надеялся, что в кустах он сыщет тропинку, по ней и лодчонку, благословясь, откроет. Но тропинок на берегу старицы было много, чудных тропинок, ребристых, истолченных копытцами какой-то жирующей здесь скотины. "Вепрь! — вспомнил Лешка школьный учебник, — дикая свинья здесь бродит" — и в самом деле чуть не наступил на прянувшего ввысь, захрюкавшего кабана. Лешка от неожиданности вскрикнул. На Нижней Оби никаких вепрей сроду не бывало, там и свиней-то не держали, потому как холодно, только оленю, коню да корове тем место, да и то невзыскательным к корму, — особой, морозоустойчивой породы.

Лодки нигде не было. Лешка все больше и больше мрачнел. На свету, в деревнях ничего не найти — немцы народ дотошный. Неужели и сюда их черти заносили? Вспугнув большую серую сову и еще несколько табунков уток, Лешка уже подходил к разветвленной оконечности старицы, когда дорогу ему снова хозяйски преградил могучий хряк. От природы черный, он весь был еще и в насохлой на нем грязище, стоял и вроде как бы раздумывал: отступать ему или порешить солдатика? Глазки хряка смолисто заблестели, красненько вспыхнули, хряк борцовски хукнул. переступил быстро задними ножками, ища упору для броска.

— Ты че? — закричал Лешка, поднимая затвор автомата, — изрешечу-у, кривое рыло!

— Хурк! — грозно откликнулся кабан.

— Уходи с дороги, морда! — не своим голосом взревел Лешка и дал очередь в небо, срезав пулями ветку. Лесные дебри поглотили животину. Тропа, по которой вепрь удрапал, вывела солдата к отводке старицы, зверина хватанул по отмели, утопая по пузо в грязи. Желто дыша и пузырясь, канава наполнялась плесневелой жижей. В отдалении, смяв осоку, лежал и блаженствовал в грязной жиже еще один кабан, блестело осклизлое брюхо. Отчего-то этот кабан не ударился в бега за отступающим хряком. Лешка выловил ольховую палку, потыкал в недвижимое тело и ссохшимся голосом произнес:

— Лодка!

По заломленным веточкам, по едва примятым, травою схваченным следам он сыскал под навесом низкой, обрубленной вербы два старых осиновых весла, ржавое, гнутое ведро. — Помер, видно, дедок-то. А может убили? — вздохнул Лешка, принимая лодку, но не как награду, как неизбежность, — теперь уж от шушеры не отвертеться. Сняв одежду, ежась от сырого с ночи, в затени застоявшегося холода, увязая в жидкой грязи, которая была теплее воды, сразу за осокой присел по грудь, как это делали ребятишки, "согревая воду" в Оби, тут же выпрыгнул поплавком и громко ругаясь, — никто ж не слышит, — перевернул и повел лодку к мелкому месту. Житель севера, привыкший к ледяному от вечной мерзлоты дну, обрадовался теплой тине, овчиной объявшей ноги, шевелил пальцами от ласковой щекотки. Душная, серая муть с клубами густой сажи тянулась за тяжелой лодкой-корытом, на следу ее вспархивали и, чмокая, лопались пузыри. Пахло сгоревшим толом, общественным нужником. Гнилые водоросли оплетали ноги. Отгоняя от себя омерзение, навечно уж приобретенное им в южном ерике, Лешка вдруг натужно заорал перенятую у Булдакова песню:

А умирать нам р-р-рановато-о,
Пусть помрет лучше дома ж-жана-а-а-а!..

Артельно затащили сорящую гнилью лодку в кузов машины, привезли ее на окраину хутора, укрыли все в той же риге, которая с каждым часом обнажалась ребрами, будто старая кляча, растаскивалась слежавшаяся, оплесневелая солома: ею славяне укрывали деревянный разобранный костяк риги. Возле бесценного судна часовым стал сам хозяин — Шестаков, точнее, не стал, а лег — набив полное корыто ботвы от картофеля, сверху набросав соломы. Вокруг лодки скрадывающей, охотничьей поступью запохаживал Леха Булдаков, напевая: "У бар бороды не бывает", напряженно соображая: куда, кому и за сколько сбыть добытую однополчанином посудину. Отгоняя добытчика от своего объекта, Лешка поднес к квадратному рылу кулак. Потратив на конопатку дряхлой посудины старую солдатскую телогрейку, паклю, где-то раздобытую бойцами, старые портянки, Лешка удрученно глядел на диковинное плавсредство. Сев в лодку, попытался ее раскачать — посудина слабо простонала, из шпангоутов червяками полезли ржавые гвозди, уключины подтекли ржавчиной. Но и это тупозадое, убогое сооружение, слепленное из двух досок по бортам и двух осиновых плах, — днище, кроме Булдакова, пытались уцелить какие-то дикие саперы в латаных штанах. Бумагу-документ показывали — "из штаба" — имеют, мол, полномочия изымать любые плавсредства. Налетел усатый фельдфебель, брызгая слюной, дергаясь искривленной шеей, требовал немедленно сдать лодку какой-то спецчасти со многими номерами. Лешка отозвал в сторону представителя спецчасти и, поозиравшись вокруг, на ухо, чтобы никто не слышал, шепнул, показывая в сторону леса:

— Там, по старицам, лодок навалом! Кройте! А то все расхватают!..

Боясь шибко тревожить посудину, оттащили ее по деревянным покатам, подальше от греха, за гряду каменьев, поросшую шиповником и жалицей, накидали в посудинку камней, сверху замаскировали осокой и кустами. Лешка никуда не отлучался от своего агрегата, помогая солдатикам готовить катушки со связью, изолировал узлы, вязал подвесы, смазывал солидолом ходовую часть катушек, перебирал до винтика телефонный аппарат, но все не сходя с берега, держа плавсредство в ближнем обзоре. Коля Рындин отвалил удачливому человеку полный котелок рисовой каши с мясом. Привалившись к камням, Лешка уплетал кашу, заглатывал солдатскую пишу, почти не чувствуя ее вкуса, и не понимал; наелся он или еще хочет есть? Приходил Зарубин, порадовался приобретению, похвалил за находчивость солдат, шуганул с берега начальника связи Одинца, у него, мол, одни только катушки на уме, а кто о рациях позаботится?

По ту сторону Великой реки тоже готовились к встрече. Дороги по седловине и за седловиной пылили густо — двигались войска на передовую, окапывались в желтых полях, в серых прибрежных пустошах. Гуще и гуще перепутывались между собой нити траншей, окопов, ходов сообщений, углублялся ров, опоясавший все побережье, седловина и ниже ее отголоском темнеющие косолобки сделались пятнистыми — исколупали немцы высоту Сто, оборудуя огневые позиции, наблюдательные, командные пункты и всякие другие, необходимые фронту заведения. Среди изборожденной земельной глушины еще нарядней засветилась пойма речушки Черевинки — осень все настойчивей, все ближе подступала к Великой реке, нежила мир Божий исходной солнцезарностыо бабьего лета.

Пыль, непряденой куделей мотающаяся по земле, расползалась над берегом, тучками катила к воде, и по-над рекою что-то искрилось, вспыхивало, золотилось. Солнце применительно к нижнеобскому лету в полдень пекло почти по-летнему. Лешка разулся, распоясался, похаживал босиком. Ноги, как и у всех давно воюющих людей, в обуви сделались бумажно-белы, ступни боялись даже сенной трухи.

Низко, нахраписто пронеслись два "фоки", взмыв над Лешкиной головой, разворачиваясь за хутором, всхрапнули и, прижавшись к самой воде, прячась от ударивших пулеметов, малокалиберных зениток "дай-дай!", — улетели куда-то. Со старицы заполошно, вдогон, раз-другой лупанули зенитки покрупнее и тут же конфузливо заткнулись. Широко расползаясь, плыли по небу грязные пятна взрыва.

"Интересно, Обь у нас стала или еще только забереги на ней?" — лежа на пересохшей, ломающейся осоке, Лешка заставлял себя вспоминать, как об эту пору глушили шурышкарские парнишки налимов по светло замерзшим мелким сорам, как лед щелкал и звенел у них под ногами, белыми молниями посверкивая вдоль и поперек. Оставив подо льдом мутное, на зенитный взрыв похожее облачко, металась рыба меж льдом и илистым дном. Гоняясь за рыбой, пареваны входили в такой азарт, что и промоин не замечали, рушились в них.

— Эй, вояка! Ты не знаешь, где тут наша кухня? — прервали Лещкины размышления два коренастых мужика, потных от окопной работы, на ботинках у них земля, обмотки и руки грязные.

— Где наша — знаю, а вот где ваша — не знаю. Наверно, там,показал он опять же в сторону старицы. — Там кухонь густо сбилось.

— Ну дак спасибо тогда, — сказали бойцы и, побрякивая котелками, двинулись дальше.

Провожая взглядом этих двух бойцов в выбеленных на спинах гимнастерках, в пилотках, севших до половины головы и как бы пропитанных автолом, — свежий пот, выше пот уже подсушило и пилотки от соли как бы в белой, ломкой изморози, Лешка вдруг остро затосковал. Изработанный, усталый вид этих бойцов с засмоленными шеями, мирно идущих по скошенному полю, на котором начали всходить по второму разу бледные цветы клевера, сурепки и куреслепа, обратил его в тревогу, или что другое защекотало под сердцем, и когда солдаты спустились в балку, размешанную гусеницами и колесами, он отрешенно вздохнул: "Убьют ведь скоро мужиков-то этих..."

Почему, отчего их убьют, — Лешка ни себе, ни кому объяснить не смог бы, да и не хотел ничего объяснять. Он упорно стремился еще раз вернуться памятью на Обь, побегать по заберегам, погоняться за стремительной рыбой, но в это время из-за реки опять выскочили те два шальных истребителя, пронеслись над хутором, обстреливая его из пулеметов. Зенитчики на этот раз не проспали, забабахали густо. Народ из хутора сыпанул кто куда. Лешка залез в

каменья и, когда затих гул самолетов, унялись зенитки, вылезать на свет не стал: "Уснуть надо. Обязательно уснуть — время скорее пройдет, соображать лучше буду".

Испытанный тайгою и промысловой работой, он умел собою управлять и был еще здоров, не размичкан войною настолько, чтобы не владеть своим телом и разумом, оттого и уснул быстро, и ничего ему не снилось.

Войска все прибывали и прибывали, пешие и конные, на машинах с орудиями и на танках, в новой амуниции свежие части, в истлевшей за лето бывалые, обносившиеся бойцы. Смена летнего обмундирования через месяц, тем, кто доживет до нее. Большие уже проплешины появились в приречных дубняках, в буковом лесу у старицы — на плоты их свалили, тяжелые, непригодные для воды, но не было поблизости других деревьев, вот и смекали дубок объединить с вербой, старой балкой от хаты либо телеграфным столбом — все доброе дерево, какое росло возле старицы, было уже срублено, местами ослепленно светилась обнажившаяся вода, заваленная ветками вершинника: в вырубках, по кустам прятались кухни и кони. По всей этой неслыханной лесосеке плотно установлены батареи, за старицей, под сетками, усеянными палой листвой, притаилось несколько дивизионов реактивных минометов.

Самолеты-разведчики шастали и шастали над рекой, норовили прошмыгнуть в глубь русской обороны, посмотреть, что и куда двигается. Двигалось много всего, и все в одном направлении — к Великой реке. Сосредоточение войск совершалось ночной порой, и гудели, гудели моторами приречные уютные места, вытаптывалась трава, сминались кустарники, бурьян, на берег выбегали испуганные кролики и зайцы, грязным чертом выметывались кабаны, щелкая копытцами по камням, не зная, куда деваться, метались беззащитные косули. Солдатня открыла безбоязненную охоту, из кухонь и от костерков доносило запахи свежей убоины.

"Надо будет утром написать домой письмо", — решил Лешка.

* * *

Не один Лешка Шестаков был откован войною и обладал даром, предсказывать грядущие события, несчастья, боль и гибель. Побывавшие в боях и крупных переделках бойцы и командиры без объявления приказа знали: скоро, скорей всего уже следующей ночью начнется переправа, или как ее в газетках и политбеседах называют, — битва за реку.

В реке побулькавшимся, отдохнувшим людям не спалось, собирались вместе — покурить, тихо, не тревожа ночь, беседовали о том, о сем, но больше молчали, глядя в небеса, в ту невозмутимо мерцающую звездами высь, где все было на месте, как сотню и тысячу лет назад. И будет на месте еще тысячи и тысячи лет, будет и тогда, когда отлетит живой дух с земли и память человеческая иссякнет, затеряется в пространствах мироздания.

Ашот Васконян днем написал длинное письмо родителям, давая понять тоном и строем письма, что, скорее всего, это его последнее письмо с фронта. Он редко баловал родителей письмами, он за что-то был сердит на них или, скорее, отчужден, и чем ближе сходился с так называемой "боевой семьей", с этими Лешками, Гришками, Петями и Васями, тем чужей становились ему мать с отцом. У всех вроде бы было все наоборот, вон даже Лешка Шестаков о своей непутевой матери рассказывает со всепрощающим юмором, о сестрицах же и вовсе воркует с такой нежностью, что на глаза навертываются слезы. В особенности же возросло и приумножилось солдатское внимание к зазнобам — много ли, мало ли довелось погулять человеку, но напор его чувств с каждым днем, с каждым письмом возрастал и возрастал. Ошеломленная тем напором девушка в ответных письмах начинала клясться в вечной верности и твердости чувств. Да вот зазнобы-то имелись далеко не у всех, тогда бойцы изливались нежностью в письмах к

заочницам.

Васконян Ашот начинал понимать: люди на войне не только работали, бились с врагом и умирали в боях, они тут жили собственной фронтовой жизнью, той жизнью, в которую их погрузила судьба, и, говоря философски, ничто человеческое человеку не чуждо и здесь, на краю земного существования, в этом, вроде бы безликом, на смерть идущем, сером скопище. Но серое скопище, в одинаковой одежде, с одинаковой жизнью и целью, однородно до тех пор, пока не вступишь с ним в близкое соприкосновение, В бою начинает выявляться характер и облик каждого отдельного человека. Здесь, здесь, в огне, под пулями, где сам человек спасает себя от смерти, борется, хитрит, ловчится, чтобы остаться живым, уничтожая другого человека, так называемого врага, все и выступает наружу: "Война и тайга — самая верная проверка человеку", — говорят однополчане-сибиряки. Васконян в боях бывал мало, с самого сибирского полка Алексей Донатович Щусь опекает его, заталкивает куда-нибудь. Ребята, те еще, с кем он побратался в сибирской стороне, одобрительно относятся к действиям и хитростям своего начальника.

Будучи последний раз в каком-то мудрено называющемся отделе штаба корпуса, Васконян попал под начальство человека, осуществлявшего связь с французами, он что-то, где-то и кого-то агитировал через армейскую или фронтовую радиотрансляционную батарею с рупорами. Агитатор дурно говорил по-французски. Васконян заподозрил в нем французского еврея или русского француза да и сказал ему про это. "Француз" пожаловался в какой-то еще более секретный отдел. Особняк с презрительной насмешкой молвил: "А-а, старый знакомый! Ты когда укоротишь свой поганый язык? Когда уймешься? Или тебя унять?.." Васконян ему в ответ: "Извольте обращаться на вы, раз старший по званию и к тому же офицер. Что касается языка, то он у вас испоганен ложью больше, чем у меня, и я считаю, вам, а не мне надобно униматься и как можно скорее, иначе опоздаете". — "Куда это я опоздаю? " — "К страшному суду, вот куда". Бесстрашие этого нелепого человека было обезоруживающим. Беседа закончилась почти что ничем.

— Надо бы тебя под суд упечь, да пока повременим. Сплаваешь за реку, продолжим разговор, есть тут бумаженция из вашего доблестного батальона, и в ней повествуется, как я догадываюсь, о вашей персоне.

— Вы не поплывете, конечно, за реку. У вас более важные дела?

— Ступайте вон!

Рвясь к своим армейским корешам с такого вот хитрого места, Васконян делал "глупости". Но как это опытные вояки и комбат Щусь, армейский человек, не поймут, что только здесь, среди своих ребят, Васконяну место, здесь он "дома". Никогда у него не было ни товарищей, ни друзей, родители раздражали его своей навязчивой опекой, но его отдаляют и отдаляют от ребят, он же их до трепета в сердце любит, на переправу напросился, показав комбату и всем друзьям-товарищам, какой он лихой и умелый пловец, насморк добыл, зато класс выдал!

"Ну и черт с тобой!" — махнул рукой Щусь.

Пока Васконян ошивался в штабе, в хитром агитотделе, пока ждал решения своей судьбы, утоляя книжную жажду, поначитался он всякой всячины. Французский еврей или русский француз понавез ящики книжек, да все с грифами, да все не по-русски писанные, — для важности, видать. Наместник Гитлера в России Розенберг, как и остальное гитлеровское охвостье, заранее уверенное в полной победе над большевизмом, совершенно откровенно и цинично писал о том, что война, если она затянется, может продлиться лишь в том случае,

если армия полностью перейдет на снабжение России. "Отобрав у этой страны все необходимое, мы обречем многие миллионы людей на голод и вымирание, иного выхода из положения нет. Гитлер еще до начала военных действий в России утверждал, что война здесь будет вестись вовсе не по рыцарским правилам, это будет война идеологий и расовых противоречий, вестись она будет с беспрецедентной, безжалостной жестокостью. Немецкие солдаты, виновные в нарушении международных правил и норм, будут оправданы фюрером, Германией и прощены историей. Да Россия и не имеет никаких прав, так как она не участвовала в Гаагской конференции по правам человека. Фюрер мыслил разделить ее европейскую часть на отдельные земли-королевства, устроить что-то похожее на Британскую и Римскую империи, населенные рабами под господством расы господ-немцев. Возникнет новый тип человека — вице-короли, но для этого необходимо захватить обширные территории, умело ими править и эксплуатировать, до поры до времени скрывая от мира необходимые меры: расстрелы, выселения, истребление нетрудового элемента..."

Васконян глядел на ночное небо, на звезды и думал о том, что под этим невозмутимым, вечным небом составляют дьявольские планы маленькие смертные человечки, присвоившие себе право повелевать миром по своему разуму и усмотрению, и все ведь делается во имя и для блага своего народа, доподлинной гуманности и справедливости. Нацизму противостоит большевизм — фрукт с начинкой новой морали, свежей гуманности, отвергающих нацистский и всякий прочий гуманизм. Странно только, что мораль и гуманизм утверждаются разные, методы же их утверждения одинаковы — во имя лучшей половины нации, худшую по усмотрению немецких и советских специалистов на удобрение, в отвал. Через кровь, через насилие навязывание бредовых взглядов о мировом господстве и во имя этого беспощадная борьба с инакомыслием, хотя в принципе и инакомыслия-то нет, с одной стороны завоевание мира во имя арийской расы, без марксизма, с другой стороны — завоевание мира ради утверждения идей коммунизма с помощью передовой марксистской науки, учение-то сие, кстати, создано в Германии и завезено в качестве подарка в Россию оголтелой бандой самоэмигрантов, которым ничего, кроме себя, не жалко, и чувство родины и родни им совершенно чуждо.

В то время, как Ашот Васконян глядел в ночное небо, где вроде бы свершался праздничный карнавал — то его, небо, просекало и обшаривало голубыми, белесо рассыпающимися в выси прожекторами, простреливало разноцветно мелькающими, на жемчуг похожими пузырьками пуль, — медленно плывущие зеленые и красные огоньки ночных самолетов тащили во тьму мерный гул и сонное, добродушное урчание моторов; самолеты эти, словно с возу мерзлые дрова, сваливали на землю кучи бомб, и земля, дрогнув, качнувшись, и устало охнув, снова успокаивалась и отдыхала.

Ашот Васконян мучился вечными вопросами и по этой причине не мог уснуть. А комбат Щусь, сидя на валуне, хорошо нагретом за день, еще и еще прикидывал, как, где и когда легче перемахнуть водное пространство, прорваться за реку и выполнить боевую задачу, при этом как можно меньше стравив людей. Пополнение в полк и батальон прибыло незначительное — "колупай с братом", — как определял военный контингент острослов Булдаков, — больше из госпиталей, раненные по второму, кто и по третьему разу, да еще какие-то унылые белобилетники, долго и ловко ошивавшиеся в тылу и на лапчатых утят похожие оттого, что обуты в ботинки не по размеру, выводок солдат уж двадцать пятого.

"Годки", еще недавно шалившие в бердских казармах, шерудившие сидора новобранцев в карантине, изображали из себя честных, неподкупных людей, били морды пойманным с поличным охотникам за съестным. Оно, конечно, хорошо, что поучили старшие младших — пакостить в своем подразделении — распоследнее дело, впереди тяжелые бои и испытания товарищества на прочность, если орлы из пополнения не сразу примут солдатскую науку, дела их за рекой будут худы, у кого и безнадежны. Тут, на войне, спайка — одно из главных условий

выживания, спайка и круговая порука. Вон они орлы-осиповцы, как на сельских работах сдружились, так рука об руку и в бои вступили — ни одного своего раненого не бросили, без еды и угрева никого не оставят. Они и за реку поплывут с надеждой, что надежа-товарищ всегда рядом, всегда поможет, в любом опасном деле. А коли край подойдет, последней крошкой поделится, раненого тебя спасет.

Река в ночи была покойна, отчужденно поблескивала сталистой твердью на стрежи, но под правым, высоким берегом пугающе черна, могильна. Взлетела осветительная ракета, соря огненными ошметками, мерцая, описывала дуги и обозначила, как бы приблизила овражистый правый берег. Недвижен, меркл, объявился он на минуту, пополоскал черный фартук, обозначил и вывалил в воду какие-то предметы, днем невидимые из-за мерцания солнца иль широкого пространства воды — камень с плешивой макушкой, уснувшую на нем чайку; короткой зарничкой мелькнула пойма Черевинки; кустик бузины и тальника за устьем речки, в жерле оврага обозначились, днем их там еще не было.

"Точка! Замаскирована пулеметная точка, — отмечал комбат. — Укрепляется немец, ждет, но сам же, себя же маскировкой и выдает..." — когда отдаленный свет очередной ракеты достигал шиверов, воду тревожило, морщило, в неспокойно ворочающейся стрежи реки играло: желтый свет ракеты переливался всеми цветами радуги, двоился, троился, искручивался спиралями. Тревожилось сердце комбата — свет ракеты хорошо, как в зеркале, отражался в глуби реки, выявлял стрелу ее — на этой-то стреле, в заманчиво блистающем зраке больше всего и погибнет народу.

Днем, на оперативном совещании, где присутствовали работники штаба корпуса и дивизии, штаба соседнего, резервного полка, пожилой усталый человек — новый командир дивизии, разрабатывалась и утверждалась так называемая диспозиция, план переправы через реку, и на этом-то совещании-инструктаже окончательно выяснилось: плавсредств ничтожно мало, ждать же, когда их изладят да подвезут — недосуг, момент внезапности и без того упущен, противник спешно укрепляется на правом берегу, надо начинать операцию и... помогай нам Бог. Непременный, всюду и везде с пламенным словом наготове, присутствующий на совещании начполитотдела дивизии Мусенок тут же выдал поправку: "Наш бог — товарищ Сталин. С его именем..." Как всегда, слушая говоруна, командный состав морщился, отворачивался, сопел носами, но терпеливо впитывал назидания. Чуть ли не полчаса молотил языком Мусенок. Командир стрелкового полка, Авдей Кондратьевич Бескапустин сердито сорил трубкою искры, ворчал себе под нос о том, что работы по горло, времени в обрез, но трепло это неуемное ничего знать не хочет...

Грузноватый от годов и тела, человек добродушный и в чем-то даже застенчивый, Авдей Кондратьевич настолько был раздосадован и раздражен, что пнул часового, уютно заснувшего на крыльце хаты, в которой располагался штаб полка. Часовой спросонья свалился с крыльца, ползал по цветам маргариткам, отыскивал винтовку. Такой же, как и его командир, пожилой, малоповоротливый ординарец заварил чаю в ведерный чайник, поставил его на стол, сгрудил кружки, зачерпнул котелком сахару из вещмешка. Собранный в штаб комсостав полка чаю обрадовался. Всяк сам себе насыпал в кружку сахару. Пришли майор Зарубин с Понайотовым из артиллерийского полка, пили со смаком чай, сосредоточенно молчали. Полковник Бескапустин, переобувшийся в старые, аккуратно подшитые валенки — у него ревматизмом корежило ноги — время от времени громко отпыхивался и, ровно бы самому себе, бубнил: "Н-ну, художник! Н-ну, художник! Когда этот говорильный автомат и изломается?!"

Собрались как будто все. Ординарец снова подвесил наполненный чайник на притухший костер. Бескапустин обвел вопрошающим взглядом своих командиров. "Ну, что скажете, орлы мои — художники?"

"Художники", уже нанюхавшиеся пороху, не по разу битые и раненные, высказывали общее мнение: надеяться приходится снова на себя, только на себя и на свою сообразительность, да на поддержку артиллерии.

— Все правильно, все правильно, — подтвердил командир полка, артиллерии на берегу сосредоточено много, и еще обещают, — но наступать-то, воевать-то нам...

Полковник Бескапустин дал задание: первым, еще до начала артподготовки, на правый берег должен уйти взвод разведки. Ничего он там, конечно, не разведает — немцы прижмут его на берегу и перебьют. Но пока этот взвод смертников, которого хватит ненадолго, отвлекает противника, первому батальону с приданной ему боевой группой уже во время артподготовки нужно будет досрочно начинать переправу. Достигши правого берега, без надобности в бой не вступать, по оврагам продвигаться в глубь обороны противника по возможности скрытно, рассредоточенно, не привлекая к себе внимания. К утру, когда переправятся основные силы корпуса, батальон должен вступить в бой, но уже в глубине обороны немцев, в районе высоты Сто. Рота из полка Сыроватко, под командой старшего лейтенанта Оськина по прозванию Горный бедняк — за столом приподнялся, качнув головой, стриженной под бокс, довольно щегольской офицер и всем сразу приветливо улыбнулся, — рота Оськина прикроет и поддержит батальон капитана Щуся. Все это должно происходить в районе заречного острова, с него, по мелкой протоке — вперед и только вперед, под укрытие яра, и сразу во тьму оврагов. На левобережном острове не прохлаждаться, не толпиться — он, конечно же, хорошо пристрелян — сюда немцы обрушат главный огонь. Другие батальоны и роты начнут переправляться на правом фланге, с прицелом на устье речки Черевинки, чтобы рассредоточить огонь противника, создать впечатление широкого, массового наступления. Артиллеристам задание одно — обеспечить огневой поддержкой стрелковые подразделения. К утру на плацдарм должны переправиться представители авиации, гвардейских минометов и нашей вечной палочкивыручалочки — бригады номер девять.

Из-за стола поднялся и дал себя рассмотреть на полковника Бескапустина похожий, чуть моложе его годами, полковник Годик Кондратий Алексеевич — командир девятой гаубичной бригады, с самой Ахтырки так и следующий за гвардейской стрелковой дивизией и, в конце концов, отпущенный из резерва главного командования РГКА в полное распоряжение корпуса генерала Лахонина.

РГКА звучит, конечно, весомо и красиво, но для тех, кто в частях этих не воевал. Давно, еще с первых великих пятилеток в стране Советов заведено: бросать на строительство, на прорывы и, чаще всего, на уборку тучного урожая — людей и технику из разных краев и областей страны. И что? Будет начальник строительства, директор комбината или колхозишка "Заветы Ильича" жалеть технику и людей, приехавших исчужа? Да он их в самое пекло, в самую неудобь пошлет, дыры затыкать ими станет.

То же самое и с резервом главного командования — только они поступят в распоряжение армий, корпусов, дивизий, как начинают их мотать, таскать по фронту, заслоняться ими, латать ими фронтовые прорехи. Кормежка же им, награды и поощрения, все, вплоть до мыла в бане, — после своих родимых частей. Ту же девятку взять с ее гаубицами образца девятьсот второго — восьмого — тридцатых годов. Девятьсот второй год — дата рождения, восьмой и тридцатый годы — даты модернизации орудия, так вот эти гаубицы, переставленные на современный ход и сделавшиеся более маневренными, загоняли по фронту, беспрестанно держали на прямой наводке, хотя ставить орудия, у которых для первого выстрела ствол по люльке накатывался вручную и снаряд до сих пор досылался в казенник стародавним банником, — можно было только по недоразумению и по нежеланию дорожить чужим добром. Но в предстоящих боях, в этом холмистоовражистом месте девятка со своими короткоствольными лайбами была самой

нужной и полезной артиллерией. На переправу назначался взвод управления одного из дивизионов девятки, отделение разведки, связисты, начальник штаба с планшетом со средствами вычисления.

Если будет где и что вычислять.

— Всего не предусмотреть, товарищи, — сказал в заключение командир дивизии, — тем паче при ночной операции. Собственная инициатива, своя сообразиловка должны помогать и выручать. Выспаться ладом, отдохнуть — чтоб сообразиловка не истощилась. Командиров полков, батальонов и рот прошу ненадолго остаться, остальные товарищи свободны.

После полудня началось короткое движение возле хутора и по дубнякам. Опять натянуло большое начальство, и опять не замаскированное, а в кожаных регланах, в хромовых сапогах, в нарядных картузах. Командующего фронтом и армией среди них не было, но все равно чиновный люд выразительно сверкал звездами на погонах, кокардами, волочил на брюках красные лампасы. Все это воинство двинулось к заранее оборудованному в хуторском школьном саду наблюдательному пункту. И тут же вверху зашустрили истребители, охраняя небо от немецкой авиации.

Лешку понесло с берега на кухню именно в это время, и он нос к носу столкнулся с начальством и обслугой, его сопровождающей. Отвалив с дороги, он взял котелок в левую руку, правой лихо козырнул. Несколько рук взметнулось к картузам. Неожиданно к Лешке подскочил старый его перевоспитыватель и наставник с радушно расшеперенным ртом. Этот был в плащ-палатке, юбкой по земле волочащейся.

— А где ваши награды, товарищ боец? — спросил он, показывая на четкие следы, оставшиеся на выгоревшей и сопревшей на крыльцах гимнастерке. "Пропил!" — чуть было не ляпнул Лешка.

— Боевые награды я сдал на хранение, товарищ военный неизвестного мне звания, — сделав угодливо-глупое лицо, ответствовал Лешка, будто и не узнавал Мусенка, когда-то изловившего его с похищенными сухарями, — потому как плыть на ту сторону следует налегке.

— Звание мое — полковник. Я начальник политотдела дивизии, — пояснил маленький человечек, в крохотных, почти кукольных сапожках. Заметив, что его спутники, замедлившие было шаг, двинулись дальше, Мусенок деловито поинтересовался:

— Как будете преодолевать водную преграду? Немец-то ведь не дремлет. Он ждет. Страшно будет. Ох, страшно! — у человека-карлика были крупные, старые черты лица, лопушистые уши, нос в черноватых дырках свищей, широкий, налимий рот с глубокими складками бабы-сплетницы в углах, голос с жестяным звяком. Почему-то хотелось передразнить его.

— Так точно, товарищ комиссар, страшно. Но как есть мы советские бойцы, а вы — наши руководители, выходит, наш совместный святой долг в достижении цели: вы на этом берегу день и ночь о нас думать будете, заботиться, мы на том — бить фашиста.

Удивленно выпучив отечные, пестренькие глаза, Мусенок не знал, как и о чем дальше говорить с нечаянным встречным.

— Член партии? — наконец нашелся он.

— Никак нет, товарищ комиссар. Сочувствующий я.

— Подавайте заявление. Примем. Всех героев, идущих на переправу, примем. Достойны! — Мусенок игрушечно козырнув ручонкой, засеменил, догоняя начальство, и с ходу начал о чем-то говорить, показывая на заречье так уверенно, будто он эту реку не раз уж форсировал, все там до кустика знает и первым бросится вплавь во время переправы.

Щусь, тащившийся с начальством на наблюдательный пункт для объяснений и рекогносцировки, скрытым, негодующим матом крыл всю эту челядь и полковника Бескапустина заодно — куда-то смылся или спрятался этот хитрован.

— Чего выкаблучиваешься? Чего языком бренчишь? — приотстав, навалился он на Лешку. — Мусенок недотепой прикидывается, но память у него о-го-го! Штрафная рота вон в лесу, рядом, место в ней всегда найдется.

Лешка хотел сдерзить, не все ли, мол, равно, где подыхать, но в это время за рекой гулко, будто в колодце бадьей, забулькало над головой, запели мины. Разорвались они вблизи дороги. Военная свита рассыпалась по сторонам. Мусенок и еще какие-то малиновопогонники залегли. Плотный, небольшого роста, с кругловатым бабьим лицом, с планшеткой, бившей его по коленям, военный как шел по дороге, так и шел, только носом пошмыгивал — не то щекотило в носу дымом, не то этак он выказывал презрение к своей свите, да командир корпуса Лахонин, приостановившись, ждал, когда вылезет из канавы чиновный люд. Переждав налет за грудой каменьев, исчерканных колесами, Лешка отряхнул штаны, узнав генерала, запомнившегося еще по давней встрече на берегу Оби, порадовался, что "свой" генерал не плюхнулся наземь, он продолжал что-то говорить и показывать тому, коренастому, с планшеткой, усмешливо косясь на Мусенка. Одетый в кожаную куртку с мехом и летчицкий шлем, молодой, но уже красноносый генерал щупал штаны Мусенка и тряс рыжим чубом, выбившимся из-под шлема.

На кухне царило небывалое оживление; тем, кто должен был участвовать в переправе, давали наперед водку, сахар, табак и кашу без нормы. Полупьяный повар и старшина Бикбулатов, вся хозвзводовская братия вели себя заискивающе, будто отрывая от сердца, подобострастно делили, наливали, сыпали щедрую пайку и воротили рожи, прятали глаза, считая уходивших на переправу обреченными. Вояки вредничали, пытались сцепиться с кем-нибудь из тыловиков, чтобы хоть на них отвести душу. Лешка пошел за пайкой, сказав командиру отделения связи, чтобы еще раз проверили, готов ли провод с подвесами, на кухне попросил крепкий холщовый мешок. Не спросив, зачем ему тот мешок и где его взять, как всегда, полупьяный Бикбулатов откозырял: "Будет сделано!" — и передал приказ, чтоб никто не пил выданную водку, — после ужина замполит полка собирает открытое партийное собрание.

Тревога и сосущая боль не покидали Лешку. За себя он был спокоен. Он почти уверен был, что переплывет. Но переплыть — это еще не все, далеко не все. Могут, конечно, и убить, но тот, внутри каждого опытного фронтовика заселившийся бес, человек ли бесплотный, ко всему чуткий, не подсказывал ему близкого срока, и все же тревога, тревога...

И чем больше тревожился Лешка, тем размеренней и спокойней были его мысли. В минуты опасности он полностью доверялся тому, кто сидел в нем, точно в кукле-матрешке, укрощал шустрого, веселого солдата Лешку Шестакова, где надо, оберегал от опрометчивых поступков. Лишь вспышки буйства, глубокого скрытого самолюбия, уязвимости, жестокости, точного понимания большой ему опасности — малую, несмертельную опасность он тоже научился как бы не воспринимать — выдавали порой Лешку. Он умел сходиться с людьми, дружить, быть в дружбе верным, но в душу к себе никого не пускал, оттого и чуждался людей пристальных.

Приняв чеплашку водки, хотя ему хотелось, очень хотелось немедленно выпить всю флягу и забыться, провалиться до самой ночи в сон, он смотрел на реку, на остров. Никто бы не угадал

по его скучному, долгим сном смятому лицу, как напряженно работает его мысль и какая, все более разрастающаяся тревога, почти боль, терзает его.

В переправе, по слухам, будет участвовать около тридцати тысяч, считай — двадцать верных. Судя по приготовлениям, по тому хотя бы, что все дубовые и прочие плоты и несколько понтонов замаскированы по ухоронкам в прибрежье, старица забита машинами с понтонами на прицепах — интересно, куда делся из своих уютных кущ тот секач-кабан? Уконтромили и съели его, поди-ка, славяне. За старицей разместилась как раз штрафная рота, и Лешке показалось, что он видел среди них обритого наголо Феликса Боярчика.

Передовой, ударный отряд начнет переплавляться с приверху хуторского острова — это и без высокоумного начальства ясно, табуном поплывет через шивер, на заречный остров, чтобы скорее зацепиться за вражеский берег. Взвод разведки, рота Яшкина и рота Шершенева уже на исходных, стало быть, на берегу. Эти первые подразделения, конечно же, погибнут, даже до берега не добравшись и заречного острова не достигнув, но все же час, другой, третий, пятый народ будет идти, валиться в реку, плыть, булькаться в воде до тех пор, пока немец не выдохнется, пока не израсходует боеприпасы, пока не уверится, что русские так и остались баранами, хотя их давно и усердно учат воевать. Вот тогда, когда немец подустанет, опустошатся у него заряды, — и обрушить на него огонь, начать переправу, накопившись на хуторском острове, мощным рывком перемахнуть узкое пространство и сразу, сразу, с ходу растечься по оврагам, по ручьям, рассредоточиться вдоль берега, паля и шумя как можно шире, чтобы немец забоялся за свой тыл: очень уж он не любит, когда за спиной щекотно. Да и кто любит? И вот, пока немец в ночи разбирается, что к чему, пока гоняется по оврагам за вояками, нужно, опять же рывком, быстро, до рассвета перебросить понтонный мост и бегом по нему, с патронами, с гранатами, где и минометишко, и пушчонку перетащить бы...

"Ха! Стратег, едрена мать! — сказал себе Лешка, — там тоже головы с шеями сидят и чего-нибудь да думают. Реши вот свою задачу, очень даже простую, среди такой массы народу, под огнем, связь переправь и не утони".

С этой мыслью Лешка и отправился в хутор, забитый до основания народом, уже все переделавшим, отужинавшим и тоже отправляющимся на собрания либо культурно отдыхающим. Повсюду пиликали гармошки, звучало бодрое радио из лесу, вроде как у штрафников. Из открытого окна школы слышался еще в молодости пропитый голос, может, пластинка заезженная: "Вот когда прикончим фри-ы-ыца, будем стрычься, будем бры-и-иться..." — "А пока!" — разнобойно грянули смешанные женские и мужские голоса, и почудился Лешке знакомый тенорок Герки-бедняка.

Мартемьяныч — замполит стрелкового полка, он же Кузькина мать, он же Едренте — был побрит, с новым, сгармошенным подворотничком, ответив вялым кивком на приветствие командира отделения, сержанта Финифатьева, не сделав ему выговора за опоздание, терпеливо дождался, пока тот усядется под деревом, предварительно нарвавши пучок травы и нагребши листьев под зад. Достав из полевой сумки исписанные бумаги, расправляя их, замполит прокашлялся.

— Так начнем, стало быть, товарищи! Собрание наше короткое будет и с одним только вопросом — об успешном выполнении задачи сегодняшнего дня, тоись, об форсировании Великой реки, на какую враг наш, гитлеровский фашизм, делает последнюю ставку...

Он ничего мужик-то был, свойский, домашний, вот только делать ему было нечего в полку. Пробовал он поначалу ходить в боевые порядки и даже своеручно нарисовал два "боевых листка", создавал партгруппы, организовывал громкие читки газет, но люди так уставали, а

немцы так долбили по переднему краю и такие были потери, что он в конце концов устыдился пустословия, ушел с передовой и долго там не показывался, однако к бойцам относился терпеливо и даже задумчиво, старался не замечать многое из так называемых нарушений "боевой дисциплины", чаще всего выражавшихся в том, что солдаты баловались самогонкой либо тянули в деревнях съестное, трясли фрукты в садах.

Подполковник все же нашел себе занятие — он стал руководить подвозкой боепитания, снарядов, горючего, снаряжения. И здесь вдруг проявился его хозяйственный характер, организаторские способносги. Замполитом он как бы уж только числился и вел все эти словесно-бумажные дела, никому не надоедая и никого не раздражая, не путаясь в ногах.

По голосу, по сердитой виноватости, явно проступающей на скуластом и широколобом лице Мартемьяныча, можно было угадать — ему неловко. Оставаясь на левом, безопасном берегу, он вынужден читать мораль тем, кто пойдет на вражеский берег, почти на верную смерть, он же вынужден талдычить слова, давно утратившие всякую нужность, может, и здравый смысл; "Не посрамить чести советского воина", "До последней капли крови", "За нами Родина", "Товарищ Сталин надеется" — и тому подобный привычный пустобрех перед людьми, тоже давно и хорошо понимающими, что это — брех, пустозвонство, но принужденными слушать его.

На собрании оглашен был список желающих вступить в партию. Пятеро желающих не явились на собрание — по уважительным причинам, среди них и Шестаков. "Надо будет поговорить с кандидатами..." — подумал Мартемьяныч. Единогласно приняли несколько человек в партию по торопливо написанным заявлениям. Как обычно, выступали поручители, коротко и невразумительно говорили высокие слова, не вникая в их смысл. Финифатьев писал заявление за какого-то вроде бы молодого, но уже седого северянина, не то тунгуса, не то нанайца, прибывшего с пополнением. Кандидат в партийцы твердил: "Раз сулятся семье помочь в случае моей смерти, я согласен идти в партию". Финифатьев, давний партиец, бессменный колхозный парторг, несколько сгладил неловкость своевременной шуткой насчет того, что иной раз полезно смолчать — за умного сойдешь, от выступления неграмотного и политически неотесанного инородца, ввернув слова о единстве советских народов, о готовности всех поголовно национальностей дружной семьи Советов итить вместе и отдать жизнь за Родину. Выступали кандидаты, благодарили за доверие, в протокол все записывалось. Во многих частях на берегу шел массовый прием в партию — достаточно было подмахнуть заготовленные, на машинке напечатанные заявления — и человек тут же становился членом самой передовой и непобедимой партии. Некоторые бойцы и младшие командиры, уцелев на плацдарме, выжив в госпиталях, измотавшись в боях, позабыли, что подмахнули заявление в партию, уже после войны, дома, куда в качестве подарка присылалось "партийное дело", с негодованием и ужасом узнавали, что за несколько лет накопились партийные взносы, не сеял, не орал солдат, какую-то мизерную получку всю дорогу в фонд обороны отписывал, но дорогая родина и дорогие вожди, да главпуры начисляли и наваривали партийцу проценты и с солдатской получки. Пуры ведать не ведали, что солдаты копейки свои не на табак изводили, а на пользу родине жертвовали, и вот, возвратившись в голодные, полумертвые, войной надсаженные села, опять они же, битые, изработанные, должниками остались. Вечные, перед всем и всеми виноватые люди как-то вывертывались, терпели, случалось, дерзили и бунтовали, пополняя переполненные тюрьмы и смертные сталинские концлагеря. Когда Мартемьяныч отбубнил свою речь и ответно, по поручению собрания, командир отделения разведки, старший сержант Мансуров и кто-то из новичков подтвердили: "Не посрамим!", "Чести не уроним!", "Доверие Родины оправдаем!" — все, и замполит прежде всех, почувствовали облегчение. Тут же назначены были младшие политруки и агитаторы из тех, что поплывут за реку, кто проявлял активность на собрании. Финифатьев решил пока не говорить в роте о своем важном назначении — начнет братва зубы скалить, наперед всех Олеха Булдаков. "Раз ты политрук,

значит, самый есть сознательный, бери самую большую лопату и самый маленький котелок, в атаку тожа первай. Заражай нас примером! Указуй правильный путь!"

Ох-хо-хо! И когда это я поживу, как человек, без оброти, на самого себя из-за шорохливости характера и долгого языка надетой. Радуясь тому, что сами никуда, ни в какие руководители не угодили, бойцы опрокинулись на брюхо, закурили, тогда как во время собрания чинно сидели кружком. Секретарь партсобрания передал протокол подполковнику. Мартемьянов его аккуратно свернул, засунул в кожаную сумку и тоже сел на услужливо сваленную на бок коробку крашеного улья — пасеку вояки позорили, мед съели, вялые пчелы реденько кружились и жужжали в лесу, щупали своими хоботками листья, траву, солдатские пилотки. Один новоиспеченный партиец испугался пчелы, замахал руками и тут же получил укус в ухо. "На смерть человек собирается идти, а пчелы боится!" — грустно усмехнулся подполковник Мартемьянов. Невоздержанный на язык, старый партиец Финифатьев нехорошо сострил:

— Машите, машите руками-то, так пчела всю нашу партию заест...

Собрание хохотнуло и выжидательно примолкло. Подполковник покачал головой;

— Посерьезней, товарищи, посерьезней. Такое дело предстоит... Хотел бы спросить про адреса.

— Лодка в порядке, — сказал Лешка майору Зарубину. — Остался пустяк — переплыть реку.

— Место выбрал? Где будешь ждать?

— Да, выбрал. Но думаю, не мне, а вам меня придется ждать.

— Добро. Потом на карте покажешь, где. Майор ушел. Мартемьяныч, переждав деловой разговор, пригласил Шестакова.

— Садись или вались, как удобней... — Лешка думал, выговор ему будет за неучастие в собрании, но Мартемьяныч говорил со всеми бойцами по делу, надо, мол, чего домой переслать или помощь какую похлопотать там? Сказывайте. — И тише, как бы себе, молвил: — Когда уж эта война и кончится?.. Ну, отдыхай, живой вернешься, успеешь вступить в наши ряды, — сказал он связисту. — Не буду надоедать больше, — и ушел, обвиснув со спины. "Добрая ты мужицкая душа! — Провожая его взглядом, кручинился Шестаков. — Тысячи чинодралов остаются, ухом даже не ведут, а тебя совесть гложет".

Господа офицеры гуляли. Веселился ротный Яшкин, Талгат, комбат Щусь и его замы — Шапошников и Барышников, две фельдшерички, Неля и Фая, да еще радистки и одна визгливая хохотушка, прибившаяся к пехоте в лесу.

"С нами Бог и тридцать три китайца!" — говаривал когда-то Герка-горный бедняк. И Лешке снова почудилось, что в хоре слышится отчим-гуляка, но было бы слишком уж просто: взять, войти в хату и во фронтовой толчее встретить папулю! "Наваждение это!" — порешил Лешка, поспешая навестить осиповцев.

Леха Булдаков ни с того ни с сего навалился медведем, притиснул гостя к себе и коленом поболтал фляжку на его поясе. Во фляге звучало.

Покликали сибирских стрелков. Сползлись все, даже Коля Рындин явился, распечатал консерву, нарезал хлеба, принес печеных картошек, соль бутылкой на доске растер, перекрестился и выпил, жмурясь, косил глазом; все ли в порядке у него на столе — ящике из-под снарядов. Хорошо посидели ребята, повспоминали, пробовали даже запеть. Гриша Хохлак

настрой на "Ревела буря" давал, но песня не заладилась, да и затребовали скоро Гришу вместе с баяном в распоряжение штаба батальона.

А правый берег все молчал, не шевелился. Комбату не спалось. Солдаты — вольный народ, заботами не обремененный, угрелись под плащ-палатками, шинеленками, телогрейками, дрыхнут себе, сопят в обе дырки; оглашал окрестности храпом Коля Рындин, почему-то последнее время облюбовавший место для спанья под полевой кухней — теплей и безопасней там, что ли?

О том, что и солдаты некоторые не спят, Щусь хоть и догадывался, однако не тревожился особо — выспятся еще. Солдат с редкой и чудной фамилией — Тетеркин, попав в пару с Васконяном на котелок, удивился: "Я ишшо таких охламонов не встречал!" — и с тех пор таскается за Васконяном как Санчо Панса за своим воинствующим рыцарем, моет котелок и ложки, стирает портянки да, открывши рот, слушает своего господина и постичь не может его многоумности. С вечера Тетеркин принес откуда-то сена, застелил его плащ-палаткой, велел лечь Васконяну, укрыл его сверху и сам залез в постельное гнездо, да вскорости и уснул, не обращая внимания ни на звезды, ни на осеннюю ночь, ни о чем не беспокоясь и ни о чем не думая. Спокойное, доброе тепло шло от мирно спящего солдата. Прижимаясь к напарнику, Васконян умиленно радовался тому, что Бог послал ему еще одного доброго человека.

Мирно ворковала в ночи, под звездами небесными, еще одна богоданная пара — Булдаков с Финифатьевым. Леха Булдаков нечаянно затесался в избу к офицерам, нечаянно же там и добавил.

— Де-эд, ты будешь спать или нет? Завтре битва.

— Коли битва, так ковды разговаривать в ей будет...

— Де-эд, ты же в любом месте, в любой ситуации можешь разговаривать двадцать пять часов в сутки, я токо двадцать. Мое время истекло. Уймись, а?

— Какой ты, Олеха, все же маньдюк!.. Уймись, уймись. Тебе б токо пить да дрыхать, а вот у меня предчувствия...

— Де-эд. Я выпил, спать хочу, пожрать, поспать — вот для чего я существую. И ишшо де-эд! Я девок люблю. А где девку взясти? Хотел у офицеров одну увести, да где там, самим не достает. Помнишь, дед, поговорку. "Солдат, девок любишь?" — "Люблю". — "А оне тя?" — "Я их тоже..."

— А хто их, окаянных, не любит?!

— Гэ-э-э!..

— Де-эд, если будешь шарашиться, я придавлю тебя!.. У бар-р бороды не бывает!..

— Господи, спаси и помилуй нас от напасти! — взмолился старый партиец Финифатьев — он боялся дурацкого присловья Булдакова, но еще больше страшился припадка и психопатии, которые следовали за этим. — Хер уж с тобой! Спи! С им, как с человеком...

Свело военной судьбой Финифатьева и Булдакова в воинском эшелоне, когда сибирская дивизия катила к Волге по просторам чудесной родины. Финифатьев в Новосибирск с вологодчины прибыл еще летом, суетясь по партийным делам, изловчился отстать от двух маршевых рот, норовил и от третьей отлынить — не вышло — мели под метелку.

Булдаков, сроду не имевший своего котелка, подсел к Финифатьеву, у которого котелок был, пристал с вопросом:

— Вологодский, что ли?

— Вологодскай. А ты?

— Тоже вологодскай.

— Правда, вологодскай?

— Правда, вологодскай!

— Й-еданой! — ликующе воскликнул Финифатьев. Булдаков тем временем с его котелком подался в кухонный вагон и принес супу. Много супу, но жидкого.

Финифатьев радовался услужливости незнакомца, не зная еще, что было это в первый и в последний раз, чтобы увалень Булдаков по доброй воле и охоте сделал какую-то работу. Украсть — всегда пожалуйста! Но топтаться в очереди, землю копать, тяжести таскать — извините. Хлебая, Булдаков зачастил ложкой, забренчал, засопел, да все норовил со дна, взбаламутить хлебово... "И таскат, и таскат!" — загоревал Финифатьев.

— Ты ежели так лопатой работаш, то боец хоть куды!

— А ты, однако, моим командиром будешь? Вон у тебя два сикеля на вороте!

— Ну, ак шчо, ковды назначат, дак. Я те, маньдюку, покажу политику, ись из одного-то котелка выучу, вести себя дисциплинированно заставлю.

— У бар бороды не бывает. Усы! — заявил боец Булдаков и посмотрел на потолок вагона. Финифатьев тоже посмотрел и ничего на потолке интересного не обнаружил, с досады плюнул, но когда в котелок обратно сунулся, ложка во что-то уперлась в твердое — в котелке сухарей, что камней. — Ешь давай, товарищ командир, укрепляйся, чтоб мной командовать, силы большие требуются.

— Ак шчо — исти — не куль нести, — сказал Финифатьев и вежливо зацепил сухарик, другой. Как пустеть в котелке стало, Булдаков засунул куда-то за спину руку и оттуда добыл еще горсть сухарей. И так до четырех раз.

Крепко поели напарники, Финифатьев уж сам вызвался мыть котелок, но волшебный котелок не пустел — Булдаков сыпанул в него из шапки жареных семечек, закурил. Некурящий Финифатьев пощелкал семечки, раздумчиво молвил, величая партнера о множественном числе:

— Однако, робяты, сухари-те вы где-то сперли?

— Да ты че?! — вытаращил и без того выпуклые глаза Булдаков. Сухари нам генерал Ватутин за победу под Сталинградом выдал! Лично! По мешку на вагон!

Финифатьев поглядел, поглядел на Булдакова и решил, что брехун он и ловкач большой. И не вологодскай он вовсе, даже и не вятскай, мордва скорее всего, либо чуваш — уж больно личность молью побита и глаз нахальнай... Может, и черемис? "Ей-бо, черемис!" — и сказал об этом Булдакову.

— Бурят я, товарищ командир.

— А подь ты знаш куда?! Шаришшы белы навыкат, у бурята же глаз узенькай, черинькай. Че, я не знаю?

— Я английский бурят!

Финифатьева и на самом деле назначили командиром отделения. Булдаков, конечно же, в это отделение и определился. И попил же он кровушки из своего отца-командира! Ежели всю, какую выпил, в одно место слить, то полный солдатский котелок наберется, может, и ведро.

— Это за какие же такие грехи мне такого прохиндея в товаришшы Господь послал? — не раз спрашивал у Булдакова Финифатьев.

— За большие, за большие, товарищ командир. Много ты девок перепортил, догадываюсь я, и с колхозу воровал. Воровал?

— А хто с его не воровал? Колхоз, он за тем и есть, штобы все токо и воровали.

На какой-то станции Финифатьев насобирал в вещмешок деревянных брусков и начал обрабатывать складником древесину в форме мыла. Затея была хитрая: покрыть деревянный брусок сверху пленкой розового мыла, которое Финифатьев раздобыл еще в Новосибирске, и променять на харчи. Об этой хитрости он вызнал от бывалых солдат и вот решился на мошенничество, хотя и представить себе не мог, как он сбудет мыло. Очень боялся Финифатьев этакой откровенной надуваловки, хотя мошенничать, надувать, воровать и жульничать помелкому, как и все советские колхозники, давно навык, иначе не выжить в социалистической системе. За этим-то делом, по запаху, не иначе, застукал вологодского мужика пройдоха Булдаков.

Взявши брусок "мыла", почти что уже готового к реализации, Булдаков повертел его, понюхал и укоризненно молвил:

— Учит вас, дураков, совецка власть, учит уму-разуму и никак не научит. Печатка где?

— Кака печатка?

Булдаков долго пояснял мастеру, что на мыле по ободку завсегда писано, откуда оно произошло, сделано где — допустим, на фабрике имени Клары Цеткин, Леха упорно именовал борчиху за счастье мирового пролетариата Целкиной, отчего целомудренный мужик Финифатьев, имеющий шестерых детей, морщился, но, подавленный всезнаньем Булгакова, не перечил. Тот совсем его доконал, сказавши, что в середке мыльного изделия быть еще и гербу с ленточкой полагается и по ленточке должно быть написано "РСФСР". Задумавший так просто смухлевать и надуть советский народ, Финифатьев приуныл было, но Булдаков завез ему лапой по плечу, да так, что в суставе мастера долго потом ныло, сказал, что он сей момент все организует, сбытом займется сам лично. Уж он-то не продешевит!

Не сразу, не вдруг, но Булдаков отыскал Феликса Боярчика в толпе вагонного народа. Художник тихо и мирно спал на полу, положив под голову свой совсем почти пустой вещмешок. Нары по ту и по другую сторону вагона были сделаны из трех плах, и Боярчик со своим малогабаритным телом, боясь провалиться в щель, предпочел нарам пусть и грязный, избитый, зато устойчивый вагонный пол.

На всем протяжении пути воинского эшелона население его неутомимо промышляло: меняло,

торговало, воровало, мухлевало на продпунктах, норовя пожрать по два раза. Еще едучи по Сибири, неустрашимые воины добыли досок и сколотили настоящие нары, но уж места там Боярчику не полагалось, там царили добытчики, мастера по всякой тяге, картежники, песельники, люди, склонные к ремеслу и искусству.

И вот же интересное дело: три доски, на половину вагона выдаваемые, не могли быть нарами, никак они не соединялись. Ловкий народ или складывал из досок нары в одной половине вагона или начинал делать налеты на лесопилки, встречающиеся на пути, попутно прихватывая все, что плохо лежит. Когда заехали в степные приволжские районы — доски и всякое дерево вовсе уж на вес золота пошли.

Так на протяжении всей войны мудрое тыловое начальство вынуждало людей тащить, жульничать, ловчить.

Боярчик со сна не вдруг уяснил, какое художество от него требуется, уяснив, охотно принялся за дело. Вырезая из деревянных торцов и кубиков, унесенных со встретившейся на пути лесопилки, и из консервных банок штампы — он даже вдохновился и увлекся занимательным делом. Художник же истинный!

Вдруг разгорелся идейный спор: Финифатьев, закаленный партиец, досконально постигший политику партии на практике, предлагал по ободку мыльного бруса выводить не РСФСР, а СССР — солидней! Фабрику означить имени товарища Ленина или лучше Сталина — доверия больше. "Кто у нас знает эту, будь она неладна, Клару?" — Булдаков уперся: нет и нет! Надо писать загадочным "литером" с гост. пост. РСФСР. Раз Клару Целкину писать не хочется, пусть будет фабрика имени Сакко и Ванцетти, и пояснил притихшему умельцу:

— За Сталина, да и за Ленина, коли попадешься, припаяют десять лет дополнительно — не погань святые имена. А за Сакку эту и за Ванцетти — морду набьют, и все дела. Тем более, что они, кажись, обе померли. Перву выручку пустим на приобретение сырья.

— Как это?

— А купишь еще одну печатку духовного мыла.

— Ну и голова у тя, Олеха! — восхитился Финифатьев. — Тебе бы директором быть, производством ворочать, а ты ширмачишь...

— Все еще, дед, впереди, все еще впереди. Как директором меня назначат, я тебя к себе парторгом возьму.

— Ак че, не дрогну — дело привычное. Я в этих парторгах-то с юности, почитай, верчусь.

— И задарма все! А я те знаш, каку зарплату назначу.

— Ты назначишь! Пропьешь и производство, и мундир.

— А ты, парторг, зачем? Ты меня должен воспитывать, должен направлять на правильный путь, подтягивать до уровня.

— В петле! Ох, Олеха, Олеха! Ох бес сибирский! И какая тебя мама родила? Про тебя, видать, сложено: "Меня мамочка рожала — вся деревня набежала..."

— У нас поселок, Покровка... Слобода Весны нынче называется.

— Вся Покровка набежала. Мама плачет и орет: "У ребенка шиш встает!.."

— Известно, он у меня боево-ой! Ты работай, работай. Совсем в парторгах разленился!

— Тьфу на тебя, на саранопала. Ты бы вот с мое поработал!

Стучат колеса. Несется поезд по стране, добродушно переругиваясь, изготавливают продукцию два шулера. Сойдясь в пути на фронт, два этих совершенно разных человека держались друг дружки, были опорой один другому, как Тетеркин с Васконяном и множество других солдат держались парами — парой на войне легче выжить, и ранят тебя если — напарник не бросит.

Финифатьев еще поговорил маленько, получил еще одно заверенье, что Булдаков его на переправе не бросит, поможет ему переплыть на ту сторону. Леха наврал Финифатьеву, что имеет разряд по плаванию, — от Васконяна он это красивое слово услышал и присвоил, заверял, что был даже чемпионом Сибири.

— По карманной тяге чемпион, — впал в сомненье Финифатьев и, уже засыпая, вздохнул: — Вот эть какая-то несчастная жэншина тебе в бабы достанется...

Ночь перевалила за середину, все унялось на земле и в небе. Реже летали самолеты, крупнее сделались звезды, и меж ними как-то потерянно, игрушечно засветилась подковка месяца. Река по зеркалу освинцовела и вроде бы остановилась. Редко и все так же меланхолично взлетали ракеты за рекой, и где-то далеко-далеко время от времени занимался гул, доносило раскаты грома и начинала внутри себя ворочаться земля, отзываясь в сердце тошнотным щемлением, непохожим на боль, но прижимающим дыхание. Там, за рекой, в глубоком тылу, немцы взрывали Великий город. Не веря уже ни в какой оборонительный вал, не надеясь на благополучный исход дела, враг-чужеземец торопился сделать как можно больше вреда чужой стране, принести больше страданий людям, которые никакого ему зла не сделали, пролить как можно больше чужой крови.

Как же надо затуманиться человеческому разуму, как оржаветь живому сердцу, чтобы настроилось оно только на черные, мстительные дела, ведь их же, страшные и темные дела, великие грехи, надо будет потом отмаливать, просить Господа простить за них. В прежние, стародавние времена, после битв, пусть и победных, генералы и солдаты, став на колени, молились, просили Господа простить их за кровопролитие. Или забыт Бог на время, хотя и написано на каждой железной пряжке немца: "С нами Бог", — но пряжка та на брюхе, голова — выше. Там, где гремело, зажглось небо из края в край. Что-то в тот небесный огонь выплескивалось ярче самого огня, порская, рассыпалось горящими ошметьями — геенна огненная пожирала земные потроха.

Майор Зарубин, смолоду страдающий гипотонией, на совещании офицеров напился крепкого чаю. Офицеры курили, гуще всех палил трубку полковник Бескапустин. Майор угорел от табака, уснул с головной болью и вот среди ночи проснулся, полежал не шевелясь, затем поднялся, набросил на плечи телогрейку, отправился на берег реки, заметил недвижно сидящего на камне человека:

— Не помешаю?

— Садитесь.

— Не спится, Алексей Донатович?

— Не спится. Прежде я крепок был на сон.

— Молодость. Беззаботность.

— Да-да. А сейчас у меня порой бывает ощущение, что мне уже сто лет.

— И у меня то же самое.

Замолчали. Глядя на все шире разгорающийся вдали пожар, на реку, которой достигали слабые отблески горящего неба, но была она от этого еще холодней и отчужденней, лишь тень крутого, вражеского берега означалась в воде резче, сам же берег, осадив вниз, под яр всю черную густоту ночи, обрисовался по урезу чернильной каемочкой. В той колдовской темени угадывалось шевеление, какое-то железо время от времени взбрякивало, высекались мелкие синие искры из камней.

— Вам все-таки надо заставить себя хоть немного поспать. Утром, я думаю, немцы начнут бомбить и обстреливать наш берег и в первую голову разнесут хутор, так опрометчиво оставленный. Народ они хотя и подлый, — не отрывая глаз от горящего неба, продолжал Зарубин, — но вояки они расчетливые. Они знают, что днем у нас начнется выдвижение к реке плавсредств огневых позиций, что нам не до наблюдений будет, поэтому надо из хутора всех людей увести в лес, велеть закопаться, а то живут, как на сенокосе, спят под открытым небом. Своих наблюдателей я не снимаю. Пусть остаются.

— Копию схемы наблюдений велите мне прислать. Может пригодиться. Ну, я, пожалуй, пойду. Надобно и в самом деле соснуть.

Зарубин остался на берегу один и видел, как выводил к реке поить лошадей чей-то коновод, должно быть, ночью уже добавилось артиллерии на конной тяге. Видел, как из батальона Щуся огромный солдат наливал в кухню воду, долго ее промывал травяным вехтем внутри, выпустил грязную воду, ведрами прополоскал котлы и, налив воды, поволокся пешком за кухней в ближние кусты.

Где-то совсем близко ударила и сразу смолкла перепелка, обеспокоенно зачифиркали, запересыпали в горле монетки утаившиеся в камнях куропатки. Длинно, противно зевая, с реки подала голос чайка и, призраком паря, закружилась над тем местом, где солдат мыл кухню.

Такая мирная картина, такая добрая ночь на земле, катящаяся на исход. Подумав о том, что там, в Забайкалье, уже давно наступило утро и Наталья, накормив детей, распределила свое отделение по местам, кого в школу, кого в поле с собой взяла картошку копать, кого приструнила, кого приласкала, кому и поддала — всем внимание уделила. Работает сейчас, копается в земле и думает о них, своих мужьях-дураках. Наталья — звереныш чуткий, она почти всегда угадывает какой-то своей, бабьей интуицией или элементом каким, неслышно в ней присутствующим, надвигающуюся на ее мужиков передрягу. В такую пору пишет она одно письмо на двоих, зато длинное и насмешливое. А как тут, на фронте, более или менее терпимо, писать перестает. "Ничего не жрет, когда переживает, — ворчит Пров Федорович, — изведется к чертовой матери из-за нас, оболтусов. Бабы российские по одному мужу сохнут, что былинки, а тут, как в Непале, мужей у бабы... И один другого лучше, и за всех переживай!"

Александр Васильевич нарочно отгонял от себя тревогу и мысли о переправе. Все, что надо сделать, он уже сделал, распоряжения отдал, предвидеть же все на войне невозможно, тем более при переправе через водную преграду, каковой на пути нашей армии еще не было, тем более при нашей-то заботе и подготовке, где изведешься весь, сердце в клочья изорвешь, добиваясь хоть какого-то порядка.

Пусть идет как идет. Их, полевых командиров, смысл существования есть в том, чтобы доглядывать, подсоблять, маленько хотя бы зачищать ошибки и просмотры командования, так вроде бы четко и ладно спланировавшего дерзкую и сложную операцию.

Но там вон, за рекою, тоже засели плановики, опыт наступления и обороны имеющие большой, их задача — не пустить за реку русских, поистребить их и перетопить как можно больше, всего бы лучше — поголовно. Кто кого? Вот простой и вечный вопрос войны, и ответ на него последует скоро. Вон уж посветлело за спиной небо. Из Сибири, из родных мест, от Натальи и детей светлым приветом катит утро, над рекою густеет туман, белой наволочью ползет к берегам, успокаивая реку тихим дыханием, бестелесной плотью соединяя берега, которые задумывались Создателем для единого земного мира, но не для враждебного разъединения.

Туман держался до высокого солнца, помогая армии, изготовившейся к броску, в последнем приготовлении, продляя покой и жизнь людей на целых почти полдня. Но как только посветлело на земле, в небо мошкой высыпали самолеты и с грозным гулом покатились к реке, забабахали зенитки, зачастили установки "дай-дай!", понеслись в небо пулеметные струи. Небо сплошь покрылось пятнами взрывов. Навстречу воздушным армадам выскочил взводик истребителей со звездами, следом второй, третий, поднялась в небе карусель, истребителей отнесло в сторону, бомбардировщики начали опорожняться на берег, треск камней, огонь и дым взрывов, грохот зениток, удары минометов и орудий, все смешалось в общее месиво, в земной хаос и ужас — бой начался. Нырнув к наблюдателям в ячейку, майор Зарубин припал к стереотрубе и начал округлять, закольцовывать красным карандашом огневые точки противника. Взвод разведки завязал бой на противоположном берегу. Огонь взвода жидок, долго ему не продержаться. Полковник Бескапустин махнул капитану Щусю рукой — роту лейтенанта Яшкина на переправу. Командир второго полка Сыроватко бросил через реку роту под командой Шершенева. Взвод разведки, начав переправу раньше времени, спровоцировал начало операции, нарушил ее план и ход. А раз так, раз зарвались — хоть зубами держите полоску правого берега, укрепляйтесь на нем. В восемнадцать ноль-ноль начнется артподготовка и через полтора часа — переправа главных сил — такой приказ поступил из штаба корпуса в дивизию, из дивизии в полки.

Видя, как плотнеет огонь над рекою, как щипает взрывами берег, остров и все, что есть по эту сторону реки, как сама вода кипит и подбрасывает вверх, мутная, грязная, вытряхивающая из водяного султана каменья, щепье, лохмотья, ошметки, разом подумали оба командира полка: пропал взвод, пропадут роты без поддержки, и поддержать их пока невозможно...

Но именно в эти лихие минуты из-за леса, из-за тополей, почти над самыми головами прошли эскадрильи штурмовиков. Летаки уже с реки звезданули из ракетных установок по вражескому берегу, насорили на оборону противника крупных "картошин" — и все это кипящее варево присолили из автоматических пушек и крупнокалиберных пулеметов...

Правый берег, затем и левый начало затягивать копотью, дымом и пылью.

Отработавшие звенья штурмовиков сменили в небе другие эскадрильи. В небе шел непрерывный воздушный бой истребителей, падали самолеты то за рекой, то в реку. Один подбитый "лавочкин" дотянул до нашего берега, упал как-то совсем уж неладно, в районе ротной кухни. Летчик не успел раскрыть парашют и растянул свои кишки по обрубышам и обломышам изувеченного бомбежкой дерева.

Коля Рындин снял с сучьев останки убиенного.

Обедом бойцов кормили под грохот и вой снарядов. Коля Рындин и сам пообедал плотно, впрок,

сдал кухонное хозяйство совсем изварлыжившемуся повару и отправился к своим товарищам. Командир батальона собирал в кучу людей, умеющих плавать.

Тем временем из дыма, уже высоко клубящегося над берегами, высыпались условные ракеты — стрелковые роты, пользуясь внезапностью, достигли правого берега, но сколько и чего осталось от первых двух рот и взвода разведки — никто не знал.

Переправа

В тот вечер солнце было заключено в какую-то медную, плохо начищенную посудину, похожую на таз. И в тазу том солнце стесненно плавилось, вспухая шапкой морошкового варенья, переваливалось через края посудины, на закате светило, зависало над рекой, и, угасая, усмиряясь, кипя уже в себе, не расплескивало огонь, словно бы взгрустнуло, глядя на взбесившиеся берега реки. Двуногая козявка, меча огонь молний, доказывала, что она великая и может повелевать всем, хотя и вопит со страху: "И звезды ею сокрушатся, и солнцы ею потушатся". Но пока "солнцы потушатся", да "звезды сокрушатся", исчадие это Божье скорее всего само себя изведет.

Быстро-быстро, вроде как раздосадованно, солнце скатилось за горбину высоты Сто и скрылось в дымом передернутой дали.

Подтянувшиеся к самому берегу подразделения, назначенные на переправу, сосредоточенно сидели и лежали в кустарниках, притаились за грудами каменьев, собранных по полям и на закраинах огородов, проросших крапивой, отличником, диким терном, мальвами, ярко радующимися самим себе там, где их не достало огнем, не секло пулями.

За грядкой камней, серой и зеленой плесенью обляпанных, надвинув комсоставскую суконную пилотку на один глаз, возлежал командир роты Оськин — Герка-горный бедняк и, расплевывая семечки из подсолнуха, наставлял окружающее его воинство.

— Значит, главное — вперед. Вперед и вперед. За спину товарищей под берегом не спрятаться, ходу назад нету. Видел я тут заградотрядик с новыми крупнокалиберными пулеметами. У нас их еще и в помине нету, а им уже выдали — у них работа поважнее. И выходит, что спереду у нас вода, сзаду беда. Средь нас много народу млекопитающего. Поясню, чтоб не обижались, — млеком питавшихся, но воды, да еще холодной, не хлебавших. Ворон ртом не ловить. Пулю ротом поймаешь, глотай, пока горяча, которая верткая, через жопу выйдет… Х-ха-ха-хаl — закатился сам собою довольный Герка-горный бедняк. — Ясно? Ничего вам не ясно. Делать все следом за мной. Ну, а… — Герка-горный бедняк почесал соломинкой переносье, бросил ее, пошарил в затылке. Я тоже не заговоренный. Тюкнет меня, все одно вперед и вперед…

И началось!

Как повелось на нашем фронте, поодаль от берега, над останками порубленного, изъезженного, смятого леса, над частью скошенными, но больше погубленными полями и нивами зашипело, заскрипело, заклубилось, взбухло седое облако — будто множество паровозов сразу продули котлы, продули на ходу, мчась по кругу, скрежеща железом о железо, подбито, повреждение швыркая, швыркая, швыркая горячее; казалось, сейчас вот, сию минуту с оси сойдет или уже сошла земля.

В небо взметнулись и понеслись за реку, тоже швыркая и горячо шипя хвостатым огнем, ракеты. И тут же, вослед им, радостно затявкали прыгучие, искры сорящие, аисовские малокалиберные орудия, бухая россыпью, вроде бы нехотя, как бы спросонья и по обязанности,

прокатили гром по берегу гаубицы ста двадцати двух и ста пятидесяти двух миллиметров. Сдваивая, когда и страивая, многими стволами вели они мощную работу, харкнув пламенем, припоздало оглаживая местность, одиноко и невпопад хлопало вдогонку замешкавшееся орудие или миномет. Но главные артсилы били отлаженно, работала могучая огневая система. Скоро закрыло и левый берег черно взбухшими, клубящимися дымами, в которых удаленно, словно в топках, беспрестанно подживляемых топливом, вспыхивало пламя, озаряя на мгновение вроде бы из картона вырезанное побережье, отдельные на нем деревья, мечущихся, пляшущих в огне и дыму чертей на двух лапах.

И как только оплеснуло огнями разрывов мин и снарядов, шарахнуло бомбами по правой стороне реки, комбат Щусь и командиры рот погнали в воду людей, которые почти на плечах сволокли в реку неуклюжий дощатый баркас, густо просмоленный вонючей смесью. Баркас был полон оружия, боеприпасов, сверх которых бойцы набросали обувь, портянки, сумки и подсумки. — "Вперед! Вперед!" — отчего-то сразу севшим, натужно-хриплым голосом позвал комбат, и, подвывая ему, подухивая, почти истерично тенорил под берегом Оськин, что-то гортанное выкрикивал Талгат, и, сами себе помогая, успокаивая себя и товарищей, бойцы, младшие командиры поддавали пару:

— Вперед! Вперед! Только вперед! Быстрее! Быстрее! На остров! На остров!..

Сотни раз уж было сказано: куда, кому, с кем, как плыть, но все это знание спуталось, смешалось, забылось, как только заговорили, ударили пушки и пулеметы. Оказавшись в воде, люди ахнули, ожженно забулькались, где и взвизгнули, хватаясь за баркас.

— Нельзя-а! Нельзя-а-а! — били по рукам, по головам, куда попало, били гребцы веслами, командиры ручками пистолетов. — Опрокинете! В Бога душу мать! Вперед! Вперe-од!..

— Тону-у-у, тону-у-у! — послышался первый страшный вопль — и по всей ночной реке, до самого неба вознеслись крики о помощи, и одно пронзительное слово: — Ма-а-ама-а-а-а! — закружилось над рекой.

Оставшиеся в хуторе на левом берегу бойцы, слыша смертные крики с реки, потаенно благодарили судьбу и Бога за то, что они не там, не в воде. А по реке, вытаращив глаза, сплевывая воду, метался комбат Щусь, кого-то хватал, тащил к острову, бросал на твердое, кого-то отталкивал, кого-то, берущего его в клещи руками, оглушал пистолетом и, себя уже не слыша, не помня, не понимая, вопил: "р-рре-от, ре-о-от!"

Они достигли заречного острова. Щусь упал за камень, перекаленно порскающий пылью от ударов пуль, и, приходя в себя, услышал, увидел: вся земля вокруг вздыблена, вся черно кипит. Почувствовав совсем близко надсаженное дыхание, движение, Щусь выбросил себя из-за камня, побежал по отмели, разбрызгивая воду, хрипя, валясь в воду; штаны, белье, гимнастерка оклеили тело, вязали движения — люди волокли баркас. "Немного, еще немного — и мы в протоке. Мы под яром!" — настойчиво стучало у комбата в голове, и он, оскалясь, сорванно кричал, грудью налегая на скользкую тушу суденышка:

— Еще! Еще! Еще! Навались! Навались, ребятушки! Эй, кто там живой? Ко мне! Кому говорю?!

Они обогнули вынос заречного острова, они сделали немыслимое: заволокли баркас в протоку, по спокойной воде баркас и к берегу, в укрытие затащили бы, но протока была поднята в воздух, разбрызгана, разлита, взрывы рвали ее дно и как бы на вдохе всасывало жидкую грязь и воду, подбрасывая вверх, во тьму вместе с вертящимися каменьями, комьями земли, остатками кореньев, белой рыбы, в клочья разорванных людей. Продырявленный черный подол

ночи вздымался, вздыхал вверх, купол воды, отделившийся ото дна, обнажал жуткую бесстыдную наготу протоки, пятнисто-желтую, с серыми лоскутьями донных отложений. Из крошева дресвы, из шевелящейся слизи торчал когтистой лапой корень, вытекал фиолетовый зрак, к которому прилипла толстой ресницей трава. Из травы, из грязи, безголовая, безглазая белым привидением ползла, вилась червь, не иначе, как из самой преисподней возникшая. Состояла она из сплошного хвоста, из склизкой кожи, увязнув, валяясь в грязи, тварь хлопалась по вязкому месту, никак и никуда не могла уползти, маялась в злом бессилии.

Большинство барахтающихся в воде и на отмели людей с детства ведали, что на дне всякой российской реки живет водяной. Поскольку никто и никогда в глаза его не видел, веками собиралось, создавалось народным воображением чудище, век от веку становилось все страшнее, причудливей: множество глаз, лап, когтей, дыр, ушей и носов, и уж одно только то, что оно там, на дне присутствует, всегда готово схватить тебя за ноги, увлечь в темную глыбь, — обращало российского человека, особенно малого, в трепет и смятение. Надо было приспосабливаться жить с рекою, с чудищем, в ней таящимся, лучше всего делать вид, что ничего ты про страшный секрет природы не знаешь, — так не замечают жители азиатских кишлаков поселившуюся возле дома, а то и в самом доме, в глинобитной стене, — ядовитую змею, и она тоже никого "не замечает", живет, плодится, ловит мышей. И если б оно, то, деревенское, привычное водяное чудище объявилось сейчас со дна реки, как бы по-домашнему почувствовали себя бойцы. Но дно реки, душа ее, будто тело больной, умирающей матери, обнажено, беззащитно. И тварь со дна ползет, биясь хвостом, неслыханная, невиданная, души и глаз не имеющая. Да уж не приняла ли, наконец, сама война зрячий образ? Черная пустота, на мгновение озаряемая вспышками взрывов, и в ней извивающаяся, на человека неумолимо наползающая тварь?! Там, под водой, бездна — она поглотит, да уже и поглотила все вещее, даже самое реку с ее поднятой и унесенной куда-то водой, и берега обратило в прах, и смело в бесприютные пространства веса не имеющую человеческую душу, тоже обнажившуюся, унесло ее горелым листом в холодом дымящую дыру, из которой все явственней, все дальше выползает грязная тварь, состоящая из желтой жижи, покрытая красной пеной — да-да, конечно, это вот и есть лик войны, бездушная сущность ее.

С баркаса подхватили кто что мог, ринулись прочь, за командирами, уже где-то впереди, за водою, кричащими: "За мной! За мной-ой!" — пытаясь угадать по голосу своего ведущего. Мокрая одежда мешала бежать, бойцы, на берегу отжимаясь, падали, щупали себя: здесь ли он, боец, с собой ли его тело? Огонь свалился на баркас, вокруг которого в воде барахтались раненые, грязью замывало, заиливало живых и убитых. Немцы пытались зажечь баркас пулями и ракетами, чтобы высветить протоку, видеть, куда углубляются перемахнувшие через реку части русских. Но те были уже в оврагах. Уведя в ответвление оврага батальон, Щусь велел всем отдохнуть, обуться, зарядить диски, проверить гранаты, у кого они сохранились, вставить в них капсюли. Из ночи разрозненно и группами набегали и набегали бойцы, валились на сухую хвою редко по склону оврага растущих сосенок, на твердые глыбы глины, вжимались в трещины, втискивались в землю, которая после темной реки, после глубокой воды казалась такой родной, такой желанной.

Нашаривая наступающие части, немцы торопливо и сплошно сеяли ракеты. Ниже острова, по берегу реки разрастался бой. Где-то там погибали или уже погибли роты Яшкина и Шершенева.

— Ничего, хлопцы, ничего! — бодрясь, сказал комбат. — Главное — переправились, теперь вверх по оврагу, противотанковый ров не переходить — по нему сейчас работает наша артиллерия. Командиры взводов, отделений, кто еще жив, держаться ближе ко мне. Никому не отставать. Теперь главное — не отставать...

Карабкаясь вверх, падая с крутых осыпей и скатов оврагов, бойцы батальона капитана Щуся лезли и лезли куда-то в ночь, в гору, а внизу, по берегу, принимая весь удар на себя, сражался полк Сыроватко.

Почти все понтоны с бойцами, батальонными минометами и сорокапятками были на воде разбиты и утоплены, однако чудом каким-то, не иначе, словно по воздуху, некоторым подразделениям удалось добраться до берега, уцепиться за него и вслед за разрывами снарядов и мин продвинуться вперед, минуя осыпистый яр. Разноцветье ракет, взлетающих в небо, означало, что части полка Сыроватко в самом центре плацдарма закрепились, прикрывают соединения, переправляющиеся следом.

И, поняв это, Щусь вызвал к себе командира взвода Павлухина, приказал ему с десятком бойцов спуститься обратно на берег, беря под свою команду по пути встречающихся бойцов, попробовать найти роту Яшкина и самого ротного, если жив. Вести людей этим глубоким оврагом, по которому будут расставлены посты с паролем "Ветка", ответом будет "Корень".

— Все! Пока фриц не очухался, действуйте! На берегу не застревать, в бой не ввязываться. У нас иная задача.

Мимо разобранной риги к урезу реки катили валами люди, волоча набитые сеном и соломой палатки, самодельные тяжелые плотики. Среди сосредотачивающихся для переправы выделялись бойцы в комсоставских гимнастерках, в яловых сапогах. Лешке опять показалось, что он видел среди них Феликса Боярчика. Сходить в штрафную недосуг, да и не пустят небось к ним, к этим отверженным людям, да и лодку, спрятанную под ворохами соломы, оставлять без догляду нельзя — моментом урвут, на руках унесут, как любимую женщину. Приходил опять усатый офицер из какого-то важного подразделения, бумагой тряс, требовал, грозил. Лешка с помощью майора Зарубина еле от него отбился.

В ту пору, когда батальон Щуся уже совершил переправу и, подняв с берега, как потом оказалось половину состава боевой группы, углубился в овраги правого берега, Лешка при белом, дрожащем свете спущенных с самолета фонарей украдкой перекрестился на озаренные собственным огнем игрушечные рамки гвардейских минометов, выстроенных за старицей. В серебристо вспыхнувшем кустарнике, который, дохнув, разом приподнялся над землей и упал, тлея в светящихся кучах листа, сорванного ольховника, вороха листьев кружило, подбрасывало над землей, осаживало на батарею и сажей, клубом огня катило в поля, в прибрежные порубленные леса — занимался всесветный пожар, и никто его не тушил. "Всех карасей поглушат!" — как всегда не к месту, нелепая мелькнула мысль и, как всегда, она родила в нем какие-то посторонние желания; "Вот бы бабушку Соломенчиху сюда!"

Когда по берегу рокотно прокатились залпы орудий, с другого берега донесло ответные толчки взрывов, земля вместе с дубками, со старицей, за которой потухли "катюши", начала качаться и скрипеть, будто на подвесных ржавых канатах.

— Ничего, ничего, товарищ Прахов! — перевозбужденно закричал Лешка, — живы будем — хрен помрем! — кричал громко, фальцетом, сам себя не слыша.

Сема Прахов, поняв это, испугался еще больше и, впрягшись в широкую лямку из обмотки, тащил тяжелое корыто и, тоже, не слыша себя, твердил:

— Скорея, миленькия, скорея!..

Лодку спрятали у самой воды, в обгрызанном козами или ободранном и перебитом пулями, летошнем тальнике, заранее подсмотренном Лешкой. Залегли, отдышались. Прикрывая полою

телогрейки фонарик, Лешка погрузил в нос лодки противогазную сумку с десятком гранат и запасными дисками для автомата, туда же сунул мятую алюминиевую баклажку с водкой, рюкзачок с харчишками, долго пристраивал планшет и буссоль. Пристроил, прикрыл военное добро снятой с себя телогрейкой. Глядя на набросанные бухтиной на дно челна провода с грузилами, подумал, подумал и разулся. Еще подумал и расстегнул ремень на штанах, но сами штаны не снял. Эти приготовления вовсе растревожили Сему Прахова:

— Скорея, миленькия, скорея! — почти бессознательно твердил он.

Лешка решительно поставил запасную катушку с проводом на середину корыта и прислонил к ней заботливо завернутый в холщовый мешок да в старую шинельку телефонный аппарат с заранее к нему привязанным заземлителем. Сема Прахов соединил Лешкин провод с катушкой, которая оставалась на берегу.

— Я сделал все. Проверь. Можно уж... — Сема Прахов устал ждать, извелся. Лешка ничего не проверял, он присел на нос лодки и зорко следил за тем, как идет переправа, — ему в пекло нельзя. Ему надо туда, где потемней, где потише — корыто-то по бурному водоему плавать неспособно, по реке же, растревоженно мечущейся от взрывов и пуль, посудине этой и вовсе плавать не назначено. Ей в заглушье старицы полагалось существовать, в кислой, неподвижно-парной воде плавать.

Стрелковые части, начавшие переправу сразу же, как только открылась артподготовка, получили некоторое преимущество — немцы уже привыкли к тому, что, начав валить по ним изо всех орудий, русские молотить будут уж никак не меньше часа, и когда спохватились, передовые отряды, форсирующие реку, достигли правобережного острова.

И если бы...

Если бы тут были части, хорошо подготовленные к переправе, умеющие плавать, снабженные хоть какими-то плавсредствами, они бы не только острова, но и берега достигли в боевом виде и сразу же ринулись бы через протоку на берег. Но на заречный остров попали люди, уже нахлебавшиеся воды, почти сплошь утопившие оружие и боеприпасы, умеющие плавать выдержали схватку в воде пострашнее самого боя с теми, кто не умел плавать и хватался за все и за всех. Достигнув хоть какой-то суши, опоры под ногами, пережившие панику люди вцепились в землю и не могли их с места сдвинуть никакие слова, никакая сила. Над берегом звенел командирский мат, на острове горели кусты, загодя облитые с самолетов горючей смесью, мечущихся в пламени людей расстреливали из пулеметов, глушили минами, река все густела и густела от черной каши из людей, все яростней хлестали орудия, глуша немцев, не давая им поднять головы. Но противник был хорошо закопан и укрыт, кроме того, уже через какие-то минуты в небе появились ночные бомбардировщики, развесили фонари над рекой, начали свою смертоубийственную работу — они сбрасывали бомбы, и в свете ракет река поднималась ломкими султанами, оседала с хлестким шумом, с далеко шлепающимися в реку камнями, осколками, ошметками тряпок и мяса.

В небе тут же появились советские самолеты, начали роиться вверху, кроить небо вдоль и поперек очередями трассирующих пуль. На берег бухнулся большим пламенем объятый самолет. Фонари на парашютах, будто перезревшие нарывы, оплывающие желтым огнем, сгорали и зажигались, сгорали и зажигались. Бесконечно зажигались, бесконечно светились, бесконечно обнажали реку и все, что по ней плавало, носилось, билось, ревело.

"Ой, однако, не переплыть мне...", — слушая разгорающийся бой на правом берегу, думал Лешка, полагая, что батальон Щуся, кореши родные, проскочили остров еще до того, как он

загорелся, до того, как самолеты развесили фонари, — во всяком разе он истово желал этого, желал их найти, встретить на другом берегу, хотя и понимал, что встретит не всех, далеко не всех.

И все-таки не самолеты были в этой битве главным решающим оружием, и даже не минометы, с хряском ломающие и подбрасывающие тальники на островах и на берегу. Самым страшным оказались пулеметы, легкие в переноске, скорострельные эмкашки с лентой в пятьсот патронов. Они все заранее пристреляны и теперь, будто из узких горлышек брандспойтов, поливали берег, остров, реку, в которой кишело месиво из людей. Старые и молодые, сознательные и несознательные, добровольцы и военкоматами мобилизованные, штрафники и гвардейцы, русские и нерусские — все они кричали одни и те же слова: "Мама! Божечка! Боже!" и "Караул!", "Помогите!.." А пулеметы секли их и секли, поливали разноцветными смертельными струйками. Хватаясь друг за друга, раненые и нетронутые пулями люди связками уходили под воду, река бугрилась, пузырясь, содрогалась от человеческих судорог, пенилась красными бурунами.

"Ждать нечего. Надо плыть, иначе тут с ума сойдешь..." — решил Лешка, понимая, что чем он больше медлит, тем меньше у него остается возможностей достигнуть другого берега.

Внезапно пришло в голову, что именно в эту пору, там, во глубине России, по таежным, степным и затерявшимся среди стылых, где и снежных полей, деревушек, в хмурых, трудно и сурово бытующих городах и городках, как раз садятся за стол — ужинать, чем Бог послал, и в этот вечерний час, блаженный час, после трудового, серого, предзимнего дня там, во глубине тяжко притихшей русской земли, непременно вспомнят детей своих, мужьев, братьев, попытаются представить их в далеком месте под названием фронт, может быть в этот час выдерживающих бой. Но как бы люди русские ни напрягали свое воображение, какие бы вещие сны ни посетили их, ни в каком, даже самом страшном, бредовом сне не увидеть им того, что происходит сейчас вот на этом, в пределах земных мизерном клочочке земли. Никакая фантазия, никакая книга, никакая кинолента, никакое полотно не передадут того ужаса, какой испытывают брошенные в реку, под огонь, в смерч, в дым, в смрад, в гибельное безумие, по сравнению с которым библейская геенна огненная выглядит детской сказкой со сказочной жутью, от которой можно закрыться тулупом, залезть за печную трубу, зажмуриться, зажать уши.

Боженька, милый, за что, почему Ты выбрал этих людей и бросил их сюда, в огненно кипящее земное пекло, ими же сотворенное? Зачем Ты отворотил от них Лик Свой и оставил сатане на растерзание? Неужели вина всего человечества пала на головы этих несчастных, чужой волей гонимых на гибель?

— Ну, поглядели кино и будет, — нарочно громко и нарочно сердито прокричал Лешка, подавая руку Семе Прахову, удивив этим напарника, который был робок, но догадлив: Лешка хоть этаким манером хочет отдалить роковые минуты. Сема и то понимал, что обезумевшие, потерявшие ориентировку в холодной реке, в темноте ночи бойцы передовых подразделений вот-вот начнут выбрасываться на этот берег и их, чего доброго, как изменников и трусов, секанут заградотрядчики, затаившиеся по прибрежным кустам и за камнями.

— Гляди за катушкой, Сема! Кончится провод — конец не отпусти. Отпустишь — конец тебе, да и мне тоже. Впрочем, мне-то... махнул он рукой и бросился к лодке, налег на нее, сталкивая в воду.

— Я его камешком придавлю, — дребезжал угодливым голосом Сема Прахов. — Ка-а-амешком! Дай Бог! Дай Бог!..

Сема был боязлив и малосилен, старался жизнь свою спасти на войне усердием да угодничеством, но уже понял, должно быть, и он, что всего этого слишком мало, далеким уже, окуклившимся в немощном нутре зародышем чувствовал — не выжить ему на войне, но все же тянул, тянул день за днем, месяц за месяцем тонкую ниточку своей жизни.

Будто на осенней муксуньей путине, выметывая плавную мережку, Лешка неторопливо начал сплывать по течению за освещенную ракетами зону реки, слыша, как осторожно, без стука и бряка стравливается провод из короедом поскыркивающей катушки. Сема Прахов совершенно искренне — нету же искренней молитвы, чем в огне да на воде, — дребезжал:

— Спасай Бог, Алеша! Спасай Бог!

Мокрый голос связиста, лепет его уже не слышен, скоро и провод, пропускаемый Семой через горсть, перестанет волочиться по воде, пружинисто взлетать. Грудью упавший на катушку, стравливающий провод, словно худенькую нитку с веретена, Сема ликовал в душе — не было на проводе комковатых сростков, голых узелков — провод для прокладки под водой подбирался трофейный, самый новый, самый-самый. Мотнувши барабан на катушке в последний раз, красная жила напряженно натянулась, потащила из-под Семы Прахова катушку. Схватившись за нее обеими руками, слизывая слезы с губ, связист обреченно уронил:

— Все! — и зачастил по-бабьи, в голос: — Лети, проводок, на тот бережок! — слезы отчего-то катились и катились по его лицу. Боясь упустить живую нить, соединяющую его все еще с напарником, ушедшим страдать, терпеть страх, может, и умереть — чего не скажешь тут, как не повинишься — ничего-ничего не жалко, никаких слов и слез не стыдно. В шарахающейся темноте, которой страшнее, как думалось и казалось Семе Прахову с "безопасного берега", ничего на свете не было и не будет никогда, он улавливал жизнь, движение на реке, шевеление провода. "Господи!" — оборвалось сердце в Семе аж до самого живота, когда катушка дернулась и провод замер. Он представил, как неловко напарнику его выпутывать провода из бухтины, краснеющей на дне лодки, и одновременно управляя неуклюжим этим полузатопленным челном. Перебирал и перебирал ногами Сема Прахов, готовый бежать, помочь напарнику. Да куда побежишь-то — вода, темная река перед ним, распоротая и подожженная из конца в конец. Сема аж взвизгнул, когда жилка на его катушке дернулась и снова натянулась.

"Подсоединился! Подсоединился!"

По камешнику кровавой жилкой бился, шуршал галькой провод, вместивший в себя все напряжение человеческое, будто напрямую к Семе был прикреплен конец того провода. — Гребе-от, миленький, гребе-о-от! Живо-оой! — пуще прежнего запел, зарыдал Сема Прахов. — Живо-ой! Лешенька-а-а-а!

Выбившись из полосы могильного света, спрятавшись во тьму, Лешка перестал осторожничать, сильными толчками гнал лодку к другому берегу. Смоченные лопашни почти не скрипели, весла мягко падали в воду. Через колено перекинутый провод послушно тащил грузила, и они, падая за борт, брызгались. Слизывая с губ холодные брызги, Лешка задышливо ахал, выбрасывая из себя горячий ноздух. Да если бы даже он кричал, а он кричал, завывал время от времени, но не слышал себя, и если бы навесы стукались, как барабан на молотилке в Осипово, — никто бы ничего не слышал — такой грохот и вой носился над подою.

С вражеской стороны, с колоколенки деревенской церковки упали на воду два синих прожекторных луча, запорошенных огненной пылью.

"Этого только не хватало!" — ахнул Лешка. В свете их он заполошенно заматерился, припадочно замахал веслами по воде.

На островке лучи скрестились, шарили по нему. В высвеченное место ударили пулеметы, перенесли весь огонь туда пушки и минометы, грязь в протоке, горелый прах на острове подняло в воздух, но чужой берег уже не дышал повальным огнем, не озарялся сплошной цепью пулеметов, которые сперва казались огненным канатом, протянутым вдоль берега, не понять было: то огонь непрерывный идет или уж сам берег в пулеметы превратился. За рамой, за передовыми позициями немцев, будто с воза дрова, вываливали бомбы ночные самолеты. На секунду сделалась видна сползающая набок головка церкви, оба прожектора мгновенно потухли.

— А-а-а-а-а! — завыл, заликовал одинокий Лешкин голос на темной реке. — Не гля-а-анется-а! Не глянется, курва такая! А-а-а-а! — орать-то он, связист, орал, но и о работе не забывал.

Вырвал вместе с гвоздем груз, застревающий в гнилом шпангоуте, долетели брызги, и снова не к месту мимолетом подумалось: "Будто перемет на Оби выметываю"... — и тут же уронил весло, потому что лодка начала крениться, за бортом послышалось бульканье, хрипы. И хотя Лешка все время настороженно ждал и боялся этого, в башке все равно все перевернулось: "Ну, пропал! Все пропало..."

Не давая себе ни секунды на размышления, он выхватил из уключины весло и вслепую, на хрип и бульканье ударил раз, другой — содрогнулся, услышав короткий вскрик, мягкое шевеление под лодкой, вяло стукнувшись о дно лодки, какой-то горемыка навечно ушел вглубь.

"Наши это... Наших несет... Быстрей, быстрей!.." Он по шуму и ходу лодки почувствовал — прошел стрежень реки, течение ослабело. Он выбрасывал за борт провод с последними подвесками: надо подсоединять новую катушку, она вмещает пятьсот метров провода, лодку почти не сносит, провода должно хватить с избытком.

Он отбивался веслом от утопающих, наседающих на лодку. Народу гуще, грохоту и шуму гуще — верный это признак: берег близко. Он изловчился черпануть ладошкой за бортом и донести до рта глоток обжигающей воды. Провод струился, утекал за борт, человек работал лопашнями, закидываясь назад, работал так, что старые, из осины тесаные весла прогибались на шейках.

"А-а, гробина! — стонал Лешка. — А-а, корыто! Его только вместо гроба... Нашу бы, обскую сюда расшивочку-у-у..."

— У-у-у-у-у! У-у-у-у-у! — вырывался вопль. Сил в нем никаких уже и нет, один крик остался. Обжигая колено, цепляясь за штаны ерошенными узлами, ползет провод через борт, ложится на дно реки. Жила эта соединит берег с берегом, человека с человеком, стало быть, и с жизнью соединит, с людьми, с Семой Праховым, милым, добрым парнем. Помстилось, что тот, которого он оглушил веслом и отправил на дно, Сема Прахов. Почему-то все беспомощное, беззащитное облекалось в облик напарника. — У-у-у-у-у-у, у-у-у-у-у-ууу! — мотая головой и всем телом мотаясь, выл Лешка, на ругательства сил уже не хватало. Из воды вздымал весла не Лешка, не связист Шестаков, весла взлетали и падали сами, вразнобой, будто бы работал ими пьяный или сонный человек. — У-у-у-у... Сейчас главное — не ошалеть от страха и одиночества. На Дону, на притоке ли — сейчас не упомнить, — он чуть не утонул в мелком ерике оттого, что испугался. И кого? Ужей! Он когда сунулся в ежевичник, то увидел их целый свиток. Впереди Лешки прокатили пушку, переехали клубок змей — черные твари, извиваясь, разевали безгласные малиновые рты и кипели черным варом, распускаясь отертыми, бледными, чем-то набитыми

брюхами. Они, те гады, долго потом снились Лешке. Хорошо вот на севере родился, где никаких тварей не водится, комар да мошка — и все тебе паразиты, ну иной раз слепень прилипнет к телу, к мокрому, да куснет, либо паут закружится над головой, загудит истребителем, упреждая, что в атаку идти собирается.

Лешка хитрил, заставляя себя думать о чем-нибудь постороннем и в то же время, вытянувшись до последней жилочки, напрягал слух: не завозится ли кто за бортом? Когда-то кончилась, иссякла бухта провода с подвесками, когда-то успел он, хлюпаясь в мокре, подсоединить конец бухты к последней катушке и по тому, как убыстрялось вращение на катушке, понимал: провода на ней осталось немного. Хватит ли до берега? Где вот он, берег-то?

За правобережной деревушкой, выхватывая кипы дерев, начали бить зенитки. Небо там озарилось ракетами, всполохи по нему заходили. "Неужели наши? — подумал Лешка, — нет, не наши, далеко. Может, партизаны помогли. Погибнем все мы тут... — и никогда всерьез не принимавший партизан, пленных и прочую братию, якобы так героически сражающихся в тылу врага, что остальной армии остается лишь с песнями двигаться на запад, потери противника да трофеи подсчитывать, тут взмолился бывалый фронтовой связист: — Хоть бы партизаны..."

— Спасите! — послышалось совсем близко, кто-то хватался за весло, за лодку, плюхался, возился подле челна. Лешка тормознул веслами, и через мгновение до него донеслось: — Аси-и-ите-э-э-э!

Огонь на правом берегу распался на звенья, на узелки, на отдельные точки. Звуки боя разносило на стороны. Послышались очереди автоматов, хлопанье винтовок, аханье гранат, дудуканье немецких пулеметов из уверенного перешло в беспорядочное. Ракеты, не успевая разгораться, заполосовали над яром, который казался то далеко, то совсем рядом. "Добрались! Батюшки! Какие-то отчаюги уже добрались!"

— Скорее! Скорее! — ярился одинокий пловец и чувствовал, как от натуги выдавливает глаза из глазниц, швом сварки режет разбухшее сердце, гулко бьется кровь уже в заушинах. Сделалось мелко. Лешка не греб, уже толкался веслом, между делом бил веслом направо и налево. Слышались вопли, раздался вроде бы даже выстрел и чей-то пропащий крик:

— Лимонку бы!

"Да я же... Да пропади оно, корыто это! Ради наших же..."

Но чувство мерзопакостности, оно ж, как грузило на проводе, гнетет, вниз тащит, давит глубиной бездонной память и гнет — это на всю жизнь, — догадывался Лешка.

Катушки едва-едва хватило до суши! Все-таки далеко снесло связиста, пока он отбивался от тонущих людей. Когда лодка шоркнулась о дно и стала, он полежал в мокре, дышал, слушал с уже опустошенной облегченностью, как умиротворенно скрежещет опроставшаяся катушка, придержал ее ногой и только тут обнаружил, что плавает в корыте, точно склизкий пудовый налим, без икры правда и без потрохов — все вместе с проводом выметено в реку, все выработалось, все вымыто из него, всякие органы опустошились, лишь тошнотная густота судорожила тело, гулко, будто в пустой бочке, плескалась, искала выходу мокрота.

"Все-таки выдержала старуха! Выдержала!" — Лешка гладил мокрое дерево борта, старое, прелое дерево мягким ворсом липло к пальцам, к смозоленной ладони.

Отдышавшись, Лешка шагнул за борт. Ноги стиснуло, за голенища сапог полилась вода.

Купальный-то сезон давно прошел. Подтащив лодку, связист лег за деревянную ее щеку и, держа автомат на изготовке, осматривался, соображал, отыскивая глазами, куда подаваться, за чем и чем укрыться?

Хутор на левой стороне сплошь горел, дотлевали стога за околицей, отсветы пожара шевелились на грозно чернеющей реке, достигая правого берега. По ту сторону реки было так светло, что беленький обмысочек островка, отемненный водою, виднелся половинкой луны. Лешка не сразу узнал островок — не осталось на нем ни кустика, ни ветел, ни коновязи — все сметено огнем, все растоптано, все избито. Чадящий хуторской берег сполз в протоку вместе со вспыхивающей соломой крыш, тополями и каменной городьбой. А на правом берегу, совсем близко, озаряясь огнем, лупил пулемет, в ответ россыпь автоматов пэпэша, отдельно бухали винтовочные выстрелы.

"Ба-атюшки! — ужаснулся Лешка. — Это сколько же погибло народу-то?!" — Лешка тут же спохватился, отгоняя от себя всякие мысли и, подхватив запасную катушку к телефонному аппарату, бросился под тень яра, чувствуя, что его нанесло на устье речки Черевинки. Ее он угадывал по серенькой выемке и по ветле, горящей сухо и ярко уже за поворотом. "Только бы порошок в мембране не отсырел, только бы аппарат не отказал, только бы..."

— Шнеллер! Шнеллер! — услышал Лешка над собой по рву топот и звяк железа.

"И это, слава те, пронесло! — порадовался Лешка, — пойди немцы по берегу — как муху смахнули бы". — Утратив осторожность, — все же устал на реке, со связью, — соображал плохо, разбрызгивая воду, держа автомат на взводе, перемахнул речку и упал за валуном или мысом, что блекло светился во тьме.

— Эй! — позвал он.

— Шестаков, ты?

— Я! — чуть не заблажил во все горло Лешка. Обалдевший от одиночества, находившийся, как ему казалось, в самой гуще вражеского стана, он даже задрожал, не от холода и голода, а от вдруг накатившего возбуждения.

— Тихо! — цыкнул на него из темноты майор Зарубин. — Как связь?

— Здесь, здесь. Она уже здесь, товарищ майор, здесь, миленькая, недалеко!..

— Мансуров, Малькушенко, прикрывайте нас. Шестаков, за мной.

Лешка схватил майора за руку и услышал пальцами разогретое дуло пистолета. Майор тоже дрожал. Стараясь негромко топать, они устремились от речки, под нанос яра, сыплющегося от сотрясения.

— Будьте здесь, товарищ майор! Вот вам автомат. Связист бегом достиг лодки, глуша ладонями звук и скрежет запасной катушки, воротился к майору, бросил катушку под осыпь, опал на колени, собрался вонзить заземлитель в податливую землю, но конец провода оказался незачищенным.

— Ах, Сема, Сема!.. — Лешка рванул зубами изоляцию с провода и почувствовал, что рот наполняется соленой кровью — жесток немецкий провод, заключенный в твердую пластмассу, дерет русскую пасть, а наш провод зубами зачищался без труда, но и работал так же квело.

— Сколько вас осталось, товарищ майор? — шепотом спросил Лешка, зажимая провод в мокрых клеммах.

— Трое. Кажется, трое, — отозвался майор и поторопил: — быстрее!

— Готово! Готово, товарищ майор! Готово, голубчик! — вдавливая ладонью глубже заземлитель, почему-то причитал Лешка и, накрывшись сырой шинелью, телогрейкой и мешком, повторил давнюю связистскую молитву: — Пущай, чтоб батарейки в аппарате не намокли. Пущай, чтоб все было в порядке, — и, нажав клапан, неуверенно произнес:

— Але!

— Але, але! — сразу отозвалось пространство, кромешная тьма отозвалась знакомым, человеческим голосом, богоданный родной берег, казавшийся совершенно уже другим светом, недостижимым, как мирозданье, навечно отделившимся от этого грохочущего мира, говорил, голосом Семы Прахова. В другое время голос его казался занудным, бесцветным, но вот приспело, сделался бесконечно родным.

— Але! Але! Але! — заторопился Сема. — Але! Москва! Ой, але, река! Але, Леша! Але, Шестаков!.. Вы — живые! Живые!

— Начальника штаба! Немедленно! — клацая зубами, подал голос майор из-под шинели, торчащей шатром.

— Третьего! Сема, третьего! — уже входя в привычный, повелительный тон штабного телефониста, потребовал Лешка, оборвавши разом сбивчивые бестолковые эти Семины "але!"

— Счас. Передаю трубку!..

— Третий у телефона! — чрезмерно звонким, как бы из оркестровой меди отлитым, голосом откликнулся начальник штаба артполка капитан Понайотов.

Лешка нашарил в потемках майора, разогнул его холодно-каменные пальцы, выпрастывая из них пистолет, вложил в руку телефонную трубку. Майор какое-то время только дышал в трубку.

— Алло! Алексан Васильевич! Алло! Алексан Васильевич! Товарищ майор! — дребезжала мембрана голосом Понайотова, — Товарищ пятый! Вы меня слышите? Вы меня слышите?

— Я слышу вас, Понайотов! — почти шепотом сказал Зарубин и, видно, израсходовал остаток сил на то, чтобы произнести эту фразу.

Понайотов напряженно ждал.

— Понайотов... наши-то почти все погибли, — заговорил, наконец, жалобно майор. — Я ранен. Нас четверо. — Зубы Зарубина мелко постукивали, он никак не мог овладеть собой. — Ах, Понайотов, Понайотов... Тот, кто это переможет — долго жить будет... — Зарубин, уронив голову, подышал себе на грудь, родной берег тоже терпеливо ждал.

— Мы хотели бы вам помочь, — внятно, но негромко и виновато сказал Понайотов.

— Вы и поможете, — пляшущими губами, уже твердеющим голосом сказал майор, — вы для того там и остались. Пока я уточню разведданные, добытые ребятами, пока огляжусь, всем полком, если можно, и девяткой тоже — огонь по руслу речки и по высоте Сто. Вся

перегруппировка стронутых с берега немцев, выдвижение резервов проходит по руслу речки, из-за высоты Сто и по оврагам, в нее выходящим. Огонь и огонь туда. Как можно больше огня. Но помните, в оврагах, против заречного острова есть уже наши, не бейте по своим, не бейте… Они и без того еле живы. Прямо против вас, против хутора, значит, из последних сил держатся за берег перекинувшиеся сюда части. Пока они живы, пока стоят тут, пусть ускорят переправу главных сил корпуса. Свяжитесь с командующим, и огонь, непрерывный огонь, но… не бейте, ради Бога, не бейте по своим… — Майор снова остановился, прерывисто подышал. — Одной батареей все время валить в устье Черевинки, не стрелять, именно валить и валить, с доворотом. Иначе нам конец. Прикройте нас, прикройте!..

Понайотов — болгарин, был не только красивый, подтянутый парень, но и отличный артиллерист. Слушая майора Зарубина, он уже делал отметки на карте и планшете, прижав подбородком клапан второго телефона, кричал:

— Десятая! Доворот вправо! Ноль-ноль двадцать, четыре единицы сместить. Без дополнительного заряда, беглым, осколочным!..

Пока эти команды летели на десятую и другие батареи, в устье речки уже завязалась перестрелка.

— Будьте у аппарата, товарищ майор! Я помогу ребятам. Я помогу!

— Давай! В речку далеко не лезьте… Сейчас туда ударят…

Пули щелкали по камням, высекая синие всплески. Из-за камней от берега россыпью стреляли не двое, а пятеро или восьмеро человек, стреляли реденько, расчетливо. Лешка под прикрытием осыпи, запинаясь за камни, пробрался в развилок речки, залег, положил на камень автомат и, по вспышкам угадав, откуда бьют немцы, запустил туда две лимонки. Получилось минутное замешательство.

— Ребята, сюда! Под яр! — закричал Лешка. Несколько темных фигурок, громко по камням топая, ринулись к нему, запаленно дыша, упали рядом, начали стрелять.

— Молодцы! — паля короткими очередями из автомата, бросил Лешка.

— Мелькушенко там, — сказал Мансуров, — ранило его.

— Сейчас, наши сейчас… — Лешка не успел договорить.

За рекой, в догорающем хуторе выплюнуло вверх клубы огня и вскоре, убыстряя шум, пришепетывая, из темного неба начали вываливаться в пойму речки снаряды. Берег тряхнуло. Из речки долетели камень и песок, смешанный с водою.

— Раненых! Быстро! — перекрывая грохот взрывов, закричал Лешка, бросаясь за какой-то бугорок, сплевывая на ходу все еще кровавую слюну, смешанную с песком. Двух раненых удалось спасти. Мелькушенко и соседи его, бойцы, были убиты уже здесь, возле речки, может, немцами, может, осколками своих же снарядов. Десятая батарея будто ковала большую подкову в старой кузне, работала бесперебойно. Немцы в устье речки перестали стрелять и бегать, затаились.

— А-а-а, падлюки! Не все нас бить-молотить! — яростно взрыдывая, торжествовал Мансуров. — Лешка, давай закурить. У нас все вымокло.

— Сначала майора в укрытие перетащим, — сказал Лешка, — дойдет он. Перевязать его надо. И телефон ему.

— Дунули! — согласился Мансуров. — У тебя, правда, курить есть?

— У меня даже пожрать и погреться чем есть!

— Но-о?! — произнес Мансуров потрясенным голосом. — Живем тогда, — и, оттолкнувшись от земли, ринулся под яр, из которого обтрепанно сыпались и сыпались комки с травою, сочился песок.

Под мокрой шинелью возился и стонал майор, пытаясь перевязать самого себя. Пакет, обернутый в непромокаемую пленку, был сух, вата мягка, но мокрые пальцы майора обжигали тело, кровью склеивало пальцы.

— Ну-ка, товарищ майор, — полез под шинель Мансуров и грубовато отнял у Зарубина пакет, — Лешка, посвети в притырку.

Прикрывая пилоткой и полой телогрейки фонарик, Шестаков приподнял шинель, осветил белое, охватанное окровенелыми руками тело.

"Рана-то какая худая!" — отметил Лешка, увидев, как от дыхания майора выбивается из-под нижнего ребра кровяная долька с пузырьками, лопнув, сочится под высокий, строченный пояс офицерских штанов.

— У меня руки чистые, — сказал Мансуров и даванул бок Зарубина. Майор дернулся, замычал — осколок прощупывался, был он близко, под ребром. — Счас бы обсушиться и в санроту.

— Что об этом говорить? — успокаиваясь под руками Мансурова, вздохнул майор. — Закрепляйтесь, ребята, окапывайтесь, ищите тех, кто остался живой, не то будет нам и санрота, и вечный покой... Я за телефониста...

Лешка принес из лодки флягу и подмокший рюкзак с едой, майор глотнул из фляги, судорожно хлюпнул густой от песка слюной, но водку выплюнуть не решался, загнал глоток вовнутрь. Потом еще глоток, еще, хлеб, пусть размокший — все хлеб! Беречь, пуще глаза беречь...

— Не беспокойтесь, товарищ майор, не впервой.

— Да-да, здесь надежда только на себя и на товарища. Пакеты, — помолчав, добавил он, — пакеты брать у мертвых... патроны и пакеты... патроны, — он прервался, хотел подвинуться к яру, но даже с места себя не стронул, зато сразу почувствовал холодное мокро облепившей его шинели. — Подтащите меня, — попросил он, — меня и телефон — под навес яра, сами окапывайтесь, если есть чем, да попытайтесь найти командира стрелкового полка Бескапустина и хотя бы одного, пусть одного-разъединственного живого бойца из тех, что переправились днем.

— Мы — бескапустинцы, — тут же откликнулись затаившиеся под берегом бойцы, вместе с которыми отстреливался в устье речки Мансуров. Было их человек пять, и где-то поблизости, за речкой, слышалось, звякая о камни, окапывались бойцы, утерявшие связь не только с командиром полка, но и со своими ротами.

Прерывисто дыша, майор настойчиво просил, не ставил задачу, именно просил бойцов немедленно и во что бы то ни стало найти Бескапусгина или хотя бы кого-то из командиров

рот, батальонов, хорошо бы кого и из штаба полка, сообщить надо им, что с левым берегом работает связь, по возможности еще ночью, в темноте, протянуть телефонные концы стрелковым подразделениям.

— Шестаков! Чем угодно и как угодно замаскируй лодку! Мансуров, тебе идти. — Майора колотило, он трудно собирал рассыпающиеся слова: — Где-то есть наши. Есть. Не может быть, чтобы все погибли. Постарайся найти их. Все! За дело, ребята. Ночь на исходе. День грядущий много чего нам готовит...

Майор кутался в шинель и все плотнее жался к обсеченному, струящемуся берегу, надеясь согреться.

— Понайотова мне! — протянул он руку. — Понайотов! Немножко подвинься, подвинься. Нас засыпает осколками, они отошли, отогнали мы их, отогнали. — Он отдал трубку Мансурову, съежился: — Ах ты, чертовщина! И огонь нельзя развести, — в голосе майора были и вопрос, и просьба, и слабая надежда.

— Нельзя, — уронил Мансуров. — Ну, мы пошли, товарищ майор. Постараемся найти славян. Мал у нас выводок, шибко мал. Меньше тетеревиного. Лешка, ты никуда — понял? Ни-ку-да!..

Шестаков приподнялся и ткнул Мансурова в спину, как бы подгоняя, тут же, разбрызгивая воду, вздымая песок, секанула очередь. Взвизгнув и как бы еще больше озлясь, пули рикошетом рассыпались, прочертили белые линии по реке. Лешка по-пластунски пополз к лодке. Вокруг щелкало, впивалось в землю, крошило камни очередями пулеметов, автоматов, ответно четкими, торопливыми выстрелами сорили винтовки.

"Да там уж не наши ли бьются?"

Переправа продолжалась. Приняв основной удар на себя, передовые части разбросанно затаились по оврагам, пытаясь до рассвета установить связь друг с другом. Рота, точнее, старые, закаленные вояки из роты Герки-горного бедняка, ошивавшиеся в хуторе, расковыряв штукатурку по стенам сельской школы, обнаружили под штукатуркой деревянное — хорошо отструганные, плотно пригнанные брусья, сбитые лучинками. Находчивые воины углями на стенах школы изобразили "секретный склад" и сами же встали тут дозором, палили в воздух, не подпуская никого к важному объекту.

Уже на закате зловеще кипящего солнца орлы Оськина раскатали стены школы, связали брусья попарно, скинули с себя почти все, кроме подштанников, узелки с пожитками, оружием, патронами и гранатами притачали к плотикам. Боевой командир, скаля зубы, заметил: если убьют на переправе — никакого значения не имеет тот факт, что ты голый или еще какой — голому даже способней — скорее и без задержек пойдешь на дно. Зато уж если переправишься на берег — в сухом и с патронами будешь.

Задача стрелковым ротам полка Сыроватко была: переправившись, рассыпаться вдоль берега, сосредоточиться в подъярье и затем уж атаковать ошеломленного, артподготовкой подавленного противника. Оськин хотел проявить находчивость и дерзость: еще во время артподготовки двинуть свою роту вслед за первым батальоном полка Бескапустина, но что-то, скорее всего нюх бывалого вояки придержал его, и, когда загорелся остров и на нем освещенные, будто при большом пожаре, заметались бедные пехотинцы, Оськин, крикнув: "За мной!" — бросился в воду и, толкая плотик с манатками и оружием, брел, пока ноги доставали дна, потом дребезжащим от холодной воды голосом повторил: — "За мной!" — и резко, часто выбрасывая правую руку, толкая плотик вперед, грозясь: — "Убью! Любого и каждого убью!" —

это на тот случай, если пловцы задумают громоздиться на связанные брусья.

Ниже и ниже по течению забирал ротный, видя, что весь огонь немцы сосредоточили на капле земли, и ночные самолеты все сбрасывают и сбрасывают на выгорающий этот клочок бочки, валом разливаясь, огонь доканчивал живых и мертвых на острове, в мелкой протоке на берегу.

Стреляли и по роте Оськина, попадали в кого-то, иногда в лучину расщепляли брусья плотиков, но сами бойцы, умоляя, кричали: "Не лезть! На плотик не..." — греблись, скреблись люди к берегу, пляшущему от взрывов, ощетиненному пулеметным огнем. Чем ближе был берег, тем гуще дым, пыль и огонь, но упрямо, судорожно хватали бойцы горстями воду, отплывая подальше от ада, кипящего на острове и вокруг него. Под самым уж правым берегом плоты Оськина подверглись нападению ошалелой толпы и, как ни отбивались, как ни обороняли плоты, на них, на плоты, слепо лезли нагие, страхом объятые люди, стаскивали за собой в воду бойцов-товарищей. Не один плот оцарапали забывшие про бой, про командиров своих утопающие люди, обернули на себя брусья, гибельно вопя.

"Мама! Ма-а-а-амо-о-очка-а!" — плескалось над рекой.

И все-таки рота Оськина, сохранившая костяк и способность выполнять боевую задачу, достигла правого берега. На ходу разбирая оружие, натягивая на себя штаны, гимнастерки, обувь и чего-то тоже беспамятно вопя, бойцы ринулись в темень, падали на урезе реки, плотно заваливались за камни. Берег после зыбкой воды казался им таким надежным укрытием, суша — такой незыблемой опорой.

"Ор-ре-олики-и! Р-ребята-а! — метался по берегу Герка-горный бедняк. — Под берег, под яр, под яр!.. Орелики!.." — Бойцы и сами понимали, что надо стремиться под навес яра, от воды подальше, от немым светом дышащих воздушных фонарей, но не хватало смелости на бросок, тянуло прижаться к земле, к этому спасительному берегу. Не могли бойцы, никак не могли взняться от мокрого песка, из-за кучки каменьев, сыплющихся секущимся крошевом осколков и пуль, иные прятались за брусья выкинутых на сушу плотиков. Командир роты в распоясанной и расстегнутой гимнастерке долбил бойцов пистолетом, волоком тащил их под яр, бросал, тычками вгонял в укрытия,

"Да вы что? Вы что? Перебьют же! Перебью-у-у-ут все-эх..." — И внезапно, словно в мольбе воздев руки в небо, вскрикнул, роняя пистолет, и в крике том не столько было страху, сколько вроде бы долгожданного разрешения от непосильного напряжения. Его задернули под навес яра. Но он все дергался, все кричал заведение, брызгал слюной: "Под берег! Под берег! Впер-р-ре-од!"

Палец, жесткий от лопаты и земляной работы, попахивающий крепкой псиной и табаком, прочистил рот командира роты от песка. Точно сиську в губы ребенка, сунули командиру роты ребристое горло баклажки. Сцапал, смял железо зубами Герка-горный бедняк, вдохнул в себя горячащую влагу, — и шатнувшись, все поплыло от него куда-то в сторону, в утишающую, пыльно клубящуюся яму ночи. Бойцы наложили на перебитую ногу командира шину из штукатурных лучинок, затянули жгут выше колена, влили еще глоток водки в стиснутый рот и поволокли к воде. Прихватив раненого командира обмоткой и обрывком проволоки к бревешкам, побрели под огнем, по мелкой воде, толкая плотик.

— А-а! — пробовал вскинуться опомнившийся ротный, молотя по воде кулаком. — А-а-а-а! Распровашу мать! Из-за вас! Из-за вас! Залегли-ы, бздуны... залегли, жопы к берегу прижали... А-а-а!.. — увидев, как наверх, на яр карабкаются и исчезают в огне фигурки людей, сыпля впереди себя мерцающими огоньками, сея в землю зерна пуль, понял: его рота жива,

поднялась в атаку, одолевает она теперь уже такое надежное укрытие — яр и осыпи берега, прикрывая собой своего раненого командира.

— Я сам! Я сам! Уходите! — закричал он. — Помогайте им, помогайте! — и принялся обеими руками бить по воде, показывая, что он плывет, что он тут сам справится.

Один из бойцов, еще по Подмосковью знакомый, крикнул: "Пока, Герка! Пока!.." — толкнул ногою плотик, с сожалением отцепляясь от него. Другой боец, молодой, из новеньких, долго волокся за плотиком, выплевывая мокрым ртом: "Я здесь! Я помогу, тащ командир! Я помогу!" — Ох, какая небывалая сила удерживала парня возле плотика. И причина-то уважительная — он спасает человека, своего командира. Чувствуя, как плотик подхватило течением, понесло в ночную темень, боясь одиночества и темноты больше, чем кипящего огнем берега, Оськин заорал:

— Ух-ходи! В бой ух-ходи! Я са-а-а-а! Я са-а-а-ам! — роняя голову меж брусьев, лейтенант хватал губами плюхающуюся живительную воду. Он впадал в забытье и приходил в сознание, чувствуя, что плотик то несет, то крутит на одном месте, омуты, везде омуты. — Я са-а-ам!.. Я са-а-а-ам! — едва шевелил он губами, а ему казалось, кричал на всю реку, на весь свет: — Я спасу-у-усь! Спасусь! Орелики мои.

Когда его ранило вторично, он не услышал, не упомнил, однако руками скребя и в беспамятстве, — только вода все горячела и омуты становились глубже и кружливей. Скорее всего, опять же согласно вращению земли и течению Бэра, его приволокло и прибило бы к правому берегу, где он и окоченел бы на плотике, истекши кровью, иль немцы достреляли бы его. Но он был баловнем судьбы, удачливым человеком. За его нечаянный плотик ухватились бедующие, тонущие вояки и, стараясь не опрокидывать бревна с привязанным к ним человеком, греблись руками к левому, спасительному берегу, не зная, что там их ждет и подчистит боевой, страха не ведающий заградотряд. Словом, Герка-горный бедняк нечаянно-негаданно добрался до своих. Течением плотик занесло в камни, и, почуяв сушу, солдатики бросили и плотик, и раненого, да и умотали во тьму, затаились на своем берегу, не шевелясь до рассвета.

Сытенький санинструктор береговой обороны с двумя солдатами бугаистой комплекции, опасливо озираясь, беспрестанно кланяясь слепым пулям, долетающим до левого берега, отвязывали и отпутывали безвестного командира безвестной роты.

Он шевелил искусанными, кровящими губами, и если бы санитары могли разобрать, чего молвит истекающий кровью командир, гимнастерка которого на груди вся была в дырках от орденов и значков, то не только заковыристые матюки услышали бы, но и складный монолог: "Погибает Герка-горный бедняк... погибает... ни за хер, ни за морковку, а за... Впе-э-эре-од! Под яр! Яр... яр... яр... че разлегся?.. За красную окантовку!.. Стих! То-о-онька! Доченьки, до-о-оченьки, чаечки-кричаечки-и-ы-ы-ы..."

От устья речки Черевинки, где высадился со связью Лешка Шестаков, до переправившейся роты Оськина — сажен двести-триста, но не судьба. Рядом не раз ходили, да не встретились в человеческой каше отчим с пасынком, хотя в письмах папуля грозился перевести сынулю в свою роту и выдать ему пэтээр.

Нашел, чем пугать связиста! Да он как навесит на себя две катушки со связью, да вещмешок на горб водрузит, да телефонный аппарат на плечо, да сверх всего карабин накинет, еще два подсумка с патронами, да лопату, да котелок, да всякий разный шанцевый и личный инвентарь прихватит, да еще по пути и картошек нароет либо у ротозевых вояк чего съестное уведет, тот

пэтээр ему — лучинка.

Уже на утре в медсанбат второго полка, размещавшийся в отдалении от берега, обратился какой-то приблудный санинструктор. По бумаге, вынутой из патрончика-медальона, он установил, что лейтенант, чудом переплывший реку на плотике, является командиром роты стрелкового полка Сыроватко, что он пока еще живой и в бессознании продолжает командовать, и как командует — заслушаешься!

День первый

Ожидалось, что штрафную роту бросят на переправу, в огонь первой, но переправляться она начала уже под утро, когда над обоими берегами нависла густая, дымная мгла, из которой, клубясь, оседало серое, паленым и жареным пахнущее месиво, багрово от земли светящееся. Такого света, цвета, таких запахов в земной природе не существовало. Угарной, удушающей вонью порченого чеснока, вяжущей слюну окалины, барачной выгребной ямы, прелых водорослей, пресной тины и грязи, желтой перхоти ядовитых цветков, пропащих грибов, блевотной слизи пахло в этом месте сейчас, а над ядовитой смесью, над всей этой смертной мглой властвовал приторно-сладковатый запах горелого мяса. Все, все самое отвратительное, тошнотное, для дыхания вредное, комом кружилось над берегом, отныне именуемым плацдармом, над и без того для жизни и существования мало пригодным клочком земли, сплошь изрытым воронками. Камни по берегу разбросаны, искрошены, оцарапаны, навесы берегов обвально спущены; что могло здесь гореть, уже выгорело и изморно дымилось, исходя низко стелющейся вялой гарью. Земля, глина вперемежку с песком не способная гореть, испепелилась, лишь в земных щелях еще что-то шаяло, возникал вдруг, колебался лоскут пламени и полз, извиваясь, куда-то, соединялся с заблудшим огнем, пробовал жить, высветляясь в могильной кромешности, но тут же опадал съеженным лепестком, исторгая рахитный дымок. Обнажившиеся корешки цепкой полыни тлели, будто цигарки, густо билось пламя лишь в русле речки Черевинки — там обгорали кустарники, огнем выедало трупелые дупла ребристых, старых тополей, вербы да дикие груши и яблоньки со свернувшимся листом и лопнувшей кожей стыдливо обнажались; истрескавшиеся, почернелые мелкие плоды сыпались, скатывались по урезам поймы в ручей, плыли по взбаламученной воде, кружились в омутах, сбиваясь в вороха. В Черевинку по весне и осенью заходила рыбья мелочь, песчаные отмели были забросаны, вперемежку с листом, испеченными яблочками, оглушенной малявкой и усачами.

Река настороженно притихла, как бы отодвинулась от земли, на которой царствовал ад, пробовала робко парить и загородить себя чистым занавесом тумана. Непродышливая тьма сгустилась над плацдармом. Казалось, в больном, усталом сне рот наполнился толстым жирным волосом и чем дальше тянешь, тем он длиннее и гуще возникает из нутра, объятого тошнотной мутью.

Битва успокоилась. Огневые позиции противника в большинстве были подавлены, разбиты, патроны расстреляны, мины и гранаты израсходованы. Отброшенные к противотанковому рву на высоту Сто, усталые, изможденные, поредевшие подразделения противника не атаковали больше, лишь дежурные пулеметы, не согласные с тем, что произошло, злобно взрычав, пускали длинные очереди во мглу, враждебно замолкшую, да два-три разбуженных миномета, выхаркнув круглой пастью свистящие мины, остывали от работы.

Сгущался туман на середине реки, белые, течением влекомые полосы поджившляли надежду на то, что жизнь на земле не кончилась, по ней движется река, и на невидимом берегу, вонью, гарью исходящем, живые люди поверженно спят. Раненые бойцы ждут помощи, уцелевшие в бою подразделения наводят справки, командиры наводят связь и взаимодействие меж

полками, батальонами и ротами. С обвалом в совсем, казалось, уже бесчувственном сердце узнают люди, что со многими взводами, ротами и батальонами связи никакой нет и не будет. И лишь десяток-другой черных от копоти и грязи, полураздетых, в чем-то бесконечно виноватых людей соберутся под яром, выберут старшего и пошлют доложить, что вот пока все, что уцелело и нашлось от их части.

Отторженно себя чувствовавшие штрафники переправились почти без потерь. Несколько понтонов, четыре наново осмоленных лодки, на которых, утянув головы в плечи, переплывали реку представители всевозможных родов войск, еще какой-то чиновный люд плыл, смирно сидя на ящиках с боеприпасами, продуктами, медицинской и всякой иной поклажей и инвентарем, позарез нужным на передовой. Связанные в пучки, отдельно сваленные свежо белели струганными черенками штыковые лопаты да малые, солдатские, как их звали на фронте, саперные лопаты, вдетые в игрушечные чехольчики. Этого бесценного груза, как всегда, было очень мало.

Переплывши на уже действующий плацдарм, военные силы прихватили свои манатки, быстренько стриганули под навес яра, с ужасом видя, что весь берег, отмели и островок устелены трупами, меж которых ползают, пробуют подняться, взывают о помощи раненые. К грузу, кучей громоздящемуся на берегу, сошлись, сбежались откуда-то молчаливые люди, начали хватать его, растаскивать по закоулкам оврагов.

Одна, тоже свежепросмоленная лодка шла через реку отдельно от тех плавсредств, что плавили "шуриков" — так насмешливо именовали себя штрафники, и разнообразных представителей военных частей и просто подозрительно себя ведущих чинов — как же без бдительного надзора, без судей, без выявителей шпионов и врагов? Фронт же рухнет, остановятся боевые на нем действия, ослепнет недремлющее око, усохнет, погаснет, онемеет пламенное политико-воспитательное слово!

Правда, уже через день-другой поредеет боевой состав надзирателей и воспитателей, они посчитают, что такие важные дела, какие им поручены партией и разными грозными органами, лучше выполнять в удобном месте, на левом берегу, — на правом очень уж беспокойно, печет очень под задом и стрельба смертельная близко, они же привыкли с врагами бороться в условиях, "приближенных к боевым", как они научились обтекаемо и туманно обрисовываться, а тут прямо из воды и в заваруху, так ведь и погибнуть можно.

Лодка с одним гребцом на корме правилась через реку вдали от всего боевого коллектива. В ней лоцманила иль даже царила под пионерку стриженная, ликом злая и по-дикому красивая военфельдшер Нелька Зыкова. Санбат стрелкового полка организовал на левом берегу медицинский пост, владели им две, всему полку известные подруги — Фая и Нелька. Фая дежурила на медпосту, Нелька взялась переправлять в лодке раненых. И сколько же она может взять в ту лодку раненых? И сколько немцы позволят ей плавать через реку? И куда грузить, в чем плавить других раненых? И куда делся и жив ли бравый командир батальона Щусь? С ним, с этим капитаном, вместе тесно, врозь тошно. Опять им, этим художником — так уничижительно называл всех прытких служивых, непокорных людей командир полка Бескапустин Авдей Кондратьевич — опять заткнул любимцем какую-нибудь дыру родной отец, опять послал его в самое пекло...

Сыскав среди раненых тех бойцов, кои умеют работать на гребях и заменить ее на корме, Нелька мигом загрузила свою посудину, поплавив людей на левый берег. В лодке сноровисто перевязывая раненых, Нелька успокаивала, утешала тех, кто в этом нуждался, кого и матом крыла. Нельке и Фае предстояло работать на переправе до тех пор, пока хватит сил или пока немцы не разобьют их плавсредство. В лодке могли они переплавить пять, от силы семь-восемь

раненых, остальные тянули к ним руки, будто к святым иконам, — молили о спасении.

Среди штрафников оказались и медики. Они, как могли, помогали людям, перевязывали, оттаскивали их под навес яра, где уже полным ходом шли земляные работы. "Шурики" зарывались в берег, издырявленный ласточками-береговушками, среди этих дырочек выдалбливая себе нору пошире.

Феликс Боярчик помогал тощему, седой бородой, скорее даже седой паутиной заросшему человеку, умело, по-хозяйски управляющемуся с ранеными и совершенно не способному к земляной работе. Феликс вымазался в крови, в грязи, успел поблевать, забредя в воду ниже каменистого мыска, на котором вразброс, точно пьяные, лежали трупы; их шевелило водой, вымывало из бурого лохмотья бурую муть, на белом песке насохла рыжая пена. Еще с суда, с выездного трибунала начавший мелко и согласно кивать головой, Феликс закивал головой чаще и мельче, отмыл штаны, гимнастерку, зачерпнул ладонью воды, хлебнул глоток, почувствовал, как холодянкой не промывает, прямо-таки пронзает нутро. Умылся и, стоя в воде, уставился в пустоту. Так, замерши, и стоял он, ни о чем не думая, ничего не видя, кивая головой.

— Эй, юноша! — теребнул его за рукав тот, тощий, с седой паутиной на лице, — тебя как зовут?

— Феликс. Феликс Боярчик, — нехотя, почти невнятно отозвался Боярчик.

— А меня Тимофеем Назаровичем. Фамилия моя Сабельников. Такая вот боевая фамилия. Давай-ка, брат по несчастью, железный Феликс, укладываться. У вас давно это? — поинтересовался он, дотронувшись холодными пальцами до кивающей головы Боярчика.

— Не помню. Кажется, с трибунала. Томили долго перед тем, как расстрел заменить штрафной.

— Да, да, это они любят. Это у них называется "нервоз пощекотать". Очень они юмор обожают.

Пробовали в две лопаты попеременке добыть одну нору для двоих. Но скоро Тимофей Назарович развел руками, и, пока Феликс углублялся в яр, напарник его рассказал о себе.

Главный хирург армейского прифронтового госпиталя, человек, взросший в семье потомственных медиков, Тимофей Назарович Сабельников как-то не очень вникал в ход текущих будней, все убыстряющих свой ход, и по ходу этому все чаще и стремительней меняющих цвет так, что к началу войны из революционно-алых они оделялись уже серо-буро-малиновыми, если не черными. Перед ним мелькало, в основном, два цвета: белый — больничный, да алый — кровавый с улицы. Когда в госпиталь привезли, в одиночную палату забросили растелешенного человека, он не вслушивался в информацию, не вникал, что за раненый перед ним, он смотрел на рану и видел, что она смертельна. Однако человек еще жив, и можно попытаться спасти его. Начальник госпиталя, замполит, неизвестно зачем и для чего существующий при этом госпитале, где, как и во всех больницах и госпиталях, не хватало санитаров, сестер, нянек и другого рабочего люду, — внушали главному хирургу, что он берет на себя слишком большую ответственность, рискует собой, да это бы ладно — на войне все рискуют, он рискует репутацией полевого орденоносного госпиталя. Непонятливому хирургу, наконец, разъяснили: раненый — командующий армией, как раз той армией, которой и принадлежит госпиталь, лучше бы его, раненого, от греха подальше, отправить на санитарном самолете в тыловой госпиталь, где не сравнить операционные условия с полевыми, — там все же профессура, анестезия, догляд...

— Но он же умрет дорогой, тем более в самолете...

— Возможно, возможно. На войне каждый день умирают, и не одни только солдаты…

— Но есть надежда. Маленькая, правда… нельзя терять времени… никак нельзя.

— Вы берете на себя ответственность…

Вопрос — не вопрос, наставление — не наставление, скорее — отеческим тоном произнесенное дружеское внушение.

— Беру, беру…

Командующий армией, довольно еще молодой для его должности человек, испустил дух на операционном столе. Начальник госпиталя, замполит и еще какие-то люди, зачем-то и для чего-то приставленные к госпиталю, умело устранились от ответственности. Сабельникова судили моментальным, летучим трибуналом, взяли под ружье. Тот же замполит, справный телом и чистый душой, в два голоса с начальником госпиталя сочувственно сказали:

— "Мы ли вам не говорили? Мы ли вас не предупреждали?.." — и на прощанье велели на дорогу снарядить доктору рюкзак, в который сунули две булки хлеба, консервы, бинты, йод.

— И эту вот клеенку, — расстилая в земляной норе исподом кверху новую, но уже загрязнившуюся клеенку, произнес Тимофей Назарович. Они легли рядом, прижавшись боком друг к другу. Боярчик пробовал себя и доктора укрыть своей телогрейкой, ничего из этой затеи не получалось.

Штрафная рота рассредоточилась вдоль берега, окопалась, замолкла. Слышнее сделалось реку, где ухали одиночный и несколько взрывов сразу, раздавались крики. После взрыва что-то шлепалось и шлепалось на берег, река, с ночи растревоженная, никак она не могла успокоиться, морщась, хлюпалась, поблескивала на отмелях, жевала берег, причмокивая. Туманом, все более густеющим, осаживало на избитую землю плацдарма серо-желтую муть, гасило цвета и запахи битвы, точнее, бойни, произошедшей на клочке истерзанной русской земли, где почти тысячу лет назад свершилось великое действо — крещение народа.

Тимофей Назарович привык в своем госпитале не есть и не спать, только работать, людей спасать, разговаривать с ними, успокаивать и утешать их говорком со спотычками от сбиваемого нездоровым сердцем дыхания и почти незаметной картавостью.

Еду и оружие штрафникам не выдавали. Еще вечером, за рекой бросили в котелок на двоих два черпака жидкой картошки, перевитой сивыми нитками заморской консервы, кирпич хлеба, тоже на двоих, сунули, на этом все снабженческие действия и кончились. Оружие-то, конечно, выдадут, может быть, как харчи — на двоих одну винтовку и по одной обойме патронов на брата, да и пошлют под огонь, чтобы выявить огневые средства противника. Но вот насчет пожрать… Феликсу не хотелось болтать, тем более рассказывать о себе, спать ему хотелось. Напряжение от переправы схлынуло. Землю копал, выдохся — это тебе не картинки в клубе рисовать, это фронт, война.

Тимофей Назарович ни с того, ни с сего заговорил вдруг о пташках, издырявивших берег реки, толковал, что ближние их родственницы — ласточки-белобрюшки — и вовсе из грязи строят свои подвесные домики, лепят их на строениях, ища от хищников соседства с человеком. Кто знает, чего и сколько переняли они у человека, пора бы и человеку перенять у пташек умение строить жилье из грязи и оставаться при этом чистым, веселым и дружелюбным. Феликс слушал говорок доктора, и виделись ему серые пятна отопревших от пара гнездышек над входом вонючей бердской казармы. Уже месяц, может, и больше, как улетели птички из

Сибири, недавно улетели они и отсюдова...

— Улетели вот птички-невелички в теплые края, до стрельбы, до битвы успели. Жизнь их похожа на веселое развлечение: кружатся над рекою от зари, ловят в воздухе мошек, хватают капельки с поверхности реки. Э-эх, кабы нам их крылья, да бескорыстие, да свободу — чтоб летать повыше, чтоб зениткой не достали...

"Птички вы, птички-невелички, как радостно знать, что и после нас вы останетесь, и после нас продолжится жизнь, да не такая, какую мы творим..."

— Я из рогатки с братанами береговушек сшибал, на реке Ляле... — вслух или уже во сне покаялся Феликс.

Кто-то сильно дергал Феликса за ногу, невежливо волочил из норки. Феликс проморгался на свету и увидел в устье береговой дырки какого-то командира с погонами.

— Эй, деляга! — вытряхивал из земли Феликса командир. — А где второй? Говорун-то, напарник-то?

— Тут был, — сказал Феликс, оглядывая обогретую норку, волоча из которой солдатика, командир стянул к ногам и клеенку. Феликс пошарил вокруг руками: — Тут был.

— Затвердил, е-на мать, тут был, тут был. Он к фрицам умотал?! — спросил и одновременно утвердил командир.

— Тимофей Назарович не может к немцам. Сщас! — Феликс сунулся в норку, выскреб из изголовья рюкзачок Сабельникова, заглянул в него — ни бинтов, ни йода, ни санитарной сумки там не было. — Раненым он пошел помогать.

— К-каким раненым? Наши еще в бою не были.

— Для него все наши.

— К-как это? Он сектант, што ли?

— Доктор он.

— А-а, — протянул командир. — Есть тут всякие, да отчегото не идут...

— Тимофей Назарович не всякий.

— Ты давно его знаешь?

— Второй день.

— Так какого ж голову мне морочишь? К немцам он умотал.

Феликс кивал головой, командир думал, что солдатик соглашался с ним. Да и зачем разубеждать человека, который себе-то не каждый день верит. Командир погрозил ему пальцем, поматерился и ушел. Солдатик залез обратно в норку, съежился в ней — одному холоднее, но малость угрелся, забывшись сном или тянучей, вязкой дремой, да снова его задергали, затеребили за ногу. Не хотелось шевелиться, не хотелось вылезать из гнездышка, в устье которого желто струился свет, кем-то или чем-то притемненный. Феликс подбирал ноги, утягивался поглубже в норку. Тащили, не отступались. Феликс вперед ногами выполз из

земляного гнезда и увидел Тимофея Назаровича. Тощий, в остро обозначившихся костях, он сидел в голубых трикотажных кальсонах и грелся на когда-то взошедшем солнышке. Гимнастерка, галифе и два носовых платочка сохли, расстеленные на камнях.

— Вас же убьют. Маячите.

— Не убьют, не убьют. Супротивник сегодня не воюет. Выдохся. Спит. Боеприпасы подвозит… Очень много, знаете ли, раненых… По оврагам расползлись, умирают…

— Известно, раз бой был… Вас тут командир искал, грозился… к немцам, говорит, умотал.

— К немцам? Вот дурак!

Посидели, помолчали. Тимофей Назарович вынул из медицинской сумочки два сухаря, один подал Феликсу, с другим подсунулся к воде, разгреб ладонями грязно-багровую пену, размачивая сухарь, пояснил, что взял их в вещмешке убитого солдата.

— Мертвый чище живого, — сказал он и, глядя поверх воды, добавил: — очень, очень много убитых и раненых. Со Сталинграда столько не видел…

Феликс отмачивал языком сухарь, сделанный из закального хлеба. Корочка с сухаря сгрызлась податливо, но под корочкой был закаменелый слой — зубам не давался.

— Феликс, я же не могу пойти к командиру в таком виде. Поищи ты его, может, мне дадут бинтов, ваты, я подсушусь и…

Боярчик совался в каждую земляную дыру, спрашивал командира. Из каждой норы на него по-звериному рычали, лаяли — народ в этой части не расположен был к дружеству. Не для того по беспощадным приговорам трибуналов сбили, столкали вместе людей, чтоб они нежничали, рассиропливались, до первого и скорей всего до последнего для многих боя.

Странный, пестрый народ штрафной роты был всем чужой. Боярчик, вечно кем-то опекаемый, жалостью и вниманием всегда окруженный, чувствовал себя здесь совсем потерянно. Пытался молиться, взывать к Богу, как учила тетка Фекла Блажных. Бог услышал его, соединил на гибельном краю с Сабельниковым, с Тимофеем Назаровичем. Скорей всего соединил ненадолго, скорей всего до первого боя, в котором, Феликс точно знал, он непременно погибнет, потому что жить не хочет.

Странные люди и вместе с ними странный, отдельно существующий мир — открылись Феликсу. Большей частью офицеры, сведенные в штрафной батальон, пополнили штрафную роту, смешались с солдатней и бывшими младшими командирами — о должностях и о работе их Боярчик даже не подозревал. Здесь особняком держалась группа раскормленных, в комсоставское обмундирование одетых армейских господ, иначе их не называли. Они увидели ни много ни мало — целый комплект нового обмундирования стрелковой дивизии. Тысяч десять бойцов отправились на фронт в старом, бывшем в употреблении обмундировании, полураздетые, полуразутые. Целая цепочка жуликов образовалась в тылу, работала она нагло, безнаказанно, отправляя из запасных полков маршевые подразделения на рассеивание, развеивание, короче, на пополнение в действующие части, уверяя, что там их ждут не дождутся и как надо обмундируют.

Так оно и выходило: подваливали в места формировок боевые отряды обношенных, в лоскутье одетых бойцов, тут, в действующих армиях, матерясь, кляня порядки, их переодевали, проявляя находчивость, как-то вывертывались из положения. Жаловались, конечно, командиры

соединений, докладные писали, но все это в кутерьме отступления где-то затеривалось, заглухало, да и потери в ту пору были так огромны, что хотя бы тряпья в тылу на всех хватало. И тогда-то, во дни самых тяжких боев и горя людского, началось повальное мухлевание, воровство, нашлись среди тыловиков герои, которые уже решили: немец Москву возьмет, немец победит, и, пока не поздно, пока царит неразбериха — начинай расхватуху.

Расхватуха ширилась, набирала размах, и однажды под Москву прибыла из Сибири и утопла в снегах одетая в летнее обмундирование, почти небоеспособная дивизия. От нее наступления на врага требуют, она же лежит в снегах, дух испускает, и не вперед, на Запад, но в Москву, на Восток идет наступление обмороженных, больных, деморализованных людей.

Вновь назначенный командующий Западным фронтом Георгий Константинович Жуков, мужик крутой, издерганный в боях, в латании горячих дыр и прорывов, которые он все затыкал, до черноты уже не опаленный, изожженный фронтовыми бедами, мотаясь по Подмосковью, наводя порядок, попал в ту горемычную сибирскую дивизию. Видавший всяческие виды, даже он ахнул: "Вот так войско! Вот так боевая дивизия!"

Началось диво дивное: дивизия, несмотря на аховое положение на фронте, из боевых порядков была отведена в Перово, где ее обмундировали, подкормили, подлечили и к началу зимнего наступления ввели в бой. Тем временем началось следствие, и Жуков Георгий Константинович сказал, что лично будет держать под контролем эту работу, да и товарищу Сталину с товарищем Берией доложит о явных пособниках Гитлеру, орудующих в тылу...

С прошлой осени — эвон сколько! Почти год прошел, но пособников Гитлера выбирают и выбирают, как вшей из мотни солдатских штанов. Пособники Гитлера держались кучно, ругались, спорили, даже за грудки хватались, но доставали где-то деньги, отдельную еду, выпивку, шибко много, совсем отчаянно играли в карты. На деньги играли. На плацдарме притихли, зарылись в землю, сунулись в норы и ни мур-мур, понимали, что отдельной еды в этом гибельном месте им не добыть, в атаку идти придется наравне со всеми, потому как полевые командиришки ретиво и зорко следят за ними и никакого спуску не дают. Командир же батальона, капитан с рассеченной щекой и контуженно дергающейся шеей, орет:

— Впереди стрелковых рот вас, ублюдков, погоню! Заградотряд сзади с пулеметами поставлю!..

Ротные и взводные ему поддакивали. К немцам мотануть тоже невозможно. Во-первых, свои же перестреляют, во-вторых, слух по фронту ходит: комиссаров, евреев и тыловых мздоимцев немецкие вояки стреляют тут же, на передовой, — таким образом наводят они справедливость в действующих частях, таким образом и наших ворюг уму-разуму учат. Немцы у немцев, однако ж, красть, обирать своих же собратьев не посмеют — это у нас: кто нагл и смел, тот и галушку съел...

Больше в штрафной роте все же рядовых вояк. Серые, молчаливые, они держались парами, отдельно и отдаленно от аристократов, которые роптали, но не каялись в содеянном лихоимстве, — надо было тому потрафить, того уговорить, этого послушать, того задарить, такого-то и вовсе убрать — подвел под монастырь, стервец, понаговорил, понаписал...

Но командиры батальонов, рот, взводов, каких-то хозяйских шарашек, парковых батарей, технических служб, пекарен, санслужб, многие из которых в глаза не видели боя, крови и раненых, потерявшие в харьковской переделке имущество иль допустившие повальный драп, судимые трибуналом согласно приказу 227, принимали происшедшее с ними безропотно, как веление судьбы, кривой зигзаг ее. Конечно, надо бы здесь, на плацдарме, быть не им, а тем, по чьему приказу они влезли в харьковский котел, вовсе и не подозревая, что котел это, да еще

такой агромадный! В нем сварится не одна армия, масса людей превратится в кашу, жидкую грязь, сдобренную мясом и кровью. Аж два десятка непобедимых генералов в одночасье угодят на казенный немецкий колпит. Не угодившие на казенные немецкие харчишки — к товарищу Сталину на правеж поедут — тоже завидного мало. Лучше уж здесь, на изгорелом клочке берега, кровью вину искупать, чем на доклад в Кремль следовать.

Один тут был занятный тип в танкистском шлеме, он его не снимал ни днем, ни ночью, реку переплывая, сохранил. Под рубахой, видать, держал. Рябоватый, долгошеий парень с шало вытаращенными глазами, все время и всем козырявший, все время и всем рассказывал, как послали его танк в разведку, в ближнюю. Танк в ночи заблудился. Мало того, что танк заблудился, так и в плен чуть не угодил. Сам он — командир машины, родом с Катуни, с верховьев ее. А Катунь — что? Быстрина, напор, каменья, скалы — красота, одним словом. А тут речушка на пути — переплюнуть можно, но влетели в нее и забуксовали. И чем дольше буксовали, тем глубже в илистое дно зарывались траки машины. Опомнились, зрят — на берегу немецкий танк стоит, пушку навел. Ну, какая тут война может быть? Вежливые фрицы трос подают, надо трос принимать. Бродят фрицы но воде, бродят иваны по воде. Очень всем весело. Трос короткий, с берега до танкового крюка не достает. Тогда полез и немецкий танк в воду. Рокотал, рокотал дымил, дымил, корячился, корячился — и тоже забуксовал. Все! Кончилась война! Отдыхай, ребята! У немцев шнапс велся. Распили его по-братски фрицы с Иванами, сидят, ногами в воде побулькивают.

— У нас, как известно, все делается для счастья советского человека, и вот воистину приспел ко времени лозунг — фрицы-то обогреваются в машине, по внутренней системе, отработанными газами, система же нашего обогревания что ни на есть самая древняя, с поля Куликова сохранившаяся, — печка, дрова. Зимой мы до смерти в танке замерзаем, летом от жары сознание теряем...

И вот — не было бы счастья, да несчастье помогло. Командир танка, беспрерывно смотревший на три грушевых деревца, росших на берегу, что-то туго соображал и вспомнил, наконец, что в машине у него есть пила и топор, да и забарнаулил ликующе на весь фронт. Пошли иваны деревца валить, под гусеницы бревешки скатали и, помаленьку, полегоньку подкладывая покаты, вывели машину на берег. Немцы сказали: "Гут" — и безропотно приняли трос с русского танка.

Вот это событие! По всему фронту пронеслось, как русский танк пленил немецкий танк. Армейская газета под названием "Сокрушительный напор" карикатуру на первой полосе поместила, стихи сочинила, экипаж машины был весь к награде представлен.

На этом вот мажорном аккорде победоносной истории и закончиться бы. Да ведь у нас как повелось: хвалить, так уж до беспамятства, ругать, так уж до хрипу. Короче, дали героическому экипажу канистру водки и велели отъехать в тыл, в уютную деревеньку и культурно там отдыхать.

— Поехали. Хату нашли с жинкой и с голосистой дочкой, пили, ели, песни пели, ну и всякое прочее развлечение позволяли. Дочка была совсем еще умишком слабенькая, все хи-хи-хи да ха-ха-ха! Пела, правда, здорово. Как грянут дочка с маткой: "Ой, нэ свиты, мисяченько", — аж кожу на спине обдирает. Одним словом, канистры той боевому экипажу не хватило, решили они еще горючки промыслить, водитель, смурный, не проспавшийся, вместо того чтобы вперед ехать, дернулся назад, в стену хаты танком долбанул, а когда отъехал, видит: девчушку, певунью-то, размичкал... Чего она за хатой, в садочке делала? Скорей всего пописать меж машиной и стеной присела — беду не надо кликать, она сама тебя найдет...

— И тут мы все запаниковали — что делать? Водитель, никого не спрашивая, влево, вправо и вокруг вертанул гусеницами — прикопал девчушку. Драли мы из деревни. Не нашли бы никогда ту бедную певунью, но по трезвому уму, промаявшись день-другой, я, как командир танка, пошел и доложил о случившемся. Вот нас, голубчиков, в штрафную и запятили. Водитель погиб в первом же бою. Меня, окаянного, и пуля не берет...

Нашел Боярчик взводного по сапогу, по кирзовому, из коры он торчал, вовнутрь стоптанный. Подергал за сапог, взводный ноги под себя убрал: "Какого надо?" Боярчик сказал, что Сабельников сам прийти не может, постирался он, в одних кальсонах гарцует. Тогда взводный катнул вниз две пухлые сумки с нарисованными на них крестами и сказал, чтобы Тимофей Назарович развертывал медпункт на берегу, в санитары взял бы себе его, Боярчика.

— И пусть не бродит! — донеслось из недр земли, — не расходует зря медикаменты. Под расстрел попадет.

"А пожрать?" — хотел спросить Боярчик, но по лютости голоса взводного и хмарности совсем угрюмых матюков понял, что громило-командир тоже не жравши существует.

Не успел Феликс вернуться к своему гнездовью, как закружилась над плацдармом "рама". Зайдя от реки, "рама" пошла в пологое пике, со свистом, с шумом пронеслась над землей, заложила поворот и, чем-то щелкнув, словно желтая гусеница, выделила из себя белые личинки. Личинки начали множиться, рассыпаться, зареяли в небе, закружились. Листовки упали на плацдарм и поплыли по воде, затрепыхались по кустам бабочками, заподлетали но речке Черевинке. Доктор велел Феликсу подобрать одну листовку и прочел ее вслух. "Буль-буль!" снова сулились сделать русским очень скоро. За то короткое время, что прошло с момента начала переправы, даже геббельсовские разворотливые пропагандисты не могли отпечатать листовки, доставить их на аэродром и загрузить в самолет, значит, подготовили агитационную продукцию заранее — какой все же предусмотрительный народ — немцы!

Тимофей Назарович обрадовался сумкам с медикаментами и развел руками на предмет — "развертывать медпункт".

— Где и чего развертывать-то? Тем более что сейчас непременно налетят самолеты.

И только он так сказал, вдали, за бугром высоты Сто, в небе, запорошенном поднявшейся копотью и пылью, мощно загудело, в прахе том, с земли поднявшемся тетрадными крестиками, обозначились самолеты. Тимофей Назарович собрал свои недосохшие пожитки, юркнул в нору. Феликс еще посмотрел на самолеты, грузно перевалившие за реку, где по ним замолотили зенитки и более уж не умолкали до конца бомбежки. С чистого края неба самолеты пошли над рекою в пике, высыпали бомбы, и те, что разрывались на каменном берегу, звучали особенно резко, клубились ядовито-красным огнем, разлетались белой окалиной камни, вмиг отгоревшие в известку. Белое крошево, долетая до середины реки, с шипением бурлило и трескалось, большинство же бомб угодило в овраги, эти грохоту давали мало, зато землю раскачивали, что зыбку, высоко выбрасывало из расщелин сухие комки. Пыль, тоже рыжая, смешалась с темной завесой дыма, и над плацдармом уже весь день, не оседая, висел грязновато-бурый занавес, сквозь который едва прожигался мерклый желтышок солнца.

С этого дня, с этого полуденного часа, самолеты противника почти не покидали небо над плацдармом. И всякий раз, будто парнишки, опоздавшие к началу драки, на ходу поддергивая штаны, появлялись советские истребители, храбро бросались вдогон фашистским бомбовозам, строчили по ним, взмывали вверх, кружились и, возвращаясь за реку, непременно покачивали над плацдармом звездными крыльями, все, мол, в порядке, родные наши товарищи, отогнали

мы врага, поддали ему жару и пару.

Батальон капитана Щуся рассредоточивался по оврагам и закреплялся. Разведчики выяснили, где он, батальон, есть, какого места достиг без боя, скрытно проникая в глубь обороны противника, устанавливали связь хотя бы с помощью рассыльных со штабом полка и подбирали отделения — остатки взводов и рот, бойцов, что потерялись, отстали, заблудились ночью.

Нашли и роту Яшкина, остатки ее, восемнадцать человек. Володя Яшкин, за ночь постаревший лет на двадцать и еще больше исхудавший, черный, со слезящимися, красными глазами, потряхивал головой, при этом все время что-то у него дребезжало в нагрудном кармане.

"Часы, — и показал на вырванный осколком мины клок гимнастерки, — в часы угодило", — и только после этого доложил, что задание выполнено. Рота Яшкина продержалась до переправы, но взвод разведки не спасла, от него осталось человек пять; в роте Шершенева тоже не больше десятка бойцов уцелело. Сам Шершенев тяжело ранен, а его, Яшкина, и черти не берут. Попив родниковой воды, Яшкин, словно просыпаясь, огляделся, еще раз приложился к котелку, допил воду — видно было, как освежается испеченное чрево человека холодной, чистой водицей. Даже есть не просил Яшкин, ничего не просил. Он посидел на окаменелом комке глины и, запьянев от родниковой воды, неожиданно скосоротился:

— Если мы так будем воевать, нам людей до старой границы не хватит. — И тут же закатился за ком глины, свернулся в комочек.

Щусь прикинул Яшкина телогрейкой, рявкнул на кого-то, угоняя подальше, долго глядел, как из широкого устья оврага, заткнутого белым помпоном тумана, возникают и устало бредут люди, полураздетые, без оружия и боеприпасов. По приказу комбата и ротных командиров людей заставляли вернуться на берег, взять оружие и патроны у мертвых, достать со дна реки, украсть, раздобыть какими угодно способами боевое снаряжение — батальон не богадельня, ему нужны боеспособные люди, но не стадо безоружных баранов.

С того памятного дня, с первого, незабываемого дня на плацдарме началось воровство оружия, боеприпасов и псего, что плохо лежит. Пойманного лиходея стреляли тут же, на месте действия, но воровство не унималось. С прибытием на плацдарм штрафной роты и каких-то иных нспомогательных сил оно принимало и вовсе бедственные размеры.

Когда батальон ночью двигался в глубь правобережья, Щусь, чтобы внезапно не напороться на немцев, все время посылал вперед разведчиков и одному взводу приказал продираться по ходу слева, параллельно волокущемуся, то и дело запинающемуся за комки, со звяком падающему, матерящемуся воинству. Боком чувствуя горячее, минуя расщелины, где засел, рассредоточился и густо палил по переправе противник, сторожко двигающаяся сила невольно отодвигалась в сторону от жгущегося места и нигде не встречала заслона. "Повдоль берега нет плотной обороны!" — открыл Щусь. Немцы все силы сосредоточили именно там, где будут переправляться наши войска. Как всегда, хорошо работала разведка и контрразведка врага, как всегда, расчет был на тупую и упрямую военную машину, каковой она была и у фашиста, и у советов — войска валили, валили через реку по ранее разработанной в штабах диспозиции, в ранее на картах размеченные пункты сосредоточения — "быть к утру в указанных местах, оттеснить противника туда-то и на столько-то, занять оборону в надлежащем районе — точка!"

Еще ночью достигнув северного ската высоты Сто, уточнив по карте, что именно та, нужная перед батальоном высота, для верности убедясь в этом с помощью разведки, Щусь послал пару боевых разведчиков в штаб полка с просьбой изменить направление главного удара: всем полком, оставив заслоны, пройти по следам первого батальона, неожиданно, с тыла ударить по

противнику и занять господствующую высоту, таким образом сразу углубив плацдарм до двух километров. Но в ответ получил от командира полка нервно писанную, трубкой прожженную писульку: "Нишкни! Выполняй свою задачу!.."

Задача у первого батальона очень простая: пройти как можно глубже по правобережью, закрепиться и ждать удара партизан с тыла и десанта с неба. Когда начнется операция партизан и десантников, первому батальону надлежало вступить в бой, наделать как можно больше шуму и гаму в тылу противника, соединяясь с партизанами и десантниками, продолжить наступление в глубь обороны немцев, с охватом его левого фланга, с дальнейшей задачей отрезания и окружения группировки, пытающейся опрокинуть наши войска в реку. Оставалось только одно: как можно больше принять, наскрести под свое начало, пусть мокрых, перепуганных славян и как можно скорее получить конец связи с левого берега и ждать, ждать, не пуская вражескую разведку в места сосредоточения батальона.

Но связи не было, и по стрельбе, ширящейся на берегу, комбат понимал, что его батальон немцы, сами того не ведая, отрезают от переправы. Посылал одного за другим, парой и в одиночку, бойцов на берег передать, чтобы воинство, переправившись, уходило по оврагам влево, чтобы соединиться со своими у высоты Сто, где торопливо, даже неистово работала лопатами пехота, чувствуя опасность и зная, что основное от него, от врага, спасение — земля.

Володя Яшкин, открыв рот, сиплым дыханием шевелил в углу губ клочок грязной пены, в которую лезли и лезли, увязали и увязали в ней мелкие земляные муравьи. Комбат, глядя на своего ротного, соображал, как дальше жить. Ведь он настаивал, чтобы вслед за первым взводом, за первой ротой не гнали за реку табуном полк и отдельный его батальон, дали бы артиллерии возможность задавить хоть частично огневые точки на правом берегу, противнику потешиться, расстреливая передовые части, израсходовать боекомплекты. Воевать при нарушенной связи, разобщенно, в ночи, немец смерть как не любит. "Да-да-да!" — соглашался командир полка Бескапустин, но тут же тряс головой, говоря покорное "да-да-да!.." штабникам и новому командиру дивизии, требовавшему одновременного, мощного удара по врагу с фронта в лоб.

— Товарищ полковник! — толковали комбаты командиру полка, — не получится одновременного мощного — река! Ночь. Надо в передовые отряды отбирать тех, кто хоть мало-мало умеет плавать, кто бывал в боях" кто обстрелялся. Не надо всем табуном брести в воду, не зная броду...

— Да-да-да! Вы правы, ребятушки, вы совершенно правы...

Но "ребятушки" знали заранее: погонят войско, стадом погонят в воду, в ночь, и там не умеющие плавать люди станут тащить за собой на дно и топить умеющих плавать. Необстрелянные бойцы, хватив студеной воды, ошалев от страха, утопят оружие, побросают патроны, гранаты — все побросают.

С рассветом было подсчитано и доложено: у северного склона высоты Сто собралось и окапывается четыреста шестьдесят боевых душ.

Не было никакой неожиданности для комбата Щуся, но он все же качнулся взад-вперед и глухо простонал, услышав цифру четыреста шестьдесят, четыреста шестьдесят... Ну, выковыряют парней, спрятавшихся на берегу и по оврагам, по кустам и закуткам, насобирают еще человек двести... Это из трех-то тысяч, назначенных в боевую группу.

"Боже мой! — металось, каталось, гулко билось в черепе комбата смятение, — каковы же тогда

потери у тех, кто переправлялся и шел напрямую, лез на крутой берег? Ох, Володя, — отирая тряпицей рот Яшкина, облепленный мертвыми мурашками, будто слоеный пирог маком, — нам не то что старой границы, нам... Да не-эт, — убеждал себя комбат, — тут что-то есть, какой-то хитрый замысел скрывается... Ну не сорок же первый год — чтобы гнать и гнать людей на убой, как гнали несчастное ополчение под Москвой, наспех сбитые соединения, стараясь мясом завалить, кровью затопить громаду наступающего противника. Повоюем, повоюем, братец ты мой, — потирал руки комбат. — Вот партизаны ударят, десант с неба сиганет, боевой наш комполка связь подаст..."

Но связи не было, и от "художника" ни слуху, ни духу. Проныры-разведчики, шарившие по окрестностям, приволокли рюкзак падалицы — груш и яблок, — обсказали, что разведали: родник бьет из склона высоты Сто, затем он делается ручьем. Немец по ручью ведется, но редок и спит. Уработался. В устье речки-ручья, называемого Черевинкой, обосновались артиллеристы с майором Зарубиным во главе. Майор ранен. У артиллеристов есть связь с левым берегом и с обоими штабами полков.

Щусь встрепенулся:

— Кровь из носа, поняли?!

— Это далеко, провода не хватит.

— Сами в нитку вытягивайтесь, но чтобы связь к артиллеристам была подана.

Заспавшиеся, глиной перемазанные связисты понуро стояли перед комбатом. Трое. Двоих Щусь помнил — ничего ребята, исполнительные, в меру рисковые. Третьего, совсем бесцветного, с упрятанным взглядом, свойски улыбающегося исшрамленными губами, с незапоминающимся, блеклым, но все же какой-то порчей отмеченным лицом — комбат вроде помнил и вроде не помнил.

— Пойдете все. — Глядя на катушки, жестко заметил: — поскольку линия ляжет по тем местам, где есть противник, пользоваться трофейным проводом...

— Но не хватит же, — снова начали шапериться связисты.

— Как твоя фамилия? — спросил потасканного связиста комбат.

— Шорохов.

— Так вот, товарищ Шорохов. Класть линию трофейным проводом и не потревожить при этом ни одной немецкой нитки. То есть вырезать куски из соседней линии — ни Боже мой, тырить можно только у своих.

— Понятно. У фрица из линии выхватить нельзя. А если целиком катушку с проводом сбондить?

— Ох, и догадливые вы у меня! — похвалил всех связистов разом комбат, и они расплылись в довольнехонькой улыбке, започесывались, проснулись окончательно, мы, мол, орлы, хоть с виду и простоваты... Комбат знал эту российскую слабость: хвали солдата, как малое дитя, — толку будет больше. Когда закончите самую главную на сей час работу, са-мую глав-ную, — раздельно повторил комбат, — двое, ты, Шушляков, и ты, Кислых, — возвращайтесь сюда, но уже через штаб, с приказаниями комполка. Шорохов остается на берегу для постоянной связи с артиллеристами. Ясно?

— Как не ясно? А кто кормить меня будет?

— Командование Красной Армии всех нас кормить будет. — Щусь загадочно усмехнулся, — но скорее всего вечный наш кормилец — бабушкин аттестат.

— Вот теперича совсем все ясно! — бодро заключил Шорохов, взваливая на себя катушку, твердо про себя решив, что на командование, конечно, надо надеяться, но и самому при этом не плошать.

В этом батальоне Шорохов был совсем еще мало, в упор с комбатом встретившись, узнал того помкомроты, что щегольством своим удивлял бердский доходной полк, и если Щусь его не узнал — хорошо, а если узнал и сделал вид, что не узнает — еще лучше. И еще Зеленцову-Шорохову очень понравилось, что комбат помнит своих связистов пофамильно, рядовому солдату нравится, что его лично помнят, жалеют и берегут. Он от этого как бы вырастает в собственных глазах.

Мансуров, посланный на поиски связи с родной пехотой, — парень ходовой, ловкий. Увернувшись от пулеметной очереди, почти тут же нарвался на очередь из автомата, запал в канавке, полежал, понаблюдал и бросил сухой комок глины в том направлении, откуда стреляли. Сразу же замелькал огонь, зашевелили, выбили из глины пыль частые пули. Огонек дрожал в дыроватом чехле, автомат частил и как бы пришептывал губами, выплевывая скорлупку орешков — палили из пэпэша.

— Эй, вы! — крикнул Мансуров, — че патроны зря жгете? Небось уж диск пустой?

Примолкли. Перестали стрелять. Во тьме, совсем неподалеку сдержанный говор — шло оперативное совещание Иванов, по слуху — двух.

— Хто будешь? — послышалось наконец.

— Бескапустинец. — Давно уже в шутливый пароль, в солдатский афоризм превратилась, своего рода пропуском сделалась фамилия командира полка. Комполка об этом наслышанный, хмыкал, довольнехонько крутя головой: "Вот художники! Н-ну, художники!"

— Ляжь на место! — приказали Мансурову и, тактически грамотно окружая его, с сопением, с кряхтением, с двух сторон подползли два бойца.

Мансуров похвалил их за смекалку, что не вместе, не дуром лезли к нему, но попало им за то, что патроны жгут неэкономно. Два бойца блуждали в ночи и тоже искали своих. Мансуров попробовал спровадить их к народу, в устье речки, они ни в какую и никуда не хотели уходить, сказали, что уж под обстрел попадали не раз, и на немцев нарывались, те с испугу завопили: "Русс, капут! Сдавайся!"

— Фиганьки им! — резонно заметил один из пришельцев молоденьким голосом. — Ероха им кэ-эк катанул картоху! Кэ-эк шарахнуло — аж к нам землю аль фрицево говно донесло... А мы тикать. Бегали, бегали, кружили, кружили — ночь жа. Порешили до утра не бегать — наши с перепугу, знаш, как палят?! Обидно, коли свои жа и убьют.

Двое этих неутомимых, боеспособных бойцов сказали Мансурову, чтобы он по верху берега не лазил, — осветят и застрелят. Остается только одно: лежать в земном укрытии до рассвета.

У бойцов было курево и по сухарю. Мансуров облегченно вздохнул — втроем любое дело легче делать — и еще поверил, что встреча с этими, беды не чувствующими солдатами сулит ему

удачу. Мансуров как старший по званию подчинил бойцов себе. Ребята рады были любому человеку, тем более командиру, охотно пошли под начало сержанта и, покурив, отдышавшись, двинулись следом за ним.

Раза два они попадали под всполошенный огонь пулеметов и каким-то образом угодили в пойму Черевинки, где, озаряя пляшущим, почти белым огнем, кусты краснотала, будто в бухтах проволоки, рычал пулемет, лепя вслепую вдоль ручья.

— Наш это, — тихо сказал Мансуров.

— Откуль там нашему-то быть?

— Заблудился, небось, и палит со страху, как вы палили по мне. Эй, славянин! — громко крикнул сержант. В ответ из затемнения речных кустов так уверенно шаркнула очередь, что Мансурова и спутников его мгновенно нынесло из поймы Черевинки. Тут же от устья речки окапывающиеся там бойцы влепили по пулемету из винтовок. В кустах кто-то вскрикнул, заблеял, пулемет умолк.

Мансуров с солдатами рванул от речки подальше. Запоздало секанула по ним автоматная очередь, и потом еще лупили то там, то тут вдоль речки обеспокоенные немцы, но на берег, к воде не совались. В речке поредело грохотали взрывы. Иногда они угадывали по верху, и тогда с яра сыпало каменьями, комьями земли и что-то долго шлепалось в воду. Работала десятая батарея. С левого берега устало, как бы по обязанности, рассредоточение вела огонь дежурная батарея дивизиона девятой бригады, по рву, по высоте Сто, мешая противнику спать, подвозить боеприпасы, собирать раненых и убитых.

Шестаков спустил лодку ниже устья Черевинки, приткнул ее за мыском, обросшим заострившейся от инея осокой, по кромке уже сопревшей и полегшей. С берега лодку не видно, а с воздуха, если самолеты заметят, — расщепают.

"Ну да сослужило корыто боевую службу, и на том спасибо!"

Не знал, не ведал в ту минуту Шестаков, чего и сколько доведется ему изведать из-за гнилого этого челна. Пока же он с облегчением вернулся под яр, где, всхрапывая, работали лопатками несколько бойцов. Бойцы все появлялись и появлялись из огня-полымя, будто нюхом чуя своих и что есть в этом месте командир. Без командира на войне, как в глухой тайге без проводника, — одиноко, заблудно. Еще больше удивился Лешка, обнаружив, что, глубже вкапываясь в яр, солдаты делают норки наподобие стрижиных.

"Ну, война! Ну, война! — ахнул Лешка. — Ведь никто не учил, не школил — сами смекнули, какой тут профиль щелей требуется".

Он и себе принялся долбить норку, позаимствовав лопату у тяжело сопевшего, пожилого бойца. Как оказалось из разговора, который вели они приглушенным шепотом, Финифатьев родом с Вологодчины, из села Кобылино, колхоз он, как парторг, поспособствовал назвать имени "Клары Цеткиной". Переправлялся он с отделением боепитания на смоляном, полукилевом баркасе, заранее построенном под руководством самого же Финифатьева — потомственного рыбака с Бела озера, да и то с северного его краю, где ни огурцов, ни помидоров не росло, даже картошки с редькой не каждый год удавались из-за излишней сырости и ранних холодов. И мудрый Финифатьев чуть было не привел баркас, полный боеприпасов, к цели, потому что не спешил с ним. Дождавшись, когда полки затеют заварушку на берегу, устремятся в овраги, в схватке сойдутся вплотную с противником, он и прошмыгнет с судном из-за охвостья острова.

Кто же знал, что эти гады зажгут остров, что опечков песчаных в протоке — что лягух на вологодском болоте. Посадил баркас Финифатьев и был вскорости с судном обнаружен. Уж и задали им жизни. Уж и потешились фрицы! Однако люди с баркаса убегали из-под огня в полной боевой готовности, с личным оружием, с лопатами и еще даже прихватили с собой пулемет, ящик патронов да ящик гранат.

Хоть и говорил Финифатьев, стараясь это делать как можно тише, майор все же услышал его круглый, сыпучий говорок.

— Эй, солдат! Как тебя? — позвал его майор.

— Финифатьев я. Сержант. Вы кто будете?

— Майор Зарубин. Александр Васильевич. Родом буду владимирский, сосед ваш.

— Сосе-ед?!

— Как баркас доставлять будем? Без боеприпасов нам тут конец. Утро скоро…

— То-то и беда, что утро. Немец приутих. Утомился расстреливать русско войско. Отдохнувши, примется добивать на суше…

Помолчали.

— Бог даст туману, — выпыхтел Финифатьев.

— Коммунист, небось, а приперло — и к Богу.

— Да будь ты хоть раскоммунист, к кому жа человеку адресоваться над самою-то бездной. Не к Мусенку жа…

"Проницательный народ — эти вологодские", — сморщился Зарубин и, ворохнувшись, простонал.

— Ранены? — майор не ответил. Финифатьев пощупал его быстрыми пальцами, озаботился: — Э-э, да в мокре… Не дело, не дело это. Счас я, счас. Как знал, шинельку сберег. Над головой ташшыл, и… баркаса не кинул. — Финифатьев завернул майора в свою шинель, мокрую набросил на себя — пусть сохнет на теле — больше негде сушиться одежде. — А я — мужик горячий, хоть и северной. Шестерых робят вгорячах сотворил!.. Ишшо бы дюжину слепил, да харч-то в колхозе какой. — Финифатьев колоколил, но о деле не забывал. — Э-эй, робяты! Промыслите товаришшу майору сухой подстилки.

— Сейчас бы нам полковника Бескапустина промыслить, — тоскливо сказал майор. И все притихли, первый раз за ночь оглядываясь вокруг и понимая, что со слабым, сбродным прикрытием, как рассветет, им тут придет хана.

Догорала на острове растительность и земля, выхватывая отсветами покинуто темнеющий баркас. Уже не слаженно, угрюмо и разрозненно била из-за реки артиллерия, и, почти не отмечаемые слухом, рвались снаряды по-за берегом. По воде брызгало и брызгало пулями. Слабые крики доносились из тьмы. Трассирующие пули, играя рыбками, погружались вглубь. На левом берегу, за рекой, краснея угольками, светился горящий хутор, запутывая обозначение наших частей, провоцируя артогонь по догорающим остаткам человеческого прибежища.

Под навесом яра прижало белесый чад разрывов, угарно-вкрадчивым духом тротила забивало дыхание. Но от реки, от взбаламученной воды наплывала холодная сырость. По камешнику, по прибрежной осоке, проявляясь блеском во тьме, начала проступать холодная роса. Сделалось легче дышать, ненадолго обозначились вверху предутренние, мелко мерцающие звезды и ноготок луны. Явление Божиих небес потрясло людей на плацдарме своей невозмутимостью и постоянством. Многим уже казалось, что все в мире пережило катастрофу, все перевернулось вверх тормашкой, рассыпалось, задохнулось и само небо истекло. А оно живо! Значит, и мир жив! Значит, оторвало от земли, будто льдинку, клок этого желто-бурого берега и несет в гибелью веющее пространство.

— Морось пошла, туману Бог даст, — ворковал поблизости вологодский мужик, — ну и што, што месяц. Осень на дворе, холод на утре. Будет, будет морок...

Майор Зарубин угрелся, начал задремывать под говорок общительного белозерского мужика, но опять поднялась заполошная стрельба, послышалось: "Да не палите вы, не палите, дураки!"

Загрохотали кованые каблуки ботинок по камешнику в речке. С немецким постоянством полоснуло по камням, взвизгнули пули, взъерошило воду в реке. Дежурный пулеметчик бескапустинцев, а им оказался Леха Булдаков, врезал ответно по огоньку немецкого пулемета — в пойме послышался собачий вой.

— У бар бороды не бывает! — удовлетворенно молвил пулеметчик.

Финифатьев, только что взывавший к Богу, ласково запел:

— Так их, Олеха! Так их, курвов!

Булдаков тут же потребовал у Финифатьева закурить. Он всегда, как только начальник его похвалит, немедленно требует от него вознаграждения.

— Где жа я те курево-то возьму, Олеха?

— Не мое дело! Ты — командир. Обеспечь! Пользуясь замешательством, возникшим на ближней огневой точке противника, ручей перебежало несколько человек. Треск и скрип слышно было — вроде бы как крутилась связистская катушка. Человек бухнулся в нишу к майору.

— Мансуров?

— Я. Жив. Все живы. Вы, товарищ майор, как? — увидев, что майор поднят повыше, лежит в норе на полынной подстилке и в сухой шинели, Мансуров удовлетворенно произнес: — Добро! Вот это добро! — Сам же, повозившись на земле, по-деловому уже доложил: — Товарищ майор, связь с командиром полка установлена. Пехота дала конец. И еще я прикрытие привел, небольшое, правда...

— Да! — вскинулся майор Зарубин, забыв, что он в норе, и ударившись об осыпающийся потолок, толкнулся боком во что-то твердое, от боли все померкнуло у него в глазах.

Мансуров, стоя с протянутой трубкой, нашарил майора в норке.

— Да лежите вы, лежите. Полковник ждет. Майор принял холодными, дрожащими пальцами железную трубку с деревянной ручкой и на лету, на ходу уяснил: старый трофейный аппарат, — и, прежде чем нажать на клапан, прокашлялся и с неловкой мужицкой хрипотцой начал:

— Ну, Мансуров! Ну, дорогой Иван, если выживем…

— Да что там? — отмахнулся Мансуров, — скорее говорите.

Полковник Бескапустин, как выяснилось, был от ручья не так уж и далеко, и от немцев близко — метрах в двухстах всего. Сплошной линии обороны нет, да в этих оврагах ее и не будет. Сперва немцы забрасывали штаб гранатами. Комполка с остатками штаба устроился на глиняном уступе — и Бог миловал — ни одной гранаты на уступ не залетело, все скатываются на дно оврага, там и рвутся. Но по оврагам валом валит переплавляющееся войско, немцы боятся застрять на берегу, остаться в тылу, отходят — к утру будет легче.

— Словом, медведя поймали. Надо бы шкуру делить, да он не пускает, — мрачно пошутил комполка Бескапустин.

Майор Зарубин доложил о себе. Оказалось, что находится он с артиллеристами и подсоединившимися к ним пехотинцами, если смотреть от реки, — на самом краю правого фланга плацдарма и, вероятно, его-то правый фланг в первую очередь и шуранут немцы — чтобы не дать расширяться плацдарму за речку Черевинку. Пехоту же, просачивающуюся по оврагам, немцы всерьез не принимают, знают, что с боеприпасами там жидко, и вообще, немцы, кажется, собою довольны — считают переправу сорванной и скинуть в воду жиденькие соединения русских собираются, как только отдохнут-передохнут.

— А нам бы баркас, барка-ас к берегу просунуть! — простонал Бескапустин. — В нем наше спасение. Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно.

— Ваш сержант Бога молит о тумане, коммунист, между прочим, и потому его молитва действенна.

— Ой, майор, майор, шуточки твои… Как бы тебя на ту сторону отправить?

— Это исключено. У меня в полку нет заместителя, я сам заместитель. Да и плыть не на чем. Говорите наметки на карте. Сигналы ракет те же? Я должен знать, где сейчас наши.

Бескапустин передал данные, в заключение фукнул носом:

— Как это не на чем плыть? У вас же лодка!

— О, Господи! Лодка! Посмотрели бы на нее…

— А, между прочим, почти все наши славяне о ней знают — это такая им моральная поддержка.

— Ладно, полковник. Как Щусь? Как его группа?

— Там все в порядке. Там задача выполняется четко. В это время в том месте, откуда говорил полковник Бескапустин, поднялась пальба, сыпучая, автоматная. Но щелкали и из пистолета, ахнул карабин.

— Стоп! Не стрелять! Что за банда? — забыв отпустить клапан трубки телефона, заорал Бескапустин, — фашистов тешите? Темно! Темно! А нам светло?! Докладывайте!

Телефон замолк. Не отпуская трубки от уха, майор попросил развернуть ему карту и посветить фонариком. И хотя свет фонарика только мелькнул, тут же на берег с шипением и воем

прилетело несколько мелких мин, часть из них разорвалась в воде, пара, по-поросячьи взвизгнув, жахнула на камнях, и какому-то стрелку до крови рассекло лицо каменной крошкой, работать-то все равно надо было.

— Осторожнее с огнем, робяты! — предупредил Финифатьев. — Не сердите уж его, окаянного. Он и без того злобнее крысы...

Неловко ворочаясь в щели, тыча пляшущим циркулем в намокшую карту, майор производил расчеты. Мансуров с тревогой наблюдал, как подсыхает, вроде бы меньше делается лицо майора, под глазами, над верхней губой и у ноздрей, на лице уже и земля выступает.

"Пропадает Александр Васильевич... пропадет, если застрянем здесь..."

Набросав цифры расчетов на розовенькой, тоже мокрой бумажке, майор бессильно отвалился на земляную стену щекой.

— Вызывай наших, Мансуров. Я пока отдышусь маленько.

Но, удивительное дело, как только майор заговорил с начальником штаба полка Понайотовым, начал передавать координаты, делать наметки переднего края, голос его окреп, все команды были кратки, деловиты, веками отработанные артиллерией, и после, когда Зарубин говорил с командирами батарей своего полка и с командирами девятой бригады, заказывая артналет на утро, чтобы под прикрытием его утащить с отмели баркас, то и вовсе не угадать было, что он едва живой. Но комбриг девятой хорошо знал Зарубина и, когда кончился официальный разговор, спросил:

— Тяжело тебе, Александр Васильевич?

Майор Зарубин насупился, запокашливал:

— Всем здесь тяжело. Извините, мне срочно с хозяином надо связаться. Чего-то у них там стряслось...

— Все мы тут не спим, все переживаем за вас.

Командир девятой бригады не был сентиментальным человеком, на нежности вообще не гораздый, и если уж повело его на такое...

— Спасибо, спасибо! — перебил комбрига Зарубин. — Всем спасибо! Если бы не артиллерия... — майор знал, что во всех дивизионах, на всех батареях сейчас телефонисты сняли трубки с голов, нажали на клапаны: все бойцы и командиры бригады слушали с плацдарма тихий голос заместителя командира артполка, радуясь, что он жив, что живы хоть и не все, артиллеристы-управленцы исправно ведут свое дело, держатся за клочок родной земли за рекой, с которого, может быть, и начнется окончательный разгром врага. Если он тут не удержится, то негде ему зацепиться, до самой до Польши, до реки Вислы не будет больше таких могучих водных преград.

— Слушай! — возбужденно закричал Бескапустин Зарубину. — Все ты, в общем, правильно наметил, остальное уточним утром. Сейчас главное — не бродить и по своим не стрелять. Твои художники-пушкари напали тут на нас! И чуть не перестреляли...

— Какие пушкари?

— Да твои. Они, брат, навоевались досыта, у немцев в тылу были, все тебя искали. Во, нюх! Один из них как узнал, где ты и что ранен, чуть было не зарыдал...

Ох и не любил майор Зарубин весельчаков и говорунов, да еще когда не к разу и не к месту. Происходя из володимирских богомазов, обожал все вокруг тихое, сосредоточенное, благостное и оттого не совсем вежливо оборвал полковника:

— Дайте, пожалуйста, старшего.

— Даю, даю. Вон руку тянет, дрожмя дрожит, художник. Больше фашиста тебя боится.

"Да что это с ним? — снова поморщился майор Зарубин, слушая трескотню комполка, — отчего это он взвинчен так? Уж не беду ли чует?"

— Товарищ майор! — ликующим голосом, твердо напирая на "щ", закричал лейтенант Боровиков — командир взвода управления артполка, правая рука майора. — А мы думали...

— Меня мало интересует, что вы там думали, — сухо заметил Зарубин, — немедленно явиться сюда! Вычислитель жив?

— Жив, жив! А мы, понимаешь, ищем, ищем...

— Прекратить болтовню, берегом к устью речки! Бегом! Слышите — бегом! И не палите — здесь везде народ.

— Есть! Есть, товарищ майор!

"Ишь, восторженный беглец! — усмехнулся майор, и внутри у него потеплело. — Так радехонек, что и строгости не чует..." — Навстречу артиллеристам был выслан все тот же неизносимый, верткий и башковитый вояка Мансуров. — "Чего доброго, попадут не под немецкий, так под наш пулемет..."

— Искать штаб полка надо с берега. Заходите в устье каждого оврага. Далеко от берега штаб уйти не должен — времени не было, да и на немцев в оврагах немудрено нарваться.

"Резонно!" — хотел поддержать майора Мансуров. Майор, видать, забыл, что сержант побывал уже у Бескапустина. Но когда тут разбираться. Втроем они побежали, заныряли от взрывов по берегу, густо и бестолково населенному, — переправлялись все новые и новые подразделения, толкались, искали друг друга, падали под пулями. Артиллерийские снаряды со стороны немцев на берег почти не попадали, большей частью рвались в воде, оплюхивая берег холодными ворохами, грязью и каменьями. Но минометы клали мины сплошь по цели — в людскую гущу.

— Уходите из-под огня в овраги. В овраги уходите! — не выдержав, закричал Мансуров, зверьком скользя под самым навесом яра. И по берегу эхом повторилось: в овраги, в овраги — суда! Суда! — звали верные помощники Мансурова, с ночи к нему прилепившиеся, — вояки они были уже тертые, кричали вновь переправившимся бойцам наметом проходить густо простреливаемые, широкозевые, дымящиеся устья оврагов, в расщелье одного, совсем и неглубокого овражка запали: — суда, суда, товарищ сержант! — позвали и передали из рук в руки телефонный провод. — "Может, немецкий?" — не веря в удачу, засомневался Мансуров.

— Щас узнаем, — прошептал один и, чуть посунувшись, громче позвал: — Эй, постовой! Есть ты тута?

— Е-э-эсь! Да не стреляйте! Не стреляйте! Что это за беда? Со всех сторон все палят. Кто такие?

— Бескапустинцы!

— Тогда валяйте сюда. Да не стреляйте, говорю, перемать вашу! — ворчал в углублении оврага дежурный. — Головы поднять не дают, кроют и кроют... — И дальше, куда-то в притемненный закоулок оврага доложил; — Товарищ полковник, тут снова наши причапали!

День второй

На утре, пока еще не взошло солнце, бескапустинцы волокли по мелкой протоке, можно сказать, по жидкой грязце, продырявленный, щепой ощерившийся баркас. Немцы вслепую били по протоке и по острову из минометов. На острове все еще чадно, удушливо дымилась земля, тлели в золе корешки и кучами желтели треснувшие от огня, изорванные трупы людей.

"О, Господи, Господи!" — занес Финифатьев руку для крестного знамения и не донес, опять вспомнил, что партия не велит ему креститься ни при каких обстоятельствах.

— И экое вот люди с людями утворяют? — угрюмо молвил пожилой солдат Ероха. Он не успел кончить фразу: и баркас, и бригаду солдат-бурлаков накрыло минами из закрепившегося ночью за бугром высоты Сто пламя изрыгнувшего шестиствольного миномета. Бурлаки-солдаты попадали в грязь, под борт баркаса, дождались, пока перестанет шлепаться сверху поднятая в воздух жижа и почти по воздуху понесли полуразбитую посудину, из которой в пробоины лилась мутная вода. В грязи осталось трое только что убитых солдат. Один солдат, катаясь в грязи, пытался звать: "Братцы! Братцы..."

Задернули баркас под яр, передохнули. Допотопной, ослизлой тварью из протоки на берег лез раненый. На камнях сморился. Подтащили его в затень, засунули в пустую земляную ячейку — может, какие санитары подберут. Да что-то не видно санитаров на плацдарме и не слышно никакой медицины. Ни политруков, ни агитаторов, никакой шелупени не видно и не слышно. Бойцы взняли на горбы по ящику с патронами и гранатами, мокрый мешок с хлебом, оставив постового возле баркаса, поволоклись к месторасположению штаба полка. Комполка Авдей Кондратьевич Бескапустин недавно прикорнул, но его разбудили. Узнав о баркасе, обрадовался.

— Скорее, скорее перетаскивать груз, иначе разнюхают, навалятся и все добро растащат. Всякие тут художники отираются. Часть боеприпасов и немного хлеба напрямки к Зарубину.

— А где напарник раненого Ерохи? Родионом, кажись, зовут?

Родька, с разбитым, черно провалившимся ртом, со слипшимися от крови губами, немо откликнулся. Ему обсказали о друге его, Ерохе, и он увязался с командой носить боеприпасы. Вынул Ерофея из норы. Солдат уже начал остывать. Родион обмыл и вытер тряпицей лицо погибшего напарника, руками прикопал его в раскрошенных взрывами комках глины. Почуяв на берегу возню и шлепанье, немцы все плотнее и плотнее к навесу яра пускали мины и, не переставая, лупили в протоку, в мертвый остров. Одной, совсем уж шалой миной взрыхлило и откинуло сухую глину на прикопанном солдате, обнажило грязное, мокрое туловище Ерохи. Родька покачал головой, взвалил на горб угластый ящик с патронами и двинулся следом за удаляющейся командой.

По берегу, где кучно, где вразброс, валялись сотни трупов, иные разорваны в клочья, иные

вроде бы прикорнули меж камешков, в щетине осоки. Что тут мог значить один упокоенный солдатик? Он-то уже не знает — похоронен, прибран ли — ничего не чувствует, не ведает, не боится.

x x x

На восходе солнца из тумана выплыла тихая лодка. В ней были две девки: одна на корме с веслом, другая на лопашнах. Лодка пристала в устье речки Черевинки, девки представились; Неля и Фая, приплыли за ранеными. Могут взять пятерых. Велено в первую очередь погрузить майора Зарубина. Приказ самого генерала Лахонина.

— Где он есть, этот Зарубин?

Фая и Неля очень боялись, что из медпункта, развернутого на противоположном берегу, славяне все разворуют, да приказ есть приказ — велено раненого взять, значит, надо брать.

— Здесь я, здесь, — отозвался майор из ниши. — Грузите раненых, девушки, самых тяжелых берите. А я еще ничего, да и замениться некем. Я подожду.

— Ну, как знаете, — сказала Нелька, сидя на корточках под яром, покуривая толсто скрученную цигарку.

У лодки распоряжалась Фая — прибранная, черноглазая девушка в побитых, но все равно красиво облегающих икры сапожках. Возле нее уже хлопотал, помогал не помогал, но балаболил: "У бар бороды не бывает", — Леха Булдаков, однако скоро убедился, что не будет ему здесь успеху, подсел к Нельке:

— Дала бы ты мне закурить, подруга, а то так жрать хочется, аж ночевать негде... — Нелька, наблюдая одним глазом за тем, что делается возле лодки, другим прошлась по Лехе — наглая, широкоротая рожа, нос картофелиной рос да ножкой гриба подосиновика оборотился, еще и молотили на этой роже чего-то, скорее всего бобы. Но что-то есть в этом ухаре и привлекательное, располагающее, да разбираться недосуг. Нелька сунула пластмассовую немецкую коробку с махоркой Булдакову: "Отсыпь", — и объявила, что может взять еще одного человека, если он управится на гребях и заменит ее. Гребцов нашлось более, чем надо, — брели, ползли, ковыляли.

— Нужен мужик покрепче! — властно сказала Нелька и, сдернув с себя плащ-палатку, укрыла ею раненых. Сделалось видно теплую безрукавку, из-под которой торчали погоны с двумя звездочками и кончик побелевшей кожаной кобуры.

"Лейтенант!" — отметил Леха Булдаков и с сожалением вспомнил, что лейтенанта еще никогда в жизни не пробовал и попробует ли, на этом плацдарме положительно не решишь.

— Так, значит, не поплывете, товарищ майор? — занеся ногу над бортом лодки, переспросила Нелька и, услышав что-то неразборчивое, мимоходно бросила: — Ну, как знаете! — и под нос себе: — герой, едрена мать. А ну, кавалер, толкни! — приказала она Булдакову.

"Во, баба! Во, бомбандир!.. Ну нету время поближе познакомиться" — наваливаясь на лодку, мотал головой Булдаков.

Как только тяжело груженная лодка зашорохтела по камешнику, из поймы ручья ударил пулемет, да, слава Богу, выше и дальше. Ни Фая на корме, ни Нелька, державшая на коленях раненного в голову лейтенанта, из тех еще, что переправились далеким-далеким днем со

взводом, — даже не шевельнулись, не поклонились визгнувшим над ними пулям. Эти девицы видали виды, пережили кое-что и похлеще пулеметного огня.

— Не чеши муде-то, не чеши, — проворчал из-под земли Финифатьев, — девкам плавать да плавать, пулемет мешат. Што как заденет?

— Де-эд, я один на фронте? Хер с им, с тем пулеметом!

— Хер с им, хер с им! А сам перед ей хвост распустил: "У бар бороды не бывает, у бар бороды не бывает...".

— И не зря! Табачком вот разжился! Она б тут на часок обопнулась, дак и ишшо че-нить выпросил бы.

— Ох, ох! Так уж бы вот и выпросил?! Вопше-то про тебя, видать, сказано, хоть ты и беспартейнай: "Нет таких крепостей, каки бы большевики не взяли!" Давай суды табак, в кисет ссыплю. А то выжрешь весь и станешь бычки по берегу собирать.

— Насобираешь тута! Де-эд, в кишках вой — жрать охота.

— А поди, поди по речке, рыбки пособирай, яблочков, пулемет-то попутно и засечешь.

— Де-эд, а убьют.

— Ково-о-о? Тебя? Не смеши-ко ты ие, она и так смешна.

— Де-эд, ково ие-то, поясни.

— Я те, маньдюку, поясню, я те поясню. Рыбки насбираш, сварим, пока туман, у меня сольца припрятана.

— Э-эх, де-эд, дед, никакого в тебе сочувствия. Сплотатор ты, хоть и коммунист. — С этими словами Булдаков, закинув винтовку на плечо, проворно юркнул за выступ яра. Оказавшись в речке Черевинке, зорко огляделся, еще бросок сделал — и никто бы сейчас не узнал в этом, еще минуту назад ваньку валявшем, оболтусе, лениво препиравшемся со своим напарником, того парня, что вроде бы и в росте убавился и кошачьи-гибок, стремителен сделался.

Через полчаса он вернулся, бросил вещмешок к ногам Финифатьева, упал спиной к осыпи, выпустил дух: "У-уффф! Ну, война..."

В мешке Финифатьев обнаружил все ту же падалицу груш и яблок, что реденько выкатывала Черевинка к устью, и сразу тогда бросалось несколько человек за теми яблочками, и не одного человека уж убило. В кармашке рюкзака пригоршни две малявок и усачей было, красноперый голавлик тут выглядел великаном. Среди падалицы обнаружилось даже несколько картофелин, Финифатьев возликовал:

— Олех! А картошки-те где взял? Бог послал, аль по огородам лазал?

— Бог, Бог... Он пошлет!.. Ручей этот вершиной задевает край деревни. Бомбами из огородов закинуло плоды. Я подобрал. А пулемет не нашел. Молчит, падлюка! Нажрался и спит, небось. А тут голодный воюй и промышляй, лодка приплывет — палить начнет. Ты вот командир боевой, нет, чтобы шумнуть тута, немца потревожить, залез в землю и бздишь горохом.

— Хорошо бы горохом-то — фриц бы сразу отступил. Финифатьев гоношился под яром, огонек

разводил, препирался с Булгаковым — добытчик будь здоров — этакого на всем фронте поискать! Но уж богохульник, но уж грубиян!.. "Дак че с ево возьмешь? Он с детства без догляду, родом аж из самой-самой холоднющей Сибири, из Покровки какой-то, где, судя по всему, одни только каторжанцы и арканники живут. Арканники — это самые-самые страшенные смертоубивцы, оне веревку-аркан на человека набросят, на лед, в темь его уволокут, разденут догола и в прорубь спустят... Спаси и помилуй, Господи! Что и за земля, что и за народ? Вот опять Бога всуе помянул. Часто Он тут вспоминается. А эть коммунист, коммунист, будь я проклятой. Ну, да Мусенка поблизости нету, и все вон потихоньку крестятся да шопчут божецкое. Ночью, на воде кого звали-кликали? Мусенка? Партия, спаси! А-а! То-то и оно-то..."

Как только была дана связь из передового батальона, к речке пришел полковник Бескапустин, за ночь покрывшийся колкой щетиной, не отчистившийся еще от грязи, с глазами, провалившимися в черно темнеющие глазницы, толстые губы доброго человека у него обметало красной сыпью.

— Чего же не уплыл-то? — упрекнул комполка Зарубина, тот слабо отмахнулся, ровно сказав: — "Что же вы-то не уплыли? Вам же в госпиталь пора — давно уж созрели".

Уточнили месторасположение батальона Щуся, данные разведки соседних полков и сникли горестно командиры. Выходило: завоевали они, отбили у противника около пяти километров берега в ширину и до километра в глубину. Группа Щуся не в счет, она пока и знаку не должна подавать, где и сколько ее есть. На сие территориальное завоевание потратили доблестные войска десятки тысяч тонн боеприпасов, горючего, не считая урона в людях, — их привыкли и в сводках числить в последнюю очередь — народу в России еще много, сори, мори, истребляй его — все шевелится. А ведь и на левом берегу от бомбежек, артиллерийских снарядов и минометов потери есть, и немалые. По грубым подсчетам, потеряли при переправе тысяч двадцать убитыми, утонувшими, ранеными. Потери и предполагались большие, но не такие все же ошеломляющие.

— И это первый плацдарм на Великой реке. Какова же цена других будет? — выдохнул Авдей Кондратьевич, потянув выгоревшую трубку. Она пусто посипывала. Тут как тут возник Финифатьев, дал командиру полка махорки набить трубку, принес котелок и две ложки. В похлебайке из рыбной мелочи белели картошинки.

— Вот те на! — удивился полковник, — и в самом деле солдат наш суп из топора спроворил! Ты поешь, поешь горяченького, Алексан Васильевич, поешь да и отправляйся в укрытие. Я ел, ел, не беспокойся. И непременно эвакуируйся, непременно. Я думаю, днем нам тут дадут жару!..

— Сегодня не жар, сегодня пар будет, жар с завтрашнего дня начнется, — уверенно объявил Зарубин, здоровым боком припав к котелку, и боясь показаться жадным, все равно частил ложкой, черпал горяченькое от полынного дыма горьковатое варево, впрочем, весьма и весьма наваристое и вкусное.

Лешка Шестаков выкатился из норки, справил нужду под насыпью яра, пригреб за собою песком, вздумал умыться, притащился к воде и заметил, что вся осока глядится розовеньким гребешком, в корнях буро-грязная, осклизлая. Не сразу, но догадался: обсохла закровенелая вода. "Ах ты, ах ты!" — выдохнул Лешка и пригоршнями побросал на лицо воды, колкой от холода, утираясь подолом заголенной рубахи, оглядывал изгиб берега, до островка, сделавшегося совсем плоским, низким: все на нем сшиблено, все выгорело.

Призраками бродили, наклонялись, что-то собирая по урезу воды солдатики — рыбу, щепки?

Скорей всего и то, и другое. Снова померещилось что-то знакомое в облике, фигуре ли близко бродившего солдата.

— Феликс? Боярчик?

Солдат приостановился, вглядываясь в окликнувшего его человека.

— Я. А вы кто?

Спустя небольшое время соседи-штрафники, Феликс Боярчик и Тимофей Назарович Сабельников, были гостями войска, занявшего удобную оборону в устье речки Черевинки.

Тимофей Назарович, приговаривая обычное, докторское: "Ну-с, ну-с, молодой человек, посмотрим, что тут у нас?" — перевязывал раненых, вызнавших по солдатскому телеграфу, что именно сюда, к устью речки, приходила санитарная лодка и, может быть, еще придет — вот и скопились здесь.

Осмотрев майора Зарубина и сказав, что опасного пока ничего нет, однако и тянуть нельзя — в полости скапливается жидкость, — Сабельников перевязал его свежими бинтами, не выбросив, однако, и окровавленные, и солдатам не велел выбрасывать — если, мол, бинты прополоскать в холодной воде — пригодятся.

Видя, что в устье Черевинки копошится уж многовато народишку, старший тут на сегодня майор Зарубин велел здоровым солдатам брать лопаты и закапываться, раненых укрывать, потому как только сойдет с реки туман, непременно налетит "рама", все тут высмотрит и вызовет самолеты.

Солдаты не очень споро орудовали лопатами, по звяку лопат о камень заключил майор. Из побережного кустарника бил и бил неугомонный пулемет. Леха Булдаков, работавший в паре со своими ребятами, Шестаковым и Боярчиком, точнее делавший вид, что он работает, говорил сержанту Финифатьеву, что, если тот не засечет фрицевского пулемета, он его окончательно презреет, и добавлял, пугая напарника, — "у бар бороды не бывает", и все жаловался на слабость, на головокружение из-за отсутствия жратвы. Что ему тот супец из малявок? Он на Енисее, когда на "Марии Ульяновой" работал, после загрузки дров тайменя на пуд за раз уписывал, стерляди, да еще чуток подкопченной, да ежели под водочку — так целую связку за один присест.

— Мели, Емеля — твоя неделя! — отмахивался от него Финифатьев.

— Н-ну, Боярчик! Н-ну, Феликс! В штрафной? — все время удивлялся Булдаков на гостя. — Ето, бля, нарошно не придумать! Ето, бля, цельный анекдот. И не охраняют, а?

— А что нас охранять? Зачем? Охрана осталась на левом берегу. Там безопасней.

— Начит, и не охраняют, и не кормют? Так воюй! Во блядство! — Булдаков в который уж раз требовал, чтоб Феликс рассказал, как это он исхитрился загреметь в штрафняк?

— Потом, потом, — мелко моргая и беспрестанно кивая головой, отмахивался Боярчик и, словно удивляясь себе, озадачивая напарников по работе, выдыхал: — Под колесо я попал.

— Под какое колесо?

Шорохов имел свой интерес, прилип к старому человеку с вопросом:

— Скажи, доктор, умная голова, вот дрочить вредно или нет?

— Н-ну, если хочется и есть сила в руках…

— Держи лапу! — Шорохов от всего сердца пожал Сабельникову руку. — А то все везде: кар-кар-кар, кар-кар-кар, вредно и постыдно, вредно и постыдно! А где ж школьнику, солдату и зэку удовлетворение добыть, коли у них для утехи во всей необъятной стране одна шмара — Дунька Кулакова.

— Поразительно! — хмыкнул Сабельников. — Здесь, на плацдарме, этакая странная озабоченность, если только этот тип не придуривается, мы и в самом деле народ непобедимый.

— Он, этот шалопай, я думаю, хотел вас подразнить и публику распотешить, — сказал Боярчик.

— Да уж весельчак… Феликс, вы с женщиной успели полюбиться?

— А? С женщиной? Я с Соней — жена это моя. А-а, почему вы спросили?..

— Да вот видишь, солдат озабочен вопросами секса, все другие — поесть да поспать бы, а он, видите… разнообразия в жизни ищет…

— Этот человек без особых претензий к миру — водка, баба, конвой помилосердней. У меня же одна забота: скорее бы умереть.

— Грех это, юноша, очень большой грех — желать себе смерти.

— А жить во грехе? В содоме? В сраме? Среди иуд?

— Чем же это, юноша, вас так подшибло? Что с вами произошло?

— Почему только со мной? А с вами? А с тысячами. этих вон, — Феликс кивнул на шевелящихся вдоль берега, во взбитой пене мертвецов.

— Ах, юноша, юноша! Зачем вы углубляетесь в такие вопросы? Это губительно для рассудка. Что, если бы мы, доктора, да еще к тому же фронтовые хирурги, сутками роющиеся в человеческом мясе, начали задумываться, анализировать.

— А вы не устали?

— Я не имею права уставать.

— А я вот сломался, разом и навсегда.

— И хочется забыться разом и навсегда?

— Так, именно так.

Сабельников выдохнул протяжно, молчал, не шевелясь.

— Бог и природа предоставили человеку одну-единственную возможность явиться к жизни, и со дня сотворения мира способ его рождения не изменялся. А вот сам человек устремленным своим разумом придумал тысячи способов уничтожить жизнь и достиг в этом такого разнообразия и совершенства! Неужели вам не хочется попробовать обмануть смерть, обойти ее, сделаться хитрее?.. Право слово, жизнь стоит того, чтобы за нее побороться.

— За такую вот?

— И за эту. За эпизод жизни, после чего повысится цена и усилится красота настоящей жизни.

— А она есть, настоящая-то?

— Как понимать настоящее. Есть, конечно.

В это время артиллерийский разведчик, понаблюдавший в стереотрубу за надоедливым немецким пулеметом, доложил Зарубину, что в пойме ручья, за поворотом, — не один пулемет, там хорошо и хитро оборудованное гнездо из трех, почти беспрерывно работающих пулеметов. И вообще по Черевинке идет подозрительное оживление. В пойме ее накапливается противник, копает, оборудуется. С тревогой глянув на реку, по которой пулеметы почти беспрестанно выстрачивали длинные швы, Зарубин, сложив карту на песке, прилег на бок. Топограф достал изпод яра планшет — и началась работа, непонятная пехоте, вызывающая у них недоверчивое почтение: чего тут мерять циркулем? Чего чертить? Прицельсяя из пушки и лупи.

— Ага, лучше всего через дуло, — насмехались высокомерные артиллеристы. — Глянул в дыру и дуй!

Финифатьев, допущенный в ячейку наблюдателей — глянуть хоть разок в "ентот прибор", взвизгивал:

— Все как есть, знатко! Ну все как есть! — И, сраженно утихая, шепотом произнес: фри-ы-ыц! Живой! — и торопливо зачастил: — Олех, Олех, Булдаков! Фриц стоит, курва така, руки в боки и на меня смотрит.

— Н-ну, дед, ну и жопа же ты! — втыкая в землю лопату, заругался Булдаков. — Это тебе работать неохота, навык в парторгах придуриваться. — Но, глянув в стереотрубу, Леха, все на свете видавший, все знавший, тоже сраженно сказал:

— Правда, фриц! Он че, офонарел? Я ж его… Винтовку мне, дед, винтовку…

Но в это время ударили за рекой орудия — и пойму ручья начало месить взрывами, вырывать из нее кусты, ронять ветлы, осыпать остатки грушек и яблочек с кривых деревьев. И в это же время из редеющего тумана приплыла лодка. На корме с веслом сидела Нелька, лопашнами гребли два солдатика, и еще трое военных, держась за борта лодки, опасливо смотрели на приближающийся берег. Четверо бойцов, перепутавших берега во тьме, счастливо не попавших под огонь заградотряда, возвращались в свою часть. Пятым оказался командир огневого взвода десятой батареи, лейтенант Бабинцев — его послали заменить майора Зарубина.

— Старше и умнее никого не нашлось? — раздраженно проворчал Зарубин и торопил Нельку: — Побыстрее, побыстрее, товарищ военфельдшер, загружайтесь, и теперь уж до ночи. Вот-вот налетят самолеты. Бабинцев, остаетесь здесь. Идите к наблюдателям. Окапывайтесь.

Нелька, вместе с бойцами приплавившая два мешка хлеба, полную противогазную сумку махорки и ящик с гранатами, ядовито заметила, так, чтобы слышно было по берегу:

— Старшие все, товарищ майор, очень заняты. Агитируют, постановляют, заседают, планируют, сюда им плыть некогда. — И пошла к лодке в обнимку с раненным в ногу командиром пулеметного взвода. Он мог управляться на лопашнах. Устраивая на беседку раненого, Нелька обернулась и добавила: — Я вас, товарищ майор, следующим рейсом уплавлю. Силком. Неча тыловых пердунов тешить.

Майор Зарубин поморщился: этакое выражение, да еще для женщины, да еще такой симпатичной, пусть и войной подношенной, он воспринимал с удручением.

— Ладно, ладно, видно будет…

Леха же Булдаков, опять ко времени и разу, оказался у лодки, опять навалился на нее, с грохотом и скрипом столкнул, и на этот раз уже жалобно произнес;

— Эй, подруга! Приплавь обутку сорок седьмого размера. Видишь, каков я, — и показал на стоптанные задники ботинок, снятых с убитого солдата. Наполовину всунув ступню в обутки, этот бухтило, как про себя нарекла его Нелька, ковылял по берегу. Говорили, что во время переправы лишился казенной обуви и на первых порах воевал вообще босиком. О том, что сдал под расписку старшине Бикбулатову свои редкостные обутки, Булдаков, на всякий случай, не распространялся — украдут, на такую вещь кто угодно обзарится.

Снаряды непрерывно шелестели над головой, падали в дымом наполнившийся распадок Черевинки. Пулеметы не работали, и, праздно положив кормовое весло на колени, Нелька какое-то время не гребла, сплывая по течению.

— Ладно, земеля, — отчетливо молвила она. — Добуду я тебе прохаря по лапе.

— И выпить, и пожрать!

— Поплыла я, поплыла, а то еще чего-нибудь попросишь! — засмеялась Нелька, разворачивая лодку носом на течение.

Среди возвращенных с левого берега бойцов, вялых, молчаливых, подавленных, один оказался из отделения связи щусевского батальона. Звали его Пашей. Родион ему обрадовался и сказал, что это напарник его, старший телефонист, и пущай им разрешат сходить к острову, похоронить как следует Ерофея.

Но налетели самолеты, пошли на круг, через реку, выставив лапищи, так вот вроде и готовые тебя сцапать за шкирку, поднять кверху, тряхнуть и бросить. Небо, едва просвеченное солнцем, продирающимся сквозь полог копоти и пыли, наполнилось гулом моторов, трещаньем пулеметов и аханьем зениток. Бомбежка была пробная, скоротечная и малоубойная. Ни одного самолета зенитки не сбили, и народ ругался повсюду: столько боеприпасов без толку сожгли! На берег бомб упало совсем мало, но в реку и в глубь берега валилось бомб изрядно. Несколько штук угодило гостинцем к немцам — фрицы обиженно защелкали красными ракетами, обозначая свое местонахождение.

Майор Зарубин подумал: со временем немцы сообразят бомбить плацдарм, заходя не с реки, а пикируя вдоль берега, вот тогда начнется страшное дело — обваливающимся яром будет давить людей, будто мышат в норках.

Трупы на берегу, которые зарыло, которые грязью и водой заплескало, иные воздушной волной откатило в реку, одежонку, какая была, поснимали с мертвых живые. Мертвые, кто в кальсонах, кто в драной рубахе, кто и нагишом валялись по земле, полоскались в воде. С лица Ерофея снесло платочек, в глазницы и в приоткрытый рот насыпалось ему земного праху. Раздеть его донага не успели или не захотели — грязен больно, ботинки, однако, сняли. Что ж делать-то? Полно народу на плацдарме разутого, раздетого, надо как-то прибирать себя, утепляться. По фронту ходила, точнее кралась тайно, жуткая песня:

Мой товарищ, в смертельной агонии

Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки,
Нам еще наступать предстоит...

Щель выкопали неглубокую, но зато нарвали травы и устелили ее дно. Родион в комках глины нашел лоскуток, которым пользовался как носовым платком, снова закрыл им лицо товарища, с которым они за ночь пережили несколько смертей. И вот: один живет дальше, или существует, другой успокоился. И, пожалуй, ладно сделал. Не больно ему теперь, не страшно, ни перед кем не виноват.

Родион и Ерофей сошлись, как и большинство солдат сходилось, — в паре на котелок. Еще в призывной команде сошлись и определены были в учебной роте во взвод связи. Так назначено было старшими, сами-то они ничего не выбирали, ничем и никем не распоряжались. Подходил командир, тыкал пальцем в грудь; ты — туда, ты — сюда — вся недолга. Ерофей был из смоленских, почти уж белорусских мест, мешался у него говор. Его беззлобно передразнивали: "Бульба дробна, а дурак большой". Родион из вятских, мастеровых, и его тоже передразнивали: "Ложку-те, едрена-те, взял ли драчону-те хлебать?!" Родион двадцать пятого года рождения, призывался к сроку. Ерофей был гораздо старше, но по животу его браковали — кровью марается. Потратив кадровую армию, перевели правители по России всякий народ, и вот пришла нужда гнилобрюхих, хромых, косых и даже припадочных загребать в боевые ряды. Ерофей на судьбу не роптал, подержится за живот, поохает маленько и дальше служит — голова у него сметливая, память хорошая, руки на любое дело годные. Родион, безоговорочно приняв старшинство напарника, во всем ему подчинялся, перенимал от него все полезное для жизни и работы.

На берег реки они прибыли с пополнением, угодили в стрелковый полк, которым командовал полковник Бескапустин, и оттуда уже были назначены в боевую группу капитана Щуся, который влил их или соединил со своим отделением связи, поставив короткую, но точную задачу: "Связь должна быть на другом берегу!"

Для этого, для связи или катушек, телефонных аппаратов и прочей трахамудрии, был им выделен отдельный плотик — два бруса, связанные проводами, обмотками, бечевкой. Ерофей, помнится, поглядел на это сооружение, на другой берег взгляд перенес и вздохнул:

— Легко сказка сказывается, да вот как дело-то сделается...

Поначалу все шло как надо, планово. Они забрели в воду. Ерофей, Родион, Паша, командир отделения Еранцев и приблатненный мужик Шорохов, который еще на берегу предупредил: "Кто полезет на салик — прирежу!.."

Таким вот боевым связистским составом и плыли чуть позади людской, в воде кипящей каши, поталкивали свои драгоценные брусья, огрузшие под катушками со связью, под оружием и всяким барахлом. Шли, шли, доставая вытянутыми пальцами дно, и разом всплыли, погреблись руками, наперебой успокаивая друг друга: "Ниче, ниче, уж недалече..." Сверху осветили — и началось! На плотик насела орущая куча людей, опрокинула его вниз грузом, разметала связистов. Хватаясь друг за друга, люди уходили под воду, бурлили, толкались. Издали доносились властные крики: "...р-р-ре-од! р-ре-од, р-рре-о-од!" — связисты какое-то время

узнавали голоса своих командиров, пытались правиться на них, но завертело, закружило, то свет, то тьма, то промельк неба, то нездешний вроде бы свет, взлетающий снопом в занебье и огненным ошметьем опадающий вниз, все заполняющий вопль: "А-а-а-а-а!" Еранцев, Паша и Шорохов где-то потерялись, командир куда-то исчез. Из последних сил, из последних возможностей держась за плотик, ускользающий во тьму, взмывающий вверх, связисты тоже орали, но не слышали себя. Катушки со связью отцепились, утонули в реке, плотик, сделавшийся ловушкой, затапливало от саранчой на него наседающих людей. Где-то, в каком-то месте плотик еще раз опрокинулся, накрыв собою людей, и тихо, голо всплывал, белея крестиками штукатурных лучинок, но снова и снова человеческое месиво облепляло его, снова огонь или свет преисподней и крик беспредельного пространства, крик покинутой живой души, последний, безответный зов.

Ерофей все время поддерживал изрыгающего крик и воду Родиона и радовался крику паренька, присутствию его — раз напарник жив и он слышит его, дотрагивается до него, стало быть, и сам он еще жив, глотает воздух, забитый тошнотной гарью, вроде сама вода уже горит. И пусть окольцованы огнем, пусть... но двое — есть двое.

— Родя! Роденька! — исторгался голос Ерофея, и младший понимал: держись, держись меня, мы живы, еще живы.

На них наплыл тонущий понтон, из которого, утробно булькая, выходил воздух, кренилась пушчонка, скатываясь к закруглению борта, ладилась упасть в воду и отчего-то не падала. За свертывающийся, шипящий, буркотящий понтон и даже за пушечку уцепившись, копошились люди. И когда понтон, став на ребро и сронив, будто серьгу с уха, в воду пушку, все же опрокинулся и накрыл уже сморщенной, пустой резиной людское месиво, Ерофей и Родион обрадовались: не обзарились, не ухватились за эту гиблую плавучую тушу. Их настигли, хватали из-под низу, из воды. "Заныривай!" — тонко вопил Ерофей и тянул за собой Родиона. Выбились наверх, устало погреблись, слыша отдаленное хрипение, бульканье, вопли — на их скудном плотике боролись за жизнь и погибали обреченные люди.

Но их Бог был сегодня с ними — не зря они звали Его, то оба разом, то попеременке. И услышал Он их, услышал, Милостивец, послал им какой-то длинный, пулями избитый, ощепинами ощетинившийся столб. Пловцы, не потерявшие голову, умеющие держаться на воде, облепили тот столб и молча, боясь привлечь внимание тонущих, греблись руками. Где-то, в конце уж, у сахарно белеющих в воде фарфоровых станков осторожно прилепились к столбу Ерофей с Родионом. Плыло их, держась за телеграфный столб, человек шесть. Кто постарше, поопытней, по возможности спокойно просили, нет, не просили, умоляли:

— Тихо, братцы! Тихо!..

Понятно, кричать, шебуршиться, шум издавать не надо, не надо лезть на бревно, толкать друг дружку, отрывать от столба. Всюду должен быть и бывает старший. Они, эти старшие, владели собой, подгребали одной рукой, затем, когда сделалось ближе к отемненному вспышками орудийных выстрелов просекаемому берегу, когда появилась надежда, заработали, захрипели: "Греби! Греби! Бра-атцы! Бра-атцы-ы!"

Родион и Ерофей тоже греблись, чтоб не подумали, что они прицепились за бревно и плывут просто так, на дурика. Греблись из всех сил, и что-то вспыхивало, стонало, просило: "Скорей! Скорей! Ско-о-оре-й!" — Но и здесь, в этой смертью сбитой кучке людей, объявились те, кто хотел жить больше других, кто и раньше, должно быть, вел линию своей жизни не по законам братства — они брюхом наваливались на узенькое, до звона высохшее на придорожном ветру, бревешко. Ерофей и Родион, за короткие минуты сделавшиеся мудрыми и старыми, одергивали

с бревна тех, кто норовил спасти только себя — ведь им, и Ерофею с Родионом, тоже хотелось туда, наверх, на бревно, и оттого, что хотелось того, что делать нельзя, остервенясь до основания, до такой ярости, какой в себе и не подозревали, мужики лупили, оглушали кулаком впившихся в бревно паникеров. Булькая ртом, те уплывали куда-то, но возникали, появлялись из тьмы другие пловцы, хлопались по воде, будто подбитые утки крыльями, отпинывались, кусались, старались завладеть бревном.

Скорострельный пулемет, высоко где-то стоявший и полосовавший темноту, оборвал светящуюся нитку, повременил, ровно бы вдергивая нитку в ушко иголки, коротко и точно хлестанул по плывущему столбу. Уже набравшиеся опыта, Ерофей и Родион погрузились в воду, но рук от бревна не отпустили. Выбросились разом, хватанули воздуху, ненасытно дыша во вновь прянувшем свете, подивились своей везучести — почти всех пловцов с бревна счистило. Между делом смахнув пловцов с бревна, пулемет снова занялся основной работой, сек горящую темноту, сплетая огненные нити с том клубом огня, который шевелился в ночи на далеком берегу, ворочался, плескался ошметками белого пламени.

Миновав главную полосу смерти, которая не то чтобы отчеркнута, она определена солдатским навыком, тем звериным чутьем, что еще не угас в человеке и пробуждается в нем в гибельные минуты, уговаривая вновь из воды возникающих людей: "Не лезьте! Не лезьте! Не надо! Нельзя!" — греблись еле-еле — все силы истрачены. Когда коснулись отерплыми ногами каменистого дна, то не сразу и поверили, что под ними твердь, еще какое-то время тащились на коленях, толкая бревешко, потом уж разжали пальцы и выпустили его. Кто посильней, подхватил ближнего, совсем ослабевшего собрата по несчастью. Покалывая живой щетиной одряблую от воды кожу на щеке Родиона, Ероха и какой-то дядек подхватили, замкнули его руки на шеях — зачтется такая милость, верили и спасенный и спасаемые.

— Держись, браток, держись… Кому сгореть, тот не утонет. — Кучей свалились на берег, но качалась под ними земля, пылала, бурлила, шипела от горючего металла, исходила стонами и криками бескрайняя и безбрежная река. Стыдясь тайного чувства, Ерофей и Родион, случайные товарищи, — ликовали: они-то здесь! Они-то на суше. Они прошли сквозь смерть и ад… они жить будут…

Ерофей разжал пальцы и обнаружил в руке что-то мягкое, напитанное водой и кровью, сразу — вот какой он сделался догадливый! — сразу уразумел — это кровь из-под ногтей. Его кровь, тряпки же от гимнастерок тех… И вот ведь какой он добрый сделался! Не было в нем ни зла, ни ненависти, но и сочувствия тоже не было — одна облегчающая слабость. А ногти, они отрастут, руки поцарапанные, в занозах и порезах — заживут. Расслабились солдаты, горячее текло из тела, прямо в штаны текло, и так текло, текло, казалось, конца этому не будет.

— Долго теперь пить не захочется…

— Браток. Брато-о-о-к! — тряс кто-то за плечо Ероху, — кажись, немцы! Фрицы, кажись!

И тут только вспомнил Ерофей и Родион, ради чего они тонули — умирали и спасались — они же воевать должны. Они на фронте. Они не просто утопленники, которых в деревне, если поднимут из воды, то все жалеют, в бане отогревают, кормят хорошо и работой целый день, когда и два — не неволят. Им же задание выполнять надобно — связь проложить.

— Немцы! — изумился Ерофей. — Зачем немцы?

— Бежим, бежим! — дыхнул рядом Родион. И они, схватившись за руки, бросились к темной крутизне берега, к кустам или каменьям. Впереди них кто-то упал в белой рубахе. Ерофей тоже

упал и понял, что человек, бежавший впереди, не в белой рубахе вовсе, он нагишом. Ерофей хотел оттолкнуть Родиона от голого человека, на которого тот следом за ним свалился, голый же человек, зажав рукою причинное место, вскочил и рванул по каменьям в гору, но тут же, взмахнув руками, упал.

— Стой! Стой! — кричали из темноты по-русски. — Стой, в Бога мать! Трусы! Стой, сто-ой, сволочи! Стой, изменники!...

"Немцы, а матерятся по-нашему, — удивился Ерофей и зажался меж потрескавшихся, царапающихся камней, ладонью прижал Родиона — никак его ноги в камни не затянешь... — дохлые ноги, длинные, дохлые. Бывалые фронтовики говорили: немец, если напьется, в атаку пойдет, так по-нашему материться начинает, потому как наш, русский мат — самый в мире выразительный, но в Бога и в рот только наши могут, потому как неверующие...

Громыхал под чьими-то сапогами камешник, палили в воздух, по камням и по кустам секли какие-то люди.

— А-а, падла! А-а, притырился! — разносилось из тьмы, — смылся! Воевать не хочешь...

— Бра-а-атцы-ы-ы! Да что же это, бра-атцы-ы-ы!..

Волокут человека, по камешнику волокут, к воде. Видать, бедолаги попали на левый берег, им же полагается быть на том, на правом, где немец. Им воевать полагается. И вот люди, которым судьба выпала не плавать, не тонуть, а выполнять совсем другую работу, — вылавливали ихнего брата и гнали обратно в воду. Они удобное на войне место будут отбивать яростней, чем немцы-фашисты — свои окопы. Ведь эта ихняя позиция и должность давали им возможность уцелеть на войне. Доводись Родиону и Ерофею так хорошо на войне устроиться, тоже небось не церемонились бы. Вот только не получалось у них — у смоленского крестьянина и вятского мужика — удобного в жизни устройства, не могли, не умели они приспособить себя к этому загогулистому, мудрому и жестокому миру — больно они простоваты, бесхитростны умом — стало быть, поднимайся из-за камней, иди в воду, под выстрелы, в огонь иди. И когда высветившие их фонариком какие-то громадные, как им показалось, безглазые, клешнерукие люди схватили их и поволокли, то под задравшейся рубахой ширкало каменьями выступившие позвонки и ребра. Оба мужика, и молодой, и пожилой, рахитными были в детстве, младенцами ржаную жвачку в тряпочке сосали, да и после объявленной зажиточной колхозной жизни на картошке жили, негрузные, с почти выдернутыми суставами ног и рук, волоклись, разбивая о камни лица, и не сопротивлялись, как тот пожилой дядька, в котором являлась такая живучесть, что он с воплями выскакивал из реки, рвался на берег. Тогда нервный от нечистой работы командир юношеским фальцетом взвился:

— По изменнику родины!..

Смоленского и вятского мужиков хватило лишь на то, чтобы взмолиться, забитым ртом выплюнуть вместе с песком:

— Мы сами... Мы сами... Не надо-о-о.

О том, что их вообще нельзя гнать в воду: нету у них оружия, сил нету, иссякло мужество — не хватит их еще на одно спасение, чудо не может повториться, — они не говорили, не смели говорить. Выколупывая песок, дресву из рта, сблевывая воду, которой был полон не только тыквенной формы живот, но и каждая клетка тела свинцом налита, даже волосок на голове нести сил не было. Младшего ударили прикладом в лицо. С детства крошившиеся от недоедов зубы хрустнули яичной скорлупой, провалились в рот. Ерофей подхватил напарника и вместе с

ним опрокинулся в воду, схватился за брусья, прибитые к берегу течением.

— Сволочи! Сволочи проклятые! — отчетливо сказал он и потолкал плотик вверх по течению. Родион, прикрыв одной рукой рот, другой помогал заводить напарнику плотик вверх по течению.

Заградотрядчики работали истово, сгоняли, сбивали в трясущуюся кучу поверженных страхом людей, которых все прибивало и прибивало не к тому берегу, где им положено быть. Отсекающий огонь новых, крупнокалиберных пулеметов "дэшэка", которых так не хватало на плацдарме, пенил воду в реке, не допуская к берегу ничего живого. Работа карателей обретала все большую уверенность, твердый порядок, и тот молокосос, что еще недавно боялся стрелять по своим, даже голоса своего боялся, подскочив к Ерофею и Родиону, замахнулся на них пистолетом:

— Куда? Куда, суки позорные?!

— Нас же к немцам унесет.

Они больше не оглядывались, не обращали ни на кого внимания, падая, булькаясь, дрожа от холода, волокли связанные бревешки по воде и сами волоклись за плотиком. Пулеметчик, не страдающий жалостными чувствами и недостатком боеприпаса, всадил — на всякий случай — очередь им вослед. Пули выбили из брусьев белую щепу, стряхнули в воду еще одного, из тьмы наплывшего бедолагу, потревожили какое-то тряпье, в котором не кровоточило уже человеческое мясо.

Убитых здесь не вытаскивали: пусть видят все — есть порядок на войне, пусть знают, что сделают с теми подонками и трусами, которые спутают правый берег с левым.

День третий

"Я попал под колесо", — повторил Феликс Боярчик ночью, сидя под навесом яра, возле умолкшей, пустынной реки и под редкие, уже ленивые пулеметные очереди, под сонное, почти умиротворяющее гудение ночных самолетов, на миг раздирающих тьму, под звуки мин и снарядов, почти придирчиво воющих вверху, рассказал совершенно диковинную, можно сказать, фантастическую историю, редкую даже для нашей, насыщенной исключительными событиями, действительности.

Феликса Боярчика подранило на Орловщине почти легко, но неловко: рассекло надвое икру правой ноги. Раненых и убитых там было много. Феликса на передовой наскоро перебинтовали, прихватив бинтом клок грязной обмотки. К лечебному месту определялся он долго, ехал, ехал — везде подбинтовывают, но не бинтуют, подкармливают, но не питают. Столько бинтов намотали, что нога сделалась будто бревно, рана в заглушье бинтов от клочка грязной обмотки загнила, раненому сделалось тошно от температуры и в то же время зазнобило его. Но, в общем-то, все, слава Богу, обошлось. В войну и не таких выхаживали. Вылечили, поставили на ноги и его, Феликса Боярчика, в тульском эвакогоспитале. Там же, в Туле, направили на пересыльный пункт, оттудова недавних ранбольных, допризывников и разный приблудный народ, которого здесь оказалось довольно много, хотя на фронте, в частях и подразделениях, знал Боярчик, людей все время недоставало и бойцам нередко приходилось работать одному за двоих, случалось — одному за десятерых.

Не засиделся Феликс на пересылке. Явился "покупатель" — майор в ремнях и в орденах — от артиллеристов явился, от лучшей пока на войне гаубицы ста двадцатидвухмиллиметровой. И

маневренная, и скорострельная, прямым попаданием снимает башню с танка, что папаху с казака, — рассказывал майор.

— В то же время фугасом, если попадет в блиндаж или в дзот — фрицев и откапывать незачем, еще — бризантным снарядом, да ежели по скоплению противника, боженьки вы мои, — не позавидуешь тому, кто под разрыв попадает, — вещал веселый офицер с мордой светящейся, будто минусинский помидор. Значит, и харч в этой лучшей артиллерии лучший — порешили слушатели. А майор пел и пел про орудие, про смертельно бьющую пушку, будто про нарядную невесту или про рысака редких кровей, норовя его сбыть подороже.

Феликс пристроился к группе вчерашних госпитальников — многое, конечно, брешет "покупатель", но артиллерия все же не пехота — может, не так скоро убьют; в том, что его в конце концов убьют, Боярчик нисколько не сомневался — уж очень они не подходили друг другу: Феликс, ошептанный, святой водой обрызганный, смиренно воспитанный Феклой Блаженных, — и война.

Майор спросил у Феликса: что он может? И Боярчик объяснил, что может связистом, наблюдателем ли, что рисовать умеет — сказать постеснялся — чего там, возле пушек нарисуешь? Главное, землю копать на фронте наловчился. Майор сказал "пойдет" и, хлопнув по небогатырскому, но на земляной работе окрепшему плечу бойца, увез из Тулы в двух зисовских кузовах пополнение.

На передовой пополнение разбросали по дивизионам и батареям артбригады. Феликс угодил во взвод управления четвертой батареи. Четвертая батарея состояла из шести орудий. Совсем недавно артбригада вышла из боя, где понесла большие потери, была растрепана, изнурена и вот отдыхивалась, пополнялась, но все это делала на ходу, вблизи действующего, трудно продирающегося на запад фронта. Феликс сразу заметил, что в четвертой батарее недостает двух орудий. Оказалось, что орудия в ремонте, да и третье орудие отдалено было от батареи, вроде как припрятано в кустах и замаскировано чащей.

Конечно же, пребывание на фронте, в боях, пусть и не очень долгое, пусть и в "царице полей", — чтоб неладно ей было, в пехоте, пусть и в чине самом последнем, но якобы почитаемом, трепетно хранимом, стало быть в чине солдата, все же Боярчик увидел и понял, что воевать наше войско подучилось, солдаты трепались — "немцы подучили!". Ну что ж, немцы так немцы. Спасибо, коли за небитого двух битых дают. За науку свою сполна и получат учителя. Да ведь совсем-то уж дураков и самому немцу не научить, стало быть, ученики попались способные — кто-то из поэтов, вроде бы Жуковский Василий Андреевич, написал на карточке, подаренной Пушкину: "Ученику от побежденного учителя".

Значит, Феликс Боярчик, обстрелянный уже солдат, начал понимать, что воевать, значит, и ловчить наше войско умеет уже хорошо. Но до какой степени высоты и глубины это умение дошло — ему предстояло открыть в новой боевой части.

В артиллерийской батарее, где орудия и в самом деле были красавцы, если так можно сказать применительно к орудию, — на легком ходу, с загнутым козырьком щита, закрывающим наводчика от пуль и осколков. Новичкам охотно поясняли, что орудие бьет осколочным, фугасным, осветительным, дымовым, бронебойным, что прицельный прибор у него — панорамка, ствол в меру длинен, не то, что у тульской "лайбы", где ствол короче люльки, лежит, как поросенок в корыте, а у этой даже станины раздвижные, с острыми сошниками и упором — это если грунт тверд и закапывать сошники некогда — забей ломы — и упор готов. Но самое-самое главное место — колеса, бескамерные, цельные — гусметик! Угодит осколок или пуля в колесо — никаких аварий, лишь выпучится сырая резина и все — в колесе смесь

желатина и глицерина, она-то и наполняет поврежденные колеса.

То-то заметили новички: все колеса гаубиц в наростах грязных бородавок, ну и еще, что поразило новоприбывших, — это прорези в козырьках фуражек офицеров-огневиков; оказывается, глядя сквозь прорези козырьков, опытный офицер при стрельбе наводкой может отсчитывать градусы поворотов влево, вправо.

"А, батюшки-светы! Вот техника так техника! Бей, Гаврила, куме в рыло — сам без глазу останешься!" — говаривал когда-то пьяненький дедушка Блажных Иван Демидович.

Подле такой пушки служат и орудием управляют молодцы-гвардейцы, правда, несколько подавленные духом. Ну да с чего радоваться-то, жеребиться-то после жестоких боев на Курской дуге?

Феликс это понимал и, наотдыхавшийся в госпитале, охотно исполнял любую работу. Заметил он, что артиллеристы не любят стоять на посту, как могут, уклоняются от этого нудного дела. И тут все понятно: в бою у орудия они разворотисты, удалы, лихо исполняют свое дело, но сидеть на лафете пушки и глядеть в небо, про баб или про дом думать несколько часов подряд, порой и половину ночи — это какая работа? Стараясь уноровить новым своим товарищам, собратьям по войне, Феликс охотно и много дежурил по батарее, ходил вокруг орудий. Думал про Соню, про жизнь свою в Новоляленском леспромхозе, о семействе Блажных. Словом, про все — про все, что взбредало в голову, стараясь выбирать для дум и воспоминаний хорошие куски из своей жизни. Думал, какое письмо напишет жене о новом своем устройстве, надо еще написать, что, если с ним случится что, она ради сына распоряжалась бы собой свободно.

В госпитале часто получал от Сони письма, даже фотокарточку получил, на которой она снята с сынишкой Дмитрием, нареченным так теткой Феклой в честь среднего своего сына, погибшего на Морфлоте, в Баренцевом море. Спервоначалу тетка Фекла предлагала назвать ребенка Иваном — в честь старшего сына, тоже погибшего на войне, но Соня вежливо отвела это предложение, мол, шибко уж много Иванов на Руси. Пухлолицый малый, открыв рот, смотрит на него, на Феликса, и ровно бы хочет ляпнуть губенками: "Папа!" Интересно, правда? Он, Феликс, — уже папа! Когда ж он нарисовал все это? Ну, папа! Ну, орел! Раз-раз — и готово! Замастырил, как говорят блатняки, то есть смастерил вот малого, Дмитрия Феликсовича, и хоть бы что!

У Феликса так разыгралось воображение, такое настроение его охватило, что, казалось, вот-вот вздымется он и полетит! Над полями, над лесами, в Новоляленский леспромхоз, чтоб только подержать малого на руках, ощутить, почувствовать его теплое тело. Все бы отдал за одно мгновение. Отдавать, правда, нечего. И вообще не смел он расстраивать себя мечтами. Несбыточными. Эфемерными, как выразительно пишется в книгах. И хорошо, что не согласилась Соня на Ивана, изысканный все же вкус у его жены! По правде сказать, какой у нее вкус и все остальное, — он не знал. И вообще подзабыл ее, Соню-то, карточку рассматривал, силясь возбудить в себе память, поднять со дна ее какие-нибудь подробности из того, что было с ним, с Феликсом и Соней в клубе двадцать первого стрелкового полка. Но ничего существенного не вспоминалось, лишь возникал шум в ушах, становилось жарко, мутилось в голове, исчезала земля из-под ног и уносило мужика в некое пространство, наполненное горячим дыханием, удушающими поцелуями — опять же в книжках называется это упоением. После госпиталя и пересылки отъелся в батарее, вот и началось упоение. А жизнь совместная, семейная подробностями не успела обрасти, и ничего выудить из закоулков памяти не удается — сосуд был пуст, говорят обратно же в книжках поэты. Но он не может, не должен быть пуст, надо его заполнять. И заполняется он письмами, тоской не просто по дому Блажных, а по этой вот красивой женщине с ребенком на коленях. С пугливым изумлением

вояка обнаружил, что по тетке Фекле, по семейству Блажных, даже по Аниске он тоскует больше, чем по жене с сыном. И чего дивного — тетка Фекла и все семейство Блажных — ему родные, близкие, с ними он жил, учился, играл, катался, работал, в доме прибирался, хворал, рисовал им, вслух читал. А эти вот, как ни верти, ничем с ним не связаны. Нехорошо их чужими назвать, но они как бы посторонние. Надо обязательно написать Соне насчет свободы, так, мол, и так, война, когда еще конец будет, и всякое может случиться, а ты молода...

Так вот боец Боярчик, поплясывая в лесу возле пушек четвертой батареи прославленной гвардейской бригады, маялся своими личными проблемами, пытаясь объять необъятное, стало быть, мысленно преодолеть расстояние но воздуху от фронта до далекой Сибири, где уже лето пошло в середину, заканчивалась сенокосная страда. Семья Блажных урывками, после работы, стар и мал — заготавливает сено корове. Тетка Фекла, всегда в эту пору живущая на расчищенном в тайге покосе, малого Димку, конечно, с собой забрала, ягодами его кормит, молоком парным поит. Здесь, на западе земли, ночь на исходе, а в Сибири — уже день.

Боец-то Боярчик — уже обстрелянный, опытный, но все же боец и не больше того. Глобальных особенностей своей армии и страны он не знал и знать не мог, хотя и успел заметить, что враг, немец-то, на нас танками прет, а по ним, по танкам, наши из пушек садят. Ну ладно бы в сорок первом году, когда на полигонах, в гарнизонах и прочих местах пожгли нашу технику, большей частью и горючим не заправленную. Но вот уж сорок третий год, наступил еще и сорок четвертый, и сорок пятый, полное наше во всем превосходство на фронте, но героическая советская артиллерия все так же будет отбиваться и отбиваться от бронированных соединений врага артиллерией. Оно, конечно, ежели поставить тысячу стволов, лучше десять тысяч стволов против сотни танков, то их беспощадно завалят снарядами, побьют, пожгут к чертовой матери, но и потери наши при этом будут в десять раз больше, чем у противника. Однако ж вот стратегия и тактика такая — крепче разума.

В героической советской стране передовые идеи и машины всегда ценились дороже человеческой жизни. Ежели советский человек, погибая, выручал технику из полымя, из ямы, из воды, предотвращал крушение на железной дороге — о нем слагались стихи, распевались песни, снимались фильмы. А ежели, спасая технику, человек погибал — его карточку печатали в газетах, заставляли детей, но лучше отца и мать высказываться в том духе, что их сын или дочь для того и росли, чтоб везде и всюду проявлять героизм, мужеством своим и жизнью укреплять могущество советской индустрии — его и на кине так показывают: отвалилось колесо — без колеса едет, провалится мост — он по сваям шпарит, да еще с песней: "Как один человек, весь советский народ..."

Иной раз родителям отдавали посмертную награду героя, грамоту, подписанную самим Калининым, когда и деньжонок вырешали, отдельную пайку привозили, иной раз пальто и ботинки осиротевшим школьникам дарили.

При таком сплоченном и героическом народе можно, хвастаясь и напевая, десятилетиями выпускать трактора и паровозы устарелых марок, пароходы допотопных времен, отливать орудия, "шнейдеровские", в той самой Туле, где Феликса в госпитале марганцовкой отмачивали и лечили, лайбы те, тульские, — тоже выставлялись на прямую наводку, хотя по заверению опытных артиллеристов, на прямую наводку их можно было выставлять только с горя. И, как правило, с прямой наводки "домой" лайбы уже не возвращались, мерли, или их, подраненных, волокли чинить в самое родительницу — Тулу.

Разумеется, при таком раскладе сил новым-то, маневренным, скорострельным-то, высокоэффективным-то орудиям сама судьба определила торчать и торчать где-нибудь на высотке, в ожидании танков, выставив из ямы наружу опаленную дыру ствола. При таком

раскладе выжить возле этого все разящего нового орудия расчету очень трудно, но выжить хочется всем, стало быть, надо хорошо стрелять, попасть в танк, прежде чем он тебе влепит. В расчетах как-то удавалось сохраниться одному опытному огневику, но бывало и ни одного человека из орудийного расчета из боя не выйдет. Немец к этой поре тоже кой-чему научился, не пер уж вперед нагло, норовил за что-нибудь спрятаться, либо уж применит совсем простую, да убийственную тактику. Выйдет, к примеру, на позицию десять танков. Пять с заряженными пушками, остановившись, прицельно бьют из пушек, пять продвигаются и на ходу перезаряжаются.

Героическая гвардейская бригада до основания почти была выбита на Курской дуге, где и танков наших погибло тоже много. Там впервые и увидели артиллеристы битву танков с танками. Но немец и после Курской дуги, хорошо битый, подстреленный, хромая, чихая, уходил за реку, огрызаясь, контратакуя. И снова угодили артиллеристы, в том числе и четвертая батарея, на прямую наводку в районе совхоза под названием "Пионерский". Выскочили из соснового леса на высотку, засаженную картошкой, отцепили орудия от машин — студебеккеров. Тягло шасть в лесок. Надо бы заряжать орудия, начинать стрелять, не дает фашист к ним подойти, бьет — головы не поднимешь. Рекогносцировку не провели, ничего не успели разведать, наудалую выскочили воевать. И дело кончилось тем, что, не стрельнув ни разу, расчеты частью погибли, частью рассеялись. Герои-командиры дивизионов и батарей с обнаженными пистолетами рыскали по лесу, ноздрями огонь метали, сулясь застрелить, под трибунал отдать всех, кому надлежало быть возле орудий. Самих же командиров взводов управления, батарей, дивизионов — уже бригадный командир обещал наказать но всей строгости военного времени, если они не проявят отваги и не выручат брошенные орудия.

Командир четвертой батареи пистолет никогда не обнажал. Он — человек бывалый — от границы отступал, трижды ранен был, четырежды, может, и больше состав батареи полностью у него менялся — люди, орудия. Начинал он с сорокапяток, прошел семидесятишестимиллиметровую, наконец вот сподобился командовать батареей с новолучшими орудиями. После дристалок-сорокапяток и тявкалок-засовок, возле стодвадцатидвухмиллиметровых орудий вполне можно командиру батареи до победы дотянуть, и на тебе, судом-трибуналом грозят.

Командир четвертой батареи собрал возле себя командиров взводов и орудий, выстроил их и спросил: "Все живы?" — хотя и знал, что далеко не все живы.

Походил перед своими командирами, держа руки за спиной.

— В общем и целом ничего не хочу знать, но чтоб орудия были здесь! — впечатал он каблук сапога в землю. Комбат-четыре любил приводить исторические примеры, а по истории выходило: пушкарь-фитильщик — ныне наводчик, да и командиры орудия, потерявшие в бою ствол и уцелевшие при этом, — всегда сурово и справедливо наказывались в русском войске.

Молодцы-артиллеристы глядели и глядели до ломоты в затылке на свои понуро опустившие стволы орудия. Немцы хорошо пристрелялись, минометами и пулеметами повредили орудия, в царапинах стволы и станины, в оспинах, в белых наплывах колеса — гусметик; брошенные орудия молча взывали горестным своим видом вызволить их. Подойти к орудиям фрицы не позволяли. Вокруг орудий валялись уже десятки трупов. И тогда артиллеристы-трудяги прибегли к испытанному способу: стали копать ходы к гаубицам, чтобы уцепить их тросами да и утянуть машинами в лес. Копали все: и те, что высунулись с орудиями вперед, и те, что замешкались, не успели этого сделать. Командиров насобиралось в лесу — туча, все подухивают, стращают, под руку орут. В бою бы столько их было! Немцы пробомбили артиллерийские позиции и лесок. Начальства поубавилось.

Как будто потеряв интерес к брошенным артиллерийским орудиям, немец полусонно, лениво постреливал, но, как согнали машины к опушке леса, как начали тянуть удлиненные тросы к орудиям — открыли такой ураганный огонь, что сразу загорелось несколько студебеккеров, захваченных внезапным огневым налетом, поранило, побило артиллеристов изрядно. Криком кричал молодой лес. "Себе дороже", — буркнул комбриг и приказал увезти машины с передовой. Заокеанские эти машины были ценней орудий.

Четвертая батарея исхитрилась-таки — утянула два орудия, четыре же так и бедовали до своего освобождения на высотке, где все было избито, изрыто, пожжено — даже незнатко, что на бугорке совсем еще недавно росла картошка.

Неделю, если не больше, корячились артиллеристы возле брошенных своих гаубиц, начали ворота деревянные делать, как на сплаве, лебедки смекать. Наконец, началось общее наступление на данном участке фронта и орудия освободились сами собой. За неделю они поржавели, изувечились, опустились, как всякие пленные иль беспризорные бродяги.

В том районе воевала не одна гвардейская артиллерийская бригада, много там сосредоточилось всякого войска, и умельцы-молодцы ночами лазили по полям, раскурочивали брошенную боевую технику. У орудия самое ценное — прицел-панорама, наводчики берегут их пуще глаза своего и потому, драпая, ухватили ценные приборы с собой. Но не все наводчики уцелели, которые и погибли, держа за пазухой, под телогрейкой, прицел. Не меньшая ценность — колесо. Орудийное. Его если артиллеристам прикатишь, считай что канистра водки, вещмешок сала, ящик консервов честно тобой добыты.

Есть в артиллерийском полку, тем более в бригаде, подразделение под хитрым названием "парковая батарея". Есть такое подразделение и в артиллерийской дивизии, тем более в корпусе, но там у него уже и название посолидней — технический парк иль что-то в этом роде, до того парка с передовой не достать.

Своя бригадная парковая батарея пылит по полям войны, тащась за фронтом, громыхает загруженным в машину железным хламом. "Парковка" чего-то ремонтирует на ходу, подкручивает, смазывает, подтягивает, завинчивает, но больше — развинчивает, копаясь в трофейной да и в своей побитой технике. Для несведущего человека подразделение это бросовое, неизвестно для чего и существующее, однако все полевые командиры, в том числе и комбриг, очень даже почтительны к командиру парковой батареи, тому самому майору, что приезжал за пополнением в Тулу, у которого личность спелее не только минусинского, но и украинского помидора. Командиры батарей — те просто пляшут перед майором-помидором, готовы отдать, подарить все, вплоть до хромовых сапог со своей ноги, хромовые сапоги и для советского офицера, это все равно, что картуз для маршала. Разворотливые командиры батарей и в гости майора-помидора позовут, попотчуют, связистку подежурить к нему пошлют иль медсестру — срочную перевязку сделать. В загашнике у старшины батареи бутылек-другой редкостного вина хранится, сальце соленое, сальце копченое, кружок колбасы, консерва в плоской баночке — "шпрот" называется, черешня алая, фрукт раннеспелый. Командир батареи, если он не дурак и старшина у него не промах, — сами не съедят лакомства, на крайний случай сберегут.

Увы, увы! Майор-помидор в сапогах не нуждался, ни в кожаных, ни в хромовых, ни в чем не нуждался. Все у него, как у персидского царя, есть. За холмами новоград-волынскими да смоленскими, за болотами белорусскими, подо Ржевом и Вязьмой, под Харьковом и Сталинградом осталась, закатилась в ямы война простаков и ротозеев. Случалось, ох, как часто случалось; орудие на прямую наводку с двумя-тремя снарядами высунут, пулемет с одной лентой, автомат с неполным диском — воюй, патриот, стой насмерть — героем будешь.

Ныне даже у грамотея и начетчика-командира четвертой батареи по машинам притырено десяток-другой снарядов, в деревянном ларе, где противогазы должны храниться, свинья засоленная лежит, не хрюкает, мешки с мукой, с просом, крупой-шрапнелью, в бочонке водочка побулькивает, бидон повидла, ящик с сушеными грушками, с яблочками, с перцем, с лавровым листом, и дрожжи свои есть, и кофий, и чай, и конфетки в коробочках — на родину надейся, да сам не плошай!

Все есть на четвертой: и харч, и запчасти, и лекарства, машина грузовая, машина легковая, сверх расписания и сверх всяких лимитов в хозяйстве пасутся. "Все вокруг колхозное, все вокруг мое!" Командир дивизиона, и комбриг, и всякая наблюдающая за порядком строгая челядь знают, что батареи прут вперед на запад крепко, по-боевому заряженные, морально и патриотически подкованные. Комбриг, если он не зря к делу приставлен, имеет соответственную должности сообразиловку, ни одну комиссию до передовой он не допустит, ублажит ее своими средствами в отдалении от боевых порядков. Смершевцев, особняков, партийных чинодралов, всякую надзорную хевру комбриг должен чуять нюхом, слышать ухом, подбирать команду "по себе", давши понять, что не они, а он, комбриг, тут за все отвечает, с него, но не с них спрос, и если они хотят, чтоб с него, а не с них голову вместе с папахой снимали, нехай держатся за его широкой хозяйской спиной, сладко кушают, зелье попивают, мягко спят, с девчонками забавляются, песенки попевают, ансамбли организуют, газетки печатают, боевую агитацию ведут — он никого не забудет, он кого нужно — приструнит, кому надо — по-отечески скажет: "Коли врать не умеешь, так не берись". Полный порядок в гвардейской артиллерийской бригаде, куда попал воевать Феликс Боярчик. Все при деле, все у всех есть, потери, правда, большие, но они и по всему фронту немалые — война. Вот "неоправданные потери" — с этим делом посложней, актики шелковой ниткой не сошьешь да в штаб фронта не пошлешь. Мозгой шевели, выкручивайся. По цепочке, снизу вверх мольба катится, по ступенькам сверху вниз скачет — прыгает ответ: "А мне какое дело? Орудия бросить сумели? Сумейте и выкрутиться!.."

Четвертая батарея два орудия списала. Командир парковой батареи, дай ему Бог здоровья, помог, собрал по своим машинам с утиль-сырьем стволы, щиты, станины — все собрал, все сделал, за все отчитался — два новых орудия на передовую едут — батарею пополнить, но кустами забросано еще одно орудие, таится, ржавеет без колеса. Майор-помидор Христом-Богом клянется: нет у него колес, все есть, но колес нету, потому как при любом крахе, при любом повреждении орудия колесо непременно отпадет, укатится, травой зарастет. Древние, литые колеса совсем неуязвимы были, но и нонешние, легкоходные, гусметик этот самый, будь он неладен — как ты его ни бей — выпучится, колеса вприпрыжку, пританцовывая, прихрамывая, катят орудие — и не сгорели на этот раз. Изобрел же какой-то асмодей этот гусметик! Еврей либо опять же немец хитроумный дошел, допетрил до этакой непобедимой химии. Тишайший командир четвертой батареи, потупив взор, сказал командиру третьего, бесколесного орудия, Азату Ералиеву:

— В общем и целом дело так обстоит: спасайся сам, иначе штрафная тебе. Я сделать больше ничего не могу...

У Азата Ералиева мать была башкирка, отец татарин, а вся остальная родня русская. И от всех союзом живущих наций командир орудия чего-нибудь да отхватил, от татарина — жестокости, от башкир — лукавства, от русских — вороватости.

Вышел утром из блиндажа командир третьего орудия, Азат Ералиев, пристроился к сосне, поливает корни деревьев, зевает и в то же время с дежурным по батарее, с новеньким солдатом беседует:

— Ну, что, выспался на посту?

— Нет, я не спал, я думал всю ночь.

— Об чем же?

— Да о доме, о родных, о жене, о сынишке...

— Х-ха! Такой молодой, салага, можно сказать, а гляди-ка... — И наговаривая так, застегивая ширинку, Азат Ералиев как бы ненароком к третьему орудию приближается, на котором уж и маскировка успела подвянуть, листья пожелтели, свернулись. Как бы нечаянно отбросив ногой кусты, Ералиев сраженно молвил:

— Колесо! А где же колесо?

Боярчик подошел к мирно, в стороне стоящему орудию и видит: в самом деле нет колеса у орудия. Хотел удивиться и не успел. Ералиев уже тряс его за отвороты бушлата так, что голова у Феликса Боярчика вот-вот от шеи оторвется.

— А-ах ты, раздолбай! Ах ты, раздолбай! Проспа-а-ал! Проспа-а-ал! — и выскочившим на крик батарейцам чуть не плача: — Колесо! Колесо спе-о-орли-и!

Феликса Боярчика увезли в штаб бригады. Отводя глаза, начальник особого отдела, молодой, конопатый старший лейтенант при трех уже орденах — не обходил комбриг своих помощников ни наградами, ни довольствием — допрашивал разгильдяя, проспавшего колесо боевого орудия. Допрашивал особняк, допрашивал, надоело ему это делать, и он раздраженно бросил ручку на стол:

— Не юли, не виляй, бери ручку и пиши...

— Что писать?

— Как проспал колесо.

— А-а, так бы сразу и сказали, а то — родина, армия, честь... Я все это в новоляленской школе проходил, там спецпереселенцев тоже настойчиво учили родину любить. — Феликс Боярчик, награжденный за участие в боях медалью "За отвагу", взял ручку и написал то, чего от него требовали.

Начальник особого отдела сперва зарделся краской стыда, а потом, должно быть, вспомнил, кто он и к какому месту приставлен, почуял, что крепкое обоснование можно делу дать:

— Так ты, значит, из переселенцев? Кулачок, значит! Так-так-так!

— Так-так-так, — говорил пулеметчик, так-так-так, — отвечал пулемет, — передразнил Боярчик особняка, понимая, что бояться ему больше нечего. — Вам бы с вашей, доблестно сражающейся хеврой, среди тех кулачков пожить бы, хоть немножко от парши кожной и внутренней очиститься.

Особняк оторопел — мальчишка, с печальными глазами, вдруг разгоревшимися на бледном и нежном лице, мальчишка, с той незащищенностью во всем облике и непоколебимой уверенностью в незыблемости добра на земле, дерзил ему, начальнику особого отдела гвардейской бригады! Да перед ним офицеры, гренадеры бравые — в галифе мочатся!

— Ты вот что, сосунок, — скривил он губы, — суд тут бывает скорый, но правый, можно штрафную взамен смерти получить, а можно и...

— Вот это "и" оставьте для себя, оно еще вам пригодится, а я — чем скорее и дальше уйду от такой мрази, тем мне легче будет.

— Да ты!..

— И не тыкайтесь! Власть дается не для того, чтобы унижать униженного, растаптывать растоптанного, не боюсь я тебя, как видишь. Ты и сам всего боишься. Бояться надо не тебя, а тех, кто таких, как ты, породил.

— Пошел вон, щенок! Учить он меня будет...

— Вас не учить, вас переучивать...

— Пошел вон! Дежурный!

Заведшийся, знающий наверняка: больше он рта нигде не посмеет открыть, охолонет, успокоится, покорится, Феликс на ходу уже продолжал дерзить:

— Впрочем, олухов и паразитов учить — Божье время зря терять. Их только прожаркой, как вшей...

— Ты чего язык распускаешь? Где ты язык распускаешь, говно!

— Сам говно! — сверкнул глазами напослед обернувшийся Боярчик, — еще от рождения и... — дежурный волок из землянки особняка упиравшегося, в истерику впавшего солдатика. — И бригада ваша говенная, трусливая, подлая!..

Начальник особого отдела настоял, чтоб в назидание всему войску разгильдяя судили в его же подразделении. Трибунал явился полевой, подвижный, негромоздкий. Побаиваясь близко бухающей передовой, дело свое трибунал произвел быстро и умело. Подсудимый был вял, подавлен, на вопросы отвечал не юля, не запираясь, сожалел только, что командир батареи ни до суда, ни после суда на глаза не появился — он бы ему сказал, что ось-то у орудия ржавая, давно провоевали колесо-то, но умелый, аккуратный командир в четвертой батарее от суда уклонился. А вот Азат Ералиев сочувствовал Боярчику, жалел его, попросил, чтобы обедом осужденного накормили, чтобы пайка полностью в желудок бойца попала, Боярчик сказал командиру орудия про ржавую ось. "Ишь ты, какой наблюдательный! Токо раньше надо было о своих наблюдениях доложить, тогда я бы на твоем месте был, а теперь ешь суп и не мяукай..."

Феликс не мог ни жевать, ни хлебать. Азат Ералиев налил ему чуть не полную кружку водки — пробить дыру в середке, — сказал. Подсудимый выпил и малое время спустя свалился на землю. Когда проснулся — третьего орудия в лесном закутке уже не было.

Неловкость батарейцам была в том, что после суда осужденного забыли на батарее, бросили, и он болтался без дела.

"Да вы скажите, куда его доставить?.. Мы сами..." — услышал Феликс из землянки командира батареи.

Наконец-то, в сопровождении двух бойцов, вооруженных автоматами, Феликса Боярчика отвезли в тыл, на окраину деревни, в то место, куда сгонялась, свозилась, доставлялась

преступная публика. Вот тогда-то, прощаясь с ним за руку, сочувственно сказал один конвоир с четвертой батареи:

— Эх, парень, парень, не повезло тебе, попал ты под колесо!..

А особняк бригады, озабоченный, запаленный, столкнулся с Боярчиком и отворотился, ускорил шаг.

— Я сниться тебе буду, тварь! — неслось ему вослед, Наука клубного работяги Зеленцова, слова его не пропали втуне.

Еще один день, смертельный, длинный день на плацдарме подходил к концу, заканчивался в тяжелой тревоге и неведении: будут завтра живые люди, населявшие клочок земли, волей провидения выбранный ими для избиения друг друга, или не будут. Сотрясенный, выжженный, искореженный, побитый, настороженно погружался плацдарм в ночь.

Совершив преступление против разума, добра и братства, изможденные, сами себя доведшие до исступления и смертельной усталости люди спали, прижавшись грудью к земной тверди, набираясь новых сил у этой, ими многажды оскорбленной и поруганной планеты, чтобы завтра снова заняться избиением друг друга, нести напророченное человеку, всю его историю, из рода в род, из поколения в поколение, изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие переходящее проклятие.

Что тут могла значить горькая доля одного маленького человека? Но, может, с нее, с той, незащищенной, братьями преданной жизни, все и начинается? Или начиналось? Может, более сильный брат вырвал возле пещерного огня кусок мяса у брата более слабого — и никто того не защитил?

— Значит, так ты и влепил этой шкуре? — выслушав историю Боярчика, спросил Булдаков. — Да-а-аааа, ситуация!.. Однако, пока жив — живи.

— Мы их достанем, мы еще потолкуем с ними! — шевельнулся в темноте Шорохов.

Ночь была осенняя, студеная, с роящимися в небе высыпками звезд. К утру землю снова вызвенело инеем. Бело и ясно сделалось в мире, лишь река угрюмо темнела меж сверкающими берегами, местами все еще что-то дымилось. Под ногами хрустело, бьясь о берег, позванивало крошево ночью народившегося на закрайках берега грязного льда. Вдалеке возбужденно кричало воронье. У немцев трещали движки и дымились кухни, начала работать агитационная установка, и так прозрачен и гулок был воздух, что звуки рупоров доносились и до левого берега.

День четвертый

Лейтенант Яшкин проснулся, постоял очумелый, огляделся. Коля Рындин, вроде бы по доброй воле исполнявший обязанности ординарца комбата, полил Яшкину на руки. Ротный чуть освежился водой. Коля же дал Яшкину две горсти яблочек-падалиц и комок размоченного, в грязное тесто превратившегося хлеба. Варить, даже зажигать что-либо в расположении батальона было строго запрещено. Щусь назначил Яшкина на ночь дежурным по батальону, сказал, что целых два отделения весь день дрыхли, земли не копали, так чтоб ночью на постах и в боевом охранении не вздумали прикемарить. Немецкая разведка непременно сунется разузнать, кто это шебуршится под боком, какая сила и сколько ее тут?

— Предупреди постовых и боевые охранения — если проспят фрицев, старшему без всяких

судов расстрел. Я прилягу. Когда связь подосвободигся, постарайся намекнуть командиру полка или прямо левому берегу, что мы хоть и передовой отряд, но тоже жрать охота, запасной же паек — два сухаря и банку консервов на брата — славяне съели еще на своем берегу, чтобы врагу ничего не досталось.

Комбат шутил мрачно и сонно, укладываясь под глиняный навес, на жидкую подстилку из полыни. Уже натянув на голову полу телогрейки, откинулся:

— Да, вот еще что: по телефону запросили данные на всех, кто с тобой остался, и на тебя. Уцелело вас из двух рот и взвода разведки аж тридцать шесть человек. Трепачи-связисты вызнали: все вы представлены к званию Героя Советского Союза и, кстати, разрешено уцелевшим переправиться на левый берег, если сумеете.

— Мы же отрезаны.

— Знаю. Но знаю также, что Нелька за ранеными на лодке плавает. Попробуй с нею.

— Нелька, Нелька, где твоя шинелька? Пусть она раненых и плавит, мы покуль целы, хоть и пахнет от нас говном с перепугу, вместе с вами побудем, — постоял, вздев рыльце в небо, — мы ведь ничего там путного и не сделали. Сидели под берегом, и нас немцы помаленьку выбивали.

— Отвлекали противника во время переправы, то не дело? Ну, лан, я поехал, — совсем заторможенно промолвил Щусь и уснул, но еще какое-то время слышал Яшкина. Как и в прежние времена, любил Володя поворчать:

— Если обуви не дали, значит, выдадут медали, как бает затейник Леха Булдаков. Лучше бы горячей еды да хоть сухарей выдали бы, — и отправился Яшкин по прорытому ходу сообщения назначать и проверять посты.

Боевой опыт, всякий опыт, и горький, и сладкий, — батальон Щуся накопил немалый. Но опыту тому году нет, а безалаберности и разгильдяйству российскому — тыщи лет. Тут, как говорится, доверяй, но проверяй. Яшкин твердо знал: будут немцы шариться всю ночь под высотой, по ближним оврагам, чтобы добыть русского языка и вызнать, чего тут и как. Коля Рындин вон собрал всю гремящую посуду, ханыгу какого-то, к тяжелой работе неспособного, прихватил и по воду в ручей наладился. Хозяйственные немцы в ручье, неподалеку от его истока изладили небольшую запруду и не менее хозяйственный русский боец решил той запрудой попользоваться в двойном смысле, водицы черпнуть и яблочек-падалиц, скопившихся в запруде, насобирать — всякая пища от Бога.

Застопорил лейтенант Яшкин Колю Рындина с котелком, орет, стукает солдата кулаком по черепу:

— Сцапают тебя, дурака, вместе с напарником возле запруды — и в кусты, что козелка уволокут. Помнишь, как на Сумщине-то было? Под сосной-то?

— Кто уволокет? Пошто уволокут? — Коля Рындин развернул богатырские плечи.

— Дурында! — махнул на него рукой Яшкин. — Сила есть — ума не надо! Сиди и не мыркай! Немец разнежится, разоспится, дам тебе пару автоматчиков — тогда и пойдешь. А сейчас можешь похрапеть. Пужни, пужни врага. Фриц подумает — новое у нас секретное оружие появилось и, глядишь, отступит...

"О, Господи! — послушно устремляясь на ночлег, растрогался Коля Рындин, думая о всех своих

товарищах по бердскому еще полку, а о них он думал теперь только с нежностью, только как о родных братьях, в том числе и о Яшкине. — Экую страсть пережил человек и все ишшо шутит. Вот она, сила-то партейная какая! Божью, конешно, не перегнет, но все жа..." — На этом месте размышления Коли Рындина обрезало, плацдарм огласил доселе еще неслыханный рокот: из-за пересечений и оврагов здешняя местность считалась танково не опасной, но все же войска по ту и по другую сторону фронта насторожились.

В Сумской области, возле старого городища, из доблестной роты Щуся, с одного места, из-под развесистой сосны немцы утащили двух постовых.

Щусь затребовал с кухни надежного бойца Колю Рындина и сказал ему, чтобы он как следует выспался и с полночи заступал на пост:

— Хватит врагу умыкать советских героев, умеющих стойко держаться на допросах после того, как выспятся на посту.

— Дак, поди-ко, в третий-то раз и не придут? — вслух размыслил Коля Рындин.

— Во-во! — вскипел ротный. — На это и расчет у немца. Попробуй у меня усни!..

— Да не, коды я спал? В помешшэнье, если после работы, на посту зачем же спать?

Неподалеку от поста Коли Рындина, в ровике боевого охранения, томилась неразлучная пара — Финифатьев с Лехой Булдаковым. Коля сказал Булдакову, чтобы он шел за ужином. Повар-сволочь нарочно волынку тянул, нарочно кухню не топил, ничего не варил — не управляюсь, мол, без помощника и все тут, подыхайте с голоду, коли забрали подручного. Это чтобы Колю Рындина ему вернули, он бы лежал кверху пузом либо пьянствовал со старшиной Бикбулатовым, а вкалывал бы за него помощник.

Ровик боевого охранения, накрытый сосновыми сучьями и присыпанный землей, проламывали обувью и рушили его перекрытие славяне, куда-то и зачем-то бредущие. Один воин вместе с кровлей и сам обвалился вниз. Леха Булдаков, выкопав налетчика из-под земли и обломков, спросил, куда тот держит путь?

"Картошку варить", — причина уважительная, но Леха все же отвесил гостю пинкаря, чтоб путь знал, не вилял по сторонам — и выбросил его наверх. Кровлю над ровиком починил. Ход сообщения из ровика в траншею начинал копать Финифатьев, докапывал его напарник, потому что сержанта вытребовали на партийное собрание. Финифатьев копал ход сообщения в полный рост, отпетый филон и неистребимое трепло Булдаков свел ход сообщения к траншее уже по колено глубиной. На ругань и претензии начальника своего, вернувшегося с собрания, давил несокрушимой логикой:

— Ниче, дед, ниче! Утопчется. Вишь, какая тут земля-то? Выкопай в рост, шшэль осыплется, труд зазря пропадет...

Ушел вот забулдыга, уперся без оружия по лесу в глушь. Для обороны у него граната в кармане под мошонкой болтается, не поймешь, где че. Он ею, гранатой-то, еще и балуется:

— В случае чего, дед, я и себя, и врагов взорву!..

— А я куды жа?

— И тебя взорву — все одно без меня пропадешь. Однако боязно Финифатьеву без Булдакова и

за Булдакова боязно.

"Ох, Олеха, Олеха! Ох, обормот, обормот! На всю Сибирь, видать, один такой. Много таких даже самая дикая и крепкая природа не выдержит. Ушел вот с двумя котелками — за кашей и за чаем. И сгинул. Выпивку небось привезли, смекат урвать чарку-другую сверх нормы. А ежели на пути к кухне жэнщина попадется — тогда до свиданье-те и фронт, и война, хвост распустит, а другой сердешнай в окопе загинайся, на самой-то передовой-распередовой, на самой-то опушке лесу, за которой нейтральная зона, враг вот он, рядом. Дышит! Шарится! Тайное выведать норовит..."

Вот вроде бы что-то пошевелилось наверху, зашуршало, потекла стылая земля. "Йя вот вам поброжу! Йя вот стрельну!.." — хотел пугнуть лазутчиков Финифатьев и воздержался: если свои — могут морду набить — не мешай их планам, если разведка фрицевская — может гранату вниз булькнуть — ход покатом, в крытой яме — в клочья разнесет... "Ох, Олеха, Олеха! — ерзает в окопчике Финифатьев, напрягая слух. — И штоб ты сдох, маньдюк окоянной! Нету и нету".

Спервоначала Финифатьев пробовал разговаривать с постовым — Колей Рындиным, и тот охотно беседовал с ним. Но потом у постового ноги остыли и он, постукивая ботинком о ботинок, ходить начал — валенок ему не дали, ему и Булдакову по размеру так и не нашлось валенок во всей стране. Пошел в глубь леска Коля Рындин, негромко и протяжно напевая: "Господи, еси на небеси..." — молитвы позабыл, так хоть во время дежурства повспоминаю". И сразу, без перехода, тем же тоном выбурил: "Мыного деушек есть в колефтиве..." Песню пел про девушек, его на кухне обучали веселые люди — повар и старшина Бикбулатов. Хорошая песня, про Осипово напоминает, про Аньку-повариху. "Ух, шшас бы ее суды, во лесок — много б супу мы с ей наварили! Горячего!" — тайно мечтал Коля Рындин.

На месте молодого, загустелого соснячка, в котором стояла изготовившаяся к наступлению дивизия генерала Лахонина, был когда-то лес, но его срубили селяне на разные надобности. Насадили новый лес, оставив — для красоты или осеменения — старые раскидистые сосны. Одна зеленая матушка, обхвата в три величиной, распустив ветви шатром почти до земли, стояла в расположении роты Щуся. Здесь, под этой уютной сосной, немцы и взяли уже два русских языка. К чему им понадобился третий — поди, узнай!

Его, третьего, так вот и тянуло под сосну, так и манило прислониться спиной к теплой жесткой коре, присесть в заветрии ствола, в молодости поврежденного топором. Стес-то как бы специально сделан для спины — выемкой этакой уютной, белой, с липучей серой, по краям оплывшей. Коля Рындин и прислонился спиной к желобку, сполз вниз, присел, меж коленок поставленную на предохранитель винтовку держит, слушает. Не шумит дерево буйной головушкой, не шевелит даже единой веточкой, только шепчется хвоею, только пошуршивает отставшей от ствола золотистой пленочкойкоринкой, изредка покатится сверху шишка бурундуком или белкой, может, и птахой, в вершине заночевавшей, тронутая, пересчитает по пути шишка все ветки, шлепнется в притоптанный снег — и снова Божье время — тихая ночь. Часовые тут возле этой сосны, зачарованные тишиной ночи, дремали. Двое и додремались. "Где вот оне теперь? Че делают? Пытал их, небось, враг при допросе, иголками тыкал. А не дремли, не волынь, раз приставлен к ответственному делу. Ну, наши разведчики — разговор особый — молодцы из школьных следопытов, из деревенского сословия, аль из конокрадов, аль из охотников, хоть волка выследит, хоть медведя, ту же чуткую козу — и сучка не сломит. Но чтоб немца, в его обутках, с его-то чужой поступью, городской сноровкой, — не услыхать — это как же спать надо?.."

На этом месте плавные мысли Коли Рындина оборвались. С двух сторон навалились на него

грузные, белые тени, вырвали винтовку, по кумполу прикладом оглушили, но со скользом попали — темновато все же. Постовой дернулся, хотел заорать, да только рот открыл, тут же его чем-то нешибко мягким и вкусным заткнули. С испугу он двинул в кого-то кулаком и по боли в козонках понял, что попал в зубы. Тот, в кого он попал, хлопнув ртом и подавившись зубами, укатился в темь. Постовой, наконец, догадался, кто на него навалился, — немцы это, немцы! Он их поднял и понес на себе, что медведь на горбу, не понимая, куда и зачем тащит врагов, ноги сами правились к ближней обороне, к ячейке сержанта Финифатьева, к ровику боевого охранения.

Взведя автомат, в проходе затих Финифатьев, моля Бога, чтоб немцы или наши вояки с передрягу не метнули гранату, — она по обмерзло накатанному-то, наклонному ходу сообщения непременно в уютную щель упрыгает, и конец тогда всякой жизни...

Коля Рындин донес-таки лазутчиков до хода сообщения и вместе с ними свалился в яму. От удара оземь изо рта его вывалился кляп.

— Л-ле-о-ох-ха-а! Не-э-эмцы! — рявкнул он на всю передовую и почувствовал, как ожгло тело под одеждой, — вдарили ножом, понял Коля Рындин и принялся крушить кулаками направо и налево, все продолжая звать Леху Булдакова.

— Тут я, тут!

— Бей! — удушенно захрипел Коля.

Булдаков собрался крикнуть: "Котелки у меня!", — и даже протянул посудины, чтоб показать Коле, — полны каши котелки-то, но тут же кинул в сторону звякнувшую посуду и бросился на помощь товарищу, выхватывая из кармана "лимонку", чтобы использовать ее вместо камня, и первым же ударом достал кого-то. Немцы не стали дожидаться, когда их самих возьмут в плен, давай деру от русских позиций. Разъяренный до последнего градуса, Булдаков подскочил к своему ровику, вырвал у Финифатьева автомат и полоснул длинной очередью вослед вражьим лазутчикам. Тут же вся боевая отечественность застреляла со всех сторон и во все стороны. Леха задернул Колю Рындина в ячейку, прижавшись друг к дружке и к земле, они все трое лежали и не дышали, пока не унялась пальба. Один станковый пулемет на фланге роты, в самом исходе траншеи, никак не унимался, строчил и строчил по врагу, ждали, чтоб заело, — патроны нового образца, с медной наваркой, у них часто отлетают жопки, трубочка остается в стволе — выковыривай ее пальцем оттудова. Но вот когда надо — не заедает, а когда не надо — заедает.

Примчались из роты Щусь и Барышников со взведенными пистолетами.

— Че у вас тут?

— Колю в плен брали!

— Взяли?

— Хуеньки! — первый раз в жизни выразился Коля Рындин сквозь плач.

— Сильно ранен? — осветил фонариком тесный ровик командир роты.

Коля Рындин все уливался слезами, но укротил себя, набрал ночного воздуху и добавил уже почти без плача, лишь всхлипывая:

— Ниче-оо. Подкололи. Подумаш. У нас в Кужебаре на вечорках аль на лесозаготовках вербованные шибче режутся.

— 0-ой, вояки! 0-ой, вояки! — качался на бровке окопа ротный, — с вами не соскучишься. Идти можешь?

— А куды? — насторожился Коля Рындин.

— Куды, куды? В санроту.

— Да зачем она мне? Так засохнет.

— Схотели сибиряка голой рукой... — гомонил Леха Булдаков, перевязывая и ободряя раненого товарища, — своего пакета не жалел.

Взводный Яшкин, обшаривший с бойцами окрестности, забросил в ход сообщения немца, извалявшегося в песке и в снегу. Полную горсть красного песку держал он у рта, но кровь текла между сжатыми пальцами за рукав. Немец пытался чего-то выбубнить зажатым ртом. "Гитлер, капут!" — разобрали наконец русские.

— Ни-чего ты его, Николаша, обиходил! — покрутил головой заместитель комроты Барышников.

— Тут уж, хочешь не хочешь, надо человека к награде представлять! — ввернул слово Булдаков.

— Я вот вас представлю!.. Я вот вас представлю! — шипел в отдалении Щусь, — вы, засранцы, мою кровь скоро допьете! Всю! В Бердске не допили, здесь уж вылакаете до капли.

— Дак че сделаш? Така уж твоя планида! — успокоил Щуся Финифатьев, помогавший Булдакову с перевязкой. Узнав о загубленных каше и чае, ротный старшина Бикбулатов лично примчал героям на передовую полведра каши, куда по своей собственной инициативе вывалил две банки тушонки и умял варево чистым полешком. Водочки тоже прихватить догадался — человек он был не только находчивый, но и пьющий, понимал, что к чему.

Выпили командиры и бойцы, даже Коля Рындин, переставши наконец плакать, впал во грех, перекрестясь, оскоромился и утих в углублении ровика. Его прикинули снятыми с себя шинелями Булдаков и Финифатьев. Коля Рындин, затяжно всхлипнув, осторожно захрапел. "Нарошно ведь, нарошно храпит, уворотень, — чтоб в санроту ночью не идти", — ругался про себя Щусь.

Барышников назначил нового постового, взяв с него слово под роковую сосну не укрываться. Как только шаги командиров утихли, Коля Рындин в самом деле уснул, вжавшись в косо копанную стенку ровика, но всю ночь во сне младенчески обиженно вхлипывал. Булдаков, крепко выпив, впал отчего-то в мрачное настроение. "У бар бороды не бывает..." — бубнил и по-нехорошему прискребался к своему начальнику, отчего, мол, он, шкура, затаился? Почему не стрелял?

— В ково стрелять-то? В ково? Он их, фрицев-то, на себе ташшыт и ташшыт, ко мне ташшыт! В окопе клубком свилися — пальни очередью — своево же и порешишь. Страсти-то скоко я натерпелся! — Ответом ему отчужденное молчание верного и бесстрашного товарища. — В каку манду мне было стрелять-то?! — вдруг взвился до визгу Финифатьев. — В каку? Объясни народу, раз ты такой мудрой!..

Леха не объяснял. Глотнув еще маленько, на этот раз из кружки Финифатьева, гвозданул напарнику по плечу:

— Не зря ты в самой мудрой партии так давно состоишь, не зря!

Утром в траншее обнаружился убитый немецкий разпедчик, по всем видам уложил его из автомата Булдаков. Вечером из санроты возвратился Коля Рындин, сказав, что ранение у него пустяшное и отставать ему от своих никакого резона нет.

На самом же деле одно ранение у Коли в боку было проникающее. Кроме того, во всю грудь наискосок шла глубокая ножевая царапина, и шишка от чужеземного приклада на башке с картошину назрела.

Но боец Рындин, проявив патриотизм, просил ротную фельдшерицу Нельку Зыкову командиру роты про серьезность ранения и про ушиб не говорить, перевязывать его в роте. Ну, а если уж хужее сделается, тогда сам он добровольно куда надо пойдет.

Превозмогая боль, Коля всем стремился доказать, что он в порядке, ломил, варил на кухне вместе с поваром, яму под кухню сам копал, рубил и таскал дрова, пилил. Повар только и знал, что наливать в котелки — дивизия перешла в наступление, несла потери, каждый человек на переднем крае был необходим.

Через полтора месяца Коле Рындину вручал орден "Отечественной войны" первой степени командир полка Бескапустин. Наряженный в чистую гимнастерку с подворотничком, наученный товарищами и ротными командирами, как подобает себя вести во время торжественного акта, как жать руку вручающему орден за взятие языка и не шибко громко, но внятно сказать: "Служу Советскому Союзу!" — награждаемый все это проделал, как было велено, только вот руку так жманул командиру полка, что тот присел. Коля Рындин намеревался сказать, что не брал он никакого языка, на него напали, он отбивался и нечаянно одного врага оглушил, но ротный, Алексей Донатович, незаметно показывал ему кулак у самого изгиба форсистого галифе, и он ничего говорить не стал.

Уже у себя в землянке, угощая свежего кавалераорденоносца водочкой и при этом сам упившись, Щусь братски обнимал своего любимого солдата и твердил, что не ошибся он в нем, в Коле Рындине, и во всех ребятах-осиповцах не ошибся, — воюют что надо, а что подводят иногда своего командира и кровь у него уж вся почернела — "такая его планида...", как говорит сержант Финифатьев.

"Захмелел товарищ лейтенант", — слушая умилившегося ротного Щуся, думал не один Коля Рындин. Все его давние сопутники безгласно любили командира, тепло о нем думали. Леха Булдаков, получив вместе с Колей Рындиным орден "Красной Звезды", третий по счету, кидал его в алюминиевую кружку с самогонкой, уверяя, что завсегда так в благородном обществе обмывают ордена, и просил товарища своего спеть песню: "Много девушек есть в коллективе", но Коля Рындин отмахивался от него, и дело кончилось тем, что сам Булдаков заблажил с детства запомнившуюся песню: "По Сибири до-олго шля-ался арестанец молод-о-ой...", Коля Рындин, умильно глядя в зубастый рот земляка, сперва стеснительно, "для себя", подпевал ему, однако постепенно набирая голосу, мощно подбуровил: "Со-орок тысяч капиталу во Сибире я нажы-ы-ыл, а с тобой, моя чалдоночка, в одну но-о-очку-ю пра-а-аакути-ы-ыл!" Коля Рындин на этом месте даже притопнул и от чувства братнева завез по спине своему повару так, что самому пришлось имать его в воздухе!

— У них и песни-то все каторжны, про грабителей с большой дороги, — ворчал сержант

Финифатьев и, будучи сам навеселе, просил друга своего: — Олех, Олех! Давай каку-нить человеческу, а? Давай!

— Партейную?

— Да ну тя! С тобой, как с человеком...

— Ну, давай, затягивай, а мы подхватим. Да налей сперва, не жмись.

Налили. Выпили, благо командиры все разошлись и не мешали вполне заслуженному веселью, столь редкому у солдат.

Финифатьев сузил замаслившиеся глаза, прищелкнул пальцами и сразу высоко, звонко начал: "А, девочка Надя, чиво тебе надо?"

И солдаты обрадованно, что помнят, не забыли, сразу во всю грудь подхватили:

А нич-чиво не надо, кроме чиколада!..

Финифатьев знал всю песню насквозь:

А чиколада нету...

Солдаты ухнули:

Дам табе канх-вету!..

— Вот, — не переставая щелкать пальцами и вести бодрую песню, ликовал Финифатьев. — А то орут всякую херню...

Веселились тогда и пели долго, пока все до единой капли не прикончили.

С рассветом, ясным, солнечным, когда уже ничто не застило ни неба, ни светила, сделалось видно заречье, столь близкое и столь далекое. Досталось и заречью: лес по обережью совсем проредился, торчали по нему черные остовы стволов и сломанных ветел, хутор на берегу почти и не значился — груды каменьев да головешек от него остались. Старая, слежавшаяся солома все еще бело и вяло дымилась, седой дым дедовской бородой отгибало к реке, шевелило над водой. Даже и до плацдарма доносило саднящий дух горелого хлеба, грязных овчин, угарный чад выгоревшего дерева, скорее всего от смолой пропитанных дубовых свай, на которых стояли хаты приречного селенья.

"Не одним нам досталось", — удовлетворенно отметил Леха Булдаков, вылезший из норки, "из своей кривой кишки поливая камешки", как пишется в одном детском стишке. Вместе с Лехой Булдаковым испытала злорадное удовлетворение всякая сущая душа, бедствующая на плацдарме. Штрафная рота, поднятая по тревоге и выдворенная из береговых норок, вслух выражала свои патриотические чувства.

Возле берега, по заливам и уловам качало шубой всплывшую, синевато-черную сажу, но тот, кто решил умыться, в смятении обнаруживал: то не сажа, то мухи, черные, трупные мухи. Днем, когда тепло, в парной духоте они окукливались на трупах; оставляли кучку червей-плевков и ночью, убитые инеем, вялые от холода, валились в воду, ползали по берегу, по отвесам яра, залезая в норки, липли к теплым лицам людей, от взрывов подлетая тучами, они издавали монолитный зудящий звук, раненым казалось — приближаются самолеты.

Перелетные птицы, еще с вечера остановившиеся на реке, жировали, выедая мух и глушеную рыбу. Утром, при первых же звуках боя, птицы взмывали в небо и, высоко кружась, летели в дальние, теплые страны, здешние же птицы волнами откатывались от места драки в глубь материка.

Ночью на двух понтонах и на связке надутых резиновых лодок переправили на плацдарм отборный заградотрядик, душ во сто, вооруженный новыми пулеметами. Вместе с отрядом переправлены были автоматы, гранаты, винтовки — для контингента, осужденного на искупление вины своей кровью. Еду, медикаменты и прочее довольствие переправить забыли. Лодки с понтонами крепко охранялись — заречные вояки очень были озабочены важными, неотложными делами, ждавшими их по другую сторону реки. Тимофей Назарович Сабельников с добровольными помощниками из пехоты едва успел погрузить на понтоны десятка два раненых бойцов. Не зря так суетны были хозяева плавсредств. Лучезарное утро не разгулялось еще ладом, еще солнцем иней не растопило, но на лике светила возникла уже густая рябь. В самой середине солнца, будто в подсолнухе, зашевелились, зареяли пчелки, неся к реке слитый, мощный гул. Разбитый, разрытый, разворошенный, принаряженный белой пленкой инея, овражистый склон суши снова качнуло, подбросило, обдало удушливым чадом тротила — началась бомбежка, и такая плотная, что казалось, ничего живого на берегу не останется, даже сама рыжая глина и желтый песок, поднятые в воздух, будут сметены в реку и унесены течением и волнами в море.

Наконец-то начала действовать и наша авиация. Вынудили-таки немцы и ее летать не вдогонку, но сейчас, в разгар боя лезть в небесную кашу и расчищать небо над плацдармом. Закружилось, заныло, застреляло вверху. Два бомбардировщика один за другим потянули за собою от реки черные хвосты и упали за высотою, взорвавшись огненным клубом. По небу был развеян весь самолетный строй, сорил он бомбами куда попало и поскорее давал ходу от реки, от зачумленности этого места, называемого плацдармом.

Если бомбардировщики умирали, тяжело рокоча и воя, горели, содрогаясь от рвущегося смертоносного груза и боезапаса, то ястребки, точно птички, подшибленные камнем, ахнув, щелкнув чем-то тонко и длинно, запевали жалобную песню, переходящую в пронзительный вой, рвущий душу и слух, и витки падающего самолета, как и вой его, начавшись как бы с баловства, с легкого и ловкого виточка, забирали все больший круг, все шире кроили небо. Всем на земле казалось, что машина справилась с собою, одолела пространства, сейчас выравняется и, пусть и подшибленная, раненая, устремится домой, к себе на аэродром. Но земля как бы притягивала к себе самолетик, лишала его мощи и воли на каждом витке, самолетик вдруг, всегда вдруг, задирал хвост и шел уже прямо и согласно вниз, взревев прощально каким-то не своим могучим ревом, и тыкался в землю носом, выбрасывал клок черной клубящейся шерсти, и в миру сразу делалось тише, легче, у казенных людей отпускало сжатое сердце — кончилась еще одна маета. Случалось, самолеты взрывались в воздухе, их разносило огненным клубом в клочья; случалось, падали они неуклюже, блуждая по небу, слепо и молча ища опору и успокоения в последнем пике, перевертываясь с брюха на спину, и ударялись в землю грузно, всем корпусом, подбрасывая над собой какие-то части, клочья, ошметья — припоздало доносился хрясткий звук удара оземь тяжелого моторного сооружения, потому как подбитый, точнее, убитый самолет, как подбитая птица, терял свой облик, становился просто предметом, неуправляемым, бесформенным и неуклюжим.

Русский летчик успел выпрыгнуть из подбитого истребителя, но в неловкое место выпрыгнул, над рекой. Подбирая стропы парашюта, летчик норовил утянуться за реку, приземлиться на своем берегу. По нему, беспомощно болтающемуся в просторном небе, ох, как хотел в те минуты человек, чтоб небо загромождено было облаками, дымом или еще чем-нибудь, — со вражеских позиций открыли огонь из всего, что могло стрелять. Не потому, что немцы —

совсем плохие люди, потому и палили. Попади на место нашего летчика немец, наши поступили бы точно так же, потому как на этот случай нет тут ни немца, ни турка, ни русского; болезненно-азартная психопатия — доклевывать подранка в крови у всякой земной твари, даже у веселых, вроде бы невинных пташек, а уж тварь под названием человек — где же обойдется без зверского порока. Добить, дотерзать, допичкать, додавить защиты лишенного брата своего — это ли не удовольствие, это ли не наслаждение — добей, дотопчи — и кайся, замаливай грех — такой услаждающий корм для души. Века проходят, а обычай сей существует на земле средь чад Божьих.

Крепок духом, силен телом был русский летчик. Упав с продырявленным парашютом в воду, он еще сумел снять с себя лямки парашюта, сбросил шлем, поплыл к берегу, но против оголтелой, в раж вошедшей орды, обрушившейся на него всем фронтом, и ему, неистово борющемуся за жизнь, устоять оказалось не по силам.

Еще только-только прах земной и дым успели приосесть, после первой волны бомбардировщиков на полоске берега, по речке Черевинке и по оврагам рассредоточилась, потопталась, пошебуршилась и мешковато пошла в атаку штрафная рота. Без криков "ура", без понуканий, подстегивая себя и ближнего товарища лишь визгливой матерщиной, сперва вроде бы и слаженно, кучно, но постепенно отсоединяясь ото всего на свете. Оставшись наедине со смертью, издавая совершенно никому, и самому атакующему тоже, неведомый, во чреве раньше него самого зародившийся крик, орали, выливали, себя не слыша и не понимая, куда идут, и чего орут, и сколько им еще идти — до края этой земли или до какого-то другого конца, — ведь всему на свете должен быть конец, даже Богом проклятым, людьми отверженным существам, не вечно же идти с ревом в огонь. Они запинались, падали, хотели и не могли за чем-либо спрятаться, свернуться в маняще раззявленной темной пастью воронке. По "шурикам" встречно лупили вражеские окопы. Стоило им подзадержаться, залечь — сзади подстегивали пулеметы заградотряда. Вперед, только вперед, на жерла пулеметных огней, на харкающие минометы, вперед, в геенну огненную, в ад — нету им места на самой-то земле — обвальный, гибельный их путь только туда, вон, к рыжеющим бровкам свежевырытых окопов.

Человек придумал тыщи способов забываться и забывать о смерти, но, хитря, обманывая ближнего своего, обирая его, мучая, сам он, сам, несчастный, приближал вот эти минуты, подготавливал это место встречи со смертью, тихо надеясь, что она о нем, может, запамятует, не заметит, минет его, ведь он такой маленький и грехи его тоже маленькие, и если он получит жизнь во искупление грехов этих, он зауважает законы людские, людское братство. Но отсюда, с этого вот гибельного места, из-под огня и пуль до братства слишком далеко, не достать, милости не домолиться, потому как и молиться некому, да и не умеют. Вперед, вперед к облачно плавающим, рыже светящимся земляным валам — там незатухающими свечами, пляшущим и плюющим в лицо пламенем — означен путь в преисподнюю, а раз так, значит, в бога, в мать, во всех святителей-крестителей, а-а-а-а-о-о-о-о — и-ии-и-и-и-и-иы-ы-ы-ы-аа-а-а — ду-ду-ду-ду… и еще, и еще что-то, мокрой, грязной дырой рта изрыгаемое, никакому зверю неведомое, лишь бы выхаркнуть горькую, кислую золу, оставшуюся от себя, сгоревшего в прах, даже страх и тот сгорел или провалился, осел внутри, в кишки, в сердце, исходящее последним дыхом. Оно, сердце, ставшее в теле человека всем, все в нем объявшее, еще двигалось и двигало, несло его куда-то. Все сокрушающее зло, безумие и страх, глушимые ревом и матом, складногрязным, проклятым матом, заменившим слова, разум, память, гонят человека неведомо куда, и только сердце, маленькое и ни в чем не виноватое, честно работающее человеческое сердце, еще слышит, еще внимает жизни, оно еще способно болеть и страдать, еще не разорвалось, не лопнуло, оно пока вмещает в себя весь мир, все бури его и потрясения — какой дивный, какой могучий, какой необходимый инструмент вложил Господь в человека!

За невысоким бруствером окопа, в аккуратно лопатой выбранной нише — по-солдатски — в

кроличьей норе, уложив уютно ствол пулемета на низкие сошки, прижав к плечу деревянную рогульку, к которой, чтобы не отбивало плечо, набита суконка и намотан почерневший бинт, упористо расставив ноги, расчетливо, без суеты вел огонь замещающий командира взвода унтер-офицер Ганс Гольбах. Помогал ему в этой работе, привычной и горячей, второй номер, Макс Куземпель. Это был не первый пулемет на их боевом пути, и каждый из них, разбитый ли, брошенный ли при отступлении, имел окопное имя: шарманка, камнетес, косилка, цепная собака, машинистка, и так имен до десяти, даже "тетка-заика" звался один пулемет. Но с некоторых пор Ганс Гольбах и Макс Куземпель возлюбили грубые русские слова, и на это у них были свои основания, потому и звали они свой нынешний пулемет — дроворубом.

Ганс Гольбах — остзеец, Макс Куземпель — баварец, по роду-племени оба немцы. На этом кончается их родство и сходство. Гольбах происходит из рабочего класса, с пятнадцати лет ворочал он тяжести в огромном ростокском порту, с пятнадцати же лет начал попивать, баловаться с портовыми шлюхами. Побегал он и в табуне коминтерновцев под пролетарским красным знаменем, даже одну или две витрины разбил кирпичами "на горе", в буржуазных кварталах, очки и шляпу с какого-то прыщавого студента сорвал и растоптал справедливым башмаком борца за равноправие и свободу. Огромный ростокский порт — это мрачный и разгульный город в городе, он действительно располагался под горой, на берегу залива. Оттуда "на гору" унес Гольбах два ножевых шрама, но "на горе", уж прибранный, дисциплинированный, ладно и складно одетый, делал "марширен" в слаженной колонне таких же строгих, мордатых остзейцев под звуки духового оркестра по гулким мостовым города. Млея сердцем, горя взором, толпа приветствовала своих героев-молодцов победными криками, юные фрау бросали полевые цветы под громыхающие башмаки.

Сооруженный по нехитрым чертежам рабочих кварталов, Ганс Гольбах уверенно носил крупную голову на широких плечах, был уже немного грузноват телом, косолап, волосат по груди и рукам, в то время как с головы его волос почти сошел — лишь на квадратном темечке и по заушинам серела короткая щетина, сбегающая на глубокую складку шеи каким-то диким, в день по сантиметру отрастающим волосом. В этом волосе, в кабаньей ли щетине, в желобе, сложившемся вдвое, кучно жили и отъедали голову Ганса немыслимо крупные вши, изгоняющие всякую вялую мелочь, может, и заедая ее, наверх, на череп, на ветродув. Ганс поступал с этой тварью так же, как русские люди поступали с вражескими оккупантами: дождавшись, когда "оккупантов" в складке кожи накапливалось так много, что они валились, будто через бруствер окопа, с засаленного воротника мундира, он их выбирал горстью, бросал на землю и, по-русски матерясь, размичкивал, втаптывал подковою военного башмака в землю, в чужую землю, постылую и совсем ему ненужную.

Глаза Ганса Гольбаха так глубоко впаяны в лоб, что их и увидеть-то невозможно, широкий, узкогубый рот, могучий подбородок, излишний объем которого ровно срезан тупой ножовкой, серым горбом подпирающая голову спина — все-все в нем скроено и размещено так, чтобы русские бабы пугали им детей, а советские художники рисовали на плакатах и листовках как самого страшного врага и дьявола.

Макс Куземпель, мало того, что родом с противоположного конца Германии, так и обликом, и характером совершенно противоположен Гольбаху. Жидкий телом, хрупкий костью, с тонким, будто картонным, носом, сын кустарного мыловара, он еще в школе носил чистенькие белые гетры, начищенные ваксой сандалеты, состоял в кружке по изучению и охране местной фауны. Держась за напряженно потеющую, ноготком его ладошку поцарапывающую ручку круглолицей, все время беспричинно хохочущей школьницы Эльзы, Макс собирал вместе с нею цветочки, нюхал пыльцу, коллективно занимался онанизмом в школьном туалете, слыша девочек за тонкой перегородкой. Ганс Гольбах к этой поре знал уже все портовые притоны,

таскал выкидной моряцкий нож в кармане, перестал посещать церковь и звал священника по-солдатски — библейским гусаром. Макс миновал одну лишь стадию развития германского общества — он не бегал под красными знаменами, не крушил, не портил с ополоумевшими арбайтерами-тельмановцами частную собственность. Он еще в школе, по рекомендации родителей и старшего брата, был принят в отряд гитлерюгенда, оттуда прямиком в мокрые попал, стало быть, в рекруты, затем уж тоже затопал башмаками по мостовым, но уже каменным, твердым, и тоже восхищал местное, малоповоротливое умом и телом население, к его ногам тоже падали цветы. Обретая мужество, Макс однажды увел свою соратницу по школьному кружку Эльзу на ту самую поляну, подножкой свалил ее на золотисто цветущие одуванчики изучать фауну. Эльза сопротивлялась ровно столько времени, сколько требовали приличия, тогда же и сказала ему, что он есть настоящий мужчина и она не напрасно ждала от него мужественного поступка. Светловолосый, белобровый, имеющий вытянутое лицо и надвое разъединенный подбородок, почти бесцветные, ничего не выражающие глаза и всегда чуть притаенно усмехающийся рот, Макс Куземпель, не то что его первый номер, совершенно никого не мог собою испугать, наоборот, умел всех к себе расположить. До фронта он мало пил и более или менее сдержанно относился к женщинам, был, как и все баварцы, скуп, проницателен, самодоволен и, как всякое малосильное создание, притаенно жесток.

Он, Макс, ища надежную опору и защиту, еще в тридцать девятом году, в Польше, влез в душу Ганса Гольбаха, высмеял его стремление быть всех храбрее, непременно получить крест с ботвой — высшую среди наград — железный крест, обрамленный дубовыми листьями, сказав Гольбаху — если он хочет получить крест на грудь, но не в ноги, на могилу, должен хоть маленько думать своей тупой остзейской башкой, которая совсем не для того Богом дана, чтобы носить на ней пилотку и плодить в волосах насекомых. И еще сказал, что принц иль граф, словом, какой-то титулованный, сановный хер, скорее всего, баварский, потому как остзейцам только бы маршировать да стрелять, влепил Гитлеру прямо в глаза, что войну они проиграют, потому как в Германии населения восемьдесят пять миллионов, в России — сто восемьдесят пять. Да, правильно, совершенно верно агитаторы орут — и душка Геббельс поет-заливается: каждый воин фюрера способен победить двадцать польских и десять русских солдат, но придет одиннадцатый — и что делать?

Вот он, одиннадцатый, прет на "дроворуба", матерится, волком воет, сопли и слезы рукавом по лицу размазывает, но прет! И что делать? Расстреливать? Устал. Выдохся. Не хочет, не хочет и не может больше Ганс Гольбах никого убивать, тем более расстреливать.

— Макс! — шлепает брызгами рыжей грязи Гольбах, нажимая на спуск хорошо смазанной, четко и горячо работающей шарманки. — Макс! Нас атакуют штрафники — по широким галифе узнаю... Приготовься. Скоро начнется благословение, нас пошлифуют и приперчат...

Гольбах орет, чтобы что-то орать, чтобы себя слышать. Он прекрасно знает: у Макса всегда все готово не только к наступлению, но и к деланию аборта, то есть по-русски — к драпу, к ночевке, есть в ранце чего перекусить и даже выпить. Но у Гольбаха в последнее время сдали нервы, и он в бою все время блажит, будто осел, скалится, и во сне ворочается, чего-то бормочет, скоргочет зубами... Прежде спал, как бревно, хоть в грязи, хоть в снегу. Навоевался кореш, как называют товарища русские, — досыта навоевался... Раз, один только раз не послушался упрямый этот унтер, с огуречной шелухой на грязном воротнике мундира, хитромудрого, окопного брата своего и вот теперь на пределе орет, завывает во всю глотку.

Все награды любимого рейха есть в наличности у Гольбаха. Тело набито русским железом и свинцом.

У Макса такого добра поменьше, но тоже кое-что имеется, он пусть и хитрый мужик, да не

заговоренный. Бренчи теперь на весь свет добытым в боях железом, гордись, торжествуй!..

— А-а, распрояттвою мать! — стараясь переорать Гольбаха, грохот, крики, шум, визг бобов, значит, пуль, свист и шлепанье брызг-осколков, ответно вопит Макс Куземпель, по-русски ругается — по-русски выразительней. — Я тебе говорил, сиди дома, не воевай...

"Дома сиди", — это значит, в плену. У русских. По книгам, по газетам, по кино выходит, что одни русские воевали в плену и бегали оттуда. Но вот редкий случай: Ганс Гольбах и Макс Куземпель смылись из русского плена. Еще осенью под Сталинградом сами сдались, а весной сами же бежать из плена сообразили. Перезимовали в тесных, зато теплых помещениях, на не очень сытной, но все же и не гибельной пайке, построили домики для советских чинов, которые для солидности называли их военными объектами. Позорно сделали марширен по столице России, которую так и не сумели взять в сорок первом году доблестные, нахраписты войска Вермахта, подготовились как следует, язык подучили, документы на двух литовцев добыли — Крачкаускаса и Мачкаускаса, да и рванули вперед, на Запад, в формирующуюся где-то на российских просторах литовскую добровольческую дивизию имени литовского борца за свободу и независимость своей родины Целаскаускаса, что ли. В походе по русской, разоренной земле за главного был Макс. Гольбах открывал рот затем только, чтобы поесть картошки. Макс с его размытым лицом и пустым водянистым взглядом да мягким, слюнявым акцентом: "Маленько прататут, мали-энько укратут" — брил под литовца чисто, но и то в каком-то лесном селении солдат, при царе еще побывавший в германском плену, вглядевшись в Гольбаха, взревел: "Какие литовцы? Немцы это, бляди!.."

Много, очень много всяких приключений было у Макса Куземпеля и у Ганса Гольбаха, пока они достигли фронта. Боялись, что трудно будет переходить плотно войсками насыщенный передний край, но обнадеживал фронтовой опыт. На русской стройке вместе с другими пленными работал бывший ротный повар, так они вместе с кухней и фельдфебелем переехали и немецкий, и советский передний край. Кухня, полная каши, чая, гремит, отдельно бачок с офицерской едой звенит, всю-то ноченьку путешествовали вояки по боевым порядкам воюющих стран, несмотря на то, что передний край был с той и с другой стороны заминирован. Их обнаружил, как это ни странно предположить, не немец, не фриц, а русский иван. На утре он залез в густой бурьян оправиться, тут на него кухня и наехала, фельдфебель — дурак, стрельбу открыл, и его русские убили. Повара же русский иван, взметнувшись из бурьяна, стащил с повозки, свалил на землю и в плен взял. Его же, повара, русские воины заставили кашу есть — не отравлена ли. Затем ели кашу русские солдаты, пили чай с сахаром господа советские офицеры. Все получилось очень разумно: немецкий повар теперь для пленных кашу варит.

Никого не потревожив, не разбудив, Макс Куземпель и Гольбах миновали охранение, переползли через русский, затем и через немецкий передний край. Очутившись в глубине аккуратной, но крепко дрыхнувшей немецкой обороны, беглецы уяснили, что повар, жирующий в плену, не просто веселый человек, но и везучий малый, он им не анекдоты рассказывал, наставление давал. И вляпались-то они опять же на кухне — хотели поживиться съестным, чтоб следовать дальше на запад, но зевающий повар, растапливая полевую кухню, был самый бдительный на этот час войны среди всех воинов, бьющихся насмерть друг с дружкой. Приняв беглецов за партизан, бесстрашный повар выхватил с деревянного передка кухни карабин, стоящий на предохранителе, и, дрожа от страха или холода, скомандовал: "Хенде хох!" — и под ружьем повел пленных по лесу в штаб. Никакие посещения штабов не входили в расчет Гольбаха и Куземпеля, путь их лежал до горного Граца, где в высохшем лесном колодце, в двух запаянных ящиках из-под патронов лежало у них кое-что, прихваченное еще в Польше, — там они подчистую вырезали семью местного часовщика и, забрав золото и часы, сожгли вместе с трупами мастерскую, хранилища-кладовые, прилегающие постройки, не оставив за собою и малого следочка.

После блистательной победы над Польшей они, как герои войны, удостоены были не только наград и почестей, но и отдыха в санатории Граца, куда прежде доступ был только немецкой аристократии. Фюрер ценил всех людей по их деловым качествам и храброго солдата любил не менее умного генерала. Военный его пролетариат не должен был ведать никаких сословий, правда, умные люди и тогда пророчили, что эта игра в братишку утомит скоро и самого фюрера и его приближенных, всяк будет знать свое место: кухарка — кухню, свинарь — свинарню, мыловар — мыловарню, солдат — окопы.

Макс Куземпель, отдыхая в горах Граца, посещал знаменитые пещеры, гулял по пронумерованным тропинкам, вдалбливал Гольбаху в его, тогда уже начавшую облезать, голову, что надо надеяться только на себя, иногда, уж при самой крайней нужде, — на Бога, хватит ему пить, хватит угнетать курортные бардаки, надо думать и не только думать, но и спасаться. Свою долю и долю многих верных воинов фюрера Макс Куземпель знал наперед: появится он на пороге родного дома, израненный, разбитый, никому не нужный, родители его — мыловары — дадут ему помыться, поесть, переночевать одну ночь позволят, затем отдадут ему сберкнижку, куда полностью до пфеннинга записаны все деньги, посланные им с фронта, и выпроводят за порог с наставлениями: они не намерены отвечать за его нацистские увлечения.

"Гольбах, давай кончать этого героя. Нам нельзя здесь задерживаться. Нам надо спешить в Грац", — бормотал по-русски Куземпель, быстро бормотал, неразборчиво, как научились они переговариваться в плену. "Макс! — отвечал ему Гольбах, воротя небритое и немытое рыло в сторону. — Я не смогу задушить этого жалкого ублюдка. Какого-нибудь хера, как русские говорят, с широкими лампасами, — с большим бы удовольствием придавил, а этого не могу. На мне много крови, Макс, кровь меня давит"."Гольбах, ебит... ебиттвою мать, по-русскому тебе говорю, нас помучают проверкой и снова заставят воевать... У Гитлера больше некому воевать. Нас, нас, кретинов, заставят! Ты меня понял, хьер моржьовый?.."

И заставили. И воюют. Гольбах — хьер моржьовый — совсем осатанел от войны, орет что попало, трясется как припадочный, кровь проливает, вшей на загривке плодит, грязь и лишения терпит вместо того, чтобы пить лечебную воду либо шнапс, хочется, так французское вино, наслаждаясь видами гор и снежных вершин, дышать здоровым воздухом, ублажать толстожопых немок, хочется, так егозливых француженок, итальянки тоже недалеко, гуляй с ними по пронумерованным тропинкам, по лесу, тоже пронумерованному, где, несмотря на исторический порядок, всегда можно найти полянку, чтобы выпить за здоровье, поваляться с женщиной на траве.

"Ах, Гольбах, Гольбах! Ах, пустоголовый пьяница! Зачем меня Господь связал с тобой?" — заправляя новую, пятисотпатронную ленту в зарядную камеру синенько стволом дымящегося от свежегорящей смазки пулемета, ругался и горевал второй номер, Макс Куземпель. — "Смотри! — Гольбах мотнул головой в сторону наступающих, — охерел иван!" Макс Куземпель через прорезанную для пулемета щель увидел во весь рост мчащегося прямо на пулемет Гольбаха безоружного русского солдата с широко раззявленным, вопящим ртом.

"Убейте меня! Убейте меня!" — донеслось, наконец, до пулеметной ячейки. Третий раз получает звание унтер-офицера Гольбах, уже и до фельдфебеля доходил, но из-за грубости и пьяных выходок никак не может вытянуть до офицерского звания. Макс Куземпель, между прочим, особое имеет дружеское расположение за это к своему первому номеру, временно замещающему командира взвода, — за войну произошла переоценка ценностей, выскочек Макс видал-перевидал. Сейчас разгильдяй и беспощадный вояка Ганс Гольбах сплюнет под ноги скипевшуюся во рту грязь, припадет щекой к пулемету и срежет этого безумного русского. Еще одного.

Гольбах и припал, и давнул уже неразгибающимся, закостенелым пальцем на спуск косилки, но очередь взрыхлила землю пулями позади русского солдата. Как бы опробовав прочность почвы, Гольбах длинно и кучно прошелся по свеженасыпанному брустверу, за которым залегли и по своим строчили русские заградотрядчики. Выбив рыжую пыль, Гольбах сделал в чужом окопе подчистку, солдата же русского, наскочившего на пулемет, запнувшегося за бровку окопа, подцепил на лету и, не тратя усилий, одной рукой метнул за спину, в подарок другу Максу Куземпелю. С любопытством оглядел Макс Куземпель содрогающегося, землю ногтями царапающего солдата: "Убейте меня! Я не хочу жить! Не хочу-у-ууу".

— Эй ты, хьер моржьовый! — сказал Макс Куземпель. — Не ори! Уже ты имеешь плен. Гольбах не убил тебя. Ему всякий говно стелалось жалоко... — Последние слова Макс Куземпель сказал так громко, чтобы Гольбах непременно услышал их, несмотря на шум и грохот битвы.

Да Гольбаха разве уязвишь? Расстрелял ленту и не осел, а оплыл на дно окопа — его уже ноги не держат. Макс Куземпель заправлял новую ленту, последнюю из принесенных ночью. Гольбах отстегнул от ремня бывалую, серую, мятую флягу, сверкнул ледяным взглядом из-под бурых от пыли бровей.

— Путем здоровы, Еван! — и воткнув горло фляги в свой рот, слипшийся от бурой грязи, отпил несколько гулких глотков, деловито крякнул, сплюнул, подышал и еще отпил.

Только после того, как Гольбах пожелал ему здоровья, Боярчик врубился наконец в действительность, распознал русскую речь: "Власовцы, что ли, воюют тут?" — подумал Феликс и собрался о чем-то спросить пулеметчика, но в это время окопы накрыло русскими минами и снарядами. Куземпель громко пожелал себе и Гольбаху сломать шею и ноги, что было равноценно русскому пожеланию "ни пуха, ни пера!", и пошли они "без музыки", стало быть, начали драпать, или аккуратней сказать, — перемещаться на запасную позицию. Штрафников посылали в атаку не без умысла, чтобы дураки-немцы стреляли, а умные русские их огневые точки засекали...

Гольбах и Макс Куземпель все про войну знали, опасность себе, от нее исходящую, чувствовали заранее. Выхватив "дроворуба" из земляной прорези, по бокам опекшейся до серой золы, Гольбах, пригнувшись, проворно затопал негнущимися, остамелыми ногами по узкому ходу сообщения. Макс Куземпель, прихватив ранец и другие нехитрые пожитки, гремя защелкой противогазной банки, устремился следом за своим первым номером. И когда бежавший между ними русский замешкался, он отвесил ему такой поджопник, что тот сразу все понял и более от Гольбаха не отставал. Сейчас русские начнут благословение и сделают такую шлифовку передовой противника, что, как это они опять же слышали от советских строителей коммунизма, вкалывающих вместе с военнопленными: "Будет всем врагам полный бездец"!

* * *

Так Феликс Боярчик нежданно-негаданно угодил в плен, хотя изо всей силы хотел умереть. Произошло еще одно противоречие жизни, еще одна опечатка судьбы: кто хотел жить — остался есть траву, как глаголят немцы про убитых, впаялся в землю, заполненную по щелям рыжей пылью и совсем уж рахитными, испуганно подрагивающими, серенькими растениями тысячелистника да полыни. А он, Боярчик, жив и даже не поцарапан. Побаливает колено — это когда его немецкий пулеметчик фуганул через себя, он в окопе ударился о железный ящик из-под пулеметных лент.

Одним из первых, как и ожидал Феликс, погиб Тимофей Назарович Сабельников. Они,

Сабельников и Боярчик, наладились было на берегу открыть медпункт, но какой-то чин, прикрывший погоны плащ-палаткой, лаясь, что портовый грузчик, налетел на них, погнал их в атаку, без них, орал он, есть кому позаботиться об искупивших вину кровью. Феликс помнил еще, что подавал руку Тимофею Назаровичу, выдергивая его наверх из-под яра. Доктор бежать быстро не мог, ронял винтовку, задыхаясь, просил: "Погодите! Погодите! Не бросайте меня..." — потом, будто на острое стеколко наступив, тонко, по-детски ойкнул, уронил винтовку, так неуклюже и лишне выглядевшую в его костлявых, длиннопалых руках. "0-ой, мамочки! — успел еще выдохнуть. — Зачем это?.."

На Боярчика, пробующего стащить доктора под осыпь яра, налетели два мордоворота, яростно матерясь, пинками погнали его вперед.

Тот день на плацдарме был какой-то чересчур тревожный, наполненный худыми ожиданиями и предчувствиями. Внутренне сопротивляясь, отгоняя наваждение, фронтовик верил предчувствиям и одновременно страшился их, пытаясь занять себя трепотней, рукомеслом, всяким разнодельем. Казалось бы, на плацдарме одно лишь осталось солдату — ждать боя и смерти, ан нет, там и сям, снявши амуницию, солдаты гнали из нее, давили осыпную, тело сжигающую тварь. Уютно ж вестись и жить этой паршивой скотине в старом, чиненом-перечиненом барахлишке, потому как летняя амуниция получена весной, шел уже октябрь месяц, к празднику революции, к седьмому ноября, значит, вот-вот получать новое, уже зимнее обмундирование. Если доживешь, конечно, до праздника-то.

Интересно знать, как оно у немца — тоже к Первому мая — празднику солидарности трудящихся, выдается летнее обмундирование, зимнее — к великому Октябрю иль к Рождеству? Пожалуй, что до Рождества фриц вымерзнет — российская зима свои законы пишет, никакой ей Гитлер не указ.

Щусь давно уже усвоил закон жизни, последовательный и никем не отменимый, — военный человек на войне не только воюет, выполняет, так сказать, свое назначение, он здесь живет. Работает и живет. Конечно же, жизнь на передовой и жизнью можно назвать лишь с натяжкой, искажая всякий здравый смысл, но это все равно жизнь, временная, убогая, для нормального человека неприемлемая, нормальный человек называет ее словом обтекаемым, затуманивающим истинный смысл, — существование.

Но какую же изворотливость, какую цепкость ума, настойчивость надо употребить для того, чтобы человек существовал в качестве военной единицы на войне, веря, что это временное существование, как недуг, вполне преодолимое, если, конечно, оставаться человеком в нечеловеческих условиях. В пехоте, топчущей пыль, в этом всегда кучно сбитом скопище появились сапожники, шорники, портные, парикмахеры, скорняки, спецы по производству самогонки, копченого сала и рыбы, прачечных дел мастера, архитекторы неслыханного толка, способные конструировать не палаты каменные, а ячейки, блиндажи, наблюдательные пункты из подручного материала, допустим, из того же кизяка, глины, песка, кустов, бурьяна, излаживать пусть и непрочные, но от осколков, дождя и снега способные тебя сохранить перекрытия. На фронте возник даже древний гробовщик, но за ненадобностью иль растворился в толпе, иль отодвинулся в тень, чтобы возникнуть оттудова, если потребуется хоронить достойную гроба военную персону. Катился слух по окопам: явились свету спецы, способные из травы полыни натолочь перец, из кожи вшей выделывать и шить гондон, из каменьев выжать не только самогонку, но и пользительные лекарственные снадобья, из макаронин артиллерийского пороха извлечь чистый спирт, а сами макароны, очищенные от химии, жарить по-флотски, так чего уж толковать о солдатском супе из топора, о солдатской ворожбе, способной застопорить месячные у подвернувшейся женщины и взнять для боевого действия орудью казалось бы на века охладевшего воина, даже о брюхатеющих через письма бабах

поговаривали меж собой солдаты.

На передовой и вблизи ее шили, тачали, варили, стирали, плясали, пели, стишки сочиняли и декламировали люди, приспособившие войну для жизнесохранения. Само собой, никто их при копании земли и в бою не заменял, работа их использовалась неспособным к рукомеслу черным людом, фронтовым пролетариатом, которому, чем дальше продвигалось на запад советское войско, тем больше надо было надсаживаться — в мире вообще, на войне в частности, назначенную человеко-единице работу должно выполнять кому-то, иначе все остановится и разрушится, поскольку и жизнь, и война тоже — держатся трудом, чаще и больше всего земляным. Искажаясь, жизнь прежде всего исказила сознание человека, и внутреннее его убожество не могло не коснуться и внешнего облика Божьего создания. Остались при своем звери, птицы, рыбы, насекомые, они все почти в том одеянии, в которое их Создатель снарядил в жизнь. Но что стало с человеком! Каких только не изобрел он одежд, чтобы прикрыть свое убожество, грешное, похотливое тело и предметы размножения.

И более всего изощрений было в той части человеческого существа, где царило и царить не перестало насилие, угнетение, бесправие, рабство, — в военной среде. Во что только не рядилось чванливое воинство, какие причудливые покрывала оно на себя и на солдата — вчерашнего крестьянина-лапотника не пялило, чтоб только выщелк был, чтоб только убийца, мясник, братоистребитель выглядел красиво или, как современники-словотворцы глаголят, — достойно, а спесивые вельможи — респектабельно. Да-да, слова "достойно", "достоинство", "честь" — самые распространенные, самые эксплуатируемые среди военных, допрежь всего самых оголтелых — советских и немецких — тут военные молодцы ничего уже, никаких слов, никакого фанфаронства не стеснялись, потому как никто не перечил. Оскудение ума и быта не могло не привести и привело, наконец, к упрощению человеческой морали, бытования ее. И вот уж новая модель человеческих отношений: один человек с ружьем охраняет другого: тот, что с ружьем, идет за тем, что с плугом, — проще некуда — раб и господин, давно опробовано, в веках испытано, и как тут ни крути, как ни изощряйся, какие самые передовые, научные обоснования ни подводи под эти справедливые отношения или, как боец Булдаков выражается, — как ни подтягивай муде к бороде — все то же словоблудство, все та же непобедимая мораль: "голый голого дерет и кричит: рубашку не порви!"

Упрощая жизнь, неизбежно упрощаясь в ней, человек не мог не упроститься и во всем остальном: одеяния его в массе своей уже близки к пещерным удобствам. И вот здесь-то, на очередном витке жизни, раб и господин почти сравнялись, чтоб равноправие все же не низвело господина до раба, заключенного до охранника, солдата до командира — придуманы меты или, как их важно и умело поименовали в армии, — знаки различия. Скотину и ту метят горячим тавром, но как же человеку без знаков различия?

И чтобы этакого вот равноправия достичь, надо было из века в век лупить друг друга, шагать в кандалах, быть прикованным к веслу на галере, лезть в петлю, жить в казематах, сгорать от чахотки в рудниках, корчиться на кострах, ютиться на колу, сходить с ума в каменных одиночках? Конечно, странно было бы видеть на этой войне, на этом вот клочке земли людей в позументах, эполетах, в киверах, в пышных шляпах, в цветных панталонах, в шелковых мушкетерских сорочках с кружевными рукавами и с жабо на шее. Но не странно ли видеть существо с человеческим обличьем, валяющееся на земле в убогом прикрытии, в военной хламиде цвета той же земли, точнее, по рту ложка, по Еремке шапка, по этой войне и одежка. Нищие духом неизбежно должны были обрядить паству в нищенскую лопотину, шли, шли, шли, думали, думали, думали, изобретали, изобретали, изобретали, готовили, готовили, готовили, пряли, пряли, пряли, кроили, кроили, кроили, шили, шили, шили — и вышла рубаха почему-то без кармана, совершенно необходимого солдату, и сам солдат на передовой, в боевой обстановке спарывает налокотник, прорезает на груди рубахи щель, вшивает мешочек из

лоскута, отрезанного от портянки, — и без того безобразная, цвета жухлой травы или прелого назьма рубаха делалась еще безобразней, быстро пропадала на локтях без налокотников, кто зашьет рваный рукав, кто так, с торчащими из рубахи костьми и воюет.

Но самое распаскудное, самое к носке непригодное, зато в изготовлении легкое — это галифе, пилотка и обмотки. Про обмотки, узнав, что их придумал какой-то австрияк, все тот же воин Алеха Булдаков говорил, что как только дойдет до Австрии, доберется до нее, найдет могилу того изобретателя и в знак благодарности накладет на нее большую кучу! Еще большую кучу надо класть на творца галифе. Шьют штаны с каким-то матерчатым флюсом, и флюс этот затем только и надобен, чтобы пыль собирать, чтоб вши в этом ответвлении удобно было скапливаться для массового наступления. А пилотка? Головной убор уже через неделю превращается в капустный лист! И это вот тоже заграничное изделие да на русскую-то голову!

Томимый какой-то смутой, думая о чем угодно, чтобы только отвлечься от нарастающей тревоги, капитан Щусь мотался по ходам сообщения, неряшливо, мелко отрытым между оврагами, водомоинами и просто земными обнаженными трещинами, в изломе, в профиле совершенно похожими друг на друга. На солдат не рыкал, не придирался к своим командирам — лопат переправили мало, переломали их, бьясь в твердой глине, — лопата на фронт пошла хилая, шейки тонкие, ломкие, полотна, что картонки, снашиваются на непрерывной работе моментально. Кроме того, люди вторые сутки почти не евши, и что-то не слышно, не видно кормильцев с левого берега, столкнули, сбросили в воду бойцов — и с плеч долой.

Еще когда было оперативное совещание в штабе полка и до исполнителей-командиров в деталях доводился план операции, капитан Щусь, которому поручалась особо ответственная задача, с холодком, скользящим по сердцу, подумал: даже если благополучно переправится, непременно попадет вместе со своей группой в переплет, очень уж складно, очень ладно все было распланировано штабниками на бумаге, а когда на бумаге хорошо, на деле, как правило, получается шибко худо. От партизанской бригады ни слуху ни духу, о десанте также ничего не слышно. Голодные солдаты, довольные уже тем, что остались живы во время переправы, пока не реагируют громко на всякие дрязги и бескормицу, но солдатские чувства отчетливы. Не пройдет и еще одной ночи, как по оврагам и окопам пойдет-покатится: "Где та гребаная бригада, что должна нас поддержать и накормить? Где тот десант, где сталинские соколы, мать бы их расперемать?!" — все уже давно знают и про партизан, и про десант, хотя знать об этом неоткуда вроде бы. Однако о том, что партизаны должны батальон накормить, — никакого постановления тоже не было — это уж солдатская фантазия!

К вечеру, когда захмурело небо, поднялся ветер и высоко всплыла над берегом и рекой рыжая пыль, ждали разведчиков от партизан — самое им, хорошо знающим местность, время подскочить к войску, связаться с ним и согласовать совместные действия. Но вместо этого километрах в двадцати от плацдарма всполохами замелькало, громом загрохотало отемнелое пространство, и Щусь понял — упреждая удар с тыла, немцы начали ликвидацию партизанской бригады, предварительно, конечно же, ее обложив в каком-нибудь дремучем, по здешним понятиям, лесу.

Недаром же, перебив штрафную роту, немцы никаких активных действий на плацдарме не вели, все чего-то гоношились в тылу, устанавливали зенитки, ездили на машинах туда-сюда, копали, рыли, постреливали. "Рама" безвылазно шарилась по небу, бомбардировщики регулярно налетали. Одним словом, немцы давали понять, что они здесь, они не забыли о плацдарме и, когда управятся с посторонними делами, дадут жару русским, в первую очередь, передовому, дерзкому отряду, под шумок забравшемуся в их, как всегда надежно устроенный и четко действующий тыл.

Часа два длился бой вдали, и, когда он начал убывать, дробиться на отдельные узлы и кострища, вверху, в ночном небе, многомоторно загудели самолеты. Сталинские соколы, не ожидавшие плотного зенитного огня противника и ветра, вверху довольно сильного, выбросили, в буквальном смысле этого слова, десант — целую бригаду, в тысячу восемьсот душ, до войны еще сформированную, бережно хранимую для особой операции, и вот в эту первую и последнюю, как скоро выяснится, операцию, наконец-то угодившую.

Сталинские соколы, большей частью соколихи, выбросили десант с большей, против заданной, высоты — припекало. Десантников разнесло кого куда, но большей частью на реку, в воду. Немцы аккуратно подчищали небо и реку, расстреливая парашюты и парашютистов; до оврагов, до берега, где сидели и смотрели на все это безобразие бойцы, доносило изгальный хохот фашистов: "Давай! Давай, еван, гости, гости!" И какой-то фриц, знающий по-русски, добавил: — "Теще на блины!"

После выяснилось, лишь одна группа десантников сбилась где-то, человек с полтораста, и оказала сопротивление, остальные разбрелись по Заречью, с криками о помощи перетонули в реке. В эту ночь и во все последующие десантники по двое, по трое переходили линию фронта, попадали в лапы к немцам либо под огонь перепутанных, беды из ночи ждущих постовых и боевых охранений русских. Большая же часть десантной бригады осела по окрестным лесам и селам, где их и повыловили полицаи, лишь отдельные десантники, надежно попрятавшись в домах селян и на лесных хуторах, дождались зимнего наступления Красной Армии, явились в воинские части и были немедленно арестованы, судимы за дезертирство, отправлены в штрафные роты — кто-то ж должен быть виноват в срыве тонко продуманной операции и понести за это заслуженное наказание.

"Ну вот, — тяжело вздохнул капитан Щусь, — все и прояснилось. Теперь немцы возьмутся за нас. Не позволят они, чтоб мы тут торчали, как больной зуб в грязной пасти". Он направился в роту Яшкина, в траншее его перехватил запыхавшийся боец.

— Товарищ капитан, Рындин ранен.

— Где? Когда?

— Под шумок, покуль немец занят, решили мы к ручью по воду сходить, он, сука, там мин понаставил.

Коля Рындин был уже перевязан, лежал, укрытый немецкой плащ-палаткой. Его било крупной дрожью, палатка шебуршала или разошедшийся дождь шебуршал по ней.

— Видишь вот, товарищ капитан, Алексей Донатович, не уберегся, — виновато сказал Коля Рындин и, захмурившись, выдавил слезу из-под век.

Ротный санинструктор, сделавший раненому укол от столбняка, наложивший жгут выше колена и примотавший к сырым палкам разбитую ногу бойца, доложил шепотом капитану Щусю, что ноге конец. Однако это не вся беда, ранение рваное, кость "белеется", пока волокли агромадного человека от речки, шибко засорили рану, и если его не эвакуировать, скоро начнется гангрена.

Щусь в темноте под палаткой нашарил руку раненого:

— Держись, Николай Евдокимович. Попробуем тебя эвакуировать.

Коля Рындин сжал руку капитана, подержал ее на груди и выпустил, молвив чуть слышно на

прощанье:

— Храни тебя Бог, ты завсегда был ко мне добрый.

Со своего батальонного телефона комбат вызвал "берег", сказал деляге Шорохову, чтоб он нашел Шестакова.

Деляга, угревшийся у телефона, заворчал:

— Да где я его найду?

— Я кому сказал?

Матерно ругаясь, Шорохов удалился. Щусь ждал, зажав трубку в горсти, вслушиваясь и вглядываясь в ночь. Ненастная и неспокойная она была, то далеко, то близко поднималась стрельба. Немцы, не переставая, метали ракеты, всполохи которых сгущали, ломали, собирали в клубок отвесные струи дождя. Зябко и сыро в этом проклятом месте.

Скрипнул клапан телефона.

— Слушаю вас, товарищ капитан. Что-то случилось?

— Ранен Рындин. Николай. Тяжело, опасно ранен. У тебя, я слышал, спрятана лодчонка.

— Да какая там лодчонка, товарищ капитан, звание одно.

— Все равно, по сравнению с бревнами — транспорт. Попросись у Зарубина, скажи, моя это личная просьба.

— Е-эсть. Я, конешно, попробую.

— Пробуй давай, пробуй.

Колю Рындина на берег перло целое отделение на прогибающихся жердях, к которым была привязана где-то солдатами раздобытая немецкая плащ-палатка. Ночь от дождя совсем загустела, носильщики спотыкались в оврагах, падали, вываливая раненого и снова водворяли его меж жердей на рвущуюся плащ-палатку. Коля Рындин терпел, лишь мычанием выдавая свою боль.

В отблеске воды замаячила, наконец, долговязая, сразу узнаваемая фигура, державшая на плече конец жерди.

— Ашот! — воскликнул Шестаков. — Васконян?

— Это ты, Шестаков?

По голосу было ясно — Васконян рад тому, что однополчанин его жив. Командуя загрузкой и все время опасаясь, как бы немецкий пулемет не врезал по ним, Лешка в то же время говорил бойцам-щусевцам, чтоб они дождались бы рассвета здесь, на берегу, что ночь совсем уж глуха, стрельба идет беспрерывная, что провод из батальона проложен местами по "территории" противника и можно нарваться так, что ноги не унесешь, кроме того, сойти в ручей по вымоинам и отрогам оврагов дело плевое, но вот угодить обратно в свой ход — весьма и весьма хитро — все овраги и водомоины с рыла схожи.

Васконян, пока грузил раненого в лодку, нашаривал на корме деловитого Лешку, говорил что-то из темноты, забрел в ботинках в воду, отпихивая посудину, наклонился, всунул великаний нос за борт.

— Ну, Никовай, дегжись... — и стоял, маячил в воде, пока лодка не отплыла, не затерялась на реке, дождем и теменью склеившейся берегами. Ориентир был отменный — не заблудишься за настороженно отделившимся, в мироздании сгинувшим правым берегом реки, с выхлестом взлетали ракеты, ломко рассыпающиеся в полосы дождя, они отсветами реяли над рекой и тонкими, рвущимися концами нитей вились в воде. Огнями пересекаемая вдоль, поперек и наискось, искрами трассирующих пуль сыплющая темнота, вдруг озаряющаяся россыпью нарядных, цирковых шариков, медленно удалялась. Харкающий огнем, точно норовящий еще более яркими вспышками загасить неуместные фейерверки на противоположном берегу, яростно взлаивал, ахал, катал громы во тьме берег левый, посылая шипящие, урлюкающие в высоте снаряды и воющие мины. Коля Рындин не шевелился, не разговаривал, вслушивался в шелест воды, хлопанье весел, шипение снарядов, свист пуль, лишь один раз со стоном произнес:

— Кака река-то широка! — помолчал и для себя уж только молвил: — Пожалуй что ширше Анисея будет.

Лешка ничего ему не ответил — корыто совсем разбухло, водой набрякло, и движение его было неходко, требовалось грести и грести — раненый подмокнет, челн, этот гроб с музыкой, сделается еще тяжелей, да и то вон шлепаешь веслами, шлепаешь, и никакого ходу.

С плацдарма, будто играя, какой-то дежурный обормот из фрицев пустил над рекой светящуюся ракету и, обрезанная спереди и сзади, она легкой кометой пронеслась над лодкой, чиркнув по воде ниткой охвостья, с треском рассыпалась, озарив на мгновение левый берег.

— Недалеко, Коля, уже недалеко, — одышливо произнес Лешка и какое-то время не гребся, позволив себе маленькую передышку.

— Ты че, Шестаков? Тебя не убило? — встревожился раненый.

Лешка погромче плеснул веслом, и Коля Рындин успокоился.

Пристав к берегу, Лешка долго искал медпункт, на всякий случай выкрикивая: "Свой я! Свой! Раненого приплавил...", — а то эти обормоты-заградотрядчики, чего доброго, рубанут спросонья. Недоверчиво осветив фонариком лодку и раненого, левобережные вояки проводили Лешку к палатке медпункта, наполовину врытой в камни. Там дежурила Фая. Сперва она направила на Лешку пистолет, спросив, кто идет, — видать, жирующие на берегу вояки досаждали ей. Неля вместе с лодкой уехала на ремонт — пробило судно пулями, потому никто к речке Черевинке и не плавает, раненых в медпункте нету, оставить же медпункт она не может, потому как сволочи эти, тыловые вояки, все из медпункта и прежде всего спирт воруют, даже и палатку могут унести, променять на самогонку.

Фая дала Лешке кусок хлеба и нерешительно предложила дохлебать остатки супа в котелке. Когда Лешка, споро работая ложкой, сказал, чтобы Фая дала и раненому кусочек хлеба да глоточек спирта, она все это сделала и предложила Лешке поднять раненого и перенести до утра в палатку — в лодке вода. Лодочник сказал ей, что так поступать он не имеет права, до рассвета ему надо доставить раненого куда следует и переплыть обратно во что бы то ни стало. Иначе, когда ободняет, его расстреляют на реке вместе с его аховым плавсредством.

Сколько будет жить Лешка Шестаков на свете, столько и будет помнить путь — от берега реки

до медсанбата, расположенного, по заверению медсестры Фаи, "совсем рядышком". Фая помогла Лешке проводить Колю Рындина к дороге, но надолго оставлять медпункт не посмела, боясь за имущество, указала, куда идти, заверила, что им непременно попадется машина. Она бы, может, и попалась бы, но Лешка решил сократить дорогу, пойти напрямки, через прибрежный лес. И лес, и дождь, в нем шелестящий, переваливали за полночь. Было свежо, почти тихо, если не считать стрельбы с плацдарма и изредка в темноте ответно бухающей пушки, совсем близко вдруг выбрасывающей сноп искр, укушенно подпрыгивающей в на секунду ее озарявшей вспышке.

Раненый держался хорошо, почти бодро. Обхватив тугой ручищей шею товарища, которому шея та с каждым шагом казалась все тоньше, — прыгал и прыгал, волоча ногу, задевая за высохшие дудки дедюлек, в темноте с треском ломающиеся или застрявшие розеткой семенника в толсто напутанной перевязи, волочились ворохом дудки, вехти травы. Из мокрых бинтов, из окровавленных тряпок торчали шины — неокоренные палки яблонок, выломанных в Черевинке. Обломки цеплялись, вязли в зарослях черемушника, ивняка, нога попадала в петлю кустарников, в спутанную траву. Лешка с ужасом замечал: палки яблонек становятся все белее оттого, что с них обдирается кора, а тряпки грязнеют.

— Ниче... ниче... Бог даст, скоро доберемся... — схлебывая воздух, точно кипяток с блюдца, успокаивал себя и оправдывал неловкости сопровождающего Коля Рындин. Но пришла минута — раненый взвыл, запросил пить. Фая Христом-Богом молила не поддаваться на уговоры раненого и не давать ему воды. Но раненый сам, как зверь, учуял воду: отмахнул Лешку, прыгнул к блекло засветившейся луже, хряснулся на живот и, захлебываясь, стал хватать жарким ртом грязную жижу, отплевывая со слюной кашу ряски. Они пришли к старице — догадался Лешка, — может, к той самой, в коей он нашел лодку. Где-то совсем близко должен быть приемный пункт санбата, надо лишь обойти или по шейке перехвата перейти старицу, и они, считай, "дома".

— Коля! Коля! Дружочек! Коля! Миленький! Дубина, ептвою мать! Нельзя тебе воду, нельзя! — кричал сопровождающий на раненого, пробуя оттащить его от воды. Но смиренный в другое время Коля Рындин не слушался, хватал и хватал ртом мокрую ряску, рыча, выжевывал из нее грязную слизь. — Ты хочешь сдохнуть, а? Хочешь? — Лешка Шестаков матерился только в крайности, Коля Рындин знал об этом еще по бердскому запасному полку, почитал за это товарища, выделял его из ротной шпаны за верность, за покладистость характера, отчего-то частой грусти подверженного. Коля полагал, что Лешка тайно верует в какого-то северного деревянного бога. Уронив большое, жаром пышущее лицо в прохладную ряску, Коля мычал, выдувал носом пузыри, не чавкал уже по-кабаньи соблазнительную жижу, засоренную конскими волосьями, щепьем, банками-склянками и всяким отходом, сладко, словно мамкину титьку, сосал болотину.

Кругом густо стояли, жили, работали войска, а они, как никто на свете, умеют обезображивать постойное место — им здесь не вековать.

— Ну, подыхай! Х... с тобой, раз так... Коля взнял лицо, подышал, отплюнулся:

— Пошли, ковды.

Теперь они, раненый и сопровождающий его, валились на траву вместе. Чуть отдышавшись, Лешка подлазил под раненого, взнимал его с земли с надсадой и устремлялся вперед, падая на бегу. Оба они огрузли от мокра, Коля Рындин, упавши, задушенно выл. Лешка вдруг услышал себя — тоже воет. Раненый ничему, кроме боли, уже не внимал, хватал мокрую траву зубами, жевал ее. Горькая слюна текла у него по подбородку. Скоро он начал терять сознание. Лешка,

кашляя, плача, каясь — зачем не оставил раненого и сам не остался на берегу, просил давнего товарища потерпеть, не умирать. Почти переставший на фронте молиться, Коля Рындин смятым голосом просил: "...сси-ы, спо...ди... си-ы-ы-ы-ди-ди-ди". Лешка боялся Бога — в темной чаще северный человек всегда относится боязно и суеверно к Богу. Волоком затащил он раненого под строенный ствол плакучей ивы, уронившей полуоблетевшие ветви в воду, полагая, что здесь посуше и ориентир хороший — не потеряет раненого. Выкрикивая:

"Сщас, Коля! Сщас, дружочек, сщас..." — Лешка бродом попер через старицу.

На первой же поляне, в середине вытоптанной, по краям отравенелой, он обнаружил круглую, шатровую палатку, к которой цыпушками подсели палатки меньшего размера. Для начала он был обруган за то, что разбудил людей, но, услышав слово "плацдарм", узнав, что раненый переправлен из-за реки, да еще и один переправлен, значит, важная фигура, санитары схватили носилки и ринулись следом за Лешкой во тьму, однако не бродом, а через перехват, который оказался совсем близко. Коля Рындин, скорчась, лежал под плакучей ивой и не шевелился. "Ой, помер Коля!" — оборвалось все внутри Лешки. Раненому потерли виски нашатырным спиртом, в зеленью загрязненый рот влили глоток горячительного. Он поперхнулся, зашарил рукой по стволу ивы, спрашивая, где он? Коля Рындин, видать, решил, что уже на том свете и над ним неструганая крышка гроба.

— Все в порядке... все в порядке... Добрались все же, добрались, Коля...

Возле палаток стояла наготове санитарная машина. Колю Рындина с ходу, с носилками засунули во внутрь машины, туда же заскочил один из санитаров, машина, фыркнув, выбросила белый дымок и, переваливаясь на кочках и кореньях, устремилась вдаль. Все-таки приняли Колю Рындина за важную персону. По тяжести и объемности фигуры раненый тянул на генерала, сопроводиловки же и личных бумаг с ним не оказалось. Выпали, видать, из гимнастерки солдата бумаги, когда пытались пробиться к медицинскому раю.

— Мне бы пожрать маленько. И поспать часок, иначе не хватит сил переплыть обратно, — вполголоса, но настойчиво произнес Лешка Шестаков. Просьбы его были тут же исполнены — на этом, на левом берегу почтительно, даже заискивающе относились к тем, кто находился в аду, называемом плацдармом.

День пятый

Лешкино путешествие за реку на редкостном плавсредстве оказалось замечено где надо и кем надо. Почти все телефонные линии, проложенные с левого берега, умолкли или едва шебуршали. Среди всего великого развала, хозяйственного разгильдяйства, допущенного в подготовке к войне, хужее, безответственней всего приготовлена связь — собирались же наступать, взять врага на "ура!" и бить его в собственном огороде, гнать, колоть, гусеницами давить — чего ж возиться с какой-то задрипанной связью — вот и явились в поле военные рации устарелого образца, в неуклюжем загорбном ящике и с питательными батареями, величиной и весом не уступающими строительному бетонному блоку. Парой таскали рации и питание к ним радисты, но пока настраивались, пока орали, дули в трубку, согретые за пазухой батареи садились. Уже во время войны до ума доводилась компактная, более-менее надежная рация, однако передовой она почти не достигала, оседая где-то в штабах на более важных, чем передовая, объектах.

Неся огромные потери, фронт с трудом сообщался посредством наземной связи — сереньким, жидким проводочком, заключенным в рыхлую резинку и в еще более рыхлую матерчатую изоляцию. Пролежавши четыре-пять часов на сырой земле, провод намокал, слабел в

телефонах звук, придавленной пичужкой звучала по ним индукция. Товарищи командиры, гневаясь, били трубкой по башкам и без того загнанных, беспощадно выбиваемых связистов, тогда как надо было бить трубкой или чем потяжелее по башке любимого вождя и учителя — это он, невежда и вертопрах, поторопился согнуть в бараний рог отечественную науку и безголово пересадил, уморил в лагерях родную химию, считая, что ученые этой науки и без того нахимичили лишка, отчего происходит сплошной вред передовому советскому хозяйству и подрывается мощь любимой армии. Его коллега по другую сторону фронта, не менее мудрый и любимый народом, характером посдержанней, хотя и ефрейтор по уму и званию, прежде чем сажать и посылать в газовые камеры своих мудрых ученых, дал им возможность всласть потрудиться на оборонную промышленность.

Чужеземный, более жесткий, чем русский, провод заключен в непроницаемую пластмассовую изоляцию — ничего ему ни на земле, ни в воде не делается. Телефонные аппараты у немцев легкие, катушки для провода компактные, провод в них не заедает, узлы не застревают. Связисту-фрицу выдавался спецнабор в коробочке — портмоне с замочком, в желобки вложены, в кожаные петельки уцеплены: плоскогубцыщипчики, кривой ножик, изоляция, складной заземлитель, запасные клеммы, гайки, зажимы, проводочки, гильзочки — назначение их не вдруг и угадывалось. Отважным связистамИванам вместо технических средств выдавалось несчетное количество отборнейших матюков, пинков и проклятий. Всю трахомудию, имеющуюся на вооружении у фрица, иван-связист заменил мужицкой смекалкой: провод зачищал зубами, перерезал его прицельной планкой винтовки или карабина, винтовочный шомпол употреблял вместо заземлителя. Линия связи — узел на узле, ящички телефонных аппаратов перевязаны проволоками, бечевками, обиты жестяными заплатами.

Уютно осевшие на дно траншеи, бойцы отводят глаза, когда уходят из окопа в разведку ребята. А разведчики одаривают завистливым, напряженно-горьким, прощальным взглядом остающихся "дома". Так разведчики-то не по одному, чаще всего группой идут на рисковое дело. И сколько славы, почета на весь фронт и на весь век разведчику. Связист, драный, битый, один-одинешенек уходит под огонь, в ад, потому как в тихое время связь рвется редко, и вся награда ему — сбегал на линию и остался жив. "Где шлялся? Почему тебя столько времени не слышно было? Притырился? В воронке лежал?" Словом, как выметнется из окопа связист — исправлять под огнем повреждения на линии, мчится, увертываясь от смерти, держа провод в кулаке — не до узлов, не до боли ему, потому-то у полевых связистов всегда до костей изорваны ладони; их беспощадно выбивали снайперы, рубило из пулемета, секло осколками. Опытных связистов на передовой надо искать днем с огнем. От неопытных людей на войне, в первую голову в связи, — только недоразумения в работе, путаница в командах, особенно частая у артиллеристов. По причине худой связи артиллерия наша, да и авиация, лупили по своим почем зря. Толковый начальник связи должен был толково подбирать не просто боевых, но и на ухо не тугих ребят, способных на ходу, в боях, не только сменить связистское утиль-сырье на трофейный прибор и провод, но и познать характер командира, приноровиться к нему. Толковый начальник не давал связистам спать, заставлял изолировать, сращивать аккуратно провода, чтоб в горячую минуту не путаться, сматывать нитку к нитке, доглядывать, смазывать, а если потребуется, опять же под огнем, починить, собрать и разобрать телефонный аппарат. Толковый командир связи обязан с ходу распознать и разделить технарей, тех, кто умеет содержать в порядке технику, носиться по линии, и "слухачей" — тех, кто и под обстрелом, и при свирепом настроении отца-командира не теряет присутствия духа, понимает, что пятьдесят пять и шестьдесят пять — цифры неодинаковые, если их перепутаешь, — пушки ударят не туда, куда надо, снаряды могут обрушиться на окопы своей же пехоты, где и без того тошно сидеть под огнем противника, под своим же — того тошнее. Телефонист с ходу должен запомнить позывные командиров, номера и названия подсоединенных к его проводу подразделений, штабов, батальонов, батарей, рот. Кроме того — Бог ему должен подсоблять —

различать голоса командиров — терпеть они не могут, особенно командиры высокие, когда их голоса не запоминают с лету, для пользы дела надо телефонисту мгновенно решить — звать или не звать своего командира к телефону, кому ответить сразу: "Есть!", кому сообщить, что товарищ "третий" или "пятый" пошел оправиться. И всечасно связист должен помнить: в случае драпа никто ему, кроме Бога и собственных ног. помочь не сможет. Связист — не генерал, ему не позволено наступать сзади, а драпать спереди. Убегать связисту всегда приходится последнему, поэтому он всечасно начеку, к боевому маневру, как юный пионер к торжественному сбору, всегда готов — мгновенно собрав свое хозяйство, он обязан обогнать всех драпающих не только пеших, но и на лошадях которые. Будучи обвешан связистским оборудованием, оружием, манатки свои — плащ-палатку, телогрейку, пилотку, портянки, обмотки клятые ни в коем случае не терять — никто ему ничего взамен не выдаст, с мертвецов же снимать да на живое тело надевать — ох-хо-хо. Кто этого не делал, тот и не почует кожей своей...

"Где эта связь, распра..." — Не дав закончить складный монолог, связист должен сунуть разгоряченному командиру трубку: "Вот она, т-ыщ майор, капитан, лейтенант! Тутока!"

Будучи северным человеком, к суровому климату приспособленным, единственный сын хоть и беспутной матери, Лешка Шестаков все же был местами подбалован: не мог, например, спать в обуви, надо ему непременно разуться, накрыть ноги телогрейкой, согреть их, тогда он уснет, не уделив внимания туловищу и всему остальному. Не всегда фронтовые условия позволяли спать с этаким вот солдатским комфортом, но ноги так уставали, такая изморная можжа их охватывала, что Лешка махал рукой на неподходящие условия, и случалось уже не раз — драпал босиком, никогда, правда, при этом не попускаясь обувью. Один раз его забыли спящего, и он часа полтора находился под оккупацией.

Есть негласное фронтовое правило — в отдалении от своего воюющего братства индивидуальную щель не рыть, избегать ее одноперсонально рыть также на окраине опушек леса и кустарников, возле камышей, окошенных хлебов, кукурузы, подсолнухов, в первую голову следует избегать мест, выкошенных в поле уголком, хотя они-то и соблазнительны. Здесь, в уединении, в пшеничной или кукурузной затени, пусть и в малом удалении от блиндажей и окопов, кротко спящий военный субъект есть самая соблазнительная для врага добыча. Полезет фрицевская разведка за языком, а он вот он, голубчик, дрыхнет, поставив оружие на предохранитель, положив ладошку под щеку, — бери его сонного-то без риску и неси аккуратно восвояси — он не вдруг и проснется. Могут танк или машина на щель наехать, пехота, идущая ночью на замену, на тебя сверху рухнет, штабной офицер-красавец, влекущий на тайное свидание в кусты иль в тучные хлеба боевую подругу, парой навалятся — держи ее, пару-то, на плаву.

На Дону было — свалилась эдак вот парочка в связистскую ячейку, кавалер руку сломал, кавалерша — ногу в коленке выставила, Лешке шею свернули. Долго вертеть головой не мог, а ведь на голове-то трубки висят — две, и каждая не меньше килограмму.

Под Ахтыркой, помнится тоже, так Лешка умотался, что месту был рад, и занял готовую щель, фрицем иль Иваном была копана в спелой пшенице, но началась уборка, косилка прошлась и как раз возле щели, по дну толсто устеленной соломой. Окошенная щель оказалась как раз в уголке, колосья на бруствер наклонились, зерно насыпалось. Когда Лешка подошел к щели, из нее пташки выпорхнули. Он почистил щель, еще пышнее устелил ее соломой и только устроился — хлобысь на него сверху иван с котелком, горячим чем-то облил. Лешка лизнул губы — горошница. Склизко в щели сделалось. Надо бы уйти из щели, сменить место, но сил нет. Дождь. Спал, спал, снова придавило. Плащ-палатку сверху пристроил, комьями ее придавил, но не успел насладиться, как снова сверху что-то легкое навалилось на него —

подумалось: человека заживо закопали. Или в плен берут — Лешка двумя пальцами снял затвор с предохранителя да как вскинет, да как заорет: "Кто такие? Вашу мать!" А никого уже нету, иван опять шел, оступился, ведро воды налил с провисшей плащ-палатки, грязной земли пуда два обрушил на человека. Снова стал устраиваться Лешка, решив, что уж теперь-то все, не наступят на него больше. Но на рассвете на него самоходка наехала своя. Наша. Крупнокалиберная. Вдруг шатнулась самоходка, земля треснула. Стрельни бы еще разок — засыпало бы. Самоходка съехала, свет открылся — можно дальше спать. А с рассветом немцы контратаковать задумали, по стерне подобрались к наблюдательному пункту и выбили гвардейцев с высоты. Лешка вроде бы и слышал шухер какой-то, но после дикой самоходки его, как блаженного младенца, охватил самый сладкий сон. Спит он, значит, себе, не ведая, что на высотке уже хозяйничает враг. И спал он до тех пор, пока его же родные гаубицы не обрушили огонь на высоту, затем артиллеристы вместе с хромающей пехотой пошли свои позиции отбивать. Помнится, он проснулся, узнал по звуку снаряды своей родной артиллерии и подосадовал: "Совсем сдурели! Опять по своим лупят..."

С высотки фрицев вышибли, в хлеба их отогнали, пошла работа до седьмого пота, боец же Шестаков дрыхнет в уютной затени недокошенных хлебов. Разбудили его уж когда еду принесли и пришла его пора садиться к телефону. Тут-то от возбужденно по линии треплющихся связистов и узнал он, что побывал под пятой врага и что генерал Лахонин до того освирепел, узнав, как его непобедимые гвардейцы бесшумно снялись с высоты на рассвете от внезапно нахлынувшего из хлебов врага и увлекли за собой артиллеристов, что, стоя на "виллисе", распоясанный, лохматый генерал гнал оглоблей свое войско и всех, кто под оглоблю попадал, обратно на высоту.

Схлынуло. По проводам связистский треп, из которого следовало, что танкисты бросили три закопанных на склонах высоты машины, артиллеристы всякое свое имущество посеяли, даже будто бы стереотрубу в боевом настрое кинули. Ах, знали бы трепачи, что и солдатика, спящего в щели, забыли... Он — истинный советский солдатик, порассуждав сам с собой, с умным, кое-что повидавшим человеком, решил военную тайну никому не выдавать и осенью уж, в благую минуту, рассолодев от хорошего харча и доброй погоды, рассказал о случившемся с ним приключении надежным людям — майору Зарубину и капитану Понайотову. От души повеселились родные командиры, однако тоже посоветовали помалкивать. И после, до самой реки, Зарубин с Понайотовым работают, работают на планшете, глянут в сторону телефониста и головой потрясут или майор скажет в телефон кому-то загадочно и весомо: "Ну как мы спать умеем бесстрашно, прямо на передовой, так нам никакой враг нипочем..."

Прикарпатский еврей по фамилии Одинец, сложенный из частей, худо подогнанных друг к дружке, как бы совсем меж собою не соединенных, — носище отдельно, губищи, всегда мокрые, отдельно, глаза от рождения напуганно вытаращены. Уши прилеплены к сплющенной голове с философскивысоким, гладким лбом, уже с юности уходящим в залысину. Если к этому добавить, что гимнастерка застегнута через пуговицу, штаны часто и вовсе незастегнуты, пряжка ремня набок, сапоги — один начищен, другой нет, все-все как бы случайно, на бегу надето — вот и закончен портрет. Внешний. В деле же Одинец собран, толков, одержим, и, если б он панически не боялся начальников, — цены бы ему не было. Свое смятенное состояние Одинец всячески скрывал, подражая громилам-командирам, у которых хайло шире погона, витиевато выражался вроде по-русски и вроде по-бессарабски — "боийэхомать!". В присутствии начальства вторую половину своего виртуозного мата Одинец сокращал. Над Одинцом посмеивались, но все кругом знали — без него, как без рук. Командир артполка Вяткин, снова спрятавшийся в санбат, под крылышко жены, разносил Одинца часто и больно. Зарубин же всячески начальника связи защищал. Велел ему без крайней надобности не появляться на глаза начальству, что тот охотно исполнял, пропадая в походной мастерской, где

среди проводов, аккумуляторов, паяльников, гаек, болтов и разного другого железа он и спал, но спал мало, ругался и гонял связистов. Чего-то сваривал, паял, клепал, по личной инициативе собирал спаренную пулеметную немецкую установку — для защиты штаба и однажды на глазах у всех подшиб вражеский самолет — все видели, как самолет, низко летевший с бомбежки, громыхнулся в кукурузу и загорелся. Как ни кривился комполка Вяткин, пришлось ему Одинца представлять к ордену "Отечественной войны", которого сам комполка не имел. Одинец же получил третий орден и повышение в чине, сделался капитаном, но, привыкнув к званию старшего лейтенанта, долго на новое звание не реагировал. И вот связь, налаженная под руководством Одинца, и, более того, его же руками намотанная, лежала на дне реки, работала, другие же линии постепенно угасли. Узнав, что майор Зарубин ранен, капитан Одинец не очень уверенно предложил:

— Может, мне к вам переправиться?

— Сидите уж, где положено! — раздраженно буркнул Зарубин и, тут же успокаивая человека, добавил: — Вы там нужнее.

Радение Одинца, его умение, ценный талант нежданнонегаданно коснулись судьбы связиста Шестакова. Он после тяжкой ночи каменно спал в земляной норке, когда его задергали за ботинок так, что чуть не разули.

— Что такое?

— К майору. Бегом!

Разумеется, бегом Лешка не бежал, потянулся, позевал и засунулся в выемку, сделанную наподобие звериного логова, снаружи завешенную лоскутом брезента. Майор, совсем пожухлый лицом, полулежал возле телефона.

— Вам звонят. — Сказал и протянул Лешке трубку.

— Мне?! — поразился Лешка. — Кто мне может звонить? Корешки с того берега не посмеют занимать телефон. Может, капитан Щусь?..

— Вам, вам, — кивком головы подтвердил майор.

— Лешка! Ой, тоись, Шестаков слушает, — неуверенно произнес Лешка.

От дальности напрягшийся, незнакомый голос, перекрывающий скрип, шум и писк индукции, произнес:

— Товарищ Шестаков! С вами говорит начальник связи штаба большого хозяйства. — Дальше сообщались звание, фамилия, но Лешка их не запомнил. — Вы меня слышите?

— Шестаков! Ты где там? — ворвался на линию заполошный голос Одинца, но уж без "эхомать".

— Да здесь я, здесь, у телефона. Что случилось-то?

— Да ничего у нас не случилось, — рассмеялся далекий начальник связи. — Слушайте меня внимательно. Командующий хозяйством, вы его лично знаете? — Лешка ничего не знал о командующем какого-то хозяйства и видел ли его хоть раз, вспомнить затруднился, но согласно кивнул головой, как будто человек на другом конце провода мог его увидеть. — Так вот, командующий просил передать лично вам благодарность за тот подвиг, который вы

совершили, переправив связь...

"Ну, это уж ты, дядя, загибаешь! — усмехнулся Лешка. — Что-то тебе надо от меня, вот подмазываешь салазки..."

— ...Он также поручает вам переправить связь...

— Какую еще связь? — испуганно переспросил Лешка и явственно почувствовал, как у него кольнуло и заныло в животе иль близ его.

— Нашу, нашу! — продув трубку, кричал далекий человек — начальник. — Вы меня поняли? Вы меня слышите?

— Ты понял? Ты слышишь, Шестаков? — снова объявился Одинец.

— Слышу.

— Я понимаю. Все понимаю... трудно. Но надо. Одна лишь ваша линия эксплуатируется. Этого мало для развития операции, слишком мало, — он еще что-то говорил и в заключение "по секрету" выдал: — Лично ходатайствую "Звезду".

Быстро-быстро вращалась, трепыхалась мысль, только бы ее не услыхали по проводу, не ощутили бы, как она катается под потной солдатской пилоткой, с какого-то утопленника доставшейся, бьется в углы черепа и никак в лузу не попадает: "Рассветает же! День! Сказать, лодку разбило. Нет лодки! Нету этого несчастного корыта! Кто узнает? Оттолкну. Унесет к чертям. Проверь, попробуй!.."

— Шестаков! Шестаков! — опять завелся Одинец. — Ты шо, не выспался?..

— Вот именно! — вспылил Лешка. — Я только что приплыл. Я один тут? Один?

Но что говорить об этом Одинцу? Он от страха, как всегда, вспотел, утирается подкладкой фуражки, облизывает мокрые губы. Он своего-то домашнего начальства, за исключением Мусенка, боится, как огня, а на проводе чин аж из корпуса. И товарищ майор чего-то примолк, устранился, не приказывает, не распоряжается. Приказывал бы. Умные какие все кругом, один он дурак, с этим дурацким корытом, выкопанным из грязи на свою дурную голову.

Майору Зарубину тоже приходило в голову, что челн этот нечаянный будет замечен не только на плацдарме, его или изымут, или прикажут делать чужую работу. Солдат сделал все возможное и невозможное, и если на то пошло, и пехотные части, и все-все боевики на плацдарме ох как обязаны ему, этому связисту! И нету ни у кого никакого права упрекать его ни в чем. Солдаты у него, у Зарубина, какие-то несообразительные растяпы — догадливые давно бы пустили то корыто по течению, немцы в щепки разбили бы его. Нет, берегут плавсредство — на всякий случай, предлагают переправиться на нем ему, командиру, но на самом-то деле тайно радуются тому, что и командир, и корыто здесь, с ними. Ох уж эти солдаты — политики! Кто их поймет? Кто пожалеет и оценит?..

Лешка нашаривал, нащупывал взглядом в темном земляном отверстии майора, отвалившегося на сырую стенку. Зарубин высунул из шалашика шинели голову, тусклый его взгляд, устремленный в пустоту, скорее угадывался, чем виделся. Взгляд майора погас — отвернулся он от своего солдата? Бело отсвечивало что-то — лицо или бинт — не разобрать. Наконец Лешка понял: майор, командир его и отец на все время военной жизни, предоставил солдату все решать самому, дав ему тем самым ответ — не судья он ему сейчас. Все пусть решает

совесть и что-то еще такое, чему названия здесь, на краю жизни, нет.

— Ладно, не надрывайся, товарищ капитан, — устало сказал Лешка Одинцу и, сунув майору трубку, потопал к воде, отчего-то по-лошадиному мотая головой и как бы забыв про немецкий пулемет, пристрелянный к устью речки Черевинки.

"Ишь ты все какие! Ишь какие! Как кутенка — из мешка в воду, который выплывет, тот — собака. И майор тоже хорош... Да какой я ему друг-приятель? Я — его подчиненный, и Одинцу подчиненный. А до того начальника, что из штаба корпуса, как до Бога, — высоко и глухо".

Переправа, кровь и смерть отделили их ото всех смертных, подравняли, сблизили. Что ж заставило майора взять с собой на плацдарм именно его, Лешку Шестакова, который сам же и давал советы майору — выбирать надежных людей. А надежный — это значит тот, на кого можно надеяться. Всегда, во всем! Не на Сему же Прахова. Сочувствие, помощь друг другу, главное работа, которую они уже проделали, тяжкая, смертельная работа настолько сблизила их, что памяти этой хватит на всю жизнь. И вот войдет в эту память худенькое, сволочное. Ведь он майора втягивает как бы в сделку вступить, ложь сотворить, а она, эта ложь, угнетать будет не одного Лешку и наверняка уж сделает к нему отношение майора совершенно иным. Этаким вежливеньким, спокойно-холодным, как к Вяткину Ивану.

Пнув в войлочно-мягкий бок челна, Лешка, глядя на другой, туманной дымкой скрытый берег, отрешенно выдохнул:

— Я бы две звезды вам отдал...

Майор ворохнулся, нажал клапан трубки:

— Боец Шестаков приступил к выполнению ответственного задания.

— Все в порядке! Все в порядке! — восторженно подхватил за рекой Одинец, но майор оборвал его, сказав, что курортники-связисты из корпуса явятся налегке, надо набирать своей связи, привязывать к ней грузила и вообще помочь Шестакову всем, чем возможно. На каждое слово майора, вроде и опережая его приказания, Одинец угодливо твердил:

— Есть! Есть! Будет сделано!..

Опять к телефону потребовали бойца Шестакова. "Ну, прямо спрос, как на шептунью Соломенчиху в Шурышкарах!" — усмехнулся Лешка и услышал шлепающий голос комиссара Мусенка — готов ли он, боец Шестаков, к выполнению ответственного задания?

— Готов, готов! — резко отозвался Лешка на призыв военного тыловика, привычно распоряжающегося чужой жизнью.

— Вот и хорошо! Вот и правильно! Так и должны поступать советские бойцы! А вы — пререкаться...

— Да не пререкался я.

— По-вашему выходит, дивизионный комиссар говорит неправду? Так выходит? — построжел Мусенок. — Одинец! Не слишком ли разговорчивы у тебя бойцы?

Но выполняя задание Зарубина, начальник штаба полка Понайотов, на дух не принимающий важного политрука, оборвал его — по линии идет непрерывная боевая работа.

— Извините! — вежливо заключил Понайотов.

— Пожалуйста, пожалуйста! Я уже кончил, — бодренько, как ни в чем не бывало, откликнулся Мусенок и передал трубку дежурному телефонисту, укладываясь досыпать в своем, должно быть, сухоньком, с печуркой, блиндаже. Залезая под чистую шинельку, может, и под одеяльце. На столике у него, среди недочитанных газет, недопитый стакан с чаем, табачок "золотое руно" запахи извергает, может, и машинистка Изольда Казимировна Холедысская под боком. Уют, одним словом, соответствующий должности.

У печурочки клюет носом шофер, этакий толстобокий, опрятный дядька по фамилии Брыкин, люто ненавидящий своего начальника и презирающий машинистку Изольду Казимировну, которая печатает-то вовсе не машинкой. Кровей в этой труженице фронта намешано много, и она, не глядя на чин, кусает, можно сказать, загрызает начальника своего, жарко повторяя: "Зацалуе пши спотканю! Зацалуе пши спотканю".

"Ну, ничего-то человек не понимает. Никакой войны для него нет", — горестно возмущался начальник штаба Понайотов, угрюмо спрашивая у Шестакова — доплывет ли?

— Туда-то, к вам-то я доплыву, с радостью. А вот обратно?.. С грузом? Как только приедут связисты из большого хозяйства, пусть наши всю связь у них проверят. Провод должен быть трофейный, иначе тянуть коня за хвост незачем.

— Да вон слышно, Одинец орет на всю родную Украину, значит, действует. Как там Зарубин?

— Товарищ майор-то? Зарылся в землю.

— Не сможешь ли ты его...

— Попытаюсь... Но лодка-то, лодка...

— Дай сюда трубку! — вдруг выкинул руку из ямы майор. — Ты вот что, Понайотов, если хочешь мне и всем нам помочь, позаботься о снарядах. А филантропией не занимайся. Я могу уйти отсюда только после того, как ты или кто из комбатов... И все! И нечего! Мы и без того все тут жалости достойны... Божьей. — И, гася в себе вспышку раздражительности, мягче добавил: — С Шестаковым отправь записку... Все, чего нельзя сказать по проводам...

— Ясно. — Понайотов посчитал, что так вот, сухо, никчемно разговор заканчивать неловко и ляпнул: — Отдыхайте.

Вычерпывая воду из челна, поднятого на берег, кося глазом на нишу, на дрожащего в ней майора Зарубина, обметанного седеющей щетиной, Лешка подумал, что не доводилось ему видеть майора небритым. И не знал Лешка, что голова у него уже наполовину седая, здесь, на плацдарме, он и начал седеть.

— И правда, плыли бы вы со мной, товарищ майор. Чего уж там... — отвернувшись, сглаживая вину и опустив глаза, произнес Лешка. — Может, Бог нам поможет. Коля Рындин говорил — Он завсегда болезных жалеет...

— Делайте, что пообещались делать. Выполняйте задание! — вдруг сорвался на крик Зарубин и, услышав себя, упятился в свою обжитую берлогу, и уже в нос, для себя, выстанывая, — а я буду делать, что мне положено... Дьячки кругом, понимаете!..

На другой стороне реки Понайотов, ляпнувший обидное слово, можно сказать, издевательское

для гибнущих людей, стоял, нависнув над телефонистом, стиснув трубку в кулаке. До него донесся уютный посвист, сопровождаемый глубоким, умиротворенным сопением, — телефонист, возле которого работал, говорил какие-то слова непосредственный его командир, спал. В открытую спал. Понайотов изо всей-то силушки завез телефонисту трубкой по башке.

— Река слушает! — подпрыгнув, заорал с перепугу связист.

— На плацдарм бы тебя! Выспался бы!

Осторожно скребя по дну лодки плоской банкой из-под американской колбасы, излаженной вроде совка, Лешка вычерпал воду, мокрые доски на средних поперечинах, по-моряцки — шпангоутах, проверил — корыто разваливалось, и все же перевалил через борт раненого, который подполз к воде из-под яра и по-собачьи глядел в глаза Шестакова. Раненый замычал и успокоенно скорчился на мокрых досках.

"Везуч ты, славянин, ох, везуч! — усмехнулся Лешка и зашагнул в лодку. — Может, и мне потом повезет..."

— Может, еды и бинтов приплавлю, — крикнул от воды Лешка.

— Себя приплавь! — раздалось в ответ.

Связав обмоткой весла, чтобы можно было одной рукой грести, другой вычерпывать воду, с раненым на борту, который от сознания, что теперь спасен, сбросив напряженье, впал в беспамятство, Лешка украдкой отплыл от берега и по мере удаления из-под укрытия высокого рыжего яра все ощутимей чувствовал, как кровь отливала от лица и не на коже, под кожей щек нарастает щетина, колясь изнутри. Выплыв из тени, за мутную полосу воды — это с острова, из протоки да с разбитого берега тащило ночным дождем грязь и муть, одинокий пловец на челне сделал то, что веками делали одинокие пловцы:

— Господи! — едва слышно попросил. — Господи! Если Ты есть — помоги мне! Нам помоги! — поправился он, вспомнив про бедолагу раненого, упорно памятуя, что Бог — защитник всех страждущих… "А-а, про Бога вспомнил! — злорадно укорил он себя. — Все нынче о Нем вспомнили, все… Припекло! Сюда бы вот атеистов-засранцев, на курсы переквалификации"…

Смутно уже проступал воюющий берег, расплывисто, безжизненно просекаемый редкими вспышками. Над берегом взметнулась ракета, как бы подышала вверху, косо пошла к земле и какое-то время еще билась в ею же вырванном чернеющем лоскуте воды.

"Неужто мне ракету бросают? Мне путь указывают? Экой я персоной сделался!" — удивился Лешка и, увидев парящих над лодкой чаек, догадался, что они, эти наглые птицы, ничего не страшащиеся, садятся на все, что плывет по реке и расклевывают всплывших утопленников.

"Мама, моя мамочка! Один на реке, всеми брошенный… — хотелось пожалеть себя и всех при виде этих зловеще умолкших птиц, базарных и прожорливых там, на Оби, в Шурышкарах. — О-о, Шурышкары родные, мама родимая! — где-ка вы?.."

Весла чуть постукивали. Коротко, рывками, шлепая подавалась и подавалась к левому берегу гнилая лодка. Над водой взрывами стали возникать и лететь на пониз ошметки исходящего тумана, что-то сильно шлепнулось рядом. Лешка вздрогнул: "Неужели рыба? Неужто не все еще поглушено… Не дай Бог, человек!"

Из тумана все возникали и возникали молчаливые чайки. Одна совсем низко зависла над

лодкой, вертя головой, глупо глядела вниз, выбросила желтые лапы, пробуя присесть на раненого. Лешка замахнулся, чайка так же незаметно, как и появилась, отвалила, стерлась, будто во сне.

Слепая пулеметная очередь прошила предутреннюю сумеречь, ударившись в камни и стволы ветел, рассыпалась за спиною. Казалось, продробили на стыке рельсов колеса и поезд подняло вверх или уволокло по реке, в мягкий туман.

Немец просыпался, начинал работать.

Для острастки, не иначе, ударило орудие с левого берега, вяло, без азарта, чуфыркнула за лесом "катюша", отчего-то одна, прососался в тучах планирующий почтовик и, достигнув родного берега, плюхнувшись в смятый бурьян полевого аэродрома, вдруг заливисто, зовуще проржал, будто конь в росистых лугах.

Накоротко уснувшая война продолжалась. Здесь, на берегу, в самом пекле, изнемогшая за день, она забывалась в больном сне и вот начинает очухиваться. В тылах же враждующих армий шла и ночью напряженная работа мысли, рук, моторов: подвозились снаряды, доставлялась почта, мины, бомбы, патроны, хлеб, табак, горючее, обмундирование, лекарства.

Лешку уже ждали. Пеньком сидели на катушках со связью два солдата в чистом обмундировании, в сапогах, третий, укрывшись шинелью, спал, свалясь в камни. Здесь же в накинутой на плечи шинели стоял Понайотов, санинструктор Сашка, ординарец майора Зарубина Ухватов с котелком в руке.

— В лодке тяжелораненый, — сказал санинструктору Лешка, и тот метнулся к воде, таща через голову туго набитую сумку с крестом. — Его сперва в тепло надо, — добавил связист и, упреждая вопрос, как всегда, когда он позволял себе дерзость, отвернувшись, молвил Понайотову: — Неужели некому сменить товарища майора?..

— Ты поешь сначала, поешь! — совал прямо в лицо Лешке котелок суетливый ординарец майора Ухватов, изо всех сил стараясь замять неловкость.

— Потом, потом! Как связь? — обратился он к незнакомым связистам.

— А чего связь? Связь как связь! — недовольно отозвался один из связистов и сплюнул себе под ноги.

— Ты, весельчак! — обращаясь к нему, скривил губы Лешка. — Знаешь хоть, куда плывешь?

— На плацдарм, говорено.

— А плавать умеешь?

— А для че нам плавать-то? На лодке, говорено.

— Нет. Все-таки?

— Не-а. Мы с Яковом в степу выросли. У нас реки нетути, — отозвался за "веселого" его напарник.

Услышав ругань санинструктора, ординарец Зарубина Ухватов загромыхал сапогами и начал ему помогать. Из-под шинели высунулся третий связист и громко, раззявив зубастую пасть, с

подвывом зевнул.

— Чево шумите-то? — расстегнув ширинку и целясь на Фаину палатку с крестом, он шуранул в камни шумной струей. — Полковник Байбаков приказал переправить связь, стал быть, без разговоров.

— Ты старший, что ли?

— Н-ну я, — заталкивая свое хозяйство в штаны, нехотя и надменно отозвался связист.

— Экая дурында! — смерил его взглядом Лешка, — поменьше будь, я б тебя самого заставил плыть в моем корыте и любимого твоего полковника рядом посадил бы… Да вот фигура-дура спасает тебя. Лодка под тобой ко дну пойдет!

— Шестаков, прекрати! — сказал Понайотов и что-то еще хотел добавить, но в это время со взваленными на горб катушками с красным кабелем, мотаясь распахнутой телогрейкой, всем, что есть на нем и в нем, мотаясь, крича: "Боийэхомать!" — примчался на берег Одинец.

— Ты чего, Шестаков? — вытаращился он на Лешку.

— Ничего. Все в порядке, товарищ капитан, — черпая из котелка кашу, — отозвался Лешка. Технически острый глаз капитана уцепил катушки корпусных связистов, с неряшливо намотанным блекленьким проводом. Брызгая слюной, гневно крича "боийэхомать!", Одинец побросал обе катушки в воду, хотел и телефон об камни трахнуть, но Яков схватил деревянную коробочку, прижал ее к груди.

— Ты че, падла?! — заорал старший команды. — Ты че, жидовская морда, делаш?

Лешка прервал дебаты, встав между начальниками, и заорал громче их, чтоб проворнее грузились, потому как совсем рассвело.

Одинец со штабным телефонистом быстро набрали бухту провода с грузилами в лодку, подсоединили провод к катушке, остающейся на берегу.

— Боийэхомать! Там люди умирают, — продолжал громить тыловиков Одинец, — а они явились с непригодной связью!

— Я вот полковнику Байбакову об тебе расскажу, он те, курва, покажет непригодную связь. — Оттертый от дела, не сдавался старший корпусной команды, правда, уже не так громко и напористо гневался старший, тут Лешка неожиданно наплыл на него:

— Если этот деляга уснет на телефоне, — тыкая в грудь старшего, который не ожидал напора с этой стороны и попятился, обращаясь сразу к Понайотову и Одинцу, громко, сквозь зубы говорил Лешка, — застрелите его…

Тыловые связисты сразу сделались послушны и услужливы, пока Яков вычерпывал воду из лодки, его напарник, по имени Ягор, вынул катушки из реки — имущество все же, казенное. Закурили. Лицо Ягора, крупно слепленное, с детства усталое, не выражало никаких чувств. Корпусом вроде бы этот трудяга похож на Леху Булдакова, но умом — куда там? Леха — это Леха!

Одинец, тыча пальцем в сторону насупленного важного гостя из корпуса, сказал, что он не доверит такому ферту важный пост, сам подежурит здесь до конца переправы связи, затем,

боийэхомать, со всеми тут, как надо, разберется и до барина этого Байбакова доберется! Ишь, не соизволил на берег прибыть, сон ломать не привык, генерал Лахонин, боийэхомать, наладит ему и всем его кадрам сладкий сон.

"Дать бы этому деляге от всего воюющего фронта по морде! — никак не мог уняться Лешка, — Ах, как хочется дать по морде, да некогда". И хотя он понимал, что зря напустился на тылового увальня — у всякого свое место на войне, но ничего поделать с собой не мог. От внутреннего смятения все равно нет избыва. Где-то там, в межреберье, все сильней и удушливей теснило, сдавливало сердце, и мысль одна разъединственная, как ее ни отгоняй, все та же: не доплыть — третий раз у солдата везде роковой, и светает, так быстро светает. Эти чистые воины даже не замечают, как стремительно идет утро, как быстро светает. Связисты трудились, загружая лодку проводом, ставя в корму катушку, на которой плотно, ниточка к ниточке — сам Одинец работал! — была намотана красная жилка провода, катушки новые, облегченные, в свежей еще краске, провод трофейный, новый. Все так хорошо, все так ладно.

— А кто за тебя работать будет! — дохлебав кашу, взвился Лешка и вышиб из губ громилы цигарку. — Я тя, гада, все же усажу в корыто! Ты все же узнаешь, что такое война...

Заложив в карманы брюк несколько перевязочных пакетов и плоскую коробку с табаком, Лешка оттолкнул лодку. Утлая, полузатопленная, она не отплыла, она покорно отделилась от берега. Отстраненно, из далекого далека донесло до левого берега, до хмурого Понайотова, до усмирившегося, что-то начинающего понимать деляги-связиста, до виновато сникшего Одинца, — смятый негромкий голос:

— Прощайте, товарищ капитан! Прощайте, ребята!..

— Нет-нет! — заторопился, зачастил на берегу Одинец, подбегая к воде. — До свидания, Шестаков, — и, сложив руки трубочкой, повторил: — До свиданья, до свиданья!

— Пусть будет до свиданья! — уже эхом донесло голос старшего в лодке — связиста Шестакова.

— По туману проскочат, — подал совсем мирный голос с жалобной надеждой ординарец майора Зарубина Ухватов, моя в реке котелок из-под каши.

— На середине реки туман уже отнесло... солнце встает... лодка перегружена... — бормотал Одинец, забыв про распри с тыловиком-громилой, он ощупью нашаривал задом волглую от тумана траву или камень, метясь усесться, вышлепывал мокрыми губами, стравливая провод с медленно вращающейся катушки: — Ах, шоб я счас не сделал, шоб им чем-то помочь...

— Ну, друг сердешный Яков, в степу или где ты вырос, грести веслами придется.

— Да я могу, могу, — заторопился Яков. — Я на веслах гребся, — и, чего-то стесняясь, замялся, — у дому отдыха отпуск проводил, жэншынов на синей лодке по озеру катал... — Должно быть, он уже не верил тому, что было с ним когда-то такое: дом отдыха, озеро, синяя лодка и женщина, щупающая ладошкой воду за бортом.

Ягор, ободряя Якова, себя и Лешку, повертел головой:

— 0-ох, ен бя-адо-овай! С бабами нискоко не чикается, раз-два — и усе-о...

"Пущай поговорят, пущай отвлекутся", — думал Лешка, помогая гребцам кормовым веслом. Слыша, как лягухами начали шлепаться за борт грузила, привязанные к проводу, и понимая, что успели они отплыть на целую катушку, это почти что полкилометра, сто метров на снос,

все равно далеко они уже от берега, снова мелькнуло про Обь, про переметы. Кормовой тоже старался отвлечь от все грузнее наседающей тревоги доступными ему средствами.

Долго отдыхавший в тыловой связи, ухажер и сердцеед Яков сперва худо греб, мешаясь в веслах, махал по воде. Но с каждой минутой работа шла слаженней, связисты приноравливались к делу. Ягор сперва стравливал провод, потом выбрасывал грузила за борт, мало путался, тоже вошел в ритм. "И чего я на них набросился? Они-то в чем виноваты? У всякого своя война". На середине реки растянуло, пронесло пелену тумана, открыло ничем не защищенную реку и хилый челнок на ней. Сильное стрежневое течение подхватило лодку, натянуло провод, чаще зашлепали грузила за бортом.

"Так мы стравим весь провод и уплывем к немцам!" — Лешка во всю лопату садил веслом на корме, без крика убеждал Ягора, чтоб он безостановочно выбрасывал связь и одновременно черпал, черпал воду — конопатку из щелей вымыло, лодка текла по всем щелям, бурунами била в дырки от выпавших клепок и гвоздей. Учуяв тревогу в голосе кормового, Ягор старался изо всех сил, с ужасом однако убеждаясь, что в лодке воды не убывает. Лешка-то знал: как только убавится груз, течь уменьшится, и приказал выбросить за борт освободившуюся катушку.

— А як же ж отчитываться?

— Сказано! — рыкнул Лешка, и хозяйственный мужик Ягор с сожалением кинул железяку за борт.

Метров еще двести-триста и лодка попадет в "мертвую зону", под укрытие яра. "Неужто проплывем?" — боясь громко радоваться, обнадежился Лешка. Но за изредившимся туманом, на чуть обозначившемся берегу, высоком и голом, который кто-то из глубинных россиян назвал точно — слудой, над одним из оврагов дрогнула вспышка, соплею выкинуло дымок. "Неужто по нам?" — втягивая голову в плечи, не переставая работать веслом, насторожился Лешка. Мина плюхнулась неподалеку, и не успело еще выбросить взрывом холодный ворох воды и окатить гребцов, как замелькали вспышки над парящим берегом, над слудой этой постылой, запело, заныло над головами связистов, струями визгливых пуль взблинило поверхность воды. Яков с Ягором упали на дно лодки, схватились друг за дружку.

— Грести! Грести-ы-ы! — вопил Лешка, цепляя запятниками ботинок за ботинок. — Ребята! Ребя-а-а-ата-а! — уже не орал, уже выламывал из себя голос Лешка. Он еще пытался своим веслом, гнущимся в шейке, гнать тяжелую лодку вперед. Вспомнил про автомат, дал очередь над головами связистов. Они расцепились, качнули лодку, в которой плавала, звонко билась о борт банка, загнутая что совок, и, красно змеясь, в петли, в круги, в бухту, сматывался за бортом в воде и в лодке провод, в котором ногами запутался Ягор.

— Застрелю-уу-ууу!

— А, Божечка! А, Божечка!.. — Яков хватал выскальзывающие из рук весла.

— Черпай! Черпай! Греби-и! — уже визжал Лешка, тыча веслом в Ягора, который снова выронил банку, налимом хлюпался в воде, скользил по лодке, гоняясь за банкой, вылавливая ее. — Сапогом! Сапоги-ы-ы-ы! — Ягор не понимал. — Сапогом, сапогом отчерпывай!

— Яким сапогом?

Лешка ударил его веслом:

— Сапогом, остолоп! Своим сапогом! — Видать, угодил Лешка веслом в голову связиста, и худо угодил. Беспомощно раскинув руки, Ягор поплыл по корыту, ткнулся в ноги напарника.

— Ягор! А, Ягор! Ти... тебя вбило? — бросив весла, Яков пытался приподнять барахтающегося в воде товарища. "Все! Теперь все!" — опадая в себе, уже бессильно опустил весло Лешка. Проводом, захлестнувшимся на ноге, Ягора потянуло за борт. "Теперь вот в самом деле все!"

Наполненная водой лодка кренилась на правый борт. Лешка налег на левый борт, пытаясь выровнять крен, хотел еще сказать, и как можно спокойнее: "Вы уйметесь?!", — и не успел. С заглотом, чмокнув, возле борта лодки плюхнулись мины, выбросив слитым воедино взрывом сноп воды. Захлестнутую лодку шатнуло. Черпнув бортом, она зависла на секунду в нерешительности на ребре и со стариковским кряхтеньем, хлюпаньем, бормотаньем и скрипом начала перевертываться. И чем круче зависала лодка, вытряхивая с громом за борт катушку, телефонный аппарат, банку, весла, людей, тем она делалась поворотливей, шустрее. Опрокинулась же посудина вовсе резко. Как бы выпустив из себя дух, громко ахнула пустым нутром об воду и успокоение поплыла кверху изопрелым, дряблым дном, будто старая кляча, освободившись от непосильной работы и груза, причмокивая бортами, она довольнехонько покачивалась на волнах и волнушках от кипящих взрывов.

Бывший наизготове, Лешка успел оттолкнуться ногами от лодки. Вода не покрыла его с головой, лишь холодом, словно тонкой струной, резанула по груди. Привыкший купаться на Оби еще в забереге и булькаться все лето в воде, чуть прогретой на мели, Лешка не испугался холодной воды, не впал в панику от первого, разящего ее удара. Всадив пальцы в лункой выгнившую со дна кокору, держась за корму лодки, Лешка искал глазами своих связчиков. Их нигде не было видно. Вцепившись в борт лодки, до конца держались они за нее, если их ударило бортом, оглушило — тогда все, тогда конец. Но они, однако, могли попасть и под лодку. Очутившись во тьме, меж водой и днищем, непременно решат они, что находятся уже на том свете. Лешка, как и всякий рисковый житель, возросший возле реки, не раз тонул в родной Оби, бывал в разного рода переделках, слыхал об ужасе от сознания, что, сам того не заметив, успел ты уже перекочевать в верхний мир. Он собрался крикнуть: "Эй!" — и внезапно увидел мелькающие вспышки выстрелов, черно вздымающиеся дымы, подумал, что это наши парни вступили поскорее в бой, чтобы помочь попавшим в беду связистам. О том, что за ними, на виду тонущими, открылась такая же охота, как и за летчиком, что упал с парашютом в реку, Лешка отчего-то думать не решался. Он глубоко дышал, дожидаясь, когда уймется рывками работающее сердце, слегка подгребал рукою, скоро можно будет плыть, если хватит силы воли отпуститься от лодки. Но отпускаться придется — это по ней, по видимой цели бьют фашисты. Рядом с бортом лодки взбугрилась вода, и кочаном всплыла голова с широко раззявленной дырой рта, пытающейся орать, однако вместо крика из отверстия, в котором разрозненно торчали зубы, выплескивалась вода. Не дав себе подумать о том, что человек, не умеющий плавать, увлечет его вглубь, Лешка щипками хватал тонущего за голову, но не было волос на голове солдата. Тогда он сгреб тонущего за шкирку и потянул к лодке, которая вдруг сделалась верткой, все норовила куда-то ушмыгнуть. Тонущий вцепился в Лешку мертвой хваткой, заключил его в объятия, поволок сперва по течению, затем в глубину.

"Вот теперь-то уж в самом деле конец!.." — успел еще вяло подумать Лешка, ясно сознавая, что теми силами, которые остались при нем, слепую стихию не одолеть. Но тело его, сердце, голова, разум и инстинкт, жаждой жизни наполненные, все его существо боролись, упирались, били руками и ногами; пока держался за лодку, успел отдышаться, его сухонькое, гибкое тело, с детства укрепленное трудом, напружинивалось, выкручивалось из намертво на нем сцепленных рук. Он на мгновение выбился наверх, сплюнул воду из сжатого рта, хватил воздуха и изо всей силы ударил кулаком по мокрой голове тонущего. Тот сморился, роняя голову вниз лицом, но не отцеплялся, все волок и волок кормового за собой в глубину.

"0-о-оа-а-ай!" — в отчаянии успел выдохнуть Лешка. Снова сомкнулась над ним вода, снова стозвонно позвала к себе почти нежно звучащая глубина, напоминающая вкрадчиво мягкую, ласково шелестящую травку, набитую мелкими кузнечиками, стрекочущими слитно, широко, до самого гаснущего горизонта. Покорное согласие плыть и плыть в ту, призывно звучащую бездну, окутывало сознание, но оно еще не умерло, оно звало к сопротивлению. Каким-то, не ему уже принадлежащим усилием, судорогою скорее он взметнул вверх колени, уперся ими во что-то твердое, с силою оттолкнулся и сразу почувствовал, как расплываются они, два за жизнь боровшиеся существа, — один в кромешную, тонким звоном наполненную, таинственную глубь, другой — к свету, к воздуху и, увидев его, свет этот небесный, наполненный грохотом и дымом, он не сразу его почувствовал и воспринял. Билось только сердце в груди, билось и дышало, дышало. Пловец Лешка был деревенский, не мастеровитый, обладал лишь одним стилем — собачий он называется. Он гребся, работал ногами, которые сводила в коленях судорога, и какой-то еще не онемелой мозгой сообразил — надо плыть от проклятой лодки, от корыта этого маслянисто склизкого, дно которого щепало пулями. Чудилось, под ним, под дном, шарятся, по ногам щупаются, хватаются чьи-то пальцы, вот-вот снова поволокут в бездну. Лешка обнаружил, наконец, что весь перед гимнастерки с него сорван вместе с карманом, клапан второго был сделан, как и у всех солдат, из подлокотника гимнастерки. Мешочек из бязевой портянки, набитый письмами и карточками сестер и матери, вырван с мясом и унесен утопшим человеком. Гимнастерка сопрела от пота и соли на солдатских плечах до бумажной ветхости, остатки гимнастерки никак не сползали с голого тела. Лешка цапал зубами лоскуты гимнастерки, выгрызал гнилье, сплевывал, отрыгивал просоленные тряпки, почти умильно думая о том, что это Бог его надоумил снять нижнее белье и оставить в земляной норе — предчувствовал Лешка: купаться придется и, коли вернется — наденет сухое. Здесь нет мамки, нет малых сестер, которые, плача, натягивали на него сухое, тащили на горячую русскую печь, когда он сорвался за борт катера на Оби. Мать выла и лупила его кулаками, но тоже натягивала на него мягкое, теплое, сухое, малые сестренки кричали: "Не бей! Не бей! Ему больно!.."

Лешке удалось сорвать с себя лоскутья, отпластать зубами рукава. Правда, на все это ушли остатки сил, и он перевернулся на спину, словно курортный пловец, блаженствуя и красуясь перед отдыхающими гражданами. Кроме того, в недвижного, само собой плывущего человека, не будут стрелять, — рассчитывал он, — много тут всякого добра болтается, в том числе и всплывших мертвецов, во всех не настреляешься.

Немцы и в самом деле отвлеклись от куда-то плывущей лодчонки, от человека, булькающегося возле нее. На плацдарме во всю его неразмашистую ширину разгорался бой, но стоило взмахнуть руками, двинуться к берегу, как вокруг забулькало, забрызгалось, кто-то с берега стрелял, короткими очередями, настойчиво, расчетливо.

Пришлось нырять. Тут вспомнилось: кто-то совсем недавно, а-а, док-доктор из штрафной говорил, будто утопшие еще долго, час, а может и полтора, ползают, шарятся по дну реки, сонно подпрыгивают — сокращаются мышцы остывающего тела. Он представил, как сейчас под ним, раскидывая руки в немой русалочьей воде, ходят по дну, сталкиваются лбами, не узнавая друг друга, Яков с Ягором, — и поскорее выбился наверх.

"Ну, нигде спасенья солдату нету, ни в воде, ни на суше! Раз так, то и бояться нечего: ни воды, ни пуль, ни Ягора с Яковом, которые могут схватить за ноги". За ноги хваталась, ломила кость холодная вода, которую, сколько бы он тут ни плюхался, — не согреть ему. Не скоро, не вдруг Лешка достиг мертвой зоны, пули чиркали по воде уже по-за ним, но мины густо и плотно хлестали по берегу, разбрасывая землю и каменья.

Прикрытый яром, из последних сил тащил себя Лешка к желто и красно посверкивающей в

налитых кровью глазах крепи берега. От перенапряжений, от сверхусилий, что уже и не усилия, ползучая, жильная тяга, она уже и не в теле, она уже дальше — духом она называется, звенело не только в воде, но и в ушах, в голове, во всем заглохшем теле. Можно было встать, идти по дну, но он, предсмертно хрипя, все молотил и молотил отерпшими, чужими руками по воде. Наконец, достиг песчаного опечка, уткнулся в него лицом, лежал распластанно. Судорогой скручивало, выворачивало нутро. Тонко воя, он не глотал, он ел воздух вместе с дымом, пылью, песком. С каждым спазмом из утробы его вырывалось мутное облако недавно съеденной каши, в котором клубилась, шарилась по его рукам, по животу, по груди мулява, но он ничего не чувствовал, он все плыл, все плыл по бесконечной реке, зыбился под взрывами, и все в нем звенела, звенела заупокойным звоном, никак не отдалялась от него гибельная, беспросветная глубь.

Майор Зарубин, работавший у телефона и все время краем глаза наблюдавший за рекой, властно крикнул. Двое бойцов, оставив боевые дела, выскочили к воде, схватили Лешку под руки, волоком затащили под прикрытие яра и бросили на землю — "пусть проблюется".

Шел бой. Фашисты атаковали. Бойцам и командирам на плацдарме было не до какого-то солдатика, в одиночку выкарабкавшегося из реки, вырвавшегося из лап смерти. Каждую минуту вокруг погибали сотни таких же солдат.

Предоставленный самому себе, Лешка дополз до камня, лег на него животом, переломился — и сколь из него вышло воды и слизи — не помнил, казалось, конца не будет мутному потоку, весь он изовьется, вывернется надсаженной утробой. Сколько пролежал он в полубеспамятстве, ослабленный, вялый, — тоже не знал. Все не сходила красная пелена с глаз, и, когда он сделался способен зреть, убедился — и не сойдет. Обеспокоенно шевелящаяся, мутная у приплесков вода была бурая. Ссохшаяся за ночь пена красным пухом шевелилась на осоке. Песок на урезе черен от крови, берег устелен трупами, точно брошенным лесом на сплавной реке.

Со стоном залез Лешка в укрытие, снял с себя все мокрое, выковырял из земли узелок сухого белья, трясясь, натянул его на себя, но согреться не мог, его колотило, взбулындывало в норке, казалось, он вот-вот развалится и развалит своим, без кожи вроде бы сделавшимся телом рыхлый яр, всю эту мертво оголившуюся слуду. Неизведанное до сего дня, пустынное, беспросветное одиночество давило его, он плакал, не утирая слез, не испытывая ни радости, ни торжества от того, что спасся, просто холодно, просто воет сердце от запустелости, просто жалко самого себя. И близость боя, возможность умереть не страшит, даже как бы тихо, ненавязчиво манит, сулит от всего избавление.

Ох, какое это опасное, какое крайнее чувство — ему только поддайся. Но черный от копоти, грязный, распоясанный, босой, скатился с яра попить воды Леха Булдаков, хлебнул из котелка, закашлялся, нашарил Лешку в земле, тряхнул его:

— Тебе облегчиться надо,прокричал он, — воду выпустить, иначе не согреешься. — Леха Булдаков тоже рос и работал на реке, лихачил, химичил, тонул, человек он опытный и не изгальничал на этот раз. — Дед, а дед! Кинь суда хламиду.

Лешка послушно встал на колени в устье земляной норки, в полусне пустил струю в пространство, которая текла и текла сама собой; не сознавая, что с ним происходит, он продолжал дремать, отдаленно чуя грохот боя, кипящего кругом, его все несло, все качало, переворачивало, стискивало водою. Булдаков разорвал мешок, завернул в него Лешку, укрыл ссохшейся телогрейкой, в которую тот завертывал телефонный аппарат при переправе, сверху набросил сорящую песком шинеленку, в которой перебедовал и уже испустил дух не один

раненый бедолага.

— Тебе б счас, паря, кружку водки! — бормотал Булдаков, укутывая Лешку. — А мне бы дак и цельный котелок... Для отваги.

Не реагируя на шутки Лехи, но мягчая от его заботы и ласки, Шестаков тихо вздохнул: "А мне бы уснуть и не проснуться".

Но он проснулся. Начавши выходить из забытья, попробовал шевельнуться. Железная боль охватила все тело, особенно сильно болели ноги и руки, казалось, вбиты в них сплавные скобы, а тело, на котором все еще не ощущается кожа, наполнено патефонными мелкими иголками и они, пересыпаясь, порют, втыкаются в воспаленную плоть острием. Земля изнуренно подрагивала, сыпалась. Из мира, видневшегося пятнышком в устье норки, доносился привычный уже, будничный гул войны. "Неужели это никогда не кончится? Как все устало, как болит. Может, лучше бы и не выплывать на берег. Нет, нет, надо превозмогать себя, менять дежурного телефониста. Война идет, работы требует, никуда от нее не денешься, идет она, проклятая, идет", — Лешка сел, переждал кружение в голове и почувствовал, что она, голова, упирается в твердое. "Я в ячейке!" — тупо и равнодушно отметил он и увидел перед собой ухмыляющуюся рожу из тех базарных рож, которые всюду вроде бы одинаковые и запоминаются как одно лицо, — жуликоватого, разбитного малого, не возвеличивавшего себя трудовыми подвигами, не утруждавшего себя утомительной честной жизнью — блеклое, невыразительное лицо, но глаза цепкие, лоб не без "масла", в глубоких морщинах лба заключен какой-то смысл, не всем доступный. Ниже глаз начиналось второе лицо, как бы приставленное к верхней половине — узенький нос с чуткими зверушечьими ноздрями, в губах, сплошь иссеченных шрамами, добродушная подстегивающая приветливость, бодрость. Завершается все это сооружение смятым подбородком, форма которого искажена шрамами. Ко всему лицевому набору приставлены такие же, как у капитана Одинца, лопухи-уши. Несмотря на войну, на постоянное, изнуряющее напряжение, мужик или парень этот держался беспечным, разудалым ванькой с трудоднями.

— Тебе чего, Зеленцов?

— Ит-тыть! — ощерился собеседник. — Скоко тебе толковать-то? Не Зеленцов, а Шорохов. Шо-ро-хов, понял?!

— Видать, много за тобой концов тянется, и не только телефонных. — Лешка, взнявшись, задел головой верхотуру, насыпалось песку за ворот. Вышаривая комочки из-под гимнастерки, вылез на свет Божий. Но свету никакого нигде не было. Весь берег, подбережье и река затянуты зыбучей, спутанной тучею отгара. Молнии огней рвали эту тучу, не небом, не землей, войной сотворенную, но не могли порвать, лишь баламутили. Туча, ворочаясь в себе, текла в самое себя, на мгновение вспыхивала изнутра, раскаты слились в единый гром взрывов — работала во всю мощь артиллерия с обеих сторон. Выше пороховой тучи кружились самолеты, соря бомбы, зыбая, сгущая и клубя пороховую тьму. Смесь взрывов, монолитного небесного гула резали, распарывали звуки пулеметов и автоматов, совсем уж досадливо, вроде припоздало с треском рассыпались винтовочные выстрелы.

— Ну, че, дыбаем потихоньку? — подмаргивая, искривил один глаз Шорохов. С обеих сторон на голове его висели телефонные трубки. Одну из них, обинтованную, Лешка сразу опознал и понял — совместили артиллерийского связиста с пехотным — не хватает народу на этом, на правом берегу. Лешка вспомнил о коробочке с табаком, достал ее, развинтил, вяло обрадовался, что табак не намок, зацепил всей щепотью и протянул на закурку Шорохову. Напряженно следивший за Лешкиными действиями, Шорохов мгновенно скрутил цигарку,

прикурил от зажигалки и сказал, что за это он корешу доставит шамовки. Ночью.

На вопрос насчет обстановки, как бы между прочим, объявил, что однако там, под высотой Сто, немцы добивают передовой батальон.

— К-ка-ак добивают?

— Обыкновенно.

— А наши, наши что же?

— Наши контратакуют, снарядами фрица глушат, не дают ему особо трепыхаться.

Лешка поводил и поводил плечами, разминался, изгоняя боль из суставов. Все, что могло из него вытянуть, уже вытянуло, но мутить не переставало, липкая тошнота плескалась в чисто промытом просторном нутре.

— Слушай, а ребята, ну те, что Колю Рындина принесли, где они?

— Щусевцы-то? Они долго на берегу кантовались, вроде как тебя с вестями ждали. В общем-то, думали, что ты жрать чего приплавишь. Но как ты потонул, оне ушли.

— Давно?

— Да нет, токо што. Их неустрашимый капитан заорал на них по телефону, оне и потопали.

— Э-э, че ты патроны изводишь, — планку-то не передвинул?! — Слышалась ругань командира Финифатьева сверху. Лешку опять скрутило, опять свело судорогой.

— На-ко, зобни, может, полегчает, — протянул ему недокурок Шорохов. Некурящий человек Шестаков был готов сделать что угодно, чтоб только не мутило, пососал дыма и сломленно навалился на осыпь яра.

— Э-э! — тряс его Шорохов. — Ты че? Ты че?

Лешка ловил ртом воздух, глотая густой кашей плавающий над ручьем отстой пороховой и тротиловой гари. От яра все время отделялись и катились по берегу комки глины с чубчиком грязной седой травы, достигнув реки, шлепались лягушками в воду.

Шел бой. Сотрясало свет и землю.

Все шел и шел бой. Все сотрясало и сотрясало землю, тело, голову.

— Болят члены? — как и у всех земных путаников, у Шорохова манера разговаривать дураковато, плести околесицу, неожиданно вывернуть что-нибудь.

— Все болит. Как майор?

— Майор ваш, — покривил губы Шорохов, — лежит в последнем помещении, но командует, руководит.

— Ты подежурь еще.

— Все равно спать не дадут, — пожал плечами Шорохов.

Вверху, на выступе яра взрыкивал пулемет, дымящиеся гильзы, подскакивая, катились под яр и по тому слою осинелых, окисленных гильз, что скопились у подножья, можно заключить — бой идет уже давно и стрелять есть чем. "Где-то взяли?" — Лешка вспомнил — с баркаса. Пока он отсутствовал, был в другом месте и не одолел реку с грузом, пехотинцы по трупам волокли баркас и затянули его под яр.

— Э-эй, утопленник! Принимай бойца в гости! — крикнул наверху Финифатьев и мешком свалился с яра, приосел, торопливо начал набивать диск патронами, перебирая вскрытую половину диска в руках, будто горячий блин. На лбу сержанта и под носом темнели капли пота, все его некрупное лицо, как бы по ошибке приставлено к ширококостному, основательному телу, словно штукатуркой покрылось — пыль и пот наслоились на одежде, надо лбом топорщился козырек неизвестно когда и зачем отросших, тоже штукатуркой слепленных волос.

— Как Леха?

— Олеха жив. Олеха воюет... Не знаю, че бы сейчас отдал.

— Что дать Лехе? Покурить, — неожиданно возникший из дыма и пыли, передразнил Булдаков Финифатьева, и показалось, сама его рожа, возбужденная, грязная, когда-то успевшая из пухлой сделаться костлявой, исторгала угрюмую усталость и взвинченность одновременно.

Одним глотком Леха выхлебнул полкотелка воды, остатки вылил на себя и, всадив в гнездо пулемета полный диск, заорал, соря пеной с губ:

— А-а-ат, курва! У бар бороды не бывает... — и начал взбираться на яр.

Все это время командир его жалостливо смотрел на своего бойца, как на неразумного и болезного дитятю.

— Леха! Сотона! Стой! Стой, я тебе говорю! — Финифатьев сдернул Булдакова за босую ногу вниз. — Пущай без тебя воюют. А мы покурим. — Леха свалился, сел, почесался и уставился на Шестакова.

— У-у-у, та-ба-чо-ок! — промычал он и трудно сглотнул слюну, какое-то время не решался протянуть щепоть к баночке, открытой Шестаковым, может, и опасался просыпать табак — у него заметно опухли и дрожали пальцы.

— Табачок, Олеха, табачо-ок! — Сам никогда не баловавшийся куревом, Финифатьев все же понимал ценность этой отравы, пытался скрутить и скрутил для друга своего цигарку, а скрутивши, и прикурил у Шорохова, зашелся кашлем и, махая рукой, отгонял от себя дым. — А шчоб вас язвило, мало вам мученья, ишшо и от табаку и по табаку мучаетесь. — Балаболя и поругиваясь, Финифатьев раскопал под Лешкиной норой бугорок и вытащил из песка сгармошенные кирзовые сапоги: — На, — кинул их Шестакову, — ночесь подобрал, прибило к берегу. — Финифатьев довольнехонько хмыкал, глядя, как Лешка обувается, и, овладев незаметно банкой с табаком, хозяйски распоряжался провиантом, будто не Шестаков, а он промыслил его. — Я как знал, кто-нить утопит обутку, вот и подобрал, — хвалил он себя. — Подходят ли по размеру-то? Подходят? Носи знай на здоровье, — а сам в это время таскал и таскал щепотью табачок из банки, потом поправлял диск в дымящемся пулемете, колотя по нему ладонью и, довольный собою, ворковал, глядя на умиротворенно дымящего табаком первого своего номера. — Покури, покури, Олеха, оно и лучше дело-то пойдет... скотина тягловая и та в отдыхе нуждается, и солдат...

Старожилы роты — уже и не земляки, уже родня, расслабились в окопчике. Булдаков полулежал в мягком, растоптанном песке, на шуршащих гильзах, закрыв глаза. Грудь его бугром вздымалась, из ноздри, из одной, из правой только, валил дым. Наработался солдат, забылся, наслаждается. Финифатьев уважительно смолк.

Лешка завинчивал крышку с остатками драгоценного табачка и снова порадовался, что не намокла махра. — "Ах, ты, немец-подлец! До чего же ты аккуратный!" Шорохов дергал его за рубаху и шептал, шипел; "Заныкай! Раздашь все!"

— Банку-те спрячь! Спрячь! — суетился и Финифатьев. — На всех не хватит. А Олехе на цигарочку, на закруточку-у!

— Он и без табаку у пулемета звереет! — заметил Шорохов.

— Олеха о друзьях-товарищах убивается. За всех воюет. — Финифатьеву главное — себя и первого номера сберечь и ублажить. Он и не отрицает, наоборот, всегда утверждает, что второй номер должен во всем угождать первому номеру, быть у него на подхвате.

— Невдали, за речкой, возле села пальба была, — негромко сообщил Шорохов, когда пулеметчики, покурив, поднялись в свое узкое и глубокое гнездо. — Не щусевские ли олухи нарвались на немцев. Чует мое, лагерем угнетенное, сердце неладное.

— А Щусь? Щусь сейчас где? — Лешка вперился в Шорохова.

— На высоте с утра был, командовал. — Шорохов устроился поудобней в ровике, шевеля задом.приспустился в песок. — Может, и откомандовался уж... Давно к телефону не подходит. — Шорохов, роняя телефонные трубки с головы, елозил и елозил задом по дну окопчика, вбивая себя поглубже в песок, чтоб теплее.

"А что если высоту немцы отбили, а ребята явятся туда?.."

Майор Зарубин лежал не в ячейке, а возле нее, на подстилке из полыни, укрытый шинелью. Здесь его пригревало уже высоко взнявшимся сквозь дым и пыль едва светящимся солнышком.

— Сорвалось? — глядя мимо, спросил или затвердил майор, Лешка не мог понять.

— Сорвалось.

— Я и полагал, что сорвется. На чудо надеялся. Да какое может быть чудо на такой войне! — майор слабо прикрыл глаза, обнесенные голубыми кругами. Лицо его пожелтело, по щекам пошли белые пятнышки, будто цвело лицо, как у новорожденного младенца.

"Это от земли", — решил Лешка и сказал, потупившись, что не доплавил записку Понайотова, утопил.

— Бог с ней, с запиской. Живой остался. Не в рубашке, в кафтане ты, Шестаков, родился. Я все видел...

"Скорее в сокуе в оленьем или в дохе собачьей", — усмехнулся Лешка, протягивая майору банку с табаком и один перевязочный пакет. Два остальных куда-то из кармана исчезли.

— Это капитан Понайотов табачку вам послал, бинты.

— Ах, капитан, капитан! — выстонал майор Зарубин. — Разве раненому табак нужен? Оставь

бинт. Табак по щепотке распредели бойцам. Как у них там? — помолчав, спросил майор, имея в виду тот берег.

— Лучше, чем у нас.

Майор пристально поглядел на Лешку, но ничего больше на сказал, спустя время попросил:

— С телефоном давай ко мне сюда.

— Есть, товарищ майор. Сейчас телефонист будет, а я отлучусь, если разрешите. Ненадолго.

Майору подумалось, что бледный, весь какой-то измятый, выполосканный боец хочет перемочься, отдохнуть, не спросил, куда и зачем отлучается связист. Телефонная линия перегружена до накала, работа по ней шла беспрерывная, по разговорам, хотя и закодированным, — "Ох уж этот русский код!" — поджал губы майор Зарубин, — он заключил, что на плацдарме находится три стрелковых полка, универсальносаперная рота, рота "шуриков", взвод бронебойщиков, перетопивший пэтээры, разрозненные части да представители разных соединений: артиллерийских, авиационных и танковых. Дальше всех углубился по центру плацдарма полк Сыроватко, еще дальше — батальон капитана Щуся, без огня в обход, по оврагам, проникший почти в тыл немцев. Ему-то сейчас больше всех и достается. Немцы во что бы то ни стало хотели сдавить в оврагах отрезанный от берега батальон и уничтожить его. По батальону немцы наносили главный удар, чтобы затем разом разделаться со всеми русскими войсками, которых на плацдарме оказалось тысяч до десяти. Полк Сыроватко, поддерживаемый гаубицами, ведя активные действия, клонился и углублялся на левый фланг. С правого фланга, боясь разрыва в центре плацдарма, гоношились бескапустинцы, отвлекая на себя противника.

В ямах оврагов не раз уже отдельные группы схватывались в рукопашном бою. Правый, разреженный, менее безопасный фланг немцы отчего-то тревожили мало, все больше и сильнее наседали они на полк Сыроватко, отделяя его от группы Щуся, полагая, видимо, что правый фланг без поддержки и сам сдохнет, растворится, сгорит без дыма.

В расположении полка Сыроватко находились представители штаба корпуса во главе с начальником разведки и оперативной группой, где-то там же дежурили командиры — наводчики от авиации, чины из штаба армии.

Большое начальство требовало беспрерывного артогня и патрулирования с воздуха, так что майор Зарубин мог "работать на себя", то есть всем полком бить по своим целям, заметно активизирующимся.

х х х

Лешка хотел кого-нибудь прихватить с собой, но вся живая сила вокруг была предельно занята войной, незнакомых же людей, что попрятались и затаились в береговых норках, никак, из земли не выковыряешь, да и Шорохов, собираясь перебираться ближе к майору, сказал, что завтра лучше в отрыв ходить одному, мол, меньше гомону и вони.

Лешка броском перешел ручей, плюхнулся на приплесок, с весны вымытый до синей глины, отдышавшись и оглядевшись, крался вверх по петляющей пойме Черевинки. Чем дальше уходил он вверх по густо охваченной спутавшимся кустарником Черевинке, во многих местах горелом, где-то еще синенько дымящимся, тем тише делалась стрельба.

Великая река катилась к морю, пересекая и ублажая одну из самых плодородных земель на

планете. Но уголок, угодивший под плацдарм, слуда эта, был вроде коросты на ней, потому-то из путных хлеборобов по этому бесплодному берегу никто не селился, не жил, лишь выше по Черевинке, в изгибе ее рассыпалось бедное, почти голое сельцо с громким названием — Великие Криницы. Соломенные камышовые крыши на хатах села сплошь снесло взрывами, свело огнем, сами хаты оттого, что вокруг них все повыгорело, гляделись раздето, пустоглазо. Чем были богаты Великие Криницы, так это известкой — река, камень рядом, и поскольку Лешка по родной Оби знал, как отыскивают известковый камень и выжигают на нехитрых кострах известь, то и не удивлялся, что хаты в сельце, несмотря на копоть, дым и сажу, все время их застилающие, светятся кубиками сахара с обколотыми иль обкусанными уголками.

Давненько уже фашисты согнали обитателей Великих Криниц с берега. Жители прибрежного села, конечно же, от веку были рыбаками, имели на чем и чем рыбачить, но немцы поотбирали и истребили у них лодки. Некорыстные огородишки с высохшими кустами на картофельных загонах, с лопнувшими, переспелыми помидорами и тыквами на грядках, с вроде бы беспризорно по земле валяющимися кабачками, коричневыми огурцами и кавунами привлекали особое внимание войска — переправить-то его, войско, переправили, но кормить подзабыли. Лешка порешил: парни, приволокшие на берег Колю Рындина, не дождавшись пловца с едой и табаком, на обратном пути свернули к селу с намерением разжиться харчем, и ладно если их поймали и увели в плен, но если...

Охотник с детства, уже более полугода воюющий солдат Шестаков был ловок и осторожен. Пойма Черевинки не только украшение местности, но на данный момент и укрытие, и питье, и жранье, пусть и маломальное. К ручью устьицами, щелками, промоинами выходило множество овражков, сколышей, щелей, пещер, каких-то нор, может, и волчьих. Сюда дождями и ливнями сносило со склонов по трещинам всякую всячину, из крайних огородов сельца Великие Криницы смывало овощь, катило тыквы. По обочинам ручья, норовя залезть в водомоины, в ямы и щели, росло все вперемешку; серебристые тополя, дикие яблони, груши, черемуха, ольха, верболазник. Кустарники лезли друг на дружку, душили того, кто послабее, — мальвы, полынь, чертополох, где и оглохший подсолнушек клонился к воде, где и тыква, взнимаясь вверх, по дереву, тащила за собой широкие листья и по-деревенски доверчивые, яркие рупоры цветов. Повилика, паслен, вьюнки, местами скрыто и упорно цветущие, опутали стволы деревьев, оплели кустарники — по этим местным джунглям продираться бесшумно было почти невозможно.

Чем дальше и выше по Черевинке двигался Лешка, броском минуя устья промоин и овражных отростков, тем больше сгустков телефонных проводов попадалось ему. Где-то среди них путалась и работала пока еще не обнаруженная немцами щусевская линия, и ушли, ой, ушли, отпустились от нее ребята в поисках жратвы и заблудились, ой, заблудились, ой, заплелись в этих непролазных джунглях с проделанными в них ходами и тропами — давно немцы стоят в обороне, давно тут лазят — обжили местность.

Лешка, хотя и мимоходом, но правильно угадывал, замечал, запоминал вражеские окопы, огневые позиции по речке. Вниз по течению по правую сторону все выходы с плацдарма блокированы. С левой же по течению, нетронутой стороны на подмытом берегу никаких оборонительных сооружений нет, но кухни по воду сюда съезжали, коней здесь привязывали, за дровами спускались. В устье серенького овражка с полого разъезженными мысками пучком росло несколько могучих тополей, сплошь увешанных черными грачиными гнездами. Лешка подумал: дураки фрицы будут, если не поселят в этих поверху не выгоревших гнездах корректировщика-наблюдателя. Подумать-то подумал, но значения тому не придал, внимание его привлекла другая штука: по оврагу, по деревенской тележной дороге были проложены пучки проводов, и не просто проложены, но в канавки прикопаны, где провод поперек дороги — вовсе закопан, чтоб при наезде не оборвали.

"Здесь! Или штаб, или наблюдательный пункт", — на животе проползая под кустами, вдоль подмоины, подумал Лешка и, вылезши из затени, увидел перед собой бойко дымящий блиндажик, крытый днищем и бортами разбитой лодки. Два столбика и поперечина из нетолстых тополиных бревешек держали непрочную крышу спереди. К поперечине было стоймя прибито две доски, образующих вход в блиндажик, завешенный плащ-палаткой, дальний конец крыши лежал на выбранной лопатами, до окаменелости утоптанной площадке. На ней, укрепленная на треногу, стояла стереотруба и на двух ящиках из-под патронов сидели наблюдатели, без мундиров, в нижних рубахах, перехлеснутых на спине помочами. Один из них, припав к стереотрубе, не отрываясь, смотрел в окуляры и что-то говорил, второй, держа на коленях блокнот, быстро записывал и отрывисто выкрикивал команды, как догадался Лешка, в лаз, сделанный в крыше наблюдательного пункта.

Лешка переполз дорогу, не шевельнув ногами ниток проводов, и, пригнувшись, устремился вверх по дороге, в видневшееся рыжее жерло — глину здесь брали для печей и подмазок селяне. Таких раззявленных жерл и ямин вдоль дороги было, что ласточкиных гнезд в яру. Залегши в ямку, Лешка отдышался, затем высунулся, увидел напротив ложок, с устья заросший бурьяном и оглоданным козами кустарником. Пологий ложок этот с густой дурью развилистой вершиной заползал в огороды и где-то меж низких каменных и плетенных из лозин оград затеривался. "Если ребята увились в огороды, пойти они могли только здесь", — заскулило, заныло у него еще с реки не успокоившееся сердце.

Парни верно рассудили: этим логом немцы никуда не ходят — чего же рвать обувь и штаны о камни, вымытые вешним потоком, об огрызки и обрубки кустарников, цеплять на мундиры репьи, колючки, пылиться, когда кругом дороги, тропинок и щелей полно — иди куда хочешь без опаски: весь берег и земля вокруг пока за ними, за оккупантами этими клятыми. В логу, совсем почти уж под крайними пряслами огородов, из земли торчал осиновый желоб, из него в огрызенную скотом колоду сочилась хилая струйка воды. Переполнившая колоду вода растеклась лужей, скот, оставшийся без хозяев, привычно ходил сюда на водопой, размесил грязь, измочалил, изгрыз до корней кусты.

Возле этого неприглядного, грязного, у каждой почти среднерусской деревни имеющегося места и сошлись русские с немцами. Кто из них забил овечку раньше, уже не узнаешь: обезглавленное животное валялось тут же, втоптанное в грязь, багровея боком, на котором заголена была полуснятая шкура.

"Немцы, немцы забили и обдирали овечку. Наши бы забили и драли отсюда, чередили бы скотину, как в Сибири хорошо говорят, в ручье, внизу. Немцам торопиться некуда, ободрали б овечку, мясо и руки не торопясь обмыли..."

Схватка была короткая, смертная. Парни, напоровшись на немцев, сперва, конечно, растерялись, быть может, заорали "Хенде хох!", не углядев, что за оплесневелой каменной оградой лежит и караулит добытчиков-мародеров автоматчик. Он сразу же свалил двух русских — оба вон лежат в отдалении, остальные сгреблись с фрицами, занятыми делом, в рукопашную, били прикладами, пытались стрелять. Рыжий мужик с норовисто закругленной макушкой каменно сжимал саперную лопатку, облепленную синими мухами, — лакомо мухам — кровь и сгустки мозга на острие лопаты. Уронив винтовку с полувыдернутым затвором, из которого не успела вылететь обгорелая гильза, широко и нелепо выкинув руки, увязив костлявые длинные ноги в обмотках, лицом в грязь лежал боец, при виде которого Лешка тонко взвыл: "Васконян! Батюшки мои, Васконян!.."

Берег Тетеркин, оборонял российский Санчо Панса своего рыцаря до конца и засек лопаткою бестию-фрица, может, и не одного. Васконян успел выстрелить, небось, попал во врага,

которого назначал себе уничтожить еще там, в Сибири, в зимней деревушке Осипово, Все следы человечьи, все лунки от копыт животных полны красной загустевшей жижей. Лужа вокруг колоды багрового оттенка. В растоптанную грязь вплетены кровавые завои, даже на зелени заплесневелой колоды и желоба рыжими брызгами насохла человеческая кровь. Тучи мух, синих и рыжих, какая-то тля, липнущая к грязи и утопающая в ней, облепили смертный пятачок. Вороны расселись по оградам, в отдалении, боясь приблизиться к месту водопоя и гибели, но к вечеру, когда поутихнет плацдарм, они налетят, они тут похозяйничают. Старый козел с козлушкой при приближении человека нехотя убрели от колоды, улеглись в глуши бурьяна, за полуразвалившейся кладкой каменной ограды. Козел, выставив рога из сохлого, пух сорящего бурьяна, задремал, дожидаясь, когда уйдет солдат. Козлушка настороженно прядала ушами — боязливо воспринимало животное стрельбу, битву, людей, но козлушка начинала привыкать ко всему этому неспокою. Привык же козел-то, дремлет, по-шаманьи мудро прищурив глаза, жует что-то, уронив бороду в колючки.

Почти не таясь, Лешка ушел вниз по Черевинке, мельком отметив, что в районе тополей, на наблюдательном пункте все так же деловито идет работа — минометчики день ото дня все плотнее кладут мины под яр, в устье речки, не давая дышать русским на берегу, выбивая и выбивая их.

В полдень с севера хлестанул порывистый ветер, волоча за собой мохнатые тучи, тяжело набитые снегом или дождем. "Юнкерсы", явившиеся на реку, спеша до потери видимости проделать свою работу, не обращая внимания на черные плевки сердито тявкающих зениток, с нарастающим ревом ринулись на узкий клочок земли.

Все живое, свободное от работы население берега залезло в норы, в щели, затаилось и примолкло в воронках, ожидая своей участи. Немцы полосовали ракетами, обозначая передний край. Боясь угодить по своим, "юнкерсы" с первого захода бросили бомбы в воду, в измученную, взболтанную реку. Снова тряхнуло и рассыпало битую, глушеную рыбешку, белыми листьями разбросало ее по всему берегу, прополоскало в воде, выворотило прилипшие к отмелям серые трупы, сонно ворочаясь, они неохотно опускались обратно на дно.

Ведущий авиазвена натаскивал ведомых, словно курица неразумных цыплят. На втором заходе низко, рисково и мастерски пошел он кромкой яра, оставляя зенитный огонь вверху, взялся класть яйца, благословлять Иванов огнем так расчетливо, что яр обламывало, разбрасывало огромными глыбами. Когда эскадрилья, убегая от темени туч и зенитного огня, ушла на аэродром, крутой берег оказался во многих местах выкусанным, оползшим. Нигде не было спасения человеку. Осевшей землей раздавило десятки таившихся в норах людей. Раскопавшись, выбравшись из могилы, солдаты протирали глаза, выковыривали землю из ушей, оконтуженно трясли головами. Многие раненые остались в яру навсегда, раскапывать их было некогда и некому. Бомбардировщики перед тем, как навсегда исчезнуть в бездне мироздания, покачали крыльями над плацдармом — поприветствовали они на земле фрицев — гутен морген, гутен таг, — непогода помешала, а то бы мы добили все еще недобитых, Иванов. Ни одного сталинского сокола в эту пору в небе не объявилось: непогода не пустила с аэродромов. Немецкой авиации непогода отчего-то всю войну мешала меньше, чем нашим прославленным воздушным асам.

До окончательного "закрытия неба" успела еще покружиться над плацдармом "рама". В ней что-то щелкнуло и тут же в воздухе появилось длинное тело рыбы не рыбы, торпеды не торпеды, была она с пропеллером, приделанным к винту. Винт этот скоро развинтился и вместе с жестяным шилом упал на берег, а из железного тела вывалилась белая начинка. Подхваченные ветром, на берег, на воду, кружась, полетели листовки. За листовками никто не гонялся, не ловил их, поднимет иной солдат-бедолага, собирающий глушеных рыбешек на

берегу, почитает и бросит. Прежде хоть на раскур листовки годились, тут и курева нету. Листовки короткие, как всегда, устрашающие, на дураков и недотеп рассчитанные. В листовках немцы снова сулились сделать русским буль-буль. Мало того, отсюда, из-за Великой реки, сыны великого рейха собрались начать новый неудержимый поход на Москву. Никого уже никакая агитация, ни своя, ни чужая, не трогала. Булдаков только проорал в небо:

— А ху-у-ху не хо-хо!..

— Лучше бы концерву сбросили! — возмечтал Финифатьев.

— Или табаку осьмушку.

— Не-е, уж запрашивать, так запрашивать — пушшай кухню с кашей да с супом уронят.

— Обварят же, дура!

— Чево-о-о-о?

— Супом-то обварят, говорю.

— А мы у шшелку — ать-два!

— Ох и ушлый же ты!

— У нас вся родня башковитая. Вся по тюрьмам за политику сидит.

— И что за народишко?! — вяло бранился Финифатьев безо всякого, впрочем, осуждения. — На краю жизни, мокрыя, голодныя, издохлыя считай что — и шутки шутют!..

— Дух наш крепок!

— Чево-о-о-о?

— Духом, говорю, живы!

— Тьфу на тебя! Ду-ух!.. У меня в жопе уж ни духу, ни слуху... Ду-ух...

Набрав горсть листовок, Шорохов, препиравшийся с Финифатьевым, резал их на дольки, чтобы снова в "шурики" не угодить: раз листовка порезана, значит, считают надзиратели войска, без умыслу бумага подобрана, на курево. Уж кто-кто, но Шорохов-то вернее всех солдат разбирался — за что привлекут, за что не привлекут. Впрочем, тут, на плацдарме, никто никого никуда привлечь не мог, все привлекатели в поту трудились на левом берегу, ждали, когда на правом сделается не так горячо.

Отдыхиваясь от бомбежки, повылезали бойцы из норок, расселись возле окопчиков, под навесом яра и, с удовольствием ругая нашу авиацию и начальство, не без удовольствия вспоминали, как днями, скараулив в небе пару "мессершмитов", красные соколы одного из дежурных отбили от другого и роем, как миленького, под ручки повели на посадку. Все смолкло по обеим берегам — и немецкие, и советские вояки перестали палить, орать — редко кому доводилось наблюдать с земли этакое воздушное диво, похожее на игру.

Когда самолеты скрылись за кромкой леса, в нашем стане, и на левом, и на правом берегу, поднялось такое ликование, такой восторг охватил вояк, что иные даже обнимались, размазывали слезы по горьким своим, чумазым лицам, — вот так взбодрили летчики людей,

надсаженных переправой и нестихающим, изнурительным боем. Немцы принялись долбить изо всех видов оружия по ликующему плацдарму, но ответно с новой силой грянула наша артиллерия с левого берега. Земля снова закачалась вместе с людьми, впившимися в нее.

Чем дольше существовали на плацдарме люди, тем длиннее для них делались дни и короче ночи. Если им дальше облегчения не будет, не схлынет постоянно ломающая спину тяжесть — не выдержать людям.

У немцев начался обед. Русские за обеденное время попили водички, умылись, зарядили оружие, прилегли кто где.

— Эй! Рус! Еван! Хлеб-соль, чай-цукер! Кушай с нами! Красные пироги ставь на углы! Ха-ха-ха! — кричали во время обеда с немецкой стороны, из поймы речки Черевинки. Совсем рядом кричали: садануть бы гранатой по зубоскалам. Да где она, граната?

— Экие весельчаки! — все время чувствующий себя виноватым перед солдатами морщился майор Зарубин. — Фольклор наш изучили когда-то.

— Мошенники они и есть мошенники! Саранопалы! — хлопал себя руками по бедрам Финифатьев. — Объедаются и дразнются! Ну не ироды! Да доведись по еде вступать в соревнование социалистическо — Олеха Булдаков взвод фрицев умякает. Умякаш, Олеха?

Булдаков не отозвался. Он уволокся к артнаблюдателям и в стереотрубу увидел человека, перебежками двигающегося по ручью. "Вроде Шестаков?" Артиллерийские наблюдатели, как и немцы, прервались на обед, поскольку жрать было нечего, праздно привалившись к стене ячейки, жуя горькие былки полыни, дремали.

— Ну чисто все знатко! — восхищался и до визгу радовался сержант Финифатьев. Этот наблюдательный прибор был для него седьмым или десятым чудом света. Оттерев Булдакова от прибора, припал Финифатьев к окулярам и сразу напрягся, сглотнул слюну — с одного из тополей — Финифатьев упорно называл это дерево осокорем — спускался человек. Спустился, отряхнул брюки и, разминая ноги, поковылял к речке, стаскивая на ходу рубаху. Начал умываться, ворохом бросая воду на себя. Взамен отдежурившего фрица совсем ясно видный, хватаясь за вбитые скобы, быстро и по-обезьяньи ловко на осокорь взобрался другой фриц.

— Не-эмец! Вот дак ушлай! Вот дак курва! — громко изумился сержант и воззвал: — Булдаков! Булдаков! Олеха!

— Че те? — нехотя откликнулся Булдаков, тоже прикемаривший в пулеметной ячейке.

— Иди-ко суда! Иди-ко! — сошел на шепот Финифатьев. — Тут шче делается-то!

— Да ну тя! Дай часок соснуть.

— Я кому говорю?!

Ругаясь, Булдаков переполз по короткому ходу сообщения из пулеметного гнезда в ячейку наблюдателей. Финифатьев, отстранясь, вытаращив глаза, молча тыкал пальцем в стереотрубу. Бродяга, сплавщик, матрос с "Марии Ульяновой", плут и боец, перед которым Финифатьев в общем-то всегда лебезил, потому как считал, что по уму и отваге орясине этой генералом бы быть, Булдаков, если повышал голос сержант, делался беспрекословным. Намочившийся в холодной воде во время переправы, Булдаков маялся ревматизмом. Если фуфло это вологодское затеяло очередную игруньку, попусту сжило его, только-только угревшего ноги,

обернутые телогрейкой, — быть начальнику обложенным увесистым сибирским матом, нюхать ему черный кулак, коий первый нумер подносил второму нумеру под нос всякий раз, как тот выводил его из терпения.

— Ты, парнечек, детскую сказку про Плюха и Плюса слыхал? Нет, конешно. А я ие детям читал. Вслух.

— Грамотные все вы, вологодские! Шибко грамотные! Тут дитю ноги судорогой свело, а ты всякой херней тешишься!..

Финифатьев не внимал первому номеру, он узил сияющие глазки:

— Есть в этой сказочке слова: "Видит он моря и горы и еще там какую-то херню, но не видит ничего, што под носом у ево!" — Ты на лесину, на осокорь-то хорошо погляди-ы! — уже со стоном выпевал Финифатьев.

Булдаков нехотя припал к окулярам и сразу ухватил дерево с наблюдателем.

— А-а, курвенство! У бар бороды не бывает... — ноздри его побелели, шипели горячими поршнями.

Финифатьев почти рыдал:

— Это ж он, убивец, все насквозь зрит, мины пущает токо по цели! Отобедал, блядь такая, и за работу, а? И ишшо дразнится, на пироги кличет.

— Винтовку!

— Счас, счас. Счас, Олешенька! Счас, милостивец! — сдувая пыль с затвора, сержант поплевал на него, передернул затвор, бережно вытер рукавом прицельную планку, бормоча при этом: — Счас, счас тебе Олеха и пирогов, и блинов состряпат! А ну, сыпни, сыпни, миленок, под хвост врагу, штоб щекотно ему там сделалось.

— Не мешай! — отрубил Булдаков. Передвинув хомутик на прицельной планке винтовки, бережно ухоженной Финифатьевым, боец Булдаков начал тщательно целиться.

— Молчу, молчу! — у Финифатьева, как у парнишки на охоте, напряженно ждущего выстрела, открылся рот. Терпение первого номера, взбалмошного раздолбая-чалдона, поразительно. Дождавшись артзалпов с левого берега и разрывов на правом, он плавно нажал на спуск. Выстрел слышали только первый и второй номер. На осокоре, в гуще ветвей и гнезд, завозилась наседка, вниз, дымно клубясь, посыпалась труха. Вот из густеющей трухи, из гнезда вывалился и птенец. Обняв ствол дерева руками и ногами, как Петька Мусиков столб бердских нар, все быстрей, все стремительней наблюдатель катился вниз, сшибая черные гнезда, пронзая загустевшую крону дерева. На спине его задрался мундир, обнажив белое тело или рубаху. Руки фрица безвольно разжались, он пошел турманом к земле. "Смородину исти!" — понасмешничал Финифатьев. Наблюдатель же в полете ухватился за толстый сук осокоря, поболтался на нем, будто делая физкультуру на турнике, и рухнул в гущину речных зарослей.

"Завопил, небось, — порешил Финифатьев, — шибко любит повопить подбитый фриц. А все оттого, что фюрер внушил ему, будто он и неустрашимый, и непобедимый. Впрочем, и Ивану тоже, да и Тойво, и Жану, и Трестини, и Донеску вдарит когда смертной пулей, поорать очень хочется".

— Вот так-то оно и добро, ладно! — подвел итог всему происшествию сержант Финифатьев.

Булдаков молча выбросил из патронника гильзу, загнал туда новый маслянисто поблескивающий патрон, поставил затвор на предохранитель, высморкался и потребовал у Финифатьева:

— Давай закурить!

— Да где ж я возьму, Олеха? Нету табаку-те. Нету. Весь ты его вызобал, когда воевал у пулемета.

— Ничего не знаю. Ты — командир. Обеспечь победителя!

— Ох, Олеха, Олеха! Все-то тебе смехуечки! Уж такой вы сибирский народ! Пазганете человека, высморкаетесь — и вся тут обедня!

— Нет, не вся. Закурить чалдону завсегда после удачи полагается и выпить. Действуй давай!

В полдень же, сразу после бомбежки, еще до того, как Шестаков отправился на поиски товарищей, позвонил полковник Сыроватко и сказал, что сейчас на правый фланг, к артиллеристам, придет представитель большого хозяйства кое-что обговорить. Совещание же командного состава, имеющегося на плацдарме, нужно собирать тоже сегодня, после захода солнца, когда сделается потише. Нужно что-то придумывать самим, самостоятельно принимать решение насчет дальнейших действий. За рекой ни мычат, ни телятся, силы людей на пределе.

Майор Зарубин попросил солдат пристально следить за поймой Черевинки, не давать немецким пулеметчикам особо резвиться.

— Какая-то очень уж важная птица к нам следует, — заключил он.

— Подполковник Славутич, — махнув рукой возле крупной головы, на которую была насунута солдатская пропрелая пилотка, доложился гость. — Заместитель начальника штаба корпуса, — и придержал рукой Зарубина, встречно шевельнувшегося. — Лежите, лежите.

Кирзовые сапоги, замытые водой до белизны, были тоже не с ноги довольно складного, но усталого пожилого подполковника. "Значит, переправлялся вместе со всеми, и тонул, и утопил свое обмундирование", — решил Зарубин, и ему не то чтобы легче сделалось от этого, а как-то свободней сделалось.

В это время и сунулся в пещерку к Зарубину сержант Финифатьев, но, увидев незнакомого командира, подался на попятную.

— Чего вам, товарищ сержант? — спросил Зарубин, зная, что попусту бойцы из верхних окопов под берег не полезут, беспокоить его не станут.

— Тут такое дело... — начал Финифатьев и смешался. — Немца-наблюдателя мы пазганули.

— Какого немца? Где?

— На лесине. В речке. А я все думал, думал, што-то немец глушит и глушит нас минами, да все гушше и плотнея, гушше и плотнея.

— Ну и что?

— Дак наблюдателя-то Булдаков сшиб, ну такой большойбольшой матершинник он и трепло, а вот сшиб с лесины единым выстрелом.

— Ну и…

— Курить просит, ашшаульник этакой, за победу, говорит, завсегда, говорит, поощрение полагается.

Вспомнив про баночку-завертушку, майор нащупал ее за телефоном, подал сержанту:

— Может быть, еще осталось?

— Нам на завертку токо, на завертку, — свинчивая крышку с кругленькой пластмассовой баночки, дрожал голосом Финифатьев и возликовал, обнаружив табак в коробочке. — Вот Олехе радость-то! Ему пожрать, покурить да выпить… — перехватив взгляд подполковника, робкий, просительный, сержант протянул ему баночку. — Курите и вы, товарищ командир, не знаю, какой вы части-звания.

— Шестаков приплавил табачку, — пояснил майор, — тонул который. Кстати, сержант, как он вернется, сразу ко мне.

Славутич умело и быстро свернул цигарку, затянулся, замычал мучительно и сладостно. У него все плыло в голове, но в груди помягчело, словно бы прочистило, осадило дымом внутри слизистую горечь.

Дела на левом фланге, у Сыроватко, совсем плохи. Противник забрасывает гранатами, мелкими минами овраги, где окопалась пехота. Ответить нашим бойцам нечем — гранаты на исходе, патроны со счета, контратаки в лоб не дали результатов, просачиваться по оврагам вверх опасно — немцы лучше наших бойцов знают рельеф местности, отрезают слепо тычущиеся группы в разветвлениях оврагов и уничтожают. Начали действовать снайперы, наносят большой урон. С господствующей высоты Сто немцы просматривают почти всю полосу берега, и только за яром спасение, отчего все больше и больше народу скапливается здесь, на берегу реки.

— Это опасно: на кромке берега не удержаться — немцы на узком пространстве завалят нас бомбами и минами, под прикрытием огня вплотную сойдутся с нашими частями, невозможно сделается прикрываться огнем артиллерии. Тогда все. Почти безоружных, голодных, измотанных переправой и боями людей противник опрокинет коротким броском в реку.

Все это подполковник Славутич говорил майору Зарубину ровным, отработанным голосом человека, привыкшего к докладам, умеющего делать их предельно ясно, без лишних слов и чувств.

Помолчали. Майор предложил подполковнику еще закурить, и тот не отказался. Он даже обрадовался вслух:

— Кажется, век не курил!.. Есть соображения, — отвечая на ожидающий взгляд майора, подполковник Славутич излагал суть дела: — Высота Сотая — самая важная на плацдарме. Надо ее взять. В лоб это сделать невозможно — выкосят. Нужен обход. Разведчики Сыроватко обнаружили недалеко от вас наблюдательный пункт. Малочисленный. С него захода в тыл нет, но боковой скат высоты просматривается. Решено небольшой подвижной группой окружить и захватить этот пункт. Лучше всего налет сделать в обед, когда немцы сойдут с огневых точек. Времени в обрез. Прошу выделить мне людей.

— Вы что?! — вскинулся майор Зарубин. — У меня есть боевой офицер и сержант...

— Людей поведу я! — жестко отрубил Славутич. Он присел на ком глины, заросший ломкой травой, и снял пилотку. Волосы росли у подполковника с половины головы, пролегая дугой от уха до уха. Библейский лоб казался выпуклым, огромным. Под короткими, но широкими бровями основательно и строго сидели глаза. Губы четко очерчены, и небольшой, но властный подбородок придавал еще большую основательность и резкость этому напряженному лицу.

— Шел я сейчас по берегу, — как бы отвечая на недоуменный вопрос майора, вновь заговорил Славутич. — И ловил на себе взгляды, один раз даже и услышал: "Вот она, тыловая крыса! Ползет в безопасное место..." — Каково это слышать мне, офицеру, получившему орден еще на финской?! Хотел я, знаете, вытащить говоруна из норки, приструнить, да вспомнил, что очень много поводов стали подавать наши командиры для этаких разговоров. Скажите, отчего вы находитесь здесь, будучи раненым? Разве вас некем заменить? Где командир полка Вяткин?

— Не могу, товарищ подполковник, оставить людей. Я вместе с ними переплавлялся. Они хоть какие-то надежды связывают со мной, спокойней дело делают, когда я здесь... При первой же возможности я уплыву. Я так уже навоевался, что рисоваться и геройствовать не могу. Прошу верить мне.

— Верю, — кивнул головой Славутич, — верю и благодарю! Но при этом думаю о тех офицерах, которые вырядились, как лейб-гвардейцы, в парадные мундиры, позавели себе крытые персональные машины, понатащили в них женщин, холуев, и когда штаб движется по фронту, в том числе и вашего полка, — похоже на цыганский табор, который по Бессарабии кочует в шатрах своих. Как у Пушкина?

— В изодранных.

— Черт знает что! Попади на ваше место баринок военный, да получи царапинуон бы весь боезапас израсходовал, кучу людей положил, чтобы вызволить с плацдарма свою драгоценную персону.

— Вы преувеличиваете, товарищ подполковник. Дармоедов, баловства всякого и правда много, но все же... в крайнюю минуту...

— Скажите, окружение — дело крайнее?

— Да уж...

— Так во время летнего наступления штаб нашей армии был окружен и атакован немецким десантом. И что вы думаете? Почти половина штабников оказалась без личного оружия! У господ офицеров, что имели пистолеты, — по одной обойме в пистолете. Оружие не чищено со времен ликвидации Сталинградской группировки! Это ли не бедлам? Тут же открылось воровство патронов и оружия. Паникующие штабники вдруг вспомнили, что они все же на войне. Танкисты Лелюшенко вызволили нас... — Славутич смущенно потупился: — Я могу у вас еще попросить покурить?

— Пожалуйста! — и крикнул наружу: — Шестаков?

Шестаков доложился майору, где был, что видел. Особо в своем рассказе напирал на то, что обнаружил наблюдательный пункт, огневики той части, скорее всего минометной, ходили за мясцом и нарвались на наших бойцов, но скорее наши бойцы на них... перебили друг дружку.

— Финифатьев, Мансуров, Шорохов — поступают в распоряжение подполковника Славутича. Всем проверить оружие, зарядить диски, хотя бы и последними патронами, взять по гранате. Шестаков при телефоне. Булдаков при пулемете.

— Есть!

— Этот боец плавал за штабной связью? — поинтересовался Славутич, когда Лешка, осыпая песок, лез вверх по яру. Получив утвердительный ответ, подполковник удрученно продолжал: — Вот тоже и наш начальник связи… нет, чтобы прибыть на берег, каких-то разгильдяев послал. Кстати, и здесь, на плацдарме, уже появился тылок, и место-то для него вроде бы узкое… А есть! Есть, есть, миляга, организовался… Безотцовщина какая-то прячется за спины товарищей. Поднявшись, затягивая ремень еще на одну дырку, хотя и без того уж в талии, как гончий пес, Славутич сказал без досады, но весомо:

— Наблюдатель, которого сшибли с дерева, погубил бы нас.

Булдаков, привыкший, чтобы Финифатьев был всегда при нем, вопрошал взглядом; "А я как?" Сержант его утешил, мол, обоим от пулемета удаляться нельзя, тем более что он — первый нумер, да и за лесиной пусть поглядывает, коли другой наблюдатель взнимется — сшибай!

— Чего куксишься-то? Я же ненадолго…

Косолапый, круглое лицо отекло или щетиной обметано, второй нумер решительно вышагнул из пулеметной ячейки, пригнувшись, посеменил на спуск. Прежде чем съехать на заду по солдатскими задами раскатанной выемке, под ягодицы подстроил ладонь, на ходу черпнул из Черевинки водицы, отпил, сырой рукою потер лицо. Булдаков привалился к деревянной ложе пулемета, шаря голой ногой по ноге, прострочил кривуль Черевинки, густо охваченной разноростом. Увлекся, высадил весь диск. А вот кто набивать диски будет? Всем хозяйством занимался нумер второй. Рассыпая патроны под ноги, кляня напарника за то, что высовывается везде, Леха отгонял от себя гнетущее, ему совершенно непривычное чувство одиночества.

Майор Зарубин, подгоняя огневиков, торопил их, просил не разлеживаться после сытного обеда, побольше поднести к орудиям боезапаса — дела на левом фланге, особенно на высоте его, в батальоне Щуся, еще более ухудшились, надобно продержаться до вечера, до темноты и тогда уж совместно решать: отводить передовую группу или уж оставлять ее на окончательное растерзание. Покончив с распоряжениями, он отпил холодненькой водицы и вдруг спохватился, начал кликать людей:

— Мансуров! Где Мансуров? — как бы очнувшись, пощупал лоб, помял голову Зарубин. — Какой-то наблюдательный пункт… Зачем он? Что за блажь? Подполковник-то откуда взялся?

Почти в панику впавши, майор Зарубин выкатился из земляной берлоги, скособочившись, упал на бровку яра, громко звал:

— Шестаков! Булдаков! Наблюдатели! Корнилаев! Товарищи! Вернуть людей! Немедленно! Бегом, бегом! Корнилаев остается! А вы бегом, ребята, бегом!

Закаленный в боях, войной испытанный человек, во плоти коего, как и всякого опытного вояки, существовал недремлющий вещун, он уже тыкался в сердце, пророчил — опоздал! С приказанием поторопился, с отменой его опоздал. Быть беде! Быть беде, быть…

Сухозадый, что летошный кузнечик, нагулявший брюшко в лугах, немец по имени Янгель,

лапками и выпуклыми глазами тоже похожий на прыткую насекомую, насвистывая мотив полюбившейся ему русской песни "Ах ты, душечка, красна девица", — мыл в речке посуду и, несмотря на фиркающие над ним пули, на рвущиеся неподалеку мины, думал о разных разностях. О чем-то мрачном, нехорошем он думать не хотел, да и не думалось после обеда о нехорошем, пули, летающие над речкой, и прочее — уже привычны. Янгель налегке, без мундира, в офицерской шерстяной кофточке с закатанными рукавами — чтоб не замочилась рубашка. Пилотку он также оставил в блиндаже. Голову, прикрытую поредевшими, жиденько вьющимися волосенками, пригревало солнцем, спину тоже пригревало, но вода в речке была холодная, приходилось мыть посуду с песком. Беленький, промытый песочек шевелился, разбегаясь струйками по дну ручья, нет, лучше по-русски — "ручейечка".

Янгель не без удовольствия произнес вслух, отчетливо выговаривая букву "ч":

— Ручей-ечка!

Он начал изучать русский, можно сказать, от нечего делать и на всякий случай, когда служил в Винницком гарнизоне техником-связистом и на одном из танцевальных вечеров познакомился с веселой девушкой, Ньюрочкой, которая, смеясь, говорила: "Обормот ты, Фриц, по-русски ни бум-бум!" Он спрашивал: "Что есть "обормот" и "ни бум-бум""? Насчет обормота он так и не понял, а "ни бум-бум" — когда ему Ньюрочка постучала пальцем по лбу — усвоил по звуку.

Солдатам и офицерам рейха вообще-то запрещалось, по-ньюрочкиному выражению, вожгаться с черным людом — из опасения, что девочки могут оказаться агентами и партизанками. Но какой из Ньюрочки агент? Она была молода, все время хотела кушать, Янгель помогал ей питанием. Он же еще тоже есть молодой мужчина, ему требовалась женщина... "0-о, Ньюрочка! Огонь и пламя! Какого оккупанта ты сжигаешь сейчас на своем костре?"

Янгель имел отличия в службе, мечтал сделаться телефонистом международной линии и разжился — ах, какие все же в русском языке встречаются нелепые слова, наряду с прекрасными, — разжился! Как на ржавый крючок натыкаешься языком! Разжился знакомством в ставке самого фюрера. В прошлом Янгель был трамвайным кондуктором, папа его был тоже трамвайным кондуктором, но в живости и остроте ума ни папе, ни Янгелю никто не мог отказать. Папа вообще был уверен, что восточный поход — это верный шанс для его сына, он непременно выбьется в гросс люди. И Янгель старался изучать языки, на первый случай хотя бы русский, довольно сносно на нем изъяснялся, и это ему не раз уже пригодилось. Обер-лейтенант Болов сказал сегодня во время обеда: когда ему после ликвидации этого голодного сброда на берегу реки понадобится ехать к русским бабам в город, он непременно возьмет с собою Янгеля. Обер-лейтенант почти с русской фамилией — Болов, не умеющий, однако, говорить по-русски, хотя воюет уже второй год в России, происходил из остзейских немцев и, как всякий остзеец, нахрапист, бесстрашен и туп. Янгель из города Кельна, с великой его историей. Но дело, видно, даже не в землях, дело в наследственности, которая и подсказывает человеку определенный образ мыслей и действий. Болов — выскочка, нерадивый ученик, которому рейх предоставил возможность отличиться, получить высокий чин и положение в обществе. Не хватает Болову благородства — забулдыга он. Ох, какое прекрасное русское слово: "за-бул-ды-га"! Как там еще? "За-дры-га! За-ну-да! За-сра..." Впрочем, что взять с человека, который два года на передовой, лишь изредка отдыхает от войны в каком-нибудь походном или зачуханном провинциальном публичном доме. Да, вот тоже слово трудное: за-чу-хан-ном!

Любил, ох, любил Янгель красивые мысли о себе и о мире Божьем, легкое вино любил, доступные ему развлечения, например, танцы под духовой оркестр. Он долго и старательно

перенимал приятные манеры, посещая платные курсы фрау Ивальцен, — дамы из знатного шведского рода, разорившегося во время послевоенного кризиса. В Виннице в каком-то важном отделе ставки фюрера работала шифровалыцицей дама с незатейливым именем Гретхен. Конечно, она засиделась в девках, но Янгель умел вести себя тактично, и они вместе провели приятно не один вечер, беседуя о музыке, о литературе и даже об истории России, в которой столько необъяснимых глупостей. Ах, Винница, Винница! Все это далеко в прошлом. Подчистили тылы по приказу фюрера и бросили на оборонительный вал за рекою засидевшихся вдали от фронта вояк. Видимо, русская пропаганда не напрасно орет о том, что у Гитлера резервы на исходе, но об этом молчок, мол-че-ок!

Янгелю, однако, повезло и на этот раз: угодил он не в обоз, не в пехоту, по специальности угодил — в минометную роту — довольно безопасно пока ему. Конечно, с Винницей не сравнишь — там комната на двоих, чистое белье каждые десять дней, дежурства через сутки и эти незабвенные встречи с Гретхен, занимательные разговоры, прогулки по чудным паркам, расположенным на островах среди города. Унизительно, конечно, прислуживать обер-лейтенанту Болову, надраивать всякие пряжки и значки, которые обер так любит. Но разве трудно почистить обувь, вымыть посуду, повеселить его русским ядреным-ядреным анекдотом? Совершенно нетрудно. Зато вчера, вернувшись из села Великие Криницы, где они помылись горячей водой в низкой, дымом пропахшей бане, обер-лейтенант непринужденно кинул ему вот эту шерстяную кофточку: "Холодно ночами, Янгель. Носи", — и еще сказал, что огневики, засранцы, потеряли чуть не отделение — ходили за село резать овечку, напоролись на русскую разведку, подняли стрельбу — трое убиты, двое ранены, а людей и без того не хватает. Слово "засранцы" Болов сказал по-русски, отчетливо сказал, чисто, и еще сказал, что замкомандира роты завтра придет вместо него на наблюдательный пункт, он же отправится разбираться с этими огневиками и даст им по шопа. Такое простое и распространенное слово Болов произнес по-русски не очень чисто. В общем-то парень он способный, хоть и похабник — таскает с собою ворох развратных открыток, да еще и показывает их солдатам, дразнит юношу Зигфрида — напарника Янгеля. У Зигфрида и без того все лицо в прыщах, и вот результат — Зигфрид начал активно заниматься онанизмом. Болов хлопает Зигфрида по плечу: "Правильно, мужик! Правильно! Лучше синица в кулаке, чем журавль в небе". Конечно, обер-лейтенант назвал вещи своими именами, грубо, вульгарно. Но настоящий воин рейха и не должен быть сюсюкающим гимназистом. У настоящего воина Болова на груди два креста. Дубовый крест с салатом — "дубарь" по-русски — главная награда великого рейха, медалей, знаков отличия оберу не счесть. Четыре отпуска только в Германию имел Болов и сейчас отменно справляется со своими обязанностями — крошит русских минометная рота, словно капусту. А как умело, как точно скорректировал обер-лейтенант Болов огонь минометной батареи, когда появилась на реке эта... как же по-русски? Эта утлая ладья. Ут-ла-я! Фу, какое слово! Многие видели этот беспримерный поединок. Сам генерал фон Либих, кстати, оказался на своем наблюдательном пункте и, когда утлая лодчонка опрокинулась, выражаясь по-русски, кверху жопа, лично поздравил Болова по телефону. Роте Болова поручено, кроме всего прочего, важное задание, чтобы ни одна щепочка, даже былиночка не переплыли в этот... на эту, — поправился Янгель, — сторону. И снова обер-лейтенант проявил удивившую всех инициативу: посадил наблюдателя на дерево! Просто! Находчиво! Нагло! И, конечно же, не напрасно обер-лейтенант жаждет скорейшей ликвидации и уничтожения этого, действительно голодного, сброда. Отпуск ему если уж не в Германию, то в ближайший город, может быть, даже в Винницу, обеспечен. Янгель заранее напишет письмо Гретхен, предупредит ее о своем приезде.

На дерево с утра полез давний спутник Болова, опытный вояка Отто Фишер. У него там между птичьих гнезд устроена засидка — крышка от минометного ящика привязана. Обер-лейтенант не велит часто лазить по дереву, чтобы не обнаружили русские корректировщика, использует наблюдателя редко, но четко, чтобы на реке был порядок и по ручью никакого движения — эта

зона, территория эта, обер-лейтенанта Болова. Он тут хозяин!

Как и всякий южанин, любящий пожрать и поспать, Отто Фишер скорей всего привязался ремнем к стволу дерева и задремал.

Ему же подменяться и обедать пора. Янгель сложил одну на другую мытые, по-русски называется чашки, сверху прикрыл их фарфоровой тарелкой с золотой каймой — посуда господина обер-лейтенанта — таков порядок. Разобрал котелки, крышки, прижал их к груди, распрямился, свободной рукой потирая поясницу, собирался крикнуть: "Отто! Ку-ку!" — но крик в Янгеле застрял: прямо перед ним, за речкою-"ручейком" — протяни руку, достанешь — стоял русский и приветливо ему улыбался изодранными, словно у драчливого кобеля, губами. Корешки зубов, среди которых особенно остро и страшно торчали два подгнивших клыка, глаза пришельца бесцветные, узко и остро светились, делая броски по сторонам, и мгновенно охватывали, словно скапывали, все приметное вокруг. Но не по глазам, нет, по ноздрям, чуть вывернутым наружу, тоже вздрагивающим, нюхливым, угадывалась сосредоточенная работа внутри этого из ниоткуда возникшего человека. Ноздри пульсировали — вдох-выдох. Срывисто, напряженно работало сердце гостя. У Янгеля ничего не билось, не работало — ни сердце, ни ноги, только вспотел он мгновенно и умер за несколько минут до своей кончины. Уже мертвые руки его разжались и выпустили посуду. Звякая и бренча, покатились котелки, ложки, чашки. Тарелка обер-лейтенанта угодила ребром в белый речной носок, запрудила воду. Русский приложил палец к губам — тихо, мол, друг, тихо — Янгель согласно закивал головой, усердно закивал, не сознавая того, что делает.

Русский кошачьим прыжком перемахнул речку, больно схватил в горсть перекошенный рот Янгеля и нанес два коротких, профессионально отработанных удара ножом ему в бок. Услышав, как ожгло бок и огонь мгновенно начал растекаться, заполняя нутро не болью, нет, а расслабляющим жаром, какой бывает от хорошего крепкого вина, Янгель почувствовал, как слабеют под ним ноги, и весь он пьяно слабеет, и мягчает земля, он уплывал, он возносился куда-то, внезапно догадался — в небо! Тарелка, белая с золотым ободком, переворачиваемая течением, закружилась тысячью тарелок, беззвучно разбивалась, сыпала белыми осколками вокруг, и каждый осколок рассыпался на осколки еще меньшие. Вот уж белая пыль образуется там, где была тарелка обера. Янгель понял — это гаснет свет, он умирает? Почему умирает? Зачем? А Гретхен? А поездка в Винницу? Что он сделал этому русскому? Он работал, исполнял свой долг, он изучал русский язык, готовился к будущей жизни. О, русский, русский, что ты наделал! — Янгель последним, ему уже не принадлежащим усилием неожиданно рванулся и заверещал, Заячье это верещание тут же перешло в захлебывающийся клекот, затем в писк. Упав на колени, загородясь от удара перекрестьем рук, Янгель, как ему показалось, быстро-быстро на четвереньках убегал от русского в гору. На самом же деле он неуклюже вертелся на песке, и темная, нутряная кровь выплескивалась из него на белый песок, марала чистый берег Черевинки.

Через речку метнулось еще несколько русских. Из кустов, поднимая на ходу штаны, к пулеметной точке, устроенной возле наблюдательной ячейки, подбито метнулся солдат, только что плотно отобедавший. Финифатьев, задержавшийся по приказу подполковника Славутича наверху бережка, выстрелил из винтовки. Уронив штаны, немец схватился за голову, ломая кусты, рухнул, повздымал зад, будто делал неприличные упражнения, и покатился в журчливую воду Черевинки, загребая ногтями песок, захлебываясь водой и кровью. В мути потревоженной речки укрылись малявки, подбиравшие в воде остатки пищи, смытой Янгелем с обеденной посуды.

— Какого черта? Вы что, одурели? — раздалось в блиндаже, и оттуда выскочил встревоженный помощник Болова, унтер-офицер Пюхлер, взводя на ходу затвор автомата.

— Хенде хох! — просто сказал ему подполковник Славутич. В тот же миг сверху прилетела и игрушечной юлой завертелась в песке яйцевидная синенькая граната.

— Ложись! — заорал Мансуров, скатываясь в песчаную вымоину. Граната с треском лопнула, словно кто-то пластанул напополам кусок брезента. Подполковника Славутича ударило в спину, уже падая, он выстрелил в унтер-офицера, вылаивающего редкозубым ртом: "Русиш! Русиш!"

Немецкий наблюдатель, неживший, подремывающий после сытного обеда возле стереотрубы, незамеченный русскими, бросив гранату, скатился с крыши блиндажа и, запинаясь о кусты, припустился бежать вверх по ручью.

— Не отпустите! Не отпустите, робятки! — закричал Финифатьев. Но все были заняты, привстав на колено, сержант сам же уложил драпающего наблюдателя.

Выскочивший из блиндажа обер-лейтенант Болов дважды в упор выстрелил из пистолета в спину Мансурова, подхватившего под руки подполковника Славутича. Больше Болов ничего сделать не успел. Оказавшийся на жидкой крыше блиндажа Финифатьев со всего размаху, будто колуном разваливая чурку, ударил прикладом винтовки по голове обер-лейтенанта и тем спас бойца, бросившегося к Мансурову и подполковнику на помощь.

Сержант вложил в удар столько силы и злости, что не удержался на блиндаже, свалился вниз, уронив в проход винтовку. Здесь его, заблажив, пластанул штыком бежавший следом за обер-лейтенантом, босой, в нижней рубахе солдат с бородкой. Перескакивая через барахтающегося в песке Финифатьева и обер-лейтенанта, пытающегося поднять окровавленную голову и что-то крикнуть, немец, не переставая блажить, угрожающе подняв винтовку со штыком над головой, ринулся через Черевинку. Солдат этот и был Отто Фишер. Он спал после утомительного дежурства на дереве, налет застал его врасплох, вбил спросонья в оглушающее потрясение.

Лешка, спешивший вместе с наблюдателем и Булдаковым к месту схватки, — припоздали они всего на две-три минутки — полоснул в упор из автомата в Отто Фишера и сначала увидел белые кругляшки на простреленной серой рубахе, потом уж косо расплывающиеся пятна. Еще до того, как потемнели, наполнились кровью лохмотья рубахи, еще до того, как, споткнувшись и далеко за речку бросив винтовку, воткнувшуюся штыком в песок, еще до того, как бежавший солдат словно бы заглотнул свой крик и подавился им, Лешка понял: он убил человека. Упавший в воду солдат рыл дно речки руками, глубже и глубже закапываясь во взбаламученный песок и гальку.

Держа на спуске автомата палец, наставив оружие в проем блиндажа, с которого, падая, сорвал плащ-палатку Финифатьев, Шорохов крикнул:

— Кто есть — выходи! — и тише, зловещей: — Не то перестреляю!

— Хенде хох! — тонким голосом помог ему сержант Финифатьев.

Из проема блиндажа, из недр земли донесло дребезжащий, тонкий голосок:

— Хитлег — ка-а-а-апут! Хитлег ка-апу-ут!..

Держа автомат наизготове, Шорохов вошел в блиндаж.

— Финифатьевич! Финифатьевич! Ты что? Ты что? — сержанта тормошил один из наблюдателей-артиллеристов, всегда его охотно подпускавший к прибору и посмеивающийся

над ним.

В глубине блиндажа, подняв колени до подбородка, закрываясь углом одеяла, вызевывая одно и то же "Хитлег ка-а-апут!" — дрожал безоружный немец. Шорохов сдернул с него одеяло, схватил за ворот кителька, чтоб вытащить из угла. И услышал притаенное журчание, и не сразу догадался: вояка послабел животом. Шорохов плюнул — опасаться некого и немедленно начал шариться в блиндаже, распинывая банки, коробочки, карточки, шуршал бумагой, мимоходом вмазал немцу по уху, и тот, словно бы включившись, громко заклохтал: "Хитлег ка-а-апут! Хитлег капут!.."

— Он обделался, что ли? — потянул носом вбежавший в блиндаж Шестаков.

— Обделашся, когда таких орлов, как я, узришь, — и напустился с дурашливым гневом на немца: — Воняш тут! Священную нашу землю и любимого Гитлера обсираш!..

Немец, услышав имя фюрера, согласно запел: "Хитлег ка-апут!.."

Шорохов сгреб его за шкирку, намереваясь выбросить из блиндажа вон, но навстречу артиллерист и Булдаков втаскивали в блиндаж сержанта Финифатьева.

— Ах, дед, дед, — бормотал Булдаков и утешал одновременно. — Ничего-ничего! Живой, дед, главное, живой, и вдруг рявкнул на Шорохова: — Да уймись ты! Глотничать кончай! Нашел время шакалить! Не добивай фрица. Дуй к пулемету!

— К какому пулемету? — с сожалением выпустил Шорохов туго затянутый ворот мундира на мальчишеской, позвонками хрустящей, шее.

— К немецкому. Под деревом установлен. Первого номера сняли, второй в песок уткнулся — "Гитлер капут!"

— Во, вояки у Гитлера остались, так вояки!

— Всякие есть. Надо за майором.

— Да вон он, твой любимый майор, уже трюхает. Опираясь на сучковатую, обмытую водой палку, майор ковылял к блиндажу, поддерживаемый лейтенантом Боровиковым. За этой парой гуськом тащился во главе с топографом остальной служивый народ.

— Ну, что? Как? Хотя вижу...

— Подполковник и Мансуров убиты, товарищ майор, Финифатьев ранен. Мы не успели, — доложил Шестаков.

— Ах ты! — поморщился майор. — Только что, вот же живые были!.. Я как чувствовал... Подполковник сам... Сам хотел. Сам шел. Мансуров, Мансуро-ов!.. Опытных бойцов совсем мало остается... — постояв минуту возле разбросанно лежавших друг подле друга подполковника Славутича и Мансурова, перевел взгляд на убитого немца, из которого вымывало водою Черевинки остатную кровь, встряхнулся. — Пленные есть?

— Есть, есть, товарищ майор. Нечаянно один сохранился.

Шорохов к пулемету не спешил, он шарился уже на площадке наблюдателей — весь исхлопотался. Нашел жратву, не иначе как паек офицера, хрустя тонкой колбасой, будто

морковкой, махнул кому-то из пехотинцев рукою, зовя к себе.

— Где пленный? Немедленно его ко мне! Лешка кивком головы показал майору на блиндаж и, слегка его придерживая, помог войти в низкое помещение. Окинув быстрым взглядом блиндаж, майор шагнул к сделанному из лодочной беседки столику, на котором стоял телефон и требовательно зуммерил. Морщась, осторожно и неловко майор усаживался на приступок нар, севши, отвалился затылком к земляной стене — не было сил у человека.

— Зинд зи нахрихтенман? (Вы — связист?) — не открывая глаз, властно спросил майор пленного. Немец, услышав родную речь, начал озираться по сторонам. — Антвортен зи шнэль: зинд зи нахрихтенман? (Отвечайте быстрее: вы связист?).

— Я! — коротко пискнул немчик и услужливо добавил: — Ихь! Ихь хабэ нихт гешосэн, херр официр. (Да! Я! Я не стрелял, господин офицер.)

— Вольф! Херэн зи майн бэфель: немэн зи ден телефонхерэр унд антвортэн зи шнэль. Махэн зи дас биттэ руик, загэн зи, дас ир ойх нах дэм митагэсэн унтерхалтэт, унд ди руссэн нэктет. Хабен зи ферштандэн? (Вольф! Слушайте мой приказ: сейчас же возьмите трубку телефона и ответьте. Постарайтесь сделать это спокойно. Скажите, что у вас тут дразнили пальбой русских, развлекались после обеда. Вы меня поняли?)

— Я! Их бемюэ михь, херр официр, ихь бемюэ михь. (Да! — пролепетал Зигфрид Вольф, — я постараюсь, господин офицер, я постараюсь...)

— Ихь гарантирэ фюр зи лебэн унд ди абзэндунг ин лагер фюр кригсгефангэнэ. (Гарантирую вам жизнь и отправку в лагерь для военнопленных), — майор понюхал воздух, отодвинулся подальше от Зигфрида Вольфа на край земляных нар и, вытащив из кармана пистолет, положил его на колени.

Лешка с удивлением смотрел на этот старый, чуть подоржавевший пистолет — он не видел его у майора Зарубина с момента переправы и вообще привык воспринимать майора как руководителя предприятия, что ли, начисто забыв, что тот — профессиональный военный. "Неужели майор выстрелит в человека? Да ведь поди и стрелял, при необходимости, и не раз, — воюет-то с самой границы..."

Зигфрид Вольф взял трубку, продул. Майор настороженно следил за ним. Лешка поймал пальцем крючок шороховского автомата. Хозяин все время забывал про свое личное оружие, все возился, искал чего-то в блиндаже и его окрестностях.

— Ах ты, дед, дед! Нельзя тебя оставлять ни на минуту... Ах ты, дед, дед! — укоризненно твердил Булдаков, перевязывая Финифатьева.

— Он эть, Олешенька, живой, супротивник-то, оборонятца, — плаксиво отзывался разжалобленный другом Финифатьев.

— Я те говорил, не лезь без меня никуда, говорил?! — Булдаков поднял с полу консервную банку и сердито вышагнул из блиндажа.

— Да прекратите же вы! — едва слышно прошипел майор.

— А приказ? Я эть тожа военнай, тожа подневольнай, — не столько другу вдогон, а чтобы майору и всем остальным слышно было, слезился сержант.

Немецкий связист боязливо дул и дул в трубку, из которой железно дребезжало.

— Вольф, хало! Вольф! Вас фюр айн шэрц? Вас махст ду мит дэм телефонхерэр? Ихь херэ шон… (Вольф, алло! Вольф! Что за шутки? Чего ты делаешь с трубкой? Я же слышу…)

— Хало, Вальтер! Хало, Вальтер! Вас зумэришст ду? Эс вар митагсцайт. Унд нах дэм зэтигэндэн митагэсэн, ду фэрштэйст… (Алло, Вальтер! — зашевелил резиновыми губами Зигфрид Вольф и прокашлялся. — Алло, Вальтер! — уже бодрее продолжал он. — Что ты зуммеришь? Был обед… Хороший обед, — Зигфрид Вольф попытался улыбнуться, майор поощряюще кивнул ему. — А после сытного обеда, сам понимаешь…)

Лешка снял палец с курка автомата.

— Альзо, ихь хабэ дихь фом хойфэ фершойхт? Вас вар бай ойх фюр лэрм? (Так я спугнул тебя с кучи?! — засмеялся на другом конце провода связист. Слышимость у немецкой связи на зависть. — А что у вас там за шум был?)

— А-а, дас… Унзэрэ буршэн хабэн ди русэн айнгэшюхтэрт. (А-а, это наши ребята пугали русских).

— Оберлейтнант, натюрлих, рут культурэль аус, эр шаут ди фотос миг дэн нактэн вайбэн?.. (Обер-лейтенант, конечно, культурно отдыхает, глядит на фотки с голыми бабами…)

Поперек узкого, желто снаружи высвеченного, кольями по бокам укрепленного входа в блиндаж сломанно, задрав ноги, лежал обер-лейтенант Болов с уже вывернутыми карманами, под ним все темнее делался песок от загустевшей крови. В светлых волосах уже рылись, хмелели от крови, увязая в ней, муравьи. Зигфрид не мог оторвать взгляда от убитого обер-лейтенанта, но он хотел жить, очень хотел и, облизав высохшие губы, продолжил треп со штабным телефонистом.

— Нун унд вас махт эр нох? Ди шлахт, ди вайбэн, шнапс — дас ист дас лебэн дэс эхтэс кригэрс. (Ну, а что же ему еще делать? Битва, бабы, шнапс — это и есть жизнь настоящего воина.)

— Нун гут. Гей, мах дайнэ захэн, фертих, дайнэ штимэ цитэрт абэр фон дэр юберанштрэнгунк. (Ну, ладно, иди доделай свои дела! — бодро посоветовал Зигфриду штабной сязист, — а то у тебя от натуги даже голос дрожит.)

Майор поднял руку, будто притормозил ею чего-то.

Зигфрид Вольф послушно положил трубку на дужки аппарата.

— Та-ак, — облегченно выдохнул майор. — Одно дело сделано. Теперь, братцы, уберите трупы и связь, нашу аховую связь, сюда, ко мне. И бегом, бегом!

Под ногами, под срезом почти уже осыпавшихся, растолченных нар, заваленных мелкими кустами и застеленных байковыми одеялами, валялось всяческое житейское добро. В мусор втоптаны рассыпавшиеся открытки обер-лейтенанта Болова. Вернувшись из села Великие Криницы крепко выпившим, командир батареи всех распушил, но, добавив перед обедом и с аппетитом пообедав, впал в благодушие и, как настоящий фронтовой товарищ, выбросил в отверстие к наблюдателям сумочку с остатками добавочного офицерского пайка, полученного на батарее, — на этот раз паек был богатый: прессованные с сахаром грецкие орехи, упаковка охотничьих колбасок, печенье, шоколад, вяленые финики, галеты — слуги фюрера задабривали бойцов оборонительного вала, чтобы знали они и помнили, что отец их и товарищ по партии

неусыпно, постоянно заботится о них. Валяясь на нарах, покуривая, обер-лейтенант рассматривал выразительные снимки, потешаясь над Зигфридом Вольфом, объяснял юноше, где, чего и как у баб находится и как к этим богатствам надо подступать. Когда произошел налет, Болов швырнул снимки на землю и метнулся к столику, над которым висел на палке, вбитой в земляную стену, его пояс с пистолетом. Дальше Зигфрид Вольф ничего не помнил. Дальше была входящая в блиндаж смерть, глядящая на него будто в жидкую известку обмакнутым, обожженным кончиком ствола автомата. Никогда-никогда не забудет Зигфрид Вольф черным жаром смерти дышащего зрака.

— Позовите ко мне Боровикова! — приказал майор. Булдаков принялся поить Финифатьева из фляги. Сержант запричмокивал, зашлепал губами, как теленок, вот и голос опять подал:

— Водочка так к разу. Он меня штыком пазганул. А что как зараженье крови? — И тут же перешел на отеческий тон. — Ты бы поел чего, Олеха. От их обеда осталось... Чужо все, погано, да че поделаш-то?

— Заговорил, — обрадовался Булдаков, — жив, стало быть, вологодский мужик, жив!..

Шорохов, не переставая жевать, поднял из-под ног затоптанные снимки, расправив один, держа руку на отлете, будто козырную карту, осклабился:

— Во че вытворят фриц! Во жись, так жись!.. Майор бросил быстрый взгляд в сторону сержанта и друга его закадычного, махнул рукой Шорохову, чтоб убирался, — времени на пустые разговоры не было, отвлекаться недосуг.

— Заг маль, весэн бештэлен ан дэр хехэ хундерт зинд? (Скажите, — спросил он тихо у Зигфрида Вольфа, — чьи наблюдательные пункты на высоте Сто?)

— Дэр штабсдивизион унт дэр цвайэн безондэрэн эсэсбатальонен. (Штаба дивизии и двух отдельных эсэсовских батальонов.)

— Во ист ди штабсдивизион, унд вэр фюрт дорт? (Где сам штаб дивизии, и кто ею командует?)

— Ихь вайс нихт, во дэр штаб дэр дивизион ист. — Ихь вайс вених, ихь люгэ нихт, херр официр. Ихь хабэ ам телефон гехерт: генераль фон Либих. (Я не знаю, где штаб дивизии, — послушно и торопливо заговорил пленный. — Я мало чего знаю. Я не лгу, господин офицер. Слышал по телефону: генерал Либих.)

— Гут! Гут, — кивнул головой майор. — И на том спасибо, — добавил он по-русски. А про себя усмехнулся;

"Вот истинный немец, работать умеет и знает лишь то, что положено знать. Наши связисты, не умея работать, знают все про все".

Возле блиндажа возились бойцы, убирая трупы.

"Че эту падаль закапывать-то? — слышался голос Шорохова, — уволокчи да в кусты сбросать..."

"А вонять станут?"

"Это верно. Вони от человека больше, чем от дохлой кобылы..."

"Трепло! — поморщился Лешка. — Повидал на своем веку и понюхал Шорохов мертвецов. —

Надо будет спросить у майора, как с нашими-то..."

Зигфрид Вольф, положив руку на вздрагивающие колени, напряженно ждал. Воняло от него все внятней. Майор поводил носом — откуда пахнет? Зазвенел телефон. Зигфрид Вольф глядел на аппарат с ужасом.

— Вальтер шприхт зо хериш мит инэн? Загэн зи, ист эр цу дэн гранатверфэршютцен аус дэр штаб дэр дивизион гешикт? (Вальтер так властно разговаривает с вами. Скажите, — показал майор на телефонный аппарат, — он послан к минометчикам из штаба дивизии?)

— Ихь дэнке, вир зинд айн фюрэндэр беауфзихтигер пункт, вир зинд нэбэн дэн русэн, унзэре бэобахтунгэн зинд ам бэстэн. (Думаю, что мы — передовой наблюдательный пункт. Мы рядом с русскими, наши наблюдения, — поморщился связист ("Этот наглый обер-лейтенант Болов все ж выскочка, всегда проявлял инициативу, всегда лез вперед, искал опасности, вот и нашел"), — самые, самые...

— Гут, — голосом азартного картежника, сделавшего ставку, произнес майор, потирая руки. — Антвортэн зи Вальтер, дас аллес ин орднунг ист. (Хорошо. Ответьте Вальтеру, что все в порядке.)

Вошедший в блиндаж лейтенант Боровиков с изумлением смотрел на немца, разговаривавшего по телефону, на майора, у которого оживилось лицо, блестели глаза и, хотя он все еще кривился на бок, к которому притянута была ремнем поверх гимнастерки толсто сложенная онуча, вроде бы и о боли забыл. Боровиков присел на нары, все еще не понимая, что тут происходит. Знаком показав положить трубку телефона, майор взял у Боровикова свою кожаную сумку и, доставая из нее сложенную карту, как бы между прочим поинтересовался:

— Вэр золь ан дер линие им фале дер нахрихтэнфэрлетцунг геэн, зи одэр Вальтер? (В случае повреждения связи кто должен выходить на линию, вы или Вальтер?)

— Вир хабэн кайн бэфель фронтлиние цу фэрласэн. (Нам не велено отлучаться с передовой.)

"А у нас вот все наоборот: тыловики болтают да покуривают, связисты с передовой, язык на плечо, по линии бегают и гибнут".

— Вифиль цайт браухт Вальтер, ум беобахтунгсштэле цу эррайхэн? (Сколько времени потребуется Вальтеру, чтобы дойти до наблюдательного пункта?)

— Фюнфцен одер цванцих минутэн. (Пятнадцать или двадцать минут.)

"Эк у них отлажено-то все! Экие молодцы! Оттого и держат наполовину меньше наших челяди в штабах. При укомплектовании армий и дивизий численность боевого состава втрое больше наших, а порядка — впятеро", — мельком отметил майор. Все более входя в азарт, которого он в себе, пожалуй, и не подозревал, Зарубин начал быстро распоряжаться. Приказал Боровикову поставить пулеметы по обоим берегам Черевинки, трофейный же пулемет с полным боекомплектом перенести к наблюдательному пункту и по всей речке:

— По всей речке, — подчеркнул он, — укрепиться, поставить боевые охранения. Противник, не смяв левый фланг, наутре непременно опробует фланг правый. Немцы сорить людьми непривычны, — пробурчал майор, — и голодом держать солдат не смогут — характер у них не такой. Под Сталинградом мерзлую конину по кусочкам делили. Мы тех коней изрубили бы, растащили, сожрали, потом скопом околевали бы с голоду...

Боровиков подумал, что майор уже в бреду, и неуверенно прервал его:

— Вам, товарищ майор, нужно немедленно переправляться.

— Да-да, — согласился Зарубин. — Понайотов вот-вот будет. Но, лейтенант, тебе еще приказ: на берегу сколотилось много бездельников, об этом и подполковник Славутич говорил, — собери всех боеспособных, вооружи, заставь, убеди держать оборону по речке, иначе мы все, и они тоже, тут погибнем. И еще — пусть артиллеристы немедленно оборудуют наблюдательный пункт. Свой. Эту крепость немцы скоро разнесут в пух и прах...

— Мы уже начали. Вам надо лечь, товарищ майор.

— Нет-нет, еще один фокус немцу на прощанье, еще один, — облизывая растрескавшиеся, зашелушившиеся губы горячим, распухшим языком, словно в полубреду, бормотал Зарубин. И вдруг вскинул голову, показал рукой на выход: — Перережьте линию связи и захватите связиста.

— Есть! — козырнул Боровиков, которому, казалось, все задания на плацдарме выпадали второстепенные, маловажные, и вот, наконец-то, он дождался настоящего, захватывающего дела. — И все-таки, товарищ майор?..

— Да идите, идите! Я прилягу.

Боровиков, выйдя из блиндажа, увидел, как, впрягшись, будто в оглоблю, бойцы волокли через речку за ноги убитых. Белье на трупах задралось, мертвые тела, волочась, с шуршаньем буровили песок. Лицо унтер-офицера было прострелено у переносья, кровь запеклась в провалах глазниц, в ушах, в оскаленном редкозубом рту. Светлые, проволочнопрямые волосы обер-лейтенанта Болова свяли, мочалкой тащились, оставляя след на песке, но из-под круглого воротника шерстяной рубахи на груди виднелись почему-то темные волосы — видно, обер красил волосы под белокурую бестию-кавалера. Глаза обер-лейтенанта были полуоткрыты, в них колыхался клок неба, а в удивленно раскрытых губах навечно остановилось недоумение — обер-лейтенант Болов не верил в собственную смерть. За речкой уже лежал пулеметчик с еще ниже спустившимися штанами, под которыми бледно голубели трикотажные подштанники. Болова и унтера соединили, к ним в ряд пытались положить товарищей, но ряда не получилось — как жили люди, как умерли, так и лежали — всяк по себе, наврозь.

— Ну, что вы, ей-богу! — дернул губой Боровиков, — наденьте на покойника штаны, забросайте мертвых кустами, что ли, лучше заройте.

Рядом с блиндажом, занимая совсем немного места, в комковато растоптанном обувью песке, напитавшемся кровью, прикинутые немецким одеялом, лежали подполковник Славутич и Мансуров. Чужое, запачканное глиной одеяло с тремя темными полосками по краям, тоже набрякло кровью. Никогда Боровиков не видел покойников под одеялом, да еще под чужим, шевелящимся от вшей. Отгоняя от себя гадливость, одолевая в себе почти детскую оторопь и душевную смуту, лейтенант заметил связиста Шестакова. Солдат забрел в ручей и песком оттирал руки, не замечая того, что намочил штаны, начерпал воды в кем-то стоптанные сапожишки. Лешка косил взгляд на убитого им врага, которого по счету — он не помнил, потому как, ставши покойником, немец делается обыкновенным мертвецом, единицей для военных отчетов. Лешка не ужаснулся тому, что начинает привыкать к безликости той единицы. А ему казалось, что видение первого убитого, еще там, в Задонье, никогда не кончится, ничем не сотрется. "Так вот и обколотишься на войне, привыкнешь убивать..."

Мимо проволокли убитого немца, пробуровив канавку в песке. Как и у большинства рыжих, у

чужеземца голубоватые глаза, от ужаса, от воды ли подались они наружу. Вода бежала через голову и грудь, забивая белым песком рыжие волосы, трепала клапан оборвавшегося карманчика на рубашке. "Для че на нижней-то рубахе карманчик? — удивился Лешка,небось для презервативов?" — Кристаллики слюдяного песка, кружась, оседали под ресницами, глаза убитого, точно на старинной иконе, в светящемся окоеме. Меж крепких, пластинчатокрепких зубов немца застряла пища от совсем недавнего обеда, лохмотки ее выбелило водой. Смерти не ведающие, всегда шныряющие голодные малявки, наплывая на лицо убитого, ныряли в рот, вытеребливали нитки пищи, пугливо прыская по воде.

— Ребята! — попросил Лешка пехотинцев, уже приволокших наблюдателя, бросившего гранату, и Отто Фишера из-под осокоря, которого отобедавшие вояки так и не хватились. — Унесите этого. Я не могу.

Да, да, то видение, унесенное из Задонья, все же не сотрется, потому как не на бумаге оно отпечатано, но в памяти и останется с ним навсегда — тот, окоченелый, тощий человек в неумело залатанном, утепленном овечьей шкурой мундирчике. Лопоть — это по-сибирски деревенское слово больше подходило к одежонке убитого. И оттого, что сраженный им враг-первенец оказался не эсэсовцем, не гренадером, а бросовым солдатишкой, которыми и по ту сторону фронта, и по эту вершители людских судеб, вознесшиеся до богов, разбрасывались, что песком, перевернулось все в Лешке. И мир тоже. С тех пор война для него обрела жалкое лицо всеми брошенного и забытого человека. Продолжалась и продолжалась в нем еще в Задонье начавшаяся мысль и о жизни, и о смерти, которая на войне сминает человека куда быстрее, чем во всяком ином месте, голову не оставляла простая догадка — война, страшная своей бессмысленностью и бесполезностью, подленькое на ней усердие — это преступная трата души, главного богатства человека, как и трата богатства земного, назначенного помогать человеку жить и делаться разумней. Ведь вместе с человеком погибает, уходит, бесследно исчезает в безвестности все, чем наделила его природа и Создатель. Исчезает защитник, деятель, труженик земли, и никогда-никогда, ни в ком он больше не повторится, и спасенный им мир, люди всей земли, им спасенные, не могут заменить его на земле, искупить свою вину перед ним смирением и доброй памятью. Да они и не хотят, да и не могут это сделать. Главное губительное воздействие войны в том, что вплотную, воочию подступившая массовая смерть становится обыденным явлением и порождает покорное согласие с нею.

Здесь, на плацдарме, погибает так много народу, что у солдат, у русских усталых солдат слабеет чувство сопротивляемости, и у железных вояк — немецких солдат слабеет оно. В облике рыжего немца, в мертвом его взгляде сквозила все смиряющая изнуренность, и враз исхудалое лицо, да эти глаза в святом ободке придавали ему сходство со святым с иконы.

Пострелявший немало птиц, добывавший зверушек, Лешка всегда удивлялся мгновенной перемене существа, созданного природой для жизнедеятельности на земле. Красивая, легкая, быстрокрылая птица, перо к перышку, краска к красочке, все к месту, к делу, все выстроено для продления рода, песен, любви и веселья. И вот, свесив нарядную головку, тот же селезень или глухарь обтек телом, не прижимается к нему перо, а перьев, читал Лешка в книге, у одной только птицы, у сокола, к примеру, две тысячи! Каждое перо выполняет свою работу, и все, что есть внутри и снаружи живого существа, служит своему назначению. Хвост — краса, гордость и руль в полете — опадает, перья разъединяются, видно становится пупырчатое, если весной — синеватое, костистое тело, за которое цепко держатся насекомые.

Взять ту же живую зверушку — соболька. Всегда и все жрущий, от мерзлых лягушек, закопавшихся в донный ил, до уснувших в гнилушках ящериц и змей, птицу, яйца, ягоды, орехи — все годно для утробы всегда тощего ненасытного зверька.

Смышленая, верткая головка с крупными, все и везде чующими ушами, длинные, гусарские, сверхчуткие усики и рот, широкий, кукольной скобкой загибающийся к ушам, улыбчивый, приветливый рот, в который только попадись — захрустишь. Попавши в ловушку или под выстрел, зверек делается пустой шкуркой — ничего в нем не остается, кроме багрово-синей тушки, которую не всякая и собака ест.

Но человек в смерти неприглядней всех земных существ. Наделенный мыслью, словом, умением прикрыть наготу, способный скрывать совесть, страх, наловчившийся прятаться от смерти посредством хитрого ума, искаженного слова, земных сооружений, вообразивший, что он способен сразить любого врага и обмануть самого Господа Бога, настигнутый неумолимой смертью человек теряет сразу все и прежде всего теряет он богоданный облик.

Из блиндажа, держась за бровку входа, кособочась, вышел майор, скользнул взглядом по все больше темнеющему одеялу, над которым уже с жужжанием кружились мухи, нахмурился, увидев за речкой в кучу сваленных мертвецов, все они были разуты и раздеты до белья.

— Шестаков, ты что там, в речке, рыбу ловишь, что ли? Пулеметчики! — Два пехотинца, таскавшие под кусты трупы, выступили из укрытия. Майор оценивающе пробежал по ним глазами. — Выберите место для трофейного пулемета. Довольно ему нас крушить. Всем в укрытие. У кого укрытия нет — спрятаться.

Шорохов, уже перенесший свой телефон с берега в уютную ячейку наблюдателей, сидел на ящике, качался, закрыв глаза, монотонно напевая коронную свою песню:

"Дунька, Гранька и Танька коса — поломаны целки, подбиты глаза..." — в песне этой менялись только имена героинь, но дух и пафос песни оставались неизменными.

Боровиков с Булдаковым — лейтенант не хотел больше никого брать с собой — перерезали немецкий провод, нарядной вышивкой вьющийся по белому песочку, по травке, под кустиками смородины, и стали ждать. Булдаков начал было щипать со смородинника ягоды, сохранившиеся на низеньких ветвях, серые от дыма и пыли, командир помаячил ему: "Нельзя!"

Время замедлилось. Они снова услышали, что вокруг идет война, клокочет, можно сказать. В пойму речки Черевинки залетают мины и снаряды, то по одну сторону Черевинки, то по другую, словно куропатки стайками фыркают, клюют землю пули, и все же после переправы, непременного обстрела, бомбежек, вообще всяческой смуты на берегу, пойма речки с ее зарослями, шумящей водичкой и деревами, не везде еще срубленными, однако почти всюду поврежденными, казалась райским местом, тянуло в зевоту, в сон.

"Ша!" — выдохнул бывалый ходок Булдаков и надавил на спину лейтенанта Боровикова, лежавшего рядом, в кустах. По связи, пропуская провод в кулаке, бодро бежал плотненький немец в сапогах, за широкими раструбами которых заткнут рожок, полный патронов, за спиной, побрякивая о ствол автомата, болтался заземлитель, на боку ящичек телефона в кожаном чехле с застегнутой крышкой, на серо-зеленом, чисто вычищенном мундире связиста виднелись нашивки за тяжелое ранение, детской игрушечкой трепыхалась, взблескивала маленькая, вроде бы оловянная медалька — орден мороженого мяса — так звали ее немцы после Сталинграда.

Найдя обрыв и выругавшись, немецкий связист вынул из висевшей на поясе сумочки кривой связистский ножик, насвистывая, начал зачищать провод. В это время из-за спины протянулась лапища — "Дай!" — и нож отобрали, с шеи невежливо, почти уронив хозяина, сорвали автомат.

— Вас ист дас?! (Что такое?!) — увидев перед собою русского офицера и солдата, пристально разглядывающего кривой нож, — такого Булдаков еще не видел, — немец начал проваливаться куда-то.

— Вас ист дас?! (Что такое?!) — залепетал он. Но русский громила грубо его толкнул, показывая дулом трофейного автомата — вперед!

Увидев компанию во главе с лейтенантом Боровиковым, майор Зарубин, как бы от нечего делать околачивавшийся возле блиндажа, почти весело скомандовал:

— Всем из укрытий! Заниматься делом! Окапываться!

Увидев отовсюду высунувшихся русских, затем и убитых немцев под кустами, Вальтер сейчас только до конца осознал весь ужас происходящего: он в плену! А тут еще сверху, из наблюдательной ячейки, хищным коршуном свалился солдат, намереваясь обшмонать пленного, но, обнаружив поблизости лейтенанта и майора, притормозил и со зла пнул немца под зад так, что тот сделал пробежку по стоптанному проходу разоренного снаружи блиндажа.

— Вас ляйстэн зи зих? (Как вы смеете?)

Шорохов сделал вид, что ничего не понимал ни по-немецки, ни по-русски. Привычный к блатной среде и к "фене", речь нормальную, человеческую он не особо ясно уже воспринимал, но чаще придуривался, что ни по какому не понимает. Погрозив немцу пальцем, Шорохов щелкнул языком, будто раздавил грецкий орех.

— Понял, фрайерюга?

Вальтер чего-то понял, чего-то не успел еще понять, озираясь, поспешил в блиндаж. Увидев отступившего в сторону офицера, громко выкрикнул:

— Их протэстирэ! (Я протестую!)

Ничего ему на это не ответив, майор шагнул следом в блиндаж и, держа ладонь на боку, на ходу еще заговорил по-немецки:

— Зи зинд дэр нахрихтенман. Вир виссэн аллес, вас вир браухен. Ман мус нур айниге момэнтэн генауэр фасэн. Ихь ратэ инэн алес эрлих цу эрцэлен. (Вы — связист. Все, что надо, мы знаем. Нужно уточнить лишь детали. Советую говорить все честно.)

Вальтер не успел удивиться или чего-нибудь ответить, потому как увидел втолкнутого в блиндаж Зигфрида Вольфа, прикрывающегося мокрыми штанами. Он вспомнил голос связиста, вспомнил, как тот долго не брал трубку, и понял все.

— Ду бист шуфт! (Убить тебя мало!) — И резко обернувшись к майору, заявил: — Дас ист кайнэ рэгель! Дас видэршприхт... (Это не по правилам! Это противоречит...)

— Абрэхэн дас гэшвэтц! Антвортэн ауф фрагэн. (Прекратите болтовню, — оборвал майор. — Отвечайте на вопросы.)

— Антвортэ херрн официр ауф алле фрагэн, унд эр шикт унс инс лагер фюр кригсгэфангэнэ. — Подал слабый голос Зигфрид Вольф. (Ответь господину офицеру на все вопросы, и он отправит нас в лагерь для военнопленных...)

— Ихь вердэ дихь ан алэн унд кантон фэрнихтэн! Юбераль. (Я буду истреблять тебя всюду! Всюду!) — вдруг подскочил, забрызгался слюной Вальтер и схватил Зигфрида за рубаху: — Ин дер лагер, им Дойчланд, им граб!.. (В плену, в Германии, на том свете!..)

— Абрэхэн! Ди буршэн фюрэн криг унд зи айншухтэрн зи нох! (Прекратите! — прикрикнул майор, — заставили мальчиков воевать, да еще и стращаете их!) — Вэрдэн зи антвортэн? (Вы будете отвечать на вопросы?)

— Найн! (Нет!)

— Булдаков! — крикнул майор и, когда Леха зашевелился в проходе, приказал: — Воздействуйте на пленного.

— Ш-шас! — чего-то торопливо дожевывая, отозвался Булдаков: — У бар бороды не бывает, бля.

— Э-э, Олеха, — предостерег своего друга Финифатьев, — ты с им постражае, но не до смерти. Он нужон товарищу майору.

В блиндаже повисла подвальная тишина. Зигфрид Вольф отступил за столик, прижимаясь голым задом к земляной стене блиндажа, дрожал там, пытаясь натянуть на себя мокрые штаны.

Опористо, широко расставив ноги в сапогах с короткими, зато мушкетерскими отворотами, набычился под низким потолком блиндажа второй пленный.

— Вальтер! Хир ист кайн театр. (Вальтер! Вальтер! — снова заныл Зигфрид Вольф.Тут не театр.) — Шлюс фюр унс. Антвортэ ауф ди фрагэн! (Все для нас кончено. Отвечай на вопросы).

— Это шчо же он говорит, товарищ майор? — подал голос из глубины блиндажа Финифатьев. — Шчо пузырится?

— Не по правилам, говорит, взяли. Противоречит, говорит.

— А-а, маньдюк! Не по правилам! — протянул слабым голосом Финифатьев. — Тут, брат, как в нашем ковженском колхозе: кто рыбу не добыват, тот весь год ее употреблят, кто добыват — шче у проруби ухватит. Олеха все правила ему разобъяснит.

Словно заслышав зов, в блиндаж протиснулся Шорохов. Карманы его штанов и гимнастерки были так плотно чем-то набиты, что проход блиндажа оказался узким. Он зыркнул по блиндажу глазами, сразу уловил обстановку в помещении, вынул из-за голенища свой примитивный нож и, как всегда, настраиваясь на дело, начал обрезать им ногти, обрезал он их хватками, словно не ногти резал, а пальцы отчекрыживал. Увидев в руках русского, который больно его пнул, заеложенную ручку косаря и то, с каким мастерством он им орудует, Вальтер сразу все для себя уяснил. Пронзительно острый, неуклюжий с виду резак сделан из обломка косы — такие ножи Вальтер видел в русских деревенских избах — он кожей почувствовал острие ножа, даже не кожей, печенками ощутил неслышное, вкрадчиво-тоненькое проникновение его в бок — этаким манером смертельно, сразу наповал режут жертву опытные забойщики скота и матерые убийцы, а что перед ним был убийца, пленный не сразу, но усек.

— Ихь вердэ ауф алле штэлендэн фрагэн антвортэн херр майер. (Я буду отвечать на все поставленные вопросы, герр майор), — опустил голову Вальтер.

Зигфрид Вольф, услышав слова товарища по несчастью, сполз по стене блиндажа на пол,

влепился мокрыми штанами в земляной пол и заплакал.

— Идите! — майор махнул Шорохову рукой. — Идите, узнайте, как дела у Щуся. Скажите, где мы. Словом, приободрите товарищей, — и без перехода, вынимая из планшета карандаш и бумагу, майор уже по-немецки спросил у Вальтера — Во ист дэр штаб фон Либих? (Где штаб дивизии Либиха?)

— Ин Великая Криница.

— Ист дэр генерал йетцт дорт? (Генерал сейчас там?)

— Я. (Да.)

— Добро! — удовлетворенно потер руки майор и, положив на стол бумагу, карандаш, быстро вырисовывал треугольник на мягком листе, сверху которого на острие значилось "Высота Сто".

— Бецайхнэн зи ди бефэстигунгэн. Ан дер хехэ. Бемюэн зи зихь дас генауэр цу махэн, андэрэрфальс альс вир ди хехэ немэн... (Обозначьте укрепления на высоте. Постарайтесь быть точным, иначе, когда мы возьмем высоту...)

— О, майн гот! Майн гот! (О, Боже мой! Боже мой!) — Вальтер кулаками сжал голову, отыскивая глазами Зигфрида, неподвижно сидевшего на замусоренном, растоптанном полу блиндажа, плюнул в его сторону и начал писать схему оборонительных сооружений высоты Сто, твердо уверенный в том, что полудохлые русские никогда ее не возьмут, несметно лягут возле высоты... Пусть, пусть лезут!.. Когда же плацдарм будет очищен, он сам лично, сам, расстреляет, нет, задушит руками этого трусливого, подлого подонка, что, сидя на полу, хнычет — от мокра и страха.

Майор Зарубин, блуждавший карандашом по карте, что-то в ней резко отчеркнув, вышел из блиндажа, поискал глазами Боровикова:

— Товарищ лейтенант, — подчеркнуто официально сказал майор Зарубин. — Выполняйте мое приказание. Идите на берег, собирайте всех вольных стрелков, тащите сюда. Тех, кто будет вступать в пререкания или откажется идти, — повременив, громко, чтобы всем было слышно, — именем Родины расстреливайте на месте!

Лейтенант Боровиков ел глазами майора, слушая его приказание, но потух, услышав последние слова.

— Что вы, товарищ майор... Я не могу...

— Лейтенант Боровиков! — совсем уже громко, резко произнес майор Зарубин, еще больше побледнев, попытался выпрямиться. — Если вы не выполните боевого задания, я прикажу расстрелять вас как саботажника и пособника дезертирам. — Сказав это, майор широко и резко шагнул к шороховскому телефону и от боли, не иначе, ныром вошел в блиндаж, подшибленно сунулся на нары, где подхватил его Булдаков, а Финифатьев загородился руками, боясь, что майор упадет на него.

— Е-э-э-эсь! — Боровиков медленно поднял руку к виску. — Я постараюсь. Будет сделано, — вдогонку промямлил лейтенант.

Щусь сам взял трубку. Он уже по рассказам своего связиста знал обстановку на правом фланге плацдарма. Глуша ладонью в телефонной трубке грохот, крики, шум, коротко произнес, точнее

прокричал, будто по рации:

— Мы продержимся… Продержимся до вечера. Но на большее нас не хватит. Помогайте. До встречи…

Вызвав через полковую связь полковника Сыроватко, а через него представителя авиации, майор Зарубин попросил нанести штурмовой удар по деревне Великие Криницы и по высоте Сто.

— А что там? Какие у вас разведданные? — спросил авиатор.

— Важные.

— Все-таки? Самолеты так просто не дают. Самолеты дороги, товарищ артиллерист.

— Я ничего не могу сказать вам по телефону. Сейчас к вам выйдут два автоматчика с картой. Вы сами убедитесь, что это очень важно, очень нужно для плацдарма. Сведения точные. Прошу вас верить мне! Ждите автоматчиков в штабе полковника Сыроватко.

На другом конце провода помолчали, и, наконец, авиатор сказал с легким вздохом:

— Хо-орошо! Сообщите время, когда планируете наносить удар, — уточнил он. Майор достал из брючного кармана часы, щелкнул старинной серебряной крышкой с дарственной надписью, из академии еще часы. Было без четверти три.

— Семнадцать ноль-ноль.

— Время в обрез, но постараемся.

— Постарайтесь. Прошу вас,сказал майор несвойственным ему, очень удивившим телефонистов тоном. Майор был единственный человек в округе, которого всерьез побаивался даже Шорохов, уважал, как может уважать "бугра" рядовой член подконвойной бригады.

Взявши трубку своего телефона, майор вызвал "Берег" и удивленно вскинул брови:

— Что со связью, Шестаков?

— Садится слышимость, товарищ майор. Капитану Одинцу да покойному Мансурову надо говорить спасибо за то, что еще работаем. — Две катушки трофейного провода с твердой изоляцией — для прокладки по дну реки — они сработали. Да две в запас сообразили — вот и живем пока. С нашим хиленьким проводком мы не продюжили бы и сутки, но трофейная нитка составлена из обрывков, на стыках намокла изоляция…

"Вот так… вот так воюем, так побеждаем, — раздраженно произнес про себя майор Зарубин, — третий год войны и каждый день натыкаешься на результат блистательной подготовки. И ничего нам не остается, как героически преодолевать трудности!"

— На сколько нас хватит?

— Думаю, на сутки, даст Бог, на полторы.

— Добро! — майор поскреб лицо, выпрямился. К телефону подошел командир дивизии. Коротко и четко доложив обстановку, Зарубин в ответ услышал зажатый связью голос:

— Либих, говоришь? С хозяйством? Хорошо-о-о-о! Старый знакомый. Он нас и мы его трепали под Ахтыркой. Ну, Бог даст, доколотим, — и, отвернушись, должно быть, к другому телефону, сдавленным голосом приказал: — Командиров тридцать девятой, сто шестой, шестьдесят пятой — на провод! А ты, значит, майор, скорректируй огонь своего полка и десятой бригадой высотку пригладь. Пригладь. Она у нас, голубушка, как больной зуб. Выдерните-ка, выдерните его! — Генерал, отвернувшись, кому-то снова бросил: — Сейчас, сейчас, пусть подождут. — И тихо, как бы один на один, спросил: — Ну, как ты?

— Дюжу, товарищ генерал. Что же делать-то? "Надо бы насчет связи... ну да потом, потом, после удара"... Генерал одышливо посопел в трубку:

— А Вяткин отдыхает. Нежится. Ну, я ему! Скоро, однако, Александр Васильевич, вам будет легче. Совсем скоро. Вот так и скажи своим; скоро, мол. Ну, пока, Александр Васильевич. За работу, как говорится.

Сыроватко, которого майор попросил передать дополнительно роту в штурмовую группу Щуся, чтобы она выдвинулась вплотную к высоте и сразу же по окончании бомбового удара и артобстрела атаковала, впал в сомнение:

— А колы последние хлопцы полягут, кто нас заборонит?

— Война, — сухо ответил майор.

Сыроватко помычал, покашлял в трубку:

— Ты ввэрэн, шо высоту можно узясть?

— Почти.

— Аж! — громко, будто попав ниткой в ушко иголки, воскликнул Сыроватко.Колы б ты сказал — визмемзаберэм! Я б тоби хлопцив нэ дав. Пид той высотою моих хлопцив дуже богато лежит. Загубили их те, кто был полностью ввэрэн у зуспехе.

— Нет, на войне полностью ни в чем нельзя быть уверенным, к сожалению. А хлопцив вы даете не мне.

В половине пятого начался мощный артналет на высоту Сто. Долбили ее фугасами разрушительные гаубицы-полуторасотки, за ними, как бы присаливая, сверху густо сыпали снарядами два многоствольных полка из шестидесятимиллиметровых пушек.

Сидя на высоко из ящиков устроенном постаменте, поймавшись за стереотрубу, чтобы не упасть, по телефону, стоявшему возле ноги, майор Зарубин вел огонь одним орудием лучшего в полку расчета, сержанта Анциферова, с которым он служил и стрелял не раз во время боевых учений еще на Дальнем Востоке. Анциферов за бой под Ахтыркой получил звание Героя Советского Союза, будучи командиром орудия, подбил восемь танков и при этом вытащил из окружения всеми брошенную, поврежденную свою гаубицу на каком-то тоже брошенном тягаче.

Но и редкостный артиллерист, ныне командир огневого взвода девятой батареи Анциферов не мог попасть по укрытым за скатом высоты Сто штабным укреплениям. Покато от берега начавшись, высота, подмытая ручьем с материковой стороны, круто в него и обрывалась. А за стеною, надежно укрытые, жили, работали штабники и наблюдатели фон Либиха, да еще два эсэсовских батальона, ну и, само собой разумеется, разные вспомогательные части: саперы,

авиаторы, артиллеристы и прочие.

Снаряды орудий Анциферова рвались то на гребне высоты, то за нею, в полого и длинно тянущемся к селу Великие Криницы косогоре с царапинами вьющихся по нему сельских тропок и дорог. Сама природа сделалась здесь союзницей врага. Сцепления высоток, оврагов, дорог, окруживших Великие Криницы, делали оборону почти неприступной, а выдавленный высотою Сто ключ, пульсирующий водичкой с мелким песком и сразу же организующийся ручьем — Черевинкой, глубоко и вольно гуляющей по самой себе выбранному пути, собирая в разложье растительность, птиц, зверье, людей, прежде всего ребятишек, которые здесь играли, паслись, пока их не выжили незваные гости, оборону противника еще и разнообразили. "Почему, почему все-таки залезли сюда? Какая тут хитрость? Какая логика?"

Перед высотой выкопан уже подзаросший на брустверах противотанковый ров. От него веерно лежали провода телефонных линий, и не просто они лежали, они работали, немцы под высотой и на ископанном косогоре жили, воевали, толклись — такие длинные, унылые и одышливые косогоры в Сибири называют чудно и точно — тянигусы и пыхтуны. Этот заречный тянигус и в мирное время с корзиной ягод, грибов ли или с возом зеленки, дров, известки одолевали, отдыхая по нескольку раз, потому как у людей стамели ноги, у лошадей, пока они взбирались наверх, отпотевали бока, как облегченно фыркали они, должно быть, близко завидев дом с угоенными конюшнями, с вечно по двору летающим куриным пером, да с бабами, которые, подоткнув подол, приложив руки ко лбу, дывылысь: шо там, за рекою, кум чы кума роблять подле своего прохладного леса, ягодных стариц, кто идет и едет по дороге травянистой, уходящей аж до самого города, где бывает ярмарка. Из сухого, бедноземельного, всегда продуваемого ветрами села Великие Криницы девки охотно шли замуж в Заречье, женихи — наоборот — манили с левобережья невест к себе, на почти голую, песчаную горбину и, чуя вольницу, девки охотно плавали ко криничникам — пусть бедна земля, скудно местоположение, зато у парубков чуб задорен и голос раздолен, мастеровиты тут мужики, ремесленники сплошь и гуляки. Вот этот-то тянигус одолей, возьми село со всей его социальной неполноценностью, верни жизнь людям и селению. И все это надо сделать немедленно, сейчас, поднять и двинуть вперед, на горбину и далее к селу двигаться предстоит изнуренным, поредевшим частями — стимул для всех вояк один — недогубленные огороды и недоубранные поля и сады вокруг села.

— Анциферов! Федор! — позволяя себе фамильярность, почти умолял, просил майор Зарубин,надо попасть. По танкам из наших гаубиц стреляют только с горя, но ты выполни название свое: разрушь блиндажи и дзоты. Ты же разрушитель, Федор!

Меняли угол огня, коэффициенты, довороты предельные делал майор Зарубин, но все получались недолеты или перелеты — попасть по целям не могли. И когда майор отчаялся, Анциферов предложил:

— Может, пару орудий на берег выкатить?

— Километр, полтора? — майор Зарубин прикинул траекторию. — На берегу, на открытом месте — перебьют вас, а?

— Вас вон как бьют.

"Молодец! Ах, молодец Федор! Неужели я так отупел, что и такого пустяка сообразить не мог".

— Сколько надо времени?

— Двадцать минут.

— Действуй, дорогой, действуй! — майор отлип от стереотрубы, но не отнимал от уха телефонную трубку.

— Готовы! — раздался загнанный, но звонко рапортующий голос. Майор вытянул за цепочку часы. Анциферов перебросил орудия на берег за пятнадцать минут.

"Да, с такими людьми! — ликовал майор Зарубин. — Худы твои дела, фюрер, худы!.." — но по телефону охладил своего командира: — Мы не на учениях, младший лейтенант! Передаю данные. Слушать внимательно!

Уже пятым снарядом Анциферов попал плотненько, за скат высоты.

— А теперь, — дал волю голосу и чувствам майор Зарубин, — а теперь по этим же раскатам обоими стволами беглый огонь! Сколько возможно быстрее разворачивайтесь. Наша союзница-девятка следом за вами ударит.

Малое время спустя за каменистым, почти голым скатом высоты, лишь по расщелинам, обросшим шиповником, дикой акацией, жабреем и татарником, закипели разрывы, вверх полетел камешник, комья земли, спичками раскалывало бревна, пласты перекрытий, щепки ящиков, трубы и ходы сообщений, рвало связь, обваливало блиндажи, засыпало ячейки наблюдателей.

— Вот то-то! — давно отучившийся вслух выражать свои чувства, майор Зарубин попросил водички, попил и отвалился на стену наблюдательной ячейки. "Если сегодня замены не будет — умру", — подумал он безо всякой, впрочем, жалости к себе, как будто даже испытывая облегчение от этой мысли.

Над рекой послышался слитый, все нарастающий гул, будто не по небу, по булыжной мостовой накатывались, все убыстряя ход, грозно, чудовищно звучащие машины. Почти над самой водой затяжелело прошло звено штурмовиков — "илов". Взмыв над яром, штурмовики забрались повыше и оттуда ударили ракетами, будто алмазами по стеклу чиркнуло, оставив на небе белесые полосы, затем высыпали из гремящей утробы бомбы и принялись ходить над деревушкой и высотой Сто, поливая ее из пулеметов и пушек. Возвращаясь, "илы" качнули крыльями над плацдармом, и ведущий стрельнул веселой розовой ракеткой навстречу отработавшим самолетам. Слитно ревя, перло новое звено штурмовиков, выше их прошла пятерка белых изящных самолетов, сверкающих раздвоенными хвостами, — дальние бомбардировщики. На плацдарме решили: не было в достатке штурмовиков, вот и выслали дальние эти бомбардировщики. Не сбивая строя и хода, "петляковы" прошли позиции наши и немецкие, развернулись, заваливаясь в пике и почти отвесно падая на деревню, все ниже, все ниже и стремительней, опростались разом от груза и легко, даже изящно, вышли из пике, взмыли в небо, сверкнув крыльями на закатно краснеющем солнце, на вздыбленном небосклоне, а по-за ними от кучного бомбового удара, ушибленно ахнув, качнулся берег Черевинки, что-то громко треснуло в земле или на земле, подбросило дома, небо, солнце, скосившийся церковный куполок похилился, пошатнулся и, как поплавок, унырнул в черно взнявшиеся вороха взрывов.

Село Верхние Криницы сделалось развалинами, горело из края в край. Солома, старый камыш, будылья, бурьян, палочки оград как подняло вверх, так и крутило горячим воздухом, и сыпался горячий пепел, ошметья огня и сажи. И все содрогалась, вздрагивала земля в селе и вокруг него, и все тряслось что-то, рвало себя внутри земли иль по-за ее уже пределами.

Опытный вояка, майор Зарубин не мог сдержать злорадного торжества. "Уж постарался

авиатор! Но, может, и товарищ Лахонин Пров Федорович о своих солдатах вспомнил после важных дел и забот с Улечкой".

Два "мессершмита", постоянно дежурившие над плацдармом, вывалились из слепи солнца, погнались за "петляковыми", но ведущий залепил по ним очередью из хвостовых турелей, ведомые перекрестили свои очереди на светящейся струе ведущего — и "мессершмиты" отвалили, боясь сунуться в эту, вроде бы маскарадно, на самом же деле смертельно пульсирующую букву "ж".

"Вот бы завсегда так помогали с воздуху", — не один солдат подумал на плацдарме о делах фронтовых, и майора Зарубина охватывало торжество и недовольство одновременно. "Чудо-самолеты, чудо-минометы — "катюши", вместе с этим в славной девятой бригаде еще со времен Порт-Артура сохранились так называемые хоботные — этакий пердило-мужик, как его называют солдаты, становится под хобот станины гаубицы-шнейдеровки и передвигает ее по мановению руки наводчика. А связь... связь-то наша... Ну сегодня я насчет связи выскажу..."

— Однако ж брюзга я стал, — сам себе под нос буркнул майор Зарубин: — Дохожу потихоньку, забыл сорок первый? Ельню забыл...

День шестой

Нет, Ельню он никогда не забудет и никому ее не простит. Не простит того унижения, той смертельной муки, которую там пережил.

Приданный боевому азартно рвущемуся в бой дальневосточному курсантскому полку, он, командир полковой батареи, в первом же бою имел счастье видеть, как бьют зарвавшегося врага, и сам тому немало способствовал. Сбив немцев ночной атакой с укреплений, удало гнали курсанты фашистов по полям и проселкам. В кальсонах бежали фрицы, оставив несколько деревень и хуторов. Артиллеристы, не отставая от курсантов, перли на себе орудия и, когда утром появились танки, встретили их спокойным, прицельным огнем. Сколько-то подбили.

Но танки шли и шли, валили и валили из-за холмов. Самолеты не давали поднять головы час, другой, пять, день, вечность. Остатки курсантского полка и дерзких артиллеристов, оставшихся без снарядов, затем и без пушек, оттеснили, загнали в густой сосновый бор и срыли этот бор под корень вместе с людьми, с оружием, с лошаденками, с зайцами, с белками, с барсуками, с волчьими выводками... А затем еще облили керосином с самолетов и зажгли этот бурелом с людьми, с белками, с волчьими выводками, птицами, со всем, что тут жило, пряталось, пело и размножалось. Десятка два оглушенных, полумертвых курсантов выползли ночью из раскрошенного, заваленного ломью, горящего сплошным огнем места, на котором сутки назад стоял древний русский бор, полный смоляных ароматов, муравьиных куч, грибов, папоротников, травы, белого мха, особенно много росло там костяники — отчего-то это запомнилось, может, потому, что ее кислыми ягодами смачивали спекшееся нутро, иссохший зев, горло, треснутые губы.

С ними, хорошо обученными курсантами, артиллеристами, умеющими за две минуты перевести старое, неповоротливое орудие в боевое положение, связистами, политруками, медсестрами, врачами даже не воевали. Их не удостоили боя. Их просто закопали в землю бомбами, облили керосином, забросали горящим лесом...

С тех пор его, вроде бы невозмутимого человека, охватывало чувство цепенящего страха всякий раз, как только появлялись в небе семолеты. Он даже не мог скрывать своего страха.

Он метался, прятался, царапал землю, срывая ногти, как тогда, в сосновом бору, в межреберье корней вековой сосны, снесенной накосо бомбою. Никто, конечно, не смеялся, не осуждал Зарубина — на передовой отношение к храбрости, как и к любой слабости, — терпеливое, потому что каждый из фронтовиков может испугаться или проявить храбрость — в зависимости от обстоятельств, от того, насколько он устал, износился. А тогда, в сорок первом, быстро все уставали — от безысходности, от надменности врага, от превосходства его, от неразберихи, от недоедов, недосыпов, от упреков русских людей, остающихся под немцем...

Лишь потом, когда немца обернули назад, когда этот нелепый вояка Одинец сшиб боевой самолет из трофейного пулемета, сам же, в поверженную машину залезши, содрал кожу с сидений — на сапоги, развинтил отверткой какие-то приборы, одарил плексигласом мастеров и те делали наборные ручки к ножикам и мундштуки, Зарубин тоже побывал в том распотрошенном самолете, посидел на ободранном сиденье пилота, впав в ребячество, покачался на пружинах и обрел некоторое душевное равновесие. Во всяком разе умел уже прятать страх, который, однако, терзал его и по сию пору: загудят самолеты — начинает в нем свинчиваться все, сходят гайки с резьбы, под кожей на лице холод захрустит, все раны и царапины на теле стыло обозначатся. "Ну вот, сподобился, дождался, пусть не на улице, как дорогой отец и учитель сулил нам, пусть на небе нашем узрел праздник". Майор не заметил, как уснул.

Вычислитель Карнилаев вел работу на планшете и карте. Над селом же Великие Криницы, почти задевая плоскостями крыши, ходили и ходили штурмовики, пластали, крошили село и высоту Сто. Уходили они с торжественным ревом, ведущий непременно качал крыльями, ободряя мучеников, считай, что смертников, бедующих на плацдарме. В селе Великие Криницы выше и выше взметывало земляную рухлядь — штурмовики угодили бомбами в артиллерийские склады. Тяжелые орудия девятой артбригады ухали беспрерывно, по укреплениям высоты Сто работали даже двухсотмиллиметровые гаубицы. Жарко было фон Либиху.

Под гул и грохот орудий на сотрясающейся земле спал майор Зарубин и не знал, что в атаку пошла штурмовая группа Щуся, в помощь ей, отвлекая на себя огонь, двинулась рота бескапустинцев, поднялись остатки полка Сыроватко.

Майора Зарубина потребовали к телефону. Вычислитель нехотя, жалеючи, разбудил своего начальника.

— Ну, ты и наробыв винегрету, Зарубин! — частил по телефону быстро переместившийся со связью вперед полковник Сыроватко, — на вилку чеплять нэма чего. Ты шо мовчишь?

— Я сплю. Имею право...

— Го, во хвокусник!

Зарубин знал, что Славутич — стародавний друг Сыроватко, и страшное известие оттягивал, как мог, чего-чего, а хитрить война все же его научила.

Байковое одеяло приосело от сырости и земли, набросанной взрывами, обозначив под собой трупы Славутича и Мансурова. От реки, вытянувшись по ручью, тащились люди, глядели на буро намокшее одеяло. Впереди, с расстегнутой кобурой, держа картинно пистолет у бедра, шагал лейтенант Боровиков, напуская на лицо решительность. Собрал он по берегу человек до ста. И когда этот разнокалиберный, чумазый, большей частью полураздетый, босой и безоружный люд сгрудился перед блиндажом, майор Зарубин, выпрямляясь, разжал до черноты спекшиеся губы.

— Стыд! Срам! Вы за чьи спины прячетесь? За ихние?! — показал он на одеяло, грязно просевшее на телах убитых. — Там, — показал он на реку, — там, на дне, лежат наши братья. Вы хотите по доброй воле туда? Без боя? Без сопротивления? Тогда за каким чертом ели паек в запасном полку, ехали на фронт, переправлялись сюда?.. — Зарубину не хватало воздуха. Шинель, накинутая на плечи, свалилась с него наземь, но он не замечал этого, зато пришедшие с берега бойцы заметили портянку, подсунутую под широкий пояс комсоставских брюк, от крови засохших до левого сапога. И черные губы, и начищенно ярко блестящие глаза, толсто слипшаяся онуча на бойцов действовали пуще всяких слов. — Сейчас же! Сейчас же! — облизывая губы, сипло продолжал он. — Разобрать оружие, отнятое у противника, собрать обувь, стащенную с убитых, обуться, перекрыть все выходы в пойму речки. Не давайте атаковать с фланга наши позиции.

Лейтенант Боровиков деликатно набросил шинель на плечи майора.

— Спасибо! — признательно глянул на него Зарубин и отер лицо ладонями. — И я надеюсь, — еще добавил он, — среди вас не найдется тех, кого придется судить трибуналом как дезертиров? — но и то уж наговорил лишка, сил совсем не осталось. — "Однако ночью умру..." — Пришедшие с берега бойцы потупились, глядели в землю. — "Но они-то, голодные, всеми брошенные, при чем?" — Майор Зарубин вернулся в блиндаж, попросил затопить печку и сказал себе или дежурным:

— Можно отдохнуть маленько, — затем, обращаясь по-немецки к одному из пленных связистов, добавил: — Вы не солгали. Высота нами взята. При первой же возможности вас переправят на левый берег.

Вальтер опустил голову, скрестив руки на пояснице, вышел из блиндажа, хотя ему никто не приказывал держать руки назад. В тесном проходе обернулся, двинул Зигфриду кулаком в скулу и под дулом автомата поковылял на берег реки. Оглянулся лишь раз и увидел, что село Великие Криницы из края в край горит, высота Сто как бы приосела от воронок, ее исковырявших, и выгоревшей земли.

x x x

Булдаков принес охапку сучьев, ножом отпластнул ощепину от дверного косяка, и скоро бойко запотрескивала печь. Майор протянул руку к теплу.

— Олеха, Олешенька, подсади меня тоже к пече, а? — попросил Финифатьев. Булдаков бережно приподнял сержанта, прислонил к рыхлой, сыплющейся стене блиндажа. Финифатьев, часто всхлипывая, отдыхивался.

— Это куда же он, псих-то, пазганул меня?

— В ключицу. Скользом руку ниже плеча распорол, — отозвался Булдаков. О том, что под ключицей у сержанта розовым шариком пульсировала верхушка легкого, — не сказал. Зачем пугать человека...

— Кось не задета?

— Вроде нет.

— Ну, тоды нишчо. Была бы кось, мясо на русском крестьянине завсегда нарастет. В тридцатом годе на лесозаготовках эдак же спину суком распороло. Кровишшы! Ратуй кричал, думал, хана. Заросло.

— Ты бы, дед, не балаболил. Хлюпает в тебе, — посоветовал Булдаков.

— Тут, товарищ дорогой, така арифметика — ежели вологодский мужик умолк, шшытай, песенка его спета...

— Тогда валяй!

— Я все хочу спросить у тя, сержант, — заговорил присевший возле печки на корточки Шорохов, незаметно проникший в тесный блиндаж со своим телефоном. — Давно хочу спросить, — многозначительно продолжал он. — Отчего это говорят: вологодский конвой шутить не любит?!

Финифатьев долго не отвечал, вроде бы и не слышал Шорохова. Всем как-то неловко сделалось — очень уж не к месту и не к делу был вопрос Шорохова.

— Битый ты мужик Шорохов, и мудер, а дурак! — печально выдохнул Финифатьев.

— Ты не виляй, не виляй!

— Како вилянье, когда таких, как ты, сторожишь? Мужик наш вологодскай, да и всякий мужик, хлебушко и прокорм от веку в земле потом добыват. И не может он терпеть всякую вшивату, хлеб трудовой крадущую...

— Ага, ясно. Ты, я слыхал, парторгом в колхозе был, придурком то ись, — уверенно заключил Шорохов.

— А вы, товарищ майор, где по-немецкому-то? — не желая продолжать разговор с Шороховым, поинтересовался Финифатьев.

"А сержант-то с виду лишь простоват", — перебарывая сонливое томление, отметил Зарубин. Скоро должны на совещание собраться командиры, сил надо набираться, не до беседы, и он коротко ответил сержанту, что старательно учился в школе и в академии.

Сержант вознамерился продолжить беседу, но, заметив, что майор впал в полудрему, окоротил себя. Майор слушал солдатскую болтовню не без любопытства, ожидая, что же все-таки скажет Финифатьев Шорохову, но, будто боясь кого спугнуть, его вполголоса позвали к телефону.

— Товарищ майор! Товарищ майор! — совали ему в руку телефонную трубку. — Возьмите скорее! Перехват. По-немецки говорят.

Майор лежа прислонил трубку к уху, но, слушая, начал приподниматься, опираясь на руку.

— В селе Великие Криницы, — начал он переводить, — взорван склад, разгромлен гарнизон. Генерал фон Либих убит. Высота Сто взята. Село Великие Криницы обойдено, завтра может быть взято. — Зарубин бережно отдал трубку и, глядя перед собой в земляную стену, произнес горячим ртом: — Было бы... позволил бы...

— А есть, товарищ майор, малость есть! — откликнулся понятливый Булдаков. — Эй, Шорохов, давай раскошеливайся!

Шорохов нехотя протянул здесь, в блиндаже, найденную флягу обер-лейтенанта Болова.

Майор отер горло фляги ладонью, глотнул и ожженым ртом прерывисто вытолкнул:

— Так и быть должно, — облизывая губы, говорил он. — Мы сюда переправлялись врага бить, но не ждать, когда он нас перебьет. — И что-то повело его на разговор, он добавил еще: — Мы его растреплем в конце-концов...

— Жалко, — протяжно вздохнул Финифатьев.

— Кого жалко? Фон Либиха? — ухмыльнулся Булдаков, сделавший продолговатый глоток из фляги.

— Насерю-ко я на фон Либиха твоево большую кучу! — рассердился Финифатьев. — Мне деревню жалко.

Все примолкли. О деревне как-то никому и в голову не пришло подумать.

"Крепкие вояки немцы, — перестав слушать солдат, чтобы отвлечься от боли, терзающей его, размышлял майор Зарубин. — Но авантюристы все же и, как всякие авантюристы, склонны к хвастовству, следовательно, и к беспечности, надеются на реку. А у нас зазнайство — первая беда. Победы нам даются лавиной крови. Дома еще воюем, а потери уже, небось, пять к одному... Не от чего, не от чего пока нам чваниться. Народ наш трудовой по природе своей скромен, и с достоинством надо служить ему, без гонора. Но и сам народ сделался чересчур речист, многословен, часто и блудословен... — майор вспомнил Славутича, ощутил его рядом, поежился. Отгоняя от себя ощущение холода, путаясь в паутине полусонных мыслей, тянул, плел нить молчаливых рассуждений: — Изо всех спекуляций самая доступная и оттого самая распространенная — спекуляция патриотизмом, бойчее всего распродается любовь к родине — во все времена товар этот нарасхват. И никому в голову не приходит, что уже только одна замашка — походя трепать имя родины, употребление не к делу: "Я и Родина!" — пагубна, от нее оказалось недалеко: "Я и мир".

Пров Федорович Лахонин, помнится, что-то похвальное сказал однажды о нем и при нем. Смутившись, но без рисовки Зарубин сказал; "Я, Пров, человек обыкновенный. Родился в простой интеллигентной семье, хорошо учился в школе, скорее — прилежно. В военном училище был путним курсантом, но не примерным — мог надерзить начальству. Там вступил в партию, взносы платил аккуратно, работу исполнял добросовестно. Неужели мы дошли до того, что исполнение долга гражданина своей страны, проще сказать — исполнение обязанностей — сделалось уже доблестью?"

И вот тот давний разговор продолжился в полубредовой отстраненности. "Любовь? Ну что любовь? У меня вон Анциферов гаубицу любит не меньше, чем свою невесту. Что ты на это скажешь? Для военного человека, распоряжающегося подчиненными, самому в подчинении пребывающему, готовому выполнять порученное дело, значит, воевать, значит, убивать, понятие "любовь" в ее, так сказать, распространенном историческом смысле не совсем логично. Когда военные, бия себя в грудь, клянутся в любви к людям, я считаю слова их привычной, но отнюдь не невинной ложью. Невинной лжи вообще не бывает. Ложь всегда преднамеренна, за нею всегда что-то скрывается. Чаще всего это что-то — правда. "Нигде столь не врут, как на войне и на охоте", — гласит русская пословица, и никто-так не искажает понятия любви и правды, как военные. Я не люблю, я жалею людей, — страдают люди, им голодно, устали они — мне их жалко. И меня, я вижу, жалеют люди. Не любят, нет — за что же любить-то им человека, посылающего их на смерть? Может, сейчас на плацдарме, на краю жизни, эта жалость нужнее и ценнее притворной любви. Ты вот, давний друг мой, говорил, любишь меня, но ни разу не позвонил, не спросил, как я тут? Знаешь, что я ранен, но внушаешь себе — неопасно, раз не бегу в тыл. Нет в тебе жалости, друг мой генерал, нет, а без нее, извини, не очень-то близко я тебя чувствую, во всяком разе в сердце тебя нет. Спекуляцию

же на любви к родине оставь Мусенку — слово Родина ему необходимо, как половая тряпка, — грязь вытирать. Есть у меня дочь Ксюша. Я ее зову Мурашкой. И Наталья есть. Пусть они к тебе ушли, все равно есть. Вот их я люблю. Вот они — моя родина и есть. Так как земля наша заселена людьми, нашими матерями, женами, всеми теми, которых любим мы, стало быть, их прежде всего и защищаем. Они и есть имя всеобщее — народ, за ним уж что-то великое, на что и глядеть-то, как на солнце, во все глаза невозможно. А ведь и она, и понятия о ней у всех свои — Родина! Перед переправой маял политбеседами бойцов хлопотливый комиссар и нарвался на бойца, который его спросил: "А мне вот что защищать? — глядит поверх головы Мусенка в пространство костлявый парень с глубоко запавшими глазами, собачьим прикусом рта. — Железную койку в общежитии с угарной печкой в клопяном бараке?" — "Ну, а детство? Дом? Усадьба?" — настаивал Мусенок. "И в детстве — Нарым далекий, каркасный спецпереселенческий барак с нарами..." — "Фамилия твоя какая?" — вскипел Мусенок. Парень назвался Подкобылкиным или Подковыриным. Мусенок понимал, что врет вояка, но сделал вид, будто удовлетворился ответом. Это он, Подкобылкин или Подковырин, никого и ничего не боясь, грохотал вчера на берегу: "Э-эх, мне бы пулемет дэшэка, я бы им врезал!.." — указывая на левый берег, где средь леса светился экран и красивая артистка Смирнова напевала: "Звать любовь не надо, явится нежданно...". На парня со всех сторон зашикали. — "Боитесь? И здесь боитесь, — презрительно молвил он. — Да разве страшнее того, что есть, может еще что-то быть? Вас спереду и сзаду дерут, а вы подмахиваете... Еще и деток ваших употребят..."

"Солдат тот, Подкобылкин или Подковырин, не знал, что рядом в земляной берлоге лежу я, раненый майор Зарубин, и страшусь слов его..."

Пришел полковник Бескапустин, спугнул сон и бред, — слышно, не один пришел, значит, скоро прибудет и комполка Сыроватко. "Буду лежать, не выйду наружу, пока не вытащат",позволил себе слабодушие майор Зарубин.

— О то ж! О то ж! Сэрцэ мое чуло! — стоя на коленях перед отогнутым одеялом, схватившись за голову, качался полковник Сыроватко, которому уже успели рассказать, как и что получилось. — Та на який хер ему пей блындаж?! Ой, Мыкола, Мыкола! Шо ты наробыв?.. — Зарубин не знал, что еще сказать командиру полка, чем его утешить. — Я до тэбэ приду, я до тэбэ приду...

Подвалившие на оперативку чины, сидя у ручья, хмуро косились на причитающего комполка, но он никакого на них внимания не обращал. Среди незнакомых чинов оказался представитель танковой дивизии — складно замысливалась операция: передовые части прошибут переправу, партизаны и десант помогут раздвинуть плацдарм, и, как будет пройдена прибрежная неудобь, можно наводить переправу, пускать в прорыв танки.

Сыроватко пришел с врачом, тощим мужиком, у которого в тике дергались оба глаза и был все время полуоткрыт рот, синий, старушечий. Врач осмотрел рану майора Зарубина при свете огонька печи и фонарика, сменил бинты, больно отодрав присохшие к боку, старые, уже дурно пахнущие лоскутья.

— Вам надо во что бы то ни стало эвакуироваться, — тихо произнес врач, — рана неглубокая и в другом месте могла бы считаться неопасной, но здесь...

— Хорошо, доктор. При первой же возможности... Посмотрите и перевяжите, пожалуйста, сержанта.

Благодарно глянув на майора, Финифатьев охотно отдал себя в руки врача, у которого бинтов было в обрез, из лекарств осталось лишь полфлакончика йода.

Вошел Сыроватко, пощупал перекрытие блиндажа.

— О цэ крэпость!

— Да, и эту немцы вот-вот разнесут, — отводя глаза, произнес Зарубин. — Сегодня им не до того. — И не удержался, рассказал, как подполковник Славутич во что бы то ни стало хотел идти с солдатами в налет.

— А як же ж?! — подвел итог Сыроватко. — Сиятельные охфицеры да генералы наши на тому боци сидять да людьми сорять. Уси заняты дуже. Разрабатывають стратегичны опэрации. Воевать нэма часу.

Врач попросил отпустить его "домой", в полк, — он не столько уж лечил бойцов, сколько обнадеживал их своим присутствием и словами о скорой эвакуации. Сыроватко кивнул. Врач, надевая сумку через голову и поворачивая оттянутый пистолетом ремень на животе, без всякой выразительности и веры в успех поинтересовался:

— Товарищи, нет ли у кого лишних пакетов?

Все начали озираться, спрашивать друг у друга взглядами, лишь Шорохов ковырялся в телефоне, туже затягивал клеммы. Два пакета он спер у Лешки из кармана, пока тот был сомлелый после потопа, своих два у него было, да еще у немцев несколько штук промыслил и спрятал, тюремной смекалкой дойдя, что пакеты ныне — самая большая ценность и на них он выменяет, когда будет надо, и табак, и хлеб.

— Пора, товарищи! — позвали с улицы. — С левого берега не торопятся. Надо начинать. Обстановка-то...

— Как это начинать? — стариковски-занудливо ворчал полковник Бескапустин. — С чего начнем, тем и кончим. Подождем их сиятельств.

Но "их сиятельств" набралось на правом берегу всего ничего — начальник штаба дивизии, переплывший на отремонтированной лодке Нельки; следом, сообщил он майору Зарубину, отдельно плывет Понайотов, приплавит немного продуктов. Сам же начальник штаба дивизии заметно нервничал на плацдарме, пойма Черевинки показалась ему удавочной щелью, тогда как командирам, повылазившим из темных недр плацдарма, из выжженного вдоль и поперек межреберья оврагов, ручей казался райскими кущами. Некоторые командиры успели умыться, попить сладкой ключевой водицы, от которой в пустых животах сделалось еще тоскливей, и телу — холодней.

— Отчего ж костер не разведете? — спросил начальник штаба.

Угнетенное молчание было ему ответом. Он понял, что сморозил глупость, попросил доложить обстановку, по возможности кратко.

Длинно и не получалось, даже у Сыроватко.

— Так плохо? — удивился начальник штаба.

— И совсем не плохо,возразил ему майор Зарубин. — Одолели реку, расширились, вчера взяли господствующую над местностью высоту.

— Дуриком! — подал голос из темноты командир передовой группы Щусь.

— И совсем не дуриком, а всеми огневыми и иными средствами, имеющимися в нашем распоряжении.

— Дуриком и отдадим, — не сдавался Щусь.

Сыроватко меланхолично поглаживал лысину. Майор Зарубин, отвернувшись, молчал. Снизу от реки тащилась группа людей. Зарубин каким-то вторым зрением угадал сперва своего, косолапо ступающего, хитроумного ординарца Утехина, затем и Понайотова с Нелькой.

Понайотов махнул рукой у виска, доложился отчего-то только майору о прибытии. Зарубин на него покосился, ничего ему не ответил, слабо махнул рукой, мол, всех он видит, но остаться тут, на летучке, может лишь Понайотов.

— Товарищ майор, — присаживаясь рядом, вполголоса уронил Понайотов, — мы переправили немного хлеба и медикаментов.

— Шлите людей за продуктами немедленно! — распорядился Зарубин, одновременно слушая командира полка Бескапустина, который сорвался, — накопилось в тихом, смиренном, даже раболепном командире столько, что он уже не в силах был себя сдерживать, назвал переправу не военной операцией — свалкой, преступлением, грозился куда-то писать, если останется жив, о безобразной подготовке к форсированию реки, об удручающих потерях, которые, конечно же, в сводках преуменьшены, если вовсе не замазаны.

— Вижу вот — для вас это новость? — тыкал он пустой трубкой в сторону растерянно топтавшегося, почти в речку им оттесненного начальника штаба, приплывшего на оперативное совещание в хромовых сапогах, в небрежно и как бы даже форсисто, вроде мушкетерского плаща, наброшенной на плечи плащ-палатке. — У вас там хитрые расчеты, маневры один другого сложнее, грандиозные операции, а тут пропадай! Пропадай, да? — полковник загнал-таки форсистого офицера в речку, опавшим брюхом затолкал его в воду и все еще выпуклой, ломовой грудью напирал на начальника. Собравшиеся на летучку растерянно помалкивали. Сыроватко уже мокрым платком тер и тер совсем мокрую лысину. Из темноты выступил капитан Щусь, взял и, как дитя, за руку отвел в сторону своего разнервничавшегося командира. Комполка не унимался. Сорвав уздечку с губ, будто колхозная заезженная кляча, Бескапустин рвал упряжь, громил телегу. — Настолько грандиозные планы, что и про людей забыли! Боеприпасов нет! Продуктов нет! Зато крови много! Ею с первых дней войны супротивника заливаем...

— Авдей Кондратьевич! Авдей Кондратьевич!..

— Да отвяжись ты! Я скажу! Я все скажу! — уже переходя на крик, от которого всем было не по себе, гремел командир полка. — Вот вы на лодке приплыли, на порожней...

— Нет, три ящика гранат, патроны...

— Гранаты! Патроны! А бинты? А хлеб? А табак? Забыли, что здесь есть еще живые люди... Х-художники! — Щусь догадался сунуть в горсть полковника табаку, комполка, изнемогший без курева, начал сразу же черпать табак трубкою с дрожащей ладони. Авиационный представитель зажег ему трубку самодельной фасонистой зажигалкой, полковник, закашлявшись от жадной затяжки, все пытался выговорить: — Я этого... я этого... я этого так не оставлю! — курнув во всю грудь, мрачно и церемонно поклонился в сторону "своих" офицеров. — Извините, товарищи! — но начальника штаба презрел.

Начальник штаба, опустив хмурое лицо, поставил задачу на завтра: во что бы то ни стало

удержать высоту Сто и во все последующие дни всячески проявлять активность, отвлекая на себя внимание и силы противника.

— Обстановка скоро изменится. Резко изменится. Я понимаю — тяжело, все понимаю, но надо потерпеть.

Щусь, оттеснив своего командира полка, опять же откуда-то из потемок заявил, что, если сегодня за ночь не переправят боеприпасов, не пополнят его батальон людьми — высоту не удержать — нечем.

— Мы и без того воюем наполовину трофейным оружием. Что же нам, как ополчению под Москвой — тем бедолагамакадемикам и артистам, брать палки, лопаты и снова идти на врага — добывать оружие?..

"Сейчас приезжий чин начнет спрашивать фамилию у этого дерзкого офицера", — но в это время с берега подошли люди с носилками, и, воспользовавшись замешательством, начальник штаба поскорее попрощался со всеми не за руку — за руку поостерегся, командир полка Бескапустин не подаст ему руку.

— Хоть плащ-палатку-то оставьте — у нас раненых нечем накрывать, — пробурчали из темноты, — и табак.

Путаясь в шнурке, затягивая удушливую петлю на шее, начальник штаба заторопился выполнить просьбу, догадался, наконец, сдернул плащ-палатку через голову, свернул ее на берегу, сверху положил початую пачку папирос и, ощупывая себя, шаря по карманам, расстроенно твердил:

— Я доложу… Я обо всем, товарищи, доложу…

Дождавшись, когда все разойдутся, Понайотов, не сдержавшись, приобнял майора Зарубина, бережно прижал к себе и, услышав, что лицо раненого колется, изумился до беспредельности: "Ну, значит, тут действительно..."

Два рюкзака до завязок были набиты хлебом, еще подсумок махры и полная противогазная сумка сахарного песку. Всем, кто находился в блиндаже, досталось по куску хлеба, посыпанного сахарным песком.

— И мне пожалуйста… — всеми забытый при дележке, напомнил о себе майор Зарубин. Ему поспешно отхватили ломоть. Он отделил себе пряничек от ломтя, посыпал песочком, тщательно изжевал, слизнул сахаринки с ладони и сказал не то себе, не то Понайотову: — Ничего, ничего, — и слабо улыбнулся. — Утону — хлеб напрасно пропадет, — и, чувствуя, что шутки не получилось, смущенно добавил: — Я же скоро покушаю.

Рюкзак с хлебом, котелок сахару и сумочку соли тут же отправили в батальон Щуся. Поделились харчем и с ротой Боровикова, так теперь называли бойцов, собранных по берегу и сформировавшихся в подразделение, оборонявшее правый фланг плацдарма. Три булки хлеба и весь остаток сахара назначено было отделить раненым в полк Сыроватко. Бескапустинцам нечего уже отделять, однако Понайотов сообщил, что две лодки, привезенные аж с Десны, всю ночь будут ходить от берега к берегу и кое-что доставят сюда.

Бунтарь Бескапустин ушел к себе, ни с кем не попрощавшись, лишь глянул уничижительно на хитроумного Сыроватко, ни в чем его не поддержавшего. Майор Зарубин позвонил полковнику. Бескапустин пожелал ему счастливо добраться до спокойного берега.

— Так и не удалось мне вытащить сюда вояку Вяткина,сказал с сожалением Зарубин.

— Да на кой здесь нужен этот художник? Вонять только. Дак тут без него вонько. А ты поправляйся скорее, Александр Васильич, поправляйся, дорогой. Бог даст, еще повоюем вместе. Берлин далече. — Подумал, помялся: — Слушай, дорогой, хоть ты и ранен, хоть изнемог, будь добр, поручи кому-нибудь из своих надежных товарищей найти мои тылы, и пусть набьют они там морды, от моего имени, командиру хозроты. Художники! С глаз долой, из сердца вон! Даже не напоминают о себе, попыток не делают, чтобы хоть что-нибудь переправить сюда. У меня раненые мрут... — голос полковника упал в бессилии, — я уж сам пустую трубку всю изжевал... табачку нету. Спасибо, кто-то из хитрожопых художников на совещании отсыпал.

— Хорошо, Авдей Кондратьевич. Я постараюсь. К Сыроватко, кажется, переправили медикаменты...

— У хохла да у жида одалживаться — худая примета, — холодно откликнулся Бескапустин. Он откровенно недолюбливал лукавого соседа, в глаза и за глаза презрительно обзывал его художником. — А я — таежник, суеверный человек... Прощай, майор!

— Нет, лучше до свидания, товарищ полковник! — почему-то грустно сказал майор и осторожно подал трубку Шестакову.Сейчас же! — приказал он. — Сейчас же отправить немножко табаку и хлеба Бескапустину. Но не с ним, — ткнул он пальцем в развалившегося на полу Шорохова. — Уворует! — майор повременил и обратился к Понайотову: — Все привязки огней, цели, ориентиры и рисунок передовой линии покажет тебе Карнилаев на моей карте. Карта и планшет на столе в блиндаже. Обстановка здесь сложная, но взяли высоту, и с вечера несколько облегчилась. Надолго ли — не знаю. Думаю, наутре немцы обязательно будут отбивать высоту. — Он опять сделал паузу, отдышался. — Шестаков, Алексей, проводи меня. Нет сил.

— А мы вас на носилочки, на носилочки, — засуетился вокруг него ординарец Утехин, и майор, морщась, подумал: как, отчего, почему этот удалец остался на том берегу? Почему он не с ним?

— Да, пожалуй,согласился Зарубин,до берега мне уже не дойти...

К лодке несли майора вчетвером: санинструктор, ординарец, Лешка и кто-то из подвернувшихся солдат.

— Несите, несите! — отступив в сторону, крикнула из темноты Нелька, уединившаяся с капитаном Щусем. Она погладила лицо комбата, привалилась к его плечу: — Одни мослы остались...

— Зато паразиты мослы не изгрызут. Ты вот что, забери этого дурака Яшкина. Загибается он. Пока еда, сладкое, фрукты были — ничего, а после переправы пожелтел, согнулся в три погибели.

— Следующим заплывом, если не потонем. Ты подождешь?

— Не могу. Надо к утру готовиться. — Вспомнилось, как пели перед отправкой на фронт солдаты в бердском полку: "С рассветом глас раздастся мой, на славу иль на смерть зовущий". Она потрепала его по волосам, пошарила где-то за ухом. — Шибко-то не ластись — вшей на мне...

— Стряхнем, разгоним…

— Я угоню Яшкина на берег. Дам связиста и угоню.

— Алеш! Алексей Донатович! Ты какой-то?.. Будто не в себе.

— Да все мы тут не в себе.

— Алеш! Алексей Донатович! Живи, пожалуйста, живи, а! Слышишь!..

— Лан. Постараюсь. Не сердись.

— Да не сержусь я. Давно уж ни на кого не сержусь, на Файку рыкну иногда, но она, как овечка, безответна.

Тем временем у лодки возникла схватка местного значения. Когда носилки с майором поставили в лодку, санинструктор быстренько вспрыгнул на корму лодки, цепко схватился за весло, ординарец Утехин суетился вокруг носилок, елозил коленями в мокре, что-то подтыкал под майора, поправлял на нем. Подле лодки толпились, лежали из нор повылазившие раненые, бинты их, тускло белея во тьме отраженными пятнами, колыхались вокруг лодки.

— Это-то еще что такое? — приподнялся майор, отстраняя от себя ординарца. — Встречать, сопровождать… Оставайтесь здесь! И вы тоже,обернулся он к санинструктору, — оставайтесь выполнять свои обязанности. Не забывайте свою сумку!

— У меня есть свое начальство. Оно мной распоряжается!

— Экая персона! — фыркнула подошедшая к лодке Нелька. — А ну выметайся к… — матерщинница Нелька сдержалась из-за майора. — Начальство у него, у говнюка, отдельное! А здесь я — главный генерал! А ну, марш из лодки, харя бесстыжая!

Ординарец Утехин все лип, прилаживался к майору, бормотал, что привык к нему, как к отцу родному, ведь завсегда и везде с ним, да, кроме того, никто майору так не угодит, не услужит, только он доподлинно знает все его привычки и по праву должен плавить его на ту сторону реки, чтобы в целости-сохранности доставить, Лешка уже привык к этой, всех пугающей деликатности майора и боялся, что холуй одолеет его, уговорит. Среди полураздетых, кое-как перевязанных тряпками раненых Лешка быстро нашел кормового.

— Чалдон-сибиряк тут есть? — только крикнул Лешка, как из тьмы возник раненый, показывая руки, — целые, мол. Лешка сунул весло в эти охотно протянутые руки. Тяжело виснувших раненых все волокли и волокли.

— Ут-тонем! Грузно! — залепетал, контуженно дергаясь, молодой солдатишко, уже попавший в лодку.

— Ничего, ничего. Сестрица, можно без носилок?.. Майор Зарубин все понял, сам скатился с носилок на мокрое днище лодки.

— Грести? Кто может грести? Только без обмана. Нужно второго гребца, второго на лопашни.

— Сможем, сможем! Хоть через силу, хоть как, — посыпали раненые, оттирая друг друга от лодки.

Почти не державшийся на ногах мужик с вятским частым говорком уцепился за борт лодки.

— З-зубами, хоть зубами!..

— Зубами тут не надо. Надо руками, родимый.

— Отталкивайте! Доплывем как-нибудь. Шестаков! — выкрикнул из лодки майор. — Давай!

Лешка забрел в воду, потыкал пальцами в шинель, нащупал руку майора, задержал его руку в своей. Испытывая братское чувство, которого он стеснялся, майор сказал совсем не то, что хотел сказать:

— Звездами героев я не распоряжаюсь, но "Слава" тебе и Мансурову...

— Да вы что, товарищ майор! Об этом ли сейчас? До свидания, товарищ майор! Выздоравливайте скорее, товарищ майор. — Лешка навалился на скользкий обнос лодки, с трудом оттолкнул ее и какое-то время стоял в мелководье с протянутыми руками, ровно бы удерживая лодку или надеясь, что она вернется к нему.

Раненые гребли сначала суетливо, вперебой. Мужик, что сыпал вятским говорком, стал на колени перед гребцами на лопашнях и начал рывками толкать весла, помогать им — дело пошло согласованней, лодка, уменьшаясь, удалялась по сталисто отблескивающей в темноте реке, оставляя за собой раздваивающийся след и круглые воронки от весел, похожие на след свежекованой лошади.

— Эх, товарищ майор, товарищ майор, — сыро хлюпал ртом ординарец майора Утехин. Лешка удовлетворенно закинул за плечо ремень автомата, высморкался и пошел от берега. Следом послышались торопливые, на бег переходящие, шаги.

— Ну, че? Легче тебе стало? Легче?

"Легче!" — хотел отрезать Лешка, но сдержался и, не оборачиваясь, пошлепал по пойме Черевинки, которая простреливалась вдоль, поперек и наискось. Пули посвистывали в кустах, взбивали песок.

"Потревожили немцев, — отметил Лешка, — не спят. Или спят не так крепко, как мы". Ординарец Утехин шарахался во тьме, спотыкался, падал в подмоины, приседал под пулями. "Ничего, повоюй, потерпи, покланяйся пулям. Изварлыжился, мордован", — испытывая удовлетворение, злорадствовал Лешка.

— Тут че, все время так?

— Днем будет хуже.

— Пропа-ал, пропа-а-а-ал! И че меня сунуло в лодку?

"А чем ты лучше нас? Чем? Почему мы тут должны пропадать, а ты жить? Почему?" — злился Лешка и сказал громко:

— Запомни! Если вобьешь себе это в голову, в самом деле пропадешь...

Когда он доложил начальнику штаба полка, что в их распоряжение прибыл еще один боец, мерекающий в связи, Понайотов обрадовался:

— Кстати, кстати! А то я гляжу, здесь работать некому, зато на другой стороне дружно идут дела, контора пишет, повар кашу выдает.

— А Бикбулатов водяру, — врезался в разговор Шорохов.

— Да че я мерекаю в той связи? Че? Подменял дежурных и только.

— В советской армии есть правило: "Не слушаешься — накажем! Не умеешь — научим?" Забыл?

— Ниче я не забыл.

— А раз так, садись к телефону, на утре сменим. Немцы упрямо стреляли и освещали острова и берег, оттого от устья реки Черевинки тихая лодка шла хотя и опасливо, но скоро, без задержек. Вот уж скрыло ее ночной мглой. Лодка, все ходче журча, вспахивала носом воду, правясь к тем, затаенным, мирно спящим лесам, вершины которых размыто смазанно, прочеркивались на глухом осеннем небе. К правому берегу опасливо пристало еще две лодки. Из-под темного навеса, опережая друг дружку, к ним толпою бросились раненые, которые не отходили от воды, нахохленными птицами сидели вдоль уреза, втихомолку боролись возле лодок, стараясь кучею влезть в них, шепотом ругались, кого-то больно задели, раненый вскрикнул, и тут же во тьме зажегся, затрепетал вражеский пулемет.

— Тих-ха, тих-ха! — призвал кто-то, уже устроившийся в лодке. — Жить надоело?

Вернувшись в блиндаж, Лешка посоветовал Финифатьеву идти на берег и попытать счастья. Сержант долго кряхтел, собираясь, еще дольше прощался со всеми, но под утро вернулся с берега, удрученно присел на кукорки возле печки, которую на прощанье подживил Булдаков.

— Там такое сраженье идет, не приведи Господи! —ознобно втягивая в себя воздух, ответил он на немой вопрос. — Вот ежели б с немцами билися так же, дак Гитлера давно бы уж ухряпали. — И не возмущаясь, все так же удрученно поведал: — Девчонка эта, Нелька, — дока! Углядела маньдюка одного — завязал голову бинтами, кровью измазался и тоже в лодку норовит. Она повязку-то сорвала и как гаркнет: "Убейте его!"

— Ну и...

— Забили палками, каменьями, как крысу, растоптали на берегу... — И ровно бы утешая слушателей или себя, длинно, со стоном выдохнул: — И хорошо, что в ту лодку я не попал,опрокинулась она от перегрузу. Уж помирать дак на суше.

Булдаков подбросил в печку хвороста. Приоткрытую дверцу заскребло огоньком, выхватило согбенную фигуру сержанта.

— Деваха та, не знай, утонула али нет. Сходили бы, робяты, а. Обогрецца бы ей, коли жива, — стоко она добра людям сделала.

— Хлопца своего похороните. А Мыколу я забэру, — сказал спустившийся к ручью Сыроватко и, отступив в сторону от своих бойцов, какое-то время глядел, как на одеяле тащили они в ночь подполковника Славутича, тяжело проседая, покойник высовывал ноги из узла. Сыроватко необходимо было выговориться, излить душу. — Похороним мы его на крутом берегу, як батько его. Волны шумлять, пароходы слыхать. Пионэры мимо пойдут, квиток ему на могылу кынуть... — Сыроватко снова закачался. — Ах, Мыкола, Мыкола!.. Зачем ты ране мэни загынув?

Пронзенные чужим горем, все кругом притихли. Сыроватко начал рассказывать Понайотову, но скорее вспоминать для себя, как учились они с Мыколой Славутичем в военном училище и как, на удивление всем, совершенно разные — даже лысины, и те были у них непохожие, —

подружились навсегда. Только уж после боев под Москвой, когда Сыроватко лежал раненый в госпитале, Славутича забрали в штаб дивизии. Сыроватко как в воду глядел, думая, что без него друг его любезный обязательно натворит чего-нибудь.

— Дуже был Мыкола до людей железный, до сэбэ стальной. А пид тым железом така добра душа. Маты у його из дворянок происходила, больна, капрызна. Нэ жэнывсь из-за нее... — И другим, уже несколько взбодренным тоном, усмешливо продолжал: — В училище за мэнэ сочинение пысав и тактику сдавав одному близорукому преподавателю. Мы ж обы лыси, тики вин лысив со лба — от ума, а я, как блядун, — с потылицы. "Сашко! — говорив он, — цэ остатный раз! Усе! Ты охвицером хочешь стать? О чине мечтаешь?" — "Який хохол, — балакаю я ему, — нэ мечтае о чине?" — и потыхэхэньку, полягэхэньку объеду его. Я ж с киевского Подолу, а хохол с того Подолу трех евреев стоить!

По блиндажу покатился легкий, деликатный смешок.

— Майор дэ вывчил нэмэцький? Хлопцы балакали, шо за нэмцами, як по кныжке садыв.

— В школе и в военном училище. — Зевая, но стесняясь лечь, слушая командира полка, ответил Понайотов.

— Балакай! — не поверил Сыроватко. — Шо в нашей школе вывчишь? В военном училище и зовсим наука проста: шагом арш, беги, коли, смирно, слухай сюда.

— Он рано женился, вот почему и было у него время заниматься языком.

— А-а, тоди ясно. Бабы — первый враг науке. То ж мэни Мыкола русскому учил, учил, та и отчепывсь. "Сашко! — казав вин,ты русский не выучив тики за то, шо дуже до жинок ходыв".

Может быть, Сыроватко еще долго занимался бы воспоминаниями, но за дверью блиндажа послышался шум, крики. Понайотов попросил узнать, в чем дело, что там такое?

— Пленные дерутся, — доложил Лешка. — Старший младшего душить принялся.

— Вот еще беда! — с досадой произнес вычислитель Карнилаев. — Пленных не знаем, куда девать? Зачем их брали?

— Уничтожить их к чертовой матери! Расстрелять, как собак! — зло, на чистейшем русском языке выпалил Сыроватко. Понайотов поежился. Попав на родимую землю, увидев, чего понатворили здесь оккупанты, украинцы, мирные эти хохлы, начали сатанеть.

— Нельзя нам, — сказал Понайотов. — Нельзя нам бесчинствовать так же, как они бесчинствуют. Мы не убийцы. К тому же, видел я, один из пленных совсем мальчишка. Дурачок. Грех убивать глупого...

"О то ж зануда ще одна, другий майор Зарубин, — поморщился Сыроватко. — Как с ним и люди ладят?"

— Ну и цацкайся с теми хрицами, колы захапыв. Мэни шо? — и попросил уточнить на карте несколько изменившуюся конфигурацию передовой линии.

Ушел Сыроватко наконец-то. Понайотов приказал пленных свести на берег, раненым отправляться туда же — может, до утра успеют переправить, здесь утром начнется стрельба.

За Черевинкой постукивали оземь лопаты, тихо переговаривались бойцы, копая могилу. Работники, изнуренные боями, решали: одну малую ямку копать под Мансурова или уж разом братскую могилу затевать — для всех убитых, собранных по речке; посовещались маленько и порешили: пусть немцы роют ямы под немцев, русские — под русских.

Набрав команду из войска лейтенанта Боровикова, Шестаков повел ее к желобу, на окраину деревни — попытаться унести трупы товарищей. Лешке удалось обнаружить во тьме ключ. Трупы никто не убрал, они глубже влипли в грязь, начали врастать в землю. Выковыряли убитых из земли, продели обмотки под мышки и, впрягшись, волокли их вниз по речке. Лешка волок Васконяна, тот в пути все за что-то цеплялся, обувь с его ног снялась, шинель осталась в грязи. К братской могиле Васконян и его товарищи прибыли почти нагишом. Да не все ли им равно? Свалили убитых в яму, прикрыли головы полоской из брезента, постояли, отдыхиваясь. "Ну-к, че? Давайте закапывать", — предложил кто-то из бойцов. "Как? Так вот сразу?" — встрепенулся лейтенант Боровиков. "Дак че, речь говорить? Говори, если хочешь". Боровиков смутился, отошел. Закапывали не торопясь, но справились с делом скоро — песок, смешанный с синей глиной, — податливая работа. "Был бы Коля Рындин, хоть молитву бы почитал, — вздохнул Шестаков, — а так че? Жил Васконян — и нету Васконяна. Это сколько же он учился, сколько знал, и все его знания, ум его весь, доброта, честность поместились в ямке, которая скоро потеряется, хотя и воткнули в нее ребята черенок обломанной лопаты..."

Вспомнилось Осипово, мать Васконяна, ее прощальный взгляд и слова о том, чтоб они, его товарищи, поберегли бы сына. Да как убережешь-то здесь? Вон капитан Щусь изо всех сил и возможностей берег и Колю Рындина, и Васконяна, сейчас вот Гришу Хохлова пытается уберечь, за реку с собой не взял — рана у того не закрывается, свищ водой намочится — изгниет человек заживо. "Осиповны, Осиповны! Что стало с вами? Куда вас по свету развеяло?" Сделалось холодно спине, дрожью пробирало все тело. Надо переодеться. Когда он полумертвый выбрался на берег и проблевался — месяц, неделю назад это было? Нет, вчера, а кажется, век прошел. Но нутро, будто жестяное, все еще дребезжит... Он переоделся в сухие штаны и гимнастерку, снятую с убитого и кем-то ему закинутую в норку, скорей всего, опять же Финифатьевым. Хорошо, что белье сухое сохранилось, а то пропадай. Лоскуток брезента да мешок подстелил под себя, но все равно колотило, взбулындывало солдатика так, что земля сверху сыпалась. Зато вошь умолкла и надо засыпать скорее, пока она не сбилась в комок на теплом месте, не прильнула к телу. Вошь на плацдарме малоподвижная, белая, капля крови, ею насосанная, просвечивалась в ней насквозь. Та, чернозадая, верткая, про которую Шорохов говорил, что ежели на нее юбку надеть, то и драть ее можно, куда-то исчезла. Наверно, эта оккупантов, белым облаком опустившаяся на плацдарм, прогнала иль заела ту, веселую, хрястко под ногтями щелкающую скотинку.

Голодная слабость, полусон или короткое забытье, затем снова в глазах, будто спичечная головка, торчит осенняя звезда. Лешка лежал возле свежего холма на спине, смотрел в небо, по-осеннему невыразительное, льдистое. Серую его и холодную глухоту, далеко-далеко пересыпаясь, тревожили звезды или пули с ночных самолетов, коротко черкнет по небу светящейся искрой и беззвучно погаснет. Августовский звездопад давно прошел, зерна звезд, как и зерна хлебные с пашен, ссыпаны в закрома небесные и в лари да сусеки деревянные, а это в заполье, на краю неба какие-то обсевки иль такие же, что под Осиповом, заброшенные колосья роняют тощее, редкое семя. Вспомнилось поверье, будто каждая звезда отмечает отлетающую душу — и он, в который уже раз, угрюмо отметил, что человеческие поверья и приметы создавались в мире для мира, и потому здесь, на войне, совсем они не совпадают и не годятся, ведь если б каждая звезда отмечала души убиенных только за последний месяц, только на ближнем озоре, то небо над головою опустошилось бы, и было бы это уже не небо, на его месте темнела б мертвая, беспросветная немота.

С реки наплывал холод, низко опустилось небо, начинал высеиваться пыльный дождик, едва слышно застрекотало по опавшей листве, зачиркало по сухой траве, погасило искорки на небе. Предчувствие белого снега чудилось в невесть когда и откуда пришедшем дожде. Лешка не мог согреться и в норке, полез в блиндаж, забитый народом до потолка.

— Кто там? — спросил из темноты Булдаков. — Ты, тезка? Разбей ящик, который у наблюдателей, в печку надо подбросить.

— Я, однако, заболел. Леха, — принеся дровец и протискиваясь с ними к печке, наступая на людей, произнес Лешка.

— Кабы. — отозвался Булдаков, принимая дрова и хозяйничая возле печки.Тут не болеют, тезка, тут умирают... У меня вон ноги свело — уснуть не могу.

— Робяты! Откуль это покойником-то прет, аж до тошноты, — втягивая носом воздух, спросил из темноты Финифатьев.

— Хоронили мы... в грязе они навалялись — уже запахли.

— А-а, ну Царствие имя Небесное, Царствие Небесное. Как собак, без креста, без поминанья побросали в яму. — Финифатьев всхлипнул, видимо, думая о себе и своей дальнейшей участи.

Стояки, двери в блиндаж, стол, полка — все пошло в печку — скоро уходить из этого рая. Но все же пригрело, распарило. Набившиеся по крышу изнуренные люди, тесно прильнув друг к дружке, слепились, забывшись в каменном сне. Лешку кто-то больно прижал за печкой к железному ящику, на котором еще недавно сиживал и подшучивал над своим связистом обер-лейтенант Болов, ныне маялся, сидя на нем, без сна, топил печку русский боец Булдаков, подгребши ближе к печке тезку своего и давнего товарища по бердскому полку, от которого валил пар, пахнущий мертвечиной, и пикало у него в носу или в горле от простудного, непролазного дыхания.

"Эх, тезка, тезка, и в самом деле заболеть бы тебе — я бы тебя и деда в лодку к Нельке завалил — ты ж сибиряк, в лодке умеешь, я б и тебя, и деда спас... я бы и тебя, и деда... тебя и деда..."

Печка прогорела. Булдаков уснул. И все наутре уснули, только все шуршал и шуршал дождь бережно, миротворно.

На рассвете Лешка сменил Шорохова у телефона. Вся одежонка на нем высохла возле печки, но знобило его и воздух в нос шел, хотя и загустело, с соплями, однако в дырки шел, не застревал. Севером рожденный и закаленный, ободренный сном, проверив связь, Лешка отстранение думал о себе, плавно переходя в мыслях к дому.

"У нас Обь уже стала небось. Октябрь в середине. Пора и здесь снегу быть. Мы тут переколеем. А что Ашота закопали... Может, так оно и лучше. Отмаялся. Надо будет матери Ашота письмо написать. Если отсюда вырвемся, напишу большое письмо".

С левого берега вызвали "реку" — позывная эта как-то сама собой заменила прежнюю, и суждено ей было сохраниться до конца войны.

Сема Прахов, заступив на дежурство, делал проверку телефонных точек. Лешка ответил: "Есть проверка", — и отпустил клапан трубки, слушая то и дело возникающие на совершенно перегруженной линии разговоры, которые, впрочем, не мешали ему ни дремать, ни думать. Соломенчиха явилась и опять насчет звезды с могилы партизана Корнея хлопочет. "Бабушка,

меня дома нету. Я на войне. Звезду сделать дяде Корнею я никак не могу. Вон ребят закопали вовсе без звезды и креста, черенок ломаный от лопаты вбили и все. Оставь ты меня, не мешай дежурить..." Соломенчиха не отступала. "Хох! — сплюнула она на пол, — дежурит?! Спит возле военного телефона!.." — и голосом Семы Прахова заполошно позвала:

— Река! Река! Река! Фу-фу-фу! — дула Соломенчиха в трубку. — Река!

Лешка сделал глубокий вдох, посмотрел на пол, где только что сидела возле потухшей печки, ноги колесом, Соломенчиха, строго произнес:

— Сема! Ночью надо вызывать по-старому, новой позывной не разбудишь.

— Хорошо, хорошо! — обрадованно вскричал Сема. Лешка даже представил, как он обеими руками прихватил трубку, согласно кивал головой. — А я уж думал...

— Боров на свинье думает, — говаривал мой покойный отец.

В полуразобранном, но все еще погребом пахнущем блиндаже было знобко. Всхрапывал уползший на нары к Финифатьеву Булдаков, рядом с ним украдчиво постанывал Финифатьев, скулил беспокойно ординарец майора Утехин. Лешка зевнул и порешил, что, если он, этот человек, и во сне будет бояться — его непременно убьют. Сменить Лешку на телефоне должен Шорохов — так уж повелось на плацдарме, что у двух телефонов дежурит один телефонист. Шорохов забился в глубь нар, ближе к лазу, который вел наверх, где стояла немецкая стереотруба. Совершенно произвольно, мимоходом, не задерживаясь вроде бы вниманием ни на чем, этот человек оберегал себя, устраивал свою безопасность, и спал он сном зверя, крепко вроде бы спал, но при этом отчетливо слышал приблизившуюся явь. Жил ровно, без напряжения, ровно спал. Но, на секунду воспрянув от сна, рычал: "А-а-а, в рот!.." — и отпихивал от себя Карнилаева, вычислителя. "Ат, фрай-ер, к бабе своей липнуть привык! — рычал Шорохов, утягивал голову, руки в шинеленку, но ласковый, нежный Карнилаев полз и полз к живому, теплому человеку, что-то мыча, чмокая губами. — Ты получишь в рыло! — взлаял Шорохов. — Нашел шмару, жмет, лапает, того и гляди засадит!"

Понайотов, привыкший жить в удобствах, не спал, стараясь сохранять тепло, лежал не двигаясь, слушал, как зуммерят и переговариваются сонными голосами телефонисты, чувствовал, что Шестаков, изнуренный переправой, связистской работой, перетаскиванием и похоронами товарищей, изо всех сил борется со сном, хотел, чтоб он скорее дождался пересменки — во взводе управления отмечали этого смуглого паренька с узким разрезом орехово-лаковых глаз, с наметившимися реденькими усами, послушного, исполнительного, но характера строптивого.

Наступил час той расслабляющей усталости, отъединенности от мира и войны, когда все человеческое в человеке распускается, будто в цветке — до последнего лепестка. Час, когда действует разведка и просыпаются повара, моют кухню, наливают воду, делают закладку крупы, картофеля — для варева. Взлетели ракеты одна за другой. "Наша разведка у немцев шарится", — порешил Лешка. Отсветы ракет достигли почти уже разобранного блиндажа. Вот коротким, электросварочным замыканием мелькнуло, замерцало, высветило в кучу свалившихся людей, на мгновение вырвало разложье речки, пологие мысы на ее слиянии с рекой. Еще недавно были они круты, угласты — срубило взрывами мысы, стоптали их, спустили обувью солдаты. Стараясь уберечь свое тепло, Лешка засунул руки в рукава. Печку топить было нечем, да и выходить под дождь, как бы растворившийся в воздухе, кисельно зависший над землей, было выше сил.

Погасла ракета, после нее еще плотнее накрыло теменью все вокруг. Лишь в районе высоты Сто, у Щуся, вдруг испуганно залился дворовой собачонкой пулемет, ему откликнулось несколько пулеметов, — и малого отсвета ракет, пробивающегося под навес и в проем, где недавно еще стояли косяки и двери, хватило, чтобы заметить, что вычислитель Карнилаев не спит. Сполз к погасшей печке, прислонился спиной к земляной стене, смотрит перед собой круглыми очками с ломаной-переломаной серебряной оправой. Жутко от его взгляда.

Пулеметы в районе высоты Сто унялись, зато потревожились Великие Криницы. Стрельба там поднялась. "Хорошо хоть, что успели покойных унести", — подумал Лешка.

— Ты че? — разжал губы Лешка. — Че не спишь, Карнилаев?

Вычислитель не отзывался и не шевелился. Весь взвод управления артполка знал, что Карнилаеву изменила жена, спуталась с военпредом на заводе. Карнилаеву сочувствовали, предлагали не падать духом, дождавшись конца войны, вернуться домой, припрятав трофейный пистолет, порешить любовников на глазах трудящихся автозавода. Можно быть совершенно уверенным — утверждали вояки — ему ничего не будет за такую священную месть. Но были и те, что презирали Карнилаева, прежде всего Шорохов. — "Из-за бабы, сучки, страдать! Вот она, гнилопупая интеллигенция, чего делат!"

Парни-юноши, многие из которых еще даже и не целовались с девчонками, — решительны и непреклонны в своем мужском суде! Они просто воспринимают человеческие взаимоотношения: прав — виноват, начальник — подчиненный, счастье — несчастье...

В общем-то в простоте этой и есть, видимо, суть жизни, остальное домыслы, полутона, плутовство, которыми так ловко люди научились перетолковывать и заменять вечные истины: "Не укради, не пожелай жены ближнего своего..."

"Замечал ли он, Карнилаев, за бабой своей?"

Она еще на втором курсе политеха влюбилась в преподавателя института и забеременела от него. Был студенческий скандал. Борцы за идейную чистоту своих рядов преподавателя согнали с работы. Затем был студент-старшекурсник, инженер-конструктор автозавода, какой-то хохлатый тенорок из оперы и молодой, но уже лысеющий поэт, называвший себя "иником".

Солдатики, конечно же, представляли изменщицу неотразимой красоткой, но она обладала всего лишь кокетливо-игривым нравом, опереточным, даже скорей птичьим, обаянием. И этого вполне хватало для таких простаков, как Карнилаев. Женщина эта твердо знала старую истину: мужчине надо постоянно твердить, что он хороший, умный, что лучше него в ее жизни никого еще не было...

Круглолиценькое существо с недоуменно оттопыренными губками, в кудряшках, небрежно раскудахтавшись, с прирожденными способностями к наукам, болтающее по-французски, впрочем, с ужасным произношением, она еще на первом курсе закрутила Карнилаеву мозги своим романтически-беззащитным видом, но держала его про запас. Когда наступил крах ее личной жизни, она приползла к бедному, голоштанному студенту, подающему большие надежды. Недоучившаяся, с поврежденным здоровьем. Мать с отцом наотрез отказались принять в дом эту, довольно известную в автозаводском районе, особу. И тогда он, очкарик, послушный сын, примерный ученик, саданул дверью родного дома, заявив, что любовь превыше всего.

И вот, спустя всего лишь четыре месяца после того, как он со скандалом и шумом снялся с брони, отбыл на войну, письмо от родителей, сначала торжествующе-злое, затем с мольбой,

чтобы сын не воспринял весть о жене как катастрофу, не впал бы в отчаяние. "Этого следовало ожидать!" — такими словами заканчивалось письмо и знаком восклицания.

Банальная история, мелконькая-мелконькая драмочка по сравнению с тем, что происходило на фронте, что успел повидать и пережить Карнилаев. Зачем же восклицательный знак ставить? Надо посоветовать родителям прочесть стих Константина Симонова о современной женщине и попросить их не забывать, что Бог велел всех прощать и прежде всего заблудшую женщину. Он расскажет родителям про то, как в окопах стираются грани между добром и злом. Зло делается большое-большое — аж до горизонта, добра же совсем-совсем маленько, зеленая поляночка среди выжженного леса — но, чтобы ожил лес, полянку ту надо беречь, ой, как беречь — с нее начнется возрождение всей тайги. Карнилаев умиленно всхлипнул, перешагивая через спящих, вышагнул из-под навеса, долго протирая очки, незряче уставившись за речку Черевинку.

— О, русская земля, ты уже за холмами, — водрузив очки и разглядев дальний, дни и ночи не гаснущий пожар, сказал он.

— Эй ты, поэт, хворостину принеси, — шумнул на него Шорохов, выползший из тьмы менять телефониста.

— Нету. Все сожгли.

— Наломай.

Часовой в отдалении отчетливо сказал:

— Стой! Кто идет?

Оказалось, из батальона Щуся командир роты Яшкин и его сопровождающий боец медленно спускаются к речке, ищут фельдшерицу Нельку. Часовой объяснил им, как идти дальше.

— Тут совсем недалеко, — заключил он. — Не отпускайтесь от ручья.

Взяв автомат наизготовку, — самый глухой час прошел — бойся всякого куста, часовой помог Карнилаеву наломать чащи — возле блиндажа все уже было выломано и сожжено.

Шорохов ворчал — чаща сырая, матюгнул еще раз — для порядка очкарика Карнилаева. Тот был к ругани привычен. На грязном, заплеванном полу, за печкой, натянув воротник шинели на ухо, успокоился очкарик. Переправлялся он позже — берегут ценный кадр, усмехнулся Шорохов, — в шинели потеплее все же, чем в телогрейке до пупа. Печка не разгоралась. Еще раз обматерившийся Шорохов произвел проверку — "Попробуй усни, падла!" — сказал заречному телефонисту и, прислонившись спиной к никого и ничего не греющей земляной стене, отдался отлаженно-чуткой дреме связиста, привыкшего полуспать, полузамерзать, полубдеть, полуслышать, полужить. "Может, пороху натрясти из патронов и все же зажечь хворост, — вяло размышлял Шорохов, — да побудишь всех шумом. Ну его! Бывало и студенее!"

Шорохов чувствовал себя на войне хорошо, ему все время казалось, что вышел он на дело и то лихое рисковое дело затянулось. Не отечественная тюрьма здесь, не советский лагерь, хоть частью себя и своего времени тут можно распоряжаться с пользой для себя, существовать и даже быть независимым хотя бы от окружающей тебя хевры. Не позволять только себе расслабляться, лезть на рожон, не писать против ветра, стало быть, не переть против начальства, — лица от соли не оближешь, сколько его тут, на фронте, особо подле фронта, начальства-то. А в остальном — живи — не тужи, не давай себе на ногу топор ронять, не

соглашайся раньше времени пропасть — вот и вся наука. А ему пропадать нельзя. Он посулился выжить и достать того чубатенького, галифастенького, ласковенького полковника, что не за хер осудил его в двадцать первом полку, считай что на смерть. Много раз, многие мордовороты судили Шорохова, за многие провинности, за многие дела. И сроку набрал он много. И фамилия Зеленцов — была у него не первая, да и Шорохов — не последняя. Никогда у него не возникало желания подняться против темной силы, его сломавшей, корень его надрубившей, но вот чубатенький этот, говорунчик-побрякунчик, соединил в себе все лютое зло, с детства на Шорохова навалившееся, и пока он не наступит на горло, не оторвет тому злу, как болотной змее, седенькую головку — не будет середь людей на земле спокойствия и порядка, по Коле Рындину, — милосердия. Блажной мужик — Коля Рындин, но рек Божье, не то, что эти попки-комиссары: борьба, борьба, борьба… С кем? За что? За кого это они — сладкогласые — бороться-то призывают и заставляют? Для них! Во благо их! Поищите дураков — на Руси их завсегда и на всех хватало.

На родине меж каменьев, на супесных полосках росло жито — колосок от колоска не слыхать голоска, маялась низкорослая, туманами измыленная картошка, едва зацветя, роняла плети, все, что по строгому кремлевскому указу могло походить на кулака, давно уже раскулачено, разорено, выгнано из села Студенец в болота. Жили в этом селе от веку не скотом и хлебом, рекой и рыбой жили. Кулачить некого, описывать нечего — бедняк на бедняке, голь голью погоняет. "Мое дело маленькое. Мне чтоб план по району выполнялся. Думайте, думайте, мужики, иначе вместе к стенке станем..."

Мужики-поморы мудрые придумали выход: явились всем населением к рыбаку-крестьянину Маркелу Жердякову, пали малые и старые на колени: "Маркел, пострадай за народ! Запишись в кулаки. У тебя всего двое робят, и на ногах уж оне..." Дрогнуло сердце Маркела: "Ладно, кулачьте!"

Довольны мужики. Доволен молодой уполномоченный. Загуляли вместе. Мужики по пьянке порешили отблагодарить полномочного человека, указали орлу-комиссару, где прячется отставшая от выселенцев девчонка, малолетка еще, но живая ж, все у нее и при ней по чертежам господним расположено — сгодится. Комиссар выковырял из захоронки девчушку, затащил ее в избу Жердяковых на печь — проявляя бдительность, он вместе с понятым ночевал в избе выселенцев, чтоб ночью не ушли куда иль по реке не уплыли.

Всю ноченьку глумился над девчонкой пьяный комиссарик. Слыша пустынный писк и стон, исторгаемый девчушкой, никто голосу не подавал. Лишь понятой беспокойно ворочался на полу, завистливо вздыхая: "Во, порет контру комиссар! Во как он ее беспощадно карает! Оставил бы хоть понюхать..."

Бабка, молившаяся во тьме, не выдержала, заквохтала: "Отольются, отольются вам, супостатам, и эти невинные кровя и муки..." Комиссар как аркнет с печи: "Какая гидра пасть дерет?" — и для изгального куражу, не иначе, ка-ак из нагана жахнет! Полыме сверкнуло, горелым порохом запахло. Тут уж все, даже и понятой, перестали шевелиться, и старуха заткнулась.

Утром ссаживали Жердяковых на подводу, мать и бабушка давай народу прощальное слово кликать, за что-то просить прощение. Комиссар стоял на резном крыльце с уже кем-то в щепье искрошенными резными перильцами, курил, плевался, яйца, слипшиеся от девичьей крови, неистово царапал, поскольку был он дик и ни о чем, в том числе и о половой культуре, понятия не имел, зато в политике дока — по его наущению до самой поскотины студеницкие подростки и деревенский дурачок Ивашка гнались за подводой, били каменьями выселенцев Жердяковых:

"Бей их, бей кулачье! Бей кр-ровососов!.." — вослед неслось.

Не подходил ни по возрасту, ни по облику мезенский уполномоченный Анисиму Анисимовичу, да и загинул он где-то, сотворив много преступных дел на родной стороне. Может, его в конце-концов расстреляли свои же комиссары — за "перегиб"? Может, мужики где-то пришибли, может, он дурную болезнь подцепил и сгнил в заразной больнице. Бессмертный лик этого злодея соединился с черной толпой тех, кто гнал, судил, расстреливал, избивал, надсаживал на непосильных работах руссский народ.

В дальнем-предальнем углу памяти отпечаталось: бежит он, Никитка Жердяков, по болотистому, вязкому следу за подводой, заплетаясь в кореньях, падая в торфяную жижу, а отец настегивает коня. "Тя-атя! Тя-а-аа-тенька-а! Я-то... Я-то... забыли меня-то-о-о-о". Мать отворачивалась, закрывала полой дождевика голову сестренки; дед с бабкою дырами шевелящихся ртов выстанывали: "Храни тебя Бог, Никитушка-а-а! Храни тебя Бо-ог!" — Так и уехали, исчезли за лесистым поворотом родные его навсегда. Он же все бежал, падал, бежал, падал... Его подобрали рабочие торфозаготовительного поселка, дали ему в руки лопату — зарабатывай себе на хлеб и строй социализм. Было ему тогда четырнадцать. Ныне уже под тридцать, но нет-нет и увидит он во сне, как бежит по болотистой дороге за подводой и никак не может ее догнать, дотянуться рукою до телеги, до родных своих людей.

Два года он строил социализм, потом ему надоело это занятие, надоела борьба за всеобщее счастье. Добывать его лично для себя было куда интересней и ловчее. Он оказался среди бывших зэков-блатняков, вербованной хевры, которые и составляли основное население индустриального предприятия, возводящего здание социализма.

И пошло-поехало: тюрьма, этап, лагерь и новое, передовое индустриальное предприятие, только уж под охраной и по добыче угля каменного. Побег, грабеж, первый мокрятник, не очень ловкий. Снова кэпээз, тюрьма, лагерь, предприятие индустрии, на этот раз потяжельше — добыча золота на Колыме. К этой поре Никитка Жердяков сделался лагерным волком, жившим по единственно верному, передовой системой созданному закону: "Умри ты сегодня, а я завтра..."

Жердяков, Черемных, Зеленцов, Шорохов — прижился в лагерях, как дома себя чувствовал, выпивку, жратву имел, порой и маруху. В одном лагере умельцы подкоп сделали, по веревочным блокам из женского лагеря марух таскали и пользовались до отвала, расплачиваясь за удовольствие пайками.

Продал ухажеров один "активист". Нарушилась половая система. Активиста того, как Иисуса Христа, к бревну сплавными скобами прибили и вниз по течению реки пустили. За две пайки хлеба, за спичечный коробок махры, за флакон политуры Никита перекупил место на нарах, номер и фамилию Черемных. Там, в блатном мире, то же, что на войне, — все время настороже и в напряжении держись, на войне есть где и чего унести, но, если не совсем дурак, лучше всего к "патриотам" примазаться, однако против этого восставала натура гордого зэка — не хотел нигде быть дешевкой и все тут. Шорохов считал, что живет умней и содержательней всех этих "патриотов".

В штрафной роте Шорохов участвовал всего в двух боях. Он в первой атаке сообразил, что тут долго не прокантуешься, во второй атаке уже подставился, и фриц — меткач, дай ему Бог жизни и здоровья, всадил пулю будто по заказу — в бедро, не повредив кость. Кровищи много вышло — для искупления вины невиноватому человеку вполне достаточно. Перевязал сам себя Шорохов — лагерный же волк — сам умел управляться с собой, пополз в сторону санитарного поста, не забывая в пути обшаривать убитых. Тогда-то, на поле брани, он и надыбал

архангельского парня по фамилии Шорохов, по имени Емельян, по отчеству Еремеевич, его, Никиты, года рождения. "Прости и прощай, Емеля!" — на санпост Зеленцов явился уже Шороховым. Память крепкая, голова ничем посторонним не забита, он никогда не сбивался, начисто забывая свою предыдущую фамилию и всякие прочие биографические данные.

У него одна цель: выжить и достать, во что бы то ни стало достать того трибунального соловья. Емеля Шорохов сладостно замирал в себе, явственно видя, как он всаживает свой косарь во врага своего. Немца вон заколол, как барана,ничего, никаких чувств и печалей не испытал. Но того выжигу, доморощенного пророка, он, когда припрет, точно знает — запоровши, получит избавление от тяжести, что роженица, или удовлетворение вровень тому, когда он еще на торфяном участке смял девчонку. Она хныкала, обтираясь общежитским казенным полотенцем, а в нем все торжествовало, пело-заливалось — такое ли настроение его охватило, удовольствием это называется, совершенно правильно, между прочим, потому как лучше ничего не бывает.

Беда не ходит в одиночку, беда, как вода, откуда и когда хлынет — не угадаешь.

Немцы обнаружили-таки связь, проложенную с берега к высоте Сто. Щусь и то дивился, что немецкие связисты до сих пор на нее не напоролись. И засекли они русских нечаянно, исправляя порывы и подсоединившись к чужому концу. По линии шел ликующий треп по поводу взятия высоты и разгрома штаба дивизии в Великих Криницах. Дотрепались! Доблагодушествовали! Допрыгались! Немцы теперь перещупают все нитки связи, вычислят ту единственную, нагло проложенную частично и по тем оврагам, где проходит связь противника.

Комбат предупредил командира полка и Понайотова, что на день связь будет отключена и подключаться батальон сможет только в случае крайней необходимости, на короткое время. Ночью же, пока лежит связь, надо переделать все дела, со всеми переговорить, все уточнить и, главное, спровадить с передовой этого хилобрюхого героя — чего доброго умрет в окопе своей смертью — вот диво-то будет.

x x x

Нелька Зыкова сидела на камешке возле воды, в шинеленке, кем-то из раненых накинутой на ее плечи, сушила своим телом мокрое белье и гимнастерку, сбросив безрукавку и ремень с пистолетом на колени. Лодка опрокинулась недалеко от берега, почти всех раненых удалось выловить и вытянуть на берег. Несчастные эти люди позалезли обратно в норки, выли там от боли, холода, безнадежности. Пока возились с ранеными, бегали взад-вперед, орали, матерились, лодку отбило на стрежь, потащило вверх дном. Немецкий пулеметчик, затаившийся на яру, продырявил пустую лодку в решето.

Увидев Нельку, одиноко, будто Аленушка, сидящую на камешке, Яшкин отослал сопровождающего, подошел, сел рядом:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте. Вы кто будете?

Яшкин сказал, кто он и откуда. Нелька, не открывая глаз, поклацывала зубами.

— Мне Алексей Донатович про тебя говорил. Че ж ты? Героизмом хочешь родину потрясти, так она у нас и без того до основания потрясенная.

— А мы ведь с вами знакомые, Неля. Давно. Да все не было случая разговориться.

— Вот как?! Не на танцах?

— Нет. Какие уж там танцы.Володя Яшкин рассказал Нельке про окружение под Вязьмой, про то, какой был ад, когда прорывали кольцо. — С вами еще девушка была, Фая, по-моему.

— Она и сейчас со мной. Она и приплывет за нами. Она не бросит. — Неля со свистом втягивала воздух, ежилась. — Земной шар все же круглый — нет-нет да и повстречаю своих крестников на боевом пути. — Она покосилась в его сторону: — Раз я тебя спасла, помоги и ты мне, обними, к себе прижми, а то я скоро окочурюсь.

Яшкин послушно расстегнул шинель. Она почти вся вошла в ее просторы. Сверху набросили вторую шинель. Обняв лейтенанта, жмясь к нему, Нелька разочарованно уронила:

— Телишка в тебе… Но всешки маленько греет.

Яшкин хотел сказать или спросить, отчего она не залезает в норку к солдатам иль не уйдет в блиндаж, но тут же понял, что она не хочет огрести вшей. В блиндаже Шорохов-связист или тот, забулдыга Булдаков, непременно полезут с разговорами, а то и лапой в штаны. С сорок-то первого года на фронте маящуюся, ее уже вдосталь налапали, грязными ногтями исцарапали, обтеребили, словно цыпушку…

Чуть угревшись, Нелька задремала, благодарная лейтенанту за то, что он ее воспоминаниями больше не тревожит. Не хочет она никаких воспоминаний, устала от них. Дождаться бы скорее подругу — это главное на данном этапе войны. Фая — ее жизнь, ее сестра, ее надежда, опора, как и она Фае.

В сорок первом, с дней окружения свела фронтовая судьба девушек и развела лишь один раз, когда Нельку ранило под Сталинградом. Фая держалась все время поблизости, затем они без особого труда объединились.

Нелька Зыкова происходила из рабочей семьи, отец ее работал в прославленно-революционном месте — в Красноярском паровозном депо, котельщиком, ремонтировал и очищал от накипи паровозные котлы. Чего уж он с этими котлами утворил — ни за что не угадаешь — там и вытворять нечего, антикипин, в который входит каустическая сода и дубовая кора, даже не воровали — никуда сей химический элемент непригоден. Может, котел хотел взорвать работяга? При выходе из депо, через деповские ворота локомотив выпускал пар пеногасителем, и тут бы машине взорваться, но бдительные органы не допустили того чудовищного акта, целый выводок деповских деятелей и работяг загребли и немедля расстреляли за военным городком, возле скотом отоптанной речушки Бадалык. В семье котельщика Зыкова велись одни девки, четыре штуки, да еще пятая женщина — мать, Авдотья Матвеевна. Верховская родом, значит, с богатых верховьев Енисея, — она вместе с молодым мужем на плоту приплыла в краевой город в поисках работы в начале двадцатых годов, и после долгой маяты молодой муж был взят на работу распоследней категории — мойщик котлов. Лишь обретя опыт, одолел Зыков следующую ступень квалификации, стал ремонтником тех же котлов. Может, и до слесаря высокого разряда дошел бы, но не сулил Бог мужику продвижения по службе, Он вообще к русскому мужику строговато относится — чуть русский мужик начнет жизнеустройство, чуть взнимется в гору — бац ему подножку и — в яму его.

Ни в железнодорожном поселке, ни в самом депо, ни тем более среди населения железнодорожного барака номер четырнадцать никто, конечно, не верил, что вредителем мог быть зачуханный котельщик Зыков, никакой материальной, тем более идейной ответственности не несущий. Мечту в жизни имел он только одну — сделать своей Авдотье

парнишку, потому как девок в депо на работу не берут — нет там подходящей для них профессии. Его и хватило-то на решение лишь единственной дерзкой задачи — напившись, по подсказке врача Порфирь Данилыча, жившего с семьей в соседней комнате, назвать новорожденную девку именем Нелли. Впилось это имя, в какой-то книге вычитанное или в песне услышанное, в башку крестного отца, клещами не выдирается. Уж и поплакала жена: "Нарекли девку яманным именем!" (яманами в Сибири зовут коз.) И уж поизводили дочь котельщика в школе и на улице под названием Индустриальная. Но после гибели отца времена пошли суровые, обиды запоминать часу недоставало. Девок, что крепче телом, Надьку и Нельку, мать из школы забрала, запихала их в огород. Зинка, самая старшая из дочерей, рано поступившая на завод, держалась от семьи на отлете. И поныне у Зыковых за путями, на склоне горы Николаевской, тот огород — беда и выручка семьи. Лет пять возили девки перегной на тачке, назем — на санках из поселка Базаиха, что за рекой, — там материна сестра жила, корову держала. Возят, возят, нарастят рожалый слой земли на крутом склоне, а его смоет ливнем в одночасье. Научила нужда, построили огород ступенчато, измученная городская земля безотказно кормит зыковское семейство овощью. "Горшок из-под девок еле подымешь", — говаривала матушка, дай ей Бог не убавиться здоровьем.

Авдотья Матвеевна еще и подторговывала у поездов; редиской, луком, укропчиком, картошки вареной с груздями вынесет либо вареники. Сама хозяйка была неграмотная, и в ней, как и во многих русских отсталых бабах, жила неистребимая мечта: во что бы то ни стало хоть одну девку вывести в настоящие, в культурные люди. Ради осуществления этой затеи не щадила она ни себя, ни девок. Конечно, по деревенским активисткам Авдотья Матвеевна видела — бабе грамота и лишняя умственность вредна, от нее разлад в голове и в бабьем организме. Но младшеньку-то, Гальку, все-таки хорошо бы до института довести иль хоть до техникума, мастерицей бы швейной сделалась она, всех бы Зыковых обшивала и себе белый хлеб добывала. За ради карьеры младшенькой дочери мать готова была до костей уездить старшенькую — очень уж нежная у них младшенькая, белокуренькая, в школе отличница, в пионерлагерях — активистка, ее на слеты, на соревнования разные посылают, несмотря что дочь врага народа. Хиленькая с виду, но хитренькая, Галка без мыла залазила куда надобно, еще в школе записалась в кружок кройки и шитья. Старшие девки земляной и грязной работой Галку не неволили, ворочали сами — ничего с ними не станется, здоровые кобылищи, считала мать и делала вид, будто не знает, что на кройку и шитье младшенькая записалась для отводу глаз, сама же к музыке устремилась и девки тайно копят деньги на какой-то "струмент".

Самая крутая нравом и ладная телом в семье была девка с нежным именем — Нелли. На ней и ездили, ею и помыкали, поэтому в ней раньше других зыковских девок вызрело чувство самостоятельности, норовистой-то она была с рождения, остальное все уготовила ей жизнь, закалила, укрепила и определила ее будущий путь, мать бы его распроэтак, путь тот. Одно лишь послабление было Нельке в семье — мать разрешила ей носить косу, сама когда-то мечтала о косе, и волосы у нее были подходящие, да в этой жизни аховой до волос ли? Остальным девкам мать категорически заявила: "На всех мыла не напасешься!"

Четырнадцатый барак облупленным торцом выходил на улицу Ломоносова, в конце той улицы, у самого железнодорожного моста, стояла старая кирпичная больница. В больнице той врачом служил Нелькин крестный Порфирь Данилович, типичный выходец из мелкобуржуазной среды. В очках, в галошах, в молодом еще возрасте он надел шляпу. Любил выпить. Пока соседа Кирюшку Зыкова не ликвидировали, выпивал он с котельщиком-пролетарьем. Авдотья Матвеевна ненароком заглядывала в комнату врача, мыла пол, стирала, поливала цветы, выхлопывала одежду. Все эти занятия постепенно перешли по наследству крестнице Порфирь Даниловича. Как и всякое дитя из напуганной, растоптанной семьи, Нелька старалась всем угодить, старших слушаться и делать любую работу, не ропща, укрощая натуру свою, укрощая

и страсти, рано давшие о себе знать. Исполнительная, но нелюдимая девчонка — такой ее знали дома и в людях, такую и терпели.

Порфирь Данилович — человек благодарный и внимательный, человек культурный, получив квартиру в итеэровском железнодорожном доме, женское поголовье Зыковых не бросал, помогал чем мог, поэксплуатировал крестницу в больничных уборщицах, затем к долгожданному палатному делу приставил. Она, как и ее папаша, начала трудовую карьеру с мойщицы, только папаша мыл паровозные котлы, а она — больничные коридоры, палаты, нужники, судна и другую посуду, сразу-то все и не упомнишь, чего девка мыла, скребла. Подросла, окрепла — к больным допустили, ухаживать за ними дозволили, но и судна, и утки не забывать выносить, мыть, подбирать, вытирать в палатах и из-под больных.

Все вытерпела Нелька и дождалась-таки своего часа — послали ее на скоротечные курсы медицинских сестер, она же, спасибо Порфирь Даниловичу, все уже про медицину знает, все по-больничному умеет, училась легко, с удовольствием, на танцы бегала в парк, дружить с парнями стала, а парни из предместья, известно, как дружат, — раз-раз — и на матрац. Явилась к матери в слезах. Та ее для начала отлупила, потом брюхо потерла, сказав: "Учись сама массажу, мне недосуг — вас четверо..."

Ах, Порфирь Данилыч, Порфирь Данилыч! Знал бы ты, крестный, куда заведут крестницу пути-устремления, может, за руку не вел бы дитя неразумное, в спину не подталкивал на курсы те медицинские... Сидит вот она на смертельном бережку, мокрая, испростывшая, доходит на плацдарме, про который, гуляя перед переправой, кто-то из господ офицеров, отлично учившийся во всех умных заведениях, патетически шпарил из военного словаря: "Плацдарм — по-французски place darmes, есть укрепленный и подготовленный район для развертывания войск с целью перехода в наступление на противника, и еще — это территория, используемая каким-либо государством для подготовки нападения на другое государство и в качестве операционной базы — для развертывания военных действий против этого государства".

"Пляце де армес, — ежится Нелька,напридумывали, засранцы, красивых слов, сюда бы вот вас, на это пляце де армес!.." — Не приплывет Фая на последней, на упочиненной, как обуток советского колхозника, посудине, возвращаться ей вместе с дохлым этим ее крестником в батальон Щуся — там раненых дополна. Утром немцы, — говорил капитан, — непременно высоту отбивать начнут, раненых прибудет, а они, раненые, ей до смерти надоели за три-то года — грязные, окровавленные, в гное, в говне, во вшах, в глаза по-собачьи преданно глядят, руки к ней, как к Богородице, тянут... — "Ах Порфирь Данилыч, Порфирь Данилыч... знал бы ты, сколько таких вот "пляце де армес" я уже перетерпела, сколько дорог прошла, какие муки человеческие, какую кровь повида-а-а-ала! Оскорблений, гадости, мерзости сколько вытерпела..."

Попала вот зимою под Сталинградом в госпиталь — мест, конечно, нет, для женщин и вовсе непредусмотрено, — их как-то не догадывались предусмотреть, видно, считали, что без баб на войне обойдутся. Сунули ее в коридор, за старинную этажерку с ширмой, на шелке которой нарисованы китайские мамзели с зонтиками, камыши и взлетающие птицы. Топот, гогот, срам за этажеркой. — "А-а, пэпэжэ! А-а, проблядь!.. А-а, офицерская подстилка! А-а..."

Выскочила раненая, припадочно брызгая слюной, костылем публику лупцевать начала, всех подряд: "Я же вас, говнюков, я же вас спасала!.." — Зауважали ранбольные поврежденную бабу, да нет, не ее зауважали, костыль зауважали, курить приносили.

"Ах, Порфирь Данилыч, Порфирь Данилыч, все надоело-то как!.." Давно бы надо воспользоваться многими патриотками проверенным средством — забеременеть и на улицу

Индустриальную податься. Матушка Авдотья Матвеевна, конечно, рогачом встретит, да она, Нелька, кое-что и пострашней рогача видела. Стерпит Нелька. Мать приветит, куда ж ей деваться-то? Да еще сестрицы дома, старшая, Зинка, замуж выскочила, и, слава Богу, вроде бы удачно. Младшая, Галка, все еще на музыкантшу обучается, подрабатывает уже. Надежда, лямку от Нельки перенявшая, тащит семейную баржу, как бурлак. Нелька тоже не без рук — опыт работы большой имеется, больница рядом, Порфирь Данилыч еще жив, в беде не оставит. Но куда же девать Фаю?"

Фая, Фая! Что за участь, что за доля у девки? Миленькая, тоненькая, лицом похожая на сестрицу Галку. На бледном том лице как-то по-особенному печалятся, никому неведомым горем светятся ее прекрасные глаза, от печали той сделавшиеся беззащитными, такими овечьими, что стон берет. Фая несла, скрывала от всех людей жуткую тайну: она была волосата, иначе, как Божьим наказанием, это не назовешь. Выросло на человеке все, чему на человеческом теле расти надобно, но сверх того покрыло человека еще и звериной шерстью. Будто вторую шкуру надел на Фаю Создатель. И так ли аккуратно это сделал Мастер Небесный: вверху — до шейки, нежной девичьей шейки, волосьями покрыл и до щиколоток зарастил тело внизу. Беспечные родители ее, артисты кордебалета областной оперетты, играли с девчушкой, называли ее "наша обезьянка". Фая и сама как-то несерьезно относилась к своему физическому непотребству, с детства научилась скрывать "свою шкуру", думала, на войне, в куче народа совсем скроется, потому и подалась прямо из школы на курсы медсестер, затем прямиком на фронт, под большим пламенем объятый древний город Смоленск.

На нее навалились вши. Они плодились, кишели в густой шерсти, съедали человека заживо, безнаказанно справляя кровавый пир. Тело ее покрывалось коростой, промежность постоянно кровоточила, она не могла ходить, но ходить, даже бегать, было необходимо — началось отступление от Смоленска, стремительно обращающееся в паническое бегство.

На каких-то, чуть укрепленных позициях Фая, почти уже сошедшая с ума от страданий и бессонницы, заползла в командирский блиндаж, упала на земляные нары, застланные чем-то мягким, и умерла в каменном сне. Очнулась Фая от страшной, раскаленным железом пронзившей ее боли. По-собачьи рычащий мужчина возился на ней. Она подумала, что это тот самый пожилой командир. который работал над картой в углу блиндажа, при свете коптилки, и на вопрос: "Можно мне?.." — кивнул головой: "Можно". "Да я же грязная, товарищ командир, не знаю вашего звания, — взмолилась Фая,у меня плохо там... потом, пожалуйста, потом..."

Мужчине с осатанелой плотью немного и надо было. Он свалился с нее, будто бы со стога сена, и захрапел. Подтянув женские пожитки, полные крови, вшей и грязи, Фая выползла из блиндажа на карачках, потащилась по проходу в траншею, припоминая заминированное поверху место. На нее наступил сапогом и растянулся спешивший куда-то ротный старшина Пискаренко. Лежа на ней сверху, щупал, спрашивал: "Хто цэ, хто?" Фая попросила у него наган. Он был опытный вояка, понял что к чему, оружия ей не дал, увел в темную землянку, выгнал оттуда весь народ, дал ей водки и, когда она отключилась, намазал ее из банки керосином.

Старшина Пискаренко, Хома Хомич, Царство ему Небесное, надолго сделался ее "шехвом". Неподходящее для окопов существо — женщина, и, пока это существо соберет всю вековечную мудрость и хитрость до кучи, приспособится жить в аду, ой, как настрадается.

Вместе с солдатами наелась чего-то Фая, недоваренной конины, что ли, может, и дохлой, — всю ближнюю армию пронесло, бегают кто куда бойцы свищут. Но куда же девушке деваться? Ее шехв — старшина Пискаренко, Хома Хомич, велел перегородить с одной и с другой стороны траншею плащ-палатками: "Хто будет подслухивать, реготать — собственной рукой, из

собственного нагана..." — предупредил он. Лаская Фаю, поглаживая, называя; "кошечка ты моя лохматенькая", вздыхал Хома Хомич:

— Тоби надо, Хвая, с хронту тикать. Я ось тоби дытыну зроблю, и комысуйся на здоровьячко...

— Да как же я такая в больницу-то, Хома Хомич? Вдруг ребенок наш волосатенький получится?..

— Да, цэ трэба обмозговаты...

Но на мозги старшина Пискаренко не шибко был поворотлив, и, пока "обмозговывал", убило его.

Заменил старшину Пискаренко тоже старшина, грузин по национальности, из Сванетии, с диких гор. Ему было все равно, что женщина, что ишачка. Фая забеременела от горячего грузина. Неля, бывалая медсестра, боевая верная подруга, в окопных условиях сделала Фае аборт примитивным, зверским методом, которым пользовала себя и барачных баб Авдотья Матвеевна, передав свой навык дочерям: намылив живот, массировала его, проще говоря, постепенно и беспощадно выдавливала плод из женского чрева. Нелька узнала о Фаиной беде, о Божьем проклятии этом, и сделалась ей защитой и опорой, лютовала, обороняя подружку от мужиков, и кто-то из интеллектуально развитых грамотеев, понаблюдав уединяющихся, шепчущихся и что-то тайно делающих девушек, пустил слух:

— Живут, твари, друг с другом, по-иностранному это называется "лесбос".

— Да что же им, паскудам, нашего брата не хватает?! Кругом мужик голодный рыщет, зубами клацает!..

Терпи, девки, терпи, слушай, как поганец, какой-нибудь сопляк, бабу в натуральном виде не зревший, который, быть может, завтра будет хвататься за ноги, за юбку, крича: "Сестрица! Сестрица!.." — орет сейчас во всю нечищеную пасть: "На позицию — девушка, а с позиции — мать, на позицию — целочка, а с позиции — блядь..."

— 0-ой, Нелечка! Я думала, ты погибла! — спрыгнув в воду с еще не ткнувшейся в берег лодки, закричала Фая и с плачем бросилась к подруге. — 0-о-ой, Нелечка!.. Мне говорили, лодка опрокинулась, все перетонули...

— Уймись! Уймись, говорю, — сипло воззвала Неля. — Спиртику. Дай спиртику иль водки мне и лейтенанту.

— Есть! Есть! Я прихватила! Я догадалась! — сбегала к лодке и, на ходу развинчивая пробку на зачехленной фляге, частила Фая: — 0-ой, Нелька! — снова припала к груди Фая. — Ой, моя ты хорошая, ой, моя ты миленькая! Живая! Живая! — и руками шарила по подружке, ощупывала ее. — Ох, да ты вся-вся сырая...

— Лейтенант грел, да грева от него, что от мураша. Мы с лейтенантом на гребях греться станем, ты на корму, четырех человек в лодку. И ни одного рыла больше! Накупались! Хватит! — властно скомандовала Нелька какому-то замурзанному чину с грязной повязкой на рукаве, распоряжавшемуся на берегу эвакуацией раненых.

Выорал все-таки "художник" Бескапустин кое-что: переплавили сотню бойцов, совсем не боевую, с миру по нищему собранную, патронов несколько коробок и гранат ящиков пять, да сухарей, табаку и сахару, помаленьку на брата. Не от пуза, но с водой, с ключевой,

поддержаться можно.

Щусь поручил своему заму Шапошникову заняться распределением харчей, сам залег в глубоком, крепко крытом блиндаже, отбитом у немцев, понимая, что блаженству скоро наступит конец. Утром уязвленные немцы полезут на гору — так повелось уж в здешнем войске звать горбато всплывшую над местностью высоту. Сначала он еще слышал, как Шапошников распоряжался на улице, потом забылся, но еще какое-то время сквозь дрему улавливал, что происходит с батальоном. Привычка. Полужизнь, полусон, полуеда, полулюбовь. Слышал Щусь от трепачей-связистов, что на реке опрокинулась лодка с ранеными. Жалко, если Нелька утонула. Девка она ничего, и характером, и телом боевая. Надо было взять ее с собой в батальон. Скрылись бы в блиндаже этом, да уж распередний же здесь край передний, народ все время в окопах и по оврагам толкается, немцы колотят беспрерывно, вдруг подстрелят девку, а оно вон как вышло...

— Вам сказано — часть патронов и гранат в запас оставить, а то порасстреляете спросонья, потом что? — Шапошников, доругавшись, возвратился в блиндаж, влез на нары, толсто застеленные соломой, — всего у немца всегда в достатке, даже соломы.

Спасибо хитрому Скорику за Шапошникова — не стравил парня. После расстрела братьев Снегиревых не отослал в срок бумаги в округ, затем началась суета с формированием маршевых рот. Под шумок и Скорик куда-то слинял, бумаги или потерялись, или их вовсе не запрашивала военная бюрократическая машина. Вечный наш бардак помог сохранить Шапошникову и звание, и честь, да, пожалуй, и жизнь. Сам-то Шапошников решил, что это его Щусь отхлопотал, верный друг и боевой товарищ. Ах, парень, парень! Да положили они, судьи и радетели наши, на твоего Щуся и на тебя тоже все, что могли положить. Повезло — вот и вся арифметика. Братья Снегиревы на небе, видать, сказали кому надо, мол, порядочный, добрый человек этот наш командир роты Шапошников, хотя и среди зверья живет, вот и дошла их молитва до Бога — невинные ж ангелы-ребята, их слово чисто.

Утихает в траншее всякое шебутенье, лишь часовой кашляет, сморкается, простуженно сморкается, продуктивно, соплей о каску врага шмякнет — оконтузится враг. Телефонист Окоркин, сидящий у входа, дорвался до табачку, беспрестанно смолил, сухари грыз, потом опять курил, после, как водится, задремлет, распустит губы и тело, обвоняет весь блиндаж. Бывалые связисты — те еще художники! Умеют всякое действие производить тихой сапой. Выгонять из помещения начнешь — нагло таращатся — "да я, да чтобы..." — и непременно на писаря сопрут — древняя, укоренелая неприязнь связистов к писарям, трудяги-связисты считают, что у писаря работа конторская, легкая, повар кормит писаря густо, по блату, девки ублажают. Связист же, как борзой пес, всегда в бегах, из еды — чего на дне останется, девки на него, на драного да сраного, и не глядят, командиры норовят по башке трубкой долбануть, поджопник дать — для ускорения, — осатанеешь поневоле. Поскольку с товарищем командиром в конфликт не вступишь — себе дороже, то писаря-заразу и глуши — он по зубам.

— Да не сплю я, не сплю-у-у-у! — тихо, чтоб не мешать товарищам командирам отдыхать, отругивался телефонист Окоркин. — Сам не усни.

Начинается треп насчет какой-то пары, которая почти всю ночь сидит на камушке, и лопух-лейтенант никуда фельдшеричку не манит.

"Яшкин и Нелька", — решают бойцы и командиры в блиндаже, значит, живая девка — и хорошо, что живая, народу она нужная, да, может, и им пригодится еще. О какой-то любви к батальонному командиру говорить — только время тратить. На славном боевом пути этих любовей у Нельки — что спичек в коробке. Он к Валерии, к Мефодьевне, Галустевой

привязался, присох и прочно, видать, думает о ней, тоскует.

Конечно, с Валерией трудновато. С налету вроде бы тяп-ляп и в дамки. Но вот из госпиталя приехал — совсем другой настрой и стратегия другая: она уже приняла директорство у Ивана Ивановича Тебенькова, совсем расхворавшегося, остаревшего как-то разом. Родовое село Валерии называется Вершками. Он с первого-то раза не потрудился ничего запомнить. Осипово как-то само собой в голову вошло, да и ребята, нечаянную радость познавшие, всю дорогу талдычили: "Осипово, Осипово".

После многолюдствия, окопов, госпиталя Щусь долго приходил в себя в этих самых Вершках, в окно глядел, ждал кого-то или чего-то — не идет ли по дороге войско, рота его клятая-переклятая. В землянку б ему из-под докучливого взгляда Домны Михайловны и распалившейся от запоздалой любви, в игривые, нежные чувства впавшей Валерии Мефодьевны, к братве бы фронтовой, чтоб коптилка дымила, чтоб кружка звякала, шум, анекдотец, песенка насчет баб и любви случайной, вальсок какой-нибудь о нечаянной встрече. "Все я угадала, Алексей Донатович, ай нет?" — посмеивалась, дурачилась Валерия Мефодьевна.

— Больно уж догадлива ты, дева! — усмехнулся Щусь, вскипая в себе: "Ни хрена ты не знаешь, мадама начальница, — песенка, анекдоты! Насмотрелась героических советских кинолент, позасирали вам мозги..." Но, в общем-то, ссориться им было некогда. В ту короткую, первую встречу в Осипово притереться-то друг к другу они не успели, теперь наверстывают. Делать по двору и дому товарищ офицер ничего не умел, да его особо и не неволили, да и Валерия, чуть чего — коршуном на своих: "Он после окопов, после госпиталя, раненый, избитый, усталый..."

Ездил, правда, раза два за топливом в лес, пилил с братом Валерии дрова, привозил и задавал скоту сено. Валерия для начала вышутила его — как и все неумехи, он пялил хомут на морду лошади книзу клячем. "Уронишь коня-то!" — скалилась белозубо. И она же, умница, наказала Василию по дрова в Троицу съездить, сообщено было капитану — дом Снегиревых занят, от самой Снегиревой никаких вестей не было и нет. Щусь постоял возле дома Снегиревых, Василий шапку снял и поклонился дому, Щусь следом за ним шапку снял и поклонился дому.

— Чисто вьюноши! — загорюнилась Домна Михайловна.Одна за книжечками просидела, в поле да на пашне молодость извела, другой в мундирах промаршировал. Теперя наверстывают. То-то, наша-то дворянка уже и позабыла, што замужем была, о ребенке не напомни — не встанет, все у ахфицера на коленях бы лепилась. Я и не знала, што она экая! И в кого?..

— В тебя, мамочка, в тебя! — беспечно-веселая, с волосищами, до заду распущенными, в халате, едва застегнутом, шалая, беспутная, буровила дочь и все бродила, шарилась по избе да по кухне, норовя что-нибудь на ходу слопать, особо огурца соленого, иль грибов, иль капусты, без вилки-ложки, лапищей прямо гребет...

— Тошно мне! — хваталась за голову Домна Михайловна. — Робятишек натаскаешь. Че делать будем?..

— Растить, мама, растить да любить!..

— Вот и поговори с ей, окаянной, — будто с цепи сорвалась.

— И сорвалась! С цепи, к которой сама себя приковала, — уж больно деловая была, вот и пропустила юность, молодость. Стыд сказать — танцевать не умею. К мужчине с какого боку ловчее подвалиться да приласкаться — не знала, ничего не знала, ничего не умела.

Тогда еще, в сорок втором, в Осипово, при нашествии войска во главе с бравым командиром уяснила она, наблюдая девчонок, разом воспрянувших от музыки-баяна, девчоночьи шепотки, визг, смех, записочки, ревности — все-все вдруг уяснила и оценила. Как уходило войско за край села и след солдатиков простыл, лихой этот налетчик-командир, сапожками щелкнув, тоже утопал, она ночью стонала: да что же это она? Да почему такая правильная? Зачем такая она? Кому нужна? Так бы и бросилась вдогонку, так бы вот и обняла эти изветренные мордахи парней, обляпала бы губами. Всех.

Когда Иван Иванович Тебеньков, хитро сощурясь, сказал, что "наше-то войско" сосредоточилось перед отправкой в Новосибирске и ейный хахаль-офицерик "с имя", она даже не обиделась на хахаля, не до того было, скорее подводу, скорее по деревушке — собирать гостинцы и приветы. После ухода ребят на фронт приутихла, померкла, вовсе заперлась начальница — контора, поле, дом, ребенок. "Конечно, начальницей совхоза в военное время быть, — рассуждала Домна Михайловна, — не до игрушек. Но вон бабенки, которые побойчее, и даже об эту пору урвут на ходу, на лету чего-нито из удовольствия-продовольствия..."

Кавалер письмами не баловал: одно с дороги, коротенькое, одно уж перед самым сражением — подлиньше, затем из госпиталя написал да как написал — поэма, ода, роман!

— Мама! Мама! — налетела Валерия Мефодьевна на Домну Михайловну. — Алексей объявился! Ранен. В госпитале.

— Да ты спятила, девка! — отбивалась от дочери опешившая мать. — Человек в боли, в крове, а тебе, дуре, — радость! Не оторвало ли у него че важное?..

— Ничего не оторвало. Ранение под лопатку, осколочное, проникающее, легкое задето... Ой, и правда, мама, чего это я! — и уже через час: — Я к нему поеду! Все! Решено!

— Куда поедешь-то? На кого совхоз бросишь? Ребенка? Хозяйство? Мать?..

— Поеду и все! Никто меня не остановит!.. — но куда ехать, все же не знала. И не поехала.

Тем временем пришло второе письмо, более обстоятельное и ласковое, даже слово "тоскую" в него просочилось, намек в письме содержался, что, возможно, по излечении его отпустят на отдых, а куда ехать?

— Вот дурной! Вот дурной! Как куда? В Вершки, конечно. Разве непонятно?! — вопрошала у матери дочь.

— Да это тебе вот все как есть понятно, а ему и не совсем. Он в поле, в сраженье был, от жэншынов и мирной жизни отвык. Да вы и знались-то скоко? Двенадцать ден. На ходу сгреблись, дак это, по-твоему, любоф?

— А что, мама?

— Что, что? Сказала бы я тебе словечко, да волк неда лечко.

— Ну, а вы с папой гуляли, года два друг за другом волочились, по-за тыном целовались, в скирдах обнимались, нас почти полдюжины сотворили. Много у вас ее, любви-то было?

— Много ли, мало ли — вся наша. И кака тут в селе любоф? Работа тут, вечна забота, робятишки, а он вот, папуля-то ваш, возьми да загуляй, с городской свяжись... Напоперек у их, у городских, причинное-то место, видать, игровитей, чем у нас — простодырок...

— Да ну тебя, мама. Тебе про одно, ты про другое.

— Да все про то же, все про то же, доча. Я по ем, по папуле твоему, думаш, не тоскую? Э-э, милая, еще как тоскую... Возвернуть бы молодость-то, да главное, штоб он, сокол мой ясный, хоть какой, пусть раненый, искалеченный, но возвернулся, изменшык мой, проклятый, касатик ненаглядный...

Навидались, натешились, налюбились. Она, когда пыл иссяк и жар поутих, в ревность кинулась — все, как у добрых людей.

"Баба у тебя на фронте, конечно, была?" — "Была". — "И не одна?" — "Не одна". — "Много?" — "Не считал, некогда, воевать же надобно..." — Она кулаком его в грудь колотит. — "У-у, ирод! Ни во что ты меня не ставишь! Хоть бы соврал..." — "Зачем?" — "Чтоб легче было". — "Разве со мной может легче быть? Мне самому-то с собой тяжело..."

Перед расставанием разговоры пошли нешуточные.

"Боже мой! Бо-о-оже мо-ой! Что за профессия — убивать? Ты же враг всему живому. И ведь с концом войны кровь не кончится. Люди, в особенности наши дорогие соотечественники, всегда будут искать и находить, кого убить, истребить. У нас вон еще не все крестьянство доистреблено..."

Ну что объяснять ей, мол, веки вечные так было. Военные были, потому что война есть. Миряне, борясь за справедливость, враждуют меж собой, военные их усмиряют. Справедливость, конечно, понятие растяжимое и представление о ней туманное. Гитлер вон со своим рейхом справедливость отстаивает и свободу. Мы то же самое — справедливость справедливую защищаем и свободу... лучшую в мире.

— А привыкнешь, Алеша, к крови, к смерти, тогда как?

— Тогда только по трупам до тех пор, пока сам трупом не сделаюсь.

И, кажется, привык. Считает людей для "работы", сожалеет, если их не хватает для одоления врага. И уже сбылось: на берегу реки, в оврагах, меж ними, по перемычкам люди по трупам ходят, в противотанковом рву, часть которого захватил батальон, — немецкие и наши трупы в обнимку лежат, в помойке с грязью смешанные, одни их черви точат, одни вороны клюют, одной их грязью покрывает... осуществилось, наконец, подлинное братство. Живые, боясь увязнуть в протухшем мясе и грязи, норовят ходить по откосам, спускают обувью глину в смеси с песком, закапывая свои и вражеские трупы вперемешку с пустыми противогазными чехлами, с пустыми гильзами, пулеметными лентами, банками из-под консервов, подсумками, чехлами, письмами, бумагами, охальными открытками, игральными картами, иконками, драньем, сраньем — все в куче. Собака деревенская как-то в ров попала, и ее втоптали. Собаку вот заметили и запомнили все. А он и его бойцы — осиповцы, да и офицеры тоже, больше других бедный Шапошников, горевали в Сибири о каких-то ребятах-снегирятах... Да это ж хорошо, что не попали они на этот уютный бережок, в эту ямину-ров, не превратились в вонючие отбросы войны.

"Что же сейчас в Вершках, в Осипове? Ночь? Нет, уже утро? Валерия встает, на работу собирается. Домна Михайловна ворчит, младшенький орал всю ночь — спеклось в животике — она уже под утро догадалась мыльце ему пустить. Успокоился сердешный. Молодой маме хоть бы что? Одна тоска гнетет по ахфицерику, да еще работа на уме, подкинула ребенков, будто щененков, — терпи бабка, сама хотела внучат побольше, да не безотцовщины же..."

"Спать! Спать! Спать!" — приказал себе Щусь, и, кажется, через минуты две его тронули за телогрейку, которой он накрылся с ухом.

— Товарищ капитан,донесся голос Шапошникова, — немцы начинают гоношиться.

— Значит, война еще не кончилась.

Щусь сел, потянулся, взял котелок с приполка, пополоскал во рту, выплюнул на пол воду, тогда уж напился. Худа примета, — отметил Шапошников, коли плюется в блиндаже капитан, значит, не надеется в роскошном этом помещении усидеть. И не бреется который день, сегодня вот и умываться не попросил. Застегнулся, проверил, полна ли обойма, пистолет за пояс, да обеими руками как зацарапает голову:

— Ой, до чего же вши надоели! Съедят, паразиты, как Финифатьев бает: "Фамиль не спросют". Кстати, как берег?

— Связь-то отключили, товарищ капитан, как вы приказали, но еще до того по телефону баяли — Яшкин уплыл, и Нелька уплыла.

— Финифатьева опять не взяли? Нет? Ах, старче, где так боек. Ладно. Добро. Ну, за дело, орлы боевые. Дадут нам сегодня фрицы прикурить за усердие и отвагу нашу… Шапошников, побудешь здесь, потом в роту, тебе родную, во вторую, вместо Яшкина отправляйся. Талгат, стоишь во рву, пока я отходить не прикажу. Справа и сзади вроде бы надежно, там сам художник сидит, в обиду ни себя, ни нас не даст. Он у нас о-го-го! На начальство уж хвост поднимает. Стало быть, все внимание на левый фланг, на овраг, что жерлом к реке. Нас если отсекут, то уж до самого берега — и тогда нам хана.

В это время дежурный связист Окоркин, оставшийся не у дел, упавшим до шепота голосом позвал:

— Товарищ капитан! Товарищ капитан! — и молча показал на провод.

Провод, отсоединенный от аппарата, шевелясь, уползал из блиндажа.

— Фрицы сматывают! Или… или уж наши шакалят, — совсем севшим голосом пояснил Окоркин и приступил в проходе блиндажа провод.

— Отпусти.

Вспомнилось, как в роте Яшкина, на Орловщине, ретивые связисты, беспощадно охотясь за трофейным проводом, на своей линии узрели прорыв, линия вся из красного, новенького провода — и давай ее линейный связист сматывать, ликуя от удачи, а на переднем крае товарищ Яшкин в трубку дует, матом всех подряд кроет, в клочья рвет. И вот, перед очми его, на бровке траншеи возникает жизнерадостный линейный связист, у которого почти полна катушка первоклассного трофейного провода, и, не иначе как на медаль "За боевые заслуги" надеясь, докладывает, каков он есть отважный боец и находчивый связист — под огнем вот отхватил, понимаешь ли…

Яшкин даже материться не мог. Сперва на согнутых ногах он ходил вокруг испускающего дух связиста, потом бегал и, прицеливаясь не иначе как задушить бойца, выкидывал руки со сжимающимися и разжимающимися пальцами. Издавая что-то подобное звериному: "Ух! Ух! Ух!" — и вдруг заплясал, затопал: "Уйди с глаз моих! Уйди! Не то…" Связист, спотыкаясь, падая, хватанул с места происшествия, до се его говорят, ни найти, ни поймать не могут…

Так то ж иваны, то ж славянское войско, с которым не соскучишься. А тут не иначе как хозяйственные фрицы тоже добришком поживиться решили.

Не дожидаясь команды, по мановению руки комбата, все, кто были вокруг, попрятались кто куда, позалегли в кустах, меж комков глины, скрылись за уступами оврага. Окоркин со своим напарником Чуфыриным, тоже опытным, давним связистом, стерегли провод, привязав конец за куст и навалив на него сухих комков.

По линии шли два немецких связиста. У нас народу хоть больше, чем у немца, хоть и работать, и воровать, и пьянствовать мы навычны артельно, когда дело касается особо ответственного характера, всегда его исполняет энтузиаст или безотказный дурак — на линию чаще всего ходит один человек. Отчего, почему Вальтер выходил на линию тоже в одиночестве — выяснить никто не догадался. Наверное, в роте Болова в самом деле был серьезный недокомплект.

Связисты приближались. Вот из размытого и разбитого оврага показалась голова в каске. Пожилой связист с карабином за спиной вытягивал нитку провода из-под комьев глины, с треском выдергивал из кустов и колючек. Второй, помоложе, идя следом, сматывал провод на катушку.

"Хозяйственный народ!" — отметили разом и командиры, и солдаты, сидящие в засаде. Впереди идущий солдат-связист увидел заизолированный порыв и насторожился: изоляция свежелипкая, грязно-серая, у немцев изоляция голубенькая, блескучая. Показывая провод напарнику, о чем-то его спросил. Связист с катушкой помял в пальцах провод, посображал и снова двинулся по линии, поднимаясь на уступ оврага. Когда до блиндажа осталось метров десять, Окоркин отпустил провод и пристроился сзади связистов, увлеченных работой. Давши обоим немцам влезть в узкий отвесный проход, навстречу с автоматом наизготовку выступил Чуфырин, кивнул молодому связисту — продолжай, мол, работу, раз взялся. Немец машинально кивнул в ответ и, сшибая пальцы ручкой катушки, не моргая двигался на автомат, на него наставленный, домотал провод до того, что дуло автомата уперлось ему в грудь.

— Спасибо за работу, коллеги! — вежливо поблагодарил Окоркин, снимая ремень катушки со вспотевшей шеи связиста. Пожилой связист дернулся было рукой к карабину, но Чуфырин помотал перед ним дулом автомата.

— Не балуй, фриц, не балуй! "Эк, ребята-то с юмором каким! А покормить бы их досыта..." — мельком глянув на остолбенелых немецких связистов, усмехнулся Щусь и, пригнувшись, вышел из блиндажа.

— По местам. Все по местам. Любоваться на пленных некогда, — распоряжался комбат на ходу. — Скоренько спровадить их куда надо.

Пожилой немец или знал по-русски, или догадываться начал: песня их спета. Идет бой, фашисты атакуют, русские из последних сил отбиваются, им не до пленных.

Все куда-то разом улетучились, разошлись, стрельба вокруг густела, и Окоркин крикнул Шапошникову, оставшемуся в блиндаже.

— Товарищ лейтенант, че с имя делать?

— Че с имя делать? Че с имя делать? — выглянул из блиндажа Шапошников. — На берег их надо отвести. Сдать.

— Кому?

— Кому, кому? Откуда я знаю, кому? Есть же там специальное подразделение, караул специальный...

— Никого там нету. Никто там пленных не охраняет. Они вместе с нашими по берегу шакалят, рыбешку глушеную собирают.

— Как же так? А если эти с берега уйдут к своим? Если сообщат о нашей хитроумной связи?

— Все понятно, товарищ лейтенант! — произнес толковый Окоркин и махнул рукой, показывая дулом автомата на тропинку, протоптанную вниз по оврагу: — Шнеллер, наххаус!

— Их бин айнфахэр арбайтэр. (Я — простой рабочий), — залепетал пожилой связист. — Унд дэр да вар эбен ин дэр шуле. Унс хабен зи айнгэцоген, каине эсэс, айнфахе зольдатен, айнфахе лейте, каин грунд, унс умцубрингэн... (А он только-только окончил школу, мы мобилизованные, мы не эсэсовцы, мы простые солдаты, простые люди, нас не за что убивать. Мы надеемся...)

— Шнеллер, шнеллер! — Окоркин был непреклонен.

— Вир хоффен ауф митляйд. Вир вердэн фюр ойх беттэн... (Мы надеемся на милосердие. Мы будем молить Бога...)

Окоркин и Чуфырин подтолкнули пленных в спину и, опережая один другого, скользя, спотыкаясь и падая, немцы поспешили вниз по оврагу. Видя, что их ведут в сторону реки, значит, в тыл, засуетились.

Шапошников проводил их бегающим, пугливым взглядом. Не успел он вернуться в блиндаж за автоматом, как услышал за первым же выступом оврага длинную очередь из пэпэша, короткий, лающий вскрик, и понял: русские связисты расстреляли своих собратьев по ремеслу.

"Их и в самом деле нельзя было оставлять", — убеждал себя Шапошников, оправдывая своих солдат, но смятение и неловкость все не покидали его. Сказал связистам Окоркину и Чуфырину, что остаются они одни, — помялся, посмотрел в сторону реки и, не зная, что еще делать, заметил:

— Молодцы, что вот захватили еще один трофейный аппарат телефонный, вдруг наш разобьют... ночью, Бог даст... связь... — и все смотрел поверх голов солдат, боясь встретиться с их взглядами, и добавил еще, что хорошо, мол, и оружие вот, и патроны, и гранаты захватили — пригодятся.

— Нате вот закурите и ребятам отнесете, — сунул Окоркин лейтенанту полученную немцем сегодня утром и уже початую пачку сигарет. — Да не переживайте вы, товарищ лейтенант. Такой уж получился расклад жизни. Тут ни немец, ни русский не знает, где, как, когда...

— Да-да... расклад и есть расклад. — Хотел сказать о расстреле братьев Снегиревых — тоже расклад, но зачем? Место ли тут для таких, душу его терзающих, неизбывных воспоминаний. Не расклад — судьба это называется... Сунув пачку сигарет в карман, Шапошников закинул автомат за плечо и, подсеченно вихляясь на комках глины, ушел на шум боя.

Окоркин забрался на пустые нары — отдыхать. Чуфырин же сложил гранаты на земляной полок, поставил на предохранитель свой автомат, проверил немецкое оружие и занялся связью — дежурить им ночью с Окоркиным попеременке, потому как всех связистов из штаба

батальона уже выбило. Скоро, однако, связистам пришлось покинуть уютный блиндаж и вместе с отхлынувшими с высоты Сто ротами принять бой, не бросая при этом трофейный телефонный аппарат и катушку с красным проводом.

Передовой батальон все-таки отсекли. Первым же нежданным ударом с правого фланга, без артналета, без всякой огневой подготовки, опрокинули немцы жидкий заслон русских, поперли со всех сторон, тесня с высоты Сто обороняющихся в дыры и завалы оврагов. Беда плацдарма, уже всем известная, та, что четкой передовой линии на нем нет: овраги, расщелины, земляные унырки, такие заманчивые, уютные, вот они рядом: вдоль, поперек, сикось-накось, беги, укрывайся в них от огня и пуль, припухай до ночи, там видно будет, как дальше жить.

— Да вы что? — без крика, без топота, засекшимся голосом спрашивал комбата и ротных командиров полковник Бескапустин. Полные щеки полковника, обвядшие на плацдарме, усы, подпаленные трубкой, в которую он наталкивал сухую траву, и она вспыхивала. — Ну, художники! Ну, художники! Вы сдурели? Вы понимаете, что Щуся подставили. Они ж его со всех сторон обложат. И что он с ними сделает?

— Да ничего пока страшного нет, — возражали неслухи-командиры командиру полка. — Щусь сидит крепко, в хорошо укрепленном немцами месте, боеприпасов ему подбросили, пополнения немножко дали. Займет круговую оборону по оврагам, до ночи, глядишь, продержится. У нас ведь не лучше: сзади — вода, да впереди — беда, боец от бойца — голоса не слыхать, фашисты беспрестанно разведку ведут, вместе с крысами шарятся, знают, какой у нас заслон, вот и вдарили, где пожиже...

— Мне наплевать на все ваши рассуждения! — свирепствовал полковник Бескапустин. — Товарища своего подставлять я вам не позволю. Мне к полудню чтобы положение было восстановлено! Собирайте людей отовсюду — бродят тучей по берегу. Заберите и тех, что в речке, у Боровикова. Я с артиллеристами свяжусь, попрошу авиаторов помочь. Ну, художники! Н-ну, художники!

Майор Зарубин, попавши на левый берег, подбинтованный Фаей, потребовал вести его в штаб своего полка. Там собралась вся челядь, ахать начала, майора едва узнавали. Хлебая кашу, попивая чаек с сахаром, майор распоряжался:

— Товарищи! Проникнитесь! Положение на плацдарме не то что тяжелое — ужасное положение. Одинец! Капитан! Я вас попрошу еще одну линию связи. Трофейной. Наша не дюжит — намокает, садится. Без связи, без помощи нашей, без постоянного огня артиллерии плацдарму конец. И, пожалуйста, прошу вас, хоть как-нибудь, хоть на чем-нибудь еду... — и в это время телефонист из штаба корпуса выступил на свет из угла, бережно, словно грудного ребенка, неся телефонный аппарат:

— Вас товарищ седьмой.

— Скажите своему седьмому, что я не хочу с ним разговаривать! — громко, чтоб Лахонину было слышно, отчеканил майор Зарубин, чем едва не лишил жизни корпусного телефониста. Он, протягивая трубку, шевелил омертвевшим ртом:

— Это же сам товарищ седьмой! Это же...

— Хотя дайте на два слова, Пров Федорович! — нарочно не называя позывную, не навеличивая командира корпуса по званию, въедливо произнес Зарубин. — Если вам хочется побеседовать со мной, милости прошу вечером в санбат. Здесь народ, беседа же нам предстоит не светского характера. — И отдал трубку телефонисту, который, нежно прижимая аппарат к мягкому

брюху, упятился в угол и замер там, решительно не понимая, что произошло и происходит на свете.

Когда майора выносили на носилках к машине, он увидел куда-то спешащего, перебирающего воробьиными ножками, сверхозабоченного начальника политотдела дивизии. "Куда же это Мусенок-то?" — успел еще подумать в недоумении Зарубин, не понимая еще, что для того и этот богоспасенный берег — уже передний край, самый-самый передний, самый-самый боевой, самый-самый опасный. Мусенок тут дни и ночи сражается с врагом, от имени партии творит подвиг, суетясь по штабам, по огневым, мешая людям исполнять военную работу. Мусенок вместе с родной партией до того уже затоковался, что считал — главнее партии на войне никого и ничего нету. Пламенный призыв, боевое слово — грознее всех самых грозных орудий.

На батальон Щуся, с которым на время была налажена связь и при этом убило несколько связистов, наседали фашисты со всех сторон, особенно на левый фланг, отрезая запасной путь к реке по коренному оврагу и по глубоким его отводам. Щусевцы в овраг немцев не пустили, более того, оттуда, именно с левого фланга, из ответвлений оврага, из земляных щелей, повыползали русские и перешли в отчаянную контратаку, едва немцы их загнали обратно в обжитые места.

"Ай да молодец Шапошников! Ай да молодцы у меня ребята, ай да золотые головы! Часок-два передышки дали", — хвалил свое войско капитан Щусь. Сам он находился в роте Талгата — в самом горячем месте — гитлеровцы пока не отобьют участок этого проклятого рва, не уймутся. И немцы шли, шли, перли и перли...

И в этот, именно в этот, самый гибельный час из заречья донесся блеющий голос:

— Внимание всем точкам! Всем телефонистам! На проводе начальник политотдела дивизии Мусенок! Передаю важное сообщение...

— Товарищ капитан, — зажав трубку, обратился к Понайотову Шестаков, — на проводе повис начальник политотдела.

— Что ему? — бросая карандаш на планшет, вскинулся Понайотов, заканчивавший расчеты поддержки огнем остатков полка Бескапустина, переходящих в контратаку, для того, чтобы облегчить положение щусевского батальона и помочь задыхающемуся соседу своему — Сыроватко, пусть он и хитрец, и выжига, но все же друг по несчастью. Огонь был нужен плотный, беглый и точный, бить из орудий надо было между идущими в атаку капустинцами и не накрыть отрезанный, обороняющийся в оврагах батальон Щуся. Огонь надо было корректировать, вести его следом за цепями, если они, цепи эти, еще есть, если наберется людей на цепи. Не отрываясь от карты, Понайотов протянул руку, прижал трубку к уху — по телефону с Мусенком говорил командир полка.

— Вот что пишет о вас газета "Правда": "Красная Армия шагнула через реку! Эта новая, великолепная победа ярко подчеркивает торжество сталинской стратегии и тактики над немецкой, возросшую мощь советского оружия, зрелость Красной Армии..." А вы, насколько мне известно, даже знамя не переправили...

— Боялись замочить, — сухо ответил командир.

— Товарищ начальник политотдела, — взмолился полковник Бескапустин, — у нас батальон погибает, передовой, в помощь ему в сопровождении артналета мы переходим в контратаку. Отобьемся — пожалуйста, передавайте...

— Значит, какой-то батальон вам важнее слова самого товарища Сталина?!

— К-как это — какой-то батальон?!

— А вот так, понимаете ли! Нашими доблестными войсками взяты Невель и Тамань. В честь этих блистательных побед напечатаны приказы Верховного главнокомандующего и статья Емельяна Ярославского о вдохновляющем слове вождя. Всем вашим бойцам надо знать, чтоб устыдиться, — топчетесь на бережку, понимаете ли, пригрелись…

— Что-о-о! — взревел плацдарм всеми телефонами, какие были навешаны на единственно работающую линию, представители же разных родов войск маялись, связываясь с левобережьем по аховым рациям.

— Что ему батальон?! Что ему гибнущие люди? Они армиями сорили, фронты сдавали.

Это уже взвился Щусь, некстати оказавшийся у телефона.

— Кто это говорит таким тоном с представителем коммунистической партии? — повысил голос Мусенок.

Нужно встревать немедленно, сейчас большой политик начнет домогаться фамилии дерзкого командира.

— Товарищ начальник политотдела, Лазарь Исакович, ну, через час поговорите, сейчас невмоготу, сейчас линия позарез нужна… одна линия работает… — встрял в разговор Понайотов.

— А почему одна? Почему одна? Где ваша доблестная связь? Разболтались, понимаете ли…

— Внимание! — прервал Мусенка командир полка Бескапустин. — Внимание всем телефонистам на линии! Отключить начальника политотдела! Начать работу с огневиками!

Телефонисты тут же мстительно вырубили важного начальника, который продолжал греметь в трубку отключенного телефона:

— Н-ну, я до вас доберусь! Ну вы у меня!..

— И доберэться! — угрюмо прогремел в трубку Сыроватко, все как есть слышавший, но в пререкания не вступивший.

— Да тебе-то какая забота? — устало осадил его полковник Бескапустин.У тебя, видать, дела хороши, все у тебя есть, недостает лишь боевого партийного слова…

— Да ладно тебе, Андрей Кондратьевич. Шо ты, як кобэль, вызвэрывся, вся шерсть дыбом.

— Шерсть-то поднялась, все остальное упало. Ладно. Таких художников, как Мусенок, мне в одиночку не переговорить. Пошевелили мы противника, пошебутились, отвлекли на себя. Помогай теперь ты Щусю. — И через паузу, постучав трубкой по чему-то твердому, изможденным голосом добавил: — Да не хитри, не увивайся. Воюй. Положение серьезное. Понайотов, а, Понайотов! Начинай, брат, работать. А тебя, Алексей Донатович, завсегда, как черта в недобрый час, из-под печки выметнет. Гнида эта заест теперь…

Щусь уже не слышал командира полка, он уже мчался куда-то по основательно искрошенному, избитому немцами оврагу и орал:

— Патроны попусту не жечь! Гранаты — на крайний случай...

В санбате людно. Раненые большей частью спали на земле, сидя и лежа под деревьями, подле палаток. В отдалении, под вздувшимся грубыми складками брезентом, в ложбинах которого настоялось мокро от недавнего дождя, покоились те, которым уже ни перевязки, ни операции, ни еда, ни догляд, ни команды не требовались. Какой-то любопытный раненый боец, опиравшийся на дубовый сук, приподнял палкой этот угол брезента, и Зарубин увидел так и сяк набросанных на холодную, смятую траву худых, грязных, сплошь босых и полураздетых людей.

"Наши, с плацдарма", — отметил Зарубин. — Надеясь переправиться через реку, попасть в санбат, в жилое место, бойцы отдавали с себя братьям-солдатам последнюю одежонку, обувь, кресало, огрызки карандаша — все свои богатства отдавали.

— Зарубин. Майор Зарубин!

— Я, — начал приподниматься с земли Александр Васильевич.

— Вы почему здесь сидите?

— А где же мне прикажете?

Женщина в белом халате, перепачканном кровью, с приспущенной белой повязкой на лице, которая, однако, не могла заслонить яркости лица, прежде всего круто очерченные брови и серые глаза, которые казались выпуклыми, брови, почти перехлестнувшие переносье, взлетающие к вискам и уже на острие сломленные, — придавали некую суровость этому лицу — так вот разом увиделась эта женщина! "Засиделся в норе, извалялся в крови, в грязи... Каждая женщина теперь мадонной видится", — смутился майор.

— Следуйте за мной! Вам помочь?

— Попробую сам.

Зарубин вошел в придел широкой палатки, вроде сеней был тот придел, веревками прикрепленный к дубам с коротко обрубленными сучьями. Указав на сучки, женщина знаком велела раздеваться. Майор сбросил с плеч шинель, попробовал наклониться, чтобы поднять ее, но его косо повело к выходу. Зажав бок одной рукой, он другою схватился за туго натянутую веревку — чтоб не упасть. Женщина подняла шинель, повесила ее и, взявши руку майора, ловко ее занеся на свою теплую и гладкую шею, повела раненого в операционное отделение.

Там белел и шевелился какой-то народ. Стояли два стола, укрепленных на толстых плахах, и на одном из них лежал, не двигаясь, раненый с накрытым марлей лицом. В человеке рылись, выворачивали чего-то красно-тряпичное люди в окровенелых фартуках, в желтых перчатках, с которых слюняво стекала желто-багровая жидкость.

С Зарубина попробовали стянуть гимнастерку и нижнюю рубаху. Не получилось. Тогда умело, как будто в портновской мастерской, одним резом располосовали на нем в распашонку слипшиеся тряпки, швырнули их к выходу, в кучу грязных военных манаток. В кармане гимнастерки были два письма и фотография дочки, партбилет, офицерское удостоверение, — майор поднял руку, чтоб кого-то позвать, попросить, и та же яркобровая женщина, уже сквозь марлевую повязку коротко уронила: "Не беспокойтесь!" Зарубину помогли взобраться на высокий стол. От соседнего операционного стола обернулся человек в серо-голубой медицинской спецовке, завязанной тесемками на спине, в такого же цвета чепце. Сдернув

повязку с лица, он присел на пень неподалеку от стола. Был он усатый и седой. В рот хирурга сунули папироску, прижгли ее от немецкой позолоченной зажигалки, хирург умело, не притрагиваясь к папиросе, потянул, зажмурился и расслабился всем телом, похоже было — уснул, но через минуту-другую снова потянул, почмокал папироской — не тянулось. Он раздраженно сбросил мокрые, окровавленные перчатки себе под ноги, взял папироску меж пальцев, приткнулся к готовно поднесенному огоньку и глубоко, сладко курнул.

— Чистых осталось всего пять пар, — наклонившись поднять перчатки, унылым голосом заметила женщина с плоской, квадратной спиной, на которой многими петельками был завязан халат. — А привезут ли?..

— Так вымойте, подготовьте! — резко бросил хирург и тем же недовольным, сердитым голосом попытал Зарубина:

— Отчего так запущена рана?

— Вынужден был задержаться на плацдарме.

— Некем замениться?

— Да, некем.Зарубин подышал и отстранение молвил: — Наш командир полка, Иван Харитонович Вяткин, отдыхает, — и увидел, как за соседним операционным столом женщина, заканчивающая операцию, на мгновение замерла и поникла.

Хирург усмехнулся, почти уже бодро хлопнул себя по коленям, поднялся, подставил руки, на которые стали надевать новые резиновые перчатки. Пока надевали перчатки, снаряжали доктора для дальнейшей работы, он вел отвлеченные разговоры с больным, расспрашивал про плацдарм, хотя и чувствовалось, что обо всем, что там происходит, он хорошо осведомлен. Осмотрев обработанную рану, хирург потыкал в нее зондом. Зарубин услышал, как зондом скребнуло по осколку.

— Осколок неглубоко, но рана очень грязная. — Себя или раненого — не поймешь, хирург спросил: — Хлороформ? Местная анестезия?

— Я вытерплю. Постараюсь. Истощился, правда, но я постараюсь.

Полусон, полуявь окутали Зарубина. Он то слышал боль и негромко переговаривающихся людей, колдующих над ним, то впадал в забытье, отделялся в нечуткую, тусклую глубь и расслабленно, покорно отдавался ей, погружаясь в полумрак, где пригасло светилась лампочка, похожая на сальный огонек, поднимающийся над гильзой. Ему представлялся сырой блиндаж с бревенчатым накатом, густо заселенный, тесный, длинный, с бревен капало, он пытался достать шею, снять с горла петельку, но руки были вроде как у покойника, связаны на груди.

— Потерпите. Еще маленько потерпите! — доносилось до него издали, он пробовал трясти головой: "Хорошо, хорошо, потерплю, — и где-то далеко в себе усмехался: а что еще остается делать?.."

Осколок звякнул в цинковом банном тазу, уже до ободка наполненном всевозможным добром — металлом, костями, багровыми тряпками, меж которых темнели обгорелые концы тряпочек — кресал, самодельные зажигалки, баночки из-под табака, две-три слепых фотографии, изображение на них съело грязным потом, даже денежка — скомканная красная тридцатка и другие ценности. Несли, прятали нехитрое походное добро солдаты, и самые ловкие доносили

его аж до операционного стола. Началась перевязка. Александр Васильевич облегченно и крепко уснул. Очнулся от освежающего прикосновения к лицу чего-то мягкого, в ноздри ударило запахом спирта. Виски, заодно и лицо ему протирала та самая женщина, что взяла над ним опеку. Звали ее Ольгой — слышал во время операции майор. Более в палатке никого не было, лишь возилась в углу белой мышью та женщина с плоской спиной, что ведала инвентарем, она что-то, видать привычное, ворчала, опрастывая тазы с отходами в железное корыто. Пожилой солдат цеплял корыто загнутым винтовочным шомполом и волок его наружу. Железное дно корыта взвизгивало на оголенных корнях дубов.

— Вот и прибрала я вас маленько, — сказала Ольга, глазами отыскивая, куда бы бросить грязную ватку. — Теперь на эвакуацию, в госпиталь, там и грязь, и гнус оберут.

— Спасибо!

— Не за что. Я с конца сорок первого в этом медсанбате, но таких запущенных раненых, как с плацдарма, еще не видела.

— Самых запущенных и не увидите. Люди умирают…

— Но там же медслужба, наши девочки.

— Что девочки? Что они могут сделать? Там массы… Зарубин пристально всмотрелся в медсестру, снявшую маску, — нет, не показалось, молодая женщина не просто красива, но величаво красива, этакая былинная пава, в хорошей девичьей поре, свежа лицом, со спело налитыми губами. Над верхней губой золотился пушок, чуть вздернутый нос властного человека подрагивает — от спирта, не иначе, чешуисто, будто у кедровой шишки, отчеркнутыми крылышками ноздрей. Во всем ее облике, в туго свернутых под белой косынкой волосах, в ушах с маленькими золотыми сережками, похожими на переспелую морошку, в неторопливых движениях, в скупо произносимых словах чувствовалась основательность.

— Вы что так на меня смотрите?

— Да больше не на чем глазу остановиться. А Бог иногда создает красоту, чтобы на нее смотреть и отдыхать от ратных подвигов. Не разучился еще Создатель творить.

— Ой, как цветисто! — усмехнулась Ольга. — Вы случаем не поэт?

— Да нет, всего лишь окопник.

— И по совместительству философ. Аль прелюбодей? — сощурилась она и вздохнула: — Я таких ли речей тут наслушалась. Я уже вся в дырах. Всю издырявили мужичье, всю разделали, как говяжью тушу. Как я устала от этого всего.

— Я без всякого умысла…

— Без всякого… одичали там… грязные, вшивые… — вдруг рассердилась Ольга и отряхнула грудь.

— Вшей и грязь можно отмыть, а вот душу…

— О душе не беспокойтесь…

— Я не о вашей, о своей беспокоюсь.

— Это Божья работа. Но боюсь, что Он отвернулся от этих мест. — Прибравшись, Ольга присела на пенек и, отведя взгляд, молвила: — Не надо вам больше ни о чем беспокоиться, у вас все страшное и грязное осталось позади, на плацдарме.

— Там-то как раз и не страшно.

— А где?

— Знаю, да не скажу. Ну, спасибо за перевязку, за беседу, за ласку и заботу. Нет-нет, спирту не надо. Я не пью.

— Вот как?! И не курите?

— И не курю. Если уж когда невмоготу. — И вдруг ввернул неожиданно даже для себя: — Не все продается, что покупается. Давно читали Куприна?

— А это еще кто такой?

— Комиссар.

— Чей комиссар?

— Не наш.

Зарубин лежал на топчане в отдельной палатке, между дровами, ящиками и санитарным инвентарем. Здесь изволил его навестить командир родного артиллерийского полка Иван Харитонович Вяткин. Зарубин плотно прикрыл глаза, чтобы не видеть этого мурлатого товарища с густоволосой, одеколоном воняющей прической. На утре, облившись холодной водой после здорового сна, он выпячивал бочкой круглящуюся грудь, на которой оттопыренно, точно у бабы, болталась пара медалей.

Вяткин протяжно и выразительно кашлянул. Зарубин нехотя открыл глаза.

— Здравия желаю, — приподнял Вяткин пухлую большую руку к фуражке и протянул ее для приветствия. Корпусом, да и лицом, и прической Иван Харитонович Вяткин будто родной брат Авдею Кондратьевичу Бескапустину, тоже полковнику, но только в звании они и роднились, в остальном же, прежде всего в деле — небо и земля.

Александр Васильевич не вынул руку из-под одеяла и не повернулся к гостю. Вяткин сделал вид, мол, протянул руку затем, чтобы поправить постель раненого собрата по войне.

— Ну, как оно там? — повременил, переступил, — у нас?

— У нас неважно. У вас, я вижу, лучше.

— Х-ха! Шутник вы, Алексан Васильич! — переходя на свойский тон, хохотнул Вяткин.Что дела там аховые, по раненым, по потерям знаю. Почему ты раненый на плацдарме сидел? Все геройствуешь? Ох, Алексан Васильевич! Алексан Васильевич! — отеческим, журящим тоном гудел командир полка. Зарубин пристально взглянул на Вяткина. Тот не выдержал его взгляда.

— Оттого, что замениться было некем.

— А Понайотов что? Отсиживался? Не спешил на помощь?

— Понайотов не умеет отсиживаться, и вы это прекрасно знаете.

— Так что же он?

— Вяткин! Уйдите из палатки, а? Уйдите!

— Да я, как старший. Я пришел вас спросить, я всешки командир полка.

— Вот именно всешки! Я вас презираю! Пре-зи-раю!

Ах, если б была сила и мог бы он взять полено, право же, гвозданул бы по этой причесанной "под политику" пустой башке.

— Ха-ха! Он презирает! Он презирает! Слова-то, слова-то все старорежимные. Тебе бы в царской армии, среди дворянчиков...

— Только чтобы не с такой мразью, как вы!

— Ну, ты это... выбирай выражения! — побагровел и затрясся Вяткин, готовый и дальше сражаться за себя, но в палатку влетела, схватила за руку мужа Анастасия Гавриловна и потащила его, бросив на ходу:

— Извините, товарищ майор. Извините... — выудив мужа из палатки, оттащив его в глубь леса, она вдруг размахнулась и дала ему звонкую оплеуху.Дур-рак! Чтобы сегодня же был в полку! Сейчас же! Вон! На нашей машине. Зарубин в любимцах у командира корпуса ходит. Что если он напишет на тебя докладную. Тебя ж... Да не напишет. Он гордый. И в полк к тебе он больше не приедет. Некем тебе, дураку, закрываться станет. Пропадешь! Живи смирно, не ерепенься. Понайотова не раздражай. Тот, чего доброго, пристрелит тебя. Его дед или прадед у генерала Скобелева воевал... Потомственный боец. А-а, тебе что Скобелев, что Кобелев... — Подняв лицо на дрожащее сквозь полуопавшие дубы солнце, Анастасия Гавриловна слизывала слезы с губ.

— Ну, Тося! Ну, Тося! Ну не разостраивайся ты, не разостраивайся, — топтался Вяткин подле нее. — Ну, уеду я, счас уеду...

Анастасия Гавриловна была хорошим хирургом, но как женщина не удалась — малопривлекательная, простолицая, незатейливо, хотя и добросовестно состроенная, она лучше смотрелась бы формовщицей в литейном цехе иль трактористкой, шофером среди мужичья, на фронте связисткой или прачкой. Однако суждено ей было по роду и призванию сделаться врачом, да еще военным. На Халхин-Голе в госпиталь, где она начинала свой боевой путь, привезли молодого лейтенанта Вяткина, тогда и в самом деле болевшего язвой желудка, от курсантских и походных харчей обострившейся. Язва давно зарубцевалась, мужик здоров, но около жены изрядно избаловался, разнежился, обнаглел.

Баба, она все-таки есть баба, хоть и в чинах, и при должности. Наград у нее больше, чем у мужа, характер рубаки, умна, самоотверженна и в то же время слаба — расстанется со своим оболтусом, скажет себе: "Все!", — да через неделю затоскует о нем, захочет его нестерпимо и поедет на попутной в полк, чтобы потом опять сутками стоять возле операционного стола, отрабатывая "увольнение", и выпрашивать затем внеочередной выходной.

Как туго на передовой, Ванечка опять за брюхо держится, конем вокруг нее копытит: "Тосенька! Тосенька!" Она его и выручала, и помогала ему в продвижении по службе, в получении званий, в получении наград — не в коня корм! Не умнеет Ванечка, опять его надо выручать, подлаживаться, угождать. С нею все еще считаются в дивизии. Генерал Лахонин,

качая головой, не раз говорил:

"Ох, Настасья ты, Настасья! На горбу тащишь несчастье. В последний раз! Слышишь — в послед-ний!" Сколько было тех "последних разов". Но вот генерал Лахонин переместился выше и дальше. В дивизию назначен новый командир, пожилой, виды видавший, а в артполку отсутствует командир, и в такое время, когда и солдату симуляция не прощается.

Майора Зарубина увезли на санитарной машине вместе с другими ранеными. На большой, разбитой дороге, по старым картам именуемой шоссе, набралась целая колонна машин, и под охраной двух бронетранспортеров двинулась та колонна в долгий, изнурительный путь. Не всем раненым суждено доехать до госпиталей, не всем предписано будет вернуться на фронт или домой.

— Ну, как он, Александр Васильевич, герой наш и упрямец? — поздно вечером позвонил в санбат командир корпуса.

Хирург коротко и сухо доложил, что рана в межреберье была бы неопасна, если б вовремя сделать рассечение, удалить осколок. Начался абсцесс, оба ребра раскрошены, выбиты — надо вынимать, и их вынут в госпитале. Он боится, что дело этим не кончится, — загнила костная крошка. Надо смотреть на рентгене — дошло ли гниение до позвоночника. Пока же они сделали, что возможно было сделать в полевых условиях: почистили рану, вынули осколок, сбили температуру, обиходили человека и отправили в эвакогоспиталь.

— В какой, не знаете?

— Где есть места. Госпиталя у нас, как всегда, переполнены.

— Ну, хорошо. Спасибо. Отвоевался, видимо, тезка Суворова.

— Думаю, да.

"Вот как хорошо. Вот она, жизнь наша. Обиделся друг мой сердечный, и правильно сделал. Замотался я вконец".

Зарубин, конечно, дошел умом своим, что их плацдарм всего лишь вспомогательный, что готовится грандиозная операция. Но вот попробуй теперь оправдаться и перед ним, и перед Натальей. Не дай Бог, узнает она, что он Зарубина на плацдарме забыл, раненого не навестил. Он-то, сам-то герой, не напишет ей, но как скроешь? Надо будет разыскать Зарубина в госпиталях. Надо, чтоб кто-то осторожно сообщил, что вот-вот будет указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза, и надо самому, непременно самому, вручить герою Звезду. Получит, конечно, Пров Федорович от Александра Васильевича, сполна получит! Но такая уж доля генеральская: терпи, коли умного друга хочешь в сердце сохранить. А ведь его, такого прыткого, неуживчивого, железно-мудрого, однако, никто и не любит… кроме меня, конечно. Ну, еще Наталья, ну, еще Ксюшка, ну, еще солдаты… ну, еще… Ах, если б всем так!"

День прошел в страшном грохоте, суматохе и непрерывных боях. Высоту Сто противник очистил, реденькое войско русских фашисты потеснили: заняли кинутую часть противотанкового рва, теперь в нем немцы накапливаются, потому как в ров тот, будто в речку Черевинку, выходят все стоки-притоки, траншеи, ходы сообщений, устья многих оврагов и водоемов. Из того рва атаковать передовой батальон — ловкое дело. Но еще свободен овраг до самого берега реки, и не дать ли возможность Щусю отойти подобру-поздорову. За это снимут голову и батальонному начальнику, и художнику Бескапустину, даже хитровану Сыроватко не поздоровится.

На левом берегу ночами большое шабутенье, накапливается войско — для помощи Велико-Криницкому плацдарму или для нового удара? Сиди вот тут, точно кулик на кочке, тяни шею и высматривай — жениться пора, а подруга долгоносая с кем-то в пути и не торопится к родному болоту.

Кроме всех прорух и бед, еще одно крушенье — потерялась трубка. Без трубки полковник, что местный казак, тоже, между прочим, полковником именовавшийся, — Тарас Бульба, — никуда. Ординарец, связисты, разведчики, все растрепы и растяпы, бывшие под рукой полковника Бескапустина, обшаривали землянку, обползали каждый вершок земли, ощупали все щели — нет трубки, пропала, провалилась проклятая...

И утро суматошное выдалось. С рассвета обнаружилось — весь берег бел от овощи. Где-то в верховьях реки немцы раздолбали баржу с сахарной свеклой, и в силу все того же течения Бэра, землевращения, значит, прибило буряки к берегу, где и доски, брусья от разбитого судна тоже прибило. Началась уборка урожая, вскорости перешедшая в массовую драку.

Пленные тоже сунулись за буряками, да куда там?! Оттеснили их боевые ряды русских обратно в земляные щели. Но буряков хватило всем. Пленным, правда, пришлось, снявши штаны, брести вглубь и вылавливать овощь. В оврагах самые отважные вояки пекли буряки в огне, по ним с противоположной стороны гитлеровцы бросали мину за миной, и, слух шел, одной миной угодило прямо в костер, над которым висела каска со свеклой. Сообщение это не повлияло на смекалистых костровых, оно лишь обострило их сноровку: варили свеклу в норах, продалбливали дымоход прямо из земли наверх, ели полусырую, сладкую овощь.

Пленные грызли овощь сырьем, лезли к кострам русских солдат, те морщились, будто от дыма, косились на фрицев, но уже не дрались, хоть немцы эти и пленные, — но тоже ведь люди, и тоже жрать хотят. Но скоро пленных собрали, сбили в строй, погнали в пойму Черевинки — копать могилу соотечественникам.

Немцы, в том числе Вальтер и Зигфрид, вырыли яму рядом с могилой русских солдат, сложили рядом до кальсон раздетых братьев своих. Чужеземцы — не какие-нибудь красные нехристи — связали обрывками провода две палочки, водрузили на братской могиле крест, — так и просвечивало сквозь кусты над Черевинкой рядышком обломок черенка от лопаты над могилой русских солдат и древний намогильный знак, пусть жалкий, пусть временный, но заставлял он людей почтительно притихнуть возле могилы, поклониться тем, кто еще не забыл Бога.

Перед уходом немцы кланялись могиле, тихо молились, читая молитву. Дитя гитлерюгенда Зигфрид Вольф, как и советский пионер, ничего божеского не знал, но старательно повторял за старшими товарищами: "Хайлиге Мариа, мутер готэс, битте фюр унс зюндер, унд ин дэр пггундэ унзэрэс тодэс..." ("Святая дева Мария, прошу тебя о величайшей милости, чтоб некогда и я соединился с Христом на небе...")

"О Боге вспомнили, падлы! — морщился Шорохов, косясь в сторону молящихся. — Ишь, какие смирненькие сделались. Ишь, какие добренькие. Оне, чего доброго, после войны так вот и замолят свои тяжкие грехи. А нам, безбожникам, че делать? Нам кто грехи наши отпустит?.."

На левой стороне Черевинки, в соседстве со свежими могилами, солдаты выкопали нишу, соорудили мат из прутьев, насыпали сверху земли, чтоб заслонить планшет Карнилаева и карту Понайотова от дождя, перенесли телефон в земляное это сооружение, печку перенести не успели. Едва рассвело, едва убрались с хозяйством из разоренного блиндажа, как минометчики обер-лейтенанта Болова аккуратно и яростно разнесли свой наблюдательный пункт.

Пленные немцы запали за бугорком свежей могилы. Несколько русских солдат залегли меж ними. Вальтер вскочил и, словно римский император, вознеся руки, закричал:

— Вэк мит инэн. Шлагт зи нидэр! Фюр майн шмах унд шандэ! Фюр ди шандэ унзэрэр вермахт. Фюр ди фюрере шандэ, дас эр айнмаль фершвиндэт, хойтэ нох. Фор аллем фернихтэт мисгебурт Зигфрид… (Кройте! Бейте! За мой позор! За позор нашей армии! За позор фюрера! Чтоб он сдох! Разбейте всех тут в куски! Прежде всего выродка Зигфрида!..)

Поднялись с земли после обстрела, отряхнулись. Шорохов трубку телефона продул, проверку сделал и ото всей-то душеньки вмазал по уху митингующему фрицу, да так вмазал, что рухнул ослабевший враг в самое речку и высказываться перестал. Зигфрид, возвращаясь на берег, в обжитую нору, упрекал товарища по несчастью:

— На, унд вас хаст ду эрцильт? Вас? Вильст ду, дас ман алле фернихтэт? (Чего ты добился? Чего? Ты хочешь, чтоб нас всех уничтожили?)

— Ихь виль, дас ду эндлихь ден мунд хальт. (Я хочу, чтоб ты заткнулся.)

День седьмой

Весь этот день самолеты не покидали неба над плацдармом. Весь день шли бои в воздухе. Кто-то кого-то даже сбивал. Особенно грузно наваливались немецкие бомбардировщики на сшибленные с высоты Сто остатки первого батальона. Но хоть и медленно, вроде даже неохотно опустился на землю долгожданный вечер, затихла канонада, оседала вздыбленная земля, овражными токами тащило к реке дым, копоть, сажу, растягивая и осаживая на воду смесь пыли и дымной мглы.

Благословен будь Создатель небесный, оставивший для этой беспокойной планетки частицу тьмы, называемой ночью. Знал Он, ведал, стало быть, что Его чадам потребуется время покоя, чтобы подкопить силы для творенья зла. Будь все время день, светло будь — все войны давно бы закончились, перебили бы друг друга люди, некому стало бы мутить белый свет.

Допущен наконец-то был до работы с непокорным берегом начальник политотдела дивизии. Уж отвел он душеньку, уж наболтался вдосталь. Повторив для начала угрозу, что он такого произвола просто так не оставит, коли здесь, среди закостенелого руководства, управы на аполитичных олухов не найдет, самому Мехлису напишет, начал передавать новую информационную сводку — много чего наши войска позанимали, особенно в Белоруссии. Мусенок сообщил, между прочим, что учрежден орден Богдана Хмельницкого, что город Переяславль переименован в город Переяславль-Хмельницкий. Затем долго диктовал статью Емельяна Ярославского из "Правды" под названием "Боевые приказы Верховного главнокомандующего товарища Сталина", выдающееся творение по постыдности низкопоклонства даже среди самых рабски-подхалимских статей. В заключение Мусенок приказал переписывать патриотический стишок "Гвардейское знамя", чтобы не надули, велел телефонистам вслух повторить записанное.

Алый шелк широко развернули,
Стали строже удары сердец.
На почетном стоит карауле
У заветного стяга боец.

Боевое гвардейское знамя,
Я тобой, как победой, горжусь!

Я к тебе припадаю губами, —
Я целую тебя и клянусь:

Если споря с бедой грозовою,
Ты костром зашумишь надо мною,
Только в сердце раненье сквозное
Не позволит идти за тобою.

Лучше пусть упаду без сознанья
По-гвардейски — лицом к врагу.
Только б реяло красное знамя
На удержанном берегу.

Знаю я, кто сражался, умер, —
Навсегда остается в живых
В этом сдержанном шелковом шуме,
В переливах твоих огневых.

— Вот, понимаете ли, что такое настоящий патриотизм? — сыро шлепал в телефонную трубку Мусенок. — Вот, понимаете ли, как надо осознавать свой долг перед родиной!

И ни слова о том, как на плацдарме дела, чем помочь раненым, накормить людей, обеспечить их боеприпасами… Этот человек, находясь на войне, совершенно ее не знал и не понимал. Находясь рядом с людьми переднего края, Мусенок шел все же, как говорят в Сибири, вразнопляс с бойцами, а сосуществовали они, как опять же говорят в Сибири, и вовсе вразнотыку.

— Да ладно, хоть отвязался, — увещевал Бескапустин своих художников-командиров. Он-то знал давно, на себе испытал главную особенность армии, в которой провел почти всю свою жизнь, и общества, ее породившего, держать всех и все в унизительном повиновении, чтоб всегда, везде, каждодневно военный человек чувствовал себя виноватым, чтоб постоянно в страхе ощупывался, все ли застегнуто, не положил ли чего ненужного в карман ненароком, не сказал ли чего невпопад, не сделал ли шаг вразноступ с армией и народом, то ли и так ли съел, то ли и так ли подумал, туда ли, в того ли стрельнул…

Даже здесь, за рекою, в преисподней, достают воюющего человека — и честный человек, добросовестный вояка, Авдей Кондратьевич Бескапустин, мучаясь смертельной мукой без табака, мучился еще и подспудной виной: напишет "художник" Мусенок в верха, своему старому дружку Мехлису, или не напишет? Рычит полковник на ближних своих, измотанных за день до того, что, не успев отдышаться, умыться, падают они кто где, сраженные сном, — до политики ли им сейчас, до шелком ли шелестящего красного знамени?

Успокаивались, приводили себя в порядок, умывались, готовились к ужину и на противной стороне. Генерал Конрад Штельмах, назначенный вместо старикашки фон Либиха, давал понять русским, что прибыл сюда не семечки лузгать, как здесь говорят, а воевать, и, хотя в этот его первый день присутствия в дивизии ощутимого перевеса не принес — русские сражались с отчаянием висельников, активность его войск была пусть и не очень результативна, но похвальна. Он уже отметил одобрительным отзывом действия минометной роты, работавшей без передышки, результативную атаку отдельного батальона, которым командовал майор Пауль Шредер. Батальон понес большие потери, нуждается в пополнении, но пока и наличными силами действует эффективно. Хорошо работала авиация, слава и благодарность асам Геринга. Фон Либих, еще в империалистическую войну привыкший воевать

неторопливо, запустил дела, давая войскам вовремя обедать, себе позволял иметь часовой отдых после обеда, иначе голова его отказывалась соображать. Во вверенной ему дивизии есть случаи неподчинения, дезертирства, самострелы появились, причем количество их с прошлой зимы увеличилось. Новый командир дивизии требовал подкреплений, увеличения огневой поддержки с тем, чтобы сделать, наконец, этот давно обещанный "буль-буль!" русским. Но подкреплений дивизии не дают, более того, спешно сняли — для переброски на другие направления — полк истребительных орудий, увели роту самоходок, находившихся в резерве, и оба эсэсовских изрядно поредевших батальона. И вообще командующий группой войск дал понять по радиосвязи — отныне без его ведома и распоряжения резервы не трогать.

Подавляя в себе раздражение, недовольный тем, что ему не дают развернуться, что всегда эти фоны-моны, повылазившие в чины из штабов и родовых имений, затирают выдвиженцев фюрера, добывших себе звания и награды в сражениях, новый командир дивизии Конрад Штельмах решил все же атаковать русских и отбить у них на первый случай хотя бы высоту Сто, так постыдно оставленную и давшую много преимуществ противнику.

К удивлению Конрада Штельмаха отдельные подразделения вверенной ему дивизии особого рвения и тем более радости по случаю прибытия нового командующего аж из Африки не проявили. Получив приказ о наступлении, командиры двух эсэсовских батальонов, по войсковому положению приравненные к командирам полков, вести наступательные действия отказались, сославшись на особые инструкции о передислокации, полученные ими от высокого командования. Весь день они проболтались без дела, точнее говоря, проспали на запасных позициях. А будь они, эти батальоны, в действии, купаться бы русским в реке, принимать общую освежающую ванну.

Воевавший в Африке ни шатко ни валко: оклемаются англичане, соберут силенки — он их расколошматит, отгонит в пески пустынь и опять спокойно устраивает смотры, попивает кофе в прибрежных виллах Средиземноморья — Конрад Штельмах жаждал доказать своими успехами в России, что талант полководца всюду может иметь преимущества перед чахлой бездарностью. Начальник штаба дивизии, привыкший, как видно, быть полным хозяином в дивизии при ленивом и вялом старикашке фон Либихе, деловито докладывая об итогах прошедшего дня, охладил пыл нового командира дивизии и еще более обескуражил данными разведки: у противника артиллерии намного больше, и стоит шевельнуться немецким частям, как начинается, по-солдатски говоря, благословение, на головы и без того усталых солдат обрушивается залп за залпом.

Еще до Сталинграда авиация противника отвечала ударом на удар, над плацдармом же советская авиация и количественно, и качественно превосходит геринговскую, прежде всего бомбардировочная. Ю-87, устаревший, допотопный самолет, сеющий бомбы, опять же по-солдатски говоря, черт знает куда, порой на свои же окопы, не может уйти от маневренных истребителей советов. Зенитная артиллерия и истребители уже выбили половину, если не больше, эскадрилий бомбардировщиков, и, несмотря на высокое мастерство и храбрость асов рейха, русские самолеты, неуклюже, с большими потерями, завоевывают родное небо. Штурмовики "Илы" ходят чуть ли не по головам немецких солдат, нанося страшенный урон наземным частям, территория же здешняя для действия танков — этого конька-спасителя — непригодна. Не иначе как русскими частями вспаханный берег реки не позволяет иметь на плацдарме постоянную, четко обозначенную передовую. Немецким частям, привыкшим к образцовому порядку, кажется, что вокруг них бродят русские, ведут разведку — обнаружена совершенно случайно полевая линия связи из германского провода, впутанная в полевую немецкую связь, — работает себе без смущения, прицельно крошит наши боевые порядки вражеская артиллерия, бродят в боевых частях самые невероятные, окопные слухи — пароль в уборной это называется — противник собирает еще один ударный кулак на левом берегу для

проведения еще одной операции. Вот почему снимаются эсэсовские батальоны и другие части, так здесь необходимые, передислоцируются и те, что стояли в резерве, — на случай прорыва фронта русскими.

— Нам предстоят серьезные испытания, господин генерал.

Не понравился Конраду Штельмаху доклад начальника штаба, скребануло уши недопустимое выражение типа "родное небо" — небо у всех одно, но человек с желтым лицом, выгоревшими бровями, облезлый, обезжиренный, с нервно суетившимися руками, с изношенными гусеницами витого погона, не желающий смотреть в глаза, не напускал голубого тумана, не занимался очковтирательством.

Откуда же, откуда взялись такие силы у русских? Ведь не раз и не два в сводках вермахта и докладах фюреру сообщалось, что русские в прах разбиты, что армия их взята в плен, ресурсы исчерпаны, уголь и руда в наших руках, еще одно усилие, один нажим — и этот деморализованный сброд, называемый Красной Армией, будет уничтожен...

Но вот начальник штаба его дивизии, навидавшийся и натерпевшийся на Восточном фронте всякого, сделав общий обзор положения на вверенном дивизии участке фронта, откинув голову, печально прикрыл глаза:

— Хотя полных сведений с левобережья еще не поступило, данные воздушной разведки подтверждают — сил для очередного прорыва там достаточно.

Генерал молча и пристально вглядывался в своего начальника штаба: не очень тщательно выбритое костлявое лицо как бы обнажилось под тонкой, изношенной кожей; глаза его словно углем обведены — как же устал этот человек!

— Вы хотите сказать, подполковник Кюнер, дела наши...

— Я ничего не хочу сказать. Я докладываю, — как бы проснувшись, собирая со стола бумаги, произнес начальник штаба. — И предостерегаю, гер генерал, нужно беречь силы — за прошедший день мы понесли неоправданно большие потери. Положение противника отчаянное, продукты к нему почти не поступают, и нужно, я полагаю, не атаковать противника в лоб, но, если противник позволит, отрезать его от реки, уничтожать все, что может плавать... Через очень короткое время русские или вымрут, или перейдут в плен...И не удержался, все-таки сказал в лицо своему генералу то, что бродило, ползало по окопам: — Здесь не Африка, гер генерал. Здесь красивой войны не получилось. Здесь обе стороны бьются насмерть, и все средства хороши, коли они ведут к успеху, чего, к сожалению, не понимал покойный фон Либих, пытавшийся воевать комфортабельно и даже гуманно.

"Да он же дерзит!" — надо бы осадить этого, серыми жилами опутанного по лбу, даже по полуоблезлой голове, полковника. Но тот, не дожидаясь продолжения беседы на отвлеченные темы, повторил, что теми силами, какие есть в дивизии, вести планомерное наступление невозможно. Для наступления нужны подкрепления. Но их не дадут, потому как затеваемая русскими переправа через реку — не последняя. Новокриницкий плацдарм, операция, теперь это уж ясно, вспомогательная — отвлекающий удар. Если бы удалось русским развить операцию, они, возможно, и перешли бы в общее наступление на правобережье. Но не получилось. Может, и новый удар не получится.

— Но… пока мы топчемся в этих оврагах, отражая один за другим удары противника, он готовит и подготовит где-то главный удар.

— Где? — пожал плечами Кюнер. — Знать бы заранее. Вот почему личным распоряжением командующего центральной группой войск,начальник штаба дивизии подчеркнул голосом — личным! рас-по-ря-жением! — запрещено вести наступательные действия. Активная оборона — вот что нам рекомендуют наши стратеги.

Конрад Штельмах грузно опустил голову: "Да-да, его предположения оказались точными — не от добра, не от хорошей жизни выгребают войска из Африки и Европы. Дела на Восточном фронте после Сталинграда и на Курском выступе не просто пошатнулись, они… Но как все запутано! В Германии полная дезинформация! "Новый вал на реке!", "Непреодолимая преграда", "Окончательная могила для русских!", "Дело фюрера непобедимо!"

— Так что же, будем сидеть у речки и ждать погоды, как говорят русские, господин подполковник? — с неприязнью, однако, и с занимающимся в нем раздражением к этому измотанному войной, но самоуверенному человеку заметил строгий генерал.

— Я полагаю, господин генерал, русские не дадут нам такой возможности, — подчеркнуто равнодушно, пожав узенькими плечами так, что обмахрившиеся погоны ожили, выгнулись, заползали по плечам лесными гусеницами, заявил начальник штаба: — Как предписано — будем вести активную оборону. Пока же я прошу вашего распоряжения насчет снятия саперной роты с передовой, оборудовать штаб дивизии — прежний, как вам уже известно, разбит.

— Кому нужна, кому выгодна ложь? — спросил или подумал генерал. Подполковник пропустил мимо ушей опасную реплику своего начальника и, словно заведенный, ровным, утомленным голосом продолжал вводить в курс дела генерала, уныло, будто по книжке читал о том, что русская артиллерия, этот воистину бог войны, как ее совершенно справедливо именуют в Красной Армии, крушит все и вся. Особенно прицельно действует гаубичный полк и бригада, с крутой траекторией полета снаряда достает в любом овраге, в траншеях, за высотой Сто, в пойме речки и в противотанковом рву. Как стало известно из подслушанных телефонных разговоров, на плацдарме артиллерию возглавляет какой-то майор, он ранен, но не покидает поста и держит в постоянном напряжении правый фланг и тылы боевых подразделений.

— Дерзкая, чистая работа! Делается малыми силами, но с большой точностью.

"Этого только не хватало! Начальник штаба не просто обобщает, он хвалит действия противника!"

— Так поучитесь воевать у этого большевистского маньяка! — не сдержался Конрад Штельмах.

— Учимся, учимся, гер генерал! — усмехнулся Кюнер, как показалось генералу, даже снисходительно. — С сорок первого года, то они у нас, то мы у них. Конечно… когда совсем научимся, переймем друг у друга полностью опыт, по-видимому, им уже воспользуются два оставшиеся на свете мудрых учителя.

"Это он о ком же? Что за намеки? — похолодел генерал. — Ну, они тут довоевались до предела, ничего уже не страшатся".

— И что, наконец, делает наша хваленая авиация? Почему не подавит русских? — избегнув продолжения разговора о двух мудрых учителях, сделал стратегический маневр Конрад Штельмах.

— Но я уже говорил, гер генерал, что у русских и орудий, и самолетов слишком много, гораздо больше, чем у нас. Вы разве еще не убедились в этом? И тем не менее я прошу вас разрешить

обратиться с просьбой к нашей авиации ночного действия о нанесении бомбового удара по артиллерийским позициям противника. — Кюнер как-то странно, по-птичьи клюнул носом, наклонив голову, — не поймешь — в поклоне или у него на шее чирей, — и бочком поплыл из блиндажа. В этом полупоклоне или тоже манере генералу снова почудилось что-то насмешливое, если не издевательское. "Он разговаривает со мной, как с малым дитем! Битый вояка, хотя и сволочь, но прав, прав во всем, да еще и деликатен. Не сказал вот о том, что советские самолеты пробомбили ближний аэродром, так что ждать активности авиации не приходится и надо подчиниться обстоятельствам. От ночных же бомбардировщиков беспокойства много, толку мало, и это хорошо знает начальник штаба".

Все остальные дни

Сердце Финифатьева слипается в груди капустными листьями, скрипит. В груди волгло, непродышливо. Надо бы выпрямиться, распуститься телом, дать сердцу простор, но он боится потревожить притупившуюся боль, упустить тепло из-под одеяла и шинеленки, которое надышал: сердце, завязываясь в вилок, складывает, прижимает лист к листу, замирая в сиротливом отдалении, в знобном уюте, но какая-то струна звенит, дребезжит расстроенно в голове или в груди — не поймешь. Сержанта смывает с земли, несет по воздусям под гору, к железнодорожной линии. Он и железную дорогу увидел первый раз, когда ездил по бесплатной путевке на курорт, он ее робел и, если она ему снилась, считал — не к добру. А тут что ни сон, то опять про железную дорогу. Видится толпа на железнодорожной линии. Он знает — нянька-бабушка захворала, Алевтина пошла на ферму, Марьюшку отпустили в детсад одну. А садик-то за рекою, в Перхурьеве, но вместо реки Ковжи, взявшей малого Феденьку, образовалась железнодорожная линия — когда и проложить успели? Финифатьев раздвигает закутанную в шали, в платки безликую и безгласную толпу и видит Марьюшку, перерезанную пополам. Живы только глаза, все больше расширяясь, затопляя голубым светом землю, глядят на него с укором и с мольбой глаза Марьюшки иль Алевтины Андреевны, как глядели на него дети, когда болели, как глядела Алевтина Андреевна, когда он уходил на позиции.

"Мне же больно, тятя! Что же ты не поможешь мне?" — "Доченька! Марьюшка! Марьюшка!" — стонет Финифатьев, стараясь выловить, поднять с рельсов дитятю. Под руками пустота, и куда-то прозрачно, бестелесно истекают Марьюшкины, Алевтины ли Андреевны глаза...

После такого оторопного сна Финифатьев страшился заснуть, принуждал себя думать о чем-нибудь хорошем. Самым же хорошим было родное Белозерье, деревня Кобылино, колхоз "Заветы Ильича", ныне Клары Цеткиной, не к ночи будь она помянута. Ждет его в далекой северной стороне, как и всех русских мужиков ждут жены, дорогая, Богом ему данная супружница, Алевтина Андреевна. И наградит же Господь человека именем, назначению его и качеству соответствующим. Это сколько же он, будучи парнем, творил из имени зазнобы своей складных слов: Аля, Аленька, Аленочка, Алевтинушка, Тина! — и не упомнить, пожалуй, всех-то ласковых имен. И одно ведь басчей другого, каждое к языку медом льнет, сладкой каплей к нему прилипает, разливается теплом по нутру.

Будучи парторгом колхоза, не сам, конечно, по настоянию сверьху, презрев грубое, конечно, но родное название деревни Кобылино, навязал он населению родного села имя Клары Цеткиной. Население, конечно, безропотно одобрило революционное название, но на письмах и на коробках посылок кобылинцы упрямо писали "Клара Целкина". "Хэх! Каков народ-то вологодский! — дунет в валенок и озиратца вокруг, доискиваясь, кто это подвез?"

Щука шла из нова города,
Она хвост волокла из Бела озера!
Как на щуке чешуйка серебряная,

Что серебряная, позолоченная,
а голова щуки унизанная!

К богачеству эта припева велась да присказывалась. Еще бы, еще бы чего из древности-то в голове воскресить?

Ласточка-касаточка!
Не вей ты гнездо в высоком терему,
Ведь не жить тебе здесь и не летывати...

Эту девки пели, об замужестве когда мечтали-изнывали. Дальше-то, дальше-то вот как же?

Уж я золото, золото хороню-хороню!
Уж я серебро хороню-хороню!
Я у бабушки в терему, в терему!
Гадай-гадай, девица, отгадай, красавица!
В какой руке былица, змеиная крылица?
А я рада бы гадала, и я рада бы отгадала,
Через поле идучи, русу косу плетучи!
Шелком прививаючи, златом присыпаючи!

Утешение самолучшее страждущему, кровь за отечество пролившему, слово родины милой! Царица Небесная, отринь, отгони во тьму беспамятности нечестивый смысел и вид жизни моей прошлой, очисти душу от сора и плевел видением стороны родной, согрей теплом слова родного, горючей, сладкою слезой омоюсь я перед кончиной. Не учуял бы я, нет, глубинно, чисто и больно свет жизни, войны и бедствий не познав. Разве б возлюбил я так ближних своих, сторону родную, небо, землю, белый свет, весну-красну, лето зеленое, осень золотую, не изведав разлуки, не приняв страданья? "Господи-ы-ы-ы! Мать Пресвятая Богородица, намучий человека, намучий, постращай адом, но дай ему способ сызнова вернуться на землю, вот тогда он станет дорожить жизнью, и землей, и небом, им дарованными. Господи, Мать Пресвятая Богородица, пусть в горячем бреду, пусть в беспамятстве, пособи мне прислониться к теплу родительского очага!..

Пал, пал перстень во калину-малину,
В черную смородину, в зеленый виноградник.
Очутился перстень да у дворянина,
Да у молодого, да на правой ручке,
на левом мизинце!
Девушка гадала, да не отгадала,
Наше золото порохом пропахло
да и мохом заросло...

"Да и порохом пропахло, да и мохом заросло", — прошептал Финифатьев, и такая пронзительная, горькая жалость к себе охватила его, что, обращая взор в пространство, он спросил: "Алевтина Андреевна! Детки мои: Ваня, Сережа, Машенька, Граня, Веня, Марьюшка, Феденька — неприютная душа! Вот лежу я в земле, пожалуй что обреченный, но вас слышу, чую вас всех рядом и люблю, ох, как люблю-ууу!.."

Растерзанный жалостью, боясь спугнуть видение нутряным, беззвучным плачем, Финифатьев затаился в себе, напрягаясь изо всех сил, выуживал из памяти еще и еще что-нибудь, светлое, хорошо бы веселое, чтоб только приглохла боль, до крестца уже раскатившаяся, но главное — отогнать бы гибельные предчувствия и липкий этот, капустный озноб.

Вспомнилась ему юная пора, двадцатые годы, потому что после, как и всякому гражданину страны Советов, сделалось недосуг наполнять жизнь достойным смыслом, закрутило, завертело его, как весь народ: организация колхоза, свары, распри насчет того, кто должен рыбу ловить, кто ее кушать; строительство дома, отделение старшего сына, еще постройка дома, гибель сына Феди — школьника — шел он из заречной перхурьевской школы домой, Ковжу уже прососало, ледоход налаживался, налаживался, тут вот и начался — даже не нашли мальца, не похоронили, льдом его растерло, отчего и вина перед ним всегдашняя. Тестя раскулачили, самого Павла Финифатьева чуть было лишенцем не сделали, ладно смекнул в колхоз записаться да поскорее в партию вступить. Партейные товаришшы тут же его на все пуговицы застегнули да казенным ремнем запоясали, в доносчики завербовали, парторгом колхоза назначили. В светлое-то будущее он не особенно верил, сомневался в нем, но ради семьи, ради жизни живой дюжил, унижения переносил, приспосабливался. Война, которую все время сулили, перекатным грохотом по российской земле прокатилась. До сорок третьего года хитрил, даже и подличал, должностью парторга заслоняясь, ан подмели по деревням остатки-сладки — некому фронт держать.

Над Ковжей-рекой, в крестовом дому с мезонинчиком, деревянным кружевом обрамленным, осталась бедовать с ребятишками Алевтина Андреевна. Допрежь он исхитрялся одну ее никогда не кидать. Жалел потому что, и она его жалела — любовь промеж них была ранешная, негромкая, зато крепкая.

Алевтина Андреевна происходила из села Перхурьево, что лепилось по другую сторону Ковжи. На подмытом бережку, поросшем мелкорослые, пихтачем, косматым можжевельником, во тьме похожим на притаившиеся человечьи фигуры, голое, безлесое, зато на виду село и на солнце всегда, с церковью, со школой посередке.

В двадцать четвертом году в Перхурьево начал работать ликбез, молодые девки и парни полетели на вечерошний огонек, что метляки на лампу, потому как ни в Перхурьево, ни в Кобылино клуба не велось. Игрища собирались в откупленных избах. А тут на-ко тебе! Без хлопот, забот — бесплатное место сбора образовалось, да еще и грамоте учили там же. Учительша — молодая совсем. К ней быстро приладился сельсоветский секретарь в военном галифе с блистающими во глубине рта железными зубами. Подучивши ковженцев счету и мало-мало корябать на бумаге, строчить полюбовные записки, учительша та полностью переключилась на просветительно-массовую работу, сделалась как бы уже и не учителем, а затейником на селе, ставила постановки про буржуев и попов, организовывала шествия против религии, праздничные демонстрации, танцы, разучивание песен про мировую революцию.

Вскорости появился у нее горластый малец, революционный энтузиазм свой учительница полностью обратила на дитя, так как секретарь сельсовета в галифе по весне уплыл вниз по Ковже — решать "в центре" вопросы большой важности. Решение вопросов затянулось, в Перхурьево военный кавалер не вернулся. Однако дело, начатое учительшей, пропасть уже не могло, потому как всколыхнулись молодые массы, да и дела в те годы в деревнях шли более-менее подходяще, так что ребятам в самый раз было гулять и веселиться.

Финифатьев Павел еще в ликбезе начал пристраиваться к Алевтине Сусловой из Перхурьева, тогда еще просто Тинке. С ходу успеха не имел, но цели своей не кинул, внимания своего не ослабил, на других девок его не рассеивал. Уж больно хороша была Тинка-то! И слепы же парни в Перхурьево-селе, не умели разглядеть, до чего же она хороша! Телом пышная, но не рыхлая, вся как бы молоком парным мытая, со спокойными голубыми глазами, умудренно глядящими на мир этот, революционно всколыхнувшийся.

Никак бы не одолеть ту крепость Пашке Финифатьеву, если б не грамота, так кстати ему

сгодившаяся. По дому ходила книжка без корок, завезенная в Кобылино когда-то еще при деде Финифатьева веселым офеней, таскавшим кованый сундучок на гнутых санках, — "капиталы" от выручки в кошеле на груди. Однажды развернул ту книгу Павел и оторваться от нее не смог. Хотя он и считал себя в ту пору полностью от веры отринутым, активным атеистом значился, в комсомол записался, порешил все же про себя — сам Господь Бог перстами своими трепетными вложил ему в руки такую дивную книжку.

На первой странице книжки крупно, с завитушками было написано: "Поучительные и полезные наставления по политесу, приятным манерам, такожде содержащая поучения разного свойства; по написанию любезных посланий, умственно-изящных выражений, по завлекательным играм, содержащим неназойливые намеки на таинства любовные; такожде загадки, ворожбу, невинный обман в стихах нравоучительного свойства; такожде советы по отысканию счастья в супружеском лоне и многому иному, потребному для человека, жаждущего культурного усовершенствования и приятного обхождения в благородном обществе".

Белым потоком хлынули послания в Перхурьево из-за реки Ковжи на имя Алевтины Сусловой. И какие послания! "Лети, листок, прямо на восток. Упади, листок, у любезных ног!.." Дело шло так складно, с такими душевными выражениями и разными умственными изречениями насчет счастья и любви, которые были обозначены лишь намеками, но все равно угадывались, и таился в них призыв, однако не настолько уж тонкий, чтобы не прочитывалось личное чувство и отношение к затронутому вопросу; "Что тужить, мой друг! Утро завтрашнее разрушит вашу печаль и уменьшит ваши страдания...", "Судьба того никогда не оставляет, кто тверд и решителен в предприятиях своих", "Натура ваша сотворена доброй и мягкосердечной, но только сдержанность ваша и холодность могут сослужить вам к несчастью и одиночеству". И так далее, и тому подобное. В конце любезного письма непременно уж загадки, да такие мудреные, что никак не отгадаешь: "Я молча говорю издалека с тобою, не слышу, не смотрю, но то, что видели и слышали, — открою", "Сорву косматy голову, выну сердце, дам пить — будет уметь языком не всяк говорить", "Штучка-одноручка, носочек стальной, а хвост льняной!", "На ямке-ямке сто ям с ямкой", "Маленько, кругленько, в середине беленько, и горько, и сладко, и маслянисто".

И, протомив день, порой и три дня "любезную даму сердца", сломленный мольбами, слал он за реку письменные отгадки: "Письмо", "Перо", "Игла", "Наперсток", "Орех".

Лишь повоевав достаточно и достигнув чина сержанта, Финифатьев узнал название всему этому — тактика! А в молодости он, однако, мало чего понимал в тактике и сделал перебор в культурном напоре. "Любезная дама сердца" из сил выходила, напрягаясь, чтобы так же складно и изысканно отвечать на послания "любезного друга сердца из села Кобылино", потому как имя пламенной революционерки Клары Цеткиной значилось на вывеске сельсовета, в протоколах собраний, на лозунгах и в разных отчетах, а в остальном приживалось туго, да и не приживется, пожалуй что. "Отдала колечко со правой руки, полюбила парнечка я из-за реки", — лепетала Тина и доходила совсем уж до явного откровения: "Я сидела на лужку, писала тайности дружку. Я писала тайности про любовны крайности..."

Но что это за изречения по сравнению с теми, которые обрушились на нее из-за Ковжи-реки. "Живи, лови минуты счастья, не унывай в седой тоске. Пройдут невзгоды и несчастья, ты улыбнешься солнцем мне!" По этой, только по этой причине стала казаться себе Тина недотепистой, отсталой, не раз плакала она сама об себе и об горькой своей участи, тем более что кобылинский кавалер из того же печатного наставления выучил всякие забавы и фокусы: как принести воды в дырявом ведре; как протолкнуть голову через кольцо; как снять с себя рубашку, не скидывая сюртука. Кроме того, он помнил святочные гадания, песни и полностью

уж заменял на игрищах учительшу-затейницу, уехавшую учиться в город на киномеханика. Словом, кончилось все тем, что Тину-Алевтину утешать взялся перхурьевский архаровец Венька Сухоруков, имеющий бельмо на глазу и по этой причине не угодивший на войну, ныне заправлявший колхозной рыболовецкой бригадой.

"Не бывать тому!" — сказал себе кобылинский кавалер, и, сообщив "даме сердца" о том, что "змея ползет к человеку для уязвления, а вы лучше хорошенько бы рассмотрели и основывались на истине, а к пустым словам не прилеплялись, ибо в них яд сокрыт...", Финифатьев неделю при тусклой лампе переписывал наставления в тетрадь и подкинул труд в дом Сусловых.

Снова пошла между Кобылино и Перхурьево такая переписка, что, захваченная ее бурным порывом и загадочной, небывалой страстью сочинительства, Тина отворотилась от перхурьевских ухажеров, от Веньки бельмастого и всяких иных воздыхателей. Вознегодовав, перхурьевские парни с двумя гармошками во главе с Венькой бельмастым прошлись по Кобылино, громко выкрикивая: "Как кобылински девицы, из отрепий, из кострицы, ходят задом наперед — никто замуж не берет!.." Особенно дерзко вели себя перхурьевские парни под окнами активиста-комсомольца Пашки Финифатьева.

Мы ребята — ежики,
У нас в кармане ножики,
По две гирьки на весу,
Левольвер на поясу!

Но ничего уж не могло удержать двух пламенем объятых сердец, стремящихся в "лоно семейного очага", тем более, что в том же умном наставлении было как будто специально для них сказано: "Счастье — не пирог, дожидаться нечего..."

А и будучи женатыми, оставались они радыми друг другу и нет-нет да и затевали игру, им только и понятную, вгоняя родителей в сомнение насчет сохранности ума у молодых. "Счастье — кипяток, разом обожжешься!" — хитро сощурившись, бывало, начнет Алевтина Андреевна заманивать Павла в горницу. А он ей тут же: "Искусный плаватель и на море не утонет!" Украдкой, совсем уж тихо шепнет сваренным голосом голубица ясная: "Грех сладок, а человек падок!"

Само собой, от игры такой пошли детки. И вот уж старшие сыновья, той вечной радостною игрой увлечены, пошли-поехали гулять, хотя и не было у них ранешных полезных наставлений, они все равно привели в дом молодух.

Тетрадку, когда-то ей в Перхурьево посланную, Алевтина Андреевна сохранила. Вынет из сундука, шевеля губами, прочтет: "Счастье — не голубь — кого полюбит", уронит слезу на желтые листки, жалея о так быстро пролетевшей молодости, да и успокоится, норовя трудом своим изладить лучше жизнь другим людям — детям своим.

Еще какой-то миг Финифатьев удерживает видение — супружницу свою драгоценную, с годами сделавшуюся дородней, но все голубицей ласковой глядящею. Он чувствует взгляд жалостливый, призывный, но то, что когда-то в наставлении означалось загадкою: "Что сильней всего на свете?" — вдавливает Финифатьева в земляную щель, на смену приятным воспоминаниям наплывают темные, жуткие видения, подступает явь, которая страшнее снов. Видится ему зыбучее болото, по болоту тому, не увязая, хватаясь за горелые сосенки, бредет в белом халате медсестра обликом точь-в-точь Нелька Зыкова, что сулилась за ним приплыть, да что-то никак не плывет. На ходу она стряхивает градусник, навалившись на грудь сержанта,

раздвигает зубы, расшеперивает рот, сует под язык градусник... нет, исправилась, градусник перенесла куда надо, под мышку, в рот-то закатился комочек земли, может, галька. Отчего же градусник-то шевелится? Холодно от градусника — это спервоначала всегда так, пока не согреется градусник от тела, но чтоб шевелился... Да ведь это змея, болотная гадюка под мышку-то заползла, жует градусник кривыми зубами, треск стекла слышно...

— Аа-а-а-а! А-а-а! — вскинулся Финифатьев. И что-то отпрыгнуло от него, мягко выпало из норки. — Божечки! Крыса! — зашевелились реденькие волосы на голове сержанта. Фашисты выжигают и рвут вдали древний город — вся нечисть из него ринулась в бега, ей, нечисти, тоже жрать чего-то надо. Едят мертвых, у беспамятных носы и уши отгрызают.

В штабной нише под козырьком сменились связисты. Отдежуривший связист уполз на обогретое место, на растертый бурьян, из-под праха которого обнажилась кореньями надолго уже остывшая земля. Выступивший на дежурство связист навесил на башку две телефонные трубки, пытался оживить печку, перенесенную из блиндажа (убить эту сваренную из броневого железа печку не могли даже доблестные минометчики обер-лейтенанта Болова), собрал с полу все, что может гореть, выдернув горсть ломаной полыни, долго бил кресалом, рассыпая искры во тьме, раздувая трут или старый бинт, свернутый трубочкой с ваткой в середине, наконец, добыл огня, поджег бурьянок в печке и, завороженно стоя на коленях, неотрывно смотрел на огонек, вроде бы пытаясь постигнуть тайну его или просто порадоваться огоньку с горьким, полынным дымком, отдающему пусть и слабенькое, но не предвещающее смерти тепло. Из тьмы, зачуяв запах дыма, выступил постовой, вывернул карманы, кисет, выбирая из пыльных уголков золотинки табака, попросил связиста то же сделать.

"Да некурящий я", — отозвался Шестаков, — но на всякий случай все же вывернул карманы штанов. На нем, кроме нижнего белья, все было с чужого, мертвого тела, так, может, прежний хозяин одежи был курящим человеком. "Нет, ничего нету,тихо уронил он, — и печка прогорела". Подумал, может, от разбитого блиндажа немецких минометчиков остались щепки какие, головешки ли, попросил часового сходить туда. "Ладно", — согласился постовой, намявши в горсть полыни, он смешал ее с табачной пылью, прикурил, захлебнулся едучей горечью дыма, сердито бросил цигарку и какое-то время стоял перед печуркой на коленях.

Лешка хотел сделать поверку, но вспомнил, что сделал ее уже, вступив на дежурство, придумывал занятие, которое помогло бы отогнать сон. У опытного связиста существуют десятки дел и уловок, чтобы занять себя ими на дежурстве, которое за делами проходит быстрее, но главное — не дает уснуть. В свете дня писать письмо, починять штаны и рубахи, ковыряться в запасном телефонном аппарате, изолировать провод, укреплять заземлитель. Кто читающий и запасся старыми газетами, прихватил где-нибудь книгу, тот убивает время за чтением. Но коли ты выспавшийся, сытый — вспоминается кое-что из прошлой жизни, такое, что манит заняться Дунькой Кулаковой, — грешку этому шибко подвержены связисты.

На Брянском фронте, помнит Лешка, до дыр зачитали оставшуюся с зимы в окопах "Историю ВКП(б)" — до чего же нудная и противная книга, но читать-то нечего, вот и мозолили ее, с бумагой плохо сделалось, начали ее курить — и тут нелады — напечатана на дорогой, толстой бумаге, на цигарках при затяжке она воспламенялась, обжигала брови и глаза. Пользуясь ситуацией, солдаты громко кляли книгу, самое вэкэпэбэ, и никто из чинодралов придраться не мог — брань совершенно обоснована.

Много занятий у опытного связиста, главное из них — треп. За этот грех шишек насобирает связист полну голову: уснет или затокуется на телефоне дежурный, прозевает командира, тот ему немедля завезет телефонной трубкой по башке. У новых телефонных аппаратов трубки эбонитовые, легкие, от них, если стукнут по башке — один только звон, шишек же нету, кроме

того, трубки эбонитовые хрупкие, и, если отец-командир переусердствует — трубка растрескается, когда и вовсе рассыплется. Связисты соберут трубку, изоляционной лентой обмотают, проволочками разными скрепят, но качество техники уже нарушено, мембрана в трубке катается при разговоре, чего-то дребезжит и замыкает. Взовьется товарищ командир: "Что со связью?!"

"Сами же об мою голову трубку разбили, сами вот теперь и работайте, как хотите".

У старого, заслуженного, поди-ко еще с царских времен телефонного аппарата ящик тяжелый, трубка с деревянной ручкой, зимой пальцы от нее меньше мерзнут. Все остальное из нержавейки или из меди отлито, трубка, почитай, килограмм весом — завезут ею вгорячах — долго в башке звенит и чешется...

У Щуся, у того не задержится — чуть чего и долбанет, делает он это психовато, но никто на него не обижается. Майор Зарубин никогда никого пальцем не трогал, чтоб трубкой бить — у него и моды такой не было, сделает замечание либо посмотрит так, что уж лучше бы грохнул трубкой по башке, пускай и от старого аппарата. Понайотов — человек очень даже культурный, но кровей не наших, его уж лучше и не доводить до психа — он не только долбанет трубкой, но в гневе и из блиндажа вышибет.

При таком вот действенном воспитании фронтовые телефонисты с одного раза много чего запоминают и с одного же раза различают голоса командиров, не переспрашивают, не тянут волынку с передачами команд — плохая, хорошая ли слышимость — работают четко, соответствуют своему назначению, иначе вылетишь из-под крыши и, язык на бок, будешь носиться по линии, проматеренный, проклятый насквозь, и поджопников насобираешь полные галифе. Линейному-то связисту не то, что починиться, на ходу, на скаку, как собаке, жрать приходится. Одно преимущество у линейных связистов — ранят и убивают их часто, так что и намаяться иной братан не успеет, ляжет на линии, тут его в случайной канавке иль воронке и зароют.

Нет у Шестакова ни книг, ни газет, ни еды. Время катит за полночь, треп на линиях прекратился, да и строго-настрого запрещено телефонистам на плацдарме трепаться — враг во тьме шустрит, к ниткам связи подключается, планы наши выведывает, тайную щусевскую линию ищет.

Чего только в голову телефониста не лезет ночью, прямо помойка — не голова, напичкано в ней черт те что! Ползут, шевелятся под трубками в башке неторопливые думы, замедлят ход, возьмутся лезть одна на другую — значит, дрема подкатывает, мешаться начала явь со сном. И надо отгонять дрему единственным, тоже давним и привычным способом. Лешка шарит под бельем, лезет под мышки, в мотню, вылавливает тварей — в этом деле опытный телефонист тоже наторелый охотник — он за одной тварью гоняться не станет, он их в волосьях пучком выбирает, как какой-нибудь узбек рис в плове, и острыми ногтями башки вертучие зажимает. Упираются плененные зверюги лапами в брюхи пальцев, задами вертят, если б кричать умели, так всех бы на плацдарме разбудили!.. Но никакой пощады им нет, этим постоянным врагам социализма: щепотью их связист вынимает и отпускает на волю, не на долгую — уронит вниз к ногам и обувью их заживо стопчет, похоронит: не кусайся, не ешь своих, жри фрица, пока он еще живой.

Лешка еще и уловку придумал: начнет дрема его долить — он зверье с волосьями прихватывает и как бы нечаянно рвет растительность с корнем — сразу сон в сторону отскакивает.

Сидит солдат-телефонист во тьме, носом пошмыгивает, возится, охотничает добычливо, на

голове у него телефонные трубки на подвязках, словно огромные негритянские серьги, болтаются, по ним, ровно с того света, — писк, свист, шорохи, завывания, звоны тихие и тайные — работает, сторожит войну тревожный, хитрый ящичек, пощелкивают капли в брезент, которым прикрыта ниша. Скрипят осокори над речкою, внятно лепечет обсохшая иль вояками выпитая, избитая Черевинка. Ракеты реже и реже взлетают в небо. Полет их делается как бы продолжительней, сонным мерцанием, желтым зевком унимается ракета, корчась на земле. Реденько постреливают орудия с левого берега. Чиркая, распластнут черное полотно ночи светящиеся пули и улетают в никуда. "Кукурузники" шарятся над плацдармом, чего-то ищут, косо посикивая светлыми, быстро угасающими струйками. На земле, да уж вроде над землею, все стоит и стоит купол грозного пожара, ровно бы кто-то изо дня в день все сильнее раздувает большое горнило, и в огне его покорно истлевает город.

По линии все идет и идет индукция, от лежащего в воде провода она слышнее. Может, это Ашот Васконян, закопанный за речкой, с того света весть подает, плачет в небесах от одиночества.

Ночь осенняя длинна, не скоро еще утро. Изредка нажимая на клапаны, по возможности бодрее — совсем он не дремлет, даже не думал дремать, — телефонист говорит в невидимое пространство:

— Проверка.

— Есть проверка! — откликается ему пространство.

На утре сменили на посту того олуха, курившего полынь, но так и не раздобывшего топлива. Громко, с подвывом зевая, Леха Булдаков замахал руками, присел раза два, чтобы разогнать остамелость из костей. Ботинки, насунутые на полступни, свалились, и он их долго нашаривал на земле съеженными пальцами ног. Не везет Нелька обещанные прохаря, не везет, видно, достать не может. Разогнал вроде бы сон Булдаков, но внутренняя дрожь в нем не унималась. Тогда он решил отлить, полагая, что озноб из-за лишней сырости в теле. В темноте невидимая шлепалась пенистая сырь, упругой струей вымывая в песке лунку. "Есть еще, чем облегчиться, значит, живу, — потрясши штаны, удовлетворенно отметил Булдаков. — Но пожрать, пожра-а-ать бы! А-ах!" Он перешел речку под навес, заглянул в ячейку связиста. Шорохов тоже только что сменил Шестакова — так они попеременке вдвоем и бьются с врагом, держат отечественную связь в боевом настрое. Пробовали ординарца майора в облегченье себе употребить, путается в работе, нарошно путается — заподозрили связисты, но Понайотов — мужик головастый, знает, как с разгильдяями обращаться, — отослал хнычущего вояку в батальон Щуся связным — там путаться не в чем, быстро поймет, где свои, где чужие, филонства там нет никакого — сплошная война и работа лопатой.

— Не спишь? — спросил Булдаков Шорохова. — Тогда одну трубку с уха сыми, будь на шухере. Я деда на берегу попроведаю.

Булдаков поспел на берег вовремя, Финифатьев как раз норовил с визгом вывалиться из норки.

— Ты че, дед? Чего испугался? — подхватил его Булдаков.

— Крысы, Олеха, миленький, крысы... Шарятся, грызут чего-то? Покойников, а?

— Ладно, дед, не паникуй. Не страшней фашиста крыса. Ты, может, попить хочешь?

— Водицы-то? Холодяночки-то? А я глону, пожалуй. Вовсе нутро завяло без пишшы. Кто на посту-то? Нас эть тут крысы не съедят, дак немец переколет. — Отныне Финифатьев больше

всего боялся штыка. Булдаков пошел к ручью с котелком Финифатьева.

Приподнявшись на локоть со здорового бока, Финифатьев хлебнул несколько глотков воды, пронзившей холодом пустое, но жаркое от раны нутро, крякнул, будто от крепкого самогона, передернулся зябко:

— Мне дом опять снился, Олеха.

— Дом? Дом — это хорошо, дед, — Булдаков был где-то далеко-далеко. Так и то посудить — он вон лежит в норе под одеялом и шинелью, и ему холодно, а другу сердешному, Олехе-то, неслуху этому, каково? Уработался за день, ухряпался с пулеметом, но ни питанья, ни табаку, не говоря уж про выпивку. Ушел вот с поста — завсегда готов ради друга пострадать. Под дожжом, на улке, голодом... Ох-хо-хо-хохонюшки-и!.. Жалко-то как человека, а чем поможешь? Сунул ему две бечевочки, сам их и свил Финифатьев, выдергивая нитки из трофейного одеяла.

— Подвяжи ботинки-то на ногах, подвяжи, — все меньше спадывать будут. Тебе на утре в бой. — Булдаков принял бечевки саморучные, в карман их сунул, ничего не сказал, звуку единого не уронил — это Олеха-то, вечный-то балабол!.. О-о, Господи! — тихо уронил сержант и всхлипнул.

Булдаков думал о еде, только о еде. Он хотел, но не мог стронуть мысли в другом направлении, дать им ход в другую от харчей сторону. Пытался представить родную Покровку на зеленом взгорке — там на окраине поселка, на самом крутике, стоит часовенка, что игрушка! Стоит она на том месте, где был в давности казацкий пост, и гора, и часовенка зовутся Караульными. Всякое городское отребье гадит ныне в часовенке, пренебрегая Богом, никого не боясь, не почитая, на ее стенах пишут и рисуют срамоту, а часовенке хоть бы что — все бела, все независима, ветры вольные над ней и в ней гуляют — гудят, птицы свободные над нею вьются, стар и мал, если верующие, мимо идя, перекрестятся, поклонятся: "Прости нас, матушка". Неподалеку от той часовенки, в парке имени Чернышевского, малый, видать, здешнего казацкого роду, на пыльной листве до того однажды утолок Леха младую туготелую сибирячку, что она уж в тепло запросилась, но не в состоянии была влезть на полок в бане. Пришлось ее, сердешную, волоком туда втаскивать. На полке теснотища, и он, не имеющий никакого опыта в любовных делах, до того устряпался в саже, что назавтра все дома узнали, где он был и что делал. Тятя сказал: "Ишшо баню спалишь, бес!" — и кулачище сыну поднес, дескать, увлеченья увлеченьями, но про родительский суд не забывай. Накоротко возвращаясь из тюрьмы, тятя завсегда наводил порядок в своем дому, бил мать, гонял парней и соседей со стягом по склонам Караульной горы. В житье тятя размашист, не скупердяй, со стола валилось, особенно если не из тюрьмы, а с заработков, с золотых приисков возвращался родитель — изобилие в дому, выпивки, жратвы, сладостей до отвала.

"Ах, нет, никуда от пишшы мысля не уходит! И до чего же жрать хочется!" — устав с собою бороться, Булдаков терзал себя воспоминаниями о том, чего, где, сколько, с кем ел и сколько мог бы съесть сейчас. Хлеба уж не меньше ковриги, картошек, да ежели с молоком, пожалуй, ведро ошарашил, бы, ну а коснись блинов или пельменей — тут никакая арифметика не выдержит!.. В это время из соседней с Финифатьевым ниши, в которой еще недавно сидел майор Зарубин, вытащился немец, отвернулся от людей к реке — помочиться — культура! "Как это их продерьгивают-то? "Русь культуришь?" — "Ну а хулишь!" — Не убегают вот немцы чего-то? Шли бы к своим, там поели бы, он бы на посту сделал вид, что не заметил, как они утекли. Пропадут же. Но Булдаков все же пригрозил врагу на всякий случай:

— Не вздумай бежать. Не вздумай цурюк, нах запад. Стреляю сразу на свал. Из Сибири я.

— Бист ду аус Зибириен? Дэр зибириэр ист айн видэрштандсфэхигэс тир, эс кан онэ эсэн бай фрост, им шнэе лебэн. (Сибиряк-то выносливый зверь, он может жить без пищи, на морозе, в снегу.)

— Не знаешь, так не трепись,пробурчал Булдаков. Ему почему-то подумалось, будто пленный сказал, что у них в Сибири кальты одни, то есть катухи мерзлые на дорогах, ветер холодный свистит, и больше ничего нету. — У нас, если хочешь знать, хлеба урождаются — конь зайдет — не видать! Шишки кедровые — завались! А рыбы! А зверя! А Енисей!..

Но пленный его уже не слышал. Он всматривался, вслушивался в ночь, из которой белой крупой высеивался сыпунец, тренькая по камням, шурша по осоке, по песку. Немец взглядом проводил вроде бы рядом вспыхнувшую ракету, подождал, пока погаснет, и едва слышно молвил:

— Гот мит унс. Дер криг ист шлафэн... (Спит война. Бог над миром склонился...) — перекрестился и послушно залез обратно в земляную нишу, где вместе с ним, сидя, спали два русских раненых бойца, плотно вжав в землю то и дело дергающегося, взмыкивающего Зигфрида, который простудился и метался в жару.

— Херр майор хат унс бетрюгт. Эс гибт каин ротэс кройц, каин лагэр фор криксгефангэнэ. (Господин майор обманул нас: нет красного креста, нет лагеря.)

"Какой народ непонятный: молится и убивает! — размышляет Булдаков. — Мы вот уж головорезы, так и не молимся".

Семья Булгаковых деранула из таежного села в город от коллективизации, и весь, считай, поселок Покровка состоит из чалдонов, из села сбежавших, быстренько пристроившихся к политическому курсу и переименовавших Покровку в слободу Весны. Дедушка с бабушкой, сказала мать, перед посевной, перед сенокосом, перед страдой постукаются лбом в пол, тятя же родимый, попавши в Покровку, в церкви не на иконы зыркал, а на бабьи сельницы. Крупный спец был тятя по женской части, матерился в Бога, братаны-удальцы тем же путем следовали, одно слово — пролетарьи. Да ведь и то посудить: кормежка какая!

— Не, я больше не могу! Я должен раздобыть пожрать!

— Собери глушеной рыбешки, пожуй. Я пробовал, да бессолая-то не к душе. Время-то скоко, Олексей?

— Целое беремя! Зачем оно тебе, время-то? — но все же не без отрады взглянул Булдаков на светящийся циферблат наручных часов. Шорохов захапал в блиндаже минометчиков четыре штуки — одни отдал ему. Форсистые, дорогие часы. — Двенадцать с прицепом. В прицепе четвертак.

— 0-ой, матушки мои! Я думал, уж скоро утро. Голодному ночь за год.

— Не-эт, не я буду, если жрать не добуду! У бар бороды не бывает, у бар усы. — Булдаков решительно шагнул в темноту, захрустел камешник в речке под стоптанными, хлябающими на ногах ботинками.

"Где добудешь-то? — хотел остепенить друга сержант. — Тут те не красноярский базар, тут те..." Шаги стихли, и, коротко вздохнув, Финифатьев снова влез в глубь норы и снова начал отплывать от этого берега, погружаясь в зыбкую мякоть полусна.

В самый уж глухой, в самый черный час, когда и звезды-то на небе ни одной не светилось, все свяло, все отгорело, все умолкло на земле и на небе, лишь над далеким городом накаленно светился небосвод, руша камни и песок, в Черевинку свалились Булдаков с Шороховым, волоча за лямки три немецких ранца. Добытчики возились в затоптанных и обрубленных кустах возле Черевинки, сбрасывая напряжение, всхохатывали:

— Ну, бля, помирать буду, не забуду, как его перекосило! — Булдакова распирал восторг, тугой его шепот, переходя в восторженные всплески, шевелил свернувшиеся листья на ближних кустах. — Фриц похезал, штаны на ходу натягивает, со сна прям в меня уткнулся. Я хотел его спросить: "Ну, как паря, погода? Серкая?" — да вспомнил, что не в родной я Покровке. Хрясь его прикладом, но темно же, скользом угодило. Он завыл: "О-о, русишен, русишен", должно быть, и дохезал в штаны все, что на завтра планировалось...

— Я бы его, суку, припорол, чтобы вопшэ никогда больше хезать ему не хотелось.

Шорохов с Булгаковым гутарили и в то же время разбирали трофеи, чавкали чего-то, торопливо пожирая, пили из фляжки шнапс, передавая посудину друг дружке. Под козырек, накрытый матом, входило всего трое неупитанных людей — Понайотов, Карнилаев да Лешка с телефоном. Грея друг дружку спинами, вычислитель и командир теснились в глуби ячейки. Удальцы-молодцы затиснулись под козырек, вдавили обитателей этого убежища в землю. Захмелев на голодное брюхо, Булдаков дивился превратностям жизни:

— Вот, братва, житуха! Подходило — хоть помирай, и уже ниче... — И братски делясь харчем, совал фляжку, наказывая делать по глотку, по длинному.

— Я, однако, не буду пить, — отказался Лешка. — Голова с голодухи и без того кружится. Где это вы?

— Я, сучий рот, в мерзлоту, в вечную вбуривался и там, в мерзлоте вечной, харч добывал, выпить добывал. Когда и бабу! — в который уже раз похвастался бродяга Шорохов.

— А я, — подхватил хвастливо Булдаков, — ковды на Марее ходил...

— На какой Марии? — заинтересовался Понайотов.

— На сестре Ленина.

— Пароход это, пароход, — встрял в разговор Шорохов. — А ты че подумал, капитан? Ну, бля, поте-эха!

— Постой, кореш, постой. Так вот, на Марее в рейс отправимся, дойдем до первой загрузки дровами, сразу закупаем корову — для ресторана, рыбы пол-лодки, тайменя, стерляди, ну и для судовой кухни тоже. Еда — во! Пассажирок — во! Э-эх, жизнь была! Гонорил, выдрючивался, хайло драл...

— Целки попадались? — в кровожадную стойку вытянулся Шорохов.

— Всякие попадались. Но, говорю же, не ценил, олух царя небесного, роскошную такую жизнь.

— Роскошь! Дровами пароход набивать! Весь груз на горбу.

— Мерзлоту долбать краше?

— Мерзлоту долбаешь под охраной, никто тебя не украдет, все бесплатное кругом. Удовольствия скоко!

— Ну, лан. Я к деду сбегаю.

— А я, пожалуй, схожу, козла припорю. Съедим. Ну-к, Шестаков, уточни, где ключ-то, возле которого козел жирует? Я этого хапаря без карты сыщу.

— На немцев напорешься?

— Ну и што! — храбрился Шорохов. — Не боись, боевой мой друг. Совецкай конвой пострашнее фашиста будет, да я и его не раз оставлял без работы. — Шорохов затянулся ремнем, сунул лимонку в карман, свой знаменитый косарь за голенище и, под нос напевая гимн любви, который он заводил всякий раз, когда посещало его хорошее настроение: "Дунька и Танька, и Манька-коса — поломана целка, подбиты глаза..." — растворился во тьме.

Финифатьева продолжали преследовать кошмары, он замычал, задергался, когда его вместе с одеялом, точно куклу, выпер из норы Булдаков. Одеяло то, которым накрывали убитых, подполковника Славутича и Мансурова, Финифатьев прибрал, через всякую уж силу и боль оттер мокрым вехтем из осоки от крови и вшей, просушил на солнце и теперь вот в тепле, в уюте пребывал, если б еще рана не болела и не текла, дак и совсем ладно.

— На, дед, на! — совал сержанту в засохший, волосатый обросший рот ребристое, студеное горлышко фляги Булдаков. И не успел спросить сержант, что там, во фляге-то, как его полоснуло по небу, по горлу, он поперхнулся, но зажал обеими горстями рот, чтоб ни одна брызга не вылетела. Булдаков радостно балаболил, угощая Финифатьева празднично, как ребенку, совал в руки что-то маслянистое, вкусное. Деревенский, домашний человек гостинцу радовался, но насухую есть не привык. Булдаков черпанул котелочком в речке водицы полной мерой, с песком вместе. Ничего, ничего, песочек чистый, промытый от крови, что за день по ложбинкам да по кипунам насочился, привыкли уж брать воду в Черевинке по ночам, тогда она менее дохлятиной отдает.

— Олеха, да ты никак пьяной?

— А че нам, малярам, день работам, ночь гулям! — колоколил Булдаков. Радостно ему было услуживать болезному товарищу. До того разошелся чалдон, что зашвырнул и пленным немцам пачку галет, сказав: — От земляков с приветом! "Данке шен, данке шен!" — запели в ответ немцы в два голоса.

Сержант, конечно, понимал, что харч к другу его сердечному не манной небесной свалился, у супротивника он добыт, может, даже с боем взят. "Ка-акие робята-а! Какие головы отчаянные! И немец захотел нас победить?!.."

Выговаривался, бахвалился Булдаков, слабея от оды и выпивки. И Финифатьев, сам большой мастер поговорить, только вот не с кем сделалось, сам с собой много не натолкуешь, малолюдно собрание и повестка дня из одного пункта состоит, не то, что в колхозе имени Клары Цеткиной. В том родимом колхозе, если повестку дня на одном листе уместишь, — никакое собрание не начнется. Мужики, бывало, соберутся да как заведут тары-бары-растабары, так где день, где ночь — не уследишь. Надо Олехе душу облегчить, надо. Немцу вон и говорить не о чем. Немец способен на экое рисковое действие? "Нет, нет, и еще раз нет! Жопа у него не по циркулю!"

Олеху развезло совсем. Воротит уже: "У бар бороды не бывает, бля, усы..."

Финифатьев, как старший, приказал первому нумеру лезть в земляную дыру, стянул с его хворых ног разжульканные ботинки, босые ступни одеялом укутал, задевая пальцами мозоли, назревающие и уже лопнувшие. "Парень один-одинешенек за полфронта управляется, а его обуть не могут. Это шче же за порядки у нас такие?!" Сам командир приютился в устье норы, от врагов оберегая друга любезного, да и крыса не лезет, чего-то завернутое в хрустящую бумажку пожевал, обломочек галеты маслицем намазал, слизнул, продолжая успокаивающие себя рассуждения: "Конечно, у нас килограмм хлеба дают, ну, варево делают, но порой так уработается солдат, что не хватает ему полевой пайки. Немцу и шестиста-то граммов хлеба хватает, банка масла, галеты, жменя сахару, шоколадку ли соевую, то да се — и к шестиста-то граммам набирается питательного продукту досыта. И ведь не обкрадут, не объедят свово брата немца — у их с этим делом строго — чуть че и под суд. А у нас покуль до фронта, до передовой-то солдатский харч докатит, его ощиплют, как голодные ребятишки в тридцать третьем годе, несши булку из перхурьевской пекарни, — один мякиш домой, бывало, доставят. Несчастные те сто граммов водки, покуль до передовой довезут, из каких только луж не разбавят, и керосином, и ссякой, и чем только та солдатская водочка не пахнет. Олеха, правда, пьет и таку, завсегда за двоих, за себя и за своего скромного сержанта, потому как Олеха Булдаков — это Олеха Булдаков! Такому человеку для укрепа силы и литру на день выдали бы, дак не ошиблись".

Мысли Финифатьева идут, текут дальше, дремные, неповоротливые мысли. Как и положено на сытый желудок, начинают они брать политическое направление: "А эть воистину мы непобедимый народ! Правильно Мусенок говорит и в газетах пишут. Никакому врагу и тому же немцу никогда нас не победить, эть это какой надо ум иметь и бесстрашие како, штобы догадаться у самово противника пропитанье раздобыть... Олеха, значит, фрица-то очеушил по башке. Тот: "Русиш, русиш!" — хорошо, если опростаться успел фриц. Ох, Олеха, Олеха!.. "Голова ты моя удалая, долго ль буду тебя я носить!.." — про тебя, Олеха, песня, про тебя-а-а, сукин ты сын... А ранец немецкий я под голову приспособлю — мягкий он, это ж не то, что наш сидор с удавкой".

Тем временем закончилась экспедиция Шорохова к Великим Криницам, он приволок за ногу не козла, а козлушку, козел, говорит, маневр сделал боевой, смылся.

— Пущай порадуется жизни денек-другой, пущай будет резервом питания Красной Армии. — С этими словами Шорохов забросил в обрубыши кустов серую тушку, приказав солдатам из отряда Боровикова ободрать, сварить ее в земляных печурках, пока темно, и съесть. Что, что без соли? Жрать все равно охота.

Солдаты, наученные Финифатьевым, умевшим коптить рыбу в земляной щели, приспособились скрывать огни от немцев, пробили в дерне дырки из норок, варят ночами рыбешку, заброшенные в речку осколки тыкв, когда и картошку сыщут — немцы чуют дым, пальнуть бы надо, а куда?

Георгий Понайотов, хотя и выросший в России, — отец его политэмигрант, — но так и не понявший русского народа до конца, поскольку тот и сам себя никак до конца понять не может, порой столетия тратит, чтоб в себе разобраться, в результате запутается еще больше и тогда от досады, не иначе, в кулаки — друг дружке скулы выворачивать начнет. "С кем ты, идиот, драться связался?!" — это про Гитлера думал капитан Понайотов, дальше уж про все остальное: "Воровство в окопах противника! Надо же довести до такого состояния людей. Немцам и в голову не придет, что к ним воры, а не разведчики приползли! Надо бы приказать, чтоб хоть мяса кусок Щусю отнесли. И еще надо... Надо продержаться следующий день. Но если будет то же самое, что в прошедшем дне, нам на плацдарме не усидеть. Первого сомнут в оврагах Щуся с его почти уже дотрепанным батальоном".

Но немцы прекратили активные действия. С утра еще гоношились, местами атаковали, однако вяло, без большой охоты и огня, потеснили еще дальше к реке пехоту полковника Бескапустина, загнали уж в самую глушь оврагов передовой батальон Щуся.

Из штаба дивизии потребовали восстановить положение и вообще вести себя поактивней. Но чем, как проявлять ту активность? Прекратив атаки на плацдарме, немцы блокировали реку и берег реки, били, не переставая, по всему, что плыло и могло плыть, по любой чурке, доске, бревну всю ночь, не глядя на плохую, вроде бы нелетную погоду, над рекой гудели самолеты и спускали долго тлеющие фонари. Сами же самолеты трассирующими очередями указывали цели, и с земли расстреливалось все, что обозначалось на реке или возле нее.

На исходе сил, с последними боеприпасами, надеясь в основном на поддержку артиллерии и реактивных минометов, полковник Бескапустин решил контратаковать противника.

Припоздалое бабье лето выдало еще одно звонкое утро. Иней повсюду искрился, солнце было сплошь простреляно синими стрелами, взлетающими от земли и ломающимися в его настойчивом свете, соломой пылали лучи солнца, крошась, осыпались вниз. Берег, хрустально сверкающий, сплошь испятнан следами крыс, ворон и чаек: крысы, объевшиеся человечиной, никого и ничего уже не страшащиеся, плотной чередой сидели по урезу реки, время от времени припадая к воде, поднимали сатанинские драки, с визгом свивались в грязный клубок, заваливались в воду и, мокрые, скулили за камнями, облизывали себя, напропалую лезли в обогретые людьми норы.

Неспокойное течение покачивало у приплесков и в уловах черную шубу мухоты, которая и по берегу лежала слоями осыпавшейся смородины, сонно ползала трупная тварь по чуть уже пригретому яру, пыталась сушить крылья, залезала в норки, клеилась, липла к теплым лицам. К полудню все эти мухи обыгаются, высушатся, закружат, залетают над трупами, питаясь ими и размножаясь в них несметно.

Громко орали, зло ругались чины из штаба полка, собирая по берегу людей. Финифатьев едва растолкал Булдакова:

— Олеха! Олеха! Пора тебе итить на бой. Патрули вон за ноги цельных-то людей из берегу тащат, прикладами бьют, на подвиги призывают.

Булдаков патрулей лаял, пинался. Недопивший, недоспавший, Олеха был шибко лютой: "Сказано, сам приду, ко времени",

— Олех, Олех! Пора тебе, брат, пора...

— Туда, где за тучей темнеет гор-р-ра-а-ааа, — заорал из земли Булдаков и, царапаясь, вылез на волю, зажмурился от яркого солнца, зевая, пялил на ноги заскорузлые полукирзовые ботинки. За ночь ноги отекли, каждая косточка болела. — И где та лахудра, чего она не плывет? — ярился Булдаков, прихватывая бечевочками маломерные ботинки. Он видел: Финифатьеву за ночь стало еще хуже, сержант нехорошо разрумянился, глаза его ярко светились, кашель бил в грудь из нутра так, будто в рельсу колотили при пожаре в каком-нибудь таежном селе. Дед сказал, что нет в нем отягу и пояснил редкое и такое емкое слово: силы сопротивляемости, мощи духа.

Булдаков понимал: Нельку с лодкой не пустит за реку немец — кончилась обедня, возросла бдительность, — измором решили взять Иванов фашисты, но все равно ругался на нее распоследними словами.

— Ох, не ко времени переводят меня с берега, дед, не ко времени. Не глянешься ты мне седня.

— Дак че сделаш, Олеха. Служба.

— Не знаю, как с тобой быть? На кого оставить?

— Ступай давай, ступай. В котелок водицы черпни и ступай. Потом придешь. Придешь ведь, Олексей?

— Рази я брошу, — набирая в ручье водицы, успокаивая дружка своего, Булдаков и себя успокаивал. Но в груди томилось-куталось в клубок нехорошее: "Ах, притворяйся не притворяйся, лукавь не лукавь — у деда начинается горячка. Во что бы то ни стало надо его переправлять в санбат".

— Под Сталинградом, сказывали ребята, раненых привяжут к бревну — оне и плывут вниз по Волге-реке...

Уходить бы надо Булдакову, однако он топчется. Из подкопанного яра вылезли пленные, жмурятся на солнце, дрожа от холода, тепла ждут. Вальтер сердито заговорил, поминая "гер майора", значит, снопа требуют пленные исполнить обещанное командованием — переправить их на другую сторону реки и определить в лагерь для военнопленных или обратиться по радио в Красный Крест.

— Ну дак и плыви! — мрачно буркнул Булдаков наседающему на него ефрейтору, за короткое время покрывшемуся густым, колючим волосом и болячками. — Скидавай штаны и валяй саженками, — и кивнул на посиневшего Зигфрида, съежившегося под яром, покорно ожидающего решения своей участи, — на горб себе посади! Он тощой, не задавит. Гутен морген! — натужился Булдаков, вспоминая школьные познания в немецком языке. Горестно покачав головой, немцы поползли к реке умываться, пинали крыс, бросали в них камнями. Врассыпную разбегаются твари, сукотая, волокущая по камням брюхо крысища ощерилась. Напослед произошел разговор, которого раньше сержант себе не позволял. С закоренелой мужицкой тоской говорил сержант о том, что отдал родной партии, почитай, всю жизнь, а она вот его ни разу ни от чего не уберегла, ничем ему не помогла, бросила вот на берегу, как распоследнюю собачонку, и никому до боевого ее соратника нет дела. А ведь Мусенок поручил ему быть на плацдарме младшим политруком, вести в роте воспитательно-патриотическую работу.

— Видно, стишок про шелково ало знамя, шчо он вчерась по телефону продиктовал, разучивать с ранеными надо... — Губы сержанта мелко-мелко дрожали. Из-под воющих мин сыпанули от уреза воды к яру люди, если их еще можно назвать людьми, — выбирали они за ночь глушеную рыбешку и принесенное водой добро. Густо плавали начавшие раскисать в воде трупы с выклеванными глазами, с пенящимися, будто намыленными, лицами, разорванные, разбитые снарядами, минами, изрешеченные пулями. Дурно пахло от реки. Но приторносладкий дух жареного человечьего мяса слоем крыл всякие запахи, плавая под яром в устойчивом месте. Саперы, посланные вытаскивать трупы из воды и захоранивать их, с работой не справлялись — слишком много было убито народу. Зажимая пилотками носы, крючками стаскивали они покойников в воду, но трупы никуда не уплывали, упрямо кружась, прилипали к берегу, бились о камни, от иного раскисшего трупа крючком отрывало руку или ногу, и ее швыряли в воду. Проклятое место, сдохший мир. За ухвостьем головешкой чернеющего острова не было течения, кружили там улова, иногда относя изуродованный труп до омута, на стрежь, там труп подхватывало, ставило на ноги, и, взняв руки, вертясь в мертвом танце, он погружался в сонную глубь.

— Я знаю, знаю, чево имя надо, — продолжал Финифатьев, глядя на левую сторону реки, пылающую дорогами, дымящую кухнями, явственно в это утро освещенную,оне в партию народ записывают для того, чтобы численность погибших коммунистов все возрастала. Честь и слава партии! Вон она, родимая, как горит в огне. Вон она какие потери несет оттого, что завсегда впереди, завсегда грудью народ заслоняет, завсегда готова за него пострадать...

— Да что ты, дед! — испугался Булдаков, озираясь вокруг. — Ты чего несешь-то?

— А все, Олексей, все. За жись-то тут сколько накипело, — постукал себя в грудь Финифатьев, — надо ж когда-то ослобониться. Оне нас с тобой в последних гадин презренных превратили. Теперича из нас мясо делают, вшам и крысам скармливают...

— Да ну тя, дед! Че ты в самом-то деле? Ну стукачи, ну и что? Я врал завсегда, и оне от меня отвязались.

— Ты вот врал, а я вот ей, партие-то, честно служил. И ох, скоко на мне, Олешенька, сраму-то, скоко слез, скоко горя сиротского... Знал бы ты черну душу мою, дак и не вожгался бы со мной. Гад я распоследний, и смерть мне гадская от Бога назначена, оттого что комсомольчиком плевал я в лик Его, иконы в костер бросал, кресты с Перхурьевской церкви веревкой сдергивал, золоту справу в центры отправлял... Вон она, позолота, святая, русская, на погоны пошла, нехристей украсила...

— Один ты, што ли, такой?

— Счас, Олешенька, считай, один. Бог и я. Прощенья у Ево день и ночь прошу, но Он меня не слышит.

— Ты че, помирать собрался?

— Помирать — не помирать, но чует мое ретивое: видимся мы с тобой в остатный раз... Не такую бы беседу мне с тобой вести — в бой идешь... Ну, да шче уж... прости, ежели шче не так было...

— Да дед, да ебуттвою мать, да ты че?!

— Бежи, бежи, милай, бежи, опоздашь к бою, дак свои же и пристрелят. Бежи, милай... — Понурясь, забросив винтовку на плечо, будто дубину, Леха Булдаков побрел. Финифатьев сыпал мелконькие слезы на обросшее лицо, распухшими пальцами, не складывающимися в щепоть, неуверенно крестил его вослед.

* * *

В апатию впавшим Вальтеру и Зигфриду жутко было слушать хохот, пение, присказки, доносившиеся из соседней, глубоко вырытой норки. Уже не чувствующий боли, коробящей сердце, безвольно уходил Павел Терентьевич в мир иной. Докучала ему крепко все та же болотная змея, угнездившаяся под мышкой, он ее выбрасывал за хвост из-под одежды, топтал, вроде бы изодрал гада на куски, но куски те снова соединялись, снова змея заползала под мышку, свертывалась в холодный комок, шипела там, пыталась кусаться. Финифатьев устал бороться с гадом, пластая на себе гимнастерку, высказывался: "Не-эт, товаришшы! Мы тоже конституцию страны социализма изучали, тоже равенство понимам — и никаких!.. Алевтина Андреевна! Не слышу я тебя. Не слышу. Ты продуй трубку-то, продуй..."

Нынешняя бомбардировка оказалась особенно яростна и нещадна. Работая на последних

пределах высоты, лапотники неистово пахали клок земли, над которым развалилось, сгорело, погибло большинство машин прославленной воздушной дивизии Люфтваффе, стиравшей с земли древние европейские города, порты, станции, колонны танков, машин, сотни эшелонов, тучи беженцев и устало бредущих иль по окопам залегших полков.

И вот над этим паршивым, когтями дьявола исцарапанным берегом, над землей, где и земли-то, как таковой, нет, рыжая ржавчина, перемешанная с серым песком, обнажающим под собой глину, цветом напоминающую дохлую, кое-как на морозе ободранную сталинградскую конину, именно над этим клочком земли расколошматили, расстреляли, поистребили неустрашимую дивизию.

Залатанные машины, свистя продырявленными крыльями, сипя и рыча плохо тянущими моторами, ходили и ходили над берегом, соря бомбами, втыкая в его кромки пули из крупнокалиберных пулеметов, готовые лапами цапать, корпусами давить все, что еще шевелится там, внизу, в туче рыжей пыли. На выходе из пике, когда черный дым из надсаженных моторов густо тащился за машинами, на них набрасывались истребители, рассекая порой частыми очередями самолет напополам, или гонялись за лапотниками, понужая его в хвост и в гриву. А выше и дальше лопаются взрывы зениток.

Носок, мысок, часть суши, намытая рекой и речкой, подсеченная ледоходом, размытая высокой водой, была бомбами отсечена от материка или, как уголочек уже начатого желтого пирога, отрезана, употреблена, лучше по-шороховски — схавана воздушными едоками. Весь яр вроде бы приподнялся и со вздохом осел, накренился, отпихнул от себя прибрежный песок. И когда земля, точно распущенная хулиганами подушка, исторглась мягким, сыпучим нутром, осела на выступ, придавила собою, успокоила людей в непробудной тьме, они и вскрикнуть не успели. В голове Финифатьева, наглухо укрытой одеялом, промелькнуло: "А шчо же это было? Жизнь? Сон?" — и все мысли его на этом месте остановились, даже последний вздох раздавило в груди. Петька Мусиков, игравший в детстве с маньдомскими шпанятами в игру, которую только маньдомские ребята могли и придумать: во время спуска штабелей в реку бегать вверх по рассыпающимся бревнам, — ринулся Петька Мусиков встречь бревносвалу, выскочить норовил на грохот, но его сбивало и сбивало бревнами и, наконец, ослабнув, он поплыл, покатился. В борьбе за себя он совершил ошибку, а какую — уяснить не успел. Под катящимися, грохочущими бревнами хрустели его кости, смялось в земле и смешалось с землею, растеклось, размичкалось его худое, с детства замороченное тело.

Вальтер и Зигфрид сколько-то еще плыли в сдвинувшейся с места земляной дыре, сделавшейся сразу тесной и душной, истошно крича, пытались руками упереться, отбросить наседающую со всех сторон, молниями разрываемую землю. Но их все крепче, плотнее, сдавливало и, наконец, утащило, смяло, рассыпало, и тела, и крики их, и движения, как и сотен других людей, спасавшихся в земляных норках.

Когда развалился мысок у реки Черевинки и осел берег вниз, в реку еще долго катились комья и комочки земли, мелькая чубчиками седых трав, обломками сохлого бурьяна. Попав в воду, комья делали еще один-два подскока и, намокнув, утихали, пузыря вокруг себя желтую муть. От каждого комка растягивало по воде, с каждым днем делающейся прозрачней и холодной, желтую полоску, подле берега кружило нарядный, горелый лист, пух осенних бурьянов, мусор кружило, из рыхло оседающего яра с комками вместе выкатило безумно хохочущее, барахтающееся в земле что-то. Раскопавшийся из гиблых недр лохматый человек плевался, плевался и запел; "Па-яа-лю-би-ыл ж-жа я и-ие, па-а-я-лю-у-уби-ы-ыл горячо-о-о, а она на любоф не ответила ниче..."

Другой воскресший житель земли русской рыдал, умываясь в речке, и блажил при этом на весь

белый свет: "А-а-а, живо-во-о-о-ой! Распрот-твою-твою-твою мать, в пе-печо-о-онки, в селеззе-о-онки, ж-жи-ы-ы-во-о-ой!"

Натужно хрипя, тянули, везли за собой густые дымы лапотники, гнались за ними, вертясь шало, словно бы балуясь на свету зари, плюющие огнем истребители. Завалившись беспомощно на спину, по-собачьи, выставив лапы, обреченно падал и горел один, другой бомбовоз, и единственный белый цветочек парашюта расцвел на сером, почти уже темном небе, но и его смахнули с жиденько желтеющего лоскутка зари.

Умолк неугомонный Финифатьев, отмучились раненые и пленные, снесло мысок, намытый Черевинкой, осадило яр, разлетелись в разные стороны самолеты, сделалось на берегу и в небе просторней, свету и пространства прибавилось.

* * *

Месяц-два спустя в Вологодское село Кобылино придет извещение о том, что сержант Финифатьев Павел Терентьевич пропал без вести на полях сражений. И Алевтина Андреевна, изработавшая и силу, и тело, прибьет четвертую красную звездочку на угол своей избы — по северному обычаю отмечая память вылетевших из этого гнезда на войну защитников отечества. Может, год, может, десять лет спустя — дни и годы сольются у русской вдовы воедино, пойдут унылой чередою, станут одинакового цвета — покорная вдова повяжет вместо черного белый платок и подастся в избу Вуколихи, обставленной богатым иконостасом с круглосуточно горящей перед ним лампадой, заправленной соляркой, — молиться по убиенным и страждущим. Она встретит здесь женщин, которые были вроде бы уже старыми еще тогда, когда они с Павлом играли в счастливую любовную игру — время поравняло всех женщин, они сделались одинаково белы волосом, воздушны телом, тихи голосом.

Теперь они жили только воспоминаниями о прошлом. Собравшись у Вуколихи, рассказывали друг дружке о своих детях, братьях и мужьях, прося Господа дать павшим на поле брани место на небе поудобнее — уж больно худо им было на земле, так пущай хоть на небе отдохнут.

Мужья теперь у всех баб сделались, как на подбор, хорошими, умными, добрыми, хозяйственными, жен своих и родителей почитавшими, детей без ума любившими, власть и Бога не гневившими. Никто из них не колотил жен, не пропивал получки, не крушил окон у себя и у соседей, не заглядывался на молодух.

Перхурьевский начальник, рыболовецкой бригадир, Венька Сухоруков, счастливо отделавшийся от войны по причине бельма, накрыл однажды собравшихся у Вуколихи старушек. Но бабы страсть какие увертливые сделались за годы, прожитые под лукавой, воровской властью, вывернулись из сложного положения, выставив Веньке поллитру, он за это выбросил из мерзлого куля на пол брюхатую, икряную щуку.

С тех пор, как только Венька бывал не при капиталах, но выпить ему требовалось, прижимал он старушек, сулясь разоблачить их секту в газетке, предать их суду общественности, прикрыть гнездо, сеющее вреднеющую идеологию, идущую вразрез с научным атеизмом и постановлениями партии. Старушки, как и весь русский народ, боялись партии и раскошеливались.

Разговоры и самодельные молитвы-напевы облегчали душу Алевтины Андреевны, не истребляя, однако, в ней вовсе загустелую тоску, теперь уж вечную — догадывалась она. Алевтина Андреевна носила ту тоску в себе, как зародыш ребенка, которым не разродиться, который уйдет с нею в могилу. По праздникам Алевтина Андреевна доставала из сундука

завернутую в расшитый рушник тетрадочку — бумага истлела и ломалась, но надпись на корке: "Али на память от любящего доброжелателя" — еще угадывалась. Ничего без очков в тетрадке не видя, никаких букв не различая, Алевтина Андреевна все же вспоминала кое-что из написанного и от себя кое-что добавляла.

Последнее письмо от Павла Терентьевича было с берега Большой реки, он перед переправою его писал, где — сердце ей подсказывало — и погинул. Слов "без вести пропавший" она не понимала, да и не мог такой человек, как Павел Терентьевич, взять да и пропасть куда-то, безо всякой вести. Пытаясь представить тот берег реки, землю ту далекую, глядя на белые снеги, текущие с неба — небо-то везде одно, Алевтина Андреевна, сидя подле окна с веретеном или упочинкой, раскачиваясь безлистой лесиной или едучи в санях за дровами, за сеном, за всякой другой кладью, творила складную молитву:

"Падай, падай, бел снежок, на далек бережок. На даль-дальнем бережку прикрой глазки мил дружку..."

Полк Авдея Кондратьевича Бескапустина, наполовину выбитый, но все еще боеспособный, перебросившийся на плацдарм через островок и мелкую протоку, первоначально имел успех и начал, хотя и вразброс, путано, продвигаться вперед, где с боем, где втихую, как группа Щуся, занимать один за другим овраги, пока не достиг противотанкового рва, с какой неизвестно целью иль хитростью здесь вырытого, поскольку танкам на этом берегу ни дыхнуть, ни пукнуть. За рвом начинались картофельные и кукурузные поля, садики с обсыпавшимися от стрельбы яблоками. Вот уже выхватило светлыми вспышками ракет крышку клуни на окраине села Великие Криницы, теребнуло взрывами, подбросило клочья соломы, крыша клуни сразу в нескольких местах закурилась белыми дымками, невдолге и вспыхнула.

Увидев пожар за спиною и стрельбу там заслышав, немцы, прикипевшие к кромке берега и добивающие ранее переправившиеся взвод, роты, забеспокоились, загомонили и вдруг кинулись в темноту, сорвали в бега почти всю береговую оборону. В противотанковом рву, выкопанном в версте от берега, немцы начали скапливаться, отдыхиваться и соображать — не попали ли они в окружение? И что вообще происходит? Ночь же, ничего не видно и не понятно.

Было высказано предложение, что с тыла их атакуют те самые партизаны, слухи о которых в немецких частях строго пресекались, и заранее сообщено было, что район предполагаемой переправы русских от партизан блокирован, что партизаны будут истреблены, за тылы беспокоиться не нужно. Но тут, на берегу реки, было уже много солдат, не раз битых, в том числе и на Дону, и под Сталинградом. Они не верили успокоительным речам и больше доверяли своему нюху и ногам. Скорее всего из противотанкового рва немцы один по одному утянулись бы дальше, к селу Великие Криницы, попрятались бы по оврагам да в пойме речки Черевинки. Но в это время бескапустинцы нарвались на заминированный склон высоты Сто. Мины-эски, прозванные "лягушками", начиненные стальными шариками, прянули выше голов, жахнули, рассыпая смертоносный груз, черно взнялась в ночи земля, серо брызнула врассыпную наступающая пехота.

Большую беду нельзя было и придумать. "Эсок" этих большинство бойцов, прежде всего новичков, видом не видели, но слышать о них слышали и заранее боялись. Сразу в ночи раздались многочисленные вопли о помощи. Заметалась пехота, подрываясь на привычном уже противотанковом мелкотье. Мины в деревянных коробочках, похожие на мыло, не такое, правда, красивое, фирменное, какое в пути на фронт мастерски изготавливали и меняли на жратву умельцы под руководством Финифатьева. Противопехотные эти мины скорее смахивали на квадратные куски домодельного хозяйственного мыла. Немцы очухались, рота Болова

накрыла из минометов мечущуюся в потемках толпу, не разбирающую уже, где рвется, на земле, или в небе, — нет хуже ощущения, что каждый клок земли под ногами ненадежен, да еще и небо гудит, сорит бомбами, сыплет воющие мины, бьет из пулеметов.

Бескапустинцы-художники, вырвавшись с минного поля, побросали оружие, которого и без того недоставало, ринулись обратно к реке, натыкаясь на свои же роты, сминали их. Пока одумались да разобрались, что к чему, — много потеряли людей, оружия, главное — оставили так дорого доставшиеся, так необходимые позиции, сбившись у берега и под берегом.

Утром спохватились: полоска-то в районе действия полка бескапустинцев — двести-триста сажень вглубь, вширь — кто говорит, три версты, кто пять — усиди попробуй на таком клочке земли.

Пробовали атаковать. Продвинулись, захватили несколько оврагов, раза два достигали противотанкового рва, пытались закрепиться в нем, да вытряхивали их из рва, как поросят, заступивших в кормушку, чешут назад солдатики, только копытца постукивают.

К исходу вторых суток у полковника Бескапустина осталось всего около тысячи так называемых активных штыков, да у Щуся в батальоне с полтыщи, десяток батальонных минометов с тремя минами на трубу, несколько чудом перетащенных пэтээров, которые тут едва ли понадобятся, два станковых пулемета, десятка полтора ручных — "Дегтяревых", в остальном автоматы почти без дисков, винтовки с тремя-пятью обоймами, гранат несколько ящиков.

Хорошо, что в атаке, начатой с ходу, взяли порядочно трофейного оружия, патронов, но и своего немало кинули, драпая из-за треклятых "лягушек". Один станковый пулемет был отправлен в батальон Щуся, к нему отряжен надежный, умелый пулеметчик-пермяк Дерябин. В его же руки Щусь передал помощника Петьку Мусикова. Этот неустрашимый воин, про которого сержант Финифатьев говорил — точнее не скажешь: "У нашего свата ни друзей, ни брата", — и на фронте продолжал жить и действовать по своему уставу. В Задонье было — во время боя бегал по траншеям, ползал на брюхе меж окопами, в ту еще пору командир роты, старший лейтенант Щусь и зрит картину: лежит в уютной ячейке вояка и постреливает вверх, израсходует обойму, неторопливо всунет другую, утрется рукавом и пошел по новой палить "по врагу". Щусь полюбовался на воина, помотал головой и изо всей-то силушки отвесил ему пинкаря: "Воюй!" Тогда вот, в Задонье, он и передал Петьку в распоряжение Дерябина — у того не забалуешься, тот заставит Петьку Мусикова пулеметный станок таскать, копать землю, о лентах и патронах заботиться. Сам Дерябин мало спал и помощнику лишка спать не давал, главное, никуда от себя его не отпускал, даже на то, чтоб харч промыслить, — хотя оба номера пожрать большие охотники.

Очень обрадовался Петька Мусиков, когда узнал, что пулемет их, переправляемый на помосте, сооруженном на бочках из-под горючего, утоп. Петька Мусиков и знал, что пулемет утопнет, и все, что есть на помосте, утопнет, — высоко плывут бочки, и стоит хоть одной пуле попасть хоть в одну бочку, как она забулькает, набирая воду, потянет за собой все остальное сооружение, на котором только политическую литературу переправлять да разных агитаторов — говно на воде не тонет. Петька Мусиков с маньдомскои шпаной по заливу по шуге иль весной, еще по большой воде, на бревне плавал, когда на плотах, когда и на двери от сортира, один раз сам сортир в воду столкнула шпана, поплыли маньдомские пираты на просторы, а в сортире человек окажись! Орет! Так ведь плавали-то без груза, в трусах одних, чаще и без трусов, упадешь в воду — сам выплывай. А тут пулемет, минометы, пушки на бочки вкатили — при такой-то плотности огня! Э-эх, умники.

Очень расстроился, духом упал Петька Мусиков, когда прикатили к ним пулемет, и рожа эта пермяцкая, Дерябин-то, пустил его в дело.

— Грызите землю, бейте фашистов лопатами, камнями, чем хотите, но расширяйтесь! — дергаясь щекой так, что кривая, с коротеньким мундштуком трубка взлетала до уха, просил-приказывал полковник Бескапустин.

Еще один бой. Этот уж из последних сил-возможностей. И трубки нет. Хоть пропадай. Капитан Понайотов, пригнувшись, вошел в добротно, в три наката крытый немцами блиндаж и доложил командиру полка о своем прибытии. За начштабом топтался, поблескивая очками, Карнилаев, держа под мышкой плотную сумочку с картами, за спиной шнурком прихвачен планшет. Следом, треща катушкой, отчего-то вприпрыжку спешил связист.

— Кстати, кстати! — подав все еще пухлую, но холодную руку, сказал Бескапустин. — Сыроватко хорошо! Везунчик! У него территория в три Люксембурга да в одну Бельгию, а тут, на бережку, как плишки — бегаем и хвостики в воде мочим...

В полдень начали атаку. Пехота частью потекла по размешанным уже оврагам, частью двинулась вослед за огненным валом, в отчаянии, без крика, прямо на окопы, в направлении противотанкового рва, куда смещались разрывы снарядов.

— Плотнее, плотнее, капитан! — наблюдая в бинокль развитие атаки, просил полковник Бескапустин.

— На пределе работаем, товарищ полковник. Нельзя плотнее. Побьем своих.

— А-ах, ч-черт! Минометчиков бы, минометчиков бы! — стонал полковник Бескапустин.Ну, где эта трубка? Куда подевалась? Ах, молодец, парень! Ах, молодец! — поймав биноклем крупного парня в подпоясанной телогрейке, который, прихрамывая, должно быть, ранен в ногу, бросками шел к вздрагивающему огнем в окопе немцев пулемету.

Забирая чуть правее, к ложбинке, парень падал, неторопливо целился, делал выстрел. Но там, у противника, видать, тоже сидели опытные вояки, и не просто сидели, но работали, работали. Если подарок от Иванов прилетел, пулемет смолкал, значит, пулеметчик оседал на дно ячейки, старательно, во весь профиль выкопанной, в это время, в миг краткий, парень делал стремительный бросок к цели. И по тому, что он не разбрасывался, не суетился, выбрав одну цель, к ней и устремлялся, угадывался в нем бывалый вояка. Один раз он все же угодил куда надо из винтовки. Пулемет вздрогнул, с рыльца его опал красный лепесток, дымок потек вверх из дула пулемета. Видно, не напрасно говорится: народ любит гриба белого, а командир — солдата смелого.

— Ах, молодец! Ах, молодец! — хвалил парня полковник Бескапустин и загадал себе: если этот его солдат дойдет и уничтожит хорошо поставленный пулемет — будет всеобщая удача.

С Булдаковым и его срядой маялись сперва родители, затем все старшины рот, какие встречались на его боевом пути. У него, как уже известно, сорок седьмой размер обуви. Самый же крайний, как и в запасном полку, присылали на фронт сорок третий. Радый такому обстоятельству, Булдаков так же, как и в бердском доходном полку, швырял чуть не в морду старшине новые ботинки: "Сам носи!" — забирался на нары, да еще и требовал, чтобы пищу ему доставляли непременно в горячем виде.

Потрясенный такой наглой и неуязвимой симуляцией, старшина резервной роты, что стояла на Саратовщине, достал лоскут сыромятины, из нее по индивидуальному заказу сшили

мокроступы, пытались выдворить на боевые занятия отпетого симулянта, к тому же припадочного: "У бар бороды не бывает", — рычал симулянт и падал на пол. Мокроступы не вязались с боевым обликом советского воина, раздражали командиров, те гнали Булдакова вон из строя, подальше с глаз, чего вояке и надо было.

Он шлялся по опустелым подворьям выселенных немцев, находил вино, жратву и пил бы, гулял бы, но в нем оказались устойчивыми советские, коллективные наклонности — непременно угостить товарищей. "Ну-у, хрукт мне достался!" — мотал головой старшина роты Бикбулатов, по национальности башкирин.

Первый раз, завидев бойца с совершенно наглой, самоуверенной мордой, в немыслимо шикарных обутках, с множеством стальных застежек, одновременно похожих на сапоги и на ботинки с голяшками, с присосками на подошвах, Бикбулатов не только изумился, но и загоревал, понимая, что с этим воином он нахлебается горя. Булдаков напропалую хвалился редкостными скороходами, сооруженными, по его заверению, аж в Персии, но не объяснял, каким путем диковинная эта обувь попала на советскую территорию и с кого он ее снял? Сносились, однако, и те персидские, на вид несокрушимые обутки, Булдаков ободрал сиденье в подбитом немецком танке, выменял или упер у кавалеристов седло — на подметки. Дождавшись передышки, отыскал в боевых порядках сапожника, отдал ему все кожаное добро, и мастер, исполу, то есть за половину товара, сработал ему такие сапоги, что в них кроме огромных, с детства простуженных, костлявых ног Булдакова, измученных малой обувью, входило по теплому носку с портянкой. Булдаков до того был доволен обувью, что от счастья порой оборачивался, чтобы посмотреть на свой собственный след.

Прибыв к реке, Булдаков смекнул, что едва ли сможет переплыть в своих сапогах широкую воду, сдал их под расписку старшине Бикбулатову. Чтоб расписка не потерялась, не размокла, спрятал ее сначала у телефонистов в избе, под крестовиной, потом передумал: изба-то... скорее всего сгорит — и засунул расписку вместе с домашним адресом в патрончик, для которого и пришивался карманчик под животом, на ошкуре брюк. Переправившись на плацдарм, Булдаков шлепал по холодной земле босыми ногами и орал на ближнее, доступное ему командование, стало быть, на сержанта Финифатьева, что, ежели его не обуют, он уплывет опять обратно, — воюйте сами! Финифатьев стянул с какого-то убитого бедолаги ботинки крайнего, опять же сорок третьего размера. Снова маялся Булдаков, смозолил пальцы на ногах, но никому не жаловался. Да что тут, на этом гибельном берегу, мозоли какие-то? Прыгал, будто цапля, по берегу Булдаков, и в атаку шел вояка неуверенно, спотыкаючись, прихрамывая, полковнику же Бескапустину казалось — боец ранен.

Будь у Булдакова сапоги, те, что хранились у пропойцы Бикбулатова, иль хотя бы редкостные персидские мокроступы, он давно бы добежал уже до вражеского пулемета, и вся война в данном месте, на данном этапе кончилась бы. Он и в тесных, привязанных к ногам бечевочками деда, скоробленных ботинках достиг немецкой траншеи, по вымоине дополз до хода сообщения, спрыгнул в него, двинулся с винтовкой наизготовку, чувствуя, что обошел пулеметное гнездо с тыла, свалился туда, где никто никого не ждет, тем более Леху Булдакова. Командиришко тут, видать, зеленый или самонадеянный. "Балочки, низинки, всякую воронку, глины комок надо доглядывать, закрывать, господин хороший! Закрывать-закрыва-а-ать!" — будто детскую считалку шепотом говорил Булдаков, бросками двигаясь к пулемету, по извилисто — по всем правилам копанной траншее. Совсем уже близко работающий пулемет, — эта цепная собака, тетка-заика — по окопному, фрицевскому прозванью. Слышно шипение перегретого ствола за изгибом траншеи, звон гильз, опадающих по скосу траншеи, из пулеметной ячейки, из кроличьей норки, как ее опять же называют фрицы, тащило дымом, окислой медью, и по тому, как сгущалось горячее шипение, как, захлебываясь, частил пулемет и россыпью, жиденько отвечали винтовки и автоматы нашей пехоты, да как-то по-киношному,

будто семечки выплевывая, сыпал шелуху пулек "максимко", Булдаков догадался: бескапустинцев прижали к земле. Да и как не прижмут? Немецкий пулемет М-42, — дроворуб этот, сказывал дока Одинец, — одновременно станковый и ручной, легко переносимый, с быстро меняемым стволом, в ленте пятьсот патронов — это супротив сорока шести "Дегтярева" и сотни или двух прославленного "максимушки", с которого вояки и щиты поснимали, лишнюю в переноске демаскирующую деталь. А вот еще достижение: пошли патроны — медь с примесью железа — провоевали сырье-то российское, эрзацами приходится пользоваться. При стрельбе жопки комбинированных патронов отпадают, и бесстрашный пулеметчик выковыривай пальцем из ствола трубочку гильзы. Пока возишься — тебя и ухлопают и идущих в атаку славян в землю зароют. Э-э, да что там говорить? А кожух пулемета — попадет пулька — и вытекло охлаждение, подтягивай живот, иван, сматывай обмотки — тикать пора. Так вот и воюем. Новые пулеметы — заградотряду, киношного героя "максимушку" — на передний край.

Уже без маскировки, без излишней осторожности, Булдаков не крался, шел, пригнувшись, на звук пулемета, на запах горелого ружейного масла. Битый вояка, тертый жизнью человек, он сосредоточился, устремился весь к цели, да так, что не заметил, точнее заметил, но не задержал внимания на отводине ячейки, прикрытой плащ-палаткой, потому как встречь ему выскочил немчик в подоткнутой за пояс полой шинели, из-под низко осевшей пилотки по-мальчишески торчали вихры — седые, правда. "Связной!" — мелькнуло в голове Булгакова, поблизости командир. Стрелять нельзя", — не спуская глаз с седенького плюгавого немца, автомат у которого висел за спиной, Булдаков перехватил винтовку за ствол, продвигаясь к жертве, словно балерина на пуантах, шажочками, вершочками. Немец тоже почему-то шажочками, вершочками пятился от грязного, щетиной обросшего существа, похожего скорее на гориллу, чем на человека. Запятники малых обуток, на которых стояло это существо, делали его еще громадной, выше. Глыбой нависала над врагом небесная, карающая сила. Колени немца подгибались, он хотел сделаться еще ниже, творил молитву: "Святая Дева Мария!.. Господи!.. Приидите ко мне на помощь..." — дрожал перекошенным ртом, зная, что, если закричит, русский громила сразу же размозжит ему голову прикладом. Ужимая себя, стискиваясь в себе, немец надеялся на Бога и на чудо: может, русский пройдет мимо и не заметит его, пожалеет, может, Гольбах с Куземпелем, ведущие огонь из пулемета рядом, за поворотом траншеи, почувствуют неладное. И зачтется же, наконец, когда-то перед Богом все добро, какое он сделал в своей жизни по силам своим и возможностям... Мало, правда, очень мало тех возможностей отпускал ему Господь, но он старался, старался изо всех сил. Уроженец маленького аккуратненького городка Дайсбурга, с восьми лет он уже прислуживал знаменитому местному доктору Грассу, следил за лошадьми: поил, питал, чистил лошадей доктора, убирал навоз. Ему разрешалось в сумке уносить тот навоз в цветник, разбитый возле маленького, из старых шпал и досок слепленного домика, который прежде был сторожевой, служебной будкой на железнодорожной линии, и отец его, смирный, блеклый человек по фамилии Лемке возле той будки зачах и умер в сорок пять лет, оставив жене такого же, как он, еще в утробе заморенного мальчика.

Цветничок, выложенный из кирпича возле будки, был дополнительным источником доходов к казенной пенсии за отца — местная владелица цветочного магазина охотно брала на продажу особо удавшиеся, бархатно-синие, почти черные, со светящимися в середине угольками анютины глазки — скупые немцы охотно их покупали на святые праздники, в поминальные дни для украшения могил и потому, что стоили цветы недорого, и потому, что подолгу могли стоять в воде, не увядая.

Доктор Грасс был не просто знаменитый на всю Германию филантроп, он являлся еще и набожным человеком, думающим о бедных. Он помог жене покойного Лемке пристроить бедного, старательного мальчика в пристойную воскресную школу для сирот и, когда мальчик,

пусть и с трудом, выучился читать, писать и считать, сдал его на службу санитаром, сначала к себе в клинику, затем, когда ситуация в стране изменилась в лучшую сторону, определил его на курсы военных санитаров.

Одевши форму, получив достаточное питание в военном училище какого-то уж совсем распоследнего разряда, Лемке воспарил, вознесся в себе, познав целенаправленную, нужную родине жизнь, имея такую благородную цель — помогать воинам обожаемого фюрера всем, чем только мог он помогать, даже жизнь отдать за родину, за фюрера, если потребуется, готов был Лемке.

На фронт он прибыл полный ощущения радостных побед и радужных надежд на будущее, прибыл во главе санитарной команды, состоящей из пяти человек: он — уже имеющий скромные лычки на погонах, и четверо крепких ребят санитаров.

Уже в начале войны, в сражении под Смоленском, Лемке уяснил, что обещанной легкой прогулки по России не получится, а радужные надежды угасли оттого, что работы было не продохнуть, потоки раненых убавляли в сердце звуки победного энтузиазма, да и команда его наполовину убыла: два наиболее активных и толковых санитара убыли из строя, осталась пара баварских увальней, отлынивающих от работы, жрущих напропалую шнапс, стреляющих кур по российским дворам, насильно принуждающих беззащитных женщин к сожительству и, что самое ужасное, обшаривающих трупы не только русских командиров, но и своих собратьев по войне.

Эти пьяницы и мародеры в грош не ставили своего начальника, вышучивали его, особо выделяя пикантную тему, мол, ефрейтор не имеет дела с женщинами не потому, что трус, не потому, что верующий, а потому, что ничего не может с ними путного сотворить, все у него еще в детстве засохло и отпало.

Унижение — вот главное чувство, которое он познал с детства и которое всегда его угнетало, обезоруживало перед грубой силой. Воспрянув духом на войне, в неудержимом, все сметающем походе, Лемке, однако, раньше других самоуверенных людей почувствовал сбои в гремящей походной машине, война хотя и была все еще победительно-грозной, тащила за собой хвост, сильно измазанный кровью и преступлениями. Положим, войн без этого не бывает, но зачем же такая жестокость, такой разгул ненависти и низменных страстей? Они же все-таки из древней, пусть вечно воюющей, но в Бога верящей культурной страны. Они же все-таки не одних фридрихов и гитлеров на свет произвели, но и Бетховена, и Гете, и Шиллера, и доктора Грассе. Неужели так мало времени потребовалось просвещенной нации, чтобы она забыла о таком необходимом человеку слове, как милосердие.

Нет, нет и нет, не все забыли о Боге и Его заветах, Лемке, во всяком случае, их помнил и при любой возможности, а возможности тогда у него были немалые, делал людям добро не потому только, что это перед Богом зачтется, но и потому, что не забывал: он тоже человек, пусть маленький, пусть чужеземный пришелец. Чтобы делать добро, помочь человеку, не обязательно знать его язык, его нравы, его характер — у добра везде и всюду один-разъединственный язык, который понимает и приемлет каждый Божий человек, зовущийся братом.

Лемке не раз перевязывал русских раненых в поле, не единожды разломил с ними горький солдатский хлеб, оросил страждущих водой, оживил Божьей кровью — сладким вином. А сколько русских раненых, спрятанных по сараям, погребам и домам "не заметил" он, сколько отдал бинтов, спирта, йода в окружениях, под Смоленском, под Ржевом, Вязьмой...

Заглянул он однажды в колхозную ригу, а там на необмолоченных снопах мучаются сотни раненых и с ними всего лишь две девушки-санитарки, он и по сию пору не забыл их прелестных имен — Неля и Фая. Все речистые комиссары, все бравые командиры, вся передовая советская медицина, все транспортники ушли, бросив несчастных людей, питавшихся необмолоченными колосьями, воду девушки поочередно приносили из зацветшего, взбаламученного пруда.

Он пригласил девушек с собой. Думая, что над ними сотворят надругательство и убьют, девушки покорно шли за ним и старались не плакать. Два его санитара-жеребца гоготали: "Эй, ефрейтор! Отдай этих комсомолок нам, мы будем тщательно изучать с ними труды наших знаменитых земляков — Карла Маркса и Фридриха Энгельса..."

Где они, эти воистину героические девушки? Погибли, наверное?.. Разве этот ад для женщин? Как же изменится мир и человек, если женщина приучится к войне, к крови, к смерти. Создательница жизни, женщина не должна участвовать в избиении и уничтожении того, ради чего Господь создал Царство Небесное...

Бог помнит добрые дела. Через три всего месяца, отступая от Москвы, Лемке обморозил ноги, почти лишился руки и где-то, опять же под Вязьмой, — Господь не только помнит доброе дело, но и отмечает места, где они сделаны, — в полусожженном селе заполз Лемке на тусклый огонек в крестьянскую, обобранную войной избушку, старая русская женщина, ругаясь, тыча в его запавший затылок костлявым кулаком, отмывала оккупанта теплой водой, смазывала руки его и ноги гусиным салом, перевязывала чистыми тряпицами и проводила в дорогу, сделав из палки подобие костыля, перекрестив его вослед.

"Русский, русский... я еще много должен сделать добра, чтобы загладить зло, содеянное нами на этой земле, чтобы отблагодарить ту женщину и Господа за добро, сделанное мне. Русский, русский, зачем тебе маленькая жизнь маленького человека? Убей Гитлера или обер-лейтенанта Мезингера, пока он не убил тебя..."

Два спаренных выстрела раздались за спиной Булдакова. Толкнуло под правой лопаткой, щекотно потекло по спине. Будучи человеком веселым, Булдаков впал в совершенную уж умственную несуразность — подумал: в него стреляют и попадают, но стреляют вроде бы как шутя, из пугача, пробками. С ним в войну играют, что ли? Он в недоумении обернулся и увидел отодвинутую с ячейки плащ-палатку, пистолет, направленный на него. Пистолет подпрыгивал, отыскивая цель, ловил Булдакова тупым рыльцем дула. "Вша ты, вша! В спину стреляешь и боишься!" — возмутился Булдаков, носком ботинка отыскивая опору, чтобы броситься на пистолет, скомкать, затискать того, кто прячется за палаткой, придавить к земле, задавить, как мышь, — у него еще хватит силы...

Он потерял мгновение из-за малых ботинок, ища опору для броска. Не зря говорят чалдоны: с покойника имущество снимать да на живое надевать — беды не миновать. Потерял он, потерял ту дольку времени, что стоит жизни. Э-эх, не сдай он свою обувь старшине под расписку!.. И чего жалел-то? Зачем? Все равно Бикбулатов пропьет сапоги. Две желтые пташки взлетели навстречу Булдакову, ударилось в грудь, он инстинктивно заслонился прикладом от винтовки, от приклада отлетела щепка, занозисто впилась в телогрейку, под которой двоилось, распадалось нутро, дробились кости, смещалось в сторону все, что дышало, двигало, удерживало стоймя тело бойца. Ему чудилось: он ощущает движение пули, на пути которой вскипала, сгущалась кровь, делалась горячей и комковатой, двигаясь по жилам толчками. Привыкши к своему превосходству над всем, что есть живого на свете, Булдаков не ведал чувства смерти, но тут явственно ощутил: его убили. Одна пуля пробила его насквозь. Он слышал, как ожгло, не защекотало, а ожгло спину кровью, потекло по ней, как начал намокать ошкур штанов. Захотелось выпрямиться, дохнуть полной грудью, дохнуть так, чтобы вздох

приподнял сердце, опадающее вниз вместе со всем, что было в середке. Стараясь остановить свое падающее сердце, не дать ему разбиться, Булдаков напрягся, но сердце укатывалось в мерцающий и тоже убывающий свет, попрыгав где-то в отдалении, громко стукнувшись в грудь, сердце стремительно покатилось под гору, беззвучно уже ударяясь о ребра, об углы тела, все заклубилось, завертелось перед Булдаковым, и самого его свернуло, сдернуло с земли и понесло во тьму. Печенки, селезенки, раненое сердце человека еще пульсировали, гнали кровь, но все это работало уже разъединенно — то, что связывало их, было главным командиром в теле, обессилилось и сразу померкло.

Пустым звуком взметнулось, гулко ударилось в бесчувственную пустоту. "Все! Неужели кранты?!" — просверкнуло вялым недоверием, вялым несогласием, но сей же момент, будто занавес упал в покровском клубе имени товарища Урицкого, обедня в Покровской церкви завершилась, отзвучали колокола, поп какать ушел... По немецким меркам прозвучало бы это примерно так: "Унзэр концерт ист аус. Кайнэ музик мер. (Концерт окончен, музыки больше не будет.)

Пулемет, которого так и не достиг Булдаков, продолжал сечь, рубить русских солдат. Впрочем, может, это каменья гулко катились по железной крыше покровской часовни — в детстве они пуляли на верхотуру камнями и, боязливо прильнув спиной к кирпичной стене часовни, слушали, как они, гремя, катятся вниз... "Как же Финифатьев-то? Он же сулился... Ах, дед, дед! Ах, Финифатьев, Финифатьев!.."

Царапая, скребя стенку траншеи ногтями, которые росли на плацдарме отчего-то скорее, чем на всякой другой стороне, падал, оседая на дно окопа, приникал к земле русский солдат. Обер-лейтенант Мезингер все давил, давил на собачку пистолета. Пистолет не стрелял — половину обоймы он, балуясь, расстрелял еще в начале атаки. Не веря тому, что он сразил русского великана, и пугаясь того, что наделал, он тонко скулил: "Русиш! Русиш! Русиш!" Лемке, метнувшись послушно исполнять какое-то поручение господина офицера, он уже забыл — какое, увидев, как на него движется человек, перехватывая винтовку, будто дубину, в минуту прожил свою жизнь и смерть, но прозвучали близкие выстрелы, выронив винтовку, набухающей кровью спиной, на него начал падать чужой солдат. От неожиданности, от радостного открытия: его не убили! — Лемке расставил руки, поймал словно бы разом отсыревшую тушу русского солдата и вместе с ним свалился на дно траншеи. Русский солдат мучительно бился, спихивая с ног стоптанные ботинки, привязанные тонкими шнурками к стопам. Лемке догадался сдернуть их. Русский сразу же перестал биться, вытянулся и облегченно вздохнул или испустил дух. Стоя на коленях над поверженным великаном, держа продырявленные известкой от воды и окопной пылью покрытые ботинки, Лемке никак не мог сообразить, что же дальше-то делать, и вдруг очнулся, обнаружив, что все еще скулящий, самого себя или сотворенного убийства испугавшийся господин обер-лейтенант Мезингер никак не может выпрыгнуть из траншеи, карабкается и опадает вниз, карабкается и опадает, не замечая, что топчет свой форсистый офицерский картуз. Выстрелы его, но главное — вопли, похожие на стон отдающего Богу душу человека, достигли пулеметной точки. Опытная пара пулеметчиков, подумав, что русские их обошли, вознеслась из траншеи, перескочила через бруствер и помчалась к противотанковому рву. Вслед им обрадованно стеганул русский пулемет, посыпались ружейные выстрелы.

Полковник Бескапустин, отнимая бинокль от запотевших надглазниц, освобожденно выдохнул: "Молодец, парень! Достиг! Добрался-таки до пулемета! Надо узнать фамилию".

Лемке догадался, наконец, подсадить обер-лейтенанта, и Мезингер, перелезши через бруствер траншеи, хватанул вослед Гольбаху. Мезингер не сразу и заметил, как меж воронками, царапинами вымоин по серенькой, метельчатой траве, где смешанной кучкой, где вразброс

трюхает, ползет, а то и откровенно, поодиночке утекает какой-то люд во мшисто-салатных, выцветших за лето мундирах. Иные солдаты, ткнувшись в землю, оставались кусать траву, убило их, значит.

"Моя рота отступает! Без приказа? А я?.. А я?.." Мезингер совсем не так представлял себе отход боевой части, тем более своей роты. Она должна сражаться до последнего. Ну а если уж противник вынудит — отходить планомерно, отстреливаясь, прикрывая друг друга. А они бегут! И как бегут! Зады трясутся, что у баб, ранцы клапанами хлопают, будто рыжие крылья на спинах взлетают, железо побрякивает, возможно, котелки, возможно, противогазные банки... Ужасаясь покинутости, не замечая ничего, кроме немыслимо быстро утекающих солдат, Мезингер протянул руки, молил: "Я!.. Меня!.. Я! Меня!.." Все ему казалось, тот огромный русский с азиатским лицом настигает сзади, вот-вот схватит за ворот, уронит, задавит грязными ногтистыми лапищами. Как он, командир роты, оказался во рву — не помнил. Лишь попив водицы, вытерев лицо сперва рукавом, затем носовым платком, глянув на оставленные траншеи, то белесой, то коричнево-бурой бечевкой вьющиеся меж оврагов, он, приникнув спиной к рыжо и беспрестанно крошащейся стене рва, плаксиво спросил у угрюмо помалкивающих, уже покуривающих солдат:

— Вы что сделали?

— Делать пожары — это у нас называется! — насмешливо отозвался кто-то из солдат.

— Делали то же самое, что и вы, между прочим, — буркнул Гольбах, Куземпель, его заместитель, что-то промычал.

И тут только Мезингер понял: он тоже драпал, тоже "делал пожары", бросив в окопе связного Лемке, это животное в перьях, как опять же солдаты по-окопному беспощадно и точно зовут всякого рода прислужников. А ведь Лемке, именно Лемке, помог ему выбраться из траншеи, где остался тот страшный русский.

Вспомнив, как он испугался русского, как палил в него из-под плащ-палатки, в страхе закрыв глаза, обер-лейтенант ужасался себе: "Трус я! Трус..."

— Ничего, обер, не мы войнами правим, война нами правит, — тронули его за плечо. Мезингер капризно, по-девчоночьи дернул плечом, пытаясь сбросить руку солдата. Солдат, усмехнувшись, убрал ее сам. Его заместитель, хромой, израненный унтер-офицер Гольбах с нашивкой за прошлую зиму, с солдатской медалью, обернувшейся плоской стороной и номером наружу, с блестками гнид на ленточке медали, делал вид, что задремал. Остальные награды, а их у него полный кожаный мешочек, находятся в полевой сумке, которую волочит за собой везде и всюду хозяйственный помощник Гольбаха Макс Куземпель. Нарядный картуз, в котором обер-лейтенант Мезингер форсил в Африке, где-то потерялся, и Гольбах, ни к кому вроде бы не обращаясь, приказал:

— Найдите командиру роты головной убор! — и ни на кого не глядя, в том числе и на самого командира роты, ткнул в его сторону фляжку. Мезингер отпил, сморщился, пытаясь выговорить "благодарю", закашлял, брызнул слюной. Гольбах дождался, когда Макс Куземпель вслед за обер-лейтенантом сделает глоток, сделал два глубоких глотка, завинтив крышку фляжки, отвалился головой в кроличью нору, значит, в кем-то давно уже выдолбленную нишу, и, снова вроде бы ни к кому не обращаясь, не открывая глаз, с сонной вялостью произнес:

— Всем проверить оружие, снарядить ленты, — и, не меняя тона и позы, добавил: — Обер-лейтенант, вы тоже приведите оружие в порядок — оторвет пальцы, либо глаза выжжет. О

картузе не беспокойтесь — найдется... как снова пойдем в атаку...

Тут только Мезингер спохватился — пистолет он все еще держит в руке, и дуло плотно забито землей. Он вывинтил шомпол, принялся суетливо пробивать дырку в стволе пистолета, выдувать из него землю. Пыль вместе с гарью перхнула в глаза, в рот. Он облизал пресную, чужую, скрипящую на зубах землю и, вытирая рукой глаза, заскулил в себе: "Зачем это все? Почему мы должны пропадать здесь, и кто имеет право гнать нас в огонь, в грязь?! Мы устали. Я устал..." — он в страхе — не произнес ли эти слова вслух? — обвел глазами изможденно сникших солдат, приткнувшихся в грязной рытвине, замусоренной, невыносимо воняющей дохлятиной, человеческим дерьмом. Он сейчас, вот только сию минуту отчетливо понял: эти его солдаты, ползающие в пыли люди, не раз и не два уже задавали себе подобные вопросы, и с такими мыслями, с такой давней и отчаянной уже усталостью никакой вал им не удержать. А если они и усидят здесь, за этой водной преградой, удержат позиции, что же будет дальше? Дальше-то что? Еще бои, еще кровь, еще и еще гнетущая усталость, тоска по дому, по родине... Сколько это может продолжаться? Сколько еще может вынести, вытерпеть немецкий железный солдат, всеми здесь ненавидимый, чужой?..

"Отчего вы не носите боевые награды?" — спросил однажды Мезингер у Гольбаха, поначалу еще спросил, желая как-то заявить о себе, поддеть своего вечно насупленного помощника.

"Берегу для более торжественного случая! — Гольбах поглядел прямо и нагло в глаза Мезингеру. — В окопах от пыли и сырости тускнеет позолота".

Понимай его как хочешь! Угрюмые, затаенные психи все на этом Восточном фронте. Не знаешь, что делать с ними, как быть? С какого боку к своим подчиненным и подступиться? В Африке непринужденны и понятны были отношения: офицер с офицером в ресторан или на пирушку, солдаты — в бардак, мять темнозадых ненасытных девок.

Гольбах отдыхивался, подремывал, и тяжело переворачивались глыбы его мыслей в плоской голове, посаженной на плечи. Их, этих мыслей, совсем немного, поверху, совершенно вроде бы отдельно, шла явь: щелчки выстрелов, вой мин, шорох снарядов над головой, звуки разрывов, дальних и близких, движение по окопам, звяк котелка зазевавшегося постового — холуй этот, еще одно животное в перьях, заскребал, зализывал посуду после командиров — как точно, как беспощадно все же говорят русские о тех, кого презирают. И воюют эти русские вроде бы из последних сил, но здорово — наше дело — правое — говорят они, и тоже правильно говорят...

Гольбах на минуту подключил слух и нюх — иваны с голоду могут рвануть в атаку и переколошматят имеющего обед противника. Забьют и сосунка этого, потерявшего боевой картуз... Как это по-русски? Укокошат.

Но нет, не шевелятся русские. "Голод — не тетка". Вот уж воистину — не тетка, и не муттер, и даже не кузина. Свалил все же подносчика патронов какой-то русский возле самого пулемета. Лежит замурзанный работяга войны в траншее, прикрытый лоскутком от плащ-палатки. И если русские не выбросят его из окопа, если не подберет похоронная команда, гнить ему там.

Мысли под пилоткой текут вязко, полусонно, иногда вдруг отпрыгнут в сторону. Гольбах сунул два пальца в подстеженный нагрудный карман мундира и достал оттуда пять половинок железного жетона. "Орденом смерти" и "собачьим орденом" нарекли фронтовики эти жетоны, на них коротко означены все сведения о погибшем "за фатерлянд". Скользнув глазами по одной пластинке, Гольбах подумал, что, если обратно отобьют окопы, пять оставшихся на шее убитых половинок пластинок снимет с покойников похоронная команда. Порядок есть порядок.

Но в Германии ничего не знают об истинных потерях на фронте. И в России о своих потерях не знают — все шито-крыто. Два умных вождя не хотят огорчать свои народы печальными цифрами. Высокое командование трусит сказать правду народу, правда эта сразу же притушит позолоту на мундирах. В госпитале он имел любовь с одной сероглазой, звал ее кузиной. Она была не против любви, но с теми, у кого есть чем платить. Копит капитан, готовится к будущему, к победе готовится! Ну и он, Гольбах, тоже готовится...

Мезингер этот глуп как пуп, в войне ничего не смыслит да и в жизни понимает, видать, столько же! А Гольбах как-никак повидал и жизнь, и войну всякую. Горел возле топки парящего всеми дырами угольщика, таскавшегося от Киля до Амстердама и Роттердама. Когда эта калоша все-таки утонула, шипя машиной и пуская пузыри, он хватил и безработицы. Побегал по улицам во время кризиса; "Долой!", "Требуем!", "Акулы капитализма!" — чуть в коммунисты к Тельману не подался. Но тут с неба свалился избавитель от всех бед и напастей — фюрер, мессия, спаситель или как там? Все сразу переменилось. Впрочем, что для него, для Гольбаха, переменилось-то? Получил работу, стал "иметь" свою комнату в портовом районе в сыром доме с угарными печами, постоянную женщину бесплатно имел, поскольку она являлась его женой, ребенка ей сотворил. Куда-то они делись, и жена, и ребенок, скорей всего взлетели в воздух от английских бомб, испарились, как и весь древний портовый город Киль.

Поражение? Да! Оно началось еще летом сорок первого года, двадцать второго июня. Кто-то вверху, говорят, в самом генштабе вякнул: "Нас — восемьдесят пять, их — сто восемьдесят. Сто миллионов не в нашу пользу..."

Отрубили башку говоруну. Красиво отрубили, революционной гильотиной — знай наших! Мы все делаем, как в театре. Сплошной всюду театр, артистов полна сцена. Идут беспрерывные массовые представления. Идет игра. Доигрались!

Он сдавил в горсти пять отпотевших, скользких пластинок — это только за сегодняшнее утро, только из его взвода. А по всему огромному фронту, только сегодня, только за утро — сколько же?

Из нутра пилотки, которой глухо закрыл лицо Гольбах, разит кислятиной, грязью, потом, нужником, всем-всем, чем только может вонять война, — самые мерзкие запахи она вмещает. Тьфу! И открыться нельзя. Невозможно видеть эту страдающую рожу Мезингера. Надо кончать всю эту музыку. Концерт окончен.

Авантюристы! Проходимцы! Безбожники! Портовая шпана — приспешники фюрера будут воевать до последнего человека. Пока всех не сбросают в пекло, не сожгут, надеясь на чудо, на самом же деле — отгоняя свою гибель, спасая свою шкуру.

"Не-эт, довольно! Довольно-довольно! Гольбах дурак, да и дурак весь вышел. Он был дурак, когда деранул из плена. Как шли... Что они с Максом пережили?! Ох, дураки, дураки! Сидели бы вдали от войны, вкалывали бы на стройке, в свободное от работы время изучали бы труды Карла Маркса. К Марусе какой-нибудь приклеились бы. Они, Маруси-то, сначала за топор: "Проклятый гад! Фашист!.." — Но скорчишь убогую рожу: "Арбайтен. Гитлер нихт гут..." — ну и тому подобное. И вот уж отошла Маруся, картошки сварила: "Дети-то есть? Киндеры-то" — "Я, я. Драй. (Да, да. Трое.) Лучше "фюнф", сказать. (Лучше "пять" сказать)" И вот уж совсем Маруся размякла: "А воюешь, дурак! Хоть бы детей-то пожалел..." — "Я! Я! Есть гросс дурак!.."

В общем-то народишко отходчивый. Наши вон показали им, русским киндерам, вселенское братство. В рудники! На каторгу! В печь их — пепел на удобрения! Наши! Нет, они уже не наши. Не-на-ви-жу! Себя ненавижу! Этого сосунка Мезингера, его, как же русские говорят? —

шестерку Лемке. Где-то застрял? Может, подох? Или прячется? Может, остался? Дурак! Разве на плацдарме в плен сдаются?..

— Спокойно, Гольбах! Спокойно! — по-русски мычит Макс Куземпель и через какое-то время добавляет: — Гольбах, не стоит вонючка эта со всеми своими Шиллерами, Гейнями, Генделями и Бахами и всякой прочей культурной бандой, со всей своей аристократической семейкой, которую большевики и без нас вырежут, не стоит он нашей жертвы. Гольбах, ебит твою мать, мы можем не дожить до отпуска.

У Макса Куземпеля есть где-то знакомая штабная крыса. Они набрали на полях сражений золотишка — полную солдатскую флягу: кольца, зубы немецкие, русские, часы и браслеты — все вперемешку. За это они получат отпуск. В честном бою, кровавой работой им отпуск не заработать. Они уйдут в Грац, купят документы, право на жительство, спрячутся в горах, отселятся подальше от Великой Германии в Альпы. Ищи их там фюрер! Мыловары-родители ищите — умыли детей на войне, чисто умыли. Может, большевики не всех немцев вырежут? Большевики, те, что за войной, — тоже демагоги, как фюрер наш драгоценный и его прихлебатель Геринг, — любят в рыцарей поиграть. Вот и бросят красные владыки жизнь оставшимся от побоища немцам. Как кость. Нате, грызите! Пользуйтесь нашей добротой, нашим невиданным, коммунистическим благородством! Вы нас в крематории, в печи, в ямы, в рабство, мы вам возможность трудиться, налаживать демократический строй, плодиться и слушать духовые оркестры.

И что дальше? Он знает. Красные не знают. Он знает, потому что он — немец, они русские. Эти же вот мезингеры, переодевшись в цивильный костюмчик, сменив коричневую рубашку на беленькую, чистенькую, будут поливать цветочки на балконе, торговать пирожными, играть в теннис и пальцем показывать на безногого и безрукого вояку: "Это они! Это они! Мы ни при чем!.."

Гольбах успокаивает себя, успевает даже накоротке уснуть, пустив по округе рычанье, похожее на пулеметную очередь. Но и сквозь сон твердилось в голове: "Надо отрываться!" — именно так говорил один русский, под видом немца затесавшийся в лагерь. Он хорошо знал немецкий язык и российские порядки. Прихватили его с собою для того, чтоб вместе сподручней было явиться к немцам, но вышло так, что он их прихватил, — без него они никуда бы не дошли. Тот русский, замаскировавшийся под немца, скорее всего был шпион, потому что, как только они перешли фронт, он исчез бесследно.

После госпиталя и последнего ранения пошел уже второй месяц. Это много. Судьбу нельзя так долго испытывать, да и Макс поторапливает. Кровью и тайной они соединены.

Колодец в Граце надежней всяких банков, даже швейцарских. Да и не верили Гольбах с Максом в такие сложные штуки, как банк. Они доверяли только наличности. В старом заброшенном колодце засыпанная сохлой тиной банка из-под патронов. Запаянная банка тридцати килограммов весом. Этого хватит начать дело там, в Австрии, в Судетах, в Триесте — где угодно, но только не в родной стране. С них хватит! Они наелись досыта германской отравы.

"Золото?! Откуда?" — русский пленный говорил: "Нашел! Едва ушел!"

В тридцать девятом в Польше, по которой, как по податливой бабе, катаются армии, то русские, то французские, то немецкие, то все вместе, тряхнули они усадьбу одного пана под Краковом. Шкуры кругом, и они с Максом — шкуры, но не такие уж шкуры, как те, что в тылу, понаграбили себе добра, кофии попивают, заткнув салфетки за галстуки, ждут, когда настанет

пора драпать.

Не дадут отпуск, они с Максом пальнут друг в друга: Макс прострелит Гольбаху ногу, он Максу — жопу. Но с такими ранениями, пожалуй что, далеко не уедешь. Залатают — снова в котел. Да и крови мало уже в теле осталось, да и усечь могут! Доки-доктора разоблачают самострелов. "У-у-у, блиять! Не-на-ви-жу!"

Есть еще вариант. У Макса Куземпеля спрятана в сумке старенькая, но точная карта. На ней густо-зеленой краской обозначено: Березанские болота. В сорок первом году сюда загнали множество русских из армии Кирпоноса, так загнали, что до сих пор они оттуда не вылезли, да и никогда уже не вылезут — глубоко лежат. Вот сюда Гольбах с Максом и свернут, тут и отсидятся недельку-другую. Потом на дорогу, с поднятыми руками: "Гитлер капут! Сталин зэр гут! Арбайтен гут! Дойчланд, Дойчланд дас ист капут!"

Русские отчего-то очень любят дураков, жалостливо к ним относятся, сами дураки, что-ли?

Мезингер спит, слюни на отворот мундира пустил, полуоткрытый рот облепили мухи. Это бывает после смертельной встряски. Мгновенный провал.

Булдаков утих, вытянулся, всхлипывающий, переливчатый стон вырвался из его груди. "Воистину испустил дух" — эта мысль стронула и заторопила другие мысли в голове Лемке. Он осторожно поставил к ногам русского ботинки, потер ладонь о ладонь, будто хотел отгореть руки, сделать себя непричастным к убийству. Как и всякий тщедушный, плохо в детстве кормленный человек, он пропитан тайной ненавистью и завистью к людям, от природы сильным, однако к богатырям всегда относился с подобострастным почтением, считая, что они уже не в его умопонимании, сотворены Самим Богом. Лично. Для сказок. И вот на его глазах повержен русский богатырь! К чувству страха и жалости в душе Лемке применилось сомнение: что же будет с человечеством, если замухрышки выбьют таких вот? Останутся хилогрудые, гнилые, злопамятные, да?

По бровке окопа черканула пулями, выбило пыль из бруствера, ссыпало комки, на русского струйками потекла сухая, порохом , гнильем воняющая пыль.

Глаза русского, еще что-то вопрошающие, начали сонно склеиваться, однако Лемке казалось, окраснелыми веками русский снова вот-вот сморгнет пыль, разлепит полусмеженные ресницы, захрипит, выдувая грязную пену изо рта. Лемке встал на колени, чтобы защипнуть русскому солдату глаза, и увидел в бездонной серой мгле глаз мелькающие дымы войны, взрывы зениток. Веки солдата, еще теплые, еще не тугие, и когда Лемке, пожелавший облегчить последние страдания человека, дотронулся до глаз русского, тот дрогнул веками: "Ты хто? Ты хто? У бар... бар... бар". Лемке поспешно сорвал с ячейки ротного командира плащ-палатку, набросил ее на русского и, царапаясь тощим брюхом о сухо ломающуюся полынь, выступающие из худородной глины острые каменные плитки, пополз к своим. Русские не стреляли по нему, может, выдохлись, устали, пили водичку — кушать им нечего. По привычке, давно уже, пожалуй что век назад приобретенной на войне, Лемке утягивал голову, вжимая ее в плечи, прятался, ладясь ползти меж бугорков, неровностей земли, западал отдохнуть в воронках. Братья его, непобедимые воины фатерлянда, ушли, удрапали. Лемке не то чтобы позавидовал тому, что они спаслись, продлили свою жизнь на час или на вечность, он завидовал тому, что они, быть может, не испытывают той пустоты, той душевной боли и прозрения, которые нахлынули на него: все напрасно, все неправильно, все не по Божьему велению идет на земле.

Когда он свалился в ров по обкатанной, полого оплывшей, стоптанной стене рва и угодил

руками во что-то жидкое и понял, что вляпался руками в разложившийся труп, слегка присыпанный взрывами, — какое-то время не двигался, не открывал глаз, все в нем содрогалось от невидимых миру рыданий: "Пресвятая Дева Мария, прости, смилуйся..."

— Ранен что ли? — приподнял пилотку с грязной морды командир взвода Гольбах. Говорить он уже не умел, он рычал, и в рычании том ни сочувствия, ни внимания, — спросил и спросил. Лемке ничего не ответил. Гольбах приподнялся, сел, огляделся, показал кивком головы на откос, где что-то еще росло, не все было вытоптано, выдрано. Лемке потряс руками, сбрасывая липкую слизь с пальцев, как собака с лап. После Подмосковья, после той зимней кампании на правой руке у него остались два пальца и на правой ноге два пальца; следовало бы его давно списать, отправить домой, но кто ж тогда на фронте останется, кто любимого фюрера оборонит? Ловко выудив рогулькой из кармана носовой платок, Лемке принялся вытирать руки, каждый палец по отдельности, ни на кого не глядя, никого ни о чем не спрашивая.

Обер-лейтенант Мезингер, завалившись боком в выемку, выбитую вскользь ударившим снарядом или болванкой, морщился от возбужденной вони, махал и тряс рукой, стирая с лица липких трупных мух, не замечая Лемке, брошенного им в окопе. Свалившись в ров следом за своими вояками, которые, казалось ему, бежали в беспамятстве и панике, не сразу, однако, но по тому, как солдаты быстро успокоились, расслабились, дремали, ожидая обеда, командир роты, догадался Гольбах, чтобы не рисковать собою и остатками подразделения, увел солдат с того места, к которому пристрелялись русские и вот-вот благословят огнем, мощным, плотным, все сметающим. Мотнув головой второму номеру, рявкнув по-медвежьи так, чтоб слышно было и всюду, схватил лапищей пулемет и, поддерживая фильдеперсовые кальсоны, облепившие промежность, выветренный до мамонтовых костей, грузно, но натренированно рванул из пулеметной ячейки, где он уже по колено стоял в горячих гильзах.

— Глоток. Освежиться. Глоток на руки! Не пролей! — Гольбах протянул Лемке флягу. — На реке русские... — И рывком отнял флягу после того, как Лемке отпил и отлил разрешенные ему капли шнапса на руки.

Обидеться бы надо, но на кого?! На Гольбаха? На Ганса? Да не будь его, Ганса этого, они бы все уже гнили в этом или каком другом овраге, и мухи разводили бы на них костер из белых червей. Мезингеру мнится, что Гольбаха все ненавидят так же, как и он, неприязненно к нему относятся. Но начинает и он понимать: тут не до нежностей, тут окопное братство, лучше по-революционному сказать — солидарность, которая крепче в окопах, нужнее всяких нежностей. И Гольбах, и солдаты ненавидят войну, и, страшно подумать, они ненавидят и фюрера. Разных мезингеров Гольбах и его солдаты перевидали и пережили за войну столько, сколько червей сейчас копошится в проткнутой рукой Лемке корке трупа, уже и не поймешь, чьего — русского иль немецкого. И Гольбах, и Куземпель, и все солдаты его роты — эти испытанные герои-окопники жили с теми же чувствами и вопросами, какие подступали, подступали и вплотную придвинулись к Мезингеру — в какое же это дерьмо они вляпались! Ради кого и чего? Колеблющийся, в сомнение впавший воин — это уже не опора для фюрера, не надежда фатерлянда. Они опозорят, всенепременно опозорят славу немецкого оружия, бросят фюрера, бросят своих командиров, чтобы сохранить себя. Стали они, опытные окопники, магами и волшебниками войны, способными угадать, что будет в следующую минуту, в следующий час, день, и отчетливо понимают: надо суметь пережить минуту, день, дожить до следующего дня, там, глядишь, и жизнь проживешь...

Вон они, русские-то, — обрушились на оставленные позиции так, что в воздух поднялись и сами позиции, и все, что в них осталось. Гольбах знал, долго засиживаться там, в заселенном месте, нельзя, увел из-под огня товарищей, увлек в бега и командира роты. Так что ж ему теперь за это благодарить Гольбаха, знающего сотни, если не тысячи уловок, спасающих от опасности,

обладающего чутьем зверя, способного унюхать гибельный миг, гибельное место и улизнуть из-под огня, кого-то подставив при этом. Здесь это не считается предательством, и никто не терзается совестью, совесть — лишний, обременительный груз на войне.

Еще вечером, выдвигаясь на передовые позиции для утренней атаки, Мезингер сделал открытие, которым был потрясен. Скопившись в овраге, солдаты курили, переговаривались, но вот разом смолкли, подобрались. Для перебежки в траншею из оврага первым поднялся Гольбах. Перебежать поверху всего-то нужно метров пятьдесят. Но новички с уважением и страхом глядели на собирающегося первым преодолеть опасность, показать им пример. Они-то смотрели на помощника командира роты Гольбаха, открыв рот, а он-то не смотрел на них, отводил глаза. В осевшей на плечи каске, плоский, квадратный, в тщательно залатанных ботинках, подбитых железными подковами на подборах и пластинками на носках, всаживая отшлифованные эти скобы в глину, Гольбах на карачках выбирался наверх, ни разу не обернувшись. Но в его спине, в напряженной шее, черной от солнца и грязи, на полусогнутых ногах, в звериной, настороженной позе была такая сосредоточенность, что только тут, глядя на Гольбаха, Мезингер уразумел, какая опасность там, наверху, и вообще, какая жуткая штука — война! Дойдет Мезингер умом своим, сам дойдет: пуля пробивает шкуру, и она, шкура, болит и гниет от осколков, душа же отлетает обратно к Богу. Слишком это глубокая штука — душа, поэтому в бою никто о ней не заботится. Заботятся лишь о шкуре — она ближе и дороже. Так вот этот самый унтер Ганс Гольбах прекрасно наловчился беречь свою шкуру. Редкий тип. Редкая боевая биография. Воюет с начала войны в окопах. Был в русском плену. Бежал! Из русского плена бежал! Такого можно за деньги показывать! Почему-то мало кто убегал из русского плена. То ли там хорошо сторожат, то ли хорошо содержат. А если даже и сбежишь — к своим не дойдешь. Любой мальчишка, любая баба выдадут, снесут башку топором, заколют вилами, отравят. "Смерть немецким оккупантам!" — И все тут! Большевистский иуда-писатель во всех листовках, на всю Европу визжит: "Хочешь жить — убей немца!" Ох уж эти иуды! Бьют их, вешают, жгут, травят, посыпают порошком, растирают в пятна, но они отсидятся в какой-то щели, выползут, вялые, тощие, с порошком на заднице — и снова принимаются за свои делишки.

Ганс Гольбах прошел войну вдоль, поперек, наискось, но унтер-офицер — край его карьеры. Офицером ему не стать — был в плену. Вернулся! Герой! Но все же какой пример? Крестов Гольбаху не жалеют, медалей и орденов тоже. У него даже есть орден какой-то королевы, шведской, что ли? Награды Гольбаха носит в ранце Макс Куземпель. Гольбах — налегке. У него нет никакого имущества. Макс Куземпель трясет мешочком, бренчит наградами друга, словно рыбацкими блеснами, посмеивается.

Старший унтер-офицер Гольбах — бесстрашный громила, вылез из оврага, подавая пример храбрости своим солдатам, рванул через перемычку оврагов, птичкой слетел в траншею. Следом за ним Макс Куземпель — куда иголка, туда и нитка. Гольбах перед тем, как упорхнуть, подмигнул дружку своему, будто жулик жулику, идущему на дело. Следом храбро ринулся командир роты, кто-то из старичков бесцеремонно поймал его за сапог, стащил обратно и раздельно произнес:

— Сей-час не вы... — И в том, как говорил солдат, как смотрел на Мезингера, таился скрытый смысл. Идущего следом за Максом Куземпелем новичка убил русский снайпер. Спустя время в траншею перебежал, обрушился пожилой, вроде бы неуклюжий солдат, резервиста же новичка русский снайпер опять снял. "Что за чертовщина?!" — ломал голову Мезингер, попавши в траншею и слыша, как его помощник по телефону непочтительно огрызался: "Быстрее нельзя, господин майор?!" Мезингер морщился, но трубку телефона не брал. Гольбах тут царствовал, распоряжался на боевых позициях не только за командира роты, но и за командира батальона, держа на отлете трубку телефона, он закрывал глаза, протирал потную шею и башку грязной

тряпкой, шипел, изрыгал ругательства.

Над траншеей прошли два советских истребителя. Не переставая вытирать шею и башку и выслушивая наставления майора, Гольбах проводил их скучным взглядом. Война шла своим чередом, по своим подлым законам. — Гольбах точно знал, что господин майор не придет на передовую, не побежит от оврага в окоп под прицелом снайпера. Он будет сражаться в уютном месте, в селе Великие Криницы, под накатом крепко сработанного блиндажа. И командир батальона, и ротный знали: во всем этом военном бардаке мог еще разбираться, что-то делать, чем-то и как-то управлять Ганс Гольбах, портовый грузчик. Раз он пошел первым из оврага в окоп, значит, так надо. В другом месте не пойдет. В другом месте нужно будет действовать по-другому, только вот надлежит угадать — как действовать.

Снайпер, будь он хоть расснайпер, — все равно человек, все равно он все время до предела сосредоточенным быть не может. И не в одну точку он смотрит. У него зона, сектор — и вот в этом секторе что-то мелькнуло. Может, заяц промчался, может, человек, может, и померещилось что-нибудь. На всякий случай надо за этим местом понаблюдать. Наблюдал, наблюдал — никого. Значит, померещилось. Распустился снайпер, пружину в себе ослабил, онемелый палец со спусковой скобы снял. И в это время снова на противоположной стороне что-то промелькнуло. "А-а, дак вы хитрите! — сказал сам себе русский снайпер. — Теперь-то не обманете!" И уж весь он — внимание. И вот тебе, пожалуйста! — чешет на всех парах по земле фриц, бренчит котелком. Хлоп его — и ваших нет, как говорят картежники.

Все стихло. Никто не шевелится. "Значит, фриц этот здесь ходил один, надо другое место посмотреть", — совершенно разумно решает русский снайпер. И только он перенесет внимание, переключится в другую зону, глядь, двое-трое опять проскочили, и заметьте — старички все первые, первые!.. Пример показывают. Гольбах на старых вояк надеется. Они много умеют... "Но так же поступают и русские, и англичане, и американцы, и французы, и эти трусливые мамалыжники румыны, и вороватые итальянцы, и неповоротливые умом мадьяры — все-все предают друг друга".

Предательство начинается в высоких, важных кабинетах вождей, президентов — они предают миллионы людей, посылая их на смерть, и заканчивается здесь, на обрыве оврага, где фронтовики подставляют друг друга. Давно уже нет того поединка, когда глава государства брал копье, щит и впереди своего народа шел в бой, конечно же, за свободу, за независимость, за правое дело. Вместо честного поединка творится коварная надуваловка. Вот он, офицер из благородных, из древнего германского рода, сегодня стрелял в спину человека, стрелял и боялся, что четырьмя пулями, оставшимися в обойме, не свалит его. Расстреляй он всю обойму в сторону вражеских окопов наугад, его мальчишество, игра в войну, в бесстрашие стоили бы ему жизни — русский задавил бы его вместе с этим рахитным Лемке и попер бы на пулемет Гольбаха, низринулся бы сверху медведем — можно себе представить, что за свалка тогда получилась бы в пулеметной ячейке. У русского, когда он упал, из кармана выкатилась граната — могло никакой схватки и не быть, русский в пулеметную ячейку, как в колодец, булькнул бы гранату — и для Гольбаха и холопа его — Макса Куземпеля уже полчаса назад закончилась бы война.

"Интересно, осознают ли эти двое героев, командир роты и связной его, которых я увел из-под огня, что обязаны мне жизнью?" — мельком подумал Гольбах. Но тут, на фронте, все повязаны одной судьбой, и все живые обязаны друг другу, не благодарят за услугу. Поезд грохочет вперед, не сбавляя скорости, остановка у многих пассажиров одна, коротко и выразительно называется она — кранк.

Гольбах валяется на закаменелой глине, рожу пилоткой накрыл, рожа с прикипелой грязью в

щетине, но под заросшим подбородком бледное пятно, поднял пилотку, одним глазом скосил на своих вояк и снова сделал вид, будто уснул. Макс Куземпель тоже морду под пилоткой скрыл — у этого кадык, как собачье вылизанное яйцо, — ничего на тощей шее не растет, лишь жилы толсто и грязно сплелись. Затрещал телефон, брошенный в ров. Гольбах, не глядя, протянул руку, приложил трубку к уху, послушал.

— Курт, Иохим — за обедом. Лемке, пойдешь за жратвой обер-лейтенанта, не забудь умыться — вонь невыносимая. Макс, распорядись там, как положено, и отдай вот это господину майору — на память! — пересыпал он из горсти в горсть Макса половинки пяти жетонов. — И снова пилотку на харю, снова лежит ото всего отрешенный. — Вы что-то хотели сказать, господин обер-лейтенант? — спросил он, не снимая пилотки с лица.

Да, это, пожалуй, хорошо, что Гольбах никакой почтительности не изображает. Он и с майором-то через губу разговаривает. В глуби его глаз беспросветная темь — такое уж волчье одиночество во всем его облике, что вот-вот завоет и ты ему подвоешь. Солдаты собирают термосы, котелки. Гольбах подгреб ранец Макса Куземпеля под голову, устроился основательно: ноги его упирались в разбитый ящик из-под мин, углом всосавшийся в осеннюю, не желтую, а беловато-синюю с черными прожилками глину, холодом и цветом напоминающую намогильный мрамор и блевотину одновременно. И лежит-то умелый боец головой в сторону русских, в прокопанном из рва узком лазе. Русская артиллерия хлещет — старый вояка даже в мелочах ошибок не делает: чем ближе к противнику лежишь, тем больше шансов встать невредимым.

— Вы хотели сказать, что мы нечестно получаем пищу и выпивку? — вжимаясь все глубже в рытвину, пробурчал Гольбах. — Да, солдаты получат сполна, по утреннему списочному составу жратву и выпивку.

Ничего он не хотел сказать! От роты осталась половина, что тут говорить? И пусть солдаты напьются. Здесь вот, в навьюченном, трупами и барахлом заваленном рву, где он сначала не мог есть, выворачивало его, свалятся, и выдвори их потом под меткий огонь. Никому они здесь не подчиняются, кроме своего Гольбаха, и они, вот эти разгильдяи, выживут, не все, но выживут.

— Я же не возражаю,вяло и нехотя отозвался обер-лейтенант Мезингер. Гольбах фыркнул, сгоняя муху с грязных губ и одновременно как бы говоря: "Еще бы ты возражал!.."

Над головой пронеслись снаряды. За рвом рассыпались, заухали разрывы, прибавилось шуму и треску — русские заметили оживление на позициях противника и, зная, что у немцев начинается обед, от злости хлещут из всего, что есть под руками. Не во все окопы, не ко всем солдатам донесут сегодня обед.

Булдаков был жив и медленно, заторможенно начинал ощущать себя. Будучи сам большим брехуном, он считал веселой брехней доводы артиллеристов о том. что после большого артиллерийского огня непременно в том районе, где бабахали орудия, будет дождь. Если бы у Булдакова и его сотоварищей было время и возможность сосредоточиться и заметить явления не только их жизни на плацдарме, но и окружающей природы, они б обнаружили, что почти каждую ночь над плацдармом и близким забережьем происходит дождь, то шалый и краткий, то осенне-затяжной, водяной пылью облегающий здешнюю местность, войну и людей утишающий.

Прошедший день плацдарма был каким-то особенно раздерганным, психозным. Немцы и русские то там, то тут бросались друг на дружку, и не в атаку, не в бой, ровно бы в осатанелую

собачью драку. Много было шуму, дыму, неожиданных схваток, непредвиденных смертей, неоправданных потерь. И весь день свирепствовала артиллерия с обеих сторон, одно звено немецких бомбардировщиков сменяло другое — это все, что осталось от еще недавно осыпавших небо над плацдармом черных, лапистых птиц. На горячие самолеты садились экипажи, уцелевшие со сбитых машин. Почти на ходу заправленные самолеты непрерывной цепью взмывали в воздух, торопились к реке, хотя и сметал их с неба зенитный огонь, пагубно действовала истребительная авиация.

Отчаяние, может уже безумие, охватывало воюющих на Великокринипком плацдарме, уже силы противоборствующих сторон на исходе, и только упрямство, дошедшее до массовой истерии, удерживало русских на растерзанном берегу реки и бросало, бросало в тупое, непреклонное движение немцев, инстинктивно чувствующих, что, ежели они не удержатся за великою рекою, не остановят здесь лавину русских, им уже нигде не удержаться.

Тем временем с приречного аэродрома улетели по новому назначению тяжелые бомбардировщики Ю-88, эскадрилья "хейнкелей" и "фокке-вульфов" — все до единого подметены. Чиненые, латаные-перелатаные "лапотники", оставшиеся, по существу, без прикрытия, бросались в небо, в эту гибельную преисподнюю, горели, падали, в слепой осатанелости врезались в высокий берег реки, но крушили этот берег и все, что было на нем, стирали в порошок еще смеющих жить и сопротивляться русских фанатиков.

Прошел и этот день. Берег и плацдарм обессиленно умолкли. Лишь одинокие крики раненых людей, умирающих в заглушье оврагов, оглашали ночь. И в этой оцепенелой ночи по припадочно горячим, пыльным зевам оврагов, по изнеможенно дышащему ломтику земли, точно по ржавому железу, звонко ударила капля-другая, и вдруг обвально, хорошо в народе говорят, как из ведра, хлынуло с небес, пролило и оживило непродышливую темноту, размыло оцепенелую темноту, размягчило судорогой схваченную, испеченную землю.

И дождь-то лил минут десять-пятнадцать, но какую благостную работу он сделал! Перестали кричать раненые, умолкли дежурные пулеметы, даже ракеты сигнальщиков с боевых постов взлетали редко, нехотя, да и неуместно. Ночь подложила теплую солдатскую ладонь под мягкую щеку и затихла в глубоком сне, не слыша войны и вроде бы не ведая тревог.

Дождь пролился и над Булдаковым, лежащим на дне добросовестно немцами выкопанной глубокой траншеи под плащ-палаткой, скомканно брошенной на него немцем. Когда русская артиллерия обрушила огонь на окопы противника, раненого Булдакова забросало землей и почти уже похоронило в комках и едкой пыли. Но обвальный дождь смыл с плащ-палатки пыль, накопился в складках брезента и по одной из них, точно по желобу, влага потекла на лицо и в рот раненого. Он хватал влагу распахнутым ртом, пытаясь загасить пламя, бушующее в груди, но разве каплями этими небесными загасишь большой такой огонь? Бывало, как забросят с берега на пароход "Мария Ульянова" дров кубиков четыреста-пятьсот, сначала пугая пассажиров бойким: "Па-а-абереги-и-ы-ы-ысь!" — и к концу погрузки усталым окриком: "Не видишь, что ли?!" — на ходу снимая робу с просоленного потом, крошкой коры и пылью опилок забитого тела, аа-а-ах ты, переа-а-ахты! Поостыв, покурив, словом-другим перекинувшись с друзьями-матросами, оставляя мокрые следы в коридоре, с закинутым на плечо полотенцем — в душ, под струйки теплые, щекочущие, мыльцем на вехте в пену взбитом, пройтись по всем закоулкам. Какое торжество, какой воскрешающий праздник телу! Затем, нежась, поваляться на скользкой скамейке, как бы балуясь, забыться в краткой дреме и с осевшей в кости усталостью волокчись в свою чистенькую служебную каюту, в чистую постель, даже не пугая растопыренной ладонью, нечаянно гребущейся в затень юбки, девок, заблудившихся в недрах судна и совсем случайно угодивших на служебную половину парохода — не было сил на эту забаву.

Еда, девки, танцы на палубе, нехитрые забавы — все потом. А пока сон под шум машины, под бухающие по воде возле уха плицы, под свежий ветерок с Енисея, залетающий в открытую дыру иллюминатора, под певучий гудок "Марии", разносящийся по крутым берегам Енисея, улетающий за хребты и горы аж в самое небо, к ангелам.

Он со стоном перевернулся со спины на живот, все в нем захрустело, захлюпало. Внутри разъединенно, хватками работало, точнее, пыталось работать сердце, толкалось в грудь. И так вот, то впадая в забытье и недвижимость, то чуть ощущая себя, ничего вокруг не видя и не понимая, он полз, зачем-то волоча за собой горстью схваченную плащ-палатку. Врожденным чувством или наитием природы он угадывал, что ползет, движется по сухому стоку оврага вниз, а все стоки здесь ведут к реке. На реке же его ждет дед Финифатьев, он обещал ему помочь...

Дед уже приходил на зов Булдакова, ругался в траншее, кричал, что Бог не дал ему роженого брата, так вот он его на войне сам нашел, ботинки подобрал — и объяснилось ему все: из-за них, из-за клятых ботинок Олеха в передрягу попал, хватанул теми ботинками дед во врагов, затем гранату, вывалившуюся из булдаковского кармана, туда же метнул — хрястнул взрыв, и заорал Щусь: "Чего ты, старый хрен, тут делаешь? Чего тебе на месте не сидится? Ты же раненый, вот и жди переправу..." — "А Олеха как?" — спрашивал капитана Финифатьев. "Как, как? — затруднился капитан. — Он к Богу отправился, Богу хорошие люди, тем более отчаянные бойцы, во как нужны!". "Ему ангелы нужны, а не бойцы. Олеха же не уродился ангелом, он — бес, правда, бес очень душевной, его агромадного сердца на всех хватит, последнюю рубаху с себя отдаст..." Щуся куда-то унесло. Немцы по траншее зашебутились. Финифатьев винтовку Булдакова схватил. "Я, Олеха, хоть и бздиловат, как ты говоришь, но к тебе врага не допущу и сам, ешли шчо, пулю в лоб — мне в плен нельзя, я ж партейнай..."

Унесло куда-то и Финифатьева. Он его звал, звал, вроде вот где-то рядом друг сердечный, но сыпучий, круглый его говорок едва слышен. "А-а-а, — догадывается Булдаков, — он же в норке, дед-то, в земле, из земли и слышно глухо. Де-э-э-эд! Де-э-э-ээд!" — склеившимися от крови губами звал Булдаков. Финифатьев все отбегал, отбегал, куда-то звал, манил друга своего, брата нероженого... "А-а, — догадывается Булдаков,он же раненый, ему меня не утащить, он от природы запердыш, а тут эвон какое туловище выдурело!.. Вот и зовет он, вот и манит, — хи-ытрый дед, ох, хитрый!.."

Булдаков выбился к реке, уперся в воду руками, пощупал недоверчиво и уронил в нее лицо, и, если бы мог видеть, обнаружил бы, как красно клубится вокруг его головы вода, вымывая с губ, изо рта, из ноздрей, из ушей кровь, с бурой коростой сросшихся волос, которые так же, как и ногти, росли на плацдарме не по дням, а по часам — питанье им шло обильно: земля, пыль, пот. Горячая плита, по которой полз раненый, слепо натыкаясь на комки глины, скосы, вымоины, камни, горячая плита под ним постепенно остывала. Он перестал звать деда, лакал воду распухшим языком и все бодался и бодался с рекою, катая в ней свою голову, будто грязную брюкву с грязной ботвой. Когда он приподнялся, из хрустнувшего его тела, из нутра его дрожащего потекла по губам горячая, соленая кровь, он понял по вкусу, что это кровь, и попытался перевязать себя, чтобы остановить кровь, он даже скусил и разъединил шов на индпакете, обмотнул себя по гимнастерке бинтами, телогрейка где-то в траншее или дальше свалилась, или ее с него кто-то из живых и боеспособных успел снять. Он и второй пакет из нагрудного кармана достал, вытянул зубами из него бинты и зубами же да одной рукой начал обматывать себя, но до раны не доставал и мотал, мотал бинты на шею, смутно надеясь на то, что, когда сил прибудет, он спустит бинты на грудь и на спину, спустит и затянет...

Когда он в очередной раз очнулся и увидел, что светает, попробовал уяснить, где он, куда ползет? Местность он не узнал, но увидел, что перед ним речка и в устье ее, примаскированная

желтой осокой, стоит лодка. Но ни мыска, ни знакомого издырявленного яра в устье речки не было. "Де-эд! Де-эд! — просипел яркими от легочной крови губами Булдаков. — Где ты, де-эд?"

Дед не отзывался, его нигде уже не было.

Плесневелое, непроницаемое, опьянелое от сытости, еле ползущее облако вшей накрыло людей на клочке земли, называемом Великокриницким плацдармом. Высоту Сто, заваленную трупами, снова пришлось оставить. Отход прикрывала вторая рота и полностью погибла. Тяжело был ранен в этом бою надежда и опора комбата — киназ Талгат, и его, раненого, никак не удавалось переправить на левую сторону реки.

Немцы после недельной осады плацдарма особо не гоношились, не атаковали, но били по всему, что пробовало плыть, ходить, кричать, дымиться. Враг решил взять врага измором, зная, что русские из последних сил держатся за клочок истолченного взрывами, прахом пылящего берега. Русские даже не играли в активную оборону, изображая беспрерывное старание улучшить позиции, сковать и закрепить возле себя побольше фашистских сил. Они выдохлись, обессилели, обескровились. Смысла существования их на этом клочке земли никакого не оставалось, но по рациям, по все еще работающей линии связи артиллерийского полка с левого берега твердили: "Потерпите! Еще чуть-чуть!"

Утрами парили берега. По воде несло, в воздухе кружило желтый лист, высоко в небе тянули стаи птиц, роняя печальный клик на землю, охваченную войной. Над самой водой, то рассыпаясь, то вытягиваясь в живую, легко и прихотливо дышащую нить, неслись утки, взмывая над плывущими трупами. Тут же снижались, жались чутким пером и лапами плотно к воде. Лешка Шестаков шел к берегу и все задирал голову, слушая птиц, верил совершенно твердо — летят они с низовьев Оби. Он направлялся к реке, чтобы набрать глушеной рыбы, предположить он даже не мог, что привычка, обретенная еще в детстве, есть сырую, несоленую рыбу — "сагудай" называется это по-эвенкийски, так пригодится ему. Опухшие, тихие от голода бойцы, глядя на него, тоже пытались "сагудать", но их рвало. Сварить же рыбу фашисты не давали, били по каждому огоньку, засыпали минами каждый дымок, даже по вспышке цигарки стреляли снайперы.

Но огоньков от цигарок давно уже не мелькало — на плацдарме табак давно кончился. Только Шорохов, сидевший подле двух телефонов в одном с Лешкой ровике, еще добывал где-то курево, еду, был брит, сыт и беспечен. Бриться он умел стеклом, косарем своим, предлагал цирульные услуги за плату бойцам и товарищам командирам, но тем было уже не до бритья. Даже всегда подобранный Понайотов, на котором, кажется, пылинки нельзя было увидеть, зарос черной, янычарской бородой, глаза его свирепо светились в буйных зарослях. Полковник Бескапустин сосал форсистый наборный мундштук, изгрыз его до половины. С ним, мающимся сердцем, были уже два тяжелых приступа, о которых он не велел никому говорить, особенно бойцам, закопавшимся в землю по берегу и оврагам.

Про вшей на плацдарме говорили: "Из тела идут" — и верили, что есть в человеке где-то мешочек с этой тварью, пока человек в теле, пока он силен и соков в нем вдосталь — они сосут нутряную жилу, но как ослабеет человек и "нутряная жила" иссохнет, вша выходит на тело.

Командир батальона Щусь, тоже подзапущенного вида, молчаливый и злой, замотав вигоневым желтым шарфиком шею, называл его ловушкой, через час-другой разматывал шарфик, высвобождал концы его из-под воротника гимнастерки, — шарф серый, брось на землю — поползет. Вытряхнув шарфик, лип к телефону, требовал, чтоб взяли из блиндажа, переправили во что бы то ни стало командира второй роты, обозвал кого-то в штабе "шкурой".

Полковник Бескапустин приказал не подпускать комбата Щуся к телефону. Вот в это время и случилось малозаметное событие — с передовой исчез Петька Мусиков. Предположили: ушел к немцам. По утрам, еще в сумерках, со стороны немцев работала агитационная установка, переманивала русских солдат в плен, обещая всяческие блага и прежде всего еду. И хотя лупили по агитаторам из всяких видов оружия, ловили, стреляли изменников родины беспощадно, переходы к немцам участились. Надеялись: Петька Мусиков, нажравшись от пуза в гостях у фрицев, вернется к дерябинскому пулемету. Но Петька исчез, и угрозы пермяка Дерябина — напинать шалопая, когда он возвратится "домой", оставались неосуществленными. Лешка Шестаков знал, что его однополчанин лежит подстреленный в земляной норке. Выбросил умершего или беспамятного раненого бойца, влез туда и, как всегда, сам, один борется за свое существование. Лешку однажды окликнул, попросил принести в котелке воды. Напившись, спросил: как часто приплывают за ранеными? И когда Лешка недоуменно произнес в ответ: "Че-о?" — в Петьке заныло и сжалось сердце. Уж не допустил ли он оплошность, выставив из пулеметной ячейки ногу под пули, когда Дерябин спал. И не одна, две пули просадили Петьке ногу. Не разбудив своего начальника, никого не потревожив, опираясь на карабин, будто на костыль, Петька Мусиков убыл из боевых рядов в ближние тылы, чтобы уплыть с проклятого, смертельного берега и покантоваться месяцок, если получится, так и полтора, изловчиться, так и полгода, в госпиталях и всякого рода военных шарашках, а там, глядишь, и войне конец. Просчитался Петька, оплошал чуткий зверек, завалило, задавило его землею.

Осторожно выбравшись на берег, Лешка огляделся, прислушался.

Шел обычный обстрел. Шум и гул были так привычны, так соединились со слухом, что требовалось что-то включить в себе, чтобы заставить себя услышать их. Он приложил ребро ладони ко лбу и долго глядел на другую сторону реки, подрагивающую в дымном мареве, дрожащем над водой. Даль просматривалась глубоко, воздух был по-осеннему прозрачен, небо просторно — и не верилось, что днями пробрасывало снег, ночи студеные, вода в реке остыла, высветилась до самого дна, рыба начала уходить с отмелей, сбиваться в глубинах — на зимнюю стоянку. Под берегом и даже над рекой, несмотря на холод, сгустился, облаком плавал тяжкий запах разлагающихся утопленников. Но пора обложных осенних дождей еще не наступила, не пришла еще мокрая, серая осень. Вода в реке убывала и оттого обсыхали трупы. Только теперь видно стало, как много погибло народу при форсировании реки и при последующих переправах. Берег, заостровка, отмели, стрелка и охвостье острова, все заливчики, излучины были завалены черными раздутыми трупами, по реке тащило серое, замытое тиной лоскутье, в котором, уже безразличные ко всему, вниз лицом, куда-то плыли мертвецы. Вокруг них пузырилась пена. Так, в мыльно-пузырящейся пене и уносило трупы вниз по реке, таскало по стрежи, трепало в омутах, прибивало к берегу.

Мухота, воронье, крысы справляли на берегу свой жуткий пир. Вороны выклевывали у утопленников глаза, обожрались человечиной и, удобно усевшись, дремали на плавающих мертвецах — так любят они плавать на бревнах.

По берегу тенями бродили саперы, загнутыми крючьями из шомполов стаскивали трупы к воде, надеясь, что хоть некоторые из них унесет водой, живущие по реке миряне выловят и захоронят горемык. В яру саперы выдолбили яму, прикрыли ее бортами разобранного баркаса, выложив подле той землянки горку подсумков с патронами, полупустые автоматные диски, лопатки, кое-что из одежонки — все это снято с мертвецов, взято из карманов и меняется хоть на какую-то еду, на табак, но товар оставался невостребованным.

Лешка спустился к самой воде. На босом утопленнике, лежавшем вниз лицом, поджав лапку, стоял кулик и дремотно качал долгим носом. Услышав шаги, он встрепенулся, разбежался и

пошел низко над водой, беззаботно, по-весеннему запиликав. Его нехитрое, с пеленок привычное пение, этот удалявшийся трепетный полет потрясли Лешку.

"Умру я, видать, скоро",подумалось ему безо всякого страха, как о чем-то неизбежном и даже необходимом. Он знал, отлично знал: безразличие к себе, к смерти, ко всему, что происходит вокруг, — это медленно входящее в душу: "Хоть бы уж скорей убило..." — начиналось у него где-то на десятый день непрерывного пребывания в боях. На плацдарме хватило и недели, пятнадцать-двадцать минут в сутки сна-обморока, избавляющего человека от потери рассудка, но не снимающего усталости, — и вот человек готов в покойники. Добровольно, сам, махнувши на свою жизнь рукой, плохо чувствуя себя в миру, готов он расстаться с душой и телом. Тыловики работали тяжелее, надсаживались, надрывались до смерти, но все же они не знали того изнуряющего, непрерывного напряжения, которое приводило человека к тупому равнодушию, когда смерть кажется избавлением от непосильных тягот окопной жизни, если можно назвать это жизнью.

Лешка смотрел на труп, с которого только что снялся куличок. Замытые песком белесые волосы, сосулькой опускавшиеся в глубокую ложбинку на шее, уже отставали от кожи. Он напрягся и уже безо всякого чувства покаяния и боли вспомнил утопшего связиста и направился туда, где бабочками-капустницами трепетали серенькие чайки-корольки, безошибочно угадывая — там рыба. Набил мешочек из-под дисков густерой, плотвичками; две уклейки, оскоблив с них чешую грязными ногтями, тут же равнодушно изжевал, остальных рыбешек, завернув в тряпицу, спрятал в холодном ровике. В прежние дни он чистил рыбу, убирал из нее кишки, ныне порешил и этого не делать — все равно понос мучает. От воды, от запущенности ли, заметил он, шибко отросли ногти и совсем уж ни к чему задичали волосья на голове. Хоть и принадлежит он, солдат, кому-то и кто-то распоряжается его жизнью, но тело-то его с ним, оно ушибается, чешется, страдает. Душу выпростали, подчинили, оглушили, осквернили, так и тело избавили бы от забот и хлопот о нем. А то вот оно родственно болит, жратвы и бани требует...

Шорохов возился в ровике, чего-то толок камнями, попадая по пальцам, ругался.

— Ты куда отлучился? — как будто с того света, затушеванным расстоянием голосом спросил Сема Прахов, дежуривший у телефона на левом берегу.

— На промысел я ходил, Сема... на рыбный.

— А-а,начал успокаиваться Сема.Надо все же предупреждать, а то вдруг че...

"Ах, Сема, Сема! Какое тут у нас может быть "вдруг" или "че". Вот еще денек-другой — и связь утихнет. Все утихнет..." — Сема, вы чего ели сегодня утром? Картошку с американской тушенкой, хлеб и чай с сахаром? Хорошо-о-о! Сема, к вам куличок прилетел. Этакий куличок-холостячок! Помажь ты ему маслицем хвост и отправь его сюда, а?

Сема Прахов поперхнулся:

— Я думал, у вас совсем плохо... Покойники вон плывут и плывут. А ты шутишь, значит, ничего еще... Конечно, и на рыбе жить можно...

Как далеко был Сема Прахов! Совсем в другой жизни, на другом берегу он обретался.

— Не дай Бог ни тебе, ни детям твоим жить на такой рыбе. Не дай Бог... — Лешка, не завершив беседы, подхватился, побежал в овраг. Когда вернулся, дрожащий от озноба, с ноющей болью в животе, Шорохов протянул ему недокурок.

— На, зобни, хоть и некурящий, но прочисти башку, а то, я гляжу, ты, как покойник Финифатьев, заговариваться начал. Деду Финифатьеву ныне хорошо, отмучился...

Лешка потянул и закашлялся — в цигарке было что-то горькое, табаком едва отдающее.

— Че это? — переждав головокружение, проговорил Лешка.

— Трубка. Бати Бескапустина. Уснул он, трубка выпала. Я ее растолок, с травой смешал...

"Ведь вся жизнь у полковника в трубке!" — Лешка хотел обругать Шорохова, но сил на ругань не было, ни шевелиться, ни говорить не хотелось.

Как только ободняло, налетели "лапотники", густо клали "яйца", то есть сорили бомбами. Взрывами подбрасывало, разрывало трупы на берегу и на отмелях, мучило и мертвых бедолаг войною. "Лапотники" улетели, ударили минометы. Артиллерия с левого берега ответила. Дым. Пыль. Прах. Все смешалось и поднялось над плацдармом, заслонило солнце, которое так славно пригревало. Закрыть бы глаза, уснуть и во сне увидеть Шурышкары, мать, сестренок, скорее время до ночи пройдет. Ночью лучше. Господь, говорил мудрый Коля Рындин, сотворив свет, оставил кусочек тьмы, чтобы укрыть ею людские грехи, но грехов тяжких так много, что хоть вовсе не светай, не укрыться человеку от поганства и зверства никакой тьмой, не отмолить никакой молитвой... "Ах, Коля, Коля! Где ты сейчас?.. Живой ли?"

Ночь на плацдарме встречали с желанием, утро — век бы оно не наступало... Лешка покорно смотрел на небо и дремал с открытыми глазами, пытался чего-то вспомнить, выловить из глубины памяти. Если бы только не нудило в животе...

— Кореш! Кореш! — потряс его за рукав Шорохов. — Я на часок смоюсь. Жди меня, понял? — в голосе Шорохова возбуждение — к немцам на промысел подался деляга, все же боится малость, нервничает. А чего бояться-то? Ну, убьют — и убьют. Лешка привычно надел на второе ухо трубку пехотного телефона. Завернулся в шинель, съежился. Шинель принесло водою, он ее высушил на солнце, выхлопал о камни, но сукно так напиталось духом мертвечины, что не вытрясешь его, не вымоешь. Пахнет грешный человек пуще всякой скотины, потому что жрет всякую всячину. Хуже это всякой липучей болезни. О чем бы ты ни старался думать, как бы ни увиливал, мысль обязательно повернется к еде. Ломкая полынь похрустела под усохшим задом Лешки, умялась, перестала колоться, и он перестал шевелиться. Слышнее сделалось вшей в паху, под мышками, особенно под поясом — жжет, чешется тело, шею будто ожогом опетляло. Когда он увидел убитого Васконяна, подумал: что за бурая петля у того на шее? Теперь сам ею обзавелся. Пусть едят. Немцев тоже едят. У них вши задумчивые, вальяжные. Наши — юркие, с круглой черненькой жопкой, неустанную труженицу напоминают, поднялись вот ни свет ни заря, работают, жрут...

По телефону шел индуктивный писк, ныло в нем, словно в придорожных телеграфных столбах. На другом, на живом берегу, телефонисты тревожили постоянную жгучую тему — трепались про баб — голодной куме все хлеб на уме. Телефонист с девятки без негодования, но с завистью рассказывал, как командир дивизиона, сей ночью залучив в блиндаж сестреницу медицинскую, угощал ее и занимался с нею на соломе под шинелью энтим делом, не глядя на то, что телефонист тут дежурит, — за человека не считает иль уж так оголодал, что не до человека ему. Как и всякий здоровый парень, готовый уже быть мужиком, любивший уже Томку, в другое время слушал бы Лешка охотно солдатский вольный разговор, но ныне не манило даже и слушать завлекательный треп. Достать из тряпицы плотвичку да погрызть? Однако при одной мысли о сырой рыбе в животе протестующе забурлило, под ложечку подкатила тошнота. Дежурство привычное, связист заставлял себя думать о чем-нибудь

приятном, ну хотя бы про ту же Томку, но ярко воскресала не она сама, а ее изобильное угощение. И эта попытка отвлечься не удалась, не продраться памятью к Томке, воспоминанье о которой всегда высветляло в нем добрые чувства. Шурочка вот забылась, сразу и навсегда. Оттого забылась, что не было с нею, как с Томкой.

— Кореш! Кореш!

— А? Что такое? — Лешка схватился за шейку автомата, лежавшего на коленях.

— Тихо! Тихо! — остановил его благодушный голос Шорохова. — Постой, постой, товарищ, винтовку опусти! Ты не врага встречаешь, а друга встретил ты! Такой же я рабочий, как твой отец и брат... кто нас поссорить хочет, для тех... — Шорохов щелкнул его по лбу: — Понял? Для тех оставь заряд! Помню! — удивился сам себе Шорохов, шарясь в брезентовом мешке. — Когда учил-то стишок? Еще на Мезени. Во, память, бля! Где пообедаю, туда и ужинать спешу! Ха-а-ха-ха-а!.. На, рубай! — и уже заполненным ртом пробубнил: — Пользуйся!

В руке — кусочек хлеба! Лешка не верил сам себе. Еще не успел пережить потрясение, но зубы уже кусали, хватали хлеб. Давясь, задыхаясь, Лешка глотал его, забивая рот до отказа. В дыхательное горло попала крошка, связист поперхнулся.

— Да ты не торопись! — лупил его по спине изо всей силы Шорохов.

Лешка кашлял в горсть, чтобы не разбрызгивались крошки.

— Не хватай по-песьи! Тут вроде масло! С маслом лехко покатится.

Лешка мигом проглотил хлеб, заглядывая на напарника, униженно ждал, руки готов был протянуть за подаянием, не интересуясь: откуда, где добыл такие богатства Шорохов? Как ему харч достался? Сунув в ладони Лешки галету, пальцем мазнув на нее масла из пайковой пластмассовой баночки, Шорохов простонал:

— Ах, Булдакова нет? Загнулся кореш, видать, загнулся. Мы б с им... А-ах, падла! Табаку нету! Все не предусмотришь. Надо было пришить арийца. Спит в землянке, едало расшаперил...

— Ты в землянке побывал?! — ахнул Шестаков нарочито громко.

— Побывал, побывал. В окопах не пошаришься. День. А он спит. Истомился. На посту, небось, был ночью, так и поковырялся бы у него в зубах косарем. Ну хоть еще раз ползи. Хорошо, догадался на хапок шнапсу выпить, унес в курсаке — не выплещется. Э-эх, на верхосытку махры бы иль листовухи!..

Лешка, сжевавший галету, слизал с пальца остатки масла.

— Н-ну, ты и ловкий! — восхитился он. — Н-ну, ты, ты... — получалось заискивающе.

— Эт че-о! — небрежно швырнув Лешке в колени, будто собачонке в лапы, початую пачку галет, самодовольно хмыкнул Шорохов. — Тройная проволочка, овчарка — человекодавы, охраншыки, нашенски, архангело-вологодские, на три метра в землю зрящие... за невыход на работу кандей без отопления... за пайку — смерть, за невыполнение нормы, за сопротивление, за разговоры в строю, за нарушение режима — смерть... смерть... смерть. Тут, кореш, можно и нужно жить. Но я существовать без табаку и выпивки не могу... Тем паче — все это рядом, выдается задарма...Шорохов явно намечал пойти в поиски вторично. Передохнет маленько и... "Надо же дорезать чужестранца-то, нехорошо оставлять подранка — угодье засоряется"... —

Будто на вечерку сходил человек, девку потискал да по пути в чужой огород забрался, огурцов нарвал…

Шорохов на крайнем нервном взводе, но напряжение все же схлынуло, сытость и чувство исполненного долга расслабили его, и он замертво уснул в твердой уверенности: коли потребуется, сменщик, им облагодетельствованный, можно сказать, от голодной смерти спасенный, сутки отдежурит. Может, Шорохов и не думал так, но Лешке-то мнилось всякое, дрема тоже долила его, и, чтобы не уснуть, он часто делал поверки.

Немцы палили густо и злобно по переднему краю. Шестаков уже несколько раз выходил на линию — перебивало то свою, одинцовскую, связь, чаще других конец, поданный в штаб полка, обрывало и накоротко включившуюся связь к Щусю. Шорохов безмятежно спал, отвернувшись лицом к неровно стесанной лопатами стене ровика, никакой войны не чуял, никаких снов не видел.

Связь с Щусем исхудилась, приходилось выбрасывать пришедшие в негодность куски провода. Воспользоваться привычной и невинной находчивостью, стало быть, отхватить кусок провода из соседней линии иль даже смотать на катушку провод у рот открывшего соседа нельзя было. По соседству, где и поперек, лежала и работала вражеская связь, трофейный провод выручал пока. Связистам было приказано не только не воровать немецкий провод, но даже не изолировать стыки нашей, отечественной, изолентой. По ней, сделанной не иначе как в артели инвалидов или в арестантских лагерях, мохрящейся нитками, неровной, с быстро отмокающей клеепропиткой, в воде и на солнце делающейся просто тряпицей, — по ней немецкие связисты мигом узнают — чья красуется работа и что сию, совсем уже классную продукцию изладили стахановцы.

И прятаться от немецких связистов приказано было: увидишь фрица, бегущего по линии, — в бой не вступай, тырься, линию не демаскируй.

Шорохов в потемках нечаянно на немецкого связиста напоролся. Тот мало того, что нарушил дисциплину, — один на линию вышел, так еще на беду свою курил во время работы. За коробок спичечный, наполненный махрой, свово брата-русака запорол на Колыме Шорохов, а уж врага-то, фашиста-то, оккупанта народ и партия призывают всечасно и всеместно уничтожать. Где увидишь, там его, значит, и дави. И за почти полную пачку дешевеньких сигарет, а еще за зажигалку, за носовой платок и за сумочку со связистским прибором враг поплатился жизнью. Зарезав врага, грузного, пожилого, Шорохов сволок его в овраг, засунул в щель меж комков, прикопал землею. Старый лагерный волк привык делать дело чисто.

* * *

Лешку смахнуло в овраг взрывом мины. Место у стыка двух оврагов, где пришлось поднять укоротившуюся линию, и было-то метров десять-двадцать, но немцы пристреляли его, и батальонные малокалиберные минометы все здесь, меж оврагами, изрыли, изъязвили, и, когда впереди, затем сзади связиста, коротко взвизгнув, взорвались две мины, он понял, что третья будет его, сиганул вниз, в овраг, на лету его подхватило волной, в полете обдало словно бы банным, горячим паром, обжигающим листом веника хлестануло в лицо.

— Ма-а-ама-а-а! — закричал Лешка и провалился во тьму. Будь он не так устал и издерган, сообразил бы третью мину перележать в воронке, в щелочку земляную туловищем засунулся бы, за мертвого связиста залег — там их валялось изрядно — не раз и не два ведь за трупами скрывался. Хлестанет, бывало, по трупу пулями, и поползешь, волоча на себе трофейное добро, жижу, белых червей, но живой всегда ототрется, отплюется, тем паче что под боком Черевинка

— полощись, отмывайся, сколько душеньке твоей угодно. Это тебе не Сальские степи, где, ребята говорили, за глоток воды жизнь готовы были отдать люди. Он знал, твердо знал: лежащего, к родной земле припавшего солдатика трудно угробить, но во весь, пусть и невеликий рост бегущего или маячащего — сшибут запросто. Боец, если опытный боец, должен уметь почувствовать свою пулю, брызги осколков, мгновенно увернуться от них. Опытный боец должен знать, где, когда бежать, сидеть, ползти или не двигаться вовсе, приняв позу мертвого человека. Вернее всего спектакль делать там, где много убитых, — затеряешься среди покойных братиков, в одежонке, сделавшейся к осени под цвет земли.

Все это Лешка, конечно же, знал — жизнь и война научила его военной мудрости, да вот выдохся, великая солдатская сообразиловка, эта палочка-выручалочка, помощница и подлинная командирша, — притупилась в нем, сломалась ли, и потому лежал он в сизых комках на дне оврага, в изгорелой грязной телогрейке, в бесцветных, чиненых-перечиненых штанах, в дыроватых сапогах, стащенных с кого-то дедом Финифатьевым, лежал и чувствовал, что остывает на нем нижняя рубаха и кальсоны, которые так выручили его, когда он, накупавшись в реке, снял с себя все мокрое, переоделся в сухое и хоть чуточку согрелся. Когда же это было? Давно было, однако, век назад.

Мягкая, багровая пыль над Лешкой сделалась еще багровее. Тело становилось бесчувственным, но все искало место поудобней, поглубже, втискивалось, проваливалось в комки.

До самого дна оврага он не долетел, упал на один из многочисленных уступов. Над ним совсем недалеко и невысоко разнорост, какие-то ершистые, колючие, до звона высохшие растения, бурьян этот, среди которого Лешка узнал лишь лопух, достал огонь, обчернил его, подкоптил, понизу почистил сушь и мелочь, а что было повыше, позеленей — осталось, правда, у родного лопуха съежились листья и в них, в тряпье листьев, жила и спокойно, бесстрашно кормилась пестрая птичка с оранжевым туго набитым зобком.

"Однако, щегол?" — очнувшись в сумерках, угадывал Лешка птичку, возившуюся в лопухе и ронявшую на его лицо пыль. Рассеивая дым на небе, изгорала морковного цвета заря, отблеск ее достиг уступа оврага. — "Нет, не щегол это, чечетка это, мухоловка!" — отгадывал Лешка, как будто сейчас это было главное для него. Мать привезла с какого-то слета рыбаков-передовиков картинки с разными птицами и хорошо, неиспорченно на бумагу перевелась вот эта яркогрудая птичка, он ее прилепил над столом, за которым делал уроки, после за тем же столом трудились Зоя и Вера — сестренки его. Значит, жизнь на земле еще не кончилась, раз птичка жирует и обретается в оврагах. Правда, дед Финифатьев обратил внимание: нету воробья, упорхнул с фронта, жулик, улизнул от опасности. Горящих в огне воробьев видеть не доводилось, и мертвых никогда и никто их не зрел. "Счастливый все же народ — птицы! И эта вот пташка, выклевывавшая белых червей, и вороны, что жрут мертвечину, — все-все они счастливые, обилию корма радые. Приплод весной у здешних птиц будет великий. Ну и пусть. И Бог с ними — должна же земля-то жизнью быть наполнена… Мне бы вот в Черевинку перелететь, однако по школьной еще хрестоматии известно: "…рожденный ползать…", погрузить бы лицо в холодную воду…" — Лешка попытался перевернуться на живот, чтобы ползти к речке, и дело кончилось тем, что он снова потерял сознание.

Шорохов проснулся от непрерывного зуммера — так зуммерят, когда нервничают, злятся, не получая ответа от телефониста. Зудел артиллерийский телефон. Пехотный молчал. Лешки в ровике не было. "Опять почту гоняет!", — широко, с подвывом зевая, Шорохов поднял трубку.

— Шорохов! — в телефон заорал сам полковник Бескапустин.Где тебя черти носят? Нет связи с батальоном! Почему?

Шорохов хотел по привычке огрызнуться, но, скосив глаза, уяснил: все еще день на дворе, да и невыгодно с командиром полка грызтись — хозяин все же.

— Разрешите на линию, товарищ третий?

— Крой! Чтобы одна нога здесь...

— Рву, товарищ полковник! — рявкнул Шорохов и сразу же успокоился, позевал, шарясь под мышкой, пощупал болевшую голову, подавил ее руками до треска, глянул на солнце, решая; сейчас попользоваться трофейным добром, перекусить и выпить, или потом?

Лешки все не было. Сложив руки у рта рупором, негромко — немцы могли стрельнуть на выкрик — Шорохов позвал связиста, поискал его за ближним поворотом — нету. Растревоженный Шорохов рванул по линии, пропуская через горсть вязаную-перевязаную, едва ерошенную узлами, ладонь рвущую нитку провода. С речки Черевинки пришлось уйти — линия укоротилась, протянута она теперь поверху. На стыке двух оврагов и проползти-то пустяк, метры какие-то, но сколько тружеников-связистов, изъеденных червями, безобразно вздувшихся, валялось здесь. Шорохов из-под пулеметной очереди рухнул с обрыва. За ним, обгоняя друг друга, сыпались, щелкали об сапоги комья сухой глины, припоздало прыснули автоматные очереди. Меж щелястых, перегорело лопнувших комков тоже комочком, но сереньким, лежал, скорее сидел, лицом уткнувшись в колени, человек, зажав телефонную трубку в одной руке, другой затиснув оборвыш провода.

— Лешка! Шестаков!

Связист не откликался. "Пропал харч, с таким риском добытый", — мимоходом мелькнуло в голове Шорохова. Выдернув из пальцев Лешки провод, он поискал глазами второй конец, с усилием стянул и соединил линию. Посидел, пощупал напарника и приподнял его лицо. Даже он, лагерный волк, навидавшийся страстей-ужастей, отшатнулся, увидев, как изуродовано лицо человека. Правый глаз вытек, из беловатой скользкой обертки его выплыла и засохла на липкой от крови щеке куриный помет напоминающая жижица. Рука Шестакова, из которой Шорохов выдрал провод, праздно покоилась ладонью кверху на глине и начала уже чернеть в сгибах пальцев, а ногти белели, оттеняя траурную полоску грязи. По непобедимой привычке стервятника Шорохов обшарил карманы связиста, услышал тепло его живого тела, слабый, как бы уже сонный стон издал напарник, пытаясь кого-то дозваться, что ли.

Вернувшись к телефону, Шорохов доложил:

— Все в порядке. Связь налажена. — И попросил передать артиллеристам, чтоб выслали своего связиста: — Шестакова шлепнуло. За двоих же дежурить он не намерен.

Из оврага, ослабело дыша, поднялся Понайотов, за ним Сашка-санинструктор, вычислитель Карнилаев, у которого вроде бы остались одни круглые очки вместо лица.

— Где? — упав грудью на бруствер, тыча в Лешкин телефон рукою, загнанно спрашивал Понайотов. От быстрой ходьбы и слабости у него кружилась голова, больно рубило в груди. — Где?

— Шестаков-то, что ли? Там! — Наудалую, не поймешь, указал или отмахнулся Шорохов.

— Зачем он туда? — все еще не продышавшись, спросил Понайотов. — Там нет нашей связи. Там ваша связь... В батальон. — Понайотов разом умолк, поняв, в чем дело, и, растерянно глядя из черной бороды на Шорохова, сбивчиво, почти плача, лепетал: — И вы?.. И вы?.. Бросили?!

— А че мне, ташшыть, да? Подохнуть, да? Нас обоих на тот свет проводили бы, а дежурить кому? У телефона кому?

— Вы хоть перевязали его?

— Чем я перевяжу? Своим пакетом, да? Да и не требуется ему уже перевязка.

— А ну! — сверкнув глазами из смоляной бороды, зарычал Понайотов.А ну, выходи сюда!..

— Че вылазить-то? Че вылазить-то? Ты мною не командуй! У меня своих командиров, что вшей в кальсонах... — выбираясь однако из ровика, нудил Шорохов и, не дожидаясь распоряжений, позвал Сашку-санинструктора: — Айда, покажу. Сам-то я туда не полезу. Издаля покажу.

— Это я, — подал голос Сашка-санинструктор, зная, что для раненого важнее всего знать, что он не брошен, не один, по возможности меньше врать, обрисовывая его состояние, — ложь раненые чувствуют обостренно и, хотя многие пытаются верить в нее, однако же и боятся этой лжи — раз обманывают, значит, плохи дела. Санинструктор почти не обманывал, говоря, что от этой бздехалки — батальонного миномета — больше пакости, чем убоя. Санинструктор сходил в Черевинку — она в самом деле была рядом, за поворотом, принес воды, влил несколько глотков в рот раненого. Раненый шевелил губами, трудно глотал воду. Санинструктор обтер лицо раненого водичкой, перевязал, привел его в порядок, насколько возможно привести в порядок раненого человека в этих вот условиях, и решил быть возле Шестакова до тех пор, пока капитан Понайотов не добьется, чтобы и других раненых переправили за реку. Щусь орет-надрывается, пистолетом трясет, чтоб раненых взяли.

— Кого еще? — шевельнул губами Лешка.

— Талгата.

— А дед? Деда как?

— Дед никак. — Сашка помолчал, поник. — И Булдаков из боя не вернулся.

— Гриша... Гриша Хохлак?

— Гриша?! — обрадовался санинструктор. — С Гришей порядок. Рана у него открылась. Нелька его снова в госпиталь погнала.

— Хо-ро-оо-шо, — прошелестел губами Шестаков. — Пи-ыть, пи-ыть...

Вечером Шестакова вытащили из оврага, занесли в блиндаж полковника Бескапустина. Голова и лицо Лешки были сплошь забинтованы, бинты пугающе белели в чуть освещенном блиндаже. Медленное дыхание его едва касалось реденькой, слабо вьющейся растительности над губой. Щусь, вызванный на летучку в штаб полка, отвернул плащ-палатку, взглянул на окровавленные бинты, которыми было обмотано лицо Лешки, покрутил головой, подавляя громкий вздох. "Это я, тезка, Щусь, комбат. Как ты, дорогой?" — прокричал он будто глухому.

Лешка что-то силился сказать. Щусь встал на колени, подставил ухо к жарко дышащему ртом раненому:

— Живы будем — не помрем...

Свирепствовал полковник Бескапустин, взывая о милости к левому берегу, кого-то вежливо и

настойчиво убеждал Понайотов, не выдержал с переднего края прорвавшийся Щусь, затребовал к телефону доступного ему начальника, Нельку Зыкову.

— Эй, ты, действующая медсила! Нелька! — со свистом дыша, сквозь зубы, задушенно говорил он. — Если Талгата и Шестакова не возьмете, сволочью мне быть, кто мне первый попадется под руку из вашей конторы — застрелю!

— Стреляло какой! — огрызнулась Нелька.Ты как переправился, так реки и не видал, что на ней делается, не знаешь!..

— Я те сказал!

— Сказал, сказал...

Нелька все-таки продралась на правый, на гибельный берег. Суровая, в суровую робу одетая, самой же ею придуманную, — война научила Нельку не только биться за свое женское достоинство, не только раненых спасать, но и себя обихаживать в полевых условиях, да попутно и ребенка своего — сестру ли — Фаю сохранять. Фая шила на себя и на Нелю, не очень изящно, зато ладно, к обстановке подходяще. Сама Фая ходила в военной форме, лишь вместо юбки носила мужского покроя брюки из немецкой пестрой плащ-палатки. Нелька одета по-походному: поверх военной формы у нее такие же, как у Фаи, пестрые брюки, заправленные в сапоги, курточка из того же плащ-палаточного брезента, под курточкой, шнурком на талии затянутой, стеженная безрукавка, с правого бока из-под куртки свисал конец кожаной кобуры с пистолетом тэтэ, всегда смазанным, заряженным, стоящим на предохранителе. Разное начальство пробовало указывать Нельке на нарушение военной формы. "Бабе своей указывай!" — отшивала она начальство, не глядя на ранги.

"Указчику — говна за щеку!" — совершенно правильно говорила своим девкам несгибаемая сибирячка, мать Нельки. На передовой довольно навидалась она указчиков, воспитателей, лизоблюдов и ухажеристых сладострастников, и просто погани всякой, прошла через такой разношерстный военный строй, перешагнула через такие беды и страдания, что ни начала, ни конца им уже не угадывалось. На этом участке фронта, возле речки Черевинки не было сейчас, пожалуй, более самостоятельного, независимого человека. Слезами, кровью, надсадой сердца далась ей эта самостоятельность.

Зимой сорок второго года Нелька много работала, ползая и бегая по подмосковным прославленным полям. Проявляя неустанный героизм, шибко застудилась патриотка, набухли у нее буйные, никем еще как следует не размятые, дитем не рассосанные груди, и она попала в хитренький госпитальотстойник для детей призывного возраста, медицинских военных, политических светил и воротил, уютно спрятанный в старой дворянской усадьбе под Малоярославцем. Вот где к месту пришелся ее крутой, обмужичившийся характер, умение держать твердую оборону. Мужички-тыловички отъелись в хитром заведении, считали, что грудь и все прочее у бабы, да еще у военной, да еще такой ладной, — болеть и ныть может только по причине отсутствия массажа и любовных объятий, насылались с услугами, припирали, покоя не давали. С недолеченной грудью пришлось покинуть госпиталек. С тех пор Нелька не снимает с себя теплую безрукавку. С тех пор знает также, что детей у нее никогда не будет, — застужена не только грудь, вся эта ненаклончивая девка или баба навсегда уже подшиблена войной.

Так что всякие наставления, угрозы Нельке все равно, что жужжание мухи перед лицом, — отмахнется и пошла дальше работать. Обид, унижений, пересудов и судов перетерпела она столько, что научилась уже и не слышать их. Самые горькие обиды пережила она от своих же

военных подруг и самые жгучие слезы пролила по причине их. Выделенно жила под сердцем ее одна неизбывная обида. Потеряв свою часть под Москвой, Нелька с девчоночьим пополнением, беспечновизгливым, взвинченным, двигалась в эшелоне под Сталинград. Дорогу ту вспоминать и смех, и грех. Двигались спешно, почти без остановок. Но едут-то сикухи же, им на улку надо. Иные воду пить перестали, горят-перегорают, в себе затаившись, иные норовят ночью в приоткрытые двери свеситься — по эшелону слух: вывалилась одна девушка, в куски ее...

В своем вагоне порядок держала Нелька — все же фронт видала, по званию — старший сержант, по ее команде, хочешь не хочешь, стыдишься не стыдишься: под мышки подхватят боевую единицу и к двери тащат. Одна боевая единица, как потом выяснилось, скрыла беременность и в таком виде двигалась добивать проклятого врага. Терпеть ей совсем невмочь. Подобрав полы шинели, ее выпячивали наружу. Железнодорожная линия во многих местах еще только восстанавливалась, военного и всякого рабочего люду на полотне тучи. Трудармейцы, этакий "цирк" завидев, головные уборы снимают, кланяются. Резвушки-хохотушки, ослабев от смеха, чуть было не упустили боевую подругу под колеса. Будущая мать в слезы. Старшая вагона боевым матом подруг кроет.

Ехали девки бить врага полуобмундированные — гимнастерки, шineленки, шапки, обувь выдали, но — живем же в стране чудес — вместо юбок или брюк надели на них теплые мужские кальсоны. Разгрузились под Котлубанью, неподалеку военный городок с аэродромом. Вечером там затеялись танцы под духовой оркестр. Как услышали девчонки музыку, так и заперебирали ногами. Нелька отговаривала боевых подруг, не пускала их на танцы, но природа свое взяла. Через колючую проволоку девки полезли на аэродром, оставляя клочья кальсон на заграждениях, сотворили распотеху!

Аэродромные высокомерные девицы, среди которых и летчиц-то считай что не было, — подносчицы и подвесчицы бомб, у которых от надсады не прерывались месячные, прачки, уборщицы, поварихи, медсестры, переодетые, закучерявленные, поднакрашенные, — держались аристократками, тыкали в кальсонниц пальцами, гоготали. Не сдавшая в госпитале форму, при орденах, при медалях, Нелька, охваченная бешенством, ворвалась на танцплощадку с гранатой и как на виду у всех начала выдергивать кольцо из чеки, так аэродромные девки в воздух и поднялись. Бросила Нелька боевую гранату за ограду, пинками погнала своих кальсонниц "домой".

"Ведь свои же... свои, русские же, советские!.." — рыдали девки. "Еще комсомо-о-ол-ки-ии!" — подпела тонко какая-то молодяжка.

Где-то, с кем-то они сейчас на этом большом и беспощадном фронте танцуют?.. Некоторые уже и в земельке лежат, которые потихоньку убрались домой — рожать. Есть и те, что толкутся в окопах, ниже или выше по течению через эту реку плывут под пулями...

Нелька подтянула лодку повыше на берег, привязала ее, переждала артналет, разбрасывающий комья глины и песка в пойме речки, дробящий камни на берегу.

Разбуженные своим же налетом, немцы застреляли отовсюду. Пригибаясь, Нелька перебежала пойму Черевинки, влезла в яму с навесом из прутяного мата, который Понайотов передал Боровикову, оборонявшемуся со своим войском в устье речки, разбудила ротного:

— Коля! Дай бойца — мне к Щусю надо, а где он сейчас, не знаю. — И сунула Боровикову пару сухарей, кисет с табаком.

— Вот спасибо! Вот спасибо! — окончательно проснулся лейтенант.Мы тут совсем...

— Знаю. Скоро кончатся ваши мытарства.

— Скорей бы. А Щусь недалеко. С высоты его согнали. Совсем нас к берегу немцы прижали... положение отчаянное...

— Говорю, не пропадете.

— Дай-то Бог, как верующие говорят.

— И неверующие тоже.

Щусь не пожелал встречаться с Нелькой, никого, говорит, видеть не хочет. Злой, ощетиненный, с командиром полка ругается, всякому начальству дерзит, своих командиров поедом ест. Впрочем, есть-то уж совсем почти некого.

Талгат, лежавший на самодельных носилках, был в сознании, шепотом попросил:

— Жэншын, Нель, руху дай. — Она дала ему руку. Он благодарно прижал ее к груди и так вот держал ее, пока шли к лодке. Ради таких вот минут, ради редкой этой мужской признательности жила, войну переносила, околевала, мокла Нелька Зыкова.

Наперерез несли плащ-палатку с утухшим, скомканным Лешкой Шестаковым. К берегу вышли одновременно. Возле лодки что-то чернело. Нелька приблизилась к лодке и ахнула: перекинув руки за борт, держась за лодку зубами, лежал черный человек в слабо на себя намотанных спутанных бинтах, хрипя, он выдувал кровавую пену и в тяжком беспамятстве грыз дерево. Нелька запустила пальцы в пистончик штанов, нащупала адресный патрончик раненого. Пока грузили Талгата и Лешку в лодку, пока выбирали из столпившихся на берегу раненых гребцов покрепче, заслоняя полой безрукавки огонек фонарика, Нелька прочла: "Булдаков Алексей Геннадьевич, 1924 года рождения, город Красноярск, слобода Весны, улица Побежимова, дом..."

— Землячо-ок! — Нелька приосветила раненого, с трудом узнала в нем того веселого забулдыгу, что в прошлые дни здесь вот, в устье Черевинки, "катил под нее колеса", завлекая ее, зубоскалил. Вместе с домашним адресом хранилась в пистончике престранная бумага-расписка: "Дана бойцу первой роты Булдакову А. Г. в том, что он оставил на сохранение 1 (одну) пару сапог и я обязуюсь вернуть их, когда Булдаков А. Г. возвратится обратно. Если же Булдаков А Г. не вернется по какой-то причине назад — сапоги продать и пропить на помин души. Верно! Старшина первой стрелковой роты 126 гвардейского полка 1 батальона Р. Бикбулатов".

— Этого тоже в лодку, — показала Нелька на Булдакова.

— А перегруз? Опять перетонете. Это ж Леха Булдаков, в ем весу центнер...

— В нем одна душа осталась, она весу не имеет.

— Леху, сибирякам... рядом кидай, брат брату, — подал слабый голос из лодки Талгат, — не абидам...

— Так тому и быть.

Отплыли тихо. На греби угодили ребята умелые — работают веслами размеренно, стрельбы прицельной, слава Богу, нет. Доплыли до левого берега благополучно, но застряли на мели, и навстречу к лодке шало, в обуви и одежде метнулась Фая.

— Ты еще застудись, дура! — рявкнула Нелька и, конечно же, добавила кое-что покрепче, тоже, между прочим, вылезши в воду во всем, но что была одета, обута. Волоком тащили лодку. Фая ужималась в себе, ведая, как подруга ее верная, смертная подруга, напьется с мужиками, впадет в истерику. Пережив крайнее напряжение, смертельную опасность, горькую обиду, Нелька делалась невыносимой — жестокой, и на ней, на Фае, на покорной подруге, сносила зло, отводила душу. Но кто-то же должен терпеть и Нелькин характер, кто-то же должен и ее бунт сносить. Она-то ведь терпела тоску, обиду, бабьи хвори. Люди об ее слабостях и болях знать не знают, зато Фае хорошо и подробно все о своей подруге известно, или, уж точнее сказать, о родной сестре, а сестер не выбирают, сестер Бог посылает, сестер полагается жалеть, беречь и любить.

* * *

Ополудни вверх по реке километрах в десяти от Великокриницкого, почти уже не действующего плацдарма началась артподготовка. Снова небо содрогнулось от слитного все нарастающего гула, горизонт затянуло тучами дыма, начали наползать на реку клубящимся роем самолеты, разбрызгивающие вокруг себя огни, спускающие сверху клубки бомб. Качало землю, бултыхало реку, смешивало день с ночью.

Советское командование еще раз, который уж, не перехитрив противника, начинало новое наступление с учетом прежних стратегических ошибок. Переправа через реку на сей раз совершалась не ночью и не горсткой сил. Наносился мощный удар. И снова рвало берег взрывами, снова било, поднимало в воздух, трепало, разбрасывало, обращало в прах и пыль родимую землицу. С землей давно уже люди обращались так, будто не даровалась она Создателем как награда для жизни и свершения на ней добрых дел, но презренно швырялась человеку под ноги для того, чтоб он распинал ее, как распоследнюю лахудру, чтобы, выдохшись, опаскудившись, оголодав, опять и опять припадал он лицом и грудью к ней, зарывался в нее — для спасения иль вечного успокоения.

За крутым мысом реки, на котором каким-то чудом уцелел судоходный знак, отделялась от реки громада из дыма и огня. Нижний, самый толстый слой этой огнедышащей преисподни клонило к реке, всасывало берегами в русло, тащило вниз по течению. Река почти невозмутимо, лишь помутнев слегка возле берегов, лишь на минуту покрываясь взбитой рябью, катила и катила глубокую воду в назначенное ей место, в море, отражая в себе ветлы верболаза, яры с дырами ласточкиных гнезд, деревушки, рассыпавшиеся и замершие в ожидании своей судьбы по склонам берегов. Кружило копешку сена, неизвестно откуда взявшуюся и в воду угодившую, подбрасывая, будто поплавки, тащило деревянные ящики из-под снарядов, телегу с расщепленным высоко взнятым дышлом, какой-то кузов или огромный сундук, чью-то шапку, похожую на сбитую птицу, чей-то бушлат, скоро поплыла густо щепа, чурки, сдобно белеющие спилыши деревянных торцов — на реке под огнем начиналось возведение переправы. Развертывалась не просто боевая операция, не просто переправа военных сил через водную преграду, там начиналось то, что в газетах назовут битвой за реку.

"Сколько же ты взяла и возьмешь еще людей?" — почти враждебно глядя на реку, будто была она одушевленным, но бесчувственным существом, думал Щусь. Весь народ, способный двигаться, повылазил из окопов, блиндажей, береговых нор, и поскольку ничего за мысом, кроме тучи дыма, не было видно, сидельцы Великокриницкого плацдарма задирали головы и смотрели, как выше тучи опрастываются по-большому самолеты, искрами мелькая в голубых

прорехах неба меж зенитными разрывами, все гуще и гуще заполняющими небесное пространство.

Артподготовка всегда казалась Щусю похожей на работу огромной, всю землю облапавшей, немыслимо мощной машины — этакого адского механизма, не имеющего ни форм, ни дна и ни покрышки, с котлами, клокочущими огнем, со множеством валов, выхлопов, труб, всякого гремящего железа, которые проворачиваются, перемалывая зубьями все, что есть на земле. Безумная и безудержная машина, расхлябанно вертящаяся, с визгом, с воем разбрасывающая обломки железа, ухала, ахала, завывала, грохотала, и выше, дальше, недосягаемо глазу от грохота и огня трескались перекаленные своды.

Боже Милостивый! Зачем Ты дал неразумному существу в руки такую страшную силу? Зачем Ты прежде, чем созреет и окрепнет его разум, сунул ему в руки огонь? Зачем Ты наделил его такой волей, что превыше его смирения? Зачем Ты научил его убивать, но не дал возможности воскресать, чтоб он мог дивиться плодам безумия своего? Сюда его, стервеца, в одном лице сюда и царя, и холопа — пусть послушает музыку, достойную его гения. Гони в этот ад впереди тех, кто, злоупотребляя данным ему разумом, придумал все это, изобрел, сотворил. Нет, не в одном лице, а стадом, стадом: и царей, и королей, и вождей — на десять дней, из дворцов, храмов, вилл, подземелий, партийных кабинетов — на Великокриницкий плацдарм! Чтоб ни соли, ни хлеба, чтоб крысы отъедали им носы и уши, чтоб приняли они на свою шкуру то, чему название — война. Чтоб и они, выскочив на край обрывистого берега, на слуду эту безжизненную, словно вознесясь над землей, рвали на себе серую от грязи и вшей рубаху и орали бы, как серый солдат, только что выбежавший из укрытия и воззвавший: "Да убивайте же скорее!.."

По реке все плыли ящики от снарядов, солома, обрезь, тряпки, протащило пробитый, перевернутый паром, брякающий о донные камни цепями. Вот и люди появились, бултыхающиеся, схватившиеся кто за бревно, кто за корягу, кто и просто так плюхается, бьется в воде, взывая о помощи. Две храпящие лошади, припряженные к дышлу, погибая, рубились копытами в воде. Не будь в упряжке, они поодиночке добрались бы до суши. Но за гривы лошадей цапались, лезли на спины им тонущие люди. Хватая воздух гулко охающими ртами и ноздрями, отфыркивая воду, лошади крушили все, что попадало под копыта, ниже и ниже оседая вглубь. Вот голова одной лошади, вознесясь ноздрястой мордой над водой, начала огрузать, утягивая за собой пару свою, и загасли в воде безумно горящие глаза животных, следом осадило, утянуло крутые их гривы, крупы, хвосты. Сгинули, пропали совсем ни в чем не повинные создания природы, безотказные помощники человека на земле.

На рассвете загрохотало и ниже по реке. Здесь также затеялась переправа и велено было остаткам подразделений Великокриницкого плацдарма идти на соединение с соседями, вступившими в битву. За ночь на верхнем плацдарме была наведена переправа на понтонах, на правобережье перешли танки, перевезена артиллерия, реактивные минометы, части боепитания.

Командир полка, Авдей Кондратьевич Бескапустин, тучный пожилой человек, раньше всех ослабевший от голода, потирая ладонью грудь, отдал приказ в батальоны, оттуда приказ передали в роты: после короткого артналета поднять полк, прорываться к своим, умереть в бою, но не доходить по оврагам, в грязных окопах, отдавшись на истребление фашистам.

За рекой плеснули огнем "катюши", озарив другой берег до самого неба, ударила артиллерия. Собрав последние силы, поднявшись во весь рост, вслед за огненным валом пошли в атаку бескапустинцы, саперы, десантники. Боровиков с пестрой ротой снялся с речки Черевинки, Понайотов со своими управленцами, артиллеристами — все-все, кто мог двигаться, пошли в

бой. Связь с правым берегом ослабела настолько, что работать по ней было уже невозможно. Гаубицы стреляли без корректировки, по заранее намеченным целям.

И так шли и шли бойцы, командиры Великокриницкого плацдарма, навечно уже отпечатанного в их памяти. Очень медленно шли, и те, кто падал, больше уже не поднимались. Впереди своего полковника, как бы заслоняя его собою, загнанно хрипя от пыли и простуды, словно в старые, довоенные времена, словно в ранешном довоенном кино, с обнаженным пистолетом шел командир батальона Щусь. Но не было никаких киношных, патриотических криков, никакого "ура", только хрип, только кашель, только вскрики тех, кого находила пуля или осколок, да и местность эта, пересеченноовражистая, не давала возможности атаковать дружным, киношным строем. С кручи на кручу, с отвеса на отвес, из ямы в яму, из оврага в овраг, вдоль берега еле двигались недобитые, недоуморенные, вшами не доеденные бойцы, все еще пытающиеся исполнить свой неоплатный долг.

Бойцы первого батальона, не сговариваясь, самопроизвольно забирали дальше и выше от берега. Щусь увлекал за собой остатные силы полка — выше идти легче, там нет глуби, там истоки оврага, там разреженней оборона противника, наконец, оттудова, сверху, почти с тыла, способней навалиться на противника, вцепившегося в берег, — ах, какие мудрые русские мужики выросли в российских деревнях. Как же здорово научили их жизнь и война маневрировать, соображать, хитро спасать свою жизнь — и научила война же главному: начальник, командир, вождь — не народ за тобой, ты за народом.

Вторая линия оборона была уже вдали от берега, уже в стороне от реки, и, почуяв, что путь впереди свободен, бойцы гиблого, Великокриницкого плацдарма покатились на задах, на животе, побежали к реке, вниз, движимые какой-то им уже не принадлежащей силой, чувствуя освобождение от гнетущего ожидания гибели, избавление от заброшенности и никудышности.

Навстречу им, сначала редко и робко, спешили бойцы с нового плацдарма, еще никак не названного, затем хлынули толпою. Соединились! Наконец-то! Сошлись с теми, кого пытались представить изможденными, битыми, но уж не такими же, какими оказались они на самом деле. То, что были они за рекой, почти рядом, стреляли, говорили по телефону, давало ощущение, будто живут они, как и все, ну, может, чугь-чуть поголоднее, однако не осажденные же они в крепости! Но выпала судьба бойцам первой Великокриницкой переправы выдержать нечто худшее, чем осада, выдержать такое, чего на других войнах еще не было и быть не могло.

По окопам, по рву, по оврагам шарились саперы, санитары, хозяйственники. Старшина Бикбулатов пытался покормить полковника Бескапустина жидкой кашей, лично им принесенной на горбу в плоском термосе..

— Нет-нет, — навалившись спиной на колесо повозки, устало отговаривался полковник. — Покурить сначала, покурить, ребятушки!.. Трубку!.. Трубку утерял где-то… ииии… — закашлявшись от цигарки, сквозь буханье пытался сказать: — Ар… артиллеристы где-то?.. — Дыхание у него налаживалось. — Покормите их… последним делились, спасали нас огнем…

Артиллеристов нашел и обнимал уже старый политрук Мартемьяныч, Оцарапанный в бою, наскоро перевязанный, он тискал Понайотоаа, Карнилаева и срывающимся голосом спрашивал:

— И это все?! И это все?!..Милые вы мои, милые, настрадались-то…

— Как Зарубин? — спросил Понайотов.

— Ат, кузькина мать!.. — Мартемьяныч хлопнул себя руками по бедрам. — Запышкался! Главное-то и забыл. В госпитале майор. Письмо уже было. Недалеко госпиталь-то… Че Шестаков? Где? Тоже убит?.. Булдакова-шельму не вижу, а сержант-то, сержант-то, младший-то политрук где? Тоже не видать…

В хуторке, почти подчистую выгоревшем, где осталось несколько глиняных коробок от хат, меж коими копаны блиндажи и землянки, суетился, как всегда подвыпивший, старшина Бикбулатов, раздавал скопившуюся за много дней водку, хлеб, сахар, табак. Пораженный и сам своей честностью, выдержкой, приставал старшина ко всем, указывая на безмен, где-то раздобытый, проводом подвешенный на сук обгоревшего дуба, — чтоб все лично перевесили полученную продукцию.

— Успокойся, старшина, успокойся, — останавливал его начальник штаба батальона Барышников. — В твоей честности никто сейчас не сомневается. Белье, мыло принеси. Поделись с артиллеристами.

Носилась по берегу, вырывая котелки из рук бойцов, бутылки с водкой, орала, ругалась Нелька:

— Сдохнете! Окочуритесь! — и старшине Бикбулатову: — Если кто умрет, я тебя, заразу, рядом закопаю.

Этакая роскошь! Этакая редкость! Водку выдавали не разливуху, а в бутылках, под сургучом! Все по правилам!.. Фершалица-дура бутылки вырывает, бьет вдребезги, самих бойцов клянет и умоляет:

— Миленькие солдатики-страдальцы… нельзя, нельзя вам…

Прижимая руки к груди, Фая вторила ей:

— Вам же сказано — нельзя. Вам что, умереть охота? Умереть?

Уже корчились, барнаулили на берегу те, на кого ни уговоры, ни крики, ни ругань, ни мольбы не действовали, пили, жрали от пуза, и свежие холмики добавлялись к тем, что уже густо испятнали и левый берег. Из медсанбата по распоряжению главного врача мчали изготовленные для промывки клистиры с водой, клизмы с мылом, разворачивали койки. Старшина Бикбулатов куда-то убежал, скрылся. В обрубленной, обтоптанной старице, где Лешка нашел свою знаменитую лодку, плавали кверху брюхом оглушенные караси. Мусором, ломью, дерьмом были забиты поймы стариц, никакой живности в порубленной, обгоревшей, смятой, разъезженной местности не осталось, и вроде бы пристыженно ужималась в себя приречная местность, всегда таившая в своей полутемной гуще много хитрых тайн, поверий, колдовства всякого.

Где-то возле старицы, в крепко рубленном блиндаже укрылся и на люди не показывался товарищ Вяткин. Понайотов доложил ему о выполнении задачи и по виду начальника штаба, по черной бороде, по печали в провалившихся, красных от перенапряжения глазах Иван Тихонович усек: каково оно было там, на другом берегу. Слышать-то он слышал, будучи в санбате на излечении, что происходит на плацдарме, но одно дело слышать от бойцов или гнев раненого человека, майора Зарубина, на свою голову принять — другое дело зреть смятого, грязного, простуженного, сипящего капитана Понайотова, в бороде которого толкутся, месят серое тесто вши.

Вяткин и Бикбулатов ушли в подполье, зато в полевой, запыленной форме, повязав под рыльцем развевающуюся, укороченную плащ-палатку, по берегу летал, гоношился начальник

политотдела дивизии. На ходу, можно сказать, выскочил он из кабины хромающей на одно колесо "газушки", засеменил по берегу, вонзился в гущу народа, кому-то пожимал руки, кому-то вручал газеты с описанием подвигов первопроходцев через реку, прибивал к стволу дерева к сроку выпущенный "Боевой листок", значки цеплял на вшивые гимнастерки с изображенной на них рекой, которую из середки Красной Звезды пронзала вольная птица-чайка, устремляясь ввысь и вдаль. Красивый значок. Успели вот когда-то изготовить реликвию, скорей всего сработана она заранее, может, еще до войны.

Во многих местах, особенно густо вдоль старицы, парили бочки-вошебойки, и вокруг них плясал народ. При приближении начальника политотдела солдаты стыдливо зажимали в кулак добро свое с присохшей на нем кровью от выдранных, выцарапанных тупыми бритвами волосьев — неловкое для бритвы место, задумывалось оно Создателем для созидательных дел, но не для болезненной санобработки.

— Понимаю, понимаю, — приветствовал и ободрял нагих, отощавших людей Мусенок. — Непременно, как только народ приберется, проведем летучки, партийные собрания, беседы, на которых пройдут громкие читки газет с приветствиями товарища Сталина, разрешено будет присутствовать на массовых мероприятиях и беспартийным воинам.

Кто-то робко сказал, что на Великокриницком плацдарме, за рекой, много раненых, бедуют оставшиеся там роты — им бы помощь-то оказать надо, к ним бы поспешить с едой и лекарствами.

— Уже, уже, товарищи, все брошено через переправу: и медикаменты, и продукты, прямо на правом берегу, на новом плацдарме разворачивается медсанбат. Мои агитаторы, помощники, газетчики и предводители комсомола устремились ободрить и помочь героям. Это, понимаете, благородно, это по-советски, товарищи, по-нашему, понимаете, — прежде о товарищах заботиться... Хвалю!

Попался на пути Мусенку бурной деятельностью охваченный Одинец, потный, без ремня, сам себя загнавший до того, что рот его открыт во всю ширь, как у тех глушеных карасей. Одинец усовершенствовал бочку-вошебойку и теперь вот всем показывал, что никакой проволочной сетки спускать внутрь бочки не требуется, все это заменяется обыкновенными палочками, которые валяются под ногами. Бойцы не понимали такого примитива, не знали, как палочки вставлять в бочку. Удивляясь технической безграмотности людей, — бобийэхомать! — Одинец метался от бочки к бочке, лично забивал в каждую окружность бочки палочную решетку и, совершив техническое чудо, бодро орал ошеломленным бойцам: "Вот и все, бобийэхомать! А ты, дура, боялась!"

Но где-то перегрузили бочку, обрушили решетье, замочили амуницию. Где-то бочку вовсе опрокинули, в кустах вопил ошпаренный боец, уже раздавался здоровый призыв: "Бить еврея!". Одинец ответно выдавал: "Бобийэхомать!",отважно налетал на объект, мигом все приспособление восстанавливал и запаленно кричал: "Сначала вошей бить научитесь, потом уж за евреев принимайтесь!" — и рвал дальше, чувствуя везде свою необходимость, радовался своей технической сметке.

— В каком вы виде, капитан? До чего вы распустились... — отчитывал Одинца полковник Мусенок. Но это был единственный начальник в дивизии, которого Одинец не боялся, подозревалось даже, что он его презирал. Взяв разгон, деловитый Одинец заполошно крикнул:

— Занимайтесь своим пропагандом у другом месте, а мне вас некогда выслушивать! — и умчался помогать народу баниться, истреблять паразитов самыми простыми и доступными

средствами. Средство это, до которого так и не дойдет умом высокограмотный, мозговитый, технически подкованный немец, да и вся Европа вместе с ним, доживет до конца войны.

— Я еще с тобой встречусь! — грозился Мусенок. — Я еще поговорю с тобой! — и подался на окраину хутора, где без дверей и без окон стояла коробка обгорелой хаты. Помывшись в такой же пустой полуобгорелой хате, занавесив отверстия окон, двери и дыру в потолке для трубы плащ-палатками, прямо на полу хаты, на соломе вповал спали в свежем нижнем белье уцелевшие в боях офицеры. Полковнику Бескапустину в порядке исключительного положения был сколочен топчан, возле которого дежурила Фая. Врач из медсанбата, осмотрев командира полка, определил у него предынфарктное состояние, велел сделать уколы, дать снотворное, но с места пока не трогать. Когда полегчает, надлежит полковнику приехать в медсанбат, на что Бескапустин пробубнил, что он, слава Богу, не ранен, что сердце придавило, так это еще с сорок второго года, под Москвой, как придавило, так придавленное и дюжит, худо-бедно ретивое еще тянет, скворчит, правда, как сало на сковородке иной раз, но вот человек поспит, каши поест, может, даже и выпьет сколько-то и, благословясь, наладится — повернулся несокрушимой широкой спиной ко всей публике, сказав, чтоб художники не торопились во все горло жрать водку и харч во все пузо.

— Загинаться станете, а я за вас отвечай.

Фая прислушивалась, улавливая тихое дыхание полковника, который, несмотря на приступ, накурился из новой трубки, так она, зажатая в кулаке, и осталась, но погасла или не погасла — Фая не знала, все боялась, кабы под Авдеем Кондратьевичем не загорелся матрац. В холодной и сырой хате рушил стены, подымал потолок монолитный боевой храп, раздавался кашель, стоны, время от времени кто-нибудь из командиров принимался командовать — попробуй тут расслышать дыхание больного человека. Фая не только не слышала дыхания больного человека, она и Мусенка, вошедшего в хату, не услышала, и только когда он громко спросил:

— Есть тут кто живой? — вздрогнула и торопливо отозвалась.

— Есть! Есть! Все живые.

— А почему часового нет?

— Чего ж ему, часовому, тут караулить? Я тут дежурю, бойцы изнуренные.

— Изнуренные! Война кончилась? Ни охраны, ни бдительности уже не требуется? Здесь же штаб полка, насколько мне известно.

— Штаб, штаб. Но штаб отдыхает, полковник болен.

— Что значит болен? Почему тогда не в медсанбате?

— Авдей Кондратьевич не хотят.

— Что это за Авдей Кондратьевич?! Что значит, не хотят? Здесь, понимаете, богадельня или полк?

— Полк, полк, — раздалось с полу из-под толсто наваленных шинелей и плащ-палаток. — Богадельня — это у вас.

— Где это у нас?

— В политотделе.

— А-а, это опять командир батальона, который пререкается со старшими по званию, собачится с командиром полка. А высоту, понимаете, между тем сдал.

— А ты вот пойди, поведи за собой партийные массы и возьми ее обратно, раз такой храбрый!..

Это было уже слишком. В избе затих храп. Товарищи командиры, привыкшие на плацдарме спать вполглаза, проснулись. Сделалось слышно тяжелое дыхание Авдея Кондратьевича. Фая подумала, что надо звать Нельку, только она еще могла управляться с совершенно осатаневшим капитаном и укрощать нравного полковника Бескапустина. Но Нельку куда-то унесло, бегает, спасает войско от перехода и перепоя, да и злится на нее Щусь, на всех он злится.

— Встать! — взвизгнул Мусенок.Встать! Я приказываю! Одно окно неплотно прикрыто, Фая увидела, как на полосу света свинцовой дробью вылетают пузырьки изо рта начальника политотдела и под каблуками его детских сапожек постукивает. Чечетка получалась. Нервная.

— Тебе приказано старшим по званию встать, дак вставай! — раздалось с топчана.

Чего-то ворча под нос, шурша соломой, Щусь полез из совместно свитого теплого гнезда, предстал перед пляшущим, чего-то по-сорочьи трещащим человечком, ничего пока со сна не понимая, да и понять было невозможно, но брызги слюны до лица долетали, комбат брезгливо отворачивался к окну, Мусенок, видя это, сатанел еще больше. Босой, в просторном, не по его отощавшему телу белье, поддерживая все время спадающие кальсоны, мятый, с соломой в волосах, щекочущей под рубахой остью, стоял комбат на холодном полу. Привыкший к выправке, к строгому, пусть и убогому, военному порядку, даже к щегольству, умеющий из армейской амуниции сотворить форс, он понимал, как нелеп, как жалок и унижен сейчас. Сонная одурь сходила. Глаза его блестели от бешенства. Плотно, в ниточку сжались губы, отвердели и покатились по лицу желваки, но ничего этого, к несчастью, не видел разгневанный политначальник. Он кричал, что политическая работа в полку, понимаете, запущена, дисциплина, понимаете, хлябает, разброд, халатность, понимаете, попустительство, низость нравов и антисоветские, вредные настроения да разговорчики. Если кое-кто полагает, что войско находилось за рекой, так здесь никому, ничего, тем более в политотделе не известно? Это глубокое заблуждение. Славную гвардейскую дивизию всегда отличала высокая бдительность и идейная сознательность.

Работая по Южному Уралу корреспондентом "Правды", где главным редактором заправлял его давний соратник Мехлис, Мусенок писал разносные статьи об оппортунистах, троцкистах, врагах народа и загнал в лагеря, подвел под расстрел Челябинский обком партии, следом и руководящую верхушку области подчистил. Златоуст, Миасс — города уральских мастеров и потомственных умельцев, так тряхнули, что в прославленном трудом своим и красотою Златоусте не осталось ни одного храма, вместо царя прямо у богатейшего музея рылом в дверь поставили Ленина, махонького, из чугуна отлитого, черного. Обдристанный воронами, этот гномик — копия Мусенка — торчал из кустов бузины, что африканский забытый идол. Слух о прошлых великих делах начальника политотдела кем-то старательно распространялся и поддерживался в дивизии. Мусенка ненавидели, боялись. Это он прекрасно знал, лез в каждую дыру, торчал на всех, в том числе и оперативных совещаниях, даже на узком военном совете советовал, как надо умело побеждать врага. Единственно, на что хватало бравого генерала Лахонина, так воззвать к политическому начальнику:

— Пожалуйста, короче.

Но Мусенок не умел и не хотел короче. Язык его, от рождения болтливый, устали и удержу не знал. Товарищи командиры, воздев очи в потолок, кривились, усмехались, начальник политотдела дивизии все это видел и нарочно говорил, цитируя важнейший идейный документ эпохи "Историю ВКП(б)", речи Сталина и как бы ненароком всякий раз поминал непреклонного государственного деятеля, верного помощника партии, товарища Мехлиса.

Лахонин, конечно же, был рад, что его отнесло чуть в сторону от боевого партийного товарища, но после бурной деятельности на реке Мусенок скорей всего пойдет на повышение — ему уже пора и по заслугам, да и по возрасту становиться генералом, и если кинут этого деятеля на корпус? Во генерал Лахонин обрадуется!

При политотделе дивизии содержалось четыре машины, это все равно, что лично при Мусенке, толклась и сладко ела партийная челядь, несколько его замов, комсомольских и прочих начальников-дармоедов, удобно устроившихся на войне, которым жилось еще вольготнее оттого, что Мусенок горел на работе, везде и всюду лез, маячил, говорил сам. На "эмке" он ездил в тылы на разного рода очень частые политические совещания, ведь чем дальше в лес, тем больше комиссаров — и все воюют, сражаются, руководят. На "виллисе", предназначенном для поездок на передовую, не на самую, конечно, передовую, на им намеченные места — где-нибудь в штабах, в санбате, в ротах боепитания, в местах сосредоточения резервов и пополнения. На "газушке", где шофером был мордатый мужик Брыкин, он развозил газеты, листовки, агитационную установку. В кузове "газушки" стояла походная кровать, прикинутая солдатским одеялом, — здесь большой начальник спал во время боевых выездов. Еще у него был "студебеккер", оборудованный под более обстоятельное жилье. Царствовала в "студебеккере" машинистка Изольда Казимировна Холедысская, красавица из репрессированной польской семьи. Начальник политотдела изъял ее из типографии дивизионной газеты, где она сражалась корректором, для того чтобы сам он лично мог диктовать важнейшего содержания секретные документы, статьи, наставления, — "студебеккер" превращался в походный домик. Презираемая всеми Изольда Казимировна старалась из домика на колесах не возникать, если являлась свету, то ходила, опустив долу очи, однако ж имела орден Красной Звезды и медаль "За боевые заслуги". Щусь знал, что Нелька собирает для Холедысской на полях брани чехольчики с адресами раненых и убитых бойцов, — если напрокудничает Нелька, Изольда через своего начальника защитит ее, водочки добудет, папирос, свежее бельишко, мазь от вшей. Нелька понимала: ох, не зря, не напрасно копит застенчивая труженица фронта адресочки списанных воинов. Однажды Мусенок поможет ей оформить документик, укажет в наградном, листке, какое ошеломляющее число раненых вынесла с поля боя отважная девушка,и носить ей "Золотую Звезду" героя на пышной груди. Но для этого надо быть ей при Мусенке, как при арабском шейхе, — покорной рабыней — и делать вид, что она почитает своего господина и боится его.

Разойдясь в праведном гневе, политический начальник сокрушал строптивого офицера с явным расчетом, чтобы все в хате его слышали и на ус мотали, прежде всего командир полка, этот неповоротливый вояка, которого давно бы надо заменить да некем, из тыла на поле брани никого не выцарапаешь, а из шпаны, что окружает Бескапустина, достойного не выберешь.

До того распалился Мусенок, до того ослеп от праведного гнева, что не видел остекленевших глаз капитана, искаженное судорогой лицо его. Мусенок грозился сделать все, чтобы была разогнана распустившаяся шайка офицеров, своим поведением позорящая боевое знамя гвардейской дивизии. Все это происходило при попустительстве бывшего командира дивизии и продолжается не без высокого покровительства и поныне, но он знает кое-кого и повыше, и подальше, и писать еще не разучился.

— "Убью курву!" — каталось, каталось в голове, стучалось, стучалось в лоб и, наконец,

осколком ударилось в череп Щуся твердое решение. Плохо, ох, как плохо знал товарищ Мусенок боевую шпану, этих издерганных, израненных трудяг-офицеров. Если б знал, понимал, чувствовал — не полез бы в полуразбитую, с горелым переломанным садом, в момент прополыхавшую, закопченную хату.

Зато преотлично знал своих "художников" командир полка Бескапустин. Когда, стуча дамскими каблучками, продолжая вывизгивать угрозы, сорить слюной на ходу, Мусенок упорхнул, он похвалил своих офицеров:

— Вот молодцы, вот умно поступили, что не пререкались с этим говном.

Молодцы тяжело молчали, подозрительно примолк и комбат — один, этот всегда не ко времени возникающий, предерзкий человек, позволяющий себе иметь свое мнение. Это в нашей-то, доблестной-то, свое мнение? Ха-ха-ха! Выйди сперва в главнокомандующие или хотя бы в начпуры и имей все, что тебе хочется, в том числе и свое мнение, подавай свой голос на здоровье... — Полковник встревоженно повернул голову, отыскал глазами белеющую у стены фигуру досадника-комбата — лежит поверх одежды, в потолок уставился, молчит. Об чем вот он, ухарь, молчит?

— Не вздумай какой-нибудь нумер выкинуть! — на всякий случай прикрикнул Авдей Кондратьевич и услышал, как снова вошла в грудь длинная, медленная игла, погрузилась вглубь и остановилась, острием воткнувшись в самую середку груди. Да и какое тут сердце выдержит?.. Стоит боевой офицер, а его, как бурсака, за чуприну таскают. Хорошо, хоть той оторвы Нельки не случилось здесь в это время, — быть бы скандалу великому.

Командиры-молодцы зашевелились, заворчали, Шапошников резко чиркнул зажигалкой, пытаясь закурить. Авдей Кондратьевич робко предупредил, чтоб не запалили солому. Никакого ответа. И вдруг опалило жаром голову — а в прежней, в русской армии попробовал бы какой-нибудь тыловой ферт оскорбить окопного офицера, унизить его достоинство? Что было бы с ним? Впрочем, не было тогда, слава Богу, никаких политотделов, один поп-батюшка осуществлял свою агитационно-массовую работу, а к батюшке отношение особое, и он, батюшка, блюл себя, на рожон не лез, окопным людям, войной измятым, не досаждал моралью, больше о душе живых и усопших пекся.

— Душечка, миленькая! — позвал полковник Фаю, все так же остыло — настолько она испугалась и застыдилась — сидевшую возле топчана.Накапай иль лучше кольни... — нарочно жалобно, нарочно внятно обратился Авдей Кондратьевич к медсестре, чтоб слышал, слышал мятежный комбат этот, чтоб все художники слышали, как тяжело и больно их отцу-командиру. За них, за них, зубоскалов и мошенников, им, полковником Бескапустиным любимых, страдает он, из-за них и помрет, коли надо, но чтоб без скандалов, чтоб не хорохорились, зубы чтоб при начальстве не выставляли,в боевой обстановке, в сражении — давай, дуй, крой, зубаться. Он и сам в боевой обстановке лютой. Да не бой, не окопная обстановка, не дела и отвага в актив записываются, примерное поведение, которое называют достойным, учитывается. Снова плешивого Сыроватку и его офицеров орденами осыплют за то, что послушные, за то, что меньше у него, чем в соседнем полку, потерь. Товарищу же Бескапустину Авдею Кондратьевичу втык будет — гнида эта из политотдела еще и выговор по партийной линии запишет. Зато он, Авдей Кондратьевич Бескапустин, твердо знает: ни один из его художников, этих битых и клятых офицеришек, его не подведет, никуда никто от него не уйдет, хотя бы к тому же Сыроватке, пусть там и снабжают лучше, и награждают чаще.

— Приспустите белье, товарищ полковник.

— Чего?

— Приобнажитесь маленько, я вам укольчик сделаю.

— А-а, укольчик! Давай-давай, делай-делай. — Авдей

Кондратьевич переворачивался на живот, ловил на спине, отводил подштанники ниже ягодицы, жалостно ворча:

— Уж лучше бы мне на том плацдарме сгинуть, лучше бы в берег лечь, чем видеть и слышать такое.

— Тебе, Алексей Донатович, может, тоже укольчик треба? — попробовал кто-то разрядить обстановку. На шутку ни Щусь и никто из офицеров не отреагировали. Полковник Бескапустин удрученно вздохнул и принялся набивать трубку.

— Нельзя вам, не велено курить…

Полковник большой, пухлой рукой погладил Фаю по аккуратной головке, сам, мол, знаю, что можно, чего нельзя, давно знаю, милая девушка.

— Спите, робяты. Постарайтесь. Первый ли нам комок грязи в лицо? Отплюемся и станем дальше дело свое исполнять. Это главное.

* * *

Алексей Донатович бродил по берегу и по окрестностям хутора. Обмундирование было прожарено, пропарено, он побрился, подстригся, начистил сапоги, туго затянул под обмундированием и шинелью обноски своего тела, от природы не размашистого, на плацдарме же и совсем убывшего. Похожий на подростка-старшеклассника, но с усталымусталым, даже старым лицом, он ни с кем не общался. Полковник Бескапустин отослал на берег Нельку. Щусь одарил ее таким взглядом, что она вмиг улетучилась на прежние позиции, в полуразбитую хату, где по приказу командира полка на сбитых в виде стола плахах был накрыт торжественный обед в честь благополучного возвращения с того света и одновременно — поминовение павших. Бескапустин выслал Барышникова за своим комбатом, и когда тот сказал давнему другу про коллектив, который без него не начнет обедать и про поминки, Щусь, сердито хрустя камешником, двинулся в расположение штаба. Войдя в хату, молча взял стакан водки, выпил его до дна, заткнув кулаком рот, постоял и, смахнув горстью со стола неначатую бутылку с водкой, на ходу засовывая посудину в карман шинели, удалился.

Все удрученно молчали. "Че он один пить подался, че ли?" — не одна Нелька впала в смятение.

— Гордыня! — спустя время прокряхтел полковник Бескапустин. — Она его, змея подколодная, гложет. Она его, однако, и погубит. Гордыня в нашей армии не к месту. Носить ее разрешено одному только товарищу Жукову, Георгию Константиновичу. Прежде Ворошилову можно было, но с него галифе принародно спало… — и похихикал мелко над своим юмором, и опять его никто не поддержал.Ну делать нечего, давайте, робятушки, гулять. Напейтесь сегодня хоть до усеру — заслужили, только языки не распускайте, митингов не устраивайте — у политика этого важнеющего везде свои сторожа с колотушками расставлены,

Щусь нашел то, чего искал, — "газушку" Мусенка. Сам комиссар был в массах, сражался, палил словами, поддерживая боевой дух воинов. Шофер его, Брыкин, дрыхал в кабине, выдувая сытый, однако приглушенный храп. Подлетали с лица его толстощекого, румяного две мухи,

кружились по кабине, норовя присесть, укрепиться на губе и, осторожно перебирая лапками, подбирались ко рту спящего — пососать сладкой слюнки.

— Я здесь! Я не сплю! — от первого же прикосновения вздрогнув, вскинулся шофер.

"Вышколил его, однако, хозяин!" — усмехнулся Щусь и спросил, отчего ж он корчится в кабине, тогда как есть кузов, да еще и брезентом крытый, кровать в нем.

— Мне туда не положено,утирая кулаком рот и настороженно глядя на незнакомого офицера, прохрипел Брыкин. — Там партийно-агитационная литература хранится. А вам че надо-то, товарищ капитан?

— Да вот пришел с тобой выпить, за здоровье начальника твоего,постукал себя по карману Щусь.

— А я за него могу рази что ссаку пить, — отворачиваясь, буркнул Брыкин, однако тут же обернулся и еще пристальней всмотрелся в лицо капитана — много всякой сволоты повидал Брыкин, служа уже два года при политотделе. Много солдат-мужиков перевидал на своем веку и Алексей Донатович Щусь, умел ладить с ними, а этот солдат с медалькой "За боевые заслуги" был ему почти земляк, из города Кургана, всего-то тыща, может, полторы тыщи вирст от Тобольска. Работал Брыкин до призыва в армию тоже шофером на кондитерской фабрике, выпить любил и умел.

Они отошли в кусты, расстелили на траве родную газету Мусенка — "Правду". Брыкин выложил на газету богатую закуску и, когда опустела поллитра, принес от себя продолговатую банку из-под американского колбасного фарша, ловко запаянную и залепленную иностранными этикетками так, что в ней и дырки для вылития и налития незаметно.

Изболелось, исстрадалось, черной кровью запеклось сердце Брыкина, оно жаждало выплеска. Среди всех ненавидящих Мусенка существ лютее Брыкина никто его ненавидеть не мог. Мусенок упорно дни и ночи перевоспитывал Брыкина, но по молчаливому его сопротивлению чувствовал, что так до сих пор и не перевоспитал. Начальник беспрестанно грозился упечь солдата Брыкина на передовую, и Брыкин признался, что уж и рад бы хоть в пекло — от греха подальше — не ручаясь за себя, боится, что однажды заводной ручкой зашибет эту ползучую тварь, тогда уж ему не просто штрафная будет, расстрел будет.

— Вот, капитаха, послушай, послушай! — хватался за рукав Щуся распалившийся Брыкин. — Он ведь на людях один, по-за людям другой. Ходит на кухню с котелком сам, один, пежит поваров за нерадивость, за недоброкачественную пищу, а в машине, в "студебеккере" газовая плитка, на ней ему отдельно готовит паненка, крепостная его, живет он с ней, как муж с женой, у самого семья на Урале, дети. Он имя посылки посылат, этой пэпэжэ пикнуть не дает. А как он ее шорит! Ка-ак он ее шо-о-о-орит! — вожделенно зажмурился Брыкин, — я зеркальце так подстрою, что из кабины все видать, инда думаю — отыму — терпленья нету!..Брыкин наклонился к уху Щуся, горячо и сыро дыша, шептал об интимных подробностях. — Токо на немецких да на румынских открытках таку срамотишшу и видел… — Тихоней паненка прикинулась, шляхетский норов будто усмирила, дает вроде бы ноги об себя вытирать, но похаживает к одному штабисту и потихонечку да полегонечку забирает власть над своим владыкой, с налету, с повороту не дает уже, благов требует. Слух есть, что ее представляют чуть ли не к Герою. Весь штаб ропщет, гундит, командир дивизии новый не в курсе дел, может дать ход наградному листу…

"Нельке, глядишь, еще одну медальку "За отвагу" отвалят и матюков без счету, может, и на

гауптвахту свезут, если она напьется сегодня и забушует", — совсем помрачнел комбат и, как бы между прочим, поинтересовался:

— Говорят, да и сам я видел, начальник твой любит водить машину.

— А как жа?! Ка-ак жа! Чтоб народ видел, какой он старатель, какой самоотверженный труженик войны. Ох, и хи-и-итрай же, паразитишка! Проедем все хляби, кочки и болота — дремлет, но как в гарнизон, или в расположение какое, иль в штаб въезжать — канистру под жопу и пошел рулить!.. Без канистры-то руля не достает. — Брыкин запьянел, но хлопнул еще чеплашку, засунул в рот целиком красный помидорище, в досыл кинул брусочек сала и, жуя, помотал головой: — Скажу я те, капитаха, одному тебе токо и скажу: нет ничего на свете подлее советского комиссара! Но комиссар из энтих... — сказал и, испугавшись сказанного, Брыкин заозирался.

— У "газушки" одно колесо приспущено.

— Ну и глаз у тя!

— Не глаз да не ухо бы, давно бы уж... Чего не накачаешь? Обленился совсем?

— У него обленисся! Баллон унутреной брошеным патроном прокололо, часто это случается, особо в глубоких, грязных колеях. Надобен газовый ключ, мой спер кто-то, ну и...

— На ночь глядя вы отсюда не поедете никуда?

— Никуда, конешно, — заминировано кругом, токо выезды расчищены.

— Парковая батарея далеко?

— Версты две или три отсюдова.

— Брыкин! Землячок! Сейчас ты ложишься спать. Так?

— Так.

— Вечером, желательно поздним, ты идешь в парковую батарею, за ключом. Так?

— Та-ак.

— Получишь ключ в инструменталке и непременно, непременно распишешься за его получение в амбарной книге кладовщика и, как бы между прочим, спросишь у него время, понял?

— Та-а-ак. А ты че, капитаха? Ты че?

— И не торопясь, не торопясь пойдешь обратно, старайся людям на глаза попадаться... Потрепись с кем-нибудь из знакомцев, лучше с шоферней, чтобы ключ у тебя видели.

— О-о-ой, капитаха, о-ооооой! Ты че задумал-то, о-о-ой! У меня ж баба, парнишка растет.

— У меня тоже баба, двое детей, малых.

— Ну, все! Все правильно! Нельзя такой твари по земле ползать, нельзя! Он столько уже зла наделал, ишшо наделает... Все! Давай лапу, капитаха.

— Брыкин! Боец! Во всю жизнь нигде, ни слова!..

— Да пусть меня на куски режут!..

— Будем надеяться, до этого дело не дойдет.

* * *

На сиденье "газушки" к кирзовой спинке солдатской иглой была пришпилена записка, с одной стороны которой кругленькими каракулями решительно написано:

"Ушел за ключом. Боец Брыкин". С другой — меленько, убористо: "Разгильдяй ты, не боец! Вернешься, немедленно езжай на место. Я очень устал. Ложусь спать. Будешь иметь со мной беседу".

Щусь влез в кабину "газушки". У Брыкина было много времени, и он, отменный шофер, отладил все так, что машина его заводилась от стартера. Прежде чем нажать на шишку стартера, капитан прислонился горячим лбом к ободку холодного руля. В кузове под одеялом спал махонький, жалкий человечек, широко открыв слюнявый рот. И на эту гадину он, боевой командир, честными людьми взращенный для службы Родине, своему народу, поднимал руку. Начавши боевой путь на Хасане, выходивший из боев только по причине ранения или на переформировку, он собрался бить из-за угла! До чего же так можно дойти? До какого края? Великокриницкий плацдарм — это не край? Смертельно усталый человек с полной командирской сумкой боевых орденов, стоящий в спадывающих кальсонах перед вельможно гневающимся сиятельством, не смеющий переступить стынущими от земляного пола ногами, — это не край? Не край?!

И он давнул на стартер. Схватило сразу. Капитан выдохнул, отбросил из себя воздух, густой, тяжелый, что песок, и вместе с ним всякие колебания. Подождал, чтобы прогрелся мотор, начал искать рычагом переключение скорости, попал, кажется, на вторую. Ну, ничего, полегоньку, потихоньку и на второй передаче повезет машина куда надо нетяжелую кладь. Брыкин говорил, начальник его обожает спать во время езды, убаюкивается в пути качкой, — ведет-то машину классный шофер, будто коляску с малым сыном катит.

Шофер из Щуся никакой — в забайкальском училище по программе занимался на машине, балуясь, или по нужде иногда за руль попадал. Последний раз, когда у Валерии Мефодьевны в совхозе после ранения сил набирался, за дровами, за сеном ездил, брат Валерии руль ему доверял, поэтому он и скорость переключать не станет — чтоб не заглохло, — куда надо, "газушка" сама доковыляет. Ее последний путь будет непродолжителен — минные поля справа и слева от дороги, все уже плесневелые, на них полегла, сопрела нескошенная трава. Подорвавшийся на минах домашний скот бугорками вздымает, на осиповские плоские копны похоже, вонь с полей тащит оглушительную. По обочинам дорог, старых и вновь накатанных, горками, кучами лежат и просто так, вразброс валяются, ржавеют снятые с дорог, с полей противотанковые мины. Указатели где есть, где нет, где упали, где пропали, писанные химическим карандашом или углем — дождями многие посмыло. Работа немецких минеров завершалась российской зачисткой, отечественными радетелями. Десятки лет после их работы на бывших полях войны будут взлетать разорванные в клочки пахари, мальчишки, кони, коровы.

Щусь выбрал некрутой уклончик с неровностями, проплешинами и сивыми кочечками. Чуть разогнав машину, он легко выпрыгнул из кабины, отбежал и залег в ближний кювет. Машину волокло, гнало под уклон, но чей-то бог, не иначе как басурманский или кремлевский, продлял

секунды жизни руководящего нехристя. Болтая незакрытой дверцей, беспризорная машина съехала в лощину и вот-вот должна остановиться. Тогда ничего не останется, как снова сесть за руль и самому, уже прицельно, наехать на мину — нельзя подставлять Брыкина под удар, хороший он все же мужик, хотя увалень и плут порядочный.

Уже на исходе уклона, почти уж в самой низине "газушку" наволокло на гниющую тушу животного, качнуло, раскатило, следом за колесами поплыла вонючая жижа, машину повело в сторону, на травянистый бугорок, и тут ударил взрыв такой мощности, что из низины аж в кювет, на Щуся забросило комки земли, натащило вместе с вонью дохлятины удушливый, порченым грибом отдающий дым.

Щусь поднялся, отряхиваясь, поглядел в низину: на месте взрыва, в спеченной воронке что-то тлело и дымилось. Он отплюнул с губ пыль, вонючие брызги, дождался, когда вспыхнут останки машины, и, постегивая себя прутиком по сапогу, неторопливо пошел "домой". Осветив зажигалкой стол, макнул в соль круглую цыбулю, изжевал, чтоб отбить запах вони, и завалился досыпать на незанятое место. И крепко-накрепко уснул, отрыгнув во сне громко и вроде бы облегченно затхлость водки, тлеющего чеснока, хотя только что потреблял лук, а чеснок и не помнил, когда ел.

Командира полка в хате не было, он бы непременно спросил: "Куда тебя носило?" — и строптивец капитан непременно ответил бы: "На кудыкину гору".

Поздней ночью под бочок к капитану Щусю подбортнулась Нелька, погладила его по щеке, куснула за ухо. Он не отринул боевую подругу.

На правом берегу реки похоронные команды и в помощь выделенные бойцы саперных и стрелковых частей вели скорбную страду. Конскими и ручными граблями, вилами, крючьями, лопатами, на волокушах, на носилках, впрягшись в тягу, свозили, стаскивали под яр, сплошь избитый, осыпанный, останки солдат, кости, тряпки, осклизлые части тела, нательные кресты, раскисшие в карманах письма, фотокарточки, кисеты, скрученные ремешки, сморщенные подсумки, баночки из-под табака, кресала, ломаные расчески, оржавелые бритовки — все-все добро, все пожитки вместе с хозяевами валили в большие неглубокие ямы, отекающие по краям, спешащие поскорее укрыть прах и срам человеческий. Затерянных, разбросанных по оврагам, по закуткам, по речке Черевинке и по щелям мертвецов находили по запаху, по скопищу ворон и крыс. Около иных трупов крысы уже успели окотиться и спрятать под тлеющим солдатским тряпьем голых крысят. Потревоженные, они яростно защищали свои оголенные гнездовья, с визгом бросались на людей. Их били лопатами, каменьями, затаптывали обувью.

* * *

На левом берегу происходили пышные похороны погибшего начальника политотдела гвардейской дивизии.

"Чего его, заразу, понесло на ночь глядя? По Изольде своей, видать, соскучился?"

С затаенным злорадством штабники ждали прилета семьи Мусенка с Урала, но никто не прилетел — далеко и страшно добираться до фронта.

Изольда Казимировна в нарушение военной формы, надев на голову черный кружевной платок, занятый на время похорон у здешней учительницы, являла собой целомудренную, непреходящую скорбь. Сидя на табуретке возле орехового гроба с серебряными ручками, в котором покоилась коричневая, обгорелая косточка, найденная на месте взрыва мины, внятно

шептала: "Чешчь его паменчи. Чешчь его паменчи", — и, вынимая из-за рукава платочек, промокала глаза. Сверху, посередь крышки гроба, серебрилась лавровая ветвь. Крышка и обрез гроба также окантованы серебром, довольно ярким для погребального предмета, выглядящим неуместно, хотя и художественно. Вдова не вдова, в общем-то близкий покойнику человек, по заключению грубияна Брыкина — "просто блядь", гладила и гладила тонкопалой, изящной и трепетной, что у дирижера, рукой крышку гроба, поправляла живые цветочки, ленточки на венках; слеза прорезала на ее тонкой щеке тоже серебрящуюся, тоже нарядную полоску, похожую на шрам, однако нисколь не безобразящий ее лица, даже как бы придающий ему романтическое страдание. Хоть картину скорби пиши с пани Холедысской. А и писали. Придворный дивизионный художник чуть в стороне, никому не мешая, решительными мазками набрасывал с натуры полотно под названием, которое сам и придумал: "Похороны героя-комиссара". Оркестр играл революционное, не чуждаясь, однако, и утвержденных новым временем камерных произведений. Изольда Казимировна составила списокдирективу к исполнению: вторая соната Шопена, отрывок из героической девятой симфонии Бетховена и непременно полонез Огинского "Прощание с родиной". Чужеземные сентиментальные музпроизведения оркестру, присланному из штаба армии, привыкшему исполнять марши, вальсы и фокстроты, давались трудно, но музыканты старались изо всех сил.

Чиновный народ, в парадное одетый, при орденах, все прибывал и прибывал. Привезли с гауптвахты шофера Брыкина, бросившего своего начальника в неурочный час. Ушел, подлец, за каким-то ключом, получил тот ключ, что и записано в амбарной книге, где-то шлялся, а начальник крутенек был нравом и норовист характером. Желая наказать разгильдяя — пусть пешком топает до штаба дивизии, пусть ночью по лесам и логам ноги набьет, — взял и сам зарулил. Автоас того не учел, что на ответственной политической работе с массами переутомился, бдительность утратил, за рулем, может, уснул и с дороги съехал...

С Брыкиным Мусенок конфликтовал всю дорогу, грозился под суд или на передовую упечь. И жаль, что не успел исполнить своего сурового намерения. Надо бы этого сукиного сына Брыкина судить и в штрафную его определить, но за что? На всякий случай упрятали раздолбая в отдельную хату, назвав ее гауптвахтой. Спит на соломе Брыкин, сало жрет и яблоки, а что начальник его умолк навсегда, так ему на это наплевать.

Нет, не наплевать. Подошел вон ко гробу, рукавом заутирался:

— Эх, товарищ полковник, товарищ полковник! Что ты натвори-ы-ыл? Зачем ты за руль ся-ал? Скоко я те говорил-наказывал: не твое это дело — баранка, не твое-о-о... Твое дело — пламенно слово людям нести, сердца имя зажигать...

"Во, художник, — удивленно покрутил головой Щусь. — Во, артист!" и покосился на полковника Бескапустина, который топтался рядом. Начинался митинг. Командиру полка предстояло выступать, но что говорить — он придумать не мог, вот и тужился, будто на горшке.

— А ведь есть тама что-то! — толкнул полковник локтем в бок Щуся и воздел набухшие очи в небо. — Наказывает Он время от времени срамцов и грешников. — И слишком уж внимательно, слишком пристально поглядел на Щуся.

— А ты что, в этом сомневался? — подавляя занимающееся смятение, поспешно отозвался Щусь, слишком хорошо он знал своего командира полка, так он делает заход издали, ждет, что дальше последует.

— Да не то, чтобы сомневался... ох-хо-хо-о-о-о! Узнать бы вот, успел он, этот художник, — он кивнул в сторону покойника, — написать туды, — полковник опять возвел очи вверх, — или не

успел?

— Не успел.

— А ты откуда знаешь? — воззрился на Щуся полковник, и что-то настораживающее все яснее проступало во взгляде комполка.

— А все оттуда же! — кивнул головой вверх Щусь, стараясь удержаться в полушутливом тоне, но внутри уже что-то сместилось, и тревога подступила плотнее. — Авдей Кондратьевич отвернулся, посопел почти пустой трубкой и внезапно, резко повернувшись, в упор глядя на капитана, покачал головой:

— Мо-ло-дец! Экой ты молодец! Ай-я-а-ая! Ай-я-я-а-ай! А ты обо мне, о товарищах своих подумал? Об своей, наконец, седеющей, но нисколько не умнеющей голове подумал? Об детях своих и наших? Ты че, досе не понял, где живешь? С кем бедуешь? До чего же эдак-то можно докатиться?..Авдей Кондратьевич не успел докончить разговор, его затребовали на трибуну, и, напрягаясь голосом, с надлежащим скорбным надрывом он начал речь:

— Перестало биться сердце пламенного борца за передовые идеи, верного сына партии, самозабвенного служителя советскому народу,полковник удивился подвернувшемуся проникновенному слову и не без удовлетворения, раздельно повторил, — самозабвенного, — и освобожденно, всей грудью выдохнул: — Прощай, дорогой товарищ!..

"Так тебе, старому хрену, и надо! Не хитри!" — хмурясь, усмехнулся Щусь. А когда полковник снова возник рядом и начал набивать трубку, все не желая или не умея сойти со взятого им язвительного тона, сказал:

— Эк ты возлюбил покойного-то. Недавно, совсем недавно, помнится, говном его называл.

Авдей Кондратьевич смолил трубку и вытирал лоб платком, напряжение умственное от речи вогнало его в испарину.

— Некоторым людям, — не сразу ответил он, засовывая в карман сырую тряпицу, — беды народные, горе, слезы ниче не значат, имя свой норов соблюсти и потешить гордыню превыше всего… — и, покачав головой, добавил: — Израненный мужик уж вроде, а где уму быть — все еще синенько… — плюнув Щусю под ноги, Авдей Кондратьевич, тяжело ступая, ушел с похорон.

Брыкин стоял у изголовья гроба, хлюпал уже распухшими от слез глазами; рукав, которым он утирался, потемнел от мокра. Как понесли под скорбные звуки оркестра гроб к машине, кузов которой был украшен красным полотном, чтоб доставить покойного на берег, поместить на ветровой круче, Брыкин первый подставился под изголовье гроба плечом и во время похорон помогал делать погребальное дело толково, со все той же, душу пронзающей, горькой скорбью.

Над рекой вырос холм с ворохом венков и цветов, вознесся временный, пока еще деревянный, обелиск с золотом писанными на нем словами, теми самыми, которые произносились на траурном митинге, жахнул дружный винтовочный залп над кручею.

За рекой же продолжалось сгребание обезображенных трупов, заполнялись человеческим месивом все новые и новые ямы, однако многих и многих павших на Великокриницком плацдарме так и не удалось найти по оврагам, предать земле.

Через десяток лет покроет место боев, кровью пропитанную, нерожалую землю и самое

деревушку Великие Криницы, покроет толстой водой нового, рукотворного моря и замоет песком, затянет илом белые солдатские косточки. Захоронение же начальника политотдела гвардейской стрелковой дивизии будет перемещено в глубь территории. Подгнивший гроб с потускневшим серебром, снова покрытый гвардейским знаменем дивизии, под оркестр, торжественно, с речами, еще более впечатляющим залпом будет предан земле на новом месте. Каждый год пионеры и ветераны войны станут приходить к той героической могиле с цветами, венками, кланяясь могиле, станут говорить взволнованные, проникновенные речи и выпивать поминальную чарку за здесь же, на зеленом берегу, накрытыми столами.

Тем временем привычно, с обыденным тупым напором советские войска переправятся южнее Великокриницкого плацдарма через Великую реку, начнут затяжные, кровопролитные бои за соединение всех четырех плацдармов и, в конце концов, убедят немецкое командование, что здесь, именно здесь, с этой неудобицы начнется главный удар — наступление в Заречье. Гитлеровцы стянут сюда основные силы центральной и южной групп войск, чтобы отразить упорное, с огромными потерями наступление Красной Армии. Отразив его, войскам непобедимого рейха ничего другого не останется, как перейти в контрнаступление, переправиться обратно за реку и продолжить поход в глубь этой проклятой, самовозрождающейся страны под названием Россия. Главари вермахта надеялись еще и на то, что, ежели силы той и другой стороны окажутся на исходе, заключить с советским командованием, со вчерашними этими союзниками и братьями по партии и смертельными затем врагами, почетный мир, оттяпав у России большую часть плодородных земель и установив границу по берегу Великой реки.

Завоеванного для работящего, умеющего копить и экономить немецкого народа, расширившегося вдвое, если не втрое, хватит для накопления сил и новой, на этот раз уже все сметающей, победоносной войны. Под крылышком Гитлера человечеству готовится кое-что из таких подарков, которые сметут не только русские войска и русские города, они способны уничтожить, испепелить, прахом развеять в поднебесном пространстве любое государство на земле — нужно время и терпение.

Терпение у немцев было великое, в мире только русские превосходили их по покорству и терпению. Но времени на затяжку войны русские не оставляли. В отдалении от четырех первых плацдармов, в среднем течении Великой реки, советскими войсками был нанесен удар такой сокрушительной силы, такая масса войск и техники хлынула на просторы Заречья, что на этот раз немецкое командование совсем уже не знало, где и чем латать дыры. Войска вермахта еще будут переходить в контрнаступление, нанесут несколько ощутимых ударов по зарвавшимся, как всегда при большом успехе шапкозакидательством заболевшим, норовистым войскам Красной Армии, даже отбросят назад целый фронт. Крепко попадет и корпусу Лахонина. Уже примеривающий на себя мундир командующего армией, Лахонин на какое-то время задержался на старой должности, но скоро должность командарма все-таки получил, и в достижимо близких далях сверкнули ему в пятак величиной золотыми звездами маршальские погоны. После харьковской и ахтырской конфузий, где гвардейской дивизии Лахонина пришлось принимать на себя удары и выручать отступающие войска, дивизию его, затем и корпус привычно засовывали туда, где труднее, посылали на самые кровавые дела. Он-то знал, что те же командующие соседних армий, коих выручала дивизия, а затем и корпус, не могли простить ему своего позора. Командующий фронтом все время старался поручать Лахонину проведение операций локальных, выводил, где возможно, из зависимости тех, кто умел сокрушительно рассчитаться за добро. Так что сибирская дивизия не просто так, не прихоти ради попала на отвлекающий, мало чего в общей наступательной операции значащий Великокриницкий плацдарм, хотя бойцам и командирам, там воевавшим, казалось, что они-то и есть самый центр войны, они-то и решают главные задачи фронта.

Получив под начало резервную, вспомогательную армию, генерал-полковник Лахонин изловчился забрать под крыло свое и "родную" дивизию, где сибиряков осталось по счету. К началу ноября, когда был взят древний город — колыбель славянского христианства, дивизия пополнилась, переобмундировалась, довооружилась, обрела боевой лад и вид. И ей, опять же ей, пришлось в конце осени, почти зимою, прикрывать ударную силу главного фронта, позорно драпающую от совсем и далеко не превосходящих сил противника.

Во время тех, предзимних, боев, наступлений-отступлений в походных условиях закончит земные сроки полковник Бескапустин Авдей Кондратьевич, выйдет в генералы, примет под начало свою родную гвардейскую дивизию генерал-майор Сыроватко. Еще раз ранена будет Нелька Зыкова, в ее отсутствие наложит на себя руки, повесится на чердаке безвестной хаты

Нелькина верная подруга Фая. Будут комиссованы по инвалидности и отправлены домой комроты Яшкин, подполковник Зарубин, получившие звание Героев.

Обескровив зарвавшегося противника в осенних боях, два могучих фронта начнут глубокий охват группировки вражеских войск, засидевшейся на берегу, с севера и с юга. Давно потерявшая надежды на блицкриг, но зацикленная на идее реванша, все еще не желающая верить в свое окончательное крушение, гитлеровская свора до глубокой зимы удерживала на Великой реке, возле никому уже не нужных плацдармов значительные силы. Когда уже на оперативном просторе, развернув общее наступление, два мощных фронта, а за ними и все остальные фронты хлынут к границе и до нее останется рукой подать, фюрер соизволит, наконец, отдать приказ об отводе своих войск от Великой реки — отступление в зимних условиях превратится в паническое бегство, в хаос, в свалку и, в конце-концов, растрепанные фашистские дивизии будут загнаны в такую же, как возле Великокриницкого плацдарма, земную неудобь, в голоснежье.

Голодные, изнуренные, больные, накрытые облаком белых вшей, будут чужеземцы замерзать тысячами, терять и бросать раненых, их станут грызть одичавшие собаки, волки, крысы, и, наконец, Бог смилуется над ними: загнанные в пустынное, овражное пространство, остатки немецких дивизий подавят гусеницами танков, дотопчут в снегу конницей, расщепают, разнесут в клочья снарядами и минами преследующие их советские войска.

Овсянка—Красноярск,
1992—1994 гг.